

Лион Фейхтвангер

Лион
Фейхтвангер

6/1.

6/1.

ЛИОН
ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Редколлегия:

А. С. ДМИТРИЕВ
Д. В. ЗАТОНСКИЙ
Н. С. ЛИТВИНЕЦ
Н. С. ПАВЛОВА



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1991

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ШЕСТОЙ
Книга первая**

**МУДРОСТЬ ЧУДАКА
Роман
ЧЕРТ ВО ФРАНЦИИ
ДОМ ДЕЗДЕМОНЫ
СТАТЬИ**

Перевод с немецкого



**МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1991**

ББК 84.4Г

Ф36

LION FEUCHTWANGER

1884—1958


Составление
Д. ЗАТОНСКОГО и Н. ПАВЛОВОЙ

Комментарии
Л. МИРИМОВА, Н. НОВИКОВОЙ,
Г. РАТГАУЗА и С. ТУРАЕВА

Ф 4703010100-427 подписное
028(01)-91

ISBN 5-280-01197-5 (Т. 6. Кн. I)
ISBN 5-280-00307-7

© Переплет Сальникова И. Г.,
1990 г.

МУДРОСТЬ ЧУДАКА, ИЛИ СМЕРТЬ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЖАН-ЖАКА РУССО

Роман

Перевод

И. ГОРКИНОЙ и И. ГОРКИНА

Великие люди — это метеоры, сами себя сжигающие, дабы осветить мир.

Наполеон

**NARRENWEISHEIT
ODER
TOD UND VERKLÄRUNG DES
JEAN-JACQUES ROUSSEAU**

Roman

1952



Часть первая

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖАН-ЖАКА

Из слепых слепые—это сыны богов.
Ибо ведомо человеку, где строить свое жилище,
А зверю—свое логово.
Только неискушенным душам
Ниспослан изъян,
Дабы не знали они пути своего.

Гёльдерлин

Глава первая

ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ

После завтрака, как всегда по утрам, мосье де Жирарден просматривал почту; читал он без особого внимания, больше—из чувства долга.

Вдруг лицо его оживилось, как от радостной неожиданности.

Неужели? Возможно ли? Мосье де Жирарден и надеяться не смел. Но сомнений быть не может, благая весть у него в руках: Жан-Жак приезжает! Вот здесь об этом сказано, друг Лебег пишет: высокочтимый муж, величайший из современников, Жан-Жак Руссо приезжает!

С письмом в руках мосье де Жирарден ходит из угла в угол, снова и снова его перечитывает.

Философия Жан-Жака глубоко проникла в жизнь мосье де Жирардена. Рене-Луи маркиз де Жирарден, граф де Вовре и де Брежи, сеньор Эрменонвиля и владелец ряда других поместий и недвижимости, служил в Люневиле при дворе польского короля первым камергером и начальником лейб-гвардии. Он жил полнокровной жизнью, вызывавшей всеобщую зависть. Но стоило ему примерно лет двенадцать назад познакомиться с творениями женевского гражданина Жан-Жака—и он увидел всю тщету своей жизни; подобно многим другим, ему открылся смысл существования. Цивилизация растлила мир; кто хочет освободиться от мучительного чувства опустошенности, должен вернуться к простоте, к природе. И маркиз покинул двор в Люневиле, решив отныне строить свою жизнь в духе учения Жан-Жака. Он отстаивал политические новшества, которые проповедовал учитель в своей книге «Общественный договор», он воспитывал своего сына и наследника Фернана по принципам, провозглашенным Жан-Жаком в его педагогическом романе «Эмиль», а в своем поместье Эрменонвиль он точно воспроизвел

ландшафт, описанный Жан-Жаком в любовном романе «Новая Элоиза».

Сам Жан-Жак вот уже много лет снова жил в Париже, приговоренный правительственным указом к изгнанию, терпимый по молчаливому согласию. Сблизиться с великим учителем, обмениваться с ним мыслями, беседовать — было заветным желанием мосье де Жирардена. Но Жан-Жак отличался нелюдимостью, маркизу привелось лишь однажды, несколько лет назад, посетить его.

И вот разнесся слух, что Жан-Жак, утомленный многочисленными тяготами парижской жизни, ищет спокойного пристанища в сельской обстановке. Мосье де Жирарден в сердечном и почтительном письме предложил ему свое гостеприимство, а доктора Лебега, их общего друга, просил в должном свете представить Жан-Жаку все преимущества Эрменонвиля. Но многие высокопоставленные господа оспаривали честь принять у себя Жан-Жака; маркиз знал об этом и почти не надеялся на успех. И вот выбор учителя все же пал на него.

Ему хотелось тотчас же поделиться с Фернаном огромным счастьем, которое ожидало замок Эрменонвиль. Но он не разрешил себе этого. В его сердце жили свободолюбивые идеи Жан-Жака, однако годы военной службы выработали в нем привычку к дисциплине, строгое чувство долга. После завтрака следовал обход владений. Так у него издавна заведено, ничего не изменит он и в это утро. Он отложил радостный разговор с сыном.

Мосье де Жирарден — высокий, сухощавый человек лет пятидесяти — надел плоскую шляпу с узкими полями и взял в руки длинную гибкую трость с золотым набалдашником. Так, по-сельски просто одетый, в долгополом кафтане и коротких сапогах, он вышел из дому. Немногочисленная свита тотчас же присоединилась к нему: управляющий, старший садовник, один из слуг.

Ежедневный обход парка принадлежал к излюбленным занятиям Рене де Жирардена. А сегодня, представляя себе в этих садах Жан-Жака, от присутствия которого они обретут высший смысл, он с удвоенной радостью совершал свой обход.

Мосье де Жирарден на основе учения Жан-Жака написал обстоятельный труд «Руководство по архитектуре ландшафта», а парк, разбитый вокруг замка, являлся претворением в жизнь его теорий. В противоположность вымеренным, подстриженным садам Версаля, Эрменонвильский парк призван был возбуждать в душе человека, гуляющего по его аллеям, повышенное ощущение близости к природе. К природе во всем ее многообразии. Бархатистые лужайки, дремучие чащи, стремительный водопад, смиренный ручей и меланхолически очарователь-

ное озеро, величественный, суровый горный пейзаж и прелестная долина—все было собрано в этом парке, и гуляющий мог по желанию выбрать себе пейзаж, который отвечал бы его настроению. Были здесь и уголки, напоминавшие о прошлом, о вечном. Тут и там разбросанные небольшие храмы или руины приводили на память великую эпоху Греции и Рима, а вырезанные на спинках скамей, на стволах деревьев или выгравированные на колоннах всякого рода классические и современные изречения говорили о связи всех этих памятных мест с историей духа.

В этот мир маркиз погружался изо дня в день, внимательно приглядывался ко всему, оценивал. Многие он уже осуществил; но то и дело обнаруживал недостатки, находил в завершенном несоответствие с задуманным, и это служило источником вечных терзаний и ежедневных радостей. Жестом полководца он взмахивал длинной, гибкой тростью и отдавал приказания садовникам и строителям, легонько дотрагиваясь до предмета, о котором шла речь, или похлопывая по плечам своих людей. «Отец Колотушка» называли своего добродушного и деспотического хозяина его работники. Сегодня его взгляд был еще придиричивее, чем всегда, его энергия еще напористей, ибо ему предстояло отдать свое детище на суд Жан-Жака.

Он шел по берегу небольшого озера; в иллюзорной дали высился на холме миниатюрный храм, Храм Философии. Мосье де Жирарден пересек приветливые мирные луга с пасущимися стадами, вышел на Аллею грез и по лесной тропинке поднялся к суровым Скалам уединения. Полубовался открывавшейся отсюда широкой красочной панорамой. Он был уверен: этот мир, созданный его руками, выдержит испытание перед взором судьи, сотворившего его в своих мечтах.

И какое милосердное провидение подсказало ему, Жирардену, три недели назад идею построить шале, швейцарскую хижину. Маркиз направился к строительной площадке. Да, работы шли хорошо. Жан-Жаку некоторое время придется пожить в Летнем доме, но потом он сможет переселиться в хижину. Она строилась на пологом склоне, покрытом лугами, а за лугами шумела почти нетронутая человеческой рукой зеленая густая роща. Это были кущи «Новой Элоизы». Кларанский рай. Жан-Жак будет жить в окружении такой же природы, среди которой живут герои его немеркнувшего творения—Сен-Пре и Юлия.

Маркиз закончил обход. Теперь он мог доставить себе огромную радость: сообщить сыну о предстоящем приезде Жан-Жака.

Он послал за сыном. Фернан пришел. Семнадцатилетний Фернан, носивший как наследник эрменонвильского сеиора титул графа Брежи, был одет еще проще маркиза: вместо полагающегося роскошного кафтана и золотом расшитого камзола на нем была открытая рубашка.

— Граф Фернан,—торжественно произнес отец, обращаясь к вопросительно глядевшему на него сыну.— Радостная весть! Приезжает наш друг и учитель Жан-Жак. Отныне он будет жить в Эрменонвиле.

Черные большие глаза юноши вспыхнули таким восторгом, что отец умилился.

— Ну, мой мальчик, скажи, хорошо я все это устроил? Угодил я тебе?—сказал он, стараясь шутливым тоном прикрыть свое волнение.

Фернан ответил с трудом, растроганным голосом:

— Благодарю вас, батюшка. Благодарю, благодарю!

И он убежал в лес, начинавшийся там, где кончались сады. В лесу была укромная лужайка, куда он прибегал, когда чувствовал потребность справиться с каким-нибудь переживанием. Он бросился в мох под старой сосной, его закадычным другом. Отдался своим мыслям.

Да, отец хорошо все это устроил. Но если Жан-Жак решился приехать, так это великий триумф самого Фернана. Ведь Жан-Жак,—хотя это, конечно, глубокая тайна,—его друг. Когда в Париже отцу посчастливилось проникнуть в дом нелюдимого философа, он взял с собой и Фернана. Они привезли ноты, чтобы отдать их Жан-Жаку в переписку. Это была одна из причуд учителя: не желая превращать свою философию в источник существования, он предпочитал зарабатывать на жизнь ремеслом—перепиской нот. И вот там, в скромно обставленной квартире на улице Плятриер, на пятом этаже, Фернан очутился перед тщедушным человеком: он погрузил свой взгляд в глаза, в которых были бог и правда, он был потрясен простотой величайшего из современников. И тогда он набрался смелости и заговорил. Сказал, что ранняя редакция небольшой оперы Жан-Жака «Деревенский колдун» нравится ему больше, чем новая, в которой она идет теперь на сцене Парижской оперы. Но Жан-Жак улыбнулся мудро, мягко и горько и ответил, что молодой человек, может быть, и прав, в новой редакции немало приукрашенного и искусственного, но есть свои соображения, почему опера ставится в этой редакции. Потом Фернан—именно он, как было условлено, а не отец—пришел вторично за переписанными нотами, и опять Жан-Жак говорил с ним. И разрешил ему прийти в третий раз. Да, три раза беседовал Фернан с учителем. Нет сомнений, если Жан-Жак приезжает теперь в Эр-

менонвиль, то не ради отца: он приезжает к нему, Фернану.

Сердце готово было выскочить у него из груди от радости, он выпускал ликующие крики, а на лужайке было чудесное эхо. Он кричал: «Жан-Жак! Слышишь, лес, мы увидим Жан-Жака!» Он кричал: «Добро пожаловать, Жан-Жак!» — и «Жан-Жак! Жан-Жак!» — стократно вторило эхо.

Но ему мало было поделиться своей радостью с деревьями. Они не понимали, что Жан-Жак приезжает к нему, к нему! Он должен открыть свою гордую тайну человеку, который поймет его.

Он поскакал верхом в замок Латур, к своей подруге Жильберте. Поскакал, как был, в открытой рубашке, без парика, его темные волосы развевались на ветру. Долговязый, худой юноша с крупным характерным носом на костистом лице, с большим адамовым яблоком на длинной шее был некрасив, но черные одухотворенные глаза делали его красивым.

Прискакав в замок Латур, он тотчас побежал к Жильберте. Он нашел ее в обществе английской гувернантки, танцмейстера и воспитательницы. Жильберта была в бальном платье и брала урок танцев.

Жильберта Робинэ де Латур была незаконной дочерью очень богатого господина из новых дворян и безвестной актрисы. Родители ее умерли рано, опеку над ней взял дед. Владелец огромного состояния, генеральный откупщик податей Робинэ, привязался к ребенку; он удочерил Жильберту и сделал ее наследницей всего своего состояния. Фернана и Жильберту связывала тесная дружба. Маркиз не одобрял сближения сына с девушкой, принадлежавшей к второразрядной знати, да к тому же еще сомнительного происхождения. Ему неприятна была мысль о необходимости просить у короля разрешения на брак его первенца, ибо, если не будет согласия короля на этот неравный брак, граф Фернан и его потомство потеряют право на владение Эрменонвилем и на другие привилегии. Однако Жирарден подавил свое недовольство, не желая поступать вразрез с философией Жан-Жака. Но уж если он пошел на то, чтобы взять Жильберту в свою семью, он хочет принять участие в ее воспитании. О границах этого участия было много долгих споров с умным и насмешливым дедом Жильберты, генеральным откупщиком податей Робинэ. Фернан нравился Робинэ, и его забавляла возможность выдать свою незаконнорожденную внучку за отпрыска старинного аристократического рода; однако позволять кому-либо вмешиваться в ее воспитание он не желал. Он знал Руссо, находил его идеи интересной темой для беседы, но считал их утопическими

и подтрунивал над преклонением Жирарденов перед человеком, который хотел бы всех превратить в канадских дикарей. Робинэ не возражал против того, чтобы Жильберта облачалась иной раз в крестьянское платье из грубой ткани, от случая к случаю разрешал ей прогуляться в замок Эрменонвиль пешком или поскакать туда верхом на лошади, в мужском костюме, амазонкой. А вообще-то как там ни восхищайся идеями Руссо, но Жильберта пусть ведет себя, как подобает молодой девушке из высшего круга.

Кроме того, в этом году ей предстояло вступить в свет, и мосье Робинэ пригласил учителей, чтобы обучить внучку сложному этикету, согласно строгим требованиям салонов и бальных зал.

Фернан застал ее как раз в момент, когда шел один из таких уроков. Ему показалось, что парижский бальный туалет уродует рослую, свежую девушку; ее крупное, румяное, оживленное лицо было гораздо естественнее без пудры, а большой веселый рот намного красивее без мушек над ним. Но ему пришлось мириться с тем, что его подругу и любимую так вырядили. Ничего другого не оставалось, как с досадой усесться у стены, смотреть и ждать.

Жильберта по его лицу мгновенно поняла, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Она взяла на себя ответ перед дедом, склонилась в глубоком реверансе, которому ее только что обучили, сказала учителю танцев и воспитательницам:

— Простите, уважаемые дамы и господа,— повернулась спиной к растерявшимся наставникам, взяла Фернана под руку и повела в свой небольшой будуар.

Но выйти из роли светской дамы ей удалось не сразу. Она величественно опустилась на софу, а ему указала на маленький позолоченный стул. Так сидели они друг против друга, он—в своей открытой рубашке и грубошерстных штанах, она—в блестящем бальном туалете. Парча трогательно оттеняла ее плечи; густые темно-русые волосы, уложенные в высокую прическу над круглым, детским, несколько своевольным лбом, были обсыпаны пудрой.

— Что случилось, Фернан?—спросила она.

— Жан-Жак приезжает. Он теперь будет жить в Эрменонвиле,—ответил юноша.

И тотчас же—он попросту не мог дольше сдерживать себя—выпалил всю свою гордую тайну. Рассказал, подчеркивая их значение, о трех парижских встречах с учителем, восклицал, торжествуя:

— Он приезжает ко мне! Жан-Жак приезжает! Приезжает ради меня!

Он не мог усидеть на своем позолоченном стульчике. Бегал из угла в угол. Восторженные фразы, обгоняя одна другую, слетали с его губ. Отец при всей широте и восприимчивости своей натуры вобрал в себя слишком много от растленных идей Версаля и Люневиля. Учение Жан-Жака нельзя написать на однажды уже исписанной бумаге. Только они, молодые, до конца понимают его замечательные, ясные и все же такие новые мысли и чувства. В английских колониях Америки, в этой молодой стране, борцы за свободу намерены претворить в жизнь принципы Жан-Жаковой философии. Если Жильберте и ему будет позволено дышать одним воздухом с учителем, если им даровано будет неизъяснимое счастье ежедневно слышать его милый глуховатый голос, то это волеет в них такие силы, что они смогут вместе с другими строить новую Францию в духе Жан-Жака.

Жильберта слушала. Она прожила свои детские годы с матерью, актрисой, на ее долю выпало немало превратностей судьбы. От матери она унаследовала здравый практический ум, и от деда ей также приходилось слышать приправленные грубоватым юмором реалистические суждения. Ее глаза смотрели на мир трезвее, чем глаза Жирарденов, они лучше различали грань между грезой и действительностью. И, глядя, как Фернан, в своем вызывающе простом костюме, с прыгающим вверх и вниз кадыком на длинной обнаженной шее, неуклюже размахивая длинными руками, носится по изысканно обставленному будуару, она, разумеется, отлично видела комичность ситуации. Но она видела и мечтательные, устремленные вдаль глаза Фернана, его характерный нос с горбинкой, слышала его взволнованный голос, знала, что означает предстоящий приезд Жан-Жака для ее доброго, умного, смелого, горящего в огне адского честолюбия друга, и не улыбнулась этому безбрежному потоку восторгов.

Красноречие и обаяние Жан-Жака, чувства «Новой Элоизы» нашли отклик и в ней, она с величайшим любопытством и интересом ждала встречи с творцом этого произведения. И как это будет замечательно, если в Сен-Вигоре, поместье деда под Версалем, куда она поедет через некоторое время, она сможет рассказывать придворным кавалерам и дамам о своих беседах с величайшим писателем века.

Фернан предложил отправиться в Эрменонвиль и там, на лоне Жан-Жаковой природы, почитать вместе «Новую Элоизу», как они иногда это делали. Жильберта тотчас же согласилась.

Она переоделась, и теперь оба были в костюмах, гармонирующих с миром героев Жан-Жака. Верхом отпра-

вились они в Эрменонвиль. Они читали о чистой, глубокой, горячей любви Юлии к Сен-Пре и Сен-Пре к Юлии. Они сами были Юлией и Сен-Пре, они целовались, далекие от пошлого жеманства двора и города Парижа, они были безотчетно счастливы.

Глава вторая

ЖЕНА ЖАН-ЖАКА

Доктор Лебег приехал в Эрменонвиль, чтобы осведомить маркиза о пожеланиях и особенностях Жан-Жака.

Знаменитый врач был в дружбе и с Жан-Жаком и с Жирарденом. Жан-Жак доверял ему, потому что Лебег не увлекался модной медициной и боролся с болезнями не вопреки природе, а в союзе с ней. Лебег рассказал, как ему удалось склонить Жан-Жака к переезду в Эрменонвиль. Прежде всего он завоевал согласие женщин. В повседневном быту Жан-Жак зависит от жены, Терезы, а та, в свою очередь, слепо идет на поводу у матери, старой мадам Левассер. Старуха жадна к деньгам, и он, Лебег, подкупал ее небольшими подношениями. Кроме того, он пообещал, что маркиз пришлет своих людей, чтобы перевезти домашнюю обстановку и утварь, а сама мадам Левассер будет вознаграждена за хлопоты, связанные с переездом. Он, Лебег, советует маркизу немедленно отправить старухе пятьдесят ливров на предстоящие расходы. Если все будет благополучно, так на следующей неделе приедет сначала Жан-Жак, а через некоторое время, закончив хлопоты с парижской квартирой, за ним последуют жена и теща.

Для маркиза и Фернана наступили дни ожидания. Но прошла неделя и еще несколько дней, а Жан-Жака все не было. Потом маркиз получил письмо с просьбой прислать в Париж лошадей и слуг для переезда.

Прибыла мебель, приехали обе женщины, Тереза и ее мать. Но Жан-Жака все не было.

Мосье де Жирарден недоумевал. Разве доктор Лебег не объяснил ему, что первым прибудет Жан-Жак, а уж затем обе женщины? Они и сами были удивлены: Жан-Жак покинул Париж несколько дней назад. Но особенно они не тревожились. Этот чудаковатый человек, говорили они, часто идет в обход, вместо того чтобы идти прямо; вероятно, он где-то бродит; ничего, явится.

Маркиз опомнился и в изысканных словах выразил радость по поводу приезда дам. В тот раз, когда он в Париже посетил Жан-Жака, он лишь мимоходом видел

Терезу. Знал, что, когда Жан-Жак познакомился с ней, она была еще совсем юной и служила кельнершей в заштатном отеле. Теперь ей, вероятно, уже лет тридцать семь — тридцать восемь. Одета она была в простое платье из дешевой бумажной ткани в цветочках; каштановые волосы скрывал чепец горожанки. Мадам Руссо показалась маркизу вульгарной, однако не без привлекательности. Ее несколько полное лицо было маловыразительным, но большие спокойные глаза и ленивые движения, вероятно, нравились мужчинам. Неторопливо, наивно, без стеснения и скромности разглядывала она людей и предметы. Говорила мало, и казалось, будто ей стоит усилий подобрать нужное слово.

А мадам Левассер, мамаша, напротив, была очень речиста.

— Я родилась в Орлеане, но я парижанка, — рассказывала она.

Это была женщина преклонных лет, вероятно за семьдесят, но крепкая и подвижная. Груз жира придавливал к земле маленькую фигурку; черное платье едва не лопалось на мощном бюсте, дышала старуха с трудом. Но все это ее мало беспокоило. Она считала себя вправе и как личность, и как теща Жан-Жака предъявлять требования, и ее быстрые, черные, колючие, недобрые глаза над маленьким носом смотрели зорко и запальчиво.

Маркиз показал обеим женщинам Летний дом, где им предстояло временно поселиться. Это был павильон, расположенный неподалеку от замка, красивое двухэтажное сельское строение: раньше здесь жил кастелян.

— Для постоянного обслуживания разрешите прислать вам из замка служанку, — сказал Жирарден.

— Хороши бы мы были, господин маркиз, — ответила мадам Левассер, — если бы мой зять не мог обходиться без помощи посторонних.

А Тереза сказала своим грудным медлительным голосом:

— Жан-Жак желает, чтобы только я его обслуживала, значит, так и должно быть.

Жирарден, подготовленный доктором Лебегом, знал, что с этими двумя женщинами, во избежание недоразумений с Жан-Жаком, необходимо считаться. Маркизу, который со времен службы в армии сохранил привычку приказывать, пришлось сдержаться и терпеливо разъяснить собеседницам, что здесь не Париж, здесь за всяким пустяком надо отправляться за тридевять земель. Лекарства, например, в которых, как он слышал, нуждается учитель, можно получить только в аптеке в Дамартене или в Санлисе. Необходимо также поддерживать связь с замком, а кроме того, дамы, конечно, нуждаются в

особом обслуживании. Он еще раз просит разрешить предоставить в их распоряжение служанку.

— Если вы настаиваете, господин маркиз, то мы с признательностью принимаем ваше предложение,— ответила мадам Левассер.

Тереза, однако, заявила с флегматичным упрямством:

— Но служанка, которую вы хотите прислать нам, ни в коем случае не должна показываться на глаза Жан-Жаку. Он желает полного покоя. Поэтому он и приезжает сюда. В дом никого нельзя впускать без его прямого разрешения. А когда я буду уходить и мать тоже—дом придется запирать.

Мадам Левассер сказала как бы в оправдание:

— У моего уважаемого зятя свои фан-та-зи-и.— Она произнесла по слогам это изысканное, по ее понятиям, слово.— У каждого великого человека своя блажь.

Жиранден никак не мог примириться с мыслью, что на территории его владений окажется дом, в который ему, сеньору Эрменонвиля, не будет доступа. Но в конце концов к Летнему дому, так же, как ко всем другим строениям на территории его обширного поместья, есть вторые ключи, хранящиеся у него в спальне.

— Все ваши пожелания будут исполнены, сударыни,— сказал он.— У меня есть человек, который, полагаю, вполне вас устроит. Это мой посыльный Николас, моя правая рука, так сказать. Он по-прежнему останется в замке, но в любую минуту будет к вашим услугам. Николас точно выполняет мои приказания и никогда не проявит никакого любопытства. Кроме того, он превосходно ездит верхом и, когда бы вам ни понадобилось, может отправиться в город. Я пришлю его к вам.

Домашние вещи обеих женщин были выгружены. Маркиз пообещал зайти позднее, чтобы осведомиться, нет ли у дам еще каких-либо пожеланий, и откланялся.

Женщины очень рано выехали из Парижа. Было жарко, и они устали. Когда расставили мебель, им захотелось прилечь. Мадам Левассер поднялась на второй этаж, где устроила себе спальню: Тереза заперла входную дверь, сняла платье, легла на кровать, поставленную в нише, задремала.

Вдруг она вскрикнула и подскочила. Посреди комнаты стоял, расставив ноги, невысокий, рыжий, поджарый субъект.

— Простите, мадам,— произнес он квакающим голосом. Он говорил по-французски с иностранным акцентом.— Я стучал, и так как никто не отозвался, вошел.

Тереза набросила на себя шаль.

— Но ведь я заперла дверь,— сказала она.

— Господин маркиз дал мне второй ключ на случай, если бы дамы вышли в сад,—объяснил незнакомец.— Господин маркиз посылает дамам фрукты и сласти.

Он поставил корзину на стол и методично выложил ее содержимое.

Тереза сидела на кровати, слегка ссутулив под шалью голые плечи, и молча следила из полутемной ниши за его движениями.

Незнакомец сделал все, что ему полагалось, но не собиравшись уходить. Он разглядывал Терезу, ее теплое, смуглое, слегка помятое от сна лицо, ее карие, спокойные, как у животного, глаза, ее круглую гладкую шею, ее скрытую шалью полную грудь.

— Я, так сказать, ваш камердинер, мадам,—объявил он, низко, чуть иронически кланяясь.—Фамилию мою французам трудно выговорить. Называйте меня просто Николас.

Его наглые бесцветные глаза над вздернутым носом с широкими ноздрями в упор смотрели на Терезу, полунагую под шалью, накинутой на плечи, окутанную теплом и испарениями своего пышного тела. От первого испуга у нее осталось недоверие к этому человеку, но манера, с какой он разглядывал ее в упор, дерзко, с вожделением, примешивала к неприязни ощущение легкой щекотки. Она сидела, молча уставившись на него своими карими медлительными глазами, и не шевелилась.

— Чем могу служить дамам? Не нужно ли чего сейчас?—спросил он.

Тереза ответила своим ленивым голосом, что должна узнать у матери. Пока она поднималась по лестнице, он провожал ее глазами, угадывая под длинной нижней юбкой соблазнительную округлость бедер. Молодой ее уже нельзя было назвать, но это хорошо сохранившаяся, аппетитная женская плоть.

Тереза спустилась с лестницы в сопровождении старой мадам Левассер.

— Господин маркиз приказал мне, мадам,—все тем же преувеличенно учтивым тоном сказал Николас,—быть всецело к вашим услугам.

Мадам Левассер смирила его взглядом с ног до головы.

— Вы говорите на каком-то чудном французском, сын мой,—сказала она; в ее сиплом, беззвучном голосе послышалась нотка антипатии.

— Я подданный его великобританского величества, мадам,—пояснил Николас.

— Думаю,—сухо сказала мадам Левассер,—что мы особенно не будем вас затруднять, сударь. Разве только если придется сходить за чем-нибудь.

— И верхом можно съездить, если будет угодно,—

сказал Николас и, повернувшись к Терезе, добавил: — А в случае, если мадам пожелает оказать мне честь, я могу обучить ее высшим приемам верховой езды. Я был первым берейтором у мистера Тэтерсолла в Лондоне. Господин маркиз переманил меня к себе, чтобы я привел в порядок его графские конюшни и надзирал за ними.

Тереза разглядывала его без любопытства, но в упор.

— Главное,— сказала мадам Левассер,— чтобы вы не попадались на глаза моему зятю. Он не любит посторонние...— она поискала слово,—...физиономии.

— Что он не любит?— спросил Николас.

— Незнакомые лица,— ответила мадам Левассер.

Николас не сводил глаз со смуглой Терезы.

Когда спала жара, явился, как он и обещал, мосье де Жирарден. Он похвалил обеих женщин, сумевших в столь короткий срок создать уют в комнатах, и пригласил осмотреть парк; он сам будет сопровождать дам, сказал он.

Перед домом их дожидался молодой человек. Жирарден представил им сына, графа Брежи. Фернан присоединился к ним; медленно вчетвером пошли они по дорожкам.

Маркиз, привыкший к выражению восторгов, ждал, что жена и теща Жан-Жака разразятся градом восторженных восклицаний. Но мадам Левассер только сказала:

— Очень мило, прелестно! Не так ли, Тереза?— И вслед за тем: — Какая приятная прохлада!

В конце концов разочарованный маркиз не выдержал и принялся объяснять:

— Этот небольшой виноградник сделан по образцу пейзажа, описанного Жан-Жаком в пятой книге «Новой Элоизы». Помните?

— Ах, и в самом деле,— сказала Тереза.

А мадам Левассер тоже без всякого выражения проговорила:

— «Новая Элоиза»? Да-да, он читал нам кое-что из этой книги, когда писал ее. А писал он «Новую Элоизу» на бумаге с золотым обрезом. И присыпал обязательно голубым и серебряным песком. Мы все это выписывали из Парижа. Интересная книга.

Маркиз был исполнен горечи.

Дорожки сузились. Пришлось разделить на пары. Жирарден и мадам Левассер пошли вперед, Тереза и Фернан следовали за ними.

Тупость этих женщин потрясла Фернана даже больше, чем мосье Жирардена. Фернан видел Терезу в Париже, тогда он не отважился вступать с ней в долгие разговоры, все же он еще там заметил, что Тереза очень ограничена. Он, как и все, знал, что она низкого происхождения, и объяснял себе женитьбу Жан-Жака как символический

акт; брак этот призван был, вероятно, олицетворять его связь с народом.

Теперь, свободный от робости и благоговенья, сковывавших его в Париже, когда он бывал у Жан-Жака, Фернан осмелился получше разглядеть Терезу; ему хотелось обнаружить в ней те простые и прекрасные качества, которыми, несомненно, обладала эта женщина, те добродетели, которые побудили Жан-Жака избрать именно ее спутницей своей жизни.

Он искоса взглянул на нее. Несколько прядей каштановых волос выбились из-под мещанского чепца. Она, видно, ничего не имела против того, что он ее рассматривает, наоборот, она повернулась к нему всем лицом и отвечала спокойными взглядами. У нее были красивые, большие глаза, бездумные, как сама природа. И пусть все, что она говорила, не отличалось значительностью, но ее голос звучал задумчиво. И в походке ее Фернану будто слышалась какая-то ленивая мелодия. Жан-Жак знал, конечно, почему он именно на ней остановил свой выбор.

Тем временем мадам Левассер, идя с маркизом впереди, говорила о вещах практических. Ее зять, поясняя она, очень гордый человек. Он ничем не желает пользоваться безвозмездно. Квартирную плату, например, так же как провизию, присылать из замка, он намерен возместить работой. Больше всего ему улыбалось бы, если бы маркиз соблаговолил давать ему для переписки ноты, как в тот раз, в Париже. Теперь прямо из рук рвут все, что выходит из-под пера Жан-Жака, а он по-прежнему берет все те же двенадцать су за страницу. В Париже она не хотела разговаривать с маркизом на эту тему, но обычно она с Терезой за спиной Жан-Жака договариваются о надбавке и получают ее сами. Поэтому она просит разрешения после расчета господина маркиза с Жан-Жаком представлять свои счета. Но только сохрани бог, чтобы ее многоуважаемый зять узнал об этом.

Маркизу были противны маневры тучной старухи.

— Прошу вас, мадам, делайте так, как полагаете нужным,— ответил он сухо.

Мадам Левассер уловила раздражение в его тоне.

— Что поделаешь, у него есть свои чудачества,— оправдывалась она.— Его возражения всегда прямо-таки в тупик ставят. Ведь он нуждается в покое, да ему и самому очень хотелось переселиться в деревню. Но вы себе и представить не можете, господин маркиз, сколько он упрямился и чего мне стоило уговорить его дать свое согласие на переезд.

— Очень признателен вам за хлопоты,—сдержанно ответил Жирарден.— Я надеюсь лишь, что и учителю и вам пребывание здесь будет во всех отношениях приятно.

— Все было бы просто,—продолжала свои жалобы старуха,—если бы это был нормальный, а не великий человек. Иной раз и вправду кажется, что он немножко тронулся. Здесь, у вас, ведь, безусловно, никто на него не покушается. Но уже в Париже—Тереза давеча говорила вам—он ворчал: «Помни, чтобы дом всегда был на запоре».

Маркиз понял угрозу. Если он своевременно не договорится с этой гарпией, она запрет Жан-Жака в доме, и он, Жиранден, хотя у него и есть второй ключ, останется в дураках.

— Само собой разумеется, мадам,—ответил он,—все мы готовы всячески считаться с потребностью мосье Жан-Жака в уединении. С другой стороны, мне бы, конечно, хотелось время от времени видеть учителя и внимать его речам.—Он остановился, слегка коснулся кончиком трости старухи и сказал:—Если вы мне в этом поможете, мадам, рассчитывайте на мою признательность.

Мадам Левассер взглянула на него черными, хитрыми, быстрыми глазками.

— По рукам, господин маркиз,—сказала она.—За мной дело не станет.

Глава третья

ЖАН-ЖАК ПОКИДАЕТ ПАРИЖ

Человек, вокруг которого шел этот торг, Жан-Жак Руссо, распроставшись с улицей Плятриер уже неделю тому назад, действительно намерен был отправиться в Эрменонвиль. Он хотел пройти весь путь пешком, он любил такие путешествия. До Эрменонвиля было не так уж далеко, двенадцать—четырнадцать часов хода спокойным шагом.

На нем был черный сюртук горожанина и черные чулки. В дорожном мешке у него лежали лишь самые необходимые вещи. Он опирался на посох, к которому привык, путешествуя пешком по своей родной Швейцарии. Так шел он по улицам Парижа, изможденный шестидесятишестилетний человек, слегка сутулый; шел, однако, быстрой, бодрой походкой. Его неудержимо влекло к деревьям, не покрытым пылью, не окутанным чадом, он хотел среди вольной природы один на один говорить с водами ручьев и рек, с ветром, запутавшимся в ветвях, с собственным сердцем и с богом. Он хотел бежать из Парижа: в каждом парижанине он видел врага. Он и бежал, ведь это было подлинное бегство.

Но, дойдя до городской черты, он замедлил шаг. Одна еще неясная мысль, все последние дни не дававшая ему покоя, хотя он не позволял себе додумывать ее до конца, вдруг стала отчетливой, о чем-то напоминая, связывая движения. Нет, он еще не вправе уйти. Прежде чем покинуть нечестивый город, он должен еще раз, последний раз, воззвать к нему—ради своего великого дела.

В эти тяжелые годы жизни в Париже он написал книгу «Руссо—судья Жан-Жака». Мысленно он называл свое произведение «Диалоги»: он спорил в нем с самим собой, обвиняя себя, оправдывая себя, раскрывая свое сердце. Эта книга не предназначалась для современников, она должна была воочию показать потомкам, как не понимало и с каким бессмысленным коварством преследовало его современное ему общество.

Что проделывали с его рукописями при издании их? Лжедрузья тайно снимали с них копии и, чтобы очернить его, публиковали в искаженном виде: меняли отдельные фразы, придавая им обратный смысл. Он хотел уберечь свою великую книгу самооправдания от подобной участи. А что, если этот человек, этот Жиранден, к которому он направляется, окажется таким же вероломным тайным врагом? Что, если он только выжидает случая, чтобы вырвать у него рукопись? Разве не обязан Жан-Жак Руссо перед собой и миром найти для своей книги надежного защитника?

Из туманных мыслей последних дней возник план действий. Надо обратиться к провидению. Воззвать к нему, пусть из недр Неизвестного пошлет человека, которому он сможет доверить свою рукопись. А если судьба откажет ему в этом, если он такого человека не найдет, он передаст свою рукопись самому богу, положит ее на алтарь.

Но осуществление этого плана требовало нового, большого, очень тонко написанного творения. Он мог бы вернуться к себе на квартиру, но опасался, что Тереза и ее мать попытаются отговорить его от задуманного, а он изнемог, у него нет сил для новых перепалок. Где найти ему, гонимому со всех сторон, такого друга, который без долгих расспросов приютил и выручил бы его?

На ум ему пришел один-единственный человек, не навязчивый, с простым, хорошим лицом. Звали его Франсуа Дюси, он сочинял трагедии и глубоко страдал Жан-Жаку в его бедах.

К нему-то украдкой и направился Жан-Жак. Попросил Дюси приютить его у себя на одну-две ночи, никому ничего об этом не говоря. И сам Дюси пусть не тревожит его. Потом сказал, что ему нужны бумага, чернила и перья. Дюси без лишних слов все исполнил.

Жан-Жак принялся за работу. В пламенных словах взывал он ко всем тем французам, которые еще почитают право и правду. «Почему меня, одинокого, многострадального человека, вот уж пятнадцать лет унижают, высмеивают, оскорбляют, отказывают в признании, никогда не говоря мне, за что? Почему только я один не знаю, за что меня обрекли на эти муки? Французы! Вас обманывают, и так оно будет, пока я живу».

Все, что он писал, шло из глубины честного, отчаявшегося сердца, но снова и снова выражал он свои мысли и чувства в темных, витиеватых словах, и те, кто не знал близко творений, жизни Жан-Жака, его существа, с трудом могли бы понять его.

Он исправлял текст воззвания, сжимал, расширял, потом, придав ему форму прокламации, заготовил много копий. Он писал весь долгий день. Писал и при свечах всю ночь напролет. Пересчитал количество листков, заготовленных им,—их было тридцать шесть. Достаточно, вероятно, чтобы умиловить случай и найти своему великому произведению достойного читателя.

Так же тайно, как он появился, он покинул квартиру Дюси. Прокламации он рассовал по карманам и за обшлага рукавов; книга его самооправдания—«Диалоги»—опять лежала в дорожном мешке.

Он направился в Люксембургский сад. В одной из безлюдных аллей выбрал скамью. Достал из карманов листки, из саквояжа—объемистую, обернутую плотной бумагой рукопись. Так сидел он в тенистом уголке, худой, изможденный старик, с испитым, изрезанным морщинами лицом, бессильно опустив плечи, положив возле себя «Диалоги» и воззвания—этот крик мольбы о человеке, который поймет его. Он смотрел на пляшущие солнечные зайчики под колышущейся листвой, радовался легкому весеннему ветерку; собирал силы для задуманного отважного шага.

Внимательно оглядывал гуляющих. Он умел читать в человеческих лицах. Если пройдет кто-нибудь, кто покажется ему отзывчивым, он даст ему воззвание, и если прочитавший листок выкажет взволнованность, Жан-Жак вручит ему свою большую рукопись, чтобы тот сохранил ее для грядущих поколений.

Здесь было мало прохожих. Но все они шли медленно, не торопясь, они гуляли, они грезили, они думали о чем-то своем, у Жан-Жака было время внимательно вглядываться в лица.

Гуляющих становилось все больше. Но ни одно лицо не внушало ему надежды, что от брошенной им искры оно озарится светом. Однако нельзя больше колебаться, нельзя больше увливать, надо наконец сделать попытку.

Вот идет пожилой господин, идет неторопливой походкой, лицо у него приветливое, и как раз никого нет поблизости. Жан-Жак подходит и протягивает листок.

— Прошу вас, мосье, возьмите и прочитайте,— говорит он своим грудным красивым голосом.

Седой господин не знает, как отнестись к этому непонятному человеку.

— Сколько стоит ваша брошюра?— осторожно спрашивает он.

— Прчитите, мосье, это все, чего я хочу,— настойчиво просит Жан-Жак.— Прчитите во имя человечности, во имя справедливости.

Господин, недоверчиво насупившись, начинает читать. «О вы, граждане Франции,— читает он,— граждане того народа, который некогда был таким сердечным, таким добрым, что стало с вами?»

«Ах,— подумал он,— это очевидно, один из тех псевдо-философов, тех фантазеров, которые хотят перестроить Францию и весь мир». Он читает еще несколько строк. А потом наставительно, ибо сам он был философ, но философ с холодным рассудком и чувством меры, он сказал Жан-Жаку:

— Вы тут написали какую-то заумь, друг мой. Вы не усвоили того, чему учились. Вам нужно бы сначала заняться простыми книгами по истории, географии. А затем, получив некоторую подготовку, вы могли бы приступить к Вольтеру или Руссо.

— Дочитайте, по крайней мере, до конца,— слабо попросил Жан-Жак.

Но господину уже надоели и этот человек, и его воззвание.

— Благодарю, мой друг,— сказал он и вернул Жан-Жаку листок.— Мне все ясно.— И размеренным шагом, но не мешкая, удалился.

Жан-Жак сел, глубоко вздохнул, закрыл глаза. Снова набрался смелости. Мимо шла молодая дама. Женщины всегда понимали его лучше мужчин. Дама красивым естественным движением держала над собой зонтик, под ним светилося нежное, тонкое лицо. Несомненно, она читала «Новую Элоизу» и плакала над ней, несомненно, его идеи запечатлелись в ее сердце. Жан-Жак подошел.

— Я несчастный человек, мадам,— сказал он тихим, вкрадчивым голосом, и так как она, испугавшись, собиралась быстро пройти мимо, он поспешил добавить:— Уделите мне минуту внимания, мадам. Прошу вас от имени всех гонимых созданий.

Дама замедлила шаг.

— Пожалуйста, прочитайте,— горячо продолжал Жан-Жак,— и вы тотчас увидите: это голос человека, которому

причинили неслыханные страдания и обиды. Подарите мне десять минут, заклинаю вас. Прошу вас, мадам, прочитайте!—И он протянул ей воззвание.

Дама остановилась. Она и в самом деле читала «Новую Элоизу» и была впечатлительна, этот явно опустившийся человек показался ей интересным, что-то в его голосе тронуло ее. Но у нее здесь, в саду, было назначено свидание с другом, она могла побыть с ним всего двадцать минут, не он ли уж показался в конце аллеи?

— Успокойтесь, сударь, успокойтесь,—сказала она участливо и не взяла его воззвания.

Измученный, сидел он на своей скамье. О, если бы он мог немедленно бежать отсюда, покинуть этот тупой, бесчувственный Париж! Но он еще не смеет разрешить себе это. Он должен в последний раз воззвать к великому городу.

Вот, читая на ходу, проходит молодой человек, по-видимому, студент. Жан-Жак опять попытается. Молодые, чье сердце еще не очерствело, чей ум еще не извращен, понимали его лучше старых. Он порывисто бросился к студенту. Тот, вздрогнув от неожиданности, поднял голову и растерянно посмотрел на бедно одетого старика.

— Прочтите, дорогой мосье, прочтите!—заклинал Жан-Жак юношу, протягивая ему листок.

Студенту, вероятно, еще и двадцати не минуло, но он был парижанин, он знал жизнь и не сомневался, что старик, конечно, пристаёт к нему с рекламой какого-нибудь шарлатанского препарата или дома терпимости.

— Пожалуйста, дедушка, если этого вам так хочется,—сказал он, слегка посмеиваясь, взял листовку, начал читать—что-то очень истерическое, в стиле чувствуется влияние Жан-Жака, а вообще ничего нельзя понять. Он оглядел старика, который стоял перед ним, ожидая, горя нетерпением, требуя. Какие у него удивительные глаза! Как они блестят! Ведь это...

— Простите,—неуверенно сказал студент,—но я, кажется, имею честь разговаривать с самим мосье Жан-Жаком, не так ли?

Жан-Жак, смущенный, почти испуганный, отвернулся, покраснел.

— Ну конечно же, вы Жан-Жак!—воскликнул студент.—Какое неожиданное счастье! Скажите, можно мне оставить у себя этот листок?—спросил он взволнованно.

Двое молодых людей остановились, заинтересованные восторженной жестикующей студента и робким видом старика.

— Это Жан-Жак!—провозгласил студент.—Жан-Жак Руссо!

— В самом деле! Жан-Жак!—хором воскликнули подшедшие молодые люди.—А газеты вчера сообщали, будто бы Жан-Жак болен и его вовсе нет в городе.

Подошел еще кто-то и еще кто-то, в толпе перешептывались, Жан-Жака окружили. Растерянный, он бросился к своей скамье, одним движением сгреб листовки, сунул объемистую рукопись в дорожный мешок. Толпа кинулась за ним. Он просил молящим голосом:

— Пропустите меня, многоуважаемые месье и медам! Оставьте меня одного! У меня срочные, очень срочные дела!

Упорствуя, нехотя, они пропустили его, некоторое время следовали за ним в отдалении и постепенно расселись.

У него были действительно срочные дела. Теперь, когда люди его оттолкнули, он сделает так, как повелел ему внутренний голос,—он обратится к своему создателю, к богу, заступнику всех угнетенных, ревнителю правды и справедливости. В сердце у него звучал стих из Библии: «Господи, дай мне пасть в твои руки, но не дай мне пасть в руки людей». И невольно он—музыкант и писатель—все время, пока шел к божьему дому, изменял эту строфу, подбирая все новые и новые слова, звучные, трогательные.

Но вот он уже на мосту. Перед ним поднимается громада из серого камня—собор Парижской богородицы. Тридцать шесть лет назад он впервые увидел собор, с тех пор был в нем бесчисленное количество раз, досконально знал все его обычаи и порядки. Он рассчитал, что в этот день там никого не будет, и он возложит свое творение на главный алтарь собора Парижской богородицы, этого благороднейшего из храмов.

Как всегда, при виде громадного и вместе с тем легкого здания собора на него снизошли тишина и смирение. Он пересек площадь. Ему казалось, что он сейчас окунется в целительный мрак тенистого леса.

Он вошел в храм через боковую дверь. Направился к алтарю благоговейным, смиренным шагом. Паломник.

Сердце у него остановилось. Алтарь был заперт. Никогда за все эти тридцать шесть лет не было случая, чтобы в субботу алтарь был заперт. А сегодня перед ним—железная, неумолимая решетка. Свершилось страшное чудо. Бог не принял его самооправдания. Бог, как и люди, отверг его.

Он бежал из собора с неподобающей поспешностью. Он бежал по улицам Парижа, словно за ним была погоня, он спешил переступить черту города, выбраться на волю, уйти от близости людей.

Глава четвертая

НАЗАД, К ПРИРОДЕ

Но не сразу обрел Жан-Жак одиночество, которое искал. Здесь, под Парижем, земля была вдоль и поперек изрезана оживленными дорогами и тропинками, по которым двигались экипажи, всадники, пешеходы. И потом, уже в более отдаленных, безлюдных окрестностях города, он все еще не чувствовал уединения. Правда, реже, но по-прежнему еще встречались пешеходы, всадники, кареты. Было время, когда дела, зависимое положение и коммерческие авантюры заставляли его, разыгрывая из себя барина, разъезжать в карете, с соответствующим багажом. Он не мог избавиться от забот, больших и малых, от страха перед пассажирами и необходимости считаться с ними. В поездках он ничего не испытывал, кроме страстного желания поскорее прибыть на место. Насколько приятнее и свободнее он чувствует себя сейчас. Его не интересует, когда он прибудет в Эрменонвиль, — завтра, послезавтра или еще через два дня; скоро, скоро, как только навстречу ему перестанут попадаться люди, он почувствует радость от движения, от смены дорог, от красоты природы.

Вот наконец город далеко позади. Жан-Жак сошел с широкой дороги, выбрал узкую тропинку, потом — еще более узкую стежку. Затерялся среди полей и лесов. И вскоре терзавшее его отчаяние уступило место почти что утешительной покорности судьбе.

На опушке леса он присел на пенек. Отдыхал.

Какое благо быть одному! Издали слабости людей бледнеют; когда люди далеко, от них не требуешь качеств, которыми они не обладают. Хорошо, что закон его внутреннего склада неизменно возвращает его к природе, к тем «неодушевленным» предметам, которые наполняют его сердце упоительными чувствами и ощущениями. Как быстро в тишине природы уходят тревоги и отчаяние. Глупые люди говорят, что только злодеи бегут от своих ближних. Верно обратное. Для дурного человека остаться наедине с собой, должно быть, адская мука, а для доброго одиночество — рай.

Медленно рассеивались мысли. Он впал в то сладостное состояние грусти и грез, когда в душе живут только образы и музыка. Он слился с окружающей природой, с деревьями, мхом, жучками и муравьями, он был частью этого леса, он весь обратился в чувство. Бремя бесплодных размышлений, тщеславных слов не тяготило его более; где-то там, очень далеко, остался тяжелый долг писательства.

Весь остаток дня он шел, куда его влекло, по наитию, он лишь приблизительно держался направления на Эрменонвиль, не страшась путаных кружных дорог.

Наступил вечер, и он решил заночевать под открытым небом, как ему не раз приходилось. Он растянулся на мху под деревом. Сквозь ветви смотрел в высокое небо, сначала бледное, потом потемневшее. Ушла куда-то болезненная жажда показать равнодушным, очерствевшим людям, как чисто его сердце и как глаза их слепы. Легко и радостно заснул он.

И на следующий день, и на третий день он шел без цели, уверенный, что придет к цели, и только на четвертый добрался до деревни Эрменонвиль.

Сделал привал в трактире «Под каштанами». Уселся за один из непокрытых деревянных столов в саду. Кругом росли незатейливые цветы, невдалеке блестел небольшой пруд с вершами.

Подошел хозяин, по-деревенски небрежно одетый, — штаны и рубашка, на голове колпак. С добродушной бесцеремонностью разглядывая запыленного путника, его заросшее щетиной лицо, он спросил, что гость будет есть. Жан-Жак заказал омлет и вина. По улице прошел священник, читая свой требник. Хозяин и Жан-Жак поздоровались с ним.

— Здравствуйте, папаша Морис! Здравствуйте, мосье! — ответил священник.

Хозяин принес завтрак. Жан-Жак с удовольствием ел омлет и неторопливыми глотками прихлебывал темно-золотистое вино. Хозяин болтал с ним. Вдруг его что-то поразило в лице посетителя. Папаша Морис встал, снял колпак и спросил взволнованно и почтительно, не с великим ли Жан-Жаком Руссо он говорит. Жан-Жак с легкой досадой подтвердил. Папаша Морис сказал, что он перечитывал произведения Жан-Жака семь раз, страницу за страницей, и семь раз они его трогали до слез. Кстати, в замке, где мосье Жан-Жака боготворят, его ждут с превеликим нетерпением.

Жан-Жак пожалел, что миновали дни прекрасной бездумной безымянности.

Папаша Морис послал свою дочурку в замок с вестью о прибытии желанного гостя. Девочка встретила маркиза, окруженного мастеровыми и садовниками, в парке. Маркиз громко выразил свою радость, поцеловал маленькую вестницу и тут же поспешил в деревню за Жан-Жаком.

В самом деле, здесь, под каштанами деревенского трактира, сидел величайший — со времен Монтеня и Декарта — мыслитель, которого дал народ, говорящий на французском языке; сидел и беседовал с папашей Морисом, как равный с равным; так, вероятно, Сократ разгова-

ривал с первым встречным или даже с рабом. Умиление охватило маркиза, он подошел к Жан-Жаку.

— Разрешите мне, о великий муж!—воскликнул он и, отложив свою трость, обнял гостя. Потом отступил на шаг.—Добро пожаловать в Эрменонвиль, Жан-Жак Руссо!—произнес он торжественно и взволнованно.

Он повел Жан-Жака к дому, временно предназначенному для него. Проходя по парку, Жан-Жак сразу увидел, что этот пейзаж создан по его описаниям. Он остановился, посмотрел своими красивыми, выразительными глазами в лицо Жирардену и сказал:

— Это мой пейзаж, это места моей Юлии.

Радость залила сердце маркиза, но он сдержанно ответил:

— Да, мосье Жан-Жак, я сделал скромную попытку скопировать ваш пейзаж.

Так, беседуя, подошли они к Летнему дому.

— Прошу вас на несколько недель удовольствоваться этим павильоном. Другое—простое, но с любовью задуманное жилище сейчас заканчивается. Родная вам швейцарская пастушья хижина, в которой, я надеюсь, вы будете здравствовать долгие годы.

Жан-Жак разглядывал Летний дом, высокие деревья, окружавшие его, деревянный забор, ручей с сельским решетчатым мостиком, маленький водопад. Он пожал руку маркизу.

— Благодарю вас, сударь. *Nos erat in votis*—об этом я мечтал.

Жирардену хотелось многое сказать Жан-Жаку, но он совладал с собой. Он только вынул из кармана сюртука очень большой сложный ключ.

— Этот ключ,—сказал он,—отопрет вам, глубокочтимый муж, все ворота и двери на территории Эрменонвиля. А теперь оставляю вас вашим дамам,—быстро прибавил он и удалился, чтобы в конце концов все же не утомить гостя выражением своих чувств.

Жан-Жак вошел в дом. Увидел Терезу. Понял, как сильно ее не хватало ему в эти последние ужасные дни в Париже,—ведь она его защита от враждебности окружающего мира, единственный человек на земле, в чьем присутствии он чувствует себя в безопасности. И в ее сонных глазах что-то медленно затеплилось. Он обнял ее. Она не спросила, почему он так долго не приезжал. Она явно обрадовалась, что он наконец здесь.

Жан-Жак осматривал свое новое жилище. Повсюду стояли привычные, полюбившиеся вещи. Вот простые стулья с плетеными сиденьями, вот спинет с неизменно заваливающимся «си», комод, шкаф. Сквозь подхваченные лентой, приветливые, белые с голубым занавеси над

альковом виднеются кровати, покрытые такими же белыми с голубым одеялами. Вот письменный стол с большим чернильным прибором, ножик, которым он обычно подчищает нотные листы. Тут же и ларь с его рукописями. На камине, под зеркалом, расставлены кофейник и чашки. На стенах — две гравюры его работы: «Лес Монморанси» и «Дети кормят парализованного нищего». Здесь, в книжном шкафу орехового дерева, — его книги и ноты. А вот клетка с обеими канарейками. Хорошо сделали женщины, что расставили мебель совсем как в парижской квартире. Но насколько приветливее кажется в этих комнатах привычная обстановка! В Париже на подоконниках стояло несколько жалких комнатных растений в горшках. А тут в большие окна заглядывают со всех сторон деревья и кусты, слышно журчание ручья, стены комнаты как бы исчезают, и она сливается с общим пейзажем.

Да, остановив свой выбор на Эрменонвиле, Тереза лишний раз доказала, что она — орудие всевышнего. Здесь, в счастливом уединении, он проживет свои последние годы.

День близился к концу. Повеяло прохладой. Тереза распаковала его дорожный мешок. Он положил свою рукопись в ларь, к остальным. Сел в любимое большое деревянное кресло с подлокотниками и плетеным сиденьем. Наслаждался покоем своего нового жилья.

Тихий отчетливый стук заставил его вздрогнуть. По тому, как скромно, как благоговейно его встретил маркиз, он надеялся, что никто из обитателей замка не станет тревожить его покой. Но вот они все-таки осаждают его. Пока Тереза бежала к дверям, он с досадой встал, отвернулся от дверей и подошел к окну полюбоваться зеленым садом.

Тереза открыла двери и вышла в сад. Когда она вернулась, лицо Жан-Жака было искажено гримасой ужаса и отвращения.

— Что случилось? Что с тобой? — спросила она.

Он ничего не ответил.

В окне, к которому он подошел, появилась чья-то голова: отталкивающее, враждебное лицо, белесые злые глаза, рыжеватые волосы, приплюснутый нос с крупными ноздрями. Глаза пристально смотрели на него, ухмылялись. Его выследили, враги заслали своих соглядатаев и сюда.

Тереза привыкла к тому, что во время таких приступов он не отвечал ни на какие вопросы. Она пожала плечами и внесла в комнату стоявшую под дверью корзину с фруктами, холодным мясом, печеньем и сладостями. Объяснила, что это маркиз, вероятно, захотел приветствовать Жан-Жака в своем замке и что корзину принес слуга,

приставленный к ним, которому маркиз приказал не появляться в доме.

Жан-Жак постепенно успокоился. К тому времени, как сверху спустилась старая мадам Левассер, по лицу его уже ничего нельзя было заметить.

Ночь он провел спокойно.

Назавтра он встал рано, как всегда, когда бывал в деревне. Тереза приготовила незатейливый завтрак: кофе, молоко, хлеб и масло. Старуха еще спала. Они ели, пили и вели ленивый разговор о повседневных делах.

Воспользовавшись его ровным настроением, Тереза спросила, как он себя чувствует. С юных лет Жан-Жак страдал болезнью мочевого пузыря, причинявшей ему часто сильные боли, связанные с мучительными задержаниями урины. Нередко поступки его и все поведение определялось этим недугом. Он избегал говорить о нем, даже доктору Лебегу нелегко было выпытывать у него подробности.

Только с Терезой он не скрытничал, перед ней он не стеснялся сетовать на проклятую хворь, позволял лечить себя. Тереза с радостью слышала, что в эти последние тяжкие дни в Париже болезнь пощадила его, хотя обычно сильные волнения сопровождались приступами.

После завтрака он взял свою палку и вышел из дому познакомиться с миром, в котором отныне ему предстояло жить. С удовольствием поддался он иллюзии этого многообразия пейзажей. Тут были и пастбища, и перелески, и кустарники, и дремучая чаща, и пустынный горный пейзаж, и сквозистая роща. Тут были картины природы, создатель которых ребячески и вместе с тем так умно стремился напомнить о тех местах, в которых жили люди в его, Жан-Жака, книгах; фантазия Жан-Жака с легкостью раздвигала рамки этих очаровательных, искусных насаждений, перенося его в края, где он испытал столько сладостных мук и испепеляющих страстей.

Узкая извилистая тропинка вела на вершину лесистого холма. Поднявшись до половины его, Жан-Жак увидел перед собой голое плато, усеянное камнями и утесами. Была тут и хижина, сколоченная из грубых бревен. Жан-Жак присел на один из массивных камней. Перед ним открылся чудесный вид на маленькое темное озеро и цепь лесистых холмов, вырисовывавшихся на горизонте.

Он спустился вниз, пошел вдоль мягко поблескивавшего озера. На берегах его, как бы приглашая воспользоваться, лежали лодки, а на косе, вклинившейся в озеро, стояла высокая, пышно разросшаяся, прекрасная ива, и ветви ее нависали над водой. Напротив темнел маленький остров. Жан-Жак тотчас же влюбился в него. Трепещущая листва высоких тополей на островке отражалась в зеркале

воды. Под густыми колышущимися ветвями ивы зеленела узкая скамья из дерна. Этот превосходный уголок был как бы создан для тех благословенных прогулок, которые он, Жан-Жак, так любил, для неторопливой сладостной грусти, для меланхолических грез.

Он побрел дальше. Вверялся тропинкам, терявшимся в лесной чаще. Дошел до границ парка, который незаметно переходил в широкий простор полей и лесов.

Повернул назад и пошел в сторону замка. Попал в рощу. Здесь были старые деревья, запущенные и разросшиеся, густо обвитые плющом. Повсюду торчали покрытые мхом пни. Кроны деревьев переплелись и образовали зеленый свод. В этом светлом, милом лесу росли крупные цветы, свет и тени чарующе и причудливо играли на мшистой земле.

Жан-Жак пошел по берегу маленького ручейка, пересекавшего рощу. Сквозь поредевшие деревья показался полого поднимающийся луг. По ту сторону, на краю его, плотники воздвигали небольшой дом. Жан-Жак тотчас же догадался, что это и есть та самая пастушья хижина, которая предназначена для него, тот самый швейцарский домик, о котором говорил маркиз. Издали Жан-Жак не различал отдельные лица, но ему показалось, что там был и Жирарден и что теперь Жирарден ушел, скромно скрывшись из виду, потому что он, Жан-Жак, приближался. Жан-Жак улыбнулся, тронутый чуткостью маркиза.

Он присел на пенек и задумчиво глядел, как строится уютный домик, приют его старости, строится на клочке земли, превращенной в мир «Новой Элоизы». Времена смешались: далекое светлое прошлое, в грезах протекающее настоящее, предчувствие тихих дней будущего в этом маленьком домике.

Долго сидел он так, без страстей, без желаний, счастливый. Солнце поднялось высоко, он потерял счет времени.

Когда он вернулся в Летний дом, оказалось, что жаркое пересохло. Мадам Левассер ворчала, Тереза не ворчала, но видно было, что ей жаль вкусного обеда, который перестоялся.

Глава пятая

ФЕРНАН—УЧЕНИК ЖАН-ЖАКА

Мадам Левассер с гордостью сообщила маркизу, что она уговорила своего уважаемого зятя принять приглашение мосье де Жирардена завтра у него отужинать. Это было не так-то просто.

Мадам Левассер лгала. Жан-Жак, тронутый видом швейцарского домика и еще больше—удивительной чуткостью и скромностью Жирардена, без ее уговоров сказал, что завтра вечером он нанесет визит маркизу.

В замке царило праздничное оживление. Наставник Фернана, робкий эльзасец мосье Гербер, был взволнован не менее остальных. Фернан с разрешения отца послал слугу в Латур: Жильберта непременно должна разделить с ним счастье сегодняшнего события.

Жан-Жака встретили у парадного подъезда. Руссо был педантически аккуратно одет в скромный сюртук горожанина и держал себя просто и приветливо. Сердечно поздоровался с Фернаном и внимательно посмотрел на Жильберту и мосье Гербера, которых еще не знал. Он даже подошел к ним поближе, чтобы лучше разглядеть; он был близорук, но когда доктор Лебег посоветовал ему носить очки или пользоваться лорнетом, он с досадой отмахнулся от него. Природа знает, почему она того или иного наделяет слабым зрением. Не следует быть умнее природы.

Во встрече гостя принимала участие рыжая ирландская собака из породы легавых, красивая, длинношерстая. Она с радостным, возбужденным лаем насккивала на Жан-Жака, прыгала вокруг него, и когда он ее погладил, ласково что-то приговаривая, с видимым удовольствием приняла это.

— Батюшка привез мне Леди из Англии,—сказал Фернан.

— О, он привез вам чрезвычайно ценное и красивое животное,—со знанием дела ответил, улыбаясь, Жан-Жак.

Замок Эрменонвиль был обставлен солидно, со вкусом, без излишней роскоши. Особенно понравилась Жан-Жаку музыкальная комната со множеством инструментов, пультов, нот.

Он начал рассказывать о своей прогулке и в присутствии всего общества,—как радостно забилося сердце у маркиза!—с полным пониманием превозносил красоты парка. Он все увидел, даже надписи. Упомянул и о строящемся швейцарском домике и сам теперь называл весь этот уголок «Кларанским раем».

Когда встали из-за стола и маркиз спросил, не пожелает ли Жан-Жак немножко помузицировать, он без всякого жеманства сел за фортепиано, похвалил прекрасный инструмент, играл и пел «Я жду, не дождусь» и «Влюбляйтесь, влюбляйтесь в пятнадцать лет!». Он спел еще много маленьких, нежных, наивных народных песенок, переложенных им на музыку; голос у него был грудной, немного усталый, но теплого, задушевного тембра.

— Хватит,—прервал он себя наконец.—Хорошо было бы услышать теперь молодой голос,—обратился он к Жирардену.

— Пригласите мадемуазель де Латур что-либо спеть, батюшка,—отважился предложить Фернан. Отец, хорошо расположенный, ответил:

— Если тебе этого хочется, граф,—и склонился в поклоне перед Жильбертой.

Жан-Жак несколько разочаровал Жильберту. Подчеркнутая скромность его костюма показалась ей нарочитой, а когда он почти вплотную приближался к собеседнику, глядя в упор, она едва удерживалась от смеха. Да он и не высказал ни одной сколько-нибудь значительной мысли. Нет, знаменитый человек не произвел на нее впечатления.

Приглашенная маркизом, она без всякой застенчивости спросила Жан-Жака, не поет ли он с ней свой дуэт «Там, в глубине долины счастья». Учитель, изумленный такой непочтительностью, уставился на высокую свежую девушку своими большими близорукими глазами.

— Сегодня я петь больше не буду, мадемуазель,—сухо сказал он.

Наступило неловкое молчание. Жильберта не обиделась, она взяла в руки лютню и, выполняя просьбу, запела.

Она пела о короле Генрихе и красавице Габриели. Это была солдатская песня, которая стала как бы гимном замка Эрменонвиль. Некогда Генрих Четвертый, или Великий, вместе со своей прекрасной подругой Габриелью д'Эстре часто посещал своего друга и соратника де Вика в его замке Эрменонвиль. Башня, где она жила, Башня Габриели, хорошо сохранилась, сувениры, связанные с пребыванием Габриели и короля, были во множестве рассеяны по всему замку. «Когда король Генрих Четвертый,—пела Жильберта,—

Устал от побед наконец,
Он сделал своею квартирой
Излюбленный этот дворец.
С красавицей Габриелью
Он здесь веселился не раз.
И вспоминать об этом
Нам радостно и сейчас»¹.

Жан-Жак молча прослушал песню. Фернану было больно, что его подруге Жильберте не посчастливилось снискать похвалу учителя.

Повернувшись к Фернану, он спросил:

— И вы также занимаетесь музыкой, сударь?

¹ Стихи здесь и далее в переводе Л. Гинзбурга.

Фернан, смущаясь, сказал, что он немного обучался игре на фортепиано. Не сказал он лишь того, что ему гораздо больше хотелось учиться игре на скрипке, но по каким-то соображениям маркиз не соглашался на это. Больше того, когда он обнаружил, что Фернан тайно обучается у своего воспитателя Гербера, страстного скрипача, он во имя поддержания дисциплины разбил скрипку.

Теперь, как бы оправдываясь перед гостем, маркиз рассказал, что он воспитывал Фернана по принципам, провозглашенным Жан-Жаком в его педагогическом романе «Эмиль». Чтобы не разнеживать юного графа, он заставлял его совершать большие прогулки пешком и даже зимой купаться в озере. Он следил также за тем, чтобы сын постоянно соприкасался с народом. С этой целью Фернан обучался чтению, письму и счету у деревенского учителя Филиппа Арле вместе с крестьянскими детьми из Эрменонвиля, в играх которых мальчик также принимал участие.

— Это, разумеется, не мешало его занятиям искусствами и науками. Наш милый ученый Гербер преподавал ему классическую литературу и основы этики, а также немецкий язык, которым сам он, как эльзасец, превосходно владеет.— Жирарден отвесил легкий поклон в сторону мосье Гербера.— Я хотел, чтобы сын мой читал и понимал чудесные идиллии великого Гесснера, немецкого Жан-Жака, на том языке, на котором они были прочувствованы и написаны.

Тогда как мадемуазель де Латур своей развязностью пришлась не по душе Жан-Жаку, к застенчивому Фернану, который стоял рядом с отцом, краснея всякий раз, когда тот о нем заговаривал, капризное сердце Жан-Жака сразу расположилось.

— Так ведь молодой граф в десять раз учение меня, старика,— пошутил Руссо. И, трепля по голове Леди, которая внимательно смотрела на него своими добрыми влажными глазами, он обратился к маркизу:— Тем не менее, мне хотелось бы, если разрешите, принять участие в воспитании вашего уважаемого сына и таким образом частично возместить плату за квартиру. Я вам дела не испорчу, мосье Гербер. Я намерен лишь, если молодому графу угодно иногда сопровождать меня в моих прогулках, беседовать с ним обо всем, что придет в голову.

Выражая величайшее удовольствие и горячо благодаря, маркиз принял предложение учителя. Фернана захлестнула волна радости. Он лишь сожалел, что учитель так холодно отнесся к Жильберте. А самое Жильберту это, видимо, мало трогало.

Отныне Жан-Жак и Фернан часто гуляли вместе; обычно и Леди увязывалась за ними. Жан-Жак не обсу-

дал с Фернаном философских вопросов, но юноше все о речи, даже когда он говорил о мелочах повседневной жизни, казались значительными.

Вдвоем они вдоль и поперек исследовали парк и окрестности Эрменонвиля, обнаруживая на редкость много укромных уголков и тайн. Фернан показал Жан-Жаку «свою» лесную лужайку. Учителю понравилась ее тишина, уединенность.

— На вашей лужайке должно быть великолепное эхо,—сказал он, раньше чем Фернан обратил на это его внимание, и тотчас же по-мальчишески попробовал.— Большое спасибо, милый мой Фернан!—крикнул он в сторону леса. «Милый мой Фернан»,—отозвалось эхо; впервые Жан-Жак назвал юношу по имени, и Фернан радостно вспыхнул.

— Я счастлив, мосье Жан-Жак!—крикнул он в сумеречную чащу. «Мосье Жан-Жак»,—ответил лес.

Жан-Жак ласково улыбнулся Фернану. А затем встал и крикнул своим грудным голосом:

— Свобода и равенство!

— Свобода и равенство!—крикнул Фернан, повернувшись в противоположную сторону. «Свобода и равенство!»—откликнулось со всех сторон. Но на этот раз отклик был смятым, искаженный и грозный, и они больше не вызывали эхо.

К молодым людям Жан-Жак не испытывал неприязни: они были еще близки к природе и понимали его. В обществе Фернана Жан-Жак веселился, как дитя. Порой он больше ребячился, чем Фернан. Когда Фернан собирал для его канареек их любимый корм: немного очной травы, кошачьей лапки и мокричника—мелкое красноватое растение,—этот ожесточившийся человек, который не принимал подарков от знатных особ, благодарил его с видимой радостью.

Охотно, но без менторства рассказывал Жан-Жак о природе и жизни растений. Ботаника—чудесная наука. Опыт и знания можно приобретать, гуляя. Жан-Жак составлял себе гербарий, он начал новый альбом, в котором засушивал растения, собранные в Эрменонвиле. Фернан помогал ему засушивать их. Позднее, говорил Жан-Жак, ему достаточно будет взглянуть на «флору Эрменонвиля», и перед ним, как живые, встанут эти леса, долины и холмы.

Без всякого перехода он заговаривал о больших проблемах: о границах государственной власти, о естественных правах человека, о разумном общественном строе, не противоречащем природе человека.

В дружбе с учителем Фернан видел осуществление своей заветной мечты; это было огромное счастье. Одно

его огорчало. Он не решался делиться своим счастьем с Жильбертой. Ведь она, наверное, очень страдает, что Жан-Жак невзлюбил ее. Бережно выбирая слова, он утешал подругу. Но Жильберта не нуждалась в утешении. Крупной, сильной рукой отмахнулась она от причуд капризного старика.

— Меня трогают только его книги,— сказала она.— Я читаю «Новую Элоизу», и за нее я ему благодарна.

А вообще говоря у Жильберты были совсем другие заботы. Ей предстояло на некоторое время покинуть Латур. Она уезжала с дедушкой в его замечательное поместье под Версалем, Сен-Вигор. Мосье Робинэ пригласил туда большое общество знатных кавалеров и дам, чтобы представить им Жильберту. Позднее он собирался с ней и в Париж, на одну-две недели.

Весело и оживленно рассказывала она Фернану о туалетах, которые готовились для нее, демонстрировала перед ним жесты придворной дамы, танцевальные па, реверансы и тысячи других премудростей, которые ей предстояло усвоить.

Фернан сам провел свои детские годы с отцом при дворе польского короля Станислава в Люневиле, да и теперь еще отец и сын Жирардены нередко показывались в Версале и Париже. Но Фернан, обуреваемый освободительными идеями Жан-Жака, лишь с трудом подчинялся пустому хлопотливому этикету, всему стилю придворного общества и парижских салонов с их бездушным остроумием, и не раз с горечью потешался над ними. Он считал достойным подражания поступок Жан-Жака, когда тот после представления его на шумевшей оперы «Деревенский колдун» не явился на аудиенцию к Людовику Пятнадцатому, хотя знал, что его гордое отсутствие будет ему стоить твердой ежегодной пенсии.

Жильберта не скрывала от Фернана, что не разделяет его неприязни к придворному обществу и парижским салонам. Она радовалась поездке в Париж и Сен-Вигор. Его обижало, что предстоящая разлука не так глубоко ее волнует, как он того ждал. Она заметила это, и ей захотелось чем-нибудь его порадовать.

Фернан рассказывал ей, что Жан-Жак часто сидит на берегу озера под старой ивой и, устремив взор на Остров высоких тополей, грезит, размышляет. На густо заросшем острове можно было расположиться так, чтобы видеть Жан-Жака, оставаясь невидимым. Жильберта предложила Фернану спрятаться на острове и в тот час, когда Жан-Жак будет сидеть под своей ивой, устроить ему маленький концерт из песенок и романсов его сочинения. Так и сделали. Они играли и пели дуэты Жан-Жака и народные мелодии. Жильберта исполнила песню, которая

звучала по всей Франции, ее можно было услышать и в салоне королевы, и в мансарде модистки, и на крестьянском дворе:

Веселые птицы, влюбленные стаи,
Услышите меня!
Не пойте, в тиши надо мной пролетая,
О радостях дня.
Простилась я с милым, простилась с желанным,
Не встретимся вновь.
Он ищет сокровища за океаном,
Покинул любовь.
Грозит ему смерть,
Не найдет он привета у сумрачных скал.
Зачем на сокровища Нового Света
Он счастье сменял?

Они боялись, как бы Жан-Жак, раздосадованный, не ушел: никогда нельзя предугадать, как он отнесется к тому, что сделано из любви к нему. Но он сидел, слушал.

В следующий раз, придя в замок, он рассказал, что слышал, как на острове чьи-то молодые голоса пели под аккомпанемент лютни. Он не знает, то ли все это ему пригрезилось, то ли на самом деле происходило; так или иначе, это было прекрасно.

Фернан и Жильберта не раскрыли своей тайны. Держась за руки, они улыбались и были счастливы.

Спустя два дня Жильберта уехала в Сен-Вигор.

Глава шестая

РАССУДОК И ЧУВСТВО

Жан-Жак пришел к убеждению, что мосье Жирарден искренне желает ему добра. Он все чаще бывал в замке, проводил там два-три вечера в неделю.

Он благосклонно выслушивал вопросы мосье Жирардена о сокровенном смысле некоторых мест из его произведений и отвечал терпеливо, иной раз пространно. Маркиз заказал для книг Жан-Жака чудесные переплеты, причем в каждую книгу были вброшюрованы чистые страницы; на этих страницах он записывал толкование Жан-Жака, порой выводя в заключение изящными греческими буквами: *autòs épha*, собственные слова учителя.

Случалось, что Жирарден рассказывал Жан-Жаку о своих делах. Как-то вечером он горько жаловался на принца Конде, за которым королевская егермейстерская канцелярия признала право, как за принцем крови, охотиться во владениях Жирардена. Крестьяне, горячился маркиз, попросту плачут — такой огромный урон это им наносит. Егерь принца неоднократно стреляли в крестьян

маркиза, пытавшихся отгонять дичь от своих полей. Он всегда восставал против такого превышения королевских привилегий, сказал маркиз и привел эпизод из жизни Фернана, когда тот был еще ребенком. Однажды, много лет назад, принц объявил, что будет сюда на охоту, и маркиз, желая избежать необходимости принимать его, уехал, препоручив своему маленькому графу, в те поры двенадцатилетнему мальчику, выполнить долг гостеприимства. Фернан появился за столом принца лишь к десерту, и когда принц предложил ему угоститься отборнейшими фруктами, ответил: «Благодарю, монсеньер, я здесь у себя дома и уже приказал подать мне».

Жан-Жак, очень понравилась эта история. Гражданское мужество, сказал он, встречается реже, чем воинское. Фернан покраснел.

В другой раз, когда Жан-Жак казался маркизу особенно расположенным к откровенной беседе, он спросил:

— Что, в сущности, произошло с «Польской конституцией», которую вы написали для нашего друга, графа Вьельгорского? Почему были опубликованы только отрывки из нее?

Жан-Жак нахмурился.

— Граф мне не друг,—ответил он и пояснил:— Выдержки из конституции были опубликованы преждевременно и в искаженном виде, и это дало повод к новым преследованиям. Я не знаю, виноват ли в том граф, но я, во всяком случае, не давал согласия на публикацию.

В тот вечер Жан-Жак привел с собой своих дам. Кроме мадам Левассер, с равнодушной миной отведывавшей от разных яств, все смущенно молчали. Мадам Левассер хорошо знала закулисную сторону этого дела; именно она-то и выдала кое-кому копию знаменитой рукописи, польский граф ничего не знал об этом; ее тогда щедро вознаградили, уважаемый зять, этот чудак, по всей вероятности, преувеличивает последствия.

Тем временем Жан-Жак мрачно продолжал:

— Все равно Вьельгорский и его приверженцы не могли бы провести мою конституцию в жизнь. Мои положения воплотить в действительность—задача трудная, пока неразрешимая. Ненужная была работа. Да и создание «Корсиканской конституции»—напрасная работа. Еще не наступило время для воплощения моих политических положений в практические законы. Сейчас это лишено всякого смысла,—повторил он гневно.—Демократия не устанавливается путем указов.

Мосье Гербер отличался крайней скромностью и редко участвовал в застольных беседах. Но сегодня он не мог молчать.

— Разрешите мне,—сказал он с жаром,—взять на

себя защиту Жан-Жака против Жан-Жака. Тысячи людей на примере «Конституции для свободного государства Корсики» убедились в том, что общие принципы, изложенные в «Общественном договоре», могут служить основой для законов в каждом отдельном конкретном случае.

— Вы же видите, что стало со свободным государством Корсикой, что стало с моей конституцией,— с горечью молвил Жан-Жак.

— Ведь конституции Платона, написанной им для Сиракуз,—горячился мосье Гербер,—тоже не суждено было воплотиться когда-либо в действительность. И все же сила воздействия платоновского «Государства» еще и поныне не утрачена. Американцы поняли, что ваше учение больше чем прекрасная утопия, и взялись применить его в жизни. Наступит время, когда и Франция, когда вся Европа сделает вас своим Ликургом.

Фернан вскочил.

— Так будет!—воскликнул он пылко.—Я знаю, так будет!

Жан-Жак встал и протянул ему руку.

— Вы правы, Фернан,—сказал он.—Люди вернутся к природе и добродетели. Но путь этот долог и тернист.—Он говорил без пафоса, и все же его глубокий, старческий, трагический и в то же время проникнутый верой голос дошел до самого сердца Фернана.

С тех пор как уехала Жильберта, он очень часто встречался с учителем. Он настолько сблизился с ним, что однажды, преодолев врожденную застенчивость, заговорил с ним о Жильберте.

— И это вам, вам, мосье Жан-Жак,—сказал он страстно,—я всем обязан. С тех пор как я узнал «Новую Элоизу», я понял, как прекрасна может быть жизнь и как естественна и угодна богу любовь.

Жан-Жак долго не отводил от него своего страдающего, мудрого, пытливого взора.

— У вас счастливые глаза, дорогой Фернан,—сказал он.—Вы смотрите на любимую девушку счастливыми глазами. Желаю вам много-много лет видеть ее такой, какой вы видите. И я некогда был очень счастлив, но чувствительная душа—это роковой дар небес. Тот, кто наделен ею, становится игрушкой стихий, солнце или туман определяют его бытие, направление ветра решает, счастлив он или несчастлив.

С каждым днем они все лучше понимали друг друга. Часто сиживали они в лесу один против другого—старый философ с живым лицом, подвижными губами, крупным, смелым носом и великолепным умным лбом—и молодой человек с горящим взором. В ногах у них лежала собака

Леди. Они чувствовали взаимную близость, когда беседовали, и еще больше — когда молчали.

Иной раз Фернану казалось, что Жан-Жаку хочется быть одному; в такие минуты он старался незаметно удалиться.

Однажды на прогулке, когда они присели отдохнуть и учитель, словно забыв о Фернана, явно разговаривал сам с собой, Фернан решил потихоньку уйти. Но Жан-Жак поднял глаза и, бросив: «Почему вы все убегаете, Фернан?» — продолжал говорить, высказывать сокровеннейшие мысли в присутствии Фернана.

С тех пор это не раз повторялось. Жан-Жак размышлял вслух, и присутствие Фернана, видимо, было ему приятно. Он, например, жаловался, что говорит на простейшем языке мира, на языке сердца, но именно этот язык многие не желают понимать. Непонимание делало из друзей врагов и навлекало на него столь страшные гонения, какие никому еще не выпадали на долю.

— И у моих преследователей есть враги, — говорил он, — но им враги нужны, им нужны преследователи, они получают удовлетворение от борьбы. Это толстокожие люди, их кожа от мытарств становится еще толще и мозолистей. А моя кожа не столь груба, она легко ранима. Бывшие друзья не понимают, что делают. Они издеваются надо мной, они терзают меня, и когда я кричу, говорят: «Какая чувствительность!» А я их любил, я был им настоящим другом, мне их не хватает. Утрата тех, кто уходит от меня при жизни, больше поражает меня, чем утрата тех, кто совсем уходит из жизни.

Фернан сидел, затаив дыхание, и хотя Жан-Жак и просил его остаться, ему казалось, что он подслушивает чужие тайны.

Сердце его сжималось от боли за учителя. Ему непременно хотелось как-нибудь проявить свою любовь. И вот однажды застенчивый юноша решился. Почтительно попросил он Жан-Жака взять к себе в дом собаку Леди и, неловко привирая, объяснил, что она очень привязалась к нему, к учителю, и теперь видит хозяина в нем. Учителю она нужна, сказал Фернан, ему нужен сторож, который охранял бы его от многочисленных врагов.

Растроганный Жан-Жак, улыбаясь, принял дар.

Глава седьмая

НИКОЛАС И ТЕРЕЗА

Как-то вечером, когда Жан-Жак был в замке, а женщины одни сидели дома, раздался стук в дверь. Они удивились. Вошел Николас.

Он отвесил глубокий, иронически преувеличенный поклон. Господин маркиз, объяснил он с вежливой ухмылкой, приказал ему всегда и во всем быть к услугам дам. Но так как ему запрещено показываться на глаза мосье Руссо, он до сих пор не имел возможности по-настоящему осведомиться, нет ли у дам каких-либо особых пожеланий. И вот, воспользовавшись тем, что многоуважаемый философ находится в замке, он разрешил себе явиться.

Женщины собрались ужинать. От миски с горячим жарким шел пар, мадам Левассер разглядывала Николаса маленькими колючими глазками.

— У нас есть все, что нам требуется,— сказала она.

А Тереза прибавила своим ленивым голосом:

— Очень любезно с вашей стороны, мосье Николас, что вы зашли осведомиться.

Старуха подчеркнуто молчала, всем своим видом требуя, чтобы Николас поскорее убрался. Он не уходил. Нахально вперившись в Терезу, он с наглым одобрением разглядывал ее с ног до головы. Тереза откликнулась на его взгляд.

— Не поужинаете ли с нами, мосье Николас?— пригласила она.

— Жан-Жак ежеминутно может вернуться,— сердито сказала мадам Левассер.

Николас, не отводя глаз от Терезы, сказал с сильным английским акцентом:

— Господин писатель и философ Руссо вряд ли скоро вернется. Ужин в замке всегда затягивается, за столом ведутся интересные разговоры, да и после ужина господин маркиз все не отпускает господина философа.

— Я не желаю, чтобы мой зять вас здесь застал, ни в коем случае,— сказала своим беззвучным голосом мадам Левассер. Она подчеркнула «вас». Николас, откровенно потешаясь, поклонился.

— Именно поэтому, милостивые государины, я и выбрал час ужина для своего посещения.

Он снова поглядел на Терезу. Она, словно привороженная, словно под гипнозом, произнесла:

— Садитесь же, пожалуйста, мосье Николас,— и встала, собираясь пойти за прибором.

— Было бы невежливо, сударыня, если бы я ответил отказом на ваше любезное приглашение,— сказал Николас.

Мадам Левассер все время неприязненно молчала. Этот молодчик—не по душе ей. Но Николас был боек на язык и без труда рассеял возникшую за столом тягостную неловкость. Он знает свет, говорил Николас, он был в Лондоне первым берейтором у мистера Тэтерсолла, знаменитейшего на весь мир лошаdnика. К нему со всего света

съезжались высокопоставленные господа, и господин маркиз потратил немало денег и хороших слов, чтобы сманить его, Николаса, к себе, а ведь у него была превосходная служба. Он не раз жалел, что променял огромный, великолепный Лондон на скуку и безлюдье Эрменонвиля. Но теперь, он уже не жалеет: встреча с мадам Руссо вознаграждает его за все. Он поднял стакан, приветствуя мадам Левассер, затем, пристально глядя на Терезу, сказал:

— За ваше здоровье!—и выпил до дна.

Но не о себе он хочет говорить, продолжал Николас, как заведенный, а о единственном в своем роде господине Руссо. Несмотря на знание света, он еще таких людей не встречал. И в Лондоне есть свой знаменитый философ, известный доктор Джонсон. Это господин, который любит пожить и умеет из всего выколачивать деньги. А такой философ, как мосье Руссо, намного ведь знаменитей, не извлекает из своей славы ни единого су и ни единого пенни. Он, Николас, очень любознателен и был бы весьма обязан дамам, если бы они ему объяснили, как это возможно.

Подозрительность мадам Левассер росла. Молодчик нацелился на Терезу—это ясно. Он сразу почуял, что она потянулась к нему; эта простофиля бросает на него взгляды, не оставляющие никаких сомнений. А так как Николас, видно, опытный бабник, его, конечно, не может привлечь такая расплывшаяся и далеко не юная женщина, как Тереза. Ясно, что за философией Жан-Жака он почуял запах денег и хочет втереться в семью. Она, мадам Левассер, должна с самого начала перечеркнуть все его планы. Она должна сохранить власть над дочерью, она не собирается позволить первому встречному англичанину спутать ей карты.

Тереза медленно встала и принялась убирать тарелки.

— Ну, мне пора,—сказал Николас,—иначе господин философ и впрямь может нагрянуть. А мне бы еще так хотелось услышать что-нибудь о его философии и расспросить дам об их особых пожеланиях. Я позволю себе, если мадам не возражает,—обратился он к Терезе,—пригласить мадам проводить меня немного, чтобы мосье Руссо не застал нас врасплох. Мы обо всем побеседуем: и о философии, и об особых пожеланиях.

Тереза застыла в нерешительности. Мадам Левассер тихо и резко сказала:

— А посуду мне самой мыть, что ли?

Противодействие матери подстегнуло Терезу, она заупрямилась.

— Я скоро вернусь,—протянула она и вышла с Николасом.

В парке было безветренно и очень темно. На узких дорожках вдвоем было тесно; идя рядом, они то и дело касались друг друга. Вошли в небольшой лесок. Николас уверенно вел Терезу, он, видно, чувствовал себя в ночной тьме, как дома. Они слышали дыхание друг друга; под ногами трещали ветки.

— Жизнь ваша с уважаемой мамашей и с господином философом нелегка, должно быть,— сказал наконец Николас.— Столь очаровательная дама заслуживает, говорю я, лучшей жизни.— Как ни приглушал Николас свой квакающий голос, в безмолвии ночи он звучал пронзительно. Обхватив Терезу за талию, конюх вел ее. Она чувствовала исходящий от него крепкий мужской запах.

— Если я говорю: очаровательная дама, мне можно поверить. Я человек с опытом.

Внезапным резким движением он рванул ее на себя и поцеловал в губы нахально, сильно, долго не отрываясь. Выпустив ее из объятий, сказал учтиво:

— Благодарю, сударыня,— и возобновил прерванный разговор.— Нет, вам, конечно, нелегко. Мосье Руссо понимает кое-что в своей философии, но в жизни ничего не смыслит. Поверьте мне. Иначе он снимал бы урожай, пока время не ушло. Нынче аристократы без ума от господина Руссо, но кто может сказать, что будет завтра? Капризы знатных господ меняются быстрее, чем месяц на небе. Я знаю свет, я человек бывалый. В один прекрасный день окажется, что слишком поздно, и господин философ сядет на мель, а с ним и вы.

Тереза взяла Жан-Жака под защиту.

— Мой муж не нуждается в аристократах,— сказала она с несвойственной ей запальчивостью.— Издатели предлагают ему за философские сочинения сколько хочешь денег. А написанного у него—кипы целые. Он только не отсылает ничего. Он не желает никаких денег.

Николас присвистнул сквозь зубы.

— Понимаю, сударыня. Он считает, что его философия велит бедно жить.

— Мой муж великий человек, все это говорят,— произнесла Тереза немножко беспомощно, уже без всякого подъема, и слова ее прозвучали, как извинение.

— Возможно,—снисходительно сказал Николас,— я в этом ни черта ни понимаю. Но я понимаю, что он непрактичный человек, совершенно неопытный, и разрешите мне сказать вам откровенно: чужак.

Тереза попыталась объяснить:

— Это все его философия. Он говорит: «простота», он говорит: «назад, к природе»—и не берет денег.

— Все это хорошо,—возразил Николас.— Но почему он не возвращается к природе один, без вас? При чем тут

вы? Вы не созданы для одной природы, мадам. Не для нее вы рождены. Я увидел это с первого взгляда.

Тереза молчала. Николас, заливаясь соловьем, продолжал:

— Вы могли бы спросить: «А вам-то что до этого, мосье Николас?» И в известном смысле вы были бы правы. Если мосье Руссо непрактичен и вы, сударыня, миритесь с этим, то мне это как будто должно быть совершенно безразлично. Однако мне не безразлично. Нет, не безразлично. Даже кровь бросается в голову. Не господин философ меня волнует, а вы. Вы, наверно, уже заметили, что я к вам неравнодушен.—И он поцеловал ее вторично, еще жарче, чем раньше.

Тереза, тяжело дыша, поправляя чепец на голове и косынку на груди, сказала:

— Мне нужно домой. Иначе Жан-Жак и в самом деле придет и не застанет меня.

— Жаль,—галантно сказал Николас.—Я мог бы беседовать с вами, мадам, всю ночь напролет. Но, если нужно...—И он пошел с ней назад.

— И все-таки мы с вами еще не договорились ни насчет ваших особых пожеланий, ни насчет тех или иных пожеланий мосье Руссо,—сказал он, когда показались освещенные окна Летнего дома.—Нам надо как-нибудь опять встретиться. Но мне, к сожалению, не удалось снискать симпатии вашей многоуважаемой матушки; боюсь, что ей не доставит удовольствия видеть меня. Смею ли я предложить, чтобы мы с вами в следующий раз, когда господин философ будет ужинать в замке, поговорили без вашей уважаемой матушки? Смею ли я ждать вас тогда здесь, в темном саду?

Она ничего не ответила. Он поцеловал ее в последний раз, общупал всю, она обмякла, и он уже не сомневался: она придет.

Тихонько насвистывая, Николас направился в замок. Он был доволен. Эта дуреха уже у него в руках. А заполучить ее—кое-что да значит! И деньжата там есть. Славная бабенка в простоте души проговорила. «Назад, к природе». Уж он, Николас, приберет денежки к рукам, пусть хоть лопнет от злости старуха, вислозадая кобыла, вонючка жирная.

До сих пор от его пребывания во Франции не было никакого толку. Он мечтал открыть в Париже заведение, такое же, как у мистера Тэтерсолла в Лондоне, где желающие могли бы обучаться верховой езде, покупать лошадей и заключать пари. Но без основного капитала ничего не сделать. На том все и застряло. Мадам Руссо—это неплохое стремя. Кто знает: ведь счастье любит иной раз окольные пути. Того и гляди, писанину

этого глупца удастся превратить в добрых лошадок. Одно можно сказать с уверенностью—зад у жены философа неслуживает всяческого одобрения.

Пока графский слуга предавался таким мечтаниям, Тереза мыла посуду, а мадам Левассер излагала ей все, что думала по поводу возможных отношений своей дочери с мосье Николасом.

Мадам Левассер ничего не имела против того, чтобы ее Тереза с кем-либо путалась. Жан-Жак стар, да и в лучшие свои годы он неспособен был удовлетворить крепкую женщину. Ее дочь вдосталь повозилась и натерпелась с ним. Не каждая так заботливо ходила бы за этим калеккой, особенно во время приступов; тут и самой черной работы было хоть отбавляй. Не каждая бы с такой кротостью терпела и его капризы. Так что Терезе перед богом и людьми не грех побаловаться в редкие минуты ее досуга. Однако ухажеров своих пусть соблаговолит выбирать с большей требовательностью.

— Ты бы могла найти своему Жан-Жаку более достойного заместителя,—сказала мадам Левассер.—С этим англичанином путаться не дело. Он пронюхал, что из твоего философа можно вытрясти монету, и только на это он и зарится. Только для этого ты ему и нужна. Ох, уж эти мне тупоносые, белоглазые! Насквозь я их изучила. Неужели ты думаешь, что его обворожили твои телячьи глаза или твой толстый зад? Стоит ему захотеть, и у него отбоя не будет от молоденьких и не таких жирных бабенок, как ты. Если уж тебе, дрянь ты этакая, непременно нужно баловать, так найди себе, пожалуйста, кого-нибудь, кто не помышлял бы только об одном—как бы ограбить тебя и твою старую мать.

Тереза мыла посуду. Молчала.

Глава восьмая

ФЕРНАН В СМЯТЕНИИ

Не уговариваясь, Жан-Жак и Фернан избегали рассказывать третьим лицам о своей дружбе. Когда Жан-Жак бывал в замке, он обращался со своими речами к Жирардену или мосье Герберу и лишь изредка—к Фернану.

Фернану бросилось в глаза, что Жан-Жак, разговаривавший с отцом и с мосье Гербером, совсем не походил на Жан-Жака их совместных прогулок. Обмениваясь вопросами и ответами с отцом и мосье Гербером, он был совершенно не тем, кто бродил с Фернаном по лесу, непосредственный, молодой, веселый. Люди, пожалуй, не

имеют твердых очертаний: они меняются в зависимости от того, кто их окружает.

Временами, когда Жан-Жак бывал в замке, Фернан совершенно не узнавал его. Однажды ощущение это так обострилось, что Фернан не выдержал и ушел, чтобы чужой Жан-Жак не вытеснил образа, который юноша хранил в своем сердце.

Он брел по дорожкам ночного сада, погруженный в думы о своем Жан-Жаке. Сумеет ли он добиться, чтобы этот Жан-Жак увидел Жильберту его, Фернана, глазами?

Человеческие голоса спугнули его думы. До слуха его донеслись шепот, приглушенные возгласы, вздохи и стоны любовной пары. Фернан остановился, притягиваемый и отталкиваемый. Он рано познал страсть, то были короткие, сумасшедшие, дурманные, мутные, полные разочарования эпизоды, один здесь, другой — в Париже. Он неохотно возвращался к ним мыслью, а с тех пор, как понял, что любит Жильберту, глубоко любит, старался загнать воспоминания о тех эпизодах в самые отдаленные уголки души.

Ему хотелось поскорее уйти отсюда; неприлично, недостойно подслушивать эту пару. Наверное, какой-нибудь работник и служанка совокупаются. У животных совокупление чище, чем у людей. Животные просто не знают ничего иного; люди же, растрачивая на совокупление то, что должно принадлежать любви, испытывают жгучий стыд.

Он круто повернулся, сделал несколько шагов вперед, чтобы не слышать шепота и вздохов.

И вдруг узнал голоса.

Сначала — голос мужчины; так говорить, так квакать мог только один человек, только этот отвратительный Джон Болли, Николас, конюх. И в ту же секунду Фернан, пораженный в самое сердце, узнал голос женщины. И этот голос, ленивый, грудной, также нельзя было спутать ни с чьим другим; это голос... Даже в мыслях Фернан не хотел назвать имени той, кому принадлежал женский голос. Нет, нельзя подслушивать. Теперь подслушивать — уже преступление. Он должен уйти.

Он остался. Подслушивал.

Подслушивал, весь взбудораженный. Такую женщину, такую низкую тварь, этакое полуживотное выбрал себе в подруги величайший мыслитель Франции. Вот он сидит там, в замке, и ведет с отцом и мосье Гербером сверкающий остроумием разговор, а жена его, женщина, с которой он прожил десятки лет, лежит в объятиях этого подонка, этого куса глины, в который создатель вдохнул лишь намек на душу. Они что-то бормочут и стонут в угаре животной похоти, катаются в грязи. И это участь

величайшего, мудрейшего из смертных! Неужели Жан-Жак так слеп? Неужели тот самый человек, который шагнул в судьбы мира глубже, чем кто-либо и когда-либо до него, был слеп в собственном доме, между своих четырех стен, в своей супружеской постели? Беспредельное изумление охватило Фернана, страх перед жизнью, глубокая боль за этого великого, по-детски доверчивого человека, связавшего свою жизнь с похотливой сукой.

Долго носился Фернан в темноте ночи, смятенный, недоумевающий. Что делать? Как он встретится с Жан-Жаком? Не обязан ли он рассказать Жан-Жаку о своем страшном открытии?

На следующий день он уклонился от встречи с Жан-Жаком: ему нужно было сперва самому во всем разобраться. А вдруг он ошибся? Быть может, в своей растерянности он ослышался? Как ужасно было бы допустить ошибку в такой чудовищной вещи! Он ошибся. Не мог не ошибиться. Этот английский конюх снюхался, наверное, с какой-нибудь служанкой. А если так — услышал и прошел мимо. Выкинул из головы.

Но приглушенные, невнятные, низменные и сладострастные звуки, подслушанные в кустах, не вытравить из памяти. И это, конечно, она, жена Жан-Жака. Второго такого голоса нет на свете.

Необходимо еще раз его услышать. Проверить себя.

Он сочинил предлог, чтобы повидать Терезу. Пришел в Летний дом в такой час, когда Жан-Жак обычно гулял.

Женщины были удивлены. Он мялся, лепетал что-то о том, будто хотел просить Жан-Жака по возможности скорее переписать вот эти ноты, пусть лучше Жан-Жак отложит другую работу, ноты Фернану очень нужны; речь идет о сюрпризе для отца. Мадам Левассер взяла у него из рук нотную тетрадь и обещала все передать Жан-Жаку.

Фернан, в сущности, мог бы и уйти. Он остался. Его длинные, ничем не занятые руки беспомощно болтались. Он, как ему казалось, украдкой рассматривал Терезу. Она спокойно глядела на него своими бесстыжими малоподвижными, как у животного, глазами. Она сразу почуяла, что он пришел ради нее.

Все молчали. Канарейки чирикали в своих клетках. Женщины не спешили выручить его. Они ждали, пока он заговорит. Он начал издалека.

— Я хотел спросить, — сказал он, — хорошо ли мосье Жан-Жак чувствует себя в этом доме, хорошо ли вы все себя чувствуете здесь? — Он говорил торопливо, стараясь преодолеть смущение. — Вам, вероятно, известно, сударыни, — пояснил он, — что Жан-Жак часто удостаивает меня своим обществом и даже, льщу себя надеждой, дружбой. Вы понимаете, сударыни, как мне важно поэтому знать,

удовлетворен ли мосье Жан-Жак созданной ему в нашем Эрменонвиле обстановкой? Удовлетворены ли также и вы?—стремительно прибавил он, лукаво и любезно.

Он думал: «Все-таки я ошибся. Она так невозмутима. Правда, она не знает, что мне известна ее гнусная тайна. Как она на меня смотрит! Нет, я не ошибся. Она кого хочешь сведет с ума, это чувствуется. А ведь ее даже красивой не назовешь. И, кроме того, она глупа и неотесана. Отребье. Так она и не отведет своих глаз от меня?»

Мадам Левассер тем временем размышляла о том, что так никто никогда не поймет и не угадает, чем та или иная женщина привлекает к себе мужчину. Ее Тереза, бесспорно, красотой не отличается, лицо толстое и невыразительное, глупа она и ленива, как стадо коров, а мужчины льнут к ней, как мухи к падали. Вот стоит этот молодой граф, наследник огромного поместья,—и лепечет, и бормочет, и виляет, все от вожделения. Вообще-то говоря, это очень хорошо. Быть может, удастся натравить его на негодяя, проходимца и пролазу, на лошадника Николаса. Уж такой деревенский невинный агнец наверняка не захочет переложить деньги Жан-Жака в свой карман и лишить ее, старуху, причитающей ей доли.

— Мы очень признательны, господин граф, за дружеский интерес к нам,—сказала она.— Нам живется неплохо, и мой уважаемый зять чувствует себя хорошо. Вряд ли мы скоро вернемся в Париж. Если у Жан-Жака будет здесь достаточно работы,—она подбородком указала на ноты,—тогда мы и здесь найдем свой кусочек хлеба с маслом.

Тереза не сводила глаз с Фернана. Ей было приятно, что на нее загляделся мальчик, чуть ли не в два раза моложе ее, что он красив, это тебе не какой-нибудь философ, из которого песок сыплется. Да еще и знатен вдобавок.

— Большое спасибо, граф Фернан,—произнесла наконец и она.— Нам здесь очень нравится.

Это прозвучало как «вы мне очень нравитесь».

Долго бродил Фернан в тяжелых думах и грезах. Тереза полна тайн, как сама природа. Когда смотришь ей в глаза, кажется, что заглядываешь в бездны мироздания. Потому-то, наверно, Жан-Жак и связал свою жизнь с нею. В ее лице он обручился с самой природой, сочетающей в себе добро и зло.

И в последующие дня Фернан избегал учителя. Он ходил вокруг да около Летнего дома, заведомо выбирая часы, когда Жан-Жак отсутствовал. Это было подло, нечестно, это было предательством по отношению к учителю. Но разве сам он не учит, что черпать знания

следует не столько из книг, сколько из непосредственных наблюдений над природой? Он, Фернан, должен раскрыть темную тайну. Должен понять, что привязывает Жан-Жака к этой женщине, а ее — к животному Николасу.

Недолгое время спустя, показавшееся ему вечностью, он встретил Терезу. Она собиралась пройти мимо, она как будто торопилась куда-то. Он набрался смелости и спросил, не разрешит ли она задать ей несколько вопросов, касающихся Жан-Жака. Она подумала, потом без всякого смущения ответила, что Жан-Жак рано ложится, еще засветло, поэтому она сможет встретиться с Фернаном нынче же вечером, в девять часов, у моста.

— В эти теплые ночи приятно погулять,— сказала она. Она говорила запинаясь, с трудом подыскивая слова.

Ночь была довольно светлая, все же лесные тропинки и дорожки были затенены и терялись во мраке. Тереза и Фернан разговаривали мало, идти надо было осторожно; время от времени они перекликались, предупреждая друг друга о лежащем на дороге камне или о торчащей ветке. Все, что они говорили, они говорили со стесненным дыханием, сдавленными голосами. Они шли, окутанные таинственностью, атмосферой запретности.

Он был в глубоком замешательстве. Вот он крадется по лесу с этой женщиной, как Николас, животное. Что подумал бы Жан-Жак, увидев его сейчас? А Жильберта? Жильберта отвернулась бы от него навек. Однако оба были бы неправы. Он не преследует здесь целей какого-нибудь Николаса, только интерес к философии привел его сюда.

Они подошли к озеру. Здесь была ива, под которой любил сидеть Жан-Жак. Тереза раздвинула ветви и, легонько переводя дыхание, опустилась на скамью из дерна. Скупым жестом она пригласила Фернана сесть рядом. Скамья была узкая. Они сидели вплотную друг к другу.

Напротив был Остров высоких тополей, в тени которых он и Жильберта пели для Жан-Жака. Серебристо-зеленый свет луны заливал остров.

И вот теперь он, Фернан, сидит здесь с женой и подругой Жан-Жака и намерен выспросить ее о нем, шпионить за Жан-Жаком. Но чувство запретного не было неприятно, оно возбуждало.

Все же он невольно слегка отодвинулся от Терезы. Она чуть заметно удивленно повела плечом.

— Вы хотели что-то спросить меня о Жан-Жаке, не правда ли, господин граф? — сказала она своим грудным голосом.

Он был благодарен, что она нарушила тягостное молчание.

— Да, мадам,—поспешил он ответить.— Было бы очень любезно, если бы вы мне рассказали о нем.

— Что же рассказать вам?—спросила она, помолчав.

Он подумал. Потом сказал:

— Что делает Жан-Жак в часы, когда бывает дома? Работает?

Она, слегка недоумевая, ответила:

— Разумеется, мосье. Он часто возится с засушенными растениями. Усердно переписывает ноты.

Фернан терпеливо объяснил:

— Меня не это интересует. Я спрашиваю: пишет ли он какое-нибудь новое произведение?

— Бывает, что и пишет,—приветливо-равнодушно ответила Тереза.—Несколько дней назад он мне кое-что читал. Он часто читает мне. Я не все понимаю. У меня, знаете ли, голова плоховатая. Вся эта писанина мне не по зубам. Она вообще не для нынешних людей. Она для тех, кто будет жить после нас, говорит он.

«Мне не следовало бы слушать ее,—думал Фернан.— Это нечестно. Если она предаст его, она делает это по глупости, в простоте душевной. Я же ведаю, что творю».

— Не поздно ли, мадам, для вас?—спросил он.— Быть может, хотите вернуться?

— Нет, ничего,—спокойно ответила она.— Жан-Жак в постели, он спит крепко и хорошо.

Фернан ухватился за ее слова, довольный, что разговор перешел на эту безобидную тему.

— Мосье Жан-Жак, значит, чувствует себя хорошо здесь, в Эрменонвиле?—спросил он.

— Да,—ответила она.—Теперь он, слава богу, здоров. Но всегда можно ждать приступа. Вы ведь знаете, что он ужасно страдает от воспаления мочевого пузыря, у-ре-мии,—раздельно произнесла она медицинское слово.—И приступы всегда случаются в самую неподходящую минуту. Как в тот раз, например, после представления его оперы при дворе, когда ему обещали аудиенцию насчет назначения нам пенсии. Он попросту не мог отправиться к королю. Вы, может, слышали, когда начинается приступ, каждую минуту нужно на двор, понимаете? И это ведь неудобно было бы перед его величеством и всеми этими вельможными господами и дамами. Когда у него приступ, он всех гонит от себя, только мне разрешает оставаться. Ухаживать за таким больным не так-то просто. Надо вводить зонд, и боже сохрани, чтобы было больно,—Жан-Жак очень нетерпеливый, а это, правда, ужасно болезненно. И он, конечно, ворчит и очень раздражается. Но я привыкла, я не жалуясь.

Значит, не из гордости свободолюбивого человека отказался тогда Жан-Жак от аудиенции у короля, все дело

было в его недуге! Фернан крепко сжал губы. Нет, это не может, не должно так быть. Это лишь так преломилось в ее примитивном сознании. «Надо уйти, надо уйти,—думал он снова и снова.—Я шпионю за обнаженным Жан-Жаком. Я выпрашиваю эту женщину, невинную и не предающую стыда, как сама природа. Этого нельзя делать. Это значит: красть плоды с дерева познания. Я не смогу больше смотреть Жильберте в глаза. Нет, я не имею права слушать ее».

Но Тереза спокойно сидела на скамье, явно желая продлить свиданье, а он все никак не мог придумать предлога, чтобы встать и уйти. Он спросил:

— Ведь вы уже не один десяток лет замужем за Жан-Жаком, не правда ли, мадам?

— Замужем только десять лет,—ответила она без всякого смущения.—Но живу я с ним с восемнадцати лет. Жан-Жак вытащил меня тогда из ужасного отеля. Другие мужчины ко мне приставали, а он за меня заступился. Он был очень добр ко мне. Но и я за ним тоже всегда очень хорошо ходила. И вдруг на него какая-то блажь нашла, и он на мне женился. Свадьбу справили прямо на диво. Мы тогда жили в Бургуэне, в гостинице «Золотой колодец». Он пригласил двух приятелей—артиллерийских офицеров, заказал отдельную комнату и произнес замечательную речь. «Итак, я женюсь на этой женщине, которая есть сама природа»,—так он сказал. Мы все умилились, а потом был замечательный ужин, и мы пели.—Она рассказывала медленно, но не от смущения: она с трудом подбирала слова.

Вдруг она с неуклюжим кокетством оборвала себя.

— Однако я все о себе рассказываю. А ведь не я вас интересую, а Жан-Жак.

Густо покраснев, чего, конечно, она не могла заметить в темноте, Фернан неловко заверил ее, что его интересует все, что касается Жан-Жака, и в особенности она, его близкая подруга.

— Подруга,—медленно повторила Тереза.—Какое красивое слово, надо его запомнить. Да, верно. За те долгие годы, что мы вместе, у нас с Жан-Жаком было много хорошего. И много дурного, это, пожалуй, тоже нужно сказать. Как приятно иметь друга, с которым можно обо всем поговорить. А то другие только все ревнуют оттого, что я жена великого Жана-Жака, и всегда бранят меня. А ведь нелегко простой девушке быть женой философа. Подругой. Жан-Жак, конечно, святой, но жить с ним трудно: он больной, и ходить за ним тяжело, и потом—нетерпеливый тоже, всегда ворчит. Забот и хлопот с ним не оберешься.

Тереза плотнее придвинулась к Фернану и протянула

ему руку. Он ли взял ее за руку или она его? Рука была большая, мясистая, чуть влажная. Он стиснул ее. Медленно, не отнимая руки, она поднялась. Встал и он — порывисто, в страшном смущении, но руки не выпустил.

Возвращались молча. Он проводил ее почти до дома.

В следующий раз, когда Тереза встретилась со своим Николасом, она вся исходила нежностью. Он истолковал это с присущим ему цинизмом:

— Ага, ты снюхалась с графенком, с этой длинной жердью, — сказал он.

С несвойственной ей живостью Тереза возразила:

— Ты с ума сошел. Граф Фернан робкий и совсем еще молоденький мальчик. Он разговаривает только о философии.

— Вот еще, учи меня, — фыркнул Николас. — Говорит он, может, об оглобле, а имеет в виду коня. Не подумай, что я, чего доброго, ревную. Я-то знаю себе цену. От сравнения я только выиграю.

Глава девятая

НА СЦЕНУ ВЫСТУПАЕТ НЕКИЙ СЕРЖАНТ

Из городка Дамартен Николас привез письмо, полученное им в трактире «Два ангела», с просьбой вручить в собственные руки мадам Левассер.

— Любовное письмо твоей уважаемой мамаше, — ухмыльнувшись, сказал он Терезе.

Старуха, всегда такая выдержанная, энергичная, побледнела и даже утратила дар речи, как только узнала почерк на конверте. Письмо от Франсуа, от сержанта Франсуа Рену, ее сына! Он, значит, вернулся из Америки. А она-то с тех пор, как король заключил этот союз для обороны и нападения, потеряла всякую надежду увидеть когда-нибудь своего любимца Франсуа.

Она держала нераспечатанное письмо в своих ныне уже старческих, трясущихся руках, и перед ней, обгоняя друг друга, проносились картины всей ее трудной, богатой и счастьем и тревожностями жизни. Промелькнули недолгие веселые годы ее первого замужества. Сержант Рену, ее незабвенный Поль, хотя и немножко легкомысленный был человек, но настоящий солдат. Звезд с неба он не хватал, но что за мужчина! Всем, всем взял! Она любила его, даже когда он причинял ей огорчения, даже когда ей приходилось метаться в поисках денег, за которыми он то и дело являлся к ней. Но зато как же он рассказывал о сражениях, в которых участвовал, о больших сражениях времен войны за польское наследство, под Филиппсбургом,

под Миланом. Сердце радовалось от раскатов его мощного голоса, от его молодого счастливого смеха, когда он похлопывал ее по задку. Их сын, Франсуа, был весь в него. Он тоже солдат с головы до ног. Хохотал он так же громоподобно, и сердце у него было такое же широкое и безмятежное. И когда он со смущенной и лукавой улыбкой во все лицо просил денег, без конца денег и денег, ему так же нельзя было отказать, как и отцу. Правда, сражения, в которых Франсуа участвовал, были проиграны. Но если треклятый безбожный прусский король Фридрих одержал победу под Росбахом и Крефельдом, так это, во всяком случае, не вина ее сына. Свою храбрость он теперь вновь доказал, отправившись за океан к американцам, к бостонцам, которые ведут войну за свободу, за установление нового порядка. Ну а теперь, когда заключен этот союз, они, конечно, в сержанте Франсуа Рену больше не нуждаются, и вот он вернулся к ней.

Она вскрыла конверт. Да, ее Франсуа в Дамартене, в гостинице, и разве не замечательно, что не успел он вернуться от индейцев, как тут же поспешил сюда, чтобы обнять свою мамочку. Просто горе, что ему нельзя тотчас же приехать в Эрменонвиль. К несчастью, ее зять, этот блаженной, впадал в бешенство, стоило ему лишь увидеть Франсуа. И все потому, что Франсуа как-то в отсутствие Жан-Жака взял из его комода несколько сорочек на подержание. Жан-Жак бог знает как бушевал из-за этого «воровства». Кричал, что сотни ливров, которые вытащил у него из кармана Франсуа, он ему прощает, но украсть эти сорочки из индийского шелка, одну из немногих его радостей,— это, мол, безмерная подлость, и он раз навсегда запрещает Франсуа попадаться ему на глаза. Ах, она могла обнять своего любимого сына только за спиной этого юродивого Жан-Жака.

Они встретились в Летнем доме, когда Жан-Жак ужинал в замке. Тереза оставила их одних, и мадам Левассер упивалась таким счастьем, какое господь бог, вообще говоря, берегает только для святых.

Она не могла наглядеться на сына. Он и впрямь был восхитителен собой, сержант Франсуа Рену, и мадам Левассер вправе гордиться, что она, маленькая женщина,— мать этого статного блестящего солдата. Он, значит, сражался в далеком краю, в краю дикарей, в первобытных лесах Америки, сражался на стороне бостонцев за чай и свободу. К сожалению, как видно было из его увлекательных рассказов, ему и там не повезло. Правда, он был в большом почете; он, конечно, не стал делать тайны из того, что Жан-Жак, который, можно сказать, изобрел свободу,— его шурин; но, кроме почестей, из этого похода мало что удалось извлечь.

— Это страна только для таких, как Жан-Жак,— подытожил он с горечью.— Одна природа да добродетели, а денег — ни-ни.

Потому-то, как только был заключен союз и отпала надобность в нем, сержанте Рену, он взял да приехал на родину. В семи сражениях он участвовал, а когда в Гавре ступил на родную землю и подсчитал военную добычу, то ее всего и было, что двенадцать ливров и три су.

— Итак,— сказал он своим громоподобным голосом,— Америка обманула мои ожидания. Поборники свободы не в состоянии платить. Я, конечно, отправился туда не ради денег, но за семь сражений, за столько пролитого пота и крови, двенадцать ливров и три су — очень уж жидко для сына моего отца... и моей матери,— смеясь и нежно глядя на мать, поправился он и крепко хлопнул ее по плечу.

Мадам Левассер таяла от блаженства. Ибо, к счастью, Франсуа был действительно сыном своего отца, а этого отца она любила, потому и сын у нее такой удачный. За второго мужа, чиновника монетного двора Левассера, родом из Орлеана, унылого, жалкого человечка, она вышла по расчету, и сердце и плоть ее молчали. Оттого брак этот ничего хорошего и не дал,— только бездарную, глупую, тупую Терезу. Но она вот счастливая, а ее замечательному сыну, которому уже под пятьдесят, даже в дикой Америке не удалось схватить фортуна за чуб.

— Зато я вывез оттуда хорошую идею,— продолжал сержант Франсуа.— Видишь ли, когда наш добрый король Людовик заключил союз с поборниками свободы, я как-то в одну долгую, печальную, злосчастную ночь на бивуаке досконально продумал политическое и военное положение. Он отлынивает, наш добрый король Людовик, он не любит этих поборников свободы, что не поставишь и в вину ему, если взять во внимание его специальную точку зрения; он, видишь ли, не хочет послать им ни одного солдата. Но, сказал я себе, в конце концов послать ему придется. Бостонцы сами не справятся. Если французская армия не встрянет, победят англичане. А этого всехристианнейший опять-таки не может допустить. И, значит, вот помяни мое слово, мамочка, как бы он ни изворачивался, а эту горькую пилюлю ему проглотить придется.

Сержант опрокинул стаканчик любимого вина Жан-Жака.

— Ну и что же? — спросила мадам Лавассер.

— А то,— ответил сержант,— что солдаты будут, следовательно, нужны, и если уже сейчас мало рекрутов, то чем дальше, тем их будет меньше. Итак, рекрутский вербовщик — занятие теперь еще более прибыльное, чем раньше. Но это трудное дело. Рекрутским вербовщиком надо родиться и вырасти, надо обладать отменным красно-

речисм и военным опытом. «Значит, сержант Рену,— сказал я себе,— ты со своим опытом и хорошо подвешенным языком, что не раз проверено на деле, теперь понадобишься. В Париже ты можешь принести больше пользы свободе и себе самому, чем в лесах Америки»,— сказал я себе. И вот я тут.

Мадам Левассер предчувствовала, что счастливая идея ее сына Франсуа в конце концов ударит ее по карману. Но недоброе предчувствие потонуло в огромной радости, что сын вернулся. Одно можно было сказать с уверенностью: Франсуа здесь, во Франции, а война за океаном, в Америке.

— Стало быть, ты так скоро теперь не отправишься на войну, сынок, верно?— сказала она, облегченно вздохнув.

В Париже он пробыл два дня, рассказывал Франсуа; ему не сиделось, он хотел как можно скорее увидеть дорогую мамочку. Но все же успел найти возможность поговорить со старым другом, полковником де ля Роком. Полковник хорошо знает своего сержанта Рену и без долгих разговоров обещал предоставить ему монопольную должность вербовщика для своего полка. Если Франсуа получит ее и если он в блестящей форме вербовщика королевской армии, осененный развевающими знаменами, под гром военного оркестра выйдет на площадь и произнесет свою зажигательную речь, то мамочка, конечно, не сомневается, что штатские пачками будут добиваться чести стать под королевские штандарты. Одна загвоздка: военное министерство требует от каждого, кто претендует на должность рекрутского вербовщика, залог в сто луидоров. Он, Франсуа, надеется, что мамочка одолжит ему эту сумму; если нет, то ему грозит опасность потерять столь верный заработок, счастливейший шанс его жизни.

О «верных заработках» подобного рода мадам Левассер слышала от сына не в первый раз, но из всех его начинаний никогда ничего не выходило. В глубине души она была убеждена, что и сейчас ничего не выйдет. Но она представила себе своего Франсуа в парадной сверкающей форме вербовщика, с гордо вздымающимся на шлеме плюмажем в четыре завитка, представила себе, как мощный голос ее сына гремит над толпой, как весело и настойчиво Франсуа насаждает на нерешительных, поигрывая звонкими золотыми монетами. Нет, она не может не выручить сына, раз уж он вернулся к ней из Америки. Она даст ему денег, обещала она, пусть только Франсуа на несколько дней задержится в Дамартене, пока она их раздобудет. Благодушно настроенный, он ответил, что иначе и не думал,— мамочка, конечно, не держит денег в чулке, сто луидоров—не безделица; но ее обещания

вполне достаточно. Договорились, что в гостинице «Два ангела» он будет ждать от матери весточки.

Оставшись одна, мадам Левассер вождедевающим оком сердито и беспомощно посмотрела на письменный стол Жан-Жака и на ларь с рукописями. Вот лежит писанина этого чудака—ведь это наличные деньги, стоит ему только захотеть; издатели Басомпьер в Женеве и Мишель Рей в Амстердаме предлагают ему тысячи за его рукописи. Но,—и в этом у мадам Левассер был богатый опыт,—никакие ухищрения не помогали, ничего с этой грудой бумаги не удастся предпринять. Господа издатели, прожженные дельцы, не довольствуются хитро составленными письмами и не вполне подлинными подписями, они требуют заявлений, написанных собственной рукой Жан-Жака.

Мадам Левассер так глубоко вздохнула, что пушок на ее верхней губе тихонько заколыхался. И все же она не допустит, чтобы планы ее славного сына рушились по милости этого юродивого Жан-Жака. Что-нибудь да придет ей в голову. Придет непременно.

Назавтра ее осенило.

Она нанесла визит мосье де Жирардену.

— Мне крайне неприятно являться к вам в качестве просительницы, господин маркиз,—начала она.— Мой покойный первый муж, сержант королевского драгунского полка Рену, был гордым человеком. Он любил воевать и жить на свою долю военной добычи, а не на подаянья. Но, говоря открыто и напрямик, господин маркиз, как подобает жене солдата: мне нужны деньги.

И она рассказала о планах своего сына. Ее материнское сердце жарко билось, жесткий, беззвучный голос приобрел вдохновенные нотки. Сын ее задумал не просто получить должность рекрутского вербовщика, объясняла она. В первобытных лесах индейцев сын ее сражался за свободу на стороне бостонцев. Он собственными глазами, рискуя жизнью, убедился в том, что философия ее зятя, его идеи насчет свободы и насчет природы могут воплотиться в жизнь только в том случае, если король пошлет за океан сильную армию. Ее сын желает помочь королю. Для этого сыну нужны деньги.

Жирарден видел, что она нацелилась на крупную сумму. Он строго выпрямился и ткнул тростью в ее сторону.

— Сколько вам нужно, мадам?—спросил он по-военному кратко.

— Сто луидоров,—в тон ему лаконично ответила мадам Левассер.

Это было наглое требование, и по лицу Жирардена без труда можно было прочесть, что он именно так и думает.

— Я, конечно, не собираюсь брать у вас деньги без возврата,— поспешила пояснить мадам Левассер.— Мы можем предложить хороший залог: у Жан-Жака есть произведения, которые должны быть опубликованы только после его кончины. Толстые пачки исписанных страниц. Мы храним их здесь. Я прошу под них займы сто луидоров.

Маркиз попытался прибегнуть к тактическому маневру. Он готов дать просимую сумму, но не за спиной учителя. Пусть мадам разрешит ему, Жирардену, спросить согласия у Жан-Жака.

— Что ж, сударь, спросите, пожалуйста,— сказала она холодно.— Вы добьетесь лишь того, что с ним будет приступ его безумия. Заранее предсказываю. Это именно я и хотела предотвратить.— Она была оскорблена. Голос ее звучал очень тихо и очень жестко.— Если вы завтра спросите Жан-Жака, он послезавтра вернется в Париж. Как дважды два четыре. Я знаю своего зятя. Он не останется под кровом, где его попрекают бедностью.

Подлая попытка вымогательства со стороны этого жирного вампира взбесила маркиза. Но этакая пиратка вполне способна заставить Жан-Жака возвратиться в Париж. Маркизу придется выполнить ее наглое требование. Однако, может быть, удастся извлечь при этом кой-какую пользу. Неопубликованные произведения Жан-Жака, несомненно, *существуют*, это известно; Жан-Жак писал мемуары, отрывки из них он публично читал в Париже, но, так как многие высокопоставленные дамы и господа почувствовали себя задетыми, вынужден был по приказу министра полиции прекратить чтения. Было соблазнительно обеспечить себе некоторое право на эти рукописи.

— Мне даже думать тяжело, мадам, о том времени, когда эти рукописи позволено будет опубликовать. Но уж поскольку вы этот вопрос возбудили, я хотел бы удостовериться, правильно ли я вас понял. Мне, разумеется, и в голову не приходит в какой-либо доле участвовать в финансовой реализации этих произведений. Даже намек на что-либо подобное явился бы уже оскорблением. Я понял вас так: если когда-нибудь, хочу надеяться, в очень отдаленном будущем, дело дойдет до издания рукописей Жан-Жака, вы и ваша дочь, мадам Тереза, уполномочите меня принять участие в редактировании. Ведь вы именно это имели в виду, мадам?

Старуха плохо понимала смысл длинных, напыщенных фраз Жирардена, но она видела, что он готов расстаться со ста луидорами, и храбро ответила:

— Само собой, мосье, именно это я и имела в виду.

— Хорошо, мадам,— сказал Жирарден,— буду весьма рад вручить вам просимые сто луидоров.

Мадам Левассер подала весточку сыну. Он немедленно явился.

— Я так и знал,—ликовал он,—на мамочку можно понадеяться.

Статный Франсуа обнял маленькую толстую старушку и смачно поцеловал ее в обе щеки.

На этот раз, однако, она недолго оставалась с глазу на глаз со своим сыночком. Николас вместо того, чтобы развлекаться с Терезой в парке, пришел поглядеть на сводного брата Терезы, на своего, так сказать, шурина. Ему понравились рассказы мосье Рену, философия сержанта совпадала с его собственной, они пришли по душе друг другу.

В дверь опять постучали, и вошел не кто иной, как молодой граф Фернан.

В те дни он часто встречался с Жан-Жаком. Ровная меланхолическая веселость учителя убедила Фернана, что учитель берет природу такой, какая она есть, что он и Терезу принимает такой, какая она есть. Было бы невероятной дерзостью нарушить эту гармонию.

Кроме того, он, Фернан, ведь мог и ошибиться в тот раз ночью. Это следовало забыть, он старался забыть.

Ах, если бы Жильберта была здесь. Беспредельная тоска по Жильберте охватила его. Он обходил места, где они бывали вместе. Поскакал верхом в покинутый замок Латур. Заставил удивленного управляющего впустить его в дом, побежал в комнаты Жильберты, в ее будуар, ее спальню. Он прижимал к себе платья, оставленные ею, целовал их. Душа и тело его горели, воспоминание о Жильберте преследовало его.

Он написал ей длинейшее письмо. Рассказал о своих беседах с Жан-Жаком и о том, как однажды учитель жаловался на бесплодность своего труда. Потом рассказал ей, как ездил в покинутый Латур. Всю душу свою он излил. Восторженно исписывал страницу за страницей, разговаривал с Жильбертой языком «Новой Элоизы».

Позднее ему пришло в голову, что он ничего не написал о своих встречах с Терезой. Но это не было лицемерием, он в самом деле забыл о Терезе, когда писал.

А сегодня, в замке, его опять обуяли прежние колебания и сомнения. Жан-Жак, как почти всегда в присутствии посторонних, обходился с ним ласково, но как чужой. И еще отчетливее, чем раньше, Фернан увидел: Жан-Жак никогда не был одним и тем же; каждый, с кем он

разговаривал, превращал его в другого Жан-Жака. Каков же он в своей интимной жизни с Терезой, когда делится с ней чувствами и заботами?

Вот он, довольный, сидит за столом его отца, болтает и шутит. Кто же он, этот непостижимый человек, самый холодный и самый пылкий, один из самых ясновидящих и самых слепых из смертных? Неужели ни сердце, ни ум ему не подсказывают, что, быть может, что наверное творит в эту минуту его жена?

Фернану вдруг мучительно захотелось узнать больше, чем он знал. Он не мог усидеть в замке. Эта женщина, конечно, воспользуется отсутствием Жан-Жака, чтобы встретиться со своим любовником. Если же она это сделала, если она опять это сделала, какие же тогда могут быть сомнения? Что-то толкало его собственными глазами все увидеть, собственными ушами все услышать.

Он отправился в Летний дом. Если в окнах будет свет, он под каким-нибудь предлогом войдет и убедится, дома ли Тереза.

Свет был, он вошел. Вот тебе и на! За столом сидело двое мужчин. Ничего не доказано, ничего не опровергнуто. Ему-то хотелось либо встретить Терезу одну дома, либо застичь ее где-нибудь в парке в запретном объятии с этим подонком, с этим животным. Ну, значит, он зря сюда пришел, хотя решиться на это было нелегко. Фернан был разочарован и взбешен.

Он превратился вдруг в знатного господина, будущего сеньора, полновластного хозяина этих владений.

— Вам было приказано,—сказал он Николасу,—не появляться в Летнем доме. Как же вы смеете околачиваться здесь?

Николас взглянул на него, ухмыльнулся и перевел глаза на Терезу.

— Отвечай, холоп!—крикнул Фернан.

Николас спокойно сказал своим квакающим голосом:

— Если меня спросит господин маркиз, я объясню, почему я пришел сюда.

— Вон, негодяй!—рывкнул Фернан.

Николаса грызло сознание, что этот молокосос в присутствии всего семейства Левассер так надменно отчитал его. Он уже собрался было едко и грубо ответить, но сказал себе, что это глупо. Искоса смерив взглядом сначала Фернана, потом Терезу, он вышел.

Фернан выразил сожаление, что к дамам приставили столь наглого и назойливого слугу, как Николас. Он говорил и держал себя свободно, без следа смущения, с безукоризненной светскостью. Тереза почувствовала, что выросла в глазах брата и матери: шутка ли, такой великолепный молодой человек добивается ее любви.

Мадам Левассер, довольная, что этот голубок проявил себя настоящим мужчиной и прогнал ненавистного проходимца, представила своего сына, сержанта Рену. Фернан, немножко пристыженный оттого, что второй мужчина оказался не любовником Терезы, а ее братом, мягче посмотрел на Терезу, мысленно прося у нее прощения.

Сержант, стараясь произвести впечатление на молодого графа, рассказывал об Америке. Фернан слушал его с огромным интересом. Ведь новое американское государство строилось по принципам Жан-Жака, бостонцы объявляли себя пламенными приверженцами Жан-Жака, их Вениамин Франклин, ныне посол в Париже, пользовался каждым случаем, чтобы подчеркнуть, сколь многим американская революция обязана учению Жан-Жака.

— Это чертовски жестокая, грязная война,— рассказывал сержант.— Мелкий люд полон энтузиазма, богачи же в душе на стороне тиранов. У них карманы застегнуты на все пуговицы, а поборники свободы очень бедны. Они воюют, живота не жалея, голодают, мундиры на них превратились в лохмотья, обуви нет, а холодно там дьявольски. Одним энтузиазмом сыт не будешь и не согреешься. Если мы не пошлем им солдат, они сами не справятся. Это говорю вам я, господин граф, сержант Франсуа Рену. Кое-кто из наших отправился туда, среди них даже несколько аристократов; о мосье Лафайете вы наверняка слышали. Но все это, конечно, капля в море.

Фернан самозабвенно слушал. «Мелкий люд полон энтузиазма». Да, народ приносит жертвы во имя идей Жан-Жака. Народ понимает его. У Жан-Жака с народом общий язык.

Франсуа встал.

— Мне, пожалуй, надо идти,— сказал он.— Нехорошо будет, если мы с Жан-Жаком встретимся. У нас, видите ли, с шурином существуют кой-какие разногласия; дело в том, что Жан-Жак очень непрактичен,— пояснил он Фернану.— Но его идеи вполне стоящие, и ради них я живу, за них умру.

Он обнял мать.

— Приезжай поскорее, сын мой!— сказала она.

— Я бы с величайшей радостью, но не знаю, удастся ли,— ответил сержант.

— Приезжай, сынок, прошу тебя!— повторила она. Ее жесткий голос звучал почти умоляюще.

Фернан тоже стал прощаться.

— Приходите почаще, господин граф,— пригласила его мадам Левассер.

Тереза, пока мать обнимала сержанта, проводила Фернана до дверей.

— Приходите как можно скорее,— сказала она своим грудным ленивым голосом тихо, зовуще.

Фернан еще долго бродил один по ночному парку, размышляя, какой непреодолимой силой обладали слова и образы Жан-Жака. Они изменили лицо целой части света по ту сторону океана. Они заставили короля, вопреки собственному желанию, прийти на выручку свободе. Даже в столь неотесанном солдафоне, как этот сержант, они разбудили такие чувства, что он отправился за океан, чтобы там, в первобытных лесах, воевать против тирании.

Фернан забыл, зачем он шел в Летний дом. Бесследно исчезли все мысли о слепоте Жан-Жака, все мысли о тех слабостях и странностях, о которых рассказывала Тереза.

А тут еще он получил ответ от Жильберты на свое длинное письмо, и ответ этот окончательно вытеснил Терезу из его сердца и ума. Даже среди светской суеты, писала Жильберта, она находит время читать «Новую Элоизу», и так странно вплетались в ее легкое, веселое повествование о сен-вигорской жизни мечтательные, проникнутые глубокими чувствами строки. Фернан читал, и на душе у него светлело, перед ним вставала живая Жильберта, он прижал ее письмо к губам. Она была с ним, только она, Жильберта.

Но это возвышенное настроение длилось недолго. Уже на следующий день им завладело воспоминание о Терезе. Он видел мысленно ее, ее мать, ее брата такими, какими застал их в тот последний раз в Летнем доме, видел их лица и жесты, слышал их речи. Это были те же лица и те же слова, что в действительности, и в то же время иные — зловещие и страшные. Вот сидят при свете свечей все трое, все семейство Левассер, сидят вокруг стола Жан-Жака и говорят о нем, распоряжаются им, как слабоумным ребенком. Он вспомнил о негодяе Николасе, и вот их уже четверо, и все они ждут кончины Жан-Жака, точно стервятники, усевшиеся вокруг умирающего.

Фернан стиснул зубы, отогнал от себя страшное видение. Усилием воли вызвал в памяти, увидел перед собой торопливый детский почерк Жильберты. Услышал негромкий и все же проникновенный голос Жан-Жака, который словами «Общественного договора» призывает к царству свободы и равенства.

Но в этот голос ясно, настойчиво и обольстительно вплетался грудной ленивый голос Терезы: «Приходите как можно скорее!» Не само ли провидение этим голосом требовало от него раскрыть загадку непонятных, волнующих уз, связывающих учителя с Терезой?

Он не последует велению этого голоса. Он не желает больше мучиться этими дурацкими сомнениями. Он пождет, пока вернется Жильберта. С нею обсудит все то

двойственное, что видел и слышал. Стоит ему только поговорить с Жильбертой, взглянуть в ее ясное лицо — и все его сомнения разрешатся.

А надо ли ждать? Нет ли более короткого, прямого, верного пути добиться ясности? Разве учитель не написал мемуары? И разве Тереза не сказала: «...эти писания для тех, кто будет жить после нас». Писания — это и есть, очевидно, мемуары. Они здесь. Они в Летнем доме. Вот что он, Фернан, должен прочитать. Учитель сам раскроет ему загадку учителя.

Он добьется возможности взглянуть в мемуары. Тереза ему поможет. В этом смысл его дружбы с Терезой.

Опять бродит он крадучись вокруг Летнего дома. На этот раз ему без труда удастся тайком увидеть Терезу. Они уговариваются о встрече в ближайший вечер, когда Жан-Жак отправится в замок.

В этот вечер Фернан испытывал такую же скованность, как и в первую встречу с Терезой. Они шли рядом по узким дорожкам и молчали. Фернан решил про себя избегать всякого неосторожного слова, всякого неосторожного жеста и говорить с Терезой только об учителе.

Сдавленным голосом, торопливо и сбивчиво заговорил он о том, как знакомые по книгам слова Жан-Жака совсем по-иному воспринимаются, когда слышишь их из его собственных уст и как они тогда воодушевляют, увлекают. И как прекрасно, что сержант Рену под влиянием Жан-Жака отправился в Америку. Тереза удивилась. Насколько ей известно, Франсуа пришлось удрать из Франции, ведь он был замешан в каком-то темном деле, которым заинтересовались королевские суды. Но чего ради станет она все это выкладывать молодому графу?

— Да, — сказала она, — Жан-Жак очень хорошо читает. Приятно, когда кто читает, а ты в это время что-нибудь делаешь. Особенно зимой, вечера длинные, и мне нравится, когда он читает, а я в это время шью.

Они опять подошли к берегу озера, к знакомой иве. Тереза села на дерновую скамью, на которой сживал обычно Жан-Жак. Скамья была неширокая. Фернан не захотел сесть рядом: он пришел не ради Терезы, а ради Жан-Жака. Он продолжал стоять. Она, несколько удивленная, спросила:

— Почему вы не садитесь?

Он сел. «Говорить только о Жан-Жаке, говорить только о мемуарах», — велел он себе. Вслух он сказал:

— Вы были так любезны, мадам, и поведали мне, что мосье Жан-Жак теперь кое-что пишет и что у него уже есть и готовые рукописи.

Тереза недоверчиво взглянула на него. Смотри-ка, он опять заговорил о писаниях Жан-Жака! Быть может, она

ошиблась, быть может, его и в самом деле интересует не она, а эта гора бумаги? Но нет. Разговоры только для отвода глаз. Глупа-то она, может, и глупа, но в том, чего хотят мужчины, ее не обманешь.

— Да,— сказала она,— там есть много написанного, целые пачки, но все это для людей, что будут жить после нас. Разве я не говорила вам?

Он ждал такого ответа и заранее придумал, что на это сказать. Но он все забыл. Ее близость выводила его из равновесия, он и не пытался взять себя в руки. Оба молчали. Впереди неясно вырисовывался Остров высоких тополей, листва на деревьях шелестела, тихо плескалось о берег озеро.

— Как жарко,— сказала Тереза.

Медлительными движениями она развязала ленты чепца и сняла его. Слегка встряхнула рукой волосы, и они всей массой рассыпались по плечам. Он не решался посмотреть в ее сторону. Пряди этих каштановых волос, выбивавшиеся из-под чепца, он помнил. Он представил себе эти волосы открытыми, без чепца. Что-то щекотало его щеку, это были ее волосы, и он все-таки посмотрел на них.

— Да,— сказала Тереза,— волосы у меня густые, длинные, их очень трудно заправить под чепец.

Фернан проглотил слюну. Он не смеет давать себе волю, нельзя ни на секунду терять нить мыслей.

— Я знаю, мадам,— сказал он,— что рукопись мосье Жан-Жака для будущих людей. Но я еще молод и в известном смысле я тоже человек будущего. Вы мне позволите заглянуть в эту рукопись?

Тереза была неприятно удивлена. Возможно ли? Неужели и впрямь его интересуют только писания? Она смутно припомнила, как жаловался Жан-Жак на то, что его друзья что-то меняют в них, желая очернить его перед королем и всем миром. А может, и этот молодой человек?.. Глупости. Она не могла ошибиться. Так хрипло и так возбужденно говорит лишь человек, который желает одного...

Она слегка повернула голову, так что волосы всей своей массой коснулись его лица. Он хотел отодвинуться, хотел бежать. На ничтожную долю секунды вспомнил Жильберту, ее комнату, ее платья, ее запах. Но воспоминание рассеялось, не успев стать отчетливым, а здесь, в непосредственной близости, были волосы Терезы. Рука против его воли скользнула по волнистым прядям, гладила их, погружалась в них, трепала их, тихонько дергала.

— Вы делаете мне больно,— сказала она и в темноте ошупью поискала его руку. Взяла ее в свою. Он, как обожженный, выдернул руку, протянул ее опять, схватил

ее руку, обхватил плотнее, стиснул, ослабил пожатие, стиснул чуть-чуть сильнее.

Она ликовала. Но теперь она потомит молодого графа. Она не откликнулась на то, чего он на самом деле хотел, больше того, теперь она взяла деловой тон и вернулась к его глупой ребячьей просьбе — позволить почитать писания Жан-Жака.

— Я не знаю, — сказала она, — смогу ли я вам чем-нибудь помочь. Надо поговорить с матушкой. Жан-Жак, наверное, был бы против. А если он против, я этого не должна делать. Он так добр ко мне. Он — святой.

Фернан слушал ее и не слышал. Он держал ее руку в своей, но почему она не отвечает на его пожатие? И почему она опять заговорила о рукописи? Он был разочарован.

Но вот она решила, что пора.

— Однако отказать вам в чем-нибудь трудно, — сказала она, ответила на его пожатие и обняла за плечи. — Для вас я не только это сделаю, — добавила она.

Они поцеловались.

От всех его строгих решений не осталось и следа, он забыл обо всем. Он не знал, она ли его привлекла к себе, сам ли он прильнул к ней. Он уже едва сознавал, как в безвольном желании погружался в пучину, в огненную стихию, в самую природу.

Глава одиннадцатая

ВОЗДЫХАТЕЛИ ТЕРЕЗЫ

Тереза никогда не чувствовала вины в том, что искала радостей вне брака. Когда в свое время она призналась Руссо, что она не девственница, он не обратил на это никакого внимания. Она не знала, замечал ли он, когда она позднее баловала с другими мужчинами, — он ни разу ни словом не упрекнул ее. Во всяком случае, она чувствовала себя вправе утешаться с посторонними мужчинами, раз он был такой. Но если уж она с кем-нибудь спутывалась, она оставалась верна своему любовнику и больше ни с кем не заводила шашни. Она думала, что в это лето в Эрменонвиле таким единственным будет Николас, и вдруг является этот птенец граф и соблазняет ее.

Но, в общем, раз уж так случилось, то делать нечего, и пусть все идет, как идет. Все же Николас — она это с первого взгляда почувствовала — был для нее, как ни посмотри, самым подходящим. И по своей стати, и по своему происхождению. Поэтому совесть ее грызла, что она не сохранила ему верности. Путаться с двумя одно-

временно нехорошо. Для этого она слишком порядочная, да и недостаточно умная.

На этот раз, однако, все обойдется. Николас ведь господский слуга и человек одного с ней сословия, он не может не понять, что простая женщина вынуждена подчиниться воле настоящего графа и будущего сеньора Эрменонвиля. А что до графа Фернана, то он еще очень молод и неопытен и, конечно, не заметит, что она путается с Николасом.

Ей, в сущности, совершенно искренне нравились оба: и Николас и Фернан. Николас в любовных делах стоил, конечно, побольше, но и с таким юным, чистеньким и неискушенным в любви мальчиком, как господин граф, неплохо было поиграть. Да, кроме того, с графом, хотя он и столь знатный господин, ей говорилось легко, легче даже, чем с Николасом, ее ровней.

Когда она встретилась с Николасом в первый раз после сближения с Фернаном, страсть ее вспыхнула с новой силой. Николас казался ей особенно мужественным; как никогда, она чувствовала: все-таки он и никто другой ее единственный, и то, что она согрешила перед ним, делало его еще желаннее. Но в ту минуту, когда он ее взял, мысленно она была с Фернаном, ей представлялось, будто она занимается любовью с обоими сразу, и это было очень сладостно.

Позднее ей казалось, что по-настоящему она изменила Николасу только в ту минуту, когда, лежа в его объятиях, думала о графе Фернана. Она решила оправдаться перед своим Николасом. Сначала с неуклюжей кокетливостью спросила, верен ли он ей.

— Не пори чепуху, старушка,— ответил он грубовато, но добродушно.

Она же, точно он требовал отчета, рассказала, что молодой граф вовсе не «этого» от нее хочет, он хочет только прочесть писанину Жан-Жака.

Слова Терезы лишили всегда столь бойкого на язык Николаса дара речи. С тех пор как Тереза впервые упомянула о писаниях чудака Жан-Жака, Николас рассчитывал, что найдет способ выколлотить из этой груды бумаги те двести луидоров, которые ему нужны для оборудования скаковой конюшни. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта длинная жердь, молодой граф, стал ему поперек дороги. Надо действовать.

Он обстоятельно изложил Терезе свои планы. По сути дела, сказал он, маркиз его обманул. Разве уехал бы он из Лондона, если бы маркиз не прельстил его обещанием, что он будет управлять здесь большой конюшней? Вместо этого мосье де Жирарден ухлопал деньги на свои идиотские сады. Николас и не помышляет застрять здесь

надолго. Как только ему удастся сколотить кругленькую сумму, он тут же откроет в Париже собственные скаковые конюшни. И он пустился в многословное описание того, как он станет парижским мистером Тэтерсоллом. Когда Николас говорил о лошадях, он весь преображался. Тереза не всегда понимала, о чем он говорит, но она верила ему и была в восторге.

— И только подумать, что всего-то мне нужны какие-нибудь несчастные двести луидоров! — возмущался он. — А на свете столько монеты пропадает зря! И вы испытываете те же трудности, мадам Тереза. Писания господина философа лежат себе и лежат, а такая красotka, как вы, нуждается в самом необходимом, целыми днями хлопочет и имеет одно-единственное шелковое платье. И тут еще является этот граф Фернан и желает, видите ли, почитать писания мосье философа. Он наверняка вас подведет, ваш граф Фернан, поверьте мне. Он пойдет кругом трезвонить, а когда о писаниях болтают направо и налево, они, так сказать, лишаются своей девственности, их любительская ценность вылетает в трубу, и вы, мадам Тереза, как ходили в своих дешевеньких платьях, так и будете ходить. Советую вам: превратите писания в монету, пока на них есть спрос. Я успел убедиться, что у вас, мадам, нет коммерческой жилки. Но неужели же такая оборотистая дама, как ваша уважаемая матушка, не справится с этим бессильным идиотом, господином философom? А как только денежки окажутся у нас в руках, вы увидите, до чего живо они расплодятся. У меня будут мои конюшни, у вас — платья, драгоценности, роскошный экипаж, как и подобает такой даме, как вы. Поговорите с вашей уважаемой матушкой. Я этого хочу! Я настаиваю!

Тереза знала: если бы что-нибудь можно было сделать с этими писаниями, мать давно сделала бы. Но ей льстило, что мосье Николас ревнует ее к молоденькому графу и что смотрит на нее не только как на женщину, с которой можно побаловать, но и как на подругу, с которой он обсуждает свои дела. А кроме того, она уже знала, что ему нельзя перечить, иначе худо будет. Она ответила, что передаст матери его совет. Николас милостиво и крепко шлепнул ее по задку и сказал, он-де сразу увидел, что имеет дело с женщиной, с которой разумный человек может повести разумную беседу.

Возвращаясь к себе по пустынному парку, Николас продолжал обдумывать свои планы. Ему нужно двести луидоров, о меньшем и разговаривать нечего, нельзя очень уж мелко начинать, надо взять свое первое препятствие в хорошем стиле.

Его деловые размышления были прерваны отчаянным лаем, и тут же на него кинулась собака. Он мгновенно

сообразил, в чем дело. Господин философ, этот чудака, в последнее время всегда брал с собой в замок Леди. Проклятая псина с самого начала невзлюбила Николааса, а теперь станет еще помехой в его встречах с Терезой.

— Замолчи, мерзкая сука!— понизив голос, прикрикнул он по-английски, пытаясь унять лающую, взвизгивающую, рычащую собаку.— Это я,— громко сказал он по-французски,— я, мосье Николас, слуга господина маркиза.

— Сюда, Леди,— слышался успокаивающий голос чудака. Собака отбежала. Философ и конюх разминулись, и каждый пошел своей дорогой.

Терезу удивляло, даже немножко смешило, что оба ее воздыхателя так сильно интересуются писаниями Жан-Жака. Ну что ж, она попробует удружить и Фернана и Николаса.

Стараясь все это похитрей обставить, Тереза сначала заговорила с матерью о просьбе Фернана позволить ему заглянуть в бумаги Жан-Жака. А затем, безотчетно предавая своего миленька графа, продолжала так, словно это ей самой пришло в голову.

— Может, и впрямь в болтовне Жан-Жака что-то есть, и враги его в самом деле правдами и неправдами стараются заполучить его книги и чего-то там подделать. Может, их надо скорее продать, а, мама? Иначе они потеряют свою любительскую ценность.

Мать зорко посмотрела на Терезу своими проницательными глазами.

— Что они потеряют?— спросила она, ухмыляясь.— Любительскую ценность? Высесть бы тебя за эту твою любительскую ценность. Думаешь, я не вижу, кто стоит за этой трескотней? Твой молодчик, конюх Николас, проклятый кобель.

Тереза досадливо нахмурилась. Ее расстроило, что она так неловко все это сделала, но от матери все равно ничего не укроется.

Мадам Левассер с неумолимой логикой продолжала:

— Если бы у тебя котелок хоть немного варил, ты бы поняла, что конюх зарится не на остатки твоих прелестей, а на наши денежки. Или тебе это все еще неясно? И вообще-то ты дура, а как кровь у тебя заиграет, так последние крохи разума теряешь.

И она поглядела, как не раз уже, вождедеющим и сердитым оком на стол и ларь Жан-Жака. Она не нуждается в советах какого-то Николаса. Она сама давно бы превратила всю эту писанину в деньги, и не откладывая на завтра. Она не молоденькая, и ей хочется еще урвать что можно от этой благодати, ради того хотя бы, чтобы доставить радость дорогому сыночку Франсуа. Но,

к сожалению, ей пришлось научиться терпеливо дожидаться своего часа.

Она строго сказала Терезе:

— Покажу ли я писания Жан-Жака графу, об этом я еще подумаю. Я сама поговорю с ним, ты же смотри помалкивай, не то быть беде. А своему хахалю можешь сказать: если ему угодно облагодетельствовать меня своими советами, пусть этот плут соблаговолит собственной персоной пожаловать ко мне. Я уж вправлю ему мозги.

Оставшись одна, она долго и всесторонне обдумывала, как ей быть. Конюха Николаса она ни при каких обстоятельствах не подпустит к письменному столу и к ларю. Что же до молодого графа, то пусть себе копается в этом ворохе бумаги. Не мешает иметь про запас такого голубочка.

Глава двенадцатая

«ИСПОВЕДЬ»

В груди Фернана, после того, что случилось, бушевали такие смятенные чувства, каких он еще не знал никогда.

Он согрешил против Жан-Жака, Жильберты, Терезы, он осквернил себя и других.

Между тем то, что он испытывал и испытывает к Терезе, не походило только на грубое вожделение и животную страсть, охватившие его в тот первый раз—в Париже и в следующий раз—здесь, в деревне. Но и любовью это назвать нельзя было; уж одно сравнение его чувства к Жильберте с тем, что он питал к Терезе, было бы кощунством. К Терезе его влекла ее глубокая первобытность, сама природа, воплощенная в ней. Она—кусок глины, лишенный каких-либо признаков мысли, болото, грязь, в то же время она и свет, отраженный в болоте. Но ее тоже влекло к нему нечто большее, чем простое вожделение. Как она сказала: «Для вас я не только это сделаю»,—в бархатном тембре ее голоса прозвучала такая нежность, что он в жизни этого не забудет. Она любила его, любила.

Как все сложится в дальнейшем? Как он посмотрит в глаза Жан-Жаку? Что будет, когда вернется Жильберта?

Самое мудрое было бы вырвать из груди чувство к Терезе, как острие отравленной стрелы. Но если он прекратит встречи с Терезой, попросту сбежит от нее, ведь это будет трусость, подлость, разве не так? Он не

имеет права уклоняться от ответственности. Еще только один раз он должен ее повидать, объяснить, что для них обоих было бы лучше избегать друг друга. Но он боится себя самого. Он испытывает омерзение к себе за свой поступок, и его тянет все повторить еще и еще раз.

И опять он пошел в Летний дом, когда Жан-Жак, как обычно в эту пору дня, гулял. Идти туда—уже в этом одном были и щемящая горечь, и жгучее сладострастие.

Он постучал. Беззвучный голос ответил:

— Войдите!

Он вошел. Застал одну мадам Левассер. Почувствовал глубокое разочарование и... вздохнул с облегчением.

Старуха была довольна, что может поговорить с Фернаном с глазу на глаз. Он, вероятно, пришел насчет писаний Жан-Жака, сказала она, дочь передала ей его просьбу.

— Но,—продолжала она,—то, что вы от нас требуете, господин граф, мы, по правде говоря, не вправе делать. Мой зять пожелал, чтобы до его смерти никто не видел его сочинений.—Она взглянула на Фернана острыми маленькими глазками.—А почему, собственно, вы не спросите разрешения у него самого?—перебила она себя.—Ведь вы так часто с ним встречаетесь.—Он смущенно молчал.—Наш Жан-Жак странноват, это верно,—поспешила она на помощь Фернану,—но вы его искренний друг, я это вижу, да и мой уважаемый зять это говорит. Стало быть, я сделаю вам одолжение,—милостиво снизошла она.—Однако мы должны быть осторожны. Приходите только в те часы, когда будете совершенно уверены, что он не застанет нас врасплох.

Фернан пролепетал слова благодарности. Она лукаво погрозила пальцем.

— Ну и хитрец же вы, мой юный граф, дочь мою вы уже обворовали, а теперь и я, старая женщина, из-за вас впервые в жизни обманываю человека. Стало быть, приходите завтра.

Фернан ушел подавленный. Почему он не обратится прямо к Жан-Жаку, спросила мадам Левассер, даже она увидела, как недостойна его затея. Нет, он не пойдет завтра в Летний дом, не будет украдкой рыться в рукописях Жан-Жака.

Назавтра он пошел в Летний дом. Мадам Левассер дала ему две тетради.

— Всего в пачке семнадцать тетрадей,—сказала она.—Я пересчитала. Мне приходится хорошенько запоминать, в каком порядке лежат в ларе и в ящиках стола тетради, чтобы я могла потом все в точности положить на прежнее место.

Тереза была в комнате и занималась какими-то домашними делами. Она не сводила с Фернана глаз, она так давно его не видела. Он был смущен, ее присутствие мешало ему.

— А нельзя ли взять эти тетради домой? — спросил он наконец.

— Да что вы, дорогой граф, — возмутилась мадам Левассер. — Как будто мы и без того недостаточно рискуем. Садитесь-ка за тот стол, — скомандовала она, показывая на кресло у письменного стола Жан-Жака.

Фернан нерешительно сел. Разве то, что он собирается совершить, не святотатство? Сидеть за письменным столом учителя и рыться в его тайнах, да еще в присутствии его жены, которую он, Фернан, запятнал, — это чудовищно! Но он прыгнул в водоворот — и возврата нет.

Он открывает первую тетрадь. Заголовок «Воспоминания» перечеркнут и вместо него красивым, твердым и в то же время изящным почерком Жан-Жака выведено: «Исповедь».

Он читает:

«Я принимаюсь за труд, которому нет примеров в прошлом, никогда не будет и впредь. Я хочу показать созданиям, себе подобным, человека в его истинном свете, в его естестве. Показать себя.

Только себя. Я хорошо знаю свое сердце и знаю людей. Я не похож ни на одного из тех, кого я встречал, и смею думать, ни на кого из моих современников. Возможно, что я не лучше других, но я, во всяком случае, иной.

Когда раздастся трубный глас Страшного суда, я предстану перед всевышним судьей с этой книгой в руках и заявлю: здесь записано все, что я делал, что думал, чем был. Я не утаил своих пороков, не приукрасил себя добродетелями. Я представил себя таким, какой я есть, временами — презренный и низкий, временами — добрый, благородный и великий. Пусть бесчисленное множество современников услышат мою исповедь, вздохнут о моих пороках, с краской в лице узнают о моих злоключениях. И тогда пусть хоть кто-нибудь дерзнет перед ступенями Твоего престола, о Всевышний, сказать: «Я был лучше этого человека».

Фернан продолжал читать, и ни с чем не сравнимые по ясности Жан-Жаковы строки действительно потрясали его своей до ужаса обнаженной правдивостью. Он никогда не представлял себе, что может найтись человек, у которого хватило бы мужества так глубоко вгрызаться в собственное «я». Как бесстрашно разворошены здесь недра души, с гораздо большей отвагой, чем все земные недра, вместе взятые. Чудо из чудес, что тот, кто дерзает про-

никнуть и заглянуть в эти зловещие тайны, не теряет рассудка.

Фернан читал о первом телесном наказании, которому подвергся восьмилетний Жан-Жак. И как это наказание, осуществленное рукой красивой тридцатилетней женщины, пробудило в маленьком мальчике нечто вроде сладострастия, преждевременного пробуждения полового чувства и как это переживание на все времена определило направленность его желаний, страстей, характер его чувственности.

И Фернан читал о том, как в девять лет Жан-Жак впервые познал несправедливость. Как его мучили за проступок, которого он не совершил, и как он настаивал на своем, «упрямился», по мнению окружающих, и не сознавался в том, чего не делал, и, хоть и истерзанный, но все же вышел из этого испытания победителем. «Вообразите себе мальчика,—читал Фернан,—застенчивого и послушного, привыкшего к разумному и мягкому обхождению. И вдруг по отношению к такому мальчику совершают несправедливость, и совершают ее те самые люди, которых он больше всех на свете любит и почитает. Какое крушение всех понятий, какой перелом в душе, переворот в мыслях. Как ни сильна была физическая боль, она не причиняла мне особых мучений: меня душили негодование, ярость, отчаяние. Когда наконец я лег в постель, я дал волю своему гневу, я сел на свой бедный зад и во все горло прокричал раз сто: «Carnifex! Carnifex! Carnifex! Палач! Палач!» Еще и сейчас, когда я пишу эти строки, мой пульс учащенно бьется, и если бы я прожил сто тысяч лет, те минуты все равно не потускнели бы в моей памяти. Это первое столкновение с насилием и несправедливостью так глубоко запечатлелось в моем сердце, что оно начинает бешено биться всякий раз, как я вижу несправедливость или слышу о ней, безразлично к кому бы она ни относилась; оно бьется так, словно жертва ее—я сам. В тот день кончилось мое беззаботное детство».

И Фернан читал о том, как восемнадцатилетний Жан-Жак, в ту пору лакей в богатом доме, без всякой видимой надобности украл старую ненужную серебристо-розовую ленту и взвалил вину за воровство на милую горничную, безобидное существо, не причинившее ему никакого зла. Жан-Жак образно рассказывал об этом, он ничего не старался объяснить, это попросту было так, и Фернан пришел в ужас от всемогущества безрассудного и злого начала, вновь и вновь одолевающего даже таких людей, как Жан-Жак.

Все глубже и беспощадней погружался Жан-Жак в темный и вязкий лабиринт своего «я». Рассказывал о все

новых «смехотворных и жалких» поступках и пристрастиях. О наивных утехах плоти и об изощренных наслаждениях в мечтах.

И Фернан читал о горьких, тяжелых разочарованиях Жан-Жака в друзьях. Среди них были величайшие мужи своего времени — Дидро, Мельхиор Гримм, создатели Энциклопедии, сам великий Вольтер, и почти все они сплотились против Жан-Жака, предали его и подвергли преследованиям. Все эти люди оказались тщеславными, мстительными, ослепленными, их учтивые, значительные лица были масками, за которыми скрывались перекошенные звериные морды, и единственный, кто устоял перед беспощадным судом Жан-Жака, был Жан-Жак.

Три дня приходил Фернан по утрам в Летний дом и читал объемистые тетради «Исповеди». Мадам Левассер давала ему их вразбивку, но он не возражал. В любую из тетрадей он впивался с мучительным увлечением. Ему хотелось читать медленно, внимательно, но он читал быстро, лихорадочно, нетерпеливо. Ведь необходимо быстро читать, не так ли? А вдруг это сумасшедшее счастье оборвется, вдруг мадам Левассер передумает, или его тайное занятие будет кем-либо предательски раскрыто, или какой-нибудь завистливый случай вообще все разстроит?

Женщины хозяйничали, в окна заглядывали деревья, канарейки распевали в своей клетке. Фернан читал. Иногда присутствие Терезы, как он ни противился внутренне, отвлекало его. Но подчас его отвлекало именно то, что ее не было в комнате. Воображение рисовало ему, что она лежит в объятиях Николаса, и адовы муки, горевшие в словах Жан-Жака, сливались с невыносимыми картинами близости Терезы и Николаса и раздирали ему душу.

Он читал все, что рассказывал Жан-Жак о семействе Левассер. Читал об этой горькой и смешной истории, как брат Терезы сержант Франсуа, этот «американец», украл шелковые сорочки. Читал, как мадам Левассер и вся ее семья безбожно обирали «удивительно безответную» Терезу. Как сверх того старуха, внешне вкрадчиво-ласковая, даже заискивающая, шпионила и выдавала Жан-Жака его врагам. «Алчность,— читал он,— я мог еще простить ей, но притворство — никак. Ее низость была мне настолько отвратительна, что порой я лишь с трудом скрывал свое презрение». Фернан был раздавлен сознанием, что вот и он воспользовался теперь услугами этой коварной старухи, и в то же время злорадствовал: ведь мадам Левассер собственноручно предоставила ему возможность прочесть все то плохое, что Жан-Жак написал о ней.

И о своем недуге рассказывал Жан-Жак, об «органическом расстройстве мочевого пузыря, влекущем за собой

почти постоянное расстройство мочеиспускания». Здесь было черным по белому описано, как в Фонтенебло, после блестящего успеха оперы «Деревенский колдун», гофмаршал пригласил его явиться на следующий день во дворец, он-де его представит королю, и тот назначит Жан-Жаку ежегодную пенсию. «Первая моя мысль,—читал Фернан,—была о моей частой потребности выходить по нужде. Уже во время представления оперы это меня невыносимо терзало, и я был уверен, что на следующий день, в покоях короля, среди всех этих вельмож и дам, мой недуг еще мучительнее даст о себе знать. Мне делалось дурно от одной мысли, какой будет скандал, если на глазах у короля мне придется убежать. Лучше умереть. Только тот, кто сам испытал это состояние, знает, как ужасно одно его приближение». Значит, Тереза была права. Не гордость гражданина, а болезнь мочевого пузыря заставила Жан-Жака сделать благородный жест. И все-таки Терезино упрощенное понимание этого события неверно: Жан-Жак говорил и о других мотивах—мотивах искреннего гражданина. В простых, убедительных словах он описывал, как старался не льститься на золото и почести, чтобы сохранить независимость, и как поссорился со своим другом Дидро, который еще и после того настоятельно советовал возбудить ходатайство о пенсии. Именно эта беспощадная четкость, с какой Жан-Жак излагал все свои мотивы, толкала Фернана от восхищения к разочарованию и от разочарования к преклонению.

Потом Жан-Жак с презрением рассказывал, как один из его друзей, пожилой человек, изуродованный подагрой, расслабленный чрезмерными чувственными наслаждениями, старался увлечь Терезу, пуская в ход самые подлые и бессовестные средства: деньги, отвратительную книгу, грязные картинки. Стыд и жестокое раскаяние душили Фернана. Если Жан-Жак с таким презрением говорил о своем старом лжедруге, то как же велико было бы его возмущение им, Фернаном, своим учеником, полуребенком, который подошел к подруге учителя с грязными руками и с грязными помыслами. Но не дико ли: вот же гложет его раскаянье, а присутствие Терезы все-таки горячит его кровь. Эта женщина словно щекотала его, вызывала отвращение и возбуждала так, как ничто и никогда не возбуждало. Он силился представить себе Жильберту, надеясь, что ее чистый образ прогонит плотское желание, возникавшее от близости Терезы. Тщетно. Он попытался вернуться к «Исповеди» и не мог читать дальше.

Он побежал на озеро, он плавал долго и стремительно, точно грязь с души можно было смыть водой.

Жиарден и мосье Гербер были приятно удивлены, когда в один из этих дней Жан-Жак, не предупреждая заранее, появился в замке с женой и тещей. А Фернан не знал, о чем говорить с ними, куда глаза девать. Мадам Левассер взглянула на него с едва заметной плутоватой улыбкой, и в сонном лице Терезы тоже мелькало веселое лукавство.

Жан-Жак, как всегда, держал себя просто и естественно, оживленно разговаривал с маркизом и даже мосье Гербера втянул в общую беседу. Застенчивый Гербер рассказал, как он и Фернан, когда тот был еще ребенком, устраивали спектакли кукольного театра и с каким увлечением и талантом маленький Фернан играл в них. Он умолчал о том, что в часы досуга сам сочинял для этих спектаклей наивные пьесы и что это доставляло ему большую радость. Жан-Жак с явным одобрением слушал рассказы эльзасца и, когда тот кончил, сказал:

— А что, граф Фернан, не устроить ли и нам маленький спектакль? Давайте, например, поставим моего «Деревенского колдуна», хотите?

Дружеский тон ничего не ведавшего Жан-Жака потряс Фернана.

Прощаясь, учитель сказал:

— Вы придете завтра, Фернан?

Никогда еще Жан-Жак так прямо не приглашал сопровождать его на прогулке; Фернану стало не по себе.

И на следующее утро Жан-Жак был настроен мирно, дружелюбно, меланхолически-весело. Фернан шел рядом с ним, чувствуя себя самым подлым лицемером, которого когда-либо носила на себе земля. Он был молчалив, его живое лицо выдавало душевную растерянность, как ни старался он скрыть ее. Он надеялся лишь, что Жан-Жак ничего не заметит.

Но тот вдруг спросил:

— Что с вами, Фернан? Мне кажется, что вы чем-то угнетены. Тоскуете по вашей подруге?

Фернан сгорал от стыда и муки; ему хотелось зареветь, как маленькому ребенку.

Все же назавтра, когда Жан-Жак в обычный час отправился на прогулку, Фернан явился в Летний дом; вынужденное ожидание только усилило его неистовую и сладостную жажду этой отравы — читать, читать дальше, еще и еще копаться в тайнах учителя.

И случилось так, что именно в этот день он узнал о чудовищном и страшном факте. Распространяемые врага-

ми Жан-Жака слухи, которые он, Фернан, отвергал как злостную клевету, оказались правдой. Вот тут все написано изящным, твердым почерком Жан-Жака, его недрогнувшей рукой; он действительно требовал от Терезы, чтобы их детей подбрасывали в Воспитательный дом, и не одного, а всех. И об этом леденящем душу поступке, оскорбляющем человеческую природу и человеческие чувства, он повествовал как о самом обычном, самом естественном явлении в мире. Повествовал со всеми подробностями, не стремясь «ни оправдать себя, ни обвинить». Он избрал этот «выход из затруднений» весело и смело, без малейших колебаний, и перечислял доводы в оправдание своего поступка — ясные, прозаические, будничные. Во-первых, так уж оно повелось. Во-вторых, он хотел спасти честь Терезы, с которой еще не состоял в законном браке. В-третьих, он лишь следовал собственным принципам: как гражданин и отец он предпочитал сделать из своих детей ремесленников и крестьян, а не авантюристов и ловцов счастья. Только одна трудность стояла на его пути: надо было сломить сопротивление Терезы. Как ни странно, но нелегко было убедить ее такой ценой спасти свое доброе имя и честь. «Она подчинялась, горько рыдая», — рассказывал Жан-Жак.

Фернан читал это в присутствии той самой женщины, у которой «отбирали ее новорожденных», и сердцем он был с Терезой; простые, циничные слова Жан-Жака заставляли его содрогаться. Какую муку должна была претерпеть эта ограниченная, слепо следующая своим инстинктам женщина, когда у нее отбирали детей!

Фернан вернулся к ранее прочитанному. Заново перелистал все, что Жан-Жак писал о Терезе. Он читал с жгучим, невыносимым любопытством, жадно переворачивая страницы, пожирая каждое слово, которое относилось к Терезе. Было здесь много критически-холодного и сердечно-теплого, низменного и искренне возвышенного.

Фернан читал, как Жан-Жак впервые увидел Терезу в маленьком захудалом отеле «Сен-Квентен», и как он, тронутый ее скромностью и кротким, чистосердечным выражением глаз, защитил ее от нахалов, грубо подтрунивавших над ней, и как она отблагодарила его тем, чем могла, — отдалась ему. Как вскоре затем между ними возникло недоразумение. Тереза, впервые переспав с ним ночь, повела загадочные речи о каком-то признании, которое она должна ему сделать. Он с ужасом подумал, что она больна и заразила его. Несколько дней, встречаясь, они избегали прямого разговора, пока наконец она не спросила, не заметил ли он, что она уже не девственница. «Как только я понял ее, — рассказывал Жан-Жак, — я радостно воскликнул: «Девственность! Кто надеется найти

ее в Париже? Да еще у двадцатилетней девушки. Ах, дорогая моя Тереза, как я счастлив, что ты такая порядочная девушка, а главное — здоровая».

И Фернан читал: «Вначале я ничего другого не искал, кроме развлечения, а нашел спутницу жизни. Я думал только об удовлетворении страсти, а воздвиг фундамент своего счастья».

Потом, однако, Фернан прочел: «В первое время я пытался развить ее ум. Напрасный труд. Ее внутренний мир остается таким, каким его создала природа; она не поддается никакому воспитанию. Я без краски в лице признаюсь, что она так и не выучилась как следует читать, а пишет с грехом пополам. Целый месяц я старался научить ее, как определять время по часам; она по сей день не умеет этого сделать. Она не умеет подряд перечислить названия месяцев, у нее нет ни малейшего представления о самых простых правилах арифметики. Она неправильно сочетает слова и часто говорит противоположное тому, что думает. Ее невежество, ее ляпсусы — излюбленная тема для пересудов среди моих друзей; однажды, чтобы позабавить мадам де Люксембург, я оставил целый список комических выражений Терезы. Однако в затруднительных случаях эта ограниченная и, если угодно, глупая женщина нередко поражала меня своими верными суждениями, а ее советы неоднократно уберегали меня от серьезной опасности».

И снова: «Но даже самое полное слияние двух тел никогда до конца не удовлетворяло меня. Мне всегда страстно хотелось слияния двух душ в одном теле». Потом еще: «У меня с Терезой в конце концов нет никаких общих мыслей и представлений, а окружающая природа пробуждает во мне чувства, которые она не в состоянии разделить со мною. В деревенском же уединении нужен друг, который может понять твои чувства».

Фернан читал, изумленный, потрясенный. Вот в одной комнате с ним сидит Тереза во плоти, не подозревая, что здесь, на страницах рукописи Жан-Жака, живет другая Тереза, превозносимая за свою доброту и преданность, но беспощадно оголенная, во всем своем убожестве и ничтожестве; Тереза призрачная и бессмертная и гораздо более реальная, чем та, живая, которая сидит тут, рядом.

«Я всегда считал день, соединивший меня с моей Терезой, днем, который окончательно определил мой внутренний мир. Наш союз прошел испытание временем и всеми превратностями судьбы и лишь стал теснее от ударов, которые могли бы его разрушить».

Но на следующей странице было сказано: «Что же подумает читатель, если я со всей присущей мне правдивостью, в которой он, вероятно, уже убедился, заявлю, что

с первой минуты, как я увидел Терезу, и по сегодняшний день я не испытал к ней ни искорки любви. Близость с ней удовлетворяла мои чувственные потребности, но это только потребности тела, не имеющие ничего общего с моей личностью». Так здесь было сказано, обнаженно, цинично. Фернан был подавлен.

И дальше Жан-Жак заявляет ясно, коротко, черным по белому: «Она лишена даже тени какой бы то ни было неестественности или кокетства. Мне ничто не угрожало со стороны посторонних мужчин. Я уверен, что, кроме меня, Тереза никого по-настоящему не любила, и ее умеренная чувственность никогда не толкала ее к другим мужчинам, даже после того, как я перестал быть ей мужем».

Фернану показалось, что он что-то, по-видимому, не понял, он перечел последние строки во второй и в третий раз.

Как могло случиться, чтобы человек, заглянувший в тайны природы и в отношения людей глубже, чем кто бы то ни было, мог быть так слеп, когда дело касалось собственной жены, с которой он прожил жизнь!

В самом ли деле он так слеп? Или он хочет быть слепым? А величие, соединенное со столь удобной слепотой,—вправе ли оно еще называться величием?

Но кто такой он, Фернан, дерзнувший быть судьей Жан-Жака? Да, он тщательно изучал произведения Жан-Жака, несколько недель живет с ним бок о бок, и, оказывается, он ничего о нем не знал и ничего вообще не понимал.

А теперь Фернан что-нибудь знает о нем? Может ли быть, чтобы в одном лице соединялись тот, кто на страницах «Исповеди» жил чудовищной, бесстыдной жизнью, терпел неслыханные муки и причинял другим неслыханные муки, и тот, кто вчера так мирно гулял с ним, собирал гербарии, способен был пожалеть каждого бедняка и любую живую тварь? Кто же из этих двух подлинный Жан-Жак? Тот простой человек, который заговаривал с каждым лесным сторожем и выслушивал поучения папаши Мориса, хозяина трактира «Под каштанами», или тот, кто ставит себя в пример всему человечеству?

«Таков я, Жан-Жак, гражданин Женевы. Есть ли на земле еще кто-нибудь, кто так глубоко познал бы ужасы жизни? На долю которого выпало бы больше страданий, чем на мою? Ессе homo. Все не правы, кроме меня».

А если это так? Если Жан-Жак прав, а все остальные не правы? Разве нет у него в таком случае оснований для беспредельной гордости? Ведь это он провидел и открыл Новый Свет. Он более смелый первооткрыватель, чем

Колумб. Иначе как устоял бы он, такой хилый телом, под тяжестью своих огромных знаний? Разве удержался бы он на ногах без своей непомерной гордыни?

Смешанное чувство восхищения, испуга, сострадания, благоговенья и легкого цинического презренья волновало Фернана. И оттого что фигура Жан-Жака, чем больше он узнавал о нем, представлялась ему все непонятнее и неопределеннее, все другие люди тоже теряли свои определенные очертания. Образы его близких бесконечно менялись. Устойчивой действительности не существовало более. Жизнь, которую Фернан видел вокруг себя,— это была всего-навсего поверхностная тонкая корка; и лишь под ней начиналась настоящая многообразная и непостижимая жизнь.

Все последнее время Фернан почти не спал. По ночам он мысленно видел перед собой изящные, четкие буквы на страницах «Исповеди», они оживали, превращались в людей и предметы, о которых повествовали. Он сам, Фернан, был Жан-Жаком. Совершал уродливые преступления Жан-Жака. Жил на содержании возлюбленной намного старше его. Отреклся от своей веры. Отрекся потом и от новой веры, чтобы вернуть себе право гражданства в своем родном городе Женеве. Любил женщин, которыми никогда не обладал, и обладал женщинами, которых никогда не любил. Подкидывал собственных детей, плоть от плоти своей. Предавал друзей. Обвинял себя и приводил в свое оправдание никчемные доводы. Презирал себя и бахвалился этим презрением. И что бы он ни делал, он всегда был прав. Он чувствовал себя единственным праведником на земле. И что самое удивительное: он был им.

Эти дни, эти недели Фернан жил не в Эрменонвиле, он жил в мире Жан-Жака, в чудовищном мире «Исповеди». Его собственный мир был теперь таким же. Ведь если бы он, Фернан, с той же правдивостью, что и учитель, описал свою юную жизнь, разве не оказались бы и в ней такие же страшные пропасти, как те, в которые падал Жан-Жак? И он, Фернан, не любит Терезу, у него нет с ней ничего общего, никакой большой, безумной страсти он к ней не питает, а если он близок с ней, если обманывает учителя и погряз в болоте, то потому лишь, что низменное, грязное влечет его к себе, потому что он насквозь испорчен. А что он еще вдобавок ко всему ходит в Летний дом и копается в тайнах учителя, что это, как не безмерная подлость?

Но запретность, бессовестность этого чтения делали его только более захватывающим. И пусть бы пришлось расплатиться за него еще более жгучими муками, он все равно с жадностью продолжал бы вкушать от древа

познания. Что по сравнению с глубокой двуликой мудростью этой книги все истины, провозглашенные великими мыслителями древности, или откровения Библии, или учения классиков его родной Франции? Каким страшным, испепеляющим правдолюбием обжигают страницы «Исповеди», какой сокрушающей, благодатной страстью к двуликому Янусу познания!

Глава четырнадцатая

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

На долю Фернана выпала нелегкая юность. Мосье де Жирарден, с удовольствием и с гордостью вспоминая о временах, когда он служил генералом, весьма огорчился, что у Фернана нет вкуса к дисциплине и склонности к военному делу. Стремясь закалить мальчика, он послал тринадцатилетнего Фернана в военное училище, славившееся своей строгой муштрой. Это учебное заведение посещали главным образом сыновья богатых представителей третьего сословия и чиновной знати. Учителя и начальники, стараясь подчеркнуть свое полное пренебрежение к титулу графа Брежи, обращались с Фернаном особенно сурово; товарищи—сознательно или бессознательно—также проявляли недружелюбие к будущему сеньору Эрменонвиля, перед которым открывалась легкая и блестящая карьера: они чурались его или открыто выказывали неприязнь. Чувствительного Фернана терзали физически и морально, порой он думал, что не вынесет этого больше, не дотянет до конца. Позднее, когда отец взял его с собой в дальнейшее путешествие и он, Фернан, убедился, как горячо отец его любит, и еще позднее, когда он нашел в Жильберте свое большое счастье, он твердо поверил, что вместе с канувшими в лету горчайшими годами военного училища он навсегда избавился от самого страшного, что может быть у него в жизни. А теперь он по собственной вине запутался в таких похождениях, что по сравнению с их ужасающей гнусностью годы в училище в полном смысле слова—детские игрушки.

Он решил во всем признаться учителю. И не смог, спасовал.

Он решил написать Жильберте, другу сердца, рассказать ей о своем запретном чтении, исповедаться в своей связи и сообщничестве с Терезой и сделать это с такой же фанатической откровенностью, с какой рассказал о своей жизни Жан-Жак. Как только все, что его угнетает, будет черным по белому излито на бумаге, он, быть может,

выкарабкается из пропасти, куда его завлекла неслыханная дерзость.

Только еще обдумывая это решение, он уже знал, что не выполнит его. Ему отказано в способности говорить о своих мерзких, грязных делах с мужественной деловитостью Жан-Жака. Он приукрасил бы свои поступки, он мелодраматично обвинял и оправдывал бы себя, он хныкал бы по поводу своей испорченности. И все было бы ложью. Ему вовсе не хочется расстаться с этой испорченностью, ни за что на свете. Он горд тем, что он такой, какой есть.

И связь с Терезой он вовсе не хочет рвать. Он содрогался, когда думал о Терезе, но знал, что стоит ей сказать своим грудным ленивым голосом: «Не желаете ли, господин граф, пройти со мной?» — и где бы он ни находился, он вскочит и побежит за ней. Жаркая похоть, исходившая от нее, ее запах, ее бездонная невинная развращенность, ее медлительная, дразнящая походка, усилие, с которым она нанизывала слова, чтобы выразить свое глухое нутро, даже отвращение, которое она ему внушала, — все это были звенья одной цепи, которой она его опутывала.

Тереза не предложила ему пойти погулять с ней, когда они в первый раз после их сближения увиделись. Ее разочаровало, что он так смущен и сдержан. Что же, может, он раскаивается, что полюбил ее? Или, может, растратил всю свою любовь в том единственном объятии? Но инстинкт подсказывал ей, что это не так. Просто он граф и поэтому стесняется. Теперь она почти безвыходно сидела дома, когда он читал рукописи Жан-Жака, и с удовлетворением отмечала про себя, что ее присутствие кружит ему голову; стоило ей только глянуть на него, и он утрачивал спокойствие. Но она не поощряла его.

Два раза Фернан не заставлял ее дома, и оба раза она, как он с горечью, издевкой и яростью догадывался, была с Николасом. Но удовольствия эти встречи ей не доставили. Она боялась рассказать Николасу, что мать отвергла его совет предпринять что-либо с писаниями Жан-Жака. А Николас ждал и, так как она отмалчивалась, спросил в упор:

— Вы говорили с вашей уважаемой матушкой, мадам?

— Еще нет, — ответила она робко.

Он сердито насупился, замолчал, а когда она попыталась обнять его, отстранился и заявил, что сегодня ему не до глупостей.

— Для этого у тебя есть твой графчик, — сказал он едко, и она поняла, что, пока не уладит дело с писаниями Жан-Жака, Николас не подарит ей своей любви.

Зато Фернан, пришедший обычно днем, вдруг явился

как-то вечером, когда Жан-Жак был в замке. Обе женщины сразу поняли, что он пришел за Терезой.

Тереза надеялась, что Николас воспользуется этим вечером, она долго ждала его; однако, желая, очевидно, се наказать, он не пришел. Она была раздражена и злыми глазами смотрела на Фернана. Старуху возмущала глупость дочери; она решила помочь молодому графу.

— Отчего бы вам с Терезой не прогуляться? В такую теплую ночь хорошо подышать свежим воздухом,— сказала она без дальних околичностей.

Фернан беспомощно и вопросительно посмотрел на Терезу, но Тереза, бесстыдно глядя на него, протянула:

— Мне сегодня неохота.

Фернан, посрамленный, ушел. Он бежал сквозь ночь, уничтоженный, изнемогая от ярости. Но ярость его обратилась не против Терезы, а против Жан-Жака. После чудовищного зла, которое тот причинил Терезе, она другой и не могла быть. Фернан все больше распалялся против учителя. Он, проповедующий в «Эмиле» самые благородные, самые мудрые принципы воспитания, попросту обязан был сам вырастить своих детей.

Женщина, которой пришлось столько вытерпеть, заслуживает сострадания, Фернану хотелось приласкать ее. Воспоминание об ее глазах волновало его. Необузданные, сладострастные образы «Исповеди» заполнили его, смешались с игрой собственного воображения. Он мечтал об объятиях, еще более жарких, еще более неистовых, чем в тот раз, на берегу озера.

Тереза, которую Николас и в последующие встречи отстранял от себя, в свою очередь, раскаивалась, что так нехорошо обошлась с молоденьким графом. Теперь она обоих лишилась. А ведь граф ничего дурного не думал, он попросту мечтатель, ребенок, глупый и неловкий. Нельзя углублять их нарочитый разрыв, не то плакала эта милая дружба. Всего только раз побаловаться с ним — такое ей и в голову не приходило.

Она подстерегла Фернана. Именно так, как ему грезилось, как он того боялся, она сказала:

— Не пройти ли нам с вами как-нибудь опять, господин граф?

Они встретились в тот же вечер. Все было, как в его мечтах, шквал страсти смыл все колебания и, ослепив, с неистовой силой захлестнул его.

Потом они сидели на дерновой скамье под ивой. Тереза исходила нежностью.

— Фернан,— сказала она своим грудным голосом, упиваясь звучанием этого имени.— Ведь я могу называть тебя Фернаном, да? —спросила она гордо и влюбленно. Впервые она обращалась к нему на «ты». — С аристократа-

ми мне еще никогда не приходилось это делать,— сказала она раздумчиво.

Ей пора было домой, но она не уходила. Фернан ведь совсем не то, что Николас, он не просто возлюбленный, он действительно ее друг, с ним можно и поговорить. И со свойственной ей угловатостью она попыталась объяснить Фернану, что она совсем не безнравственная. Жан-Жак — добрейший человек, он — святой, но он не мужчина. Во всем виновата его болезнь. Даже когда он был молодой, давным-давно, он часто по нескольку месяцев, а иной раз по году не был с ней близок и лежал рядом неподвижный и бесчувственный, как кусок дерева. Она имеет полное право на настоящего мужчину, даже мать, а ведь она строга, признает это.

Фернан молчал и слушал.

— И потом, насчет детей. Этого он не должен был делать,— сказала она.

Фернан забыл, что только что держал эту женщину в объятиях; она перестала существовать, существовала только «Исповедь». Беспредельная жажда узнать правду, всю правду, снедала его. Конечно, то, что Жан-Жак рассказывал,— правда, но это всего лишь частица правды; только в том случае правда будет полной, если Фернан узнает то, что знала и чувствовала Тереза.

У него пересохло во рту. Он спросил:

— А действительно он отнимал у вас детей?

Тереза невозмутимо ответила:

— Да это же все знают.

Фернан допытывался:

— Всех пятерых?

Тереза удивилась и переспросила:

— Пятерых? Кто тебе сказал, что их было пятеро?

Двое.

Это был удар для Фернана. Неужели Жан-Жак лгал? Неужели в самой правдивой книге мира, с которой Жан-Жак хотел предстать перед Страшным судом, он лгал?

Тереза между тем продолжала:

— Оба раза я очень страдала. Ему-то было легко. Это были мои дети.

Фернан очень тихо переспросил:

— Не его?

Тереза своим невозмутимым голосом сказала:

— О чем ты? Я не расслышала.

Он с трудом, несколько громче повторил:

— Это были не его дети?

— Нет. По-настоящему — не его.

Фернан, делая над собой отчаянное усилие, продолжал:

— А он это знал?

— Возможно,— сказала Тереза.— Иначе он не поступил бы так жестоко.

Ночь была темной, Фернан почти не различал Терезы, он только слышал ее ровный голос. И он увидел перед собой изящным, твердым почерком написанные строчки «Исповеди», черные на желтовато-белой бумаге, рассказывающие эту историю без обиняков, убежденно и убеждающе, с множеством обоснованных доводов, разъяснявших, почему он, Жан-Жак, вынужден был действовать именно так, а не иначе. И все это ложь... «Иначе он не поступил бы так жестоко». Этот глупый, бездушный голос говорил правду, и все великолепное здание из принципов, чувств и признаний рушилось.

Фернан возмутился против учителя, но превозмог свое возмущение. Все было, конечно, не так просто, как он рисовал себе. Жан-Жак не лгал. С такой потрясающей искренностью писать для людей будущего, для Верховного существа можно лишь то, что думаешь в сокровеннейшей глубине души. Тереза с ее убогим разумом выбалтывает свою убогую правду. Но ведь действие рождается под влиянием множества смешанных в одно причин, в основе каждого поступка лежат благородные и низменные побуждения, неразрывно перепутанные, и нет истины, которая бы не состояла из множества правд.

Вот сидят они на дерновой скамье под ивой, на скамье Жан-Жака, и Тереза предает Жан-Жака, и он, Фернан, предает Жан-Жака, они объединились, чтобы предавать Жан-Жака. Одно мгновение Фернану кажется, что он прав, а в следующее—он презирает себя. И вопреки всему испытывает горькое, сладострастное, покаянное удовлетворение.

Тереза, окутанная тьмою, сказала жалобно и любовно:

— Я ни с кем, кроме тебя, не могу поговорить, даже с матерью.

«И даже с конюхом?»—подумал Фернан. А она, словно догадываясь своим примитивным умом, что в нем происходит, продолжала:

— С тобой, Фернан, я могу говорить, о чем хочу. Ты один мне друг, Фернан.

Глава пятнадцатая

CAVE CANEM!¹

В очередную встречу с Николасом она набралась мужества и рассказала ему, что говорила с матерью. Мать не хочет трогать писания Жан-Жака.

¹ Берегись собаки! (лат.)

Николас потемнел.

— Видно, вы не очень умно повели разговор, мадам,— сказал он с язвительной вежливостью. И вдруг его прорвало:— У тебя труха в голове. От тебя прямо-таки разит глупостью. Бессмысленно что-нибудь советовать такой безмозглой бабе.

— Вы с самого начала знали, мосье Николас, что я не философ,— обиженно сказала Тереза. И, помолчав, прибавила:— Маменька говорит, если у вас есть что сказать ей, то потрудитесь сами это сделать.

— Только этого не хватало,— взбесился Николас.

Но, оставшись один, он задумался. Затягивать дело было рискованно. Каждую минуту к этой писанине мог подобраться ловкий делец, а то еще встрянет какой-нибудь идиот-идеалист из аристократов да всю кашу испортит умному человеку. Ничего не остается, как самому потолковать со старухой. В конце концов и для нее разумнее всего договориться с ним.

Он отправился к мадам Левассер с таким расчетом, чтобы застать ее одну. Попросил об откровенном обсуждении назревших вопросов, касающихся их обоих. Старуха оглядела его своими маленькими колючими глазками.

— Я не знаю никаких таких вопросов, но если у вас что-либо на уме, выкладывайте.

— Вы, мадам, со свойственной вам проницательностью, несомненно, уже заметили, что между вашей многоуважаемой дочерью и вашим покорным слугой кое-что есть. Мадам Руссо пленила, так сказать, мое сердце. Это был удар молнии, как принято выражаться в вашей стране. И я горд и счастлив, что моя смиренная настойчивость увенчалась успехом.

— Я старая и, к сожалению, недостаточно сильная женщина: я не могу дать вам такую звонкую затрещину, какую вы заслужили,— сказала мадам Левассер.

Николас любезно улыбнулся.

— Вы закрываете глаза на положение вещей, мадам,— ответил он,— вы недооцениваете склонность вашей уважаемой дочери к вашему покорному слуге, и вы недооцениваете мою британскую настойчивость. Я не добиваюсь чего-либо недостойного, наоборот, хочу узаконить мои отношения с мадам Руссо.

Он встал и поклонился.

— Имею честь, мадам, просить руки вашей уважаемой дочери.

Старуха сухо ответила:

— Моя дочь замужем. Полагаю, что это вам известно.

— Вы, мадам, вынуждаете меня грубо и ясно изложить вам, как обстоит дело. Я всегда замечал, которая из моих лошадей вот-вот сыграет в ящик, и я вам говорю:

господин философ недолго протянет. Шестьдесят шесть лет философией выворачивать себе мозги наизнанку — это уж значит стоять одной ногой в могиле. На случай чего — я под рукой. Как преемник, у которого серьезные намерения, я попросту считаю своим долгом заблаговременно, другими словами, уже сейчас объясниться с моей будущей многоуважаемой тещей.

— Вы, мосье, подобно епископу из Туля, попали пальцем в небо, — с дружелюбной иронией молвила мадам Левассер. — Хотя мой уважаемый зять хрупок от природы, но он здесь превосходно поправился, Тереза и я хорошо ухаживаем за ним. Как раз такие с виду слабые люди очень выносливы. Наш Жан-Жак еще долго проживет, будьте покойны.

— Хорошо, — ответил Николас. — Если вам угодно, не будем больше касаться состояния здоровья мосье Руссо. Но я, как сказано, сердечно увлечен вашей дочерью и, кроме того, любознателен от природы. Разрешите, мадам, задать вам один вопрос. Как и почему столько времени не выходит ни одной новой книги господина философа? Я слышал, что он много работает, весь мир ждет его новой книги. Да тут же можно выручить пропасть денег. Почему такая умная женщина, как вы, не оседлает эту лошадку?

— На прямой вопрос полагается и прямой ответ, — дружелюбно сказала старуха. — Мой уважаемый зять из каких-то там философских соображений, недоступных моему разуму, а вашему и подавно, не желает, чтобы его новые произведения вышли в свет до его кончины. Он не хочет. Понятно вам? Баста. Точка. Все. — И она благодушно продолжала: — Из этой писанины деньги не выколотить. Зарубите себе это на носу, молодой человек, раз навсегда. В этом доме вам капиталов не нажить.

— Мне кажется, вы мне не доверяете, — меланхолически сказал Николас. — Но я вас понимаю. Я знаю людей и могу себе представить ваши рассуждения, мадам. Голодранец, говорите вы себе, лакей, господский слуга, чего нам с дочерью ждать от него? Но кое-чего ждать от вашего покорного слуги можно. Я больше чем простой лакей. Я был первым берейтором у мистера Тэтерсолла в Лондоне. Вам, мадам, это ничего не говорит, но парижской знати это говорит очень многое. — И Николас изложил ей свои планы. — Необходим только маленький основной капитал, — добавил он, — луидоров двести. Разумеется, я мог бы эти деньги раздобыть иным путем, но, повторяю, я равнодушен к вашей уважаемой дочери и хотел бы вас обеих взять компаньонками в дело. Вы улыбаетесь, мадам. Вы по-прежнему мне не верите. Но ручаюсь, ваши деньги размножатся. Первый же год

принесет такой барыш, что мы все трое будем обеспечены до конца дней наших.

Старуха слушала не без интереса. Этот человек напоминал ей сына, сержанта Франсуа. Такая же дерзкая напористость, но этот, пожалуй, поумней Франсуа. Николас мгновенно заметил, что подуло попутным ветром.

— Окажите мне хоть чуточку доверия,—взмолился он,—и вы не раскаетесь, право. Ведь душа болит, когда глядишь, как плохо вы здесь живете. Если господин философ считает, что природа и бедность—высшее благо, то вам, мадам, такая философия вряд ли по нутру.—Николас вошел в раж.—Вон лежат эти кипы бумаги. Неужели вы, такая разумная женщина, не сумеете выручить за них каких-нибудь двести луидоров? Вложите эти деньги в мое дело, и я даю вам слово, слово честного человека, лошадирика и британца: я женюсь на мадам Руссо, и мы все заживем как у Христа за пазухой.

Но интерес мадам Левассер к этому краснобаю и прожектеру уже остыл. Николас—не ее сын Франсуа, и у нее нет ни малейшего желания делить с ним состояние Терезы. Однако она вполне отдавала себе отчет в том, что помешанная на мужчинах Тереза влюблена в него, а этот молодчик способен на любую каверзу. Он не задумается с помощью Терезы украсть рукописи Жан-Жака или сделать какую-нибудь другую гадость. Стало быть, его нельзя дразнить, нельзя ему напрямик отказывать.

Она деловито объяснила, что реализовать рукописи Жан-Жака без его ведома нет никакой возможности. Покупатели раньше, чем заглотнуть крючок, непременно явятся к Жан-Жаку собственной персоной, чтобы из его уст получить подтверждение предложенной сделки; письменных документов, как бы тонко их ни составить, им мало. Увидев разочарованную мину насупившегося Николаса, мадам Левассер поспешила успокоить его:

— Не унывайте, мосье. Я не отвергаю ваших предложений. Но не будьте так нетерпеливы. Рукописи своей ценности не теряют, а здесь они у меня хранятся надежней, чем грош в кармане у господа бога.

На сей раз Николас откалзался от мысли переубедить мадам Левассер. Нельзя чересчур натягивать вожжи, не то эта старая кобыла, того и гляди, лягнет.

Он попытался ослабиться. Старуха между тем, чуя за этим лбом недоброе, продолжала вразумительно уговаривать Николаса:

— Напрасно вы призываете смерть на голову моего дорогого зятя. Я уж не говорю о горе, которое причинила бы мне и Терезе его кончина, но это еще и жестоко ударило бы нас по карману. Старик до сих пор пишет, как молодой. Когда на него находит так называемое вдохно-

венье, перо галопом летит по бумаге. Не успеешь оглянуться, как у него готова новая рукопись, и в результате наследство, которое когда-нибудь останется после него, вырастает на новых восем—десять тысяч ливров. Только дурак может пожелать, чтобы курица, несущая золотые яйца, переселилась в лучший мир.

— Я понимаю,—сказал Николас,—и поэтому мирюсь с тем, что вы пока не желаете узаконивать мои отношения с вашей уважаемой дочерью. Но я ни от чего не отступаю,—продолжал он с хорошо наигранным молодечеством.—Я настойчив.

— В таком случае выпьем по рюмочке,—предложила мадам Левассер.

Она принесла абрикотин, присланный маркизом в Летний дом, они чокнулись, выпили и расстались чуть не друзьями, даже немножко сообщниками.

Но ликером мадам Левассер не смыла страха перед этим опасным малым. Едва за ним захлопнулась дверь, как лицо ее приняло выражение озабоченности и неприязни.

Да и Николас не проглотил своей досады вместе с превосходным ликером. Эта старая вислозадая кляча его не проведет. Это—враг. Она все сделает, чтобы не подпустить его к рукописям; уж она постарается, чтобы он вовек не увидел собственной скаковой конюшни. Но старуха проиграет игру. Николас сердито сплюнул тяжелый сгусток мокроты.

Как будто с единственной целью еще больше растравить его, снова с отчаянным лаем на него накинулась Леди. Сдержанным голосом он прокричал в темноту, что это-де он, Николас, камердинер господина маркиза. Голос Жан-Жака окликнул Леди, Николас же, когда собака отбежала, разразился ей вслед целым градом проклятий, английских проклятий, и в его приглушенном голосе клокотали ярость и бешенство.

Через несколько дней, когда Жан-Жак вышел утром из дому, чтобы отправиться на обычную прогулку, конура Леди была пуста. Он покачал головой. Только однажды случилось, что собака не выбежала ему навстречу.

В обед Леди тоже не появилась, и Жан-Жака охватил панический страх. Он не сомневался, что это происки его старых врагов Гримма и Дидро. Чтобы досадить ему, чтобы лишить его сторожа, они извели Леди, это прекрасное животное. Какая низость, какая бессмысленная жестокость. Но он все-таки еще сдерживал себя. Когда же и на следующий день собаки нигде не оказалось, страх, ужас, безумие прорвались наружу.

— Это все Гримм и Дидро,—бушевал он.—Они проникли и сюда! Новые наскоки. Новые преследования. Они

не оставят меня в покое. Любыми средствами хотят они извести меня. Я погиб, я должен бежать! За границу! За океан!

Мадам Левассер старалась урезонить его. Напрасно. Но на следующий день Тереза приготовила ему успокоительное питье, настой из трав, в целебные свойства которых он верил; он выпил и потребовал вторую чашку. К вечеру он успокоился и все говорил о том, как благотворно на него действует мир и тишина Эрменонвиля.

Мадам Левассер, однако, отнюдь не успокоилась. Зять ее, к сожалению, прав. Против него ткалась сеть злейших умыслов. Конечно, не теми, кого он подозревал. Она догадывалась, кто убил собаку. У этого молодчика все семь грехов написаны на лице, он способен на любые, гораздо более страшные злодеяния.

Необходимо устранить его с дороги. Она пошла к Жирардену.

— Вы знаете моего зятя, господин маркиз,—начала она.—Как у всякого философа, у него есть свои причуды, свои прихоти. Как это ни жалко, может быть, но он питает неприязнь к мосье Николасу. Говоря прямо, он его не выносит. Мосье Николас, несомненно, замечательный человек, но лучше ему и близко не подходить к Летнему дому.

Жирарден кое-что слышал о заигрывании мадам Руссо с Николасом; в этом, вероятно, и крылась причина, почему старуха хотела избавиться от Николаса. Жирарден не любил отменять свои распоряжения, но в данном случае, пожалуй, это было бы умнее всего.

— Благодарю вас, мадам, что вы поставили меня в известность,—сказал он несколько сухо.—Я пришлю к вам другого слугу.

— От души вам признательна, мосье,—ответила старуха,—но этого недостаточно. Неприязнь моего глубокоуважаемого зятя к мосье Николасу — не случайный каприз, а, так сказать, органическая антипатия. Поэтому я бы просила вас совсем удалить Николаса из Эрменонвиля.

Любезное лицо маркиза сразу посуровело, он выпрямился во весь рост и ткнул тростью в сторону мадам Левассер.

— Если я вас правильно понял, мадам, вам угодно, чтобы я уволил его?—спросил он.

— Да, господин маркиз,—ответила мадам Левассер,—чтобы вы его вышвырнули вон!

Мосье Жирарден невольно вспомнил одно обстоятельство, имевшее место несколько дней назад; в сущности, это было не какое-то реальное обстоятельство, а лишь слабый намек на него. Доска с запасными ключами ко

всем многочисленным строениям, расположенным на территории его владений, была вмурована в стену его спальни и хорошо замаскирована. На доске висело более ста ключей, расположенных в определенном, только ему одному известном, только им одним изменявшемся порядке: один ключ висел бородкой вправо, другой — влево. Дважды за последнее время маркиз обнаруживал едва заметное расстройство в этом порядке, и у него мелькнуло подозрение, что чья-то чужая рука прикасалась к доске. Но он тотчас же сказал себе, что, вероятнее всего, ему изменяет память. Потом он как-то застал у себя в спальне Николаса в такое время дня, когда тому нечего было там делать. Оба этих пустячных обстоятельства вспомнились теперь Жирардену, и он невольно связал одно с другим.

Недобросовестно, конечно, на основании каких-то смутных ощущений в чем-то заподозрить надежного человека; все в Жирардене восставало против дерзкого требования мадам Левассер.

— Николас преданный, испытанный слуга, — сказал он. — Можете вы привести какие-нибудь порочащие его факты? Что, он нарушил запрещение переступать порог Летнего дома? Или мосье Жан-Жак выразил свое недовольство чем-либо?

Последний вопрос не застал врасплох мадам Левассер, она ждала его.

— Вы ведь знаете, господин маркиз, что мой уважаемый зять, как все философы, не выражает простыми словами того, что думает. Он не говорит ни о каких фактах, но верьте мне, господин маркиз: у него бывают такие предчувствия, что иной раз только рот раскроешь от удивления. А исчезновение Леди вызвало у него совершенно отчаянный взрыв предчувствий. Он шумел, говорил, что его парижские враги подкупили кого-то из живущих здесь, в замке. А кого он имел в виду из числа «живущих в замке», сомневаться не приходится.

Жирарден сердито молчал. Старуха продолжала сверлить.

— С философией моего уважаемого зятя приходится считаться, господин маркиз. Это я, старуха, знаю по собственному опыту. Иначе он в один прекрасный день — шапку в охапку, да и сбежит у нас в Париж или даже в Англию. А ведь он так хорошо себя здесь чувствует, всем нам здесь очень хорошо. Было бы крайне досадно, если бы все это сорвалось только из-за мосье Николаса.

Вымогательские приемы старухи раздражали Жирардена, но у нее были средства выполнить свою угрозу. Кстати сказать, он теперь все точно вспомнил: когда он в тот раз застал Николаса в своей спальне, Николас спросил, не прикажет ли господин маркиз оседлать ему

завтра кобылу Вихрь. Он мог бы с таким же успехом спросить об этом на следующее утро, после завтрака, как обычно.

— Я уволю Николаса,— сказал маркиз.

— Благодарю вас от имени Жан-Жака,— ответила мадам Левассер. И, опасаясь мстительности негодяя Николаса, торопливо продолжала:— Еще только одна просьба: устройте, пожалуйста, все так, чтобы мосье Николас не догадался, что вы увольняете его из-за Жан-Жака. Иначе он это растрезвонит по всей деревне, пересуды дойдут до Жан-Жака, а Жан-Жак очень чувствителен—и хлопот тогда не оберешься.

В тот же самый день маркиз заявил Николасу: он-де очень сожалеет, что тогда в Лондоне обнадежил его. Он окончательно отказался от мысли расширить свой конский двор и поэтому не возражает против того, чтобы Николас вернулся в Лондон; жалование за весь год он получит сполна.

Николас тотчас же догадался, откуда дует ветер. Значит, старая кобыла все-таки лягнула. Но он промолчал и пораскинул умом быстро и четко.

Сумма, которую ему предлагает маркиз в возмещение убытков—не понюшка табаку; может, удалось бы даже вырвать у маркиза, который явно чувствует угрызения совести, и все двести луидоров, нужных ему, Николасу, для обзаведения собственными конюшнями. Но связь с Терезой сулит больше, чем эти две сотни; там целое состояние, он и не подумает оставить в руках этой вислозадой клячи рукописи чудака. Напротив, он оплатит, и с процентами, этой коротышке, этой старой, жирной ведьме за ее коварство. Ему только время нужно, время, чтобы улучшить подходящий момент.

— Мне кажется, я был вам хорошим слугой, милорд,— сказал он по-английски, обиженно и с достоинством,—но воля ваша.

— У меня нет причин для недовольства вами, мистер Болли,—испытывая неловкость, сказал маркиз.—Но я не хочу дольше отвлекать вас от дела, к которому вы чувствуете призвание.

— Ваша благосклонность, милорд,—сказал Николас,—позволяет мне обратиться к вам с просьбой о двух любезностях, которые облегчат мне уход от вас.

— Говорите, Николас,—молвил мосье де Жирарден, переходя на французский.

— Мистер Тэтерсолл вряд ли примет меня назад, раз я сам ушел от него. Это значит, что в Лондоне мне, может быть, не сразу удастся найти подходящее занятие. Могу ли я, пока спишусь с кем-нибудь, пожить в Эрменонвиле?

— Разумеется,—ответил маркиз.

— И потом,— продолжал Николас,— мне будет трудно найти хорошее место, если станет известно, что вы меня уволили. Вы очень облегчите мне поиски места, господин маркиз, если о моем уходе некоторое время никто не будет знать.

Маркиз, довольный, что сбросил с плеч неприятное дело, пообещал и это.

Глава шестнадцатая

ДРУГ И ВРАГ

Убедившись, что, вопреки всем обещаниям маркиза, этот негодяй и наглец Николас по-прежнему преспокойно живет в Эрменонвиле, мадам Левассер расстроилась и возмутилась. Правда, она знала, что аристократы, если это им на руку, нарушают свое слово так же легко и ни с чем не считаясь, как простые буржуа, но от маркиза, философа, ученика ее зятя, она такой низости не ожидала.

Нельзя было даже предвидеть, какую еще гнусность измыслит теперь Николас. А тут еще дура Тереза безнадежно в него втюрилась, да и этот блаженный Жан-Жак может ведь в одночасье отправиться к праотцам: здоровье-то у него отнюдь не такое цветущее, каким она старалась расписать его английскому проходимцу Николасу; и если что, этот подлец приберет к рукам и Терезу и рукописи.

Она должна выбить его из седла раз и навсегда. Мадам Левассер придумала новый ход.

Она питала глубокое почтение ко всему, что связано с юридическим крючкотворством и адвокатской ловкостью. По бумаге за подписью и печатью нотариуса ее вытурили из собственного дома и магазина в Орлеане. Она прошла суровую жизненную школу, на себе испытала все юридические уловки и увертки, а теперь она сама пустит их в ход. Она добьется нотариального документа, по которому отныне и впредь Тереза сможет распоряжаться своим имуществом только с ее, мадам Левассер, согласия. Этим она застрахует рукописи от посягательств со стороны разбойника Николаса; и тогда негодяй наконец поймет, что его обскакали.

Она без обиняков объяснила Терезе, что от нее требуется подпись для того, чтобы спасти ее же деньги от посягательств дружка.

— Как я это сделаю, тебя не касается, ты все равно ничего не поймешь,— сказала она.— Когда все будет готово, ты попросту отправишься со мной к нотариусу и

поставишь свою подпись. Только смотри, на этот раз крепко держи язык за зубами.

Дочь нахмурилась, но была довольна, что ее умница мать взяла дело в свои руки. Перед Николасом Тереза испытывала сладостный трепет и сознавала, что, вопреки всем доводам рассудка, всегда с радостью отдаст ему все, что бы он ни потребовал.

В Эрменонвиле, однако, мадам Левассер не просто было осуществить свой план. Ей нужен был изощренный и опытный нотариус, который сумел бы составить такой документ, чтобы Николас при всем желании не мог найти в нем никаких лазеек. Лучше всего было бы съездить в Париж, но тогда этот продувной шельмец насторожился бы. Она слышала, что в Санлисе есть искусный адвокат; к сожалению, он на две или три недели куда-то уехал. Вздохнув, мадам Левассер решила дожидаться его.

Если происки Николаса не давали покоя мадам Левассер, то исчезновение Леди взбудоражило Фернана сверх всякой меры. На него ложилась ответственность за преступление, совершенное против учителя; это его порочная связь с Терезой разъярила Николаса. Опасность была налицо. И он, Фернан, навлек на учителя эту опасность.

Он избегал Жан-Жака, он боялся Жан-Жака. По мере возможности он избегал также отца и мосье Гербера. Он не хотел, чтобы его о чем-нибудь спрашивали, не хотел и сам говорить. Он носился по полям и лесам один со своими думами, глубоко угнетенный. Стараясь вырваться из круга своих метаний, он опять зачастил в деревню Эрменонвиль.

Мальчиком он, подчиняясь воле отца, много времени проводил там. Нелегко было добиться, чтобы крестьянские дети приняли его в свою среду, как ровню, а за то время, что он пробыл в военном училище, прежние товарищи еще больше отделились от него. Все же Фернан не порывал с ними и вникал в их повседневные заботы и горести. Теперь больше чем когда бы то ни было ему захотелось услышать их грубоватые, бесхитростные речи.

Особая дружба связывала его с Мартином Катру, сыном вдовы Катру, у которой была мелочная лавочка в деревне Эрменонвиль. Мартин, ровесник Фернана, коренастый парень, часто ездил по делам матери в соседние села и города; бывал он и в Париже, видел там и слышал многое и, обладая хорошим чутьем на людей и явления, делал для себя выводы. Острые, прямолинейные и разумные народные суждения Мартина резко отличались от всего того, что Фернану приходилось обычно слышать; они занимали его ум, отталкивали и притягивали. Мартин

любил его поддразнить, он видел в Фернане аристократа. Фернан обижался, но превозмогал себя и старался понять Мартина.

Однажды в эти тяжелые для себя дни Фернан встретил Мартина. Тот спросил у него:

— Ну и как же поживает ваш многоуважаемый святой?

Фернан смотрел в его некрасивое, умное, усмехающееся лицо, и ему казалось, что в словах Мартина он слышит всю издевку врагов Жан-Жака.

— Оставь, пожалуйста, Жан-Жака в покое,— сказал он наигранно равнодушным тоном.— Ты в нем ничего не смыслишь.

— Почему, интересно?— возмутился Мартин.— Я часто видел его, он наш постоянный покупатель, и у меня ровно столько же глаз, сколько у тебя.

Фернан почувствовал в голосе Мартина воинственные нотки, но старался держать себя в руках.

— Допускаю,— сказал он,— что в очень многих людях ты понимаешь очень многое. Но моего Жан-Жака оставь, пожалуйста, мне.

Мартин продолжал поддразнивать:

— В Париже говорят: быть великим философом не штука, надо только прикинуться чудачком. А это ему нетрудно, это у него от рождения.

Фернан страдал от глубоко скрытого стыда— ведь и он порой сомневался в Жан-Жаке, и ему порой думалось, что поступки и речи Жан-Жака нелогичны.

— Неблагодарный сброд,— возмутился Фернан.— Он жизнь свою положил на то, чтобы провозгласить равенство людей, он терпит тысячи преследований ради вас, а вы в ответ называете его чудачком.

Мартин сидел против него, крепкий, коренастый, подавшись вперед черноволосой головой с широким, низким лбом.

— Да, свобода, равенство, братство,— насмешливо повторил Мартин, и слова эти, произнесенные сквозь зубы, превратились в пустой звук, в чистейшую глупость.— Когда слышишь их, кажется, что тебя покормили вкусной жареной уткой. А на самом деле такие словеса только людей морочат. Пусть бы лучше твой Жан-Жак нам когда-нибудь сказал, как добыть эту его свободу, когда повсюду жандармы, и податные инспекторы, и аристократы, и сутаны. Второй-то, этот Вольтер, нам и в самом деле помог. Он показал вам, как вы низко пали, окружив себя подлыми судьями и всякими судебскими крючкотворами. И своих сторонников он научил кое-чему практическому: например, как заработать несколько су и эю. А ваш-то Жан-Жак хоть что-нибудь такое осязатель-

ное сделал? Или сказал что вразумительное насчет налогов, таможенных пошлин?

Фернан вспомнил слова Жан-Жака: «Мой труд напрасен»,—но в тот же миг подумал об Америке и хотел уже сказать о ней Мартину. Но тот продолжал:

— Он толкует в своих проповедях о тысячелетнем царстве. Совсем как наш кюре Гоше. Потому-то, кстати, вы, аристократы, и превозносите своего Жан-Жака до небес. Этим вы доказываете, что сочувствуете нам, мелкому люду, ну, мол, и достаточно с нас. А до остального вам дела нет. Мы за того, за второго.

Фернан все еще сдерживался. Он ответил невозмутимо, с иронией.

— Быть может, ты бы все-таки прочитал своей безупречной парой глаз хотя бы одну из его книг, раньше чем повторять, как попугай, весь этот дурацкий вздор.

Широко расставив ноги, крепко сколоченный, сидел против него Мартин.

— А мне нет надобности читать его книги,—сказал он.—Мне достаточно видеть, как он мечтательно бродит тут. Он словно по облакам шествует, когда проходит, скажем, по нашей грязной деревенской улице. Уверю тебя, он не видит, что делается у него под носом.—И так как Фернан в ответ только пожал плечами и встал, добавил:—Он слеп и в своих четырех стенах, ваш святой. Его уважаемая супруга, говорят, распутничает, а он ничего не замечает.

Фернан потерял власть над собой. Он кинулся на Мартина, как делал это маленьким мальчиком, хотя знал, что Мартин сильнее. Мартин сначала спокойно отбросил его, но так как Фернан продолжал наскакивать, пустил в ход свои мускулистые кулаки, и Фернану солоно пришлось.

Сгорая от стыда, вернулся Фернан домой. Кто он? Что дает ему право возмущаться зазорными речами Мартина? *Он сам совершил зазорное.*

Но слова Мартина не давали ему покоя. Крупница правды была в том, что мудрейший из людей слеп, живет в блаженном самообмане и в самом деле походит на чудака. Это было немыслимо, и все же это было так. Фернан сопоставлял написанное в «Исповеди» с тем, что рассказывала в своей простоте Тереза и что говорил простой народ, и одно с другим не вязалось.

Он не в силах был справиться с этими жгучими сомнениями.

Не в его характере было делиться с кем-нибудь своими переживаниями, но в мосье Гербере он сызмальства видел друга; мосье Гербер в трудные для Фернана годы военного училища, когда Фернан приезжал на каникулы, был

ему опорой и утешителем, понимал все с отдаленного намска и находил в ответ нужные слова.

Осторожно поведал Фернан своему наставнику мучительные сомнения в Жан-Жаке; говорил о том, что поступки и речи Жан-Жака не всегда соответствуют его творениям и учению и порой это сбивает с толку.

— Враги,—с такой же осторожностью сказал, немного помолчав, мосье Гербер,—подходят к Жан-Жаку с меркой своей пошлой логики. Они сравнивают его ранние мысли с позднейшими, они сравнивают то, что он делал в разных местах и в разное время или вовсе никогда не делал, с идеалами, которые он провозглашает, а потом плоско высмеивают его.

Фернан знал, что друг и наставник не хотел его обидеть, но ведь он-то не какой-нибудь враг Жан-Жака, и он начал оправдываться. Но мосье Гербер, прервав его, продолжал:

— На мою долю выпало счастье внимать Жан-Жаку, когда он, беседуя даже со мной, маленьким человеком, давал волю полету своей мысли. В такие минуты меня тоже иной раз смущало в нем нечто чрезмерное, не знающее границ. Но потом я говорил себе, что мне не дано объять все его величие, что никто не может объять его величие, и тогда я смирялся и умолкал. Не разрешайте себе ни малейшего сомнения в нем, Фернан. Именно гений, это непостижимое явление, обращается в ничто, как только начинаешь в нем сомневаться. А Жан-Жак,—запальчиво сказал этот скромный человек,—среди нас, живущих,—неповторимый, единственный гений. Другие трудятся до изнеможения, изо всех сил стараются и тысячу раз пережевывают одно и то же, он же одним взмахом пера ставит все на место,—он творит. Он не доказывает, он вещает. Другие тащатся в поте лица своего через горы и доли, он взмывает ввысь, и он уж у цели. Не позволяйте, Фернан, ввести себя в заблуждение тем или иным словом, которого мы не понимаем. Отбросьте сомнения.

Никогда еще наставник не говорил так вдохновенно. Это горение, эта отрешенность напомнили Фернану самого Жан-Жака. Перед лицом такой восторженности старшего друга он устыдился своей неверности.

Но разговор с мосье Гербером ненадолго успокоил его: тоска и сомнения вновь и вновь осаждали Фернана.

Стало известно, что через два дня приезжает Жильберта. Фернан вздохнул с облегчением. Он решил во всем ей признаться. Она сама такая ясная, что, как только она будет рядом, все станет ясным.

Жильберта хорошо провела это время. И в Сен-Вигоре и в Париже ее окружала толпа молодых аристократов,

соребновавшихся в изящных комплиментах. Один из них, Матье Курсель, молодой человек лет двадцати пяти, влюбился в нее, и как будто не на шутку; пока еще он носил титул барона де Васси, но являлся наследником владетельного графа, пожилого Анри де Курселя. Матье был хорош собой, изыскан в своих манерах, его ухаживания явно выходили за пределы обычной светской галантности. Дед часто дразнил Жильберту, говоря, что перед нею открывается еще одна легкая возможность обменять свой еще очень зеленый да к тому же сомнительный титул на титул почтенный, уже покрывшийся мхом от времени. Она не придавала большого значения ухаживаниям Матье, но они доставляли ей удовольствие.

Жизнь в Париже была не та, что в Эрменонвиле, и Жильберта увидела и узнала много нового; ей казалось, что за несколько недель она поумнела и повзрослела на несколько лет. Сопоставляя идеи Жан-Жака с действительностью, она пришла к выводу, что некоторые из них очень наивны; порой ей казалось, что при всей своей молодости она гораздо лучше знает жизнь, чем этот старый человек и великий философ.

В одном она соглашалась с Фернаном: и придворные, и завсегдатаи парижских салонов — все они до мозга костей ходульны, все боятся выказать искреннее чувство, это будто бы недостойно светского человека. Даже ее Матье так завуалированно и замысловато выражал свою влюбленность, что часто она с трудом удерживалась от смеха. Нередко на каком-нибудь приеме, среди блестящего общества, она вспоминала Фернана. В такую минуту она, вероятно, улыбалась, но эта улыбка не была иронической, Жильберте очень не хватало его ребячливой, прямолинейной искренности, его порывистости и мечтательности, его неподдельного чувства.

Но вот она снова в Латуре, и он видит ее. Она напудрена, на лице мушки, она побледнела и похудела, но лучезарные глаза ее все те же, и большой веселый рот тот же, и вся она лучится все той же чистой красотой. И Жильберта, глядя на него, видит своего длинного и тощего Фернана, с выступающим кадыком, непокорными вихрами и с такими робкими и в то же время горящими глазами. Все сомнения и муки Фернана улетучились, вся парижская умудренность и светский лоск Жильберты улетучились, руки их сплелись в длительном пожатии, они поцеловались — сначала нерешительно, потом долгим и глубоким поцелуем.

Жильберта рассказывала. Обо всем и ни о чем. Смеясь, прервала себя:

— По десять раз в день со мной случалось что-то такое, чем я непременно собиралась поделиться с тобой,

а теперь мне в голову ничего не приходит. Расскажи лучше о себе,—попросила она.

Ей казалось, она наперед знает, о чем он ей расскажет. С улыбкой, с умилением читала она его длинные, мечтательные письма; нечто подобное собиралась она теперь услышать: путаное, трогательное, чуть-чуть смешное.

Однако веселое оживление, озарявшее ее лицо, быстро погасло. Связь, о которой он говорил, связь с этой мадам Руссо—не пустяк, она сразу это почуяла. Она увидела в ней нечто темное, грозное. Фернан говорил с трудом, запинаясь, он все время подыскивал точные, честные слова, часто бормотал что-то невнятное, как человек, скованный мукой. Но Жильберта ничего не замечала. Она видела лишь, что перед ней новый Фернан, тот Фернан, который нанес удар ей и ее любви. Между нею и Фернаном выросла стена отчужденности, что-то ее даже отталкивало.

Фернан тяжело дышал, он умолк и не мог продолжать. Жильберта не помогала ему, она ни о чем не спрашивала, она не шевелилась. Она устала себе в колени. Наступила тягостная тишина.

Наконец Фернан заговорил опять, он рассказывал, при каких щекотливых обстоятельствах он читал «Исповедь». Правдиво рассказал, как проник в Летний дом и как рылся там в мрачных тайнах Жан-Жака, а Тереза тем временем сидела рядом, ничего не понимающая, глупая, развратная, обольстительная. Рассказывал, что Жан-Жак собственноручно написал и сам засвидетельствовал, что он очень хорошо видел, как тупа и безмозгла Тереза, и что между ним и ею никогда не существовало духовной общности. Сказал далее, что он, Фернан, знал о ее любовной связи с этим отвратительным малым, с английским конюхом. Сказал, что содрогается при мысли о Терезе и однако с ней не порвал.

Глаза Жильберты потемнели, ее ясный лоб нахмурился, ее большой рот строго сомкнулся. Перед ней стоял уже не мальчик, а взрослый мужчина, и к нему пристала грязь, через которую, вероятно, неизбежно проходит каждый мужчина. Но в Сен-Вигоре и Париже она тосковала по мальчику Фернану; как она отнесется к мужчине Фернану, она не знала.

Он говорил теперь не о себе, а об учителе, о том новом Жан-Жаке, которого он увидел и узнал в «Исповеди». Речь его уже не прерывалась, он с жаром защищал учителя. Из кожи лез вон, силясь доказать Жильберте, что Жан-Жак велик именно тем, что не замалчивает своих слабостей. Живописал перед ней чудовищные муки, которых стоило Жан-Жаку его чудовищное творение.

Жильберта слушала рассеянно, она вся была взбудоражена тем, что ей рассказал Фернан о своей связи с Терезой.

Но вдруг она насторожилась. Фернан рассказывал, что Жан-Жак отдавал своих детей в приют и почему он так делал. А это уже чувствительно затрагивало ее самое.

В Париже каких-нибудь две недели назад, когда графиня Монперо отвозила подарки в Воспитательный дом, она пригласила Жильберту и целый сонм молодых людей и дам поехать с ней. Приют этот считался достопримечательностью Парижа. По дороге Жильберте рассказывали, что, собственно, вызывает в аристократическом обществе интерес к этому приюту. Нередко случалось, что молодые аристократы, испытывавшие финансовые затруднения, подкидывали свое внебрачное потомство в Воспитательный дом, а при обходе приюта все забавлялись тем, что отгадывали, в какой степени родства находится тот или иной из его маленьких обитателей с тем или иным из гостей. Так было и на этот раз; однако Жильберта, права она была или нет, почувствовала себя уязвленной, ей казалось, что подобные шутки — камешки в ее огород, намеки на ее «незаконнорожденное дворянство». Со смешанным чувством стояла она перед нишей, в которую подкидывали младенцев; в задней стенке ниши находились раздвижное окошко и колокол, которым возвещали о прибытии нового обитателя приюта. Быть может, семнадцать — восемнадцать лет назад кое-кто подумывал убрать навсегда и ее, Жильберту, в эту нишу. Посещение Воспитательного дома не оставило в ней приятного воспоминания.

Ощущения пережитых тогда минут вернулись к ней с новой остротой под впечатлением рассказа о злодеянии Жан-Жака. Пока Фернан говорил о себе и Терезе, она слушала молча, но теперь ее прорвало:

— Да ведь твой Жан-Жак чудовище! — воскликнула она.

Фернан не ждал этого. Он поперхнулся.

— Ты не должна так говорить, Жильберта, — произнес он наконец.

Но она уже не думала о Жан-Жаке. Что ей до Жан-Жака? Дело идет о ней и Фернана. Она видела, как он ждет ее слова, видела, как он то сжимает, то разжимает руки. Этими самыми руками он прикасался к той женщине. В то самое время, когда она в Сен-Вигоре, окруженная галантными молодыми людьми, рассыпавшимися перед ней в комплиментах, так тосковала по нем, он обнимался с этой грязной бабой. У Жильберты было такое чувство, точно ее унизили, насмеялись над ней. Ее всегда веселое лицо потемнело сильнее прежнего. Она начала говорить,

но почувствовала, что слово, произнесенное в первом порыве гнева, может оказаться роковым для судьбы их обоих. Она замолчала.

Фернан, замирая от страха, напряженно ждал. Тяжкая задача признания была выполнена. Он ничем не облегчил себе, он ни разу не солгал, ничего не утаил. Очередь за Жильбертой: в ее власти оправдать или осудить его. Он всматривался в ее лицо, и это была другая Жильберта — не та, которую он знал; это взрослая, умудренная опытом, отнюдь не добрая, скорее даже злая Жильберта. Но с ужасом и вожделением он почувствовал, что он эту новую Жильберту любит еще сильнее, чем прежнюю, ребячливую, веселую, жизнерадостную.

Не успел он опомниться, как это чувство сменилось другим: ему захотелось овладеть ею, как Терезой, — с сокрушительной страстью; ему захотелось унижить ее, растоптать ее чистоту, ее проклятую невинность, увлечь ее в свое болото.

Она по-прежнему молчала. Он не выдержал. Подошел к ней. Взял за руку. Она невольно отдернула руку, отстранилась.

Было ясно: она разгадала его. Он устыдился до слез. Ее приговор был произнесен.

Она видела, как он несчастен. Так ему и надо. Ей очень хотелось сказать ему что-нибудь, что его ранило бы, сказать ему, как низко он пал. И ей очень хотелось сказать ему что-нибудь дружеское, что-нибудь ободряющее. Она сама не знала, чего хочет.

— Простите меня, Фернан, — сказала она наконец. — Но оставьте меня сейчас. Мне нужно со всем этим справиться. Я сама должна прийти к какому-то выводу. Дайте мне срок. Несколько дней не приезжайте, пожалуйста.

Глава семнадцатая

OPUS ULTIMUM¹

Жан-Жак издавна лучше всего себя чувствовал, общаясь с людьми из народа, с крестьянами и малоимущим городским людом. С тех пор как не стало собаки, он все чаще отправлялся в окрестные деревни, чтобы поболтать с простыми, неиспорченными людьми. Он обсуждал с ними их будничные дела и, если разговоры затягивались, дарил табак в возмещение за потерянное рабочее время. Крестьяне и арендаторы считали его чудачком, у которого «не все дома», ему-де их сеньор оказывает княжеские

¹ Последнее творение (лат.).

почести, а он меж тем держит себя с ними, как с ровней. Но вскоре, к своему удовольствию, они заметили, что его ненормальность обращается им на пользу. Он выступал перед маркизом ходатаем по их жалобам. Сеньор смягчил свою военную суровость и реже пользовался тростью. По просьбе Жан-Жака он даже дал свое согласие на замужество дочери одного из батраков, в котором долгое время отказывал. С тех пор бабка невесты ежедневно молилась за господина писателя Руссо, хотя он и не был католиком.

И хотя он и не был католиком, он любил поболтать с кюре Гоше. Они прохаживались взад и вперед, и Жан-Жак говорил о благе терпимости, а священник ругал маркиза за крутой и упрямый нрав. Жан-Жак говорил о величии и многогранности природы, а священник превозносил ее создателя; они отлично сговаривались друг с другом.

Принимал Жан-Жак участие и в развлечениях селян: играл в шары и даже, несмотря на слабое зрение, стрелял из лука. По воскресеньям народ плясал под волюнку и флейту, а когда однажды мадам Ганеваль спросила учителя, не присоединится ли он к танцующим, он долго не чинился и встал в круг.

Его часто видели в саду трактира «Под каштанами». Он сидел там за одним из непокрытых деревянных столов, потягивал темно-золотое вино, от души любовался клумбами с незатейливыми деревенскими цветами, кормил уток или рыбу в маленьком пруде. Находил время слушать почтительно-фамильярную болтовню трактирщика, папаши Мориса, и любого посетителя, который хотел поговорить с ним.

Здесь, в трактире «Под каштанами», услышал он о смерти Вольтера, своего великого коллеги и друга-врага. Эту весть сообщил ему папаша Морис, знавший тысячи подробностей. В сущности, Вольтера убили неумеренные восторги парижан. Вернувшись после длительного изгнания в свой родной город, этот восьмидесятитрехлетний старик не выдержал оваций, которыми Париж в течение многих недель встречал его.

Выразительное лицо Жан-Жака попеременно отражало потрясение, затаенное удовлетворение, глубокую скорбь. Его самого парижане преследовали, как никого больше. Вольтеру они оказывали почести, как никому больше. Быть может, это была одна из причин,—но в том Жан-Жак не хотел признаться себе,—побудивших его вскоре после возвращения Вольтера покинуть Париж.

Папаша Морис многословно и с возмущением рассказывал, как ненависть архиепископа преследовала великого борца и философа даже после смерти, как Вольтеру было отказано в христианском погребении, как его близкие,

опасаясь, чтобы тело не вышвырнули на живодерню, вынуждены были поспешно, с тысячью всяких недостойных, рискованных уловок, вывезти его из Парижа.

И теперь на лице Жан-Жака ничего нельзя было прочесть, кроме участия и возмущения. Он думал о собственной распре с архиепископом, о том, как его, Жан-Жака, книги вновь и вновь рвались и сжигались рукою палача, как его гнали из города в город, и за пределы страны, и за море. Он забыл о ядовитой ненависти, с какой Вольтер преследовал его, он чувствовал себя другом и товарищем покойного; оскорбления, нанесенные Вольтеру, наносились ему. Он хотел остаться один и распрощался с папашей Морисом. Но при выходе из сада увидел идущего навстречу священника. Тот с места в карьер заговорил о Вольтере, кипя от ненависти и ликования.

— Я слышал,—торжествовал он,—что этот еретик, этот богоотступник, этот богохульник отправился к праотцам в муках отчаянья.

Жан-Жак обычно добродушно проходил мимо непринужденных и резких суждений экспансивного священника. Сегодня же, чувствуя себя заодно с оклеветанным, он отчитал его:

— И как только у вас язык поворачивается, отец Гоше, называть великого Вольтера безбожником! Изучите его труды, и вы найдете сотни мест, доказывающих его благоговение перед Верховным Существом.

Он отделался от Гоше и искал уединения в объятom тишиной парке. На краю запущенной рощи опустился на мшистый пенек. По ту сторону луга строился его домик, оттуда приглушенно доносился шум работ.

Теперь, когда ни перед кем не надо было защищать усопшего, застарелая вражда вытеснила все остальные чувства. От этого только что скончавшегося старца он не видел ничего, кроме зла; Вольтер поднимал его на смех, натравливал на него глупость и грубый произвол. Из чистейшей зависти. А между тем для зависти у Вольтера не было причин: он жил окруженный славой, богатством, благополучием. Ум, дерзость и ирония Вольтера затмевали значение и одаренность его, Жан-Жака; мир видел в усопшем высочайшую вершину науки и искусства.

Но как раз на Вольтере оправдалась провозглашенная им, Жан-Жаком, истина, что именно наука и искусство ведут человека к гибели. Он, Жан-Жак, лицемерил, когда, великодушно защищая своего мертвого противника, убеждал священника, будто бы Вольтер был верующим. Нет, Вольтер ни во что не верил. В сущности, это была жалкая тварь, злая, ядовитая, беспокойная, и себе и людям в тягость. Он, Вольтер, обладал лишь умом, души у него не было.

А теперь вокруг него тьма, ничего больше.

Жан-Жак, с присущей ему остротой воображения, представил себе разлагающееся тело умершего и тьму вокруг. Пустота и ночь вокруг мертвого Вольтера погасили светлые краски лесной опушки и пологого луга, на месте легких, белых летних облаков лениво и грозно ворочались свинцовые тучи, пение ветерка превратилось в злобное завывание, в глухом шуме, доносившемся со стороны швейцарского домика, как будто слышались удары молотка по крышке гроба.

Все вокруг дышало тлением.

Жан-Жак усилием воли стряхнул с себя страшные видения. Стук молотков на постройке зазвучал, как прежде, звонко, крепко, радостно. Это для него строится дом. Он живет; это строится приют его мирной, счастливой старости.

Мысли об умершем враге и друге уступили место проникнутым мечтательной меланхолией, примиренным размышлениям о смерти. Он знал, что такое смерть: на страницах «Новой Элоизы» он не раз умирал вместе со своей Юлией, сладостно и безболезненно, догорая, как свеча, растворяясь, как звук; он знал, что в смерти нет ничего страшного.

Потом против воли опять заспорил с Вольтером. Вольтер сам виноват, что вызывал к себе столько ненависти. Всю силу своего острого ума он употребил на то, чтобы исказить лицо мира. Он все видел таким, каким был сам: тщеславным, мелочным, едким. Он довольствовался ролью великого писателя, но так ли уж это много?

Насколько это мало, он, Жан-Жак, знал лучше, чем кто бы то ни было. Он всегда ощущал свою славу как бремя. Оставляя Париж, он радовался, что заживет наконец тихо и мирно и не напишет больше ни одной книги.

Но теперь, когда тот ушел из жизни и в мире остался только один великий писатель — Жан-Жак, разве не обязан он положить последний камень для завершения здания? Он рассказал о своей борьбе и о том, что познал. Так не обязан ли он теперь написать книгу о своем умиротворении и самоотречении?

Уже по дороге домой в уме у него слагались фразы. Он произносил их вслух, заменял и переставлял слова, радовался их звучанию.

Едва переступив порог Летнего дома, он взялся за перо. Через открытые окна доносились порывы ветра, шум деревьев, журчание ручейка Нонет, и в щебет птиц в саду вплеталось чириканье его канареек. Он писал. Писал на красивой бумаге с золотым обрезом: он любил хорошую писчую бумагу. Писал изящным, твердым почерком. Писал, улыбаясь. Легко ложились под пером слова.

Работа захватила его. Он был одержим ею. Где бы он ни находился, он работал, искал и слагал. Он не ел, он мало спал, он работал.

В своей одержимости он не замечал, что Фернан по-прежнему избегает его. А когда однажды, во время прогулки по садам, неожиданно встретил Фернана, он был настолько поглощен собой и своей работой, что не увидел смущения юноши.

— Вообразите, Фернан,—воскликнул он,—я опять пишу. Я пишу о своих прогулках и о своих грезах.

Фернан был счастлив, что учитель и отдаленно не намекнул на его отсутствие, он хотел даже поведать Жан-Жаку о разрыве с Жильбертой, хотел пожаловаться на то, как тяжело, что люди, даже самые близкие, друг друга не понимают. Жан-Жак тем временем забыл о нем, углубился в себя, говорил сам с собой.

— Я не имею права скрывать от людей мое необыкновенное счастье,—размышлял он вслух.— Пусть все знают о посещающих меня прекрасных часах самоотречения и заново переживают их вместе со мной.— И он говорил, обращаясь к самому себе, бормотал, улыбался, жестикулировал, он явно работал над своим произведением.

Фернан хотел незаметно уйти. Но Жан-Жак остановил его:

— Нет, нет, не уходите.

И Фернан пошел рядом с ним. Жан-Жак направился к лужайке с эхом.

Там они уселись, и Жан-Жак своим глубоким, негромким голосом по-прежнему говорил сам с собой. Фернан, занятый мыслями о Жильберте, слушал сначала рассеянно. Но мало-помалу речь Жан-Жака завладела его вниманием, это была музыка, она прокладывала себе путь прямо к сердцу слушателя. Как мог тот самый человек, который, не щадя себя, изображал горячечные события «Исповеди», сотворить себе такой безоблачный покой? Фернан забыл Жильберту, он отдался обаянию душевной мудрости Жан-Жака, он закрыл глаза, он видел мир таким, каким видел его учитель; вместе с ним ощущал он простой, величественный покой природы, вместе с ним чувствовал нераздельную связь с деревьями и всякой живой тварью.

Постепенно, однако, в умиротворенность Жан-Жака начала вплетаться нотка застарелого безумия.

— Пусть весь мир будет по-прежнему в заговоре против меня, меня не ранят более никакие преследования,—размышлял он вслух.— Я научился жить под сенью своих страданий, без надежд и исполненный покоя. Иной раз мне еще хочется, чтобы муки мои пошли на пользу грядущим поколениям, как страсти Сократа или Иисуса из

Назарета. Но если враги уничтожат мои творения и муки мои окажутся напрасными, то я и с этим примирюсь. Мне ничего не нужно. Я один на всей земле,—грезил он,—у меня нет ни брата, ни родни, ни друга, ни спутника, у меня только я один и есть. Да, по единодушному решению,—он посмотрел на Фернана невидящим взглядом,—самый общительный, самый доброжелательный из людей отвержен всеми. Так живу я в глубине бездны, обреченный на вечное одиночество, несчастный человек, смертный, но, подобно богу, недоступный более никакому потрясению.

Мороз пробежал по спине Фернана. Как зачарованный, смотрел он на сидевшего перед ним безумца и мудреца, такого крохотного и такого скорбного. Неподвижный, осыпанный рябью солнечных бликов, он слагал изумительные фразы, извлекая из недр души свое самое сокровенное.

Над полянкой стояла знойная грозная тишина, в вибрирующем воздухе кружились мошки. Глаза Жан-Жака, глубокие, прекрасные, смотрели на Фернана, видели и не видели его. Эти глаза, которые замечали тысячу вещей, не замечаемых другими, не видели того, что происходило рядом. Смутно вспомнились Фернану страницы из древней истории, которые он когда-то читал, готовя уроки. Древние представляли своих ясновидящих слепыми. Тиресий был слеп, Гомер был слеп, Эдип, разгадавший загадки сфинкса, сам себя ослепил.

— Я ничего не жду более,—сказал Жан-Жак в пространство.—Я живу на дне пропасти и доволен. Мне ничего, от всего сердца говорю, ничего не нужно.

Он умолк. Он сидел кроткий, без желаний, вертя мельничное колесо своего безумия.

Лавина чувств и мыслей обрушилась на Фернана: сострадание, благоговение, ужас; даже смех потихоньку разбирал его. Он не мог более вынести эти видящие и слепые глаза Жан-Жака, не мог более вынести этот низкий, мягкий голос, говоривший: «Мне ничего, ничего не нужно». Ему хотелось уйти, но он не посмел.

Жан-Жак опять умолк. Он сидел напротив Фернана, в тени под соснами, умиротворенный, и небрежно поигрывал тростью. Было жарко. Оба молчали.

Фернан не выдержал. Торопливо заговорил и, быть может, для того, чтобы протянуть нити между собой и Жан-Жаком, неожиданно рассказал о выпавшем и на его долю зле, о тяжелых годах военного училища. Он говорил о жестокости начальников и товарищей, которые всячески изводили его только потому, что он сын сеньора Эрменонвиля. Особенно изощрялся учитель гимнастики—сержант, ветеран, человек лет сорока, грубый, мускулистый, жир-

ный и розовый; он ненавидел его, Фернана, преследовал, измышлял всевозможные каверзы, во время уроков мучил, подталкивал больно то кулаком, то ногой, выдавая это за помощь. Так прошли два мучительных года, полных бесчеловечности и несправедливости, истязаний физических и душевных.

— Люди злы,— закончил он беспомощно, мрачно, озлобленно.

Жан-Жак посмотрел на него своими прекрасными, молодыми, живыми глазами.

— Люди злы, вы правы,— сказал он.— Но человек добр. Человек добр!— повторил он страстно, с жаром.

Да, в эти дни он глубже чем когда-либо верил во врожденную доброту человека. Лето было на редкость прекрасное: солнечные, не очень жаркие дни сменяли друг друга, и волнующая, жгучая радость творчества не покидала его.

Он надолго останется здесь, в этом благословенном Эрменонвиле, до глубокой зимы, а быть может, и на всю зиму, на весь остаток своей жизни. Он закончит «Классификацию растений» и маленькую оперу. Просмотрит и соберет все песни, переложенные им на музыку в последние годы.

У него рождались все новые и новые планы. Он дополнит свой воспитательный роман «Эмиль» новыми главами. Во время прогулок с Фернаном он почерпнул для себя много новых наблюдений над чувствами и мышлением молодого человека.

Жаль, что Фернан, который в последнюю их встречу был весь нараспашку, с тех пор почти не показывается. Причина, вероятно, кроется в шестидесяти семи годах Жан-Жака; молодому человеку трудно понять его кроткую и горькую старческую покорность судьбе.

Но как сильно молодежь привязана к нему, несмотря на его преклонные лета, Жан-Жаку пришлось именно теперь лишний раз убедиться.

В один из этих светлых летних дней, когда он шел вдоль озера, собирая растения, и нагнулся над каким-то цветком, к нему подошел незнакомый юноша.

— Разрешите помочь вам? Можно мне понести ваши книги? — спросил он.

Жан-Жак, слегка озадаченный, ответил вопросом:

— Кто вы? Что вам угодно?

— Я студент,— ответил молодой человек,— изучаю право, и теперь, когда я встретил вас, мне больше в Эрменонвиле ничего не нужно, все мои мечты сбылись.

Жан-Жак сказал с незлобивой насмешкой:

— Так молод и уже такой льстец.

Незнакомец, покраснев до ушей, защищался:

— Я, мосье Жан-Жак, шел пешком десять часов не для того, чтобы говорить вам комплименты, а ради счастья увидеть вас.

Жан-Жак, улыбаясь, ответил с легкой иронией.

— Десять часов пешком—этим вы меня не удивите, мосье. Я старый человек, но меня не пугают гораздо более длительные пешие переходы.

Он почти вплотную подошел к юноше и стал разглядывать его своими близорукими глазами. Незнакомец был очень молод; широкий упрямый лоб, волосы, начесанные на лоб, горящие глаза, благоговейно устремленные на Жан-Жака.

— Вы производите впечатление искреннего человека, мосье,—сказал наконец он.—Не взыщите, что я вас так неприветливо встретил, но мне приходится ограждать себя от досужих бездельников. Париж вторгается в мой покой, лишь бы поглазеть на меня, Париж докучает мне. Он не желает даровать мне мирной старости.

— Позвольте мне заверить вас,—почтительно ответил юноша,—что нас, молодежь Франции, влечет к вам отнюдь не досужее любопытство. Мы любим вас и безмерно восхищаемся вами. Чтобы строить жизнь, нам нужен ваш совет, нужны ваши идеи.

— Хорошо,—сказал Жан-Жак,—если вам угодно, прогуляем вместе по этим садам и поболтаем. Боюсь, однако, что о политике вы услышите совсем немного. Я охотнее поговорю с вами о деревьях и цветах. Вы увидите, друг мой, что ботаника приятнейшая из наук.

Юноша сопровождал его, он не задавал вопросов, внимательно слушал.

Под конец, чувствуя, что рядом с ним друг, Жан-Жак заговорил о том, что его постоянно угнетало: как его не понимают, как все, что он пишет, толкуют превратно, убивая самый смысл и силу воздействия его творений, какую безнадежную борьбу ведет он в одиночку против всеобщей бесчувственности.

Молодой человек с жаром возражал.

— Вы не оказываете воздействия?—воскликнул он.— Но вы же нам близки. Народ вас любит. Все остальные—Дидро, и Рейналь, и прочие высокоинтеллектуальные писатели, даже великий Вольтер, пишут для избранных. Эти господа не понимают народ, и народ их не понимает. Ваш язык, учитель, понятен всем. «Человек рожден свободным, а между тем он везде в оковах»,—это понятно всем. «Свобода, равенство и братство»,—это понятно всем. Тех, других, наша страна церемонно величает мосье Вольтер или мосье Дидро. А вы, учитель, вы для Франции, для всего мира—Жан-Жак. Никому другому не оказывается такая честь. Вас называют только по имени,

как короля.—Он прервал себя.—Какое бессмысленное сравнение. Простите меня. Ведь я знаю, что вы думаете о королях, я навсегда это запомнил...—И он процитировал.—«Нет сомнения, что народы сажали королей на троны для того, чтобы короли защищали свободу, а не уничтожали ее». Клянусь вам: мы, молодежь Франции, позаботимся о том, чтобы ваши слова превратились в нечто зримое, в дела. Вы указали нам путь. Мы этим путем пойдем. Мы, Жаны и Жаки, заменим Людовика Жан-Жаком.

Жан-Жак слушал, улыбаясь.

— Перед деревьями Эрменонвиля вы можете безнаказанно произносить такие речи,—сказал он.—Но в Париже пусть этого никто не слышит. Иначе, мой молодой друг, век ваш так укоротят, что вам не придется претворять в жизнь свои мечтания.

Юный студент пылкостью чувств напомнил ему Фернана. Он лукаво сказал:

— Если вы хотите доставить мне удовольствие, соберите немного мокричника для моих канареек.

Но когда незнакомец, прощаясь, спросил, можно ли прийти еще раз, Жан-Жак заставил себя отказать ему в этой просьбе.

— Боюсь, друг мой, что я к вам привыкну,—сказал он.—Я не могу позволить себе заключать новую дружбу: новое разочарование мне теперь не под силу.

Юноша почтительно поклонился и ушел.

Вернувшись в Париж, студент—ему было девятнадцать лет, он был родом из города Арраса и звался Максимилиан Робеспьер—записал в свой дневник:

«Я видел Жан-Жака, женевского гражданина, величайшего из людей нашего времени. Я все еще полон гордости и ликования: он назвал меня своим другом!

Благородный муж, ты научил меня понимать величие природы и вечные принципы общественного порядка.

Но в твоих прекрасных чертах я увидел скорбные складки—следы несправедливости, на которую тебя обрели люди. На твоем примере я воочию убедился, как люди вознаграждают стремление к правде.

И все же я пойду по твоим стопам.

Старое здание рушится. Верные твоему учению, мы возьмем в руки лом, разрушим старое до основания и соберем камни, чтобы построить новое здание, чудесное, какого мир еще не знал. Быть может, мне и моим соратникам придется расплатиться за наше дело глубочайшими несчастьями или даже преждевременной смертью. Меня это не пугает. Ты назвал меня своим другом: я покажу, что достоин им быть».

Часть вторая

СМЕРТЬ ЖАН-ЖАКА

Vitam impendere vero — жизнь посвятить истине.

Ювенал — Жан-Жак Руссо

Полезная ложь лучше бесполезной правды.

Французская народная мудрость

Глава первая РОКОВОЙ ВЕЧЕР

Услышав, что обе женщины едут в Санлис, Фернан решил воспользоваться их отсутствием и зайти за Жан-Жаком, чтобы вместе отправиться на прогулку; ему казалось, что он почувствует себя свободнее, если будет знать, что Терезы нет. Но под разными предложениями он мешкал, и когда пришел в Летний дом, Жан-Жака он уже не застал. Фернан обошел все любимые уголки учителя и не встретил его. Побрел в деревню. В саду трактира «Под каштанами» он увидел папашу Мориса и спросил, не заглядывал ли сюда Жан-Жак. Морис сказал, что заглядывал, и болтливо прибавил: Жан-Жак-де очень недолго оставался, говорил, что его тянет к работе, и сейчас же пошел домой.

Беспокоить учителя во время работы не следовало. Но случилось, что, устраивая себе передышку, Жан-Жак играл на клавесине, и Фернан решил: если услышит звуки музыки, он, не колеблясь, войдет. Он направился к Летнему дому. Дверь была заперта, и изнутри ничего, кроме посвистывания канареек, не доносилось. Фернан досадовал на себя, что упустил Жан-Жака, и чуть-чуть был доволен. Пожав плечами с чувством не то сожаления, не то облегчения, он ушел.

После обеда он читал с мосье Гербером Тацита. Потом опять обошел сады, но и теперь Жан-Жака нигде не было. Поплавал в озере, уселся под ивой и долго ждал.

Ужинать сели рано. Маркиз был хорошо настроен, и мосье Гербер был сегодня разговорчив. Он рассказал, что третьего дня Жан-Жак сыграл ему несколько романсов, написанных им здесь, в Эрменонвиле. Мосье Гербер, бесспорно, не хотел похвалиться доверием учителя, но Фернана царапнуло, что не он первый услышал эти романсы. Маркиз сказал, что в ближайшие дни попросит Жан-Жака устроить для них музыкальный вечер.

Заговорили о другом. Гербер с похвалой отзывался о неустоимости, с какой Фернан читал Тацита. Маркиз подал мысль поговорить немного по-латыни. Перебрасываясь шутками, поговорили; Фернан даже повеселел. Вечер прошел оживленно.

Но еще до наступления ночи все смешалось в неописуемом ужасе. Из вестибюля слышались громкие крики и плач, туда сбегались слуги. А в центре стояла Тереза, Тереза, какой ее никто еще не знал. Всегда такая спокойная, медлительная женщина металась в панике. Ее платье, ее нарядное светлое платье, в котором она ездила в Санлис, было в пятнах, буровато-красных пятнах крови.

Что случилось? Она поранилась? Нет, не она, а Жан-Жак. У Жан-Жака приступ? Возможно. Он не шевелится. Он холоден и недвижим. Он мертв. Никто ничего не понимал.

— Недвижимый, и холодный, и мертвый,—повторяла Тереза.

Мосье де Жирарден, привыкший действовать, отдавал приказания.

— Поль, немедленно сбегай за доктором Шеню. Ты, Гаспар, возьми лошадь, скачи в Санлис и привези доктора Вийерона. Доставьте их сюда обоих, чего бы это ни стоило!

Затем он побежал в Летний дом, с ним Фернан, мосье Гербер и другие.

Тем временем мадам Левассер оставалась в Летнем доме, одна с мертвым Жан-Жаком. Найдя бедного чудака плавающим в собственной крови, она отчаянно испугалась. Ее первым побуждением было не вмешиваться в события, предоставить их естественному ходу, пусть бы этот отъявленный негодяй и проходимец окончил жизнь на виселице или на колесе. Тереза же сразу закричала, и ее крик заставил мадам Левассер опомниться. Глупой Терезе — той можно ни о чем не думать, дать себе волю, а она, семидесятитрехлетняя старуха, обязана думать, думать быстро и четко.

Прохвост не просто проломил череп ее уважаемому зятю, он аккуратненько уложил убитого около камина, да так, чтобы напрашивалось предположение, будто, падая, Жан-Жак расшибся о край решетки. Этим негодяй явно хотел пригрозить ей: пускай, мол, только посмеет высказать подозрение против него, Николаса, ведь тогда неизбежно всплывет его связь с Терезой — и все пойдет прахом, и не только для него, но и для Терезы.

Все это старуха обдумала в несколько кратких секунд, и она поняла: мерзавец рассчитал умно и правильно, она не может схватить его за глотку, больше того, она должна его выгородить. С этого надо начать.

— Помоги положить его на постель,— резко крикнула она Терезе.

Тереза, наклонившись над огромной лужею крови, опять завопила. На этот раз старуха ничего не имела против, она не останавливала дочь, и та плакала и голосила, а потом выскочила из дому и понеслась в замок. И мадам Левассер осталась одна. Но через несколько минут она уже не будет одна, через несколько минут все будут здесь, а до тех пор необходимо сочинить вполне правдоподобную версию из той полуправдоподобной, которую подготовил негодяй.

Прежде всего она с лихорадочной поспешностью осмотрела дарь. Они были на месте, драгоценные страницы, сверху донизу исписанные чудачком; злодей был достаточно умен, чтобы не тронуть их.

Она села, она почувствовала большую слабость. Но надо взять себя в руки, надо думать и думать, четко и логично, нельзя допустить никакой несурязицы, на которой ее можно было бы поймать. Хорошо, что голова ей служит лучше, чем ноги.

Но вот уже прибежал маркиз, а с ним—и все остальные.

В Летнем доме было сумрачно, и все-таки Жирарден сразу увидел на полу пятна крови.

— Что это?—спросил он.—Где он?

Мадам Левассер жестом показала на альков, тонувший в полумраке.

— Мы уложили его на кровать,—сказала она.

Маркиз нерешительно подошел. Глаза его медленно осваивались с темнотой. Жан-Жак лежал на кровати в шлафроке; худое лицо было в сгустках запекшейся крови.

При виде этого зрелища Жирарден потерял нить мыслей, он тупо уставился на покойного, он ничего не слышал; впервые в жизни ему показалось, что он сейчас упадет.

Мадам Левассер что-то говорила.

— Что вы сказали, мадам? Как вы говорите?—спрашивал он, стараясь овладеть собой.

— Мы нашли его на полу,—пояснила мадам Левассер,—здесь, возле камина. Мы подняли его и положили на кровать. Вернее говоря, мне пришлось это сделать самой. Тереза была почти невменяема. Но он ведь очень легкий. Он уже был совсем холодный, а кровь успела запечься. И все-таки, как видите, мы кругом в крови.

Маркиз сделал шаг к кровати.

— Он, видно, ударился правой стороной,—сказала мадам Левассер.—Рана проходит через весь правый висок.

— А дом был заперт, когда вы вернулись из Санлиса? — спросил маркиз.

— Да, — ответила мадам Левассер и продолжала: — Я так себе все это представляю: с ним случился удар, и при падении он расшибся о край камина.

В глубине души маркиз облегченно вздохнул: такого рода объяснение правдоподобно, оно должно быть правдоподобным. Он сделал еще шаг к кровати. На поле брани Жирарден видел много страшных ран, но ничего страшнее этого лица, покрытого запекшейся кровью, он в жизни не видел.

— Да, это, вероятно, был правый висок, — сказал он бессмысленно.

Долгие годы ничто не нарушало спокойного течения и благополучия его жизни, он был доволен собой, да, в сущности, и миром. Тем сильнее потрясла его непостижимая кончина Жан-Жака. Внезапно счастливейшее событие его жизни, приезд Жан-Жака, обратилось в зловещую беду. Великий, кроткий учитель был внезапно и кроваво вырван из тишины и мира, которые он наконец обрел у него. И сам Жирарден каким-то образом вовлечен в это страшное дело, каким именно — он, разумеется, не знал и знать не хотел.

Ему нужно было поделиться с кем-нибудь своим горем.

— Ты был с ним очень близок, сын мой, — сказал он. — Погляди на него. Подойди сюда и не пугайся его вида.

Фернан помимо своей воли все время впивался взглядом в пятна крови на платье Терезы. Тереза вызывала в нем отвращение, и, хотя он понимал, что не она пролила эту кровь, ему надо было собрать все свое благоразумие, чтобы согласиться с этим. Она со старухой были в Санлисе, у обеих неопровержимое алиби. Виноват во всем он, Фернан. С тех пор как исчезла Леди, он знал: Жан-Жак в опасности. Именно сегодня какое-то предчувствие подсказало ему, что нужно зайти к Жан-Жаку, что нужно охранять его. Но он боялся натянутости первого приветствия и умышленно оттягивал встречу. Он несет ответственность за свершенное злодеяние.

Он подошел к телу, подчиняясь воле отца. Перед ним лежал его друг. Друг предложил ему свою любовь, но сердце Фернана оказалось ленивым, он был неспособен сильно любить. Он смотрел, не отрываясь, на эту голову, покрытую запекшейся кровью. Мыслей не было, он оступел от горя, он никогда не думал, что может быть такое нестерпимое горе.

Жирарден между тем овладел собой. На нем лежит ответственность за покойного и за самого себя. Если уже

его испугал вид окровавленного тела, то другие, наверное, не захотят поверить в разумную как будто версию мадам Левассер. Нагромождят всякие страшные сказки вокруг крови. Он, Жирарден, обязан позаботиться о том, чтобы рассудок победил вымысел, фантазию и суеверие. Чувство долга и ответственности взяли верх над горем маркиза.

Прибыл главный хирург Эрменонвиля Шеню.

— Боюсь, доктор, мы все слишком поздно явились,— сказал Жирарден и вместе с врачом подошел к телу.

Доктор Шеню после самого краткого освидетельствования, пожав плечами, заявил, что мосье Руссо, по всей вероятности, уже давно мертв, не менее четырех-пяти часов. Маркиз поспешно подхватил:

— Ужасная картина, не правда ли? Но совершенно ясная. Дом был заперт. Жан-Жак был один в доме, когда с ним приключился удар. Падая, он разбился об острый край каминной решетки. Так полагает мадам Левассер, так оно, вероятно, и произошло.— Жирарден говорил возбужденно.

— Да, так, вероятно, оно и произошло,— несколько вяло поддакнул хирург Эрменонвиля сеньору Эрменонвилю.

С досадой смотрел Жирарден на комнату, набитую людьми. Священник Гоше был здесь и мэр Эрменонвиля Мартэн, а в окна заглядывали слуги из замка, люди из деревни.

Доктор Шеню сказал вполголоса, что, пожалуй, следовало бы для осмотра тела пригласить мосье Боннэ, прокурора Эрменонвиля. Маркиз выслушал врача с неудовольствием. С прокурором Боннэ у него были счеты. Но доктор прав. Прокурора необходимо известить, таков закон, да и, кроме того, это нужно, чтобы пресечь всякие вздорные слухи. Послали за мосье Боннэ.

В глубине души Жирарден теперь был совершенно уверен, что враги постараются распространить вздорные слухи; они не остановятся перед тем, чтобы и на него, маркиза, набросить тень подозрения, его обвинят в том, что он недостаточно охранял жизнь своего гостя от врагов. Эта мысль вызвала в гордом Жирардене жгучий гнев, почти не уступавший его горю. А комната между тем все больше и больше наполнялась людьми, они перешептывались, и в их шепот вплеталось беззаботное посвистывание канареек.

— Заставьте наконец этих птиц умолкнуть!— нервно и громче, чем он того хотел, сказал он мадам Левассер. Старуха, ни словом не возразив, набросила на клетку платок.

Она вполголоса отдала какое-то распоряжение Терезе.

Тереза с опустошенным лицом, слегка полуоткрыв рот, сидела, забившись в угол, совершенно раздавленная.

— Посторонитесь, пожалуйста,—обратилась мадам Левассер к тем, кто стоял вблизи камина. Тереза принесла маленькую бадейку с водой и принялась смывать кровь с пола. Никто не помогал. Все молча следили за тем, как она этим занималась.

«Теперь они молчат,—думал маркиз.—Но не успеют они выйти за порог, как языки развяжутся. Сейчас уж, вероятно, все известно даже в Санлисе, а вскоре и до Лувра докатится. Почтарь Пейен—невероятный болтун, обо всем этом он будет рассказывать с ядовитыми замечаниями, будет рассказывать всем своим пассажирам, а в Лувре все они делают остановку. Еще до наступления вечера Париж будет осведомлен обо всем. День долог».

День был длинный, бесконечно длинный летний день, и в дом набивались все новые и новые люди. На место одного уходившего приходили трое других, и в окнах появлялись все новые лица. Маркиз с наслаждением выставил бы всех, но этого, конечно, сделать было нельзя.

Прибыл прокурор мосье Боннэ. Он привез с собой, как полагалось по закону, врача, того самого доктора Вийерона, за которым маркиз посылал. Прокурор вежливо поздоровался. Лицо маркиза помимо его воли напряглось, во рту у него пересохло. Теперь надо быть начеку.

Прокурор задал обоим женщинам несколько вопросов по существу дела. Тереза сидела с безучастным видом, отвечала мадам Левассер. Присутствующие внимательно прислушивались. Все, что она говорила, было понятно, трудно было к чему-нибудь придаться. Да, дом был заперт, как всегда, задвижка и замок в полном порядке, окна закрыты; Жан-Жак закрыл их, вероятно, спасаясь от жары. Они нашли его на полу, всего в крови, вот таким, какой он сейчас. Она и дочь весь день провели в Санлисе, Ездили туда за покупками. Она назвала магазины, в которые они заходили. О посещении нотариуса Жибера мадам Левассер не упомянула. В заключение повторила свою версию о кровоизлиянии и о камине.

— Таково мнение и доктора Шеню,—поспешил заверить Жиарден.

Но кто этот непрошенный дурень, который вмешивается в разговор? Трактирщик, папаша Морис, арендатор и данник маркиза!

— Я, пожалуй, последний из тех, кто видел так ужасно почившего ныне,—обратился он к прокурору, некстати разболтавшись.—Я семь раз перечитал все его произведения, и я беру на себя смелость сказать, что он охотно со мной беседовал. У мосье Жан-Жака был на

редкость хороший вид, когда он заходил ко мне сегодня, я даже обратил на это внимание; ничуть не болезненный, господин прокурор. Понять невозможно, как это он ни с того ни с сего лежит тут мертвый.

— Благодарю, мой друг, мы будем иметь вас в виду, если возникнут какие-либо вопросы,—сказал прокурор и повернулся к доктору Вийерону:—будьте добры, мосье, освидетельствовать тело.

Доктор Вийерон наклонился над покойником.

— В сущности, исключается всякое иное объяснение, кроме предложенного мадам Левассер,—внушительно произнес маркиз.

Врач, бего осмотрев тело, сказал:

— Весьма возможно, что причина, изложенная мадам, могла привести к летальному исходу. Но окончательный вывод возможен лишь после вскрытия.

Мадам Левассер почувствовала враждебность, с какой люди смотрели на Терезу, когда она смывала кровь с пола. Своим сильным, беззвучным голосом, очень спокойно она сказала, бросая вызов этому сброду.

— Мой уважаемый зять,—сказала она,—неоднократно выражал пожелание, чтобы сго не хоронили без вскрытия и чтобы на вскрытии присутствовало не менее десяти лиц. Он всю жизнь боялся врагов, это всем известно. Я прошу вас, господин маркиз, и вас, многоуважаемый господин прокурор, распорядиться насчет вскрытия. Для того чтобы выяснить все, что подлежит выяснению.

Жиарден с первой минуты проникся глубокой неприязнью к старухе, и вопреки всем доводам рассудка в нем шевелилось подозрение, что она каким-то образом связана с этим кровавым делом. Но, увидев, как мужественно и умно она себя держит—он сам ничего лучшего не придумал бы,—маркиз воздал ей должное, даже почувствовал нечто вроде благодарности, и их молчаливое взаимопонимание росло.

Прокурор мосье Боннэ сказал:

— Вряд ли тут есть что выяснять. Но, поскольку вы, мадам, и вы, господин маркиз, того желаете, вскрытие будет произведено.—Он учтиво поклонился старухе и Терезе:—Разрешите выразить вам мое искреннее соболезнование, сударыни,—сказал он и вышел.

Маркиз облегченно вздохнул. Первая опасность миновала. Ужасающее зрелище запекшейся крови, естественно, возбуждало воображение; как только тело приведут в достойный вид, легче будет добиться торжества правды.

Разошлись бы наконец эти люди!

— Мне кажется, друзья,—обратился он с несколько наигранной непосредственностью к набившемуся в комнату народу,—теперь следует оставить обеих дам одних.

Дом постепенно опустел. Тем временем стемнело. Мадам Левассер зажгла свечи. Жирарден, отдав первые, самые необходимые распоряжения, не противился более охватившей его слабости. Опустился в кресло, закрыл глаза.

Но, подумав о том, сколько еще предстоит сделать этой ночью и в ближайшие дни, он не разрешил себе передышки. Надо немедленно поручить мадам Обрен, обряжающей покойников, к раннему утру привести тело в надлежащее состояние. Затем с первой же почтой необходимо отправить письмо доктору Лебегу. И скульптора Гудона надо вызвать, чтобы снять посмертную маску. Скульптору нужно прибыть безотлагательно, немедленно. Маску следует снять раньше, чем произведут вскрытие.

Взгляд его упал на письменный стол и на ларь. Рукописи необходимо надежно спрятать, и тоже как можно скорее, чтобы с ними не случилось какой-нибудь беды. Но, пожалуй, до погребения с этим ничего не сделаешь. Похороны он устроит скромные, достойные. Жан-Жак, по крайней мере, будет погребен здесь, на его, Жирардена, земле, и Эрменонвиль, вместо того чтобы стать приютом мирной старости величайшего мужа столетия, станет местом его последнего успокоения.

Деловые мысли медленно оттеснялись, уступали место чистой, глубокой скорби. Он подошел к телу Жан-Жака. Еще так недавно Жан-Жак весело и оживленно говорил, как много хочется ему сделать: сборник песен, и «Прогулки», и «Классификацию растений», и многое, многое другое, и швейцарский домик, где все это должно было осуществиться, домик, который так его радовал, в ближайшие дни будет готов; но Жан-Жак уже не поселится в нем. Вот лежит он с зияющей раной в виске, вырванный из гущи всех своих планов. Так много друзей было рядом, а он, великий старик, истек кровью и изошел последними хрипами один, в том ужасном, холодном одиночестве, безысходность которого он всю жизнь оплакивал и воспевал.

Никогда ни на одном поле сражения Жирарден с такой потрясающей силой не чувствовал, как жалок удел живого создания. Смешно, но, вопреки подавленности и скорби, угнетавшим его, в ушах все время звучало латинское двустипение, при помощи которого учащиеся запоминают глаголы, при которых лицо, испытывающее чувство, нужно ставить в винительном падеже. Этот стих мосье Гербер часто повторял Фернану: *piget, pudet, poenitet, taedet atque miseret* — досадовать, стыдиться, раскаиваться, испытывать отвращение и жалеть.

Он заставил себя вернуться к действительности. Он

совершенно забыл о старухе и Терезе. Надо позаботиться о них, ничего не поделаешь.

— Не поужинаете ли с нами в замке, сударыни?— обратился он к мадам Левассер.— Я бы прислал сюда кого-нибудь побыть возле тела.

— Спасибо, господин маркиз,— холодно, даже неприязненно ответила мадам Левассер.— Вы очень добры, но мы останемся здесь.

Жиранден возвратился в замок; почти безотчетно, машинально он прошел к себе в спальню и открыл тайник, в котором была вмурована доска с многочисленными запасными ключами. Ключи висели правильно, в том сложном, умышленно перепутанном порядке, который был известен ему одному. Запасной ключ от Летнего дома висел, как ему полагалось, бородкой вправо, наполовину прикрытый ключом от калитки 17; все ключи висели в положенном порядке. Смутно возникло воспоминание, как он однажды застал Николаса в спальне. Он тотчас же подавил в себе это воспоминание. Но не смог помешать памяти восстановить враждебный взгляд, которым старуха посмотрела на него, отклоняя приглашение поужинать в замке. Он не хотел знать, но он отлично знал, что говорил этот взгляд. Если бы ты сдержал обещание и отослал Николаса прочь, этого бы не случилось,— вот что говорил взгляд старухи.

Чего только ему не чудится. Он досадливо мотнул головой.

Направился в кабинет; дел было по горло. Он рад был, что у него много хлопот, это отвлекало.

— Пошлите ко мне управляющего,— приказал он.— И пусть люди будут наготове. В Париж поскачут курьеры. Несколько человек. Я сделаю также ряд распоряжений относительно похорон.

Он командовал, отдавал приказания, строго, лаконично, по-солдатски. Он хотел, чтобы похороны, при всей их простоте, надолго запомнились. Чтобы отдаленные потомки еще рассказывали о погребении Жан-Жака Руссо.

Глава вторая

ОБМАНУТЫЙ ОБМАНЩИК

Была уже ночь, когда мадам Левассер и Тереза остались наконец одни. Мадам Левассер сидела в любимом кресле Жан-Жака. Она устала до изнеможения. В ее жизни, далеко не бедной трудными днями, этот день был самым трудным. И завтрашний день, и послезавтраш-

ний—вся, предстоящая неделя безделицей для нее не будет.

Хорошо хоть, что она вовремя успела закончить дело с нотариусом. Этот мэтр Жибер горазд вытягивать из чужих карманов деньги, как бы глубоко их ни спрятали; но он знает свои законы, он понял, чего она добивается и что от него требуется; в самые ближайшие дни документ будет у нее в руках. Тереза поставила свою подпись под многочисленными бумагами, не хватало только ее последней подписи и печати нотариуса. Но он сказал, что это уже пустая формальность. Сразу же после похорон она поедет с Терезой в Санлис, нужно только следить, чтобы до тех пор дочь не оставалась наедине с проходимцем.

Сегодня ей, старой женщине, пришлось думать четко и быстро, она ни разу не сплеховала и была довольна собой. Она тотчас же дала понять маркизу, у которого голова не бог весть какая светлая, что сейчас самое важное. А когда явился господин прокурор, у нее от страха кровь застыла в жилах, но и тут она выдержала испытание, а уж то, что она сама потребовала вскрытия,—это заслуживает высокой похвалы.

Если уже сейчас пущена в обращение версия, что этот блаженный умер праведной, естественной смертью, то это целиком ее заслуга.

Она хорошо все обстрипала, она чувствовала свое превосходство над маркизом, над прокурором, над смертью и над самим сатаной. Но это потребовало напряжения всех ее сил, и она устала, она совершенно разбита.

— Приготовь что-нибудь поесть,—приказала она Терезе.

— Я не в состоянии есть,—горестно захныкала Тереза; жалко было смотреть на ее беспомощно поникшую фигуру.

— Безмозглая корова,—выругала ее старуха, на этот раз все же беззлобно. Она с трудом встала и сама принялась хлопотать о еде.—Переоденься, по крайней мере, и отмой пятна на платье,—снова приказала она.

Тереза послушно встала, чтобы выполнить приказание. Сжавшись от страха, она обошла альков.

— Не знаю, как же будет ночью,—причитала она.— Не могу же я спать с мертвецом.

— Так тебе и надо,—произнесла мадам Левассер. Больше она ничего не сказала о вине Терезы в смерти Жан-Жака, но Тереза поняла ее.

Мадам Левассер быстро собрала незамысловатый ужин, и Тереза в конце концов тоже села за стол.

Они еще ужинали, когда раздался громкий стук в дверь. Вошел Николас.

Тереза коротко вскрикнула, ее всегда сонное лицо исказилось от страха. Она невольно посмотрела на альков. Где-то и когда-то она слышала, что раны убитого в присутствии убийцы начинают кровоточить. Дрожа, косилась она на кровать, едва видимую в мерцающем свете свечей.

Мадам Левассер ждала, что негодяй явится для разговора с ней. Но она не допускала мысли, что у него хватит сверхъестественной наглости прийти этой же ночью.

Она чувствовала смертельную усталость, она боялась, что не выдержит нового и жестокого напряжения. Но она должна взять себя в руки—в который раз за этот ужасный день! Она не может себе позволить накинуться на этого человека, как бы страстно ей ни хотелось этого; она должна помешать ему поговорить с Терезой наедине и прежде всего должна коротко и ясно сказать ему, что у Терезы нет права распоряжаться рукописями.

— Немножко поздно, пожалуй, сударыни,—начал между тем Николас, стараясь вложить в свой квакающий голос нотки достоинства и участия,—но я не мог утерпеть, чтобы сегодня же не выразить вам мое глубокое соболезнование по поводу столь ужасного несчастья, так неожиданно постигшего вас. Не взыщите, многуважаемые. Увидев свет в окнах, я как друг ваш,—смею надеяться, что я вправе так называть себя,—позволил себе войти. В подобном положении, сказал я себе, две одинокие дамы нуждаются в знающем свет покровителе.

— Очень любезно с вашей стороны,—ответила мадам Левассер,—но о нас не беспокойтесь, пожалуйста. У нас есть покровители. Весьма влиятельные. Нас охраняет даже королевская печать.

— Я не очень силен во французском языке,—сказал Николас,—и, быть может, неправильно понял, что вы этим хотели сказать. Легко могу себе представить, что наш бедный усопший оставил завещание. Но достаточная ли это гарантия? Вот, например, стоит ларь с знаменитыми бумагами. Мы все знаем, как наш дорогой покойник тревожился о них. Он всегда боялся, что кому-нибудь из аристократов взбредет вдруг в голову захватить все писания, или тем же философам, например, они ведь всегда на ножах между собой, сами не знают почему.

— Мы-то этого не боимся, дорогой друг,—едва ли не добродушно заверила Николаса мадам Левассер.—Это же была только причуда моего бедного зятюшки, которая теперь вместе с ним и умерла. Жизненный опыт научил меня, что на эти рукописи могут зариться только самые обыкновенные низкопробные проходимцы. И вот как раз от происков таких мерзавцев я теперь и застраховала себя документом, скрепленным королевской печатью. Мы его

добыли в последнюю минуту, в ту самую минуту, когда чья-то преступная, зверская рука разделалась с нашим бедным Жан-Жаком.

— Нехорошо, мадам, прямо-таки богохульство называть руку провиденья преступной,—с мягким укором сказал Николас.—Но я понимаю, вы не в себе. Все же, многоуважаемые, несмотря на вашу королевскую печать, я вам советую: спрячьте рукописи, отдайте их в верные, надежные руки. Отдайте ларь на сохранение вашему преданному слуге и испытанному другу.—И он сделал шаг к ларю.

Вся выдержка, вся рассудительность мадам Левассер, как только она это увидела, покинули ее. Давно сдерживаемое бешенство прорвалось наружу, она попыталась повысить свой беззвучный голос, попыталась кричать.

— Руки прочь от ларя,—зашипела она.—Ах ты собачий выродок, гад, подлый кровавый стервец! Глупости в тебе, оказывается, больше, чем подлости. Ты все еще ничего не понял? Пока ты тут совершал свое гнусное, кровавое дело, мы там все узаконили. Твоя карта бита, безмозглый!

Жутко и смешно было смотреть, как старуха пыталась напрячь свой бессильный голос до крика, а получалось только какое-то пискливое клохтанье. Несколько спокойнее она продолжала:

— Быть может, вы, господин барышник, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы, сообразоволите съездить в Санлис, к королевскому нотариусу Жиберу. Там можете попросить, чтобы вам показали документ. И если вы понимаете хороший французский язык, то вам станет ясно: над рукописями теперь хозяйка я, вдова Левассер. Тереза без меня ничего не может сделать. Вы напрасно, совершенно напрасно старались, голубчик мой, вы ни одного су не получите, самое большее, что вы можете получить,—это виселицу или колесо.

Вдруг, как помешанная, залопотала Тереза:

— Это ужасно, ужасно, что вы натворили, мосье Николас! Этого я не хотела. Вы не можете сказать, что я этого хотела. Все это просто ужасно.

Николас сохранял спокойствие, только ноздри его широкого носа вздрагивали. Бегло взглянул он на Терезу своими злыми белесыми глазами и опять повернулся к старухе с любезной, несколько напряженной улыбкой.

— Вот видите, мадам, теперь вы и бедную вашу дочь довели до безумия,—сказал он своим квакающим голосом.—Сначала вы говорили о кровавой деснице провиденья, а теперь сваливаете все на меня. Я понимаю, вполне понимаю, как вы потрясены, но ведь я не провиденье, я простой слуга господина маркиза,—правда,

и будущий владелец скаковых конюшен а-ля Тэтерсолл. Признаюсь, впрочем, что теперь, после печальной кончины господина философа, мне куда сильнее, чем раньше, кажется, что я уже держу в руках свои конюшни. Что ж, что одному похоронный звон, то другому благовест.

Старуха необычайно спокойно сказала:

— Я знаю, мой мальчик, почему ты так нагло ведешь себя. Ты полагаешь, что в том случае, если я дам ход этому кровавому делу, моей бедной Терезе тоже не поздоровится, а поэтому я не стану изобличать тебя. Однако, возможно, ты и тут просчитаешься. Надежда увидеть тебя на колесе так заманчива, что за нее не жаль и дорогой цены.

Николас по-прежнему уравновешенно ответил:

— Я никогда не сомневался, мадам, что вы умная женщина, и вы не раз и не два подумаете раньше, чем доставить себе такое удовольствие.

Но он понял, что она и впрямь ездил в Санлис не за тем, чтобы любоваться достопримечательностями города, и от страшного разочарования, что его замысел, так молниеносно и дерзко осуществленный, провалился, он вдруг света белого невзвидел. Лицо его превратилось в маску беспредельного, страшного гнева.

— Заткни пасть, вислозадая кобыла!— рявкнул он.— Думаешь, я испугался твоей беззубой болтовни? Я знаю, как оседлать такую старую клячу. Вот захочу и заберу твое сокровище!—И он кинулся к ларю.

Мадам Левассер бросилась ему наперерез и заслонила ларь своим телом. Жалкое зрелище представляла собой эта жирная, задыхающаяся старуха, пытающаяся вступить в единоборство с таким крепким детиной. Она старалась закричать. Голоса не было.

В отчаянии она схватила Терезу за плечо.

— Кричи ты, дура!—беззвучно заклинала она дочь.— Он грабит твои деньги. Больше тебе не на что будет жить. Кричи же!

Тереза видела напряженное лицо матери, видела на нем ужас, ярость, энергию. И весь страх, все благоговение, какие она испытывала перед этой женщиной с той минуты, как начала понимать и чувствовать, завладели ею, и она закричала. Пронзительно кричала она своим грудным голосом.

Николас тотчас же выпустил ларь из рук.

— Дура,—сказал он.—Теперь она действительно сама упускает счастье всей своей жизни. Но я ведь знал это с самого начала: дура.

Он уже снова овладел собой.

— По-видимому, многоуважаемые дамы,—учтиво сказал он,—вы слишком убиты горем, а потому не видите,

кто ваш истинный друг. Итак, разрешите откланяться. Еще раз приношу мое глубокое соболезнование.

— Прощайте, мой ненаглядный,—сказала мадам Левассер.—Прощайте и от имени Терезы. Если я хотя бы раз еще поймаю вас с ней вдвоем, я с вами рассчитаюсь. Обещаю вам. Помните!

Но этим она только дала ему возможность отступить, оставив за собой последнее слово.

— Адресуйте ваши советы к мадам Руссо, милостивая государыня,—сказал он.—Не сын моего отца бегал за вашей дочерью, а ваша дочь—за ним.—Он поклонился и вышел.

Мадам Левассер, ничего больше не сказав дочери, поднялась к себе наверх, чтобы наконец немного поспать.

— Не оставляйте меня одну, матушка,—молила Тереза. Она заплакала. Но старуха не остановилась. Тереза даже не знала, слышала ли ее мать.

Она осторожно прошла в уголок, как можно дальше от алькова, и села там на стул, опустошенная и усталая. Однако помимо ее воли в ней закопошились какие-то мысли. Как это низко со стороны Николаса, что он в таком некрасивом свете выставил ее перед матерью. Она не бегала за ним, это ложь. И он сам ведь, конечно, что-то чувствует к ней. Так не ласкают женщину, когда ничего не чувствуют к ней, в этом-то она разбирается. Подло, что он теперь отказывается от всего.

Все мужчины подлецы. И молоденький граф тоже подлый. Даже Жан-Жак подлый—иначе он не сделал бы такого с ее малютками. Но про него нельзя так думать, ведь он лежит совсем рядом да в таком страшном виде.

Она сидела на своем стуле вялая и тупая, в ее медлительно думающей голове не умещалось, что впредь придется жить без Жан-Жака, быть как бы госпожой самой себе да еще с деньгами управляться. Это все натворил мосье Николас. Его могут теперь казнить, колесовать или даже четвертовать. Дамьена тоже четвертовали. У нее всегда мороз пробежал по коже, когда она вспоминала картинки и подробные рассказы, как это все было ужасно, а ведь Дамьен не убил короля, а только собирался убить. Если бы Николас ничего к ней не чувствовал, он бы так страшно не рисковал. Он сделал это ради нее, нет никаких сомнений,—и в душе у Терезы глухо шевельнулось удовлетворение.

Она задремала. Как это замечательно: Николас хочет ее, и ему очень трудно отказать. Хорошо, что мать здесь. Без нее и в самом деле все деньги пошли бы прахом. Мать часто ее била, но стоило ей сегодня почувствовать на плече руку матери и увидеть ее лицо, как вся слабость сразу куда-то улетучилась, и она смогла закричать.

В ближайшие дни она прямо-таки не отойдет от матери, ей нельзя теперь видаться с Николасом наедине. Жаль, ведь он любит ее. Только поэтому он не мог дожидаться, пока Жан-Жак сам отойдет в лучший мир. Бедный Жан-Жак! Она с удовольствием пересела бы в большое кресло, но нынче ночью не может решиться. Это кресло Жан-Жака. Так, бочком, сидела Тереза на маленьком стуле, пока наконец не заснула тяжелым сном.

Глава третья

ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНЬЕ

Несмотря на смертельную усталость от тревожений этого ужасного вечера, Фернан всю ночь глаз не сомкнул. Раскаянье жгло его. Вместо того чтобы безгранично верить Жан-Жаку, как настойчиво советовал ему мосье Гербер, он холодно, на все лады критиковал его; еще резче, чем Мартин Катру. На его, Фернана, долю выпала благословенная судьба внимать сокровенным мыслям мудрейшего из людей, он же недостаточно любил учителя, любил ленивым сердцем, был глуп и невнимателен и по недомыслию упустил свое неслыханное счастье.

Едва взошло солнце,—а солнце всходило в эти дни очень рано,—он убежал в парк. Заглянул на лужайку с эхом. Вспомнил последнюю встречу с Жан-Жаком, каждый его жест, каждое слово. Отчетливо услышал музыку его речей, смягчавшую то безумное, что было в них. Он видел живые, глубокие глаза Жан-Жака, устремленные на него, слышал его последние слова, обращенные к нему, Фернану, слышал низкий, растроганный голос, который наставительно произносил: «Человек добр».

Нет, он, Фернан, не добр. И не злой тоже. Он хуже: он бесчувственный, равнодушный и ленивый. Из лени, из боязни пережить неприятные минуты он, когда это потребовалось, не охранял учителя, не прислушивался к своему внутреннему голосу.

Он должен что-то сделать. Хотя бы во имя мертвого должен что-то предпринять.

Он бросился на поиски Николаса. Он боялся этой встречи. Боялся себя самого. Скрежетал зубами от желания убить этого человека, топтать его ногами. Но все равно он разыщет его, потребует к ответу.

Он нашел его в конюшне. Окликнул.

— Чем могу служить, господин граф? — спросил Николас.

— Где вы были вчера? — властно крикнул Фернан.

Николас с хорошо наигранным легким удивлением ответил:

— Господину графу угодно, как я понимаю, упрекнуть меня в том, что я недостаточно беспокоился о господине философе, не так ли? Я бы с полным удовольствием. Но господин маркиз приказал не попадаться на глаза покойному, и, если я не ошибаюсь, вы и сами, господин граф, мне это внушали.

Желание, которого он боялся, желание собственными руками задушить негодяя, обуяло Фернана. Николас продолжал едва ли не добродушно:

— Я рад был, что обе дамы Руссо уехали, и у меня освободилось время для моих лошадей.

— И вы весь день провели в конюшнях?—спросил Фернан.

— Не весь, пожалуй,—нагло и учтиво ответил Николас,—к сожалению, здесь меньше дела, чем господин маркиз сулил мне.

Фернан не сдерживался более. Хлыстом ударил он Николаса по лицу.

Николас был силен. Одним движением, одним пинком он мог бы так проучить этого длинного балбеса, что тот на всю жизнь запомнил бы. Но рассудок он редко терял; в споре с знатым аристократом бедный конюх, что бы там ни было, потерпит поражение, да еще это темное дело у него на шее,—нет, тут надо держать ухо востро!

— Я было думал, что философия покойного научила господина графа умерять свои порывы. Но понимаю, что горе утраты немножко подействовало ему на мозги.

Фернан тихим голосом, чуть не шипя, сказал:

— Ты его убил, мерзавец, убийца. Ты и Леди убил.

Очень зудило Николаса крепко, в лоб, ругнуть балбеса. Но он и это желание подавил в себе, он старался сохранить хладнокровие. Этот графенок глуп и не предвидит последствий своих поступков, Николас должен обратить на них внимание длинного дурня.

— Когда вы сможете спокойно рассуждать, господин граф,—сказал он,—вы сами увидите, что трагическую кончину мосье Жан-Жака очень легко объяснить естественными причинами. Если же предполагать здесь насилие, то подозрение падет прежде всего на тех, кто украдкой рылся в писаниях господина философа, в особенности, если те господа еще, кроме того, питали человеческий интерес к жене покойного.

Волна бешеной ярости сдавила горло Фернану. Тереза с головой выдала его этому негодяю. Вполне вероятно, даже наверное, Тереза причастна к тому страшному, что произошло. Пятна крови на ее платье мелькали у него перед глазами.

Но ярость его была бессильна. Опасность, которой грозил этот мерзавец, реальна. Если изобличить Николаса, начнут копаться в его связи с Терезой, тем самым Тереза будет вовлечена в это дело, а с ней и он, Фернан. Ему уже слышался бранчивый, душераздирающий шум, поднятый во всей Европе вокруг Жан-Жака, вокруг него самого, вокруг отца, вокруг Эрменонвиля.

Он был безоружен перед негодяем Николасом.

Фернан круто повернулся и, не оглядываясь, убежал.

Николас хмыкнул и, собрав сгусток слюны, с силой сплюнул. Ему было больно, все лицо у него горело. Но он продолжал ухмыляться. Не виселица, не колесо, а удар хлыстом — вот и все, чем он поплатился. За писания Жан-Жака не такая уж высокая цена. Он не сомневался, что завладеет Терезой, а вместе с ней и рукописями, как бы старуха ни брыкалась и ни бесилась.

Фернан, покинув Николаса, не находил себе места от чувства гадливости и глухой подавленности, от сознания, что он увяз в этом кровавом торге. В нем закипала ярость. И пусть весь мир ополчится против него, но он не допустит, чтобы преступники ушли безнаказанно, унося с собой свою добычу.

Прежде всего он обязан установить, насколько велика причастность Терезы к преступлению.

Но если бы он даже и выудил у нее полное признание, что мог он сделать? Какое право он имеет обрушить на голову отца такой позор? Какое право он имеет облегчить хулителям возможность выставить Жан-Жака жалким, бесхарактерным глупцом?

А что, если эти соображения лишь предлоги и пустая болтовня, придуманные им для того, чтобы уклониться от тяжелой задачи?

Если бы он со всеми его сомнениями не был бы так одинок! Если бы Жильберта была рядом, если бы он мог излить перед ней все свои муки, все свое раскаянье!

Когда он пришел в замок, оказалось, что там, несмотря на очень ранний час, гости. Мосье Робинэ поспешил к соседу, чтобы выразить ему свое соболезнование по случаю смерти друга, о котором мосье де Жирарден с такой любовью заботился и пекся. Жильберта приехала с дедом.

У Фернана перехватило дыхание, когда он ее увидел. Он уставился на нее в упор. Она не обронила ни слова, но глаза говорили, что приехали они по ее почину. На мгновенье Фернан забыл о покойном. Он ликовал, он думал: теперь все хорошо.

А мосье Робинэ тем временем продолжал говорить. Он обратился к Фернану.

— Примите и вы, молодой человек, мое искреннее соболезнование,— сказал он своим трескучим голосом.— Ведь вы были его близким другом, для вас эта потеря, вероятно, вдвойне тяжела.— Медленно и неохотно Фернан отвел глаза от Жильберты и взглянул в красное четырехугольное лицо Робинэ.

— Скажите, мосье,— обратился тот снова к маркизу, живо, доверительно и сочувствующе,— правда ли, что Жан-Жак сам ушел из этого мира, который был не по нем?

Фернану пышущий здоровьем Робинэ, отвлекавший его в эту минуту от Жильберты, был сегодня еще антипатичнее, чем всегда. Раньше, чем отец успел что-либо ответить, Фернан с неучливой поспешностью сказал:

— Нет, мосье, это неправда.

— Прошу прощения,— добродушно продолжал мосье Робинэ,— но повсюду шутякаются, что в этой внезапной смерти не все чисто.— И так как оба Жирардена растерянно молчали, он быстро добавил:— Я далек от мысли омрачить его память. У него как у философа есть свои заслуги. При жизни ему, конечно, пеняли: тот, кто так плохо устривает собственные дела, может ли радеть об общем благе? Но сейчас упрек этот отпадает. Человек, создающий смелое философское учение, находит себе признание только после смерти, когда он уже не может вносить сумятицу в жизнь.

Фернану невольно было более слушать эту развязную болтовню. В прежние приезды мосье Робинэ Фернан и Жильберта оставляли обычно стариков вдвоем; он надеялся, что так будет и на этот раз.

И в самом деле: Жильберта встала и вышла вслед за ним в парк.

Когда Жильберта узнала о внезапной кончине Жан-Жака, да к тому еще до нее докатились все эти ужасные слухи, она сразу же забыла обо всем, что встало между ней и Фернаном; ничего, кроме мучительного сострадания и глубокой тревоги, что ж теперь, во имя всего святого, будет делать Фернан,—она не испытывала. Ее долг— тотчас же отправиться в Эрменонвиль и удержать Фернана от благородных, безумных и непоправимых шагов.

И вот они идут рядом по узкой тропинке, и Фернан не отваживается взглянуть на Жильберту. Прежняя робость овладевает им, потому что она молчит.

— Фернан,— сказала она наконец, и ее голос заставил его поднять голову.— Фернан,— повторила она; она ничего не прибавила, ее большие глаза потемнели.

Робко, бережно он взял ее за руку. Она отвела глаза, но руки не отняла. Он сжал эту руку, она ответила пожатием. Он не решился поцеловать ее, но ему казалось,

что теперь, после всего того темного, что произошло, их дружба стала гораздо теснее, чем прежде.

Они долго шли рядом и молчали. Окружающий мир исчез для Фернана. Он хотел бы идти так рядом с Жильбертой, держа ее большую, крепкую, добрую руку в своей, и завтра, и послезавтра, всю жизнь; и он не заметил, что думает словами Жан-Жака.

— Ну, говори же,—сказала Жильберта.

Он испуганно вздрогнул, выведенный из своей сладостной задумчивости. В дни своих одиноких метаний, он не раз мысленно объяснял с Жильбертой, обвиняя себя, оправдывая себя. Так хотел он сделать и сейчас. Но она прервала его.

— Ни слова об этом. Раз и навсегда. Расскажи, что здесь произошло,—вернула его Жильберта к эрменонвильской действительности.

То была тяжкая действительность, но уж далеко не такая запутанная, раз можно было излить душу перед Жильбертой.

— Мосье Робинэ ошибается,—с горечью и раздражением сказал Фернан.—Это было не самоубийство, это было убийство. Его убил негодяй Николас, конюх, ради Терезы. Он и не отрицает даже.

Безмерное возмущение поднялось в Жильберте. Прикончить надо подлого негодяя. И женщину вместе с ним. Предать их суду надо. Повесить и колесовать. Но еще не остыло возмущение, как ей уже было ясно, что тогда и Фернана втянуло бы в водоворот. И она вспомнила, зачем приехала в Эрменонвиль.

— Знает кто-нибудь об этом, кроме тебя?—спросила она деловито.—Кто-нибудь еще говорил об этом?

— Пожалуй, что нет,—ответил Фернан.—По крайней мере, со мной никто не говорил. Но догадываются, думают так—многие. И я обязан отомстить за него,—вскричал он мрачно, горячо и по-мальчишески.—Нельзя допустить, чтобы убийца остался безнаказанным, да еще уехал с деньгами Жан-Жака и с его женой.

Жильберта опасалась, что Фернан именно так будет думать: она не любила бы его, если бы он думал иначе. Снова глухо заклокотал в ней гнев. Неужели они никогда не развяжутся с этой дрянной женщиной? Но и на этот раз победил присущий ей практический ум и здравый смысл, выработанные в тяжелые годы детства, когда она жила с матерью. Она должна одолеть безрассудную, беспокойную совесть Фернана, должна удержать его от опрометчивых поступков во имя Жан-Жака.

— В этом случае сам Жан-Жак, безусловно, пожалел бы эту женщину за ее глупость,—сказала Жильберта.—Он, конечно же, не допустил бы, чтобы она попала под

суд, а тем паче на виселицу.—Фернан молчал. Жильберта положила ему руку на плечо.— Не тревожь ты его в его могиле,— уговаривала она друга: она была моложе Фернана, но говорила с ним, как старшая.— Не раскапывай ты всей этой грязи и пакости. Пусть эта низкая женщина и этот подлец хоть поженятся, если хотят,—воскликнула она яростно.— Что нам до них!

Глава четвертая

ВСКРЫТИЕ

Так и случилось, как опасался мосье де Жирарден: в естественность смерти Жан-Жака не верили. Вид окровавленного тела дал пищу воображению посетителей; из Эрменонвильского замка ползли темные слухи. Поговаривали, будто бы в Летнем доме часто происходили ссоры, вызванные похождениями Терезы, и что будто бы Жан-Жак из-за этого и покончил самоубийством. Недоброжелатели рассказывали, что во время одной из таких ссор Тереза якобы чем-то ударила мужа, и удар оказался смертельным. Многие уверяли, что своими глазами видели, как Тереза блудила в кустах со слугами.

Папаша Морис, гордый сознанием, что он был последним из тех, кто разговаривал с великим человеком, уверял всех и каждого, что Жан-Жак прекрасно себя чувствовал, что он с удовольствием собирался поскорее засесть за работу, а вовсе не кончать жизнь самоубийством и что в Летнем доме господин маркиз никого не подпускал к телу. И священник Гоше, у которого были с маркизом кое-какие нелады, считал, что маркиз мог бы принять более энергичные меры для выяснения этого дела.

Слухи такого рода доходили до Дамартена, до Санлиса, до самой столицы—Парижа.

Еще до того, как в замок Эрменонвиль прибыли господа, извещенные Жирарденом через специальных курьеров, в Летний дом неожиданно появился гость—сержант Франсуа Рену. Отложив все дела, он примчался на перекладных, чтобы утешить мамочку и сестру. На этот раз он мог без дальних околичностей появиться в Летнем доме: покойник не выгонит его вон.

— Для вас, наверное, это был ужасный удар. Подумать только, вы приходите, а он лежит тут мертвый и уже холодный,—сказал он, обращаясь к матери и сестре.— Правда, шестьдесят семь годков—неплохой возраст, в особенности для философа, который всю жизнь только и делал, что работал головой.

Он прошел в альков, к смертному одру Жан-Жака. Ранним утром там уже побывала мадам Обрен, обряжающая покойников. Она отмыла сгустки крови, но глубокая зияющая рана на виске была все-таки видна. Сержант Франсуа Рену не заметил ее или не пожелал заметить.

— Да будет земля тебе пухом, Жан-Жак,—гаркнул сержант.—На тебя, правда, иной раз находило и, к сожалению, жертвой твоих заскоков нередко бывал я, но ты был хорошим соратником в борьбе за хорошее дело.

Салютуя по-военному, он постоял у тела, как не раз стоял возле умерших однополчан, провожая их в последний путь. Отдав долг покойному, он вернулся к матери и сестре.

Мадам Левассер похлопала своего любимого сына по руке. Нет худа без добра—теперь она могла беспрепятственно любоваться красавцем Франсуа, хотя, правда, на нем был не блестящий мундир офицера-вербовщика, а лишь скромная форма сержанта. Планы Франсуа потерпели крах, ибо сумму залога самым подлым образом увеличили, как он вскользь сообщил матери. Но в том или другом мундире, а хорошо, что Франсуа здесь, ибо, думала мадам Левассер, в эти первые тревожные дни никто лучше, чем он, не мог бы оградить ее и Терезу от негодяя Николаса.

— Есть все же маленькое утешение в нашем большом горе,—изрек позднее сержант Франсуа.—Отныне в звонкой монете у вас недостатка не будет. Отныне никакие дурацкие причуды и свержпетильные соображения моего уважаемого шурина не помешают нам обратить его философию в наличные денежки!—И он с вожделием глянул на ларь с рукописями.

Мадам Левассер не понравились эти речи.

— Разумеется, мы всю эту писанину обратим в деньги,—уклончиво ответила она.—Но боюсь, что не скоро. Ты ведь знаешь, дорогой мой Франсуа, каково иметь дело с этими судейскими крючкотворами. Пока введут наследников в права наследства да скрепят это подписями и печатями,—много воды утечет.

Сержанта осенила счастливая мысль.

— Не лучше ли, мама, пока суд да дело, взять мне ларь к себе?—предложил он.—У меня связи. Я мог бы немедленно, сейчас же начать в Париже деловые переговоры.

Старуха, не на шутку перепугавшись, отклонила предложение сына.

— Издатели, конечно, ни одного су не заплатят, пока все не будет точно и ясно по закону оформлено. Я эту братию знаю. Но дай срок, я с ними справлюсь.

Сержант даже не старался скрыть свое разочарование.

— Ну что ж, если ты так думаешь. Хотя, в сущности, теперь глава семьи—я,—сказал он.

— Разумеется, я буду с тобой советоваться, дорогой Франсуа,—поспешила задобрить сына старуха. Но ее решение—сразу же после похорон отправиться к мосье Жиберу—окрепло, а уж ларь она как можно скорее упрячет так, чтобы до него не дотянулась рука мерзавца Николаса, да и ее дорогого сына, обладавшего, к сожалению, очень уж широкой натурой и вдобавок еще легкомыслием. Ужасно, что такой старой наседке, как она, все еще приходится брать под крылышко своих цыплят, давно уже вышедших из цыплячьего возраста. Еще счастье, что она может этим заниматься.

Тем временем в Эрменонвиль съехались господа, которых известил через своих курьеров мосье де Жирарден,—доктор Лебег, скульптор Гудон. Приехал и мосье Дюси, автор трагедий, тот самый, у которого Жан-Жак провел свою последнюю ночь в Париже, когда он писал воззвания по поводу «Диалогов». Затем прибыл Мельхиор Гримм, барон Гримм, знаменитый философ из той плеяды, которая создала Энциклопедию. Некогда Жан-Жак был связан тесной дружбой с основателями Энциклопедии—с Дидро и прежде всего с Мельхиором Гриммом. С течением времени, однако, дружба превратилась в ожесточенную вражду, и насколько приезд Дюси был приятен маркизу, настолько же появление Гримма его раздражало. Тем не менее он не мог не допустить к телу Жан-Жака того человека, к слову которого в вопросах литературы и вкуса прислушивалась вся Европа и отношения которого с Жан-Жаком были известны всему миру.

Помимо друзей, в замке собрались хирурги, доктора и судейские; одни должны были произвести вскрытие, другие—засвидетельствовать результаты. Всех принимали с широким гостеприимством; на дворецком и слугах были черные жабо, все двигались с траурным выражением на лицах и говорили приглушенными голосами.

Еще до вскрытия мосье де Жирарден повел двух ближайших друзей Жан-Жака, Лебега и Дюси, к его смертному одру. Он изложил им свои соображения о вероятных обстоятельствах, при которых произошла смерть Жан-Жака.

— Только так это и могло случиться,—заклучил он.

Лебег и Дюси молчали. По деревянному, честному лицу Дюси видно было, что он не верит. Он всегда и во всем усматривал трагические взаимосвязи, до него дошли разные слухи, он знал об атмосфере враждебности, окружавшей его умершего друга.

— Великая, трагическая судьба сопровождала Жан-Жака от колыбели и до могилы,—сказал он вдруг.

Лебег еще меньше, чем Дюси, верил в примитивное объяснение Жирардена. Глядя на тело, он все сильнее проникался жгучим гневным горем. Он очень любил Жан-Жака — человека с могучим мозгом и большим сердцем, со слабым зрением и проклятым недугом, очень любил этого беспомощного беднягу, до старости сохранившего душу младенца. Он не сомневался, что смерть Жан-Жака — дело злодейских рук и что обе женщины, быть может, невольно, но причастны к злодейству. Горько было от сознания, что Жан-Жак, который мог бы еще жить и работать, будь он окружен более заботливыми друзьями и советчиками, так ужасно погиб. И все же Лебег понимал Жирардена и склонен был помочь ему. Доктор Лебег знал свет. Грязный процесс по поводу кончины Жан-Жака привел бы не только к громкому скандалу, порочащему Эрменонвиль, он замарал бы самую память Жан-Жака, а тем самым умалил бы и силу воздействия его творений. При составлении акта вскрытия слово доктора Лебега будет решающим. Он без колебаний, за подписью и печатью, засвидетельствует для потомков, что Жан-Жак умер естественной смертью. Он будет лгать, все будут лгать. Это ли не трагично? Даже то, что творят напоследок с телом бедного Жан-Жака, носит характер такого же пошлого и предательского фарса, как многое другое, что разыгрывалось вокруг него при жизни.

И со скульптором Гудоном был у маркиза весьма тягостный разговор. Молодой, знаменитый художник, приглашенный в Эрменонвиль, чтобы снять посмертную маску, растерянно смотрел на проломленный висок.

— Не может ли здесь помочь ваше искусство? — спросил Жирарден. Лицо скульптора Гудона помрачнело. — Я, разумеется, не хочу сказать, что рану следует сделать невидимой, — поспешил пояснить свой вопрос Жирарден, — но в конце концов разве не глупая случайность, что при падении учитель разбил висок? Нужно ли поэтому увековечить его лицо обезображенным? Не правильной ли, чтобы посмертная маска показывала потомкам истинное благородное лицо Жан-Жака?

— Посмотрим, что можно сделать, — холодно ответил скульптор.

Вместе с двумя своими подручными, итальянцами, он снял маску.

В назначенное время, около трех часов дня, началось вскрытие. Присутствовали, согласно воле покойного, десять человек: пять медиков, двое судейских, два полицейских чина и десятый — Жирарден. В числе медиков было три хирурга: Шеню из Эрменонвиля, Брюсле из Монтанье, Кастерэ из Санлиса и два других врача: доктор Вийерон

из Санлиса и доктор Лебег — представитель медицинского факультета Парижского университета. В число четырех чиновников входили: прокурор Боннэ и мэр Мартэн, лейтенант полиции Блондель и сержант полиции Ландрю — все из Эрменонвиля.

В комнате было жарко; от аромата цветов, в которых утопала вся комната, нечем было дышать. Покойника раздели. Он лежал, жалкий в своей наготе, и рана на виске зияла.

Цветы были в причудливом, диком контрасте с работой комиссии. Мосье Жирарден едва сдерживал свое волнение. «Какое гнусное дело!» — думал Лебег; среди собравшихся медиков он пользовался наибольшим авторитетом.

— Начните, прошу вас, коллега, — обратился он к доктору Кастерэ.

Вскрытие заняло около двух часов. Члены комиссии переговаривались приглушенными голосами, густо пересыпая речь специальными латинскими терминами. Врачи знали, что от них требуется; часть членов комиссии уже заранее определила свое мнение.

Маркиз сидел в углу на маленьком стуле. Лебег видел, как он мучительно напряжен при всей внешней сдержанности. Через некоторое время, еще до окончания операции, Лебег, обратившись к нему, сухо сказал:

— Уважаемые коллеги, по-видимому, единодушны во мнении, что в данном случае имело место кровоизлияние в мозг.

В этом смысле и был составлен длиннейший протокол. Он состоял из пяти частей и был подписан двумя врачами и двумя чиновными лицами в качестве экспертов, остальными — в качестве свидетелей.

Глава пятая

ПОГРЕБЕНИЕ

Жирарден был убежден, что существует только одно достойное место вечного успокоения для Жан-Жака: Остров высоких тополей. Ему даже будто помнилось, как в одну из своих лирических минут Жан-Жак сказал, что он бы хотел быть похороненным там, против его любимой ивы.

Маркиз назначил погребение в полночь; была как раз пора полнолуния. Крестьяне, проживавшие в его владениях, получили указание выстроиться с горящими факелами вдоль берега озера и на окружающих его холмах. Туда же мог прийти каждый, кто пожелает. Факелы заготовлены для всех.

Но на крошечный островок проводят ладью с умершим только обе женщины и ближайшие друзья.

Когда гроб выносили из Летнего дома, по берегу озера и по склонам холмов стояли люди с горящими факелами в руках.

Под звуки тихой, трогательной музыки три челна поплыли по озеру. На первом был гроб, его сопровождали Жирарден и Фернан; они сами гребли. На втором находились Тереза и мадам Левассер. На третьем — Лебег и Дюси, а также барон Гримм, которого маркиз никак не мог исключить из числа сопровождавших ладью с гробом. Медленно переплывали челны очень короткий путь к острову по мерцающему в лунном свете озеру. Толпа молчала, крестьянам было строго наказано не разговаривать между собой. Слышны были лишь тихо льющиеся звуки музыки, удары весел, крики вспугнутых водяных птиц, стрекотание цикад, кваканье лягушек.

Большинство селян, стоявших по берегу озера, были люди медлительного ума. Они не имели ни малейшего представления, что значил для мира покойник. Но, глядя, как много народу понаехало из Санлиса и даже из Парижа, решили, что покойный занимал, видно, какой-то большой пост. Тем сильнее осуждали они своего сеньора, покрывавшего тех, кто прикончил этого господина Жан-Жака.

Особенно многоречиво выражал свое негодование папаша Морис. Позор, говорил он яростным шепотом, что маркиз ничего не сделал, чтобы покарать кого следует за кровавое убийство друга человечества. Конечно, если бы дело шло о каком-нибудь аристократе, маркиз давно отправил бы в темницу несколько десятков людей. Он преступно высокомерен, их сеньор. Он выдает себя за свободомыслящего, но между его делами и философией Жан-Жака нет решительно ничего общего. Жан-Жак, например, учил, что, по сути дела, селянин ли, маркиз ли, никакой разницы нет — свобода, равенство, братство. Дьявол! Убыло бы, что ли, от маркиза, пригласи он на остров как представителя человечества хоть одного друга Жан-Жака из низов, например его, папашу Мориса?

И в голове Мартина, сына мелкой лавочницы, вдовы Катру, ровесника и друга Фернана, тоже теснились бунтарские мысли. Для аристократа Фернан, конечно, порядочный парень, но он все же аристократ, и как только доходит до дела, он в кусты. Сколько Фернан болтал о том, как, мол, он глубоко чтит своего чудаковатого философа, а тот же Фернан и бровью не повел, когда слуга его папаша разможил череп Жан-Жаку; палец о палец Фернан не ударил, чтобы отдать убийцу в руки судей, столь быстрых на расправу в других случаях. При

всем том Мартин любил Фернана и теперь жалел его. В конце концов много ли он мог сделать, если его уважаемый родитель, сеньор, из каких-то темных соображений прикрывал и покрывал преступление. Но так или иначе, а это безобразие. Тем более что, говоря честно, Жан-Жак был не только чудаком. Мартина задел брошенный как-то Фернаном упрек, что он, Мартин, мол, говорит и говорит, а ни одной строчки Жан-Жака так и не прочел, и Мартин тут же принялся наверстывать упущенное. И хотя многое показалось ему заумным, он все же нашел у Жан-Жака и чертовски ясные мысли. «Деспот не смеет жаловаться на свергающее его насилие. На насилии он держится, насилие же сваливает его; угнетенные угнетают угнетателей. Круг замыкается, все идет своим естественным путем». Надо обладать мужеством, чтобы публиковать такие мысли во владениях всехристианнейшего короля и его жандармов.

Среди приезжих, прибывших на погребенье, находился и тот молодой студент-юрист из Арраса, который посетил Жан-Жака в один из его последних дней. Лицо этого юноши, когда он смотрел на плывущий по мерцающему озеру челн с гробом, в котором лежало тело богатейшего учителя, было еще своевольнее, еще одержимее и мечтательнее, чем в час первой и последней встречи с Жан-Жаком. В тот день, незадолго до своей кончины, Жан-Жак, исполненный горечи, едко высмеивал мир, ненавидящий и порочащий всякого честного искателя правды; и учитель был прав. В глубине своего сердца юный студент произносил нечто вроде обета над гробом Жан-Жака: «Тираны ослепили людей, внушив им ненависть к тебе, о друг человеческого рода, внушив им, что ты безумец и дьявол. Но мы, молодые, полны решимости следовать за тобой по тернистому пути познания, а нас — тысячи. Я клянусь тебе, мы заставим слепых прозреть, полюбить тебя и пожать плоды счастья, посеянные тобой».

Был исполнен возвышенных чувств, но совсем иного рода и мосье Гербер. Он вытеснил из своего сознания зловещий вид мертвого тела Жан-Жака, он видел перед собой учителя, который кротко бродит по садам, возглашая в музыкальных словах свою умиротворенную мудрость.

Сомнения, одолевавшие Фернана, волновали Гербера сильнее, чем он признавался в том; он не был свободен от них. Но теперь они навеки рассеялись, и этот скромный человек испытывал в сокровеннейших тайниках души неосознанное облегчение оттого, что плотский облик Жан-Жака отныне не будет его смущать. Отныне творенье Жан-Жака заживет своей собственной жизнью, отделен-

ной от него. Только мудрость его останется в веках, продолжая вершить свое дело.

С мыса за скользящим по озеру челном следили мосье Робинэ и его внучка. Вокруг большого девичьего рта Жильберты застыла едва приметная недобрая улыбка. С первого мгновенья, как появился в Эрменонвиле этот человек, которого вон в той лодке везут теперь к месту его последнего успокоения, он приносил ей несчастье. Еще немного, и он искалечил бы всю ее жизнь. Возможно, что он и в самом деле великий философ, и ей от всего сердца жаль Фернана, потерявшего его при таких ужасных обстоятельствах, но что ни говори, а подкидывание детей было и остается подлостью. Теперь, когда этого человека нет в живых, наслаждение, которое доставляют ей страницы «Новой Элоизы», будет чище.

При свете луны и факелов мосье Робинэ наблюдал эту едва заметную улыбку Жильберты. С тех пор как отец Жильберты, его единственный сын, погиб в Вест-Индии, куда он ездил проверять состояние своих плантаций, Робинэ ни к кому не привязывался, кроме Жильберты; у него не было больше близких. Он видел ее насквозь, никогда ни о чем не спрашивал, никогда не уговаривал, воздействовал на нее только разумными доводами. Конечно, он знал, что она повздорила с Фернаном, и, по видимому, из-за Жан-Жака; он догадывался о том, что в ней происходило, и на его лице появилась такая же едва приметная улыбка.

Лодки пристали к острову. Мадам Левассер, поддерживаемая Лебегом и Дюси, сошла на берег с некоторым усилием. Ни одного слуги не было на крохотном острове, ни одного могильщика: могила была вырыта заранее. Жирарден и Фернан вынесли гроб из лодки, остальные привязывали суденышки к причалам.

Окружили открытую могилу. Тереза стала рядом с Фернаном. Разве он не самый близкий ей человек здесь? Но он ни разу не взглянул на нее, и она смутно почувствовала досаду. Уж если с кем путаешься, так умей и пожалеть, когда стряслось такое большое горе!

Фернан и в самом деле не замечал Терезы, взгляд его был мрачен, обращен в себя. Вот через несколько минут опустят в землю останки человека, подарившего миру величайшие истины своего времени. Человек этот ни телом, ни душой не был стар и дряхл, он мог еще многое создать и многому научить — глубокому, важному. А он, Фернан, приложил руку к тому, чтобы самое живое в мире сердце и самый могучий в мире мозг перестали существовать.

Мосье де Гримм, представитель великого века просвещения, стоя у могилы, вершил суд над покойным и над

самим собой. Среди тех, кто хоронил Жан-Жака, он, пожалуй, был единственным, кто мог справедливо взвесить и огромные заслуги покойного, и сотворенное им чудовищное зло. Они — он и остальные истинные философы, последователи Разума, — всячески поддерживали Жан-Жака и не скупились на дружеские советы. В конце концов не кто иной, как Дидро, подал ему знаменитую идею об обоюдоостром влиянии цивилизации — идею, сделавшую Жан-Жака знаменитым. Они правильно наставляли его. Они стремились ввести в русло все анархическое и необузданное, что было в нем. Но он принадлежал к числу тех пациентов, которые оплевыывают врача, когда тот прописывает горькое лекарство. И вот теперь Жан-Жака настигла нехорошая, грязная, насильственная смерть. Быть может, к ней причастны и обе эти вульгарные особы, к чьей бессмысленной трескотне Жан-Жак всю жизнь прислушивался больше, чем к разумным советам первых умов Франции. Дидро и он, Grimm, предупреждали Жан-Жака, предсказывали ему, что эти женщины погубят его. Так оно и случилось: нелепая смерть логически завершила нелепую жизнь. Но какое все же слабое утешение сказать себе, что ты прав! Мосье де Grimm предпочел бы тысячу раз оказаться неправым. Стоя у открытой могилы, он мысленно уже слагал фразы некролога, который собирался написать. Это будет чудесная поминальная песнь, страницы неувядаемой прозы. Вот следует ли в прощальном слове намекнуть на загадочность кончины усопшего мечтателя?

Гроб начали опускать в могилу. Музыка умолкла, молчание стояло вокруг. Слышался лишь плеск воды, крик вспугнутых птиц, шелест листьев под легким ветром — одни лишь голоса природы.

Вдруг что-то резко нарушило тишину. Это Тереза всхлипнула, вскрикнула, залилась глупым детским плачем.

Бережно опустили гроб в могилу. Фернан помогал. Он хоронит человека, который удостоил его своей дружбой, хоронит великого, величайшего из современников, а он, Фернан, не ценил дружбы этого величайшего из живущих, он называл его чудаком. Да он сам чужак. Яркое всплыло воспоминание о ребячливой мягкости Жан-Жака, о том, как Жан-Жак будил лесное эхо, как он помогал устраивать спектакль кукольного театра. Фернану вдруг почудилось, что он укладывает в ящик куклу и вот-вот захлопнется крышка. Но это же не марионетка, а Жан-Жак. До этой минуты Фернан вел себя мужественно и сдержанно, но больше он не в силах был владеть собой. Хотя он знал, что все на него смотрят — отец, Жильберта, его друг Мартин и многие деревенские парни. — он громко

зарыдал, светлые слезы катились по его лицу. Да, Жильберта смотрела на него, от ее чуть заметной улыбки давно не осталось и следа, Жильберта плакала.

Все три лодки поплыли обратно. Только мосье Жирарден остался на острове, у могилы; он предался скорби, той сладостной меланхолии, которую так часто превозносил его усопший друг. Невольно складывались в голове стихи во славу покойного, очень простые стихи, но он знал, что они в духе Жан-Жака, что они — достойная эпитафия достойному человеку, который теперь уж во веки веков останется гостем Эрменонвиля.

Затем, по заранее отданному распоряжению, к Жирардену на остров прибыло несколько слуг. Они привезли с собой известь, песок и урну. Воздвигли надгробье, нечто вроде алтаря. Жирарден работал вместе со слугами. Он собственноручно насыпал могильный холмик над гробом учителя.

Работа заняла немного времени, Жирарден вновь остался один у могилы; отныне она его самое драгоценное достояние. Он сидел, объятый тихой, баюкающей скорбью, пока не настало утро. Когда взошло солнце, он покинул остров.

Глава шестая

ТРЕВОГИ О СУДЬБАХ НАСЛЕДСТВА

Сознание своего долга не давало покоя мосье де Жирардену. Он спал всего два-три часа в сутки. На нем лежала ответственность за посмертную славу Жан-Жака; от его стараний и изобретательности зависит, насколько действительно и длительно будет влияние творчества покойного. Прежде всего он должен обеспечить наследию Жан-Жака надежную сохранность. Следовало, ни на час не откладывая, взять рукописи к себе.

Вступать в переговоры с этими двумя женщинами было очень противно. С неприятным чувством вспоминал он враждебные взгляды старухи, которые она бросала на него. Но он превозмог себя и ранним утром отправился в Летний дом.

С тревогой обнаружил, что ларя на месте нет. Очевидно, мадам Левассер перенесла его к себе в спальню. Жирарден с места в карьер перешел в наступление.

— Вы помните, мадам, ваше обещание предоставить мне возможность принять участие в редактировании произведений нашего дорогого Жан-Жака? — сказал он.

Мадам Левассер поняла, куда клонит маркиз, и про себя обрадовалась: если маркиз возьмет рукописи под

свою опску, ей нечего будет опасаться посягательств Николаса и ее сыночка. Но она и виду не подала, что обрадовалась,—ей хотелось как можно больше монет выколлотить из своего единственного сокровища.

— Да, как будто,—ответила она осторожно, колеблясь.

— Прежде всего важно установить,—продолжал маркиз,—какие неизданные произведения тут есть. Я полагаю, мадам, что было бы хорошо, если бы с этой целью я занялся их изучением.

— Не сомневаюсь, господин маркиз, что вам дороги интересы вдовы бедного Жан-Жака и ее старой матери. Я готова передать вам рукописи, но обещайте, господин маркиз, не мешкать с их просмотром. Нам нужны деньги, и безотлагательно. Близкие великого человека должны вести и после его смерти жизнь, достойную его, а мы бедны, как церковные крысы. Вам это известно.

— Будьте покойны, мадам,—поспешил с ответом маркиз.—Когда дело дойдет до реализации рукописей, мой адвокат будет блюсти ваши интересы совершенно так же, как мои. И вообще я считаю долгом своей чести заботиться о благосостоянии родных моего великого друга. Сколько денег вам понадобится на ближайшее время?

Мадам Левассер, подумав, ответила:

— Двести луидоров.

Маркиз усилием воли подавил вспышку гнева. Он судорожно глотнул слюну и сказал:

— Я пришлю слуг за рукописями. Они же вручат вам чек на мой банк «Валет и сын» в Санлисе. Советую вам держать столь значительную сумму в том же банке на текущем счету.

Маркиз поклонился и вышел. Через час слуги принесли чек и забрали рукописи.

Мадам Левассер сообщила своему сыну Франсуа, что мосье де Жирарден прислал за рукописями. Он хочет просмотреть их для определения философской ценности. Сержант помрачнел.

— Я это говорил тебе, мама,—заныл он.—Ты должна была поручить это дело мне. Если только аристократ сунет ложку в мед, так простому человеку ничего, кроме вылизанной тарелки, не останется.

— Маркиз нас не облапошит,—старалась успокоить сына мадам Левассер.—Он всегда был истинным другом Жан-Жака. Да и все, что из этой писанины можно выжать, для такого знатного барина—понюшка табаку.

Но сержант не пожелал сменить гнев на милость. Что же, раз никто здесь в нем не нуждается, он сегодня же уедет в Париж, объявил он. И просит поэтому мамочку дать ему десять ливров.

— Не уезжай так скоро, Франсуа,—попросила мадам Левассер.— В ближайшие дни мне, несомненно, понадобится твой совет. Побудь еще немного—и ты вернешься к твоим парижским делам не с десятью ливрами, а с двадцатью пятью луидорами в кармане.

Франсуа просиял.

— В самом деле, мамочка?—спросил он, желая услышать подтверждение.— Это не просто соломенная приманка для меня, бедной мыши?

— Не стану же я водить за нос моего милого сына,—заверила мадам Левассер.

— Значит, двадцать пять луидоров?—еще раз удостоверился Франсуа.

— Да,—сказала старуха.

— По рукам,—сказал сержант.

На следующий день мадам Левассер и Тереза поехали в Санлис. Мэтр Жибер, торжественно выразив им соболезнование, объявил, что, к сожалению, кончина мосье Руссо усложняет выдачу документа, который дамы пожелали получить. С юридической точки зрения вдова Руссо—это совсем не то, что супруга живого мосье Руссо; необходимы новые основания, и весь документ должен быть заново переписан от слова до слова. Кроме того, сейчас речь пойдет о значительно больших имущественных ценностях, и закон в этом случае предусматривает более высокие пошлины. Он вынужден назвать новую цифру гонорара, а также просить почтенных дам представить дополнительно ряд сведений и дать ему еще несколько дней срока.

Мадам Левассер с трудом скрыла свое раздражение. Так уж оно водится: весь мир—это дремучий лес, и за каждым деревом тебя подстерегает разбойник. Вот он сидит, этот жирный боров, лениво барабанит по столу толстыми пальцами, желая показать, как ему скучно, и вымогает все, что можно, у нее, беспомощной старухи, и у ее дочери—двух бедных вдов. Но что поделаешь? Она знает свою Терезу. Тереза, правда, не прочь связать себя по рукам и ногам, чтобы не отдать всего своему хахалю; но в то же время она готова все отдать, только бы удержать его. Вот она сидит и желает, чтобы документ был оформлен, и надеется, что он не будет оформлен. Мадам Левассер не может выжидать, ей нужна эта бумага сегодня же, ничего не остается, как уплатить этой раскормленной каналье нотариусу ту цену, которую он просит.

Они очень измучены своим страшным горем, сказала она, им не хочется еще раз приезжать в Санлис, они хотели бы покончить с этим хлопотливым делом, пусть это обойдется в несколько лишних су или даже экю. У

них есть кое-какие дела в городе, нужно купить траурные платья и еще кое-что, она просит поэтому мэтра Жибера не отказать в любезности и сегодня же к вечеру подготовить документ, чтобы осталось только подписать и поставить печати.

Нотариус с озабоченным выражением лица ответил, что не знает, возможно ли это технически: как раз сегодня у него еще два срочных дела. Старуха спросила напрямик, сколько это будет стоить. Начался жестокий торг вокруг определения размеров предполагаемого состояния вдовы Руссо. Кстати, вскользь заметил нотариус, он, в сущности, должен был бы просить вдову Руссо о представлении брачного свидетельства: необходимо проверить, имеет ли брак, заключенный Жан-Жаком, юридическую силу. Короче говоря: раньше нотариус довольствовался восемьюдесятью экю, теперь же он требовал не меньше двухсот. Двести талеров звонкой монетой! Шестьсот ливров! С великим трудом мадам Левассер удалось выторговать пятьдесят экю — на ста пятидесяти сошлись.

Когда в условленный час женщины вернулись к нотариусу, документ еще не был готов, несколько писцов переписывали его; не меньше часа придется еще поработать над ним, сказали мадам Левассер и Терезе. Мадам Левассер за ее долгую жизнь пришлось немало ждать; однако редко когда ожидание было ей так тягостно, как в этот раз. Писцы постепенно приносили переписанные страницы, нотариус внимательно проверял их и передавал мадам Левассер. Она читала, но понимала далеко не все, там было много чисто судейского, и латыни, и вообще непонятного, но, по-видимому, без этого нельзя, и в общем документ, по ее мнению, получился хороший.

Но вот наконец все готово. Мэтр Жибер, попросил:

— Минутку, уважаемые дамы! — удалился и вернулся в мантии и берете. И хотя мадам Левассер насквозь видела этого жирного вымогателя, в мантии и берете он предстал перед ней в новом качестве. Теперь это был королевский нотариус, олицетворение закона. Теперь перед ней и перед глупой Терезой стоял сам закон, вся священная власть Франции и короля, которая защищала их от бешеного волка Николаса.

Нотариус официально и торжественно спросил:

— Вдова Левассер и вы, вдова Руссо! Поняли ли вы все, что записано в этом документе, и готовы ли вы своими подписями дать ему законную силу?

— Да, мосье! — сказала мадам Левассер.

— Да, мосье! — как попугай, повторила за ней Тереза.

Нотариус обратился к мадам Левассер:

— В таком случае прошу вас, мадам, поставить здесь свое имя и фамилию, а также фамилию отца и фамилии

ваших покойных мужей.—Мадам Левассер написала.—А теперь вы, мадам,—обратился нотариус к Терезе.—И вас я тоже попрошу поставить свою девичью фамилию.

Тереза растерялась и ничего не поняла. Мать резко приказала:

— Пиши: Тереза Левассер, вдова Руссо.

— Совершенно верно, мадам,—похвалил нотариус.

Тереза с трудом, неуклюже вывела свое имя и фамилию. Один из писцов принес свечу и сургуч. Трепеща от радости, глубоко дыша, смотрела мадам Левассер, как мэтр Жибер растапливает сургуч. Она с жадностью вдыхала запах разогретой смолы и торжествующим взглядом следила за движением пухлой руки нотариуса, вдавливающей печать в мягкий сургуч.

Вот теперь уж с полной уверенностью можно сказать, что зря, совершенно зря этот кровавый пес Николас укокошил ее бедного зятя. Подлость Николаса принесла ему столько же пользы, сколько гребень плешивому. Только он и добился, что беспокойных ночей, бессильного бешенства и отчаянного страха: не доберется ли все же до него рука палача?

А для мадам Левассер наступили хорошие, спокойные дни; о полуторастах экую, которые пришлось уплатить нотариусу, она не жалела. Зато она возвела добротный забор, преграждающий ее дочке-корове путь в чащу.

Старуху не особенно встревожило, когда однажды ночью она услышала, как Тереза, крадучись, выскользнула из дому. Пусть ее потаскуха обнимается со своим конюхом: озолотить его луидорами ей уже не удастся.

Не с Николасом встретилась Тереза; мадам Левассер ошиблась. То был Фернан.

Да, молодой граф наконец-то опять подстерг ее и попросил о встрече, правда, как-то нерешительно, прямо-таки сумрачно. Она, значит, тогда, на погребении, напрасно вообразила, что он к ней охладел. Радуюсь новому сближению, она тотчас же пообещала прийти.

Как только они встретились, она по привычке пошла по тропинке, которая вела к знакомой иве. Он, однако, к ее удивлению, выбрал другую тропу — ту, что вела вверх, к Храму Философии.

Он уговорился с Терезой о встрече, чтобы разрешить жизненно важный для него вопрос: причастна ли каким-нибудь образом Тереза к убийству. Если причастна, он, невзирая на совет Жильберты, изобличит обоих преступников, пусть даже ценой собственной гибели, это его долг по отношению к учителю и... к правде.

Они сели. Внизу, в ночном сумраке, лежало озеро и Остров высоких тополей. Тереза тосковала по человеку, с которым можно было бы поговорить обо всем этом

ужасе. И вот наконец есть с кем поговорить. Все, что она смутно чувствовала, она силилась втиснуть в простейшие слова. Он еще не успел задать ей ни одного из своих тщательно подготовленных вопросов, как она заговорила. Прimitивно и чистосердечно она высказала то, что за последние дни снова и снова мысленно повторяла:

— Как все это ужасно!

В сущности, эти наивные слова, с такой искренностью произнесенные, исчерпывали миссию Фернана. Он чувствовал—Тереза никакого отношения к убийству не имеет, она потрясена не меньше, чем он сам.

Невинность Терезы одновременно сняла с него тяжкое бремя и наложила на него тяжкое бремя. Как быть теперь с преступником? Изобличить убийцу—значит втянуть и Терезу в пропасть, Терезу, которую он, Фернан, соблазнил и вина которой перед учителем не больше, а меньше, чем его вина.

Как она глупа. Как счастливо живет ей за стеной ее глупости в ее примитивном мире.

С каким добродушным презрением раскрывал и изображал Жан-Жак ее убожество. Больше того: он находил слова для того, чтобы превозносить эти черты. Жильберта с ее здравым, трезвым умом права: Жан-Жак простил бы эту Терезу, именно потому, что она так глупа; он снял бы с нее всякую вину, он оправдал бы ее.

Но Фернан—не Жан-Жак, он не святой, и он должен хотя бы сказать ей, что он о ней думает. Мрачно, тихим голосом, он проговорил:

— И только подумать, что мы виноваты!

— Мы?—переспросила она, искренне удивленная.

Разумеется, она не поняла его мысли и не поймет, сколько ей ни объясняй. Безнадежно. Его охватила глухая ярость. И вот эта женщина, это воплощение глупости—причина того, что мир потерял своего величайшего учителя. Фернан зло взглянул на Терезу, залитую неверным светом луны. Внизу лежало озеро с Островом высоких тополей. Он не понимал, что могло привлекать его в этой женщине.

Она почувствовала его неприязнь. Снова, как на погребении, он сердился на нее, и она совершенно не знала почему.

— Скажи мне хоть несколько ласковых слов,—попросила она и взяла его за руку.

Он отдернул руку.

— Послушайте,—резко выкрикнул он,—я запрещаю вам встречаться с этим вырожденком, с этим убийцей. Не смейте больше видаться с ним. Никогда.

Теперь ей ясно, почему он так сердится. Она почти обрадовалась. Он, значит, так представил себе дело, будто

бы Николас ради нее все это совершил, потому что он ее очень любит. Значит, молодой граф попросту ревнует.

— Я заслужила, Фернан, чтобы вы со мной так разговаривали,— смиренно сказала она.— Когда я начала с Николасом, вас еще не было, и я была очень одинока, и житье у меня было нелегкое, вам же известно. Если бы я знала, что вы явитесь и скрасите мое одиночество, я бы не связалась с мосье Николасом. Но теперь ведь случилось это страшное, и если человек такое страшное сделал, значит, он сделал это все-таки ради меня. Так не могу же я быть с ним жестокой, поймите меня, Фернан. Я еще сама не своя. Дайте мне срок. Все эти дни я с ним не виделась. Я с ним не разговаривала.

Фернан молчал. Тогда она повторила:

— Дайте мне срок, Фернан.— И закончила, неуклюже кокетничая:— Теперь, когда Жан-Жака только-только похоронили, вы ведь тоже не захотите этого от меня?

Внизу лежало озеро с Островом высоких тополей. Фернан посмотрел на Терезу, содрогаясь от отвращения.

— Не захочу этого от вас?— переспросил он в ответ.— Я ничего не хочу от вас. Вы не смеете оскорблять память покойного. Вы не смеете у его могилы, в нескольких шагах от его могилы, прелюбодействовать с этим выродком. Это все, что я от вас хочу. И никогда я ничего другого от вас не захочу. Никогда. Поняли вы наконец?

Она поняла. И в ее глазах, глазах животного, вспыхнула глухая ненависть.

— Вот вы какой, значит,— сказала она. И, подбирая колкие слова и сколачивая их в неуклюжие фразы, она медленно, с наслаждением выговаривала их своим грудным голосом:— Сначала вы путаетесь со мной, а потом говорите мне гадости. И это называется граф, будущий сеньор! Мне жаль каждой минуты, которую я с вами провела. Стыдитесь! И в его писаниях вы рылись, как вор, вы, знатный господин, аристократ. И всегда потихоньку, всегда прячась. Знаете, кто вы?— Она искала слово.— Лицемер вы! Заячья душа! И вы еще хотите мне приказывать? Вы не смеете мне приказывать. Я буду это делать с мосье Николасом, когда захочу и где захочу. Он не такой невежа, как вы. Он знает, как нужно поступать, когда любишь женщину. Его я люблю, а не вас!

Фернан встал. Она продолжала сидеть, неподвижная, залитая неверным светом луны, и слова медленно вылетали из ее большого рта. У него было время полностью вникнуть в их смысл. Он читал «Исповедь», и он вник в их смысл. Она чувствовала благодарность к убийце, потому что он убил ее мужа ради нее. Фернан понял ее, как понимал учитель, понял ее глубоко невинную порочность.

Она смотрела ему прямо в лицо. Он не мог выдержать

этого гордого, презрительного взгляда. В его глазах были протест, ненависть, отвращение, страх. Он круто повернулся. Пошел прочь.

Все эти дни Николас, таясь, бродил вокруг Летнего дома. Но Тереза считала предосудительным встретиться с ним так скоро, ведь только что был весь этот ужас. После ссоры с Фернаном она больше не избегала мосье Николаса. Она любила его всем своим существом. Любовь возвышала ее над самой собой, и она находила для него все новые ласкательные имена. Она называла его: «Колá, мой Колá». Или игриво: «Мой милый повелитель Курносик!» или же: «Мой господин Тэтерсолл!»

Глава седьмая

ОПАСНАЯ ПРАВДА

Маркиз де Жирарден читал «Исповедь». Испуг, безгласность, жгучий интерес попеременно владели им, он с трудом сдерживал поднятую в его душе бурю. Тот самый человек, который написал «Новую Элоизу», который в тихой грусти бродил по Эрменонвиллю, тот самый кроткий Жан-Жак сгорал на этих страницах, сжигаемый мрачным огнем.

И если «Исповедь» привела в такое смятение его, Жирардена, то что скажут тысячи людей, которые прочтут эту книгу с холодным, равнодушным или даже враждебным сердцем? Как будут они, все эти мракобесы и враги, люди с грязными мыслями и грязными чувствами, копать в тайнах Жан-Жака? Какие гнусности будут они выкрикивать на весь мир? Нет, Жирарден не смеет бросить на растерзание черни эту опасную правду.

Но как же быть с ясно выраженной волей Жан-Жака опубликовать это произведение после его смерти? Кто дал право Жирардену скрыть от мира вопреки воле учителя эту новую, страшную и волнующую благую весть?

Он дал прочитать рукопись Дюси, другу Жан-Жака. Поэт испугался того, что открывалось со страниц этой книги. Он разделял сомнения маркиза.

Тем временем выяснилось, что Жан-Жак доверил копии рукописи нескольким женевским друзьям: пастору Мульту и полуамериканцу Дюпейру, завещав, чтобы они опубликовали манускрипт после его смерти. Они так и намерены были сделать. Маркиз в красноречивых письмах старался их отговорить. Но пастор Мульту, ссылаясь на безусловную правдивость Жан-Жака, а также на его завещание, настаивал на необходимости немедленно опубликовать «Исповедь». После длительной переписки приня-

то было предложение Дюси издать новое большое собрание сочинений Жан-Жака, так чтобы впервые публикуемые произведения вошли в последний том. Жирарден облегченно вздохнул. Обнародование опасной правды откладывалось по меньшей мере на три года.

Он не принял в расчет мадам Левассер.

К Терезе обращалось уже несколько издателей, желавших приобрести литературное наследство Жан-Жака, и мадам Левассер потребовала, чтобы маркиз продал рукописи сейчас, когда они разойдутся, как свежее испеченные булочки. Мосье де Жирарден растолковал ей, как он себе мыслит опубликование этих рукописей. Она тотчас же сообразила, что таким путем доберется до жирных гонораров только через много лет, и стала возражать.

— Но если мы не повременим с опубликованием, мы рискуем нанести ущерб посмертной славе Жан-Жака. Так думают все его друзья,—горячился маркиз.

— Я и моя дочь, две бедные вдовы, не можем себе разрешить таких тонких соображений,—взбунтовалась мадам Левассер.— Нам нужны деньги. Мы достаточно долго их дожидались, мы достаточно натерпелись из-за пунктика моего уважаемого зятя. Я не могу допустить, чтобы сейчас еще какая-нибудь философия встала на нашем пути.

Маркиз, раздраженный сопротивлением, ответил:

— Вы, мадам, вынуждаете меня коснуться момента, о котором я хотел умолчать. В этих рукописях есть места, набрасывающие тень на репутацию вашей дочери, да и на вашу лично.

Старуха возмутилась. Сначала Жан-Жак всю жизнь донимал ее дочь неаппетитной хворью, без Терезы он давно пропал бы и погиб, потом утащил у нее детей, а теперь в благодарность он еще из гроба поносит ее, этот юродивый, этот философ. Но мадам Левассер сдержалась и деловито предложила:

— Можно ведь не печатать эти места, которые портят репутацию, попросту выпустить их, и все тут. Мой уважаемый зять в могиле, он ничего не заметит.

Жирарден вышел из себя.

— И речи быть не может, мадам, чтобы к произведениям Жан-Жака прикоснулись ножницы или постороннее перо. Ни один издатель на это не согласится и никто из друзей, в том числе и я,—резко отчеканил он.

— Что ж,—спокойно ответила мадам Левассер,— пусть остаются эти места и портят нашу репутацию. За горсть луидоров наш брат готов и не то проглотить.

Жирарден смотрел на нее, и ярость душила его все сильнее. Если эти две женщины не были прямыми виновницами страшной смерти Жан-Жака, то прямой причиной ее они были. А теперь эта туша, эта старая

хищница посягает еще и на посмертную славу усопшего. Довольно! Всякую деликатность с ней побоку!

— Я вам уже сообщал, мадам,—сказал он,—что управление финансами его величества короля Великобритании еще не ответило на мой запрос, будет ли пенсия вашего покойного зятя сохранена и в дальнейшем. И милорд маршал еще не вынес своего решения о дальнейшей выплате пенсии, назначенной им Жан-Жаку. Если рукописи, которые вас компрометируют, появятся в свет, мадам, то вы и ваша дочь едва ли сможете рассчитывать на получение этих сумм.

С горечью лишний раз убедилась мадам Левассер, как трудно маленьким людям отстоять свое право в борьбе со знатыми господами. У этой высокородной сволочи круговая порука. Но она все же еще не сдавалась.

— Теперь только мы почувствуем, в какие тиски попали с утратой нашего дорогого Жан-Жака,—сетовала она. И, уставившись на маркиза своими колючими маленькими глазками, сказала раздельно, тихо и выразительно:—Подумать только, что так легко можно было предотвратить эту утрату.

Она, как ей и хотелось, чувствительно задела Жирардена. На немой укор старухи, когда они стояли у смертного одра Жан-Жака, маркиз ничего не сказал, но эти бессовестные слова он не намерен пропустить мимо ушей.

— Что это значит? — резко спросил он. — Объяснитесь точнее.

Старуха не отступала.

— А что тут объяснять? — спокойно ответила она и пристально посмотрела на Жирардена насмешливым, понимающим взглядом. — Я не судья, и не священник, и не философ, и что случилось, то случилось. Но я вас своевременно предупреждала, господин маркиз, вы этого не можете отрицать. И если бы вы тогда последовали совету старой женщины, правда, не высокого рода, но знающей жизнь и людей и хорошо видящей, что делается вокруг, многое сложилось бы иначе, господин маркиз.

На мгновение Жирарден света невзвидел от душившего его гнева — так возмутила его эта подлая попытка вымогательства. Но он овладел собой. Старуха рассчитывала на немедленное получение наследства, у нее ничего нет за душой, кроме этих рукописей, понятно, что столь вульгарная особа в подобной ситуации теряет всякое благоразумие и черт знает что выдумывает. Пока что, и это главное, — необходимо предотвратить всякие разговоры вокруг «Исповеди», надо деньгами заткнуть этот подлый рот, и в конце концов он поступит в духе Жан-Жака, если возьмет на себя заботу о его жене и ее матери.

— Испытываемые вами трудности извиняют все то лишнее, что вы изволили тут наговорить.— И высокомерно, почти не скрывая своей антипатии, продолжал: — Я готов временно взять на себя выплату упомянутых английских пенсий. Рассматривайте это как ссуду под рукописи.

Мадам Левассер с самого начала одолевала сомнения, будут ли им выплачивать английские пенсии, теперь она была приятно поражена предложением маркиза и сказала:

— Простите старую женщину, на голову которой обрушилось столько горя, если она порой и сболтнет что лишнее, господин маркиз. Я всегда знала, что вы — наш доброжелатель и что вы не бросите нас, бедных вдов, на произвол судьбы.

И, довольная, повернулась и пошла.

Жиарден тоже был доволен собой, он действовал как верный друг Жан-Жака и как верный хранитель его творений.

Он остановился перед посмертной маской Жан-Жака, сделанной Гудоном. Глубокий меланхолический покой исходил от этого лица, и тем страшнее казалась впадина на нем — след раны, зловещее углубление, проходившее от изрезанного складками лба через весь правый висок. Отчетливо вспомнился Жиардену разговор со скулыптором, когда он, Жиарден, впервые увидел маску. «Вы не могли бы... мосье, смягчить неровности с правой стороны?» — спросил он с несвойственной ему нерешительностью. «Нет, мосье», — коротко ответил Гудон. А с тех пор как Жиарден познакомился с «Исповедью», проломленный висок зиял еще грознее. Чего только не насочинит падкая до сплетен толпа, каким только злобным толкованием не оплетет она эту вмятину, если к ней на зубок попадет история жизни учителя.

Насочинит! Внезапно его потрясло сознание, что здесь незачем сочинять. Он все это время обманывал себя, он на все закрывал глаза, еще только час назад он возмущался ужасающе прямыми словами старухи, как попыткой вымогательства. Теперь он вдруг понял: «болтовня» была правдой. Этот Николас... «Произнеси!» — приказал он себе... Он убил Жан-Жака.

Ноги у Жиардена подкосились, ему пришлось сесть. Он виновен, старуха справедливо взваливала вину на него. Нельзя было так легкомысленно заглушать в себе внутренний голос в тот раз, когда он, Жиарден, заметил непорядок на потайной доске с ключами. И во второй раз он не захотел слышать предупреждения, когда была отравлена собака. И в третий раз он ничего не предпринял, когда старуха, все понимающая своим низменным умом, требовала, чтобы он прогнал этого молодчика.

Надо было действовать тогда, надо было вышвырнуть конюха вон.

И все-таки можно ли сказать, что он, Жирарден, виновен? Ведь у него были все основания принимать за пустую болтовню слухи об этой Терезе. Разве сам Жан-Жак, как о том свидетельствует «Исповедь», не верил Терезе? Разве он, Жирарден, обязан был быть умнее учителя?

Да, да, обязан был. Именно так. Жан-Жак мог себе позволить верить. Его задачей было ясновидение в большом, а не в ничтожном — не в таком, как его потаскуха Тереза. Жирарден же, знавший двор и людей, командовавший армией, не имел права быть глупее, чем старуха Левассер.

Что же ему делать? Что мог он сделать? Если бы даже тогда, стоя у трупа Жан-Жака, он так же ясно представлял себе взаимосвязь событий, как сейчас, он все равно вынужден был бы молчать и лгать. Раз он оставил у себя этого конюха, раз он тогда неправильно поступил, он обрек себя на необходимость и дальше молчать, и дальше лгать, и предпринимать сотни позорных, лживых шагов, чтобы преградить путь правде, становившейся все более и более опасной.

Покарат убийцу он не мог. Но одно он может сделать: порвать свое темное сообщничество с ним. прогнать его с позором и проклятиями.

Он вызвал к себе Николаса.

Спросил его строго и коротко, продолжает ли он обслуживать дам в Летнем доме. Николас ответил с наглой учтивостью:

— Да, господин маркиз. Ведь в конюшнях почти нечего делать, поэтому я часть времени посвящаю обслуживанию дам.

Жирарден сухо спросил:

— Вы состоите в интимной дружбе с вдовой Руссо?

— Нельзя сказать, чтобы вдова Руссо не благоволила ко мне, — ответил Николас и, чуть заметно ухмыльнувшись, деловито продолжал: — Я был бы себе лиходеем, если б не поддерживал этой дружбы.

— Извольте немедленно убраться из Эрменонвиля! — крикнул Жирарден. — Сегодня же!

Николас, поскольку до сих пор его никто не трогал, полагал, что вся история погаснет, как догоревшая свечная свеча: чуть повоняет и забудется. Это, надо думать, старуха, вислозадая кляча, не давала покоя идиоту маркизу. Как бы там ни было, но сейчас придется отступить.

— Что же, пожалуйста, если вы думаете, что мой уход повысит славу господина философа, — пожав плечами, нагло проговорил он. Маркиз поднял трость. Николас

не дрогнул.— Вам не выбить из меня дружеские чувства к мадам Руссо, господин маркиз,— учтиво сказал он.

— Мой судья получит указание бросить вас за решетку, если вы еще когда-нибудь осмелитесь ступить на мою территорию,— не допускающим возражения тоном объявил маркиз.

— Не тревожьтесь, господин маркиз,— сказал Николас,— я по горло сыт достопримечательностями Эрменонвиля.

Выбросив из своего дома этот ком грязи, Жирарден почти физически почувствовал, как несносна ему постоянная близость обеих женщин. К сожалению, он не мог, не возбуждая скандальных толков, прогнать вдову Жан-Жака и ее мать из Эрменонвиля, где находилась могила Жан-Жака. Но, по крайней мере, их надо упрятать куда-нибудь подальше, с глаз долой.

Швейцарский домик был готов, тот самый маленький домик, который Жирарден строил для Жан-Жака. Он велел передать женщинам свое пожелание, чтобы они туда переселились.

В последний раз, исполненный умиленной грусти, посидел он на том самом пне на опушке леса, откуда в свое время Жан-Жак смотрел, как растет его дом. И больно и смешно, что не Жан-Жак, а эти женщины поселятся в швейцарском домике. Но здесь они хотя бы не будут попадаться Жирардену на глаза.

Они переехали, и отныне Жирарден даже близко не подходил к швейцарскому домику.

Глава восьмая

ИЗГНАНИЕ ЗЛОГО ДУХА

Жирарден передал Фернану гербарий, с такой любовью собранный покойным. Мадам Левассер прислала его вместе с рукописями. Но Фернан утратил всякий интерес к ботанике, он не умел, подобно учителю, протягивать нити воспоминаний от засушенных растений к людям и событиям.

В его воспоминаниях Жан-Жак все больше приобретал черты величия, но зато живые черты, как в сокровеннейшей глубине души признавался себе Фернан, все больше и больше бледнели.

Скорбя об учителе, он старался совсем не думать о собственном бессилии и собственной вине. И так как отец прогнал Николаса, то многое из того, что было запутано, распуталось без участия Фернана, а с тех пор как женщины переселились в швейцарский домик и он почти

не встречал их больше, он нередко на долгие часы, а то и дни забывал о Терезе и о том ужасном, что было с ней связано. Он с готовностью поддавался разумным уговорам всегда такой ясной Жильберты, а она убеждала его, что тяжкие дни прожиты и отжиты и нечего к ним возвращаться.

Иной раз, правда, когда он стоял перед посмертной маской Жан-Жака, им овладевало страстное желание искупить свою вину, что-то предпринять. Посмертная маска с вмятиной на виске, а не торжественный бюст Жан-Жака, была действительностью.

Фернан знал, что и в деревне Эрменонвиль людей не перестает будоражить смерть Жан-Жака. Заметив приближающегося Фернана, они обычно обрывали разговоры.

Однажды он напрямик спросил Мартина Катру:

— Что там у вас такое? О чем вы шушукаетесь? И почему вы умолкаете, когда я подхожу?

Мартин усмехнулся.

— Ты что, сам сообразить не можешь?— сказал он своим высоким пронзительным голосом.— Толкуют все насчет вашего покойного святого.

— Что же они там насочинили, интересно?— спросил Фернан с плохо наигранной иронией.

— Насочинили?— переспросил Мартин, пожимая широкими плечами.— То же самое, что и вся страна.

Фернан покраснел.

— Может быть, сообразишь несколько точнее выразиться?— сказал он вызывающе, и так как Мартин молчал и только смотрел на него черными, умными, насмешливыми глазами, он надменно скомандовал:— Изволь объясниться!

— Если вы заговорили со мной таким тоном, граф Брежи,— сказал Мартин,— то было бы правильнее на сегодня прекратить нашу приятную беседу.

— Да говори же, говори наконец,— заклинал его Фернан.— Почему каждое слово нужно из тебя клещами вытягивать?

Хотя Фернан совсем не глупый малый, но кое в чем он все-таки ограничен, ведь это аристократ, думал Мартин; однако не может же он быть настолько ограничен, чтобы не знать того, что всему свету известно.

— Неужели тебе и вправду нужно еще объяснять?— спросил Мартин.

— Да скажи наконец, скажи,— настаивал Фернан.

Мартин, пожав плечами, ответил:

— Ну хорошо. Если человек отправляется к праотцам или если его отправляют к праотцам таким подлым образом, то следовало бы, как полагают наши деревенские, как полагаю я, да и решительно все, разобраться в

случившемся. Вы же не захотели разбираться. Сначала вы не знали, куда усадить вашего гостя, какие еще почести ему воздать, а потом, когда ваш конюх проломил ему череп, вы просто закопали его в землю, и точка. Вот это они, наши деревенские, не очень-то одобряют.

Фернан отлично знал, о чем толкуют в деревне, но когда он все это услышал, сказанное недвусмысленными словами, его живое лицо исказила гримаса ужаса.

— Проломил череп? Наш конюх? — ошеломленно повторял он.

Такая безмерная глупость, или притворство, или и то и другое вместе возмутили Мартина.

— А кто же? — грубо сказал он. — Ведь всем известно, что жена вашего святого без памяти втюрилась в этого английского конюха, а святой мешал им. Они и решили от него избавиться. Ясно, как дважды два.

Фернан впился в Мартина глазами, горевшими бессильным гневом. А Мартин, раздраженный такой младенческой наивностью, едва ли не сочувственно добавил, сам все же немножко растерянный:

— Она многим вешалась на шею, эта особа.

Фернан испугался до смерти. Этот Мартин все знает. Все всё знают. *Piget, pudet, poenitet* — досадовать, стыдиться, расклевываться, машинально повторял он про себя. Он непроизвольно закрыл лицо руками, так стыдно ему было.

Мартин жалел его. И все-таки рад был, что сунул все это под нос Фернану, этому аристократу. Он разошелся и не мог уж остановиться.

— Не знаю, как там у вас, аристократов, думают насчет таких вещей, но мы, мелкий люд, называем это неслыханным безобразием. Сначала ваш английский конюх, наглая рожа, идет и приканчивает Жан-Жака, потом над его гробом обнимается с его женой, а вы стоите рядом и преспокойно на все это посматриваете. Тут мы говорим: «Тьфу, пропасть!» И как-нибудь наши парни подкараулят молодчика, когда он будет от нее возвращаться, и измолотят так, что живого места на нем не останется.

Фернан недоуменно уставился на Мартина.

— Но ведь Николаса нет здесь, — сказал он. — Батюшка его давно прогнал.

Удивление Мартина было не меньше.

— Ах ты, мой херувимчик невинный, — издевался он. — Конечно же, негодяй здесь. Где у тебя глаза? Конюх на службе у Конде. От вас до Конде не так уж далеко.

Это было чудовищно, но Фернан не сомневался, что так оно и есть. Принц Конде всегда рад подложить отцу свинью.

Он посылся по лесу, сгорая от ярости и стыда. Даже крестьяне чувствовали, что так этого нельзя оставить, а он, Фернан, безвольно опустил руки и успокоился. Деревянный он, что ли? Он не вправе допустить, чтобы эта бессовестная женщина продолжала блудить с негодяем над могилой Жан-Жака. Даже если придется застрелить это грязное животное.

На этот раз он не станет предварительно вести долгие разговоры с Жильбертой, слушать ее проповеди благоразумия и трусости.

Он пошел прямо к Жирардену. Сказал:

— Вы прогнали английского конюха из ваших владений, батюшка. Но наш друг, принц Конде, взял его к себе на службу. Николас продолжает обретаться в здешних местах и встречается с мадам Руссо.

Судья Эрменонвиля, рапорт которого Жирарден выслушивал каждое утро, уже докладывал, что известный Николас Монтрету все еще проживает в соседнем владении. Судья хотел еще что-то добавить, но Жирарден, прервав его, спросил: «Он по-прежнему показывается в Эрменонвиле?» — и вполне удовлетворился, когда судья на его вопрос ответил отрицательно. И вот теперь сын заставляет его снова вернуться к этой истории. Он рассердился.

— Дурацкие слухи,—сказал он.—Не беспокойте меня пустяками, пожалуйста.

— Нет, не слухи,—настаивал Фернан.—Негодяй встречается с этой женщиной по-прежнему. Все это знают, все об этом говорят. Вы должны что-то предпринять, батюшка. Заклинаю вас: примите какие-нибудь меры против него. Решительные! Бесповоротные!

Тон сына, настойчивый, обвиняющий, возмутил маркиза. Ни разу в жизни Фернан не позволял себе критиковать отца, и одной дружбой с Жан-Жаком нельзя объяснить столь неслыханную дерзость. У мальчика, видно, есть основания посильнее, более личного характера. И тут вдруг ему почему-то вспомнилось, как Фернан иногда исчезал перед ужином и прятался от Жан-Жака. Все это, конечно, связано одно с другим: Фернан, должно быть, путался с этой потаскухой.

Он почувствовал даже некоторое облегчение, что может сорвать гнев на сыне.

— Как вы посмели явиться ко мне с подобными слухами? Как вы посмели читать мне нравоучение? — прикрикнул он строго. Фернан, густо покраснев, молчал, и Жирарден безжалостно спросил: — Граф Фернан, в чем вы хотели признаться мне?

Фернан был оскорблен. Он не пощадил себя, он исполнил тяжкий долг и указал отцу, что убийца все еще

нагло разгуливает по окрестностям и наслаждается плодами своего злодеяния и что это позор для Эрменонвиля. А сеньор Эрменонвиля платит ему тем, что бросает тень на его побуждения. Ему стыдно за отца.

Вспомнилась мелочная строгость отца, в которой тот все годы держал его, стараясь подчинить себе; вспомнилось, как отец мытарил и изводил его всякими придирадками. Вспомнилось, как отец сломал скрипку. Вспомнились страшные годы военного училища, куда отец послал его. Отчетливо всплыл вдруг смешной и обидный эпизод, случившийся много лет назад. Однажды, когда Фернан был на охоте, отец послал за ним верхового с приказом немедленно возвратиться домой. «Мосье,—сказал ему отец,—вы забыли закрыть за собой двери своей комнаты. Закройте—и тогда можете продолжать охоту».

Конечно, отец и любовь выказывал ему на много ладов. Он, например, взял его с собой в длительное путешествие по Италии и Швейцарии, хотя это, несомненно, обременяло его. Под сотнями предлогов он проявлял знаки робкой, почти скрытной нежности к сыну.

Исполненный гнева, осуждения, но в то же время и любви, смотрел на отца Фернан, и по судорожно-напряженному лицу его с мучительной ясностью читал, что и у отца много своих терзаний. Несомненно, этого гордого, справедливого человека не меньше, чем его самого, жгла потребность покарать злодеяние. Но его волновал престиж Эрменонвиля; сеньор Эрменонвиля не хотел рисковать славой и честью своего дома, а они могут пострадать, если поднимется шум вокруг кончины Жан-Жака.

— Я жду ответа,—сказал Жирарден.

Фернан, запинаясь, мужественно признал:

— Да, мои отношения с этой женщиной возлагают на меня вину. Но именно поэтому,—продолжал он пылко,—мне так важно, чтобы человек, связанный с учителем столь страшными узами, был раз навсегда изгнан отсюда. Он не смеет больше осквернять его память своим присутствием здесь. Быть может, это очень дерзко, батюшка, но еще и еще раз прошу вас: положите конец этому позору. Он надрывает мне сердце, этот позор!—И с перекошенным лицом иступленно крикнул: —Воздухом Эрменонвиля нельзя дышать!

Таких слов еще никто не говорил маркизу. Никому и никогда не приходилось призывать его к защите своей чести, и уж совсем не к лицу ему выслушивать подобные призывы от собственного сына. Он непроизвольно поднял руку, собираясь ударить Фернана. И вдруг взгляд его упал на посмертную маску Жан-Жака. Рука сама собой опустилась. Громко заговорило в нем сознание собственной вины.

Но никогда и никому он не признается в своей вине. Он искал сильные слова, чтобы поставить на место взбунтовавшегося сына. Не находил их. Мягко, грустно и устало сказал:

— Тяжесть утраты, мой сын, лишила тебя благоразумия.

И в эту минуту Фернан, в свою очередь, понял, что происходит в душе отца. После длительного молчания он тихо и почтительно спросил:

— Что вы решили, батюшка?

— Я поеду в Париж, к министру полиции,— ответил Жирарден.

Мосье Ленуар, министр полиции, по-видимому, не был особенно удивлен, когда маркиз потребовал высылки своего бывшего конюха Джона Болли, проживающего под именем Николаса Монтрету. Он велел принести объемистое дело и резюмировал:

— Я вижу,— сказал он, перелистывая дело,— что однажды мы уже намеревались выслать вашего конюха за пределы страны. Это когда вы его уволили. Но после того как его высочество принц Конде взял его к себе, нам пришлось отменить свое решение. Сообщенные вами сведения, дорогой и многоуважаемый маркиз, меняют ситуацию. Мы находимся в состоянии войны с Англией, и столь сомнительной личности, как сей англичанин, нечего делать на нашей земле. Я отдам приказ об его высылке.

Маркиз был приятно удивлен легкостью, с какой ему удалось добиться своего. Но его смущало и угнетало, что министр, по-видимому, был отлично осведомлен о событиях в Эрменонвиле. Значит, экспертиза врачей и судебных не убедила Париж. Не слишком ли много Жирарден взял на себя, скрыв от современников и от потомков правду о загадочной кончине Жан-Жака?

Как бы там ни было, ближайшая цель достигнута: убийца скроется с глаз.

Уже через несколько дней Николас получил подписанный самим министром полиции приказ в течение недели покинуть земли всехристианнейшего короля и под страхом сурового наказания не показываться в их пределах.

Николас густо сплюнул и присвистнул сквозь зубы. Нельзя было не признать: не глупый ход они придумали — этот спесивый Жирарден вместе со старой кобылой. Придется подчиниться.

Однако мистер Джон Болли не принадлежал к числу людей, легко отказывающихся от того, что однажды забрали себе в голову. Он покинет пределы Франции, но до поры до времени; когда-нибудь война кончится, все позабудется, и тогда он вернется и получит эту женщину, а с ней — писания чудака и деньги.

Прежде всего, следовательно, необходимо обеспечить за собой Терезу, наложить на нее свое тавро.

Как только наступила ночь, он отправился в швейцарский домик. Женщины собирались уже запереть все двери и лечь спать. Мадам Левассер, увидев Николаса, оцепенела — ее охватил панический страх: домик стоял в глубине парка, на отлете, далеко от замка; здесь никто не услышит призыва на помощь — хоть разорвись от крика.

— Добрый вечер, мадам, — вежливо сказал Николас. — Добрый вечер, мой ангел, — обратился он к Терезе. — Мне нужно с тобой поговорить.

Тереза тоже испугалась. Случилось, наверное, что-то очень важное, иначе мосье Николас не пришел бы сюда, да еще так поздно; в то же время ее самолюбию польстила отвага, проявленная им ради нее. Ведь ему так опасно показываться на территории Эрменонвиля.

— Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз, — пояснил он.

Но старуха уже владела собой.

— Убейся вон, шелудивый пес, — сказала она спокойно, не повышая голоса.

— Видишь, дорогая Тереза, даже твоя матушка хочет, чтобы наш разговор происходил без ее участия. Это-то я тебе и предлагаю. Пойдем же.

Тереза при всей своей любви смертельно боялась Николаса. Он наверняка хотел от нее чего-то нехорошего. Она готова все для него сделать, но все-таки счастье, что мать рядом.

— Ты никуда не пойдешь, — тихо сказала старуха, — а вы убирайтесь, мерзавец этакий.

Николас шагнул к Терезе. Но она придвинулась к матери и, когда та взяла ее за руку, крепко обхватила материнскую руку.

Николас пожал плечами.

— Мадам капризна, — сказал он. — То она хочет, чтобы мы поговорили в парке, то — здесь, в доме. Я светский человек, я уважаю старость. Останемся здесь. Конечно, нынче ночью я особенно хотел побыть с тобой наедине, Тереза, сокровище мое. Дело в том, что мы с тобой некоторое время не сможем видеться. Я пришел с прощальным визитом.

— Ты хочешь уехать? — спросила Тереза.

Сердце ее забило так, что у нее перехватило дыхание. Никогда раньше она с таким страхом и с таким чувством глубокого счастья не сознавала, как сильно она любит этого человека; если это не та настоящая любовь, о которой поется в песнях, значит, вообще никакой любви нет. Ей когда-то казалось, что она любит Робера, молодого приказчика из мясной лавки, но то чувство ничто по

сравнению с теперешним. Тридцать восемь лет исполнилось ей, свои лучшие годы она убила, ухаживая за Жан-Жаком и обслуживая его, и вот наконец пришла настоящая любовь, и она может отдаться ей, никто ей не мешает, и даже деньги у нее есть, а он хочет уехать.

— «Ты хочешь уехать?» — передразнил ее Николас. — Я вовсе не хочу уехать, я *должен* уехать, а все ты виновата. Твой миленький любовник, этот фруктец, аристократишка, нам все подстроил. — И вдруг его долго сдерживаемое бешенство прорвалось наружу. — И все оттого, что ты путалась с этим молокососом. Он ревнует и прячется за полицию, вельможный трус, заячья душонка!

Мадам Левассер мысленно пела осанну и аллилуйю. Она, значит, все-таки добилась своего: негодяя выпроваживают отсюда, а она остается. Она крепче сжала руку дочери, она мысленно заклинала Терезу сохранить еще только одну капельку благоразумия, всего на несколько минут, и тогда обе они спасены, и их деньги тоже, и тогда Терезе больше ничего не угрожает. Она, эта старуха, вся напряглась, она вела немой разговор с Терезой, молила ее, ругала ее, убеждала, все это вкладывая в свою руку, сжимавшую руку Терезы. И она чувствовала: Тереза, несмотря на всю свою похотливость, боится этого молодца и доверяет ей, матери. Она не пойдет, негодяю ничего не удастся сделать.

Слегка охрипшим голосом Тереза спросила:

— Когда ты должен ехать? И когда ты вернешься?

— Я уезжаю завтра, — сказал он, — а когда вернусь, не знаю.

— Я буду ждать тебя, — обещала она, — а может, поеду вслед за тобой. Когда-нибудь я буду свободна.

Он до конца насладился смыслом этих слов, выражавших ее сокровенную мечту. Она крепко ухватила за руку матери, а в душе желала ей смерти. Он чувствовал: эта женщина от него не ускользнет. Она *будет* ждать его.

— Конечно, было бы славно, если бы мы отпраздновали наше расставание где-нибудь на лужайке, — соблазнял он.

Она тянулась к нему всей своей плотью, она подалась вперед, но рука старухи вселяла в нее благоразумие, и она крепко держала эту руку. Он пожал плечами.

— Война скоро кончится, — сказал он. — И тогда я вернусь. Смотри только, чтобы мамаша не порастрясла все деньги на своего птенчика, на нашего американского сержанта. А сколько их, денег-то, интересно? — властно спросил он.

— Тебе, видно, очень хочется знать, — издевалась старуха. — Но придется тебе унести ноги, так и не дознавшись, стоит ли возвращаться. Сколько там денег — об

этом твоя Тереза не имеет ни малейшего представления. Но много ли, мало ли, а они так надежно положены, что ни один ворюга до них не доберется.

— Вы недооцениваете силу моей любви, мадам,— ответил Николас.— Я вернусь. Так и быть, рискну. Много ли, мало ли денег, мы с моей Терезой одно тело и одна душа.

— А к молодому графу вам незачем ревновать, мосье Николас,— заверила его Тереза.— Было время, когда он мне нравился, что правда, то правда. Но с тех пор, как вы...— она искала слово,— сделали это самое ради меня, я знаю, кому принадлежит мое сердце, и я ни на кого больше и глядеть не хочу.

— Умница,— похвалил Николас.

О, как он издевается над ее бедной Терезой, думала старуха.

— Ну что ж, если наше прощание наедине не вышло, то я лучше пойду. Адрес свой я тебе сообщу.

— Да, пиши мне,— слезно попросила Тереза,— пиши как можно чаще.

— Я по-французски отчаянно пишу,— ответил он.— А если бы и хорошо писал, так ты же все равно не сумеешь прочесть.

— Как-нибудь уж разберусь,— покорно сказала Тереза.

— Вот уж сомневаюсь,— ответил он.— Если мне так писать, чтобы третий не понял нас, то тут надо чертовски хитро завернуть, а у тебя умишко, к сожалению, совсем крохотный, ненаглядное мое сокровище.

— Тебя-то я пойму, мой Кола,— заверила его Тереза.

— Я не граф и не богач,— сказал он,— но я кое-что принес тебе на прощание.— Он вплотную подошел к Терезе.

— Дай руку,— потребовал он.

— Нет!— запретила мать.

— Дай руку,— приказал он вторично.

И теперь Тереза жаждала только одного: исполнить его волю, хотя бы ценой своей бедной души. Она высвободила руку и протянула ее Николасу.

— Я ничего ей не сделаю,— сказал он с издевкой, повернувшись к старухе.— Вот,— милостиво обратился он к Терезе и надел ей на палец кольцо.— Наше обручение, понимаешь? Наше венчание. Теперь я твой законный муж, по крайней мере, такой же законный, как твой покойный Жан-Жак. Теперь ты моя, и я, можно сказать, твой.

— Да, мой Кола, мой дорогой Кола,— послушно откликнулась Тереза.

Всем телом дрожала она от счастья, от гордости, от страха. Это была величайшая минута ее жизни.

Король, шестнадцатый по счету Людовик, сидел в своей библиотеке в Версале и читал тайные донесения министра полиции Лемуара. Двадцатичетырехлетний монарх читал охотно и много, в особенности официальные документы.

Он наткнулся на заметку: некий Джон Болли, именуемый также Николас Монтрету, конюх принца де Конде, ранее конюх маркиза де Жирардена, выслан за пределы страны; Болли находился в преступной связи с вдовой недавно скончавшегося писателя Жан-Жака Руссо, помимо всего прочего, он англичанин.

Молодой король обладал блестящей памятью. Отчетливо помнил он тайные донесения, в которых сообщалось о смерти Руссо. Подвергалось сомнению, действительно ли этот человек умер от кровоизлияния в мозг; речь шла о каких-то темных слухах, и уже тогда упоминалось имя этого английского конюха.

Толстый, в некрасивой позе сидел Людовик у своего письменного стола. Опустив на руки большую жирную голову с покатым лбом, он смотрел близорукими, несколько выпуклыми глазами на украшавшие его письменный стол фарфоровые бюсты великих умерших поэтов — Лафонтена, Буало, Расина и Лабрюйера. Изящные фарфоровые бюсты были изготовлены по личному заказу короля, в его севрской мануфактуре. Это все писатели, которые ему по сердцу. Они творили с верой в бога и в установленный богом порядок на земле. Теперь таких писателей нет. Ему, Людовику, приходится то и дело отбиваться от атеистов и бунтарей, от таких, как Вольтер, как Руссо.

Он думал о злых семенах, посеянных этими философиями, и о ядовитых обильных всходах, которые эти семена принесли. Цинизм и богоотступничество завладели его двором и его столицей. Мятежи, вспыхивающие то там, то тут во всем мире, служат для его вельмож только развлечением, они беспечно подпиливают сук, на котором сидят. Поддавшись уговорам министров, он заключил союз, направленный против своего же кузена на английском престоле, союз с взбунтовавшимися английскими провинциями в Америке. Это путь в пропасть, и на этот путь его заставили вступить; он слишком слаб, он не может противостоять всеобщей воле, — кажется, он мысленно употребил оборот, сочиненный Руссо? Больше того, он знал, что ему еще придется послать войска на помощь мятежным американцам, восставшим против богоданного

короля. Он видел, только он один и видел, что все это рано или поздно обернется против него самого.

Всевышний показал ему свою милость, послав столь позорную смерть обоим бунтарям-философам, одному вслед за другим. Тело Вольтера вынесли втихомолку ночной порой и с неподобающей поспешностью втихомолку же где-то похоронили. В таких похоронах было что-то непристойное, и это, к счастью, умалило величие памяти и имени Вольтера. А теперь и второй богоотступник кончил бесславной смертью, убитый любовником своей жены.

Вскоре после кончины Руссо ему как-то пришла в голову мысль назначить расследование дела. Но премьер-министр выразил сомнение: весь мир-де высоко ценит этого философа, его слава — слава Франции. И вот теперь предполагаемого убийцу даже выслали, чтобы сохранить незапятнанной память бунтаря. Неужели же он, король, глядя на все это, по-прежнему будет сидеть сложа руки? Не обязан ли он, всехристианнейший монарх, распространить версию о сомнительной кончине богоотступника и тем самым умалить воздействие его книг?

На ближайшем докладе министра полиции Лемуара король сказал:

— Я вижу, дорогой Лемуар, вы тут выслали некоего конюха, который находился в связи с вдовой пресловутого Руссо. Не слишком ли поспешно вы действовали? Не затруднит ли его высылка расследование слухов по поводу смерти этого несносного философа?

— Экспертиза безупречна, — ответил Лемуар, — протокол подписан видными врачами и представителями властей, из него явствует, что мосье Руссо скончался от кровоизлияния в мозг.

— А вы дознались, какой смертью он на самом деле умер? — спросил Людовик и жестом как бы сбросил со счетов экспертизу. — Что там такое с этим конюхом, который будто бы убил его, потому что состоял в грязной связи с его женой? Неопровержимо ли доказано, что он невиновен?

— Получить неопровержимые доказательства едва ли удалось бы, — осторожно сказал Лемуар. — И многие истинные патриоты Франции рассматривают отсутствие таких доказательств как благоприятное обстоятельство для королевства.

— *Justitia fundamentum regnorum*¹, — сказал Людовик. — А архиепископ Парижа, вероятно, не видит в этом благоприятного обстоятельства для Франции. Я не помню, чтобы я повелел воздержаться от судопроизводства.

— Если это приказ, ваше величество, — помолчав, ска-

¹ На справедливости зиждутся царства (лат.).

зал министр,—тогда я пошлю секретные протоколы господину генеральному прокурору с просьбой изучить и затем доложить вашему величеству о возможности возбуждения дела.

— Благодарю вас, Ленуар,—сказал Людовик.

Спустя несколько дней в Эрменонвиль прискакал доктор Лебег. Он был в необычайном волнении. Едва поздоровавшись, он сообщил, что затеваются дела, касающиеся их обоих, и когда Жирарден встревоженно вскинул на него глаза, пояснил:

— Пусть вас не удивит, дорогой маркиз, если в Эрменонвиль по специальному заданию генерального прокурора явится следственная комиссия. Король считает желательным досконально выяснить все обстоятельства смерти Жан-Жака. Мне рассказал об этом доктор Лассон, лейб-медик короля.

— Но ведь все выяснено,—испуганно воскликнул Жирарден.—Ведь есть протокол, вашей рукой подписанный протокол.

Лебег пожал плечами.

— *Regis voluntas —suprema lex*¹.

— Неужели этому злополучному делу так никогда и конца не будет? Нельзя же возбуждать судебное преследование на основании пустой болтовни,—сетовал Жирарден.

Лебег едва ли не благодушно ответил:

— В таких случаях прибегают к эксгумации трупа.

Жирарден впал в отчаяние. Он представил себе, как чиновники уголовной полиции переезжают по озеру на Остров высоких тополей, как там равнодушными руками сдвигают с места надгробный памятник, перерывают священную землю и вытаскивают из гроба труп, чтобы его заново кромсать.

— Что же делать?—растерянно спросил он.

— Король медлителен,—ответил Лебег,—пройдет какое-то время, раньше чем он решится отдать приказ о доследовании. Это время необходимо использовать. Надо, чтобы кто-нибудь из приближенных короля постарался на него воздействовать. Жан-Жак в моде, а круг королевы не отстаёт от моды. Вы как будто в родстве с маркизом де Водрейлем? Королева делает все, что захочет Водрейль.

Маркиз скроил кислую мину. Он и кузен Водрейль не любили друг друга. Сверхизысканный щеголь и ветреник, Водрейль с головы до пят был царедворцем. Жирарден расценивал его интерес к философии и литературе как чистейшее позерство. В свою очередь, Водрейль посме-

¹ Воля властителя—высший закон (лат.).

ивался над интеллектуальной кичливостью своего деревенского кузена.

— Не представляю себе,—сказал Жирарден с досадой,—как бы я мог убедить Водрейля вмешаться в уголовное расследование, в котором заинтересован король.

— Это можно было бы сделать обходным путем,—сказал Лебег.—Водрейль и вся Сиреневая лига бредят «Новой Элоизой». Места, где Жан-Жак провел последние месяцы своей жизни, и его могила таят, несомненно, прелесть сенсации и моды для этих чувствительных кавалеров и дам. Водрейль вряд ли ответит отказом, если вы пригласите его приехать в Эрменонвиль... с королевой.

Жирарден понял, куда клонит Лебег. Водрейль был у королевы в большом фаворе, она безоговорочно принимала все его предложения. И если уж королева посетит могилу Жан-Жака, то осквернить ее после этого шумом уголовного дела будет невозможно. И тогда Жан-Жака навсегда оставят в покое. А вместе с Жан-Жаком и его, Жирардена.

Он поехал в Версаль. Водрейль держал себя точно так, как ждал того Жирарден,—иронически и покровительственно. Было горько просить у этого вылощенного вельможи об одолжении. Жирарден сделал над собой усилие, унизился, попросил. Как известно уважаемому кузену, сказал он, показать королеве, создательнице Трианона, Эрменонвиль—его давнишнее заветное желание; а теперь, когда в земле Эрменонвиля погребен величайший мыслитель Франции, быть может, и королеве самой захочется посетить эрменонвильские сады.

Водрейль с удовольствием наблюдал, каких усилий стоит его деревенскому кузену поддерживать придворный тон. Он насквозь видел подоплеку всего этого дела. Водрейль находил безвкусной идею толстяка Людовика поднять шум вокруг мертвого Жан-Жака, и его подмывало подстроить королю каверзу.

Если Водрейль вместе со смешливой, элегантной королевой, этим избалованным ребенком, приедет на могилу Жан-Жака, это создаст пикантную ситуацию и будет понято как весьма иронический символ. Вельможа уже сейчас мысленно улыбался, представляя себе, как вся Европа заговорит об этом паломничестве. Даже в хрестоматиях далеких потомков еще можно будет найти поучительные рассказы о том, как юная королева Мария-Антуанетта и ее первый камергер украшали полевыми цветами могилу философа-бунтаря.

— Вы правы, уважаемый кузен. Наши подданные исполнятся благодарностью к своей монархине, если она

воздаст должное памяти любимого философа. Я передам Madame приглашение,—милостиво пообещал он,—и от души посоветую его принять. Более чем уверен, что Madame согласится. Рассчитывайте, любезный кузен, в самое ближайшее время увидеть нас в Эрменонвиле. Madame посетит могилу Жан-Жака и выразит свое соболезнование его вдове.

Да, это дополнение Водрейль тут же мгновенно придумал. Он приперчит удовольствие, это будет высочайшая комедия—королевская комедия, если королева Франции выразит соболезнование особе, являющейся главной виновницей темного конца этого наивного философа.

Все в Жирардене возмутилось. Он с наслаждением огрел бы своего кузена по гладкой, красивой, самодовольной физиономии. Но картина королевского посещения, нарисованная Водрейлем, отвечала духу и требованиям благопристойности. Жирарден не видел пути, как отклонить его предложение. Кроме того, своей дьявольской идеей, так внезапно его осенившей, Водрейль невольно оказывал ему еще одну услугу. После того как ее величество милостиво поговорит с главной виновницей убийства, та перестанет быть главной виновницей убийства, а значит, не было и убийства.

— Весьма благодарен, мосье, за вашу любезность,—сказал Жирарден.—Почтительно и взволнованно жду дальнейших сообщений касательно ее величества.

Спустя несколько дней к главным воротам Эрменонвиля действительно подъехала королева с немногочисленной свитой.

После завтрака Мария-Антуанетта совершила прогулку по парку. В Башне Габриели Жирарден устроил для нее маленький концерт: были исполнены песни Жан-Жака, главным образом неопубликованные. Стройной, очень юной, светловолосой даме понравились простые песенки, она сама спела одну из них с листа; у нее был красивый голос.

Затем направились к озеру, и маркиз, собственноручно гребя, перевез Марию-Антуанетту и Водрейля на остров. Полные три минуты все стояли в молчании у могилы. Как было предусмотрено, королева Франции убрала скромное надгробье полевыми цветами.

— Красиво,—сказала она.—Красиво здесь, и такой глубокий покой вокруг. Тут ничто не тревожит его вечный сон. Я просила почитать мне страницы из «Новой Элоизы»,—рассказывала она Жирардену.—Я даже написала об этом моей матери, императрице; она отнюдь не пришла в восторг. Все же мне хотелось послушать еще несколько глав из «Новой Элоизы». Но вы знаете, дорогой маркиз, как я занята: я ничего не успеваю. Теперь, побывав на

могиле Жан-Жака, я непременно наверстаю упущенное. Напомните мне об этом, милый Водрейль.

Грациозно сидя под ивой на дерновой скамье Жан-Жака, Мария-Антуанетта принимала почести, воздаваемые ей сельской молодежью. Она привыкла к сценам такого рода; с дружелюбно-участливым выражением лица слушала она девушку в белом платье, читавшую оду королеве, и думала о другом.

Но вот Водрейль обратился к Жирардену. Сказал, что скоро надо возвращаться, а ее величество желала бы еще выразить свое соболезнование близким Жан-Жака.

Губы королевы кривила легкая, озорная улыбка. Водрейль рассказывал ей историю злополучного брака великого философа: он женился на скудоумной особе и, когда у нее рождались дети, подкидывал их в приют; в конце концов она возненавидела его и вдвоем со своим любовником злодейски устранила с дороги. Водрейль объяснил Марии-Антуанетте, что говорить об этом вслух нельзя, Жан-Жак — слава Франции, но все, что он рассказал ей, — правда и весьма интересный случай. Мария-Антуанетта с ним согласилась; она приехала главным образом затем, чтобы поглядеть на эту роковую особу.

Когда мадам Левассер и Терезе сказали, что королева хочет их повидать, они сперва не поверили. Даже всегда невозмутимая мадам Левассер заволновалась. Терезе впервые приоткрылось, что значит быть вдовой Руссо.

И вот они здесь, и перед ними королева.

С живым интересом, с легким содроганием разглядывала Мария-Антуанетта эту женщину. Тот самый Жан-Жак, который написал такую чудесную, трогательную, знаменитую книгу и был предметом соперничества знатных дам, наперебой искавших его расположения, жил с этой неуклюжей, вульгарной особой и погиб от руки ее любовника. Да, удивительно! Она с удовольствием рассмотрела бы ее в лорнет; быть может, в далеком прошлом и было в этой женщине что-то привлекательное. Но пользоваться лорнетом, пожалуй, не подобает здесь, почти у самой могилы. Матери вообще нельзя написать, что она ездила сюда, но мать все равно узнает и направит к ней посла, который, не отступая от этикета, почтительно и внушительно отчитает ее; и ее добрый толстяк Людовик будет дуться. Но разговаривать с этой особой — тут есть своя пикантность, и Мария-Антуанетта заранее предвкушала удовольствие, как она обо всем расскажет своей подруге Ивонне и другим членам Сиреновой лиги.

— Я посетила могилу вашего супруга, моя милая, — сказала она серьезным, дружеским тоном, однако без лишней фамильярности; так разговаривала она с людьми из народа, когда желала выразить им свое участие. Она

научилась у матери-императрицы обращению с простыми людьми; в приветливости никто из монархов не превосходил Габсбургов.— Тяжелый удар постиг вас,— продолжала Мария-Антуанетта и добавила тихо, почти интимно:— Мне рассказывали, сколько вам пришлось вытерпеть из-за беспокойной философии вашего уважаемого супруга, который при всем своем величии был несколько чудаковат. Представляю себе, мадам, что вы испытывали, теряя ваших малюток.

«Должно быть, наш юродивый и впрямь был великий человек, если королева разводит вокруг него столько антимоний. Уж теперь рукописи наверняка поднимутся в цене, надо надеяться, что маркиз вдолбит это издателям. Если бы только Тереза не держала себя такой дурой! Поплакать-то чуть могла бы, королева!»

Но Тереза онемела в своем счастливом смущении. «Какая милостивая важная дама,— думала она.— А что за красавица. И кавалер ее. Как одет! А как статен! И все они приехали ко мне! Какая честь! Вот жаль, что Жан-Жак не дожид до этого! А уж что мосье Николас всего этого не видит—так до слез обидно». Но слов для ответа королеве Тереза не находила.

— Да, Madame,— выручила ее наконец мадам Левассер.— Моей дорогой Терезе пришлось немало перенести. Но он ведь был великий философ, наш бедняжка Жан-Жак, и тут уж смиряешься и все причуды принимаешь как должное. Я всегда говорила моей Терезе: ты несешь свое бремя во славу Франции.

«Надо непременно сказать несколько ласковых слов и этой противной старухе, иначе Водрейль меня потом загрызет»,— думала Мария-Антуанетта.

— Но у вас, по крайней мере, есть ваша дорогая матушка,— сказала она Терезе.— Это большое утешение, я знаю по себе. В тяжелые минуты я всегда вспоминаю о своей матери, императрице, и это придает мне силы.

— Да, Madame,— сказала Тереза и поцеловала Марию-Антуанетте руку.

А мадам Левассер заверила:

— Весь остаток моей жизни я буду молиться за ваши величества, за вас, Madame, и за вашу всемилостивейшую мать—императрицу.

Так завершилось посещение Эрменонвиля Марией-Антуанеттой. Этим посещением королева как бы лично скрепила печатью протокол Лебега о смерти Жан-Жака, и теперь уж не было ни надежды, ни страха, что зияющая рана на виске умершего и ее оттиск на посмертной маске станут еще когда-нибудь предметом исследования.

Добившись у отца изгнания убийцы, Фернан думал, что его задача выполнена и что отныне воздух Эрменонвиля чист по-прежнему.

Комедия у могилы Жан-Жака показала ему, как сильно он заблуждался. Королева Франции по-сестрински благосклонно протянула руку женщине, виновной в смерти учителя!

Глядя на эту слащавую и глубоко гнусную комедию, Фернан понял: если убийство могло совершиться, то вина за него падает не только на непосредственного злодея; убийца понадеялся—и не без основания,—что его не станут преследовать. Повелители страны не только закрывали глаза на грубый обман, которым оплели правдивейшего из людей, они извращали вдобавок картину его смерти—заволакивали его кончину туманом лжи. Правды не хотят знать, никому в стране нет дела до правды, все дружно стараются втоптать ее в землю.

Эта мысль обрушилась на Фернана как землетрясение. Она потрясла все его бытие.

До сих пор он не очень задумывался над своим будущим, заранее predetermined. После нескольких лет в армии или на дипломатической службе он с Жильбертой вновь поселится в деревне, в Эрменонвиле или в другом его владении; имениями своими он будет управлять, пользуясь новейшими методами и заботясь о физическом и нравственном благоденствии арендаторов и крестьян; но больше всего он будет читать, размышлять и, быть может, писать.

И вдруг он понял: так жить он не сможет. Ему тошно оставаться в Эрменонвиле. Ему невыносим отец, который презренными средствами старается подклеить и подлатать разбитый образ Жан-Жака. Невыносимы сады с их искусственной мирной безоблачностью, чья лживость наказана могилой убитого Жан-Жака. Фернан не может жить в этих местах, освященных, обещанных, оскверненных, проклятых всем, что пережито здесь Жан-Жаком и им, Фернаном.

Не только Эрменонвиль постыл ему, но и все это от нутра идущее философствование и мудрствование взято им теперь под сомнение. Сидеть в деревне, читать, размышлять о мире, о жизни и о собственной душе—этого мало. Никто так не усовершенствовался в этом, как Жан-Жак. Никто так широко не объят умом мир и его взаимосвязи и так глубоко не заглянул в собственное сердце, как он. Но окружающей действительности он не видел. Он умел летать, ходить он не умел.

Ярче и сокрушительнее чем когда-либо раскрылось перед Фернаном противоречие между жизнью Жан-Жака и его учением.

Без философии нельзя заниматься практической деятельностью, но одной философии, теории мало. Теорию нужно мерить масштабами окружающей действительности, шлифовать о реальную действительность. Нужно руками осязать суровую живую жизнь, непрестанно с ней соприкасаться, получать от нее толчки и пинки. Нужно испробовать горечь и сладость, и тогда, исходя из собственного опыта, решать, что благо и что нет.

Так учил сам Жан-Жак. Его Сен-Пре в состоянии полного отчаянья не кончает собой, он бросается в гущу жизни, принимает участие в грандиозном кругосветном путешествии.

Ему, Фернану, нужно отправиться куда-нибудь очень далеко. Одному, без наставников и без провожатых. Путешествия, которые он совершал с отцом,— в Англию, Италию, Швейцарию, эти комфортабельно обставленные поездки с целью изучения искусств, не много дали ему.

Надо увидеть подлинный мир, а не мир старинных книг. Надо поглядеть на него собственными глазами, осязать его собственными руками.

Жильберта, конечно, не обрадуется, узнав, что он уедет на много лет. Но она поймет его, должна понять.

Назавтра же он был у нее. Изложил ей свою идею.

Если посмотреть на посмертную маску Жан-Жака с левой стороны, разъяснял он Жильберте, то от нее веет покоем, благородством, величием, но стоит взглянуть на нее справа, как в глаза бросается глубокий шрам, и от покоя ничего не остается. Шрам проходит не только через висок Жан-Жака, он проходит через всю Францию. Первое — правда и второе — правда, но эти две правды находятся в противоречии. Любой, кто посмотрит, непременно ощутит: между тем, что должно быть, и тем, что есть,— нет более ничего общего.

Фернан бегал из угла в угол, говорил быстро, торопливо, он так много открыл для себя, он хотел всем этим поделиться с Жильбертой и хотел сказать все сразу.

Жильберта старалась его понять.

— Ты, значит, больше не веришь в Жан-Жака? — спросила она, деловито подытоживая.

Фернан испугался: он, видимо, плохо выразил свою мысль.

— Конечно, верю! — воскликнул он. — Глубже чем когда бы то ни было. Но дело в том, что учение Жан-Жака так и осталось словами. Слова за ним повторяют, измельчая и пережевывая, но ни для кого они не являются

законом жизни. И я тоже не нашел пути от этих слов к действительности. Я только невероятно плутал.

Жильберта все еще не понимала, куда он клонит.

— А теперь ты нашел правильный путь? — спросила она напрямик.

С быстротой молнии и словно озаренный ею, он вдруг понял. Попросту пуститься в путешествие куда глаза глядят — этого еще недостаточно. Существует часть света, одна, определенная, которая влечет его к себе.

— Есть на земле люди, — заявил он пылко и решительно, — действующие по заветам Жан-Жака. Не здесь. За океаном. Я хочу быть с ними. К ним я поеду.

Вот еще новая выдумка! Жильберта молча, внутренне кипя, смотрела на него. Возможно, что для американских повстанцев и для их Франклина и Вашингтона война в лесных дебрях как раз то, что им нужно, но графу Брежи и будущему сеньору Эрменонвилю там делать нечего. Можно от всего сердца желать американцам победы, но нет никакой необходимости самому участвовать в этой войне, терпеть лишения, валяться в грязи и ставить свою жизнь на карту. Она произвольно покачала головой.

Фернан, счастливый, продолжал с жаром:

— Понимаешь, теперь оказывается, что я не зря провел два проклятых года в военном училище. Провидение есть, Жан-Жак и в этом прав; в итоге даже злое и глупое обретает свой смысл.

Но он видел, что Жильберта не верит ему и что в ней растет протест, он прямо-таки из кожи лез вон, стараясь убедить ее:

— Пойми же меня, Жильберта. Эти безмозглые версальские франты, эта королева со своим кокетливым Трианомом, весь этот изолгавшийся двор с его выветрившимся ароматом великих столетий, отошедших в прошлое, — ведь это не жизнь. Все эти люди только и способны, что на праздное острословие, на отплясывание гавотов и на разыгрывание пасторалей. Все это мертво и уже наполовину истлело. Из всех этих кавалеров и дам никто представления не имеет, что такое народ, да они и забыли, что он существует вообще. Я правильно делал, что никогда не хотел жить этой жизнью. — И помальчишески задорно воскликнул: — Теперь я знаю, где мое место! Теперь я знаю, что должен делать!

«Ça у est, вот тебе и подарочек!..» — подумала Жильберта. Так говаривала ее мать, когда попадала в затруднительное положение, что случалось нередко. Это была одна из первых присказок, которые усвоила маленькая Жильберта. «Вот так, с ясного неба и сыплются на человека напасти, — думала она. — Но этого надо было ожидать при таком экзальтированном увлечении зловред-

ным старым чудаком. К сожалению, у Фернана все это не пустая болтовня, он упрям и одержим».

— А что будет со мной?—тихо спросила она с горечью и гневом.—Я тоже отношусь к «мертвым, наполовину истлевшим»?

На мгновение Фернан растерялся. Но затем твердо и решительно объявил:

— Ты, конечно, поедешь со мной.

Жильберта считала Фернана необычайно умным, но непрактичным; однако что он настолько оторван от действительности, она и не предполагала.

— А ты себе представляешь, что это значит?—спросила она, стараясь скрыть досаду.—Америка—страна первобытных лесов и войн. Совершенно не понимаю, кому я могу быть там полезна. Ты говоришь, что между учением твоего Жан-Жака и реальной жизнью—огромная дистанция. Быть может, если ты ринешься к этим, за океан, то ко многим заблуждениям прибавится еще одно.

Его задело, что она сказала: «К этим, за океан». Еще больше его задело, что она сказала: «твой Жан-Жак». Значит она отделяла себя от него, Фернана! И все же кое в чем она права: его план *очень* трудно осуществить. Помолчав, он несколько вяло произнес:

— Нужно лишь, чтобы человек понял, где лежит правильный путь, и твердо решил встать на него,—все остальное устроится.

Эти расплывчатые общие фразы окончательно вывели из себя Жильберту.

— А если я не могу устроить все остальное?—спросила она.—Если я останусь, ты все-таки уедешь?

Слова ее прозвучали запальчивее, чем ей хотелось. Она боялась, что он скажет: «Я останусь»,—и боялась, что он скажет: «Я уеду».

Фернан сказал раздумчиво и как-то угловато, и он верил в то, что говорил:

— Когда я принял решение, мне казалось само собой разумеющимся, что мы поедем вдвоем.

Она видела, что продолжать разговор—значит поссориться.

— Обдумай все еще раз, Фернан,—сказала она.—Обдумай спокойно. И я тоже подумаю еще.

В эту ночь Фернан не заснул.

Он старался вспомнить высказывания Жан-Жака, которые укрепили бы его в его намерениях, высказывания об Америке и о борцах за свободу. Но—увы!—ничего не мог вспомнить. За столом учитель, бывало, говорил о многом, но едва ли касался когда-либо крупных злободневных событий. Правда, он учил: «Корнями своими все

переплетено с политикой». Но когда внимание всего мира было приковано к борьбе американских повстанцев, он вряд ли когда-нибудь задумывался о ней. По-настоящему Жан-Жака всегда захватывала только теория, признал про себя озадаченный Фернан, только эскиз здания занимал его; как построить здание — его не интересовало.

Но разве не кощунство такие мысли? Мало разве терпел Жан-Жак от несправедливых нападков? Нужно, что ли, чтобы еще и он, Фернан, предал учителя и усомнился в его учении?

Он встал, крадучись выбрался в парк, побежал к озеру. Отвязал лодку и поплыл на Остров высоких тополей. Опустился на колени у могилы. Просил покойного просветить его.

«*Vitam impendere vero* — жизнь посвятить истине» — этот суровый и гордый лозунг Ювенала Жан-Жак сделал девизом своей «Исповеди». Как верный ученик Жан-Жака, Фернан должен посвятить жизнь служению своей правде.

Фернан поднялся с колен. Большие решения надо принимать самому, тут никакой учитель не поможет и никакая философия. Когда стоишь перед суровым испытанием, слушай только голос собственного разума и собственного сердца, слушай самого себя. Никто никому помочь не может.

Он сел в лодку и поплыл назад. Ему не нужны ничьи советы — ни живых, ни мертвых. И Жильберте нечего учить его уму-разуму. Он осуществит то, что задумал.

До сих пор за него жили, отныне он будет жить сам.

Как только он увидит утром отца, еще раньше, чем он встретится с Жильбертой, он объявит ему о своем решении, о своем окончательном решении.

Отец был в спокойном, почти веселом расположении духа. Скверная комедия, в инсценировке которой он волей-неволей участвовал, позади, отныне он может всецело посвятить себя культу Жан-Жака. Вот, стало быть, в таком настроении — приподнятом, скорбном, умиленном, торжественно-меланхолическом — Фернан застал отца.

В кратких словах изложил он свое решение стать в ряды учеников Жан-Жака, американских борцов за свободу, и сделать их дело своим. Он намерен отправиться в Америку и вступить в армию генерала Вашингтона. Просит благословения отца и его помощи.

Маркиз, столь неприятно потревоженный в своей мирной и возвышенной меланхолии, склонен был расценить желание сына как юношеский безрассудный порыв. Он ответил просто, даже шутливо:

— Ты с ума сошел, мой милый граф.

Фернан сдержался.

— Разве это сумасшествие, если человек делает по-

пытку претворить в жизнь принципы Жан-Жака? — спросил он.

Мосье де Жирарден пожал плечами.

— Принципы Жан-Жака не так легко претворить в жизнь, — наставительно сказал он. — Жан-Жака не занимала грубая материя; он стремился проникнуть в сокровенный смысл вещей.

То, что отец, возражая, высказал мысль, которая приводила самого Фернана в смятение, еще больше ожесточило его.

— Выходит, учение Жан-Жака — только туманные разговоры и чувствительность? — возмутился он. — И вся его мудрость, выходит, остается лишь красивой декорацией?

Жирарден вспоминал, как Фернан требовал у него удаления Николаса. В тот раз он стоял перед сыном, как нерадивый школьник, не выучивший урока. Теперь он чуть ли не торжествовал оттого, что ему удалось поймать сына на безнадежной глупости.

— Я вижу, мой мальчик, что ты не понимаешь существа философии, — все еще кротко урезонивал он сына. — Философия ставит проблемы, и на этом ее роль кончается; разрешать их — дело каждого в отдельности. А разрешить их правильно можно лишь в том случае, если ученик углубляется в философию учителя с любовью, благоговением и, — он слегка повысил голос, — с самодисциплиной.

— Так именно я и поступил, батюшка, — негромко, но решительно сказал Фернан. — Я сделал выводы из Жан-Жакова учения, отвечающие моим запросам. Выводы вполне закономерные. Объявление независимости Соединенными Штатами основано на доктрине Жан-Жака. Требования, заключенные в «Общественном договоре», осуществлены в американской республике полнее, чем где бы то ни было на земном шаре. Если я внесу свою скромную лепту в то, что там свершается, я буду вправе сказать, что строю свою жизнь на принципах Жан-Жаковой мудрости. — И, все больше горячась, он закончил: — Жить именно так учили меня и вы, батюшка.

От слов сына пахло бунтом. Но Жирарден все еще воздерживался от отцовского окрика; взяв себя в руки, он молчал и обдумывал, какими практическими соображениями можно удержать сына от опрометчивого шага. Поскольку заключен союз с Соединенными Штатами, за океан, очевидно, будет послана французская армия. Это, конечно, возьмет некоторое время. И если Фернан захочет вступить в нее, — тут можно будет потолковать.

Но раньше, чем он пришел к такому выводу, раньше, чем заговорил, Фернан потерял с великим трудом сохраняемое спокойствие.

— Пожалуйста, батюшка, не вздумайте отчитывать меня, как мальчишку,—выпалил он.—Я молод, разумеется. Но молодые люди лучше понимают Жан-Жака, чем другие. Только молодежь способна до конца понять его, так он сам сказал однажды.

Теперь, однако, лопнуло терпение и у Жирардена.

— Ты что, хочешь сказать, что я не понимаю Жан-Жака?—закричал он на Фернана.—А себе присваиваешь монопольное право толкователя? Ты, очевидно, полагаешь, что взял его на откуп, потому что связался с этой бабой, с его женой? Ты стал дерзок, сын мой, более чем дерзок.—Он выпрямился и ткнул тростью в сторону строптивого сына.—Хватит! Довольно! Я запрещаю тебе, слышишь, запрещаю раз и навсегда носиться с такими глупыми, незрелыми планами.

— Благодарю вас, батюшка, за беседу,—сказал Фернан.—Теперь мне известно ваше мнение.

Он поклонился. Вышел из комнаты.

Глава одиннадцатая

ФЕРНАН ДЕЙСТВУЕТ

Не спала в эту ночь и Жильберта; она обдумывала разговор с Фернаном.

Он сказал, будто жизнь здесь мертвая и полуистлевшая. Правда, в ней много пустого и напускного, и нередко среди светской суеты в Париже и в Сен-Вигоре она начинала понимать, почему Фернан так не любит столицу и двор. Но чаще всего она от души наслаждалась этой суетой. Правда, из месяца в месяц, изо дня в день вести такой образ жизни было бы невыносимо, Фернан прав. Но ведь они твердо уговорились, что большую часть года будут проводить в деревне, и она с удовольствием жила бы в деревне с Фернаном.

Ему легко говорить: он родился знатным, он не понимает, что значит постоянно быть начеку, постоянно бороться. Он потешается над церемонией обхода Версаля, который им предстоит совместно проделать, чтобы получить согласие короля и всей его семьи на брак. А она, Жильберта, ждет этого как счастья; как только она пройдет через этот ритуал, с ее незаконнорожденным дворянством будет навсегда покончено, она избавится от проклятого ига бесправия, она получит права и привилегии, облегчающие жизнь. Она хорошо помнила невзгоды и унижения, которые отравляли существование ее матери потому, что мать не принадлежала к классу привилегированных; а как недавно она сама, Жильберта, неприятно

себя чувствовала в Воспитательном доме. Ей хотелось плакать от радости, когда она представляла себе легкий и свободный путь, который откроется перед ее детьми.

Разумеется, прекрасно, что у Фернана такие смелые идеи, за это она его и любит. Для него они не просто болтовня, в нем все неподдельно — и дурное и хорошее. С ним, когда они будут вместе, она сможет свободно говорить обо всем, даже о самом последнем, самом сокровенном, о мыслях и страстях, в которых сама себе не решается признаться. Нет, ей не нужна никакая Америка, никакие приключения. Когда они с Фернаном поженятся, жизнь ее расцветет, получит цель и смысл.

А если Фернан считает здешнюю жизнь такой бессмысленной и бездушной, почему бы ему не постараться внести в нее смысл? Почему бы ему не постараться изменить ее? Например, позаботиться о том, чтобы такие люди, как Жан-Жак, не должны были подкидывать своих детей в приют?

Вдруг совершенно произвольно в ушах у нее зазвучала песенка Жан-Жака:

Простилась я с милым, простилась с желанным,
Не встретимся вновь.
Он ищет сокровища за океаном,
Покинул любовь.

Жгучая ярость против Жан-Жака охватила ее. Всем он принес несчастье. Нет, она не допустит, чтобы он еще из гроба вторгся в ее жизнь, этот мертвый безумец.

Она понимает Фернана. Понимает, что он никогда ничего не делает наполовину и всегда идет самым прямым путем. Но как бы хорошо она ни понимала его, все в ней восстает против его плана. Она любит его так, как только может человек любить человека, а он бежит от ее любви, добровольно отправляется в какие-то дебри воевать за идеи старого безумца. А что будет с ней? Хватит ли сил сидеть здесь одной и ждать его? А если он... а если с ним что-нибудь случится?

Она негодовала и плакала, она думала, и передумывала, и взвешивала, и размышляла, и не могла прийти ни к какому решению, и опять и опять ломала себе голову, пока незаметно для себя не уснула.

На следующий день Фернан прискакал в Латур, полный радостной решимости. Теперь, когда бесповоротное было совершено и разговор с отцом состоялся, все остальное уже ясно и просто. Сопровождать его Жильберта, вероятно, не сможет — в этом она права. Но она его поймет, она, с ее светлым умом и отважным сердцем, примет как должное эту отсрочку, так же, как принимает ее он.

Когда Фернан рассказал Жильберте о разговоре с отцом, она побледнела от возмущения. Фернан действовал и принимал решения так, словно ее не существовало. Она была оскорблена до глубины души. С трудом выговорила:

— А как ты представляешь себе дальнейшее?

Он ждал этого вопроса.

— У меня есть наследство, оставленное мне матерью,— ответил он.— В Париже я займу под него денег. Там и подготовлю свой отъезд. Через месяц, самое позднее, отплыву.

Жильберта спросила так же, как вчера:

— А я?

— Мы ~~до~~ отъезда поженимся. Само собой разумеется. Она теперь очень спокойно задавала вопрос за вопросом:

— А король даст свое согласие, если не будет согласия твоего отца?

— Если не даст, мы поженимся и так, и я откажусь от Эрменонвиля,— не задумываясь, ответил Фернан.— Я и не помышляю изменить философии Жан-Жака и своей собственной.

— А что скажет мой дедушка? Ты подумал об этом? Или ты и от моего наследства готов отказаться?

Она говорила с горечью. Неужели надо напрямик разъяснить ему, каких жертв он от нее требует? Она знать не хочет, что, в сущности, он уже сделал выбор. Пусть выбирает заново, в ее присутствии. Но она боялась услышать приговор, она хотела отодвинуть эту минуту, хотела получить поддержку. Прежде чем он успел ответить, она продолжала:

— Раньше всего нам надо поговорить с дедушкой.

Он колебался.

— А какой смысл?— спросил он.— Для мосье Робинэ мои идеи только мишень для насмешек.

— Дедушка меня любит и знает, что ты для меня значишь,— ответила Жильберта.— Если есть человек, который может нам помочь, так это он.

Фернан, все еще колеблясь, согласился.

Задача, вставшая перед мосье Робинэ, когда Жильберта рассказала ему, с какими планами носится Фернан, была не из легких. Он знал: чем дальше, тем больше придется Жильберте познать унижений в свете; ведь она, «незаконнорожденная аристократка», стоит на последнем месте в рядах знати, и мысль, что замужество с аристократом Жирарденом избавит ее от этих тягот, радовала его.

Да и сам Фернан в качестве будущего мужа его внучки был ему приятен. Особенно нравилось ему, что молодой Жирарден терпеть не мог светской и придворной жизни.

Как ни высоко ценил мосье Робинэ практическую сторону привилегий, но он, деятельный и жизнерадостный человек, от всей души презирал изнеженных носителей этих привилегий.

Если, стало быть, Фернан хочет жениться на Жильберте, он приветствует это. А если Фернан хочет отправиться в Америку и задержаться там на долгий срок, то этому он рад еще больше. Робинэ был сильно привязан к внучке и не мог себе представить жизнь без нее. С другой стороны, он понимал, что означала для его Жильберты разлука с Фернаном.

Он осторожно спросил:

— А если твой молодой граф в самом деле отправится в Америку, что ты на это скажешь?

— Он хочет, чтобы мы до его отъезда поженились,— скучно ответила Жильберта и потом вдруг беспомощно и бурно воскликнула:— Посоветуйте что-нибудь, помогите мне, дедушка, прошу вас!

Мосье Робинэ сидел перед ней крепкий, коренастый, надежный. На его красном четырехугольном лице было даже нечто вроде улыбки. Жильберта рассказала ему о столкновении Фернана с отцом, и Робинэ втихомолку позлорадствовал: вот Жирарден и пожиная плоды увлечения крайностями своего философа. Маркизу, этому апостолу свободы, понадобится теперь множество всяких логических выкрутасов, чтобы отбить у сына охоту завоевывать эту самую свободу. Но Робинэ был уверен, что маркиз пустит в ход эти выкрутасы и сделает все, чтобы удержать юношу от безрассудного шага.

— Думаю, дочка, что мы образуем твоего молодого графа.

Фернан получил приглашение присхать на следующий день к обеду.

— Раньше, чем я отправлюсь вздремнуть, мой дорогой граф,— сказал после обеда Робинэ,— мне хотелось бы просить вас ответить на несколько вопросов. Я слышал, вы намерены нас покинуть? Собираетесь ехать в Америку, к повстанцам? Чего вы ждете от этой поездки?

Холодная вежливость старика взорвала Фернана. Он сдержался и ответил:

— Я хочу внести свою лепту в дело осуществления великих принципов Жан-Жака.

— Сам Жан-Жак бежал от своих мнимых преследователей не в страну свободы, а к вашему уважаемому батюшке, в Эрменонвиль,— сказал Робинэ.

— Ему не было надобности проповедовать свои идеи американцам: те уже усвоили их,— мгновенно отпарировал Фернан.— Его миссия состояла в провозглашении свободы, наша задача— претворять ее в жизнь.

— Вы превосходно полемизируете, мосье,—признал Робинэ.— Но о положении в Америке вы осведомлены плохо. С Вест-Индией меня связывают деловые интересы, а в Филадельфии у меня есть толковый агент; из вполне достоверных донесений мне известно, в чем нуждается Америка. Нуждается она не в добровольцах, а в деньгах. Вы гораздо существеннее поможете Америке и свободе, уважаемый граф, если вместо того, чтобы самому ехать туда, переведете повстанцам несколько тысяч ливров.

Фернан вспомнил, что рассказывал ему сержант Франсуа, шумный сын мадам Левассер; к сожалению, в словах Робинэ была доля правды. Робинэ, чувствуя, что попадает в цель, продолжал:

— Вы возразите, что самый факт присоединения к повстанцам человека вашего круга, наследника Эрменонвиля, произведет впечатление. Вы укажете мне на выигрыш в престиже, подобный тому, какой доставил американцам отважный подвиг мосье де Лафайета. Однако если в ту пору мужество мосье де Лафайета имело свой смысл, то теперь оно было бы излишним; ведь в недалеком будущем король волей-неволей пошлет в помощь американцам вышколенную, отлично вооруженную армию. Подождите, по крайней мере, пока это совершится, и тогда вступите в армию. Одно можно сказать с уверенностью, граф: вы очень мало поможете свободе, если сейчас отправитесь в первобытные леса Америки. Вы лишь доставите этим нашей Жильберте сердечные муки.

Фернан слушал его с замкнутым лицом. Все рассуждения мосье Робинэ были голосом холодного, сухого разума—разума Гримма и Дидро, врагов Жан-Жака; ему, Фернану, нечего противопоставить этому разуму, кроме веления сердца. Но важно именно оно, веление сердца, ничего больше, и Жильберта это поймет.

— Состязаться с вами в логике, мосье, я не берусь,—смело сказал Фернан.— Но я прошу меня понять. События в Эрменонвиле, ужасная смерть Жан-Жака и вся возня вокруг нее, а напоследок еще посещение королевы ввергли меня в глубокое смятение. Я знаю, что все, что произошло и еще произойдет,—до ужаса лживо. Нигде нет правды. Вся страна погрязла во лжи. Одно мне ясно, более ясно, чем что бы то ни было: философия Жан-Жака—не праздное развлечение, и я должен попытаться жить по ее принципам. Бороться доводами разума против чувства, которое движет мною, бесполезно. Я должен что-то предпринять. Ради себя самого я должен отправиться за океан. Я не могу более довольствоваться одними ироническими речами об извращенности нашего общества. Я погибну, если буду продолжать жить так, как живу. Я

должен действовать. Должен бороться. Должен, поймите вы меня,—просил он почти в отчаянии. Он обращался к Робинэ, но имел в виду Жильберту.

Она чувствовала, как ему мучительно трудно, и думала: «Он говорит только о себе. А я? А что будет со мной?»

Мосье Робинэ сделал все, что мог. Он видел, что ребяческие речи Фернана ничем не перешибешь. Деловито спросил он:

— Когда вы намерены покинуть Францию, мосье?

— Как только все улажу,—ответил Фернан.—Самое позднее, через месяц.

— А как вы полагаете поступить с нашей Жильбертой, уважаемый граф?—спросил Робинэ.—В ваших отношениях с моей внучкой я видел своего рода помолвку. Как же все это сложится в дальнейшем, если вы на неопределенное время уедете за пределы страны?

— Я полагал, что до моего отъезда мы с Жильбертой поженимся,—ответил Фернан.

— Вы скажете на курьеских, уважаемый граф,—сказал Робинэ.—А что же дальше? Допустим, что брак будет оформлен, полагаете ли вы воспользоваться этим обстоятельством до того, как отправитесь завоевывать свободу?

Жильберта покраснела от слишком откровенного вопроса дедушки. Но она была благодарна ему: он дал понять Фернану, что ставится на карту. Она любила Фернана, она принадлежала ему. И Фернан принадлежал ей. Ей он принадлежал.

— С человеком, который отправляется на войну, все может случиться, ведь это только человек,—сказал Робинэ.—Подумали ли вы, граф, что тогда Жильберта останется одна, вдовой в девятнадцать—двадцать лет.

Уж одно то, что этот неотесанный мужлан так нескромно вызвал в своем собственном и в их воображении картину, как он, Фернан, и Жильберта ложатся вместе в постель, заставило Фернана задохнуться от гнева и стыда. Теперь его прорвало.

— Невежливо, мосье, хоронить меня раньше, чем я умер.

Мосье Робинэ невозмутимо ответил:

— Я был бы Жильберте плохим опекуном, если бы из вежливости пренебрег ее благом.—Он выпрямился и деловито подытожил:—Говоря коротко и ясно, граф, я дал согласие моей внучке на брак с вами и от своего слова не отрекаюсь. Но при условии, что наследница моих владений, всего моего состояния выйдет замуж за будущего сеньора Эрменонвиля. Брак без соизволения короля исключается. Я не хочу, чтобы вы могли когда-нибудь

бросить моей Жильберте упрек в том, что ради нее отказались от Эрменонвиля.

Фернан поразмыслил. На получение согласия короля в лучшем случае потребуется три-четыре месяца.

— Раз вы так ставите вопрос, мосье Робинэ,— раздраженно ответил он,— значит, нам придется отложить свадьбу до моего возвращения.

Робинэ жестом отмахнулся от слов Фернана.

— Уверен, граф, что по зрелом размышлении вы этого не потребуете от Жильберты. Я подвожу итог. Если вы женитесь на Жильберте теперь и с соизволения короля, я даю согласие на ваш брак. Если же вы отправитесь в Америку, ~~и~~ женившись на Жильберте, ваша помолвка с ней расторгается.

Фернан судорожно проглотил слюну. Он был очень бледен. Он понял: Робинэ принуждал его сделать выбор между Америкой и Жильбертой.

— Обдумайте, пожалуйста, все, что я вам сказал, и в течение, скажем, трех дней сообщите нам о своем решении,— все так же учтиво заключил Робинэ.

Была бледна и Жильберта. Фернан посмотрел ей в лицо, славное и открытое лицо. С трудом, охрипшим голосом произнес:

— Мосье Робинэ сказал: «Сообщите нам о своем решении». Говорит мосье Робинэ и от твоего имени, Жильберта?

«Теперь он должен решать,— подумала она с горечью, с триумфом и со страхом.— Или же я должна решать? Нет! Он, он, он,— дедушка прав. То, что он задумал,— безумие и блажь».

— Да, Фернан, дедушка говорит и от моего имени,— сказала она.

Фернан повернулся к Робинэ.

— Я позволю себе сообщить вам мое решение немедленно,— сказал он и поклонился.— Я не могу последовать вашему совету. Не могу.— Он говорил раздраженно, беспомощно, гневно, слова срывались с его губ твердые, оторванные одно от другого.— Прощай, Жильберта!— сказал он и, круто повернувшись, выбежал из комнаты.

Три дня спустя он выехал в Париж. Сколотил, преодолевая множество трудностей, нужную ему сумму денег. Добыл, преодолевая множество трудностей, нужные документы. Погрузился на судно, отправлявшееся в Америку.

Часть третья

ЖАН-ЖАК И НАСЛЕДНИКИ

Корням своим все переплетено с политикой.

Жан-Жак Руссо

Да что вы толкуете: судьба!
Политика — вот она, судьба.

Наполеон

Глава первая

ПАЛОМНИЧЕСТВО К МОГИЛЕ

Стараясь преодолеть в себе горечь и негодование, вызванные вероломством Фернана, мосье Жирарден с головой ушел в культ Жан-Жака.

Взамен временного надгробья он заказал в Париже скульптору Лесюэру памятник по эскизу художника Гюбера Робера. Весь свой эрменонвильский парк Жирарден принялся перекраивать так, чтобы он служил одновременно и обрамлением и фоном для гробницы. Искусственно возведенные возвышенности кое-где наново сравнивались с землей, а в других местах наново насыпались небольшие холмы; повсюду валили деревья, расчищали, пересаживали. Цитаты из Вольтера соскабливались и на их место наносились изречения Жан-Жака. Любимые уголки учителя безошибочно угадывались по многим неприметным, едва уловимым штрихам. И все вело к святилищу, к гробнице Жан-Жака на Острове высоких тополей.

Но больше, чем новое оформление парка, Жирардена беспокоил вопрос об издании рукописей Жан-Жака. Ведь именно он в совершенстве изучил Жан-Жаково наследие, он является единственным хранителем подлинных толкований учителя ко всем темным и внешне противоречивым местам его произведений; он чувствовал себя призванным сказать здесь свое веское слово. Правда, господа женевские издатели отнюдь не всегда склонны были соглашаться с его точкой зрения; особенно несговорчивым оказался пастор Мульту. Помочь делу могла только личная встреча; и пастор пообещал в ближайшее время приехать в Эрменонвиль.

Несмотря на свою занятость, Жирардену не всегда удавалось избавиться от гнетущего чувства одиночества; с горечью ощущал он, как не хватает ему непокорного

Фернана. Был бы хоть мосье Робинэ здесь, с которым можно бы и повздорить, и поговорить по душам. Но Робинэ со своей внучкой надолго уехал за границу. Должно быть, мадемуазель де Латур нелегко далась разлука с Фернаном.

Мысленно маркиз не раз гневно спорил с Фернаном и слово за словом повторял про себя их последний решающий разговор. Он был тысячу раз прав. Что ж, унизиться следовало перед этим безусым мальчишкой, что ли? Но было обидно и больно, что только мысленно можно объясняться с Фернаном, и он обратился с просьбой к министру иностранных дел графу Вержену, чтобы тот дал указание французскому послу в Филадельфии не выпускать Фернана из виду.

Был лишь один человек, с которым маркиз мог делиться своими тревогами,—мосье Гербер. Гербер сам предложил удивленному Жирардену: он останется в Эрменонвиле и поможет в редактировании рукописей Жан-Жака. Этому даровитому молодому человеку ничего не стоило получить блестящую, интересную должность, а он предпочел разделить со стареющим Жирарденом его сельское уединение. Он ничего лучшего не желает, сказал он, как посвятить остаток своей жизни культу Жан-Жака и изучению его творений. Где же можно найти для этого более подходящее и достойное место? Жан-Жак раз и навсегда показал ему, каким должен быть мир; ни к чему поэтому тратить силы на дальнейшее познание действительности. Жирарден охотно принял предложение Гербера.

За стол они садились вместе. Они обменивались воспоминаниями о Фернане, маркиз советовался с Гербером насчет предполагаемых новшеств в парке, обсуждал с ним подробности редактирования полного собрания сочинений Жан-Жака. К его удивлению, мосье Гербер, несмотря на свою застенчивость, высказывал безапелляционные суждения. И у него было собственное представление о Жан-Жаке. И он тоже не раз слышал из уст Жан-Жака толкования темных мест в его произведениях. И частенько *autòs érha* свое собственное противопоставлял *autòs érha* маркиза. В таких случаях Жирарден делал строгое лицо или отвечал обиженно и иронически.

Однажды Жирарден выразил предположение, что тон мосье Гербера едва ли приличен по отношению к человеку, за столом которого он сидит. В ответ на это мосье Гербер не появился ни за очередной, ни за последующими трапезами. На третий день маркиз отправился к нему. Гербера нетрудно было найти: он сидел под ивой и играл на скрипке. Мосье Жирарден признал, что, отстаивая свое понимание текста, он, пожалуй, несколько погорячился,

но и мосье Гербер обнаружил отсутствие душевной кротости, недостойное ученика Жан-Жака.

— Так давайте восстановим мир,— предложил Жирарден и, взяв трость в левую руку, протянул Герберу правую. Тот бережно положил скрипку на газон и пожал руку Жирардена.

Прибыл, как обещал, пастор Мульту из Женевы. Поль-Клод Мульту, одних лет с маркизом, отличался спокойным нравом и сдержанным, убедительным красноречием. Он привез свой рукописный экземпляр «Исповеди» и те письма Жан-Жака, которые помогали осветить то или иное место в тексте. Когда в рукописных текстах обнаруживались расхождения, маркиз всегда предпочитал редакцию, которая вернее могла содействовать поднятию авторитета Жан-Жака в глазах читателей. Суровый же пастор Мульту был уверен, что девиз Жан-Жака — жизнь посвятить истине — отнюдь не пустая болтовня, и друзьям покойного не к лицу выставлять его лжецом. Как правило, мосье Гербер принимал сторону Мульту. Жирарден негодовал на обоих зарубежных французов, швейцарца и эльзасца, но волей-неволей подчинялся, тем более что Мульту мог сослаться, к неудовольствию маркиза, на длинные и весьма дружелюбные письма самого Жан-Жака.

Еще во время пребывания Мульту в Эрменонвиле пришло событие, о котором Жирарден долго вожделенно мечтал: памятник был завершен. Он представлял собой античный алтарь, отвечавший ансамблю острова и парка, скромный и достойный, украшенный барельефами на сюжеты из произведений Жан-Жака, и прежде всего из его «Эмиля». Тут были и преисполненные благодарной радости женщины и дети, которых Жан-Жак освободил от гнета чудовищных предрассудков, и обнаженная фигура Истины с факелом познания в руке, и Природа в образе матери, кормящей грудью своих детей. На одной из стенок алтаря была вырублена надпись: «*Ici repose l'homme de la nature et de la vérité.*— Здесь почиет певец природы и истины»; на другой — девиз Жан-Жака: «*Vitam impendere vero.*».

В глубине души Жирарден все еще питал наивную надежду, что Фернан вернется ко дню открытия памятника; обходным путем — через французского посла в Филадельфии — он все время осведомлял Фернана о ходе работ по сооружению памятника и даже оттянул столь вожделенную минуту открытия. Но Фернан ни словом не откликнулся.

На открытие прибыли художник Гюбер Робер и скульптор Лесюэр, авторы памятника, а также скульптор Гудон. Одновременно приехали Лебег и Дюси. Кроме

того, присутствовали Гербер и гостивший в замке пастор Мульту. Скрепя сердце маркиз пригласил также обеих женщин: обойти Терезу и мадам Левассер было неудобно.

В окружении стройных, высоких тополей стоял изящный памятник, мягко и живописно сочетающийся с окружающим пейзажем. Вечнозеленый цветущий барвинок, излюбленное растение покойного, обвил надгробье. Увидав эти цветы, Тереза всхлипнула и заплакала.

Жиарден и Дюси выступили с речами. Они старались говорить кратко и сдержанно. Даже Мульту, знаменитый проповедник, ограничился десятком-двумя простых фраз. Через несколько дней Мульту собрался в обратный путь, в Женеву. При расставании маркиз не выдержал и спросил:

— Вы, надо думать, слышали о кривотолках по поводу смерти нашего друга?

— Да,—ответил Мульту.

— Все это, разумеется, чистейший вздор,—заверил Жиарден. Мульту промолчал.—Тем не менее,—продолжал маркиз,—я этого конюха удалил, чтобы ликвидировать самый источник, питающий слухи.

И на это Мульту ничего не сказал.

Знаменитый Жан-Мишель Моро, директор королевского кабинета эстампов, сделал гравюру с гробницы. Его примеру последовали и другие художники. Вскоре Остров высоких тополей с гробницей Жан-Жака прославился на весь мир, и отныне тополь называли Древом Свободы.

Многие считали позорным знамением времени, что могила величайшего писателя народов, говорящих на французском языке,—предмет забот какого-то друга и покровителя покойного, а не Швейцарии или Франции. Немецкий поэт, прославившийся недавно своей вольнолюбивой трагедией—его имя было Фридрих Шиллер,—воспел гробницу в бунтарских стихах. Мосье Гербер принес стихи маркизу. Тот, думая о Фернане, сказал, что, хотя стихи сами по себе заслуживают похвалы, они все же грешат несдержанностью.

Толпами шли к могиле паломники. «Все религии,—писала одна из парижских газет,—имеют свои места поклонения; отныне и философия обзавелась своей святыней—могилой Жан-Жака. Половина Франции уже побывала в Эрменонвиле, и многие дали торжественный обет—ежегодно повторять паломничество в галльскую Мекку».

Здесь побывали принцы крови, приезжал граф де Линь и король Швеции Густав III; приехал со своим внуком посол Соединенных Штатов Вениамин Франклин, прозванный l'ambassadeur électrique¹.

¹ Электрический посол (фр.).

Среди бесконечного потока восторженных почитателей Жан-Жака многие столь бурно выражали свои чувства, что от этого страдали сады. Никто не покидал остров без сувенира; цветы вокруг могилы были оборваны, тополи лишились нижних веток, даже от самой гробницы отбили кусок мрамора. Маркиз распорядился, чтобы посетителей сопровождали садовники, а на остров без письменного разрешения никого не допускали. Один англичанин, которому было отказано в разрешении, переплыл озеро в одежде, чтобы хоть рукой коснуться священной земли острова.

Ослепительная красавица, молодая актриса Эжени Мейяр, своей заразительной веселостью срывавшая бурные аплодисменты в театре Французской комедии, потеряла у могилы Жан-Жака все свое самообладание. Ее светлое лицо затуманилось, она разрыдалась и взмолилась, чтобы Жирарден позволил ей почаще черпать возле этой святыни бодрость и энергию, нужные ей как актрисе, ибо сеять вокруг себя веселье стоит борьбы с собой, душевных мук, огромной затраты сил. Она также попросила мосье Жирардена разрешить ей построить такую же гробницу в ее собственном нормандском имении на скале Сен-Квентин.

Двое молодых людей, аббат Габриель Бризар и Жан-Батист де Клоотс, барон дю Валь де Грас, целыми днями восторженно бродили по парку, читали произведения Жан-Жака и вслух декламировали отрывки из них. Жирарден, тронутый столь фанатическим преклонением перед Жан-Жаком, предложил лично свезти обоих в лодке на остров. Воодушевленные вниманием маркиза, они попросили разрешения принести на могиле жертву во имя ненависти и любви; они задумали, пояснили молодые люди, предать сожжению на могиле Жан-Жака «Опыт жизнеописания Сенеки», этот пасквиль, написанный «гнусным предателем Дидро» вдогонку умершему другу. Маркиз дал согласие.

Ранним утром следующего дня на остров отправились вчетвером — молодые паломники, маркиз и мосье Гербер. Аббат и барон несколько раз приложились к алтарю. Тихо помолились. Осыпали могилу цветами. Преклонили колена. Потом, пока один из молодых людей высек огонь из кремня, другой вырвал из книги Дидро страницы, на которых упоминалось имя Жан-Жака. Страницы вспыхнули ярким пламенем, и тогда аббат швырнул в огонь все, что осталось от книги. Черный дым пополз вверх по памятнику. «Да развеется так самое воспоминание о всех кознях и наветах против Жан-Жака!» — истуканно выкрикивали молодые люди.

Вскоре после этого Эрменонвиль почтил своим присут-

ствием посетитель, занимавший гораздо более высокое положение, чем все паломники, что побывали здесь. Он скромно величал себя графом Фалькенштейном, однако было известно, что граф этот — старший брат королевы, римский император Иосиф Второй. Жирарден видел в Иосифе самого передового монарха, какого носила на себе земля со времен императора Марка Аврелия, всей душой восхищался Иосифом и был глубоко взволнован его приездом.

Все поведение императора соответствовало славе о нем. Он беседовал с Жирарденом, как равный с равным, с интересом слушал его, когда тот приводил изречения Жан-Жака, обменивался с ним мыслями по поводу «Общественного договора» и, хотя роялист по положению, проявил себя более передовым человеком, чем сам Жирарден.

После обеда император с подкупающей сердечностью и прямоотой попросил своего гостеприимного хозяина не сопровождать его во время прогулки, которую он собирается совершить; ему хочется насладиться одиночеством в духе Жан-Жака. Жирарден озабоченно обратил его внимание на тяжелые грозовые тучи, но граф Фалькенштейн сказал, что горные восхождения в его собственных Альпах приучили его ко всему, и не внял опасениям, высказанным Жирарденом. Примерно через час разразилась гроза. Жирарден мучительно колебался: не послать ли людей на помощь светлейшему гостю? Он дал распоряжение и тут же отменил его. Еще через час появился сам граф Фалькенштейн, улыбающийся и насквозь промокший, и рассказал, что в самый отчаянный ливень он укрылся в одном из гротов. Граф переоделся в сухое платье, предложенное маркизом, и они расстались, в высшей степени довольные друг другом.

Маркиз назвал тот маленький грот «Гротом Иосифа» и сделал на нем надпись:

Странник! Не спеши, постой!
Этот тесный грот немой
Был убежищем монарха
Добродетели святой.

Глава вторая

СЕЛО ЭРМЕНОНВИЛЬ И «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР»

К радости мосье де Жирардена по поводу визита Иосифа примешалась капля горечи. Император Иосиф отказался переночевать в замке и приказал поста-

вить походную койку, которую всегда возил с собой, в трактире папаша Мориса.

Императору по душе пришелся простой дом; часть крыши была покрыта соломой, и это напоминало ему хижину Филемона и Бавкиды. А тем временем папашу Мориса раздирали противоречивые чувства. Ему была оказана неслыханная честь: само римское величество соизволило пожелать провести ночь под его кровом! Но философия Жан-Жака привила папаше Морису гражданскую гордость, он не желал даже такого гостя обслуживать с большим уважением, чем всякого другого. Все же, когда император потрепал по щечкам его дочурку и приветливо спросил, как ее зовут, Морис не в силах был дольше совладать с собой.

— Какая честь, какая честь,—бормотал он.—Как обрадовала бы подобная приветливость покойного Жан-Жака.

После ужина Иосиф попросил Мориса поделиться своими воспоминаниями о живом Жан-Жаке. Когда же трактирщик упомянул, что он семь раз перечитывал все произведения учителя, Иосиф поинтересовался мнением Мориса об «Общественном договоре» и выслушал все его соображения, время от времени восклицая: «О, это заслуживает внимания, почтеннейший!» или: «Совсем не так глупо».

Раз маркиз сделал на своем гроте гордую надпись, то и папаша Морис не пожелал ударить лицом в грязь. Он обратился к мосье Мийе, известному в Санлисе поэту, с просьбой написать стихи, соответствующие случаю. Мосье Мийе исполнил его желание, и в стену трактира была вмурована доска с начертанными на ней стихами, прославлявшими пребывание Иосифа. Они начинались так: «Венценосный философ, ты хижину скромную дворцу предпочел...» и кончались: «Отец и владыка германцев счастливых». Вскоре все жители Эрменонвиля знали эти стихи наизусть.

Бросающаяся в глаза доска рассердила маркиза. Этот Морис всегда чем-нибудь да разозлит его. С незапамятных времен трактир его назывался «Под каштанами»; теперь же, как гласила вывеска, на которой ярко раскрашенный Жан-Жак прогуливался на лоне природы, трактир был переименован в «Убежище Жан-Жака». Под воздействием папаша Мориса жители села рассказывали всем, как часто и охотно сиживал Жан-Жак в саду «Убежища», и паломники шли туда и обозревали это памятное место. Вскоре книга записей, заведенная невесть что возомнившим о себе трактирщиком, запестрела именами многих выдающихся мужей Франции.

Морис имел обыкновение подсаживаться к своим

гостям и болтать с ними. Он передавал суждения, будто бы высказанные Жан-Жаком, рассказывал пустяковые, трогательные и смешные случаи, связанные с учителем, нашепывал темные слухи о причине смерти своего великого друга. Гости слушали, умилялись, приходили в ужас, кормили уток и рыб, которых кормил Жан-Жак; граф де Линь дал трактирщику деньги, чтобы тот не изводил эту живность на потребу гостям, а позволил ей умирать естественной смертью.

Не только маркиз, но и мадам Левассер находила, что зловещие нашепывания Мориса никому не нужны. Со свойственной ей энергией она решила положить им конец.

Вся в черном, осыпанная рябью солнечных бликов, она величественно восседала в садике под каштанами. Она ела омлет, попивала золотистое вино, кормила рыбок. Папаша Морис беспокойно сновал взад и вперед.

— Подойдите-ка сюда, мосье,—приказала мадам Левассер.— Присядьте. Говорят, вы неплохо наживаетесь на кончине моего досточтимого зятя?

— Смею утверждать, что в меру моих скромных возможностей я был ему другом,—ответил трактирщик.— Это известно, это ценят, и люди, конечно, идут ко мне.—А так как мадам Левассер промолчала на это, он вызывающе добавил:— Меня поразило в самое сердце, что кончина моего друга Жан-Жака наступила так внезапно. Ведь еще за несколько часов до того он оживленно беседовал со мной и прекрасно себя чувствовал.

— Внезапная кончина, говорите вы?—откликнулась мадам Левассер.

Она продолжала кормить рыбок, но пушок на ее верхней губе чуть заметно колыхался под мощным дыханием.

— Внезапная кончина... а некоторые, верно, еще добавляют: подозрительно внезапная кончина. О чем только не судачат эрменонвильские кумушки, чтобы скоротать длинный день. Но глядите, мосье, как бы люди не начали шептаться, что вы сами тут замешаны; эта внезапная кончина явно пошла вам на пользу. Дождетесь, чего доброго.

Трактирщик растерянно уставился на мадам Левассер.

— Но ведь всем известно!..—с негодованием вырвалось у него.

— Но ведь всем известно также,—оборвала папашу Мориса мадам Левассер,—какой это ужасный удар для меня и моей дочери, и не только в самое сердце, но и по нашему карману. И все-таки находятся люди, которые точат зубы на нас, на двух беззащитных вдов.

Морис весь взмок и умолк. А мадам Левассер весьма по-приятельски, чуть не вплотную, придвинулась к нему всей своей громоздкой тушей и зарокотала:

— Вы должны помочь нам, мосье, это в ваших руках. Под вашими прекрасными каштанами посиживает, развязав языки, немало народу; хороший трактирщик часто осведомлен лучше полиции. Так вот, постарайтесь выудить, кто же разводит эту досужую болтовню, и только моргните мне. А я уж позабочусь, чтобы судья маркиза добрался до пустомелей. Вы обязаны оказать нам эту услугу, папаша Морис, вы были другом моего незабвенного зятя. Моя Тереза уже давно собирается преподнести вам несколько сувениров из вещей, принадлежавших покойному.

Ее маленькие колючие глазки глядели на трактирщика серьезно, печально, требовательно.

— Вы очень добры, мадам,—сказал Морис.—Но уж если у нас пошло на откровенность,—продолжал он, набравшись духу,—то позвольте и мне быть с вами откровенным. Со смертью ныне отошедшего в вечность дело-то ведь и впрямь нечисто; этого вы и сами не станете отрицать, мадам.

— Может быть, так, а быть может, и не так,—чистосердечно сказала мадам Левассер.—Мой достопочтенный зять постоянно жаловался на своих философских врагов, как вам известно; поэтому и я думала всякое, когда он неожиданно скончался. Но в конце концов свидетелей не было, и господа судьи решили, что смерть произошла естественно, что он умер от кровоизлияния в мозг, и ее величество королева, которой благоугодно было нанести мне и моей дочери высочайший визит соболезнования, как бы утвердила собственной персоной решение судей. Так не думаете ли вы, что теперь, когда королева и суд сказали свое веское слово, некоему папаше Морису и какой-то там мадам Левассер лучше всего крепко-накрепко держать язык за зубами?—Мадам Левассер прервала себя.—Мне пора,—сказала она.—Сколько я вам должна, мосье?

— Ничего, мадам,—ответил папаша Морис.—Вы оказали мне честь. А если вы всерьез упомянули насчет сувенирчиков, то я не премину доставить себе удовольствие посетить вас и вашу уважаемую дочь. И без того я давно мечтал поглядеть на швейцарский домик, которому так радовался наш богом забытый, незабвенный Жан-Жак.

Не прошло и двух дней, как Морис появился там. Разговор о Жан-Жаке протекал в трогательных, возвышенных и попросту в сердечных тонах.

— Подумать только, что ему так и не суждено было

пожить в этом доме,—через два слова на третье сокрушенно повторял папаша Морис.

Трактирщик ушел с халатом покойного, с его табакеркой, тростью и стоптанными, подбитыми овчиной соломенными шлепанцами.

Отныне Морис, рассказывая о друге и учителе, демонстрировал перед избранными гостями драгоценные сувениры. Трепетными руками и с замиранием сердца прикасаясь к реликвиям, гости частенько мечтали о приобретении какой-нибудь из них. Но папаша Морис не поддавался соблазну заманчивых посулов. Нет, он не то, что Вилет, муж приемной дочери Вольтера, который продал какому-то англичанину-коллекционеру за триста луидоров самое великодушное из когда-либо бившихся во Франции сердец—сердце покойного Вольтера, с урной в придачу.

Однако, видя, как огорчает паломников его непреклонность, папаша Морис спросил себя: а что сказал бы покойный Жан-Жак, если бы знал, как он, Морис, обижает его почитателей? Обзаведясь целой серией в точности воспроизведенных табакерок и шлепанцев, он стал продавать их, утешая себя тем, что подлинные реликвии он не выпускает из своих верных рук.

Трактирщик, оставив в покое Терезу и ее мамашу, с удвоенным ожесточением принялся за травлю маркиза. Пьер Эрменонвиль повторял за ним сочиненные им сентенции.

Добиться этого было нетрудно, так как крестьяне маркиза де Жирардена не любили своего сеньора. Правда, просвещенный сеньор освободил их от многих тягот, вычетов и налогов, но в мелочах он донимал их, был несправедлив, своеволен и даже жесток, а с тех пор, как Жан-Жака не стало, он все чаще выказывал себя самодуром, Отцом Колотушкой. Крестьяне роптали. И то, что он пусть и хорошо обходился со своими крепостными, но все же не давал им вольную, вызывало недовольство не только самих крепостных, но и арендаторов, и свободных крестьян.

За свои привилегии он держался не из корыстных побуждений, а из патриархальной добросовестности. Без строгого отеческого попечения, рассуждал он, эти тупые существа, эти полуживотные, того и гляди, натворят всяких преступлений против самих же себя. Его сердило, что ему не удастся привить упрямям любовь и почтительность, которые он вполне заслужил, и что наперекор всему не прекращаются нелепые и злостные слухи об его ответственности за смерть Жан-Жака.

А тут еще один из его крепостных, батрак Труэль, обратился к нему с просьбой дать согласие на брак его дочери Полины с одним свободным крестьянином, парнем.

который жил к тому же не во владениях маркиза, а во владениях его ненавистного соседа, принца де Конде. Жирарден долго колебался. Наконец преодолел себя. Решил один раз попытаться воздействовать на крестьян всемилостивейшей кротостью и не только дать согласие на брак Полины Труэль, но и дать вольную своим крепостным.

Жирарден приказал крестьянам прислать в замок делегацию, чтобы через нее возвестить о своем великодушном решении.

Когда делегация собралась в большом зале замка, он начал с того, что хоть и скрепя сердце, но все же дает согласие на брак Полины Труэль с Жозефом Картерэ. И он уж собрался перейти к своей заранее подготовленной речи, как вдруг, неуклюже царапая деревянными башмаками красивый, блестящий, точно зеркало, паркет, из толпы выступил вперед Мишель Депорт и дерзко заговорил. Сеньор, сказал крестьянин, часто проявлял дружественное расположение к бедным и униженным, он оказал гостеприимство другу человечества — мосье Жан-Жаку. Однако многие другие, даже сам всехристианнейший король, дали вольную своим крепостным и уравнили их в правах со всеми, отказавшись от своих привилегий. Почему же их сеньор не последует примеру своего могущественного повелителя? Это ранит их в самое сердце. И как будет дальше? Не следует ли и монсеньеру взяться за ум и сказать: пора покончить с таким положением.

Жирарден отступил на шаг. Он почувствовал обиду: у него хотят вынудить то, что он готов был отдать по собственному великодушному побуждению. Он ничего не ответил.

Тогда заговорил старик Антуан Монье, которого все называли «дедушка Антуан». С тех пор как среди них жил мосье Жан-Жак, сказал он старческим, дребезжающим голосом, они частенько усаживаются в кружок и кто-нибудь из грамотеев — учитель Арле или папаша Морис — читает им ту или иную главу из книг Жан-Жака и все разъясняет. И они не осмелились бы всеподданнейше предстать перед сеньором, если бы в книгах Жан-Жака не стояло — и он процитировал, словно из Библии: «Суть в том, чтобы провести справедливую границу между правами обеих сторон — повелевающих и подчиненных, а также провести границу между обязанностями, которые несут подчиненные, и естественными правами, которыми они обладают как человеческие существа».

Это уж вконец омрачило Жирардена. Сначала сын его бунтарски истолковал учение Жан-Жака, а теперь и его крестьяне, набравшись дерзости, пытаются указать ему, Жирардену, чему учит Жан-Жак и как, значит, надлежит

поступить. Все оттого, что он так попустительствовал своим крестьянам. Но он им покажет. «Quos ego!—Я вас!»—мысленно пригрозил он. Однако, представив себе, как мосье Робинэ и кузен Водрейль будут иронизировать, если он попросту грубо отмахнется от философии своих крестьян, он превозмог себя.

— Друзья мои,—наставительно обратился он к делегатам с несколько кривой усмешкой,—наш Жан-Жак говорил не совсем так, как это разъяснил вам папаша Морис. Книга об общественном договоре, видите ли, основана на идее, что отдельные части государства, подобно органам человеческого тела, должны взаимно дополнять друг друга. При этом наш Жан-Жак имел в виду случай из римской истории. Римляне были великим и добродетельным народом древности. И вот однажды, когда третье сословие восстало, один из деятелей первого сословия, некий Менений Агриппа, объяснил восставшим роль отдельных органов. Одному сословию, сказал он, надлежит служить мозгом, другому—чревом. Не станете же вы, надеюсь, утверждать, что представляете собой мозг?

Жиардену не хотелось опускаться до спора с чернью, но он ничего не мог с собой поделать—в тоне его прозвучала издевка.

И в ответ снова раздался голос того же Мишеля Депорта.

— Нет,—грубо и простодушно сказал крестьянин,—мы-то брюхо, это мы знаем.—И с юмором добавил:—Быть бы ему только сыту, этому брюху.

Все засмеялись.

Не смеялся только маркиз. За смехом крестьян звучало нечто неприятное, опасное, зловещее. Он вдруг увидел лица своих крестьян такими, какими они были на самом деле. Даже если они и тупы на вид, то добрая часть этой тупости наигранная, за этой маской таятся вражда, крестьянская хитрость, опасность.

— Не взыщите, монсеньер,—снова примирительно вмешался дедушка Антуан.—Может, и правда мы дерзки и нет у нас никакой философии, кроме как нашей собственной. Но,—и его старческий голос задребезжал,—хоть мы и с неумытым рылом, а говорим: своя навозная куча дороже соседского цветника.

Жиарден твердо решил, что не позволит нагло вырвать у него то, что он готов был отдать добровольно. Расстались сумрачно.

Целыми днями он негодовал про себя. Его крестьяне вели себя так, точно Жан-Жак гостил у них, а не у него. Да ведь «Общественный договор», наконец, писался не для этих мужицких увальней, а для избранных, коим вверена забота о всеобщем благоденствии.

Среди тех, кто, по мнению маркиза, вероятно, особенно злонамеренно толковал учение Жан-Жака, был, несомненно, Мартин Катру. Скрытный парень с дерзким лицом и острым взглядом живых глаз никогда не пользовался его расположением, и Жирарден отнюдь не испытывал удовольствия, видя, что Фернан именно его избрал себе в друзья.

А Мартина заставил призадуматься поступок Фернана. Явно под влиянием покойного Жан-Жака Фернан наконец-то взбунтовался и отправился к заокеанским свободолюбцам. Со свойственной Мартину дотошностью он все глубже зарывался в книги Жан-Жака и наряду с путаницей и головоломками все чаще находил там новые идеи, неожиданные, все ниспровергающие. Непонятно, как аристократы не только терпели этого человека в своей среде, но даже высоко чтили. Его, Мартина, Жан-Жаковы творения лишь укрепляют во враждебной настороженности к барам. Даже когда эти жирардены проявляют великодушие, у них тоже ничего путного не получается; пороку не хватает. Все ценное идет снизу, из третьего сословия, из народа — вот чему учит Жан-Жак. А высокопросвещенных — тех силой надо заставлять делать добро.

С каждым днем Мартину все теснее становилось в Эрменонвиле. Он до тех пор обрабатывал школьного учителя Арле, пока тот не порекомендовал маркизу устроить способного юношу письмоводителем в городе, лучше всего в Париже. Маркизу Мартин всегда болезненно напоминал о Фернана, поэтому он охотно отправил бы куда-нибудь парня, только бы с глаз долой. Но разве история с крестьянской делегацией не показала, как философия кружит головы людям из низов? А молодой Катру был еще бунтарем от природы. Поэтому-то Жирарден не сказал ни «да», ни «нет».

Незначительный случай положил конец его колебаниям. Старинный рыболовный статут, действовавший в его владениях, принадлежал к числу тех привилегий, которых он особенно ревниво держался. Разрешая крестьянам рыбную ловлю в его водах, особенно сохранял за собой право первым приобретать часть улова для своей кухни. Как-то выяснилось, что вдова Катру продавала в своей лавчонке рыбу, не предъявленную ранее служебному персоналу замка. Привлеченная к ответу, лавочница всячески виляла и оправдывалась, что еще больше распалило раздраженного маркиза. Воспользовавшись тем, что у Катру истек срок аренды, он передал лавку другому претенденту. Это сильно ухудшило и без того тяжелое положение старухи и ее сына. Жители деревни брюзжали и ворчали.

Жиранден чувствовал себя уязвленным. Он задумал отказаться от крепостного права, а невежественные мужики вынудили его оставить все по-прежнему. Теперь эта безрассудная вдова вынудила его отнять у нее лавчонку. Он — добрейший из сеньоров, но всегда все говорит против него, и крестьяне ропщут. А все потому, что они начитались Жан-Жака и то и знай толкуют его мысли вкривь и вкось, мысли самого ясного и самого мудрого из смертных.

Не в принципах маркиза было отменять раз принятое решение. Но он сожалел, что пришлось так жестоко покарать вдову Катру. Без долгих размышлений он потолковал с мэтром Бувье, своим парижским адвокатом, и тот изъявил готовность принять Мартина к себе в контору.

Мартин Катру переехал с матерью в Париж.

Глава третья

МАДАМ ЛЕВАССЕР ВЫХОДИТ ИЗ ИГРЫ

Тереза часто навещала могилу покойного мужа. Она боялась, как бы усопший не прогневался на нее за то, что она позволила Николасу, отправившему его в могилу, перед лицом природы назвать ее своей женой. Она просила прощения у Жан-Жака и старалась объяснить ему, что при этом ничего дурного не думала и совершенно не хотела его обидеть.

В день годовщины смерти Жан-Жака она сидела под знаменитой ивой, бездумно уставившись на гробницу, и вдруг заметила приближающегося Жирандена, но маркиз, как только увидел ее, повернул назад.

Не безобразие ли, в самом деле, что маркиз так плохо относится к ней? По крайней мере, в годовщину смерти Жан-Жака не мешает быть любезнее с его вдовой.

— Уж если королева нами не побрезговала, так нечего ему воротить свой благородный нос, — возмущалась она, жалуясь матери на маркиза. — Давай лучше уедем отсюда и оставим его одного в этом постылом замке.

Мадам Левассер вздохнула над несусветной чепухой, которую, как всегда, наболтала ее Тереза.

— Как бы явно маркиз ни показывал своего отвращения и желания выжить тебя отсюда, — не уставала твердить она дочке, — помни: вдова Руссо неотделима от Эрменонвиля, от могилы. Стоит тебе перестать быть горестной вдовицей, — вдалбливала она Терезе, — как ты превратишься в чистейшее дерьмо. Тогда уж ни от английского короля, ни от милорда маршала тебе не

дождаться ни единого су, ни единого пенса. Помни: могила Жан-Жака — это твоя кормушка, корова ты этакая.

Тереза редко приходила в такое дурное настроение, как сегодня, — очень уж обидело ее поведение маркиза. Обычно вялая и тихая, она была как будто вполне довольна жизнью в уединенном домике. Мадам Левассер с удовлетворением отмечала, что Тереза ни с кем не путается.

Между тем она легко могла бы иметь поклонников. Вдова Руссо представляла собой известный интерес, немало нашлось бы охотников поволочиться за ней, да и сама она время от времени не прочь была ублажить свою плоть. Но она обуздывала себя. Она ждала своего Николаса.

Дважды за эти годы он тайно присылал ей вести. Давал знать, что обязательно вернется. По-хозяйски приказывал ждать его и не делать глупостей.

Тереза повиновалась.

Она думала, что своим похвальным и добропорядочным поведением она обеляет себя в глазах покойного Жан-Жака. Собственно, она-то вообще совершенно неповинна в его преждевременной смерти, но мосье Николас сделал это ради нее, и поэтому Жан-Жак, пожалуй, мог все-таки сердиться. Вреда, во всяком случае, не будет, если она постарается умиротворить Жан-Жака. Она не только усердно посещала могилу, но и прилежно ухаживала за его канарейками, часто меняла воду в блюдечках и ежедневно собирала для пташек мелкое красноватое растение — мокричник, их излюбленное лакомство.

Проходили месяцы, годы, и мадам Левассер стала замечать, что конец ее близок.

Она собралась с силами и отправилась к мэтру Жиберу в Санлис, чтобы сделать последние распоряжения. Адвокат был из породы хищников, но знал свое дело, и она с полной откровенностью выложила перед ним свои заботы и чаяния. Она хотела даже из потустороннего мира опекать сына и дочку; оба хотя и в годах, а еще нуждаются в том. Пусть адвокат составит ей такое завещание, — требовала мадам Левассер, — по которому Франсуа ежегодно получал бы по двадцати луидоров, не больше. Но прежде всего она просит мэтра Жибера всячески: юридическими путями, и личным воздействием, и уговорами — удержать Терезу от второго брака. Тереза должна остаться вдовой Руссо, жить на пенсии вдовы Руссо и зависеть от них. Об этом мадам Левассер еще и еще раз просила мэтра Жибера заботиться по мере возможности, и пусть он поклянется ей именем господина и святого Ива — покровителя адвокатов, что исполнит ее просьбу. Она же готова солидно заплатить ему.

Сила слов и твердость воли расплывшейся, сипящей, дряхлой старухи произвели впечатление на мэтра Жибера. Все ее распоряжения по-матерински мудры, признал он, и, кроме того, он высоко ценит философию Жан-Жака. Разумеется, едва ли существуют статьи закона, которые могли бы удержать вдову в узде; но, соблазнившись мздой в пять луидоров в год, адвокат все же обещал сделать все от него зависящее.

По возвращении в Эрменонвиль мадам Левассер слегла и стала ждать смерти.

Приехал сержант Франсуа и, увидев мать, бурно разрыдался.

— Я о тебе позаботилась, мой славный, мой храбрый сын,—утешала она его,—тебе обеспечена годовая рента. И как только—надеюсь, что скоро,—я проскочу через чистилище, так сразу обойду всех святых и не дам им покоя, пока они не помогут тебе осуществить твои замечательные идеи.

Когда речь ее уже стала затрудненной, она в последний раз поговорила с Терезой. Мадам Левассер старалась вдолбить дочери, чтобы та не вздумала переселяться в Париж, какие бы блестящие проекты ни сочинял Франсуа. И чтоб Тереза не выходила замуж ни при каких обстоятельствах, даже если этот собачий сын—ее дружок—все-таки явится. Ты вдова Руссо. Как только негодяй заметит, что ты осталась без денег, так, дитя мое, для тебя настанут трудные дни, да и те, может, будут сочтены. Будь верна могиле Жан-Жака! Оставайся вдовой Руссо!—приказала мадам Левассер. И тотчас же началась агония.

Сержант Франсуа самолично доложил маркизу о кончине матери. Он попробовал намекнуть на то, что старуху следовало бы похоронить рядом с Жан-Жаком, о котором она так преданно заботилась.

— Ну, уж этому не бывать!—вырвалось у маркиза.

Заносчивость аристократа раззадорила сержанта. Он не пожалел средств и заказал для матери похороны по первому разряду. Все духовенство из Дамартена участвовало в них. Папаша Морис не упустил случая и произнес над могилой тещи Жан-Жака надгробную речь. Он оплакал ее трагическую судьбу: враги Жан-Жака оклеветали преданную старушку, не щадившую сил в попечении о своем зяте, и старались посеять раздор между ними. Жители Эрменонвиля были тронуты. Маркиз, присутствовавший на похоронах, слушал с каменным лицом.

В швейцарском домике брат с сестрой поговорили по душам. Франсуа объявил Терезе, что хочет забрать ее к себе в Париж. Она ответила, что мать завещала ей оставаться подле могилы Жан-Жака. Франсуа сказал, что

закон предоставляет ему право определить местожительство сестры, ибо он, Франсуа,—глава семьи. Тереза с неизменным и тихим упрямством отвечала, что, как бы там ни было, а она не двинется с места, пусть это будет и не по закону. Если так, угрожающе сказал Франсуа, то ему придется очень ограничить ее содержание; ведь совершенно очевидно, что состояние матери досталось им обоим, и ему, как главе семьи, принадлежит право распоряжаться им. Тереза невозмутимо ответила, что все это, конечно, гораздо обстоятельнее разъяснит им обоим мэтр Жибер. Франсуа понял, что ему не удастся прибрать сестру к рукам.

— Мы еще доживем до того,—уныло и разочарованно предрек он,—что в один прекрасный день ты явишься ко мне в Париж оборванная, заросшая грязью и взмолишься о помощи. И я, конечно, не откажу тебе в крове и тарелке супа, ибо я солдат и умею быть великодушным. Но я никогда не прощу тебе недоверия. А теперь дай мне два экю на обратный проезд.

На этом они распрощались.

Тереза осталась в Эрменонвиле. Так требовали приличия, так требовал долг. Она не сомневалась, что, вернувшись, Николас будет искать ее здесь.

Уютно она не чувствовала себя в швейцарском домике. Здесь бродили призраки—дух Жан-Жака, дух ее матери. И тот и другой были недовольны ее намерением сожительства с Николасом; особенно бранилась и грозила маменька. Тереза все показывала матери кольцо, которое надел ей на палец Николас. Разве этим кольцом она не обручена с ним? Но мать не успокаивалась.

Снова появился таинственный посланец от Николаса и принес ей весточку. Мосье Николас собирается вскоре вернуться, сказал он; пусть она не трогается с места и ждет его. И пусть не вздумает делать глупостей. Таков строгий наказ.

Тереза была счастлива. Время от времени она тщательно принаряжалась. Ей не хотелось, чтобы ее милый муж застал ее врасплох, неприбранной. Так сидела она часами, по-праздничному разодетая, и, не отрывая глаз от кольца, улыбалась бездумной и мечтательной улыбкой.

Глава четвертая

ЖИЛЬБЕРТА В ВЕРСАЛЕ

Женевские друзья Жан-Жака не желали более откладывать издание «Исповеди». Жиарден, хотя и опасался, что эта книга приведет к новым сильнейшим нападкам на Жан-Жака, вынужден был сдаться.

«Исповедь» появилась. Она произвела впечатление, совершенно обратное тому, какого ждал Жирарден. То, что Жан-Жак так беспощадно обнажал свою жизнь и свою душу, волновало читателей; они восторгались его фанатическим правдолюбием. Им казалось, что «Исповедь» вскрывает сокровеннейший источник их собственных чувств и многих их мыслей, до той поры необъяснимых. Автор, представший перед ними в «Исповеди», сочетал в себе благороднейшие эмоции с чувствительностью и возбудимостью, которые граничили с безумием. Первые вызывали восхищение и любовь, вторые — сочувствие. Отныне, считали они, можно выражать вслух такие мысли и высказывать такие убеждения, в которых до сих пор никто и себе не осмеливался признаться. «Исповедь» вознесла славу Жан-Жака до небес.

Жильберта де Латур находилась в Париже, когда книга вышла в свет. Мосье Робинэ принес ей «Исповедь». В этот вечер она была звана на бал к маркизе де Сен-Шамон. Она не поехала на бал; после обеда сразу же ушла к себе и начала читать.

Она лежала в постели в своей прелестной спальне; мерцающий свет свечей падал на строки, чистосердечно раскрывающие жизнь этого пресловутого Жан-Жака.

Читала быстро и жадно. Время от времени все же выпускала книгу из рук и закрывала глаза. И тогда ей чудилось, будто она слушает Фернана, который рассказывает о людях и делах, описанных в книге. Голос Фернана отчетливо раздавался в комнате, и его слова и слова книги сливались воедино.

С каждой новой страницей «Исповедь» вызывала в Жильберте все большую брезгливость. Первое впечатление от Жан-Жака, когда она увидела его в вестибюле Эрменонвильского замка, ее не обмануло. Здесь, в этой книге, он сам громогласно заявляет всем, кто желает слушать, что он жалкий, смехотворный, нечистоплотный, слабодушный, больной и неаппетитный человек.

И перед ним все падают ниц. Слепые они, что ли? «Апостолом правды» они величают его. Не видят они, что у него что ни слово, то ложь? Отдельная страница, взятая сама по себе, звучит убедительно. Но уже следующая опровергает предыдущую. Он попросту не способен говорить правду, этот Жан-Жак. Любое событие теряет для него свою правдоподобность в ту самую минуту, когда оно происходит. Преследуемый своими эмоциями, он бросается из одной крайности в другую, все у него колеблется, для него нет ничего устойчивого. Можно ли такое шатание, такую неустойчивость выдавать за философию? Она покорно благодарит за подобную философию. Это просто черт знает что, одно кривлянье.

Жильберта захлопнула книгу, задула свечи, попыталась заснуть. В ушах ее звучала песенка: «Простилась я с милым, простилась с желанным, не встретимся вновь».

И опять она думает о Фернана, да еще под неотступную мелодию нелепой песенки Жан-Жака. Тысячи раз она клялась себе не вспоминать больше о нем. Фернан — это прошлое, отжившее. Он продал свою душу и тело этому лжепророку, во имя него искалечил свою жизнь. Так нечего ему еще и ее жизнь калечить. Все кончено.

Но увы, далеко не все кончено, и незачем себя обманывать. Путешествуя с дедушкой по Швейцарии и Италии, она, любуясь горной вершиной, или озером, или городом, невольно думала: а что сказал бы Фернан, глядя на них? И с чего это ей вдруг взбрело в голову интересоваться Новым Светом? Чего ради она читает так много книг об Америке?

Все-таки возмутительно, что Фернан совсем не дает о себе знать. Уж отцу-то он, во всяком случае, мог бы писать почаще и пообстоятельнее. Встречаясь с мосье де Жирарденом, дедушка всегда из вежливости спрашивается о Фернана; но маркиз и сам почти ничего не знает: сын пишет ему очень редко. Когда французский экспедиционный корпус под командованием генерала Рошамбо высадился в Америке, все они надеялись, что Фернан вступит в эту армию. Но упрямый мальчишка остался в армии генерала Вашингтона, а когда маркиз за это упрекнул его в письме, Фернан и вовсе умолк.

Напрасно все же она не поехала сегодня на бал к маркизе де Сен-Шамон. На таких вечерах она всегда отлично веселится. Разве это предосудительно? Прав, что ли, Фернан, утверждая, что только пустым, ветреным созданиям может доставлять удовольствие общество любезных, изысканных, холеных и изящных людей.

Конечно, Матье будет на балу и, конечно, ему будет очень не доставать ее. Ей следует быть с ним поласковее, не мучить его так. Вот уже больше года, как умер отец Матье, оставив ему в наследство все свои высокие титулы и звания, два ветхих замка и долги. Матье сразу избавился бы от забот и хлопот, согласись он занять один из тех высоких военных или дипломатических постов, которые в любую минуту были к услугам высокочтимого и сиятельного сеньора, мессира Матье-Мари графа де Курселя. В том, что он уклоняется от назначения, повинна только Жильберта. Он не желал служить генералом в каком-нибудь провинциальном городе или состоять в качестве посла при иноземном дворе. Ему хотелось оставаться в Версале, поближе к ней. Матье никогда не говорил ей о

своих чувствах, не навязывал ей своей руки, он чертовски горд, но она-то знает: он ждет только благосклонного намека, и тогда он заговорил бы.

Долго ли еще она будет его мучить? Он добивается ее отнюдь не для того, чтобы подкормить свои захиревшие владения ее деньгами. Он отверг многих богатых наследниц—Жильберта знала об этом от мосье Робинэ.

Но немножко ему придется еще подождать. Перемирие с Англией подписано. Фернану больше нечего делать в Америке. Его возвращение не может, конечно, что-либо изменить, но на последний разговор по душам он все-таки вправе претендовать.

Мосье де Жирарден, приехав с очередным визитом в замок Латур, рассказал, что, вопреки его ожиданиям, сын не вернется с французской армией; больше того, Фернан отправился в Вест-Индию, в Сан-Доминго, и собирается там обосноваться. Маркизу, пожалуй, вовсе не хотелось рассказывать об этом, но сердце не стерпело, и слова вырвались сами собой.

Жильберта стиснула зубы и промолчала.

В эту ночь она в десятый раз старалась представить себе жизнь с Матье. Возможно, что ему все же захочется сделать служебную карьеру. У нее же нет ни малейшего желания жить в провинции или в чужих краях. Несколько месяцев в году можно, конечно, проводить в Париже и в Версале; в эти месяцы она даже готова, как этого, несомненно, желает Матье, подчиниться чопорному этикету двора; но большую часть года ей хотелось бы жить в деревне—в Сен-Вигоре, или в Латуре, или в одном из ветхих замков Матье. Об этом она должна договориться с ним твердо и определенно.

Жильберта нахмурилась. С Фернаном ей не пришлось бы заранее договариваться о таких вещах.

На следующий день она поговорила с мосье Робинэ. Не первый год принимает она ухаживания Матье де Курселя, сказала Жильберта. За это время почти все ее ровесницы вышли замуж. Ей кажется, что она любит де Курселя, и ей хотелось бы знать, посоветует ли ей дедушка выйти замуж за Матье.

Робинэ пришлось сделать над собой усилие, чтобы его красное четырехугольное лицо не дрогнуло и оставалось спокойным. Перед ним стояла та же задача, что и в тот раз, когда Жильберта поведала ему о планах Фернана уехать в Америку. Мосье Робинэ ничего не имел против брака Жильберты с Матье, но теперь еще больше, чем прежде, он не мог себе представить, как он будет без нее жить.

В своем обычном, слегка ироническом тоне он сказал:

— Нелегко мне быть твоим советчиком в этом деле, доченька, мне очень не хочется потерять тебя. Я, как видишь, заинтересованная сторона.

— Но, дедушка, о том, чтобы мы жили с вами врозь, нечего и думать,— бурно возразила Жильберта.— Мы, разумеется, будем жить у вас или вы у нас.

Робинэ усмехнулся про себя. Несмотря на взаимную вежливость, его отношения с этим высокоаристократическим Матье нельзя было назвать сердечными. Он сказал:

— Я очень сомневаюсь, чтобы владетельный граф Курсель пожелал жить со мной под одной крышей.

«Значит, есть еще одно обстоятельство, о котором я должна четко договориться с Матье»,— подумала Жильберта.

— Если вы действительно не возражаете, дедушка, то ваш правнук будет именоваться «мосье де Курсель»,— сказала она.

На ее лице, однако, Робинэ увидел ту же едва заметную недобрую улыбку, что и на похоронах Жан-Жака.

На одно мгновение мосье Робинэ заколебался, но затем сказал:

— В таком случае твой сын будет именоваться еще и «мосье де Сен-Вигор», доченька. Некогда Сен-Вигор принадлежал Курселям, и если это поместье попадет в руки одного из их потомков, то к нему перейдет и титул.

Жильберта покраснела от удовольствия и немножко — от смущения; Сен-Вигор представлял собой поместье, состоявшее из нескольких селений. Это был очень ценный свадебный подарок.

— Благодарю вас, дедушка,— сказала Жильберта.

При следующей встрече с Матье она задала ему вопрос:

— Как вы относитесь к моему дедушке?

Несколько сдержанно он ответил:

— Мосье Робинэ очень умный и преуспевающий делец, об этом знает вся Франция.

— Я люблю дедушку,— горячо, с необычной страстью сказала Жильберта,— и никогда не расстанусь с ним, ни за что на свете. Понимаете вы это, граф Курсель?

На красивом удлинненном лице Матье отразилось недоумение, раздумье, огорчение.

— Понимаю,— ответил он и низко поклонился.

А Жильберта продолжала:

— Кроме того, от своего мужа — кто бы он ни был — я потребую, чтобы он по меньшей мере полгода проводил в деревне. Вы не находите это требование чрезмерным, граф Курсель?

— Это, конечно, серьезное требование,— ответил было

Матье. Но, уловив выражение ее лица, поспешно добавил: — Впрочем, нет, не чрезмерное.

— Вы вот, например, согласились бы с таким порядком? — спросила Жильберта.

Матье опять чуть призадумался, затем торжественно и решительно произнес:

— Согласился бы.

— Благодарю, — сказала Жильберта.

Матье, еще не смея поверить своему счастью, смотрел на Жильберту со слегка одурелым видом. Он глядел на ее лицо — такое милое, свежее, смелое, умное, озаренное сейчас чуть застенчивой улыбкой. И вдруг он встрепенулся и с живостью, какой Жильберта никогда не предполагала в нем, стиснул ее в объятиях. Без конца целовал. А он умел целовать! Ее обдало горячей волной.

Была ли она счастлива? Да, это настоящее счастье. На этот раз она сама сделала выбор, по доброй воле; не без участия рассудка, но и сердце не молчало.

Между генеральным откупщиком податей, господином Робинэ, и графом Курселем состоялось деловое собеседование на тему о финансах Жильберты. Долгое и мучительное это было собеседование; Матье упорно отказывался принять от мосея Робинэ те средства, которые тот считал необходимыми для беззаботного существования будущей четы. Со вздохом Робинэ рассказывал внучке:

— Этот твой Матье — аристократ чистейшей воды. Очень порядочный и, как полагается аристократу, ограниченный человек.

Так как Матье принадлежал к потомственной знати и мог предъявить в своем генеалогическом древе тридцать шесть колен, а Жильберта принадлежала к «незаконно-рожденной знати», числившейся дворянами всего только в первом колене, то бракосочетание графа с внучкой откупщика нуждалось в согласии королевской фамилии и министров, иначе дети от этого брака утрачивали отцовские привилегии. Надо было подать множество челобитных и прошений, чтобы граф Курсель и мадемуазель де Латур могли появиться в Версале и получить соответствующие подписи.

Среди всех этих хлопот Жильберта часто вспоминала, как потешался Фернан над подобными формальностями и в особенности над заключительным круговым обходом Версаля. Он живет в эмпиреях, этот Фернан, и он чертовски неправ. Если король и двор окажут Жильберте милость, то это будет вовсе не смешная комедия, а подлинный триумф. Посещение Версаля вознесет на вечные времена ее и ее потомство над толпой безродных людей, обремененных обязанностями и зависимостью, в круг свободной привилегированной знати. Никто не смеет

отравить ей этот день ироническим смехом, ни один человек — будь он здесь, рядом, или за океаном. Она с радостью ждет этого дня, этого 18 марта.

Мосье де Сегюр, военный министр, родственник Матье, взялся представить брачный контракт на подпись королю. Два смертельно долгих часа пришлось пробыть в приемной, среди многочисленных посетителей, в ожидании утреннего туалета короля. И вот наконец толстый швейцарец стукнул об пол своей алебардой и выкрикнул:

— К подписи!

Вот он, долгожданный миг! Матье, Жильберта и мосье Робинэ, предводительствуемые мосье де Сегюром, получили наконец доступ в опочивальню всехристианнейшего величества.

Жильберта украдкой метнула быстрый взгляд на Матье. Матье был красив и величествен, и уж он-то, конечно, не видел ничего смешного в церемониях, через которые им предстояло пройти.

Король сидел у туалетного стола в ленивой и неловкой позе, подставив голову парикмахеру. Роскошный покой был полон народу. Мосье де Сегюр, держа Жильберту за кончики пальцев, подвел ее к королю. Матье и мосье Робинэ следовали за ними.

— Ваше величество,— сказал министр,— это мадемуазель де Латур, будущая графиня Курсель, если вашему величеству благоугодно будет поставить свою подпись на ее брачном контракте.

Король не спеша рассматривал Жильберту сонными глазами навывкате.

— Так это вы и есть мадемуазель де Латур? — произнес он. — Что ж, прекрасно, отлично.

Военный министр протянул ему контракт, камергер — перо. Выпрямляясь после глубокого рсверанса, Жильберта с жадностью следила за белой пухлой рукой, выводившей подпись. «*Ça у est*» — пело в ней. Всю ее залила радость, радость, неукротимая радость.

Людовик подписал.

— Что ж, прекрасно, отлично, — повторил он, с трудом подавляя зевок. — Отныне вы, значит, графиня Курсель. Поздравляю вас.

Они отправились в покои королевы. Мария-Антуанетта опытным оком оценила праздничный туалет невесты и сразу узнала руку мадемуазель Бертин, своей придворной портнихи. Улыбаясь, она сказала:

— Это вам, моя милая, влетело, должно быть, в кругленькую сумму! — и подписала.

Через многочисленные залы, по многочисленным лестницам и длинным коридорам, мимо караульных швейцарцев и величественных камергеров, мимо светских и

духовных вельмож они проследовали к братьям короля — к графу Прованскому и графу Артуа. А оттуда — к Mesdames, к трем теткам короля. Затем к герцогу Ангулемскому. Сей принц восседал на деревянном конекчалке, с саблей «на плечо». Ему было четыре года. Подписывал он медленно, старательно, и мосье Робинэ сказал тихонько:

— А ведь он единственный из всей королевской фамилии, чьи каракули можно разобрать.

Покончив с обходом королевской семьи, небольшой торжественный кортеж проследовал к министру юстиции и хранителю королевской печати — мосье де Миромеснилю. Последний скрепил документ королевской печатью и поставил свою подпись.

Так было установлено и узаконено на вечные времена, что графу Матье де Курселю предоставлено право сочетаться браком с мадемуазель де Латур, дворянкой в первом колене, не теряя при этом ни своего титула, ни званий и привилегий. А Жильберта де Латур в результате означенного брака приобрела право называться дворянкой в третьем колене, и ее первый сын получал право на наследование отцовских титулов, званий и привилегий.

Глава пятая

ВОЗВРАЩЕНИЕ СУЖЕНОГО

Глубокой ночью Тереза внезапно проснулась от резкого стука. Подскочив, она с уверенностью и радостным испугом подумала: это он!

Это действительно был он. Ухмыляясь, стоял он перед Терезой.

— Ну, вот и мы, сокровище мое, — проквашал Николас так, будто они вчера только расстались.

С теплым сиянием, разлитым по всему лицу, Тереза жадно разглядывала его. Он немножко пополнел, но был все еще по-прежнему сухопар, и глаза его над приплюснутым носом по-прежнему весело поблескивали.

Он великодушно позволил ей обнять себя и сам милостиво похлопал ее по ягодицам. Тереза всем существом своим ощущала его мускулистое тело, вдыхала его мужской запах; годы разлуки миновали.

Она носилась по комнате босая, взбудораженная.

— Не приготовить ли тебе чего-нибудь поесть? — спросила она, опять уже совсем прежняя, покладистая, глупая Тереза.

— Позднее, может быть, — ответил он. — А вот если у тебя найдется что выпить, я бы не прочь.

Конечно, найдется, сказала она; да вот хотя бы добрая малиновая настойка, которой ее почтил папаша Морис в обмен на Жан-Жаковы письменные принадлежности.

Николас уселся в широкое кресло, любимое кресло покойного Жан-Жака, и окинул взором хорошо знакомую обстановку.

— Приятно вернуться сюда,— произнес он и, входя в роль хозяина, расположился поудобнее.

Немалая осторожность понадобилась, чтобы попасть в швейцарский домик. Во всех прочих отношениях возвращение его представляло не бог весть какой подвиг. После заключения мира французское и английское правительства объявили амнистию, которая, очевидно, снимала запрет и с его возвращения во Францию. Он решил, что пора заявиться к своей милке-невестушке. Старая кобыла очурилась и уже не лягнет больше, а писания, которые она так ревностно оберегала, теперь в руках Терезы, иными словами,— у него в руках. И он, следовательно, переплыл через канал, а принц Конде без всяких проволок снова принял его на службу, живет он, значит, по соседству, и вот он здесь.

Ему доставляло удовольствие сидеть, развалившись в кресле своего предшественника. Он еще в Лондоне наслышался об «Исповеди» и прочел эту книгу в английском переводе. Ну и похотел же он громко и от всего сердца над юродивой мудростью господина философа. Чего-чего только не нагородил тот об их общей Терезе! И все-таки он, Джон Болли, именуемый также Николас Монтрету, сидит здесь; он не философ, зато он весел и жив, а философ лежит в своей холодной могиле, прославленный, но мертвый.

Николас видел восторг, с каким Тереза ухаживала за ним; его отсутствие только упрочило их связь. Он пил, ел и, ухмыляясь, думал, что заткнет за пояс всех мудрецов мира. Простофиля-маркиз выстроил для господина философа швейцарский домик, а хозяйничает в нем кто? Он, Николас! Торжествуя, развалился он в кресле Жан-Жака и благосклонно позволяет Терезе ублажать себя ласками.

— Дела подождут,— говорил он,— сначала давай побалуемся.— И они легли в постель.

Позднее он заставил ее отчитаться перед ним. У нее, сказала Тереза, капитала нет, а только пенсии, которые ей выплачивает маркиз. Николасу это показалось подозрительным. Как так, неужели она не получила за рукописи наличными? И какое отношение к этому имеет маркиз?

— Ты ведь совершеннолетняя. Не нужны тебе опекуны,— изрек Николас.— А если и понадобится какой, так на то я теперь здесь. Ну что, старушка?— благодушно

продолжал он.— Поженимся, что ли? Хоть у тебя и нет ничего, кроме пенсий, я все же готов взять тебя.

Ее вялое сердце запрыгало от радости и страха. Как долго ждала она этой минуты! Она готова отказаться от репутации знатной вдовы Руссо и превратиться в обыкновенную мадам Монтрету, даже если ни одна королева не явится больше, чтобы утешить ее. Уж раз Николас так отчаянно рисковал ради нее, не щадил своей драгоценной молодой жизни, то и она, конечно, должна чем-нибудь поступиться ради него. Но Жан-Жак и мать незримо стоят по обе стороны кровати, призрачные и в то же время такие осязаемые, и мать предостерегает ее: «Смотри, если он слишком поздно узнает, что денег у тебя нет, не сносить тебе головы!»

Тереза наполовину приподнялась на постели.

— Что до меня, так чем скорее мы поженимся, тем лучше.

И так как лежали они в потемках, то он не мог увидеть ее улыбки, застенчивой и лукавой, совсем как у маленькой девочки. Он выжидающе насторожился.

— Но,— продолжала она, на всякий случай боязливо отодвинувшись от него,— может статься, что вы вовсе не пожелаете жениться на мне, мосье Николас, когда все узнаете.

— Какое такое «все»? Что это еще за вздор?— прикрикнул он с присущей ему такой пугающей и такой любимой грубостью.— Зажги свечу,— сердито буркнул он.

Тереза повиновалась. Он свирепо взглянул на нее.

— Изволь-ка говорить яснее,— приказал он.— Я ничего не понимаю.

— Да я и сама не очень понимаю,— прохныкала она.— В том-то и дело. Куда мне с моим слабым умишком. Вам, конечно, много виднее, что к чему. Но если я выйду замуж, то я, значит, останусь без всяких денег. Сходить бы к господину Жиберу, он бы нам все досконально растолковал.

— Видно, опять кто-то отмочил отчаяннейшую глупость,— выругался Николас.

Он встал и оделся.

— Не сердись, Кола,— смиренно молила Тереза,— я сделаю все так, как ты хочешь.

Они поехали к мэтру Жиберу. Нотариус не скрывал своего недоверия и неприязни к Николасу.

— Вы в самом деле желаете, мадам, чтобы я осведомил мосье Монтрету о запутанном состоянии ваших денежных дел?

Он спросил это так официально, что Терезу обуял страх. Она поняла, что ни Жан-Жак, ни ее покойная мать, ни всемилостивый бог не одобряют того, что она намерена

совершить. Но она собрала все свои душевные силы и выдала из себя:

— Да, мосье.

Мэтр Жибер вспомнил о клятвенном обещании, данном тучной старухе, и решил так затруднить все этой глупой и похотливой бабенке, как только возможно.

— Мне нужен от вас письменный приказ, который освободил бы меня от сохранения профессиональной тайны,—сухо сказал он.

Но и это не устрасило Терезу. Она подписала обстоятельное заявление, составленное нотариусом, и мосье Жиберу ничего другого не оставалось, как приступить к докладу.

Он разъяснил, что английские покровители, выплачивающие пенсии через мосье Жирардена, поставили обязательным условием, чтобы последние вручались только вдове Руссо. Поступления от авторского гонорара за произведения Жан-Жака, в свою очередь, выплачиваются ежегодно и передаются на хранение мосье Жирардену.

Переговоры тянулись долго и мучительно. Мэтр Жибер обильно пересыпал свою речь профессиональными терминами, а Николас не отставал от него, пока не проник во все мелочи. Под конец он спросил нагло и без обиняков:

— А что, если мадам Руссо вторично выйдет замуж?

— Я бы настоятельно посоветовал моей клиентке не делать этого,—сказал Жибер и строго посмотрел на Терезу.—В этом случае выплата английских пенсий, безусловно, прекратится, а что касается издателей, то будут ли они тогда по-прежнему делать отчисления—это более чем сомнительно.

Николас перешел в атаку.

— Неужели во Франции нет более ни права, ни законов?—вознегодовал он.

— Именно потому, что во Франции право и законы процветают, многоуважаемый,—назидательно и важно произнес нотариус,—я столь настойчиво рекомендую моей клиентке воздержаться от второго брака. Тем более что притязания мадам Руссо на право наследования весьма уязвимы и оспариваются племянником покойного. В связи с этим нельзя не коснуться некоего щекотливого обстоятельства: ведь господин Руссо, по личному его свидетельству, сочетался с мадам браком только «перед лицом природы». А влечет ли за собой такой брачный контракт соответствующие права—это по меньшей мере спорно. До сих пор только слово и веский авторитет мосье де Жирардена удерживали суды от объявления брака мадам Руссо незаконным.

Николас вспомнил некоторые места из книги Жан-Жака и со свойственной ему сметливостью мгновенно представил себе, какими далеко идущими последствиями чревата блажная «Исповедь» блажного господина философа.

Тереза, едва сдерживая торжество, воскликнула:

— Вот видишь, Кола, я же тебе это сразу сказала!

Николас бросил на нее бешеный взгляд, холодно поблагодарил нотариуса за совет, и они удалились.

Размышления и планы не давали ему в эту ночь уснуть. «Значит,— думал он,— старуха, эта гнусная ведьма, сходя в могилу, еще раз стала мне поперек пути. Но она просчиталась. Если ей удалось найти зубастого адвоката, то я выкопаю себе еще позубастее». Николас густо сплюнул.

С рекомендацией от принца де Конде он поехал в Париж к адвокату принца, мэтру Лабурэ. Тот нашел выход. Пусть Николас договорится с Терезой о том, что она назначает его своим *hommed'affaires* или *homme de confiance*, то есть доверенным лицом. А тогда одну или другую пенсию можно будет, пожалуй, пустить в оборот или уж, во всяком случае, получить закладную.

Нельзя сказать, чтобы Николас был недоволен этим советом. Он разъяснил Терезе, что мэтр Жибер, к сожалению, оказался прав: ей в самом деле необходимо оставаться в Эрменонвиле и в качестве почтенной вдовы Руссо охранять гробницу Жан-Жака. С чудесной мечтой о свадьбе придется расстаться. Но если и не законным мужем, то *homme de confiance* ее он все же может стать; это ведь тоже связывает их тесными узами. Тереза слушала его с удовольствием. Значит, она и своего дорогого покойника не прогневает, и в то же время сохранит себе на радость Кола—хотя и втайне от света.

— Значит, все остается по-старому,—подытожила она.

— Не вполне, мой ангел,—сказал Николас.—Ты ведь и сама не захочешь, чтобы твой супруг,—а ведь я и есть твой супруг, хотя бы мэтр Жибер и не желал этого признавать,—махнул рукой на скаковые конюшни, сулящие нам обоим роскошную жизнь. Но чтобы поставить это дело как следует, мне надо жить в Париже.

— А меня ты не можешь взять с собой?—робко спросила Тереза.

— С тобой разговаривать и впрямь, что об стенку горох бить,—грубо оборвал ее Николас.—Ведь все время я тебе толкую, что ты должна оставаться здесь.

Но, увидев, как сразу потускнело ее лицо, он поспешил ее утешить:

— Да ты не принимай этого так близко к сердцу, ангел

мой! Я, конечно, буду паезжать, и мы вдоволь натешимся здесь нашей любовью.

Еще через некоторое время Николас сказал:

— Впрочем, для начала нам придется разочек вместе съездить в Париж. Там мы выправим всякие документы, и это будет так же торжественно и великолепно, как на настоящей свадьбе.

На следующей же неделе они и впрямь отправились в Париж, правда, втайне. Даже жить Терезе пришлось не там, где остановился Николас; поселил он ее у некой мадам Беккари, в переулке Людовика в приходе Святой Магдалины.

Назавтра они вместе пошли к мэтру Лабурэ, и там было подписано и скреплено печатью много документов.

Какая это была утомительная и торжественная церемония! Тереза ясно вспомнила, как в свое время ей и матери пришлось у мэтра Жибера ставить много подписей. На этот раз все было даже гораздо торжественнее: мэтр Лабурэ облачился в тогу — старинное одеяние, делавшее его похожим на архиепископа. Все чувства, на какие Тереза была способна, беспорядочно теснились в ее душе. Она благодарила господ за то, что и материнского запрета не ослушалась, и Кола своего все же удержала. Она была в восторге от своего дружка, сумевшего так хитро обернуть дело, что он вроде как бы и муж ее был, а в то же время она осталась вдовой Руссо. Но, несмотря на обуревавшие ее чувства счастья и гордости, где-то притаился страх перед матерью, и сквозь потрескивание фитилей в таявшем воске ей слышался сиплый, беззвучный, въедливый материнский голос.

Затем она начала подписывать. На этот раз ей пришлось проставить много своих подписей, но еще со времени церемонии у мэтра Жибера она знала, как это делается, и поэтому раз за разом храбро выводила: «Тереза Левассер, вдова Руссо».

Отправив ее назад, в швейцарский домик, Николас ретиво и любовно взялся за дело. Ему удалось выгодно приобрести хороших лошадей, а аттестация принца Конде принесла обширную клиентуру. Время благоприятствовало его начинанию — в Париже царила мода на все английское. Хорошее знание дела, задорный тон и почтительные манеры Николаса пришлись по вкусу знатым господам. Все складывалось как нельзя лучше.

Однажды к нему заявился совершенно неожиданный посетитель — сержант Франсуа Рену. Он зычно и бурно приветствовал Николаса, обнял его, долго восторгался конюшнями и манежем. Николас подозрительно присматривался к гостю. Вскоре сержант начал делать какие-то туманные намеки насчет внезапного взлета мосье Николаса.

— Мне подсказывает мой мизинчик,— игриво проворковал Франсуа,— что здесь основательно попахивает деньжонками семьи Левассер. Как глава семьи, я, думается, вправе поинтересоваться: из каких таких капиталов выросли эти восхитительные лошадки?

У Николаса не было ни малейшего желания позволить проходе Франсуа шантажировать его, но ссора с братцем Терезы могла повлечь за собой пренеприятные последствия. Владелец скаковых конюшен Монтрету нашел выход: он принял этого представительного мужчину к себе на службу. Франсуа оказался бездельником, под всякими предлогами отлынивал от работы, но все же кой-какой дрок от него был: его хвастливая трескотня многим клиентам нравилась. Впрочем, жалованье Франсуа получал у своего шурина мизерное.

Николас не был мелочен, но ему приходилось экономить. Текущие расходы были огромны, доходы числились главным образом на бумаге. Лучшая часть его клиентуры — молодежь из аристократических семей — не спешила, когда дело касалось уплаты долгов, а стоило Николасу несколько настойчивее заявить претензию, как и сами клиенты, и их могущественные покровители гневались и отворачивались от него.

Он понимал, насколько благополучие его зависит от пенсий Терезы, которые, оказывается, нельзя ни заложить, ни получить под них заем. Поэтому он время от времени наезжал в Эрменонвиль. Обычно он появлялся там глубокой ночью, крадучись и без предупреждения, и неизменно заставал всегда ждущую и радостно вспыхивавшую при виде его Терезу.

Он был уверен, что его поездки в Эрменонвиль останутся в тайне. Но о них пронюхали. Судья доложил Жирардену, что конюх Монтрету время от времени проводит ночи у вдовы Руссо в швейцарском домике.

Маркиз рассудил, что было бы нецелесообразно открыто принимать теперь какие-либо меры против этого проходимца. Зато он получил наконец долгожданный предлог развязаться с отвратительной ему Терезой. Он написал ей короткое сухое письмо. Во имя памяти своего друга Жан-Жака, писал он, он почитает долгом воспрепятствовать тому, чтобы по соседству с местом вечного успокоения великого философа творилось непотребство, участницей коего является вдова Жан-Жака. Поэтому он вынужден просить ее поискать себе жилье за пределами Эрменонвиля.

Тереза заметалась в панике. Мать завещала ей непременно оставаться вблизи могилы Жан-Жака. Таково же было и желание Николаса. Если она переселится куда-нибудь, она нанесет кровную обиду своим покойникам; а

уж что скажет Николас,— об этом она и думать не могла. Она, конечно, и деньги свои потеряет теперь, все эти непонятные и таинственные доходы, а с деньгами, как и предсказывала мать, утратит любовь своего Кола. Как же тогда жить?

Лучше всего обо всем рассказать Николасу, и немедленно. С письмом маркиза в кармане Тереза помчалась в Париж. Ей пришлось расспрашивать встречаемых, как пройти в заведение Николаса, она ведь никогда не бывала в этом его тэтерсолле. И кто же первым встретил ее там? Братец Франсуа! Увидя на лице Терезы растерянность, Франсуа шумно и покровительственно приветствовал ее:

— Не говорил я тебе, что наступит день, когда ты прибежишь к своему брату в лохмотьях, вся разнесчастная? Не предсказал я тебе это?

Николас при виде Терезы не стал скрывать своего гневного возмущения. Что вдруг понадобилось этой толстой старой бабе, этому пугалу в его элегантном заведении? Она разгонит его клиентов. Он оттеснил Терезу в угол и, раньше чем она открыла рот, грубо приказал ей держать язык за зубами и не сметь тут докучать ему. Пусть отправляется к мадам Беккари в переулок Людовика, вечером он туда приедет, и там они поговорят. А теперь пусть катится, и немедленно. Его суровость напомнила Терезе покойную мать, и она уж почувствовала себя наполовину успокоенной.

Вечером, когда Тереза рассказала ему, что произошло, и дала прочесть письмо маркиза, он впал в мрачную задумчивость. обстоятельно разъяснил Терезе, что в Париже он не может ее поселить. Она должна жить вблизи могилы Жан-Жака, ибо пока они еще не могут позволить себе отказаться от ее, Терезы, доходов. А когда Тереза жалобно спросила, куда же ей деваться, Николас ответил, что подыщет для нее домик в деревне Плесси. Эта деревня находится по соседству с Эрменонвилем и принадлежит к владениям покровителя Николаса принца Конде.

— Плесси,— обронила Тереза растеряннно,— Плесси.

— Оттуда,— объяснил ей Николас,— ты без труда сможешь раз или два в неделю ходить на могилу. А с могилы господин маркиз уж не посмеет тебя прогнать,— злобно сказал он.

— Плесси,— повторила Тереза,— туда ты еще реже будешь приезжать ко мне.

Но Николасом уже овладела, видимо, обрадовавшая его новая мысль, он повеселел и милостиво стал утешать Терезу:

— Не горюй, подружка. Через годик, а может, даже через полгода мои лошадки принесут такие барыши, что

по сравнению с ними твои доходы покажутся песчинкой. Вот тогда я вытащу тебя в Париж, и мы роскошно проживем; мы плюнем на жалкие крохи со стола аристократов, сыграем свадьбу и больше не будем прятать от людей нашу любовь.

Надежда, больше того — уверенность, что он все же заполучит в свои руки писания, которые у него из-под носа утащила эта старая кляча, Терезина мамаша, — вот что было причиной внезапной перемены его настроения. Грозное письмо Жирардена служило прекрасным предложением, чтобы вырвать у него рукописи.

— Прежде всего — подытожил Николас, — мы достойно ответим этому вельможе на его наглое письмо, я сам продиктую тебе ответ. Рукописи покойного, бесспорно, принадлежат тебе, и пусть он незамедлительно вернет их, этот знатный вор. Не вздумай шага сделать из Эрменонвиля раньше, чем маркиз не вернет тебе твою собственность.

Николас не писал по-французски. Знал он, что и Тереза пишет только по слуху и что написанное ею неудобочитаемо. Но именно это и придаст ее письму особый смак, оно покажется маркизу архибидным и кольнет его в самое сердце: шутка ли, драгоценные рукописи отдать в руки этойкой малограмотной писаки.

На следующий день ему нужно было рано быть в конюшне. Но он не торопился и с расстановкой диктовал Терезе письмо. Со сладострастной мстительностью подбирал он слова, а Тереза выводила их своим малограмотным почерком, — тщательно, усердно.

«Я никак не ожидала, — писала она, — что мосье де Жирарден будет так чернить вдову Жан-Жака. Я веду себя недостойно, клеветеете вы на меня, а болтаете о вашей дружбе к моему мужу. Вы всегда любили его только на словах, я же храню его в моем сердце. Я заявляю, что это *вы* ведете себя недостойно. Вы у меня захватили все писания. Так извольте же, будьте любезны, вернуть мне все: и писания, и все ноты, и, конечно, «Исповедь», это все не ваше. Ладно, я уйду прочь из вашего дома и я вашего ничего не возьму с собой, мне его не надо, но я не двинусь с места, пока не получу свое. Сколько бы вы ни наговаривали на меня, мосье, я была и остаюсь с совершенным почтением к вам и преданная вам по гроб жизни вдова Жан-Жака».

Пока Николас диктовал, а Тереза писала, и он и она готовы были прыгать от удовольствия. Такое письмецо небось собьет спесь со спесивого маркиза. Пусть почи-тает.

Николас еще раз строго наказал Терезе, чтобы она ни при каких обстоятельствах не покидала Эрменонвиля без

рукописей. Затем Тереза поехала домой, отдала свое послание в замок, уселась в швейцарском домике и стала ждать.

Получив грязную писульку, подписанную Терезой, маркиз пришел в ярость. Рукописи-то, правда, были отпечатаны и тщательнейшим образом скопированы, но он, конечно, страстно дорожил автографами. Однако что делать? Навязать себе на шею длительный и скандальный процесс? Нет, этого он не хочет. Надо, видно, расстаться с рукописями. Маркиз в последний раз разложил их перед собой, растроганно полистал, нежно погладил, перевязал, попрощался с ними и отправил бесстыжей.

Тереза подозрительно осмотрела толстые рулоны исписанной бумаги, как бы проверяя, действительно ли здесь все. Потом, готовясь к переезду на новое место, завернула «Исповедь» в одну нижнюю юбку, «Диалоги» — в другую, а в третью — «Утешения» — песни, которые Жан-Жак написал и положил на музыку в последние дни своей жизни. Теперь предлогов оставаться здесь больше не было.

Николас снял для нее в Плесси дом у своего знакомого, некоего сьера Бесса. Деревня Плесси не отличалась никакими достопримечательностями, дом был под соломенной крышей, и все в нем было до крайности просто. Это не беспокоило Терезу. Важно, что отсюда до могилы Жан-Жака всего часок ходу, не больше. Да и арендная плата невысокая: каких-нибудь восемьдесят ливров в год, включая плату за износ.

Папаша Морис и сьер Бесса помогли Терезе при переезде. За свои хлопоты Морис попросил несколько пустячков, представлявших собой, однако, для него, да и для других, ценнейшие сувениры. Но большая часть домашней обстановки — простые деревянные стулья с плетеными соломенными сиденьями, спинет с вечно застревающим «си», кровати с бело-голубыми покрывалами — все это находилось теперь в Плесси, в доме Бесса по Кладбищенской улице. И гравюры на стенах висели все те же: «Лес Монморанси» и «Дети кормят парализованного нищего». Не забыта была и клетка с канарейками. И рукописи снова лежали в своем ларе.

Приехал Николас. Осмотрелся. Все та же знакомая обстановка, только здесь она, пожалуй, кажется чуточку потрепаннее. Зато в этом доме они сами себе хозяева, и никакой маркиз не смеет совать сюда свой нос. Да и ларь здесь, и уже не пустой, как раньше. С чувством удовлетворения Николас открыл его, пощупал бумаги и положил их на место. Ни старая кляча, ни маркиз не стоят больше между ним и этой писаниной. Бумаги все-таки у него в руках, наперекор всему. Сливки, правда, с них, с этих

бумаг, уже сняты. Частично они уже обращены в лошадок, в замечательных английских чистокровок. Но у него твердая уверенность, что, в случае какой-либо грозы, рукописи послужат ему с Терезой надежным прикрытием.

У него достаточно оснований для таких размышлений. Его предприятие может лопнуть в одну ночь. Молодые родовитые шалопаи, его должники, сулят ему золотые горы... но лишь после смерти своих отцов, а судиться с ними вряд ли имеет смысл. Что касается пенсий, которые все еще не удалось заложить или обратить в чистоган, то под них, видно, ни су не получишь, а его покровитель принц Конде помогает ему чем угодно, но только не деньгами.

Николас был человеком неожиданных идей, неиссякаемой энергии, безоглядной жестокости и такого изобретательного себялюбия, какое обычно увенчивается большими барышами. Но ему не везло. И сейчас сударыня Беда нанесла ему такой удар, который окончательно сразил его. Жеребец Счастливчик сбросил его столь несчастливо, что Николас переломил себе тазобедренную кость. Этим завершилась его карьера лучшего берейтора Парижа.

Некоторое время сержант Франсуа пытался вести дело, выступая в качестве доверенного лица Николаса. Но кредиторы наседали на Франсуа, теперь уже не приходили на выручку ни мэтр Лабурэ, ни принц Конде. Кроме того, сержант дал вовлечь себя в драку с одним из молодых должников аристократов, в газетах появилась злостная заметка, и Николасу пришлось закрыть свои скаковые конюшни.

Он удалился в Плесси, к своей душеньке Терезе. Забившись в эту дыру, он любовался на свой единственный капитал—на ларь с рукописями.

Отныне он жил с Терезой в Плесси, в доме съера Бесса, среди домашних вещей Жан-Жака, по соседству с его могилой. Искалеченный, озлобленный, он непрестанно бахвалился—даже на чужом языке.

А у Терезы—снова муж, требующий постоянного ухода. Она отдается заботам о нем с беспредельной самоотверженностью. Она восхищается своим Кола. В нем все грандиозно, даже—его несчастье.

Глава шестая

ОТЕЦ И СЫН

В скупых словах Фернан известил маркиза, что недели через три прибудет в Эрменонвиль, если только батюшке угодно будет принять его.

Жиранден держал письмо в дрожащих руках. Фернан уже в Англии, быть может, даже во Франции. Через три недели он будет здесь. Мосье Жиранден сразу почувствовал себя старым, и слабым, и счастливым, и несчастным, и как-то совершенно неподготовленным ни к огромной радости, ни к сложным решениям, которые предстояло теперь принять.

Семь лет, две тысячи пятьсот дней и ночей напролет ждал он этого письма. После заключения мира с Англией он думал: Фернан вот-вот придет. Долгие месяцы затем он возлагал надежды на влечение Фернана к Жильберте; думал, что оно вернет Фернана домой. А на свадьбе Жильберты ему, глубоко страдающему, вопреки здравому смыслу, казалось, что все же память о Жан-Жаке, тоска по Эрменонвиллю, а быть может, и капелька любви к нему, родному отцу, потянут Фернана к родным пенатам. Но позднее маркиз узнал, что Фернан приобрел земли в Вест-Индии, в Сан-Доминго, что большую часть наследства, доставшегося ему от матери, он вложил в приобретение заморских земель и что, кроме того, ему приглянулась некая мадемуазель Траверсей—хотя и знатного происхождения, но уроженка Вест-Индских островов, следовательно, креолка. Наперекор всему маркиз не мог заставить свое глупое сердце отказаться от надежды, что сын вернется.

И вот наконец он держит в руках это письмо, и он впиается глазами в короткие строчки и в подпись: «Ваш любящий и почтительный сын Фернан де Брежи»—и не знает, куда деваться от струящегося счастья и уязвленной гордости. Фернан даже не дал себе труда сообщить, едет ли он один или, быть может, с семьей креолов Траверсей? Позволительно ли ему—отцу, солдату, воспитателю—не взыскать за такое легкомыслие? А если он поставит это Фернану на вид, не вздумает ли упрямец вдруг отменить свое решение?

Маркиз написал ответное письмо, в котором приветствовал сына, но и укорял его. Решил, что письмо никуда не годится, подумал было даже поручить мосье Герберу ответить Фернану, отбросил эту мысль, в конце концов написал вторично. Счел новое послание недостаточно сдержанным, чересчур любвеобильным, излишне длинным—и тут же отправил его.

В последующие дни и недели маркиз на все лады обдумывал, как ему держать себя с этим бунтарем. мятежником, перебежчиком, переметнувшимся в сословие купчишек, опустившимся до людей типа какого-нибудь Робинэ,—со своим блудным сыном. Впрочем, какой же он блудный сын? Он возвращается не без воинской славы и не без вновь приобретенных богатств. Его вест-индские

плантации поднялись в цене. Как же маркизу встретить сына? Заколоть для него тельца или проявить отчую суровость?

И вот наконец растерянный и умиленный дворецкий доложил:

— Господин граф Брежи изволил прибыть.

И Жирарден бросился в вестибюль и увидел Фернана. Да, это был он, его Фернан, и в то же время какой-то совсем другой—загорелый, мускулистый, возмужалый. Неужели это тот самый мальчик, у которого вчера еще были такие розовые мягкие щечки? И Жирарден забыл обо всех своих намерениях, обнял сына, прижал к себе, расцеловал и все восклицал, запинаясь:

— Фернан! Неужели это действительно ты? Фернан! Мой Фернан! Сын мой Фернан!

И Фернан, в свою очередь, думал, как ему держать себя с отцом. Ведь отец с головы до ног—человек вчерашнего дня, он же, Фернан, принадлежит сегодняшнему и даже завтрашнему дню, и он уже очень взрослый. Отец для него теперь—любимое, упрямое дитя. Всю жизнь отец только и делал, что поучал его. Фернан решил, что будет снисходителен, но не позволит отцу снова забрать над ним власть, от которой освободился. Однако сейчас, вдохнув воздух родного Эрменонвиля, он ничего не мог с собой поделать: он видел отца, постаревшего гораздо больше, чем он думал, видел его растроганное и счастливое лицо с глубокими бороздами скорби, проложенными минувшим семилетием, и ничего, кроме любви к отцу, он в это мгновение не чувствовал.

Жирарден сам проводил Фернана в его комнату. По дорожке заметил, что сын хромает,—слегка, но все же хромает. На встревоженный вопрос отца Фернан рассказывал, что был ранен вскоре после своего вступления в армию. Сначала опасались серьезных последствий, поэтому он постарался, чтобы до отца ничего не дошло. Жирарден, охваченный нежностью в ответ на такое внимание сына, устыдился, что иной раз позволял себе усомниться в его любви.

Теперь, когда они снова вместе, думалось ему, Фернан откроет ему свою душу. А он между тем рассказывал лишь о событиях последних дней. По возвращении, сказал Фернан, он представился в Париже и в Версале, как того требовал существующий порядок, и был очень любезно принят министрами. Военный министр мосье де Сегюр сказал ему даже, что к полученному им званию полковника американской армии будет добавлено, вероятно, и звание полковника французской армии.

Фернан умолк, и тогда Жирарден принялся рассказывать. О посещении императора Иосифа, о многочисленных

паломниках; ему не терпелось поскорее показать Фернану новшества, введенные им в садах.

Фернан шел рядом с разговорившимся, восторженно настроенным отцом. Нелегко ему было изобразить на своем лице восторг, которого ждал от него отец. Ну да, это, конечно, пейзажи из «Новой Элоизы», природа Жан-Жака. Она трогательна, располагает к мечтательности и экзальтации, но немножко ведь она и смешна, верно? Фернан, поживший среди беспредельных лесов, равнин и мощных рек Нового Света, перерос эти сады. Они казались ему теперь такими же игрушками, как куклы детских лет.

Он облегченно вздохнул, когда отец оставил его одного у могилы Жан-Жака.

В трудную пору боевой жизни и в бурные годы, проведенные им на Вест-Индских островах, Фернан не раз старался себе представить, с каким чувством он будет стоять у этой могилы, когда вернется домой. Но сейчас все молчит в нем. Святилище не потрясает его души.

Гораздо больше тронула его встреча с мосье Гербером. Этот не старый еще человек казался старше своих лет. Он похудел, ослабел, волосы у него поредели, а глаза щурились чаще прежнего. Встреча с бывшим учеником глубоко взволновала мосье Гербера. Он застенчиво спросил:

— Могу я обнять вас, Фернан?

Лицо его светилось улыбкой, глаза блеснули, он всячески сдерживал себя, чтобы не прослезиться.

— Кто бы мог подумать? — несколько раз повторил он по-немецки, не в силах оторвать глаз от Фернана.

Фернана поразило сходство мосье Гербера с Жан-Жаком. Сотворив себе из Жан-Жака собственный прообраз, Гербер, как и все, кто вживается в образ любимого героя, возможно, что и бессознательно, перевоплотился в него.

— Да, милый мой Фернан, — сказал он, — значит, годы ученья и годы странствований, как выражается Платон, пройдены. Но до чего же вы возмужали, — изумленно вырвалось у него. — Правда, прошло семь лет. И ваши философские взгляды, надо думать, тоже возмужали от соприкосновения с реальной действительностью? — спросил он, и вопрос этот, которому он хотел придать лукавый оттенок, прозвучал как вызов.

Фернан отчетливо вспомнил один их разговор, когда Гербер заклинал его не сомневаться в учителе. Гербер был прав, но в то же время и неправ, и вместо ответа Фернан в таком же тоне вызова спросил своего бывшего наставника:

— А разве «Исповедь» и вас не смутила, мой милый мосье Гербер?

Примечательно, что оба как бы продолжали свой большой разговор, начатый семь лет назад.

— Никогда я не представлял себе,— отпарировал Гербер,— что в душе великого человека всегда только тишь да мир, что он всегда таков, каким мы знали Жан-Жака в Эрменонвиле, «Исповедь» углубила мое смиренное преклонение перед ним. Точно высеченные на граните, слова вступительных строк искренни и честны. Во всей истории человечества нет другого произведения столь неслыханной правдивости.

Фернан был озадачен. Ведь Гербер-то знал о пропасти, лежавшей между фактами и их изображением в этой книге?

— Разве вас не поразило, что Жан-Жак видел свою жену и подругу совсем не такой, какая она на самом деле?—осторожно спросил он.

Не задумываясь, мосье Гербер ответил:

— Жан-Жак вещал правду, а есть ли правда в реальной жизни—не знаю. Он имел право кроить свой мир по собственному разумению. Его книга честна—мир его неподделен.

Гербер повторил эту мысль по-немецки, упиваясь музыкой слов.

— Мир Жан-Жака более реален, непреложен и вечен, чем так называемая действительность. Действительности придется равняться по нему.

Глубокая, непоколебимая вера мосье Гербера тронула Фернана. Оставшись один, он задумался над словами эльзасца: «Его книга честна, его мир неподделен». Он проверял эти слова на опыте пережитого. Через какие только тяжкие испытания не пришлось ему пройти в Америке. Светлые часы редко выпадали там на его долю, зато сколько было дней, разъедающих душу дрянной будничной суетой. Как мало чаяний сбылось, и как много, бесконечно много было разочарований.

Благородный дикарь Жан-Жака, его дитя природы, оказался призраком. Быть может, малая толика свободы и была добыта, но равенством и братством там и не пахнет.

Как-то,—разумеется, в минуту отчаяния,—задумав подытожить свой американский опыт, Фернан пришел к выводу: все завоевания свелись к нулю. В Соединенных Штатах место безрассудного, губительного и разорительного чванства аристократов заняли алчность и фарисейство буржуа. Вот как, ценой невероятных жертв, осуществились в Америке мечты Жан-Жака.

И все-таки Жан-Жак мосье Гербера такой же подлинный, как его, Фернана. Если уж при жизни Жан-Жак представлялся каждому на свой лад, то тем более — сейчас, когда его нет в живых. Прав мосье Гербер и в отношении личной жизни философа. В Жан-Жаке надо уметь отделить бессмертное от повседневного. Нельзя сосредоточивать внимание на том, что снижает его до нас. Наоборот, нужно раз и навсегда вобрать в себя те его черты, которые заставляют нас тянуться к его вершинам. Свет великих идей в произведениях Жан-Жака вечен, как свет звезд. Слепота Жан-Жака в мелочах повседневности предопределила его судьбу: если бы не она, ему не дано было бы так глубоко заглянуть в сущность основных явлений. Она была во вред только ему одному, а яснovidение Жан-Жака служит на благо всем.

Однажды Фернан встретил в парке толстую пожилую даму, всю в черном, возвращавшуюся, по-видимому, с могилы Жан-Жака. Дама эта смотрела на него так, словно удивлялась, что он не узнает ее, она даже сделала движение, как будто хотела заговорить, но потом прошла мимо. Только позднее Фернан догадался, что это, вероятно, Тереза. Он недоуменно покачал головой: он попросту не понимал теперь, как могло случиться, что он так безмерно влюбился в нее когда-то. Годами не вспоминал о ней. Все, что пережито с этой женщиной, ушло безвозвратно и к нему никакого отношения больше не имеет.

Даже узнав, что Тереза живет в Плесси с пресловутым Николасом, Фернан ничего не почувствовал, кроме какого-то странного безразличия. Он пытался было распалить себя против убийцы Жан-Жака, твердил себе, что, не будь его, величайший мыслитель и писатель земли французской еще и поныне был бы жив. И все же ничего, кроме легкого омерзения к Николасу, он не чувствовал.

Через несколько дней у Фернана произошел первый серьезный разговор с отцом о личных делах. Счастье встречи с сыном было для маркиза омрачено тайными сомнениями. Долго ли пробудет здесь сын? Не уедет ли опять? Что там у него с этой креолкой? И вот наконец мосье Жирарден собрался с духом и спросил:

— Ты ведь довольно долго прожил на французских Вест-Индских островах, не правда ли? Не расскажешь ли что-нибудь о твоей тамошней жизни?

Фернан без того собирался поведать отцу о своей сандомингской эпопее, и ему было досадно, что отец не дождался, пока он сам об этом заговорит. В Филадельфии, сказал он, много было разговоров об отмене рабoвладения. К сожалению, дело так и ограничилось одними разговорами. Вот и захотелось ему собственными глазами посмотреть, как осуществляется в Вест-Индии француз-

ское законодательство о рабовладении, так называемый «Черный кодекс».

— В сущности, дорогой батюшка,— улыбаясь, добавил он,— ведь это вы послали меня в Сан-Доминго. Вы в свое время внушили мне, чтобы я изучил труд Рейналя о Французской Индии.

Жиранден предпочел бы, чтобы Фернан остановился на личных моментах, а тот все распространялся на свою излюбленную тему о рабовладении.

В общем, продолжал Фернан, вест-индские плантаторы обращаются со своими рабами человечнее, чем их коллеги на южном материке, и кружок филаделффов в Кап-Франсэ сделал немало добра. Он, Фернан, был одним из руководителей этого объединения друзей человечества и на огромных плантациях, приобретенных им в Сан-Доминго, пытался доказать, что именно при мягком обращении с цветными рабами можно добиться наилучших результатов.

Маркиз не совсем кстати сказал:

— Ты, конечно, слышал, что я освободил наших крепостных? Ношусь с мыслью отказаться даже и от своих прав на рыболовные угодья.

Он все ждал, что вот-вот Фернан заговорит наконец о креолке, о мадемуазель де Траверсей, и о своих планах на будущее. Он ждал напрасно. Сын продолжал рассуждать о «Черном кодексе».

Фернану улыбалась мысль привезти Гортензию де Траверсей во Францию и сделать ее своей женой. Но он не рассказывал о ней. Он еще колебался, не знал, как ему быть, и поэтому не хотел принимать никаких скороспелых решений. Именно для того, чтобы взвесить все спокойно и без постороннего влияния, он и вернулся во Францию.

Глава седьмая

НОВАЯ ЖИЛЬБЕРТА

Брак Жильберты оказался удачным.

Матье ей нравился, она чувствовала, что он ее любит страстно и сердечно; в атмосфере такой уверенности жилось хорошо. Неприятно было лишь, что он очень уж придирчиво следил за точным выполнением их разнообразных обязанностей при дворе. Зато добросовестно и без малейших возражений выполнял данные ей обещания.

И все же она не так часто бывала с дедушкой, как ей хотелось. Но виноват в этом был не Матье, а мосье Робинэ. Он не менее, чем Жильберта, ценил в Матье

искренность и верность; именно поэтому не хотел навязывать ему свое общество.

— Ну, детка, счастлива ты с твоим графом? — иной раз, правда, спрашивал он у внучки.

— Конечно, а почему бы и нет? — отвечала она.

Заметив изменение в ее фигуре, Робинэ спросил, не желает ли она остаться до родов в Латуре? Жильберта знала, как ему хочется быть подле нее, когда придет срок рожать. Но она не могла доставить ему этой радости. Она обещала Матье на время родов оставаться в Сен-Вигоре, вблизи Версаля. По заведенному обычаю, королева потребует, вероятно, чтобы ей сообщили о состоянии ребенка и матери, и пошлет на крестины свою представительницу.

Все шло своим чередом, ребенок родился в Сен-Вигоре, семи фунтов весом, и в первый же день девочке был присвоен титул графини Курсель в одиннадцатом колене, с правом доступа после представления ко двору в спальню королевы.

Маленькую графиню окрестили редким именем Мария-Сидония, традиционным в семье Курселей. Сама королева, по-своему расположенная к жизнерадостной Жильберте, пожаловала на крестины; помимо обычных даров, она преподнесла крохотного пекинского щенка, только что появившегося на свет от ее собственной ручной собачонки. Матье был горд таким знаком особого внимания, да и Жильберта признала, что щенок Понпон очень смешной, он будет презабавно выглядеть у нее на руках, и для ребенка это прелестная игрушка. Но мысль о том, как потешался бы над всем этим Фернан, отравляла ей радость, и собачка уже не нравилась ей.

Курсели находились в Сен-Вигоре, когда стало известно, что Фернан возвращается на родину. Жильберта тайне надеялась, что он посетит ее, и была разочарована, узнав, что он проехал в Эрменонвиль, не заглянув к ней.

Предполагалось, что через три недели она с Матье на короткое время поедут в Латур. Но Жильберта под предлогом, будто бы дедушка соскучился по Марии-Сидонии, заявила, что предпочитает не откладывать поездки и хотела бы отправиться немедленно. Матье возражал, так как срок службы Жильберты при дворе еще не кончился. Она настаивала на своем. Тогда, поклонившись, он ответил, что, если ей угодно, пусть едет с ребенком в Латур; он останется в Версале до истечения срока своих обязанностей. Жильберте только этого и хотелось.

Робинэ знал свою внучку, как собственные пять пальцев; он понимал, почему она приехала на этот раз раньше обещанного. Среди прочих новостей он как бы вскользь упомянул, что вернулся граф Брежи и что молодому человеку следовало бы, пожалуй, несмотря на

их давнюю размолвку, нанести им визит. Вскоре, видя что Фернан не является, он вдруг предложил: отчего бы, собственно, не съездить им как-нибудь в Эрменонвиль?

Когда маркиз рассказал сыну, что часто видится с мосье Робинэ, Фернан сделал над собой усилие и не спросил о Жильберте. И позднее, когда отец сообщил, что Жильберта в Латуре, он тоже промолчал, хотя и покраснел. За семь лет пребывания в Америке он так и не научился владеть своим лицом.

Излагая мотивы, побудившие его отправиться в Вест-Индию, Фернан сказал лишь часть всей правды. Философия была только одним из мотивов, Гортензия де Траверсей — другим; но был еще и третий мотив, сильнее, чем первые два, он-то и погнал Фернана на Вест-Индские острова: ему хотелось оттянуть возвращение на родину, хотелось испытать Жильберту, заставить ее ждать; если она прождет его достаточно долгий срок, он ее простит, решил он. Но сейчас, услышав, что Жильберта так близко, он вдруг со щемящим сердцем понял: он вел преступную игру и вполне заслуженно проиграл.

Как бы то ни было, прощать он ничего не собирается. Он не поедет к ней после обиды, которую ему нанесли в Латуре.

А потом случилось так, как он опасался, а может быть, и надеялся. Вернувшись однажды с прогулки, он застал гостей, беседовавших с отцом: мосье Робинэ и Жильберту.

Он сразу почувствовал себя мальчиком, время пошло вспять,—никакого Жан-Жака в Эрменонвиле не было, никакой Фернан в Америку не ездил, никакая Жильберта не выходила замуж. В гости приехала Жильберта, которую он видел вчера, и неделю назад, и всю жизнь, приехала со своим дедушкой, как всегда, без предупреждения и прочих формальностей, и они—Жильберта и Фернан—сейчас мигнут друг другу, как всегда, как всю жизнь делали, а потом встанут и оставят стариков одних.

И они встали, оставив стариков одних, и пошли по дорожкам парка.

Возможно, что в комнатах они вели светский разговор о безразличных вещах, возможно, что и сейчас они говорили о пустяках, о безразличном,—они этого не сознавали. Первые слова, осмысленно произнесенные Жильбертой и дошедшие до Фернана, были:

— Что вы со своей ногой сделали, Фернан? Ничего серьезного, надеюсь?

Но в голосе у нее было столько тревоги и нежности, что он почувствовал благодарность к тому англичанину или гессенцу, чья пуля настигла его.

Он был сдержан и молчалив. Говорила больше Жильберта.

— Вы ужасно повзрослели, Фернан,— сказала она.— Разумеется, я представляла себе, что это так, но все же вы меня поразили.— И, помолчав:— Все переменялось, и словно бы ничего не переменялось,— и это опять была просто болтовня, а быть может, в этих словах заключался особый смысл?

— Я бился над множеством вопросов,— заговорил наконец Фернан. Он говорил с трудом, боясь поддаться настроению минуты. В тот раз Жильберта не поняла мучивших его вопросов, она его никогда не понимала и не хотела понимать, и он непременно ей это скажет.

— Зато вы свет увидели, потолкались среди людей,— сказала Жильберта; ему и неприятно было, и в то же время польстило, что Жильберта повторила ему слова, которые он когда-то сказал ей.— Да и приключений у вас было немало,— продолжала она; и никто, вероятно, и она сама, не мог бы определить, сказано это в шутку или всерьез.

— Да, мне пришлось столкнуться со многими поразительными явлениями,— деловито ответил Фернан.— В жизни иные вопросы предстают часто совсем в другом свете, нежели в книгах.— Он сел на своего конька и был счастлив. Заговорил о рабстве— проблеме, для изучения которой отправился в Вест-Индию. Приводил высказывания Франклина и высказывания Вашингтона, Джефферсона, говорил о том, что на французских островах картина совсем не та, что на Американском континенте, там лучше обстоит дело и в то же время хуже, и он говорил о том, что должно быть и что есть. Он увлекся и казался прежним, очень юным Фернаном, он слегка прихрамывал и был чудесным и страшным человеком.

Пока Жильберта находилась рядом, Фернана волновали прежние чувства к ней; но стоило ему остаться наедине с собой, как он снова подпадал под власть разума и философии. Для Жильберты, рассуждал он, прошлое, очевидно, уже не существует, ее радует, что они опять вместе, она безраздельно отдается счастливому мгновению. Ему же такое бездумное счастье недоступно. Не может он забыть и того, что она теперь еще теснее связана с легкомысленными, опасными кругами общества, от которых он бежал. Она и теперь так же мало понимает его и его мир, как и раньше; она не обронила ни единого словечка раскаяния и сожаления о том, что не понимала его. Он из кожи лез вон, стараясь раскрыть перед ней тяжкую проблему рабства, а она не задала ему ни одного вопроса, не выказала никакого интереса. Ему даже казалось, что губы ее кривила едва заметная, жесткая,

недобрая усмешка, и чем больше он силился припомнить, была ли в действительности такая усмешка, тем она становилась злее.

Теперь он знает, что делать. Он вернется в Сан-Доминго, и не откладывая. И он уже с удовольствием думал о своей работе на островах, он тосковал по Гортензии. Она стояла перед ним такая, какой он увидел ее в первый раз. Это было на балу у губернатора; она впрорхнула в зал, высокая и тонкая, очень юная; матовая смуглость ее лица оттенялась добела напудренными волосами, девичьи плечи нежно выступали из выреза платья цвета бронзы. То, как она без всякого стеснения очень светлыми глазами смотрела на него и как бы сквозь него, как расспрашивала высоким насмешливым голосом об «его учителе Жан-Жаке», пленило и увлекло его. Конечно, Гортензия, отпрыск старинных родов—французского и кастильского,—была надменна сверх всякой меры. Но выдавались минуты, когда она сердцем понимала его, когда она была его Юлией, и эти драгоценные счастливые минуты в десять раз перевешивали страдания и горькую досаду, которую он порой чувствовал из-за нее. Как будет чудесно, когда он привезет ее во Францию и покажет ей эту прекрасную, хоть и растрепанную страну, которой все же принадлежит будущее. Он воспитает Гортензию в своем духе и в духе Жан-Жака. Нет, он не будет больше дураком, ему и в голову не придет потерять еще и Гортензию, «испытывая» ее, обрекая на бессмысленное ожидание. Он вернется в Сан-Доминго. Он завтра же, самое позднее послезавтра объявит отцу о своем решении отправиться в Вест-Индию, чтобы привезти свою невесту.

И в Латур он завтра же поедет, чтобы и Жильберте сообщить о своем решении. Его это несколько не пугает. Он откровенно изложит ей свои планы и скажет, что между ними все кончено и прощаются они навеки.

Он поехал не верхом, а в экипаже, облачившись в военный мундир. Не Фернан ехал к Жильберте, а граф Брежи отправлялся с официальным и прощальным визитом к мадам де Курсель. Все это будет, наверно, не слишком приятно; возможно, ему придется полюбоваться ребенком и сказать по его адресу несколько восторженных слов.

Его встретила по-сельски одетая Жильберта, свежая, естественная, обаятельная.

— Надеюсь, Фернан, что мне можно не переодеваться по случаю вашего приезда,—пошутила она, и он показался себе смешным в своем блестящем мундире и прищипке. Она без умолку тараторила, словно в дни их теснейшей дружбы, и он не понимал, как могло ему прийти в голову, что она изменилась. Ее улыбка вовсе не

бессердечная, не злая, это улыбка Новой Элоизы, а он дурак, ослепленный дурацкими видениями.

Она рассказывала о дружбе дедушки с маркизом. Маркиз все уши прожужжал дедушке, чтобы тот все же перестроил сады Латура в духе Жан-Жака по образцу Эрменонвиля. Но мосье Робинэ решительно отказывался; если уж, говорил он, природа — так настоящая, а если уж парк — так чтобы там были и тис, и бук, и фонтаны, и красивые клумбы: пусть мосье де Жирарден сам наслаждается своей искусственной природой, а ему, Робинэ, она не нужна. Вечно они подтрунивают друг над другом, эти два почтенных старика, но один без другого жить не может. Жильберта рассказывала весело, с юмором и с большой теплотой.

Она не говорила ему ни о Матье, ни о малютке Марии-Сидонии, ни о королеве и сббачонке Понпон. И Фернана не расспрашивала об его креолке, о которой, конечно, слышала. И о давнишней размолвке не вспоминала.

Он слушал ее болтовню, но не столько вникал в содержание того, что она говорила, сколько в музыку ее речи. Она сказала вскользь: «Ну разве мосье Робинэ не замечательный человек?» — и смысл этого восклицания он тотчас уловил и понял: в такой мягкой форме она упрекала его за то, что он тогда ее оставил! Можно ли более кротко жаловаться и укорять? Сердце у него сжималось от грусти и радовалось, ибо оно, его сердце, стало мудрее. Не лучше ли и в самом деле было бы для них обоих, если бы он последовал совету мосье Робинэ и дождался формирования французского экспедиционного корпуса?

Все это вздор, конечно. Он, Фернан, правильно тогда поступил.

Но он не мог отделаться от мысли, насколько поиному все сложилось бы, если бы он проявил тогда больше благоразумия. Жильберта и Гортензия слились в единый образ. Вот он с Жильбертой верхом объезжает свои вест-индские владения, и она изумляется их обширности, бескрайности, задает вопросы, а он объясняет, почему он одно сделал так, а другое иначе, она улыбается одобрительно, нежно и чуть-чуть иронически над его рвением.

На этот раз, расставаясь, они были очень близки друг другу.

Он не объявил отцу, что уезжает. Вместо этого он написал Гортензии, что некоторые обстоятельства задерживают его пока во Франции; пройдут, вероятно, годы, пока он сможет вернуться на Сан-Доминго. Он написал сердечное, деловитое, очень дружеское письмо, но нежности в нем было мало.

В следующий свой приезд в Латур он застал Жильберту не одну. Приехал Матье.

Жильберта держала себя с Фернаном непринужденно, как с самым дорогим и близким другом; и Матье тоже принимал его, как близкого друга дома. Но Фернан при всем желании не мог преодолеть своей скованности и раздражения. А когда вдобавок ко всему внесли ребенка, маленькую Марию-Сидонию, с собачкой Понпом, Жильберта вдруг представилась ему какой-то совершенно чужой, одной из придворных дам Версаля.

В глубоком замешательстве покинул он Латур. Во сне, что ли, привиделось ему все, что было в прошлый приезд? И опять его больно поразила мысль, как переменчив в его представлении образ одного и того же человека. Жильберта казалась ему то совсем прежней, то новой, иной, и опять другой, и он никак не мог слить воедино эти разные образы.

Он избегал встреч с ней, но предотвратить их не всегда удавалось. Чаще всего он держал себя в ее обществе замкнуто и скованно. А иной раз напряженность рассеивалась, возвращались все ощущения его юности, он забывал о существовании Матье и должен был делать над собой огромное усилие, чтобы вспомнить обо всем том, что встало между ним и Жильбертой.

А она находила, что он такой же, каким был, и хотя сопротивляется ее попыткам восстановить дружбу, все-таки порвал из-за нее со своей креолкой.

Однажды, когда они сидели вдвоем, в комнату вошла маленькая Мария-Сидония. Девочка была одета, как того требовал обычай, по-взрослому: в платье из тяжелой торжественной ткани. Вся повадка ее тоже была кукольно-торжественной и взрослой. Жильберта заметила задумчивый взгляд Фернана, наблюдавшего за ребенком, и сказала, что она бы растила свое дитя шумным и естественным, как росли они с Фернаном, но Матье и дедушка настаивают на воспитании, принятом в высших кругах; они считают, что во времена, когда рушатся устои, это важно вдвойне. Фернан взглянул на нее, взглянул на ребенка и промолчал. А она увидела в его глазах осуждение, и на лице у нее появилась та самая едва заметная жесткая усмешка.

Глава восьмая

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЖАН-ЖАК

С тех пор как вернулся Фернан, дом маркиза стал таким же радушным и гостеприимным, как в былые времена. Там можно было встретить философов, писате-

лей, представителей передовой аристократии и множество «американцев» — так называли французов, которые в свое время отправились в английские колонии, чтобы драться за дело поборников свободы. Несколько раз приезжал и американский посол Томас Джефферсон.

Разговоры в Эрменонвиле вертелись главным образом вокруг внутренней политики. С государственным бюджетом дело обстояло плохо. Оба привилегированных сословия, аристократия и духовенство, не только освобождались от налогов, но и под видом всяких феодальных поборов перекладывали в свой карман львиную долю государственных доходов. А большинство населения этой богатой страны влачило жалкое, почти нищенское существование. То тут, то там уже вспыхивали беспорядки. Требовалась коренная перестройка, реформа всего государственного строя сверху донизу; назревал переворот.

И свободомыслящие гости мосье де Жирардена считали, что революция неизбежна. Но они полагали, что это будет мирная революция. Повсюду зримы признаки прогресса, говорили они. Просвещенные министры ставят перед собой задачу отмены исключительных прав и преимуществ, которыми пользовались привилегированные сословия; назревают многообещающие благословенные события. У руля революции станут философы, выдающиеся политические деятели, она совершится сверху. Сам король преисполнен доброй воли. Советники-либералы, несомненно, добьются от него провозглашения конституции, устанавливающей равные права для всех.

Фернан во все это не верил. Практический опыт подсказывал ему, что беззубыми декретами и половинчатыми указами не сломить упорное сопротивление готовой на все господствующей верхушки. Благожелательные действия единичных государственных деятелей мало что могут изменить, ведь вот даже либеральный император Иосиф — и тот не бог весть чего достиг. Существующую в стране феодальную систему надо в корне уничтожить, а этого никто не сделает, кроме тех, кто испытывает ее гнет на собственной шкуре и на собственном хозяйстве. Великий переворот может быть совершен только снизу, только массами, народом.

Веками низшие слои принимали свою беспросветную нужду как нечто неизбежное, как порядок, который не может быть изменен. Но вот явился Жан-Жак и показал, что иной порядок вполне возможен. Это дошло до обеспокоенных, они слышали имя Жан-Жака, смутно знали об его учении. Пока они только просыпаются, протирают глаза, а когда проснутся по-настоящему, они возьмутся за ум и сами сбросят с себя иго. Государство Жан-Жака

будет, конечно, построено, но средствами отнюдь не философскими.

Подобные речи Фернана вызывали на лица слушателей изумление, недоумение. Неужели он и впрямь так думает? Неужели он в самом деле считает, что революция непременно должна быть кровавой, как та, которая в прошлом веке потрясла Англию? Нет, в нашей просвещенной Франции подобные явления невозможны. Мы мирно свершим необходимый переворот и введем его в правильное русло.

Как-то в Париже мосье де Жирарден и Фернан были в гостях у мадам де Бово, супруги маршала. Там собралось большое общество: члены академии, придворные кавалеры и дамы, и опять разговор вертелся вокруг того, как много принципов из учения Вольтера и Жан-Жака можно видеть уже в действии. Всюду наблюдается прогресс, грядет эра разума.

— Мы все будем свидетелями этого счастливого переворота,—воскликнул один из гостей.

Среди собравшихся находился пожилой, приятной внешности господин. Звали его мосье Газот. Видный писатель, автор премилых рассказов в стихах, мосье Газот был мистиком и считал, что есть люди, которым дано провидеть будущее. К числу подобных провидцев он относил и себя. Некоторое время он молча прислушивался к общему разговору.

— Да, милостивые государи и государыни,—вмешался он наконец в общую беседу,—до вашей великой чудесной революции вы, конечно, доживете, но пережить вам ее не придется. Большинство из вас падет ее жертвами, и самым роковым образом.

Это вызвало смех.

— Какой вздор. Ведь все будет подчинено философии и разуму.

— Вот как раз именем философии и на алтари разума вас-то и будут приносить в жертву,—ответил он и с леденящими душу подробностями принялся описывать гибель то одного, то другого из гостей.

— Да разве во Франции придут к власти какие-нибудь турки или татары?—спрашивали его.

— Отнюдь,—отвечал мосье Газот.—У власти станут философы. Судьи, вынося вам приговоры, будут пользоваться теми же формулами, которыми вы вот уже целый час сотрясаете здесь воздух. С цитатами из Вольтера, Дидро и Руссо вас будут посылать на смерть.

— Однако хватит этих зловещих шуток,—решительно сказала супруга маршала.

— Еще только один вопрос, разрешите?—попросил кто-то из гостей у хозяйки дома и, повернувшись к мосье

Газоту, спросил: — А какова будет ваша судьба, господин пророк?

— Все вы, вероятно, читали Иосифа Флавия и, бесспорно, помните то место, в котором рассказывается, как во время осады Иерусалима какой-то человек только и делал, что ходил по валу и целыми днями стенал: «О, горе Иерусалиму! О, горе мне!» Выстрел одного из осаждавших прикончил его.

Мосье Газот откланялся и покинул общество.

Пророчества Газота служили в Париже и в Версале темой бесконечных разговоров, над ними много смеялись. Фернану не было смешно. Слепы все его друзья, что ли? Он, разумеется, не верит ни в пророчества, ни в прочую чертовщину; как и друзья его, он чужд суеверий и всякой иной мистики. Но речи Газота неприятно поразили его, так же как и остальных: они шли не только от веры провозвестника в свой дар ясновидения. Мосье Газот глубоко изучил положение в стране, и это определяло его мироощущение. Его слова должны были бы заставить слушателей хоть разок поразмыслить, не ошибаются ли они в своих рассуждениях. Друзья Фернана очень умны, слов нет, они знакомы с трудами философов и историков, древних и современных, они умеют необычайно красноречиво и убедительно защищать свои доводы. Но замечают ли они то, что происходит рядом с ними? Они, быть может, умеют видеть глубокую взаимосвязь явлений, но не видят людей непосредственно их окружающих, обездоленных, угнетенных — тех, кто начал шевелить мозгами и уж засучивает рукава, собираясь действовать.

Фернан не верил, а знал: то, что грядет, нельзя будет ввести в намеченное русло, как искусственные ручейки в Эрменонвиле. Грядет наводнение, которое увлечет в пучину немало жизней, в том числе, быть может, и его, Фернана, жизнь. Но он с радостью готов принять великий переворот, во что бы тот ни вылился, и всей душой готов способствовать его приближению.

Нет никакого смысла обсуждать учение Жан-Жака с просвещенными людьми, они и сами его знают. Важно другое — популяризировать принципы этого учения, сделать их доступными народу, чтобы народ руководствовался ими в своих действиях.

Но для этого надо самому проникнуться духом народа. Нужно слиться с массой воедино. Он, Фернан, никогда не чувствовал себя своим среди народа. Вспоминая тяжкие годы пребывания в военном училище, он теперь понимал, что именно восстанавливало против него товарищей и учителей. В нем, вопреки всему, было в ту пору еще очень много врожденного аристократического высокомерия. И как ни старался он просто держать себя в среде деревен-

ских мальчишек, какие усилия ни делал, чтобы стать с ними на равную ногу, для них он всегда оставался графом Брежи, их будущим сеньором. Никогда он и Мартин Катру не понимали друг друга до конца.

Только в Америке, в армии, было по-иному. В суровой обстановке боевых походов, в сражениях, когда повсюду подстерегала опасность, там у него установились подлинные товарищеские отношения с окружающими.

Особенно остро он испытал чувство, что он посторонний в родных местах, в дни, когда Иль-де-Франс постигло наводнение. Смирная речушка Нонет превратилась в бурный поток, сады Эрменонвиля залило полыми водами, на всех землях маркиза вода угрожала урожаю крестьян и арендаторов. Маркиз лично распоряжался, командовал, не разрешал себе ни часа сна, помогал крестьянам людьми, инструментом, деньгами. Фернан с изумлением наблюдал, что это ни в ком не вызывает ни малейшей признательности. Крестьяне не желали видеть, что отец, можно сказать, все силы напрягает для их блага. Недоверие их не рассеялось, сеньор и его сын оставались для них чужими.

Ах, если бы удалось сломить стену, стоящую между ним, Фернаном, и народом! Ему хотелось войти в непосредственное соприкосновение с людьми из народа, дружить с ними, ссориться, мириться.

Он знал народ по книгам, по разговорам, ни к чему не обязывающим, по моментам общей опасности, по неясным ощущениям. Но, в сущности, он народа не знал. Люди из народа всегда не так реагировали на вещи, как он предполагал. Братство! Он должен сравняться с ними, стать таким, как они, если он действительно хочет быть их братом.

Но прежде всего надо поближе узнать их.

Обстоятельства складывались благоприятно: власти города Санлиса искали кандидата на пост советника. В обязанности советника входило не только представлять интересы города в многочисленных переговорах с вышестоящими инстанциями, но и консультировать граждан и крестьян, жителей ближайшей округи. Фернан предложил свою кандидатуру.

Маркиз осторожно выразил предположение, что, быть может, правильнее было бы поступить на службу в министерство финансов или в военное министерство, это открыло бы перед Фернаном верный путь к быстрой и блестящей карьере. Но Фернан не внял совету отца, и тот не настаивал на своем. Наоборот, сделал вид, что понимает мотивы сына. Перед друзьями он хвалил сына, говорил, что Фернан выказал себя истинным учеником Жан-Жака: он стремится быть ближе к народу и поэтому

предпочел скромные дела маленького славного городка Санлисе блестящим придворным постам.

Фернан настолько добросовестно отнесся к своему новому назначению, что даже переехал в Санлис. Он мог бы там поселиться в одном из пустующих дворянских особняков, но предпочел скромный сельский домик на городской окраине.

Городские сановники — епископ, председатель окружного суда, мэр — чувствовали себя польщенными, что могут причислить к своим согражданам будущего эрменонвильского сеньора. Местные столпы умственной жизни — историограф, поэт, публицист — рассчитывали привлечь Фернана в свой круг. Но добровольно выбранный пост отнимал у него все время. Он встречался только с мелкими ремесленниками, крестьянами, лавочниками, писцами, нуждавшимися в его советах. Он старался помочь им не только в защите их прав, но и в их повседневных заботах. Он смиренно и упорно добивался дружбы мелкого люда.

Так случилось, что в Санлисе он встретился с другом детства Мартином Катру.

В Париже Мартин многому обучился у мэтра Бувье. Диплома адвоката он, конечно, получить не смог — оказалось, что по возрасту ему уже поздно начинать долголетнее учение, и он стал, по сути дела, весьма сведущим письмоводителем с некоторым опытом в судебных делах. Но знание произведений Жан-Жака позволяло ему облекать свои аргументы в форму изречений самой действенной философии, и он добивался успеха там, где дипломированные адвокаты пасовали.

Вскоре о нем пошла слава, что он помогает беднякам добиваться правды в борьбе с несправедливыми законами.

Он приводил свои доводы в резком, независимом тоне, высоким, пронзительным голосом. Его крутая прямолинейность, упорство, с которым он, полагаясь на силу своих доказательств, не шел ни на какие уступки, создали ему друзей и поклонников.

Среди них была и некая Жанна Мопти. Отец Жанны, коренной житель Парижа, человек норовистый, завел тяжбу с каким-то вельможей, был осужден и умер в тюрьме. Жанна была хоть и некрасивая, но дельная и умная девушка. Судьба отца привела ее к философии. В Мартине она увидела человека, который не только говорит о философии Жан-Жака, но и живет ей. Жанна стала почитательницей и ученицей Мартина. Фанатическая вера придавала ей обаяние. Мартин женился на ней.

Жанна спасла немного денег из разоренного состояния отца. Мартин мог себе позволить за малую мзду или вовсе

безвозмездно защищать права угнетенных в их спорах с привилегированными.

Некий мосье Вийяр, житель города Санлиса, которого Мартин с успехом защитил, настойчиво убеждал его переехать в Санлис. Мартин не возражал. Его привлекала мысль работать в этом маленьком, родном ему городе, где его так долго не признавали и третировали как бедняка. В короткое время он и здесь приобрел друзей, пользовавшихся всеобщим уважением. Его выбрали в городское самоуправление.

Там-то, стало быть, в ратуше города Санлиса, Фернан и встретился с другом детства Мартином Катру.

Фернан, разумеется, представлял себе, что за время их разлуки Мартин, вероятно, изменился. И все же он был поражен, увидев перед собой взрослого, широкоплечего, уверенного, многоопытного, словно заполнившего собой всю комнату, Мартина. И сразу почувствовал себя подростком. Он уставился на Мартина и глупо спросил:

— Это ты, Мартин?

— Полагаю, что я,—ответил Мартин. Ухмыляясь, оглядывал он Фернана черными, умными, насмешливыми глазами. Он смотрел в его смелое лицо с глубокой складкой над переносицей, видел, как Фернан смущен.

Оба были искренне обрадованы встречей, но оба сразу постарелись. С первой минуты были восстановлены старые отношения, старая дружба-вражда.

И Фернан тем временем пристально разглядывал Мартина. Тот по-прежнему одевался с подчеркнутой небрежностью. Еще ниже падали волосы на широкий, заросший лоб. В самом облике этого человека было что-то запальчивое, бунтарское.

— Странно, в сущности, что мы до сих пор ни разу не встретились с тобой,—с несколько натянутым оживлением произнес Фернан.

— Вы полагаете, граф Брежи?—ответил Мартин своим высоким, пронзительным голосом.

— Зачем ты так, Мартин,—дружески упрекнул его Фернан.—Почему ты не говоришь мне «ты»?

Он шагнул к нему. Мартин увидел, что Фернан слегка хромает.

— Знаю, знаю. За это время ты снискал себе славу, добывая правду для нас, мелкого люда.

Однако сквозь иронию этих слов прозвучала теплота.

— Зайди ко мне непременно,—попросил Фернан.—Мы столько должны рассказать друг другу. Приходи сегодня же, к ужину.

— А могу я пригласить тебя к себе?—встречным приглашением ответил Мартин.—Моя жена будет, несом-

ценно, рада. И мать, конечно, с удовольствием повидает тебя.

Фернан, слышавший о тяжбе отца с вдовой Катру, на мгновение заколебался, но тотчас же сказал:

Разумеется. Я приду, если тебе это приятнее.

Хорошо,—заклучил Мартин.—В таком случае сегодня вечером я у тебя.

Когда Фернан был в Америке, Мартин с жадностью ловил все, что о нем где-либо рассказывали, и радовался, если его хвалили. Но с тех пор как Фернан вернулся во Францию, вся его деятельность раздражала Мартина. Она доказывала, что в Америке он нисколько не поумнел, а уж то, что он тут, в Санлисе, затеял, было сплошным дилетантством и ремесленничеством, чистейшим кривлянием. Но что поделаешь? Фернан родился аристократом; ему, Мартину, легче быть умным, он должен многое прощать другу своей юности. Направляясь к Фернану, Мартин дал себе слово, что сегодня он воздержится от каких бы то ни было колких замечаний.

Сначала все шло хорошо. Но потом Фернан заговорил о тяжбах бедняков, об их домашних делах, говорил тепло, так, словно он сам один из этих бедняков. Это взорвало Мартина. Побывал человек в Америке, а до сих пор еще не понял, что с мелким людом у него столько же общего, сколько у коровы с академией. Дедушка Поль и папаша Мишель, за которых он так распинается, считают на су, а он, Фернан,—на луидоры. Уж если ты рожден аристократом, так не лезь, пожалуйста, к народу.

— У тебя здесь очень уютно,—сказал Мартин,—и совсем скромно. Откровенно говоря, меня удивило, что ты не поселился во дворце Левй,—с ехидцей добавил он.

Это был родовой дворец стариннейшей фамилии герцогов Леви, а Леви и Жирардены состояли в дружбе.

— А на что он мне сдался, этот дворец Леви?—ответил Фернан, которого вопрос Мартина скорее позабавил, чем уязвил.

— А как же? Одна часовня там чего стоит. Ежедневно созерцать ее—сколько приятных эмоций для аристократа!

В этой часовне над алтарем висела картина, написанная в тринадцатом столетии. На ней был изображен тогдашний владелец замка, ведший свой род от Леви, третьего сына патриарха Иакова; сеньор де Леви стоял на коленях перед святой девой, а она, как гласила разъяснительная надпись на ленте, ласково приглашала его: *Couvrez-vous, mon cousin*¹.

Фернан добродушно рассмеялся.

¹ Покройтесь, мой кузен (фр.).

— Я в добрых отношениях с Гастоном де Леви,— ответил он.— Уверяю тебя, что он смеется над этой картиной так же, как мы с тобой.— И уже с серьезным лицом, обняв Мартина за плечи, он с мягким укором продолжал:— Зачем ты городишь весь этот ненужный вздор? Почему ты всегда начинаешь с подковырки? Что я тебе сделал?

— Ничего, кроме хорошего,— издевался Мартин, стараясь придать своему пронзительному голосу спокойное звучание, но на лбу у него выступили красные пятна.— Ничего, кроме хорошего, вы мне не сделали. Вы были очень милостивы ко мне. Сначала твой уважаемый батюшка показал^А моей матери свою власть хозяина, но зато потом был так человеколюбив и милостив, что послал меня учиться в Париж. Если я сейчас что-нибудь представляю собой, то у сеньора есть все основания заслугу в том приписать себе. Он осыпает нас милостями, наш сеньор, и мне тоже кое-что он них перепадает. Я не желаю никаких милостей,—вдруг пронзительно выкрикнул Мартин.— Я хочу получить свое право, свое, природой данное мне право, о котором столько толкует ваш Жан-Жак.

Фернан молчал.

— Впрочем, это не ваш Жан-Жак,—не унимался Мартин.— Он не имеет ничего общего с вашими милостями. Он встал на защиту нашего права. Жан-Жак наш.

Теперь покраснел и Фернан. Он бы с удовольствием бросился на Мартина с кулаками, как в былые дни. Но он не хотел горячиться и поступать, как отец, отнявший лавчонку у вдовы Катру.

— А тебе никогда не приходило в голову, что ты чванишься своей принадлежностью к народу гораздо больше, чем наш брат чванится своим знатным происхождением?—спросил он спокойно.

Мартин пропустил его слова мимо ушей.

— Я считал Жан-Жака юродивым,—признался он.— Я смеялся над ним. И когда я вспоминаю, как он, точно святой Франциск, бродил по Эрменонвиллю, меня и сейчас еще разбирает смех. «Новая Элоиза» — *дрянь*. Эту книгу Жан-Жака вместе с его «природой» можете даром взять себе, господа Жирардены, и тот Жан-Жак, который их создал,—это ваш Жан-Жак. Но его трактат о неравенстве и его «Общественный договор» — в них вы ни черта не смыслите, сколько бы вы ни декламировали по этому поводу. Этого Жан-Жака поймет лишь тот, кто рожден в бесправии. И потому-то, мой милый, потому-то он *наш* Жан-Жак.

Мартин досадовал на себя. Он, бесспорно, прав, и так же, как ему чужда чувствительная мечтательность «Новой

«Долгны», Фернану не понять суровых истин «Общественного договора», потому что Фернан всю жизнь был сыт, а он, Мартин, всю жизнь голодал. Но этого Фернану все равно никогда не втолковать, и, стало быть, не следовало пускаться в спор.

Расскажи-ка об Америке,—предложил он, чтобы переменить тему.—Говорят, весь боевой дух там выдохся, а привилегии только называются по-иному. Расскажи, пожалуйста.

Фернан охотно согласился.

— К тому, что произошло в Америке, нельзя подходить с европейской меркой,—начал он.—Там не было ни Парижа, ни вообще каких-либо крупных городов, не было и владетельных сеньоров; людям приходилось вступать в борьбу лишь со стихийными явлениями природы и с индейцами. Во всяком случае, в первые годы те, кто серьезно желал революции, были в меньшинстве, а среди привилегированных насчитывалось меньше передовых людей, чем здесь. Тем выше следует оценить победу революции. А то, что чистота возвышенных чувств не удержалась на высоте, что в людях вновь зашевелились корысть и мелкая зависть,—это присуще человеку, это естественно.

— Ты, значит, разочарован?—деловито подытожил Мартин.

С минуту Фернан колебался. Потом сказал:

— Там очень многого достигли. И все это—великий пример.

Расстались они, всласть наговорившись и с удовольствием думая о следующей встрече.

Но сколько бы они ни зарекались проявлять друг к другу терпимость, они вечно спорили—и о делах города Санлиса, и о делах тех или иных горожан, и оба пускали в ход немало слов, чтобы уязвить друг друга.

Внешне они оставались друзьями, но жители Санлиса чувствовали их постоянную внутреннюю распрю. Приверженцы Мартина питали недоверие к Фернану, приверженцы Фернана питали недоверие к Мартину.

Фернан скромно и неутомимо занимался делами бедняков. Он с полным правом мог сказать, что многие видели в нем не самодура-покровителя, а честного друга. Но слова Мартина о Жан-Жаке не выходили у него из головы, в них было зернышко, в них было даже целое зерно правды. Какая-то доля философии Жан-Жака оставалась для него, Фернана, под замком, она принадлежала «другим», народу.

По стране прокатилось мощное движение: объявлено было о созыве Генеральных Штатов, не собиравшихся на протяжении последних ста семидесяти пяти лет. Финансовые затруднения правительства достигли таких пределов, что оно не решалось принимать новый бюджет без одобрения народа.

Генеральные Штаты составлялись из депутатов от обоих привилегированных сословий, дворянства и духовенства, а также от третьего, непривилегированного — буржуазии. Третьему сословию было предоставлено право послать представительство, численно равное представительствам обоих привилегированных сословий, вместе взятых. Это было очень важное прогрессивное новшество. Помимо этого, избирательным правом пользовался каждый француз, достигший двадцати пяти лет и платящий налоги. Впервые с тех пор, как Римская республика вынуждена была уступить место цезарям, впервые за последние две тысячи лет, народ, да еще величайший из европейских народов, был призван решать и определять, как вести хозяйство в стране.

Бурные надежды всколыхнули страну.

Общинам предоставлялось право давать своим депутатам указы, поручения, списки пожеланий и жалоб. Составление наказа от Санлиса магистрат поручил графу Фернану Брежи и сьеру Мартину Катру.

Фернан и Мартин начали с ожесточенного спора. Фернан, опираясь на приобретенный им в Санлисе опыт, полагал, что самое важное — ясно и четко перечислить отдельные нужды. Он хотел выставить требования, сформулированные в самых резких выражениях: об устройстве плотины на реке Нонет, об отмене некоторых дорожных законов и пошлин, а главное — об ограничении прав охоты, которыми пользовались члены королевской фамилии.

Мартин усмехнулся: ему известно было о вечной грызне Жирарденов с королевской егермейстерской канцелярией относительно права охоты принца де Конде.

Мартин не возлагал больших надежд на столь пышно объявленный созыв Генеральных Штатов. Он полагал, что у народных представителей ценой уступок в незначительных, второстепенных вопросах исторгнут согласие на новые обременительные налоги, а затем разгонят всех по домам. Все вместе выльется в этакий торжественный фарс, после которого оба привилегированных сословия, как и прежде, тяжелым грузом повиснут на шее у

третьего сословия. Но именно поэтому нельзя останавливаться на мелочах, а нужно требовать самого существенного — отделения исполнительной власти от законодательной, ответственности министров перед народом, короче говоря — ограничительной конституции. Уже поскольку представлялась возможность выступить перед страной и перед всем миром — все, даже самые маленькие общины, должны ставить во главу угла это основное требование.

После долгих пререканий Мартин и Фернан согласились на том, чтобы на первый план выдвинуть требование конституции, но затем изложить в сильных обличительных выражениях требования об устранении отдельных неурядиц.

Городские советники Санлиса чрезвычайно уважительно отозвались о логичности и убедительности наказа. Не встретила возражений и резкая форма требования конституции. Но воинственные интонации в описании злоупотреблений королевской егермейстерской канцелярии смутили господ советников; тут они почесали в затылках. Такой язык, наверное, не понравится принцу де Конде, и в отместку он изведет Санлис всяческими придирками, а может, даже карательными мерами. Фернан, однако, настоял на своем тексте, и Мартин, этот добрый друг, поддержал его.

В конце концов городские советники потребовали, чтобы оба составителя лично подписались под меморандумом в качестве авторов, и несколько успокоились, увидев под документом подпись будущего эрменонвильского сеньора.

Церемония открытия Генеральных Штатов была обставлена с необычайной пышностью. Стоял погожий майский день, и тысячи парижан приехали в Версаль поглядеть на историческое зрелище. Двор и тысяча двести депутатов, вытянувшись в процессию, проследовали через весь празднично убранный город в церковь св. Людовика, на богослужение. Реакционные дворцовые чиновники придумали мелкую каверзу с целью подчеркнуть дистанцию между привилегированными сословиями и буржуазией: депутаты получили предписание явиться в старинных сословных одеяниях, как это имело место на последнем созыве Генеральных Штатов сто семьдесят пять лет назад. И вот рядом с представителями дворянства и духовенства, облаченными в сверкающие золотым шитьем старинные костюмы из шелка и парчи, шагали буржуа в самых скромных нарядах, в черных плащах. Но среди избранных в Штаты представителей высшей знати можно было увидеть всем известных либералов, да и «американцев» — таких, как Лафайет и кое-кто из его друзей, а среди депутатов третьего сословия попадались аристокра-

ты, как, например, граф Мирабо. Согласившись выступить избранниками простого народа, они тем самым открыто выражали свою оппозицию двору.

Зрители с радостью смотрели на это сближение сословий, воспринимая его как знак великого единения нации. Надежда, вера в будущее витали над Версалем в этот чудесный весенний день; ведь сам король, а с ним и архиепископ Парижа, несший святые дары, шли в общей процессии, как бы освящая предстоящее преобразование государства сверху донизу.

Грудь мосье де Жирардена ширилась от ликования и гордости. Исполнилось то, на что он всегда надеялся, что предсказывал: не ожесточенный и страшный взрыв возмущения черни приблизил новые времена. Нет, французские дворяне, такие же, как он, представители знати, претворяют в жизнь учение Жан-Жака.

А Фернан негодовал, глядя, как правящая верхушка, начиная с предписания формы одежды, всеми способами старается напомнить депутатам буржуазии об их ничтожестве. У него не выходили из головы скептические речи Мартина, доказывавшего, что привилегированные сословия стремятся всеми правдами и неправдами отнять у народа его права. Ему стыдно было за свой роскошный костюм, и он мрачно смотрел на Жильберту, следовавшую в свите королевы, в негнущемся от множества драгоценностей туалете придворной дамы, пеструю, как цветочная клумба.

Однако, чувствуя, что величественное зрелище единения покоряет недоверчивых парижан и волнует даже надменных аристократов, Фернан мало-помалу поддался общему восторженному настроению. А когда в церкви прогрессивный епископ Нансийский произнес свою торжественную речь, он уже твердо поверил в наступление новых времен. Епископ в присутствии короля обличал существующий строй, указывал на вопиющую нищету народа, приводил слова пророка: «Ты создашь новые народы—и лик земли преобразится». И все высокое собрание впервые в истории Франции аплодировало и ликовало в священных стенах храма, рядом со святыми дарами и королевским венцом.

События ближайшей недели как будто подтверждали правоту Фернана, опровергая недоверие Мартина. Когда привилегированные сословия попытались при помощи юридических уловок заткнуть рот депутатам буржуазии, те оказали сопротивление; а когда король призвал их разойтись, они связали себя торжественной клятвой не подчиняться призыву и объявили себя Национальным собранием. Двору и обоим привилегированным сословиям ничего другого не оставалось, как подчиниться.

Фернан ликовал.

Но вскоре ему на собственном опыте пришлось убедиться, что противник чувствует себя еще очень сильным.

Когда зачитывались наказания с прошениями и жалобами общин, дерзкий угрожающий тон, в котором город Санлис протестовал против «злоупотреблений егерей принца де Конде», взорвал принца. Увидев под документом подпись этого неприятного молодого Жирардена, он еще больше разгневался. Играя в карты со своим кузеном, королем, он рассказал ему об этой наглости. Людовик также возмутился. Молодой Жирарден не в первый раз заставляет его хмуриться. Этот юнец, не смущаясь, повторяет за разнузданным вольнодумцем Жан-Жаком его бунтарское учение; едва надев длинные штаны, он сбежал от отца и сделался «американцем». А теперь, изволите ли видеть, подписывает бессовестную записку мятежных буржуа, быть может, даже является ее автором! Это уж предательство по отношению к собственной касте, это значит — марать собственное гнездо. Людовик, сам страстный охотник, рассуждал так: куда это приведет, если наряду с ограничением столь многих привилегий короны он допустит еще и ограничение права охоты? Он предоставит этому молодому человеку возможность некоторое время поразмыслить над своей дерзостью. Он выдаст ордер, скрепленный королевской подписью и печатью, на арест бунтаря и его заключение в Бастилию.

Два дня спустя в Эрменонвиль приехал мосье Робинэ с Жильбертой и Матье. Старик, у которого повсюду была своя агентура, сообщил Жирарденам, что король по настоянию Конде издал приказ об аресте Фернана. В распоряжении Фернана имеется несколько часов, он должен немедленно скрыться куда-либо в безопасное место.

Перед мысленным взором Фернана возникло серое и мрачное здание Бастилии, с его толстыми стенами и башнями. Фернана никогда не пугали никакие опасности и невзгоды, но полное обреченности пребывание в глухих казематах, самый воздух которых с незапамятных времен пропитан страданиями, все-таки внушало страх. Он представил себе и Мартина, как тот, узнав о случившемся, посочувствует и все-таки посмеется над ним.

Все молчали, смотрели на Фернана, ждали.

Маркиз был потрясен. С каким наслаждением он велел бы заложить лошадей и сам отвез бы сына за границу. Но он знал своеволие Фернана, знал, что никакие просьбы и самые добрые советы не помогут. Он заставил себя молчать.

Зато снова заговорил мосье Робинэ.

— Разрешите мне, старику, дать вам совет,—сказал

он.— Возьмите вашу лучшую лошадь и скачите отсюда прочь. Вы никому не поможете, если останетесь, только себе повредите. Еще много воды утечет, раньше чем свобода восторжествует, а дожидаться этого в Бастилии — радости мало.

Фернан вспомнил, как Робинэ однажды уже давал ему совет. Он был тогда прав и все же неправ. Так и теперь.

— На вашем месте я не пренебрег бы советом мосье Робинэ,—ко всеобщему удивлению, сказал и Матье. Видно было, каких усилий ему стоило произнести эти несколько слов; дело было, несомненно, нешуточное, если смелый и столь щепетильный в вопросах чести граф Курсель советовал бежать.

Жильберта ни слова не сказала, она только смотрела на Фернана, не отводя глаз. Он знал: она сочла бы глупостью, если бы он остался, но она, конечно, была бы разочарована, если бы он бежал. И так же точно отнесется к этому Мартин. Мартин поднимет его на смех, если он останется, и еще больше — если уедет. А разве Мартину не угрожает такая же опасность? Очень возможно, что он уже скачет куда-нибудь, где можно укрыться. Но все-таки он ухмыльнется и скажет: «Что позволено Мартину Катру, того нельзя графу Брежи».

Фернан поблагодарил друзей за их участие и сказал, что подумает.

Через час к нему прибежал возбужденный и напуганный мосье Гербер. Несколько раз он начинал говорить и беспомощно обрывал себя, наконец сказал: он знает, что его дорогой ученик Фернан всегда прислушивается только к голосу собственного сердца. Но он, Гербер, хотел бы лишь обратить внимание Фернана на то, что Жан-Жак, несомненно, посоветовал бы ему укрыться от произвола властей. Жан-Жак не раз бывал в таком же положении, как Фернан, и он считал, что уж лучше претерпеть муки бегства и изгнания, но только не насилие. Фернан от всего сердца пожал руку своему наставнику; всегда такой красноречивый, мосье Гербер говорил запинаясь и не находил слов.

Фернан остался в Эрменонвиле, ожидая появления жандармов с ордером на арест.

Глава десятая

ЖАНЫ И ЖАКИ

Ордер на арест Фернана де Жирардена от 10 июля был последним тайным указом такого рода, подписанным королем Людовиком и скрепленным его

печатью. И указ этот не был выполнен. Бастилию, куда, согласно ордеру, должны были заключить Фернана, 14 июля взял штурмом народ города Парижа.

Какое неопишемое ликование! Вся страна ликovala, ликовал весь мир.

Жиранден пришел на могилу своего Жан-Жака. Тихо, страдая от избытка чувств, он возвестил Жан-Жаку о великом событии: «Ты победил, Жан-Жак! Оплот тирании пал. Всеобщая воля, твоя *Volonté générale* разорвала тысячелетние цепи. Народ взял свою судьбу в собственные руки так, как ты учил и предсказывал, мой друг и учитель».

Братья короля, принц де Конде, реакционная часть аристократии, многочисленные прелаты, консервативные министры бежали за границу.

«Тебе, Господи, хвалу воздаем!» — пели в соборе Парижской богородицы. К белому цветку королевской лилии, старому флагу страны, присоединили, по предложению Лафайета, синий и красный цвета города Парижа, и сине-бело-красная кокарда стала знаменем новой, прогрессивной Франции. Королю пришлось уступить настойчивому требованию народа переехать из Версальского дворца в столицу и, украсив свою шляпу трехцветной кокардой, показаться на балконе ратуши ликующим парижанам.

Всю страну обуревало единое мощное чувство; единый мощный порыв, рожденный идеями Жан-Жака, сплотил ее.

В городе Санлисе факельное шествие подошло к дому Фернана, для которого освобождение страны означало и личное освобождение, и, вобрав его в свои ряды, двинулось дальше. Второе факельное шествие подошло к дому Мартина и вместе с Марином двинулось дальше. На площади перед собором была воздвигнута небольшая трибуна. Там певец города, его поэт мосье Мийе, обратился с речью к Фернану.

— О ты, отпрыск стариннейшей аристократической фамилии! Ты связал себя с народом и принес ему свое сердце и свое достояние,—воскликнул он и, протягивая Фернану трехцветную кокарду, продолжал:—Ученик и друг Жан-Жака, всем известны твоя добродетель и твоя любовь к отечеству. Ты достоин этой кокарды. Носи ее!

Затем подняли на трибуну Мартина, чествовали и его, и под овации народа Мартин и Фернан обнялись.

События обгоняли одно другое. Национальное собрание торжественно провозгласило Декларацию прав человека и гражданина фундаментом новой Франции. Феодальный строй был свергнут. Монастыри упразднены, церковная собственность передана светским властям. Национальная гвардия, возникшая накануне штурма Бастилии, была

преобразована в регулярную армию; командование взял на себя Лафайет. Короля принудили навсегда покинуть Версальский дворец и перенести свою резиденцию в Париж, куда он и переехал вместе с семьей.

Вся страна была охвачена подъемом, верой в светлое будущее; не были забыты и духовные отцы революции. Если энциклопедисты считали Вольтера крестным отцом нынешних событий, то народ почитал Жан-Жака. Из миллионов людей, провозгласивших Жан-Жака своим святым покровителем, подавляющее большинство не прочитало ни единой строчки из его книг; но умы волновали его великие лозунги и простая увлекательная легенда его жизни и его творчества.

Началось новое паломничество в Эрменонвиль. Снова появился здесь тот самый студент из Арраса, ныне уже не известный, Максимилиан Робеспьер. Блестяще закончив курс обучения, он поселился в родном городе, где прославился политическими и литературными трудами; город выбрал его в свою академию, а провинция Артуа послала своим депутатом в Национальное собрание. И вот он стоит у могилы Жан-Жака, высокочтимого и боготворимого учителя, и душа его не вмещает напора огромного чувства. «Я хочу, я обещаю претворить в жизнь провозглашенные тобой принципы. Все до единого,—клянется он про себя,—все до единого».

Прибыл в Эрменонвиль на могилу Жан-Жака и барон Гримм. Маркиз не мог отказать себе в удовольствии дружески поддеть его. Как, мол, мосье де Гримм и энциклопедисты высмеивали труды Жан-Жака, называли их путанными и безрассудными, а между тем эти «безрассудные труды» вызвали к жизни такое мощное движение, о котором ни один философ и не мечтал даже.

— Не я тот человек, который вздумал бы оспаривать исторические заслуги нашего покойного друга,—ответил мосье де Гримм.—Но, быть может, именно непоследовательность его принципов и привлекает к нему человеческие сердца? Его несвязное изображение слабостей и противоречий современного нам общества как раз и действует на умы; тяжелые на подъем массы легче привести в движение, если обращаются к их чувствам, а не к разуму. Я надеюсь лишь,—серьезно и запальчиво сказал он в заключение,—что о Вольтере своевременно вспомнят. Только следование Вольтеру может предотвратить разгул страстей, способный обратить свободу, которую имеет в виду Жан-Жак, в анархию.

Казалось, что депутаты Национального собрания разделяли взгляды мосье де Гримма. Национальное собрание приняло решение перенести останки великого Вольтера, которому тринадцать лет назад старый режим отказал в

погребении в Париже, из отдаленного уголка страны, где они были похоронены, в Пантеон—храм вечной славы.

Жиарден услышал об этом решении с двойственным чувством. Разумеется, отрадно, что оскорбление, нанесенное умершему Вольтеру, ныне искупается, но он, Жиарден, не мог допустить, чтобы чествование памяти Вольтера затмило славу его Жан-Жака. Он приобрел гранитные плиты из руин Бастилии и затем заказал высечь на одной из них рельефное изображение учителя, под ним слова: «Создатель освобожденной Франции», и подарил барельеф Национальному собранию. Он был доволен, что изображение Жан-Жака установили над ораторской трибуной, на самом почетном месте зала заседаний.

А вообще кислые предостережения мосье де Гримма нисколько не повлияли на гордое ликование Жиардена. От всей души признал он власть Свободы и Равенства. Его не огорчила потеря дорогих сердцу прав. Собственно-ручно вычеркнул он из дворянских реестров свои титул и звания, когда институт дворянства был упразднен, и попросил разрешения заодно уж отказаться от своих аристократических имен Рене-Луи, заменив их именем Эмиль, по названию революционного педагогического романа своего великого друга.

Таким образом, отныне уже не маркиз Рене-Луи, а гражданин Эмиль Жиарден, сопровождаемый управляющим и садовниками, совершал обход своего парка, и не эрменонвильский сеньор, а гражданин Жиарден, помещик и землевладелец, давал советы гражданам арендаторам. Правда, эти советы нередко еще смахивали на команды, иной раз подкрепляемые властным жестом руки, вооруженной длинной, гибкой тростью.

Впрочем, Жиарден мало времени проводил теперь в Эрменонвиле, он часто уезжал в Париж. Там, в своем городском доме, он собирал друзей. Бывал на многих собраниях крупных политических клубов. Чаще всего его можно было увидеть на улице Оноре, где в старой доминиканской церкви заседал один из таких клубов—клуб якобинцев, как его называли в обиходе.

По предложению Жиардена, во дворе дома, где помещался клуб, посадили Древо Свободы—один из тополей с могилы Жан-Жака в Эрменонвиле.

Якобинский клуб стал вскоре наиболее влиятельным политическим обществом города Парижа, и здесь Жиарден излагал новым государственным деятелям принципы Жан-Жакова учения в том толковании, которое ему привелось слышать из собственных уст учителя. Вытянувшись по-солдатски, стоял он на трибуне, а за ним был бюст Жан-Жака и трехцветное знамя. Он говорил с

непререкаемым авторитетом: он был представитель Жан-Жака, praeseptor Galliae¹.

Помимо множества произнесенных им более или менее коротких речей, он выступил с двумя большими речами. Первая была посвящена реорганизации армии. Он дал себе труд разыскать высказывания Жан-Жака, подкрепляющие его, Жирардена, профессионально-военные соображения, и речь действительно получилась достойная — речь специалиста, философа и революционера. Так ее и оценили якобинцы. Они горячо аплодировали. Больше того: решено было разослать текст речи для дальнейшего распространения по всем департаментам, муниципалитетам и патриотическим обществам.

Воодушевленный успехом, Жирарден с еще большей тщательностью принялся за подготовку второй речи. Ее темой была «Всеобщая воля». Жирарден утверждал, что Всеобщая воля — это основной принцип учения Жан-Жака о государстве, и требовал, чтобы о каждом новом законе народ предварительно широко оповещался и чтобы закон входил в силу лишь после одобрения его всенародным голосованием. Это была хорошо обоснованная, хорошо сформулированная речь, в целом и в частностях подкрепленная высказываниями Жан-Жака. Но якобинцы выслушали ее холодно. Соображения гражданина Жирардена по поводу реорганизации армии носили практический характер, были вполне конкретны; а на этот раз его рассуждения представляли собой далекую от жизни теорию, и если так мудрствовать в толковании принципов Жан-Жака, то от революции ничего не останется. Оратора вежливо дослушали и перешли к очередному пункту повестки дня.

Жирарден был огорчен. Он стал замечать, что с некоторых пор депутаты Национального собрания уклоняются от учения Жан-Жака. Необходимо было напомнить им о великих принципах, провозглашенных учителем; и если кто-либо призван это сделать, то именно он, Жирарден. А его слушали так, точно говорил какой-нибудь Дюпон или Дюран.

Все дальше и дальше отходили законодатели от учения Жан-Жака. Жан-Жак прямо говорил, что ничего не следует ни добавлять, ни изменять без необходимости. Они же, депутаты, с неистовым пылом и без нужды переворачивали все вверх дном.

В глубокой печали сидел Жирарден под ивой, устремив взор на могилу Жан-Жака. Что мог он сделать? Обратиться к массам — бесцельно, это ему ясно. Он обращался к отдельным лицам, к вождям, призывал к умеренности, напоминал о Всеобщей воле. Ему намеками дали понять,

¹ Учитель Галлии (лат.).

что советы его никому не нужны. Он сам себе казался теперь докучливым школьным учителем, его слушали из уважения к прежним заслугам, но с ним не считались.

Он перестал посещать клубы и массовые собрания. Принялся за переработку своей речи в обстоятельную общедоступную брошюру: «О необходимости ратификации законов Всеобщей волей». Изливал перед мосье Гербером свою горечь по поводу действий якобинцев. Все глубже погружался в изучение Жан-Жака.

Замкнулся.

Глава одиннадцатая

ВЗВЕЙСЯ НАД МИРОМ, ТРЕХЦВЕТНОЕ ЗНАМЯ!

Фернан, не в пример отцу, находил, что декреты Национального собрания отнюдь не страдают излишней радикальностью. На его взгляд, народные представители были чрезмерно осторожны, недостаточно быстро и энергично действовали.

Почему, например, они допускали, чтобы законы исходили из Тюильрийского дворца и провозглашались королем? Почему они не ограничивали все еще реальную власть короля? Ведь всем известно, что если не сам король, то королева и ее советники, в комплоте с иноземными монархами, ведут подпольную деятельность, направленную на подрыв Национального собрания.

И почему народные представители не проводят сколько-нибудь серьезных реформ в колониях? Почему они довольствуются одним выражением сочувствия к коренному населению обеих Индий?

В водовороте огромных парижских событий Фернаном все чаще и чаще овладевало воспоминание о Сан-Доминго. И не только философские проблемы или низменное беспокойство о своих плантациях были тому причиной. Ярче чем когда бы то ни было вставал перед ним образ Гортензии, и тогда страстная и сильная тоска по ней охватывала его. Отец Гортензии и все ее родные, вероятно, с ненавистью и издевкой говорят о парижских событиях. Сможет ли Гортензия разобраться в происходящем? Помнит ли она его, помнит ли, что он говорил ей? Не покажется ли он смешным и ей?

Быть может, он и в самом деле смешон, надеясь и мечтая, что переворот принесет счастье и его любимому острову Сан-Доминго? Когда Национальное собрание торжественно провозгласило Декларацию прав человека, он был уверен, что отныне и над французской Америкой взвьется трехцветное знамя революции, и чернокожие,

составляющие большинство тамошнего населения.— те самые благородные дикари, истинные сыны матери-природы, которые являлись предметом особой любви и заботы Жан-Жака,—будут освобождены из-под гнета бесправия и порабощения. Но ничего этого не произошло.

В Париже, правда, возникло Общество друзей чернокожих, в которое входило много видных и влиятельных людей. Но владельцы крупных плантаций и другие толстосумы, владевшие в Сан-Доминго всякого рода имуществом, содержали в Париже весьма пронырливую агентуру. Это был так называемый Колониальный комитет. Он действовал ловко и чрезвычайно успешно. Члены комитета предостерегали депутатов Национального собрания от принятия решительных законов, неустанно внушали им, что равноправие превратит черных в хозяев Сан-Доминго, что испанцы и англичане не потерпят этого и отторгнут весь остров. Доводы эти, искусно и убедительно преподнесенные, оказали свое действие. Национальное собрание, целиком поглощенное внутренними реформами, правда, объявило в расплывчатых выражениях о правах человека, обязательных для всех, но на запросы губернатора и коменданта Сан-Доминго о статуте для черных дало такие каучуковые указания, что все осталось по-старому.

Фернана коробила и оскорбляла подобная половинчатость.

Он подружился с Луи-Мишелем Лепелетье, бывшим маркизом де Сен-Фаржо, членом президиума Национального собрания. Лепелетье, немногим старше Фернана, имевший свыше шестисот тысяч ливров годового дохода, считался одним из самых богатых людей во Франции. И все же он безоговорочно душой и телом был на стороне трехцветного знамени. Он сам внес законопроект об отмене прав и преимуществ аристократии, деятельно участвовал в проведении гражданской конституции для духовенства, встреченной в штыки Ватиканом, поддерживал все передовые реформы.

Лицо тщедушного на вид Мишеля Лепелетье запоминалось с первого взгляда. Очень крутой лоб, широкий, резко очерченный рот, огромный крючковатый нос и сверкающие голубые глаза. Лепелетье приветствовал все новое, был тонким ценителем искусства, в науках чувствовал себя как дома. Уже в молодые годы выдающийся юрист и председатель трибунала в своей провинции, он, как никто, умел четко и логично формулировать сложные законы и указы.

По образу жизни Мишель Лепелетье полностью оставался крупным вельможей. Дом его, с множеством слуг, отличался роскошью, одежда—изяществом, кухня—изысканностью. На домашней сцене его городского двор-

ца сталились лучшие пьесы. Вообще-то народ невероятно любил такие повадки аристократов, этих *si-devants*, этих «бывших», но своего Лепелетье парижане любили, и когда он проезжал по улицам Парижа в собственном роскошном экипаже, направляясь в Национальное собрание, они провожали его приветственными кликами.

Как ни странно, но и Фернану нравились аристократические повадки Лепелетье, раздражавшие его в других. Правда, у Мишеля тонкая интеллектуальность слегка иронического склада, характерная для высородной знати, сочеталась со страстной верой в прогресс и с безудержным стремлением обратить революционные идеи в дела.

Фернану нравился весь круг друзей Лепелетье, в особенности его подруга, актриса Эжени Мейяр, та самая, которая плакала на могиле Жан-Жака. Она по-прежнему была убежденной последовательницей Жан-Жака и нового строя. Но мадемуазель Мейяр, заразительная веселость которой составляла славу театра Французской комедии, терпеть не могла болтовни о добродетели, бережливости и воздержанности и не любила многих торжественно трезвых, угрюмо-аскетических трибунов Национального собрания. Революция олицетворялась для нее в облике Мишеля Лепелетье, который совмещал в себе демократический пыл нового режима с духовной утонченностью и изысканным изяществом старого.

У Фернана было немало мимолетных связей с красивыми женщинами. Но к Эжени Мейяр его влекло нечто большее, чем случайная прихоть. Однако он знал, что она всей душой любит своего умного, безобразного, живого, обаятельного Лепелетье.

К нему, к своему другу Мишелю, пришел Фернан и со своими тревогами о судьбах Вест-Индии.

Мишель разъяснил ему, что нет никакого смысла издавать прямой закон о раскрепощении цветных народов, ибо провести его в жизнь можно лишь с помощью силы, а имеющиеся войска нужны в метрополии.

— Так что же, выходит, надо предать дело освобождения колоний? — мрачно сказал Фернан.

Мишель положил ему руку на плечо.

— Не торопитесь, — уговаривал он его. — Передо мной не раз возникал вопрос: нельзя ли, если не неграм, то хотя бы мулатам, дать равноправие. До сих пор, правда, гражданам законодателям ничего не удалось сделать. Робинэ и его Колониальный комитет слишком сильны. — Мишеля осенила идея: — Послушайте, Фернан, вы, кажется, близко знакомы с мосье Робинэ? Если он ослабит сопротивление, мы проведем закон. Отправляйтесь к нему. Разъясните, что долго препятствовать освобожде-

нию негров ему все равно не удастся. Обещайте от моего имени: если он не будет ставить нам палки в колеса в проведении закона о мулатах — и мы не будем его беспокоить; он сможет до конца жизни сколько угодно эксплуатировать своих черных. Он уже немолод.

Фернану не понравился оппортунизм его друга, а вести переговоры с мосье Робинэ претило ему.

Робинэ был настолько богат, что принадлежал к аристократическим кругам, но, как ни странно, а он приветствовал революцию. Переворот, многословно объяснял он Фернану, только вскрыл ту действительность, которая уже давно существовала. Фактически у власти давно стоит крупная буржуазия. Правда, аристократы пользовались привилегиями, вылезали вперед, чванились своими громкими титулами, но на самом деле судьбами страны управляли, находясь на заднем плане, разбогатевшие благодаря своим способностям буржуа. Наиболее одаренные из тех же буржуа занимали и высокие посты. Теперь привилегированных прогнали, и буржуазия также и номинально пришла к власти. Вот и все.

Фернану тошно было от такого одностороннего цинического толкования великих событий. Но Лепелетье знал людей. Он постоянно сталкивался с господами, подобными Робинэ; к разумному совету Мишеля следовало прислушаться. Как ни тяжело было Фернану идти к Робинэ, это надо было сделать.

Мосье Робинэ наглухо заколотил свой роскошный дворец в Париже и переехал в незаметную квартирку в каком-то облупленном доме. Отсюда вел он дела огромного размаха: скупал церковные земли и конфискованные имения эмигрировавших аристократов, заключал с интендантами все растущей численно армии новой Франции договоры на поставку продовольствия, обмундирования и оружия.

И вот в этой-то городской квартире, в крайне просто обставленном кабинете, отпрыск одного из стариннейших аристократических родов Франции и один из самых богатых буржуа страны вели переговоры о судьбе цветных, населяющих Сан-Доминго.

Мосье Робинэ внимательно выслушал Фернана. Он погрозил ему пальцем.

— А вы хитрец, дорогой граф,— сказал он.— Но на этот раз коза волка не поймает. «Мы просим у вас ничтожной уступки,— говорите вы,— ведь мы хотим лишь гражданских прав для нескольких тысяч мулатов». Но вы отлично знаете: кто подает кофе с молоком, должен подать и черный кофе, и если сегодня мы эмансипируем мулатов, завтра предъявят претензии негры. Нет, дорогой мой граф, из этого ничего не выйдет. Если мы тут хотя

бы одну пядь уступим, тогда можно закрывать лавочку, тогда Франция только и видела свои колонии.

Фернан хмуро молчал.

— Теперь вы, конечно, считаете меня оголтелым реакционером,— продолжал Робинэ.— Но вы несправедливы. Я готов пойти на компромиссы. Я не бóльший ретроград, чем ваши пресловутые филадельфийские конгрессмены-свободолюбцы. И мы тоже за то, чтобы предоставить чернокожим права, но не раньше, чем на рубеже века, в следующем столетии. Так полагают и господа в английской Америке. Тише едешь, дальше будешь. Это и складно и разумно.— Робинэ задумался, и его красное лицо, несмотря на свой свежий вид, стало вдруг очень старым и мудрым.— Да, да. Права человека,— сказал он мечтательно.— Я тоже за них, но в Сан-Доминго рано о них говорить. Впрочем,— продолжал он, оживившись,— одна светлая полоска на горизонте, другими словами, только виды на Права человека в будущем столетии и те уже ставят под сомнение выгодуность капиталовложений в вест-индские плантации. Свои я собираюсь сбыть с рук. Вы хорошо сделаете, господин граф, последовав моему примеру. Я охотно вам помогу, если пожелаете.

Фернан сухо, неприязненно поблагодарил и откланялся.

В Париж прибыла депутация от мулатов Сан-Доминго отстаивать в Национальном собрании свои требования. Возглавлял депутацию адвокат Венсан Оже, мулат по происхождению. Фернан знал его. Они познакомились в Кап-Франсэ в Кружке филадельфов. Этот был интеллигентный, образованный, энергичный человек.

Общество друзей чернокожих всеми силами поддерживало Оже. Но депутаты Национального собрания накормили его и его спутников красивыми речами и обещаниями и... ничего не сделали.

По настоянию Фернана Лепелетье пригласил Оже на обед. Были только Мишель, Фернан и мадемуазель Мейяр. Лепелетье попросил Оже откровенно высказать все, что у него на сердце. И это было необычайное зрелище — под неслышные шаги вышколенных лакеев, с традиционными поклонами обносивших гостей и хозяев изысканными блюдами, наивный, несколько неуклюжий мулат страстно излагал свои демократические требования перед изящным, избалованным аристократом и красавицей актрисой в очаровательном туалете.

Лепелетье внес в Национальное собрание четко сформулированный законопроект, в котором предусматривалось равноправие,— правда, только для мулатов, а не для чернокожих. Фернану он сказал, что и это он сделал с

тяжелым сердцем; он опасается, что даже такая реформа чревата кровопролитием. Закон был принят.

Маркиз де Траверсей в срочном письме заклинал Фернана задержать мулата Оже в Париже. Если Оже вернется в Кап-Франсэ и попытается вместе со своими мулатами, ссылаясь на это безрассудное «равноправие», принять участие в выборах, белое население устроит им кровавую баню.

Сам Оже получал угрожающие письма. Но он решил вернуться, готовый с радостью ринуться в борьбу.

Фернан проводил его на корабль. Оже вез с собой трехцветное знамя новой Франции, подарок Общества друзей чернокожих.

— Это знамя я привезу на родину,— сказал он,— хотя бы белый сброд потом расстрелял и сжег его и меня вместе с ним; я вижу, как оно развевается там...

С надеждой и тревогой ждал Фернан вестей из Сан-Доминго. Все сложилось не так, как он надеялся, а так, как предсказал Робинэ и как того опасался Лепелетье. В день выборов белые с оружием в руках нападали на мулатов; были убиты тысячи цветных. Оже спасся в горы и оттуда руководил организацией вооруженного восстания цветных. Хорошо обученные полицейские части разгромили повстанцев. Оже удалось бежать в испанскую часть острова.

Но этим трагедия не кончилась. Испанские власти на основании старого договора выдали Оже французским плантаторам. После жестоких глумлений и бесчеловечных пыток его судили так называемым военным судом, приговорившим Оже к смерти. Казнь обставили, как всенародный праздник. Отовсюду стекались белые — мужчины, женщины и дети. Толпа торжествующими возгласами сопровождала изощренные длительные мучительства, которым «в назидание всем цветным» подвергали мулата, вплетая его в колесо. Один из членов Кружка филаделффов писал в Париж: «После казни известного Дамьена, покушавшегося на Людовика Пятнадцатого, французы ни разу не удивляли мир столь потрясающим по своей кровожадности зрелищем».

Фернана эта весть застала в Эрменонвиле. В беспомощной ярости он поскакал в Латур. Мосье Робинэ был не один. Жильберта и Матье гостили в Латуре.

— Вот вам, чего добился ваш Колониальный комитет,— с негодованием бросил он Робинэ.

Мосье Робинэ невозмутимо ответил, что в кровавых событиях виновато Национальное собрание, которое издало этот дурацкий закон, несмотря на неоднократные предупреждения Комитета.

— Я опасюсь одного,— сказал он.— Опасаюсь, что

Париж пойдет дальше по этому бессмысленному пути и новыми суровыми параграфами заострит закон, вместо того чтобы отменить его вовсе. Если Париж не откажется от этого закона, в колониях все пойдет прахом. Надо было вам, дорогой граф, продать свои плантации. Боюсь, что теперь и мне и вам там больше нечего делать.

— Не вам издеваться надо мной,— вспылил Фернан.

Робинэ пожал плечами.

— Я сегодня послал в Кап-Франсэ письмо, в котором настоятельно рекомендовал ослабить репрессии. Но письма ни на кого не действуют. У вас, дорогой граф, в Сан-Доминго есть близкие и влиятельные друзья. Вы сами там пользуетесь влиянием. Поезжайте туда. Попытайтесь лично воздействовать на ход событий.— И с вызывающей издевкой прибавил в заключение:— Я предвижу, что нашим чернокожим друзьям туго придется.

Плоская насмешка мосье Робинэ задела Фернана. У него не однажды являлась мысль о поездке в Сан-Доминго. Он получил от Гортензии письмо. Ей очень жаль, что она не может поговорить с ним о страшных событиях, разыгравшихся на острове, писала она своим детским почерком; ведь у каждого свои взгляды на вещи, она больше ни в чем не может разобраться, страх гнетет ее, ей бы так хотелось, чтобы Фернан был рядом. Слова мосье Робинэ вновь пробудили в нем неукротимое желание вернуться к Гортензии. Разумеется, в напастях, обрушившихся на ее голову и на головы ее близких, виновата их собственная безмозглая закоснелость. Но оттого, что отец Гортензии твердолобый аристократ, имеет ли Фернан право не быть возле нее, когда ей угрожает опасность?

Жильберта внимательно наблюдала за выражением его лица: ему казалось, что губы ее опять кривит знакомая, едва заметная жесткая улыбка.

— Вы правы, мосье,— сказал он, высоко вскинув голову.— Я еду в Сан-Доминго.

Робинэ смешался. Он этого отнюдь не хотел. Этот дурень и впрямь способен броситься в сан-доминговский ад, и тогда от Жильберты ему, Робинэ, житья не будет.

— Я, разумеется, только пошутил, да к тому же еще и неумно,— поторопился он заверить Фернана.— Вы там ровно ничего не сумеете сделать. Вы лишь себя подвергнете серьезной опасности, а дело еще больше запутаете. Оставайтесь во Франции. Убедите Лепелетье и других депутатов Национального собрания не усугублять новыми бессмысленными шагами того, что там творится. Это все, чем вы можете помочь своим друзьям в Сан-Доминго.

В Париже Фернан с угрюмым удовлетворением увидел: чего Оже не мог добиться при жизни, он добился

посмертно. События в Вест-Индии взбудоражили Париж. Общество друзей чернокожих созывало многолюдные собрания, повсюду выставлялись портреты мученика Оже и картины его ужасной казни; даже на сцене изображались его благородная жизнь и его страшная смерть.

Лепелетье без особых просьб со стороны Фернана провел закон, значительно расширявший права цветных.

Фернан прямо-таки мечтал о том, чтобы Национальное собрание послало его в Вест-Индию для проведения нового закона. Но когда он заговорил об этом с Лепелетье, тот сразу же и бесповоротно отверг его просьбу. Закон о цветных—лишь предупреждение аристократам-плантаторам, чисто академическая мера, сказал Лепелетье, провести его в жизнь без вмешательства армии невозможно.

— Пошлите меня туда, Мишель,—не внимая никаким разумным доводам, просил Фернан.

— И не подумаю,—ответил Лепелетье.—Я не собираюсь бросить вас в пасть смерти. Только и не хватало там такого человека, как вы. В Сан-Доминго нужен твердый политик, а не философ.

Это был настоящий удар. Друг, несмотря на все пережитое Фернаном, все еще, очевидно, считает его мечтателем и незрелым юнцом.

— А вы,—сказал он с горечью,—вы в Национальном собрании рисовали участь цветных народов с не меньшим сочувствием, чем это сделал бы сам Жан-Жак.

— Я старался добиться принятия закона,—терпеливо объяснял Лепелетье.—А что закон будет проведен в жизнь, на это я никогда не надеялся.

— В таком случае я поеду в Сан-Доминго без правительственного назначения,—упрямо, как мальчишка, твердил Фернан.

— Будьте благоразумны,—дружески уговаривал его Лепелетье.—Вы сами прекрасно знаете, что вас влекут туда не только боль за мученика Оже и не только ваши философские воззрения, а прежде всего воспоминание о той девушке, с которой вы обменивались там нежными речами. Не делайте этого рыцарского жеста! Не бросайтесь очертя голову за тысячи миль, без нужды подвергая себя опасности, только затем, чтобы охранять даму, которая, несомненно, давно находится где-нибудь в надежном месте и которая без вашей помощи спасется куда вернее. Не будьте таким «бывшим», Фернан,—закончил он, подчеркивая каждое слово.

Фернан чувствовал, что его высмеяли, но понимал, что Мишель прав, прав в гораздо более глубоком смысле, чем Робинэ. Тем не менее все в нем восставало против «трусости», которой от него требовали.

В комнату вошла мадемуазель Мейяр.

— Наш друг удручен тем, что я не соглашаюсь помочь ему подставить голову под пули в Вест-Индии,— ввел ее в суть разговора Мишель.

Он увидел, как сильно его слова задели Фернана, и решил теперь же сообщить ему то, что собирался сказать позднее.

— Вы скоро получите возможность, Фернан, здесь, в Париже, гораздо действеннее вмешаться в судьбу колоний, чем могли бы это сделать в Сан-Доминго.

Фернан растерянно посмотрел на него.

— Он ничего не понимает,— улыбаясь, обратился Мишель к мадемуазель Мейяр.— Он слишком скромн.— Лепелетье повернулся к Фернану.— Как вам известно, в ближайшее время вновь состоятся выборы. А Эжени хочется,— пояснил он,— чтобы в новом Законодательном собрании заседали не одни только добродетельные граждане, но и «бывшие», у которых с новыми идеалами в сердце сочетается старая добрая логика в мозгу, хороший французский язык и хорошие манеры.

Фернан встал, беспомощный и растроганный. Мишель, глядя на него, поспешил закончить:

— Да, мои друзья и я выставили вашу кандидатуру, и я уверен, дорогой мой гражданин Жирарден, что вы будете избраны.

От испуга, от счастья Фернан густо покраснел. Значит, Мишель все-таки считает его достойным звания законодателя? Сердце его исполнилось гордости. Но гораздо глубже взволновало его другое. Мишель не выдвинул бы его кандидатуры, если бы не был уверен, что избиратели благожелательно встретят ее, что своей деятельностью в Санлисе Фернан завоевал их доверие. Лучшего доказательства не могло и быть. Народ не оттолкнул его, народ признал в нем брата.

— Как по-вашему, Эжени, наш Фернан будет хорошим законодателем? — спросил актрису Мишель.

— Превосходным,— улыбаясь, ответила мадемуазель Мейяр.— Среди сплошных Брутов и Ликургов появится наконец живой человек с горячей кровью.

Глава двенадцатая

ХРАНИТЬ ВЕРНОСТЬ — НО КОМУ?

Необычайные новости взбудоражили всю страну. Король под чужим именем, запасшись фальшивыми паспортами, вместе со всей своей семьей пытался бежать из Франции. Он пробирался к северо-восточной границе с

тем, чтобы, возглавив чужеземные войска, с триумфом вернуться в Париж и разогнать Национальное собрание. Но попытка короля к бегству самым жалким образом провалилась. На какой-то маленькой станции патриот-почтмейстер узнал его по изображению на банкнотах и, не колеблясь, с помощью нескольких отважных граждан задержал почтовую карету. Патриотическая добродетель сорвала козни «бывших». Людовика вернули в Париж, и теперь он и его домашние в полном смысле слова арестованы в Тюильри; во дворце повсюду расставлены часовые, даже у дверей спален короля и королев.

Это потрясающее событие углубило раскол между гражданами, приверженцами старой и новой Франции. Великое множество колеблющихся вынуждено было самоопределиться и решить: кому сохранить верность? Нации или королю, который из себялюбивых побуждений хотел открыть врагам границы страны?

Эта дилемма во всей своей остроте встала и перед бывшим графом Курселем. Матье был передовым человеком, созыв Генеральных Штатов и штурм Бастилии он от души приветствовал; он осуждал своих собратьев по сословию, бежавших за границу. Они предали родную страну, они бросили короля на произвол судьбы. Но когда король под оказанным на него давлением санкционировал действия, которые он явно не одобрял или даже сам вынужден был предпринимать такие действия, Матье понял эмигрантов. Они правы: над королем совершенно насилие, и не к народу перешла власть во Франции, а к кучке недовольных честолюбцев. Все европейские монархи оказывали деятельную помощь эмигрантам, сосредоточившимся на немецкой стороне Рейна, в Кобленце. Они вооружали огромную армию, которая должна была силой восстановить во Франции абсолютную монархию.

И вот король решил стать во главе эмигрантов; он явно одобрял их, одобрял их планы. Кровь уравновешенного Матье закипала, когда он думал о том, что воля всехристианнейшего короля оказалась бессильной перед волей маленького почтмейстера. Какой-то простолудин, плебей посмел заставить властелина старейшей монархии мира с позором повернуть назад.

Передавали подробности жалкого возвращения короля. Ему вместе с его домашними пришлось в эту ужасную жару медленно ехать по пыльным дорогам, движение кареты все замедлялось и замедлялось, со всех сторон стекались толпы народа посмотреть на своего короля, который хотел их предать. Париж прислал комиссаров для сопровождения короля, комиссары сели в карету,

отчего там стало тесно и душно; король и королева глотали дорожную пыль, вдыхали запах пота своих стражей и телохранителей, выслушивали проклятья зевак. В Париже короля дожидалась огромная толпа. Национальная гвардия выстроилась шпалерами по обеим сторонам улиц, держа ружья дулами вниз, как на похоронах. Стояла жуткая тишина, было объявлено: за «ура» королю — голову с плеч, за проклятье — тюрьма.

Матье представлял себе, как страдала, должно быть, гордая красавица королева от этих унижений. Рассказывали, что за четыре дня этого ужасного обратного пути она поседела.

Что ему, Матье, делать? Если он останется, то ему, супругу Жильберты, внучки влиятельного Робинэ, пользовавшегося доверием у депутатов Национального собрания, едва ли угрожает какая-либо опасность. Если же он покинет Францию, он обречет себя на нищету: по существующему закону все владения его и Жильберты в этом случае конфискуются. О гордой нищете эмигрантов рассказывали множество горестных историй. А кроме того, людям, переступившим однажды границу страны, о возвращении нечего было и думать — им грозила смертная казнь.

Но вправе ли он оставаться? Разве не присягнул он на верность королю? Разве не обязан он по долгу чести примкнуть к армии эмигрантов, собиравшей силы для того, чтобы вернуть королю его права?

Уже и раньше переезд через границу сопряжен был с большими трудностями, а теперь заставы были усилены, и бегство с Жильбертой и ребенком представлялось отнюдь не безопасным. Матье колебался. С Жильбертой, однако, он не делился своими сомнениями и колебаниями; он вынашивал их в себе.

Робинэ видел его насквозь.

Сам Робинэ бежать за границу отнюдь не собирался. Он чувствовал себя здесь уверенно, и ему было бы до слез обидно бросить свои процветающие дела. С другой стороны, неудавшееся бегство короля показало, что на стороне революционеров не один только Париж, а вся Франция. В этом, конечно, убедились теперь и все европейские монархи. Они, разумеется, захотят оградить себя от участи своего кузена Людовика. Таким образом, война между абсолютными монархами Европы и демократической Францией неизбежна, и в этой войне Робинэ хочет застраховать себя на все случаи жизни. Он поэтому заинтересован в том, чтобы Матье дрался на стороне эмигрантов. Тогда в случае победы революционеров он, Робинэ, докажет свою преданность патриотическим пребыванием в стране в самое трудное время; а если победят

роялисты, он окажется тестем человека, который вместе с ними сражался за их победу.

Разумеется, Жильберте он ни словом не обмолвился о своих размышлениях. Но зато сказал ей, что в связи с последними событиями понял бы Матье, если бы тот решил перебраться через границу, к своим друзьям.

И Жильберта тоже видела, что Матье носитя с такими планами.

Она честно старалась разобраться в том, что произошло за последние два года. Временами многое отталкивало ее; но затем размах событий и, не в последнюю очередь, горячее сочувствие, которое они вызывали в Фернане, покоряли ее. Когда у них с Матье изредка заходил разговор о том, что творится вокруг, она с удивлением замечала, как глубоко проникла в ее сознание философия Жан-Жака, невзирая на все ее насмешки над ним. К тому же она происходила из низов, она на себе испытала все невзгоды, выпадавшие на долю непривилегированных кругов, и в душе радовалась тому, что рухнули искусственные перегородки между сословиями и что теперь народ един. Иной раз, правда, она сама потешалась над собой. Во имя того, чтобы она и ее потомство принадлежали к числу привилегированных, она рассталась с заветной мечтой и вступила в брак, требовавший от нее какой-то сделки с совестью. Но только она добилась своего, как все привилегии вылетели в трубу, и малютка Мария-Сидония была теперь такой же гражданкой, как и все.

Ну не удивительно ли, что провидение сыграло с ней такую злую шутку, а блажная мудрость старого Жан-Жака на поверку оправдала себя? Последние события, бегство и арест короля очень взволновали Жильберту. К медлительному, добродушному королю и к красивой, любезной Марии-Антуанетте, обладавшей всеми теми свойствами, которые презирал Фернан, она питала симпатию, правда, с легким оттенком иронии. И если уж с королем и королевой народ так беспощадно обошелся, то что же ждет Матье, их ребенка и ее самое? Она не только утратила свои привилегии, но опять оказалась в числе бесправных.

Жильберта ломала себе голову, рассуждая и так и этак. Она не была труслива, но не желала без нужды подвергать риску благополучие Матье и ребенка. С другой стороны, ей мучительно не хотелось покинуть страну и бежать от бурно развивающихся событий. Фернан считал бы ее равнодушной и нерешительной и был бы прав.

Поэтому когда мосье Робинэ заговорил о бегстве за границу, она ответила не сразу.

— Если Матье предложит нам эмигрировать, ведь вы, разумеется, поедете с нами, дедушка?

Робинэ не этого хотел. Он мечтал, что Жильберта с ребенком останутся с ним и только этот чопорный Матье уедет.

— Я не о себе говорил, дорогая, так же как не о тебе и не о Марии-Сидонии,—сказал он.

— Я и не подумаю расстаться с Матье,—решительно и запальчиво ответила Жильберта.

— А я бы на твоём месте подумал, доченька,—ласково сказал мосье Робинэ.—Если Матье уедет, он уедет на войну, это ты должна ясно понимать, а нынче не в обычае, да и не рекомендуется, чтобы жены сопровождали мужей в бой.—Он подытожил:—Если Матье по велению сердца захочет отправиться по ту сторону Рейна, я бы на твоём месте предоставил ему свободу решения, но и не стал бы предлагать ехать всем вместе.

— Вы мне советуете отпустить его одного?—не веря ушам своим, повторила Жильберта.

— Он сам вряд ли что-либо иное потребует от тебя,—ответил Робинэ.—Переправиться нынче через границу с женой и маленьким ребенком—задача трудная и рискованная.

Когда вскоре за тем Матье и в самом деле предложил ей покинуть Францию, Жильберта, всегда такая разумная и решительная, хотя она и готовилась к этому разговору, страшно растерялась. Мария-Сидония находилась в комнате; девочка, одетая по-взрослому, благонаправно расхаживала взад и вперед и тянула за собой на шнурке игрушечную овечку.

— Я понимаю твоё желание вступить в армию, Матье,—помолчав, сказала Жильберта.—Но как мы там будем жить, я и ребенок?—И в ответ на его озадаченный взгляд—ему и в голову не приходило, что она может предложить ему ехать одному, она прибавила:—Вправе ли мы подвергнуть ребенка опасностям переправы через границу?

В голосе ее звучала неуверенность, и Матье знал: её слова только половина правды. Он посмотрел на Жильберту, и во взгляде его было больше печали, чем укора. Он понял, что при всей его любви и преданности ему не удалось завоевать её.

Она невыносимо страдала под этим взглядом, и в то же время с угрюмой иронией и горечью думала: «Никто не заставляет его ехать. Если этот злополучный король ему дорожке меня, пусть едет. Я его не удерживаю. Я и другого не удерживала». Но сердце по-прежнему сжималось от боли. Невысказанные Матье упреки она делала

себе сама. Она не умела в полную силу любить ни одного, ни другого.

Матье привычно скрыл свои чувства за завесой присущей ему изысканной галантности.

— Разрешите узнать ваше мнение, мадам? — спросил он. — Вы мне советуете ехать... — И с усилием добавил: — ...одному?

Жильберта с запинкой сказала:

— Если ты во что бы то ни стало решил ехать, Матье...

Спустя несколько дней Матье, очень просто одетый, с фальшивым паспортом в кармане, пустился в путь.

Часть четвертая

ЖАН-ЖАК И НАРОД

Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я, как все живущие, что ходят под солнцем, признали этого юношу, который займет место того.

Книга Экклезиаста

Солдатам Французской республики казалось, что только они разумные существа. Обитатели всей остальной Европы, которые дрались за сохранение своих цепей, были в глазах этих французов жалкими глупцами или негодяями, продавшимися деспотам.

Стендаль

Глава первая

ДОЛОЙ РАВНОДУШНЫХ!

В городе Санлисе, как и во многих других городах и селах, имелся свой созданный по парижскому образцу Якобинский клуб. Здесь делалась политика округа. Председателем клуба был Мартин Катру.

Так часто, как позволяли обстоятельства, Катру ездил в Париж, чтобы зарядиться там мудростью и стойкостью. В Париже жил человек, в совершенстве овладевший учением Жан-Жака, на первый взгляд столь противоречивым, овладевший всеми его гранями и в своей политической деятельности претворявший его в жизнь. Человек этот состоял членом Национального собрания, но проповедовал свои идеи и оказывал свое влияние через Якобинский клуб. И если клуб приобрел почти такую же силу, как Национальное собрание, то в этом была заслуга его, Максимилиана Робеспьера, уроженца Арраса, того самого юноши, который незадолго до смерти Жан-Жака посетил учителя. Стоило раздаться пронзительному, стеклянному голосу Робеспьера, стоило этому невысокому, одетому с педантичной тщательностью господину произнести одну из своих воспламеняющих холодной логикой речей, как убогая и уродливая церковка на улице Оноре, где заседали якобинцы, превращалась в глазах Мартина в сердце и святыню Франции.

У кумира было мало личных друзей, своим приверженцам он выказывал одну только безразличную вежливость. И все-таки именно теперь, когда Жан-Жак лежал в своей могиле на Острове высоких тополей, многие из самых пламенных патриотов, в том числе и Мартин, видели в Робеспьере провозвестника истинного учения Жан-Жака, его верховного жреца, его исполнителя. Сам Жан-Жак, если бы он выступал перед якобинцами, не мог бы вдохновеннее излагать свои принципы и лучше применять их к политическим задачам дня.

Мартин старался ознакомить санлисских якобинцев с основными принципами Максимилиана Робеспьера. Как и Робеспьер, он сочетал фанатическую веру в учение Жан-Жака с холодным рассудком, до конца осмысливающим выводы из этого учения. Как и Робеспьер, Мартин презирал все половинчатое и равнодушное и целиком разделял вечно настороженное недоверие Робеспьера к «бывшим». Он призывал своих сторонников в Санлисе помнить, что, помимо армии, которую создают за границей бежавшие аристократы, чтобы двинуться войной на французский народ, внутри страны рассеяно еще бесчисленное множество врагов. Пока старое не вырвано с корнем, нельзя достигнуть целей, поставленных революцией.

Речи Мартина не отличались ледяным изяществом ораторского искусства великого парижского якобинца, зато покоряли сочностью народных выражений. Он толковал Жан-Жаковы идеи с пламенной непримиримостью; он разговаривал с санлисскими патриотами их языком.

Фернан, время от времени заглядывавший в санлисский клуб, не одобрял речей Мартина. Правда, Мартин пользовался словами и оборотами Жан-Жака, но вкладывал-то он в них опасный смысл. И без того многие, кому новый порядок вскружил голову, не хотели понимать, что право и закон все еще существуют и что поэтому нельзя действовать и поступать как заблагорассудится. Речи Мартина только развязывали силы произвола.

Как-то после одной из своих особенно неумеренных речей Мартин спросил Фернана:

— По-твоему, конечно, я толкую все превратно?

— Да,—ответил Фернан,—меня берут сомнения, но в двух словах их не сформулируешь. Как жаль, что мы в последнее время так редко встречаемся,—любезно добавил он.

Мартин с ноткой раздражения в голосе ответил:

— У тебя же есть твой Лепелетье.

Фернана обрадовало, что Мартин ревнует его к Мишелю.

— Я бы с удовольствием провел с тобой вечерок,— сказал он сердечно.

Мартин пригласил его к ужину.

Квартира у Катру была незавидная. Мартин жил и работал в трех комнатках, вместе с матерью, женой и маленьким ребенком. Пахло кухней и людьми, младенец ревел. Еда была приготовлена без любви и неумело.

— Не взыщите за скромное угощение бедняков, гражданин Жирарден,— сказала жена Мартина.

Мартин жевал торопливо, безучастно, по-простецки.

— Ты можешь говорить, не стесняясь,— бросил он Фернану.— Жанна знает о нашей старой дружбе.

— Разумеется,— сказала Жанна и повернула к Фернану суровое, выразительное и не очень дружелюбное лицо.

Фернан в эти дни был в тревоге. Из Сан-Доминго поступили дурные вести: белые не желали подчиняться решению Национального собрания, негры и мулаты объединились, остров охвачен волнениями и беспорядками. Плантации в северной части острова, как раз там, где находились владения Траверсей, разграблены, опустошены, сожжены, среди белых много убитых. По слухам, Гортензия и маркиз нашли себе убежище на испанской территории. Но сведения были неточные, и плохим знаком служило отсутствие вестей от Гортензии.

Фернан говорил обо всех этих угнетающих его обстоятельствах.

— Национальное собрание слишком поздно начало действовать,— заметил он с горечью.— И вместо того чтобы послать наконец в Сан-Доминго войска и решительно провести закон о колониях, кое-кто еще и по сей день подумывает, не лучше ли вовсе отменить его и, значит, опять лишить цветное население всех прав.

— Я не в курсе событий в Сан-Доминго,— сказал Мартин,— да и вообще не многие разбираются в тамошней обстановке. Почему бы тебе самому не отправиться туда и не навести там порядок?— вызывающе бросил он.— Тебя там знают. А с помощью твоего друга Лепелетье тебе не стоило бы особого труда добиться необходимых полномочий.

Подвижное лицо Фернана передернулось. Значит, Мартин считает, что внутри страны для него дела не найдется.

— Мой друг Лепелетье,— ответил он уязвленно и торжествующе,— полагает, что я лучше послужу революции, если останусь здесь. Он хочет, чтобы я выставил свою кандидатуру на новых выборах в Национальное собрание.

Лепелетье пользовался авторитетом и у якобинцев, поэтому слова Фернана изумили Мартина, взбудоражили,

лоб его покрылся пятнами. Даже женщины удивленно вскинули глаза. Наступила небольшая пауза. Потом вместо ответа Мартин сказал:

— Было бы хорошо, если бы старое Национальное собрание было распущено. Оно мало что сделало.

— Даже если его распустият,— ответил Фернан,— все же именно оно создало конституцию, основанную на Декларации прав.

— Та капля хорошего, что есть в конституции,— сказал Мартин,— это заслуга четырех-пяти депутатов, выдержавших сопротивление остальных тысячи двухсот.

— Не слишком ли ты строг в отношении этих тысячи двухсот?— спросил Фернан.

— Из тысячи двухсот Жанов и Жаков не выкроишь и одного Жан-Жака,— съязвил Мартин.— С этим-то ты, по крайней мере, согласен?

Вдова Катру с восхищением взглянула на сына, который так здорово отбрил этого аристократишку, и из ее старого, беззубого, ввалившегося рта вырвался тихий, дребезжащий смешок. Удовлетворенно и благоговейно посмотрела на мужа и Жанна.

— Не подлить ли вам вина, гражданин Жирарден?— спросила она бесстрастным голосом, но в ее строгом взгляде Фернан прочел недоверие и неприязнь.

Мартин продолжал жевать.

— Я ничего не имею ни против тебя, ни против Лепелетье,— сказал он.— Однако в Национальном собрании заседает слишком много «бывших», этого ты и сам не станешь отрицать, и таких «бывших», которые при самой доброй воле остаются рабами своего происхождения, своей мощны, своих высоких званий. Когда они величают друг друга «гражданин», это звучит, как «граф» или «маркиз». Мы ведь видели, что с «бывшими» твой Лафайет нянчится, а когда массы требуют Декларации прав человека, Лафайет приказывает стрелять в них.

Жена Мартина и старушка мать принялись мыть посуду, а Мартин и Фернан остались за столом допивать вино.

— На мой взгляд,— возобновил разговор Мартин,— законодательные акты нынешнего Национального собрания беззубы все до одного. Деспотия из года в год упрятывала за решетку четыреста тысяч человек, и мы с тобой тоже чуть не попали в их число. Пятнадцать тысяч ежегодно приговаривалось к смертной казни через повешение. Национальное собрание отменило смертную казнь и дало возможность всем своим врагам — еще бы немного и самому королю — улепетнуть за границу.

Жанна, вытирая тарелки, повернула голову, иронически выжидая, что ответит на это Фернан.

— Но я ведь еще не состою членом Национального собрания,— полушутя сказал он.

— Никто о тебе и не говорит,— возразил Мартин,— я буду голосовать за твою кандидатуру. Но не тешь себя зряшными надеждами. Новое Собрание тоже не покончит с этим положением, и никакой настоящей революции все равно не произойдет. Революция придет совсем с другой стороны, снизу. Она созреет в народе, в политических клубах. Там ее и совершат.

В спорах со своими друзьями-умеренными Фернан говорил совершенно то же самое, но Мартину он возразил:

— «Не сокрушать ничего существующего, если в этом нет крайней нужды»,— учит Жан-Жак, что тебе следовало бы знать.— Его разозлило, что слова эти прозвучали так, как будто их произнес его почтенный родитель.

— Но в том-то и дело, что крайняя нужда есть,— резко откликнулся Мартин.— И мне так же, как и тебе, известен человек, который тебе это докажет, цитируя того же Жан-Жака.

Фернан пожал плечами.

Мартин уже жалел, что был так резок. С этим Фернаном он почему-то всегда ведет себя, как глупый мальчишка, старающийся вызвать товарища на драку. А ведь он расположен к Фернану и уважает его. Подумать только: человек, от рождения предназначенный в сеньоры Эрменонвиля, так смело и открыто вступает за мелкий люд.

Мартин проводил Фернана до дому. Со свойственной ему несколько грубоватой манерой он всячески старался выказать свое расположение к нему. Вот такие-то редкие минуты угловатого проявления дружбы помогали Фернану за фигурой Катру—председателя Якобинского клуба—увидеть прежнего Мартина, преданного друга юности.

Но это нисколько не смягчило острой правды, прозвучавшей в словах Мартина. Мартин говорил не от своего имени, а от имени всех. Бегство короля пробудило в народе новую волну подозрительности против «бывших»; настороженная неприязнь гражданки Катру присуща была не одной этой Жанне, а всем Жаннам, вместе взятым: он, Фернан, навсегда останется чужим для них. Никогда народ не признает в нем брата.

Негодующий и угнетенный, узнал он, что Национальное собрание чуть ли не накануне своего роспуска отменило предложенный Лепелетье закон об освобождении рабов, заменив его немощными указами, которые вновь обрекли цветное население на бесправие. Жгучее желание искупить этот позор овладело им. Если только его действительно выберут, он уж постарается у всех

законодателей пробудить такую же страстную жажду справедливости.

Впрочем, он все меньше и меньше верил в свое избрание.

Лепелетье пытался рассеять скептицизм Фернана. Разве повадки и весь образ жизни его, Мишеля, не разъединяют его с якобинцами гораздо больше, чем Фернана? И тем не менее народные массы признали Мишеля своим. Устные и письменные донесения из департамента Уазы убеждали Лепелетье, что Фернан пользуется там подлинным доверием.

Однако сомнения Мартина оказались сильнее оптимизма Лепелетье. Фернан был по-прежнему подавлен.

Тем сильнее возликовал он, когда его выбрали. Значит, эти прозорливые простолюдины, рядовые граждане городка Санлиса и окружающих сел и поселков все-таки признали в нем неподдельного друга. Из двадцати кандидатов они выбрали именно его! Мартин был неправ: народ признал его, Фернана, братом!

Глава вторая

ВДОВА РУССО

Николас и Тереза все это время жили в Плесси.

В последние годы старого режима Николас все больше таскался по трактирам Плесси и Дамартена и изрыгал злобные и фанфаронские речи. Он знал свет, и собутыльники охотно слушали его разухабистую и желчную болтовню. Как только Тереза получала очередную пенсию, Николас дня на два-три исчезал в Париж; на больший срок не хватало жалкой подачки, которой неблагодарный свет старался откупиться от подруги величайшего из философов.

Жители Плесси—те, что не пьянствовали с Николасом,—не любили своих новых сограждан. Они осуждали Терезу за сожительство с этим мужланом, прикончившим ее супруга. Встречаясь с Терезой, женщины поспешно подзывали к себе детей. Николас ругался и грозил. Терезу отношение окружающих не трогало. Мир устроен прекрасно, если Николас—ее *homme de confiance* и живет с ней под одной кровлей.

Раз в месяц она ходила на эрменонвильское кладбище, на могилу матери, а раз в неделю переправлялась на маленький остров и приносила цветы на могилу мужа. Для очистки совести она еще ухаживала за канарейками Жан-Жака, отыскивала для них мокричник и вместо издохших птичек покупала новых.

Сначала и жители Эрменонвиля ругали ее. Потом понемногу привыкли к виду стареющей Терезы, которая, тихо и степенно двигаясь, навещала своих покойников, а затем, заглянув в «Убежище Жан-Жака», заказывала себе омлет, выпивала глоток-другой темно-золотистого вина, кормила рыбок и уток — так же, как это любил делать покойный, — и вела неторопливую беседу с папашей Морисом.

Однажды, когда Николас отлучился в Париж, к Терезе пришел плессийский священник и стал упрекать ее за постыдное, не получившее благословения церкви сожительство с мосье Монтрету. Она струсила и, как только Николас отоспался после парижского кутежа, робко намекнула ему, что следовало бы повенчаться. Николас рассвирепел и избил ее костью.

Через два дня исчезли канарейки. Тереза вспомнила о суке Леди, о том, как ужасно расстроился тогда Жан-Жак, и подумала: хорошо, что на этот раз ему уж никакие огорчения недоступны. Позднее она спросила Николаса, можно ли ей купить новых канареек. Он злобно отрезал:

— Хватит с твоего покойника и цветов, что ты ему носишь.

Штурм Бастилии вызвал у Николаса величайшее раздражение. Этот невежественный народ! Он, Николас, мыслит, как аристократ. С знатными господами он всегда гораздо скорее находит общий язык, чем с этой сволочью. Его возмущало, что принцу де Конде, его могучему покровителю, пришлось спешно уехать за границу. Впрочем, отъезд принца — это, конечно, ненадолго. Господство черни — дело непрочное, гольтьба скоро раскиснет в своем безумии, а зачинщиков — и не одну тысячу — повесят и четвертуют.

— Никакой пощады этому сброду, — требовал Николас.

Но поскольку возвращение эмигрантов заставляло себя ждать, в плессийском трактире Николасу велели попридержать язык. Эти ослы разводили там рацеи насчет Прав человека и честили его, Николаса, господским прихвостнем. Жизнь вокруг становилась все более смутной, мрачной, тоскливой; проклятая омужиченная Франция опротивела ему до тошноты. Он с радостью вернулся бы в Лондон, но на что он, изувеченный мастер верховой езды, мог там рассчитывать? Сюда-то, по крайней мере, приходит на имя Терезы пенсия из Женевы.

Время от времени он все еще ездил в Париж. По соседству с Пале-Роялем, в полулегальных кабаках, он встречался со своими единомышленниками — с лакеями и брадобреями «бывших», официантами первоклассных ресторанов, лишившимися заработка по вине нового поряд-

ка. Париж пришел в упадок, говорили они. Вместо катанья верхом люди бегают на роликовых коньках. Вместо изощренных чувственных развлечений времен расцвета забавляются детской игрой в жу-жу.

Когда Николас бывал в Париже, Тереза оставалась одна в маленьком невзрачном домике сьера Бесса. В трухлявой крыше шуршал соломой ветер, вечно дующий в плессийской долине. Тяжело дыша, выпятив свой мощный бюст, она сидела праздная, расплывшаяся, на вид старше своих лет. Люди дразнили ее: туша, глыба, неповоротливая слониха. Полуоткрыв рот, она дремала, щеки у нее отвисли, тяжелые веки опускались на глаза. Ветер вдруг выводил ее из полузабытья, у нее мерзли руки, она прятала их в муфту. Она с удовольствием развела бы огонь в очаге, да боялась роскошествовать, боялась, как бы ей не влетело за это от милого Николаса.

С легким вздохом она встала и опять—в который раз!—принялась за уборку, так как ветер то и дело покрывал убогую утварь толстым слоем пыли. Она рассматривала свои платья—этим она занималась часто и охотно. Вот они развешаны и разложены: короткие туники, юбки из воклюзского полотна, черная тафтовая мантилья, пара шелковых и пара простых нитяных перчаток и чепцы, чепцы, множество чепцов: льняные, кружевные, муслиновые, с лентами и без лент, и все яркие, пестрые. Тереза с нежностью разглядывала платья, всем им было по многу лет. Она выбирала их с любовью и толком, и не один мужчина провожал ее вожаделенными взглядами, когда она наряжалась в них. Теперь они стали ей тесны, но сшиты они с запасом, их еще можно расширять и расширять. Взяв одно из платьев, она принялась перешивать его. Она вспоминала, какие ткани нынче в моде: полосатая флоренция, одноцветный пекин, сицилиана, нанкин. А эти милые длинные облегающие жакеты а-ля зулейка, с жилетками на турецкий манер. Тереза призадумалась: как поступить? Надеть ли удобные домашние туфли на теплой подкладке, которые она завела себе по примеру покойного Жан-Жака? Или, может, одеться по-настоящему, чтобы встретить своего Кола не такой неряхой?

Не торопясь, она тщательно оделась и даже слегка нарумянилась. Потом пододвинула к столу стул с соломенным сиденьем. К глубокому, удобному креслу Жан-Жака она не прикасалась; оно было предназначено для ее дорогого Кола. Усевшись на стул, она подперла голову руками и стала ждать. Она научилась ждать; большую часть своей жизни она провела в ожидании, и ждать вовсе уж не так неприятно. На опыте она убедилась, что долгожданный и долгожданное в конце концов приходят.

Вокруг стояли привычные предметы ее домашнего обихода. Вот кровати с бело-голубыми покрывалами. Даже спинет еще здесь. Николас хотел было продать его, но за него давали ничтожную цену. Поэтому и еще потому, что Николас так ее любит, он в конце концов решил спинет оставить для себя. Канареек уже нет, но клетки и гравюры, так хорошо и издавна знакомые, висели по стенам; вот «Лес Монморанси» и «Дети кормят парализованного нищего». Местечко Монморанси, правда, переименовано теперь в Эмиль в честь ее Жан-Жака. И ларь здесь, а в нем — писания. Она положила туда еще одну бумагу: письмо, в котором принц Конде удостоверял, что его милый Монтрету — превосходный наездник.

Тереза сидела за столом, ждала, дремала, опять ждала. Все смешалось в ее сознании, вещи вокруг ведь были все те же, и она уже не разбирала, где она: в Париже на улице Плятриер, в Летнем доме в Эрменонвиле или в Плесси — в доме сьера Бесса? Однажды она испуганно закричала: ей почудилось, будто ее окликнула мать. Но то был лишь ветер. Потом ей пришло в голову: а не время ли мужу ввести зонд? Жан-Жак и Николас слились воедино, и она не знала, то ли нужно растереть мужу спину, то ли ввести зонд. Всю свою жизнь она с кем-нибудь нянчилась, это стало для нее сладостной потребностью, и ей чего-то не хватало, если не с кем было возиться.

Теперь уж ей не обзавестись ни одной из прелестных новых тканей. Если она хотя бы отдаленно намекнет, что хочет новое платье, Николас ругательно изругает ее, да еще и приберет. Правду сказать, ей и не нужны новые платья. Ее обзывают слонихой и говорят, что она глупа как пробка. Глупа-то она глупа, верно, но ей это пошло впрок. Пусть она и слониха, а все-таки не кто другой, а она выудила себе двух самых выдающихся мужчин Франции: Жан-Жака, которого теперь еще больше восхваляют, чем при жизни, и своего дорогого Николаса, бывшего владельца известного тэтерсолла, этой самой замечательной скаковой конюшни во всей стране. За Николасом вельможи бегали так же, как за Жан-Жаком, вся Франция дралась за ее мужчин, но достались они ей, и оба любили ее, один из них даже убил из-за нее другого. И всякие, даже знатные господа в нее влюблялись; то была хорошая жизнь, о, она умела ждать! И никогда не ждала напрасно, он всегда возвращался к ней.

Тереза улыбалась сквозь дрему — лукаво, счастливо, придурковато, вся во власти зыбкого дурмана, в котором все и всё перемешалось, и она ждала, и ветер на крыше шуршал соломой.

Некий господин, годами не дававший о себе знать, посетил Николаса и Терезу. Перед ними предстал гражданин Франсуа Рену, бывший сержант, сводный брат Терезы.

Он здорово сдал, ему нелегко было теперь изображать прежнего говорливого, разухабистого, самоуверенного забулдыгу, но тем не менее он изображал его.

Франсуа заговорил о событиях дня, он вполне сочувствует им, ведь он всей душой революционер. Он всегда высоко ценил идеи своего дорогого шурина Жан-Жака и даже одним из первых дрался за них в лесах Америки с наемниками английских тиранов и с подкупленными ими дикарями-индейцами.

Треща языком, Франсуа окидывал внимательным взглядом убогую комнату. Он с удовлетворением отметил, что вся знакомая обстановка и, в первую очередь, знакомый ларь, как бы там ни было, а пока еще на месте.

— В ларе-то еще что-нибудь есть? — спросил он, не в силах долше сдерживаться.

— О да, — иронически ответил Николас. — Там, например, письмо принца Конде к моей скромной особе.

Тереза же, увидев, как разочарован Франсуа, гордо заверила:

— Все в целости, все писания. Маркиз, этот «бывший», собирался прикарманить их, но Николас задал ему перцу.

— Я всегда говорил, что наш Николас башковитый малый, — одобрительно сказал Франсуа.

— Ты что ж, старая каналья, для того только и пожаловал, чтоб сообщить мне об этом? — поинтересовался Николас.

Тут Франсуа по-военному расправил грудь и произнес следующую речь:

— Мои дорогие, — и ты, моя единоутробная сестра, и ты, мой, с позволения сказать, шурин, оба вы не бог весть как хорошо поступили со мной. Но я не злопамятен. Как глава семьи, я обещал нашей покойной мамочке на ее смертном одре, что не оставляю вас своими заботами. Только что я побывал на могиле дорогой мамочки и, положа руку на сердце, заверил ее: на сержанта Франсуа Рену можно понадеяться, он держит слово и в дождь и в вёдро.

— Откачай-ка воду, — мрачно скомандовал Николас, — и выкладывай на чистом французском языке: какой там новый камень у тебя припрятан за пазухой?

Обдав Николаса косым, преисполненным достоинства и презрения взглядом, Франсуа продолжал:

— Я коротко знаком с депутатом Шапленом, смею даже утверждать, что мы с ним друзья. Вот это человек! Преданный жрец природы и разума, подлинный ученик нашего Жан-Жака. Партия Горы считает за честь, что он принадлежит к числу ее вождей. Он, как вам, конечно, известно, был капуцином, потом — генеральным викарием у епископа в Блуа. Но он освободился от старых предрассудков, как змея от старой кожи, и теперь его философия такая, что лучше и не надо. Шаплен питает слабость к художественной литературе, обожает Жан-Жака и с удовольствием познакомится с вдовой Жан-Жака. Про ее скромность, преданность и добродетель он читал в «Исповеди», да и я ему рассказал много похвального.

Николас ухмыльнулся.

— Не сойти мне с места, — сказал он, — если я не дружил со многими большими господами, даже с принцами крови. А скольких я научил держаться в седле! Так чтобы я, да стал заискивать перед каким-то вшивым депутатом из мужичья? Перед капуцином? Все капуцины смердят.

— Я бы на твоём месте, — ответил Франсуа, — попридержал немножко язык, любезный шурин. За бывших принцев королевской крови никто тебе нынче паршивого су не даст, зато мой бывший капуцин мановением мизинца может забросать тебя талерами. Не вижу я что-то, чтобы талеры дождем сыпались на вас. А они могут посыпаться ливнем, если вдова Руссо расшевелит страсти законодателя Шаплена.

— Понимаю, — пренебрежительно бросил Николас, — ты, конечно, не прочь выцыганить у этого Шаплена какую-нибудь грошовую подачку за сводничество с моей Терезой, а я потом сам растирай свою бедную задницу, так, что ли? Нет, этот номер не пройдет.

— Какое незаслуженное недоверие, — откликнулся Франсуа. — Я-то тебя знаю, и, разумеется, я расписал тебя депутату Шаплёну в таких великолепных красках, в каких только совесть мне позволила. Так что гражданин Шаплен ждёт не одну вдову Жан-Жака, но и её достославного *homme de confiance*.

И вот Тереза и Николас отправились за счет сержанта в Париж представляться депутату.

Депутат оказался тучным, неопрятным, жизнерадостным человеком. Из широко распахнутой рубашки выпирала объемистая шея с мощным загривком. Грубошерстные штаны, надетые на голое тело, обтягивали массивные ноги. От своего родителя, шеф-повара у богатого

настоятеля, Шаплен унаследовал вкус к хорошим яствам. Да и вообще он любил широко пожить. Он окружал себя предметами роскоши. Дом его был полон прекрасных картин великих мастеров, разнообразных кубков, чаш благородных форм, всевозможных художественных безделушек. Религиозные реликвии, к почитанию которых он привык с ранней юности, он заменил теперь изысканными антикварными редкостями и, в первую очередь, литературными уникалами—рукописями и старинными книгами. Жадный на жизнь, он пожирал все—науку, искусство, женщин, лакомые кушанья. Обладал бурной фантазией и вечно находился в погоне за приключениями. Он раскрыл заговор эмигрировавшей знати, агенты которой тайно собирались в замке Багатель. Приказал схватить их и всех предал суду. Сам он однажды подвергся нападению наемных убийц, подкупленных графом Артуа и другими «бывшими». Его ранили, но, к счастью, не тяжело, и с тех пор он пользовался еще большей любовью народа.

Париж тех лет не мог пожаловаться на недостаток в хороших ораторах; Шаплен считался одним из лучших. Его красноречие сочетало в себе античную монументальность и фанатизм проповедников-крестоносцев с чувствительной народностью Жан-Жака. Массы упивались его ораторским искусством.

Все, что касалось Жан-Жака, возбуждало в нем жгучий интерес. Глаза его разгорелись, когда Николас и Тереза показали ему толстые пачки изящной бумаги, исписанной твердым бисерным почерком учителя. Мясистыми руками он нежно поглаживал страницы.

Терезу он приветствовал как некую живую реликвию. Его растрогал вид этой слонихи, неповоротливой телом и душой. Он убедил простоватую и замшелую подругу Жан-Жака и ее милого дружка переехать в Париж со всеми их рукописями и поселиться вблизи от него на его средства.

Довольный Николас густо сплюнул. Поистине благодатная идея осенила его тогда—потребовать у маркиза рукописи. Он мысленно одобрительно похлопал себя по плечу. У него всегда был верный нюх. Он умел извлечь выгоду даже из самых неблагоприятных и пагубных обстоятельств. Всякий другой на его месте отнесся бы к этим писаниям как к выжатому лимону и думать бы про них забыл. Он же не пожалел трудов, он сочинил такое замечательное письмо, что оттягал их у маркиза. И вот теперь старая, истощенная почва дает новые, жирные всходы.

Тереза, счастливая и тупо недоумевающая, наблюдала за тем, как пылко читает ее покойного Жан-Жака новый

Париж. Гражданин Шаплен был ведь из духовных, а значит, понимал толк в этих вещах, и он отзывался об ее дорогом Жан-Жаке как о святом. Да и все так говорят о нем. Повсюду выставлены его бюсты, его портреты красуются во всех витринах. На улицах Де-Греннель и Плятриер, на домах, где в былые годы они жили с Жан-Жаком, прибиты мемориальные доски. А стоит человеку, который только что смотрел на нее безразлично или даже свысока, узнать, что она—вдова Жан-Жака, как выражение лица его сразу меняется и становится благоговейным, как в церкви.

О Терезе появлялось множество газетных статей, была написана даже книга. Ее рисовали карандашом и писали красками. Особенно хороша была одна гравюра: на фоне унылого осеннего пейзажа Тереза гуляет по берегу Эрменонвильского озера. На заднем плане—маленький остров с тополями и гробницей, а она, Тереза, величественная и печальная, шествует в своем чепце, держа руки в муфте—этакая благородная стареющая дама с чуть наметившимся двойным подбородком. Гравюра называлась «Подруга Жан-Жака». Продавалась она повсюду. Увидев ее, Тереза умилилась. Вот, значит, какая она, Тереза. Все ее ругали, обзывали слонихой, дурой, а на поверку выходит, что она такая прославленная дама. Какая жалость, что Жан-Жак не дожил до этого, что он не видит, как чествуют его верную подругу. Но зато какое счастье, что Кола это видит.

Фернана возмущал весь этот культ, созданный вокруг Терезы. О своей связи с ней он забыл, ее как и не было; что его раздражало, так это осквернение памяти учителя, принявшее такие комические, даже уродливые формы. После некоторых колебаний он спросил своего друга Лепелетье, не следует ли предпринять что-нибудь. Циник Лепелетье ответил отрицательно. По его мнению, вся ситуация просто забавна.

— Сам Жан-Жак,—сказал он,—был бы, вероятно, доволен, что Терезе уделяется столько внимания. Впрочем, он, быть может, и посмеивается в гробу, но мертвые уста молчат, а если вы станете доказывать, что трогательные басни о Терезе—сплошная ложь, вы окажете плохую услугу и памяти Жан-Жака, и самому себе. Попробуйте доказать верующему, что мощи—это надувательство, и вы увидите: он ополчится не против мощей, а против вас.

Поклонение Терезе, подогреваемое Шапленом, не прекращалось. Друг Шаплена, известный драматург Буйи, задался целью написать пьесу «Жан-Жак и его подруга». Он отправился к Терезе и попросил ее рассказать об ее жизни с учителем. Но, увидев, что добиться толку у нее трудно, обратился к Николасу. И тот насочинил ему кучу

коротеньких, за душу хватающих анекдотов из Терезиной интимной жизни с Жан-Жаком и из своей дружбы с ним. Пьеса была поставлена в бывшем Итальянском театре, ныне — театре Равенства. Зрители лили слезы, Терезу заставили обнять и поцеловать бюст Жан-Жака, толпа громкими криками приветствовала ее, успех был неслыханный.

В беседах драматурга Буйи с Николасом много места уделено было детям Терезы, отданным Жан-Жаком в Воспитательный дом. Хотя поведение Жан-Жака отчасти оправдывалось царившими при старом режиме неравенством, несвободой и небратством, все же на его лучезарный образ легла какая-то тень. Николас настоял, чтобы Тереза, забыв страдания, причиненные ей Жан-Жаком, samozабвенно и самоотверженно искупила его пресловутый поступок, вызвавший так много толков. Она продала с аукциона автограф песен Жан-Жака, известных под названием «Утешения», а выручку пожертвовала на приют для подкидышей. Обитатели этого учреждения — их называли теперь «Дети Франции» — в темных форменных платьях, в шапках с трехцветными кокардами пришли поблагодарить Терезу. И по этому случаю было также пролито море слез.

Наконец, Николас придумал номер, который должен был затмить все остальное. Рассчитывая на признательность депутата Шаплена, он заставил Терезу преподнести тому рукопись «Новой Элоизы». К тридцатипятилетию со дня рождения Шаплена Тереза вручила ему этот автограф.

Жан-Жак четырежды переписал «Новую Элоизу» от руки, каждый экземпляр — с особой тщательностью. Данный экземпляр, предназначенный для одной из его знатных возлюбленных, он выполнил с особой любовью, но поссорился со своей дамой и положил рукопись в ларь. Эту-то рукопись Тереза и отдала теперь Шаплону.

Расплывшееся лицо Терезы дрогнуло, когда она вручала Шаплону желтовато-белые листочки, исписанные мелким изящным почерком. Ведь она сидела рядом с Жан-Жаком, когда он писал на этих листках. Она хорошо помнит, как мать ворчала, что столько хлопот стоит доставать для него синие чернила, уйму бумаги с золотым обрезом и тончайший песок и что все это так дорого обходится. Жан-Жак, несомненно, читал ей, Терезе, вслух из этой рукописи; ведь он все прочитывал ей. А потом сколько спорили из-за этих писаний. Николас своевременно предупредил матушку, но она не захотела отдать ему ларь, а потом подлый Жиарден, этот «бывший», уволок его, но ее оборотливый, ловкий Николас вырвал все рукописи у маркиза. И вот теперь она отдает эти листки

доблестному законодателю. Так хочет Николас, а Николас знает, чего хочет.

Шаплин поблагодарил, явно обрадованный. Оставшись один, он погладил листки, умиленно и упоенно перечитал их и бережно, с нежностью уложил в замечательную шкатулку из слоновой кости, в которой некогда хранились истлевшие мощи святого Лазаря и которая попала в руки Шаплина при конфискации церковного имущества.

Николас правильно рассчитал. Депутат Шаплин в своей благодарности не ограничился красивыми фразами. Он был представителем нации, и он добился того, что нация, в свою очередь, преподнесла вдове Жан-Жака ответный подарок.

Зимой, в одно из вечерних заседаний Национального собрания, в зале появилась Тереза Левассер — жена Жан-Жака Руссо перед лицом природы. Барьеры, отделяющие публику от законодателей, исчезли, депутаты встали со своих кресел, Терезу усадили на почетное место.

Депутат Шаплин поднялся на ораторскую трибуну. Он воздал должное Жан-Жаку как отцу революции. Он воздал должное Терезе, верному гению домашнего очага Жан-Жака и спутнице его жизни, его Евриклее и его Марфе.

Затем внес предложение — установить вдове Жан-Жака солидную пенсию.

Предложение было принято.

Глава четвертая

ЗАГОВОР КОРОЛЕЙ

Фернан гордился званием депутата нового Законодательного собрания. Оно насчитывало в своих рядах прославленных ученых, блестящих ораторов и реформаторов, горящих честолюбием и жаждой подвигов. Большинство новых законодателей были молоды, едва ли старше Фернана. Еще ни разу со времен Афин Перикла и сципионовского Рима государством не управляла группа таких честных и одаренных мужей.

Новое Собрание сразу же энергично взялось за претворение бесхребетных и расплывчатых решений, принятых предыдущим Собранием, в четко сформулированные декреты, обязательные для всей нации. В стремительном темпе оно издало ряд законов, которые даже Мартин Катру и ему подобные не могли не признать зубастыми. Новые законодатели заключили в тюрьму всех священнослужителей, отказавшихся присягнуть на верность новому режиму, объявили о конфискации имущества всех бежав-

ших дворян и заочно приговорили к смертной казни тех, кто не возвращался на родину в течение полутора месяцев.

Кипучая деятельность Законодательного собрания вдохновляла Фернана, но ему было горько, что даже эти просвещенные решительные политики не чувствуют в себе достаточно сил для осуществления в колониях Декларации прав человека. Сообщения из Вест-Индии поступали скупо; все же было известно, что белое население очень пострадало. О судьбе Гортензии и ее отца ни Робинэ, ни сам Фернан не получали никаких сведений, напрашивались самые ужасные предположения. Тем горячее желал Фернан, чтобы все эти жертвы не оказались напрасными и чтобы освобождение цветных в Вест-Индии стало наконец фактом. Он требовал от своих коллег восстановить законы Лепелетье, предоставлявшие цветному населению колоний полное равноправие, а его, Фернана, направить в Кап-Франсэ для проведения законов. Но никто и слышать не хотел об этом.

— Дорогой друг,—возражали ему,—прежде всего мы должны упрочить революцию здесь, внутри страны. Нам ни к чему искать войну за морем, она у нас здесь, на собственных рубежах.

Так оно и было. Эмигранты превратили город Кобленц в главную ставку контрреволюции. Там, на германской земле, в непосредственной близости к французской границе, они собирали военные силы. А Австрия и Пруссия поддерживали их всеми средствами. Вожди новой Франции полагали, и не без оснований, что король состоит в заговоре с эмигрантами и с иноземными дворами и старается склонить их к быстрейшему нападению на освобожденный народ.

Часть депутатов считала, что необходимо предъявить ультиматум, опередив объединенное наступление королей реакционной Европы на Францию. Они требовали превентивной войны. Фернан был пламенным сторонником этих воззрений.

— Пусть знает Европа,—возглашал он с трибуны Собрания,—что в ответ на вызов враждебных сил десять миллионов французов, вооруженных мечом, разумом и словом, смогут преобразить лицо всего мира и низвергнуть все троны!

Собрание много раз посылало депутации к королю в надежде побудить его к войне с теми монархами, которые состояли в заговоре против новой Франции.

Однажды Фернан возглавил такую депутацию.

Прежний придворный этикет поблек и значительно сократился. Все же в Тюильрийском дворце сохранились еще длинные переходы, и обширные аванзалы, и несущие

караул швейцарцы, и отвешивающие величавые поклоны камергеры. Следуя церемониалу, Фернан приложился к пухлой королевской длани. Людовик сидел, рыхлый, моргая тяжелыми веками выпуклых глаз; видно было, что ему претит вести переговоры с бунтовщиками, которых он явно предпочел бы заточить в Бастилию.

Фернан, произнося свою весьма искусно составленную, почтительную и в то же время грозную речь, в которой излагались требования законодательного корпуса, внимательно всматривался в толстое, усталое и напряженное лицо короля и ясно представлял себе, что творится за покатым королевским лбом. Этот Людовик Бурбон любил свой народ и свою страну и чувствовал себя обязанным всем пожертвовать для своей Франции. Но в то же время ведь он — король, отпрыск многих королевских поколений, и он чувствует себя обязанным сделать все, что в его силах, для восстановления богом данной абсолютной монархии. Он несет ответственность перед Белыми лилиями и перед Трехцветным знаменем. Вот отчего он и тут и там проявляет нерешительность, и он бедный, несчастный, достойный жалости и очень опасный человек.

И Людовик тоже разглядывал Фернана, предерзостного сына старого глупца, из приверженности к философии приютившего в свое время у себя Жан-Жака и окружившего его удобствами. У американских повстанцев молодому Жирардену уже прострелили ногу, но он из этого так и не извлек урока. А теперь он осмелился приковылять сюда и предстать пред очи короля, требуя, чтобы он, король, объявил войну своим братьям, монархам Европы. Ему-то, молодому Жирардену, все нипочем. Он бунтарь и предатель по природе и по профессии, таким его бог создал. В аду с него за все спросят, но на земле этот счастливчик хорошо знает, чего хочет. Ему же, Людовику, провидение не послало такой легкой доли. Ему опять придется наперекор внутреннему голосу дать этому сброду кое-какие неопределенные заверения.

В медлительной, изворотливой речи Людовик пообещал, что он доброжелательно рассмотрит предложения, исходящие от верного ему Национального собрания. Как хорошо, думал он, что как раз на этой неделе удалось отправить тайное послание кузенам: римскому императору и королям Пруссии, Испании и Швеции. В своем послании он просит их подавить соединенными воинскими силами восстание во Франции и предупредить тем самым опасность распространения анархии, этого страшного зла, на всю Европу.

Но народные представители недолго довольствовались неопределенными обещаниями, и как только Австрия и Пруссия заключили союз, направленный против новой

Франции, все же вырвали у короля согласие на вооруженный отпор союзникам. Всеми голосами против семи, под неистовый и шумный взрыв энтузиазма Национальное собрание вотировало объявление войны.

Восторженный подъем, охвативший законодателей, увлек за собой народ. Короли Европы вошли в тайный сговор, чтобы похитить свободу, так счастливо завоеванную Францией. Что ж, Франция наголову разобьет наглых хищников. Вряд ли когда-нибудь за всю свою тысячелетнюю историю французская нация вступала в войну с такой бесспорной уверенностью в своей правоте. Бесчисленные добровольцы стекались под знамена революции, под трехцветные знамена свободной Франции.

И гражданин Жирарден, этот бывший маркиз, испытывал радостный подъем. Бегство Людовика потрясло его, оно порвало нити, связывавшие корону и народ. Но вот, на благо своей страны и на горе себе, Людовик расторг многолетний союз с Австрией и объявил войну родине своей супруги. И все сразу забыли об его прошлых ошибках и слабостях, и снова родилось нерушимое единство между королем и народом. Как же! Ведь великодушный, просвещенный король сумел поставить дело народа выше интересов собственной династии, он подчинился Всеобщей воле. Еще один новый и крупный шаг был сделан по пути, предугазанному Жан-Жаком.

Гражданин Жирарден посетил командующих французскими армиями, генералов Лафайета, Рошамбо и Люкнера. Ссылаясь на то, что во время Семилетней войны, в битве при Гастенбеке ему уже пришлось, и не без успеха, померяться силами с герцогом Брауншвейгским, верховным командующим армией противника, он предложил свои услуги для участия в текущей кампании. Лафайет отклонил его предложение: мол, слишком много «бывших» занимают руководящие посты в армии. Жирарден был глубоко уязвлен. И все же он похоронил огорчение глубоко в сердце своем. Даже сыну ничего не рассказал.

Пришлось ограничиться задачей вселять в других свой энтузиазм. Он добился того, что его департамент выставил наибольшее количество добровольцев. Он дарил каждому пожелавшему вступить в армию двадцать пять ливров на путевые расходы и на приобретение обуви. А когда число добровольцев достигло значительных размеров, Жирарден устроил для них праздник в своем замке и обратился к ним с пламенной речью. Уж если ему, сказал он, с солдатами, прошедшими суровую, деспотическую муштру, удалось обратить в бегство герцога Брауншвейгского, то не подлежит сомнению, что армия, состоящая из добровольцев-энтузиастов, одержит над этим противником куда более блистательную победу.

В душе Жирарден отнюдь не чувствовал уверенности в победе. С начала революции верховное командование армии многократно менялось, многие из числа наиболее опытных офицеров и генералов эмигрировали. Так сможет ли молодая, наспех сколоченная, плохо дисциплинированная армия оказать сопротивление хорошо вымуштрованным и возглавляемым опытными командирами войскам европейской коалиции?

Вскоре неприятельские отряды действительно вторглись в пределы Франции. Первое столкновение произошло под Лиллем. При одном только виде австрийцев французы обратились в бегство с криками: «Нас предали!» — и убили своего генерала. Пьемонтские полки переступили границу на юге. Восточные крепости, Лонгви, Верден, пали. Командование союзников торжествовало. Разве это кампания? Да это просто прогулка в Париж.

Катастрофическое положение на фронтах угрожало спокойствию и порядку внутри страны. Массы не верили в слабость армии: измена — вот в чем они видели единственную причину поражения. Всех «бывших» народ объявлял предателями. И прежде всего — короля.

Однажды народные массы уже проникли в Тюильрийский дворец. Тогда они, правда, еще в благодушной форме, попрекнули короля в неискренности, навязали ему свои непрошенные братские чувства и нахлобучили на голову революционный фригийский колпак. Теперь же, после иступленной речи депутата Шаплена, они вторично штурмовали королевскую резиденцию. На сей раз все происходило далеко не так благодушно. Было много убитых, королю пришлось бежать, его поместили в смахивавший на тюрьму замок Ле-Тампл.

Париж бурлил. Власти благосклонно терпели мятеж. Тюрьмы брались штурмом, массы сами творили суд и расправу и особо ненавистных «бывших» тут же приканчивали. Памятники прежних королей, украшавшие собой многие городские площади, низвергались с пьедесталов под патриотические песни и ликующие клики. Работа эта была не из легких. Бронзовые короли и их бронзовые кони оказывались часто не в меру крепки, а памятник Людовику Четырнадцатому, падая, убил поющую женщину. Бронзовую руку Людовика Пятнадцатого толпа сохранила для обожяемого и чествуемого ею депутата Шаплена, приобщившего ее к своей коллекции курьезов. Даже почитаемый народом Генрих Четвертый, столько десятилетий любовавшийся с Нового моста Сеной, не избежал общей участи.

Вера Жирардена в то, что человек добр, уже и без того изрядно потрепанная и кое-как подлатанная, на этот раз основательно пошатнулась. К сожалению, все про-

изошло именно так, как напроорочил проклятый мосье де Гримм: народовластие, о котором мечтал Жан-Жак, выродилось именно в ту форму господства черни, которая была так ненавистна учителю,—в охлократию. Человек был и остался варваром.

И уверенность Фернана события последнего времени несколько подорвали, хотя надежда на конечную победу не покидала его. Больше всего его потрясли поражения на фронте. Он не мог постичь, почему его друзья—Лепелетье и в особенности Мартин Катру—совершенно спокойно относятся к ним. Больше того, они приветствовали поражения. Мартин Катру, чуть не ликуя, говорил в Якобинском клубе: «Да ведь это подлинное счастье, что война так складывается. Она укрепит свободу и начисто выметет вон последние остатки деспотии».

— Главную опасность представляли ваши старые генералы,—объяснил он Фернану.—Все они в душе монархисты—и твой Лафайет, и другие твои подозрительные «американцы». Если бы они победили, они вернулись бы в Париж, удушили бы революцию и восстановили всехристианнейшего во всех правах. Теперь народная армия взяла войну в собственные руки, прогнала вашего Лафайета и заменила двурушнических генералов надежными революционерами. Теперь истинное отсеяно от ложного. Да здравствует поражение!—воскликнул он зло, упрямо.

— Но ведь враг идет на Париж!—воскликнул Фернан. Неужели недоверие и ненависть так ослепили Мартина, что он не видит ужаса реальной опасности?

Мартин самоуверенно покачал головой.

— Теперь, когда народ сам повел войну, его никто не победит. Помяни мое слово: враг в Париж не войдет.

Поражения на фронте и восстания внутри страны подорвали авторитет Законодательного собрания. Кругом раздавались голоса: конституция устарела, необходимо издать новую конституцию, подлинный Общественный договор. Основанный на чистом Разуме, истинно революционный, он должен на веки вечные определить правовые отношения отдельного гражданина к государству. Были объявлены выборы в новое народное представительство.

Фернан на этот раз тоже выставил свою кандидатуру. Но теперь и он почувствовал на себе общее недоверие к «бывшим». Его забаллотировали. Место его занял Мартин Катру.

Всего семеро «бывших» вошло в новое Собрание, в том числе Мишель Лепелетье.

Фернан не был завистлив. Но все же ему было больно, что народ, принявший Лепелетье, его отверг. При этом Лепелетье не делал никаких уступок. Он отправлялся в

Якобинский клуб в своей роскошной карете, в роскошном, аристократически изысканном костюме, нередко вместе с весьма нарядной дамой. Случалось, что пешеходы, которым приходилось спасаться от резвых коней, враждебно озирались; но стоило им узнать своего Лепелетье, как они тут же дружески приветствовали его. Почему же тогда он, Фернан, остается для народа «бывшим», чужим? Отчего ему отказано в счастье стать звеном в общей цепи, быть братом среди братьев?

Когда вновь избранное Собрание, Конвент, сформировалось, прежний состав представителей снял с себя полномочия и торжественно ввел новых представителей в зал заседаний.

Фернан, уйдя в отставку, вернулся в Эрменонвиль.

Глава пятая

ГОРЬКОЕ СЧАСТЬЕ

Конвент на первом же заседании объявил монархию свергнутой и провозгласил Республику. Далее, постановил создать более решительную конституцию на основе «Общественного договора». Введен был также новый календарь. Он начинался с года Первого Единой и Неделимой Республики.

Чудесным предзнаменованием в день открытия Конвента прозвучала весть о перемене военного счастья. В этот первый день работы Конвента одна из французских армий, оборванная, усталая от войны, плохо вооруженная, одержала под деревушкой Вальми решающую победу над неприятельской армией, вооруженной по последнему слову военной техники. Войска союзных королей вынуждены были срочно начать отступление. Солдаты Республики один за другим взяли Верден и Лонгви, заняли Шпейер, Майнц, Франкфурт, вторглись в Савойю, наводнили Голландию, Бельгию.

Победы эти поразили Европу.

Неприятно поразили они и мосье Робинэ. Он всегда был невысокого мнения об аристократах, но что они так жалко спасуют,— этого он не ожидал.

Очень не нравились ему и дела, творившиеся в Париже. Его политическая теория была проста: нужно, чтобы страной правил избранный круг людей, доказавших свой талант умением наживать богатство. Правда, большинство депутатов Конвента — богатые и разумные люди, представители буржуазии. Но, к сожалению, чернь приобретает все большее влияние, а это добром не кончится, ибо чернь еще глупее, чем аристократы.

Робинэ не сомневался в конечной победе хорошо обученных армий союзников. Он решил дожидаться этой победы во Франции. Было бы забвением своего долга по отношению к внучке и правнучке, если бы он отказался от превосходных дел, которые теперь прямо-таки сами шли в руки.

Оставаться во Франции было небезопасно. Большинство тех откупщиков, которые не скрылись, сидели в каталажке. Он-то, не в пример им, был достаточно умен и не присвоил себе дворянского титула ни по одному из своих владений. А сейчас он держался в тени. Заколотил все свои замки, а также дворец в Париже, жил в Латуре тихо и уединенно, с очень небольшим количеством слуг. Щедро жертвовал на всякие учреждения новой Франции. Нет, ему-то вряд ли угрожала какая-либо опасность.

Он спокойно отнесся к конфискации Сен-Вигора и тут же через подставное лицо снова купил и замок и имение. Все коммерческие сделки он совершал через подставных лиц. Скупал, что только мог скупить, в широких масштабах делал поставки для армии, и все это — через подставных лиц.

А когда придет желанный день, когда объединенные роялистские армии триумфальным маршем войдут в Париж, тогда среди победителей окажется муж его внучки, заслуженный воин граф Матье де Курсель. И тогда Робинэ выступит вперед из темного закутка и докажет, что в отсутствие своего героического родственника преданно и успешно вел его дела.

Но произошло событие, вверх дном перевернувшее все планы мосье Робинэ. Было получено известие, что Матье де Курсель, прикрывая своим батальоном отступление полка, пал в бою за королевские лилии Франции.

Жильберта, услышав это, окаменела. Мосье Робинэ никогда не думал, что можно так побледнеть. Он погладил ее похолодевшую руку. Она отняла у него руку и вышла из комнаты. Он понимал, что в ней происходит: Жильберта обвиняла его и себя самое в нелепой кончине Матье, этого порядочного человека, который любил ее.

Два дня она не показывалась. Он посылал ей еду, она почти ни к чему не притрагивалась. На третий день она сошла вниз. Некоторое время они сидели молча. Потом она сказала:

— Это нечеловечески больно, дедушка.

Думая о своем будущем, рассудительный Робинэ приходил в безрассудную ярость. Он вдруг понял, что оставался здесь вовсе не ради умножения своих богатств, а потому, что хотел удержать возле себя Жильберту и маленькую Марию-Сидонию.

Подвергать себя и дальше опасности — бессмысленно.

Вечность может пройти, прежде чем Европа положит конец всему этому безобразию. А сколько зла тем временем успеют натворить парижские безумцы! Он, Робинэ, в опасности, но еще большая опасность грозит Жильберте, вдове врага Республики. Надо бежать из Франции.

Однако он знал Жильберту. Как она ни благоразумна, но и она заразилась новыми идиотскими идеями, болтовней того самого чудака, который лежит здесь неподалеку, под своими тополями. Жильберта не захочет уехать, будет упорствовать в своем желании остаться и приводить в оправдание тысячи причин, но главной причины не назовет. Ибо главная причина—этот проклятый мечтатель, фантазер, глупец, этот молодой Жирарден.

И вот носившемуся с такими мыслями Робинэ доложили о приезде Фернана.

Весть о смерти Матье ввергла Фернана в глубокое смятение. Он никогда не желал зла мужу Жильберты. Ратуя за войну, он даже в глубине души не затаил мысли об этом честном человеке, по долгу совести покинувшем страну. Великий переворот смел с лица земли многих более значительных людей, но в этой смерти, казалось ему, он, Фернан, чем-то повинен.

Увидев Фернана, мосье Робинэ не скрыл своего гнева. Этакий глупец. Этакий дурень, подламывающий сук, на котором сидит он сам и его друзья. Он внес законопроект о конфискации эмигрантских имений. Он вверг Францию в братоубийственную войну, стоившую жизни Матье.

— Теперь вы видите, что натворила ваша философия, мосье,—встретил его Робинэ.—Сначала вы болтаете о природе и о мире, о равенстве и братстве, а потом развязываете гражданскую войну. Бедный Матье! Но он, по крайней мере, знал, где его место.

Фернан был изумлен, что этот старик, эта ходячая рассудительность, так сильно взволнован и не скрывает своих чувств.

— Ваше горе извиняет вас, мосье,—сказал он.—Я воздерживаюсь от возражений, дабы не углублять вашего гнева. Я желал лишь выразить вам и Жильберте свое участие, свое искреннее соболезнование.

— Оно не воскресит Курселя,—издевался Робинэ.

На пороге стояла Жильберта. Черное платье подчеркивало ее бледность; такой бледной Фернан никогда ее не видел. Она стояла в дверях и смотрела на него. Слова не шли с ее губ. И Фернан не мог рта раскрыть. Опять это была совершенно новая Жильберта и в то же время прежняя.

Возвращаясь к жизни после оглушившего ее удара, она странным образом прозрела.

Хотя Жильберта и возражала дедушке, когда тот говорил о неизбежной конечной победе монархии, в глубине души она никогда по-настоящему не верила в прочность Республики. Она унаследовала от матери отношение к сильным мира сего, к привилегированным, к представителям власти как к чему-то незыблемому, как к своего рода судьбе. Они на столетия останутся на земле, как вековые утесы. Жильберте казалось немыслимым, чтобы этот юродивый старик Жан-Жак и ее чудесный, но все же немножко свихнувшийся Фернан могли надолго свергнуть тысячелетнюю державу. В философии Фернана она видела только его конек, на котором он скачет, упрямый мечтатель, на котором он доскакал до лесов Америки, до трибун парижских мятежников. Но допустить мысль, что эта деревянная игрушка оживет и будет жить, нет, вздор это! — думала она. В сокровеннейшей глубине души она не верила, что ее дитя так и вырастет рядовой гражданкой, а не графиней Курсель, после всех тех жертв, которые она, Жильберта, принесла в борьбе за привилегии.

Смерть Матье сразу и с корнем уничтожила ее глубоко скрытые надежды. Благоразумный Матье, один из вельмож, один из несокрушимых, как вековые скалы, побежден и мертв, а Фернан, мечтатель, вечный отрок, мудрый безумец, он тут, он жив, и он оказался прав. Жизнь показала, что его безумие разумнее, чем благоразумие Матье и дедушки. Старый мир рухнул раз и навсегда, и она, Жильберта, осталась без опоры и без крова, беспомощная, потерявшая почву под ногами. Она с самого начала все делала наизусть. Не Фернан был ребенком и мечтателем, а она была маленькой глупой девочкой. Она прогнала от себя человека, который великодушно предлагал перебросить для нее мост в свой новый мир. Да, прогнала, глупейшая из глупых.

Глядя на Фернана, который сделал несколько шагов ей навстречу, смущенный и все-таки очень мужественный, хромающий и все-таки твердо стоящий на своих ногах, она вдруг безудержно зарыдала. Она вся растворялась в охватившем ее чувстве смирения, сладостно было смириться перед ним.

Фернан никогда не видел Жильберту плачущей. Он был удивлен, смущен, счастлив. Он не решался что-либо сказать, не решался приласкать ее, хотя чувствовал ее сейчас очень близкой, как в далекие, далекие времена.

Робинэ все еще находился в комнате, но они о нем забыли. Он видел, как они поглощены друг другом. Робинэ не был святошей, его не интересовали внешние условности, но, хотя эти двое только издали смотрели друг на друга, то, что происходило на его глазах, было

непростительной бестактностью. Первый раз за всю жизнь своей внучки он не понимал ее. Весть о смерти Матье потрясла все ее существо, а теперь она стоит здесь и не может отвести глаз от этого человека! Робинэ хотел что-то сказать ей, это был его долг. Но боялся: если произнесет хоть слово, он и Жильберту потеряет. Он почувствовал себя очень старым и непонятым и незаметно вышел из комнаты.

— Мне очень, очень жаль,—сказал наконец Фернан. Потом прибавил:—Для вас это жестокий удар.

Больше он ничего не сказал. В устах человека, увлекавшего своими речами Законодательное собрание, это были убогие слова, но во взгляде Жильберты светилась благодарность. И вдруг он понял, почему она тогда не хотела отпускать его в Америку и почему она вышла замуж за Матье. И он с радостью понял еще, что теперь она раскаивается и в том и в другом.

Вошла маленькая Мария-Сидония. Девятилетняя девочка была вся в черном. Ей пришлось отучиться от приобретенных с таким трудом манер: обстоятельные реверансы и глубокое приседание теперь не разрешались, но в своем длинном, черном, тяжелом платье, делавшем ее совсем взрослой, и в присутствии Фернана она вдруг превратилась в маленькую графиню Курсель и машинально склонилась перед графом Брежи в реверансе.

Жильберта и Фернан по-прежнему молчали, лишь изредка обменивались несколькими словами. Но вдруг он почему-то заговорил о Сан-Доминго, о том, что оттуда доходят только очень скупые и страшные вести, а у него там друзья, у него там очень близкая подруга, и как это ни ужасно, но весьма возможно, что друзья его погибли в этой грязной войне между цветными и белыми.

Жильберта отлично знала, почему он ей это рассказал. Но так же, как давеча он нашел лишь самые неумудренные слова для нее, она тоже сказала очень просто и искренне:

— Да, время тяжелое для всех нас.

Они опять замолчали. Маленькая Мария-Сидония сидела с серьезным видом. Разжиревшая собачка Понпон астматически таякала.

Фернан распрощался и ушел. Они с Жильбертой много молчали в эту встречу, но обоим казалось, что они вели долгий задушевный разговор, как в былые дни, дни их самой тесной дружбы.

Это новые времена привели их друг к другу. Революция страшным образом порвала все, что связывало Жильберту с двором, и с беспощадной четкостью указала, где ее место. Теперь она с полным правом могла назвать себя гражданкой Курсель, она была у цели, но и Фернан, счастливый, чувствовал, что нашел то, что искал.

Семьсот сорок девять членов насчитывал Конвент. Все они исповедовали принципы Жан-Жака, чье рельефное изображение, высеченное на одном из камней разрушенной Бастилии, смотрело на них сверху. Все они единодушно стремились создать республику в духе Жан-Жака. Но они по-разному представляли себе пути для достижения поставленной цели. Многие из депутатов были видными буржуа, подчас очень богатыми. Их «радикализм» первых лет революции сменила умеренность. Насилие пугало их; если его нельзя было избежать, они красивыми фразами старались придать ему видимость порядка и законности.

Незначительное меньшинство, менее ста депутатов из семисот сорока девяти, полны были решимости при всех условиях и всеми средствами, не останавливаясь перед насилием и кажущейся несправедливостью, добиться торжества принципов Жан-Жака, торжества полного равенства, всех прав для всех.

Эти ярые демократы занимали в помещении манежа, где заседал Конвент, самые верхние места, и депутат Шаплен, со свойственной ему склонностью к образным выражениям, назвал эту часть зала «La Montagne — Гора», и с тех пор партию эту так и называли.

Лидером монтаньяров безоговорочно считался Максимилиан Робеспьер. Мартин Катру, без колебаний занявший свое место на Горе, с изумлением, почтительностью и не без сострадания наблюдал, как изменился Робеспьер с тех пор, как взял на себя столь гигантскую задачу. В первый раз, когда Мартин увидел его на ораторской трибуне Якобинского клуба, у него был ласковый рот, добрые глаза, чистый, ясный лоб. Теперь губы Робеспьера почти всегда сурово поджаты, лоб изрезан глубокими складками, глаза, если их не прикрывают зеленые стекла очков, неподвижны, — глаза человека, погруженного в себя; от улыбки Максимилиана сжималось сердце, а смех его — он очень редко смеялся — звучал резко и жестко. Сверхчеловеческая задача — вести все выше по крутой стезе добродетели избранное меньшинство праведников — хотя и сообщала Робеспьеру громадную силу, но и возлагала на него неимоверное бремя.

Был еще один человек среди товарищей Мартина по партии, к которому Мартин с первого дня питал глубокое уважение: самый молодой из депутатов — Антуан де Сен-Жюст, высокий и очень стройный юноша, едва достигший двадцати пяти лет. Одевался он с необычайной тщательно-

стью и изяществом. Высокий воротничок был повязан несколько даже щеголеватым по ткани и расцветке бантом. Овальное лицо отличалось девической нежностью кожи; над греческим носом светились большие сероголубые глаза с высокими дугами густых бровей. Темно-русые волосы, слегка начесанные на лоб, длинной волной ниспадали на плечи. Манеры у Сен-Жюста были спокойные и изысканные, движения — размеренные до чопорности; но в огромных глазах горел буйный внутренний огонь, укрощенный внешней дисциплинированностью и несокрушимой рассудочностью.

Сен-Жюст не пропускал ни одного заседания Конвента, но он никогда не брал слова. Тем не менее он обращал на себя всеобщее внимание. Это объяснялось не столько его из ряда вон выходящей внешностью, сколько дружбой с Робеспьером; часто они вместе приходили в Конвент, часто вместе покидали зал заседаний.

Мартину стоило большого усилия воли решиться заговорить с Сен-Жюстом. Он заговорил. Сен-Жюст спокойно и до неприличия пристально разглядывал суровое, умное лицо грубоватого, коренастого Мартина. И только затем ответил, вежливо, деловито, обстоятельно. Мартин просил: Сен-Жюст не отверг его.

Молодые депутаты Сен-Жюст и Катру побывали друг у друга. Переехав в Париж, Мартин снял квартиру в каком-то безобразном доме на одной из безобразных окраин города. Элегантный Сен-Жюст поднялся по истертым, выщербленным ступеням в квартиру, забитую безвкусной мебелью, и Мартин почувствовал себя польщенным, как никогда в жизни.

Конвент упрямил монархию, но большинство умеренных медлило с решением личной судьбы короля. А народ все громче требовал, чтобы рассчитались наконец с Людовиком Капетом — его называли теперь по имени его династии, — с тираном, с изменником.

У Робеспьера не было сомнений в том, что Людовик должен умереть. Правда, казнь тирана вызовет новый военный натиск королей Европы, а малодушные в Конвенте и в народе поднимут неистовый вой. Но подобные доводы против казни бессильны перед доводами за нее, начертанными в книгах Жан-Жака. Людовик должен умереть; только тогда Жаны и Жаки займут его место, а что так будет — в этом Максимилиан поклялся учителю.

С присущей ему логичностью он перечислил Сен-Жюсту свои соображения. Тот на лету схватывал каждое слово Максимилиана, они обменивались мнениями тихо, сдержанно, в полном согласии, исходявшем от полного единомыслия. Эти серьезные люди, один молодой, а

другой еще моложе, улыбались от сознания того, как глубоко они понимают друг друга.

Они поехали в Эрменонвиль, на могилу учителя, почерпнуть силы для предстоящей борьбы во имя его.

Медленно, в молчании шли они по садам. Была осень; статуи и храмы зябли в голом парке под свинцовым небом. Максимилиан вспоминал, как он бродил по этим дорожкам с Жан-Жаком в один из последних дней его жизни, как Жан-Жак рассказывал ему о ботанике, об этой приятнейшей из наук, а потом горько сетовал на людей, которые его не понимают и ненавидят за любовь к ним. И только теперь Максимилиан по-настоящему понял учителя. Кто подлинно любит людей, тот навлекает на себя их ненависть, ибо ему приходится совершать поступки, оправдываемые только этой любовью; без нее они были бы немыслимыми преступлениями.

Друзья подошли к озеру. На маленьком острове под высокими, стройными оголенными тополями трогательно, вызывая чувство благоговения, белело надгробье.

Сен-Жюст опустился на скамью под ивой, а друг его один, отвязав лодку, поплыл на остров. Запахнув оливкового цвета плащ, обнажив голову, Максимилиан, прямой и стройный, стоял перед одиноким, серовато-белым алтарем, резко выделявшимся среди голых деревьев острова на фоне осеннего неба. Под холодным, сырым ветром неподвижно стояла тонкая фигура Робеспьера, на плечи которого провиденье взвалило бремя заветов Жан-Жака. Тщательно причесанный, он обратил бледное сухощавое лицо к камню, под которым лежал учитель.

Он стоял, всецело владея собой, но до глубины души потрясенный величием своей миссии: уничтожить Людовика во имя торжества Жан-Жака. Слова высочайшей суровости, сказанные Жан-Жаком в одной из его книг, пришли ему на память: «В славные времена Римской республики ни сенату, ни консулам, ни народу в голову не приходило творить милосердие». И еще одна мысль Жан-Жака вспомнилась ему: «Кто нарушает общественный договор, тот ставит себя вне государства; он враг обществу, и его нужно уничтожить».

Именно кротость и привела Жан-Жака к суровости; логика человечности сделала его сильным и неумолимым. И эта твердость, рожденная человеколюбием, продолжает жить в нем, Максимилиане. Да, он поступит в духе кроткого учителя, если, свергнув тысячелетний трон французской монархии, низвергнет в ту же пропасть и того, кто сидел на нем последним.

Когда они шли назад по дорожкам Эрменонвильского парка, он поделился с Сен-Жюстом своими мыслями. Человеколюбие Жан-Жака, сказал он, было не слепой

чувствительностью, а избирательной мудростью. Для отдельного человека и его личных забот Жан-Жак обладал мягкостью своего «Савойского викария», а для государства и его граждан — суровостью «Общественного договора». Он не боялся в одном случае утверждать то, что в другом отрицал. В этой высокой односторонности заключалось его величие. Некоторые философы и депутаты, из наших умеренных, из жирондистов, эти гибкие, невероятно образованные, обладающие тонким вкусом люди чересчур много видят одновременно; их гибкость делает их слабыми. Кто хочет идти вперед, должен смотреть только прямо перед собой. Избыток философии ослабляет волю. Республика нуждается в людях, сильных своей односторонностью.

Позднее, уже по дороге в Париж, и Сен-Жюст рассказал другу, о чем он думал, сидя на скамье под ивой. Не странно ли, что драгоценные останки духовного отца Республики покоятся здесь, в этом пустынном парке, под охраной какого-то нелепого «бывшего», делающего вид, будто бы они являются его собственностью. Разве то, что тело Вольтера покоится в Пантеоне, а тело Жан-Жака погребено в парке мосье де Жирардена, закрытом для народа, не противоречит здравому смыслу и достоинству Республики?

Антуан Сен-Жюст прав, подумал Робеспьер, Жан-Жак имеет право на Пантеон, Париж и народ имеют право на останки Жан-Жака. Но в памяти Максимилиана Робеспьера глубоко запечатлелась картина, как он, тогда на пятнадцать лет — ах, не на пятнадцать, на тысячу лет моложе! — гулял с учителем по Эрменонвилью. Воспоминание о Жан-Жаке навсегда связано у него с этими садами; он мог представить себе учителя только среди этих деревьев и холмов, у небольшого озера.

— Вы правы, Антуан, — сказал он. — Но я знаю из собственных, столь дорогих для меня уст Жан-Жака, как нравились ему Эрменонвильские сады. Парижу излишне напоминать о нем; это делают победы тех армий, которые родились из его книг и из его идей. Пусть тело его покоится под его любимыми деревьями — *jaceat, ubi jacet*¹.

Сен-Жюст не обиделся на то, что его предложение было отвергнуто. Но другу было неприятно, что пришлось ответить отказом Сен-Жюсту, и ему захотелось показать, как сильно он его любит и уважает.

— Я предложу, чтобы от нашей партии во время прений в Конвенте о суде над королем выступили вы, Антуан, — сказал он.

¹ Пусть покоится там, где покоится (лат.).

Бледное лицо всегда сдержанного Сен-Жюста вспыхнуло. Вся страна ждала, что большинству в Конвенте ответит Робеспьер, который потребует суда. Какое доказательство высокого доверия со стороны Максимилиана это предложение! Была ли хоть у одного оратора когда-либо за всю историю человечества более великая тема, чем требование революционной Франции уничтожить деспота и изменника? Жгучий патриотизм и жгучее честолюбие молодого человека слились в единое пламя. Понадобилось много самодисциплины и воли, чтобы столько времени молча сидеть в Конвенте и только слушать,—и вот теперь его изумительный друг награждал его за терпение.

— Если вам это угодно, Максимилиан, я выступлю,—сказал он и, выдержав паузу, прибавил: — Благодарю вас, Максимилиан.

Глава седьмая

ДЕБЮТ

Прения о судьбе короля начались в хмурый ноябрьский день.

От имени большинства умеренных выступил депутат от Вандеи Шарль-Габриель Морисон, один из знаменитейших юристов. В чеканной речи, блиставшей безупречной логикой, он доказывал, что ни правовые нормы страны, ни извечные принципы юстиции не допускают привлечения короля к судебной ответственности, как ни чудовищно его кровавое преступление. Законы, которые он преступил, введены после того, как совершено преступление. Задача Конвента состоит в том, чтобы привлечь к суду монархию, а не неприкосновенную особу монарха. Если Республика хочет обеспечить свою безопасность, пусть заточит бывшего короля в надежную крепость или административным путем отправит его в изгнание за пределы Франции.

Все ждали, что оппонентом партия Горы выставит Робеспьера и тот камня на камне не оставит от убедительной речи Морисона. Но вместо Робеспьера слово получил молодой человек, которого никто, в сущности, не знал и который еще ни разу не выступал,—депутат от департамента Эн, Антуан де Сен-Жюст.

Медленно поднялся оратор по девяти высоким ступеням на трибуну. И вот он стоит, осененный трехцветным знаменем Республики. Сверху, с барельефа, на него смотрит Жан-Жак. Позади, на стене, огромный щит, обрамленный ликторскими пучками—символом правосудия,—возвещает Права человека, и два гигантских канде-

лябра с бесчисленными свечами освещают бледное лицо оратора.

Без малейшего следа смущения Сен-Жюст кладет перед собой рукопись, поправляет на шее бант, оглядывает зал и начинает:

— Я докажу вам, граждане законодатели, что и речи не может быть о неприкосновенности, которую Морисон требует для бывшего короля Людовика; как раз напротив: державный народ вправе обойтись с Людовиком Капетом так, как это диктуется его, народа, интересами. Я заявляю и докажу сейчас, что Людовика следует рассматривать как врага и поступать с ним как с врагом. Назначение наше не в том, чтобы изыскивать тонкие юридические формулы для оценки его действий, а в том, чтобы окончательно одолеть его.

Умеренные были приятно удивлены, что оппозиция так облегчила им задачу. Чуть ли не с улыбками слушали образованные и искусные ораторы и писатели первые самоуверенные фразы, которыми этот неопытный юнец начал свою речь; без всякого труда, с благодушной иронией они разделяются с ним.

— Нам предстоит учредить Республику,—говорил Сен-Жюст.—А республики не учреждаются при помощи юридических ухищрений и крючкотворства. Излишняя изощренность ума и излишняя утонченность морали—преграды на пути свободы. Грядущие поколения не поймут, как могло случиться, что восемнадцатый век оказался консервативнее века Цезаря. Тогда тиранов лишили жизни среди бела дня, во время заседания сената, и не существовало иных формальностей, кроме двадцати трех кинжальных ударов, иного закона, кроме свободы Рима.

Зал манежа вмещал две тысячи человек—три тысячи находилось в нем. Затаив дыхание, слушали они оратора, в зале и на галереях стояла глубокая тишина, уверенность жирондистов колебалась.

Между тем оратор не сказал ничего нового, он изложил известное, неправильное и террористическое толкование, которое партия Горы давала учению Жан-Жака. Новое заключалось лишь в форме, в классической простоте, с которой оратор излагал свои кровожадные требования. Он читал без пафоса, свойственного монтаньярам. Невозмутимо, холодно, четко слетали с девически нежных уст зловещие слова, до прозрачности бледное лицо оставалось неподвижным. Красноречие этого депутата словно гипнотизировало, жгучая холодность юноши Сен-Жюста захватила даже его противников.

Мартин Катру самозабвенно слушал. Мысли, высказываемые его другом Сен-Жюстом, были мыслями и его,

Катру, и Максимилиана Робеспьера, но насколько иначе они звучали в этих устах, куда более отточенно, совсем по-новому. Их рождала логика республиканского сердца, в них слышался суровый, неудержимый шаг революции.

— Вправе ли народ, стоящий у врат своей свободы, благоговеть перед цепями, которыми его опутывали? — спрашивал Сен-Жюст. — Как можете вы построить Республику, граждане, если топор дрожит у вас в руках? Народы не вершат справедливости по параграфам запыленных фолиантов свода законов, народы мечут смертоносные молнии. Граждане! Суд, призванный вынести приговор Людовику Капету, — военный суд. Середины здесь нет: либо вы возвращаете тирану его венец, либо вы тирана обезглавливаете.

В безмолвии внимали три тысячи собравшихся, зачарованно глядя на молодого человека, чьи холодные, размеренные слова настойчиво требовали: смерть, смерть!

Было запрещено прерывать ораторов Конвента аплодисментами или выкриками с мест. Но люди, сгрудившиеся на галереях, не могли более сдерживаться, они аплодировали Сен-Жюсту, они иступленно требовали: «La mort! La mort! — Смерть тиранам!» Председатель покрыл голову, призывая к спокойствию. Толпа бесновалась. Молодой человек на трибуне поднял руку; легким движением пальцев он добился того, чего председатель не мог добиться. В зале наступила тишина.

— Этот человек, — разъяснял Сен-Жюст, — втайне собирал войска, втайне объявлял вне закона всех добропорядочных и отважных граждан, втайне содержал собственных чиновников и послов. Он рассматривал граждан свободного народа как своих рабов. Он несет ответ за убийство необозримого числа граждан в Нанси, на Марсовом поле, в Тюильри.

Умеренные давно поняли, что дело их проиграно. Спокойные слова изящного молодого человека на трибуне решили судьбу короля. Да, за ними, за умеренными, стоял только разум и опыт государственной деятельности, а за этим юношей стоял народ, кровожадный и необузданный.

— Приведите его на свой суд, граждане, — заключил Сен-Жюст. — Завтра же! Не мешкайте! Этого требует здравый смысл, здравая политика. Людовик должен умереть, если Франция хочет жить!

— Смерть! Смерть! Смерть! — бушевал зал.

Робеспьер без ревности слушал, как уста Сен-Жюста произносят его, Робеспьера, слова, обороты речи. Его любимый друг открывает путь равенству и братству, путь Жан-Жака, открывает его для всех. Максимилиан испытывал большее удовлетворение, чем если бы выступил сам.

ПРОЧЬ ЛОЖНУЮ ГУМАННОСТЬ!

Вся страна бурлила, взбудораженная предстоящим судом над Людовиком. Конвент забросали просьбами и угрозами, множество граждан предлагало свою жизнь в обмен на жизнь короля. Оказалось, что в стране есть еще миллионы людей, преданных королю. Тем настойчивее требовали его смерти якобинцы.

В эти дни Фернан почти ежедневно встречался с Лепелетье. Его и пугала и восхищала суровость и неумолимость, с какой его друг до конца додумывал идею революции. Несправедливость по отношению к отдельной личности, говорил он, неизбежный спутник великой конечной справедливости, являющейся существом революции.

— Я всей душой, всеми помыслами своими заодно с революцией, даже если бы она отняла у меня жизнь,— сказал Лепелетье.

И в большем споре о судьбе свергнутого короля он тоже не поддавался никаким эмоциям, которые могли бы повлиять на его суждение. Фернана же, наоборот, мысль о смертном приговоре Людовику приводила в смятение. С того первого раза, когда он мальчиком поцеловал королю руку, и до того дня, когда от имени Законодательного собрания требовал, чтобы Людовик объявил войну, он неоднократно видел его и разговаривал с ним. Да разве весь французский народ не так же традиционно привязан к королю, как он? Людовик последний из шестидесяти королей своей династии, на протяжении тысячи долгих лет судьбы народа были тесно переплетены с судьбами династии Капетов. Этой династии Франция обязана тем, что все французы говорят на одном языке, тем, что они стали единой нацией.

Лепелетье дружеским жестом отмел возражения Фернана. Это ложная гуманность, сказал он. Сухо и деловито он изложил Фернану мотивы, в силу которых Людовик должен умереть. Юридически на вопрос, вправе ли народ и его представители чинить суд над королем и приговаривать его к смертной казни, можно одинаково доказательно ответить и «да» и «нет»; впрочем, это праздный вопрос. Существенно одно—смерть Людовика политически необходима. Если содержать его в заточении, он будет служить постоянным центром всякого антиреспубликанского движения в самой Франции и за границей.

— Нельзя свергнуть монархию и оставить в живых ее наиболее действенный символ—короля,—сказал Лепелетье своим спокойным, приятным, высоким голосом.—

В ту самую минуту, когда мы свергали Людовика, его физическое уничтожение было предрешиено. От последней ступеньки, ведущей с трона вниз, и до первой, ведущей вверх, на эшафот,— путь очень короток.

Фернан знал, что Лепелетье не питает личных симпатий к членам партии Горы, ко всем этим робеспьерам и сен-жюстам, он часто иронизировал над их узколобостью и твердокаменностью. Он чувствовал себя гораздо лучше с умеренными, с жирондистами, с этими блестящими, остроумными ораторами и философами. Но в вопросах практической политики Мишель Лепелетье признавал правоту якобинцев.

— Как поступить с королем,— говорил он,— это давно уже должен был уяснить себе каждый политик. Робеспьер и Сен-Жюст уяснили себе все, а наши друзья жирондисты оказались для этого слишком умны. Теперь они стоят перед выбором: кого принести в жертву— короля или Республику.

Единогласно признав Людовика Капета виновным, представители народа приступили к обсуждению вопроса о мере наказания.

Заседание продолжалось с утра, весь день и всю ночь, большую часть следующего дня, а после перерыва еще день и большую часть ночи. На галереях, тесно сгрудившись, сидели более двух тысяч человек. Дамы в роскошных туалетах, со списками депутатов в руках, считали голоса, ставили крестики, вычеркивали, вкалывали булавки.

Первыми к трибуне были вызваны депутаты от департамента Гаронны. В беззвучной тишине первый сказал:

— Смерть.

Второй:

— Смерть.

Пятый:

— Смерть.

Далее были вызваны двенадцать депутатов Жиронды, среди них известнейшие деятели умеренных. Их лидер Верньо вчера еще уверял своих друзей, что никогда не проголосует за смерть Людовику. Сегодня он заявил:

— В качестве государственного деятеля я был за то, чтобы выслушать голос народа. Конвент решил иначе. Я подчиняюсь. Совесть моя чиста. Как юрист, я говорю: смерть.

Один за другим, в атмосфере крайнего напряжения, депутаты поднимались на трибуну и отдавали голоса, прибавляя порой к своему приговору несколько сильных слов. Один сказал: «Смерть в ближайшие двадцать четыре часа». Другой сказал: «Смерть. Пожалуй, даже с опозданием— не к чести Конвента». Депутат Дюшатель, тяжело

больной, велел принести себя на носилках на трибуну, проголосовал за то, чтобы королю даровали жизнь,—и той же ночью умер; многих это насмешило. Какой-то депутат заснул от усталости, его разбудили, вызвали на трибуну, он сказал, не вполне проснувшись: «Смерть» — и тут же заснул.

Очень тихо стало, когда бывший герцог Орлеанский, именуемый ныне Филипп Эгалите, кузен Людовика, поднялся на трибуну. Он торжественно обещал своим друзьям воздержаться от голосования. Теперь он сопя поднялся по крутым ступеням, внешностью и поведкой до смешного похожий на своего кузена Людовика, и заявил:

— Тот, кто глумится над державным народом, должен умереть. Смерть!

С особым волнением ждал Фернан, как поведут себя оба его друга — Лепелетье и Мартин Катру. До самого конца, вопреки всем доводам рассудка, Фернан надеялся, что Лепелетье не пошлет на смерть того, кто предоставил ему высокие посты и был к нему так благосклонен. Но Лепелетье своим равнодушным, приятным голосом сказал:

— Смерть!

После Лепелетье множество депутатов голосовало за пожизненное заточение или за отсрочку смертного приговора до всенародного опроса. Так голосовали многие, в том числе и члены крайних партий. Чаши весов поднимались и опускались; предсказать исход голосования было трудно.

В Конвенте Французской республики заседал один англичанин по имени Томас Пейн — человек, принимавший деятельное участие в образовании американской республики. Он голосовал за то, чтобы теперь, когда корона Людовика валяется в канаве, самого его подвергли изгнанию, и непременно в Соединенные Штаты Америки. Там, подавленный презренностью и преступностью своего королевского существования и постоянно наблюдая благоденствие американского народа, он поймет, что не монархия наиболее справедливая форма правления, а демократия.

Но вот наконец на трибуну вызывается Мартин Катру. Фернан всем корпусом подался вперед. Мартин своим пронзительным высоким голосом произнес:

— Смерть. Без волокиты.

Секретари Конвента подсчитали голоса. Это длилось долго, они трижды пересчитывали. В переполненном зале стояла духота, дымили печи, чадили угольные жаровни, многие тысячи свечей. Людям было не по себе, им хотелось встать, выйти под ночное небо, вдохнуть свежего воздуха. Но они сидели; они боялись пропустить

минуту провозглашения приговора. На возбужденную, ожидающую многотысячную толпу взирал сверху, со своего барельефа Жан-Жак.

Наконец в два часа пятнадцать минут пополуночи на трибуну поднялся председатель. Он объявил: из 749 членов Конвента 28 человек отсутствуют, таким образом, большинство составляет 361 человек. Голосовало: 360 депутатов за заточение в тюрьму, изгнание или отсрочку смертного приговора и 361 — за немедленную смерть.

В зале стояла глубочайшая тишина. Король большинством в один голос был приговорен к смерти.

Председатель надел шляпу. Объявил:

— Мера наказания, к которой в итоге голосования представители суверенного народа приговорили Людовика Капета, — немедленная смерть.

По-прежнему стояла тишина. Раздались одиночные возгласы: «Да здравствует Республика!» Но масса безмолвствовала.

Фернан с трудом поднялся, расправил плечи. Больная нога мозжила. Он был ошеломлен. Большинство в один голос! Если бы его друг Мишель или его друг Мартин не голосовали за смерть, король остался бы в живых.

После этого бесконечного заседания Лепелетье спал почти весь следующий день. Под вечер он отправился в Пале-Рояль, в аристократический ресторан «Феврие», послушать, что говорят и думают о его поведении в Конвенте. Приверженцы короля, умеренные и даже кое-кто из монтаньяров рассчитывали, что он будет голосовать за дарование жизни Людовику. Никто, вероятно, не понимал, как это он без колебаний предпочел пожертвовать обреченным Людовиком, только бы остаться верным собственному разуму. Пожалуй, многие, даже большинство, несомненно, называли его Иудой за то, что он голосовал за Республику и против короля.

Друзья приветствовали его, когда он вошел в ресторан. Он ел, болтал. По мнению одних, вышло как-то неприятно, что именно его голосом был решен смертный приговор; другие с несколько преувеличенной горячностью превозносили его мужество. Примерно так Лепелетье все это и представлял себе. Он оставался в ресторане недолго. Усталость от бесконечного заседания все еще давала себя чувствовать. Он распрощался с друзьями.

В районе Пале-Рояль, у любовниц, у бывших поставщиков двора, у всякого рода сочувствующих, нашли себе тайное прибежище многие более или менее замаскировавшиеся личности, недовольные и преследуемые нынешним режимом. Среди таких приверженцев монархии находился бывший телохранитель короля, некий Лепари. Он горел фанатической ненавистью прежде всего к герцогу Орлеан-

скому, этому архипредателю, который своего кровного двоюродного брата, помазанника божия, толкнул на эшафот. Целый день Лепари кружил в районе Пале-Рояль, где жил герцог, в надежде, что встретит его и на месте прикончит. Герцог же, обессиленный затянувшимся заседанием, был дома и отсыпался. Вечером Лепари, представительный, хорошо одетый господин, отправился искать герцога в ресторан «Феврие». Там его не было. Зато Лепари увидел знакомое всем некрасивое, ненавистное ему лицо Лепелетье. Вот и этого король осыпал милостями, а он предал своего монарха. Лепари подошел к нему в ту минуту, когда Лепелетье стоял у кассы, собираясь расплатиться по счету. Лепари спросил:

— Ведь вы мосье Лепелетье, не так ли?—Лепелетье подтвердил.—Вы голосовали за смерть королю, верно, мосье?

— Да, мосье,—ответил Лепелетье.—Голосовал, как подсказывала мне совесть. Впрочем, какое вам до этого дело?

— Получай же то, что заслужил, Иуда!—воскликнул королевский телохранитель, выхватил шпагу из-под плаща и вонзил ее Лепелетье в бок. Через несколько минут Лепелетье не стало.

Поздно спал в этот день и Фернан. Вечером он вышел, собираясь навестить своего друга Мишеля. Перед домом Лепелетье увидел огромную толпу. Услышал о том, что произошло. У него потемнело в глазах. Он вошел в дом. Увидел тело Лепелетье. Увидел их общего друга, художника Жака-Луи Давида, рисовавшего покойника. Не мог постичь случившегося. И вдруг понял все. Понял, что Мишель Лепелетье, циник, фанатичный поклонник разума, его большой друг, умер смертью, логически завершившей его жизнь.

Фернан пошел на улицу Оноре, в клуб якобинцев. Мартин Катру сказал ему воинственно и торжествующе:

— Он был хорошим человеком, твой друг, и мертвый он послужит Республике еще лучше, чем живой. До этой минуты ореол мученичества окружал Людовика Капета, а теперь мученик—Мишель Лепелетье.

Фернан понял, что имел в виду Мартин. В Париже было немало страстных приверженцев короля, готовых отдать за него жизнь; ждали крупных демонстраций, возможно, даже открытого восстания. Бессмысленное убийство представителя народа, исполнившего лишь свой долг, отвлекло чувства, бурлившие в массах, на убитого. Весь Париж говорил теперь о внезапной трагической кончине Лепелетье, заслонившей собой предстоящую кончину короля: Лепелетье пал жертвой в борьбе за Республику.

Якобинцы и парижские городские советники тут же воспользовались этим событием. Они действовали быстро и энергично. В ту же ночь был издан манифест, гласивший: «Граждане! Коварное злодеяние направлено не против одного человека, оно направлено против всей нации, против свободы, против державного народа!» В ту же ночь было принято решение о торжественном перенесении праха убитого в Пантеон, об открытии памятника ему на Вандомской площади, об установлении его бюста в Конвенте, рядом с бюстами Брута и Жан-Жака, о присвоении его имени одному из районов Парижа, одной из улиц и множеству крупных и мелких общин страны.

В эту же ночь король Людовик прощался с близкими. Ужинал в обществе своего духовника. Потом читал газету «Меркюр де Франс». Затем прочитал главу из «Истории Англии» Юма — о казни Карла Первого. Он начал перевод этой книги и жалел, что не довел его до конца.

Он многого не довел до конца. За тридцать восемь лет жизни сколько ненужного он совершил и сколько необходимого не сделал. Он, например, не должен был оказывать помощь английским провинциям в Америке, восставшим против его кузена, короля Англии. И он опять-таки не должен был щадить еретиков и бунтарей, Вольтера и Руссо, он обязан был их своевременно обезвредить. Тогда бы все сложилось по-иному. Он слишком часто прислушивался к голосам своих советников, вместо того чтобы прислушиваться к божественному голосу собственного сердца. Ведь его советники — они только люди, и они, эти люди, были ослеплены. Большинство из его вельмож сами рыли себе могилу. И ему заодно.

Но он не хочет в свою последнюю ночь плохо думать о ближних. Он вправе сказать себе, что всегда, прежде чем принять какое-либо серьезное решение, честно мучился, прислушивался к голосу своей совести, выслушивал своих советников, обращался к историческим образцам. Он всегда стремился к лучшему, и наступит день, когда его французы и будущие поколения признают это.

Людовик закрыл глаза. Подумал еще о том, чтобы утром не забыть вынуть из карманов кафтана все деньги и прибавить их к гонорару защитника, честного, отважного Мальзерб. Потом уснул. Спал глубоко и спокойно.

Назавтра вся страна, весь мир смотрел, как везли Людовика на площадь Революции и как он всходил на эшафот. Все до мельчайших подробностей отмечалось, записывалось, запоминалось. И когда в десять часов двадцать три минуты палач Сансон схватил за волосы отрубленную голову Людовика и, обходя эшафот, на все четыре стороны показал ее народу Парижа, по городу пронесся мощный клич: «Да здравствует Республика!»

Тысячи людей бросились к эшафоту и, толкаясь, дрались за то, чтобы обмакнуть в кровь платки, шарфы бумажки. Какой-то одержимый, вскочив на эшафот, кропил кровью стоящих внизу людей и кричал:

— Они грозили нам, что кровь короля падет на наши головы. Это ваше крещение, это ваше крещение. Вот как она пала на наши головы!

Труп короля, эскортируемый жандармами и чиновниками Коммуны Парижа, доставили на ближнее кладбище Мадлен-де-ла-Виль-Лэвек. Там брошенное в какое-то подобие корзины тело с положенной между ног головой опустили в очень глубокую яму, дно которой было густо посыпано негашеной известью. Таким же толстым слоем извести засыпали тело сверху, и поверх этого слоя насыпали еще один слой, для того чтобы золото коронованных особ Европы не могло из останков Людовика Последнего создать хотя бы самую крохотную реликвию.

Пока засыпали известью обезглавленного Людовика, готовилось перенесение тела Лепелетье в Пантеон. Оформление траурных торжеств было поручено первому художнику Франции, Жаку-Луи Давиду.

Тщательно набальзамированный труп установили на Вандомской площади для всенародного обозрения. На высоком роскошном ложе белел обнаженный торс с зияющей раной в боку. Чресла были прикрыты простыней.

В таком же виде тело, уложенное на античную торжественную колесницу, повезли по улицам города Парижа. В ногах покойного стояли двое детей; каждый из них держал перевернутый факел. Впереди колесницы, которую окружали девушки под вуалями, несшие цветы, шагали старики в тогах, с пальмовыми ветвями в руках.

До того как траурный corteж тронулся, на колесницу поднялся председатель Конвента и возложил на голову покойного венок из дубовых листьев. Все депутаты Конвента, все члены Якобинского клуба, члены всех патриотических обществ и все секции города Парижа приняли участие в шествии. Было множество знамен, окаймленных черным крепом, раздавался приглушенный бой барабанов.

Надписи на огромных щитах восхваляли труды и дела убитого, его Свод уголовных законов, его книгу «Всеобщее бесплатное обучение», многочисленные законы, названные его именем. На других, еще более грандиозных щитах гигантскими буквами были выведены якобы его последние слова: «Я рад пролить кровь за отечество. На крови патриота всходят семена свободы». И над всем этим триумфально и скорбно возвышалось огромное смертное ложе с телом покойного, и зияющая, кровавая рана на нем

говорила громче всех слов, написанных, пропетых, произнесенных.

Фернан дожидался процессии невдалеке от Пантеона. Глубокое раздумье, горечь и скорбь владели им. И эта смерть так же, как и смерть короля,—плод идей Жан-Жака. Сколько умных, иронических, скептических и все же полных веры в будущее мыслей высказал бы Лепелетье по поводу своей смерти. Он был истинным вольнодумцем, врагом всякого морализирования, очень человечным учеником Лукреция и Жан-Жака. В ушах и в сердце у Фернана звучал приятный голос Мишеля, спокойно произнесшего: «Я всей душой, всеми помыслами заодно с революцией, даже если она отнимет у меня жизнь». В какой патетический костюм вырядили эти простые слова. Как глубоко иронизировал бы Мишель над своими якобинцами, которые чувствовали его, как Брута, как мученика, как добродетельного героя.

Сколько превратно понятого нагромождено вокруг Жан-Жака и его творения! Сколько лжи! Что только не делается именем Жан-Жака! Как невероятно, как трагично, героически помпезно и причудливо обставлен последний путь Мишеля, его, Фернана, дорогого друга. Но Мишель не возражал бы. Ибо заблуждения и ложь, которые его окружали, рождали жизнь.

Процессия подошла к Пантеону. Хор Большой оперы пропел гимн в честь покойного. Тело уложили в гроб и торжественно опустили в гробницу, рядом с телом Вольтера.

Глава девятая

ТЕРРОР! ТЕРРОР!

Жиранден, услышав о казни короля, содрогнулся. В день, когда этот ужас происходил, он заперся в своем рабочем кабинете; он не ел, он не мог никого видеть.

Ища, чем бы забыться, он кинулся к книгам Жан-Жака, он читал об одиноких, меланхолических грезах учителя и чувствовал, как на него нисходит умиротворение. Среди океана безумия и жестокости Эрменонвиль — остров мудрости и мира. Здесь природа говорит голосом Жан-Жака, здесь покоятся его священные останки.

Но умиротворенное состояние длилось недолго, убийство короля снова и снова доводило его до иступления. Чем дальше, тем сильнее кровоточила рана, нанесенная страшным событием. Глубокую подавленность сменяла бессильная ярость, а потом опять и опять брали верх

скорбь и отчаянье. Но и гнев и горе он замкнул в себе и отклонял все робкие попытки мосье Гербера вызвать его на беседу.

Только когда приехал Фернан, он дал выход своему горю и гневному разочарованию. И так как перед сыном он изливал все, что накопилось на душе, то в его негодующую жалобу на величайшую несправедливость комично вплеталась досада на всякие бесчинства революционеров, ничтожные по сравнению с их огромными преступлениями, но затрагивавшие его лично. Неужели, возмущался он, чернь, вдребезги разбившая бронзовые статуи королей, не могла пощадить памятника Генриху Четвертому, которого она же называла добрым и... который основал Эрменонвиль?

И тут наконец он рассказал сыну об обиде, нанесенной ему Робеспьером и Сен-Жюстом, когда они приезжали на могилу Жан-Жака. Он считал тогда своим долгом пригласить их к обеду, а они резко и пренебрежительно отвергли приглашение. Он никому ни словом не обмолвился об этом, но обиды не забыл. И вот теперь она вырвалась наружу. Уж если эти якобинцы посещают места последнего успокоения Жан-Жака, то как же они смеют его, хранителя могилы, так оскорблять?

Но тут же, спохватившись, он снова серьезно заговорил о серьезных делах.

Фернан сочувственно слушал отца и не прерывал его. Только спустя некоторое время он начал осторожно защищать членов Конвента. Бесспорно, многие из них тщеславны, неотесаны, грубы, говорил он, но их ненависть к тиранам и страстное стремление помочь угнетенным неподдельны. Это вне всякого сомнения. Их большие заслуги перевешивают их большие преступления. Привилегии отменены, неравенство уничтожено, народное государство, Республика, стало действительностью.

Жиранден не унимался. Разумность нескольких способных вождей заглушается беспардонной демагогией остальных. Фактически страной правит парижская улица, масса, а значит — глупость. Так оно и есть, как говаривала наша милая мадам Ролан: чем толпа многочисленнее, тем длиннее ее уши.

Но тут уж и мосье Гербер не стерпел. Он вмешался в разговор. Господин маркиз прав: многое из того, что происходит, может показаться произволом, бессмысленным, суровым, жестоким. Но если взглянуть на события последних лет в целом, то с радостью видишь: вопреки всему человечество движется вперед по законам великой благой необходимости.

— За революцией стоит учение Жан-Жака! — воскликнул он. — Пусть ее суровость и горечь не поколеб-

люют вашей веры в Жан-Жака, господи! — заклинал он, и его сияющие глаза горели внутренним огнем. Отец и сын молчали. С изумлением, граничащим с растерянностью, они глядели на мосье Гербера, поражавшего сходством с учителем, хотя Гербер и был намного моложе покойного.

Как все и предвидели, союзники после казни короля послали новые, еще более сильные армии против его убийц. Армии Республики были отброшены. Враг опять вторгся в страну.

Конвент вынес решение: издать закон о всеобщей воинской повинности. Призвать всех граждан на защиту отечества.

Высокие, патриотически вдохновенные слова, в которые Конвент облек всеобщую воинскую повинность, зажгли Жирардена. Но в последующие дни он с растущим возмущением читал о беспощадных мерах, к которым прибегали парижские диктаторы при наборе рекрутов: они отчуждали имущество тех, кто не являлся на призывные пункты, и подвергали аресту родителей, они облагали денежным штрафом общины, которые не задерживали дезертиров. Такой закон и методы, каким он проводился, не могли, разумеется, не ввергнуть Жирардена, верного ученика Жан-Жака, в мучительные сомнения. Разве не учил Жан-Жак: «Правительство не должно неволить отдельного гражданина, если он не желает приносить себя в жертву во имя блага толпы». Разве Права человека допускают нечто подобное?

Фернан защищал новый закон. Если отец ссылается на Жан-Жака, то и авторы закона о всеобщей воинской повинности с равным правом могут это сделать. Разве Жан-Жак не учил также: «Несправедливость, учиненная во имя блага человечества, обращается в справедливость!» И, чувствуя, что отец, невзирая на всю свою негодующую и сокрушительную критику, втайне любит безумным по своей отваге шагом Конвента, Фернан продолжал:

— Мы смелее, чем были в свое время американцы. Генерал Вашингтон тоже потребовал введения всеобщей воинской повинности, когда молодой свободе грозила опасность, но Конгресс не одобрил его законопроект. На нашу долю выпало осуществить мечту всех республиканцев: пользуясь средствами принуждения и доводами разума, сплотить народ в единое борющееся целое для войны за Свободу.

Отец думал про себя: «Мне труднее, чем моему мальчику, справедливо судить о новой армии. Ему не пришлось, как мне, лично испытать горечь быть отвергнутым. Он не ведает, что новая Франция всех призывает, а нас, ее самых верных сынов, знать не хочет». Жирарден

все еще не рассказал Фернану, что предлагал свои услуги армии и ему ответили отказом.

Он ошибался. Фернана постигла та же неудача. Ссылаясь на свой военный опыт, он хлопотал о предоставлении ему хотя бы подчиненной офицерской должности, но и он получил отказ.

И точно так же, как отец, он ни с кем не поделился нанесенной ему обидой.

Так сидели друг против друга старый и молодой Жирардены, взвешивая достоинства и слабости новой армии, каждый страдая в душе, что его отвергли, и каждый стараясь забыть собственную горечь и думать только о пользе дела.

Если в разговоре с отцом Фернан камня на камне не оставлял от его возражений против всеобщей воинской повинности, то перед другом своим Мартином Катру он не скрывал терзавших его сомнений. То были сомнения профессионала, военного. Целесообразно ли вливать в старую армию новые, необученные пополнения? Способны ли малообученные или совсем необученные новобранцы отразить натиск вымуштрованных войск союзников?

С фронтов, как бы в подтверждение этих мучительных сомнений, поступали недобрые вести. Молодые солдаты, полные энтузиазма, с песнями шли в бой, но стоило заговорить артиллерии противника, как они в панике разбегались. Поражение следовало за поражением. Северная армия была оттеснена врагом; над столицей снова нависла опасность. Вдобавок ко всему внутри страны множество провинций восстало против принудительного набора рекрутов. Вандея, чуть не весь юг были охвачены огнем восстаний.

Уверенность Мартина Катру и на этот раз не поколебалась. В новых ударах он не желал видеть ничего иного, кроме благотворной лихорадки. Негодное погибнет, говорил он, и тогда народ сплотится в подлинном единстве.

— Конечная победа за нами,—упорно продолжал он уверять Фернана.—Народная армия разобьет объединенные войска королей. Это не слепая вера, а математический расчет. Пойми, Фернан: ведь тираны стараются исключительно для себя, думая лишь о сегодняшнем дне; республика же, и только она, способна наметить и осуществить планы с широкими перспективами. Наши солдаты—это разумные существа, ибо они знают, что дело идет об их свободе, об их счастье. А противники их—жалкие глупцы, полуживотные, которые дерутся за то, чтобы сохранить свои цепи.

Он тяжело шагал взад и вперед по заставленной мебелью комнате.

— Революции не хватало взлета, вдохновения, необходимости превзойти самое себя в своем величии,— возглашал он.— Истинное геройство рождается только отчаянием. Лишь сейчас, когда Республика борется за свое существование, она покажет, на что способна.

Резким, пронзительным голосом бросал он фразу за фразой. Мартин разгорячился, на лбу у него выступили красные пятна. Вдова Катру и Жанна сидели тут же и слушали. Старуха с довольным видом подхихикивала, Жанна не сводила с мужа восхищенных глаз.

— У меня еще много дела,— прервал себя вдруг Мартин и сел за свои бумаги. Этим он как бы дал понять Фернану, что считает напрасной тратой времени внушать ему, маловеру, представление о блеске и величии Республики.

Он и в самом деле не вправе был ни одной минуты бросать на ветер. Конвент работал с лихорадочным напором, без передышки, и Мартин был членом многих его комитетов. Республика, хотя и вовлеченная в борьбу не на жизнь, а на смерть, с ожесточенной энергией проводила многочисленные мирные реформы, большие и малые. Создала бескомпромиссную конституцию. Ввела в обращение братское «ты» как в официальных учреждениях, так и в обиходе между всеми гражданами. Установила пособия для неимущих, бесплатное школьное обучение, единые законы для всей страны, возмещение убытков невинно осужденным. Ввела единую, легко обзримую систему мер и весов. Ввела телеграфную связь и другие технические новшества. Основала научные институты. Создала семь крупных музеев, в том числе Национальный, предназначенный для хранения памятников французской истории и науки, и Луврский — для хранения произведений искусства всего мира.

Мартин приводил иногда своего друга на заседания комитетов, в которых работал, и не столько его фанатические речи убеждали Фернана в мощи Республики, сколько размах деятельности этих комитетов. В предписанные крайне сжатые сроки и тем не менее с величайшей дальновидностью разрабатывались проекты новых законов. Без лишних слов, с невозмутимой рассудительностью и в то же время крайней заинтересованностью обсуждались все «за» и «против». И точно так же работал Конвент. Быстро, без проволочек рассматривал и издавал законы, преследовавшие цель так изменить на все времена государственный строй и жизнь каждого гражданина, чтобы они соответствовали духу учения Жан-Жака. И что удивительнее всего: законы эти становились живой действительностью с той самой минуты, как скреплялись подписью и печатью.

Новые властители были жестоки, беспощадны. Но Фернан воздавал им должное: никогда еще за всю историю человечества столь ничтожному числу людей и в столь короткие сроки не удавалось увлечь за собой так далеко по пути Разума многомиллионные массы народа.

С той же разумной иступленностью Конвент, армия и народ вели войну. В сражающиеся воинские части посылались политические комиссары для контроля над республиканскими добродетелями командиров. Множество генералов лишилось своих постов, совершались новые казни. В армии были оставлены только те командиры, у которых знание военного искусства сочеталось с революционной благонадежностью. Союзники торжествовали преждевременно. Народная армия не отдавала больше ни пяди своей земли. Она шаталась под ударами, но стояла насмерть.

И против внутренних врагов принимались новые меры.

— Те, кто не проникся республиканским духом,— чужаки, враги Республики,— проповедовал Робеспьер.— Они не пользуются покровительством закона. Республика дарует его только тем гражданам, которые ей верны. Для врагов народа у нее в запасе лишь смерть и уничтожение. Так учит Жан-Жак. Нынешний период революции— это война, а война требует беспощадности, власти террора. На войне террор— неотъемлемая принадлежность добродетели, добродетель без него бессильна. Но что такое террор? Не что иное, как скорое, суровое, непреклонное правосудие.

В соответствии с этими истинами против «неблагонадежных» издавались самые строгие законы. Учреждались суды, обложенные чрезвычайными полномочиями, народные суды, революционные трибуналы. Они расследовали дела неблагонадежных и с небывалой суровостью карали врагов отечества.

Рассудком Фернан одобрял железную власть государственного разума, но в сердце его поднимался протест. Его и отталкивал и притягивал этот двуликий Янус— народ: одно лицо доброе, мудрое и естественное, другое— грубое и жестокое. Он восхищался величием духа и добросердечием народа и ненавидел его необузданность.

Он присутствовал на одном из заседаний парижского Революционного Трибунала. В простом, лишенном всякой торжественности зале сидели в будничных костюмах пятнадцать присяжных заседателей—граждане города Парижа, рабочие, художники, ремесленники, мелкие лапочники. На небольшом возвышении, за зеленым столом, сидели трое судей, в шляпах с пером и трехцветной кокардой в перекинутом через плечо широком трехцветном шарфе с тяжелой серебряной медалью (таковы были знаки их судейского достоинства). Над их головами на

стене высился щит с начертанной на нем Декларацией прав человека и гражданина, а по обе его стороны, глядя в зал, стояли два бюста: Лепелетье—справа и Жан-Жака—слева.

В удобном, правда, изрядно потрепанном кресле сидел обвиняемый. Никаких конвойных возле него не было, но солдаты Национальной гвардии были всегда наготове.

Обвиняемый, некто Мениль-Клермон, человек невысокого дворянского звания, тотчас же после штурма Бастилии покинул страну. Но до окончания положенного законом срока он вернулся, не желая, очевидно, потерять свои имения. Изданный тем временем новый «закон против неблагонадежных» предписывал учинять следствие над каждым, кто уезжал за границу.

Первым в качестве свидетеля давал показания портной Гранваль. По его словам, обвиняемый, находясь в кафе «Тополь свободы», употреблял выражения, порочащие Республику и Конвент: он, портной Гранваль, сидел за соседним столиком и ясно все слышал. Обвиняемый отрицал это, заверяя суд в своей преданности Республике. Он добавил, что с портным Гранвалем у него был однажды спор по поводу заказанного тому фиолетового фрака, который гражданин Гранваль испортил да еще слишком дорого посчитал за него. Второй свидетель показал, что обвиняемый пытался склонить его к продаже земельного участка, предлагая за него английские деньги. Гражданин Мениль-Клермон ответил, что не он предлагал английскую валюту, а владелец участка настаивал на уплате английскими деньгами. Что произошло между обвиняемым и свидетелем—так и осталось невыясненным. Достоверно было одно: обвиняемый в свое время эмигрировал в Англию; возможно, что он и часть своего состояния перевел за границу.

В высокопарных словах прокурор объявил, что ряд преступлений Мениль-Клермона, его монархические убеждения и противозаконные связи с врагом доказаны. Поэтому он, прокурор, требует для обвиняемого четырех лет тюрьмы за поношение Республики, а за двукратное установление тайных связей с врагом—двукратный смертный приговор. Присяжные долго совещались, прежде чем объявить гражданина Мениль-Клермона виновным. Его приговорили к смерти.

Печальная история Мениль-Клермона не выходила из головы у Фернана. Люди, осудившие этого человека на смерть, эти граждане Дюпон и Дюран, были, вероятно, в повседневной жизни добродушными обывателями, способными здраво рассуждать, но все дело в том, что те, кто послал его на гильотину, уже не были гражданами Дюпоном и Дюраном, они были гласом Республики.

Республика вела войну, Республика смертоносными средствами ограждала себя от остального мира, порабощенного и погрязшего в пороках. Республика истребляла всех, кто поддерживал связи с этим миром.

И присяжные Революционного Трибунала, которые осуждали на смерть, и политические комиссары в армии, которые осуждали на смерть, и члены Конвента, которые осуждали на смерть,—все делали это именем Жан-Жака, искренне убежденные, что осуществляют его заветы. И что больше всего смущало Фернана—у них были основания ссылаться на Жан-Жака.

Мартин рассказал Фернану о встрече Робеспьера с Жан-Жаком.

Значит, и Робеспьер, ныне более могущественный, чем когда-либо и какой-либо король во Франции, значит, и этот человек, о котором Фернан не мог сказать, восхищается он им или ненавидит его,—был другом и учеником Жан-Жака.

Кого бы Жан-Жак признал своим лучшим учеником, его, Фернана, или Максимилиана Робеспьера?

Глава десятая

НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЕ

Мосье Робинэ, не раз мужественно выходивший из критических положений, жил теперь в постоянном страхе; этот общественно опасный мечтатель, дорвавшийся до диктаторской власти, этот Максимилиан Робеспьер оказался более чудовищным деспотом, чем все французские короли, вместе взятые: он поднял руку на священные основы собственности. «Мы не допустим, чтобы привилегии толстосумов заменили упраздненные привилегии аристократов»,—провозглашал кровожадный безумец. «Свобода и равенство останутся пустыми словами, если все наши законы и установления не будут преследовать цели—покончить с несправедливым распределением благ».

Но потом, правда, он утешил: «Не бойтесь, вы, дрянные душонки, для которых существует единственное божество—деньги, я ваших сокровищ не трону». Однако уже на завтра своенравный диктатор забыл о своем похвальном намерении и под восторженные аплодисменты якобинцев на всю страну прокричал изречение другого безумца, похороненного по соседству, в Эрменонвиле: «Если в демократическом государстве горсточка людей владеет во много раз большими богатствами, чем средний гражданин, то либо это государство гибнет, либо перестает».

ет быть демократией». И диктатор отдал команду: «Декларацию прав человека и гражданина необходимо пополнить ограничительными параграфами касательно собственности, иначе все права окажутся действительными только для богачей, спекулянтов и биржевых акул».

Робинэ казалось, что Робеспьер, произнося эти слова, метит прямо в него, что он пальцем указывает на него, безобидного старика. Он дрожал за свою драгоценную семидесятипятилетнюю жизнь, и еще больше дрожал он за Жильберту, вдову знатного аристократа, сражавшегося против Республики.

В Париже Робинэ совсем не показывался; жил уединенно вместе с Жильбертой и малюткой у себя в Латуре, в домике садовника, одевался и держал себя, как старый крестьянин.

Он с радостью взял бы в охапку Жильберту и ребенка и сегодня же перебрался с ними через границу, в Испанию.

Жильберта не хотела никуда уезжать. Возможно, что все обстоит так, как утверждает дедушка, думала она, и всем им грозит опасность, но в глубине души она, Жильберта, уверена, что все кончится хорошо. Вот и Фернан считает, что она ни в коем случае не должна растить свое дитя среди детей эмигрировавших аристократов, что надо приучать девочку к честному и разумному образу жизни.

И разве Фернан думает о бегстве, хотя закон о неблагонадежных касается его не меньше, чем всех их? А ведь он, несомненно, очень страдает при виде царящих вокруг неумеренности и несправедливости. На его лице появились ранние морщинки, ей даже казалось, что Фернан сильнее хромает. Но он подавляет все сомнения и не устает с юношеской восторженностью твердить о счастье жить в такое время.

Жиарден часто приезжает в Латур. Робинэ навещал его в Эрменонвиле. Робинэ говорил, что опасно поддерживать отношения с неблагонадежным «бывшим», Жиарден осуждал Робинэ за то, что тот из чистой трусости довел прекрасный замок Латур до полного запустения. Каждый считал другого несносным брюзгой и задирой. И все-таки они снова и снова встречались.

Они сидели друг против друга — старые, одинокие, недовольные. Робинэ ругал философов, виновных во всем; Жиарден, стараясь поддеть его, обвинял алчных толстосумов, приведших Францию к катастрофе: кто, как не они, мешал проведению реформ, когда еще можно было спасти положение? В одном старики соглашались: произвол захватившей власть черни не может сравниться ни с каким произволом попов и придворной клики.

Робинэ желчно пророчил, что такое безобразие все

равно долго не продлится. Парижские властители только и держатся, что на принудительных займах. Немыслимо, чтобы режим, расшатывающий основу всякого общества—частную собственность, мог устоять. Не пройдет и нескольких недель, как войска союзников займут Париж, и тогда конец уродливому фарсу, занавес опустится.

— Уродливый фарс?—возражал Жирарден. Мосье Робинэ хватил, пожалуй, через край. Господа эти—варвары, допустим, но в том, как они попросту не желают считаться с поражениями, как наперекор всему провозглашают все более суровые законы и все бесстрашнее атакуют врага,—во всем этом есть что-то от величия античного мира.

— Величие античного мира?—поднял его на смех мосье Робинэ.—Уверяю вас, господин маркиз, что это юродство, и только. Вашим античным героям место в доме для умалишенных.

Но тут Жирарден встал, грозно ткнул тростью в сторону Робинэ и ответил:

— А я, мосье, преклоняюсь перед тем, что вам угодно было назвать юродством. Да, преклоняюсь. Я называю это отвагой, патриотизмом.

Робинэ только головой покачал: вот старый осел!

Еще труднее ему было разговаривать с молодым Жирарденом, с Фернаном. Фернан положительно прикован к этому горящему дому. Он виноват в том, что Жильберта не желала двинуться с места. Когда человек так упорно отмахивается от собственного блага, он прямо-таки за волосы притягивает к себе беду.

Мосье Робинэ и на этот раз оказался прав.

В Санлисе вместо обходительного Леблана назначен был новый мэр, некий Венсан Юрэ, до одержимости рьяный революционер и фанатик. Он был возмущен, что Жирарденов, этих истинных придворных лизоблюдов и слуг тиранов, считают патриотами.

По новому закону их, вне всяких сомнений, следует причислить к неблагонадежным. Целыми ордами съезжались неблагонадежные в Эрменонвиль, и, конечно, с единственной целью: замышлять заговоры против Республики. Гражданин Юрэ обратился с заявлением в Париж в Комитет общественной безопасности.

Так как Юрэ не делал тайны из своего патриотического подвига, то мосье Робинэ своевременно узнал о надвигающейся беде. Про себя он чуть-чуть позлорадствовал, и хоть страха и тревог было много, но вместе с ними у него появилась и слабая надежда. Теперь уж Жирардены не станут упорствовать в своем безрассудстве и уедут за границу, а тогда и Жильберту удастся склонить к бегству.

Он тотчас же вместе с Жильбертой поехал в Эрменонвиль. Рассказал все. Настойчиво советовал, чтобы Жирардены немедленно собрались и пустились в путь. В Пиренеях у него есть свои агенты, которые помогут им добраться до Испании.

Но он встретил сопротивление.

— Вам всюду чудятся призраки, мосье,—высокомерно молвил Жирарден.—Неужели вы серьезно допускаете мысль, чтобы Республика не пощадила человека, во владениях которого ее вдохновитель обрел свой последний приют?

И у мосье Робинэ, несмотря на всю его бесцеремонную прямолинейность, не хватило жестокости сказать этому старому дурню о том, что снова ожили слухи об его, Жирардена, причастности к темной кончине Жан-Жака и что это усиливает опасность.

Он сказал лишь:

— Этот самый Юрэ пользуется в Париже доверием. Бесспорно, заявлению его дадут ход. А в эту чертову мельницу стоит лишь попасть—выбраться оттуда живым очень трудно. Будьте же благоразумны!

Фернан знал: и теперь, как в тот раз, все, что говорит Робинэ, вполне здраво, и следует бежать. Но одна мысль о бегстве вызывала в нем бурный протест. Он слишком много сил и жизни отдал делу создания новой Франции; он не может бежать из Республики, из своей Республики. Это было бы поражением, крахом, вся жизнь до конца его дней была бы отравлена.

— Убеди отца, Фернан,—просила Жильберта.—Ты ведь знаешь, если они захотят придрататься, они найдут предлог схватить любого—под новый закон можно подвести кого угодно.

Так оно и было. Фернан не скрывал этого от себя. Но разве Жильберте не грозила еще большая опасность?

— Бывший откупщик податей так же неблагонадежен, как и бывший маркиз,—вызывающе сказал он Робинэ.—И в еще большей мере неблагонадежна жена эмигранта Курселя. Увезите куда-нибудь Жильберту подальше от опасности!—бурно потребовал он.

— А ты?—напрямик спросила Жильберта.

Фернан с некоторым усилием ответил:

— Я не имею права уезжать. Я должен доказать, что мы не трусые. Совершенно определенным лицам должен это доказать,—воскликнул он, несомненно, имея в виду Мартина.

Остро и мучительно чувствовал он всю двойственность своего положения. Республика дорога ему не меньше, чем Мартину, или Сен-Жюсту, или тому же новому мэру города Санлиса. Но ему отказано в счастье служить ей.

Армия его отвергла, правительство его отвергло, он принадлежал к числу «неблагонадежных». И, невзирая ни на что, он понимал всеобщее недоверие, он одобрял его.

— Я верю в народ и в его приговор,—сказал он, обращаясь больше к Жильберте, чем к остальным.—Я не стану бежать, я не хочу давать лишнего повода к несправедливому недоверию.

Робинэ в отчаянии уговаривал его:

— Какого приговора вы ждете от этого сброда? Эти люди понимают, что не завтра, так послезавтра они заслуженно будут болтаться на виселице. Они безумствуют и изливают свою бессмысленную ярость на головы порядочных людей. Послушайте, Фернан! Граф! Будьте же благоразумны! Не губите себя собственными руками!

Жильберта не сказала больше ни слова. Но она не отводила испуганных глаз от Фернана.

Тихо, вымученно, почти непроизвольно, но с горькой решимостью Фернан повторил слова своего друга Мишеля Лепелетье:

— Революция будет права, даже если она отнимет у меня жизнь.

Спустя два дня в замок явился мэр Эрменонвиля с прокурором и несколькими жандармами. Смущенно заявили они растерявшемуся дворецкому, что желают лично видеть помещика и землевладельца Жирардена, а также его сына гражданина Жирардена.

— Я доложу о вас, господа,—сказал дворецкий и побежал к Жирардену.

Справившись с минутным глубоким замешательством, Жирарден тщательно оделся, заставив власти ждать. Наконец он направился в вестибюль, держа в одной руке трость с золотым набалдашником, в другой—экземпляр «Общественного договора».

— Здравствуйте, господа,—сказал он вежливо.—Чем могу служить?

— Неприятное дело, гражданин Жирарден,—заговорил мэр.—Крайне неприятное.—Он повернулся к прокурору:—Может быть, вы?

Тот, подтянувшись, с судорожной официальнойностью заявил, что они явились по распоряжению парижского Комитета общественной безопасности. В Эрменонвиль неоднократно приезжали неблагонадежные, и поэтому не исключается, что кое-кто из них здесь прячется. На этом основании мэру и ему, прокурору, приказано произвести в замке обыск. Кроме того, следуя приказу, они должны подвергнуть домашнему аресту обоих Жирарденов, так как их лояльность взята под сомнение и дальнейшее безнадзорное пребывание их на свободе представляет собой опасность для общественного благополучия.

— Да, конечно же,—с горькой иронией сказал Жирарден.—Я прячу в своих погребах целую роялистскую армию и только жду удобного случая, чтобы напасть на всю страну сразу. Мой дом на подозрении!—вскипел он.—Мой дом—приют Жан-Жака! Мой дом—всегда открытый и видный насквозь, как фонарь! Обыскивайте, господа! Делайте ваше дело!

Чиновники и жандармы сконфуженно топтались на месте.

— Мы-то что можем сделать, многоуважаемый гражданин Жирарден?—защищался мэр.—Ведь мы действуем по приказу.

Жирарден не слушал.

— Я на подозрении,—продолжал он, и в голосе его прозвучало столько боли, что чиновники почувствовали себя преступниками.—Я строю ковы против общественно-го благополучия! Поглядите, что говорит мой великий друг Жан-Жак о вашем так называемом общественном благополучии.—Он открыл «Общественный договор» и прочитал:—«Чего только не натворила уже эта болтовня об общественном благополучии! Сколько несправедливости совершалось под вывеской этого благополучия!»—Жирарден сунул книгу под нос сначала мэру, потом прокурору.

Прокурор, оправдываясь, вытащил из обшлага ордер Комитета общественной безопасности.

— Убедитесь сами, гражданин,—предложил он Жирардену.—Вот ордер. «Немедленно привести в исполнение»,—сказано здесь. Нам и приходится немедленно исполнять.

Не видя, уставился Жирарден на печать Республики; в венце из слов «Свобода, Равенство, Братство» восседала на троне богиня Свободы.

— Я знаю, господа, что вашей вины тут нет,—мрачно сказал он.—Но,—продолжал он, выпрямившись и тыча тростью в сторону чиновников,—передайте от моего имени вашему начальству: усомниться в чистоте гражданских помыслов человека, во владениях которого автор «Общественного договора» нашел свой последний приют, может только тот, кто сам является недостойным гражданином.

Чиновники и жандармы бегло обыскали дом и в протоколе записали, что ничего подозрительного не было обнаружено. Оставив в замке нескольких жандармов, мэр и прокурор донесли в Париж, что Жирардены, отец и сын, согласно предписанию, находятся под надзором Эрменонвильской общины и в любую минуту могут быть представлены в распоряжение Комитета безопасности.

Часть пятая

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЖАН-ЖАКА

Наполеон во время своего посещения Эрменонвиля сказал Фернану де Жирардену: «Для человечества, быть может, было бы лучше, если бы Жан-Жак не существовал вовсе». Фернан: Но тогда, ваше величество, не произошла бы революция, тогда вы не были бы императором французов. Наполеон: Быть может, было бы лучше, если бы и я не существовал вовсе.

Жирарден

...Победа буржуазии означала тогда победу нового общественного строя, победу буржуазной собственности над феодальной... просвещения над суеверием... промышленности над героической ленью, буржуазного права над средневековыми привилегиями.

Карл Маркс

Глава первая

ЛА-БУРБ

«Под строгой охраной Жирардену разрешено было остаться в Эрменонвиле, Фернана же перевели в парижскую следственную тюрьму, официально носившую название Порт-Либр, что означает «Ворота свободы». В народе же тюрьма именовалась по той части города, где она находилась, Ла-Бурб — болото. Фернана повели туда по «лестнице Жан-Жака Руссо» и его прямо-таки рассмешило, что путь в тюрьму пролегает по лестнице такого названия.

Обитатели Ла-Бурб не могли пожаловаться на плохое обращение. На каждом этаже был вывешен указ Единой и Неделимой Республики, гласивший, что заключенные, пока они не осуждены, имеют равное со всеми прочими гражданами право на человечность, и Коммуна Парижа, в ведении которой находилась тюрьма, принцип этот соблюдала. Все громадное здание, с его двумя корпусами, в противоположность большинству парижских зданий, пострадавших от боев, сохранилось в хорошем состоянии и хорошо отапливалось; оно стояло в центре просторного сада, и из него открывался прекрасный вид на обсерваторию и на окрестные поля. Заключенные пользовались всеми видами свободы, возможными в пределах тюремных

стен. Им предоставлялось право заниматься своими профессиями; тут были портные, парикмахеры, граверы, сапожники, часовщики. Всякого рода жалобы терпеливо выслушивались главным смотрителем тюрьмы гражданином Альи, старавшимся удовлетворить жалобщиков.

Фернана поместили в камере секции «Равенство» вместе с семьей другими заключенными. Товарищи по камере тотчас же стали предлагать ему свои услуги, выручали в мелочах, советовали передачами с воли улучшить питание, вообще-то неплохое, и показывали огромную баранью ногу, висевшую за окном.

Подследственные, находившиеся в заключении в Ла-Бурб, были людьми самого различного толка: знатные аристократы и нищие, роялисты и демократы. Чаще всего они ничего собой не представляли, их попросту схватили где-то. Но среди заключенных были и знаменитости, чьи имена гремели в Париже и по всей стране, а нередко и такие, кто снискал жизнью своей и творчеством мировую славу. У Фернана гудело в голове от множества имен, градом сыпавшихся на него: казалось, в Ла-Бурб заключены тысячи людей. Но когда он спросил смотрителя Альи, сколько здесь заключенных, он с удивлением услышал в ответ:

— На сегодня вас пятьсот семнадцать душ.

Этот маленький шумный, пестрый мирок ошеломлял своим многообразием. Тут был пошлый болтун Буавен, сообщавший всем по секрету, будто он тайный роялист. Но власти настолько глупы, что никогда этого не раскроют; его считали «легавым» — провокатором. Тут была и гражданка Прево, девяноста одного года, заподозренная в контрреволюционном образе мыслей на том основании, что рента приносила ей сто тысяч ливров годового дохода; изо дня в день гражданка Прево повторяла дребезжащим голосом, что ей пришлось пережить немало ударов судьбы и что этот — еще не последний. Тут был и добряк доктор Дюпонтэ, который не только лечил больных, но и здоровых преследовал своими бесчисленными советами. Тут был и лакей Кюни, пребывавший в состоянии крайней подавленности: на него пало подозрение в том, что он обворовал своего бывшего хозяина, какого-то вельможу. В конце концов лакей перерезал себе горло, после чего выяснилась его невиновность. Тут был и гражданин Дориваль, зазывала на ярмарке в Сен-Жермене. Он расхаживал в генеральской форме и сочинял цветистые побасенки из своего прошлого; его называли «великий тра-ля-ля» и острили, что он на монгольфьере, воздушном шаре, прилетел в Ла-Бурб из пустыни Сахары. Тут был и неизменный оптимист Жиль; желая поднять дух заключенных, он ночами, крадучись, выводил на стенах обнаде-

живающие надписи. Уже дважды тюремная администрация сурово наказывала его, а заключенные предупреждали, что в конце концов он подведет себя под нож гильотины, но он не унимался, не мог. Тут была и гражданка Карлье, о которой судачили, что, пользуясь своей полнотой, она симулирует беременность, но потом она все же родила. Тут был и гражданин Дювивье, который сразу же после штурма Бастилии встал на сторону революции, пламенными речами и делами доказывал свой патриотизм, но на спине у него были вытатуированы королевские лилии, а поэтому его все время подозревали в неблагонадежности; он был красив и изящен, ухаживал за всеми дамами, и, хотя явно не отличался верностью, дамы одна за другой—стоило ему лишь предложить—соглашались поглядеть на вытатуированные лилии. Тут был и бывший депутат Робэн. Его политическая позиция в первом Национальном собрании успела стать пожелтевшей страницей истории, но он все еще красноречиво, с пеной у рта, защищал ее. Тут были уличные женщины, державшие себя строго и чинно, и добродетельные матери семейств, державшие себя вызывающе. Тут были знаменитый писатель Флориан, автор «Нумы» и «Вильгельма Телля», и лирик Робер Виже, чьи стихи вся Франция знала наизусть. Тут был очень спокойный состоятельный гражданин Дежарден, ободрявший отчаявшихся и вдруг выбросившийся из окна. И среди всех этих ипохондриков и оптимистов, стариков и детей, бранчливых и уживчивых носились и лаяли собаки, большие и маленькие; ибо каждый второй заключенный приводил с собой в тюрьму свою собаку.

Когда позволяла погода, заключенные гуляли в саду. Вечерами мужчины и женщины собирались в общей комнате, в зале. Надписи на стенах зала возглашали: «Идеалами истинного патриота в любой жизненной ситуации неизменно остаются—Свобода, Равенство и Разум». Или: «Свободолюбивый любит свободу, даже если у него насильно ее отняли». Под этими надписями вешивалось обычно меню на завтрашний день.

В зале играли во всевозможные игры: в шахматы, трик-трак, карты. Женщины щипали корпию, многие читали, некоторые музицировали или декламировали, мужчины и дамы вели светские разговоры. Обсуждали злободневные события тюрьмы, где всегда случалось что-нибудь из ряда вон выходящее, и фантазия узников приукрашивала эти сенсации еще более сенсационными подробностями. Ежевечерне кто-либо читал вслух «Монитор», правительственную газету, дававшую повод к бесконечным дискуссиям на политические темы. И хотя было известно, что среди заключенных немало «легавых»,

осторожность почти не соблюдалась, и порой между демократами, умеренными и теми, кто почти не скрывал своих монархических убеждений, разгорались ожесточенные споры. Осмотрительные люди призывали к спокойствию либо покидали зал. Иной раз беседа поднималась на высоты философии. Чаше, однако, она кончалась грубой перебранкой, и собеседники откровенно излагали свое мнение друг о друге.

Пришла зима. Снега в этот год было больше, чем обычно, и в саду началось веселье. Катались на салазках, лепили снежных баб, играли в снежки, дети и собаки шумели и радовались.

Но как ни красочна, как ни весела была жизнь в Ла-Бурб, узники знали, что над ними занесен топор палача. Забыть об этом не удавалось ни на минуту. Ежедневно кого-нибудь из заключенных увозили в Революционный трибунал, и в двух случаях из трех трибунал выносил смертный приговор, который в двадцать четыре часа приводился в исполнение. Состав заключенных в Ла-Бурб отличался большой текучестью.

Когда и кого настигнет злая судьбина, когда последует вызов в Трибунал,— зависело от настроения того или иного судьи, присяжного заседателя, депутата, городского советника, мелкого писаря или даже от какой-нибудь пометки в деле. Ла-Бурб была преддверием гильотины, и ожидание изматывало нервы.

Узники старались не думать об опасности. С головой погружались они в крайне ограниченную повседневность Ла-Бурб, без конца болтали, заводили друзей и наживали врагов. Внутреннее напряжение искало себе выхода во вздорных стычках; заключенные ссорились по поводу взаимных оскорблений, о которых якобы узнавали от третьих лиц, по поводу несправедливости при раздаче еды и по разным другим мелочным поводам. Каждый призывал всех остальных в свидетели и судьи, создавались партии, вынужденность постоянного совместного пребывания увеличивала раздражительность.

Бывало тут и карикатурное соперничество, смехотворная потребность блистать в этой жалкой компании, в которую попадали не по доброй воле. Так, например, вечерами в зале иной раз забавлялись игрой в буриме; из редко употребляемых, отдаленных по смыслу, рифмующихся слов составлялись окончания стихотворных строк, и надо было соединить их в осмысленное стихотворение. Среди заключенных находились писатели и поэты, произведения которых прославились на всю Европу: Флориан, Виже. Все они принимали участие в дурацкой игре сначала в шутку, но постепенно входили в азарт и старались изо всех сил. Победа, однако, доставалась

обычно не им, а некому Деладелю, заурядному адвокату; это задесало поэтов за живое.

Тут были актеры, пользовавшиеся шумной славой, Флери и Дюгазон из театра Французской комедии. Борьба за роли, которую они с десятков лет, не гнушаясь самых низменных средств, вели друг с другом, служила постоянным предметом разговоров в Париже. Теперь соперники жили в тесной дружбе, их часто видели прогуливающимися рука об руку. Вечерами в зале, когда их просили что-нибудь прочитать, они не заставляли себя долго уговаривать. Но если только одному из них выпадала возможность показать свое искусство, другой не скрывал обиды. Однажды после такой «обиды» мосье Флери ночью явился в камеру Фернана и его товарищей, рассказал какой-то анекдот по поводу одного представления «Митридата» и прочел знаменитый монолог.

Однако все усилия уйти от мыслей о том темном, что каждому предстояло, мало помогали. Оно всегда было тут; всегда и сквозь все пробивалось. И каждый про себя готовился мужественно принять смерть.

Мосье де Николаи, один из министров Пятнадцатого и Шестнадцатого Людовиков, был вызван в Трибунал во время обеда.

— Велите жандармам подождать, пока я кончу,— сказал он. Он потребовал, как всегда, кофе и ликер. Добрый доктор Дюпонтэ спросил, не помассировать ли ему на прощание больное плечо.

— Благодарю,—ответил мосье де Николаи,—не стоит беспокоиться. Мой недуг перекочевал в затылок, а не будет затылка, вылечится и плечо.

Вообще героически остроумная фраза высоко ценилась, и люди не отказывали себе в удовольствии броско ответить, даже когда знали, что расплаты не миновать.

Так, полковник Лапалю в присутствии других заключенных жаловался городскому советнику Дюпомье, что вот уже почти год, как он здесь, а ему все не объявляют, в чем, собственно, он обвиняется.

— Терпение, гражданин,—успокаивал его советник.—Правосудие справедливо, не век же здесь сидеть. Терпение!

— Терпение!—передразнил его полковник.—Терпение—добродетель ослов, но не солдат.

Ему действительно не пришлось долго терпеть: через неделю он исчез.

Гражданин Деладелю, адвокат, был вызван в Трибунал как раз в ту минуту, когда шла игра в буриме, в которой он всегда так блистал. Он сначала закончил стихотворение, радуясь, что внезапность вызова не лишила его остроумия. Все выразили восхищение его мастерством. Он

поблагодарил, сказал поэту Флориану, который далеко не так успешно подбирал стихотворные строчки:

— Завтра, мосье, у вас будет одним конкурентом меньше,—пожелал дамам удовольствия от этой игры и в дальнейшем, поклонился и вышел.

В Ла-Бурб все болезненно интересовались, как вел себя тот или иной осужденный, всходя на эшафот. Чаще всего осужденные держались мужественно. Почти все, по примеру людей античного мира, заранее придумывали последнее слово, и многим удавалось спокойно произнести его.

Подмастерье пекаря Аллен гордился своей принадлежностью к черни и любил посмеяться над прилизанными манерами аристократов. Но однажды, когда кто-то рассказал о новом случае мужественного поведения аристократа на его последнем пути и наступило молчание, Аллен полууважительно заметил:

— Жить по-человечески вы, «бывшие», не научились, но умирать—это вы умеете.

Глава вторая

СМЕРТЬ НЕ СТРАШИТ НАС

Фернан, чей счет в банке был секвестрован, с досадой стал замечать, что запас денег подходит к концу. Вопреки наступившему Равенству и в Ла-Бурб деньги обеспечивали их обладателю удобства и почет. Ремесленники, находившиеся в тюрьме, портные, сапожники, парикмахеры, часовых дел мастера обслуживали состоятельного человека быстрее и лучше, чем других; вознаграждение за труд они брали не по затрате усилий, а по состоятельности клиента.

Помимо всего прочего, многие товарищи по заключению обращались к богатому Фернану с просьбами ссудить их деньгами, а он не любил обманывать чьи-либо надежды.

Поэтому Фернан был очень доволен, когда однажды ему тайно вручили солидную сумму; из намеков он понял, что деньги послал мосье Робинэ.

Мысли о Латуре, об Эрменовиле, о жизни на воле не так уж часто тревожили Фернана. Как ни странно, но больше всего напоминали ему о прошлом многочисленные собаки, находившиеся в лагере; образы рыжей Леди и жирной пыхтящей собачонки Понпон возвращали его мысли к дорогим и близким людям.

Но эти грустные воспоминания быстро вытеснялись вздорными, ничтожными радостями и горестями тюремного обихода. Фернан, как все обитатели Ла-Бурб, принимал

живое участие в повседневной жизни тюрьмы. Вместе со всеми он возмущался, что на обед сегодня опять гороховый суп, с горячностью обсуждал приятные или раздражающие свойства надзирателя Бенара, вместе со всеми смеялся над дурацкой манерой гражданина Буайанваля перебивать каждого, кто рассказывал какую-нибудь забавную историю, и тем самым разрушать всю соль ее. Если вечерами, во время игры в рифмы, Фернан удачно выходил из затруднения, он радовался и часто жалел, когда ровно в десять раздавался звонок и все волей-неволей расходились по камерам.

Среди заключенных женщин были хорошенькие и даже красавицы; с многими из них можно было приятно поговорить. Мужчины и женщины могли беспрепятственно встречаться, и изящный гражданин Дювивье без особого труда добивался возможности показать дамам свои вытатуированные лилии.

Условия тюремной жизни исключали уединение и вынуждали к известному бесстыдству, но хорошие манеры соблюдались.

Был назначен новый смотритель тюрьмы, грубоватый, прямолинейный и справедливый человек по имени Тирион. Он обратился к узникам Ла-Бурб с речью:

— Граждане и гражданки! Весь Париж рассказывает анекдоты о нашем заведении. Говорят, что его заслуженно называют болотом, что это просто-напросто большой бордель. Я поставлен только затем, чтобы никто из вас не мог бежать. В мои обязанности не входит забота о вашей добродетели. Но одно все же я хотел бы вам сказать: у многих из вас есть основание ждать от правосудия Республики быстрой расправы. На вашем месте я посвятил бы свои последние дни добродетели, а не легкомысленным удовольствиям. Прощайте!

Несмотря на такое предупреждение, в Ла-Бурб по-прежнему процветала игра в любовь и ухаживание, порою бывала и ревность, а иной раз — и подлинная привязанность. Влюбленные охотно принимали свои отношения за великую страсть, даже когда это было всего лишь бегством от завтрашнего лютого дня.

Фернан наблюдал за этой любовной суетней с сочувствием и порой с улыбкой. А иной раз ему становилось жутко. Он видел тень смерти на лицах своих товарищей по заключению. Люди, которые тут любезничали и любили, превращались вдруг в паясничавшие скелеты. Это не мешало ему разделять их радости.

Не прошло и двух-трех недель, а он уж наравне со всеми полностью включился в жизнь Ла-Бурб. Занятый мелочными заботами, подстрекаемый любопытством, он целыми днями носился по коридорам и комнатам обшир-

ного здания, по территории сада. Раненая нога донимала его сильнее, чем прежде, но совет добряка доктора как можно больше двигаться служил ему желанным предложением бегать от одного к другому, как делали все.

В глубине души он ставил себя выше остальных, и когда ловил себя на том, что поведение его ничем не отличается от их поведения, удивлялся себе, пожалуй, даже испытывал стыд.

И все же он был не таким, как все; порой постоянное вынужденное пребывание на людях жестоко его мучило. Товарищеские отношения, которых он обычно настойчиво добивался, в такие дни казались ему несносными. Он чувствовал неприязнь даже к тем, к кому питал уважение и симпатий, и теперь он понимал, почему Жан-Жак, горячо любивший людей, народ, так отчаянно боролся за свое одиночество.

В такие дни Фернан искал возможности побыть одному. Он садился, скажем, на скамью в саду и углублялся в книгу, всем своим видом подчеркивая, что хочет быть один. С этим никто не желал считаться. Не только громкие разговоры проходивших мимо пар или целых компаний отвлекали его, но любой мог подойти к нему, бесцеремонно заговорить, поведать свои интимные дела, потребовать его суждения в том или ином споре, потребовать принять сторону того или другого; Фернан убедился, что малейшая попытка уклониться от сочувствия оскорбляла людей, толковалась как себялюбие и высокомерие.

Даже ночью нельзя было остаться наедине с собой. В той же камере находилось еще семеро заключенных, из других камер приходили гости, горел свет. Обитатели Ла-Бурб страшились сна, они старались не спать, предпочитали тысячи раз пережевывать уже сказанное. Они знали: им отмерены считанные дни и ночи, каждый день и каждая ночь могли стать последними; и все-таки они предпочитали заполнять время пустой болтовней, а не одинокими думами.

И когда наступали наконец тишина и мрак, на Фернана обрушивались горести других. Ибо ночью обретал голос страх смерти, подавляемый в течение дня. Заключенные разговаривали во сне, метались; их явно мучили кошмары.

Иной раз, когда Фернан лежал в постели — отнюдь не жесткой, — страх находил и на него. Мужественные слова: «И если революция отнимет у меня жизнь, она и тогда будет права» — нисколько не помогали. Страх смерти хватал за горло с такой жестокой силой, какой Фернан не знал в самые мучительные дни американского похода. Бессмысленность того, что творили с ним, приводила его в бешенство. Ему казалось, он вот-вот задохнется; он ловил ртом воздух.

В Ла-Бурб был заключен и некий мосье Риуф, тихий пожилой человек, большую часть своей жизни посвятивший переводу Лукреция на французский язык. Перевод был давно закончен, уже вышел вторым изданием в улучшенной редакции, был в десятый, в последний раз отшлифован и переработан. Теперь, несмотря на шум, постоянно стоявший в тюрьме, мосье Риуф перерабатывал его в одиннадцатый, сверхпоследний раз, останавливаясь на ненужных мелочах, возвращаясь к одному и тому же и больше всего беспокоясь, что его вызовут в Трибунал раньше, чем он закончит последнюю, наиболее точную редакцию. К Фернану, хорошему латинисту, он очень привязался, не проходило дня, чтобы он не прибегал к нему, радостно возбужденный: ему удалось передать еще один тончайший оттенок.

Вновь и вновь читал ему гражданин Оноре Риуф строки Лукреция и свой перевод. Чаще всего — известные стихи о смерти, ясные и глубокие. В этих стихах говорилось, что с телом умирает и душа и поэтому бессмысленно бояться смерти; ведь она ведет в Ничто, где нет больше страданий. Точно так же, как наше поколение не чувствует отчаянья того времени, когда Ганнибал стоял у ворот, мы после смерти не почувствуем ужасов грядущих времен, хотя бы море затопило землю, а небо поглотило море.

Nil igitur mors est, ad nos neque pertinet hilum

Quandoquidem natura animi mortalis habetur.

Значит, смерть нам — ничто и ничуть не имеет значенья,¹
Ежели смертной должна непременно быть духа природа.

Фернан, лежа в постели и призывая сон, мысленно произносил эти строки — на латинском языке сильные и глубокие, на французском — равномерно-монотонные, баюкающие, усыпляющие. Он чувствовал, как погружается в черные беспредельные волны забвения и сна, как его «я» растворяется, как тело уходит в бездну. На какой-то миг ему удавалось насладиться блаженством погружения в небытие, в сон.

Глава третья

ЧЕЛОВЕК ДОБР

В замке Эрменонвиль поселилась стража, состоявшая из десяти солдат Национальной гвардии во главе с начальником отряда капралом Грапеном. Согласно приказу, солдаты не спускали глаз с неблагонадежного

¹ Здесь и далее цитаты Лукреция — в переводе Ф. А. Петровского.

гражданина. Даже когда Жирарден спал, кто-либо из солдат дежурил в комнате, даже в туалет отправиться ему не разрешалось без сопровождающего.

А вообще говоря, солдаты были славными малыми. Они осведомлялись о самочувствии Жирардена, делились с ним мнением о погоде и не обижались, если он отвечал односложно или не отвечал вовсе.

Ему было запрещено с кем-либо встречаться, писать или получать письма. Но по садам гулять разрешалось. Ежедневно посещал он могилу Жан-Жака; один солдат перевозил его на остров, второй — сидел под ивой Жан-Жака.

За эти дни с Жирарденом произошла глубокая, разительная перемена: он превратился в старика. Этот человек, всегда такой прямой, подтянутый, в котором с первого взгляда можно было узнать военного, теперь ходил согбенный, волоча ноги, глядя перед собой в землю, и если кто-либо из стражников окликал его, он вздрагивал.

Почему все это на него обрушилось?

Он знал, что в Жан-Жаке таилось нечто опасное. Снова и снова с жгучей четкостью возникало в нем одно воспоминание, которое он старался подавить в себе, — воспоминание о некой заметке на полях в рукописи «Исповеди». «Thelo, thelo manepai — я хочу, да, хочу безумствовать» — греческими буквами старательно вывел Жан-Жак на полях. Он, Жирарден, обязан был знать об одержимости Жан-Жака, о том опасном и темном, что таилось в нем. Он *знал* об этом, и он это замалчивал, не сознавался ни себе, ни другим. И вот теперь одержимость Жан-Жака охватила всю страну.

Жирарден испугался своей мысли. Какое право он имеет приписывать учителю вину за безумие парижских тиранов? Разве такие мысли не измена Жан-Жаку? Что за дело источнику, куда и к кому несутся его воды?

Он стоял перед бюстом Жан-Жака. Он, он, Жирарден, не справился со своей задачей, он не уберег живого Жан-Жака от врагов, и что еще страшнее — не сумел уберечь его посмертно. Он спасовал и как толкователь его творений. Судьба покарала Жирардена: его преследовали фурии за то, что он не выдержал испытания.

Он боялся, что сойдет с ума. Начал разговаривать сам с собой. «Из утверждения и отрицания рождается истина», — произносил он вслух, назидательно поднимая палец. Или: «Человек добр», — с горькой иронией повторял он знаменитое изречение Жан-Жака. Стражники качали головами, глядя на чудаковатого старика.

Больше собственной участи терзала его тревога за Фернана. Он превозмог себя и спросил у солдат, что

сделали с Фернаном. Солдаты пожимали плечами. они не знали.

Через неделю к нему допустили мосье ербера. Первый вопрос Жирардена был:

— Что с Фернаном?

— Говорят, он пока в следственной тюрьме,— сказал Гербер.

— Жив? — со страхом в голосе переспросил Жирарден, чтобы еще раз услышать подтверждение.

— Да,— решительно ответил Гербер.— Мне это сказал мосье Робинэ, а он хорошо осведомлен.

Гербер заговорил с Жирарденом по-немецки. Сначала гвардейцы запротестовали, потом махнули рукой. Но Жирарден, своенравный и ребячливый, едва отвечал этому преданному человеку. Гербер только вздыхал, сопровождая Жирардена на его прогулках.

Однажды на одной из таких прогулок Гербер как бы для себя читал стихи своего любимого Лукреция:

Ибо, как в мрачных потемках дрожат и пугаются дети,
Так же и мы, среди белого дня, опасаемся часто
Тех предметов, каких бояться не более надо,
Чем того, чего ждут и пугаются дети в потемках.

И тут впервые за много дней Жирарден заговорил.

— Они страшнее,— сказал он тихо и озлобленно.— Помолчав, он прибавил: — Было бы хорошо, если бы вы, мосье, помогли мне почитать Лукреция. Боюсь, что моего знания латыни не хватит для этого.

Так стихами Лукреция поддерживали дух свой Фернан в тюрьме Ла-Бурб и Жирарден в Эрменонвиле. В это великое, суровое и горькое время перелома многие во Франции читали Лукреция, в тот год в Париже вышло четыре новых издания его произведения «О природе вещей».

Мосье Гербер вновь и вновь осторожно пытался вызвать Жирардена на разговор о его собственной участи. Но Жирарден все время обрывал его, заявляя, что болтовня на этот счет не имеет никакого смысла; даже то, что говорил Жан-Жак, никому впрок не пошло, и даже наоборот. Гербер не ответил, лишь печально и укоризненно посмотрел на Жирардена.

— Не так разве? Не прав я? — немного погодя уже мягче спросил тот.

И мосье Гербер негромко, но решительно ответил:

— Нет, господин маркиз, вы не правы. Я не могу позволить вам, даже в вашем положении, хулить благородное вино только потому, что оно кому-то одурманило голову.

В этот день Жирарден впервые за долгое время

попытался работать. Он достал рукопись своего очерка «О ратификации законов Всеобщей волей». Работа увлекла его, и несколько дней спустя он спросил верного Гербера:

— Как вы думаете, не превратит ли мне мой очерк в большой принципиальный трактат «Всеобщая воля и ее значение в системе взглядов Жан-Жака»?

Гербер обрадованно взглянул на него.

— Вот видите, господин маркиз, теперь и вы наконец дозрели, простите за вульгарное выражение. Я хотел сказать, что теперь и вы поняли: храмы превращены в конюшни, но боги живы. Я так счастлив!

Некоторое время работа отвлекала Жирардена. А потом опять наступили часы тяжелых раздумий и подавленности. И сообщения газет, которые ему через некоторое время разрешили читать, снова ввергли его в мучительные сомнения. Он читал о кровавых банях, учиняемых мятежниками в провинциях, и о еще более жестоких карательных действиях Конвента, направленных на устрашение. Он читал об истреблении целых городов.

Однажды он прочел, что после краткого карикатурного судебного процесса была казнена королева Мария-Антуанетта. Он прочел об этом с большим запозданием: прошло уже больше недели, как тело королевы сгорело в известковой яме.

Конец Марии-Антуанетты взволновал его сильнее, чем куда более тяжелые и значительные события. До осязаемости ярко вспомнил он, как Мария-Антуанетта украсила полевыми цветами могилу Жан-Жака и тем самым помогла сохранить его память в незапятнанной чистоте. Она была не очень умна, габсбургская принцесса Мария-Антуанетта. Но горе делает умным, страдания делают умным, он это знает по собственному опыту. Поняла ли Мария-Антуанетта в свои последние часы, сколь много способствовали творения Жан-Жака и память о нем тому, чтобы подвести ее под нож гильотины?

В один прекрасный день приставленный к Жирардену капрал Грапен добродушно усмехнулся во все лицо и сказал:

— Радуйся, «бывший», к тебе гость пожаловал.— Не успел он кончить, как в дверях показался старый Робинэ.

Жирардену очень хотелось не принять непрошеного гостя. Но он вдруг болезненно почувствовал, как мало людей осталось вокруг него, всего трое: мертвый Жан-Жак, живой Гербер и любимый сын Фернан, не живой и не мертвый. Значит, Жирардену нельзя отталкивать от себя и такого вот Робинэ.

И мосье Робинэ пережил немало тяжелого за последние несколько недель. Жильберта замкнулась в своем

отчаянье. Она обвиняла себя в бедах Жирарденов; твердила, что была обязана убедить Фернана бежать. Никакие слова утешения, разумные доводы на нее не действовали. Робинэ грызло сознание своего бессилия, но он не видел возможности помочь Жирарденам. Приходилось радоваться, что парижские кровопийцы не схватили его самого. Он чувствовал себя глубоким стариком.

Но он взял себя в руки. Нет, так легко он не сдастся. Прежде всего он нашел средства и пути, чтобы проникнуть к неблагонадежному «бывшему». Он не только переоделся старым крестьянином, он стал им, и капрал Грапен, сам крестьянин, и его гвардейцы, такие же крестьяне, пропустили старого Робинэ в замок.

С хитрой улыбкой, умножавшей морщины на его морщинистом лице, стоял он перед Жирарденом.

— Ça у est, вот и мы,—сказал он, оглядывая сеньора Эрменонвиля. Как ни старался тот подтянуться, сохранить военную выправку, ничего не помогало: он был надломленным дряхлым стариком. Робинэ с гордостью почувствовал: он моложе этого «бывшего».

Жирарден, затаив тревогу, спросил о Фернана. Да, у Робинэ есть сведения. Фернан все еще в Ла-Бурб, а Ла-Бурб из всех подследственных тюрем — лучшая. Робинэ также взял на себя смелость тайно передать господину графу немножко денег, несколько тысяч ливров.

— Я верну вам эту сумму при первой возможности,—величественно сказал Жирарден, но тут же прибавил, искренне тронутый: — Очень вам благодарен, мосье.

Робинэ приходил довольно часто. Жильберта тоже непременно хотела навестить Жирардена. Робинэ чуть не силой удерживал ее. Только этого не хватало! Молодая, красивая женщина бросилась бы в глаза, она лишь подвергла бы опасности и себя и его и ухудшила бы положение Жирардена.

Но зато Робинэ привозил с собой иной раз свою правнучку Марию-Сидонию. Старик и маленькая девочка подружились. Малютка привыкла к простому крестьянскому платью; она в нем отлично себя чувствовала. Единственное, что осталось ей от прежней жизни, была собачонка Понпон, жирная, старая и ленивая. Робинэ и ребенок приезжали на деревенской телеге: Робинэ грузил на нее картофель или что-либо другое в этом роде и делал вид, что по дороге на базар заехал проведать знакомого.

Национальные гвардейцы любили детей, они с удовольствием шутили с Марией-Сидонией. Однажды Робинэ приехал, когда солдаты обедали. Большинство из них были южане, и на обед им обычно готовили кроличье рагу, обильно сдобренное чесноком. Они предложили Робинэ и малышке отведать рагу. Старiku оно пришлось

по вкусу, а Мария-Сидония, не привыкшая к пряностям, не решалась есть. Солдаты смеялись, уговаривали ее покушать и требовали, чтобы она и яблочного вина прихлебнула. Они пригрозили девочке: если она не будет есть и пить, они не позволят ей больше приезжать сюда, в замок. В конце концов она под смех солдат с отвращением поела рагу и выпила вина. Ее стошнило, что только увеличило веселье.

Это происшествие ввергло Жирардена в еще большее уныние.

Робинэ старался его приободрить.

— Злой сон развеется, господин маркиз,— сказал он.— И скорее, чем вы думаете, поверьте старому человеку, немало повидавшему на своем веку. А когда это случится,—продолжал он с лукавой улыбкой, полушутя, полусерьезно,—я попрошу вас о большой услуге. Я, знаете ли, намерен восстановить тогда свой замок Латур, и вы мне непременно поможете разбить сады в вашем стиле. Назад к природе, господин маркиз!

Глава четвертая

ЗВЕНО В ЦЕПИ

Робеспьер себе самому и своим друзьям цитировал слова Монтеスキе, которые и Жан-Жак привел однажды: «Быть может, наши потомки сочтут, что мы пролили слишком мало крови и пощадили слишком много врагов свободы». Он, тот самый Робеспьер, который голосовал за отмену смертной казни, должен был все неумолимей применять теперь это орудие устрашения. В результате повышенной бдительности, все больше граждан, считавшихся до той поры безобидными, объявлялись врагами Республики. Врагом оказывался и гражданин слишком умеренных взглядов, и гражданин слишком радикальных взглядов. Кто слишком горячо верил—был врагом, и кто недостаточно верил—был врагом. Весь во власти своих мрачных фантазий, Робеспьер контролировал мысли и самые головы, скрывавшие их.

Прежде всего он рассчитался с лидерами умеренных, заседавшими в Конвенте,—с жирондистами. Все они, двадцать один человек, предстали перед судом, были осуждены и гильотинированы.

Новые узники рассказывали в Ла-Бурб о последних днях жирондистов: о том, как они мужественно и красноречиво защищались перед Трибуналом, думая не о себе, а только о Республике, о том, как в ночь перед казнью все собрались на трапезу, напоминавшую пиршества избран-

ных афинян, а на эшафот шли с пением революционного гимна.

Фернан с жадностью слушал рассказы о жирондистах. Почти всех из этой группы он знал лично, некоторых мог бы назвать своими друзьями. Эти «умеренные» отнюдь не отличались умеренностью; в том Законодательном собрании, членом которого был Фернан, они составляли радикальное крыло. Именно они выдвинули те смелые, гордые положения, на которых покоилась Конституция; именно они объявили войну монархам Европы: в сердца этих людей никогда не заползала трусость. Это были самые светлые умы Франции, верные последователи Жан-Жака.

Но разве те, кто посылал их на смерть, не были верными учениками Жан-Жака? И которые из них окажутся перед лицом истории его лучшими учениками — убитые или те, кто их убил?

Деятели сегодняшнего дня, Робеспьер и Сен-Жюст, объявили жирондистов умеренными потому, что жирондисты затевали словопрения с противниками вместо того, чтобы уничтожать их. Верно то, что жирондисты не сумели сплотить Республику воедино, — законы, которые они издавали, были слишком справедливы. Верно, конечно, что жирондисты не справились со своей задачей. А Робеспьер и Сен-Жюст объявляли врагами отечества всех, кто не справлялся со своей задачей, и уничтожали их. Они уничтожали всех врагов отечества, даже неопасных. Их логикой была гильотина. Быть может, иной логики для революции не существует.

Фернан, — теперь он признался себе в этом, — был, по существу, сам жирондистом.

Правда, он с жаром утверждал, что революцию может совершить только народ. Но в сокровенной глубине души он, подобно всем образованным людям своего времени, надеялся, что революцию можно сделать сверху, без участия народа. Более того, в этой сокровенной глубине души он, как и другие, вопреки всем уверениям и объяснениям в любви, относился к народу с таким благожелательным пренебрежением. У нас, образованных, несомненно, были добрые намерения, думал он, но мы смотрели на народ сверху вниз, мы похлопывали его по плечу, мы не давали себе труда найти общий язык с народом, мы навязывали ему наших античных героев, наших Гракхов, и Спартака, и Цинцинната, и снисходительно улыбались, когда народ не понимал нас. А теперь он выбросил нас на свалку. Вполне справедливо. Ибо наше изощренное умничание оказалось несостоятельным. А революцию осуществила и историю делала неуклюжая прямолинейная мудрость народа.

Нет, он, Фернан, не понимал народа. Он и Жан-Жака не понимал, Жан-Жак, одинокий и обособленный в силу своей гениальности, сохранил общность с народом, он сохранил смирение при всем понимании своего величия. Ему, Фернану, отказано в способности смиряться. Он надменно замкнулся в своем «я». Возможно, что гордость своим происхождением он и укротил, но место ее заняло духовное высокомерие.

Новая волна арестованных граждан, но уже совершенно иного порядка, заполнила Ла-Бурб.

Свалив жирондистов и получив тем самым неограниченную власть, Робеспьер вместе со своими приверженцами твердо и поступью продолжал всходить по узкой и крутой стезе добродетели. Издавна его раздражала безнравственность фанатических последователей чистого Разума. Ему пришлось быть пассивным свидетелем того, как эти люди вынудили Конвент санкционировать их кощунственный «Култ Разума». Он, Робеспьер, верный ученик Жан-Жака, искренне верил в Верховное Существо. Кто отрицал Верховное Существо, отрицал и Жан-Жака, отца Республики. Робеспьер провозгласил атеизм аристократическим, контрреволюционным, порочным учением. Он решил расправиться с этими бесноватыми, с этими маньяками, с этими фанатиками, подстрекавшими народ к неверию в Верховное Существо.

Некоторые из таких врагов отечества были до суда над ними также доставлены в Ла-Бурб. Среди них находился, например, депутат Рике. Он мрачно заявлял, что республика, управляемая людьми, которые во всем надеются на Верховное Существо вместо того, чтобы полагаться на собственный, конечно, изрядно ограниченный, разум,— неизбежно погибнет. А гражданин Боссэ громко ругал Робеспьера; пусть, мол, этот несчастный Робеспьер, эта рыбаья кровь, со всей его методичностью, посредственностью и гильотиной, поцелует его, гражданина Боссэ, в то место, откуда ноги растут.

Теперь появились в Ла-Бурб заключенные, состоявшие в особо враждебных отношениях с некоторыми из прежних узников. Новые заключенные, недавно еще пребывавшие у власти, бросили за решетку либо их самих, либо их родственников. А теперь все они вместе были заключены здесь — преследователи и их жертвы. Напряжение в Ла-Бурб росло. В общем зале, на этом тесном пространстве столкнулись два мира: старый, благовоспитанный, с присущей ему легкой иронией, и новый, нетерпимый, агрессивный и крайне невоспитанный.

В Ла-Бурб доставили и депутата Шаплена, бывшего капуцина, покровителя вдовы Руссо. Он с давних пор навлекал на себя гнев Робеспьера. Главный зачинщик

непотребного «Культа Разума», Шаплен, по мнению Робеспьера, своим непристойным и кощунственным красноречием подстрекал людей к самым оголтелым оргиям. И не только его воинствующий антипатриотический атеизм был омерзителен Робеспьеру: он с остервенением фанатика преследовал этого неопрятного, неряшливого, необузданного человека и больше, чем идеи, вменял в вину Шаплену самый нрав его и образ жизни. Он обвинял Шаплена в том, что при ликвидации «Ост-Индской компании» и в ряде других служебных операций Шаплен утаивал имущество, подлежащее конфискации, и напоследок, при разгроме королевских склепов, присвоил себе разные драгоценные реликвии.

И вот теперь Шаплен, заключенный в Ла-Бурб, ждал, когда и он предстанет перед Трибуналом.

Возмущенно жаловался он товарищам по заключению на идиотскую ревность Робеспьера, на неблагодарность Республики и непостоянство народа. Бывший проповедник, Шаплен обладал блестящим даром красноречия; когда бы он ни говорил, вокруг него всегда собиралась публика и буквально заслушивалась его. Однажды какой-то разносчик, арестованный по подозрению в приверженности к монархии, перекрестился и сказал:

— Ты укрепил мой дух и ободрил меня, дружище,— и дал ему ломтик копченой колбасы.

Шаплен приметил, что он и его судьба заинтересовали Фернана, и искал случая излить перед ним душу и оправдаться. В противоположность большинству вождей Республики, он не позволил твердокаменным теориям заглушить в себе голос гуманности, говорил он, и перечислял Фернану имена многих людей, которым спас жизнь. Были среди них даже враги Республики, такие, например, как аббат Сикар,— дело в том, что аббат написал превосходный очерк о латинском языке Августина, а он, Шаплен, питает слабость к интеллектуальным шедеврам. За это-то сумасшедший Робеспьер старается лишить его не только жизни, но еще и посмертной славы. Только потому, что Робеспьер не сумел последовать за ним, Шапленом, на высоты обезбоженной, но оттого еще более светлой человечности, он бросает ему обвинения в низменных страстях, в гнусном корыстолюбии. Пусть так, он, Шаплен, принимал порой подарки, произведения искусства, которые иначе, вероятно, пошли бы прахом,— прекрасные книги, иной раз, быть может, и деньги. Что же из этого следует? Изменил он оттого хотя бы на йоту своим идеалам? Корыстолюбие, что ли, побудило его штурмовать христианские небеса и вышвырнуть вон христианских богов?

— Разве проповедуемая мною истина перестает быть

истиной оттого, что я люблю жизнь, люблю некоторое изобилие и пышность?—горячился он.—Я не пуританин: книги, картины радуют мое сердце. Представляю себе, какая судьба постигла чудесные вещи, которыми я наполнил мой дом!—горестно восклицал он.—Ведь эти варвары ничего в них не смыслят. Может, кто-нибудь из них подтирается теперь бумагой, на которой рукой Жан-Жака начертаны бессмертные слова.

Шаплен не лгал, утверждая, что иной раз в порыве великодушия спасал людей. Но он умалчивал о том, что временами из мелочной мстительности убивал людей. Он с детства отличался обидчивостью, его злопамятность не прощала малейших когда бы то ни было полученных уколов самолюбия, и многие дорого заплатили за нанесенные ему и наполовину забытые ими обиды. Так, мировой судья Ларивьер, подписавший по поручению правительства ордер на арест Шаплена, и патер Венанс, в стихах высмеивавший Шаплена еще в бытность того капуцином, оба, когда Шаплен пришел к власти, поплатились головой.

Шаплену не повезло: среди заключенных в Ла-Бурб оказались кузен мирового судьи Ларивьера и племянник патера Венанса. Они явно злорадствовали, что в этот скорбный дом попал и Шаплен; дразнили его, прерывали потоки его речей насмешливыми репликами. Изобретали все новые и новые мучительства.

Обитатели Ла-Бурб охотно разыгрывали зловещую комедию, потешаясь над Трибуналом, гильотиной и собой. Венанс и Ларивьер подговорили нескольких заключенных сделать Шаплена главным участником такой комедии. Те схватили его, когда он лежал в постели, поволокли в «революционный трибунал», признали виновным и казнили. А затем он предстал перед судьями преисподней, где должен был оправдаться в убийстве тех, кого послал на гильотину из личной неприязни. Экспансивный, всегда во власти настроений, Шаплен, в противоположность другим обитателям Ла-Бурб, которые сносили такие шутки с невозмутимым видом, дрожал в своей ночной сорочке, что-то невнятно бормоча; искуснейший оратор, он являл собой в эти минуты жалкое зрелище. Приговор осудил его на преследование фуриями, и несколько заключенных, распевая хор фурий, прогнали его по коридорам всего здания.

Грузный, чувствительный Шаплен, в смертельной опасности сохранявший спокойствие и осмотрительность, так и не пришел в себя от переживаний этой ночи. Раньше ему доставляло удовольствие представлять себе, как он произносит в Трибунале свою последнюю речь; мысль о фейерверке, которым он собирался блеснуть в час своей гибели, приятно волновала его. А теперь он не в силах

был дожить и те немногие дни, что ему остались. Он принял яд. Но яд подействовал не сразу. Шаплен вопил, корчась от жестоких болей; сбежались люди, добрый доктор Дюпонтэ дал ему противоядие, и даже попытка его уйти из жизни обратилась в фарс.

У Шаплена были кое-какие заслуги в деле создания и укрепления Республики. Он знал толк в искусстве и науках. Один из лучших ораторов страны, он запечатлел многие явления революции в метких, образных выражениях, возвышенных и сатирических, вошедших в разговорную речь всех народов. Он мог с полным правом рассчитывать, что сумеет так умереть, чтобы войти в историю в ореоле героизма. И вот дурацкая потеха нескольких жалких молодчиков превратила его в шута горохового, и память о нем на все времена приобретет душок смешного.

Спустя неделю его судили. Прокурор даже не дал себе труда произнести большую обвинительную речь; в нескольких небрежных фразах сформулировав обвинение, он призвал граждан присяжных вынести «плуту и спекулянту Шаплему» заслуженный им смертный приговор. Шаплен, овладев собой, начал было говорить, собираясь произнести блистательную, пламенную речь, но председатель Трибунала велел ему замолчать и пустой болтовней не отвлекать присяжных от более важной работы. Когда он шел к гильотине, те самые парижане, которые так часто восторженно приветствовали этого толстяка, осыпали его теперь глупыми и веселыми насмешками. Шаплен положил на плаху свою голову златоуста, так и не произнеся последнего слова.

С гневом, состраданием, содроганием и насмешками выслушали рассказ об его трагикомическом конце обитатели Ла-Бурб. Но не прошло и часа, как они забыли о судьбе Шаплена — так сильно взбудоражило их пустячное происшествие в стенах Ла-Бурб.

У гражданки Прево, девяностолетней, украли золотые, усеянные бриллиантами часики. Жизнерадостная старушка развлекалась в зале, принимая участие в играх, а часики оставила в своей камере.

В Ла-Бурб кражи происходили редко; при той солидарности, какая существовала среди заключенных, воровство считалось самым презренным из преступлений. Когда выяснилось вдобавок, что украл часы статный красавец Дювивье, молодой революционер с вытатуированными на спине королевскими лилиями, любимец дам, — возмущению не было границ. Дювивье всегда делал вид, что в деньгах не терпит нужды, он не скупился на галантные подарки своим приятельницам, на цветы и конфеты, и вдруг — украсть часы у гражданки Прево, у старушки! Шквал ненависти и презрения обрушился на его

голову. И власти также сочли, что факт воровства свидетельствует против добродетели Дювивье, а тем самым ставит под сомнение и его гражданскую благонадежность. В его революционные убеждения более не верили, отныне верили только улике в виде вытатуированных лилий. Дювивье предали суду и гильотинировали. Обитатели Ла-Бурб согласились на том, что приговор справедлив, а дамы, за которыми он ухаживал, теперь содрогались от стыда. Старушка Прево сказала:

— Ужасно! Бедный молодой человек! Знала бы я, слова не проронила бы насчет часов.

За подобную сентиментальность все порицали ее.

Полный смысла и в то же время бессмысленный, иронический, трагикомический конец Шаплена глубоко взволновал и Фернана. Но с ним произошло то же самое, что и со всеми: сенсация с кражей часов начисто смыла острую и горькую тоску, навешенную судьбой Шаплена. Как все, Фернан досадовал на себя, что за любезностью и обходительными манерами татуированного не сумел разглядеть его сути, и совершенно так же, как все, испытывал крохотное удовлетворение, что его казнили.

Фернана смутили эти ощущения, когда он отдал себе в них отчет. Шаплен — это была фигура. Честный революционер, несмотря на слабости, на смешное, что было в нем, он сослужил большую службу новой Франции. И что же? Его, Фернана, ученика Жан-Жака, созерцателя, который так гордился своей неповторимой индивидуальностью, глубже взволновала судьба мелкого, заурядного проходимца Дювивье, чем примечательный и значительный конец политика и ученого Шаплена. Фернан поддался общему настроению, и его большая и возвышенная скорбь легко уступила место чувству низкой мстительности и мелочной досады.

Он был подавлен непостоянством своих чувств. Но постепенно подавленность перешла в понимание, а потом и в удовлетворение.

Значит, он все же ничем не отличался от остальных. Он чувствовал, как они; обитатели Ла-Бурб составляли как бы одну семью, однородную массу, и он был частичкой этой массы. Если в минуты раздумий и рассуждений эта масса и распадалась в его глазах на ряд отдельных индивидов, все равно он принадлежит к ней.

Обитатели Ла-Бурб нередко вели себя подло, и он заражался этой подлостью. Но это хорошо. Они ведь одно целое здесь, в Ла-Бурб, — в хорошем и в дурном. Они единодушны в своем презрении к трусости и в своем уважении к мужеству, независимо от того, кто обнаружил эти качества в свой последний час: «бывший» или революционер. Безмозглыми и жалкими бывали они, когда

начинали ссориться, жестоко высмеивать друг друга за взгляды, которых не понимали; кража часов волновала их больше, чем борьба между последователями Разума и поклонниками Верховного Существа. Среди обитателей Ла-Бурб вспыхивала ненависть, если кому-нибудь мерещилось, что при раздаче супа его обделили. Но все — от «бывших» до якобинцев — оказывались пламенными французами, когда горевали по поводу поражений республиканской армии или ликовали по поводу ее побед.

Они составляли одно целое здесь, в Ла-Бурб. Это был народ со всеми свойственными народу противоречиями.

И Фернан был его частицей.

Глава пятая

БОГИНЯ РАЗУМА

Как-то вечером, сидя в зале, Фернан услышал возглас:

— Вы здесь, мой друг!

Он круто повернулся, он знал этот голос. Да, это была Эжени Мейяр, подруга Лепелетье, добрый друг Фернана. Она смеялась и плакала, испуганная, обрадованная.

Он не мог постичь, как это ее, любимую подругу мученика Лепелетье, заключили в Ла-Бурб.

Она принялась рассказывать. Как ни странно, но падение Шаплена потянуло и ее за собой. Накануне знаменитого Праздника Разума он явился к ней и предложил сыграть богиню Разума.

— Мне тошно было глядеть на этого неопрятного человека, — рассказывала она, — а из всех глупых ролей, которые мне приходилось играть, эта роль была самой глупой. Но могла ли я отказаться? Меня, несомненно, тут же обвинили бы в антигосударственном образе мыслей и предали суду Трибунала. Я не гожусь в мученицы. Я убеждена, Мишель бы меня понял.

И Фернан тоже понимал ее. Эта женщина знала жизнь и злосчастную противоречивость человеческого мышления и поступков. Эжени была человеком того же толка, что Лепелетье. Без особого трагизма приняла она злую иронию судьбы, покаравшей ее за деяние, против которого восставало все ее существо.

Смеясь и морщась от отвращения, она очень образно рассказала, как было дело. Шаплен и прочие маршалы атеизма настаивали на устройстве большого Праздника Разума в самый короткий срок. Участникам праздника дали на подготовку всего три дня. Граждане Госсек и Гардель, композитор оперного театра и балетмейстер,

получили указание приспособить балет-ораторию «Мы славим Свободу» для спектакля «Мы славим Разум», так, чтобы его можно было поставить в соборе Парижской богоматери. Подмостки, декорации, весь театральный реквизит спешно переправили в собор Парижской богоматери, переименованный отныне в «Храм Разума». На хорах соорудили горную вершину, а на ней и самый «Храм Разума». Было это сделано на живую нитку, и когда Эжени в белом платье и фригийском колпаке, с пикой в руке вышла из «Храма» и села на трон, она боялась, как бы вся эта штука не рухнула под ней. А когда четверо рыночных грузчиков, облаченных в ризы священнослужителей, потащили ее вместе с троном с «горной вершины» вниз по грозно трещащим ступенькам, покрытым зеленым ковром, она сидела ни жива ни мертва от страха. Последовавшее затем знаменитое триумфальное шествие по улицам Парижа было сплошным мытарством. Дождь лил ручьями, белое платье Эжени мгновенно промокло, она дрожала на своем троне от холода, и еще больше зябли танцовщицы и хористки, составлявшие ее свиту. Одетые еще легче, чем она, в балетных туфельках, девушки месили уличную грязь и мокли под дождем, восторженно улыбаясь при этом, как полагалось им по роли. А затем, промокшие до костей, смертельно боясь поймать какую-нибудь тяжелую простуду, они несколько часов просидели в Конvente, слушая речи и терпеливо снося поцелуи, пока наконец всех их не доставили назад, в собор.

Хотя Эжени рассказывала в легком тоне, Фернан чувствовал всю безразличность, стыд и отчаянье, которые эта женщина, несомненно, испытала. От природы жизнерадостная, она позаимствовала у Лепелетье способность находить смешное в самых нелепых событиях. Но в душе терпеть не могла вульгарности, и, вероятно, смех застревал у нее в горле, когда ей приходилось молча смотреть на всю эту дурашливость и нечистоплотность и сносить поцелуи членов Конвента, патриотические и похотливые прикосновения толпы.

Рассказала Эжени и еще об одной жуткой комедии, в которой она волей-неволей участвовала. На этот раз ей пришлось, все в том же костюме богини Разума, воссесть все на том же троне в церкви Сен-Дени, когда там громили гробницы французских королей. Подстрекаемая Шапленом, неистово орущая толпа вытаскивала из гробниц останки королей, принцев, министров и князей церкви, именами которых украшена история Франции. Глумилась над костями, катала, точно кегельные шары, черепа Людовиков и Францисков, Филиппов и Генрихов. И набальзамированные трупы, и скелеты, а также скипетры, короны, епископские жезлы и прочие атрибуты власти,—

все сваливалось в одну кучу, и на этой куче толпа плясала, топча все и разрушая. Шаплен отложил для своих коллекций обручи корон, перстни с печатями и другие сувениры. Сначала хотели было пощадить славного Генриха Четвертого — и потому, что, забальзамированный итальянским способом, он хорошо сохранился, и потому, что вообще пользовался популярностью. Но первосвященники Разума воспрепятствовали этому и приказали бросить Генриха в ту же огромную известковую яму, в которой уже перегорали останки других королей. Пощадил только один труп — труп фельдмаршала Тюрена. Любимого генерала, насколько это было известно Эжени, перенесли в музей естествознания, где вероятно, он и находится по сию пору среди чучел редких животных. Когда последний труп исчез в известковой яме, Шаплен объявил: «Этим актом на веки веков завершается эра монархии. Отныне мир исчисляет время по календарю Республики».

Обитатели Ла-Бурб восхищались Эжени и жалели ее. По мнению непоколебимых радикалов, ей следовало гордиться ролью богини Разума, которую ей пришлось сыграть, и выпавшие на ее долю неприятности, право же, не такая уж высокая цена за величие тех дней.

Все, включая и политических противников, любили Эжени Мейяр. От ее присутствия тюрьма Ла-Бурб посветлела.

Многие мужчины добивались ее благосклонности — кто неуклюжим, кто изысканным ухаживанием. Но она явно предпочитала Фернана всем остальным. Где и когда только можно было, оставалась с ним вдвоем, заботилась о его больной ноге, вела с ним грустные, шутливые, нежные разговоры. Между ними началась любовь, тихая и сильная, нежная и мудрая перед лицом смерти, витавшей вокруг них и над их собственными головами.

Память о Лепелетье не мешала им, скорее сближала. Они улыбались, глядя на величественные и ничего не выражающие черты каменного Лепелетье, выставленного в тюрьме. Насколько иным было умное, безобразное, дружелюбное лицо живого Лепелетье!

В любви Фернана и Эжени присутствовала память о покойном, присутствовала угроза, таившаяся в их близком будущем. Любовь в лихорадочной атмосфере Ла-Бурб одаряла их ощущением радости жизни, легкости, чувством светлого, ни к чему не обязывающего счастья. Любовь Фернана и Эжени внушала уважение, и никто никогда ни одним намеком не омрачал ее.

Каждый день кого-либо из заключенных уводили в царство тьмы, и Эжени отдавала себе отчет в опасности, нависшей над ней.

— Я, разумеется, сошлюсь на то, что мне грозила бы смерть, откажись я играть эту богиню,—сказала она как-то.—Но какой толк? Эти Бруты из Трибунала все равно мне ответят: «Значит, гражданка, ты должна была умереть».

А в другой раз она сказала:

— Если меня осудят, прекрасная гробница, которую я заказала себе по образцу гробницы Жан-Жака, останется пустой: вряд ли со мной обойдутся милостивей, чем с останками принцесс.

Она вела такие разговоры, но Фернан, слушая ее с легкой завистью и задумчивой улыбкой, видел: в глубине души она все же не верит, что жестокая участь может и ее постигнуть. В сущности, в Ла-Бурб самыми большими оптимистами были двое: юная Эжени и девяностолетняя гражданка Прево.

Как-то, сама того не желая, Эжени вслух выразила свою уверенность, что для нее все кончится хорошо. Однажды ей случилось видеть очень много птиц, пойманных в сеть, рассказывала она Фернану. Она купила эту сеть со всеми птицами и—как птицелов ни качал головой—выпустила пташек на волю. Щебет и ликование, с каким ласточки, дрозды, зяблики взмыли под синие небеса, было одним из ее самых светлых воспоминаний.

— Так произойдет и в тот час, когда меня выпустят,—сказала она.

И вот однажды утром Эжени исчезла... Исчезла столь же внезапно, как появилась. Фернан испугался так, словно удар обрушился на него самого.

Позднее он узнал, что ее перевели в другую тюрьму, еще позже,—что она освобождена. Он не скоро оправился от первого испуга. Ему не хватало Эжени. Как прежде, он принимал участие в жизни Ла-Бурб, но сильнее, чем прежде, чувствовал ее пустоту и постылость и чаще и острее испытывал потребность в одиночестве.

Он впал в состояние глубокой фаталистической подавленности. Он заблуждался, он не был таким, как все. На свою беду, он отличался от других. С горечью говорил он себе: *«Impares nascimur, pares morimur»*.—Неравными мы рождаемся, равными умираем».

Глава шестая

СУРОВЫЕ ПУТИ ИЗБИРАЕТ МИЛОСЕРДИЕ

Армия якобинцев, презираемая и высмеиваемая военными специалистами всего мира, армия, собранная всеобщей воинской повинностью, «жалкая, служащая из-

под палки армия террора» побеждала. Вести о победах одна за другой приходили с разных фронтов.

Париж ликовал.

Ликовала и Ла-Бурб. В саду, под трехцветным знаменем, собрались заключенные: на них смотрели бюсты Жан-Жака и Лепелетье. Пели гимн, написанный поэтом Виже, одним из обитателей Ла-Бурб. Смотритель тюрьмы Тирион произнес речь, выступили с речами и многие заключенные. Приводилось множество цитат из произведений Жан-Жака. Один из узников, адвокат Броньяр, «бешеный», не сомневавшийся в приговоре, который ждал его, воскликнул:

— *Res publica! Morituri te salutant!* — Республика! Обреченные на смерть приветствуют тебя!

И все присоединились к нему.

Праздновали победы и в Эрменонвиле.

Жиарден понимал: если бы победили армии союзников, и он и Фернан избавились бы от нависшей над ними смертельной опасности. И тем не менее он от чистого сердца радовался победам Республики. Когда его тюремщики собирались на праздничный обед, он послал им лучшее вино из своего погреба и попросил разрешения отпраздновать победу за одним столом с ними.

И вот он сидит среди солдат Национальной гвардии, славных, несколько неотесанных молодых.

— Хорошим вином ты нас потчуеть, «бывший», — признал один из них.

— Хотя ты и неблагонадежен, старик, но ты славный малый, — сказал другой и хлопнул его по плечу.

Жиарден слушал их тяжеловесные, простодушные шутки, думал о Всеобщей воле и чувствовал себя верным учеником Жан-Жака. Гражданин Венсан Юрэ, фанатический, мнительный мэр города Санлиса, разгневался, узнав об этом празднике братания.

У Венсана Юрэ и без того были причины для плохого настроения. Он не скрывал своей преданности депутату Шаплону, а тут вдруг Шаплена обезглавили как врага отечества. Для Юрэ это было чревато недобрыми последствиями.

Тем ретивее ринулся он выполнять свои официально-патриотические обязанности.

Услышав о мягкотелости гвардейцев, он отправился в Эрменонвиль. Обратился к капралу Грапену и его солдатам с громовой речью о республиканской бдительности. Пригрозил, что будет жаловаться на них по начальству. Запретил впредь позволять неблагонадежному Жиардену какое бы то ни было соприкосновение с внешним миром.

Совершив сей подвиг, гражданин Юрэ направился через весь парк к могиле великого Жан-Жака поклониться

его праху. Бдительный мэ́р и впрямь хорошо сделал, что приехал. Давно пора было взглянуть, что здесь творится. Ведь этот Эрменонвиль, этот парк, так же, как замок,— оплот реакции. На каждом шагу натыкаешься на чудищ времен тирании. Кругом торчат статуи каких-то пышно разодетых представителей старого режима, и у многих из них явно подозрительные имена: иностранные, аристократические, указывающие на связь этих людей с тиранами, со всех сторон осаждающими Республику. И в подобном окружении находится святая земля, где похоронен Жан-Жак!

Вернувшись в Санлис, гражданин Юрэ призвал державный народ положить конец такому позору.

Санлисские патриоты на двух повозках отправились в Эрменонвиль, захватив с собой подходящий инструмент: топоры, тесаки, ломы, да и бочку сидра не забыли. Они ворвались в парк, растоптали цветочные клумбы и прежде всего отбили носы нескольким каменным аристократам. Затем, засучив рукава, с азартом приступили к выполнению своей главной задачи. Два строения особенно раздражали их: Пирамида буколических поэтов и Храм Философии. И на том и на другом было множество барельефов с изображениями каких-то иностранцев и иностранных же надписей, наверняка антипатриотических. Под молодецкий клич: «Долой тиранию!» и «Да здравствует Свобода!» — удалцы вдребезги расколошматили скульптурные портреты греческих, римских, английских, немецких поэтов и философов. Разрушить массивные, прочные колонны Храма Философии было не так просто, но энтузиазм санлисских молодцов справился и с этой задачей. Закончив дело, они на сваленных колоннах устроили пир в честь своей победы. Сознание выполненного долга, красивый вид и полная бочка сидра много способствовали их веселью.

Папаша Морис с ужасом увидел, что творится. Он бросился в деревню и поднял тревогу. Сады Эрменонвиля были гордостью сельчан, их любил великий Жан-Жак, сюда, только чтобы посмотреть на них, приезжало множество иностранцев. Папаше Морису удалось сколотить отряд в добрый десяток крестьян.

Вместе с ними он двинулся в Эрменонвиль и объявил ретивым санлисцам, что парк этот вполне республиканский, что здесь провел свои последние дни Жан-Жак и что все эти каменные строения тоже вполне благонадежные. Патриоты из Санлиса не попались на удочку. Эрменонвилцы, видно, как были, так и остались крепостными «бывших», они никак не могут освободиться от рабского образа мыслей. Санлисцы же верят своему мэру, гражданину Юрэ. А кроме всего прочего, в них играл сидр, и они были в большинстве.

На все новые доводы папаши Мориса, неоднократно приводившего слова Жан-Жака, они сначала смеялись, потом велели ему замолчать. А так как он не подчинился и продолжал свою патетическую речь, они достали из фургона брезент, повалили на него папашу Мориса, раскачали, подбросили его и поймали. И снова и снова подбрасывали кричавшего, дергавшегося трактирщика; забавно было до чертиков.

Изрядно помятый, обессиленный и потрясенный, сидел на земле среди обращенных в руины колонн папаша Морис и с горечью размышлял о том, какое глупое, зловерное толкование претерпевает иной раз учение Жан-Жака со стороны Всеобщей воли.

Тем временем санлисские молодцы собрались идти в замок, решив лично провести «бывшего».

В вестибюле к ним навстречу вышел мосье Гербер.

Он все время издали наблюдал за тем, что делалось в парке. А теперь варвары ворвались и сюда; как готы и гунны, они превращали храмы в конюшни для своих лошадей. С мучительной ясностью видел он схожесть происходящих событий. Как те, в Париже, разрушали своими бесчинствами учение Жан-Жака о государстве, обращая это учение в пародию на него, так и здесь варвары опустошали сады, последнюю утеху Жан-Жака, его «природу». Они не пощадили даже это скромное воплощение его мечты. От горя сердце мосье Гербера готово было разорваться. Стараясь обрести равновесие, он произносил про себя строчку из Эсхила: «Суровые пути избирает милосердие, управляющее миром».

Однако теперь, когда варвары вторглись в самый замок, он не мог болс молчать. Бледный, высоко держа голову, он вышел к ним навстречу.

— Умерьте ваши страсти, господа,— сказал он.— Вспомните основной закон Республики: «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». Именем Жан-Жака, священного и для вас и для меня, я говорю: на пороге этого дома кончается ваша свобода, граждане!

Он стоял перед ними худой, хрупкий, на вид гораздо старше своих лет; но глаза его не мигали, он устремил на гуннов горящий решительный взор, его голос звучал глубоко и заклинаяще. Он как-то смешно походил на Жан-Жака, и санлисам, быть может, смутно вспомнились портреты Жан-Жака, которые они, вероятно, где-то видели. На мгновение они заколебались.

Но потом кто-то из них сказал:

— Без проповедей, шут гороховый!

А другой прибавил:

— Это бывший поп, купленный слуга суеверий: сразу видно по его причитаниям.

Но они были добродушно настроены, они ничего ему не сделали, только нахлобучили на голову красный колпак, знаменующий свободу, налили ему сидра и заставили выпить за гибель аристократов, статуи которых они только что обратили в груды камней.

Капрал Грапен после неприятного объяснения с гражданином Юрэ не считал возможным мешать державному народу, когда тот наводил свой порядок в парке. Но за целостность и невредимость доверенного ему неблагонадежного гражданина он отвечал. Он поставил гвардейцев у дверей во внутренние комнаты и обратился к санлисским удалцам, убеждая их отправиться восвояси. Усталые от патриотических подвигов и от попойки, они дали себя уговорить.

Глава седьмая

ГОЛОС ИЗ КЛОАКИ

Якобинцы были бдительны. Им даже в тюрьмах мерещились заговоры. Заключенным строго-настрого было запрещено всякое общение с внешним миром.

Отныне узники не знали, что происходит в стране и за ее пределами; только старший смотритель каждый вечер читал им «Монитор». Даже изобретательный мосье Робинэ не находил более способов подавать весточки Фернану. Фернан ничего не знал о разорении Эрменонвиля.

В Ла-Бурб был введен новый, чрезвычайно строгий устав. Заключенным запрещалось получать с воли какие-либо съестные припасы. Музыка тоже была запрещена. Собак удалили. Спальные помещения не освещались. Малейшее нарушение нового устава каралось карцером. Веселый грим, маскировавший Ла-Бурб, был стерт.

С посуровевшим режимом прибавилось грязи, Ла-Бурб обернулась мрачной тюрьмой. Фернан мучительно страдал от грязи «болота». Прозвище тюрьмы вполне оправдывало теперь себя. И не только внешне: болотом были и узники в своей массе. Сознание общности с ними не несло с собой более ни утешения, ни ободрения, вечное пребывание на людях царапало и раздражало, погружало в липкую грязь.

Точно для того, чтобы поглумиться над заключенными, их заставляли каждый вечер собираться в зале. Право собраний, заявлял старший смотритель,— основное право Республики. Там, стало быть, они сидели, болтали, играли в карты или в шашки, а со стен пилились на них гордые изречения, прославляющие человечность и права челове-

ка. Фернану казалось, что в этом зале, как нигде более, видна была вся бессмысленность жизни в Ла-Бурб. Бессмысленными были бесконечные неистовые споры запертых под одной крышей узников. Бессмысленной была их участь. Бессмысленной была догматическая подозрительность тех, кто держал их взаперти.

Вся страна вертелась в бессмысленном водовороте. Для того чтобы самому не одуреть, Фернан искал смысл в бессмыслице. Величие без безумия невысказуемо. Стихотворные строки одного английского поэта не выходили у него из головы:

Great wits are sure to madness near allied
And thin partitions do their bounds divide.
Гений и безумие — родные братья,
Их разделяют лишь тонкие стены.

Жан-Жак, преследуемый всем миром за мудрость и смелость, бежал порой в безумие. *Thelo, thelo manepai*. А теперь весь мир преследует французский народ за то, что он с неслыханным мужеством совершает попытку построить государство на основе разума; так почему же отказать ему в праве на судороги безумия? В истории Франции так же, как в жизни Жан-Жака, гениальные по своей логичности поступки чередовались с актами безумия. Но здоровый инстинкт вновь и вновь возвращает народ на путь разума.

Несмотря на причиненные ему страдания, Фернан всячески старался оставаться справедливым и старался, чтобы собственная участь не заслонила от него всего, что совершается.

Разумеется, в том, что он сидит здесь, во мраке, виноват чистейший произвол какого-то зловредного глупца. Но Республике в ее борьбе за существование разрешалось все, что могло служить для устрашения и уничтожения врагов. Она вынуждена пользоваться услугами всех безответственных мелких чиновников, она не может разрешить себе останавливаться на частностях. Робеспьер, Сен-Жюст, Мартин Катру правы: в таких случаях жестокость становится добродетелью, и тот, кто из мягкосердечия осуждает суровые меры, предпринимаемые Республикой, тем самым уже становится в ряды ее врагов.

Нужно здесь, на дне пропасти, показать, чего ты стоишь. Если несправедливость, совершенная по отношению к тебе, собьет тебя с толку, если ты теперь не сможешь сказать, что безоговорочно отвержен Республике, даже этой Республике ужаса, то ты утратишь право прийти к народу как брат.

В Латуре тем временем росла тревога. Робинэ не мог скрыть от Жильберты, что связь с Фернаном окончательно-

но утеряна. Жильберте не вмоготу было больше сидеть сложа руки. Она решила поехать в Париж и так или иначе попытаться вызволить Фернана.

Мосье Робинэ умолял ее не делать безрассудных шагов. Новые указы запрещают всем «бывшим» пребывание в Париже. Если Жильберта двинется из Латура, она напрасно подвергнет себя большой опасности: помочь Фернану все равно нельзя. Но никакие соображения и заклинания не могли ее удержать. Она поехала в Париж.

Прежде всего она должна поговорить с Мартином Катру. Немыслимо, чтобы Катру равнодушно прошел мимо участи, грозившей его ближайшему другу. Он, несомненно, попросту не знает об аресте Фернана. Такие аресты были теперь настолько заурядным явлением, что о них не говорили. Надо поставить Мартина в известность.

Ее предположение, что Мартин не знал об аресте Фернана, подтвердилось. В Конвенте ей сказали, что Катру по особому заданию выехал в Вандею. Но как бы там ни было, она должна что-то предпринять: Революционный Трибунал работал с умопомрачительной поспешностью.

Она пошла к жене Мартина, гражданке Жанне Катру. Стояла в тесной комнате, до отказа набитой мебелью. Жанна мерила ее недоверчивыми взглядами. Жильберта заранее тщательно обдумала все, что собиралась сказать. Жанне, конечно, известно, начала она, что Мартин дружен с Фернаном, а представить себе, чтобы гражданин Катру поддерживал дружбу с врагом отечества, разумеется, невозможно. Таким образом, арест Фернана — какая-то непостижимая ошибка, и Жильберта просит гражданку Катру дать знать об этом мужу.

Жанна никогда не любила Фернана, она с самого начала не доверяла ему. А теперь выходит, что и другие ему не доверяли. Ну и правильно, что он арестован. В глубине души Жанна была довольна, что Мартина нет в Париже; единственное, в чем она не одобряла его, была дружба с этим графчиком.

— Депутат Катру, — сказала она, — поехал в Вандею по заданию Конвента. В Вандее ему предстоит примерно наказать мятежников, чтобы отбить у них охоту к новой измене. Такого рода дело с головой поглощает человека. Неужели ты думаешь, гражданка, что я стану отнимать у Катру драгоценное время для столь мелких, личных делишек? Вообще не понимаю тебя, гражданка. Ты что, не веришь в справедливость Республики? Или же ты требуешь чего-нибудь иного, не только справедливости? Сочувствия, например? Сочувствие — не республиканская добродетель.

Жильберта не могла вернуться в Латур, обрекавший ее на бездействие. Она осталась в Париже. Поехала в Ла-Бурб и принялась искать возможности переслать записку Фернану и получить от него в ответ несколько слов. С такими же намерениями околачивались вокруг Ла-Бурб родные и друзья других заключенных. Жильберта знала, что деньги могут многое сделать, и деньги у нее были. Но меры по изоляции заключенных в Ла-Бурб стали теперь особенно строгими, к часовым и надзирателям нельзя было и подступиться, кругом сновали бесчисленные шпионы, Жильберту предостерегали, что достаточно неосмотрительного шага — и она навлечет опасность и на своего друга, и на себя самое.

День и ночь она взвешивала, что может спасти Фернана и что погубить.

Она отваживалась являться на заседания Революционного Трибунала; она хотела видеть людей, от которых зависела судьба друга.

Там сидели те же судьи и присяжные, работу которых наблюдал еще Фернан. Но с тех пор и сами они, и методы их изменились. Им разъяснили, что их задача — в кратчайший срок и начисто вырезать раковую опухоль, разъедающую нутро Республики. Была отменена большая часть судебной процедуры, которая охраняла права подсудимого, ибо она затягивала вынесение приговора. Присяжные получили указание не копаться в мелочах, не взвешивать с точностью лавочников, что тот или иной подсудимый сделал или не сделал, а следовать голосу своей совести. Их обязывали держаться учения Жан-Жака, а оно говорило: «Совесть — это глас небес, он безошибочно направляет и тех, кто бредет ощупью».

Подсудимых приводили теперь в суд не в одиночку, а группами, по двенадцать, пятнадцать душ; однажды перед судом Трибунала предстала даже группа в двадцать семь человек, произвольно сколоченная каким-то безответственным секретаришкой. Заводилось, к примеру, дело: «Гражданин Дюпон и двенадцать других заговорщиков...». Это были странные заговорщики. В их число входили и бывшие вельможи, и превысившие установленные цены мелкие лавочники, проститутка, помянувшая добрым словом монархию и обругавшая Республику, бывший крупный откупщик и владелец кукольного театра, заподозренный в намерении высмеивать Республику на подмостках своего театра. Всем им скопом предъявлялось обвинение в том, что, сидя в Люксембургской тюрьме в ожидании суда, они составили заговор с целью предать отечество и оказать поддержку вражеским тиранам.

Жильберта наблюдала судей и подсудимых, зрение ее было обострено страхом. Она видела, как нервничают

присяжные, наполовину утратившие уже человеческие чувства. По-видимому, их деятельность, какой бы важной она ни представлялась им, стала для них обыденной. Жильберта не считала себя особенно умной и проницательной, но страх пробудил в ней способность догадываться, что происходит в головах судей и присяжных. Конвент, Коммуна города Парижа, Якобинский клуб наперебой требовали от них: «Выполняйте свой долг! Освободите нас от чумы предательства! Беспощадно истребляйте всех виновных! Лучше откромсать лишний кусок здоровой ткани, чем оставить гангрену на теле Республики!» И все сокращались сроки между следствием и судом, все поверхностней становилось следствие. Переутомленные присяжные уже едва отличали одного подсудимого от другого. Вдобавок публика, сидевшая в зале суда, вмешивалась, осыпала бранью подсудимых, подстегивала присяжных возгласами: «Не мешкайте! Не мешкайте!» Подозрительность росла с каждым днем, все подозревали всех; носились слухи, будто бы сам Трибунал продажен. Жалость рассматривалась как преступление, оправдательный приговор возбуждал недоверие. Жильберта представляла себе, что творится при таких обстоятельствах в душах присяжных. Быть может, эти люди были даже добрыми от природы, но они подчинялись свосму «внутреннему голосу» и произносили:

— Виновен. Виновен. Смерть. Смерть.

Многие обвиняемые, пожалуй большинство, были как будто и в самом деле виновны в том, что наносили вред Республике или, по крайней мере, готовы были это сделать, если бы представился случай. Но нередко перед судом стояли люди, далекие от всякой политики, цеплявшиеся только за свою драгоценную жизнь и крохотную толику благополучия. Иной раз таких обвиняемых оправдывали, но это зависело от случайности, от настроения членов Трибунала, от пресловутого «внутреннего голоса», а голос этот предпочитал обвинительный приговор оправдательному.

Жильберта мысленно видела Фернана среди обвиняемых. Суеверно искала она предзнаменований. Он как будто похож на этого вот гражданина Юссона или вон на того гражданина Ренара, и как будет с ними, так будет и с Фернаном. Ее бил озноб, когда гражданина Юссона посылали на гильотину; она ликовала, когда гражданина Ренара объявляли невиновным.

Из Трибунала она бежала к воротам тюрьмы, из тюрьмы — в Конвент. В Конвенте осведомлялась, не вернулся ли депутат Катру и когда же он может вернуться. У ворот Ла-Бурб она расспрашивала людей, нет ли все-таки какого-нибудь надзирателя, с которым можно

договориться. И снова и снова, притягиваемая страхом, неслась в Трибунал, на его чудовищные заседания.

Тем временем узники Ла-Бурб открыли способ сноситься с внешним миром, вопреки всем суровым мерам, принятым против этого. Они установили, что по некоторым канализационным трубам, проложенным под землей, хорошо распространяется звук. В этом подземном мире можно было перекликаться, слышать друг друга.

Трогательно и как-то дико было услышать голос друга, жены, возлюбленной, доносившийся из клоаки; волновало представление, как говоривший спустился в эту грязную, вонючую глубину и там часами стоял и ждал, пока его голос дойдет до ушей того, кому он предназначался.

Каждый день, соблюдая тысячи предосторожностей, товарищи по заключению вызывали кого-либо из узников, чтобы тот из клоаки услышал голос близкого человека.

Однажды и Фернана таинственно и поспешно вызвали в отхожее место. Испуганный и обрадованный, он по дороге играл с собой в прятки, убеждал себя, что, вероятно, Эжени хочет ему что-то сказать, и не признавался себе, чей голос он ожидал услышать.

А потом до него донесся голос, голос Жильберты. Она произнесла только несколько фраз, совсем простых. Она сказала:

— Как ты поживаешь? — И затем: — Пущено в ход все возможное, чтобы вызволить тебя. Подробности сейчас не буду сообщать. Но непременно все удастся. — И еще она сказала: — Не бойся ничего.

Там где-то стояла Жильберта, его милая подруга, стояла по колени в нечистотах для того, чтобы подать свой голос и услышать его голос. Сердце его разрывалось от муки и счастья. Все это, конечно, было сплошным безрассудством. Жильберта лишь подвергала себя опасности, она, разумеется, ничем не могла ему помочь, и все, что она говорила, — это выдумка, ей хотелось лишь поднять его дух. И он воспрянул духом. Ее слова, прорвавшиеся сквозь вонь, гадливость и смехотворность, проникли в его уши и сердце и звучали там чудеснее самой прекрасной музыки.

Заключение в Ла-Бурб не угнетало его больше, всегда тревожный сон стал спокойней. Он отдавал себе отчет в том, что слова ее не больше чем выражение желания и мечты, и все же весточка, поданная ею, возродила надежду и принесла покой.

Лепелетье в разговоре с ним провел однажды такую параллель. «Если мы заглянем в мировую историю, — сказал он, — мы увидим, что на пути человечества, в его движении вперед происходит то же самое, что в природе,

которая с невероятной расточительностью разрушает старое, чтобы создать новые, высшие формы». Друг был прав. Фернан верил, знал: в конце концов из всех этих мелких, бессмысленных, диких эпизодов, происходящих вокруг, вырастет нечто великое, новая Франция, Франция Жан-Жака.

Сквозь нелепицу и мрак Ла-Бурб он услышал голос Жильберты. Вонь, через которую прошел этот голос, развеялась, остался только он, звонкий, вселяющий светлые надежды голос.

Глава восьмая

МЕСТЬ ЖАН-ЖАКА

Так и случилось, как опасался гражданин Венсан Юрэ, мэр города Санлиса, терзаемый самыми мрачными предчувствиями в связи с падением депутата Шаплена. Против него возбудили следствие, объявили его неблагонадежным, сняли с поста, заключили под домашний арест.

Папаша Морис ликовал. Пробыл час. Наконец-то можно рассчитывать с варварами, которые сыграли с ним такую подлую шутку. Вместе с другими свидетелями из Эрменонвиля он явился в Комитет безопасности и с множеством изобличающих деталей изложил, как санлисские молодчики, подстрекаемые их коварным и безбожным мэром, надругались над любимыми садами богобоязненного Жан-Жака. Был составлен обстоятельный протокол. А тем временем Максимилиан Робеспьер, рассматривавший широкую акцию против безбожников как свое личное дело, распорядился доставлять ему все протоколы, имеющие касательство к борьбе за утверждение Верховного Существа. Так дошли до него сведения о разорении Эрменонвильского парка. Его до зелени бледное лицо еще больше побледнело. Сады, где бродил Жан-Жак, где он, Максимилиан, вел с учителем единственный, незабываемый разговор и произнес клятву, чреватую столь огромными последствиями для истории Франции, колыбель революции — так варварски разорить! Но он, Максимилиан Робеспьер, это злодеяние покарает. Он сторицей воздаст за оскорбление, нанесенное памяти Жан-Жака. Он уже знает, что надо сделать. Робеспьер просиял. Придуманная им искупительная жертва послужит также новым доказательством братской любви его, Робеспьера, к Сен-Жюсту. На этом примере Сен-Жюст убедится, как высоко он его ценит.

Это было как нельзя более кстати.

В ближайшие дни Сен-Жюст должен отправиться на

Рейн, чтобы в качестве политического комиссара на месте наблюдать за всем, что делается в воюющих армиях. Это был опасный пост; нередко непокорные генералы с помощью подручных ликвидировали обременительных наблюдателей. Максимилиан посылал своего Сен-Жюста на фронт с гордостью, но не без тревоги. Принятое им сегодня решение явится как бы признанием того, что друг Сен-Жюст в свое время правильное оценил положение, чем он. Максимилиан с радостью сообщит ему о своем решении.

Он рассказал Сен-Жюсту о бесчинствах санлиссских атеистов и заключил:

— Эрменонвиль — неподходящее место для останков Жан-Жака. Вы, дорогой Антуан, были правы в тот раз, когда мы с вами ездили на могилу Жан-Жака, а я ошибался. Как вы и предлагали, мы перенесем драгоценные останки в Пантеон.

Нежное лицо Сен-Жюста покраснело. Существовал ли когда-нибудь в мире властитель, который так искренне признался бы в своей ошибке, как его друг Максимилиан? Как великодушно он уступает ему заслугу предполагаемого апофеоза Жан-Жака. А ведь Максимилиан больше чем кто был то ни было все свои помыслы и деяния посвящает прославлению памяти Жан-Жака.

С новой силой во всей своей грандиозности предстал перед Сен-Жюстом исполинский подвиг Максимилиана. Римской республике понадобилось пять столетий на то, что Максимилиан совершил в пять лет. Со времен римлян мировая сцена пустовала: Максимилиан наполнил ее смыслом и жизнью.

Сен-Жюст с удовольствием принял бы участие в траурных торжествах. Но через четыре дня, и никак не позднее, надо было отправляться на фронт, а живописец Жак-Луи Давид заявил, что для подготовки торжеств, посвященных памяти учителя, которые, по желанию Робеспьера, должны затмить погребение королей Франции, потребуются недели. Зато он, Сен-Жюст, может предложить Максимилиану дельного помощника: своего друга Мартина Катру.

Катру наконец вернулся из Вандеи. Он там славно поработал. Даже скупой на похвалы Робеспьер признал его заслуги и немедленно дал согласие на просьбу Сен-Жюста послать Мартина вторым комиссаром в Рейнскую армию. А до того, как Мартин последует за ним на фронт, хорошо было бы ему включиться в подготовку торжеств; он, уроженец Эрменонвиля, наведет там порядок и подготовит перенос останков Жан-Жака в Париж.

Мартин был счастлив тем, что в Вандее послужил Республике, но еще счастливее делала его перспектива

под руководством Сен-Жюста послужить ей на берегах Рейна. Счастье его завершала возложенная на него обязанность исправить то, что натворили в Эрменонвильском парке преступные руки.

Прежде всего — так как Революционный Трибунал действовал быстро, — он отдал приказ приостановить судебное преследование обоих Жирарденов. Затем поехал в Санлис.

Он сам допросил гражданина Юрэ и распорядился отдать его под суд Парижского Трибунала, а не местного, более мягкого.

Далее Мартин собрал сведения о вдове Жан-Жака и о ее *homme de confiance*, пресловутом конюхе «бывшего». Судьба Николаса и Терезы сложилась вот как.

Когда началась кампания против безбожников, Николас тотчас же учуял недоброе. Ему-то самому было безразлично, кто выйдет победителем на скачках: богиня Разума или Верховное Существо. Но он предчувствовал, что другу и покровителю Шаплону придется дорого заплатить за его славные анекдотцы насчет бога-отца и святого духа. И действительно: вскоре этот колючий Робеспьер, выступая с большой принципиальной речью против атеистов, несколько раз упомянул имя Шаплена в не допускающем сомнения тоне. Николас прочитал, присвистнул сквозь зубы, сказал: «Спасайся, кто может!» — велел Терезе достойным образом одеться и с превеликой поспешностью заковылял вместе с ней к дому бывшего законодателя и бывшего друга.

Там уж и в самом деле хозяйничали республиканские чиновники, опечатававшие имущество.

— Что вы делаете, граждане, — налетел на них Николас и, указывая на рукопись «Новой Элоизы», заявил: — Эта рукопись — собственность вдовы Жан-Жака. Скажи им это сама, высокочтимая матрона, — обратился он к Терезе. — Скажи им, что они ошибаются, что это недоразумение, что они учиняют насилие над подругой великого учителя.

И Тереза подтвердила, повторив слово в слово то, что он ей вдолбил:

— Я дала эту рукопись преступнику Шаплону только на время. Он меня обманул так же, как Республику.

На чиновников слова ее произвели впечатление. Как же: ведь это вдова Жан-Жака собственной персоной! Вполне возможно, что всякий, кто ее обидит, рискует навлечь на свою голову гнев Робеспьера. Они отдали рукопись.

Взяв с собой Терезу и рукопись «Новой Элоизы», Николас, не мешкая, покинул неблагодарный Париж и вернулся под соломенный кров гражданина Бесса в

городке Плесси в еще более плачевном виде, чем уезжал из него.

Терезу тревожило смутное чувство, что обрушившиеся на Николаса и на нее беды—это месть Жан-Жака. Вернувшись в Плесси, она тотчас же отправилась на его могилу. Здесь ей следовало оставаться, как завещала маменька, не надо было переезжать в Париж никогда. Они чересчур роскошно зажили, она и Николас, и вот теперь Жан-Жак вернул их к своей могиле. Тереза смиренно просила у него прощения.

Опять ютились они среди домашней обстановки Жан-Жака. Этот ловкач Николас сумел даже из такого краха кое-что спасти. Вот и ларь с рукописями. Но это слабое утешение, и Николас ворчит и ругается. С горечью говорит он, что дуракам счастье, и, значит, Тереза обязана, черт возьми, приносить его.

И в самом деле, опять все складывалось так, как будто Тереза и на этот раз выполнит свое назначение. Слухи распространяются быстро; еще до появления Мартина Катру в Эрменонвиле усиленно начали поговаривать, будто бы тело Жан-Жака перенесут в Париж. Горизонт прояснялся. Николас с присущим ему даром быстро все усматривать и сопоставлять рассчитал, что перенесение праха не может не сопровождаться колоссальными траурными торжествами. Тут уже вряд ли забудут о вдове Жан-Жака, ее извлекут из темной дыры, где она теперь пребывает, и водрузят на почетное место. А он, Николас, не преминет просветить господ якобинцев, что на таком параде он, *homme de confiance* вдовы Жан-Жака, никак не может отсутствовать. Ура! Джон Болли снова на коне.

Николас рано торжествовал. Депутат Катру пришел, увидел Терезу и забраковал. Эта потаскуха имеет наглость изображать из себя верную подругу Жан-Жака и вместе со своим любовничком околачиваться вблизи могилы человека, которого они уколошили! А ничего не ведающий Конвент готов был оказать им почести при перенесении останков! Мартин обязан помешать этому. Это его прямая задача.

С другой стороны, именно теперь очень некстати было бы, вскрыв ужасную правду, воскресить воспоминание о жалком конце Жан-Жака. Мартин с жесткой усмешкой подумал о том, как в свое время он презирал сеньора, когда тот и так и этак извивался, но не отважился пальцем тронуть убийц. Он, Мартин, сделан из другого теста. Эти гады не увидят света великого дня, он загонит их назад, во мрак, где им надлежит быть; и при этом никто плохого слова не посмеет сказать о Жан-Жаке.

Не были разве эти люди в дружеских отношениях с осужденным богохульником Шаплом? Не принадлежали

они к его клике? Нельзя разве с полной уверенностью сказать, что они знали о его заговоре и о его спекуляциях?

Мартин распорядился прежде всего объявить обоих неблагонадежными. Он дал указание произвести в их доме обыск и держать их под строгим домашним арестом.

Под соломенной кровлей гражданина Бесса появился прокурор Республики. На глазах у изнемогавшего от бессильного бешенства Николаса унесли рукопись «Новой Элоизы» вместе с ларем, а у дверей поставили часовых.

Запертый в опустошенном, продуваемом сквозняком доме, Николай угрюмо сказал:

— Кругом обобрали нас, писания отняли и даже мертвеца отнимают!

Тереза уныло размышляла вслух:

— Жан-Жак всегда говорил: «Весь мир нас преследует». — Затем, вздохнув, прибавила в утешение: — Ну, ничего, маменькина могила все-таки остается нам.

Чаша терпения Николааса переполнилась. Он со стоном поднялся и, грозный, заковылял к Терезе. Она ждала не шевелясь. Вот он. Наотмашь дважды он ударил ее по лицу, сначала по правой щеке, потом — по левой.

Глава десятая

КЛАДБИЩЕНСКИЙ ВОР

Тем временем Мартин Катру осматривал сады Эрменонвиля. Не без умиления узнавал он каждый уголок и каждую тропинку, и разгром, который предстал перед его глазами, поверг его в мрачную задумчивость. Но он не признался себе в своей взволнованности. Нет, его вся эта рухлядь мало трогает. Его лишь возмущает, что «Неистовые» превратили в гору руин все, что Жан-Жак так любил.

Парк надо восстановить. Всего правильнее поручить это дело маркизу. Мартин с досадой ухмыльнулся во все свое четырехугольное лицо — почему-то гражданин Жирарден опять вдруг превратился для него в маркиза.

Лишь в Санлисе он узнал, что Фернана перевели в Париж и в Эрменонвиле остался только старик Жирарден. Это огорчило его. Он только по одной причине не распорядился об освобождении Жирарденов, а лишь приостановил судебное следствие — ему хотелось самому сообщить им об этом. Когда Мартин шел в замок, его самолюбие приятно щекотала мысль, что сейчас он предстанет перед своим бывшим сеньором как равный. Больше того, он как представитель Республики великодушно объявит ему о помиловании. К сожалению, ожида-

ние этой минуты, наполнявшее его гордостью, отравляло некоторое замешательство. С полным равнодушием, словно требуя койку на ночь или тарелку супа, он объявлял генералам и высшим чинам Республики о смертном приговоре, но вот объявить маркизу, что гроб Жан-Жака выкопают и унесут, будет ему далеко не так просто. Маркиз, конечно, убежден, что только ему принадлежит право охранять могилу Жан-Жака.

Когда Мартин явился в замок, Жирарден лежал в постели, измученный и ослабевший. В голове у него прямо-таки не уместилось, как могли эти варвары не пощадить даже садов Эрменонвиля, садов Жан-Жака, самых священных мест Франции. Он собрал все свои силы и вышел в парк, чтобы взглянуть на разрушения. Но не перенес их вида; сделав несколько шагов, он вынужден был вернуться. Сверх всего, по приказу мэра города Санлиса, Жирарден в эту пору глубокого отчаяния пребывал в полном одиночестве; лишь в самые последние дни, после ареста мэра, к нему хотя бы допустили верного Гербера. Были минуты, когда храбрый старый солдат Жирарден не на шутку подумывал о том, чтобы покончить счеты с жизнью, и должен был опять и опять обращаться к «Новой Элоизе» и перечитывать места, где Жан-Жак строго предостерегает от самоубийства.

Услышав, что депутат Катру желает его видеть, он перепугался до безумия. Он решил, что этот малый Катру, который уже мальчишкой был бунтовщиком и ненавидел его, как врага, явился объявить ему о смертном приговоре. И Жирардена обуял вдруг отчаянный страх смерти, которую он так недавно страстно призывал.

Минутой позже он уже снова владел собой; это был с ног до головы солдат, победитель в битве под Гастенбеком. Он призывал великих философов античного мира Сократа, Сенеку поддержать в нем дух стоицизма. Дрожа от слабости, велел подать себе самое роскошное платье, чтобы достойно встретить вестника несчастья.

Холодно, вежливо, взором сеньора Эрменонвиля, смотрел он в лицо представителю Республики.

— Какую недобрую весть вы принесли мне, гражданин законодатель? — спросил он.

У Мартина не хватило духу обратиться на «ты» к старику, как того требовал закон.

— Я рад сообщить вам, — сухо сказал он, — что ваша лояльность оказалась вне подозрений. Я дал указание удалить охрану и снять печати с вашего имущества.

— Благодарю, мосье, — сказал Жирарден.

— До нас дошли сведения, что граждане города Санлиса в порыве чрезмерного патриотизма превратно поняли значение некоторых скульптур и разрушили их.

Республика сожалеет о случившемся, тем более что все место вблизи могилы Жан-Жака. Республика сдвинула предупреждение виновным, а вам она возместит убытки. — И не без некоторого великодушия добавил: — Если вы пожелали, вы могли бы взять на себя наболевшие за восстановительными работами.

— Благодарю, мосье,— снова сказал Жирарден.

Но он не в силах был больше сдерживаться. Сдавленным тоном он спросил:

— А какова судьба моего сына?

Катру ответил почти с досадой и чуть быстрее, чем того хотел бы:

— Разумеется, и Фернан будет освобожден.

Маркиз не думал, чтобы жизнь еще когда-нибудь могла показаться ему такой светлой. Плечи не давили более, ни сердце стало легко. Он чуть не обнял этого неприятного доброго вестника.

Мартин не ждал, пока Жирарден найдет слова для выражения своих чувств. Ему не хотелось показаться мягкосердечным. Без всякого перехода сообщил он старику третью, на этот раз горькую весть:

— Вы поймете, что Республика не может впредь подвергать останки Жан-Жака каким-либо опасностям. Она берет эти драгоценные останки под свое попечение.

Маркиз, так внезапно сброшенный с облаков на землю, судорожно проглотил слюну и сел—ноги у него подкосились.

— Что это значит?—с трудом спросил он.

На лбу у Мартина выступили красные пятна. Он не ждал, что это так потрясет маркиза. Он, Мартин Катру, все еще недостаточно дисциплинирован, все еще чрезмерно благодушен; надо было официальным путем известить старика о снятии с него ареста и о предстоящем перенесении праха Жан-Жака. В Вандее, в самых тяжелых условиях, он в своих действиях придерживался только одной линии, подчинялся только одному закону—закону Разума; не успел он возвратиться в этот нелепый Эрменонвиль, как тут же поддался сентиментальным настроениям, под стать разве какому-нибудь «бывшему».

Он стремительно вскинул голову.

— Тело Жан-Жака будет перенесено в Пантеон,— объявил он, повысив свой пронзительный голос, и слова его прозвучали как команда.

Жирарден, в глазах которого слились старый и новый Мартин, горестно причитал:

— Вы не нанесете мне этого удара, Мартин. Пошлите меня на эшафот, но Жан-Жака оставьте здесь.—Он встал.—Я запрещаю вам совершать это преступление!—крикнул он и ткнул тростью в сторону Мартина.

Почти с жалостливым презрением Мартин сказал:

— Внезапность перемен за последнее время вывела вас из равновесия. Я извиняю вас. Но не забывайте: вы обращаетесь не к гражданину Катру, с вами говорит Республика.— И с терпеливым нетерпением он объяснил впадшему в детство старику:— Постарайтесь же понять: народ имеет право на Жан-Жака, а Жан-Жак имеет право на благодарность народа. Жан-Жак принадлежит не тебе, старик, Жан-Жак принадлежит Республике.

Жиарден думал, что страдания последней недели— это уж достаточная кара за все его ложные шаги и упущения. Но только теперь надвигалась на него кара из кар, придуманная судьбой, более жестокая и более страшная, чем он мог когда-либо вообразить.

Он приказал себе: «Не терять благоразумия!» Он думал: «Вот он стоит, этот парень, такой молодой и такой колючий, обвязался этим дурацким трехцветным шарфом, напялил на голову эту дурацкую шляпу с пером и строит из себя кладбищенского вора, а глуп он как пробка и совершенно не ведает, что творит. Но ведь он читал Жан-Жака. Существуют же, наверное, слова, которыми можно убедить его, что он совершает преступление по отношению к Жан-Жаку».

— Поймите же,— молил он, приказывал он.— Жан-Жак сам выразил желание, чтобы останки его покоились здесь, на лоне природы. Autos épha, он сам сказал это, глядя мне в лицо. Он хотел здесь покоиться, под сводом сияющего неба, а не под сводами темного здания. Это последний завет Жан-Жака.

Жиарден говорил быстро, настойчиво, убедительно. С лихорадочной быстротой обдумывал он, что же сделать, как отговорить этого молодого человека, этого кладбищенского вора от его ужасного намерения.

Надо унизиться перед ним, надо унизиться перед этим глупым, тщеславным, вырядившимся, словно попугай, ветрогоном, как древний Приам унизился перед Ахиллесом ради тела Гектора.

— Оставьте Жан-Жака здесь!— заклинал он.— Не поднимайте руки на него! Оставьте его здесь!— Он говорил очень тихо. Хотел опуститься на колени, но не хватило сил.

Мартин устал от пошлого спектакля. Ему некогда утешать старого дурня, у него есть дела поважнее.

— Прощайте, гражданин Жиарден,— сказал он и вышел из комнаты.

Ему хотелось самому сообщить Фернану об освобождении, но не следует ли сделать это официальным путем?

Через три дня он отправляется на фронт, у него хлопот полон рот: вправе ли он терять время на удовлетворение своей прихоти?

Но это, пожалуй, больше чем прихоть. Он знал по опыту: когда бы он ни разговаривал с этим удивительным другом своей юности, он в итоге всегда находил точное слово для оправдания того, над чем он бился, и его задача становилась ему ясней.

Он поехал в Ла-Бурб.

Фернан вздрогнул, когда пришли сказать, что в зале его дожидается депутат Катру. Что принес Мартин? Весть об освобождении? Или друг явился доказать ему с республиканской логикой, что благо государства требует его, Фернана, смерти?

При дневном освещении, да еще пустой, зал казался чрезмерно большим и голым. Мартин сидел за одним из столов, широкоплечий, коренастый, с трехцветным шарфом через плечо; шляпа с пером лежала рядом на столе. Он тотчас сказал:

— Я пришел сообщить тебе, что ты свободен.

— Это хорошо, что ты сам потрудился прийти сюда,— ответил Фернан.

Но он знал, что сейчас между ними последует серьезное объяснение. Важны были не только слова, но и тон, каким они сказаны, тончайшие оттенки его, и Фернан решил не лгать и ничего не приукрашивать ни словами, ни молчанием, ни жестами, ни выражением лица. Он предчувствовал, что этот разговор будет вершиной всей его жизни до этой минуты. Он должен оправдаться перед Мартином, своим другом-врагом, представителем народа. Должен доказать, что освобождение — не милость, а его право. Иной раз он бывал слаб, верно, и он готов признаться в своих заблуждениях и слабостях. Но он переборол их, он доказал свою верность; в часы глубочайших испытаний и перед лицом смерти он заявлял, что не ропщет на свою судьбу и что бы ни делала Республика, он всем существом ей предан.

И вот уже Мартин говорит:

— Ты, конечно, считаешь, что с тобой поступили несправедливо?

Фернан отвечает:

— Я понимаю тех, кто мог видеть во мне неблагонравного.— Он не удержался и добавил: — Впрочем, все равно, что я считаю, это ведь никому не интересно.

— Нет, не все равно,— тотчас же запальчиво поправил его Мартин.— Если ты считаешь, что с тобой поступили несправедливо, значит, ты виновен.

— Со мной не поступили несправедливо,— честно ответил Фернан.

Мартин не успокоился.

— В эти времена величайших трудностей права отдельной личности подчиняются правам общества. Это, я думаю, ты признаешь?

— Признаю,— терпеливо ответил Фернан.

— Очень мило с твоей стороны,— иронически бросил Мартин.— Но скажи-ка,— продолжал он допытываться,— ты голосовал бы за смерть Людовику? Ты голосовал бы за истребление твоих умеренных?

— Не знаю,— ответил Фернан.— Возможно, не голосовал бы,— признался он.

— Видишь,— торжествовал Мартин. Он вскочил, забежал между пустых столов, возглашая менторским тоном:— Кто совершает революцию наполовину, тот роет могилу себе и Республике. О, вы, образованные!— рассвирепел он.— Вы, мягкосердечные! Вы хотели революции, но хотели только наполовину. Когда встал вопрос: жизнь или смерть, когда понадобилось действовать суровостью и устрашением, вы трусили и спрятались за вашу дурацкую «человечность». Если бы вы одержали верх, Республика была бы теперь растоптана и задушена. Вы—предатели!—Его голос гремел на весь зал, он подальше головой вперед, всем корпусом устремясь в сторону Фернана.

Фернан из последних сил сдерживался. Крупица правды была в словах Мартина. Он сам, размышляя о судьбе жирондистов, чувствовал нечто подобное.

— Почему ты освобождаешь меня, если я предатель?—спросил он спокойно. Это не было логическим ответом Мартину, но Фернан знал, что тот его понял.

Мартин и впрямь его понял. В свою очередь, отклоняясь от главной темы спора, он уже спокойнее, несколько ворчливо сказал:

— Шестнадцать лет я стараюсь втолковать тебе, что ты нас не понимаешь. Твое происхождение не позволяет тебе понимать народ, ты не можешь его понять. Оттого что вы, аристократы, не понимали народ, вы все делали наполовину, а значит, неправильно.—И, вспомнив один из их прежних разговоров, Мартин встал перед Фернаном, широко расставив ноги.—Я предложил один законопроект,—без перехода, сухо и в то же время торжествующе сказал он.—Законопроект об отмене рабства в колониях. Конвент принял его. Рабство отменено без всякой волокиты.

Фернану следовало бы обрадоваться. Но он не обрадовался; ничего, кроме бешенства, он не испытывал. Вот стоит перед ним этот Мартин и сует ему под нос:

— Я разрубил узел там, где ты и твои образованные друзья показали свое бессилие.—Да, это было так!

Мартин действовал, а они только говорили. Рабство отменено.

Но именно правота Мартина и раздражала Фернана. Все в Мартине злило и раздражало его: и то, как он, нахально растопырив крепкие ноги, стоит перед ним, и то, как трезво и в то же время пронзительно и насмешливо звучит его голос. Каменный Жан-Жак глядел на них большими, глубоко сидящими глазами и был заодно с Марином, со стен кричали гордые и бессмысленные изречения вроде: «Свободный человек любит свободу даже тогда, когда ее насильно отнимают у него!» — и они приобретали смысл и были все заодно с Марином. Фернан задыхался от гнева, он опять превратился в мальчика, а тот, другой мальчуган, сын мелкой лавочницы, дразнил его, сына сеньора, и показывал ему язык, и вот уж у него, Фернана, лопаются терпение, и он сейчас ударит по этой ухмыляющейся четырехугольной физиономии.

Огромным усилием воли он взял себя в руки. Мартин прав, и он, Фернан, должен признать его правоту во что бы то ни стало. Он глубоко перевел дыхание и сказал, и в голосе его даже прозвучала теплота:

— Ты сделал хорошее и нужное дело, Мартин.

Тот почувствовал, чего стоило Фернану произнести эти слова; в эту минуту Фернан был ему очень дорог, и он с удовольствием сказал бы ему что-нибудь дружеское.

Но он республиканец, и сентиментальность ему не к лицу.

— Еще одно,— продолжал он.— Ты здесь, вероятно, ничего не слышал о том, что некоторые переусердствовавшие молодцы набезобразничали в Эрменонвиле. Нет, отца твоего они не тронули,— успокоил он Фернана, на лице которого отразился сильный испуг.— Но эти безобразия заставили Робеспьера принять решение, которое, в сущности, давно уже назрело.— И он деловито сообщил: — Мы перенесем прах Жан-Жака в Пантеон.

Фернану было жаль, что Эрменонвиль так обездолят, да и отец, конечно, будет потрясен. Но он замкнулся и промолчал.

Мартину это было неприятно. Он несколько неуклюже сказал:

— Ты, наверное, захочешь поехать сейчас в Эрменонвиль. Но если ты предпочитаешь остаться в Париже, я распоряжусь о выдаче тебе специального разрешения.— И так как Фернан по-прежнему молчал, он дружески, чуть не упрасивая, добавил: — Скажи наконец что-нибудь! Что ты намерен делать?

Фернан, вдруг решившись, открыл ему то, о чем до этой минуты никому не говорил:

— Я просился в армию, но меня не взяли.

Мартин смутился, но только на мгновение. Он поглядел на изувеченную ногу Фернана и подумал: «Правильно поступили!» И еще он подумал: «Нечего делать «бывшему» в народной армии». Он сказал:

— Есть постановление, по которому «бывшим», если они могут быть полезны, разрешается состоять на службе Республики.

— Значит ли это, что ты готов помочь мне, если я вторично попрошусь в армию? — спросил Фернан и поднял голову.

Помолчав, Мартин как бы вскользь сказал:

— В ближайшие дни я в качестве политического комиссара вместе с Сен-Жюстом отправлюсь в Рейнскую армию.

Худое, на редкость выразительное лицо Фернана ясно отражало его противоречивые чувства: радость по поводу высокого назначения друга, страх за него.

— Это великолепно, — воскликнул он и искренне прибавил: — Но это и опасное дело.

Мартин словно бы не слышал реплики Фернана.

— Не исключается, — продолжал он, — что в Рейнской армии я смогу найти тебе применение. Смогу, ну конечно же! — прибавил он с нарастающей теплотой. — До отъезда на фронт я дам необходимые указания.

Он видел, как взволновали друга его слова, и приглушил их действие:

— При всех условиях тебе придется некоторое время выждать. Мне не хотелось бы, чтобы ты ехал на фронт, пока я не выясню, что ты там будешь делать.

Фернан густо покраснел от счастья. Он не мог говорить. А Мартин, желая скрыть, что и он взволнован, сказал, поддразнивая:

— Уж ты не будь на нас в обиде, если на фронте мы установим за тобой строгую слежку.

— Более строгую, чем здесь, вам вряд ли удастся, — весело сказал Фернан и прибавил: — Спасибо, Мартин.

Глава десятая

ЭРМЕНОНВИЛЬ ПУСТЕЕТ

Фернан приехал в Эрменонвиль без всякого предупреждения.

Он прошел по разоренным садам, глядя на разбитые скульптуры, и поднялся к разрушенному Храму Философии. Присел, хотя и было неудобно, на сваленную колонну, откуда открывался вид на озеро и парк, и с удивлением установил, как невероятно быстро этот ухо-

женный парк запустел. Стихийно разрослись кусты и деревья, травой и сорняком заросли дорожки.

Осторожно подкрадывались к Фернану еретические мысли. Теперь, когда за садами никто не ухаживал и «девственный лес» и «пустыня» были более естественными, а все строения пришли в упадок и все заросло сорняками, Эрменонвиль больше говорил его уму и сердцу. Быть может, если бы Жан-Жак видел огромные, широкие равнины Америки, ее бесконечные леса, он другими глазами смотрел бы на принаряженную, прилизанную «природу» Эрменонвиля. Больше того, быть может, если бы Жан-Жак и не знал Америки, но дожил бы до революции, такая природа его не удовлетворяла бы.

Фернан пошел на свою лужайку. Мелкий кустарник и бурьян почти заплотонили ее. У него не было желания вызвать эхо. Он вспомнил, как вместе с учителем они наперебой его вызывали. «Свобода и равенство»,— крикнул тогда Фернан, и эхо вернуло эти слова смятыми, искаженными, грозными.

Он направился в замок. По дороге услышал слабый голос скрипки. Повернул туда, откуда он доносился. И вдруг испуганно вздрогнул. Перед ним стоял Жан-Жак и играл на скрипке.

Да, мосье Гербер, человек средних лет, но преждевременно постаревший, был поразительно похож на Жан-Жака.

— Фернан, милый мой Фернан!— воскликнул он.— О, разрешите мне обнять вас.— Он бережно отложил скрипку и обнял Фернана.

Вместе продолжали они путь по разоренному парку.

— Когда я был вынужден беспомощно взирать на то, что творили эти варвары, я совсем не по-философски негодовал,— признался мосье Гербер.— Позднее, правда, я вспомнил, что Жан-Жак учит нас: «Есть случаи, когда бесчеловечность можно оправдать». И те молодчики из Санлиса, вероятно, ошибочно решили, что это как раз один из таких случаев.

Фернан, неопределенным жестом указывая на сады, спросил:

— Как перенес все это отец?

— Сначала казалось, что рана никогда не заживет,— ответил Гербер.— Теперь он смирился, даже чрезмерно смирился. Он очень ослабел. Вы только не пугайтесь его вида. Ход событий,—возобновил он свои философские рассуждения,—наглядно, так сказать, *ad oculos*, показал всем мыслящим людям: без кровопролития привить человечеству человечность нельзя. Но, хотя и мой Жан-Жак, и мой Лукреций учат умалчивать о своем личном опыте, у меня буквально желчь разливается, когда я читаю о

произволе парижских властителей, и мое непокорное сердце кричит «нет» там, где мозг говорит «да». От меня, по крайней мере, не требуют, чтобы я участвовал в этом произволе,—заклучил он со вздохом облегчения.—Счастлив тот, кто не должен действовать.

Показалось озеро. На острове, среди высоких тополей, слабо белело надгробье Жан-Жака. Мосье Гербер, глядя туда, сказал угрюмо и презрительно:

— Дюжинные бескрылые люди, вольтерьянцы, утверждают, что важны дела человека, а не его дух, а уж об останках и говорить нечего. А я говорю: священно все, что имеет какое-нибудь отношение к великому человеку,—дороги, по которым он ступал, деревья, под которыми он бродил. И трижды священны места, где покоятся его останки. Субъекты, способные разорить могилу Жан-Жака, не заслуживают имени людей. История простит им, быть может, многие бесчинства, но то, что они мертвеца вытаскивают из его могилы,—это на все времена накладывает на них клеймо варваров.

Фернан деловито осведомился:

— Отец знает о предстоящем?

— Господин маркиз решил покинуть Эрменонвиль до того, как выкопают тело, и больше сюда не возвращаться.

Они подошли к озеру. Во взгляде Гербера, устремленном на пока еще не разоренную могилу, было глубокое благоговение.

— Здесь покоится величайший из смертных, когда-либо ступавших по земле после Лукреция,—сказал он и тихо, проникновенно прочитал строки из Лукреция, в которых тот славит своего учителя:

Ты, из потемок таких дерзнувший впервые воздвигнуть
Столь ослепительный свет, озаряющий жизни богатства...
Я по твоим стопам направляю шаги мои твердо...
Жажду тебе подражать...
...Поглощаем слова золотые,
Да, золотые, навек достойные жизни бессмертной!

— Простите, Фернан,—сказал он,—что я витаю в мире грез. Ведь все это время, кроме вашего батюшки, здесь не было ни одного человека, с которым я мог перемолвиться словом.

Фернан пожал ему руку.

Потом попросил подготовить отца к встрече с ним, с Фернаном. Гербер ушел, а он сел в лодку и поплыл на остров.

Он не почувствовал никакого трепета. На редкость равнодушно стоял он у могилы, где так часто, бывало, опускался на колени, обуреваемый видениями, светлыми и мрачными мечтами и возвышенными порывами. Ему не

дано было, подобно Герберу, витать в мире благородных грез.

Когда Фернан пришел в замок, отец был на ногах, он не хотел встретить сына в постели. Он обнял Фернана.

— Сын мой! Мой Фернан!—восклидал он очень слабым голосом.—Я уж не думал, что мне даровано будет судьбой когда-нибудь тебя увидеть. Да еще здесь, в Эрменонвиле. И свободным! Ведь у тебя есть гражданское свидетельство?—встревоженно спросил он.

Хотя Гербер и предупредил Фернана, что отец постарел, Фернан испугался, увидев, как он слаб и худ, весь дрожит. Он умолил отца лечь. Отослал слугу, сам помог ему раздеться. Счастливые волнения утомили Жирардена. Он долго лежал с закрытыми глазами. Наконец сказал:

— Тебе очень трудно было?

— Иной раз было трудно,—ответил Фернан, присев у постели.

— В это ужасное время я пытался работой хоть сколько-нибудь отвлечься,—по-прежнему лежа с закрытыми глазами, рассказывал Жирарден.—Я переработал очерк о Всеобщей воле в принципиальный теоретический труд.—Он открыл глаза и слегка приподнялся.—Ячитаю тебе кое-что из него,—пообещал он.—Только не сегодня. Радость встречи оказалась мне не под силу.—Он улыбнулся и опустилс на подушки.—Солдату, правда, не полагается говорить подобные вещи,—произнес он, закрыл глаза, уснул.

Глава одиннадцатая

ЗАВТРА, И ПОСЛЕЗАВТРА, И ВСЮ ЖИЗНЬ

Через два часа Жильберта уже была в Эрменонвиле. Она ждала Фернана, ждала так, как никогда еще никого не ждала.

И вот они стоят друг против друга и смотрят друг на друга, словно встретились впервые.

С тех пор как он услышал ее голос, донесшийся из клоаки преисподней, она представлялась ему другой. Тот голос вызвал в его воображении опоэтизированный образ Жильберты. И вот перед ним живая Жильберта, в которой соединились и Жильберта их ранней юности, и Жильберта его грез, и все же совсем другая, гораздо более земная, осязаемая, надежная и реальная. Одетая крестьянкой, она походила на женщину из народа, грубоватую и соблазнительную, как ломоть хлеба.

И он тоже жил иным в ее воображении, а сейчас перед ней Фернан—исхудалый, в потертом костюме, пожалуй,

даже слегка подурневший и лицом и фигурой, но он испытан, взвешен и найден праведным.

Они взялись за руки не сразу, очень медленно, но не обнялись. Потом таким же медленным движением он бережно поднес к губам ее руки, сначала одну, потом другую, и поцеловал их, эти огрубелые руки.

Встретившись после стольких перипетий, они обменивались скупыми и очень простыми фразами. Она сказала, что вид у него лучше, чем она ожидала, но все же он изрядно худ, и ей придется хорошенько повозиться с ним, чтобы нагнать ему жирку. Он спросил, не тяжело ли ей жить здесь, в деревне, одной с дедом, характер которого с годами, вероятно, стал еще несноснее. Разговор велся медленно, затрудненно, но им он не казался ни медленным, ни затрудненным.

Через несколько дней было объявлено, что эксгумация тела гражданина Жан-Жака Руссо будет произведена 18 мессидора, а 20-го того же месяца состоятся траурные торжества.

Фернан получил повестку, извещавшую его, что 23 мессидора ему надлежит явиться в штаб Рейнской армии.

Первым, кому он рассказал, что отправляется на фронт, был мосье Гербер. Гербер изменился в лице, но храбро сказал:

— Я понимаю ваше решение сражаться на стороне варваров. Часто, когда я размышляю о бесчинствах господина Робеспьера, все существо мое кричит: «Изыди, сатана!» Но когда я вспоминаю, сколько мыслей Жан-Жака он может привести в свое оправдание, я молю: «Останься, сатана».

Гербер соображал вслух:

— Маркиз покинет Эрменонвиль семнадцатого мессидора, потом уедете вы, и я останусь один у пустой могилы. Нелегко мне придется.

Он не мог в последний раз не излить душу перед Фернаном.

— Они кладут его рядом с Вольтером,— горевал он.— Рядом с Вольтером! Я никак не могу примириться с мыслью, что они заставят беззащитного мертвеца делить место своего последнего успокоения с этим одержимым последователем логики. Ведь величие Жан-Жака заключается в открытой им истине, что вселенная не подчиняется законам человеческой логики. А теперь его кладут рядом с этим помешавшимся на разуме Вольтером.

Жильберта, когда Фернан сообщил ей о своем отъезде, смертельно побледнела.

— Второй раз, стало быть, ты уезжаешь в Америку,— сказала она.

Он стоял перед ней с грустным, но решительным видом, не зная, куда девать свои длинные руки, переступая с здоровой ноги на больную, с больной на здоровую. Жильберта живо продолжала:

— Нет, нет, я не стану тебя отговаривать. На этот раз ты *должен* ехать, я признаю это.—И она попыталась улыбнуться.

— Я и тогда должен был ехать,—не к месту сказал Фернан.

— Жаль все же. С этим ты, конечно, согласишься,—ответила Жильберта.

И вдруг они иступленно поцеловались.

Через некоторое время Жильберта сказала:

— На этот раз никакой дедушка не спросит тебя: «Что будет, если она останется вдовой с ребенком на руках?»

— Я был бы счастлив, если бы мы поженились, Жильберта,—сказал Фернан.—Теперь не требуется длительного обхода власть имущих, чтобы получить разрешение на брак. Но все-таки недели две-три нам понадобились бы на всякие формальности.

— Что ты, какая там женитьба,—возмутилась Жильберта.—А ты хочешь меня, Фернан?—сказала она.

Гаснущее лицо Жильберты было совсем юным: на нем и следа не осталось от той давней, едва заметной жесткой усмешки.

Потом они лежали, и каждый ощущал тончайшие повороты чувств и мыслей другого. И вдруг оба одновременно рассмеялись тому, что им понадобилось такое бесконечное множество окольных, ненужных путей, чтобы прийти друг к другу.

Немного погодя Жильберта сказала:

— Ты, конечно, поедешь в Париж на траурные торжества?—На утвердительный ответ Фернана она без колебаний заявила:—Я с тобой не поеду.—И мужественно, честно призналась:—Я ревную тебя к народу и к Жан-Жаку.

Фернан несколько вяло ответил:

— Но ведь ты гораздо ближе к народу, чем я.

Он отлично понимал, что она хотела оставить его одного в этот скорбный и торжественный день.

— Я уверена, отныне все будет хорошо. Я уверена, что наше сегодняшнее счастье не было мимолетным дерзким счастьем.

— Оно будет завтра, и послезавтра, и всю жизнь,—подтвердил Фернан.

Отцу он не сказал, что отправляется на фронт.

И об эксгумации Жан-Жака он с ним не говорил. Но вдруг за два дня до эксгумации Жирарден сам заговорил о ней:

— Через день, стало быть, все совершится. Эти господа были милостивы, они хотели поручить мне восстановление моих садов. Но я не могу оставаться здесь, если у меня ищут Жан-Жака. Не могу.

И он угрюмо сказал сыну, что завтра навсегда покидает Эрменонвиль и переселяется в Латур, к Робинэ.

— Он неоднократно предлагал мне свой кров, — продолжал Жирарден. — Нелегко будет ужиться с таким индустриальным человеком. Но, знаешь ли, Робинэ на старости лет приобрел вкус к природе и прекрасному. Он мне все уши прожужжал просьбами, чтобы я перепланировал его парк по образцу моего. Я окажу ему эту любезность, хотя это и поглотит остаток моих сил. Я не желаю быть у него в долгу.

Фернан, собравшись с духом, сказал:

— И я, отец, не останусь здесь. Я вступаю в армию.

Маркиз, донельзя потрясенный, попытался приподняться.

— Они берут тебя в армию? — спросил он. — Эти господа? — И у него вырвалось — он не мог долее скрывать своей обиды: — А мне они отказали! И кто бы, ты думал? Лафайет и Рошамбо!

Фернан догадывался, что творится в душе отца: он испытывал и удовлетворение, что и в этой войне будет сражаться Жирарден, и страх за сына, и тайную надежду, что на почве нынешней разоренной, преступной страны все-таки родится Франция Жан-Жака, и много, много других противоречивых чувств.

— Я горжусь, граф Брежи, что вы идете сражаться за Францию, — сказал наконец отец. — Но я сомневаюсь, следует ли Жирардену сражаться под верховным командованием этих господ. — Он помолчал немного и уже другим тоном продолжал: — Я не знал также, следовало ли тебе отправляться в Америку. Позднее я убедился, что был тогда неправ. Я постарел и теперь не уверен, кто из нас двоих ближе Жан-Жаку. А сейчас оставь меня одного. Я устал и хочу отдохнуть.

Фернан понял, что отцу не хочется обнаруживать перед сыном своей подавленности, и ушел.

Он решил завтра же, как только проведет отца, покинуть Эрменонвиль. Здесь ему больше делать нечего. А в Париже у него множество дел: надо экипироваться, надо оформить ряд документов на случай, если он не вернется.

Он сел в лодку и поплыл на маленький остров.

В последний раз постоял у могилы Жан-Жака. Вспоминал блаженные и страшные часы, когда он в Летнем доме сидел за «Исповедью» и буквально впивался в это неистовое, великолепное произведение, а Тереза тут же хлопота-

ла по хозяйству. Теперь он ясно видел, что Жан-Жак, этот величайший из современников, был точно так же замкнут в своем «я», как сам он, незначительный, заурядный Фернан Жирарден. Вопреки беспредельному стремлению к правде, Жан-Жак создал себе свое собственное воображаемое небо, которое могло быть только его небом, и свой собственный ад, от которого никто не мог его избавить,— ад своего мучительного безумия.

Фернан, на долю которого выпало злосчастное счастье близко знать Жан-Жака, мог это сказать с уверенностью. Но все остальные знали Жан-Жака только по его «Исповеди»: для них его небо было *небом*, его ад был *адом*.

Внезапно с мучительной ясностью Фернана озарила мысль, что живой Жан-Жак растворился в своем творении. Жан-Жака больше не было, он безвозвратно мертв — мертв, как те казненные, которые его именем осуждались на смерть, как те, чьи тела сгорели в известковой яме. Мосье Гербер не прав. Жан-Жак — человек, и сады, по которым он бродил, и женщина, с которой он спал, и останки под этим надгробьем — все это ныне не имеет ничего общего с его творением, и если знаешь жалкую жизнь живого Жан-Жака, то это только мешает понять его произведения. «Новая Элоиза» и «Эмиль», «Общественный договор» и «Исповедь», каждая из этих книг с каждым новым читателем начинает новую жизнь, живет собственной жизнью, отделившейся от человека, создавшего ее. Все то, что их творец вдохнул в них, было лишь посевом. Этот посев дал буйные всходы безумия и разума уже независимо от сеятеля, он разросся до гигантских размеров. Заполнил Францию и весь мир, как мечтал Жан-Жак, и совсем по-иному, чем он мечтал.

На следующий день Жирарден попросил Фернана не провожать его в Латур.

В последний раз они были вместе. Жирарден, уже одетый по-дорожному, исхудалый и слабый, сидел в своем широком кресле. Рядом на позолоченном столике лежала неупакованная рукопись его труда о Всеобщей воле, непрошнурованная стопка страниц.

— Мне хотелось почитать тебе отсюда, но так и не привелось. Вчера еще я рассчитывал, что сегодня сделаю это, но боюсь, устану. Все же на некоторые места я хотел бы обратить твое внимание.

Трясущейся рукой он протянул Фернану листок, потом второй, третий. Смотрел на сына, ждал, что он скажет.

Тот понял: отцу хотелось, чтобы он почитал вслух. Он стал читать.

Текст состоял из положений Жан-Жака и толкований к ним Жирардена. К примеру, приводились слова Жан-Жака: «Всеобщая воля всегда права; если я с ней

несогласен, значит, я не прав». Затем следовал комментарий маркиза. Или сказано было: «Всеобщая воля есть соединение власти и свободы на высочайшем уровне. Воля и закон сливаются воедино, страсти умолкают перед велением разума».

Фернану удавалось читать ясно и деловито, не затуманенным слезою голосом. Отец слушал, удовлетворенно улыбался и кивал.

— Нельзя сказать, чтобы этот труд мой не задался,— сказал он.— Разумеется, кое-где следовало бы еще отшлифовать, но не знаю, придется ли. Ведь мне предстоит привести в порядок сады Латура, а я боюсь, что здоровье мое старше моих лет. Дай-ка сюда перо,— нетерпеливо прервал он себя. И он подписал на последней странице: «Finis»¹.— Возьми рукопись,— приказал он Фернану,— прочти ее и передай в Париже доктору Лебегу на сохранение. Пусть опубликует, когда придет срок.

Фернан прошнуровал рукопись; Жирарден смотрел, как он это делает, пытался помогать.

Когда все было готово, он сказал как мог бесстрастной:

— Представляю себе, что на фронте ты будешь очень занят. Но изредка, если представится свободная минутка, черкни мне несколько строк. В Америке ты отличался чрезмерной молчаливостью.

Фернан проводил его до экипажа. Обнял.

Часом позже он сам уехал в Париж.

Глава двенадцатая

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЖАН-ЖАКА

На следующий день вырыли гроб с телом Жан-Жака.

Люди, которые раскапывали могилу, были в тяжелых праздничных одеждах и обливались потом. Ни Жирардена, ни Фернана не пригласили на эксгумацию. Зато на этом торжественном акте присутствовали члены Конвента и другие высокопоставленные лица, а на маленькой косе стоял мосье Гербер, с неподвижным, бледным как смерть лицом, и смотрел на совершающееся святотатство.

Маркиз, который был уже в Латуре, знал, что в эти минуты происходит страшное деяние. Жильберта предложила ему снотворное питье, но он отказался. Он отказался от всякой поддержки, от чьего-либо общества. Он

¹ Конец (лат.).

заполз в постель, скрючился всем своим высохшим телом и молча страдал.

Могильщики, закончив эксгумацию, засыпали пустую могилу и поставили надгробье на прежнее место, так что внешне ничего не изменилось. Гроб погрузили в лодку, перевезли через маленькое озеро, а там члены Конвента и высшие чины Республики, сменяя друг друга, понесли его на руках через весь Эрменонвильский парк. Гербер следовал за гробом, не вытирая катившиеся по лицу светлые слезы и судорожно всхлипывая. В деревне Эрменонвиль собралась ее жители, желавшие проводить гроб до Парижа. Почти все были налицо. Некоторые плакали, рыдания папаша Мориса заглушали плач остальных.

Со всех концов Франции спешили делегации, посланные на траурные торжества. И Женева, молодая республика, младшая сестра новой Франции, также направила на торжество многочисленное посольство.

По всему пути следования мертвого Жан-Жака стояли делегаты от Конвента и правительства, жаждавшие нести гроб. Так, переходя с одних плеч на другие, покойник плыл через города и села, убранные в величественном и простом стиле Республики по эскизам Давида — лучшего художника Франции. Всюду, куда бы процессия ни прибывала, к ней примыкали делегации, так что к вечеру 19 мессидора, когда она достигла Парижа, она уже насчитывала многие и многие тысячи народа.

В Тюильрийских садах сделали небольшое искусственное озеро, а в центре его — остров, в точности воспроизводивший Остров высоких тополей. Там среди горящих факелов установили гроб, и всю ночь по берегу маленького озера нескончаемой вереницей шли люди, желавшие отдать последний долг покойному.

По замечательному совпадению именно в эту ночь с северного фронта прибыли депеши с вестями о победе. Впервые в истории войн армия Республики воевала и с воздуха. Под звуки марсельского гимна над городком Флерю поднялся большой желтый шар, монгольфьер, аэростат. Он сослужил хорошую службу при разведке передвижения вражеских армий. Одержанная во Фландрии победа имела огромное значение, так что утром, когда художник Давид доложил собравшемуся в Тюильри Конвенту, что траурная процессия готова, вышедший на балкон Тюильрийского дворца президент мог сообщить слушающим его необозримым толпам народа о втором благоприятном переломе в этой войне, о том, что опасность, нависшая было над Парижем, окончательно рассеяна.

Члены Конвента покинули дворец и присоединились к процессии. В центре огромного квадрата из сине-бело-

красных полотнищ шел, возглавляя шествие, корпус законодателей; впереди несли рукопись «Общественного договора».

Весь народ участвовал в процессии. В искусно продуманном порядке шли группами рабочие и ученые, крестьяне, художники и ремесленники. Развевались стяги с лозунгами, над рядами высились разного рода скульптурные фигуры.

Представители Коммуны города Парижа несли щит с начертанной на нем Декларацией прав человека и гражданина, а знамя Коммуны возглашало: «Он первый потребовал осуществления этих прав». Вокруг высокой платформы со статуей Жан-Жака шли граждане Монморанси, Гроле, Франсиады, и знамя их горделиво оповещало: «Живя среди нас, он создал «Элоизу», «Эмиля», «Общественный договор». На знамени Сельскохозяйственного института было выведено: «В исследовании природы он находил утешение от людской несправедливости». Знамя Женевской республики смело заявляло: «Аристократическая Женева отправила своего величайшего сына в изгнание. Новая Женева построила на его принципах свое государство».

Медленно двигалась бесконечная процессия, овеянная звуками музыки. Гремели залпы мортир, раздавались ликующие клики зрителей. Сквозь море трехцветных знамен Республики едва проглядывали дома; даже каменные фигуры святых на церквах были украшены трехцветными лентами.

Небольшой группой, молча шли друзья Жан-Жака. Их с любопытством разглядывали. Многие надеялись увидеть вдову Жан-Жака, некоторые полагали, что здесь должен быть Жирарден-старший. Но никого из них не было. Возможно, что они скончались. Зато были Дюси и доктор Лебег, женевский пастор Мульту и молодой Жирарден.

Фернан был чрезвычайно просто одет. День стоял чудесный, по очень светлому небу плыло несколько маленьких белых торопливых облачков, свежий ветер умерял жару. И все-таки Фернан маялся. Процессия двигалась медленно, и его больная нога мозжила.

А в голове роились мятежные мысли. Якобинцы, прославлявшие Жан-Жака, знать ничего не желали о его величайшей книге, об «Исповеди»; они заглушали слишком уж человеческий голос этой книги громом труб и барабанов, которым славил «Общественный договор» и педагогический роман Жан-Жака «Эмиль».

На место «Исповеди» они выдвинули свою Республику. С полным правом. Ибо революция—плоть от плоти Жан-Жака—превзошла своим величием его величайшую книгу. Революция была его самым страшным, самым

грозным, самым высоким творением. Она была его детищем от начала и до конца, она унаследовала все его черты, она была точным сколком с его существа и жизни. Она грешила тем же великим благословенным грехом, что и он: топила разум в стихии чувства.

Разве не безрассудством, не фарсом была идея похоронить Жан-Жака рядом с Вольтером? Вольтер ухмыльнется в своем гробу, и Жан-Жак в ответ зло ухмыльнется Вольтеру.

До сих пор еще находились люди, видевшие в Вольтере отца революции. Но острая, злая, блистательная логика Вольтера убеждала только немногих избранных, она никого не увлекала за собой. Учение Вольтера — это холодный огонь, в нем только свет, он лишен тепла. А Жан-Жак излучает тепло, жар. Он был искрой, и вот уже весь мир воспламенился. Его безудержное чувство взорвало разум, привело в движение массы, смело старый порядок и создало четырнадцать армий, которые дерутся за то, чтобы расшатать устои во всем мире и освободить его.

Но именно потому, что это так, можно ли сказать, что якобинцы не правы в своем решении унести Жан-Жака из изысканного парка какого-то аристократа и водворить его в дом, почитаемый пародом? Нет, что бы ни говорил мосье Гербер, а они правы.

И как бы Фернан ни выставлял сердцем против того, что Жан-Жака кладут рядом с Вольтером, он понимал, что и это оправдано. Если бы едкий разум одного и клокочущее чувство другого не слились в единое пламя, революция не победила бы.

Однако с каждой минутой медленного движения процессии Фернан все меньше и меньше взвешивал и судил. Мысли его смешались, перешли в чувство, в огромное чувство, общее с народом, среди которого он шел.

А народ сегодня преисполнен гордости и веселья. Это был великий человек — тот, которого они вернули себе; он принадлежал им, народу Парижа. Он не генерал и не государственный деятель, он не выигрывал сражений и не заключал великолепных договоров, он был лишь писатель, философ. Они толком даже не знали, что это такое, и едва ли один из ста читал его книги. Но несколько его слов, несколько его лозунгов, которые они слышали на всех перекрестках и которые в минуту колебаний запали им в сердца, были такими словами, что, услышав их, нельзя было не двинуться в поход и не вступить в бой. И они двинулись в поход, и они вступили в бой. И победили. Значит, книги усопшего стоили больше пушек генералов и перьев государственных деятелей. И нынче эти сотни тысяч людей чувствовали свою тесную духовную связь с

усопшим, они возвысились в собственных глазах: ведь и они теперь приобщились к духовному началу.

Так триумфально шествовал мертвый Жан-Жак по тем самым улицам Парижа, по которым живой Жан-Жак передко самым жалким образом бежал от своих преследователей, и те же люди, которые поднимали на смех его, чудака и безумца, теперь обнажили головы перед ним, мудрецом и учителем.

Повсюду слышались музыка, пение. Но из всего выделялась, все перекрывала та народная песня Руже, которую принесли с собой марсельские борцы за свободу и которую Конвент объявил недавно гимном Республики: Марсельеза. Музыканты, находившиеся в рядах процессии, и те, кто оставался вне ее, играли эту песню, а десятки тысяч людей, шедших в процессии, и десятки тысяч, глядевших на нее, пели: «*Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé!*» — Вперед, сыны отчизны милой, день вашей славы наступил!» Со всех сторон звенела, гремела зажигательная песнь Республики, и казалось, будто она подгоняет длинную процессию вперед, к Пантеону.

Всякий раз, когда шествие огибало угол, Фернан видел плывущий на большой высоте гигантский саркофаг Жан-Жака. А раньше, в Тюильрийском саду, он видел траурную и триумфальную колесницу, на которой стоял саркофаг. Двенадцать белых лошадей, — их вели двенадцать мужчин в античных тогах, — везли колесницу, катившуюся на четырех огромных бронзовых колесах. Античные светильники окружали гранитный саркофаг, в который был опущен гроб с телом Жан-Жака; в небо поднималось облако от курений ладана и благовоний. На крышке саркофага было ложе, сделанное по образцу римских. Там, слегка приподняв торс и оперев голову на руки, лежал восковой Жан-Жак: фигура Жан-Жака четко вырисовывалась на фоне светлого неба.

Фернан с изумлением отмечал про себя, что эта кукла вытесняет из его памяти образ живого Жан-Жака. Он старался удержать его, но в воспоминание о реальном Жан-Жаке, совершенно затмевая его, неустраимо вторгалась восковая идолоподобная фигура, которая медленно, окутанная курениями ладана, двигалась впереди. А гром Марсельезы все больше отодвигал живого Жан-Жака в дальние дали, в Непостижимое. Фернан прямо-таки физически ощущал, как уходит от него реальный Жан-Жак. Все, что было в Жан-Жаке повседневного, отпало, исчезло; неповторимое, вечное обособилось, поднялось ввысь, реяло там, впереди, притягивая к себе все взоры.

Процессия добралась до цели. Здесь, на левой стороне старого города, на его самой высокой точке, в царствова-

ние Людовика Пятнадцатого была заложена церковь св. Женевьевы. Но сложное здание и через четверть века еще не было готово; его закончили уже после свержения Людовика Шестнадцатого, и решением Национального собрания эта церковь была превращена в Пантеон — место погребения выдающихся людей страны.

Величественное здание завершалось высоким куполом. Процессия подошла к великолепному portalу, миновала его, влилась внутрь.

Человека, пришедшего из оксана света и звуков, обнимала, навеяв сосредоточенность, сумеречная прохлада и тишина огромного, благородного зала со строгими колоннами. Группами, одна за другой, люди входили в этот зал, все плотнее заполняя его. Свободным оставался только узкий проход, разделивший толпу. И вот, поднятый на крепкие плечи, чуть покачиваясь на них, по этому узкому коридору в глубь зала поплыл катафалк и там был установлен на постаменте.

От толпы отделилась невысокая фигура человека в голубом фраке; провожаемый взорами всех присутствующих, человек этот прошел по тому же коридору и по ступенькам поднялся на постамент, где был установлен катафалк.

Это был Максимилиан Робеспьер. Почти целую минуту он молча и неподвижно смотрел на затихшую толпу. Он собирался с мыслями. Он думал о клятве, записанной им в дневнике после беседы с Жан-Жаком, — следуя учению Жан-Жака, разрушить старое здание и воздвигнуть новое. Новая Франция, Франция Жан-Жака построена. Правда, у нее еще немало врагов, чье коварство кует, быть может, заговоры против него, Максимилиана, и очень вероятно, что он погибнет раньше, чем борьба закончится. Но жизнь его не такая уж высокая цена за достигнутое.

— Если бы Жан-Жак, — начал он наконец, не повышая голоса, и тишина в зале стала еще более глубокой, — если бы Жан-Жак был лишь величайшим, самым красноречивым писателем нашего столетия, мы предоставили бы потомкам оценить его и чтить его память. Но он больше чем великий писатель: он один из бессмертных пророков человечества. Он сотворил царство Разума и раздвинул сферу добродетели. Он был больше чем человек, он был орудием Верховного Существа. Он увидел народы, поверженные ниц перед скипетрами и коронами, и он дерзнул сказать народам: встаньте! Он дерзнул принести им благую весть: Равенство и Братство. Подобный самому богу, он бросал огненные слова в сердца людей и свершил то, что до него никто не свершал: народы восстали.

У Фернана мороз пробежал по коже. Этот страшный Робеспьер знал о безднах, таившихся в Жан-Жаке, знал то, что, как мнилось Фернану, он один только и знает. «Подобный самому богу». Робеспьер знал, что, дойдя до предела отчаянья, переходившего в безумие, Жан-Жак был недоступен более никаким потрясениям, подобно самому богу.

И все же Робеспьер видел только того Жан-Жака, которого он делал богом. Он не видел Жан-Жака, написавшего «Исповедь», он не желал допустить ничего человеческого в этом человеке, величайшей гордостью которого было быть человеком.

— Он, как Сократ, спустил философию с небес на землю, в каждый город, в каждый дом,—воскличал Робеспьер, и теперь его громкий, стеклянный и пронзительный голос достигал отдаленнейших уголков огромного зала.—Он заставил людей задуматься об их жизни, и о государстве, и об обществе, и о том, что такое право и несправедливость, что такое добро и зло. Он учил нас не вращаться корнями в прошлое, а смотреть в будущее.

Это были хорошие слова, и что бы ни разделяло Фернана с Робеспьером, у них было одно учение, одна вера, одна цель.

Робеспьер кончил. Гроб сняли с катафалка и понесли к гробнице, находившейся на расстоянии нескольких шагов.

Фернан на короткое мгновение мысленно увидел перед собой тело, лежавшее в гробу, увидел страшный проломленный висок. И он увидел кровать в Летнем доме и на ней мертвого Жан-Жака, его лицо с засохшими сгустками крови. И мертвый ожил. Фернан увидел Жан-Жака, сидящего в немом отчаянии на пне посреди их любимой лесной полянки, и увидел его мирно сидящим с Терезой за столом, и увидел его лицо, светившееся пламенной верой, когда он провозглашал: «Человек добр»; и Фернан увидел также его глаза, глаза безумца, когда он объявлял себя одновременно Первым и Последним из смертных.

И вот гроб с прахом Жан-Жака несут к склепу. В это мгновение, стихийно, но точно по уговору, весь зал запел Марсельезу: «Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons!»—пели собравшиеся. «О граждане! В ружье! Смыкай со взводом взвод!» И: «Marchons, marchons!»—Вперед, вперед!»

И песня заполнила не только все громадное здание, грозя взорвать его стены и крышу, она раздавалась за ними, она раздавалась повсюду, казалось, весь Париж, вся Франция поет эту отважнейшую из песен.

Мощные звуки Марсельезы, вид процессии с гробом впереди рассеяли видения Фернана, заставили его сбросить с себя и забыть все неразумное и чрезмерное. В

огромном потоке счастья он почувствовал, как его «я» расплавляется, растворяется в общем едином порыве. Он не был более посторонним, он слился со всеми, кто пел вместе с ним. Все, что его окружало, проникло в него, он был живой частицей единого целого, он был больше чем он сам, он был — народ.

«О граждане! В ружье! Смыкай со взводом взвод! Вперед, вперед!» — пело в нем самом, пело вокруг него. Проникало в него отовсюду.

В последний раз, уже над раскрытой гробницей, показался гроб. Песнь оборвалась.

Внезапная тишина разрушила чары, владевшие Фернаном. Мучительно кольнула его мысль обо всем том преступном, что натворили эти новые воинствующие ученики Жан-Жака, эти мрачные, блаженно верующие фанатики. Как далеко они уклонились от его учения! Но и этот болезненный укол брюзжащего рассудка длился одно мгновение. «*Marchons quand mème!* — Наперекор всему, вперед!» — подумал он. Он чуть не крикнул в наступившую тишину: «Наперекор всему, вперед!»

Долгую и прекрасную минуту его не покидало видение смелого взлета радуги, закономерного и величественно перекинутой от Новой Элоизы к Марсельезе, от скромной, любовно ухоженной, незатейливой могилы на Острове высоких тополей к гробнице в Пантеоне. Он ощущал быющее через край богатство духа Жан-Жака, то сверхзнание, которое сохраняет свою правоту вопреки всем доводам рассудка. Фернан увидел смысл собственной судьбы. Он, скромный ученик Жан-Жака, для того прошел через муки стольких разочарований и сомнений, чтобы познать этот уготованный ему миг полного свершения всех чаяний. И если бы во всей его жизни ничего не было, кроме этого мига, то и тогда стоило бы жить.

Гроб медленно опускался. Глубже. Глубже. Тьма поглотила его.

Но заново взмыла к свету песнь. «Вперед! Вперед!» — звала она, между тем как забытый и незабываемый Жан-Жак исчез в гробнице и растворился в своей славе.

ЧЕРТ ВО ФРАНЦИИ

Пережитое

**Перевод
Л. МИРИМОВА**

DER TEUFEL IN FRANKREICH

Erlebnisse

1941

1

КИРПИЧИ ЛЕ-МИЛЯ

И Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. И делали жизнь их горькою от тяжелой работы над глиной и кирпичами. И народ сынов Израилевых построил фараону Пифон и Раамсес, города для запасов.

Я не могу себе определенно представить, что же это такое — «города для запасов» Пифом и Раамсес, и не знаю, известно ли что-нибудь по этому поводу исследователям Библии. Для меня оба этих враждебно, чуждо и величественно звучащих имени приобрели определенное значение, изменить которое не в состоянии никакой научно обоснованный анализ, как бы убедительно обоснован он ни был.

Это произошло так. Нас, политических беженцев Германии, Австрии и Чехословакии, живших на юго-востоке Франции, во время войны французские власти заперли на большом заброшенном кирпичном заводе местечка Ле-Миль возле Экса в Провансе. Нас было более тысячи, иногда количество лагерников доходило до трех тысяч, цифра все время менялась, в большинстве своем это были евреи.

Нас собрали на кирпичном заводе, и кирпич стал символом этого времени. Кирпичные стены и колючая проволока отгораживали отведенное нам пространство от прекрасного зеленого ландшафта, повсюду лежали кучи битого кирпича, кирпичи служили нам и сиденьями и столами, с помощью кирпичей мы отделяли одну жалкую постель — охапку соломы — от другой. Кирпичная пыль наполняла наши легкие, воспаляла наши глаза. Вдоль стен помещения, отнимая у нас полезные объемы, лишая скудного света, тянулись стеллажи из жердей, предназначенные в свое время для сушки и хранения кирпича, а если нам становилось холодно, то любой из нас мог забраться в одну из огромных пустых печей для обжига и согреться от мысли, что сидишь в печи.

Мы должны были перетаскивать кирпич с места на место, укладывая его в штабеля то здесь, то там. Мы

возили его в тачках, а затем, по команде сержанта, перебрасывали по цепочке друг другу и складывали в определенном порядке. Трудной работа не была. Злила, возмущала ее абсолютная бесполезность; практического смысла она не имела, нас просто хотели чем-то занять. Мы знали, завтра, послезавтра или, самое позднее, на третий день эти сложенные нами штабеля мы должны будем развалить и сложить где-нибудь в другом месте.

И вот однажды, когда по грубой команде сержанта мы стали из рук в руки перебрасывать кирпичи, когда мы, профессора, адвокаты, врачи, крестьяне, рабочие, вместо того чтобы заниматься нашими книгами, документами, диагнозами, прогнозами погоды, деталями машин, стали складывать кирпич в штабеля, которые завтра нужно будет вновь развалить, мне внезапно вспомнился текст стихов из Библии о сынах Израилевых, которые обжигали кирпич для фараоновых «городов для запасов» Пифома и Раамсеса. Самые разные, и ошибочные и подчас противоречивые, мысли приходили мне в голову. Нашим прародителям было хуже, чем нам, ведь они трудились под бичом надсмотрщика; с другой стороны, им было лучше, ибо их работа, по крайней мере, имела смысл. Затем появлялась новая мысль, что рабу, вынужденному строить «города для запасов» ненавистному ему фараону, было в общем-то безразлично, занимается он полезным трудом или бесполезным. Через некоторое время я отказался от попыток разобраться в этом. Механически ловя кирпичи и перебрасывая их рядом стоящему, я повторял про себя: «Пифом — Раамсес, Пифом — Раамсес».

С тех пор эти имена из Библии приобрели для меня определенную окраску, определенное звучание. Теперь они в моем сознании навсегда связались с представлением о пыли, горячем солнце и колючей проволоке, с образом равнодушного сержанта в красной феске, выкрикивающего грубым голосом: «Un, deux, un, deux»¹, с представлением о людях в изношенной, рваной одежде, с тупыми, покрытыми пылью лицами, перебрасывающих друг другу кирпичи, о лагерниках, которые еще совсем недавно были хорошо одетыми людьми и занимались осмысленным трудом.

Пифом — Раамсес, Пифом — Раамсес.

Когда из окна моей комнаты в нью-йоркском отеле я смотрю на Центральный парк, на окружающие его небоскребы, на огромный, живой и деятельный город, я часто спрашиваю себя, действительно ли я нахожусь здесь и как

¹ Раз, два, раз, два (фр.).

я попал сюда. Девять лет назад я жил в своем доме в Берлине, в Грюневальде, окруженный моими книгами, небольшой мирный сосняк полого спускался от моего сада к маленькому, спокойному озеру, я чувствовал себя прекрасно, у меня и в мыслях не было покинуть этот дом. Шесть лет назад я жил в своем белом тихом доме в Санарі в Южной Франции, окруженный моими книгами, оливковые деревья спускались к очень синему морю, я чувствовал себя прекрасно, у меня и в мыслях не было покинуть этот дом.

Конечно, я мог бы привести сотни разумных причин, объясняющих, почему события с начала первой мировой войны должны были протекать именно так, как протекали, и почему, следовательно, и я, понуждаемый этими событиями, должен был испытывать все то, что испытал. Я мог бы привести сотни благозвучных объяснений, почему в начале первой мировой войны я был интернированным во французской тюрьме Туниса, а позже был насильно одет в немецкую военную форму, почему я оказался втянутым в круговорот короткой немецкой революции и долгой немецкой контрреволюции, почему я затем решил наблюдать мир лишь сидя за письменным столом своего берлинского дома, почему я все же оказался во Франции и почему, наконец, большую часть времени, в течение которого длилась вторая война, я вынужден был провести во французском концентрационном лагере. Конечно, для всего этого, для всей совокупности моих собственных, незначительных переживаний, не в меньшей степени, чем для течения великих событий, их обусловивших, имеется ряд достаточно разумных оснований. Рассудительные люди могут перечислить эти основания — экономические, биологические, социологические, психологические, философские. Да и я сам мог бы написать об этом книгу, убедительно и четко объяснив все взаимосвязи.

Но внутренне я убежден в том, что абсолютно ничего не знаю о первопричинах варварского хаоса, в который мы все оказались ввергнутыми. Я подобен человеку из первобытного леса, который видит телеграфные провода, но понятия не имеет, для чего они, как функционируют и что хорошего в том, что они существуют. И мне известно далее, что никто на свете, даже прекрасно информированный государственный деятель, не может знать все как, зачем и почему этой войны. И даже если выложить на стол сразу все документы, то в лучшем случае лишь на самую малость прояснится вопрос о непосредственных причинах войны и о взаимосвязи отдельных фактов, суждение же об общем ходе событий будет зависеть исключительно от личности наблюдателя и характеризо-

вать только его одного. Сотни знающих историков вдохновенно и убедительно расскажут, почему пала Римская империя, почему христианство пришло на смену язычеству, почему произошла французская революция, почему все это должно было произойти именно так и не могло произойти иначе; но эти убедительные основания у каждого историка будут другие. «История—это осмысление бессмысленного»,—сказал один очень умный немецкий профессор, которого убили нацисты.

И если, следовательно, я на этих страницах расскажу, что произошло со мной во Франции во время войны на пороге моего пятьдесят седьмого года, то я ни в коей мере не буду ~~пытаться~~ навязывать тебе, мой читатель, свое мнение о конечных причинах, поставивших именно этого человека, писателя Л. Ф., именно в такое положение. Называйте эти причины как хотите: случаем, необходимостью, божьим предопределением. Я не буду обременять вас своими взглядами на причины, вследствие которых я—личность в основе своей созерцательная, человек, мечтающий лишь о том, чтобы спокойно жить, читать и писать,—почему я вынужден вести такое беспокойное существование. Ограничусь как можно более честным, то есть как можно более субъективным изложением пережитого, даже без претензии быть объективным.

Все началось однажды вечером в середине мая, после захода солнца. На первом этаже моего дома в Санари, в маленькой комнатке, где стоял радиоприемник, было сумеречно, но еще не настолько темно, чтобы зажечь свет.

Я был один и, лежа на оттоманке, слушал сообщения радио. И в Бельгии, и в Нидерландах дела шли неважно. С закрытыми глазами я обдумывал скудные известия и краем уха слушал объявления, сообщаемые в конце передачи. И вдруг я услышал, что все постоянно проживающие в Париже и его окрестностях немецкие граждане, а также люди без гражданства, рожденные в Германии, в возрасте от семнадцати до пятидесяти пяти лет, как мужчины, так и женщины, должны в такие-то и такие-то дни явиться туда-то и туда-то для интернирования.

Я не шевельнулся, остался лежать. Я приказал себе: «Не паникуй, обдумай все спокойно». Я сказал себе, что, весьма вероятно, это мероприятие будет касаться лишь Парижа и уж наверняка не распространится на юг страны, которому война не угрожает. Но в то же время внутренний голос говорил мне, что эти разумные соображения—бессмыслица. С самого начала этой войны всегда происхо-

дило то самое скверное, чего боялись, а не то хорошее, на что надеялись.

Радиоприемник давно уже говорил о другом. Я продолжал лежать с закрытыми глазами на оттоманке. Потом встал и с удивлением обнаружил, что наступила уже глубокая ночь. Внезапно я почувствовал страшную усталость. Я вышел в сад, побродил между клумбами, поднялся на небольшие террасы, вновь спустился, продолжая обдумывать услышанное.

Какая низость! Вот уж девять месяцев я сижу в этой мышеловке, во Франции, и не могу получить разрешение на выезд. А теперь мне придется вторично испытывать все прелести концентрационного лагеря.

Местность вокруг моего дома была красива и полна глубокой умиротворенности. Горы, море, островки; прихотливо изгибающийся берег; маслины, фиговые пальмы, пинии; несколько разбросанных в отдалении домиков. Стояла ничем не нарушаемая тишина, веял легкий ветерок. Одна из наших кошек, играя, бегала у моих ног — вперед, назад, опять вперед — и, мяукая, требовала к себе внимания. Я погладил ее, и она замурлыкала. Было не тепло, но и не холодно, меня же внезапно пробрал озноб.

Я вернулся в дом, разыскал жену. Большой дом был пуст, обслуживающая нас супружеская чета, вероятно, уже ушла. Жена была на кухне, она готовила еду для кошек. Кивнув мне, она спросила: «Хочешь выпить что-нибудь? Сока грейпфрута?» — «Спасибо, — ответил я, — возможно, попозже». Она произнесла какую-то незначительную фразу, то ли что Леонтина, наша служанка, обычно мало добавляет риса и молока в мясо для кошек, то ли что-то другое. Я сидел на кухонном табурете, смотрел на жену и думал: «Сказать ей сейчас? Но наверняка в деревне это тоже слышали и, если я ей не скажу сейчас, ей скажет это Леонтина. Пожалуй, лучше сказать». Я смотрел, как она налила похлебку в большую тарелку и поставила ее кошкам, а потом мы оба следили, как жадно ели кошки, удовлетворенно урча. Я думал: «Сейчас ее больше всего заботит, чтобы кошки получали больше риса и молока. Дам ей эту минутку, и еще одну, и еще одну, последнюю».

И затем я рассказал ей.

Она посмотрела на меня, я — на нее. Наконец она проговорила: «Нам нужно тотчас же написать в Париж или лучше дать телеграмму». — «Конечно, — ответил я, — утром, как можно раньше. Хорошо хоть, что теперь нет морозов». Французские концентрационные лагеря не отапливались, и зимой случалось, что интернированные отмораживали себе пальцы на руках или на ногах.

Мы уже поужинали, но я вдруг почувствовал голод. «Дай мне что-нибудь поесть»,—сказал я.

Когда я ел, кто-то постучал в дверь, потом—в другую. В такой поздний час к нам обычно никто не приходил. «Кто там?»—спросили мы. Это были наши соседи, немецкий художник с женой. Мы встречались редко, не очень симпатизировали друг другу, но сейчас их приход показался нам естественным.

«Вы слышали?»—спросил он. Мы стали обсуждать сообщение на все лады. Никакой разумной причины держать нас под замком здесь, на юге, мы не видели. То, что мы были противниками нацистского режима, было установлено неоднократными тщательными расследованиями. Но разве оказавшиеся в Париже за колючей проволокой представляют для Франции опасность? Вероятно, с ними поступают так потому, что хотят показать населению: власти не дремлют. А если причина в этом, то почему здесь, на юге, власти должны вести себя иначе, чем в Париже? Остается единственное маленькое утешение: при французской разболтанности пройдет немало времени, прежде чем в этих местах появятся соответствующие распоряжения.

Как я провел следующий день, точно сказать не могу. В те дни во Франции я вел дневник, но записей этих под рукой у меня сейчас нет, и не знаю, будут ли они у меня когда-нибудь вообще.

Вероятно, это даже хорошо, что приходится полностью полагаться на память. Конечно, память ошибается. Моя память, как, впрочем, и память большинства людей, часто отказывает. Причем это касается тех фактов и обстоятельств, которые я очень хотел бы сохранить, тогда как то, что мне представляется безразличным, память удерживает цепко. Важное она оттесняет назад, неважное выпихивает вперед. Я не могу объяснить законы, которым подчиняется память, но, несомненно, они как-то связаны с моим подсознанием.

Да, я думаю, что этот произвол памяти для писателя следует считать положительным свойством. Он понуждает писателя к той безусловной честности, что является предпосылкой любого творчества, он понуждает давать лишь те виденья, которые действительно являются его виденьями. В этом особом случае отсутствие дневника, недостаток объективных записей заставляет меня рассказывать лишь о том, что внутренне мне особенно близко. Возможно, иногда при этом будет недоставать объективно существенного, но изложенное мной сохранит субъективную честность, поэтическую правдивость, не будет

искажено документальными данными, мелочными подробностями реальной жизни. Хочу я того или нет, но, располагая своими записями, я вынужден буду дать картину, а не грубо сфотографированную действительность.

Не слишком ли я самонадеян, утверждая, что рад этому? Не слишком ли я самонадеян, возводя в принцип убеждение, что фотографически точное сообщение не очень-то много дает для познания наиболее существенного в событии? Но я все же придерживаюсь мнения, что сила переживания, вызванная неким событием, существенно влияет на оценку самого события. Да, я глубоко убежден, что в передаче человеком своих переживаний его личность имеет не меньшее, а даже большее значение, чем собственно само событие, вызвавшее это переживание.

В большинстве своем люди не очень-то способны к переживаниям. Они находятся под очень сильным влиянием оценок других. Они полагают, что такие-то события следует воспринимать как большие и важные, другие — как ничтожные и несущественные, потому что «компетентные» люди в подобных случаях воспринимают их именно так. Не только поведение, даже чувства большинства людей определяются традициями, обычаями, условностями. Средний человек каталогизирует переживания в соответствии с несколькими общепринятыми нормами, иначе поступать он не может. Журналы, радио, кинофильмы помогают ему еще глубже вбить в мозги эти немногие нормы и еще более сужают этим способности собственного особого видения, восприятия, оценки. У среднего человека способность переживать ничтожна, регистр его чувств невероятно мал. События, даже если он находится в их центре, обтекают его, а не проникают в него, не обогащают. Сколько ни лей жидкости в маленький сосуд, он примет лишь определенное количество.

Человек, обладающий некоторой фантазией, имеет перед другими то важное преимущество, что ожидаемая им действительность, то есть то, что произойдет реально, по интенсивности почти всегда слабее его ожиданий. Переживание дурного вызывает у него меньше боли, чем испуг ожидания, так же, впрочем, как и переживание счастья почти всегда приносит меньше положительных эмоций, чем надежда на него и радость предвкушения.

Я уже говорил, что мне не передать в подробностях, как я провел последние дни в моем прекрасном доме в Санари. Но я помню, что это были очень неприятные дни, и все, что я тогда видел, слышал, о чем говорил, думал, чем жил, запомнилось мне на фоне каких-то неприятных ощущений.

Семь лет на французском побережье Средиземного моря я наслаждался, всеми органами чувств ощущая красоту окружающей меня природы, ощущая радость жизни. Если, например, возвращаясь из Парижа ночным поездом, я вновь видел утром голубой берег, горы, море, пинии и маслины, карабкающиеся по отвесным кручам, я вновь чувствовал на себе открытую и доброжелательную приязнь людей Средиземноморья, я глубоко вздыхал и радовался тому, что выбрал себе место под этим небом. И когда я затем въезжал на небольшой холм к моему освещенному солнцем дому, и когда я вновь видел свой сад в глубоком покое, и большую светлую рабочую комнату, а потом — море перед окнами, и прихотливые очертания берега и островков, и бесконечную даль за ними, и когда я вновь видел мои любимые книги, я всем моим существом ощущал: здесь ты на месте, это твой мир. Или когда, хорошо поработав днем за письменным столом, я выходил в тишь вечернего сада, в котором ничего не было, кроме монотонного шума моря и разве еще редкого крика птицы, то сердце мое испытывало глубокую умиротворенность и я чувствовал себя счастливым.

Но теперь, когда возникла необходимость считаться с тем, что меня вот-вот вторично интернируют, ландшафт утратил для меня свои краски, я потерял вкус к жизни. И хотя еще ничего решено не было, внутренне я знал, что все уже решено, и мучительное ожидание того, что наступит, лишило меня способности наслаждаться окружающим. Правда, я продолжал работать. Десятилетия тренируясь, я развил в себе способность при любых обстоятельствах, что бы ни случилось, во время работы сосредотачиваться на ней. Вообще, когда я работал над каким-нибудь произведением, вся моя жизнь — не только в часы работы — была заполнена этим произведением, я автоматически соотносил с ним все, чем жил в это время, что видел, слышал, читал. Теперь же мысли о производстве покидали меня тотчас же, едва я переставал работать над ним, и сразу же возникало ожидание того, что должно произойти.

Я часто наблюдал моих кошек за едой. Припав к миске, они с жадностью лакали, но при этом все время оставались настороже. Никогда не покидало их прирожденное чувство опасности, грозящей с любой стороны. И во всех нас, пожалуй, очень глубоко таится такое же чувство постоянной угрозы, мы лишь оттеснили его, мы отвыкли от страха. Тогда же, в те дни ожидания, я чувствовал себя так же, как мои кошки. Стоило какому-нибудь автомобилю въехать на наш холм, стоило кому-либо прийти к нам, я всякий раз думал: вот они пришли за мной, сейчас они заберут меня.

Моя секретарша не могла удержаться от сетований: «Ах, почему мы вовремя не уехали в Америку». Обычно я ненавижу подобные рассуждения. Бесплодные размышления о том, что было сделано и что следовало бы сделать, ни к чему не ведут. И все же такая реакция в нашем случае, пожалуй, была понятна.

Правда, с начала войны я уже не мог по собственному желанию покинуть страну, французское правительство не разрешило мне это. Но ведь войну-то я предвидел задолго до того, как она разразилась. В феврале 1938 года, сразу же после аннексии Австрии, я весьма серьезно носился с мыслью переселиться в страну, обеспечивающую большую безопасность, чем Франция. И сейчас, сетуя на то, что я не исполнил тогда своего намеренья, моя секретарша была совершенно права.

Что же меня, собственно, удерживало во Франции? Вот некоторые причины. С 1933 года я публично заявлял, что Гитлер — это война, что без войны от нацистов не избавиться. Имел ли право я, который предвещал и ждал эту войну как никто другой, теперь, когда она стала реальностью, пытаться укрыться от нее где-нибудь в безопасном месте? Нет, мне надо было остаться. Я серьезно считал, что смогу помочь. Ведь в Германии у меня были миллионы читателей; и теперь еще многие прислушивались там к моим словам; несмотря на опасность, многие писали мне из Германии, ждали от меня совета. Я верил, что как раз во время этой войны смогу принести пользу противникам Гитлера.

Удерживало меня здесь также любопытство писателя. Вся жизнь я следовал правилу — не искать переживаний, но и не избегать их. К этому следует еще добавить: сложным переселением в другую страну я не хотел прерывать свою работу над романом «Изгнание».

Впрочем, сразу же с началом войны я понял, как неправильно вел себя. Французы не только ничего не хотели слышать о сотрудничестве с нами, немецкими антифашистами, более того, они сразу же изолировали нас. Английские протесты уже через несколько дней помогли мне освободиться из концентрационного лагеря, и французское правительство извинилось передо мной, представив мое интернирование как ошибку мелких чиновников. Но визу на выезд, которую я после этого скверного происшествия потребовал, мне так и не дали.

Должен сделать здесь одно признание, точнее — два.

Признание первое. Думая теперь о том, что же меня в то время, в 1938 году, удержало во Франции, я прихожу к мысли, что, вероятно, были и другие, более глубоко заложенные в моей натуре причины, чем те, о которых я только что говорил. Меня удерживала здесь устроенность

моей жизни, красота местности, мой прекрасно ухоженный дом, любимая библиотека, условия, во всех мелочах отвечающие моим методам работы, сотни деталей моего существования, ставшие любимыми привычками, от которых было бы очень трудно отказаться. И вот теперь — я уже говорил об этом — меня вновь, вопреки моей воле, вырывали из окружения, которое я создал себе с любовью и тщанием в соответствии с моими желаниями и потребностями. Каждый раз я окружал себя приятными мне предметами, каждый раз ставил огромный письменный стол так, чтобы перед глазами был ласкающий взгляд ландшафт, каждый раз возле меня были полки с несколькими тысячами книг, каждый раз растил нескольких котят, воображая, что они привязаны лишь ко мне, каждый раз обзаводился двумя-тремя черепахами, наблюдая за их медленными, какими-то первобытными движениями, каждый раз держал в погребе несколько бутылок изысканного вина. И хотя внешние обстоятельства не раз заставляли меня покидать с такими усилиями созданный дом, это меня ничему не учило. Вновь и вновь я строился заново, вновь и вновь я прилеплялся к своему новому дому душой и телом, веря, что уж на этот-то раз мне удастся его сохранить. Итак, пожалуй, привязанность к дому в Санари и ко всему, что было в нем и вокруг него, удерживала меня во Франции. Иными словами и без околичностей, удерживали меня внутренняя инертность, тяга к комфорту, недостаток фантазии.

Признание второе. Я очень робкою перед властями. Чиновник — лицо, уполномоченное государством, он представляет многие миллионы людей; так как же я, индивидуум, смею выступать против него? Возможно, эта робость унаследована мною от предков, которые в немецких гетто испытывали страх перед любым человеком, облеченным какой-нибудь, пусть самой ничтожной властью. Вероятно, такая робость сыграла свою роль и удержала меня от хлопот по своевременному получению въездной визы в Америку. Я почел достаточным получить гостевую визу; раздобывание иммиграционной визы представлялось мне непомерно тяжелой задачей. Однажды в Париже я сделал было попытку и, находясь вблизи американского посольства, смело вошел в него, чтобы навести справку о порядке получения такой визы. У меня были рекомендации к консулу, время от времени я встречался в обществе также и с послом, но странное чувство — смесь самонадеянности и робости — удерживало меня от непосредственного обращения к этим людям. И я подошел к безликому столу с надписью «Информация», равнодушная девушка равнодушно и быстро дала мне разъяснения, из которых я понял, что при наличии иммиграционной визы моя госте-

вая потеряет силу. По существу, это разъяснение меня очень устраивало, и, удовлетворенно вздохнув, я покинул посольство. Я считал обременительным для себя предпринимать дальнейшие шаги; справка, данная равнодушной депушкой, была знаком судьбы, говорящим о том, что мне следует удовлетвориться гостевым посещением Америки, переселяться же в Америку мне не нужно.

Я вообще охотно именую себя фаталистом, чтобы получить возможность облечь свою любовь к удобствам в приличные одежды.

Нет, мой фатализм не так уж и примитивен. Он скорее является логическим следствием обретенного мной печального опыта: разум не всегда хороший советчик. Со мной часто случалось, да мне приходилось наблюдать и на других, что наилучшим образом рассчитанные соображения ведут к результатам, прямо противоположным ожидаемым. Например, предпринятые мной предупредительные финансовые меры, на которых настаивали и жена, и секретарша, вследствие гротескных поворотов судьбы привели к неожиданным и неприятным для меня результатам. Я депонировал деньги в тех странах, которые перед войной казались мне наиболее надежными, в Швеции, Голландии и Канаде; именно там их заморозили или конфисковали. Мой друг Брехт выбрал своим местожительством безопасную Швецию. Когда разразилась война, казалось, события подтвердили что его выбор был верен; но получилось так, что именно эта страна стала для него ловушкой. Моя секретарша, рожденная в Германии, была счастлива, выбрав себе швейцарское гражданство; единственным следствием этого оказалось то, что французы тем не менее сочли ее немкой и посадили в концентрационный лагерь, американцы же, решив, что ее швейцарский паспорт гарантирует ей безопасность в Европе, отказали ей во въездной визе.

Имея такой опыт, я не могу упрекать себя за то, что иногда пускаю свой челн по течению и не очень уж настойчиво пытаюсь управлять им. Меня мало трогает, если кто-нибудь упрекнет меня: «Видишь, я всегда говорил, что тебе следовало бы поступить так-то и так-то, почему же ты не прислушался к моему совету?» Я знаю, что во времена, подобные нашим, можно привести равное количество доводов за и против того или иного решения и выбор решения в таких условиях подчиняется скорее случаю, чем соображениям разума.

Поэтому я пожал плечами, когда моя секретарша с огорчением сказала: «Ах, почему мы вовремя не уехали в Америку». Я ни о чем не жалел. Я не жалел также, когда наконец пришло подтверждение, что мне действительно следует вновь отправиться в лагерь.

Это подтверждение принесла мне моя горничная Леонтина. Возбужденная, полная сознания собственной важности, она сказала, что на мэрии висит объявление и что мне надлежит вновь отправиться в лагерь Ле-Миль. Распоряжение распространялось на всех родившихся в Германии и не имеющих французского гражданства немцев, которым к первому января текущего года не исполнилось пятидесяти шести лет.

Мне достаточно часто на моем веку приходилось слышать скверные новости, и я привык в таких случаях не давать воли своим чувствам, а холодно и спокойно обдумывать эти новости. И это сообщение, поскольку я ожидал его, также не очень взволновало меня. Я подумал, что, может быть, поскольку мне вот-вот исполнится пятьдесят шесть, меня освободят от интернирования. Очень хорошо помню, что в то время, когда Леонтина сообщала нам новость, я подсчитывал, сколько дней мне недостает до полных пятидесяти шести лет. Это было 18 или 19 мая, а пятьдесят шесть мне должно было исполниться седьмого июля. Очень хорошо помню также, что сразу заметил и мысленно принял к сведению, как изменилось поведение Леонтины: сложное смешение чувств отразилось на выражении ее лица, на выборе слов, на интонации, на жестах. Леонтина, красивая, полная особа около тридцати, вот уж шесть лет вместе с мужем служила у нас, я уверен, что оба они были преданы нам и, вероятно, преданы и сейчас. На лице Леонтины было непритворное сожаление; но в то же время на нем была также ясно выраженная радость, что именно она принесла сенсационную новость, было и любопытство, как я эту новость приму, и беспокойство за себя; что будет с нею самой, если мы оба, я и моя жена, окажемся в лагере, и, наконец, также, несмотря на преданность к нам, маленькое злорадство: теперь и я, ее «патрон» и «хозяин», почувствую на себе горечь войны, и даже в большей степени, чем она.

Для приготовлений мне давались сорок восемь часов.

Можно было взять с собой багаж весом до тридцати килограммов. Опыт, приобретенный при первом интернировании, говорил, что багаж прежде всего должен быть годным для переноски. Следовало быть готовым к тому, что его время от времени придется, двигаясь в колонне, самому тащить на дальние расстояния; такое со мной уже случилось осенью тридцать девятого в лагере. Начались горячие обсуждения, что же взять с собой. Прежде всего требуется одеяло, обязательно нужен также маленький складной стул, ведь в лагере стульев нет. Что касается

одежды и белья, то лучше взять с собой самое простое и крепкое из имеющегося, так как в условиях лагеря одежда очень быстро изнашивается, превращаясь в лохмотья. При выборе книг формат и вес имели значение: сдвиг ли не большее, чем содержание, предпочтительнее были портативные издания на тонкой бумаге. Я остановил свой выбор на томике Бальзака, содержащем в очень маленьком объеме шесть романов.

На следующий день мне из мэрии по телефону сообщили, где следует получить документ для отправки в лагерь. Нам, нефранцузам, было запрещено покидать наше постоянное место жительства без особого удостоверения; даже для поездки в концентрационный лагерь требовалось специальное письменное разрешение.

Служащий мэрии, человек, с которым мне за годы моей жизни в Санари очень часто приходилось иметь дело, был и на этот раз подчеркнуто вежлив со мной. Но, подобно большинству местных жителей, он испытывал по отношению к нам некое сложное чувство, в котором было всего понемногу: и любопытства, и искреннего сожаления, и страха принимать глубокое участие в людях, которых правительство изолирует и которые, следовательно, чем-то подозрительны. Деловито занялся он нашими пропусками. Если раньше, чтобы получить документ, необходимый, например, для поездки к зубному врачу, живущему в восьми милях от нашего местечка, иногда приходилось ждать пару недель, то на этот раз с ближайшего жандармского поста был немедленно вызван по телефону сержант, чтобы помочь служащему мэрии оформить документы.

Из Санари в мэрию пришли еще три немца. Нам велели дожидаться в помещении первого этажа мэрии, в котором обычно находились задержанные нарушители до прихода за ними жандармов. Этим помещением пользовался также ветеринар, приезжавший сюда раз в неделю для лечения мелких домашних животных. Теперь же здесь мы ждали свои документы. Нас было четверо, тех, кому надлежало завтра отправиться в Ле-Миль: художник Р., мой сосед, его сын, которому как раз исполнилось семнадцать лет и, следовательно, он подлежал интернированию, и, наконец, писатель К., немец, воевавший в Испании на стороне Республики.

Мы стояли и ждали. Мы всё представляли себе иначе, когда приехали во Францию. «Liberté, Egalité, Fraternité»¹ — эти слова огромными буквами были начертаны над входом в мэрию, когда несколько лет назад мы приехали сюда, нас чествовали, газеты помещали сердечные, преисполненные уважения приветственные статьи, власти объ-

¹ Свобода, Равенство, Братство (фр.).

явили, что Франция честью считает проявить к нам гостеприимство, президент Республики принял меня. Теперь же нас изолировали от французских граждан. Мы отнеслись к этому с горьким равнодушием. Эти годы очень убедительно показали нам все непостоянство человеческого поведения, мы не жаловались на судьбу и по-деловому обсуждали наше ближайшее будущее, как лучше всего добраться до Ле-Миля, сколько денег взять с собой и другие подобные вопросы.

Наконец явился жандарм. По дороге он задержал какого-то бродягу. Бродяга был пьян, и жандарм тоже был пьян, он сообщил нам, что в этот день был свободен от дежурства. Бродяга и жандарм хлопали друг друга по плечу, жандарм и каждого из нас похлопал по плечу, заявив, что ничего против нас не имеет. В помещении сильно пахло водкой.

Бланки анкет были обстоятельны, как и все служебные бумаги во Франции; следовало написать имя отца, имя матери и множество других подробностей, этого уж французы никогда не упустят. У пьяного жандарма дело с заполнением бланков не клеилось. Из наших документов он понял, что среди нас имеются отец и сын. Он спросил меня, пятидесятипятiletнего, не сын ли я тридцатисемилетнего художника Р., он никак не мог понять элементарнейших взаимосвязей, он вообще лыка не вязал и измучился с нами. Наконец мы позвали секретаря, чтобы тот помог жандарму.

На следующий день в такси мы поехали в лагерь.

Я очень хорошо помню несентиментальное прощание с женой. Мы были очень заняты укладкой багажа в старую, потрепанную машину; вдруг жена решила, что ей нужна бумага, чтобы что-то получше упаковать, и побежала за ней в дом; в таких хлопотах прошли последние минуты.

В пути нас остановили жандармы, они потребовали предъявить наши пропуска. Секретарь и пьяный жандарм в этих бланках на вопрос «цель поездки» ответили: «Выполнение правительственного задания». Проверяющие жандармы посмотрели на нас, переглянулись, поняли, в чем заключается правительственное задание, растерянно сказали: «Ага», приветствовали нас со смущенным сочувствием и пожелали удачи.

Миновав город Экс, миновав местечко Ле-Миль, мы проехали вдоль длинной низкой стены кирпичного завода и остановились наконец на пыльной проселочной дороге у входных ворот. Непосредственно за ними находилось небольшое караульное помещение. Несколько людей в

форме стояли и сидели возле него. Я рассчитался с шофером и попросил его передать привет моей жене.

Часы на главном здании кирпичного завода показывали две минуты шестого. Я мысленно отметил, что, следовательно, первые минуты после пяти вечера 21 мая были последними, которые я провел во Франции на свободе.

Я собрался было тащить свой багаж через двор к комендатуре лагеря. Я не очень-то искусен в подобных делах и просто не представлял себе, как буду тащить пятьдесят-шестьдесят метров два чемодана, большой и маленький, одеяла и складной стул. Я сунул складной стул под левую руку, одеяла — под правую, взял большой чемодан в одну руку, маленький — в другую. Но тут одеяла упали, я вынужден был положить вещи на землю и повторить все заново, когда же я счастливо все собрал, из-под руки выпал складной стул. Солдаты смотрели на меня серьезно, безразлично, невозможно. Сержант сказал: «Кончай, наконец, *allez hop!*» Я чувствовал себя совершенно несчастным. Это было примерно в пять минут шестого.

Но через минуту я был уже безмерно счастлив. Через двор прямо ко мне шли несколько парней, я не мог вспомнить их имена, но лица их я вспомнил, они были со мной здесь, в Ле-Миле, когда я попал в этот лагерь в первый раз; они не испугались окриков охраны: «Назад, назад», — да и сама охрана не принимала эти свои окрики всерьез. Парни сказали мне: «Хелло, значит, вы снова здесь? Вот уж не ожидали вас здесь увидеть», — и, завладев моим багажом, понесли его в комендатуру.

Сначала там заполнили кое-какие бумаги. Затем багаж подвергся осмотру, впрочем, не очень строгому. Старший по канцелярии, лейтенант, фабрикант из Лиона, элегантный господин с тронутыми проседью волосами и несколько усталым лицом, вежливо приветствовал меня, пригласил в канцелярию, спросил мое мнение о политическом и военном положении, выразил мне сочувствие в том, что обстоятельства вновь вынудили правительство изолировать нас, и высказал надежду, что и на этот раз поддержание продлится недолго.

Затем у окошка канцелярии меня спросили, сколько у меня с собой денег. Я несколько помедлил с ответом. Сержант сказал: «Можете спокойно говорить правду. Мы, как банк, сохраним вам ваши деньги. В любой момент вы сможете получить обратно столько, сколько захотите. В таких лагерях сильно воруют. Лучше хранить деньги у нас, чем все время таскать их с собой». Я так и поступил. И, как выяснилось позже, сделал ошибку: из сданных нами в канцелярию денег мы могли получать по специаль-

ному заявлению лишь малые суммы и через значительные интервалы, причем выдавали деньги нам не сразу, а с большой волокитой.

Когда со всем этим было покончено, мне дали номер — 187. Так этот номер за мной и остался на все время моего нахождения в концентрационном лагере.

Маленькое местечко Ле-Миль безобразно, но ландшафт вокруг него приятен и живописен; холмистая местность в голубых и зеленых тонах, маленькие ручейки, старые поместья, оливковые рощи, виноградники, множество лужаек, которых вообще-то в этих местах не так уж и много, стройный, высокий, видный издали акведук. И вот в окружении этого прекрасного ландшафта расположен наш неописуемо уродливый кирпичный завод.

Основное здание, большое и низкое, было окружено голыми белыми дворами. Несколько небольших вспомогательных строений использовались теперь для канцелярии, караульного помещения, лазарета, кухни, гаража. Все занимаемое заводом пространство с двух сторон было обнесено кирпичной стеной, с двух других — ограничивалось естественными откосами, и все было основательно защищено колючей проволокой и караульными солдатами. На колючей проволоке заднего двора интернированные обычно вешали белье, оно пестро полоскалось на ветру, перед проволокой ходили с лентой взад и вперед солдаты, и я испытывал странное чувство, глядя на прелестный холмистый нежно-зеленый ландшафт, такой близкий и такой недостижимый.

Если же смотреть со двора в большие ворота основного здания, то ничего не было видно — гигантская черная дыра. Каждый раз, переступая порог этого здания, следовало привыкать к темноте. Особенно на первом этаже мы постоянно спотыкались. Темные коридоры, которые шли вдоль ниш с установленными в них печами для обжига кирпича, были особенно узки там, где располагались наши соломенные лежа. Жилье наше очень напоминало катакомбы.

Примитивная деревянная лестница, узкая, грязная и ветхая, вела на второй этаж. Помещения там, правда, были просторнее, но окна почти полностью забиты досками, а свободные от досок стекла были покрашены темно-синей краской — защита на случай воздушной тревоги, — чтобы свет из помещений не проникал наружу. Таким образом и этот второй этаж всегда был полутемным, о чтении здесь нечего было и думать. Вечером включалось электричество, несколько слабых лампочек скорее подчеркивали, чем рассеивали темноту.

Так как большую часть дневного времени дворы были залиты яркими лучами солнца, то в эти часы казалось, что внутренние помещения вдвое темнее. Кроме того, все здесь было покрыто кирпичной пылью. Плотная, утоптанная, она делала пол неровным, на нем в большом количестве валялся битый кирпич, и всюду была пыль, пыль.

В этом-то здании нам предстояло проводить основную часть нашего времени. Здесь ели мы и спали, здесь находились, когда шел дождь или когда, что часто случалось в этой местности, сильный ветер поднимал во дворе гигантские тучи пыли. И даже при тихой, ясной погоде многие укрывались внутри помещения, так как дворы не имели тени, а летнее солнце Прованса долго не вытерпишь. Очень большую часть нашего времени, следовательно, мы проводили в темноте и в пыли.

Помещения второго этажа были заужены тянущимися вдоль стен стеллажами из жердсей, предназначенными для сушки кирпича, на отдельных участках эти стеллажи, прерываясь, образовывали ниши, слишком узкие, однако, чтобы их можно было использовать для спальных мест. На стеллажах можно было держать вещи, но при этом требовалась осторожность, так как мелкие предметы проваливались между жердями. Для чемоданов же и других более крупных предметов расстояние между полками стеллажей было слишком мало.

В помещении ничего больше не было. Нам выдали немного соломы и предоставили самим себе. Никаких стульев, скамеек, никаких столов, только повсюду битый кирпич. Мы пытались складывать из него сиденья, столы, но они все время разваливались.

И хотя этот второй этаж был не чем иным, как большим и пустым сараем, я все же радовался, что вновь попал сюда, так как «привык» уже к нему, к этому сараю, за время моего предыдущего интернирования; здесь мне знакомы были каждый оконный переплет, каждая жердь стеллажа, каждый кирпич. Удивительно, как быстро человек устанавливает связь со своим окружением, как передает неодушевленным предметам, с которыми вступает в соприкосновение, часть от своего «я», так что впредь они уже принадлежат ему и в какой-то мере становятся его сущностью. Темное, низкое помещение с пылью, грязью и соломой мне было не страшно только потому, что однажды я уже жил в нем, между мной и этим окружением установилась определенная связь; этот столб, который я всегда задевал, был враждебен мне, а вот тот, выступающий вперед, угол стал мне почти что приятелем.

Молодые люди, которые помогли мне в первые минуты моего появления в лагере, помогали мне и далее как могли. Они нашли мне местечко посветлее, в стороне от

прохода, оно оказалось возле стеллажей. Они набросали там немного соломы и накинули на нее мое одеяло. Вынули из моего багажа то, что я просил, разложили вещи на полках. Потом мы поели из привезенных мной запасов. Пить, впрочем, было нечего. С водой здесь было трудно, лагерное начальство разрешило брать воду для питья лишь из одного крана, да и эта вода была весьма подозрительной.

Один из встретивших меня у входа в лагерь молодых людей, Карл Н., австриец, считал своим долгом помогать мне постоянно. Несколько медлительный, как бы сонный, при всем том смысленный, доброжелательный, он был чрезвычайно предан мне. Интересовался он только спортом. Рослый, неуклюжий, флегматичный юноша оживал, едва начинал говорить о боксе, а еще больше — если разговор переходил на плавание, он сам был хорошим пловцом. Вероятно, занимаясь боксом, он получил однажды серьезную травму, сильно повлиявшую на его психическое состояние. Естественно, я оплачивал его услуги, но привязался он ко мне не только из-за денег.

К вечеру этого первого дня я очень устал и был доволен, что смогу наконец вытянуться на соломе, прикрытой одеялом. Но здесь выявились небольшие трудности, из каких, по существу, вся моя жизнь в последующие месяцы и состояла. Не так-то просто раздеться и приготовиться к ночи, если нет стула, стола, стакана воды, если в твоём распоряжении всего лишь небольшая охапка соломы и ты находишься в темном помещении, а вокруг тебя множество посторонних тебе людей. Не знаешь, куда деть одежду; пол страшно грязен, едва коснувшись его, все сразу же пачкается. А что делать с часами, что — с очками? Лучше всего положить их в ботинки. А куда поставить ботинки? Карл помогал мне изо всех сил, но удобно устроиться мне все равно не удалось. Пятидесятишестилетнему человеку, привыкшему к отдельной спальне и чистой постели, не очень-то просто спать на земле, на охапке грязной соломы, прежде всего, вероятно, потому, что он не знает, как это практически лучше всего делать.

Но в конце концов усталость трудного, полного волнений дня возобладала над множеством мелких неудобств, и, когда утром в половине шестого прозвучал сигнал подъема, он вырвал меня из глубокого сна.

На следующий день впервые была проведена поверка — нас было здесь около семисот, — и нас распределили по группам.

Человек, проводивший это распределение, был сержантом, а может быть, имел и более высокое звание: я очень

слабо разбираюсь в воинских знаках различия. Солдаты нашей охраны хоть арабами и не были, но носили красные фески. В этих ярких головных уборах со сверкающими на солнце птыками, солдаты, стоящие на откосах, напоминавших земляные укрепления, выглядели очень живописно — перед ними пронзительно-белый двор, за ними мягкий нежно-зеленый ландшафт, — но совсем не по-солдатски. Да солдатами они и не были, эти крестьяне и мелкие сельские ремесленники, которых наспех одели в военную форму. И сержант, проводивший поверку, статный человек со взъерошенными усами, мясистым лицом и могучим голосом, при всей внешней воинственности был добродушным, совсем не агрессивным парнем.

Сначала он разделил нас на три группы: немцы, австрийцы и бывшие иностранные legionеры.

Странное дело, бывшие солдаты иностранного легиона, уроженцы Средней Европы, в подобных случаях тоже подвергаются интернированию. Среди них были и такие, которые по двадцать или тридцать лет служили во французских войсках. Многие участвовали в боевых действиях на стороне Франции, иные в боях за Францию потеряли руку или ногу, почти все имели военные награды. И вот теперь они топчутся угрюмо здесь в лагере, грудь покрыта орденами и медалями, пустой рукав болтается, протез стучит по грязному двору кирпичного завода. Иные из них выглядят так лихо, что я, пожалуй, не хотел бы встретиться с ними один на один ночью. Многие уже не знают ни слова по-немецки, говорят только на французском. Даже солдат лагерной охраны возмущало, что Франция платит этим людям за их службу такой черной неблагодарностью.

Итак, из нас образовали три группы: немцев, австрийцев и иностранных legionеров. Это означало, что меня отделили от Карла и других услужливых молодых австрийцев. Затем нам предстояло разбиться на более мелкие группы: по двадцать человек. И эта случайная разбивка оказалась определяющей для нашей жизни на последующие недели, месяцы; каждый из нас днем и ночью в основном общался лишь с членами своей группы, мы оказались связанными местом для сна, распределением пищи и работой. Члены группы стали товарищами по еде и сну, свидетелями отправления всех физических функций; в сотнях повседневных мелочей человек зависел от людей той группы, к которой принадлежал. Да, мы постоянно были связаны друг с другом, и случай, который свел нас в одну группу, стал причиной иных дружественных и иных неприязненных отношений, сохранившихся на долгое время.

Разделив на группы, нас вновь отвели на второй этаж. Если в первый день мы вольны были сами выбирать себе место для сна, то теперь каждой группе был указан свой участок для размещения. Моя группа получила не очень-то хороший участок. Нам предстояло поместиться в середине зала, вдали от окон и стеллажей, там, где было темнее всего. Кроме того, лежали мы или стояли, мы всегда оказывались у кого-то на дороге и, вольно или невольно, всем приходилось топтать по нашим подстилкам или перешагивать через них. Кроме того, отведенное нам место было очень малю; замерив его, мы установили, что на каждого приходится пространство шириной всего в семьдесят семь сантиметров. Прохода между нашими соломенными постелями и их рядами не было вовсе, так что мы спали не только бок о бок, но и голова к голове.

Члены нашей группы стали стелить солому, моего Карла не было видно, он не мог отойти от своих австрийцев, которые получили участок совсем в другом конце. Мне соломы не досталось. И я стоял совершенно беспомощный. «Подойдите сюда, ко мне»,—позвал меня один человек из моей группы, и он стал отныне моим соседом. Рабочий-механик, невысокий, добродушный, но очень вспыльчивый человек примерно сорока пяти лет, он говорил на таком трудном саарском диалекте, что порой я едва понимал его.

Ловкий и предупредительный, он оказался очень приятным соседом. С помощью моего чемодана он тотчас же соорудил мне разделительную стенку в изголовье, так, чтобы я и мой сосед не стукались головами. При этом удалось выкроить место и для ботинок; ночью я мог держать в них часы и очки, чтобы те не сломались или не затерялись в соломе. И в дальнейшем механик оказывал мне кое-какие услуги. Вместе с французскими рабочими он работал в мастерской, еду ему давали лучше, чем нам, и вечером он всегда приносил мне что-нибудь вкусненькое, а нередко и вино; кроме того, он делился новостями, услышанными в мастерской от товарищей по работе. Едва ли здесь в лагере можно было пожелать лучшего соседа. У него была только одна неприятная особенность, в которой он не был виноват: ночью после работы от него не очень-то приятно пахло.

Вчера только я с удобством разместил свои вещи на полке стеллажа. Теперь, лишившись места возле стеллажа, я по неписаным законам лагеря потерял право им пользоваться. Правда, новые владельцы моего прежнего места сразу же разрешили мне по-прежнему занимать часть стеллажа. Подобно большинству моих товарищей по группе, и они были пролетариями. Относились они ко мне

дружелюбно и с уважением. Хотя это и запрещалось, они отодрали от стеллажа несколько брусков и соорудили мне в оконной нише наискось от моей постели нечто вроде скамьи и стола. Так я получил возможность сидеть и сидя есть, писать и читать. Весьма скоро мое соломенное ложе и нишу со столом и скамейкой я стал считать своим жилищем, своей естественной средой обитания, более того, частицей моего «я».

Все четверо рабочих из моей и соседней группы, с которыми я охотно общался, были саарцы. Вообще среди нас было много жителей Саарской области. Тем, которые при плебисците, решавшем, является ли Саар немецкой или французской территорией, оказались скомпрометированными агитацией в пользу Франции, ничего не оставалось, как бежать во Францию. Франция обещала взять их под свою особую защиту, теперь она упрятала их в концентрационный лагерь.

Из четырех саарских рабочих, с которыми я подружился, один был кочегар, другой работал столяром на мебельной фабрике, затем был мой сосед по соломенному ложу — механик — и еще один механик, место которого было наискось от моего. Французский был для всех четверых родным языком, у трех из них жены были француженки. Мне они помогали умело и с удовольствием и всегда готовы были поболтать со мной. Я много узнал от них о жизни рабочих Саара и юга Франции.

По соседству от меня расположился жизнерадостный портной-саксонец, всегда голодный и всегда готовый услужить по кухонной части, в расчете на то, что ему кое-что при этом перепадет, затем — парикмахер, маленький, словно карлик, равнодушный к деньгам, вечно держащийся настороже, и, наконец, веселый, знающий людей трактирщик из Тулона. Все они тоже были общительны, но, в отличие от рабочих, не высказывали собственных политических мнений и всячески старались вызвать впечатление у окружающих, что они ни в коей мере не беженцы, а немцы, иностранцы, которые хотя и не сочувствуют нацистам, но покинули Германию с разрешения властей и с документами, находящимися в полном порядке.

Старостой нашей группы был трактирщик из Тулона. Должность старосты не давала никаких преимуществ, но обременяла кучей обязанностей. И тем не менее в каждой группе было немало желающих занять этот пост. Некоторые оказались для этого совсем непригодными и вскоре были смещены. Это задело их. Вообще поразительно, сколь многие испытывают потребность что-то организовать, сколь многие ищут повод показать свою значительность.

Свое распоряжение об интернировании Париж распространил также и на беженцев из Австрии и Чехии, поэтому в последующие дни к нам в лагерь стали поступать сотни новых людей. Многих привозил сюда полицейский транспорт, и обычно их доставляли в наручниках—скованных попарно. Хотя вообще интернированию подлежали люди не старше пятидесяти шести лет, но власти не очень-то строго придерживались этого указания. В наручниках, например, был доставлен некий почтенный господин из Марселя 1882 года рождения. Когда он хотел на основании своего паспорта убедить полицейского, что его возрастная группа интернированию не подлежит, жандарм ответил, что пришел к нему не затем, чтобы заниматься вычислениями, но чтобы арестовать его.

Вскоре наш кирпичный завод стал очень тесен для такого количества людей, каждый уголок в нашем помещении оказался занятым. Среди нас были теперь люди всех возрастов и самого разного общественного положения. Моя память сохранила мало имен, но лица и особенности многих я все же запомнил.

Так, был здесь промышленник, тоже из Саара, спокойный, порядочный господин. Всегда с портативной пишущей машинкой на коленях, он печатал какие-то письма и сметы. Он находил тысячи возможностей раздобывать последние новости, газеты и продукты питания. Он щедро оделял ими других и создал вокруг себя известный уют.

Был еще один, очень самоуверенный господин, всегда окруженный группкой людей, почтительно его слушающих. Он был зубной техник из Монте-Карло и, как выяснилось позже, был нацистом. С самого начала он показался мне очень уж властным. Возможно, впрочем, что я вообразил его таким лишь потому, что случай сделал его владельцем спального места, расположенного несколько в стороне от других, между двумя проходами к стеллажу. Болезненно придерживавшийся порядка, он тщательно огородил свой участок кирпичами. И вот по вечерам и утру он весьма внушительно возлежал, окруженный кирпичным обрамлением, словно на катафалке.

Затем, примерно двадцатым от моего места, было место Газенклевера, одного из основателей немецкого экспрессионизма.

Был тут еще один спокойный, сдержанный господин, которого первая мировая война застала в Индии, там его интернировали, и он провел в лагере всю войну. Он был терпелив и к своей судьбе относился как истинный философ; он привез с собой складной стульчик и эту, вторую, войну приготовился провести в концентрационном лагере, сидя на своем стуле.

Был еще один господин средних лет, невысокий, полноватый, веселый, хитрый и общительный; много лет он прожил в Марселе и владел там кинотеатром; теперь он слонялся по лагерю в белых, невообразимо грязных пижамных штанах с ночным колпаком на круглой голове и, вопреки категорическому запрещению коменданта держать собак, с маленькой собачонкой на поводке. Караульные солдаты и сержанты были расположены к этому веселому человеку, он подкупал их, и они терпели его собаку. Собака спала с ним на соломе, иногда лаяла, тогда все требовали от хозяина, чтобы он бога ради ее утихомирил. Если же вблизи показывался офицер, то два десятка человек — и караульных и интернированных — кричали: «Вайнберг, собаку, собаку прячьте!» Собаку усердно прятали, и офицер, стараясь не заметить собаку, уходил.

Очень со многими людьми, бывшими со мной в лагере, я при других обстоятельствах никогда бы не встретился. Появись они теперь передо мной, я бы, вероятно, не обратил бы на них внимания или, увидев, тотчас позабыл бы их. Тогда же совместная наша жизнь, одинаковые условия существования понуждали меня к общению с ними. Каждый испытывал потребность выговориться, рассказать о себе, о своей судьбе. За свои пятьдесят шесть лет я имел дело с тысячами самых разных людей разного социального положения, потому-то я и стал не очень любопытен до людей, и особенно трудно мне было в лагере потому, что я, как, впрочем, и любой из нас, ни на минуту не мог остаться наедине с самим собой. Постоянно, и днем, и ночью, даже в отхожем месте, возле тебя всегда были сотни людей — болтающих, смеющихся, кричащих, вздыхающих, плачущих, жрущих, чавкающих, сопящих, храпящих, выпускающих газы, воняющих, потеющих, моющихся. Да, любое отправление осуществлялось при всех, и, само собой разумеется, никто не испытывал ни малейшего стыда перед другими.

Но как бы горячо я иной раз ни мечтал о том, чтобы избавиться от этих постоянно окружающих меня людей, я все же не жалею, что в мою жизнь вторглось такое обилие лиц. Я укрепился в своем давно сформировавшемся мнении, глубоко прочувствовал его — нет на свете двух одинаковых людей, каждый человек чем-то отличается от других, каждое, даже самое незначительное лицо неповторимо, каждое человеческое действие своеобразно.

Из наиболее близких мне соседей по спальному месту вспоминаю еще одного, тщедушного бородатого раввина, который, накрывшись талесом и опутав себя молитвенными ремешками, много молился, каждый раз пытаясь найти

среди стеллажей укромный уголок, чтобы его не увидели и не помешали ему.

В Ле-Миле было довольно много ортодоксальных евреев, они строго придерживались своих обычаев и вели себя при этом очень незаметно. Лагерное начальство определило им места для богослужения, где они могли молиться, не мешая другим. Вообще, французы были в этом очень предупредительны. Самый большой еврейский праздник, Йом-кипур—Судный день, был как раз тогда, когда я находился в этом лагере в первый раз. С разрешения лагерного начальства правоверные евреи соорудили из битого кирпича некоторое подобие синагоги, алтарь, «альмемор», ларь для хранения свитков торы, скамью с пюпитром для кантора. Когда долгий день кончился и кирпичи следовало снова разобрать, несколько шутников подошли к группе интернированных, которых подозревали в сочувствии к нацистам, и крикнули: «Требуется антисемиты для разрушения храма!»

Тщедушный правоверный раввин, о котором я говорил, тихий, незаметный человек, к своему несчастью, имел очень неприятного соседа «по соломе», пожилого человека с физиономией актера, любившего подражать голосам животных. Так, едва утром в половине шестого звучал сигнал побудки, он громко кукарекал. Днем на дворе он мастерски имитировал мычание коровы, лай собаки, ржание лошади, трели соловья, и ему доставляло особое удовольствие прохаживаться с невозмутимым видом, радуясь своей шутке. Своего соседа раввина он почему-то невзлюбил и жестоко мучил беднягу: не только ржал и мычал непосредственно ему в ухо, но щипал и даже бил его, так что другим часто приходилось вмешиваться, чтобы прекратить это издевательство.

Я не знаю, был ли этот звукоподражатель вполне нормальным человеком. Многие из интернированных в горькие годы изгнания, и в особенности в первый год войны, свихнулись.

Так, например, в больничном бараке находился некий образованный человек с хорошими манерами. Однажды, когда легко больным разрешалось гулять во дворе, он подошел ко мне и рассказал о своей удивительной судьбе. Многие годы он был учителем гимнастики на фешенебельном курорте на Ривьере. Во всем абсолютно он чувствовал себя французом, но, вероятно, не придавая этому значения, по небрежности не натурализовался. При первом интернировании, сказал он мне, он перенес тяжелый шок, и его перевели в Марсель, в военную психиатрическую лечебницу. Выпущенного оттуда, его доставили в больничный барак Ле-Миля. Он утверждал, что обладает удивительным даром: по запаху человека может определить,

кем в действительности этот человек является, может установить всю его подноготную. Еще тогда, в лечебнице Марселя, он-де установил, что среди тридцати больных, по крайней мере, восемь — нацисты. Он тотчас же явился к коменданту и доложил ему об этом: «Господин капитан, среди нас восемь нацистов». Капитан на это ответил лишь: «Немедленно отправляйтесь назад в сумасшедший дом». Теперь, при вторичном интернировании, врачи, как только он прибыл, сразу же сунули его в больничный барак. И здесь тоже ему удалось обнаружить нацистов, на этот раз — четырех. Если он доложит об этом коменданту, тот наверняка опять отправит его в сумасшедший дом в Марсель. «Как поступить? — спросил он меня. — Может быть, вы доложите коменданту об обнаруженных мной четырех нацистах?»

Был среди нас и пожилой австрийский ученый, преподававший до эмиграции в венском вечернем университете. Он был страшно уродлив, пожалуй, самый уродливый из когда-либо встречавшихся мне людей. Был он истощен, весь скрючен, огромные руки его болтались, придавая фигуре что-то обезьянье. Лицо костлявое, очки, борода густая, всклокоченная. Он был очень неряшлив, непрерывно чмокал, что-то жевал; если он не ел, нижняя челюсть его всегда сильно отвисала. Он не ходил, а беспокойно бегал и при этом подпрыгивал; пожалуй, даже больше, чем на обезьяну, он походил на старую шелудивую птицу. Нет, глупым он не был, подчас говорил поразительно разумные вещи, но совершенно утерять понимание действительности. Вероятно, пытки, которым его подвергали нацисты в концлагерях, нарушили его психическое равновесие. Необыкновенно эрудированный, он с пониманием дела мог высказаться по любому мыслимому вопросу, был, что называется, ходячей энциклопедией. Тысячи подробностей из моих книг хранились у него в голове, тогда как мной они давно уже были забыты. Голос у него был приятный, но несколько елейный, иному это начинало действовать на нервы. Он любил поучать, говорил длинными, закругленными фразами, вмешивался в любой разговор, подчас мешая беседующим. Выставлял свое большое ухо, как бы подслушивая, а затем высказывал нечто ученое, четко сформулированное, но отношения к делу не имеющее. Вероятно, он чувствовал себя немного Сократом, прогуливающимся среди людей и задающим вопросы, поучающим себя и других. Очень серьезно относясь к своим высказываниям, он считал, что для всех они представляют огромный интерес. Указывая, например, на какое-нибудь место возле уборной, он говорил, грызя сухарь: «Здесь шестого февраля в пять вечера я начал знаменательный разговор с

профессором К. относительно влияния учения Лейбница о монадах на наше время». Среди всех обитателей кирпичного завода Ле-Миля, он, пожалуй, был самым счастливым. Здесь в лагере у него была аудитория, многие охотно слушали его, и нередко вокруг него собирался кружок. Ему не мешало, напротив, даже нравилось, когда его принимали за чудака, за человека не от мира сего. Лишь бы слушали, лишь бы общались с ним. Больше всего он боялся, что такой его славной, налаженной лагерной жизни вдруг придет конец. После первого интернирования в начале войны он не хотел покидать лагерь. Солдаты вынуждены были силой выпроводить его за пределы территории. Затем, под шутки, ему на штыке перекинули через кирпичную стену его узелок с вещами.

В это время у меня была длительная беседа с комендантом лагеря, капитаном Г. Я спросил его, имею ли я какие-нибудь виды на скорое освобождение. Капитан Г., коренастый господин, до призыва был владельцем шляпной фабрики в Париже. Лицо у него было мясистое и очень красное, он казался мне хитрым, мрачным и упрямым. Я знал его еще со времен моего первого пребывания в лагере как человека корректного и вежливого, таким он был и теперь. Как он, так и вышестоящие чиновники, разъяснил он мне, хорошо знают, кто я такой. Безусловно меня скоро освободят. Однако сортировка, что, собственно, и является основной целью нашего интернирования, может начаться лишь тогда, когда все подлежащие проверке будут собраны вместе. Я спросил его, долго ли нам еще придется ждать. Он ответил, что определенно ничего сказать не может, но лично он полагает, что дата будет определена через несколько дней.

«Через несколько дней». Офицеры вновь и вновь повторяли это. Никто этой фразе не верил, но каждый за нее цеплялся. Да, на протяжении этих двух первых недель нашего интернирования мы только о том и говорили, только один вопрос и обсуждали, когда же начнется этот «le triage», этот отбор, эта сортировка, о которой мы так много слышали. Мы спрашивали себя, какие критерии будут положены в ее основу, будет ли создана особая комиссия, приедет ли она в лагерь и тому подобное.

Комиссия так и не явилась, сортировки никто не производил, да и вообще осталось под вопросом, была ли бы она проведена, даже если бы обстановка не изменилась так, что сортировка уже стала невозможной.

Официальная версия гласила, что нас изолировали по военно-техническим соображениям. Среди нас, уроженцев Центральной Европы, предположительно могут оказаться

друзья нацистов, члены «пятой колонны», и поэтому правительство Франции желает еще раз провести самое тщательное расследование. Лишь очень немногие из нас полагали, что эта причина — истинная. Нас, беженцев из Германии, уже десятки раз отфильтровывали, с самого начала войны мы находились под постоянным строгим полицейским надзором, не смели покинуть свое местожительство. Нет, господа из высших сфер знали точно, что шпионов, саботажников, друзей нацистов и главарей «пятой колонны» следует искать не среди нас, а в другом месте, что эти люди сидят очень высоко, обладают влиянием и силой. Нас интернировали только для того, чтобы заморочить головы обывателям, направить бдительность народа по ложному пути, отвлечь от тех, кто в действительности нес вину за непрерывные военные провалы и к кому было не подступиться.

Я не думаю, чтобы в основу нашего интернирования было заложено желание сделать нам зло, и если оно все же принесло огромные беды и неисчислимый материальный и духовный ущерб, а то и стоило жизни, то сделано это скорее всего не по злобе, а просто по необдуманности. Если в Европе кто-нибудь живет хорошо, о нем говорят: «Живет, как бог во Франции». Возникла эта поговорка, вероятно, потому, что во Франции издавна умели жить и давали жить другим, что жить здесь было легко и приятно. Но если богу во Франции жилось хорошо, то, как раз вследствие такого присущего французам небрежно-легкого отношения к жизни, и черту там жилось не плохо. Свою халатность, манеру вести дела спустя рукава французы обозначили выражением «Je m'en foutisme», выразили свой жизненный принцип фразой: «Je m'en foue» — «Плывать мне на это». И я не думаю, что в нашем несчастье был повинен злой умысел, не думаю, что черт, с которым нам начиная с 1940 года пришлось во Франции иметь дело, был особенно продувным малым, которому доставляли удовольствие его садистские шутки. Скорее я полагаю, что это был черт небрежности, недомыслия, косности, лени, рутины, как раз тот черт, которого французы очень точно обозначают словом: «Je m'en-foutisme».

Конечно, организацию интернирования, порядки в концентрационных лагерях трудно понять тем, кто полагает, что власти, прежде чем предпринять что-либо, думают о последствиях своих действий. Французские власти о последствиях не думали. Мы спрашивали себя: зачем, если не с целью нанести нашему здоровью вред, нас размещают в темных, пыльных помещениях кирпичного завода, где очень мало воды для мытья и вовсе нет питьевой воды? На подобные вопросы французские офицеры отвечали:

«Нашим солдатам на фронте не лучше». Вероятно, намерения содержать нас плохо, как врагов, у французских властей не было. Им было прекрасно известно, что из ста интернированных девяносто девять — безусловно ни в чем не повинные люди, друзья Франции, которые приехали во Францию полными доверия к французскому гостеприимству, были сердечно встречены народом и правительством. Это естественные, истинные союзники Франции в борьбе против Гитлера. И если нас тем не менее поместили в такие скверные условия и, пренебрегая элементарнейшими правилами гигиены, наносили ущерб нашему здоровью, то произошло это из чистого недомыслия, из-за недостатка организаторского таланта.

Выполнение приказа об интернировании проводилось очень строго; очевидно, мелкие чиновники получили указание изолировать предпочтительно больше людей, чем меньше. Интернировали не только немцев, австрийцев и чехов, как указывалось в инструкции, но среди нас оказались также и люксембуржцы, голландцы, бельгийцы, скандинавы. Жаловаться было бесполезно, кто однажды попал в лагерь, даже если это было превышение власти или ошибка полицейского, выйти уже не мог.

Странно было видеть, каких людей загоняли в лагерь по подозрению в связях с «пятой колонной». Среди нас был человек, четыре сына которого служили во французской армии, был среди нас брат офицера генерального штаба. Более десяти интернированных имели французские ордена, среди них были и кавалеры ордена Почетного легиона. Меня принимал президент Республики, в листовках, сбрасываемых английскими летчиками над Германией, приводились цитаты из моих произведений, я был автором книг, в которых описывалось варварское поведение нацистов, их прочли миллионы, нацисты публично объявили меня «врагом номер один». Интернирование столь большого количества людей, безусловно показавших себя заклятыми врагами нацистов, было грубым и досадным фарсом.

А Париж между тем, вместо того чтобы смягчить предписания об интернировании, ужесточал их. Возрастная граница была теперь повышена с пятидесяти шести до шестидесяти пяти лет. Горькая шутка утверждала, что военная инстанция из злобного наплевательства узаконила описку какого-то писаря.

Непрекращающимся потоком вливались в наш лагерь новые люди. Помещения первого и второго этажей были забиты до отказа. Повсюду можно было споткнуться о кирпичи, наступить на соломенную подстилку, на лежащего человека. Люди сидели и лежали вплотную, друг подле

друга, буквально друг на друге, а битые кирпичи стали предметом вожделения, каждый стремился стать обладателем четырех-пяти кирпичей, чтобы соорудить себе нечто вроде сиденья.

Среди вновь прибывших в лагерь пожилых людей были люди культурные, с поразительными знаниями. Здесь оказалось несколько венцев, воспринимавших события философски. Так уж случилось: им не повезло, они оказались втянутыми во французскую бюрократическую военную машину; пытаться увязать действия этой машины с основами разума или человечности было бессмысленно. Ведь если оказываешься в зоне землетрясения, имеет ли смысл проповедовать рушащимся стенам основы разума? Эти люди предпочитали сидеть на своих складных стульчиках или на битом кирпиче и спокойно беседовать о книгах, о музыке или же о других прелестях и приятностях своей прежней жизни. В их хорошо темперированных беседах о Малере, Шницлере, Герхарте Гауптмане, о достоинствах той или иной красивой женщины, того или иного ресторана был мягкий отблеск прежних Вены, Парижа, Канна. Мы бродили с этими господами в изношенных, грязных костюмах по пыльному ярко-белому двору, где нас постоянно толкали наши соллагерники, или сидели в сторонке у самой колючей проволоки, коснувшись которой ненароком можно было сильно расцарапать кожу, и вспоминали о всяких прекрасных вещах из прошлой жизни, спорили, внес ли Джеймс Джойс в литературу нечто принципиально новое или это «новое» существовало и до него, например, в некоторых новеллах Шницлера.

Австрийскому характеру присуща, мне кажется, известная медлительность, смирение, то, что можно было бы назвать мудростью, невозмутимостью или также отсутствием энергии, вялостью, флегматичностью; даже в лагере у большинства австрийцев можно было проследить эту особенность, безразлично, были ли они евреи или христиане, директора банков, промышленники или пролетарии, коммунисты или легитимисты. Впрочем, австрийцы были более общительны, чем немцы, не такие замкнутые и чопорные, как многие из нас, более любезные, разговорчивые, но и более шумные, воинственные. Все мы варились в одном котле, однако подчас, сколь бы бессмысленно это ни было, вспыхивала нелепая неприязнь между немцами и австрийцами. Австрийцы смеялись над дисциплиной, которую старались поддерживать среди интернированных немцы — старшие по помещениям и старосты групп, а немцы были горды тем, что проверяющие французские сержанты находили у них больше порядка, чем у австрийцев.

Повышение возрастной границы имело своим следствием то, что в лагере появились последние два немца из моего Санари, один шестидесяти одного года, второй — пятидесяти шести.

Этот последний, писатель, при выходе первого постановления об интернировании как раз достиг установленно-го этим документом предельного возраста, тогда как мне оставалось до него еще несколько недель. Естественно, он искренне сочувствовал мне, подпавшему под действие этого постановления. Сам он был глубоко убежден, что ему ничто не грозит, и считал чуть ли не личной заслугой, что так точно и своевременно достиг установленной возрастной границы.

Большинство людей, даже если они и не желают в этом признаться, полагают, что выпавшее на их долю счастье определяется их личными качествами, но в то же время они, естественно, не желают рассматривать с таких же позиций несчастье. Если у них несчастье — значит, вызвано оно несправедливостью судьбы или бога и их следует пожалеть; если счастье — то это их личная заслуга.

И мой бедный сосед, десять дней назад такой счастливый, сейчас думал так и в бессознательной ярости ходил по лагерю. Еще более озлоблен был мой второй знакомец по Санари — шестидесяти одного года, хорошо физически сохранившийся оперный певец.

Ему действительно особенно не повезло. Как и всех нас, его в начале войны интернировали. Но тогда почти всех пожилых людей, задерживать которых не было особых оснований, через несколько недель выпустили, его же оставили в лагере. У него, как выяснилось позже, было неважное досье. На него поступили доносы: жители Санари подозревали, что он немецкий офицер, посланный тайной полицией во Францию с секретным заданием.

Человек этот много лет жил во Франции, имел хороший дом в Санари, выглядел типичным немцем, говорил на плохом французском языке, и простому человеческому рассудку было не понять, зачем нацистам для своих темных махинаций привлекать именно такого неподходящего человека. Обвинение основывалось на сообщениях его приходящей прислуги, садовника и других жителей местечка, утверждающих, что они видели в его доме фотографию, на которой он снят в форме немецкого офицера. Он же, певец по профессии, с такой же убежденностью утверждал, что во время первой мировой войны в армии не служил, правда, в очень молодые годы был солдатом, но совсем недолго. То, что он свое звание офицера отрицал, вызвало у французских чиновников подозрение, и его досье стало неблагоприятным.

Впрочем, дальнейшие расследования показали, что на предосудительной фотографии певец был изображен в роли дона Хосе из оперы «Кармен». Но поскольку подозрение было однажды зафиксировано, черт в своем французском обличье, то есть неряшливая и безответственная французская бюрократия, держал человека цепко и на волю не выпустил.

До того как оказаться в лагере, он чувствовал себя нестарым человеком. Но досада и отчаяние, вызванные длительным заключением, за три недели сделали его седым, дряхлым стариком. С ним был тогда интернирован его сын, молодой человек лет двадцати, он видел, как лагерь изнуряет его отца, и хотел ему помочь.

Одно средство имелось. Французские офицеры, недвусмысленно намекали, что они выпустят отца при условии, если юноша вступит в иностранный легион. Но служба в иностранном легионе пугала не только тем, что была очень тяжелой и что легион в последнюю войну понес страшные потери; человек, вступивший в это войсковое соединение, обязан был служить много лет. (Позже этот срок был сокращен.) Сын певца колебался, не знал, как ему поступить. Следует ли ради немногих лет, которые осталось прожить отцу, испортить всю свою жизнь? Сам отец не требовал жертвы, он молча, затаившись, бродил по лагерю, на глазах старея день ото дня. Но этой жертвы от сына требовала мачеха, богатая дама, от которой отец и сын зависели материально. После долгих колебаний сын наконец сдался и записался в иностранный легион.

Перед отъездом в Африку он получил несколько дней отпуска. Отец, прежде полный, теперь же сильно исхудавший, и сын пошли прогуляться по Санари, и местное население потом целую неделю восхищалось самопожертвованием сына и его любовью к прекрасной и великодушной Франции.

А теперь оказалось, что жертва сына была напрасной и отец вновь попал в заключение.

Эта история с фотографией, на которой певец был запечатлен в роли Хосе и которая так трагически определила судьбу и его, и сына, очень характерна для дурацкой практики тайной французской полиции; деятельность же французской контрразведки на нашем юге — материал для грустного фарса.

Позвольте мне рассказать о моем опыте общения с французской военной полицией. В нашем Санари с начала войны размещались колониальные войска, причем их очень часто меняли. Каждая новая часть прибывала со своей собственной полицией, и каждый раз эта полиция

задавала иностранцам, проживающим в Санари, одни и те же глупые вопросы. Спрашивали, когда и где родились отец и мать, когда и где поженились, интересовались другими подобными датами, записанными уже сотни раз и внесенными в сотни картотек. Кроме того, в Санари находился специальный чиновник для постоянного наблюдения за нами. (В Санари к началу войны жило около четырех тысяч человек, причем среди многих других иностранцев было примерно двадцать пять немцев, австрийцев и чехов.) Человек, которого власти уполномочили надзирать за нами, служил раньше клерком маленького местного филиала банка, он был тогда к нам скорее доброжелателем. Теперь же, когда все иностранцы местечка оказались в известной мере зависимыми от него, он почувствовал себя значительной особой и решил, что уж один его вид должен их, в особенности женщин, держать в страхе. Но и ему подчас было неловко задавать иные вопросы, хотя он объяснял нам, что вышестоящие власти требуют донесений по всей форме и без ответов на эти вопросы не обойтись.

Он спрашивал меня, например, почему моя секретарша ночью стучала на пишущей машинке, население, говорил он, может подумать, что в этом доме печатаются секретные донесения нацистам. Моей жене, выезжавшей по своим делам в соседнее местечко, приходилось почти всегда прихватывать с собой попутчиками солдат, если они просили ее об этом. Почему она поступает так, спрашивала полиция: население может решить, что она хочет выведать у солдат военные тайны. Когда она после этого стала отказывать солдатам, полиция спрашивала, почему жена так поступает: такое поведение недружественно по отношению к французской армии, население может счесть его провокацией. Меня спрашивали, чем я могу доказать, что я писатель. Я выкладывал на стол французские издания моих книг; это не удовлетворяло полицию. Я предъявлял статьи, напечатанные обо мне и моих произведениях в ведущих французских газетах, но и этого было недостаточно. Я получил денежный перевод от моего американского издателя. Полиция проводила длительные расследования, выясняя, откуда эти деньги и за что я их получил. Население считает, заявила полиция, что деньги пришли от Гитлера или от Сталина.

Если мы хотели поехать к зубному врачу или за покупками в Тулон, расположенный от нас в восьми милях, нам необходимо было выполнить предварительно ряд формальностей, принести фотографии, дать сведения об отце и матери и тому подобное. В самом благоприятном случае такое разрешение выдавалось нам лишь через десять дней. Всерьез причины и цели поездки не проверя-

лись никогда; требовалось лишь какое-нибудь письменное, а еще лучше заверенное печатью подтверждение необходимости поездки. Нужны были только документы: чиновник хотел защитить себя грудой исписанной бумаги.

Мне больше, чем другим, перепало страданий от придинок бюрократии, и поэтому я более чувствителен к ним, чем другие. Мой разум непрерывно восстает против глупой обстоятельности, с которой управляется мир. Ах эти «всеобщие предписания, эти *«Mesures générales»*. В большинстве случаев они не причиняют ни малейшего вреда тем, против кого направлены, но ранят невиновных. Сколько лишенных всякого смысла действий совершаем мы под нажимом бюрократических предписаний! Большую часть жизни я провел, стоя в очередях различных учреждений, прося и дожидаясь и применяя тысячи уловок лишь для того, чтобы доказать, что я действительно родился, родился именно в Мюнхене, именно в 1884 году. При этом серьезные проверки правильности моих показаний предпринимались крайне редко; в большинстве случаев требовалось лишь предъявить одну исписанную бумажку с печатью взамен другой такой же бумажки с печатью и оплатить требуемые сборы. Я смог бы — а пишу я очень медленно — написать на две книги больше, если б отдал литературному труду все время, потраченное мной на бесполезное хождение по различным учреждениям и казармам, на бесполезное ожидание приема.

Живя в Германии, я склонен был считать бюрократию типично немецким пороком, уродливым порождением склонности немцев к порядку и организованности. Потом я убедился в том, что в Советском Союзе дело с этим обстоит еще хуже. Затем в свободной индивидуалистичной Франции я столкнулся с еще более развитой бюрократией, смягченной лишь ленью и небрежностью чиновников, и, наконец, в Америке я совершенно заблудился в бескрайних джунглях бюрократии.

Вероятно, закономерно, что все более и более растущая механизация и рационализация экономики непременно ведут к необходимости гигантской системы документов. Чем больше внедряются принципы плановой экономики, тем больше появляется опасность того, что жизнь отдельного индивидуума окажется в плену бюрократии. И тем больше будет также опасность того, что сами по себе хорошо сочиненные схематические предписания на практике превратятся для отдельного человека в бессмысленные помехи: разум станет глупостью, благоденствие — мучением.

Мне кажется, эту опасность можно предотвратить. Каждому закону, каждому предписанию должно быть предпослано объяснение, с какой целью они вводятся. А

судье, выносящему приговор, чиновнику, исполняющему его, должно быть предоставлено право исполнять предписание или закон лишь тогда, когда это способствует достижению соответствующей цели, и уклоняться от исполнения, если оно со всей очевидностью противоречит ей. Принцип относительности следует осмысленно распространить на деятельность правовых учреждений и исполнительной власти.

Этому должны предшествовать серьезное воспитание и тщательный отбор служащих. Французские чиновники, например, получали ничтожное жалованье, к духовной элите отнести их было никак нельзя. Они были продажны и бездарны. Их инертность, взяточничество, слепое следование однажды заведенному порядку способствовали поражению Франции.

Наш день в Ле-Миле протекал следующим образом.

Утром в половине шестого звучал сигнал побудки. Приятный сигнал, он не всегда удавался трубачу, но мы отлично распознавали его, и многие из нас подхватывали его, свистели, подпевали. Каждое утро неизбежно звучало ужасное кукареканье имитатора звуков. Затем неизменно возникал спор о том, какое окно следует открыть. Со всех сторон слышалось громкие хрюканье, стенания, позевывания, отрывивания людей потягивающихся, распрямляющих свои затекшие от сна члены, неохотно начинающих свой безрадостный день, одни и те же поговорки, похабные шутки, чудовищные непристойности, одни и те же грубые ругательства.

Так было в помещениях второго этажа. Тем временем в первом этаже, темном, похожем на катакомбы, собиралось множество людей, сотни две-три, каждый с какой-либо посудиною в руках, нетерпеливо дожидаясь, чтобы открыли двери. И едва раздвигались большие створки ворот, все эти люди выбегали из здания и начиналось дикое состязание в беге—к умывальникам, к отхожему месту. Люди бежали, иные неловко—среди нас были пожилые, физически не тренированные, бег был гротескным. У отхожего места, у кранов умывальников устанавливались очереди.

Очереди были приметой лагеря. Стояли в очереди возле канцелярии, когда надо было подать заявление, когда хотели задать начальству вопрос. Стояли в очереди, когда раз в две недели лагерная администрация выдавала нам небольшие суммы из денег, отобранных у нас при поступлении в лагерь. Стояли в очереди перед буфетом, стояли в очереди, когда заболевали и хотели попасть к врачу. Стояли в очереди, чтобы получить лагерную еду.

С подъема до отбоя очереди стояли возле отхожих мест. Имелись четыре деревянные будки в одном конце территории и три—в другом. Подчас перед этими уборными стояло по сотне человек. Воды не было, от вони, от огромных роев мух спасения не было. Стояли, ждали, ожесточенно шутили. Многие из нас прибыли в лагерь больными, здесь стали больными все. Если заболели не от пищи, то подхватывали заразу в этих отхожих местах.

То, что многие из нас, отсидев в концентрационном лагере Ле-Миля, выжили, убедительно опровергает ходячие воззрения о необходимости гигиены. «*In faecibus nascimur, in faecibus morimur*» («В нечистотах рождаемся мы, в нечистотах умрем»),—сказал Августин; меланхолический шутник написал эту фразу на обшарпанной стене одной из будок и заключил словами: «*In faecibus vivimus*» («В нечистотах живем»).

Еще сейчас, когда вспоминаю, как стоял у будки и ждал своей очереди, к горлу подступает тошнота, я испытываю чувство горечи, возмущения, крайнюю степень унижения. Были там некоторые подробности, о которых я не хочу говорить, при одном воспоминании о них у меня возникают позывы к рвоте.

Солдаты имели преимущественное право на пользование уборной. Появляясь, солдат занимал в очереди первое место, как бы велика она ни была. Однажды, когда я стоял седьмым или восьмым, пришел кто-то и встал впереди меня. Только что прибыл новый транспорт, и я решил, что этот человек новенький, не знает правил нашего лагеря. Я вежливо попросил его занять очередь. Он же, покраснев от гнева, пошел на меня с кулаками, выкрикивая грязные угрозы. Выяснилось, что это солдат; сняв мундир, он ничем от нас, лагерников, не отличался. Сгорая от стыда, я дождался наконец своей очереди; эта смехотворная история с солдатом долго еще меня угнетала.

Впрочем, даже возле уборных иной раз случалось со мной и нечто утешительное. Вспоминаю, как стоял однажды чуть ли не двадцатым, а другие, уступая мне свою очередь, настаивали, чтобы я прошел первым. В моей жизни мне оказывали немало почестей. Эта была наивысшей.

В некоторых из нас церемонность укоренилась настолько, что даже здесь, в этих ужасных условиях, внешние формы вежливости сохранились. Сидя на корточках, постанывая, один спрашивал у другого: «Как вы чувствуете сегодня себя, господин профессор?», «Как ваше здоровье, господин тайный советник?», «Как вы спали нынче, господин судья?»

Возле одной из уборных было нечто вроде писсуара. Здесь очереди не было, всюду, в любом месте этого участка люди отправляли малую нужду, весь участок был покрыт зловонной жижей. С одной стороны двор граничил здесь с откосом, за которым патрулировал солдат охраны, с другой был огорожен высокой сеткой с натянутой поверх нее колючей проволокой. Непосредственно за сеткой начинался прекрасный парк, за ним открывался чудесный вид. И здесь же люди мочились.

В лагере люди очень быстро теряли чувство стыда. Никто не скрывал свое уродство, свои недостатки, физические и духовные. А это подчас было скверно настолько, что и слов не найти.

Минут через двадцать после подъема двое дежурных из нашей группы приносили людям ведро кофе и дневной рацион хлеба. Каждый получал порцию кофе в свою кружку и макал в него свой хлеб. Относительно качества хлеба было много жалоб, некоторые врачи считали, что именно этот хлеб и является основной причиной болезней, которыми мы все переболели.

В половине восьмого звучал сигнал проверки. На проверке было очень много крика; тем не менее проходило все в весьма доброжелательной обстановке, совсем не повоенному. Сначала выстраивались солдаты охраны, примерно два десятка пожилых крестьян и ремесленников в форме, они стояли, позевывая от скуки. Затем появлялось несколько сержантов в красных фесках. Один из них громко кричал нам: «Смирно!» Никто эту команду не выполнял. Пожилые люди не знали толком, как следует становиться по стойке «смирно», да и вообще считали, что следовать такой команде глупо. Сержант еще три или четыре раза кричал «Смирно!», потом ругал старост групп, но это ничего не меняло. Дело не клеилось еще и потому, что среди нас было десятка полтора слегка помешанных. Тот австрийский эрудит, например, по крайней мере каждую третью проверку при команде «смирно» начинал бродить между рядами словно потерянный. То один, то другой кричал ему: «Сюда!», «Сюда!» — он же либо не мог, либо не хотел понять, что от него хотят, и наконец обращался к французскому офицеру и спрашивал его: «Я профессор П., группа такая-то, куда мне встать?» Да и другие пожилые люди на протяжении всей проверки бродили между рядами, полуглухие, полуслепые, не в состоянии определить свое место. За рядами, а иногда между ними проходили иностранные легионеры, выполнявшие в лагере обязанности ассенизаторов; каждое утро они очищали отхожие места и выносили большие бочки со

зловонным содержимым за территорию лагеря, неизменно при этом выкрикивая: «Кому угодно? Шоколадное, ванильное мороженое!»

Затем зачитывались объявления и распределялась работа на день. Сначала вызывали некоторых специалистов, электрика, механика, портного, сапожника, повара. При каждом вызове откликались многие желающие: день тянулся долго, безделье угнетало. Кто бы ни требовался: сапожник, портной или кто другой — неизменно откликался венский ученый; он заявлял при этом, что изучил по учебникам все специальности. То и дело откликались и другие слегка помешанные.

Затем распределяли работы. Такие-то группы должны убирать дворы, другие — убирать внутри помещений, те отправлялись на работу в кухню, эти — на земляные или строительные работы.

Уборка в помещениях, так же, впрочем, как и уборка дворов, сводилась к подниманию пыли. Для уборки помещения достаточно было бы двух или трех человек, наряжались же на эту работу двадцать или тридцать. Не назначенный на эту работу не имел права во время уборки оставаться в помещении. Если кто-нибудь оказывался там, то объяснял, что оставлен для наблюдения, чтобы ничего не пропало. Когда однажды, находясь в неположенное время в помещении, я сказал, что я наблюдающий, сержант, осуществлявший контроль, возразил: наблюдающих здесь уже четыре. С несвойственной мне находчивостью я нагло ответил, что нахожусь здесь, чтобы следить за наблюдающими.

На кухне чистили картошку, морковь, свеклу, репу и прочие овощи. Сюда отряжалось так много людей, что на каждого в лучшем случае приходилось не более двух десятков картофелин и столько же свеклы. Время кухонный наряд проводил в болтовне.

Другие, те, которым никакая работа не поручалась, сидели на корточках, лежали, слонялись по пыльным дворам или стояли где-нибудь, чего-то дожидаясь. Многие пытались читать, учить иностранные языки и тому подобное. Всюду можно было видеть бродящих людей, затыкающих уши пальцами и бормочущих что-то себе под нос: это они запоминали слова или грамматические правила. Их можно было увидеть и сидящими на кучах битого кирпича, дающими или берущими урок по языку. Но эффект от этих занятий был невелик, и люди обычно очень скоро бросали их; на солнце, в пыли, при непрерывном шуме сосредоточиться было невозможно. Но и сидеть где-нибудь одному вдаль от других и подремывать было также невозможно. С тобой непрерывно заговаривали, кому-то требовалось сообщить тебе нечто чрезвычайно

важное или безотлагательно получить совет. Отвяжешься от одного, появится другой. И даже если ты пару минут сможешь посидеть никем не тревожимый, непрерывное, вечное движение вокруг не даст тебе никакой возможности отдаться своим мыслям.

Таким образом ничего иного не оставалось, как болтать целый длинный день об одном и том же, о тех же маленьких надеждах и тех же больших заботах. Оптимисты были оптимистичными, пессимисты — пессимистичными, колеблющиеся же сегодня верили оптимистам, а завтра — пессимистам. Всегда произносились одни и те же жалобы на бессмысленность всего происходящего, одни и те же проклятия по поводу беспорядка, царящего во Франции, с негодованием говорили о той Франции, которую мы совсем недавно еще так горячо любили. Естественно, даже и в этой ситуации находились люди, пытавшиеся понять и простить Францию за ее ошибки, но их доводы были вымученными.

Газеты были запрещены, письма приходили к нам редко, первые четыре недели их вообще не было, мы были отрезаны от внешнего мира. Это давало повод для возникновения тысяч слухов как относительно нашего собственного положения, так и относительно положения политического и военного. Слухи возникали с самого утра в очередях к умывальникам или к уборным — и набирали сил по мере продвижения солнца к зениту. Примерно к трем часам дня эти слухи уже выдавались за факты. С четырех часов слухи начинали увядать, к шести часам — умирали. В половине седьмого один ругал другого, что тот поверил слуху и передал его дальше. На следующий день все начиналось сначала.

Человек, узнавший новость раньше других, чувствовал свою значительность. Именно по этой причине был так высок авторитет обоих переводчиков. Эти переводчики были выбраны из нашей среды, они были такие же интернированные, как и мы. Работа их была трудной. Они являлись посредниками между лагерным начальством и нами. Им надлежало передавать нам приказы коменданта, к ним обращались, когда у кого-нибудь возникала необходимость встретиться с комендантом, они выдавали почту руководителям групп, и если что-нибудь не ладилось, то офицеры орали на них, а мы, интернированные, ругали их. Однако — и это, пожалуй, было им компенсацией — их постоянно спрашивали о непрерывно меняющейся обстановке, о наших общих шансах и о шансах каждого из нас. Люди верили, что, постоянно находясь вблизи коменданта, переводчики должны первыми узнавать все интересующее нас. Конечно, ничего они не узнавали, и, когда люди со значительностью говорили мне, что то-то и то-то

они слышали от переводчика, а тот — от самого коменданта, и всегда вспоминал великолепный анекдот времен первой мировой войны, анекдот о некоем Пьере, шофере маршала Фоша. Этого Пьера непрерывно атаковали его товарищи: «Пьер, когда кончится война? Уж ты-то должен знать это». Пьер успокаивал их: «Как услышу что-нибудь, сразу же скажу вам». И однажды он объявил своим друзьям: «Нынче мы говорили с маршалом». — «И что он сказал?» И Пьер ответил: «Он спросил меня: «Пьер, как вы думаете, когда кончится эта война?»

Но переводчики вполне вжились в роль этого Пьера: даже тот, кто слышал что-либо от переводчика, тоже полагал себя маленьким Пьером и важничал. Иные из них считали, что их престижу будет нанесен урон, если не они первыми узнают новость, и когда им сообщалась какая-нибудь свежая новость, они, вопреки правде, тотчас же заявляли, что уже давно слышали ее.

Итак, целыми днями бродили мы без дела и болтали. Через неделю каждый рассказал каждому все, что только мог. И тем не менее мы деловито и озабоченно искали друг друга, спрашивали встречаемых, не видали ли они того или другого, не знают ли, где его найти, непременно нужно передать ему нечто чрезвычайно важное.

Конечно, не все разговоры были пустыми. Я рассказывал уже о моих беседах с теми интеллигентнейшими людьми из Вены о живописи, поэзии, музыке. Были и другие интересные люди, с которыми можно было вести содержательный разговор.

Так, был в лагере бывший редактор берлинского издательства господин Х. с сыном. Отец был невысокого роста, доброжелательный, мягкий человек; ни первая война, ни Гитлер не смогли изменить его натуры. Он был женат на француженке, его старший сын был офицером французского генерального штаба. Господин Х., живя в лагере, воспринимал его, вероятно, как космополитический Берлин 1913 года. Невозможно было понять, что является причиной его спокойствия, проявлявшегося в постоянной улыбке и покачивании головой — философская ли позиция или бестолковость. Его младший сын, хромой с детства, уже к началу войны приобрел печальный опыт жизни в концентрационном лагере Парижа. Несмотря на молодость, он был тоже спокоен и хладнокровен, как и отец. Оба были приятными людьми, оба с благодарностью принимали те тысячи маленьких радостей, которые дарил им даже эта мрачная действительность, например, что хлеб сегодня немного лучше вчерашнего, что воды дали побольше, что в лавчонке можно приобрести сигареты.

Подчас мне казалось, что за своим дружелюбным, хлопотливым интересом к подобным мелочам отец и сын пытались скрыть свою тоску, свой страх. Страдания и унижения, которые концентрационный лагерь принес отцу, были безусловно очень велики, он пережил свое освобождение всего на несколько недель.

Особенно интересным собеседником был уроженец Далмации писатель Р., статный господин из тех, которые очень нравятся женщинам; ему было пятьдесят два — пятьдесят три года, он несколько отяжелел и пристрастился к выпивке. Он знал людей, прекрасно говорил на немецком, французском и английском, разбирался в искусствах, науке и технике, с увлечением и с толком прочел едва ли не все лучшие книги мировой литературы, изучал их, наслаждался ими. Пожалуй, значительным писателем он не был, но являлся эрудированным человеком, поговорить с которым было интересно. Пил он много, даже здесь, в лагере; одному небу известно, к каким ухищрениям он прибегал, где раздобывал такую уйму денег, чтобы всегда иметь выпивку. Он был безволен и, хотя внешне выглядел здоровым и крепким, предпочитал уклоняться от больших усилий и мужественных решений. Позже он чуть было не решился бежать с нами, но ему не достало упорства и решимости. Свою энергию он растрачивал на мелкие дела, на раздобывание маленьких удобств. Он был человеком со знаниями и вкусом, обладал приятными манерами; говорить с ним было удовольствием и утешением.

Впрочем, мне почти всегда удавалось наводить моих собеседников на разговоры об их прошлой жизни, с адвокатом я говорил о его судебных процессах, с врачом — о медицине и врачебной практике, с торговцем земельными участками — о ценах на землю. Большую часть того, что мне известно о людях, об их взаимоотношениях, я узнал благодаря своему умению слушать — искусству, которому меня в свое время научили мудрые наставники. Благодаря этому искусству я узнал в лагере многое: о торговле лесом во Франции, о каком-то корме для рыб, продажа которого была монополизирована одним из лагерников, о добыче губок в Греции, о воздействии конвейера на психику рабочего, о технике задувки доменной печи, о человеческой душе.

В нашем лагере было много художников. Был здесь Макс Эрнст, один из основателей сюрреализма, был здесь известный художник, автор на мой вкус чересчур броских портретов, были художники разной манеры и разной степени мастерства. Было много врачей, представителей самых разных школ. Были католические священнослужители — груболицые австрийцы или баварцы в сутанах; они

выглядели как ряженые. Были люди, много пережившие в огромной тюрьме, в которую нацисты превратили Германию, в особенности в ее концлагерях. Их всех я слушал с огромным сочувствием и извлекал для себя много полезного.

Мне все время очень хочется рассказать об очень многих, очень разных лицах и душах, с которыми мне пришлось встретиться в лагере. Хотя условия жизни у всех нас были одинаковы и из-за пыли и грязи мы становились даже внешне все более похожими друг на друга, сущность каждого все же можно было распознать очень отчетливо. Тесно общаясь друг с другом, наблюдая за соседями в любой ситуации, хотели мы того или нет, мы видели, как любой из нас ходил, спал, ел, мылся, одевался, совершал естественные отправления. Никто не мог ничего утаить. Очень скоро без особых расспросов мы узнавали, что человек собой представляет. Каждый ежедневно подвергался множеству мелких испытаний, мудрый мирился со своим положением, вспыльчивый бил вдребезги кирпичи, сварливый, неуживчивый ругал своего соседа, доброжелательный — помогал, жадный — мошенничал.

Был тут австриец-врач, очень образованный человек, за своей несколько судорожной шутливостью он прятал гнетущие его заботы. Был другой, очень молодой австрийский врач, доктор Л., человек необыкновенно приятный, всегда готовый помочь, проповедовавший нетерпеливым хладнокровие; но если присмотреться к нему, то видно было, до какой степени его самого истерзала нервозность. Среди многих писателей был здесь один, воевавший в Испании, убежденный марксист, который все время говорил, что все события, сотрясающие сейчас мир, в том числе и выпавшие на нашу долю испытания, неизбежны, необходимы и служат, хотя и окольными путями, прогрессу; однако этого писателя, несмотря на такую его убежденность, постоянно сотрясали припадки самой черной меланхолии, приступы того, что во Франции именуют «safard»¹. Был здесь также изнеженный, привередливый и жизнелюбивый молодой художник, цеплявшийся за малейший призрак надежды, верящий любому слуху, даже такому, которому не верил никто. Был здесь пожилой архитектор, упрямый и желчный, по природе своей нигилист и крайний пессимист в оценке нашей собственной ситуации. От любого аргумента, который мог бы обнадежить, он не оставлял камня на камне; но едва появлялся ничтожный шанс сделать что-либо, что могло бы несколько

¹ Сплин, хандра (фр.).

ко улучшить наше положение, он всегда был готов заняться этим.

Со всеми этими людьми я проводил дни и ночи, болтал дни и ночи.

Естественно, были и политические споры. Рабочие и крестьяне проявляли в этих спорах подчас большое понимание и умение видеть предмет со стороны. Но я постоянно удивлялся тому, какими ничтожными, частными причинами объясняло большинство лагерников те грандиозные события, в которые мы оказались вовлеченными, как мешали им личные интересы увидеть всю картину в целом, как боялись они потратить силы и постараться разглядеть более глубокие причины хотя бы издали, не говоря уж о том, чтобы рассмотреть их поближе. Как страшились они неприятностей, связанных с этим. «Пережитое открывает много окон», — сказал один англосаксонский писатель. Мне это представляется правильным лишь относительно. Для мешчан — моих товарищей по лагерю, — несмотря на все пережитое ими, большинство окон остались закрытыми, по крайней мере, те из них, которые дают возможность увидеть даль, мировые события в перспективе.

Обедали мы очень рано, примерно в одиннадцать. Нам давали обычно чечевичный или гороховый суп с небольшим кусочком мяса. Еда не была плохой, хотя на ее вкусовые качества влиял бром, который в нее подмешивали, чтобы приглушить нашу чувственность.

Процедура еды в лагере была для меня не из приятных. Так как посуду хранить было негде и воды для ее мытья не было, каждый из нас пользовался своим алюминиевым котелком, который никогда достаточно чистым не был. Поэтому утренний кофе постоянно отдавал жиром вчерашнего супа, суп — утренним кофе. Супы и кофе наливались из общего группового ведра. Пища была горячей, алюминиевый котелок сразу же нагревался, и мне, неловкому, всегда трудно было донести его до своего места. По большей части люди за едой сидели на земле, на своей соломенной подстилке. Все вокруг было в пыли, тонкий слой ее всегда ложился на поверхность супа. «В прах полагай уста свои, — цитировал тот или иной. — Жри прах и получай удовольствие!» В помещении во время еды то тут, то там возникали ссоры, кому-то казалось, что его обделили. Было очень неудобно.

Обещанный администрацией лагеря буфет примерно через десять дней был действительно открыт. Он оказался весьма бедным, получить в нем что-нибудь было очень трудно. По утрам там обслуживали только иностранных

легионеров, нам, остальным, можно было пользоваться им лишь в полдень. Но к этому времени обычно там уже ничего не оставалось: легионеры раскупали все, чтобы затем с барышом перепродать приобретенное. Тот, у кого были деньги, мог разнообразить казенные обеды продуктами из буфета, покупая их либо непосредственно в буфете, либо у перекупщиков; мог он также пользоваться услугами солдат охраны, которые таскали в лагерь разную еду и напитки. Наш лагерь, в котором содержалось теперь до двух тысяч человек, стал новым рынком сбыта, и не только маленький населенный пункт Ле-Миль, но вся округа и даже городок Экс испытали весьма заметный торговый подъем. Тайная купля и продажа росли непрерывно.

Обычно дважды в неделю в лагерь приезжал крестьянин, чтобы забрать для своих свиней отбросы с нашей кухни: картофельные очистки, объедки и прочее. При этом он тайком провозил аккуратно завернутые в бумагу куски вареной свинины. Покупать приходилось украдкой от солдат охраны, времени на проверку покупки не было, брали на веру. Цены были высокие. Но крестьянин был честен, покупаемый у него вслепую завернутый в газету кусок мяса соответствовал уплаченным деньгам и по количеству и по качеству.

Чего мне в лагере более всего не доставало, так это растительной пищи. Фруктов, зелени, салата почти не было. Раз в неделю—два сушеных финика или сливы, пара листиков салата, а все остальное—бобовые. Полезной для здоровья такая пища не была. Я очень сильно страдал от этого. Однажды мой голод по овощам толкнул меня на удивительную торговую сделку. Кто-то раздобыл два помидора. Я предложил ему коробку омаров за один помидор, и каждый из нас был доволен этой операцией.

Впрочем, благодаря двум австрийцам, которые оказывали мне услуги, питанием я был обеспечен вполне. Кроме Карла, через некоторое время после моего поступления в лагерь мне стал оказывать услуги еще один человек. Он был тоже австриец, в прошлом хозяин ресторана, был в лагерях Бухенвальд и Дахау и мог показать на своем теле следы обращения с ним фашистских молодчиков; из-за перенесенных там физических страданий с ним иногда случались обмороки. Он полагал, что все перенесенное им дает право на особое внимание к нему, большинство, впрочем, считало, что эти его претензии чрезмерны. Он без конца рассказывал о пережитом, и некоторое время спустя, после того как он однажды пожаловался, что нынче уже несколько раз терял сознание, такие сообщения перестали всех трогать. Тем не менее он заслуживал сострадания, и, когда он настоятельно стал предлагать

мне свою помощь, я не мог ее не принять. Но я не хотел отказаться от своего Карла, так что стал пользоваться услугами обоих. Мелкие заботы о моей повседневной жизни они делили между собой.

Друг друга они терпеть не могли. Хозяина ресторана поражала нерасторопность Карла, который не всегда мог достать просимое мной. Карл, со своей стороны, во всех подробностях рассказывал мне, как тот, другой, надувал меня, когда за полученные из-под полы через своих посредников сахар, минеральную воду и прочее брал с меня много больше, чем уплатил сам. Карл никак не мог понять, почему я даю себя обманывать. Не раз в присутствии бывшего хозяина ресторана он приносил что-нибудь из уже купленного мне тем, вторым и, особенно подчеркивая, дважды, трижды называл цену этого товара, намеренно меньшую, чем та, которую заплатил сам.

Таким образом, из еды, за исключением овощей, салата и фруктов, я получал все, что мне требовалось. Но то, что добывалось, следовало быстро съесть из-за частых проверок, а также из-за крыс.

Рассказал ли я уже, что среди нас было пять-шесть владельцев кафе? Бог знает как им это удавалось, но они раздобывали для продажи кофе и чай и после обеда по разным уголкам лагеря предлагали нам свои напитки. Они рассылали своих агентов: «Кофе уже приготовлен, чай приготовлен, все продается в зале № 2 или № 3, возле стеллажей, с южной стороны, но следует поспешить, так как в любой момент может нагрянуть проверка». Многие стояли на стреме, предупреждая о проверке. Между «заведениями» существовало соперничество, и их владельцы хулили качество кофе своих конкурентов. Обслуживая клиентов, они вели себя словно в своих прежних кафе, приветствуя каждого оказавшего им честь глубоким поклоном: «Добрый вечер, господин профессор, довольны ли вы?» Один из них имел даже газету, которую клиент мог просматривать, пока пил у него кофе.

Порция кофе была недорого. Она стоила примерно два цента. И тем не менее многие не могли себе его позволить, если кто-нибудь их не угощал.

И хотя условия, в которых мы оказались, сравнивали всех нас, разница между богатыми и бедными скоро стала очень заметной. Располагавшие деньгами могли существенно облегчить себе жизнь, бедные этой возможности были лишены.

Полуденные часы были скучны. Обед мы съедали уже в одиннадцать, и до двух, когда вновь звучал сигнал сбора, у нас было три пустых часа.

Большинство пыталось после обеда поспать. Я избегал послепобеденного сна, желая накопить усталость для ночи. Но даже если мне и хотелось поспать, заснуть я бы не смог. В полутемном помещении было очень шумно, вокруг бродили люди, кирпичный щебень под их ногами трещал. Всегда находились такие, которых неудобство помещения не удерживало от игры в карты. Они сидели на своих столбиках кирпича, кидали карты на другой столбик или же на неустойчиво лежащую доску, кричали и перебранивались. Карты были несказанно грязны; проигрыши оплачивались расписками, действительными на время, пока лагерное начальство не выдаст из хранящихся у него наших денег небольшую сумму. В какой-нибудь нише между стеллажами стояли или сидели ортодоксальные евреи, молясь или толкуя те или иные места из Библии или Талмуда. И среди всей этой суеты на своих соломенных подстилках стонали больные, храпели здоровые.

Конечно, иногда я пытался читать, но из этого ничего не получалось. Слишком шумно было, слишком жарко, слишком пыльно. Вот и бродил я по лагерю, или подремывал на своей скамеечке, или сгорбившись сидел на солнцепеке возле проволочного заграждения.

Второй сбор был в два часа. Проходил он как и первый. Занять нас на вторую половину дня было труднее, чем на первую. Нас заставляли бессмысленно перетаскивать кирпичи с места на место или же выполнять какие-нибудь земляные работы. Но и здесь хватало работы лишь для немногих, большинство изнывало от безделья и все более одолевавшей нас скуки.

Среди нас было четыре парикмахера; устраиваясь в каком-нибудь уголку, они предлагали нам свои услуги. Однако в силу сложившихся условий они были грязны. Мыла у них было мало, воды — мало. Тем не менее бритье было уже развлечением, многие брились ежедневно, иные ходили к парикмахеру дважды в день. Клиент садился на сиденье, сложенное из битых кирпичей, вокруг толпились зрители, охотники поболтать и послушать; брадобреи и здесь, как повсюду и во все времена, находились в самом средоточии слухов и сплетен. Иногда кирпичи под кем-то рассыпались, никто не смеялся, к этому привыкли. Люди стояли и спорили возбужденно, азартно и в то же время скучающе.

Ужин, к которому нас собирали сигналом в пять часов, был более скуден, чем обед, иногда давали лишь сомнительного качества колбасу, сыр, одну сардину.

После ужина наступало хорошее время. К шести вечера становилось прохладно, ветер утихал, находиться во дворе становилось приятно. Настроение улучшалось,

мы все чувствовали себя несколько увереннее, нервозность, царящая ранее в воздухе, уменьшалась.

Случай помог обнаружить среди нас довольно много неплохих футболистов. Они играли в лагере, играли так, как позволяла его территория. Однажды мяч перелетел через стену. У караульного, который наблюдал с прижатым штыком, игроки попросили разрешения принести мяч. Солдат сказал, что такое строжайше запрещено, разрешить этого он не может, но если кто-нибудь подержит его ружье, он перелезет через стену и достанет мяч. Так и поступили.

1 ПЕРВАЯ НОЧЬ

Наступал мучительный момент, звучал сигнал: «Назад в помещение».

Сквозь широкие ворота нутро здания зияло чернотой. Понукаемые охраной лагерники неохотно входили в него, а стражи, обычно добродушные, вели себя при этом подчас грубо. Внутри здания мы сначала пробирались через катакомбы первого этажа, затем поднимались по узкой деревянной лестнице наверх. Слабый свет нескольких тусклых электрических лампочек лишь подчеркивал темноту.

Приготовления ко сну приятными не были. Помогал мне Карл. Ботинки я ставил на чемодан, стоящий у меня в головах и отделяющий мое соломенное ложе от ложа человека, лежащего в следующем ряду. В ботинки клал часы и очки, без очков я оставался совершенно беспомощным.

Через полчаса после сигнала «Назад в помещение» будет дан сигнал «Выключить свет». Пока же люди болтают. Мой сосед справа, механик из Саара, о котором я уже говорил, каждый вечер рвался излить мне душу. Он тосковал в лагере, скучал по жене-француженке, ему не доставало его работы. Фирма, в которой он работал, перепробовала все средства, чтобы выволить его из лагеря, но против военных властей они оказались бессильны. Сознание, что ему приходится вот так бессмысленно сидеть здесь, не давало ему спать.

Сосед слева по вечерам тоже становился очень словоохотливым. Это был биолог, человек тщедушный и болезненный. Он очень страдал от астмы, но мужественно, с горьким юмором переносил болезнь. Он трезво рассуждал о политике. О некоторых тонкостях его профессии, в частности о генетике, я узнал для себя много нового.

Но вот звучит сигнал «Выключить свет». Свет нам

надлежало гасить самим. Но мы медлили. Вот из трех тусклых лампочек на все огромное помещение погасла первая, затем вторая. Последняя продолжала гореть, пока нетерпеливые голоса не начинали настойчиво требовать, чтобы ее наконец погасили. И все же еще будут тянуть, медлить, пока со двора не последует резкий окрик французского солдата.

И вот уже во вселяющей страх темноте сначала начинаются споры о том, закрывать или не закрывать не забитую досками половину окна. Одни заявляют, что при закрытом окне в помещении будет непереносимая вонь, другие боятся холода и сквозняка. И каждый вечер четверть часа люди с большой горячностью кричат: «Окно открыть!», «Окно закрыть!»

После того как оконный вопрос разрешался, человек двадцать все еще продолжали разговоры в темноте. Смеялись, говорили о своих делах, рассказывали сальные анекдоты. Весь день они только и делали, что болтали, а оказывается, дня им мало. Голоса из темноты просили, кричали, угрожали: «Тише, мы хотим спать».

Но тише не становилось. Все были раздражены и склонны задираться. Вновь и вновь возникали споры, один толкнул другого, наступил на кого-то, занял слишком много места. Иногда спор становился особенно горячим. Тогда из совершенно неожиданного места внезапно раздавался грубый голос: «Вот я сейчас наведу порядок!» — и слышалось, как кто-то в темноте пробирается к спорящим.

Тишины не было всю ночь. Вновь и вновь раздавались жалобы, ругали и проклинали тех, кто, пробираясь в уборную или возвращаясь из нее, задел лежащих.

Путь к отхожему месту в темноте был ужасен. На втором этаже, как уже было сказано, свет гасили. Проходить следовало по узкому проходу между спящими, затем в определенном месте свернуть в более широкий, но очень неровный проход, опять же между спящими, ведущий к деревянной лестнице, слабо освещенной снизу. Под лестницей в первом этаже, ориентируясь на проблески света, надо было повернуть налево, пока не достигнешь цели.

Эти четыре нужника внутри здания на день запирались. В них был собачий холод. Всю ночь перед ними выстраивались длинные очереди. Стоять приходилось среди нечистот. Едва ли не более трудным был путь назад. Стоило много сил, времени и нервов подняться в темноте по лестнице и ощупью возвратиться к своей лежанке. Мне ни разу не удавалось сделать это сразу. Постоянно я сначала пытался улечься на чужое место, хозяин которого спросонья пугался, а затем злобно прогонял меня. Мой

сосед слева помогал мне, вывешивая как своеобразный опознавательный знак свой дождевик; но нащупать его в темноте было не так-то просто. Сосед справа, страдавший бессонницей, услышав, как я крадучись, ощупью бреду, звал меня сдавленным шепотом: «Сюда, сюда».

Целую неделю, когда я болел дизентерией, мне приходилось каждую ночь по нескольку раз проделывать этот путь.

Не говоря уж об этом, ночи были ужасны и сон у самых крепких, самых здоровых хорошим сном не был. Ощущалось, что помещение наполнено мучительными кошмарами. Страхи, которые в дневные часы можно было отпугнуть силой разума и воли, в стенающей и зловонной ночи разрастались и овладевали людьми. Так было почти со всеми. Стоило мне шепнуть: «Вы спите?» — как оба соседа, справа и слева, шепотом откликнулись: «Нет». И с первым проблеском утра, с первым слабым светом, пробивающимся сквозь щели между досками, которыми были зашиты окна, я видел справа силуэт маленького пролетария, который, жалко скорчившись, сидел на своей охапке соломы и грезил, а слева — биолога, он лежал, вытянувшись на спине, с широко открытыми глазами.

Иные страдающие бессонницей пробирались вниз, в катакомбы, где поблизости от нужников горела тусклая лампочка. Иногда там скапливалось до двухсот человек. В случае проверки каждый мог сказать, что идет в уборную. Эти сженощные сборища очень разных людей в рваных ночных одеждах — причем многие из пожилых с гротескными ночными колпаками на голове — были страшны, жалки и смешны одновременно. Возбужденные люди шепотом обсуждали дела, уже много раз обсуждавшиеся днем. Если начинали говорить слишком громко, из прилегающих проходов, где помещались иностранные legionеры, неслись проклятия и угрозы.

Мой сосед справа, страдающий астмой биолог, каждую ночь пробирался вниз. И писатель-далматинец Р. обычно первые часы ночи проводил в катакомбах с флягой вина под мышкой, отхлебнуть из которой приглашал по очереди своих друзей. В эти часы здесь совершались разнообразные торговые сделки. Хотя иностранные legionеры и ругали нас за ночной шум, их товарищи сбывали тут съестное, что раздобыли утром в буфете. Владельцы кафе старались обеспечить свои потребности в горячей воде для следующего дня, договариваясь об этом с назначенными на кухню. В катакомбах кипела деловая жизнь.

В центре этой деловой жизни находился пожилой австриец-парикмахер. Он был прекрасным специалистом, в свое время ему приходилось брить бороды нескольким эрцгерцогам, полагаю, даже самому императору; он утвер-

ждал, и, вероятно, не без основания, что для него ничего невозможного нет, он-де знает все ходы и выходы. И он действительно знал тех, кто мог раздобыть самые разные вещи: складные стулья, одеяла, вино; знал, кому эти вещи нужны и кто в состоянии за них заплатить. Однажды, когда он сказал, что может достать всё, далматинец Р. спросил его: «А вы можете раздобыть мне верховую лошадь?» — «Конечно,— ответил парикмахер,— только фунтами».

Я делал все, что мог, чтобы ночью высыпаться. Днем очень много ходил, присаживался редко. И тем не менее часто мне приходилось довольствоваться тремя-четырьмя часами сна, более же пяти или шести часов я не спал даже в самые счастливые ночи. Остальное время я бодрствовал; люди вокруг меня стонали и храпели, а я испытывал бессильную горечь от беспомощности и унижительности моего положения. Разум помочь здесь не мог. Я говорил себе: «Теперь, как раз теперь, когда ты лежишь вот так, люди во всем мире читают твои книги о варварстве нацистов, полнят свои сердца ненавистью к ним, а ты лежишь здесь, позорно запертый, изолированный, подозреваемый в пособничестве этим самым варварам». Бессмысленность такого состояния, тупость французских властей проникала мне в поры. Логика здесь была бессильна, бесполезно было объяснять себе, что я имею дело не с отдельным человеком, а с системой.

Я пытался отвлечься от этих мыслей. Задавал мозгу работу, старался переводить сохранившиеся в моей памяти латинские, греческие, древнееврейские стихи на немецкий, делал то, что предыдущие поколения именовали «упражнения разума». Напрягал память, вспоминал, когда именно делал то или другое в последний раз. Мне пятьдесят шесть лет, и еще до интернирования я иногда спрашивал себя: не в последний ли раз делаешь ты то или это? Перечитывая любимую книгу, я спрашивал себя: не в последний ли раз ты читаешь ее? То же было, когда я смотрел картину, надевал костюм, слушал музыкальное произведение, встречал того или иного человека. По существу, человек каждый день, не подозревая этого, с чем-то прощается.

Теперь, в эти бессонные ночи, лежа на грязной охапке соломы в Ле-Миле, я спрашивал себя: «Когда ты в последний раз купался в море? Когда в последний раз был с той или иной женщиной? Когда в последний раз читал Шекспира?»

Товарищ по лагерю рассказал мне, что тогда-то и тогда-то, достаточно давно, там-то и там-то он смотрел одну из моих пьес. Он хорошо помнил ее и усердно расспрашивал меня о некоторых подробностях. Я же не

смог ответить ему, оказалось, что об этой пьесе я теперь знаю намного меньше, чем он, я даже начисто забыл последовательность происходящего на сцене. Это заняло мои мысли, и в те бессонные ночи я стал проверять, насколько надежна моя память.

В юности мне приходилось учить наизусть много полезного и еще больше бесполезного, память была хорошо натренирована. И вот теперь, проверяя себя, я лучше, чем когда-либо прежде, понял, как удивительно произвольно работает моя память. Она с устрашающим упорством сопротивляется тому, чтобы поделиться со мной важными сведениями, именно теми, которые я прекрасно «знаю». Но немедленно и по собственной инициативе память выбалтывает то, что я знать не хочу.

Всю свою жизнь я не устаю поражаться феномену памяти, этой удивительной функции человеческого духа. Если я—впрочем, это относится и к другим—могу точно вспомнить все касающееся встречи с безразличным мне человеком, все самые мелкие подробности, то дорогие мне лица исчезли из моей памяти полностью. Никакой обоснованный психологический анализ эти почему и как еще не объяснил.

В эти бессонные ночи в Ле-Миле моя память вела себя особенно странно. Мы все, находившиеся в лагере, замечали по себе, что память наша ухудшилась. Мы относили это к действию брома, который нам подмешивали в пищу.

Прежде, в спокойные времена, меня нисколько не беспокоило, если иной раз память мне отказывала. Теперь, в эти ужасные, бессонные ночи, я приходил из-за этого в бессильную ярость, возрастающую оттого, что под рукой не было никаких книг, никаких справочников, которые помогли бы восполнить пробелы, и приходилось обращаться к случайным знаниям товарищей по лагерю, прежде всего к памяти австрийского эрудита.

Удивительно, как все мы быстро приспособлялись к лагерным условиям. Как ни труден для многих был переход от привычной жизни к примитивному быту Ле-Миля, уже через несколько дней все мы вели себя в лагере так, как если бы находились в нем годы.

Мы все отупели. Страдания и унижения—наши и наших товарищей,—которые еще совсем недавно возмущали нас, мы стали принимать покорно, пожимая плечами, и наконец вовсе перестали замечать их.

И в концентрационных лагерях нацистов было так же. Многим из нас довелось побывать в этих лагерях, особенно в Дахау и Бухенвальде. Все эти люди говорили мне, что их так часто заставляли присутствовать при телесных наказаниях, например при порках, что постепенно зрели-

ще этих ужасов вообще перестало их волновать. Во время таких наказаний они обсуждали свои повседневные дела, даже рассказывали друг другу анекдоты. Один признался мне, что как-то раз истязаемый скончался под ударами; он же, тот, кто мне это рассказывал, даже не заметил смерти товарища, хотя стоял совсем близко; как раз в это время он торговал у своего соседа плитку шоколада. Сейчас ему самому трудно понять, как это могло произойти. Однако подобное происходило, все говорили мне об этом.

Я и сам пережил внезапный поворот судьбы, мое положение очень изменилось, и вот, обдумывая теперь все это, я поражаюсь, как быстро я приноровился тогда к новым условиям. Наблюдая за собой и своими товарищами в лагере Ле-Миль, я убедился, как поразительно быстро человек приспосабливается.

Среди нас были люди чрезвычайно избалованные, возмущавшиеся в свое время тем, что, находясь где-нибудь вдали от дома, не могут получить, например, ту ароматическую соль для ванны, к которой привыкли, и воспринимавшие как удар судьбы тот факт, что кельнер в ресторане не смог подать им любимое вино предпочтительного ими года урожая. Теперь же за какую-нибудь ночь, они изменились до неузнаваемости, их надежды и страхи сузились, стали других, чем прежде, масштабов, их требования и вкусы оказались такими же, как и у находившихся среди нас пролетариев. Я уже говорил, что сущность каждого индивидуума, пожалуй, изменилась мало. Но тем не менее беспристрастный наблюдатель установил бы, вероятно, что мы, лагерники, были однородной массой, что мы очень похожи друг на друга. Мы были очень разными, но подвергались действию одних и тех же законов, уравнивавших нас, уподоблявших нас друг другу. Один американский физик доказал, что электрон в атоме подчиняется законам движения, отличным от законов движения самого атома, частичкой которого является, или, иными словами, что атом, как нечто единое, подчиняется законам движения, отличным от законов движения электронов, из которых состоит. Это, вероятно, хорошо иллюстрирует отношение индивидуума к совокупности, частичкой которой он отныне является.

Независимо от того, гордцами мы были или скромниками, невзыскательными натурами или утонченными, глупыми или умными, ограниченными личностями или людьми широкого кругозора,—мысли наши непрерывно вертелись вокруг нескольких насущных вопросов, все наши желания и опасения были одни и те же: что дадут нынче на ужин? Прибудет ли завтра комиссия по чистке лагеря? Когда я смогу прочесть газету? Получит ли лагерный буфет разрешение продавать минеральную воду? Когда я

получу наконец письмо от жены? Есть ли хоть какая-нибудь возможность раздобыть яблоко или немного салата? Ах, когда я наконец смогу опять как следует помыться?

Но все это были пустые мечты. Наша одежда все больше и больше превращалась в лохмотья, мы становились все более и более грязными, и как бы сильно мы по своей сути, по своему развитию ни отличались друг от друга, в конечном счете мы становились однородной толпой оборванных, неряшливых, опустившихся людей.

Посещать нас было запрещено. Поскольку наши родственники не имели французского гражданства, они и без этого запрета не смогли бы приехать сюда, так как для того, чтобы покинуть место своего жительства, им требовалось специальное разрешение, выдаваемое лишь в редких случаях. И писем мы почти не получали. Наша переписка шла через Париж, проходила там цензуру, неделями лежала в различных инстанциях. Многие из интернированных не имели ни малейшего представления, где находятся их жены и дети. Судя по тому, что происходило на севере Франции, можно было предполагать, что наши близкие тоже оказались в концентрационных лагерях.

Для очень многих интернирование жен означало полную потерю средств к существованию. Предположим, у семьи было какое-то небольшое дело, в отсутствие мужа его вела жена. Если же взяли в лагерь и ее, пропало всё. Кто-то занимался огородничеством, пришло время собирать урожай, что будет с его овощами? У другого была кроличья ферма или птицеферма, кто будет заботиться о кроликах, о птице, если изолировали и жену? Ведь эти люди, все эти огородники и кролиководы, наверняка ничего общего с «пятой колонной» не имели. Декрет об интернировании со всей очевидностью показал свою страшную бессмысленность.

Даже для обеспеченных людей забота о средствах существования выросла в проблему. Текущие счета были арестованы. Многие успели взять свои деньги со счетов и передать их женам. Что делать женам с этими деньгами? В лагере вся наличность у них наверняка будет отобрана.

А что будет с больными женами? Многие были больны или сильно сдали физически под тяжестью обрушившихся на них невзгод. Выдержат ли они трудности лагерной жизни? А дети? Солдаты охраны говорили, что в Марселе в лагерь взяли и детей. В ожидании последующей переброски в Пиренеи их вместе с матерями поместили в пригородном отеле, покинутом владельцем.

Был в лагере человек, ребенок которого болел диабетом. Если не следить тщательно за питанием, ребенок погибнет. Отец ребенка, аптекарь, испытывал ужас перед французскими больницами, он рассказывал потрясающие истории о беспорядке и о грязи, царивших там. Страх за ребенка едва не свел его с ума. Скрыв от посторонних болезнь ребенка, чтобы их не разлучили, мать не сможет обеспечить правильный уход за ним. Если же ребенок будет взят в больницу, он наверняка погибнет, в этом отец был абсолютно убежден.

Лучше было тем, кто женат на француженках. Этих женщин не только не изолировали, они были освобождены от необходимости выполнять бесчисленные мучительные предписания, что было тяжелым бременем для жен-иностранок; им разрешалось свободное передвижение по стране, они могли искать способы увидеть своих мужей. Эти мужья не могли нахвалиться верностью и преданностью своих жен-француженок, они надеялись, что жены предпримут все, чтобы увидаться с ними. Так оно и было. Жены приехали в Ле-Миль, приехали издалека, приехали почти все. Но свидания вдруг запретили, охране за нарушение приказа пригрозили таким суровым наказанием, что она не осмеливалась содействовать встречам жен с мужьями.

И вот женщины подчас после утомительного пути часами, днями стояли перед запертыми воротами, перед колючей проволокой, бродили вдоль лагеря взад и вперед по знойной проселочной дороге, надеясь хоть на минуту увидеть лицо мужа. Иногда женщин принимал офицер охраны, иногда разрешалось—после тщательной цензуры—передать письмо, если командование лагеря сочтет его безобидным. Очень часто—по четыре, пять раз на дюю—мы слышали чей-нибудь торопливый, взволнованно зовущий голос: «Х., ваша жена здесь». И этот Х. пытался высмотреть свою жену из какого-нибудь окна или становился на высокий, все время разваливающийся штабель кирпича, чтобы заглянуть за стену, или же просил своих товарищей приподнять его. Происходило это примерно в двадцати—тридцати метрах от стены, и если им везло и муж видел жену, а жена—мужа, то он кричал ей что-то, а она не слышала, и он кричал еще раз, а она кричала ему в ответ, потом появлялась охрана и отгоняла жену от забора, и прогоняла мужа—жалкое и печальное зрелище.

Однажды доброжелательный постовой тайком провел пятилетнего сынишку жены-француженки к отцу в лагерь. Отец был марселем, очень солидным человеком, теперь же, подобно всем нам, он бродил по лагерю грязным оборванцем. Очень ухоженный, чисто одетый малыш был поражен. Он просил отца вернуться наконец домой, мама

ждет их за стеной на дороге. Отец сочинил вымученную историю, будто он здесь офицер и должен наблюдать за нами, арестованными. Мы подыграли ему и стали, проходя мимо, отдавать ему честь. Ребенка это немного успокоило.

Я говорил уже об отсутствии стыда, о том, что худо это или хорошо, все наши физические отправления мы осуществляли не таясь. Это вынужденное бесстыдство в известной степени способствовало тому, что многие из нас стали обнажать и душу. Даже в спокойные времена иные обращались к писателю, видя в нем как бы духовника, поверяя ему свои глубоко спрятанные от постороннего взгляда горести и надежды: то, чем втайне гордились, и скрываемое от всех чувство неполноценности. В концентрационном лагере люди засыпали меня всякого рода исповедями, даже самыми интимными, при этом подчас преувеличивали свои переживания, изображали себя лучше или хуже, искажая действительность до абсурда.

Еще одну черту развило у многих житье в лагере: крайнюю раздражительность. Так как люди постоянно находились рядом и в большой тесноте, возникали неизбежные трения. Вчерашний друг назавтра становился врагом. То и дело задевалось чье-то тщеславие, люди чувствовали себя обманутыми, полагали, что их доброжелательность плохо ценится. Поводы для стычек почти всегда были ничтожны. То один обещал другому раздобыть утром воду, если тот уступит ему свою долю сейчас, но не смог или не захотел сдержать свое слово. Или некто угостил соседа кусочком ветчины и рассчитывал на взаимную услугу. Объяснения велись с жаром; день спустя люди стыдились безрассудно растраченных слов и чувств.

Причиной большинства ссор были совершавшиеся в лагере торговые сделки. Торговали все, всё продавалось и покупалось. Продавался дневной рацион пищи. Люди, стоявшие в очереди в буфет или в отхожее место, продавали свою очередь. Письмо разрешалось отправлять лишь раз в две недели, но кто рассчитывал, что адресат узнает его по почерку, мог откупить у другого право на очередное письмо и обозначить этого другого как отправителя.

Чтение газет было запрещено. Солдаты, однако, за соответствующую мзду проносили в лагерь две-три газеты. Талантливые коммерсанты из среды интернированных раздобывали такой экземпляр и давали читать другим: десять, двадцать, тридцать раз. Случалось, что на газете, которая была куплена за франк-полтора, человек зарабатывал от тридцати до сорока франков. В уголке собиралась группа людей, некоторые стояли на стреме, чтобы

своевременно предупредить о появлении офицера, хозяин газеты смотрел на часы, чтобы клиент не превысил положенных ему двух минут, а клиент, к неудовольствию хозяина, читал газету вслух.

Наиболее ожесточенные стычки были среди иностранных легионеров, а также между ними и другими лагерниками. Легионеры являлись самыми отчаянными торгашами. Среди них попадались темные личности, но многие, если присмотреться к ним поближе, были совсем неплохими парнями. Всех их ожесточило, что Франция так некрасиво поступила с ними. А позже, когда охранять нас стали арабские солдаты, возмущение положением, в которое Франция поставила солдат-легионеров, стало всеобщим. Они, легионеры, покорили этих марокканцев, а теперь оказались под их охраной.

Многие из легионеров были грубы на слово, безбожно хвастались, рассказывая о военных операциях, в которых принимали участие, были падки на деньги. Но они были также храбры и по-своему честны. Например, двое легионеров договорились с одним пожилым господином, что за три тысячи франков помогут ему бежать из лагеря и уехать за границу. Человек заплатил в счет оговоренной суммы аванс — тысячу франков, и они честно оказали ему обещанную помощь, деля с ним все удобства и неудобства, связанные с побегом и выездом за границу. Когда эти двое в пути выкрали из почтового вагона сумку с золотыми монетами, то благородно предложили ему треть добычи. Да, эти иностранные легионеры были шумными, грубыми, хвастливыми, неотесанными, храбрыми, склонными к разбою. Они были пестрыми, как ленточки бесчисленных медалей, которые республика повесила им на грудь.

Хотя различие между богатыми и бедными в лагере чувствовалось, классового чванства почти не было. Люди группировались не по имущественному признаку, а по другим, очень своеобразным, формально-юридическим признакам: в зависимости от того, какие виды на освобождение давали им, по мнению знающих людей, их документы. Мы делились на группы с равными шансами освободиться при пресловутой сортировке лагеря.

На самой низкой ступени находились обладатели немецких паспортов, чуть-чуть повыше них были обладатели австрийских паспортов. Лучше было тем, кто, имея немецкий или австрийский паспорт, заранее запасася заокеанской визой. Еще ступенью выше были люди, женатые на француженках, а выше них — отцы французских сыновей, служащих во французской армии. Очень перспективными считались далее жители Саара, поскольку Франция в

особо торжественной форме пообещала им свою защиту. На самом верху этой иерархической лестницы находились иностранные легионеры и мы, обладатели паспортов без гражданства, так как Франция признала нас за политических эмигрантов и противников Гитлера. Яростно споря, разные группы сравнивали свои шансы. Несмотря на многие разочарования, мы все же вновь и вновь говорили друг другу, что завтра уж обязательно начнется эта пресловутая чистка, а за ней — освобождение, и первой будут рассматривать ту или иную группу. И люди привилегированной группы презрительно смотрели на печальных обладателей простых немецких или австрийских паспортов.

Кто всю свою жизнь провел в стране, никогда не подвергавшейся потрясениям ни от внутренних беспорядков, ни от войн, ни от оккупации, тот не знает, какую роль в жизни человека может играть удостоверение личности, одна-единственная печать. Обычно это пустяковый клочок бумаги с ерундовой печатью, равнодушно оттиснутой незначительным писарем. Но сколько десятков тысяч, сотен тысяч, миллионов людей охотятся за таким клочком бумаги! Сколько хитростей, денег, нервов, жизненных сил тратится великим множеством людей, чтобы раздобыть такую печать! Сколько мошенников живет тем, что законным или незаконным образом помогают раздобыть такие бумаги с печатями! Сколько счастья, сколько несчастья несет такая бумажка своему законному или незаконному обладателю!

В битве за получение нужных бумаг большую роль играют юристы, поскольку принято считать, что они хорошие проводники в лабиринте правительственных предписаний. И в нашем лагере с юристами очень считались. Они с важностью разъясняли нам, что наше интернирование незаконно и противоречит международным гарантиям, которые Франция дала на конференции в Эвиане. И вот группа интернированных, ссылаясь на то международное соглашение, составила протест против содержания нас в лагере. Когда мне принесли этот документ для подписи, я расхохотался. Как могли люди, находившиеся в здравом уме, в такие времена взывать к международным гарантиям? Но человек всегда должен цепляться за какую-то надежду.

Тщеславие подстегивало некоторых наших юристов и пробуждало в них желание активно действовать. Подавались и разные другие прошения. То и дело несколько человек из какой-нибудь группы, жителей Саара, например, или отцов французских сыновей, собирались вместе, со значительными лицами, во всех подробностях обсуждали проект очередного ходатайства и наконец торжествен-

но пручали его коменданту. Комендант вежливо выслушивал их, обещал передать ходатайство по инстанции и, после их ухода, бросал его в корзину для мусора.

Отношения с солдатами охраны у нас были хорошие. Люди эти скучали и охотно вступали с нами в разговор. Рассказывали нам, что читали в газетах, что слышали по радио. К сожалению, понимали они прочитанное и услышанное лишь в редких случаях.

Впрочем, настроены они были скептически, правительству не верили, считали, что война сплошной обман и ведется лишь для того, чтобы несколько богачей стали еще богаче. Они ощущали себя не солдатами, а бедолагами, так же, как и мы, попавшими в дурацкий переплет. Это были крестьяне и мелкие сельские ремесленники, которых насильно одели в военную форму, и они ни о чем так страстно не мечтали, как о возвращении к своим женам, детям, курам и пашням.

Особенно хорошо сложились отношения у интернированных рабочих и крестьян с рабочими и крестьянами в солдатской форме. Частенько можно было наблюдать, как кто-нибудь из наших лагерников стоит по эту сторону ограды из колючей проволоки, и болтает с караульным, находящимся по ту сторону проволоки—именно так, как иной раз разговаривают друг с другом через ограду крестьяне-соседи. Без лишних слов этим немцам и французам было ясно, что заботы у них одинаковые.

Наши отношения с офицерами охраны были весьма своеобразными. Иные из нас до интернирования сталкивались с некоторыми из этих офицеров на деловой либо на дружеской почве—со шляпным фабрикантом, который стал теперь нашим тюремщиком, или с фабрикантом шелка, его заместителем. Капитан—шляпный фабрикант бывал прежде на званых ужинах у кого-то из лагерников, а другой лагерник частенько сживал с лейтенантом—фабрикантом шелка в каком-нибудь недорогом славном марсельском ресторане. Французские офицеры вели себя в новом положении хорошо. Они были доброжелательны и в то же время соблюдали дистанцию. Пожалуй, они больше походили не на офицеров, а на чиновников, которым правительство дало неприятное поручение, и вот они, худо ли, хорошо ли, его выполняют.

Должен здесь заметить, что ни при моем первом интернировании—в Тулоне и Ле-Миле, ни при втором—в Ле-Миле и Ниме мне не пришлось ни пережить, ни быть свидетелем каких-либо жестокостей или даже просто плохого обращения. Нас никогда не били, не толкали, даже не ругали. Черт во Франции был дружески настроенным, благовоспитанным чертом. Дьявольская его сущ-

ность проявлялась лишь в вежливом безразличии к страданиям зависимых от него людей, в наплевательстве, в расхлябанности, в его бюрократической медлительности.

Все яснее становилась нам сущность этого черта. И то, что он был таким, было хуже, чем если бы он был жестоким и коварным. С жестокостью и коварством подчас легче бороться, чем с формализмом и халатностью. Этот черт во Франции был мягким, медузообразным: если его хватали, он не сопротивлялся, отступал, выскальзывал, чтобы появиться в другом месте. Он был Великой Кривой Пера Гюнта.

Понимали это немногие из нас, но чувствовали все. Правда, еще говорили о том, что вот-вот появится комиссия по чистке, но всерьез эти разговоры никто уж более не принимал. Люди стали свикаться со своим положением, рассчитывать на длительное пребывание в лагере и приспособились к этому. Уши привыкли к ругани и звукам выпускаемых газов, язык — к брому, нос — к смраду отхожих мест. Лишь сердце время от времени возмущалось и не желало привыкнуть к тому, что это тупое, бессмысленное существование должно длиться без конца.

Все мучительнее становилась неопределенность нашей судьбы, неясность того, что нас ожидает. Писем не было, никто ничего толком узнать не мог. Единственное, что было несомненно, это то, что политическое и военное положение Франции с каждым днем ухудшалось.

Мы говорили себе, что при столь быстро сменяющихся событиях инстанции, которые имеют к нам касательство, наверняка не располагают временем, чтобы позаботиться о нас, принять решение о наших судьбах. Мы испытывали мучительное чувство, что мир позабыл о нашем существовании. Многие считали, что нас здесь сгноят, погубят и никто по ту сторону проволоки об этом не узнает.

Я так не думал. Я был твердо убежден, что мои друзья на свободе делают все для моего освобождения.

КОРАБЛИ БАЙОННЫ

Проклят ты будешь при входе твоём и проклят при выходе твоём. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим; одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них. Утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!», а вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!»

В начале этой книги я рассказывал о маленькой комнате на первом этаже моего дома в Санари, в которой стоял радиоприемник. С этим радиоприемником у меня

были связаны особые переживания. Приемник соединял меня с Германией, с моей родиной, с городом Мюнхеном, в котором я родился. Странно звучали из этого приемника голоса людей, которых я давно уже не видел, но чьи голоса еще не забыл, голоса актеров, когда-то игравших в моих пьесах, а теперь бубнящих нацистские лозунги. Приемник сообщал о местах, очень хорошо нам известных, о проходящих там теперь отвратительных манифестациях. Защищенный Францией, я полеживал на своей оттоманке и с двойственным чувством слушал, как какой-нибудь министр или какой-нибудь нацистский функционер истерически обрушивал на меня громы и молнии.

Незадолго до того, как я вынужден был променять мой милый дом на концентрационный лагерь, этот приемник извергнул ужасную новость о бельгийской катастрофе. Нацисты обставили это сообщение по-варварски эффективно. Сначала диктор прочел обычные сообщения о победах, потом объявил: «Оставайтесь у приемников, через пять минут будет передаваться чрезвычайное сообщение!» Мы ждали с неприятным чувством. Через пять минут было сказано: «Передаем чрезвычайное сообщение верховного командования. Только что немецкие войска вошли в бельгийский город Лувен». Затем зазвучала сентиментально-игривая песенка: «Дай мне твою ручку, милая моя. Мы едем, едем, едем в чужие края...» (По своей тупой архаичности, по средневековой ганзейской кичливости и сентиментальности это едва ли не самая лживая песня на свете.) Едва кончилась эта отвратительная песня, мы услышали вновь: «Оставайтесь у приемников, через несколько минут мы передадим еще одно чрезвычайное сообщение». И через пять минут опять вульгарная песенка и новое сообщение: «Немецкие войска только что вошли в столицу Бельгии Брюссель»; и — в третий раз: «Сейчас будут переданы новые чрезвычайные сообщения». Вновь: «Мы едем, едем, едем в чужие края...» — и «Немецкие войска только что заняли укрепленный приморский город Антверпен». Затем: «Германия, Германия превыше всего» и хулиганская нацистская песня о Хорсте Весселе.

Это была одна из мрачных прелюдий к тому, что нам предстояло услышать потом в лагере. Мы узнали о падении Амьена и Арраса, о продвижении немцев по Северной Франции, о взятии Булони, Кале. Мы узнали, что бельгийский король отдал приказ своей армии сложить оружие. Мы слышали о речи, в которой французский премьер-министр обвинил целый ряд своих генералов в неспособности либо в измене и сместил их с постов.

Все это мы узнали лишь в самых общих чертах, неопределенно. Те немногие газеты, которые нам удавалось раздобыть, попадали к нам с опозданием, искаженные цензурой, их сообщения не слишком помогали прояснить ситуацию. Мы очень внимательно прислушивались к тому немногому, что нам удавалось услышать, комментировали каждое слово, изучали тайком раздобытую карту, среди нас было много стратегов, которые поясняли: что, каким образом, почему.

Во всяком случае, было известно: нацисты продвигаются вперед, нацисты угрожают Парижу. А что будет с нами, если они возьмут Париж? Было ужасно сидеть здесь в лагере в полной беспомощности, со связанными руками и не иметь никакой возможности предпринять что-либо против надвигающейся беды, даже не знать о ней ничего определенного.

О возрастающих успехах нацистов можно было судить по поведению тех из нас, которые им симпатизировали. Они были в ничтожном меньшинстве и до сих пор держались тихо, теперь же они почуяли ветер перемен. Тут они и заговорили, торжествуя заявили: Париж ни при каких обстоятельствах не удержать, с Францией будет покончено. Один из нацистов прятал у себя в соломе маленький радиоприемник, он со злорадством сообщал нам о победных реляциях нацистов.

Положение наше рисовалось нам весьма мрачным, а бесчисленные слухи делали его еще мрачнее.

Сам я был убежден, что события во Франции, что бы ни произошло, окончательного исхода войны еще не решат. Я был убежден, что каких бы огромных успехов гитлеровцы ни добились, войну им не выиграть никогда. Как немцы в первой войне не смогли удержаться против всего объединившегося мира, точно так же — это я знал с математической точностью — им не выстоять и в этой войне. Я все время повторял это моим товарищам. Я был убежден в этом и убеждал других. Но на следующий день опять приходили пессимисты, и я должен был начинать все сначала.

Пожалуй, больше, чем события на севере, всех нас находившихся на юге Франции занимал вопрос: что будет делать Италия? Вступит ли Италия в войну? Ближайшие итальянские аэродромы находились от нас в полчасе полета. Что будет с нами, если Италия объявит войну?

До сих пор, все эти девять месяцев, войну на юге страны не очень-то видели и ощущали. Теперь все внезапно почувствовали ее на собственной шкуре. Офице-

ры ходили с замкнутыми, удрученными лицами, солдаты помрачнели, они испытывали страх, не знали, как защититься от грозящей беды.

Мы, интернированные, должны были копать щели, предназначенные для защиты от нападения с воздуха. Руководил этими работами младший лейтенант, который до призыва был секретарем городского муниципалитета. О деле, которое было ему поручено, он не имел ни малейшего представления. Нам следовало в твердом грунте дворов вырубать глубокие, идущие зигзагом щели. Но так как места было не очень-то много, мы большей частью копали возле дома.

Сведущие люди среди нас говорили, что работа эта безнадежно дилетантская. В таком окопе во время бомбежки люди будут подвергаться особой опасности. Попади бомба в дом, щели наверняка окажутся засыпанными. Очень осторожно мы сказали об этом лейтенанту — секретарю муниципалитета. Он резко оборвал нас: есть приказание рыть щели для защиты от нападения сверху.

Лагерное начальство требовало, чтобы эти работы выполнялись как можно быстрее. Нас разбили на смены, был установлен строгий порядок. Окопы следовало рыть глубокие, а земля была твердая, легкой эту работу не назовешь. И тем не менее большинству она нравилась, и после длительного вынужденного безделья мы радовались ей. Все работали с удовольствием. Снимали пиджаки, рубашки, груболицые католические священники сбрасывали с себя сутаны, оставались обнаженными до пояса, с покрасневшей от солнца кожей; мы расковыривали грунт мотыгами, лопатами, увозили его на тачках.

Через два дня после начала наших земляных работ район Ле-Миля подвергся первой бомбежке. Бомбили нас не итальянцы, а немцы.

Капитан лагеря разделял, видимо, мнение наших сведущих людей. Он отправил нас не в окопы, а в дом. Большие ворота заперли, как на ночь, окна, как на ночь, закрыли дощатыми щитами. Бомбежка была сильная. В каких-нибудь двух милях от лагеря находился аэродром, бомбы падали очень близко. Мучительное, гнетущее напряжение испытывали мы все, две тысячи беззащитных людей, запертых в темном помещении. Те из нас, кто имел опыт, по свисту летящей бомбы, по звукам взрыва определяли, какая бомба упала, как далеко.

Более четырех часов продержали нас взаперти, всю середину дня, обеда не было. Мы были раздражены, особенно юристы. То, что нас разместили рядом с аэродромом, утверждали они, является грубейшим нарушением международного права.

В здании было лишь четыре уборные. Но ими, как я уже говорил, днем пользоваться не разрешалось, они находились под замком. Лагерное начальство и на этот раз не разрешило их открыть, и это очень возмутило нас, многим это было крайне тяжело. Мы взломали двери. Но тут иностранные легионеры заявили, что уборные находятся на их территории, и стали требовать плату с каждого, кто желал ими пользоваться.

В помещении находились только интернированные, французов среди нас не было. Разрывы бомб удалялись, приближались, удалялись вновь. Через щели в щитах, закрывающих окна, мы наблюдали за двором, он был совершенно пуст. Чувствовали мы себя всеми покинутыми.

Все глубоко вздохнули, когда ворота наконец-то вновь отперли и нам разрешили выйти на залитый солнцем двор.

Ночью была вторая бомбежка, но нам она не показалась такой тяжелой. Темный дом, в котором мы, беспомощные, были заперты, днем производил впечатление братской могилы, в которой нас погребли, а ночью этот же дом был нам ночлегом. Большинство вообще спали, разрывы бомб не разбудили их.

На следующий день в лагерь прибыл офицер инспектировать наши окопы. Он приказал их засыпать. Изнурительная работа, бессмысленное рытье щелей, бессмысленное закапывание их — это был свособразный символ нашего бессмысленного нахождения в Ле-Миле, где наша жизнь постоянно находилась под угрозой. И все, что осталось от этой затеи с окопами, это неровный двор, покрытый рывтинами и буграми.

Нацисты, находящиеся среди нас, якобы тайно слышали по своему радиоприемнику, что немецкое командование знает: в Ле-Миле заперты также и благонамеренные немцы, сочувствующие нацистам, поэтому-де оно дало указание своим летчикам щадить лагерь.

В последующие дни было еще несколько бомбежек. Мы уже знали, что весь север Франции находится в руках нацистов. Мы читали об отчаянном обращении французского премьер-министра к Америке с мольбой о немедленной помощи, иначе Франция погибнет.

Стояли великолепные июньские дни, было не очень жарко и не очень ветрено. Маленькими группками собирались мы в наших пыльных дворах и горячо обсуждали последние события. Повсюду были нарыты кучи земли, свидетельства наших попыток защититься от бомб. Когда немцы возьмут Париж? Он уже был объявлен открытым городом, следовательно, боев за него не будет. Нацисты

стоят в семидесяти милях от Парижа, нет, в восьмидесяти, нет, в сорока восьми. Нашим brave солдатам охраны пришлось неожиданно заняться строевой подготовкой. Они маршировали по четыре в ряд в полной боевой выкладке. Установленные вокруг лагеря пулеметы были приведены в боевую готовность. Все отпускали по этому поводу горькие шутки. Наши солдаты мрачно заявляли, что если появятся итальянцы, они разойдутся по домам.

Они-то могут разойтись по домам, а что будет с нами? С севера шли немцы, с востока—итальянцы, а мы, запертые в лагере, были беспомощны. Даже если нам и удастся бежать, мы окажемся во враждебной стране, гонимые и преследуемые со всех сторон, между армиями, окажемся врагами для всех.

Горько усмехаясь, мы производили расчеты, чтобы оценить наши шансы выбраться из этой ловушки с целой шкурой. Учитывались вести с фронтов, психологическое состояние населения, наши собственные физические возможности. Мы пришли к заключению: сегодня вероятность смертельного исхода—шестьдесят процентов, вероятность спасения—сорок процентов. Нет, это слишком оптимистично, вероятность спасения—процентов тридцать. Впрочем, эти цифры для каждого были разные. Тот, кто открыто выступал против нацистов, кого нацистские газеты заклеили как врага национал-социализма, кто был осужден их судами, у того, естественно, было еще меньше шансов на спасение.

Торговля газетными новостями процветала. По всем углам стояли люди, изучали скудные газеты, стоящие немалых денег и зачитанные до дыр, выкладывали свои франки и шли к другой группе, где кто-то читал вслух другую газету. Если появлялся офицер, газету прятали, а едва он проходил мимо, вытаскивали снова.

И жившие среди нас нацисты требовали и получали деньги за сообщение тех сведений, которые они слышали по своему радиоприемнику.

Италия объявила войну. Немцы перешли Сену. Франция распалась.

На наш кирпичный завод каждый день прибывали новые транспорты. По большей части это были люди из концентрационных лагерей с севера страны, теперь их перевозили на юг. Однако прибывали не только интернированные, но также транспорты с беженцами: голландцами, люксембуржцами, бельгийцами. Смертельно усталые, сидели они во дворах. Затем их вели есть, пожитки их в беспорядке валялись в пыли, на солнце, жалкие пожитки, нищенская собственность.

Нам, собственно, было запрещено говорить с новоприбывшими. Но суровой дисциплины в нашем лагере не было никогда, сейчас же ее не стало вовсе, и на запрет этот мы не обращали внимание.

Мы слышали чудовищные сообщения. Прибывшие из бельгийского концентрационного лагеря рассказывали, как их везли по Франции в запломбированных вагонах. Никто не заботился об их эшелонах, никто не давал им ни еды, ни воды. Бельгийские солдаты охраны обобрали их, некоторые из них умерли в вагонах от истощения, трупы продолжали путь с живыми. Все рассказывали, что миллионы французских беженцев с севера затопили юг страны. Железнодорожные пути, дороги были забиты. Люди дерутся за средства передвижения. Нет никакой организованности и порядка.

Обычно транспорты голландцев, люксембуржцев, бельгийцев останавливались у нас ненадолго, люди же из северных концентрационных лагерей — на более продолжительное время. От них мы слышали поразительные истории о том, как их отправляли в самый последний момент, какие мучительные трудности им пришлось пережить: бесконечный путь в перегруженных товарных вагонах, а также стоя в кузовах грузовых машин, дни и ночи, изнывая от голода, изнывая от жажды, в пыли, под палящим солнцем.

И у нас им было плохо. Их разместили на третьем этаже завода, еще меньше приспособленном для размещения людей, чем второй. Этот третий этаж был забит стеллажами для приемки кирпича; свободного пространства не было совсем. Новоприбывшим надлежало как-то устраиваться. Соломы им дали мало, спать приходилось на тех участках дощатого пола, который с трудом удалось освободить от стеллажей. Пол из плохо пригнанных друг к другу досок имел большие щели, кроме того, для подъема на третий этаж были устроены грубо сколоченные подъемники, пол повсюду имел люки, через которые на наши головы сыпались солома и бесчисленные мелкие предметы.

На ночь выход с третьего этажа вниз закрывался. Наверху была единственная уборная без слива. Люди справляли свою нужду на месте, нечистоты в темноте капали на нас, мы орали несчастным, ни в чем не повинным людям: «Свиньи, мерзавцы!» — пока не являлась охрана.

Теперь каждый день лагерь менял свое лицо. Появлялись сотни новых людей, сотни уезжали. Те, кто работал на кухне, были в растерянности. Они никогда не знали, сколько готовить супа, кофе — на две тысячи, на три?

Среди новоприбывших были и старики и дети. Был люксембуржец семидесяти девяти лет с двумя внуками — четырнадцатилетним и пятнадцатилетним. У всех был теперь один удел, одни мучения, одни и те же заботы. Было несколько человек из цирковой труппы лилипутов, чьих мужчин призывного возраста французские бюрократы сняли с корабля, отплывающего в Южную Америку. Впрочем, мне говорили, что эти лилипуты были настроены профашистски и радовались немецким победам.

Мы — в некоторой степени старожилы Ле-Миля — пользовались у лагерного начальства явными преимуществами. Офицеры говорили нам, что о нас они, по крайней мере, знают, кто мы такие, знают, что мы антифашисты, хорошо относимся к французам и попали в лагерь, по существу, лишь порядка ради. В этом же потоке новоприбывших есть и шпионы, и множество других подозрительных личностей. Новая ситуация не нравилась никому. Офицерам и солдатам — потому что новоприбывшие доставляли им много хлопот, нам — потому что из-за новичков приходилось жить в более стесненных условиях и делиться едой, они мешали нам на каждом шагу. Гротескным было то, что мы считали себя лагерной аристократией, что мы, старожилы, коренные жители, смотрели свысока на новеньких, чужаков.

Новые интернированные рассказывали о случаях поразительно бездушного отношения бюрократии к людям. Был среди них молодой немец из семьи известных эмигрантов. Он был чешским гражданином, жил в Швейцарии и, в соответствии с вызовом чешского консула, приехал во Францию, чтобы вступить в Париже в чешский легион и воевать против Гитлера. При себе он имел не только все необходимые документы, но также теплое рекомендательное письмо от французского посланника в Берне. На французской границе он показал свои документы, но его тут же арестовали и интернировали. Потом его стали переправлять из лагеря в лагерь, и войти в контакт с кем-нибудь из людей, находящихся на свободе, ему так и не удалось. Был там также молодой инженер из Югославии, уроженец местности, которая до войны была еще австрийской. Этот инженер, пламенный антифашист, несмотря на устроенность и хорошую работу, поехал во Францию, чтобы вступить добровольцем во французскую армию. И у него было очень хорошее рекомендательное письмо французского посланника. И его на границе арестовали, интернировали, и теперь он кочует по лагерям.

Иные из новоприбывших были во французской военной форме. Они вступили во французскую армию добровольцами или стали солдатами трудового фронта. На

спинах их курток были выведены огромные буквы Т.Е. начальные буквы слов «travailleurs etrangers», иностранные рабочие. Лихо сидела на них двурогая пилотка французского солдата.

Мундиры и пилотки теперь можно было купить, и иные из нас использовали возможность заменить свою изношенную рвань на французскую форменную одежду. И наш товарищ по лагерю, Вейнберг, купил себе солдатскую пилотку, в ней он выглядел вдвойне гротескно: маленький, полный и веселый, бродил он по лагерю в грязной белой пижаме и в пилотке защитного цвета, сопровождаемый своей твякающей собачонкой.

Весь юг Франции был полон слухов и находился в состоянии паники. Удержатся ли французы на Луаре? Пал ли Верден?

Известно было одно: оставаться здесь, в Ле-Миле, уже опасно. Нацисты шагали по Франции быстро, вот-вот они будут здесь, у нас, в долине Роны. Если и было где-нибудь безопасное место во Франции, так это на юго-западе, в Пиренеях. Падали шансы выбраться живыми из ловушки. Мы давали себе двадцать процентов надежды, пятнадцать.

Необходимо было что-то предпринять. Нельзя сидеть здесь сложа руки и ждать, когда нацисты захватят лагерь. Возможно, французы и хотят спасти нас, но мы боялись легкомыслия властей, зная чертову халатность, их склонность к тому, чтобы все шло, как оно идет. Опыта у нас было предостаточно, французских бюрократов мы знали хорошо. Инстанции, которым мы непосредственно подчинялись, никогда не решались предпринять что-либо на свой страх и риск, они будут дожидаться указаний от вышестоящих инстанций, а вышестоящие поступят точно так же; тут, глядишь, и нацисты придут, а французы все еще не приняли никакого решения. Если мы не поможем себе сами, нам не поможет никто.

При непрерывной текучести контингента, при постоянной смене охраны дисциплина в лагере все падала и падала. Мы делали что хотели. Запрещалось находиться в той части двора, которая примыкала к помещению комендатуры. Именно здесь мы стали теперь собираться сотнями, чтобы показать коменданту наше беспокойство, наше возмущение. Мы спорили, кричали, жестикулировали. Охрана вяло пыталась рассеять нас, мы не обращали на нее никакого внимания.

Мы решили пойти к коменданту и высказать ему наши серьезные опасения. Среди нас было несколько известных политических деятелей и знаменитых некогда адвокатов.

Юристы и сейчас были готовы кому угодно доказать, что все чинимое над нами противозаконно. Они горячо убеждали нас, что на нашей стороне международное право, что мы можем требовать, чтобы нас вывезли из опасной зоны, что Красный Крест обязан защищать нас, и прочее в этом роде. Много разговоров было и о той конференции в Эвиане, и о международных соглашениях, касающихся политических эмигрантов.

И вот некоторые из нас, усевшись на кучи битого кирпича и трухлявых жердей, набросали петицию, образовали комитет и отшлифовали написанное. Делегации надлежало пойти к коменданту и передать ему наши требования. Даже теперь, когда дело шло о жизни и смерти, среди нас нашлись тщеславные люди. Они горячились, обсуждая состав делегации и требования, которые она должна поставить перед лагерным начальством. Были тут люди из Саарской области, из Австрии, из Чехии, были известные политические эмигранты, экспатрианты, женатые на француженках, обладатели виз на выезд за океан; все они хотели иметь своих представителей в этой делегации. Так кто же кого должен был представлять и что, собственно, следовало требовать?

Наконец пришли к соглашению. Решили требовать, чтобы из района, который вот-вот захватят немцы, военные власти как можно быстрее удалили тех, кому грозит наибольшая опасность. Состоять делегация должна была из десяти человек. Настаивали, чтобы возглавил ее я, так как только мое имя что-то говорило лагерному начальству. Я не считал себя особенно подходящим для этого, но отвести свою кандидатуру не смог.

Оставив остальных шуметь у окон комендатуры, мы, делегаты, направились к коменданту. Тот сказал, что примет только меня.

Я вошел в маленькую приемную. Там находились лагерные офицеры—восемь человек. Они сидели. Стула мне не предложили. Оборванный, в грязной обуви, чувствуя себя крайне неловко, я стоял в маленьком, жалком, скудно убранном помещении, где сидели восемь молчащих господ в мундирах. «Что вам угодно?»—спросил комендант.

Ситуация мне очень не нравилась. Я считал не очень-то приличным, что имеющие власть и сидящие здесь французские господа не предложили мне стул. Снаружи мои товарищи, две-три тысячи человек, ждали результатов встречи, они надеялись на меня.

И мне пришла в голову хорошая мысль. Я сказал: «Господин капитан, я представляю несколько тысяч чело-

век по очень важному для нас вопросу. Боюсь, в настоящей ситуации мой французский язык недостаточно хорош. Я был бы вам признателен, если бы вы разрешили пригласить сюда одного из моих товарищей». — «Пожалуйста, — сказал капитан. — Кого?» Я подумал и назвал господина С., пожилого, осторожного человека. Его позвали.

В ожидании прошло несколько минут. Несколько неприятных минут. Все молчали. Неловко стоял я перед комендантом возле маленького неприглядного письменного стола и, вероятно, выглядел не очень-то представительного.

Пришел господин С. Капитан повторил: «Что вам угодно?» И тут я заговорил. Я сказал о той опасности, которая нависла над нами. Многих из нас нацисты ищут, преследуют, иные приговорены фашистскими судами к смертной казни, некоторых нацисты постоянно в газетах и по радио именуют государственными преступниками. Если мы попадем в их руки, то погибнем. Мы могли бы, пожалуй, спастись или нас можно было бы еще спасти, если бы мы не оказались вынужденными беспомощно сидеть здесь в лагере, обреченные на бездеятельное ожидание. Я говорил обстоятельно, подчеркнув, что те, кто доставил нас в этот лагерь, обязаны и освободить нас из него.

Едва я кончил, начал говорить осторожный господин С. Он смягчил мое выступление, подчеркнув, что, само собой разумеется, мы понимаем, что господам в генеральном штабе все известно, и несколько не сомневаемся в том, что меры к нашему спасению предпринимаются. Но мы были бы очень признательны господину капитану, если бы он смог сообщить для передачи нашим товарищам что-нибудь утешительное: такое, что рассеяло бы их вполне понятное беспокойство.

«Что я, по-вашему, должен делать?» — спросил слегка раздраженный капитан. Можно было бы, сказал я, вернуть, например, нам наши документы и деньги, чтобы при чрезвычайных обстоятельствах, если они возникнут, каждый из нас имел бы возможность позаботиться о себе сам. «Тогда может случиться такое, — сказал капитан, — что половина лагеря разбежится. Если в этих местах станет бродить еще тысяча человек, это очень усложнит снабжение населения продуктами и появятся трудности с транспортом. Я могу вам сообщить нечто утешительное. Могу заверить вас, у меня есть указания, как поступить в случае серьезной опасности. Передайте это своим товарищам и успокойте их».

Это было очень неопределенное заверение. Едва ли оно внесет успокоение, если мы вернемся с ним. Мы

стояли в перешительности, подыскивая слова. Капитан сам заметил, что его заверения ничего не стоят. «Даю вам слово офицера,—сказал он,—что меры для вашего спасения приняты. В нужное время вас вывезут. Но это не так просто, как вы себе, вероятно, представляете. Транспортные средства, все, до последнего вагона, заняты. Железнодорожные пути забиты. Да, кроме того, нам еще нужно сначала установить, сколько человек следует эвакуировать из лагеря. Надо сперва проверить, кто действительно находится в опасности, а кто—нет. На это тоже уйдет время».

Мы испугались. Новая проверка. Нет, этого мы не должны допустить, такой проверкой, знаменитой *triage*¹, нас дурачили предостаточно. Проверка привела нас в такое положение, в каком мы теперь оказались. Если французская бюрократическая машина собирается нас еще раз проверять, прежде чем что-то предпринять, то можно считать, что мы пропали. Даже если вся Франция будет захвачена нацистами, в высоких инстанциях все еще не придут к согласию относительно критериев такой проверки.

Я сказал: «Извините меня, господин капитан, но нет ли простого способа установить, кто находится в опасности, а кто—нет? Тот, кто не боится нацистов, наверняка не захочет подвергаться трудностям эвакуации в неизвестность. Нам ясно, что эвакуация при таких обстоятельствах будет делом нелегким. Кто не боится нацистов, предпочтет остаться в Ле-Миле и здесь их дождаться. Проведите среди нас опрос, господин капитан, и сразу же станет ясно, кто хочет остаться, а кто—эвакуироваться».

Капитан медлил. Мои аргументы показались ему убедительными. «Я обдумаю это»,—пообещал он.

Было ясно, что наши слова произвели на капитана впечатление. Но результаты переговоров разочаровали наших товарищей. О какой директиве на случай чрезвычайной опасности говорил капитан? Когда наступит эта чрезвычайная опасность? Солдаты охраны поговаривали, будто Лион уже захвачен нацистами, ведь они недавно находились всего в тридцати милях от него. Не был ли это как раз тот случай чрезвычайной опасности?

Беспокойство росло. Всюду собирались новые группы, всюду спорили, всюду составляли и обсуждали самые фантастические планы спасения, произносили речи.

Был среди нас прекрасный оратор—адвокат и парла-

¹ Сортировка (фр.).

ментарий одной из юго-западных земель Германии, доктор Ф. Этот бородач лет сорока имел очень представительную внешность. Доставлен сюда он был с двумя сотнями людей из лагеря, расположенного в центре Франции. От него исходили блеск и сила, и он завоевал не только доверие двухсот своих товарищей, но доверие и даже дружбу молодого французского офицера, который сопровождал к нам в лагерь эту партию из двухсот человек. Дело дошло до того, что офицер заявил: при любых обстоятельствах он спасет вверенных ему людей. Он раздобыл удостоверения, свидетельствующие, что предъявитель сего документа отпущен из лагеря. Каждое такое удостоверение было подписано и имело печать, оставалось вписать в него только имя. Эти удостоверения в случае крайней опасности офицер хотел раздать людям своей группы.

Блистательный доктор Ф., парламентарий и адвокат, был совершенно не удовлетворен результатами нашей встречи с капитаном. Он собрал своих товарищей по прежнему лагерю, вскоре к ним присоединились и другие, и произнес великолепную речь. О чем он в деталях говорил, я не помню, но знаю, что это действительно была блестящая, эффектная речь.

Я весьма скептически отношусь к ораторам и к их речам, однако это не мешает мне каждый раз увлекаться хорошей речью. Но увлекаюсь я с оговоркой. Я отлично знаю, что доверять оратору опасно, и принял за правило дожидаться напечатанного текста речи, а уж потом выносить о ней суждение.

Иному нечего сказать, и тем не менее, а пожалуй, как раз поэтому, он может оказаться хорошим оратором. Так, Адольф Гитлер, например, для своей аудитории является наилучшим оратором, тем не менее он ни разу в жизни не высказал ни одной мысли, которую стоило бы напечатать. Нет, возможно, я беру на себя чересчур много: несколько страниц из книги «Моя борьба» заслуживают того, чтобы их прочесть. Это страницы об ораторе и о различии между оратором и писателем. Эти страницы об ораторе и пропаганде написаны со знанием дела, и они не утратят значения: ведь исходят они из сокровенных глубин человека, который был рожден для того, чтобы стать оратором для толпы, и они произвольно выдают секрет, какие опасности грозят тем, которые, не принимая необходимых мер предосторожности, предаются удовольствию слушать этого хорошего оратора.

Но я хочу уйти от соблазна более полно высказать здесь то, что может сказать прирожденный писатель прирожденному оратору, и возвращаюсь к моему рассказу, к нашему оратору, адвокату и депутату доктору Ф.

Он заявил, что с лагерным начальством следует говорить совершенно иначе, гораздо решительнее, угрожая ему. Лагерному начальству надо дать короткий срок — двадцать четыре часа, и заявить, что если за это время нас не эвакуируют, мы уйдем из лагеря сами. А если французские солдаты будут стрелять в нас, чему он лично не верит, то лучше умереть от пули француза, чем околоть в застенках гестапо.

Такие речи, естественно, очень сильно увеличивали наше волнение. Ко мне подошли те молодые австрийцы, которые так хорошо отнеслись ко мне при моем появлении в лагере. Они настойчиво убеждали меня, что ждать больше нечего, следует немедленно бежать. Они помогут мне. Примерно в десяти милях от лагеря в небольшом домике живет крестьянин со своей семьей. Он-де их политический единомышленник, они вошли с ним в контакт через одного солдата, и он готов принять нас. В его доме я мог прожить несколько недель в полной безопасности.

И план побега мои австрийцы уже разработали до мельчайших подробностей. Есть здесь канализационная труба, выходящая под землей за территорию лагеря. По-настоящему неприятно, считали они, пробираться по ней всего лишь несколько метров: тут придется ползти в грязи и в нечистотах, и тут уж намучаешься. Но с их помощью, сказали ребята, я наверняка справлюсь. Они стояли передо мной, молодые, сильные, полные решимости, внушая к себе полное доверие. Но несмотря на это, стоило мне только подумать о нескольких метрах канализационной трубы, о нескольких неделях жизни у крестьянина, как мне становилось не по себе.

Вероятно, охрану можно было бы подкупить и бежать из лагеря более удобным образом. Но бежать одному, на собственный страх и риск, смысла не имело. Без энергичной помощи французских властей шансов спастись от наступающих фашистов не было никаких.

Чтобы водворить нас в этот вечер в помещение, охране пришлось долго потрудиться, потребовались и дружеские уговоры, и мягкий нажим. Но и в помещении мы не успокоились.

После сигнала отбоя и после того, как был погашен свет, половина лагеря собралась в катакомбах. Люди делились своими тревогами, обменивались последними слухами. Среди нас оказались два офицера лагерной охраны. И хотя ночью было запрещено находиться в катакомбах, они не заставили нас вернуться к нашим соломенным тюфякам, напротив, говорили с нами, заверя-

ли, что понимают наше тяжелое положение, пытались успокоить нас. Но чувствовалось, что им самим было тоже не по себе.

Катакомбы гудели всю ночь, люди шептались, спорили. Вновь и вновь прорывалась злоба на медлительность и легкомыслие французов. Они до сих пор еще не поняли, как мобильны нацисты, как быстро они действуют. Мы же это знали, мы знали, что уже к завтрашней ночи враг может оказаться здесь.

Один австрийский журналист с поистине садистским наслаждением красочно расписывал нам, что тогда произойдет. Немецкие офицеры будут вести себя по отношению к французам вежливо и корректно. Они потребуют, чтобы им передали лагерь, и по всей форме примут его. И нас на первых порах новые хозяева ни в чем обвинять не станут. Потребуют лишь списки лагерников, сделают перекличку, проверят, все ли мы здесь присутствуем. Даже на фамилиях, которые им так приятно будет слышать, например, на моей, они при перекличке не задержатся: разве что, прочитав такую фамилию, проверяющий едва заметно многообещающе усмехнется, затем назовет следующую фамилию.

Те, кому грозила серьезная опасность, несколько не сомневались, что, если нацисты захватят Ле-Миль, надо будет покончить с собой. Но как сделать это? Веревку достать трудно. И, даже раздобыв ее, как ею воспользоваться? Где найти такое место, чтобы без помех наложить на себя руки? Спрашивали австрийского придворного парикмахера, того, который мог раздобыть все, не достанет ли он яд. Тот решительно отказался. «Другие,— сказал он,— вам это пообещают, деньги возьмут и сунут какой-нибудь белый порошок. Но если потом придется воспользоваться, обман обнаружится. Зубной порошок, не более того. Я человек порядочный, если не могу помочь — не обещаю».

Спать в эту ночь смогли немногие.

На следующее утро руководители групп действительно получили указание составить списки желающих перевестись в другой лагерь. Да, эти списки должны были быть переданы в комендатуру до двух часов пополудни. Поспешность была хорошим знаком и обнадеживала нас.

Очень скоро выяснилось, что составление таких списков оказалось совсем непростым делом. Многие не могли решить, как поступить им, оставаться или уезжать. Нет, не потому, что среди нас было много нацистов. Но старые и больные люди считали, что не выдержат лишений, связанных с таким переездом, и, что бы ни

случилось, предпочитали остаться, пусть будет что будет. Затем были среди нас бедняги, которые никогда не интересовались политикой, никогда ни о чем не думали, кроме как о том, чтобы заработать на жалкий кусок хлеба для себя и своей семьи. Они спрашивали себя, действительно ли будут нацисты иметь что-нибудь против них? И не напортят ли они себе, не навлекут ли на себя особые подозрения тем, что сами объявят, что боятся нацистов. Совсем не исключено, что нацисты тогда возьмут их родственников в заложники, конфискуют остатки их имущества. Что им делать? Мучась, колеблясь, не зная, на что решиться, делились они своими сомнениями друг с другом, делились со мной.

Мы же, те, для кого приход нацистов в Ле-Миль означал смерть, с надеждой ожидали эвакуации. Нам ничего иного не оставалось. Бежать на свой страх и риск казалось безнадежным. Некоторые в последние ночи пытались бежать: они ушли недалеко, французские жандармы перехватили их у моста через Рону или даже раньше. Итак, мы ждали.

Несмотря на распоряжение быстро составить списки, надежды на скорый отъезд у нас быстро таяли. Уже некоторые спрашивали: а не очередная ли это уловка, не способ ли нас успокоить и удержать на месте?

А лагерники-нацисты все больше нагнали; выяснилось, что их было больше, чем мы предполагали. Да, чем ближе подходили к нам гитлеровские войска, тем сторонников Гитлера среди нас становилось больше. Они уже зло подсмеивались над французской охраной, уже приветствовали во дворе друг друга «Хайль Гитлер».

И то, что они чувствовали себя так уверенно, было для нас подтверждением: их защитники рядом. Будет ли наша эвакуация проведена своевременно, будет ли она вообще проведена? Скверные признаки множились и множились. Во дворах появилось большое количество военного имущества, солдаты стали устанавливать дополнительные пулеметы, кроме солдат, в лагерь ввели также *garde mobile* — жандармов, которые стояли там и тут, не вступая с нами в разговоры. Неужели все эти меры направлены для нашей защиты? Едва ли. Почти наверняка лагерное начальство готовится подавить наши выступления, на которые нас могло толкнуть отчаяние.

Наши подозрения, наши волнения росли. Мы вновь попросили капитана принять нас. Нам пришлось некоторое время подождать. Потом он нас принял.

На этот раз нас было пятеро. Капитан Г. уверил нас, что делает все возможное, чтобы спасти нас. Собственно, генеральный штаб уже принял решение эвакуировать тех из нас, кто находится в опасности. Остается, следователь-

но, решить технические вопросы: как эвакуировать, когда. Списки еще полностью не составлены; к сожалению, эвакуироваться хотят очень многие, больше, чем комендатура ожидала. Это затрудняет необходимые приготовления.

Мы напряженно слушали его, но лица наши большого доверия ему не выражали. Один из нас некстати спросил, нельзя ли нам, по крайней мере, получить наши документы и деньги. Такое проявление недоверия разозлило капитана, он ошетинился и резко ответил, что эти вопросы решит он сам. И вообще—как спасти нас, определяют французские власти. Никогда, заявил он высокомерно, Франция законов гостеприимства не нарушала.

Во время нашего разговора его вызвали к телефону, звонили из генерального штаба. Он пошел в соседнюю комнату, один из офицеров хотел закрыть за ним дверь. Но капитан—за этот гуманный жест я прощаю ему то, что он иногда был несправедлив к нам,—сказал: «Оставьте дверь открытой. Пусть господа слушают, о чем я говорю». Напряженно вслушивались мы в каждое слово. Разговор шел о том, доставлять нас в Марсель на грузовиках или подогнать железнодорожные вагоны непосредственно к Ле-Милю. Значит, это правда. Из Марселя действительно собирались послать для нас состав.

Этот разговор показался нам обнадеживающим. Наши же товарищей, спокойных несколько часов назад, теперь не так-то просто было вывести из состояния депрессии. Они не верили больше в эвакуацию. Некоторые даже считали, что телефонный разговор, который капитан вел при нас, был всего лишь ловкой инсценировкой.

Каковы были наши шансы на спасение? Двенадцать, десять процентов—считали некоторые.

Получасом позже, когда я шел по двору, меня остановил капитан. Он дружески, как с хорошим знакомым, заговорил со мной. Теперь у него, сказал он, на руках почти все списки. Эвакуироваться хотят две тысячи, примерно вдвое больше того количества, которое предполагалось в Марселе. И все же он думает, что транспорт может быть отправлен завтра, в крайнем случае, послезавтра. Пока же он предпримет все, чтобы успокоить людей. Очень многие прибыли сюда с документами, подтверждающими их лояльность к Франции. Эти документы, попади они в руки нацистов, смогут послужить обвинением против оставшихся членов семьи. Он возвратит эти документы их владельцам и предоставит им возможность поступить с бумагами, как они сочтут нужным. Я же, настоятельно просил он меня, должен сделать все зависящее от меня,

чтобы люди перестали волноваться. Своими бесконечными расспросами, бесконечными делегациями они лишь отнимают у него драгоценное время, которое он мог бы значительно лучше использовать в наших интересах.

Человечные, разумные соображения капитана сразу же стали известны всем. Мы встали в очередь, чтобы получить те бумаги, на которые в свое время возлагали такие большие надежды. Документы, на составление которых в свое время было потрачено немало сил, мы порвали и сожгли.

У меня создалось впечатление, что капитан Г. относится к нам хорошо и действительно делает все, чтобы организовать эвакуацию. Но некоторые из нас никак не могли отрешиться от своей недоверчивости. Депутат адвокат Ф. произнес еще одну речь и, хотя я и другие осторожные люди его отговаривали, добился того, чтобы послать к коменданту новую делегацию, на этот раз из семи человек, с ним во главе. Был выдвинут предлог, обосновывающий необходимость этой делегации. В прошлую ночь лагерники, известные нам как нацисты, затеяли в темноте драку, дошло до поножовщины, есть опасность, что и в эту ночь произойдет подобное, решено просить у капитана принятия мер предосторожности. Доктора Ф. заботило, однако, не это. Он считал, что мы очень уж спокойно и вежливо говорили с господами офицерами, а когда речь идет о жизни и смерти, следует говорить иначе, и он хотел бы «подложить капитану горячих угольков под зад».

Но на этот раз капитан говорил с делегацией иначе. Капитан Г., принявший нас, был совсем не тот, что говорил нынче утром со мной во дворе. «Что вам еще угодно?—крикнул он нам.—Избавьте меня от вашей постоянной трусости и нервозности. Я вам уже все сказал. Ваш состав отходит завтра».

При разговоре с комендантом присутствовали трое или четверо офицеров. Нас же было шесть или семь человек, в том числе и депутат Ф. Господину С., который хотел осторожно и мягко объяснить, что мы пришли не по вопросу эвакуации, депутат говорить не дал. Он сразу же решил осуществить свой замысел и недвусмысленно высказать капитану свое мнение. Адвокат Ф. говорил на прекрасном французском языке,—надеюсь, он еще жив, надеюсь, он не погиб во Франции,—на этом своем великолепном французском он произнес большую обвинительную речь. Он напомнил, что Франция торжественно гарантировала нам гостеприимство. Он обратил внимание капитана на то, что и он, доктор Ф., и многие другие изъявили готовность добровольно вступить в ряды французской действующей армии.

Но огонек, который доктор Ф. собирался подложить под зад коменданту, оказался слабоватым. Раздраженный капитан отбил нападение и сказал, что мы неврастеники, а не мужчины, и несколько патетически добавил, что если обстоятельства к тому понуждают, нужно уметь умереть. Доктор Ф., очень возбужденный, возразил, что все мы доказали свою готовность отдать свою жизнь в борьбе против Гитлера. Но чего мы не желаем, так это умереть бессмысленно, не желаем стать жертвами бессмысленной французской бюрократии. Мы не желаем умереть лишь потому, что французские чиновники неспособны организовать нашу эвакуацию.

«Помолчите, помолчите!» — приказал ему капитан, покраснев от волнения. Но оратор Ф. был в ударе, он не желал молчать. Упругий, худощавый и, несмотря на убогую одежду, очень представительный, стоял он перед одетым в мундир капитаном с красной бульдожьей физиономией и раздувал огонь полемики. «Вам, капитан, легко, — сказал он. — Когда придут немцы, вы их вежливо поприветствуете, немецкий комендант тоже отдаст вам честь, вы передадите им лагерь, снимете свой мундир и пойдете домой. А от нас вы требуете, чтобы мы готовы были красиво умереть». Какое-то мгновение капитан искал ответ, затем ударил хлыстом по столу. Старый осторожный господин С. хотел было что-то сказать, хотел вмешаться, чтобы успокоить спорящих. Но он и рта раскрыть не успел, как капитан повернулся и ушел в соседнюю комнату, хлопнув за собой дверью.

Мы остались одни. То, что сделал красноречивый адвокат Ф., было явным идиотизмом. В нашем положении едва ли можно было бы сделать что-нибудь глупее, чем вывести из себя человека, в руках которого находились наши судьбы; только один мосье Г. имел связи с теми иностранцами, которые могли нам помочь. Кроме того, все, что следовало сказать, было уже давно и неоднократно сказано. Капитан был прав: переговоры с нами отнимали драгоценное время. Бессмысленность посылки этой делегации к капитану была очевидна заранее, и ораторский пыл доктора Ф. лишь вывел благожелательного капитана из себя.

Но, понимая все это, должен признаться, что поведение Ф., как бы безрассудно оно ни было, мне понравилось, и пока он говорил, я внутренне с ним соглашался и аплодировал ему. И другие, весь лагерь, с огромным удовольствием выслушали рассказ об «энергичной» речи Ф. Как ни мал был результат этой речи, более того, несмотря на весь вред, который она принесла, все же нам было приятно, что наконец-то французским господам было высказано все, что мы о них думаем.

ВТОРАЯ НОЧЬ

Ночь, следующая за этим днем, была для большинства из нас мучительной.

И внешне она отличалась от предыдущих ночей. Из-за драки, которую вчера в темноте учинили нацисты, было приказано, чтобы в помещении горело на несколько лампочек больше, чем это было до сих пор; кроме того, внутри помещения разместили французских солдат. Французские солдаты стояли на лестнице и у больших ворот, каждые два часа они сменялись; стоя на посту, они громко зевали и желали «доброй ночи» каждому проходящему. В большом помещении второго этажа в эту ночь было больше, чем обычно, разговоров шепотом, воздух был насыщен страхами и возбуждением. Буквально физически ощущалось, как каждый лежит на соломе, вслушивается в шепот окружающих, как непомерно разрастаются в темноте дневные надежды и страхи и как каждый взвешивает, взвешивает, взвешивает свои шансы. Удастся ли нам спастись? Повезет ли? Захватят ли нас нацистские войска? Удастся ли спастись?

Я солгал бы, утверждая, что страх в эту ночь полностью обошел меня стороной. Но в то же время спокойствие, которое я внешне сохранял, к удивлению моих товарищей, ни в коей степени наигранным не было.

В начале книги я уже говорил о моем фатализме. Должен несколько дольше остановиться на этой черте моего характера, так как без учета этой моей веры, или суеверия, трудно понять мое поведение во время всех тех событий, о которых я сейчас рассказываю. Итак, к двум признаниям, данным мной в начале книги, я присовокуплю третье.

Чаще всего то, что происходит вокруг нас, обусловлено очень многими причинами, мы же можем распознать лишь некоторые из них. Мы видим только одно или несколько звеньев цепочки, но никогда нам не увидеть всю ее целиком. Мы никогда ничего не знаем о ее начале и ее конце. Поэтому мы правы, не признавая единичные причины за причины как таковые, но, как ни бунтует против этого наш высокомерный разум, отводя основную роль в нашей жизни случаю. Эйнштейн разочарованно признался, что наука для объяснения событий во вселенной не может предложить нам ничего лучше, чем теорию игр.

С другой стороны, человеческий разум замечателен тем, что непременно требует объяснения этой необъяснимой игры: жизнь, судьба. То, что наша жизнь управляется случаем, то есть неизвестными нам законами, нас не

удовлетворяет. А поскольку разумных объяснений этому мы найти не можем, то начинаем искать ответа по ту сторону разума—в суеверии, в мистике, в религии. Нет среди нас ни одного, как бы здравомыслящ он ни был, кто, сам того не сознавая, не носил бы в себе тысячи суеверных представлений. И как раз в решающие моменты жизни нами управляет не разум, а магические представления, унаследованные от наших пращуров.

Иногда мне доставляет удовольствие копаться в себе и открывать эти магические представления, которые могут определять мое поведение. Я пытаюсь застать врасплох эту магию, когда она прорывается к порогу сознания. Я не стыжусь своего суеверия, я его признаю и не считаю себя из-за этого глупее тех, кто своего суеверия не признает.

Хорошо понимая, следовательно, что это бессмыслица, сам подсмеиваясь над собой, я все же думаю, что нашел линию, тайный закон, которому подчинена моя жизнь. Я полагаю, что хотя в повседневной жизни я страдаю от тысяч мелких неприятностей, постоянно предоставлен их коварству, эти мелкие уколы всего лишь выкуп судьбе, и я плачу его за то, чтобы в больших и решающих делах мне шла удача.

Да, всю жизнь я страдал от мелких, подчас вздорных неприятностей. Так, мне, человеку, приверженному к порядку и организованности, уже длительное время приходится жить без документов, удостоверяющих мою личность, и именно я, человек, особенно боящийся подобных вещей, должен постоянно воевать с властями из-за различных удостоверений, видов на жительство, пропусков, разрешений. Нечто подобное происходит и с моими денежными делами. За последние два десятка лет я литературным трудом заработал денег достаточно, чтобы жить так, как мне хочется, но где бы мои деньги ни оказались, на них либо тотчас же накладывается арест, либо их конфискуют. Подобному закону подчиняется и мое здоровье. Я физически вынослив и хорошо противостояю тяжелым болезням. Но я подвержен простудам и выгляжу, как правило, неважно, у меня плохая дикция, и мне стоит больших усилий говорить разборчиво, пищеварение мое функционирует не так, как следовало бы, и весьма часто в решающих обстоятельствах сильно меня подводит.

Что бы я ни собирался предпринять, я всегда сталкиваюсь с маленькими, смехотворными трудностями, которые большинству моих современников просто неизвестны. Так, один из моих издателей забыл обусловить мой *copyright*¹,

¹ Знак охраны авторского права (англ.).

вследствие чего я потерял большую часть дохода от одного моего пользующегося успехом произведения. Или мои помощники выкидывали нечто, за что мне приходилось отвечать и выкладывать деньги. Постоянно мне нужно было затрачивать деньги, время, нервы, силы на дела невероятно нелепые. Всегда я нуждался в хорошем адвокате, хорошем враче, хорошем банкире, в людях, которые лучше меня разбирались бы в тех или иных делах и могли бы снять с меня заботу о них. И я находил хорошего врача, хорошего адвоката, хорошего банкира. Адвокат, поработав по моим поручениям полгода, погиб в железнодорожной катастрофе. Врач, два года лечивший меня, покончил самоубийством после прихода к власти Гитлера. Мои деньги, опекаемые в течение девяти месяцев хорошим банкиром в надежном банке, были конфискованы нацистами.

Этим мелким неприятностям противостоят решающие удачи. Во время первой мировой войны, когда характер мой еще не вполне сформировался и я был восприимчив, переживания военных лет отлились в неоценимый опыт, оказавшийся решающим для моей последующей жизни и для моего творчества. Я написал книги, которые хотел написать, и работа над ними, как ни проклинал я ее подчас, доставляла мне удовольствие, которое я не променял бы ни на что на свете. Кроме того, современное общество устроено так, что не только разрешает мне делать то, что я делаю охотнее всего, а именно хорошо писать, но еще и платит мне за это. Да, поскольку я одарен, мне дано огромное счастье иметь успех. К тому же я повстречал в жизни женщин и друзей, каких только можно пожелать, и они были ко мне привязаны. Все эти обстоятельства, взятые в целом, позволяют мне думать, что определяющая линия моей судьбы именно такова, как я сказал: я счастлив в решающих делах и несчастлив в малосущественных.

Знаю, это атавистическое, фетишистское представление родственно вере тех, кто полагает, что находится под особой благосклонной защитой бога или какого-нибудь святого. Тем не менее это суеверное представление живет во мне, и я очень рад тому, что это так.

Укрепился я в этом благодаря моему второму суеверию, удивительнейшим образом возникшему из двух черт моего характера: педантичности и некоторого самомнения.

Я должен написать еще несколько книг. Точнее, из книг, которые занимают мое воображение, я выбрал несколько, которые должен непременно написать, чего бы это мне ни стоило. Четырнадцать книг я вынашиваю в себе, четырнадцать книг я еще должен написать, потому

что считаю, что только я могу их написать, потому что думаю, что они очень важны для меня, и мое самолюбие подсказывает мне, что они очень важны и для мира. И я просто не могу себе представить, чтобы что-нибудь серьезное могло помешать мне в этом и что я могу умереть прежде, чем эти четырнадцать книг будут написаны. Бог, или судьба, не допустит этого.

И вот это чувство, что со мной, пожалуй, ничего серьезного произойти не может, возможно, и является причиной моего хладнокровия, так удивляющего окружающих; и если в ту скверную ночь я мучился от страха меньше, чем другие, то лишь потому, что меня поддерживала именно эта мысль.

Я уже говорил, что моя уверенность сохранялась отнюдь не всю ночь.

Я прекрасно помню ее, эту ночь, досконально помню многие подробности. Я лежал на соломе, прислушиваясь, ощущая близость других, и думал о разном, чувствовал разное. Мой обеспокоенный разум предостерегал меня от легкомыслия, трезво сопоставлял все, что могло дать основания для великого страха. Гитлеровцы действительно были чертовски близко. И даже, если состав придет вовремя и мы будем эвакуированы, то и тогда день, когда вся Франция окажется во власти нацистов, уже близок. А где будем мы в тот день? Будем ли мы уже по ту сторону границы? Это было не слишком вероятно.

Чтобы подбодрить себя, я вновь начинал думать о тех четырнадцати книгах, которые еще хотел написать, которые еще напишу. Но эта ободряющая мысль оказалась побеждена другой, не менее суеверной. Некоторые немцы, увлекавшиеся мистикой чисел, в свое время определили, что для немецких художников число «девять» — роковое. Бетховен, Брамс, Малер написали по девять симфоний, Вагнер — девять выдержавших испытание временем опер, Шиллер, Геббель, Грильпарцер — каждый по девять сценических драм, а весьма умные люди определили, что из произведений Гете лишь девять истинно живы, что он скончался скорее всего не потому, что достиг восьмидесяти двух лет, а потому, что закончил «Фауста». И теперь, с окончанием третьей части «Иосифа», мною написана полноценная девятая книга. И это испугало меня.

Вот какими мрачными и одновременно гротескными мыслями о моей смерти я играл. Я стал подводить итоги. Пытался определить, что я имел в своей жизни и в чем мне было отказано. Удалась ли моя жизнь? Мудрой она была или глупой, счастливой или несчастной? Стоила ли она того, чтобы ее прожить?

Я пришел к заключению, что мои пятьдесят шесть лет были в основном хорошими, полноценными, плодотворными.

ми годами. От дурного, что выпало на мою долю, я так же не хотел бы отречься, как и от хорошего, ибо и то и другое, и дурное и хорошее сделало меня богаче, и не будь дурного, я не смог бы оценить хорошего и им наслаждаться. «Приветствую Добро и Зло»,—сказал один немецкий поэт, а ребенком я запомнил изречение из Талмуда, так говорящее о плохом: «И это к добру».

С упрямством педанта я пытался уяснить, действительно ли те планы, выполнением которых я заполнил свою жизнь, были определены правильно, быть может, из тех книг, что были мной задуманы, мне было бы лучше написать ту или эту вместо уже написанного, и разумно ли я потратил время, потратив его на женщин и на другие удовольствия. С такой же упрямой педантичностью, стремясь сохранить в суждениях предельную честность, я пытался установить, сколько времени потратил я на действительно стоящие дела, а сколько—на людей и дела, которые себя не оправдали.

Я был рад итогам. Выходило так: в основном в моей жизни все оправдалось, даже бессмысленное. Я думал о некоторых своих совершенно бессмысленных делах и поступках, и был рад этим воспоминаниям, и посмеивался, лежа на своей соломе.

Наступил день. Ворота открыли. Напряжение было огромное. Что с поездом? Пришел ли обещанный состав?

С одного места во дворе лагеря просматривался откос и участок железнодорожного полотна. Самые зоркие утверждали, что на путях уже различимы вагоны. Вагоны действительно были—об этом сказали нам постовые,—но их было немного и предназначались они не для нас.

Мы потеряли надежду. Затем нам сообщили, что по техническим причинам эвакуация будет проводиться группами и группы от двадцать шестой до пятидесятой по спискам эвакуируемых получили приказ в два часа пополудни собраться со своим багажом в западной части двора.

Этим двадцати пяти группам все очень завидовали. Некоторые, правда, еще окончательно не решили, ехать ли им или оставаться. Два пожилых человека особенно настойчиво требовали у меня совета. Они совершенно не знали, что им делать. Поставленные перед необходимостью сделать такой ответственный выбор, они чувствовали себя глубоко несчастными. Вот-вот они вообще станут упрекать меня: не я ли убедил капитана дать каждому право выбора—ехать или не ехать? Вероятно, они пред-

почли бы, чтобы военная бюрократия сама приняла решение за них, не спрашивая их мнения.

И вот четыре сотни эвакуируемых, входящие в группы 26—50, счастливо возбужденные собрались в два часа во дворе. Они стояли и ждали, и мы, остальные, ждали вместе с ними, волнуясь почти так же, как и они.

Прошли десять минут, четверть часа, полчаса, еще полчаса. Затем собравшихся к отправке людей распустили. Состав сегодня не пришел.

Разочарование, глубочайшая депрессия. Мы были охвачены бессильной яростью. Нас считают идиотами. Нас оставят сидеть здесь до прихода нацистов. Если и делают что-нибудь, так лишь для того, чтобы удержать нас от побегов. Нас хотят выдать нацистам, чтобы выслужиться перед ними.

Мои молодые австрийские друзья вновь стали меня уговаривать бежать с ними через канализационную трубу. Когда они заметили, что я не очень-то поддаюсь на уговоры, они стали показывать мне, как следует выпрыгнуть из окна, чтобы присоединиться к ним, если лагерь этой ночью будет захвачен нацистами. Это было рискованно до безрассудства. Они дважды объяснили мне все, я же никак не понимал их, и добром бы эта затея не кончилась.

Я мечтал остаться один, мне нужно было несколько минут побыть наедине с собой. В одном из уголков двора имелось небольшое складское строение, в котором было темно и стоял спертый воздух. Может быть, там мне удастся посидеть на каменном полу, прикрыть глаза, подремать?

На въездной наклонной площадке возле склада стояло несколько человек. «Подойдите к нам, пожалуйста,—позвал меня один из них.—Подбодрите нас. Мы крайне подавлены. Вы же всегда оптимист». «Да,—сказал второй, это был писатель Газенклевер,—да, дорогой Фейхтвангер, сегодня нам нужно мужаться. Сколько процентов надежды вы нам даете сегодня?» Мы стояли на солнце, дул ветерок, не очень сильный и не очень слабый, в это время здесь всегда прекрасная погода. Но за последние дни я так часто подбадривал малодушных и мне требовалось так много сил, чтобы не только держаться самому, но еще и вселять надежду в других; разговор с австрийцами изнурил меня, а в глазах еще стояли полные надежды люди, ожидавшие во дворе своей участи и внезапно получившие приказ разойтись. Я был совершенно подавлен. «Сколько процентов?—переспросил я.—Пять»,—и мой голос выдал, вероятно, каким усталым, опустошенным и безрадостным я себя чувствовал.

Мне не следовало говорить так, не следовало отвечать «ниги процентов». Я так и не думал, оценка эта не соответствовала ни объективной обстановке, ни личному моему мнению. Я считался здесь оптимистом, и когда, вместо того чтобы подбодрить людей, высказался пессимистически, это было преступным легкомыслием. Мне надо было понимать, какое впечатление произведет мой ответ на других. «В самом деле только пять? — спросил задумчиво Газенклевер. — Боюсь, вы правы», — ответил он сам на свой вопрос.

Затем стали говорить о том, как лучше всего покончить с собой, если действительно в лагерь внезапно придут нацисты. Газенклевер предложил новый способ. Следует, сказал он, дать какому-нибудь постовому из нацистов все свои наличные деньги и сказать: «Сейчас, приятель, я попытаюсь бежать. Целься вернее».

К нам подошел эрудит австриец. Прислушиваясь к нашему разговору, он повернул к говорящим свое большое грязное ухо и затем начал рассказывать о смерти Сократа. По памяти он цитировал множество описаний. Я едва слушал его. Я досадовал, что сказал Газенклеверу о пяти процентах. Но уж таков человек — вместо того чтобы винить себя, я почувствовал раздражение против ни в чем не повинного полупомешанного эрудита. Все в нем раздражало меня, его неряшливый вид, его елейный голос. «Послушайте, доктор Р., — сказал я ему, — скажите, каков, по вашему мнению, смысл неясной предсмертной фразы Сократа: «Друзья, мы должны принести Асклепию в жертву петуха»?» Не так давно я прочел после многих сомнительных комментариев весьма убедительное толкование этой фразы, но я его позабыл. Австриец его не читал. Мне доставило удовольствие, что он не смог дать ответа.

Наступил полдень. Целый ряд признаков подтверждал, что наша подавленность не имела оснований и состав все же будет.

Сначала нам роздали почту, хотя это не был установленный для нее день. Почты было мало, лишь немногие получили определенные известия о судьбе своих близких. Но если сопоставить все сведения, то получалось, что почти все наши жены собраны в огромном лагере Гюр в Пиренеях.

Потом работавшие на кухне лагерники сказали, что получено много консервов, сыра, хлеба и тому подобного провианта, наверняка для эвакуируемых.

Далее нам сообщили, что желающие могут получить свои деньги, которые при доставлении в лагерь пришлось

оставить в комендатуре. В последний раз у маленького окошка всталла бесконечная очередь за деньгами. Не без иронии воспринимались нами и большое объявление, висящее у окошка, а также и предложения дежурного лейтенанта вносить пожертвования в фонд обороны Франции.

Выяснилось, что многие прибывшие с транспортами в лагерь с севера Франции деньги свои получить не могут. Коменданты тех лагерей отдали на хранение денежные поступления от лагерников в местные банки, а спешка при внезапной эвакуации не позволила им взять эти деньги. Интернированным, которые таким образом оказались без денег, выдавались справки, что такой-то полк должен такому-то интернированному такую-то сумму денег. Что могли они делать с подобными бумажками? Они пытались продать их французам за любую цену.

И затем, напоследок, произошло великое событие. Было вывешено объявление, в котором комендант сообщал, что завтра, 22 июня, в 11 часов утра от станции Ле-Миль отойдет эшелон. Объявление было прикреплено к створке ворот нашего главного заводского помещения. И вот мы стояли, перед нами зияла черная дыра, и мы читали это сообщение. Черным по белому оно было напечатано на машинке, и большими буквами, с завитушками, чернилами вселяющего надежду синего цвета комендант поставил под ним свою подпись: Горюшон.

Каждый торопился прочесть объявление. Каждый подолгу стоял возле него. Мы смотрели на объявление, смотрели друг на друга. Большинство из нас верило, что теперь-то наконец это совершится. Но мы не решались признаться в этой вере даже себе; нам так часто приходилось разочаровываться.

Прочтя объявление, я уверился в том, что его содержание правда. Да, состав будет, нам удастся ускользнуть от нацистов. Мне стало стыдно, что на какое-то время я поддался малодушию.

А тут еще я вспомнил, что означает по забытому мною комментарию предсмертная фраза Сократа. Он просил своих друзей принести петуха в жертву Асклепию — богу врачевания и химии, потому что, почувствовав действие отравы, хотел возблагодарить небо, которое создало человеческий гений способным так точно и по желанию дозировать яд. Я радовался, что память мне не отказала, и принял это за хороший знак.

Объявили приказ коменданта: подняться на следующий день в три, а в пять выступить из лагеря, ограничив багаж самым необходимым.

Начались приготовления. Многие взяли с собой в лагерь свои последние пожитки. Что тащить с собой, что

оставить здесь? Люди отбирали вещи, увязывали их, передумывали, вновь развязывали, что-то откладывали, снова накопили. Что было самым необходимым? Собранные вновь и вновь проверялось. Иные дарили остающимся то, что им предстояло здесь оставить, иные — продавали.

Многие приходили ко мне и настойчиво требовали ответа на вопросы. Были такие, которые еще и сейчас не решили, ехать или оставаться. Были и такие, которые все еще сомневались, возьмут ли их с собой. Места в эшелоне ограничены, это было ясно. Если мест не хватит, не начнется ли очередной отбор? И не оставят ли тогда именно их? Бедняги, они обращались с вопросами ко мне. Достаточно ли того, что они включены в списки? Наверняка ли известно, что возьмут? Не имея доступа к коменданту, они умоляли меня пойти к нему и объяснить, как опасно им здесь оставаться. Пятьдесят, сто раз я должен был давать им одни и те же успокоительные заверения.

И в эту ночь большинство из нас спало скверно. Глухие сомнения подтачивали самых уверенных, слабая надежда теплилась в самых безнадежных маловерах.

В эту короткую ночь в Ле-Миле я спал хорошо, и когда прозвучал сигнал «Подъем», он вырвал меня из глубокого сна.

Все были возбуждены. Оживленная деятельность кипела вокруг. В последний раз были проверены вещи, которые нужно было взять с собой. Каждый приготовил свой багаж, каждый собирался в путь-дорогу.

За ночь между теми, кто должен был уезжать, и теми, кто оставался, возникли напряженные отношения. Люди так долго находились вместе, варились в одном котле, сплоченные общими надеждами и страхами, одинаковыми условиями жизни; теперь их дороги расходились, возможно, навсегда. Для многих было неприятной неожиданностью, что остаются те, кого они считали ближайшими друзьями, от которых определенно ожидали, что те вместе с ними покинут лагерь. Да, удивительное двойственное чувство разделило остающихся и тех, кто собрался уезжать. Было три часа утра. Сигнал подъема относился лишь к тем, кто был в списках уезжающих, остальные могли продолжать спать. Но они тоже встали, они путались среди нас, пытались хоть чем-нибудь быть нам полезными, помогали укладываться, тащили наши вещи по узкой ветхой лестнице, давали от чистого сердца на память подарки. Они хорошо знали, что уезжающие полагают, будто остающимся нечего опасаться гитлеров-

цев, что, следовательно, остающиеся «предатели». В действительности же к большинству из них это не относилось, нацистам в нашем лагере по-настоящему симпатизировали лишь немногие. Тот, кто оставался, поступал так потому, что чувствовал себя слишком старым и ослабевшим, неспособным выдержать трудности пути, или же это были те бедняги, которые запутались во всяческих «за» и «против», решили, что, оставаясь, они скорее спасут свою жизнь и жизнь своих близких. Их угнетало, что мы неправильно понимаем их решение. Они старались доказать нам и себе самим, что иначе поступить не могли, и когда мы говорили: «Ладно»,—это их не успокаивало, они упрямо начинали вновь доказывать свою правоту. Снова и снова они оказывали нам маленькие услуги, давали понять, что преданы именно нам, а не тем, другим. Но и это не помогало. Большинство из нас смотрело на них со смешанным чувством легкого презрения и жалости. Мы были убеждены, что бедняги сделали неправильный выбор и горько пожалеют о том, когда придут нацисты.

Так мы сидели, стояли, бродили, пили последнюю чашку кофе в Ле-Миле, увязывали наши узлы. И вот посреди этих хлопот, когда я как раз менял свои матерчатые сандалии, которые все время носил в лагере, на крепкие ботинки, ко мне подошел очень взволнованный молодой врач-австриец, чье спальное место было недалеко от меня, рядом с Газенклевером. «Пойдемте,—сказал он,—пойдемте скорее, боюсь, что-то случилось. Я никак не могу поднять Газенклевера. Он не просыпается».

Мы пошли к Газенклеверу. Возле него уже стояло несколько человек, среди них два врача, в лагере было много врачей из интернированных. «Он наверняка принял снотворное,—решили они.—Нужно поскорее промыть ему желудок».

Мы стояли вокруг неподвижно лежащего человека. В Газенклевере всегда чувствовалась активность, торопливость, его умное, живое, с заострившимися чертами, «мышинное» лицо в последние годы постоянно нервно подергивалось, его вообще с трудом можно было представить спящим. И вот он лежал недвижно, разбудить его не удавалось.

Вчера вечером, перед тем, как погасили свет, он проходил мимо меня; я беседовал со своим соседом, механиком. «Можно поговорить с вами, Фейхтвангер?»—спросил меня Газенклевер. «Конечно,—ответил я,—освобожусь через несколько минут» (я не хотел прерывать

разговор с механиком). «Нет, нет,—возразил он,—не беспокойтесь, это пустяк. Спокойной ночи». Подавленный, я вдруг вспомнил наш вчерашний разговор на солнце возле склада. «Пять процентов»,—сказал я тогда. «Действительно только пять?»—спросил Газенклевер. И вот теперь он лежал, и его было не разбудить. Потерял ли он перу и наш отъезд? Или просто не хотел больше бороться с бесконечными, отвратительными трудностями жалкого, унизительного существования?

Достали носилки, и Газенклевера понесли вниз по узкой грязной лестнице. Его нужно было доставить в больничный барак, чтобы промыть ему желудок. Люди, несущие носилки, с трудом протиснулись по лестнице, она была забита людьми, которые тащили свой скarb во двор. Один из оттесненных, когда печальная процессия прошла мимо, сказал с ожесточением: «Дали бы ему спокойно подохнуть». Но поступить так означало бы нарушить законы гуманности и французского гостеприимства.

Тем временем мы собрались во дворе. Нас разделили на новые группы, деление проводилось обстоятельно, с обычной бюрократической волокитой, но времени у нас было достаточно, поезд должен был отойти только в одиннадцать.

Мы стояли и ждали. Оставшиеся собрались подле нас, стояли у окон, смотрели на нас, тоже ждали, взволнованные, как и мы, что-то говорили.

Из пожилых интеллигентов-австрийцев лишь двое решились ехать с нами. Остальные, элегантные и поникшие, сидели на своих складных стульях и с достоинством, отрешенно наблюдали за приготовлениями к отъезду. Один доверительно сообщил мне, что достал синильную кислоту. «Настоящую синильную кислоту»,—сказал он.

Я пошел в больничный барак к Газенклеверу. Это было жалкое каменное строение. Больные лежали на ветхих походных кроватях, стояла ужасная вонь. В каком-то подобии бокса лежал умирающий Газенклевер. Его лицо было ярко-красным, шея вздулась, распухший язык вывалился наружу, мне сказали, что это от промывания желудка. От Газенклевера исходил тяжелый запах. Возле него были два врача—немец и француз. Оба уверяли, что Газенклевер без сознания, он сейчас ничего не чувствует, ничего не слышит. Французский врач полагал, что надежда еще есть, немецкий—что все скоро кончится.

Я пошел к коменданту. Он нетерпеливо выслушал меня, у него было много других забот. «Да, да,—сказал

он,—я уже знаю, этот писатель». Я сказал: «Мы не можем оставить его здесь. Не можем допустить, чтобы он попал в руки нацистов. Нам надо взять его с собой». Комендант ответил: «Это решать не вам и не мне. Транспортабелен ли он, должен сказать врач».

Я вернулся к своей группе. Мы ждали. И тут произошло это великое событие. Появился состав. Он вдруг оказался здесь, его можно было увидеть. С того самого места, откуда вчера можно было угадать смутные очертания несколько вагонов, сегодня можно было увидеть также что-то вроде вагонов. Но на этот раз это был наш поезд. Люди из охраны уже побывали там, говорили с солдатами, прибывшими с этим составом, с нашей новой охраной. Все мы напряженно вглядывались вдаль, сиюсь рассмотреть вагоны. Да, это был он, так давно ожидаемый нами наш поезд.

Мы продолжали ждать. Но это ожидание уже не было неприятным. Было всего семь утра, и появилась уверенность, что в одиннадцать мы в самом деле уедем, как обещал в своем объявлении комендант.

Теперь еще больше, чем прежде, ко мне подходили, говорили со мной, задавали вопросы. Вот подошел один и стал настойчиво спрашивать: «Скажите мне честно, не лучше ли мне все же остаться? За что нацистам притеснять меня? За то, что у меня в Ницце маленький магазин галантереи и зовут меня Густавом Коном? Какой интерес у Гитлера ко мне? Не считаете ли вы, что мне все же следует остаться?» Вот другой заклинал меня: «Вам необходимо немедленно пойти к коменданту и сказать, что поезд надо отправить как можно скорее. Говорят, мы в пути будем четыре или даже пять дней. Тогда все это предприятие вообще не имеет смысла. Он нас догонит, этот Гитлер. Идите же к коменданту и скажите ему, чтобы поезд отправили как можно быстрее!»

То, что в пути мы будем четыре-пять дней, мы решили, получив на руки провиант: консервы, сыр, шоколад, хлеб. Количество продуктов подтверждало длинную поездку.

Я снова пошел в больничный барак и спросил врача-француза, транспортабелен ли Газенклевер. Тот ответил, что военный врач, который должен дать окончательный ответ, еще не пришел. Он же сам думает, что больного трогать с места нельзя.

Я вернулся к коменданту. «Врач полагает,—сказал я подавленно,—что его везти нельзя».—«Я же говорил вам это»,—ответил комендант и ударил хлыстом по голенищу. «Что же будет, господин капитан?—спросил я.—Оставить его так мы не можем».—«Что вы собственно

хотите от нас? — сказал комендант. — Даю вам честное слово французского офицера — в руки нацистов он не попадет. Если уж ничего другого нам не останется, мы сунем ему в карман документы умершего французского солдата».

Потом, около десяти часов началось наше движение к составу. «Вперед марш!» — была дана команда, и первая группа двинулась. В группах было примерно по двести человек, и мы шли к станции, расположенной неподалеку от лагеря. Раньше с этой станции, вероятно, отправляли кирпич.

Я входил во вторую группу. Моего Карла опять от меня отделили, и мне пришлось самому нести мои вещи. Путь был близкий, всего на четверть часа, но стояла жара, а я не привык таскать тяжести и скоро оказался последним в группе. Сопровождающие нас солдаты торопили нас. «Allez hop!» — покрикивали они, едва лишь я ставил чемодан на землю. Мой сосед, механик из Саарской области, сочувствовал мне и хотел помочь; но у него самого было достаточно поклажи. Пот заливал мне лицо, стекла очков, я плохо видел дорогу; к тому же было страшно пыльно. Я спотыкался о рельсы, тяжело дышал, пытался рукавом стереть пот. Путь к безопасности был труден с первых же шагов.

Затем я увидел его, наш поезд. Он стоял перед нами в непосредственной близости. То, что состав был длинным, я понял, пока тащил свою поклажу вдоль вагонов. Сначала это были пассажирские вагоны, их было немного, древних, давно уже списанных. Потом пошли товарные вагоны, первый, второй, десятый, двадцатый... Я сбился со счета. На них было написано: «Восемь лошадей или сорок человек». Выглядели они чудовищно разбитыми. И все же это был поезд, он стоял на рельсах, рельсы вели вдаль, уводили из области, захваченной нацистами, вели в безопасность. Задыхаясь, спотыкаясь, обливаясь потом, подгоняемый солдатами, я брел вдоль вагонов и думал: «Еще немного, и ты в вагоне, ты в безопасности».

Наконец мы добрались до назначенного нам вагона. «По вагонам! — была дана команда. — Allez hop!» Легко сказать. Как это allez hop? Вагон высок, ступенек не было. Но некоторые ловкие уже взобрались в вагон, один помогал другому, подняли и кинули вещи. Сильные руки протянулись из вагона ко мне, крепкие руки поддерживали меня снизу, сзади, и вот я уже внутри вагона.

Четыре стены, и более ничего. Две прорези — одна впереди в правой стенке вагона, другая — по диагонали — в левой. Светло в вагоне не было. Но сейчас солнце светило в широкую отодвинутую дверь, и все в целом не выгляде-

ло так уж ужасно. Нас было тридцать, вагон был пустой, старый, просторный.

Стали обсуждать, как нам разместить багаж. Сложить ли его весь в середине вагона или же расположить вдоль стен? Во всяком случае, если мы не хотим терять драгоценную площадь, какую-то часть чемоданов и узлов надо уложить друг на друга. Но, с другой стороны, если какой-нибудь узел или чемодан окажется внизу, достать его можно будет лишь в крайнем случае, развалив все уложенное с таким трудом.

Было много разных мнений, разгорелись ожесточенные споры, но, когда наконец багаж уложили, все быстро успокоились, оживились и были даже довольны. Солнце светило в вагон. Люди уселись или улеглись на полу, один из нас, полный молодой человек, голландец, ухитрился даже прихватить с собой из лагеря складной стул. Итак, мы были в нашем поезде, и через полчаса, через час вагон тронется и вывезет нас из опасной зоны, которую вот-вот займет враг.

Горькой каплей в нашей радости была мысль о Газенклевере.

Поезд заполнялся. С тревогой следили мы за тем, как быстро он заполнялся. Сколько нас в нашем вагоне? Нас тридцать пять. Солдаты охраны тоже наверняка поедут с нами. Будем говорить, что нас сорок два.

Уже сержанты закричали снаружи: «Сколько вас?» — «Сорок пять», — ответили мы и предосторожности ради задвинули дверь. Таким образом, мы лишились солнца и наш вагон внезапно стал темной клеткой. «Сколько вас?» — снова раздалось снаружи, и нам приказали открыть дверь; в вагон влез сержант и пересчитал нас. «Еще десятерых сюда», — распорядился он. Мы отчаянно протестовали. Напрасно. Десять человек уже карабкались в вагон. Они были крайне растеряны. Мы противились, мы соглашались принять лишь семерых или восьмерых, мы защищались и уверяли, что больше просто не поместить. «В этом вагоне слишком много багажа», — заявил сердитый потеющий офицер. «Выбросить багаж!» — приказал он. Все запротестовали. С собой мы взяли только самое необходимое. У многих это было последнее имущество. Они привезли с собой в лагерь то, чем владели: два костюма, две пары ботинок. Но ничего не помогло, пришлось расстаться со своим добром. «Выбросить багаж! — кричал офицер. — Ради этого дерьма вы хотите оставить своих товарищей подыхать здесь?»

Под вопли, стоны, крики, ругань багаж стали выбрасывать, за каждое место поднимался спор, выбрасывать или оставлять. И вот когда мы наконец стояли тесно прижатые друг к другу, а некоторые из тех, кто все еще

не мог попасть в вагон, бродили перед поездом, в наш вагон взобрались два солдата-алжирца, арабы в тюрбанах, наша охрана, и стало еще теснее. Но снаружи все еще бродили люди, в дверях повис офицер, влезть внутрь он не смог. «Еще трех сюда!» — приказал он. «Но им не втиснуться!» — закричали мы в отчаянии. «Втиснутся», — сказал он, и действительно, одного в вагон впихнуть все же удалось.

Мы стояли мрачные, плотно притиснутые друг к другу. О том, чтобы сесть, не могло быть и речи. Алжирская охрана была дружелюбна. Один из солдат был пожилым, бородатым, второй — красивым парнем лет тридцати с выпуклыми бараньими глазами. По-французски они говорили плохо, но двое из нас знали арабский. Мы угостили солдат сигаретами и нашли с ними общий язык.

Удивительно, как быстро приспосабливается человек к любому положению, даже к самому неприятному, и как он умеет извлекать из него все для себя возможное. Оставшийся багаж мы уложили так, что он стал занимать совсем мало места. Мы успокоились. Теперь это был наш вагон. Тесный, ужасный, но он повезет нас на свободу.

И наконец — мы вздохнули с облегчением — поезд тронулся. Алжирские солдаты разрешили, в нарушение приказа, вновь отодвинуть дверь. Несколько счастливых сели в широком проеме, свесив ноги вниз. Меня оттиснули от двери, но, встав на цыпочки, я мог выглянуть наружу. Состав прогрохотал вдоль лагеря, вдоль двора кирпичного завода, я увидел оставшихся в нем людей. Возле опущенного шлагбаума стояло несколько солдат, два офицера, комендант. Правой рукой в перчатке он приветствовал поезд, гордый тем, что организовал этот транспорт. Вероятно, он радовался также и тому, что избавился от нас.

Непрерывно наскакивая друг на друга, вагоны тряслись и грохотали. Из искусно сложенной пирамиды пожитков вывалился один чемодан, потом другой, наконец рассыпалась вся куча. И тем не менее мы, — по крайней мере, в первые полчаса — чувствовали себя счастливыми. Мы вырвались из Ле-Миля, теперь нас уже не кинешь со связанными руками под ноги убийцам.

Я наблюдал людей, волей случая собранных здесь вместе. Прежде всего среди них был мой предупредительный сосед, механик из Саара. Был здесь и его друг, хозяин маленькой фабрички, со своим сыном. Фабрикант был человек рассудительный, имеющий большой жизненный опыт, одессит по происхождению, и было удивительным совпадением, что в нашем вагоне оказались еще двое

из Одессы, опять же отец и сын. Обе пары до сих пор в лагере не встречались, они познакомились в вагоне и с первого взгляда невзлюбили друг друга.

О флегматичном тучном молодом голландце и его складном стуле я уже говорил. Вынужденный стоять, он плотно прижимал стул к себе, нимало не заботясь, что сосед бранился, так как железная планка впивалась ему в ребра. Но когда голландец завоевал себе клочок пространства и, счастливый, собрался было усесться на стуле, все возмутились, и так как среди нас был больной, голландцу волей неволей пришлось проявить благородство и уступить свой стул. В вагоне были два очень полных торговца. Почти весь их багаж при посадке был выброшен, но скатанный матрац спасти им удалось, на нем они и сидели, гордые, когда наступала их очередь сидеть. Был среди нас совсем молодой человек с мальчишеским лицом, державшийся скромно, но очень уверенно; ему пришлось, хоть он к этому и не стремился, взять на себя руководство в нашем вагоне. Благодарной эту работу не назовешь. Голландец, например, явно испытывал глубокое отвращение к этому человеку, так как именно он отобрал у него складной стул для больного. Все эти люди, с первой минуты почувствовавшие симпатию или неприязнь, оказались сейчас плотно спрессованными, судьба связала их нерасторжимо на все время пути.

И вот таким образом мы прогροхотали мимо Ле-Миля и стали ломать себе головы над вопросом, куда же мы, собственно, едем. Везут ли нас в Пиренеи? В один из лагерей Восточных Пиренсев? Или же дальше на запад? Может быть, в Гюр, где находились наши жены? А может, нас намереваются отправить морем в одну из колоний? Как бы там ни было, но нашей ближайшей целью была Рона. В безопасности мы будем, лишь оказавшись по ту сторону Роны. (Один из нас, впрочем, не мог удержаться, чтобы при обсуждении вопроса о маршруте не поправлять каждого, кто называл реку по-немецки—в женском роде; хотя он был прав, это всех злило. «Мы знаем это, дорогой Г.,—заверил его наконец наш немногословный молодой организатор,—река называется le Rhône, слово это мужского рода. Но тем не менее было бы очень любезно с вашей стороны разрешить нам впредь именовать ее по-старому».)

Итак, мы должны были проследовать через мост. Но южнее Ле-Миля никаких мостов через Рону (или, если угодно, через Рон) не было. Таким образом, чтобы пересечь Рону, нам нужно было бы ехать на север. На север—это значит навстречу войскам Гитлера. Таким образом, не могло быть и речи о том, что мы уже находимся в безопасности. Гитлеровские войска были

близко, они продвигались быстро, и было еще большим вопросом, кто раньше доберется до моста через Рону, немцы или мы.

Поезд тащился невыносимо медленно и останавливался каждую минуту. Наконец, наконец-то мы добрались до Арля, и вот он—мост через Рону.

Но мы не поехали через мост; миновав станцию Арль, мы свернули на запасной путь и остановились в поле.

Но зато нам разрешили выйти из вагонов.

Мы вылезли, вокруг все зеленело, через поле протекал маленький ручеек, пришли крестьяне продавать нам абрикосы, плохие, кислые, полуспелые. Но мы испытывали жажду и купили их, они нам нравились. Пологий склон вел к ручейку, зеленый склон, заросший кустарником и густой высокой травой. Мы так долго ничего не видели, кроме пыльного двора. Теперь мы сидели на траве, лежали на ней, с жадностью вдыхали освежающий запах зелени и ручейка. Было великолепно.

Этот отдых длился около двух часов. Но мы встали очень рано, весь день провели на ногах, полные ожидания и возбуждения, мы сильно устали, и многие заснули в траве. Это был хороший отдых. В то же время это был и опасный отдых, с каждой минутой гитлеровские войска подходили все ближе. Но чувство счастья, которое мы испытывали, лежа на зеленом косогоре после такого перерыва—под ясным небом, не за колючей проволокой,—не давало страху разрастись, и, пожалуй, мы даже пожалели, услышав команду: «По вагонам!»

И поезд пошел по мосту. Это был длинный мост, мы его хорошо рассмотрели, он был подготовлен к взрыву.

Ну а мы были теперь на другом берегу Роны и, по крайней мере, еще на несколько дней в безопасности.

Но это чувство безопасности не дало нам такого глубокого наслаждения, как мы ожидали. Слишком затянулся процесс нашего освобождения от страха, и совершался он слишком медленно. А тут вскоре наступила ночь, с ней пришли трудности, и они подавили остатки всех наших счастливых ощущений.

С наступлением ночи алжирские солдаты охраны не решились более в нарушение приказа держать нашу вагонную дверь открытой. Они задвинули ее, наша клетка затворилась.

О том, чтобы лечь, нечего было и думать. Но и для того, чтобы всем сидеть, места не хватало. Молодой организатор с мальчишеским лицом нашел решение. Двадцать человек по очереди могли спать сидя, а затем остальные двадцать занимали их места. Спокойно, уверен-

но и быстро он пересчитал нас и распределил по сменам, никаких споров при этом не было.

Два алжирских солдата улеглись в дверях. Первые двадцать человек примостились у стен как могли. Было им, конечно, очень неудобно, но все же лучше, чем стоять.

Мы — остальные — стояли. В вагоне было темно, холодно и воняло. Состав грохотал. Нас бросало из стороны в сторону.

Мы закрывали глаза и пытались дремать, но спать стоя невозможно. Какая это мука — стоять в темноте смертельно усталому и не спать! Переступаешь с ноги на ногу, ненароком делаешь движение, мешающее соседу, прислоняешься к стоящему впереди, к стоящему сзади, он прислоняется к тебе. Падает какой-нибудь узел, один из стоящих наступает на ногу спящему. Шум действует на нервы, тихая, потом громкая ругань, проклятья, стон, храп.

Начался дождь, становилось холодно. В обшивке вагона были щели, пол, особенно возле стенок, был мокрым. Мы стояли, тесно прижатые друг к другу, и качались в такт движению поезда. Все чаще раздавались проклятия тех, на кого кто-то наступил. Из темноты неслись молибы, слегка раздраженные просьбы чуть-чуть подвинуться.

Но потом наступило утро. Серый, туманный день проник сквозь прорези и осветил все убожество этого вагона, набитого людьми. Но простой факт, что стало светло, уменьшил ночные страхи. Да, несмотря на полное изнурение, несмотря на все муки, мы в основном чувствовали себя неплохо. Как относительно понятия уюта, комфорта и их отсутствия.

Стало совсем светло, и поезд остановился у станции. Дверь открыли. Мы вылезли с затекшими, занемевшими ногами. Правда, поблизости были только рельсы и камень, прилечь негде, к тому же было довольно холодно. Но появилась возможность облегчиться. И еще важнее, на станции была вода, можно было умыться. А уж потом можно было расправить плечи, можно было помахать руками, можно было подвигать ногами. Затем начало проглядывать солнце. Тяжелая ночь забылась. Ничего от нее не осталось, и нами вновь овладело радостное чувство, что мы выбрались из Ле-Миля и что гитлеровские войска далеко от нас, по ту сторону Роны.

Мы обменивались своими чувствами и мыслями, радостями и заботами. Главный же вопрос остался: куда мы, собственно, едем? Никто об этом понятия не имел.

Офицеры говорили, что и они не знают. Машинист знал, что он должен привести состав в Тулузу, а потом, сказал он, его сменит другой машинист.

Оказалось, что мы находимся в портовом городе Сет. Мысль стала лихорадочно работать; может быть, в Сете стоит корабль? Охрана подтвердила, что в порту стоят два больших корабля, предназначенных для тех англичан, которые теперь, после поражения Франции, возвращаются на родину. Может, эти английские корабли возьмут с собой кого-нибудь из нас.

Но много раздумывать нам не потребовалось, чтобы понять, что такой проект — чистая фантазия. Было бы безумным такое надежное средство передвижения, как наш поезд, менять на туманную надежду, что английский корабль возьмет нас к себе на борт. В этом поезде, как ни тяжело было ехать, мы пока что находились в безопасности. И все мы остались.

Солнце стало пригревать. Мы позавтракали консервами, хлебом, питьевая вода была на станции, мы могли сидеть, мы жили и радовались тому, что живем.

Но потом нам пришлось опять залезать в вагоны, и радость улетучилась. Сегодня офицеры следили за тем, чтобы вагоны были закрыты и днем. Воздух и свет поступали лишь через небольшие прорези. Все горести вчерашнего дня повторились до мельчайших подробностей. Любой из нас, как бы он ни сжимался, отбирал пространство и воздух у соседа. Все мы были друг другу в тягость.

В вагоне стояла вонь. Двое из нас болели дизентерией. Для них в вагоне была поставлена параша. Зло смотрели они вокруг себя, зло смотрели на них окружающие.

Ведь свои естественные потребности мы, разумеется, в вагоне отправлять не могли. Нам нужно было ждать остановки поезда. Останавливался он почти всегда на открытом пространстве. Тогда люди вылезали, а те, кто половчее, — прыгивали; я уже говорил, что вагон был очень высоким, ступенек не было. Люди, стоя или сидя на корточках, справляли свою нужду прямо возле рельсов. Никто не знал, когда поезд пойдет вновь. Иногда, неожиданно для нас, он трогался уже через несколько секунд после остановки. Сидевшие на корточках вскакивали и бежали за поездом. Среди нас были пожилые люди, и они, придерживая штаны, более всего боясь отстать, бежали за нами, являя собой жалкое, гротескное зрелище. Бежали, пытаясь на ходу вскарабкаться в вагон. Если человек хотел влезть в чужой вагон, хозяева вагона били его по рукам, отпихивали: вагон был полон, для постороннего в нем действительно места не было. Но бегущему

нужно было попасть в поезд; что будет с ним, если он отстанет?

Был среди нас ортодоксальный еврей, придерживавшийся старых обычаев. Даже в адской тесноте и в чудовищном шуме грохочущего состава он доставал свои талес и молитвенные ремешки—тфилим, выяснял, где восток и, значит, Иерусалим, храм, становился лицом к востоку и молился.

Так мы ехали и ехали. Усталость ожесточила нас, сделала болезненно раздражительными. Все чаще поднимались споры, относится ли человек к группе, которой пришло время сидеть, не кончилось ли отведенное время, та ли группа сидит, которой сейчас положено. Все чаще приходилось вмешиваться нашему спокойному, терпеливому организатору. Даже оба тучных доброжелательных торговца начали ссориться на своем матраце. И посреди этих пререканий стонали и жаловались больные, дождь монотонно барабанил по крыше вагона.

У нас было только одно желание: как можно быстрее добраться до конечного пункта, где бы он ни был. Поскорее покинуть вагон. Получить возможность распрямить затекшие конечности. Мы желали только одного: поскорее попасть в ближайший концентрационный лагерь.

Я сделал одно наблюдение, о котором хочу здесь сказать. Были, конечно, исключения, но в основной массе люди умственного труда переносили трудности сдержанно и достойно. Они оказались уравновешеннее, спокойнее, терпеливее многих более крепких, привычных к физическому труду.

И наступила следующая ночь.

В эту ночь произошла печальная история с зубным протезом. Тщедушному человеку с бесцветными глазами, с которым это случилось, было около сорока; никто и не подозревал, что у него вставная челюсть. Вел он себя до тех пор очень незаметно, был вежлив и предупредителен, теперь же он кричал и бушевал и никак не мог успокоиться. А произошло следующее. Когда пришла его очередь сидеть, он, рассчитывая, вероятно, немного поспать, вынул свою челюсть и спрятал ее в карман пиджака. В темноте, вероятно, кто-то наступил на нее, челюсть оказалась сломанной, починить ее уже было невозможно. Человек кричал и жаловался. Это был жалкий скулеж, так как пострадавший выкрикивал что-то неразборчивое, нормально говорить без своей челюсти он не мог. Никто ему не сочувствовал.

Мы ехали вдоль Пиренеев. Шел затяжной дождь, и было очень холодно. И на этот раз мы почувствовали

легкое облегчение, когда сквозь прорези вагона к нам проник свет серого дня. Но все были очень измучены. Многие ожесточенно говорили, что еще одну такую ночь им не перенести.

Некоторые упрекали меня в том, что я один виноват во всех этих несчастьях. Если бы меня не было, если бы я не подал коменданту мысль, чтобы каждый сам решил вопрос, оставаться ли ему в Ле-Миле или ехать, они все бы сейчас спокойно сидели в Ле-Миле. И они ругали меня и мечтали о возвращении из страшного поезда к египетским котлам с мясом.

Когда наш поезд останавливался на станции или вблизи нее, всегда находились смельчаки, пытавшиеся раздобыть продукты. Наша охрана, как французы, так и арабы, были людьми добродушными, договориться с ними было просто, они не препятствовали нашим смельчакам. Юго-запад Франции, по которому мы ехали, был забит беженцами, продуктов не хватало, лавки были переполнены покупателями. Смельчаки, скрывая, естественно, кто они такие, выдавали себя за бельгийских или голландских беженцев, и им частенько везло, они приобретали то, что хотели. А затем — обычно это были наименее обеспеченные среди нас — они перепродавали нам с наценкой раздобытые ими продукты. Еды в пути хватало, только горячего ни разу поест не удалось, и страшно хотелось супа, кофе или чая.

Некоторые из нас хорошо знали местность, по которой мы ехали. Они объясняли нам, куда именно мы можем отсюда попасть, и напряжение среди нас росло: куда же все-таки нас везут? Особенно волновались мы, когда подъезжали к населенным пунктам, вблизи которых находились концентрационные лагеря, — не этот ли лагерь будет теперь нашим?

Мы находились уже в Западных Пиренеях и миновали самые известные города этой области: Тарб, Лурд, По. Затем мы добрались до станции Олерон, от которой путь шел к лагерю Гюр, многие полагали, что в нем находятся наши жены. С волнением мы ждали, не высадят ли нас здесь, и были разочарованы, когда поезд прошел мимо.

Наконец стало ясно, что мы подъезжаем к Байонне, самой южной атлантической гавани Франции.

Постоянно пять-шесть человек, плотно прижавшись друг к другу, сидели в дверном проеме вагона, спустив ноги, дождь помехой им не был. Мы встречали поезда, такие же бесконечно длинные, как и наш, и другие бесконечно длинные поезда обгоняли нас. Все поезда были переполнены. Люди сидели на подножках, лежали с

опасностью для жизни на крышах. Вся Франция пришла в движение. Вся Франция спасалась бегством, бессмысленно металась туда и сюда. Не только железнодорожные линии, но и шоссейные дороги Южной Франции были запружены людьми, бежали голландцы, бельгийцы, миллионы жителей Северной Франции. Под проливным дождем брели они бесконечным потоком по дороге в сторону испанской границы.

А что собирались предпринять с нами? В поезде разгорались бурные споры, то, что раньше казалось маловероятным, теперь стало почти твердым убеждением: нас хотят отправить за море, в колонии, может быть, в Марокко или даже еще дальше на юг, в Дакар. Многие считали это правильным. Многие говорили, что это единственная возможность спастись от гитлеровцев, и были готовы простить французам все то плохое, что те нам сделали, если они в конце концов обеспечат нам полную безопасность. Другие, однако, были против отъезда за море, возмущались таким решением. Нет, они не желали туда плыть. Не желали на долгое время, может быть навсегда, разлучаться со своими женами и детьми и отправляться в полную неизвестность.

К тому же из вагонов, в которых ехали иностранные легионеры, исходили очень неприятные рассказы о таких перебросках за море. Всех набивали в трюмы какой-нибудь старой посуды. Люди лежали там в страшной тесноте, в трюмах было темно и воняло, полно было крыс и насекомых, лежать приходилось чуть ли не в воде, и всякий, кто имел к тому склонность, заболел морской болезнью. В нашем случае ко всем неудобствам этого морского пути следовало добавить постоянное чувство опасности военного времени. Какой-нибудь итальянский военный корабль или самолет легко мог нас обнаружить и расстрелять из пушек или сбросить бомбу. Что это такое — ждать подобное в темноте, быть запертым, чувствовать себя беспомощным, мы знали хорошо, в памяти сохранились пережитые в Ле-Миле бомбежки. Нет, такое плавание увеселительной прогулкой не назовешь. Никогда, ни при каких обстоятельствах, заявляли многие, они на такое не согласятся. Либо они постараются бежать отсюда, либо предпочтут попасть в лапы гитлеровцев.

Мы были уже совсем близко от Байонны. До нас доносился запах моря, мы уже дышали воздухом Атлантического океана, и наконец мы увидели мачты и корабли.

Поезд остановился в стороне от станции. Шоссе, идущее вдоль железнодорожных путей, было рядом с нашим поездом, отделенное от него небольшим заборчиком. Я не мог оторвать глаз, не мог оторвать мыслей от этого шоссе, от движущейся по нему печальной, беспоря-

дочной огромной массы людей. Здесь были самые разные транспортные средства — от допотопной тележки до современного автомобиля, все чудовищно перегружено и шибито, матрацы на крышах машин, вероятно, для защиты от налетов с воздуха. А между этими транспортными средствами лошади, велосипедисты, мулы, пешеходы — все стремились к близкой испанской границе.

Наш поезд стоял долго. Наконец он снова тронулся. Подошел к главному вокзалу. Волнение росло. Не предстояла ли нам посадка на корабль? Опять бесконечно долгое стояние. Приказания освободить вагоны не было.

Затем поезд повернул назад, к городскому вокзалу Байонны.

Поезд остановился там, где он стоял прежде. Как и тогда, по шоссе двигались бесконечные толпы беженцев. В нашем вагоне шли горячие споры. Те, кто был против морского переезда, считали, что едва ли представится такая возможность бежать, как сегодня, сейчас.

Пока мы так стояли и ждали, ко мне подошел наш организатор, спокойный человек с мальчишеским лицом. Он сказал: «Вам нужно сейчас же пройти к коменданту. Говорят, здесь через два часа будут гитлеровские войска».

Я уставился на него. Как это гитлеровцы вдруг окажутся в Байонне? Может, он поддался гипнозу нелепых слухов, носившихся повсюду? Но он был серьезным человеком, не подверженным истерии. А в газетах все время писали, что немцы не будут пересекать долину Роны, более вероятно, что они двинутся в направлении на Бордо. «Идемте», — настаивал он.

Мы торопливо пошли вдоль поезда к вагону капитана. Кончится ли когда-нибудь этот состав? Но вот я дошел. Здесь уже были некоторые из нас. Комендант стоял на подножке вагона, перепуганные люди смотрели на него снизу вверх. Увидев меня, он сказал: «Послушайте, мосье, скажите своим товарищам, нам надо возвращаться. Через два часа немцы будут в Байонне. Постарайтесь предотвратить панику».

«Предотвратить панику». Легко сказать. Я сам был внешне спокоен. Я принуждал себя быть спокойным. Но люди, стоящие возле меня, возбужденно заговорили, слышались жалобы, стоны. Значит, произошло именно то, чего мы боялись. Французы, как всегда, опоздали. Мы опоздали. Мы предсказывали это еще в лагере. Но возмущениями и обвинениями делу не поможешь. Как нам поступить? Испанская граница совсем близко. Не разумнее ли просто влиться в поток беженцев и попытаться

перейти границу? Выдвигались сотни доводов «за» и «против», сотни поспешных предложений. Идти к американскому консульству и просить там совета, спасения, помощи. Остаться в поезде — безрассудство. Пробиваться самим, не дожидаясь помощи французов. Французы вновь показали свою несостоятельность. Полагаться на них и далее было бы глупостью.

Глупыми были и предлагаемые сейчас планы спасения. Об этом говорил здравый смысл, и это подтвердилось позже, когда появилась возможность спокойно обдумать нынешнее положение. Верно, испанцы в эти дни еще держали свою границу открытой, однако они требовали предъявить документы, паспорт и пропускали только французов. Что же касается американского консульства, то его в Байонне вообще не было.

Был очень большой соблазн покинуть этот злосчастный поезд. Но что мы выиграем, сделав это? Два-три дня мы без него еще продержимся. А если нацисты будут нас преследовать, если будут искать нас, что тогда? Они проводили проверки, которые французам и не снились, они находили, когда искали.

А если мы будем бродить по стране без документов, то и от французов, от коренного населения страны нам ничего хорошего ждать не следовало. Лишь немногие из нас говорили по-французски без акцента и могли выдать себя за французов. Весьма вероятно, что население примет нас за отставших от своих частей нацистов, за врагов. По крайней мере, нам следовало бы иметь надежные документы. По крайней мере, французам мы должны бы иметь возможность доказать, что мы противники нацистов и имеем право на их помощь.

Мы вернулись к вагону капитана. «Многие из нас,— сказали мы ему,—хотят попытаться на свой страх и риск выбраться из опасной зоны».— «Пожалуйста,—холодно ответил капитан.—Кто хочет попытаться спастись сам, может это сделать. Но я не советую. У вас мало надежды в одиночку, пешком выбраться из района, занятого гитлеровскими войсками. У меня же, у человека, возглавляющего поезд, пока есть право просить у военных властей помощи. Наша задача—доставить вас в местность, свободную от немцев, если будет заключено перемирие». Он говорил очень спокойно, но все еще стоял на подножке вагона и производил впечатление человека, внушающего доверие. «Верните нам, по крайней мере, документы»,—попросили мы. «На это у меня нет прав,—заявил он.—Впрочем,—добавил он, и в его словах была логика,—за то малое время, которым я располагаю, у меня и физической возможности нет раздать вам бумаги. Тому, кто пожелает покинуть поезд, придется отправиться

без документов». Мы настаивали, просили его, угрожали ему, заклинали. Он стоял на подножке своего вагона. «Успокойтесь,—убеждал он нас.—Поверьте, у меня действительно в ваших же собственных интересах есть более важная работа». Но мы не отставали, продолжали умолять и угрожать. Наконец он рассердился. «Нет, нет!» — крикнул он и скрылся в вагоне.

Поезд продолжал стоять. Отошли один за другим, может быть, десять поездов, до отказа забитых военными и штатскими. Наш поезд стоял. Некоторые из нас ушли, все больше людей уходило без документов, многие — без денег, на счастье или несчастье. Лил дождь, время близилось к полудню, мир казался серым, безнадежным.

Ко мне подошли мои друзья, молодые австрийцы. Советовали не медлить, идти с ними. В этой совершенно дезорганизованной Южной Франции можно скрыться легко и без опасности. Такая благоприятная возможность может больше не представиться. Поезд очень заметен. О нем гитлеровцы наверняка уже слышали.

Все это было правдой. Но то, что говорил комендант, тоже было правдой. Мы обсудили то и другое. Наконец пришли к следующему решению. Мои друзья немного повременят с побегом. Мне надо перебраться в их вагон, из которого кое-кто уже ушел, так что устроиться там будет можно. Если в ближайшие часы после отхода поезда я решусь его покинуть и доверюсь им, они охотно возьмут меня с собой.

Уходил поезд за поездом. Нас, бошей, отправят отсюда, вероятно, последними. Никто больше не верил в спасение, каждый обдумывал план своего бегства. Некоторые пытались сесть в уходящие поезда. Удалось это очень немногим, поезда были переполнены, за каждое место шла драка. Беда бошу, которого поймают в таком поезде.

Рассказывали — это я слышал позже, но произошло это с нашими лагерниками под Байонной, — что несколькими пожилым евреям из нашего эшелона повезло забраться в купе воинского эшелона, готовящегося к отправке. Они сидели в ожидании отхода поезда, полумертвые от страха, опасаясь, что их обнаружат и с позором выгонят. И вот открывается дверь купе. У наших евреев сердце остановилось с испугу. Но они слышат: «Не желают ли господа в дорогу шоколада?» Это был кто-то из нашего поезда, дерзко и энергично пожелавший в обстановке всеобщей безысходности что-то заработать.

В нашем поезде порядка уже не было. Бежали не только лагерники, бежали и некоторые солдаты охраны. Люди бродили от вагона к вагону, искали своих друзей.

Потребовались короткие переговоры, прежде чем я смог перебраться в вагон моих друзей австрийцев. Хотя трое или четверо из этого вагона ушли, в нем все еще было очень тесно, сидеть было негде, вагон оказался еще хуже того, из которого я пришел. В нем было трое больных, для них имелась параша. Был в вагоне толстяк с костылем, непрерывно скуливший,—то ему наступили на ногу, то его толкнули. В вагоне находился также эрудит австриец, тот слегка тронутый господин.

Готовящиеся к побегу люди снова раскидали искусно составленный багаж, пересматривали его, оставляли только то, что можно было надеть на себя или унести с учетом своих сил. На грязном полу вагона валялись самые разные предметы, по ним ходили, места было мало. Остающиеся люди с жадностью подбирали наиболее ценные вещи, получая на то разрешение у прежних владельцев.

Отношение к имуществу у большинства лагерников резко изменилось, произошло нечто удивительное. Говорю это на основании личных наблюдений и по рассказам тех, кто наблюдал подобное в других вагонах. Если при посадке в Ле-Миле люди ожесточенно боролись за любой свой узел или чемодан, то теперь они без сожаления расставались с добром. Они не только не пытались сохранить свои вещи, но даже с каким-то наслаждением топтали их.

Мои молодые австрийцы в известной степени заразились этой жадной разрушения. Они выбирали среди моих вещей, что мне следует взять с собой в случае, если я решусь на побег, остальное же небрежно бросали на пол, вызываясь ходили по этим вещам, несмотря на протесты моего Карла. А ведь я знал их как людей аккуратных, склонных к порядку, чистоте. Даже изящный томик Бальзака на тонкой бумаге в чудесном кожаном переплете, взятый мною в дорогу, пал их жертвой. Перепачканный, валялся он на грязном полу, истоптанный тяжелыми грязными ботинками, и когда мой возмущенный Карл его поднял, томик выглядел так, что мне к нему уже не хотелось прикасаться.

Наконец поезд пошел. Но двигался он медленно и через какие-нибудь полчаса остановился.

Теперь уже многие потеряли надежду спастись. Наступил вечер, было холодно, шел проливной дождь. Но люди не могли больше оставаться в нашем поезде смертников. Около сотни людей выбрались из вагонов и ушли в дождливый безнадежный вечер. Среди ушедших были даже двигавшиеся с трудом старики, тяжело было глядеть

на этих людей, бредущих в лохмотьях по сырому лугу, под дождем, без багажа, без одежды, без денег, без документов — в неизвестность. В страну без друзей, которая завтра, а может быть и сегодня ночью, будет захвачена их злейшими врагами.

Многих своих знакомых я видел в последний раз именно так, бредущими по сырому лугу в быстро наступающую ночь, в неопределенность. Среди тех, кто ушел тогда, были художник из Санари и его молодой сын. И сдержанный молодой человек с мальчишеским лицом, наш организатор, был среди них, и тот биолог, мой сосед по спальному месту в Ле-Миле, так мужественно переносивший астму. Их и некоторых других я видел в последний раз под Байонной и с тех пор никогда более о них ничего не слышал.

Именно здесь мои молодые австрийские друзья покинули меня. Они раздобыли хорошую карту и вновь стали убеждать меня: «Поезд стоит и ждет, нацисты наверняка захватят его, и что бы с нами ни произошло, все будет лучше, чем дать схватить себя в поезде». И они поставили мне ультиматум: «Идете вы с нами или нет? Мы идем».

Я вновь стал взвешивать все «за» и «против». Юноши правы — с каждым часом, с каждым двумя или тремя часами находиться в поезде становилось опаснее, чем вне его. Но если эти несколько часов мы удержимся, останемся в нем, то затем поезд оставлять уже нельзя. Длительное время на земле, оккупированной нацистами, одиночке не выдержать. Я поблагодарил австрийцев, поблагодарил их от души и остался.

И моих молодых австрийцев я тоже более никогда не видел.

В вагоне, в котором я теперь находился, все еще было настолько тесно, что раздобыть себе место для сидения было невозможно. В вещах ушедших людей копались корыстные руки, теснота в битком набитом вагоне делала ссоры из-за бесхозных вещей еще более ожесточенными.

А потом стемнело, наступила ночь; лил дождь, и сырой холод пронизывал до костей. Мы смертельно устали, были измучены от волнений и напряжения минувшего дня, полны страха, что вот теперь, в любой момент поезд могут захватить моторизованные части гитлеровцев. Чувство покинутости, страх, изнеможение делали нас легко возбудимыми, злыми. Каждый ненавидел другого, каждый спорил с другим, никогда в жизни я не слышал столько похабной ругани, как в эту ночь, а на австрийском диалекте, таком спокойном и приятном, ругань звучала особенно вульгарно.

И больные стонали, и здоровые ругались, и были такие, которые храпели во сне, и вагон заполняли ночь, и страх, и ужасная вонь. Мы стояли, и нас качало, некоторые всхлипывали, и все думали только об одном: скорей бы утро! И каждый раз как поезд останавливался, мы вздрагивали с ужасом в самом сердце и думали: «Вот они, немцы!»

Один раз поезд остановился в туннеле. Была кромешная тьма, поезд стоял долго. Но на этот раз никто из нас не ругался, никто не скулил, даже больные, никто не шевельнулся. Стояла мертвая тишина, слышно было только, как бьются наши сердца. Над нами проходила немецкая моторизованная колонна.

А потом сказали, что опасность миновала, и мы двинулись дальше, дождь припустил еще сильнее, стало еще холоднее. Каждый член, каждый волос на голове болел от усталости. Но даже когда пришло время и я смог сесть, заснуть я не смог. И в моей болезненной, сонной усталости звучал голос, монотонно жаловался всю ночь напролет: «Бог моих отцов, Бог моих отцов...» «Заткнись! — крикнул кто-то. — Заткнись, пес паршивый!» — выругался кто-то. Но голос продолжал скулить: «Бог моих отцов, Бог моих отцов...» — и я никак не мог заснуть.

Так мы просхали по вражеской ночи. Медленно шел наш поезд, а с ним — наша беда и страх наших сердец, наша злость и наши стенания.

Вчера мы так спешили добраться до Байонны, района, захваченного гитлеровскими войсками. Теперь же наш поезд едва-едва тащился. Только к полуночи мы приехали наконец в По.

По — большой, комфортабельный курорт. Здесь внезапно стал собираться находящийся в нашем вагоне пожилой человек, до сих пор державшийся очень спокойно и разумно. Он сказал: «В По меня знают, я каждый год проводил здесь несколько месяцев, всегда в одном и том же отеле. Я бросаю поезд. С меня хватит. Хочу спать в настоящей кровати. За большие деньги я найду здесь кровать. А если попаду к Гитлеру, то, по крайней мере, до этого выплусь». И он ушел.

Наступил день, а мы доползли лишь до Лурда. Здесь мы опять стояли три-четыре часа. Возле нашего состава стояли на путях два бесконечно длинных поезда, груженных военной техникой, на третьем пути стоял охраняемый французскими солдатами поезд с интернированными женщинами, немецкими женщинами, нашими женами. Некоторые из нас не раз пытались пробраться к тому поезду

через тендеры составов с военной техникой, и каждый раз солдаты, имевшие строгий приказ, отгоняли их. Нам ничего не оставалось, как кричать с нашего перрона через составы женщинам, а они кричали нам.

Начали перебрасывать туда и обратно записки, письма. Выяснилось, что почти все наши жены интернированы в лагере Гюр в Пиренеях.

В Лурде мы узнали также, что к власти в стране пришел старый генерал и что он и его профашистский кабинет объявили о прекращении военных действий. Они просили немцев о перемирии. Какие условия поставят немцы? Какую часть Франции они оккупируют? Где мы окажемся, когда перемирие будет заключено, в оккупированной или неоккупированной части страны? Ползли сотни слухов. Ничего определенного узнать было невозможно.

И вдруг наш состав тронулся обратно, по пути, пройденному нами вчера. Поскольку моих друзей австрийцев уже не было, оставаться в их разоренном вагоне не имело смысла. Те, кто был в моем прежнем, немецком, вагоне, дружески приглашали меня вернуться обратно. И я перебрался к ним. Здесь было больше места, больше порядка, чище. Это было похоже на возвращение домой.

В течение дня, пока мы медленно двигались к Байонне, некоторые из беглецов вернулись к нам. Они поняли, что сопротивление в одиночку бесперспективно. Военному коменданту или начальнику станции они сообщали, что потеряли наш поезд, и их присылали к нам. Нагнать нас было нетрудно, большинство поездов шли быстрее, чем наш. Им было несладко, нашим беглецам. Они рассказывали, как ночью шли под проливным дождем, немногие из них нашли ночлег в пути.

Вернулся и тот человек, который покинул наш эшелон в По, чтобы выспаться в нормальной кровати. Кровать, правда, он себе раздобыл. Но приобретенная привычка спать на жесткой соломе на полу не позволила ему заснуть в мягкой постели. В конце концов он улегся на пол возле кровати. Он был чрезвычайно расстроен.

Тут выяснилось, что немцы в Байонну не пришли, что их в том районе даже и не было. Именно наш злосчастный поезд вызвал по всей дороге нелепые слухи о немцах и сам стал жертвой гротескного недоразумения. Теперь мы могли точно представить, как это произошло. Наш поезд шел по местности, переполненной беженцами, всюду не хватало продуктов питания. Чтобы обеспечить своим солдатам горячую пищу, комендант нашего транспорта должен был своевременно с каждой станции предупреждать и так недовольных офицеров-снабженцев о нашем

прибытии. «Я прибываю с двумя тысячами бошей,—сообщал он по телефону,—приготовьте нам еду». Слухи об этих телефонных переговорах и о тысячах немцев, прибывающих в Байонну, бежали впереди нашего поезда. В дезорганизованной, охваченной паникой стране передавалось известие: едут боши. Мы убегали от собственной тени.

Состояние больного в нашем вагоне за это время ухудшилось. Мы привели одного из наших врачей-лагерников, чтобы он осмотрел больного. Врач установил тиф и сказал, что больному оставаться в поезде нельзя, это опасно и для него, и для всех нас, находящихся с ним в одном вагоне. На первой же станции его необходимо положить в больницу. Он, врач, доложит об этом коменданту.

Однако больной госпитализироваться отказывался. Он не хотел отстать от нас, не хотел покидать вагон. Бледный, с впалыми щеками, беспомощный, он сидел, бессильно скорчившись, потая, и упрямо повторял одно и то же: «Нет, из вагона я не уйду». Он считал, что погибнет, если покинет вагон. Он ни слова не мог сказать на французском. Он боялся, что беспомощный, покинутый, умрет во французской больнице. Он не хотел, чтобы нацисты выбросили его труп на свалку, как дохлую собаку.

Французские санитары вытащили его из вагона. Он жалобно, отчаянно сопротивлялся, но французы не понимали его.

На следующий день мы совершенно точно узнали, что заключено перемирие. Мы остановились возле большой станции, думаю, что это была Тулуза. Около нас стоял состав из пустых вагонов, уборщица мыла окна. Мы крикнули ей: «Скажите, сударыня, заключено ли перемирие?» Женщина продолжала свою работу. «Да,—сказала она,—думаю, что да».

Мы раздобыли газету. Газета была с траурной каймой. Перемирие заключено.

Мы внимательно изучили газету. Сообщения были скупы, содержание их неясно, неопределенно. Но была карта с заштрихованной оккупированной частью страны, свободная же часть оставалась белой. Мы находились в белой части, это было очевидно.

Я присел на подножку одного из вагонов, уборкой которых занималась та женщина. Некоторые из наших заговаривали со мной. Я не вслушивался в их слова. Перемирие. Эта война была нашей войной. Проиграли ли

мы се? Нет, мы ее не проиграли. Французские фашисты выдали свою страну нашему врагу. Это было ударом для нас, но никоим образом не означало, что война окончательно проиграна. Это почти ничего не говорило о военной мощи нашего противника. Это не была военная победа. Это было всего лишь подтверждение давно известной нам истины: фашисты в любой стране в критический момент без зазрения совести пожертвуют национальными интересами ради своих собственных интересов.

Ни мгновения я не сомневался в конечной победе нашего дела. Само собой разумеется, я не решался рисовать ни себе, ни другим в деталях, что еще принесет нам эта война. Но с самого начала я знал с уверенностью, основанной не только на разуме, но и на чувствах, с уверенностью, которую ничто не могло поколебать: в конце этой войны национал-социализм, фашизм будет побежден.

«En voiture, по вагонам!» — крикнули солдаты охраны. В нашем вагоне начались ожесточенные споры. Означает ли это конец войны? Лишь немногие думали так. Что касается военного поражения Франции, то оно стало фактом с того момента, как бездарный и отчасти, хотя бы в душе, тяготеющий к нацистам генералитет впустил их в страну. Перемирие, следовательно, было в известной степени лишь документальным подтверждением этого факта, в котором уже никто не сомневался. Нам, всем, кто находился в поезде, это перемирие на ближайшее время давало лишь выгоды. Ведь мы поневоле должны были принимать участие в этой войне, связанные, плененные, бессильные жертвы неразумной, если не предательской, военной клики. Теперь эта война окончена, и какой бы конец она ни принесла, все будет лучше, чем безумные переживания этих последних недель. Пока еще все было достаточно скверно и неопределенно, но по сравнению с тем, что творилось до сих пор, это было чистое блаженство. И настроение наше заметно улучшилось.

К тому же еще выглянуло солнце. Верхние Пиренеи с их дождем остались позади. Мы в нашем вагоне прямо-таки развеселились. Тесно прижавшись друг к другу, сидели мы в раскрытых дверях и болтали ногами. Мы приветственно махали едущим во встречных поездах.

И они махали нам. Очень многие французские беженцы в этих переполненных поездах чувствовали то же самое, что и мы. Газеты вышли с черной каймой, но побежденная Франция вздохнула свободнее. Ситуация была подобна той, какая создается у одра безнадежного, медленно умирающего больного: больной обречен, близкие знают, что он должен умереть, но смерть медлит, и близкие стоят возле ложа, они смертельно устали, изму-

чены ночными дежурствами и другими тяготами по уходу за больным, а человек хрипит, задыхается, но еще жив; и вот он умер, врач констатирует смерть, а осиротевшие родственники, как ни мучительна для них эта кончина, вздыхают и чувствуют едва ли не облегчение. Так было с французами в эти первые дни после заключения перемирия. Их Франция умерла, но ужасные тяготы последних недель остались позади.

Наступило перемирие. Светило солнце. Не было опасности, не нужно было испытывать тревогу за свою жизнь, нечего было бояться, незачем было прятаться в погребах и ждать, что дом разрушит бомба. Солдаты думали, что теперь они разойдутся по домам, миллионы беженцев считали, что смогут вернуться туда, откуда их согнала война, женщины надеялись, что вновь обретут своих мужей, сыновей. Газеты вышли с траурной каймой, но у французов в битком набитых вагонах, идущих нам навстречу, не было траурных лиц, иные из них пели.

Мы в наших вагонах радовались как они.

При этом мы, в сущности, не представляли себе, что нас теперь ждет. И, уж во всяком случае, не знали, где окажемся. Но вопрос, куда нас повезут, был уже не так жизненно важен. Мы находились в той части страны, которую гитлеровцы оккупировать не будут. Более того, мы уезжали все дальше от гитлеровцев, и, по мере того как мы углублялись в Юго-Восточную Францию, нас охватывало чувство, которое испытывают люди, возвращающиеся домой. Концентрационный лагерь на западе — это чужбина, концентрационный лагерь на востоке — это наша родина.

И вот мы снова у моря. Но это не Атлантический океан; тот недобрый западный океан был теперь у нас за спиной, был отделен от нас длинной цепью Пиренеев. Мы были вновь у нашего моря, у восточного, у Средиземного моря. Оно лежало в лучах солнца, темно-синее, блестящее, тонкие линии ласкали наш взор, белые нежные гребешки пены подпрыгивали на его поверхности, наши сердца бились с ними в унисон.

Неужели было время, когда мы так ожесточенно спорили из-за мелочей? Ругали, проклинали друг друга? Как было это возможно? Сейчас мы это забыли. Дружески смотрели мы друг на друга. Иные из тех, чья очередь была сидеть, даже играли в карты. Это было нелегко, карты здесь не кинешь на стол, их надо осторожно класть партнеру на колени, да и трудно сидеть так, чтобы не видеть карты соседа. Но над неудобствами смеялись, а если спор и возникал, то это был добродушный спор славных горожан, сидящих за стаканом вина или за кружкой пива.

Долог был путь от Ле-Миля до Байонны. Теперь большую часть этого пути, едва ли не весь путь, мы должны были проехать обратно. Как утверждали сведущие люди, та узловая станция, где мы теперь находились, была на этом пути последней. Здесь должно определиться, куда нас повезут дальше—снова в направлении 'Окс—Ле-Миль или куда-нибудь еще.

Мы представляли себе лица, которыми нас встретят комендант Ле-Миля и его офицеры, которыми нас встретят прежние товарищи, когда мы вновь вернемся в свой старый лагерь.

Поезд тронулся. Среди нас царило чрезвычайное волнение. Поезд не пошел к Ле-Милю, он направился к Ниму. В нашем поезде был человек, у которого в Ниме был дом, жена-француженка и французские дети. Он немедленно покинет поезд, как только мы доберемся до Нима, пойдет домой, будет радоваться жене и детям, будет спать в кровати, в своей собственной, будет с аппетитом есть, пить хорошее вино. Он просто обалдел от радости, совсем потерял голову. Хлопал нас по плечам, обнимал, болтал без умолку, напевал, приглашая к себе в гости всех, кто пожелает, чтобы отпраздновать его возвращение домой. Настал вечер, торжественно закатилось солнце. К станции мы не подошли, поезд обогнул Ним и остановился на запасном пути в нескольких километрах от города. Нам сказали, что это конечный пункт, завтра мы будем выгружаться.

Так мы завершили эту мучительную, эту ужасную поездку, выстояли эти страшные ночи, выстояли в буквальном смысле слова, чтобы снова поселиться примерно в тех же местах, которые мы несколько дней назад покинули.

Наш поезд остановился у большого, усеянного камнями луга. Нам сказали, что кто желает, может спать на лугу. День был жаркий, но, как обычно на юге Франции, с наступлением ночи стало холодно. Тем не менее многие вылезли из своих вагонов и стали, несмотря на сильный холод, устраиваться на ночь на лугу. Так как многие почивали на воздухе, в вагоне освободилось много места, мы могли сидеть и даже лежать.

Неподалеку находился большой крестьянский дом, там можно было раздобыть воду, молоко, даже немного вина. Мы улеглись, и те, кто на лугу, и те, кто остался в вагонах. Длинный, темный, убогий, стоял наш поезд. Но это была последняя ночь в нем, вблизи него, завтра мы его больше не увидим.

Я выбрал себе для ночлега луг. Лег, растянулся, закутался в одеяло. Над головой было звездное небо. Счастливым, я уснул.

ШАТРЫ НИМА

Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль.

На следующее утро нас подняли рано и приказали собираться по прежним подразделениям: немцы, австрийцы, иностранные легионеры.

Потом мы опять ждали. Обычное бесконечное ожидание, и мы спрашивали себя, почему так рано прозвучал сигнал побудки. Впрочем, на этот раз ожидание не было таким уж обременительным. Люди решили наверстать упущенное, кто вновь растянулся на траве и заснул в лучах восходящего солнца, кто сидя клевал носом. Небо было ясное, воздух чистый и ароматный, напоенный запахом трав. Нас окружали голубые горы с мягкими очертаниями. Правда, поезд, этот зловеющий поезд, целую вечность дававший нам кров, все еще стоял здесь. Но смотри-ка, он уходит. С глубоким вздохом проводили мы его, следили, как он движется к повороту и, огибая его, исчезает из наших глаз. С ним исчезает горечь самой ужасной поездки в нашей жизни.

Куда нас отправят, мы не знали. В окрестностях Нима лагерь можно было разместить в двух или трех местах. Все указывало на то, что нам предстоит длинный пеший переход. Переход как таковой нас не пугал. Но что делать с багажом? Тащить его в гору будет тяжело.

Несколько пожилых лагерников отправились к капитану. Это был новый для нас человек, старая наша охрана, офицеры и солдаты, уехали с поездом. Новый капитан резко ответил, что машины предназначены только для багажа больных, пусть здоровые изволят нести свой багаж сами. Пожилые люди роптали. В ужасных условиях этой поездки они с невероятным трудом спасли остатки своего имущества и терять его сейчас не хотели. Они мужественно вынесли все трудности в поезде, теперь же из-за пустой, незначительной причины возмутились. Возбужденные, они сказали офицеру мрачно, что им, старым людям, просто не под силу тащить свои вещи в гору. Офицер грубо ответил, что тогда им следует отказаться от своих вещей. При этом, как бы про себя, добавил, что у военных властей сейчас другие заботы, им не до нижнего белья нескольких бошей.

Затем выступили первые группы. Собственно, марша никакого не было, еще на поляне строй нарушился и люди шли кто как мог и как хотел. Все смешались, солдаты охраны, сержанты, интернированные, мы брели по каменистой тропе, среди великолепного ландшафта. Голубые горы, леса, камни, много скального дуба. Долины, ручьи,

пустоши, все совершенно бесплодно, ущелья и речка и над всем этим — ясное, прозрачное небо. Дорога шла все время широким серпантином в гору. Я оглянулся назад, на наш луг. Он был усеян множеством узлов, чемоданов, баулов. Большинство оставило свои вещи. Так же поступил и я.

Никто не спешил. Сержант и кое-кто из солдат поторапливали, но не всерьез. Это была скорее прогулка, мы заслужили ее после тяжелой поездки. Возможно, нам предстояла жизнь в каких-нибудь фабричных строениях, вроде кирпичного завода в Ле-Миле. Поэтому мы ценили эту прогулку под ясным глубоким небом, часто останавливались, чтобы передохнуть и насладиться прекрасным видом.

Дорога стала шире. Несколько сот метров мы прошли по шоссе. Этот участок был пустынен, проехало лишь несколько автомобилей, чувствовалась нехватка бензина. Один раз нас обогнал битком набитый автобус, на нем было написано: «Ним-Юсэ».

Мы поднимались уже около двух часов. Я обнаружил тропинку, которая сначала шла по склону луга, а потом круто поднималась к шоссе. Я пошел по ней. Внизу был маленький ручеек и много высоких желтых цветов. Я присел на камень. Я был один. За много недель я в первый раз был один, да к тому же на широкой поляне, под голубым небом. Местность кругом холмистая, на горизонте голубые, смутно очерченные горы, чистейший воздух.

Много недель я жил взаперти, теперь же сидел, наслаждаясь прекрасной свободой. Я смотрел на горы, небо, на луга, ручеек журчал у моих ног, я не знаю, долго ли я так просидел, но знаю, что это были прекрасные минуты.

Потом я медленно поднялся и снова вышел к шоссе. Подъем не был так уж тяжел, но и не очень прост, и, выбравшись на дорогу, я присел на придорожный камень отдохнуть.

Мимо прошли военные грузовики. Они везли наш багаж. Грубиян-офицер не только велел собрать разбросанные на лугу вещи, но шоферам было дано указание взять на машины также вещи тех, кто нес их с собой. К тому же один из наших пригнал из города две или три телеги, на которых были места. Остаток пути я ехал.

Одолев в общей сложности полтора десятка миль, мы добрались до старых ворот с украшениями. На воротах была полусбитая надпись «Сан-Никола». За воротами виднелась усадьба, похоже, давно заброшенная.

Эта усадьба и участок возле нее, вероятно, предназначались для нашего нового поселения. Здесь был господский дом и несколько небольших хозяйственных построек, все старинные, примитивные, но выглядевшие очень славно. Офицеры и солдаты охраны, наверно, разместятся в доме и хозяйственных постройках. А где разместят нас?

Нам ничего не оставалось, как пространство под открытым небом, обширная, окаймленная тузовыми деревьями лужайка и кустарник вокруг. А дальше — луг, прекрасные места, но едва ли рассчитанные на размещение большого количества людей. Мы устали от долгого перехода и очень хотели пить. В колодцах усадьбы вода была сомнительная, да и хватит ее на два десятка людей, но не на две тысячи. Пока что нам указали место, где расположиться, это было возле тузовых деревьев.

Постепенно подходили отставшие. И люди из города уже нашли к нам дорогу. Они предлагали сигареты, шоколад, конфеты. Все очень дорого. Высокие цены они объясняли длинной, утомительной дорогой. Очень уж трудна поездка сюда из города, говорили они. В пути ничего нет, даже воды, все приходится брать с собой. Да и Ним также страдает от недостатка продуктов, в нем полно французских, бельгийских, голландских беженцев, количество жителей возросло втрое.

Беспокойство наше росло. Потребности всех этих беженцев будут удовлетворяться в первую очередь: кто позаботится о нас? Но мы отбросили наши опасения. Была прекрасная пора раннего лета, над нами сияло безоблачное небо. Здесь было в десять раз лучше, чем на кирпичном заводе Ле-Миля, в сотню раз лучше, чем в проклятом поезде.

И вот подошли первые машины с грузом, которые прислало нам военное ведомство. Взволнованные, поспешили мы к ним посмотреть, что же это такое. Вода? Продукты? Нет, это не вода, не продукты, не доски для строительства бараков, не лопаты, чтобы вырыть ямы для отхожих мест. Это была колючая проволока.

Пока мы без дела слонялись по лужайке, ко мне подошли двое молодых людей с серьезными лицами и сказали, что хотели бы мне кое-что сообщить, но не при посторонних. Не отойду ли я с ними в сторону?

Мы пошли на хозяйственный двор, отгороженный от луга забором и вымощенный булыжником. С одной стороны этого двора находился открытый каретный сарай. Мы вошли в него. Сарай с покатой крышей, внутри на полу лежала солома, в нем стояли кормушки, боль-

шое корыто, старая телега. Я очень хорошо помню все это.

Мы стояли в тени, по залитому солнцем дворику бродили солдаты и кое-кто из интернированных, несколько человек сидели на траве, группа людей собралась у насосного колодца, не желавшего давать воду. Увидев меня, ко мне стали подходить знакомые, чтобы поболтать. Но те двое, приведшие меня сюда, просили их оставить нас, им надо со мной поговорить. Они повели меня в темный угол сарая и попытались заслонить от любопытных взглядов.

Они дали мне газету. «Читайте»,—сказали они. Я стал читать. Это была сегодняшняя утренняя городская газета Нима, в ней сообщались условия перемирия. Я точно помню, как я читал, помню формат этой маленькой газетки, дословный текст условий перемирия. Я читал с напряжением, медленно и в то же время быстро, один параграф за другим. Я читал параграф первый, параграф пятый, параграф пятнадцатый и, наконец, параграф девятнадцатый. В девятнадцатом параграфе было сказано, что французы должны передать нацистам всех немцев, которых они, нацисты, пожелают получить.

Колени у меня задрожали, дальше читать я не мог. «Всех тех немцев, которых оккупационные власти пожелают получить». В речах гитлеровских главарей, в фашистских газетах меня именовали «врагом номер один». Если они составят список лиц, подлежащих передаче, я наверняка окажусь в нем одним из первых.

«Благодарю вас»,—сказал я и вернул газету.

За короткое время я почувствовал близость смерти в третий раз. Первый раз это было той ночью, когда нацисты все ближе и ближе подходили к нам, а состава для нашей эвакуации все не было. Во второй раз это произошло в Байонне, когда нам казалось, что нацисты уже окружили нас. А теперь, следовательно, они в третий раз тянутся схватить меня, они совсем близко, а те, кому доверено защищать меня, согласны меня выдать.

«Что вы думаете?—спросили меня молодые люди.—Как собираетесь поступить?» «Я—Тр.,—сказал один из них,—возможно, вы меня помните. При разгоне демонстрации от такого-то числа была драка, и нацисты обвинили меня в убийстве партайгеноссе Фишера. Суд оправдал меня. Но для нацистов я, разумеется, остался убийцей». «Что нам делать?—снова спросили они меня.—Мы с вами в одинаковом положении. Пока еще можно скрыться. Завтра, возможно, будет уже поздно». Говорили они спокойно, разумно. «Дайте мне час, чтобы обдумать положение,—попросил я.—Я тугодум, мне надо

тщательно взвесить все «за» и «против». — «Хорошо, — сказали они. — Мы сообщили вам это потому, что вам грозит наибольшая опасность. Хотите взять себе газету?» — «Нет, — ответил я, — я знаю достаточно». Мы разошлись.

Выйдя из хозяйственного двора, я увидел идущего мне навстречу довольного Карла. «Ваш чемодан здесь, — сообщил он. — Я собрал все ваши вещи. Достал вам кое-что выпить, — продолжил он с гордостью, — и нашел место, где вы сможете спокойно отдохнуть. Принести вам туда одеяло?» — «Пожалуйста, принесите, Карл», — ответил я.

В термосе у него был для меня чай. Я выпил его. Затем он принес одеяло и провел меня через луг к пологому откосу под деревьями. Расстелил одеяло, оно сразу стало пятнистым от узорчатой тени, образованной ветвями деревьев. Я лег и прикрыл глаза.

Те, кто имел возможность наблюдать меня в скверных, а подчас и в опасных для жизни ситуациях тех месяцев, видели, что я сохраняю хладнокровие и спокойствие в большей мере, чем многие другие.

Мои воззрения на нравственную ценность мужества, в особенности мужества физического, отличаются от общепринятых: в оценке мужества я — подобно философу Платону и летчику Сент-Экзюпери — еретик. Платон отводит мужеству в ряду добродетелей последнее место, а летчик, прославленный своей личной храбростью, то есть безусловно понимавший сущность этой черты характера, констатирует, что мужество, во всяком случае физическое, является сплавом устремлений и чувств сомнительной ценности, а именно тупой ярости, тщеславия и обычной спортивной страсти.

Я хочу рассказать здесь о моем младшем брате. В первую мировую войну он семнадцатилетним ушел на фронт добровольцем и там совершил несколько героических поступков. Он получил высшую военную награду и был упомянут в сообщениях главного командования, а этой чести удостаивались лишь очень немногие из рядовых. Когда я спросил его, как это он решился на такие героические поступки, он ответил слегка смущенно и, вероятно, правдиво, что иначе ему было бы уж очень скучно служить.

Физическое мужество — весьма распространенная черта характера. Прошедшая война, а эта в еще большей степени, показала, что в жизни физического мужества значительно больше, чем мы привыкли считать. История обеих войн знает бесчисленное множество совершённых

поступков, когда шансы на успех были мизерны по сравнению с вероятностью смертельного исхода. Несмотря на это, всюду и всегда находились тысячи добровольцев, готовых пойти на такой поступок.

Зигмунд Фрейд в небольшой, но великой книге, издать которую во время первой мировой войны у него достало духовного мужества, объяснил физический героизм тем, что, хотя каждый и понимает разумом, что он смертен, в глубине души никто в свою смерть не верит. Истина, основанная на опыте поколений, говорящая, что все люди должны умереть, никому не проникла в сознание настолько глубоко, чтобы внутреннее «я» человека перестало сопротивляться представлению, что мир сможет существовать и без него.

Но если, как уже было сказано, в наше время физическое мужество можно встретить часто, духовная смелость, гражданское мужество в наше время тем более редки. Те, кто проявляет величайшую физическую храбрость, подчас падают духом, когда приходится показать мужество духовное. Я наблюдал, что иным людям, выдержавшим во время этой войны испытание чрезвычайной физической опасностью, например известным летчикам, не хватало мужества высказать свои убеждения среди приглашенных на коктейль, если они знали, что эти убеждения будут этим господам не по нутру.

Что касается меня, то физическая опасность в момент ее появления меня очень волнует. Когда, к примеру, на пустынной улице в сумерки вдруг появлялись двое подозрительных типов и просили меня дать прикурить или когда во время переворота вооруженные люди делали у меня обыск и грозили меня арестовать, меня начинало подташнивать, а верхняя губа покрывалась каплями пота. Даже когда на сцене актер размахивает револьвером, я испытываю неприятное чувство. Если у моих товарищей по лагерю, наблюдавших меня в опасности, сложилось впечатление, что я обладаю мужеством, то произошло это потому, что мое паническое состояние обычно продолжается очень недолго и заметить его трудно. Очень быстро во мне просыпается мое суеверие, мой фатализм, о котором я уже неоднократно говорил здесь. Возможно, во мне особенно живо то суеверие, о котором писал Фрейд, и именно оно в минуту опасности убеждает меня, что со мной ничего дурного не произойдет и произойти не может.

И если, следовательно, несмотря на все мое кажущееся внешнее хладнокровие, с физическим мужеством дело обстоит у меня не так уж благополучно, то я полагаю, что гражданского мужества у меня хватает, свои позиции в этом плане я уступаю разве что в редких случаях.

Стремление высказать то, о чем я думаю, заложено во мне очень глубоко. Я не способен держать язык за зубами даже тогда, когда говорить опасно. Например, если кто-нибудь заявит, что Монтень родился в 1600 году и если даже эту ошибочную дату назовет весьма влиятельное и легко раздражающееся лицо, я не смогу промолчать и обязательно скажу: «Вы ошибаетесь, Монтень родился в 1533 году».

То обстоятельство, что я лишен таланта вовремя смолчать, не раз создавало мне врагов и ставило меня в весьма неловкое положение. Так, к примеру, кто-то при случае сообщил, что советское правительство регулярно, каждые несколько лет, проверяет состояние рук всех своих граждан и тех, у кого руки окажутся нежными, ухоженными, посылает в рудники. Я не смог удержаться и не возразить, что я знаю многих советских русских с нежными, ухоженными руками, которых тем не менее никогда в рудники не посылали, например, писателя Алексея Толстого, кинорежиссера Эйзенштейна и Генерального секретаря Сталина. Мой собеседник не отстаивал более своего мнения о том, как вербуют шахтеров в Советском Союзе, но с той поры он меня терпеть не мог.

В другой раз, когда один влиятельный господин стал утверждать, что средний американец очень хорошо обеспечен, я не смог отказать себе в замечании, что в соответствии с достойной доверия статистикой из ста тридцати миллионов американцев восемьдесят миллионов получают в среднем шестьсот десять долларов на семью в месяц. С тех пор и этот влиятельный господин перестал считать меня своим другом.

Впрочем, любую черту характера можно расценивать по-разному. Так и мое стремление настойчиво подчеркивать достоверность фактов, в которых я убежден, например, то, что дважды два четыре, а не пять, можно при желании назвать нескромностью или даже занудством. В любом случае эта нескромность или занудство является одной из моих примечательных черт, отличающих меня от большинства моих современников.

Вероятно, я развил в себе эту черту в столь сильной степени, так как считал себя писателем. Мне кажется, что основное правило, которому должен следовать писатель,—говорить то, что есть на самом деле, то, что есть по мнению писателя. И если—как это всегда было, есть и будет—необходимо дорого платить за получаемое удовольствие, я готов платить и никогда не сочту эту плату слишком высокой. К чему мне быть писателем с определенной репутацией, если я не могу позволить себе такую роскошь?

Поразительно, что, когда я заявляю, что дважды два четыре, мне очень часто приходится слышать упрек, что это политика, а писатель вмешиваться в политику не должен. Просто странно, о каких только утверждениях — исторических, филологических, биологических, социологических, экономических — не говорится, что это политика. Я-то как раз политикой не интересуюсь. Я человек неактивный, деловитость, предприимчивость, то есть как раз те черты, без которых политика и представить себе невозможно, мне неприятны. Удовольствие доставляют мне размышления и сам труд писателя.

Как писателя меня интересует связь между двумя областями духовной деятельности, или, если угодно, между двумя науками — историей и филологией. При этом я постоянно вспоминаю то высказывание Теодора Лессинга, где он определял историю как осмысление бессмысленного.

И мой интерес к истории побуждал меня иной раз поразмышлять вслух о том, как писатель двухтысячного года будет излагать события, изложенные так или иначе журналистом 1940 года. Что же касается филологии, то особое удовольствие в ней мне доставляет стремление к строгости и точности выражения мысли, что принуждает меня каждый раз, когда один скажет, что сейчас холодно, а другой — что жарко, посмотреть на термометр и сказать: «Господа, сейчас плюс девятнадцать градусов по Цельсию».

Вернусь на лужайку, где я лежал. Следует ли мне, размышляя я, оставаться в лагере, пока нацисты не доберутся до меня? Если кто-то гонится за кем-то, преследуемому надо убегать. Это первый совет, который дает инстинкт. Друзья, принесшие мне то сообщение, правы. Удирать, ничего другого не остается.

«Что с вами, — спросил меня Карл. — Может, вы чувствуете себя неважно? Случилось что-нибудь неприятное?» — «Да, — ответил я, — случилось нечто неприятное. Но пока не говорите со мной. Я расскажу все потом».

Доверяться первому побуждению нельзя. Инстинкт не всегда добрый советчик. Конечно, я смог бы сейчас удрать. Но куда? Если нацисты потребуют моей выдачи, если они принудят французов организовать серьезный розыск, тогда я пропал, в какую бы сторону ни подался. В занятой врагом стране, границы которой закрыты, надолго не спрячешься. Если немцы прочешут страну, они обязательно меня найдут.

Не умнее ли открыто поговорить с французами? Может, они совсем не намерены выдавать меня. Маршал

Петен много говорит о чести. Разве не противоречит правилам чести выдача людей, которым были торжественно обещаны гостеприимство и защита? Если мне самому пытаться скрыться, то исчезнуть в этой стране будет не так-то просто, но если французы захотят спрятать меня, у них найдутся тысячи возможностей.

Да, прежде всего я откровенно поговорю с комендантом. Убежать из находящегося в лесу лагеря никогда не поздно, это можно даже в самый последний момент.

Я снова присоединился к другим интернированным. Удивительно, какую глубокую пропасть образует новость, изменяющая жизнь, между тем, кому она известна, и тем, кто ее еще не знает. Только что, какой-нибудь час назад, до того как я прочел в газете об условиях перемирия, между мной и остальными существовала полная общность. Меня занимало то же, что и остальных: как обстоят дела с багажом? Получим ли мы наконец воду? Прибудут ли обещанные палатки? Теперь же все изменилось. Теперь для меня ничего более не существует, кроме мысли о грозящей мне очень близкой гибели. Я презирал других с их глупыми заботами о каком-то багаже, о воде.

Впрочем, постепенно вокруг стала обсуждаться эта новость о девятнадцатом параграфе. Люди собирались в группы, спорили. Многие были всерьез напуганы, и я хорошо понимал их страх, тревогу, отчаяние. Но были среди нас и такие, которые, услышав про параграф о выдаче, сразу вообразили себя значительными персонами и, хотя нацистам до них явно никакого дела не было, стали непомерно важничать. Мелкие торговцы, внесшие однажды в фонд антифашистского мероприятия несколько франков, спрашивали с тщеславным страхом, можно ли их рассматривать как политических противников и не требуют ли нацисты их выдачи.

Несколько юристов уверяли меня, что на находящихся в лагере девятнадцатый параграф не распространяется. В большинстве своем лагерники никакого отношения к политике не имеют, и нацистов их судьба нимало не заботит. Нас же, политических противников нацистов, французы, если следовать точному тексту параграфа, выдавать не обязаны, так как нацисты лишили нас германского гражданства. В понимании Гитлера и в понимании договора о перемирии мы «немцами» не являемся. Если французы не пожелают нас выдать, то формулировка параграфа даст им право на возражение.

Некоторые молодые люди из левых назвали все эти соображения юристов пустой болтовней. У французских фашистов, пришедших сейчас к власти, считали они, полное взаимопонимание с немецкими фашистами. Ворон ворону глаз не выклюет. Правительство Гитлера и прави-

гелство Лавалья сотрудничают между собой, мы, немцы левых убеждений, для нынешних фашистских руководителей Франции более ненавистны, чем нацисты, и, само собой разумеется, они выдадут нас. Нам ничего иного не остается, как бежать. Пока еще значительная часть французского населения за нас. Но кто знает, надолго ли сохранят французы свободу передвижения. Нам, следовательно, медлить нельзя, надо удирать еще сегодня, сейчас.

Вот каких взглядов придерживались некоторые из нас. Но я не желал с ними согласиться. Опять одержал верх мой фатализм, моя внутренняя инертность. Я охотно слушал юристов, слушал тех, кто высказывался против мнений наших левых.

Тем временем появились обещанные палатки. Были вбиты колышки, натянули брезент. Это были славные белые островерхие палатки, настоящие шатры, так называемые «марабу», как именуют их во французских колониальных войсках; на зеленом лугу, на фоне привлекательного пейзажа, они выглядели очень красиво и радостно.

Но внутри—это стало ясным уже очень скоро—они были менее привлекательны. Соломы было мало, от земли к ночи тянуло сыростью и холодом. Так как палатки имели форму конуса, укладываться в них приходилось по радиусу, ногами к центру. Ноги каждого лежащего постоянно задевали ноги соседей; едва повернешь голову, лицо утыкается в шершавый брезент. В палатке было темно, ночью холодно и сыро, в полдень—душно и жарко.

Места для сна здесь было недостаточно. Палатка рассчитана на шестнадцать человек. Если и раньше группа, к которой ты относился, многое определяла в твоей жизни, то теперь люди, помещавшиеся в палатке, начинали играть в твоей жизни еще более важную роль.

Сначала нас в палатке было только четырнадцать, почти все те, кто входил в мою группу в Ле-Миле. В большинстве своем это были доброжелательные и приятные люди.

Еда в палаточном лагере была в общем-то лучше, чем в Ле-Миле. Правда, хлеб, который нам выдавали, был очень плохой—сырой, заплесневелый, неудобоваримый; он оказался причиной многих наших болезней.

Единственное, что напоминало нам о нашей неволе, была колючая проволока, окружавшая лагерь. Впрочем, мы очень скоро в нескольких местах приподняли ее плети так, что без большого труда можно было под нею пролезть. Правда, приходилось сильно нагибаться и частенько колючая проволока рвала иному костюм, рубашку

или царапала кожу. Особенно преувеличенным чувством собственного достоинства я не страдаю, но каждый раз я считал унижением столько раз на дню бессмысленно нагибаться.

Бессмысленно. Ведь никому никакого дела не было до того, что мы лазаем через колючую проволоку. Солдаты охраны, стоявшие в нескольких метрах от наших лазов, безразлично смотрели на нас. Но если кто-нибудь хотел выйти из лагеря нормальным образом, через ворота, ему кричали: «Назад!» Однажды, когда солдат охраны крикнул мне так, я с любопытством спросил его: «А что вы сделаете, если я все же пойду? Будете стрелять?» — «Я же не псих», — ответил мне этот человек и добавил вполне разумно: — Но не доставляйте неприятности ни мне, ни себе, лезьте через проволоку».

Так как покинуть лагерь было не так уж трудно, многие пытались бежать. Но большинство далеко не уходило. Дороги, железнодорожные пути, автобусы по-прежнему находились под наблюдением, которое в этой повсеместной неразберихе тупо и надежно обеспечивала жандармерия. Лагерника, попавшего в руки жандармов, привозили назад почти всегда в наручниках и неудобным полицейским транспортом. Пойманного беглеца держали в лагере сутки на хлеб и воде в свином хлеве, это было крайне неприятное помещение, вонючее, кишашщее крысами, да к тому же и низкое, стоять в нем во весь рост было невозможно.

Без серьезного риска можно было добраться разве что до Нима. Правда, при этом не надо было идти большой дорогой, да и кроме нее были некоторые перекрестки, которых следовало избегать. В самом же Ниме было легко затеряться среди невероятного скопления беженцев с севера. Многие из нас попадали в город и обедали там в хороших ресторанах, спали в нормальных условиях, могли принять ванну. Но на другое утро очень рано они брали такси и возвращались, останавливали машину возле лагеря, пролезали через колючую проволоку и, крадучись, добирались до своей палатки к утреннему кофе. Один, ухмыляясь, рассказывал, как в отеле, в соседнем номере, жил член контрольной немецкой комиссии.

Многие из нас совершали эту довольно утомительную прогулку в Ним не ради комнаты в отеле, где можно было хоть одну ночь отдохнуть от неудобств жизни в палаточном лагере, но для того, чтобы немного заработать, повернуть свои торговые дела. С рюкзаком за спиной ночью спускались они лесными и горными тропами, покупали продукты и тащили их обратно в гору, а затем с барышом перепродавали их другим лагерникам.

На кирпичном заводе Ле-Миля и даже позже, в нашем

ужасном поезде, многие приторговывали. Здесь, в палаточном лагере, торговля и перепродажа шли непрерывно. Венские владельцы кафе вновь развернули свою деятельность, похоже, их стало еще больше, повсюду они предлагали свой кофе и свой чай не тайком, как в Ле-Миле, а открыто, громко зазывая клиентов: «Прекрасный кофе, свежий, горячий!» Они конкурировали друг с другом, сооружали примитивные скамейки и столы, вскоре у них появились и всевозможные булочки, сдоба.

Все больше и больше наш лагерь принимал облик ярмарки. Торговцы полностью оккупировали нашу главную дорогу, тянувшуюся вдоль палаточного лагеря. Там были устроены кафе, владельцы раздобыли доски, клиенты могли стоять и сидеть, словно в баре. В этих заведениях можно было получить различные лакомства, горячий суп, сосиски, холодное мясо. Звучала музыка, каждый торговец кричал, расхваливая свой товар. В ларьках можно было купить рубашку, часы, ботинки — брошенное имущество тех, кто бежал из лагеря. Часто, правда, возникали споры и стычки, когда покупающий обнаруживал у продавца свою вещь.

Стоило ли возмущаться беднягами, которые мелкой спекуляцией старались раздобыть пару франков и готовы были ради этого обокрасть своих же товарищей по несчастью. А что им, злосчастным, оставалось делать? Одежда их превратилась в лохмотья, еды, которую давало им лагерное начальство, хватало разве лишь на то, чтобы не умереть с голоду. Среди двух тысяч лагерников едва ли можно было набрать сотню людей, которые без оглядки на цену могли себе позволить прикупить что-нибудь из необходимого. Большинство должно было считать каждый франк, а очень многие среди нас не имели ничего, в буквальном смысле ничего, и никого — ни друга, ни родственника вне лагеря, который смог бы прислать им хоть сантим. Этим людям приходилось рассчитывать лишь на отзывчивость обеспеченных. А так как обеспеченных было мало, а их, нуждающихся, много, им ничего не оставалось, как заниматься мелкой спекуляцией или искать другие еще более сомнительные средства подзаработать.

В общем жизнь в лагере «Сан-Никола» не была такой тягостной, как в лагере на кирпичном заводе Ле-Миля или тем более в поезде. У нас были наши славные шатры, над нами сияло безоблачное небо, нас окружал прекрасный, ласкающий взор пейзаж. Не было проверок, проволочное заграждение являлось скорее символом, мы могли делать, что нам было угодно.

Но эта жизнь в красивом белом палаточном городке имела свои темные стороны.

Прежде всего это касалось отхожих мест. Нам выдали лопаты и кирки, чтобы в определенном месте, вблизи ограждения, мы выкопали глубокую длинную канаву. Но отправлять естественные надобности в этой канаве было отвратительно, легко было соскользнуть вниз и оказаться в нечистотах. Поэтому люди уходили в лес, за колючую проволоку. Вскоре наш лагерь, со стороны похожий на спящую красавицу, оказался окруженным непереносимой вонью. Этот круг все расширялся, так как каждый, выбирая себе местечко почище, уходил все дальше и дальше. Нехватка воды, скверный хлеб, скученность, отсутствие приличных уборных привели к вспышке дизентерии. Появились и легкие случаи тифа.

Не хватало медицинской помощи, не было медикаментов, не было опия.

День за днем перед палаткой, в которой принимал назначенный в наш лагерь молодой французский врач, выстраивалась очередь в сотню человек. «На что жалуетесь?» — спрашивал он. «Понос, — отвечал больной, — я думаю, дизентерия». Врач пожимал плечами. «*Tant pis pour vous*», — говорил он. «*Le suivant*», — говорил он. («Тем хуже для вас. Следующий».)

Кроме дизентерии, от которой мы все поочередно страдали, была еще одна большая напасть: москиты. С наступлением лета их стало больше. Уже в Ле-Миле многие из нас, в своей фантастически ветхой штопаной-перештопаной одежде, выглядели словно в маскарадных костюмах. Теперь, чтобы защититься от москитов, большинство лагерников набрасывали на лица куски зеленой или красной марли. Вид у людей был причудливый, гротескный. По ночам возле каждой палатки разжигали большой костер, чтобы дымом отогнать москитов. Люди в лохмотьях стояли у костров и размахивали зелеными ветками, загоняя дым в палатку. С любого маленького холмика, каких возле лагеря было много, можно было увидеть белые палатки, между ними бесчисленные костры, а у костров оборванных людей, дико размахивающих в дыму ветками.

К жизни в лагере под Нимом мы приспособились еще быстрее, чем к жизни в Ле-Миле. Привыкли ко сну в палатке, привыкли к постоянному шуму, привыкли к невозможности побыть одному, даже к изможденным, пошатывающимся дизентерийным больным, даже к воню, принимая все это фаталистически, сознавая, что каждый из нас должен заболеть дизентерией. Все это можно было перенести. Из-за этого еда не становилась менее съедобной, разговоры — менее интересными.

Но к чему привыкнуть было невозможно, так это к мысли, которая с каждым прожитым днем грызла нас все больше, к мысли о неопределенности нашего будущего, к тревоге, связанной с девятнадцатым параграфом.

Она всегда была при нас, эта тревога, этот убийственный вопрос: выдадут ли нас французы? Она сидела подле нас, когда мы ели и пили, витала над нами, когда мы разговаривали, она терзала нас, когда мы спали. Мы вели себя так, как будто считали необыкновенно важными всяческие мелочи, еду и питье, ярмарочный быт лагеря, город Ним с его отелями, ресторанами, с его девушками. Хотя нас все это и занимало, но с большой оговоркой: мы прекрасно понимали ничтожность всего этого в сравнении с опасностью, в которой мы находились. Уже завтра протянувшаяся рука врага могла схватить любого из нас. И поэтому, попав в Ним, мы всегда охотились за самым желанным, за небольшой дозой цианистого калия.

Под серьезной угрозой из двух тысяч лагерников находились две-три сотни человек. Они были очень разными, эти люди,—меланхолики и оптимисты, созерцатели и деятели, глупые и умные, поверхностные и склонные к размышлениям. Но все эти находившиеся под угрозой смерти люди имели одну общую черту. Хотели они того или нет, мысли их непрерывно возвращались к одному и тому же, к исходной точке: составили уже немцы свои списки? Выдадут ли нас французы? Посреди разговора эти люди вдруг погружались в себя и, случалось, совершенно неожиданно спрашивали: «Как вы думаете, списки уже в лагере?», «Как вы думаете, нас выдадут?»

Я уже писал, что решил откровенно переговорить с комендантом, чтобы выяснить, действительно ли хотят французы выдать нас или нет. И только после этого разговора я решу, оставаться мне в лагере или бежать.

Комендант принял меня в помещении, которое в прежние времена, вероятно, служило столовой. Поблекшие, сильно поврежденные фрески, изображающие дичь и овощи, покрывали стены. Сравнительно большой зал был заставлен столами, за которыми работали солдаты-писаря, и треск пишущих машинок мешал мне сосредоточиться. Задача, стоящая передо мной, и так была нелегкой. Мне надо было говорить на чужом языке, выбирая осторожные выражения, тема была весьма щекотливой, и результат беседы в очень большой степени зависел от того, насколько умно я ее проведу.

Комендант выслушал меня с вежливой холодностью. Еще не кончив говорить, я по выражению его лица понял: он думает лишь о том, чтобы дать такой ответ, который

свидетельствовал бы о его участии и в то же время ни к чему бы его не обязывал. Едва я кончил, как он стал отвечать. Это были совершенно ничего не значащие «с одной стороны» и «с другой стороны». Сначала он долго разглагольствовал о том, что теперь мы, по существу, уже не интернированные. Нас собрали здесь только для того, чтобы организованно распустить по домам, именно так, как сейчас распускают французские военные части. Нельзя же сразу отправить в дорогу все сотни тысяч людей. Такое мероприятие следует тщательно организовать, иначе будут парализованы и транспорт, и система снабжения населения, короче, вся жизнь в стране. И нас в скором времени также отпустят, вероятно, даже весьма скоро. Но надо иметь терпение. Те из нас, кто бежал в пути, и те, кто сейчас пытался бежать из лагеря, совершили большую ошибку. Люди, не располагающие надлежащими отпускными документами, не получают продуктовых карточек и во время своего дальнейшего пребывания во Франции постоянно будут сталкиваться с различными трудностями. Кроме того, человек без надлежащих бумаг не сможет покинуть страну. Ему, коменданту, понятна вся тягостность нашего положения, но тем не менее он считает, что все наши опасения безосновательны. Маршал Петен чрезвычайно чувствителен ко всему, что касается военной чести. Наверняка он не допустит уничтожения тех людей, которым Франция оказала гостеприимство.

Я спросил, личное ли это мнение коменданта или официальная точка зрения французской администрации. Комендант ответил, он не юрист и не в состоянии дать авторитетное объяснение, как следует понимать тот девятнадцатый параграф. Но он французский офицер и не представляет себе, чтобы маршал подписал что-либо не соответствующее понятиям французской чести.

Это было все, что дала так напряженно ожидаемая мной беседа. Немного. Но тем не менее у меня создалось впечатление, что лагерная администрация относится к нам, пожалуй, доброжелательно и что ей, вероятно, предпочтительнее дать мне возможность исчезнуть из лагеря, чем выдать меня немцам. Но не следовало забывать, как небрежны и халатны были французские чиновники. Французская честь, французское гостеприимство — это все великолепно; но в серьезных случаях до сих пор всегда одерживала верх наплевательская позиция, французский черт.

Я все тщательно обдумал. Комендант был безусловно прав: без документов пытаться бежать глупо. Разумнее было оставаться на месте. Наверняка я смог бы беспрепятственно добраться до моего Санари, очень может быть, что в условиях повсеместного разложения жандар-

мы соседнего городка Оллиуль закрыли бы глаза на мое появление и сделали вид, будто меня не видят: но как быть, если в самом деле возникнет вопрос о выдаче нас немцам? В Санари едва ли меня об этом своевременно предупредят. Здесь же, в лагере, французы, если они того пожелают, смогут заранее дать нам об этом знать.

Все это верно. Но меня мучила мысль, что эти мои распрекрасные рассуждения не что иное, как предлог для того, чтобы уклониться от решения бежать. Очень вероятно, что я не желал ничего иного, как продолжать жить без плана и цели, подобно тому, как в Санари, перед войной, я уклонился от возможности своевременно покинуть Францию. Очень вероятно, что я просто инертен и слишком люблю удобства, чтобы взвалить на себя опасности и тяготы побега.

Беседа с комендантом состоялась в полдень. Ночью спал я плохо, вновь взвешивал все «за» и «против» и пришел к выводу, что умнее будет остаться.

На следующее утро я встретил в лагере грубоватого на вид молодого человека, видимо, только этим утром доставленного или возвращенного сюда. Увидев меня, он остановился в крайнем изумлении и несколько мгновений стоял с раскрытым ртом, затем воскликнул на грубом диалекте венских предместий: «А ты все еще здесь? Ты что, совсем уж дурной?»

Эти слова затронули меня куда больше, чем человек этот мог предположить. Я молниеносно услышал в них импульсивное выражение здравого смысла. Все, что я внушал себе для того, чтобы остаться, было ложью, я просто морочил себе голову. Парень был прав. Преступным легкомыслием было медлить и далее. Со дня на день следует ожидать, что немцы добьются, чтобы в лагере было покончено с расхлябанностью и чтобы нас охраняли более строго. Уже поговаривали, будто немецкие контрольные комиссии посетили некоторые лагеря. Я решил бежать.

В лагере был один молодой сельский житель, он показался мне ловким и смывленным. У французов есть хорошее слово для обозначения человека, способного выпернуться из любой неприятной ситуации, они называют таких *débrouillard*—смысленный малый; я не могу припомнить сейчас, что меня натолкнуло на такое мнение о нем; пожалуй, оно было ошибочным.

Этого молодого человека я попросил быть моим товарищем в побеге. Он согласился без колебаний. Нам следует бежать, сказал он, сейчас же, в ближайшие четверть часа. Было около одиннадцати, в обеденное

время дороги охранялись хуже, так как для жандармов, как и для всех французов, часы еды были священны.

Один из группы адвоката и оратора Ф. предложил мне свое удостоверение личности, из тех, которыми молодой французский офицер в свое время снабдил всех людей этой группы. В подписанном и заверенном печатью документе, как я уже писал, не указывалось фамилии, ее следовало вписать. Я с благодарностью взял этот документ у доброжелательного молодого человека.

Затем мы ушли, смысленный малый и я. По его совету я надел костюм, в котором в свое время приехал в Ле-Миль, городской костюм, что, как он считал, делало меня менее заметным. Под мышкой я держал папку для бумаг, в ней лежали ночная рубашка, гребенка и зубная паста. Поначалу мы пошли скорым шагом, было жарко, и оказалось, что мой костюм не очень-то подходит для прогулки по подлеску и по каменистым тропам. Он был не только слишком плотным, но еще очень быстро оброс репьем.

Спустя полчаса мы вышли на перекресток. Смысленный малый, говоривший на грубом, простонародном французском языке, направился к близлежащему дому, чтобы расспросить о дороге. Я присел на низкую ограду из нетесаного камня. Быстрый переход утомил меня, я сидел на солнцепеке, сидеть было жестко и неудобно, но сидеть было приятно. Я рассматривал свои исцарапанные ботинки, свой коричневый городской костюм весь в репьях, возле меня лежала папка для бумаг с зубной щеткой и ночной рубашкой. Я чувствовал комичность своего положения, сидел на солнцепеке и посмеивался.

Появились двое мужчин, посмотрели на меня, переглянулись. Мне стало не по себе. Они прошли мимо. Потом один из них вернулся и спросил меня по-немецки: «Значит, бежите? Удираете?» Я медлил с ответом. Он усмехнулся и сказал: «Значит, действительно удираете. Это правильно. Вам оставаться здесь опасней, чем нам. А мы просто идем прогуляться. Мы из иностранного легиона. Желаем вам удачи, камрад Фейхтвангер».

Мой спутник вернулся с точными сведениями. Примерно в четверти часа отсюда, уже по ту сторону от «опасной» точки, имеется автобусная остановка. Что, если нам поехать в город на автобусе? Это смелый, но, возможно, и самый надежный вариант. В обеденное время редко встретишь на дороге проверяющих.

Мы так и поступили. Автобус был полон, в нем было много солдат, нам дружески уступили места. Мой спутник пустился с соседом в разговор. Он обычно располагал к себе людей. Вообще повсюду на свете крестьяне и рабочие легче находят общий язык, чем мы, все прочие.

В пригороде мы вышли и продолжили наш путь пешком. После того как начало оказалось таким удачным, мы решили и далее, в Авиньон, отправиться автобусом. Чтобы добраться до автобусной остановки, нам нужно было пересечь главную улицу города. Это была очень оживленная улица, о ней так и говорили лагерники, побывавшие в городе. Город кишел беженцами. В автомобилях, во множестве стоящих возле тротуаров, спали люди, двери общественных зданий были широко распахнуты, на лестницах, в вестибюлях, в залах лежали соломенные тюфяки для беженцев.

Мы прошли мимо многих полицейских. Впервые в своей жизни я проходил мимо полицейских, о которых знал, что у них есть право арестовать меня и они обязаны сделать это. Я разглядывал полицейского скорее с любопытством, чем с опаской, а затем обнаглел и на следующего полицейского смотрел уже долго и испытующе. Он ответил мне удивленным взглядом.

На площади, от которой отходили автобусы на Авиньон, ждало много людей. Они говорили о том, что пассажирам необходимо иметь пропуски. Мы переглянулись. Автобус подошел за полчаса до назначенного времени отправления. Люди сгрудились у дверей автобуса, напирали друг на друга, стараясь побыстрее попасть в машину и занять места. Мы тоже заняли места.

Мы зашли в кафе. Кофе не было, не было никаких алкогольных напитков. Мы выпили что-то сладкое, отдававшее химией, и съели какую-то сдобу, так как хлеба тоже не было. Смышленный малый раздобыл немного мяса и овощей. Потом из гаража снова подогнали к стоянке автобус, на сей раз для отправки. Мы заняли свои места. Пришел шофер, сел в кабину, бросил взгляд на нескольких пассажиров, сидящих в салоне. Посмотрел на нас, взял газету, зевнул, отложил ее. Медленно встал, не спеша прошел мимо нас и сказал негромко: «Автобус обязательно перед отходом будут проверять». Мне стало не по себе. Мой спутник сказал: «Нам, пожалуй, лучше сойти». Мы так и поступили. Шофер кивнул нам.

Мы сели в кафе, съели по одному скверному пирожному, выпили искусственное пойло. Что же нам делать?

Приятель, рабочий, в свое время бежавший из лагеря, дал мне адрес одной женщины, к которой я мог бы обратиться, если мне в Ниме потребуется совет или помощь.

Мы пошли к ней. Она жила в маленьком отеле, находившемся на пустынной улице, в стороне от центра. Служащий отеля предложил нам подождать в неубранной столовой. Вскоре появилась дама — полная, с энергичным лицом — и спросила взволнованно: «Вы принесли мне

вести от мужа?» — «Нет», — ответили мы. Я назвал себя и сослался на своего приятеля. Она сказала: «Поднимемся в мою комнату». Она была встревожена, разочарована. Ее муж был с нами в поезде. Из По он послал ей телеграмму. С того времени она ничего о нем не слышала, она думала, что мы принесли ей вести.

Дама готова была помочь нам, но, несмотря на свое энергичное лицо, оказалась несколько боязливой и не очень ловкой. Она направила нас к другой даме, мадам Л., жене врача, тоже интернированного. Возможно, той удастся помочь нам. Смышленный малый поднялся, чтобы идти ко второй даме, пока она сама, энергичная, но боязливая, посетит третью даму, которая тоже, возможно, что-нибудь нам посоветует или чем-нибудь поможет. Парень вскоре вернулся, вторую даму он не застал дома. Энергичная, но боязливая пришла с третьей дамой, и та готова была нам помочь, но тоже оказалась нервной и боязливой настолько, что каждые пять минут начинала судорожно рыдать. Тем не менее план у нее был. Она знала одного экспедитора, доставлявшего в Марсель вино; может быть, ему удастся провезти нас в Марсель в пустой бочке, он это делал уже дважды. Дама тотчас же пошла к нему. Но вернулась ни с чем. Если он и возьмется за это, сказала она, непрерывно рыдая, то не раньше чем через три дня. Но ничего определенного он не обещал, за это время, говорил он, контроль стал более строгим, и дама сомневалась, что он вообще на это решится.

Смышленный малый счел, что при сложившихся обстоятельствах ему нет особого смысла оставаться в Ниме. Я нахожусь в хороших руках — под покровительством трех дам, и мое положение лишь ухудшится, если дамам придется заботиться одновременно о двух беглецах. Во всяком случае, он знает теперь, как меня найти. С этим он покинул меня и отправился в лагерь.

Обе дамы решили, что мадам Л., на помощь которой они особенно рассчитывали, вероятно, уже вернулась домой. Я пошел к ней. Энергичная особа решила меня сопровождать, но оказалась слишком боязливой, чтобы на людях показаться со мной; поэтому следовала за мной шагах в двадцати.

Мадам Л. жила возле Арены. Арена Нима среди сохранившихся строений времен Римской империи одна из самых впечатляющих. Я несколько раз осматривал ее, именно ей я обязан своим живым представлением о римских цирках и амфитеатрах. Сейчас там расположились беженцы.

Мадам Л. была дома. В ней я встретил первого самоотверженного человека, готового помочь мне ускольз-

путь от черта во Франции, выбраться из безалаберности и расхлябанности его преисподней.

Дом, в котором жила мадам Л., был низенький, тесный, жилье состояло из одной очень небольшой комнаты и прилегающей к ней крохотной кухоньки. На эту ночь мадам Л. уже обещала приют в своей квартире французке, приехавшей из Ниццы для встречи со своим другом, берлинским адвокатом, интернированным в лагере под Нимом. Кроме того, к ночи она ожидала еще молодую немку, которая не могла устроиться нигде в другом месте. И, несмотря на это, мадам Л. оставляла и меня у себя, если ничего лучше не найдется. Мне в этом случае придется спать на полу или сидя на стуле. Однако она не была уверена в образе мыслей молодой немки и считала, что осторожности ради той не следует видеть меня.

Дамы ломали себе голову, куда меня деть. В городе, наводненном беженцами, найти убежище было невозможно. Мадам Л. показалось было, что она знает, где можно было бы меня устроить. Но там наверняка потребуется посредничество энергичной, но боязливой дамы, а та была полна опасений. Наконец, после горячих уговоров мадам Л., она все же отправилась туда, вздыхая и волнуясь.

Мадам Л., дружески озабоченная моей судьбой, дала мне поесть, но ей надо было уходить по делам других беженцев. Мы условились встретиться через полтора часа на углу ее улицы, чтобы узнать, как продвинулись мои дела.

Все еще держа свою папку под мышкой, я стал бродить по Ниму. Было жарко, в городе стоял скверный запах. Я хотел посидеть в кафе, но не нашел места, во втором кафе тоже не оказалось свободного стула. Мне не доставало уверенности, я не мог непринужденно пройти по заполненному людьми залу, ощущая на себе испытующие взгляды людей. Я отказался от попыток посидеть в кафе и продолжал бродить по городу. Чувствовал я себя очень неуютно, а неуверенность в том, что я найду себе убежище на ночь, еще усугубляла это чувство. Казалось, ничего страшного не случится, если я и всю ночь поброжу по городу, время от времени отдыхая на какой-нибудь скамье; но с точки зрения понимающих людей это был самый верный путь попасть в лапы полицейским.

Я был рад, когда наконец наступил час моей встречи с мадам Л. Она опоздала, пришла к месту свидания измученная, запыхавшаяся. Славная женщина, за это время она сделала сотню самых разных дел для сотни людей. Мы сразу же отправились в пригород, где должны были встретиться с энергичной, но боязливой дамой. Мадам Л. заметила, что я озабочен мыслью о ночлеге. Успокаивая

меня, она сказала, что, если даже энергичная, но боязливая ничего не достигнет, дела мои вовсе не так уж плохи. Прежде всего, можно отправиться на некую дачу, с хозяином которой она, мадам Л., дружит. Пока эта дача пустует. Мне просто надо будет перелезть через каменную садовую ограду и затем через окно пристройки попасть в виллу. А если и этот вариант не удастся, добавила она решительно, то я, несмотря на ненадежность молодой девицы, смогу переночевать у мадам Л.

Путь к месту встречи с энергичной, но боязливой дамой был долог. Мадам Л. бодро шагала, спрашивая иногда, не слишком ли быстро она идет. День у нее наверняка был трудный, она очень много ходила и устала едва ли меньше меня. «Если нынче хочешь помочь,— сказала она со смехом,— следует много и быстро ходить». В Берлине у нее был автомобиль с шофером. Это была замечательная женщина, скромная и с участливым сердцем.

Наконец-то мы добрались до места встречи—до угла широкого, обсаженного деревьями пригородного бульвара. Вскоре появилась и энергичная, но боязливая особа. Ничего определенного, сказала она. Неясно, примут ли меня, но перспективы неплохие.

Поднимаясь по деревенской с виду улице, дамы рассказали мне, куда они собираются пристроить меня на ночлег. Человек, который должен меня принять, был отставным полицейским вахмистром, он приобрел дом и жил в нем на свою пенсию. Он немного туповат. Хозяйство ведет энергичная домоправительница, чешка, а при ней состоит ее бывший хозяин, левантинский банкир, разорившийся по вине своей жены. Теперь оба они, решительная чешка и обедневший левантинец, живут у туповатого француза и на его счет. Полной ясности, как сложились отношения между этими тремя, я так и не получил, меня, собственно, интересовало лишь одно, постель, а кому она принадлежит, богатому человеку или бедному, турку или англичанину, мне было совершенно безразлично.

Энергичная, но боязливая особа всю дорогу внушала мне, что я ни при каких обстоятельствах не должен называть свою фамилию. Версия, рассказанная ею чешке, заключалась в том, что в городе я не смог найти номера в отеле и был бы рад получить приют у мосье С. за деньги и добрые слова благодарности. Если потребуются более подробные сведения, мне надо будет спокойно сказать, что я отпущен из лагеря, но должен ждать, пока получу из префектуры соответствующие документы. За приют мне следует предложить столько-то франков, не очень высокую и не очень низкую цену. Чешка, домоправительница,

благожелательно относится к идее моего поселения у них, и, если я не произведу на старого полицейского очень уж скверного впечатления, все может получиться.

Недалеко от дома полицейского мадам Л. простилась с нами. Было бы неразумно ей прийти вместе с нами. Мадам Л. хорошо знакома с чешкой, время от времени бывала у нее в этом доме, пила с ней кофе, болтала. Но у мадам Л. была собака, которую дома можно было оставлять лишь под надежным присмотром. Однажды ей пришлось взять собаку в дом полицейского; собака испугала кошку полицейского, та бросилась на хозяина и исцарапала его. С тех пор полицейский стал весьма недружелюбен к мадам Л. По этой причине ей не следовало являться к нему вместе с нами.

Итак, энергичная, но боязливая особа одна повела меня к дому полицейского. Дверь открыла домоправительница-чешка. «Значит, это и есть господин Фейст,—заговорщическим тоном сказала она.—Я уже подготовила моего мосье С. Подождите пока здесь. Если ли при вас какой-нибудь документ?» — «Да»,—ответил я гордо и поблагодарил про себя товарища по лагерю, давшего мне удостоверение личности. «Но в него не вписано имя»,—добавил я. «Это не имеет значения»,—сказал чешка,—была бы печать. Давайте его». И, прихватив бумагу, она вошла в дом вместе с энергичной, но боязливой особой.

Ночь почти наступила, но небо еще было окрашено вечерней зарей. Утомленный, я сидел на каменных ступеньках крыльца и ждал, даст ли мне полицейский кров. Я был сильно измотан. Желания перелезть через каменную ограду сада и проникать через окно пристройки в покинутую виллу у меня не было. Так же мало соблазняла меня перспектива долгого обратного пути к милой мадам Л., для того чтобы переночевать у нее на полу маленькой комнатки, в которой находились еще француженка из Ниццы и юная девушка с непроверенными политическими убеждениями.

Из дому вышел человек, вежливый, любопытный, наверно, тот самый левантинец. Это был пожилой еврей, уже не очень твердо стоящий на ногах, с хитрым и неглупым лицом, в свое время он был, вероятно, элегантным господином. Он учтиво приветствовал меня и дружелюбно спросил: «Это вы мосье Фейст? Все обойдется. Поначалу мосье С. всегда немного осторожен, даже ершист, но мадам Ф. (это, вероятно, была чешка) женщина решительная и знает, как к нему подойти».

Затем из дому вышли обе женщины, с ними старый полицейский. Он был дряхл, голос старческий, надтресну-

тый. Он посмотрел на меня. «Значит, вам негде переночевать? — спросил он. — Это верно, здесь много беженцев, и все хотят спать. У меня очень хорошие связи в префектуре. Все здешние инспектора полиции ценят меня. В понедельник, значит, вам следует раздобыть бумаги. А в городе, значит, никак не устроиться? Возможно, возможно. И вы, значит, хотите заплатить мадам Ф. столько-то франков?» Я ответил: «Да, и если вы пожелаете, я могу сразу же уплатить за сегодня и завтра, так как до понедельника мне не попасть в префектуру». Старый полицейский задумался. Потом сказал: «Если у человека нет тридцати франков при себе и негде переночевать, значит, это бродяга, такой подлежит аресту. А раньше, когда франки были крепкие, достаточно было иметь при себе всего пять франков». Чешка сказала: «Тогда я покажу мосье Фейсту его комнату». Левантинец хитро посмотрел на меня. Старик пробормотал что-то вроде: «У него при себе больше тридцати франков. Но в понедельник ему следует пойти в префектуру».

Энергичная, но боязливая особа распрощалась, теперь она выглядела скорее энергичной, чем боязливой. «Это самое лучшее решение, — сказала она авторитетно и удовлетворенно. — Здесь у полицейского вас никто искать не будет, здесь вы в безопасности. Я приду сюда завтра или в понедельник. Во всяком случае, будьте у мадам Л. в понедельник, в одиннадцать утра».

Чешка показала мне мою комнату. Она была очень проста, туалет находился вне дома, в комнате стояли маленький тазик для умывания и кружка. Комната не имела двери, москитная сетка отделяла ее от коридора. Но помещение это показалось мне раем. Была кровать, был стул, а возле дома, по-видимому, большой сад. И чешка отнеслась ко мне по-матерински и сказала, что завтра принесет мне горячую воду, а когда я захочу позавтракать, то, естественно, она сможет подать мне завтрак в постель, правда, масла в доме мало, но есть мед, яйца и булочки, а завтра, в воскресенье, я увижу, какой замечательный обед она предложит мне. Я спокойно могу сказать ей, желаю ли еще чего-нибудь. Еда и все остальное, естественно, входят в те столько-то франков, которые я ей уплатил. Старый мосье С. несколько излишне словоохотлив, но он сердечный человек. Мне следует только набраться терпения и проявлять интерес к его пространным рассказам.

Очень скоро я лег. Это была не очень хорошая кровать, и на следующее утро я заметил, что в комнату проникло довольно много moskitov. Но это не помешало мне великолепно выспаться. И вот славная добрая чешка принесла мне в комнату отличнейший завтрак и обещан-

ную горячую воду. Как давно я не мылся горячей водой, как давно не завтракал в постели. Я чувствовал себя превосходно.

Я оделся и вышел в сад. Подошел левантинец и попросил немного подождать. Полицейский хочет сам показать мне свой сад, он очень гордится им, обрабатывает его с любовью, и сад действительно хорош.

Так оно и было. Гордость, с которой мосье С. водил меня по саду, была обоснованна. Сад спускался по откосу, с разных его точек открывались интересные перспективы на поля, на город, один участок сада зарос густой луговой травой и кустарником, потом опять — деревья, аллеи, грядки с овощами, здесь были даже руины римской виллы и садовая беседка.

В беседке стоял стол. Старый полицейский, рассказы которого я, следуя совету чешки, внимательно слушал, выказывая живой интерес, принес мне обтесанный обрубок дерева. Таким образом у меня были стол и табурет. Я сел за стол и начал писать письма. Письма к близким. Я написал жене, адресовав письмо Леонтине, нашей верной горничной в Санари, написал секретарше, моим друзьям в Америку. Написал я американскому послу и американскому консулу в Марселе. Я не знал, конечно, дойдет ли хотя бы одно из этих писем до адресата, Удивительно, но все письма, написанные мной в тот день в запущенном саду, добрались до тех, кому были предназначены. Многие, правда, шли длинными, окольными путями, жена, например, получила это мое письмо через пять месяцев, уже в Америке.

Было хорошо сидеть в летней беседке и писать дорогим мне людям. Наконец-то обрел я тишину и сосредоточенность, наконец-то я был один, наконец я мог взглядеться мысленным взором в лица людей, увидеть которых я так хотел.

Вообще, это воскресенье в доме и в саду полицейского было одним из лучших дней моей жизни. Мосье С. был говорлив, в этом его домочадцы были правы, и многое из того, что он болтал, не имело никакого особенного смысла и связи, попросту было вздором. Но время от времени он рассказывал понятные и чрезвычайно интересные вещи. Его часть находилась в Тунисе в великую эпоху французской империи. Местные жители относились к нему как к абсолютному властелину, как к высшей инстанции. И он чувствовал себя там, вероятно, как доброжелательный, просвещенный деспот. Он рассказывал о своих арабах, затем вновь о выращивании овощей, между этими рассказами поругивал мадам Л. за ее собаку, доведшую его кошку до того, что та бросилась на своего хозяина, затем, несмотря на мои возражения, он уходил

на своих негнущихся ногах в дом, чтобы принести мне восточные сладости.

Чешка между тем приготовила отличный обед. Только он был слишком обилен. За столом мы сидели добрых два часа. Затем, в то время как остальные позволили себе прилечь отдохнуть, я должен был несколько часов слушать рассказы полицейского, постоянно выказывая живой интерес.

И все же остаток долгого послеобеденного времени я провел в одиночестве в моем саду. Это был уже мой сад, и после лагерного шума и суеты я глубоко наслаждался его тишиной и своим уединением.

После ужина ко мне присоединился левантинец, и мы пошли ненадолго прогуляться в темноте. Левантинец сообщил мне массу умных вещей, но касательство они имели к давно минувшим дням. Когда же он делал тонкие замечания по поводу сегодняшних событий, то получалось это так, как если бы человек из эпохи бидермейер высказывал свои соображения о современном авиационном заводе. Затем он поведал мне о различных эпизодах своей жизни, о своей жене, живущей в вилле под Марселем, которую он купил ей во времена, когда был еще богат, и он хвалил трудолюбивую доброжелательную чешку, приютившую его тогда, когда у него, ее прежнего хозяина и друга, дела пошли худо.

На следующее утро я попрощался с моими дружелюбными хозяевами, уложил ночную сорочку, зубную щетку и гребенку в папку для бумаг и пошел в город, якобы в префектуру за своим пропуском, чтобы вернуться в Санари, а в действительности, чтобы встретиться с мадам Л. и узнать, не изыскиали ли три милые дамы какие-либо возможности для дальнейшего моего продвижения.

Комнатка мадам Л. была переполнена. В ней находились не только французская подруга интернированного берлинского адвоката и нервная дама, страдающая частыми приступами плача, но также полный, жизнерадостный господин Б., сбежавший из лагеря и рассчитывавший с помощью знакомого виноторговца пробраться в Монпелье. Пока же и он обосновался и переночевал в комнатке доброжелательной мадам Л.

Мне мадам Л. ничего хорошего сказать не могла. Напротив, энергичная, но боязливая особа явилась к ней в самую рань и сообщила, что в Ним прибыла немецкая комиссия для инспектирования нашего лагеря. Энергичная, но боязливая сделалась еще боязливее прежнего; мне, заявила она, при любых обстоятельствах следует немедленно исчезнуть, чтобы не скомпрометировать ее и

не навредить находящемуся в бегах ее мужу. Возвращаться в дом полицейского мне ни в коем случае нельзя, так как при этом ее, энергичную, но боязливую особу, смогут обвинить в том, что она принимала участие в неблагоприятных, запрещенных властями махинациях.

Правда, сообщение энергичной, но боязливой особы мадам Л. восприняла без особого трагизма. Если немецкая комиссия действительно в городе, сказала она, мне как раз следует вернуться в дом полицейского и переждать там, пока не появится возможность ехать дальше. Только мне надо придумать для полицейского хорошее объяснение, почему я не смог получить себе пропуск. Обращать внимание на истерию энергичной, но боязливой было бы крайне неразумно. Пока же мне надо оставаться в городе. В три часа дня она ждет к себе двух солдат из охраны нашего лагеря с известием о ее муже. Может быть, они слышали что-нибудь о комиссии. Мне, следовательно, в три часа тоже надо быть у нее.

Располагая свободным временем, я вместе с французской, подружкой интернированного берлинского адвоката, пошел поесть. Мы выбрали хороший ресторан. За вполне умеренную цену мы вкусно и сытно пообедали. Кельнер как бы между прочим спросил у нас о продуктовых карточках, но его не беспокоило то, что их у нас не было. Сервировка стола была выполнена со вкусом, обслужили нас очень прилично. Посетители ресторана, в основном французы-беженцы, несмотря на все пережитые ими потрясения, непринужденно сидели, спокойно ели и пили.

Я уже давно не сидел за хорошо накрытым столом среди свободно беседующих людей, моя спутница была очень хороша собой и обладала прекрасными манерами, и, хотя моя папка для бумаг постоянно напоминала мне о неприятных обстоятельствах, вследствие которых я оказался в Ниме, от обеда я получил большое удовольствие.

Дама, хотя она была в Ниме всего два дня, уже обменялась записками со своим другом, находящимся в лагере, она ожидала сообщения от него через тех двух солдат, с которыми нам предстояло встретиться в три у мадам Л. Она рассчитывала завтра утром поехать в лагерь и увидеться со своим другом. Она говорила о нем с преданностью и симпатией.

Вообще, эта пора наших злоключений показала, как сильны были связи между немецкими эмигрантами и их французскими женами или подругами. Почти все эти женщины приехали в Ним, трудности поездки в эти тяжелые времена их не испугали. Ночевали они подчас со своими детьми под открытым небом, на площадях, которые Ним предоставил беженцам. Они находили средства и

пути, чтобы подобраться к лагерю, иные из них четыре часа шли туда пешком по каменистым тропам. Прогоняемые жандармами, они бродили вблизи лагеря по подлеску, по лугам. Почти всем женщинам удавалось повидать своих мужей, поговорить с ними, передать им продукты, письма, полезные мелочи.

Обедавшая со мной француженка имела рекомендательные письма к префекту Нима. Его считали интеллигентным, гуманным человеком. Дама рассказала мне, что многие жены интернированных осаждают генеральный штаб и различные гражданские учреждения, чтобы чего-нибудь добиться для своих мужей. Дама была любезна, энергична, настроена оптимистически.

Затем мы действительно встретились у мадам Л. с двумя солдатами. Один был с юга, другой — парижанин, оба бывалые парни. Они рассказали, что их в охране лагеря четверо друзей, и если они или хотя бы один из них стоят на посту, то делают все, чтобы облегчить наше положение. Мы можем тогда встретиться с нашими женами и, по желанию, покинуть лагерь. За свои услуги они не брали никаких денег.

Вообще, большая часть населения была на нашей стороне, и, в то время как власти из-за халатности и преступного легкомыслия поставили нас, гостей Франции, в положение, угрожавшее нашей жизни, французский народ делал все, чтобы выручить нас из этой опасности.

Я передал с солдатами несколько строк моим друзьям в лагере. Я просил их письма ко мне переслать на адрес мадам Л.

Затем я отправился обратно к моему полицейскому.

Опять с папкой для бумаг под мышкой я медленно шел через горячий, заполненный людьми город, шел со смешанными чувствами. Слухи о прибытии в Ним немецкой контрольной комиссии — энергичная, но боязливая дама якобы сама видела эту комиссию — были неприятны, кроме того, особых надежд на то, чтобы скоро добраться до Марселя, не было. С другой стороны, не такой уж скверной была перспектива несколько дней провести у старого полицейского, в обществе умного левантинского еврея и доброжелательной чешки, в прекрасном, мирном, запущенном саду.

Правда, еще предстояло завоевать эти несколько дней. Как объяснить мосье С., что префектура отказала в обещанном мне пропуске? Ничего разумного в голову мне не приходило. Я немножко побаивался объяснений с мосье С.

Чтобы несколько отдалить неприятный разговор, я

пошел в парикмахерскую. Парикмахер счел своим долгом развлекать меня, работая над моей головой. Он рассказал мне, что располагает особыми, достоверными источниками информации. Из них он, в частности, узнал правду о целях, которые преследует немецкая контрольная комиссия, прибывшая нынче в Ним. Она вовсе не собирается инспектировать аэродромы или концентрационные лагеря, ведь она сама сотрудничает с интернированными, они все там прожженные шпионы. Рассказывая это, парикмахер очень аккурратно подстригал мне волосы; он вымыл мне также голову и сделал все так добросовестно, что его работа доставила мне удовольствие.

Итак, никаких предлогов оттягивать объяснение с мосье С. у меня уже не было. Медленно поднялся я по дороге, ведущей к его дому. Я позвонил. Открыл мне левантинец. Он был удивлен, увидев меня, даже несколько озадачен. Я наскоро сочинил историю, звучала она не очень-то правдоподобно. Оказывается, мой дом в Санари реквизирован и заселен беженцами, мне следует подождать, пока власти не освободят его. Левантинец сказал что-то незначительное, дескать, да, в такие времена ничего нормально не делается и сегодня не знаешь, что случится завтра. Ведя ни к чему не обязывающую беседу, он внимательно всматривался в меня своими хитрыми глазами, и в этих хитрых глазах можно было прочесть все, что он думал. То, что он, естественно, не верит ни одному моему слову, что он, напротив того, точно знает, что произошло, что он хочет помочь мне, но не уверен, что мои аргументы удовлетворят старика, от которого и он и чешка зависят. Вслух все это он мне не сказал, но попросил подождать и пошел в дом, чтобы сообщить мосье С., что я пришел вновь.

Я присел опять на каменные ступеньки перед домом полицейского, домом, который я уже полюбил. На этот раз я не чувствовал гротескности ситуации, я ничего не испытывал, кроме боязни, что не получу ночлега. Мне совсем не показалось, что левантинец уверен в благополучном решении вопроса, и для этого он имел серьезные основания. У старого С. были свои капризы, он мог проявить упрямство, это я уже заметил, взять хотя бы его непреодолимую неприязнь к мадам Л., вызванную историей с собакой, неприязнь, из-за которой чешке пришлось отказаться от встреч с этой милой женщиной. Вполне могло случиться, что старик откажет мне, и непереносимой была ужасная мысль, что придется возвращаться назад либо в шумный, вонючий лагерь, либо в знойный Ним, бояться встречи с каждым полицейским, блуждать по улицам, кишащим беженцами, и ломать себе голову над вопросом — где бы поспать.

Вышла чешка. Произошло именно то, чего я опасался: в старике проснулось недоверие полицейского. Но доброжелательная женщина хотела мне помочь и дала совет. У старика был зять, прокурор, служивший в Тунисе. Старик боялся, что, если итальянцы захватят Тунис, зятю с семьей придется оттуда бежать. Как многие французы, мосье С., страшась остаться без средств к существованию, уже сейчас хотел на этот случай позаботиться о своем имущественном положении. У него созрела мысль продать свою недвижимость. А что, если мне сказать ему, что сад и дом мне понравились, и спросить, не согласится ли он их продать.

Тут вышел старик. Он выглядел мрачно, и чувствовалось, что он напряженно думает. «Покажите-ка мне еще раз ваш документ»,—сказал он и сразу преобразился в полицейского. Долго рассматривал он бумагу. «Я не пойму,—сказал он,—почему вам не дали пропуск. Я сам пойду с вами в город, я знаю всех чиновников, и инспектора Х, и инспектора У, я хотел бы посмотреть, как это они откажут вам в пропуске, если с вами буду я». Я возразил, впрочем без особого воодушевления, что учреждения уже закрыты. Но старик настаивал. «Все эти господа,—сказал он,—бывают у меня в гостях. Безо всяких церемоний мы можем прийти к любому из них домой». Я сказал, что охотно остался бы на ночь у него. В мой Санари мне все равно, вероятно, не попасть, так как дом мой, как я услышал в городе, занят эльзасскими беженцами. Дом и сад мосье С. мне очень нравятся, и город Ним мне нравится тоже, и я уж думал, не продаст ли мне мосье С. дом с участком. Он понял не сразу, фразу пришлось повторить. Скрепя сердце я повторил, очень неприятно было обманывать старика, да к тому же так грубо. Левантинец с чешкой стояли возле, хитро поглядывая на меня. Видно было, как напряженно думает старик. «Ладно, оставайтесь,—сказал он наконец.—Но завтра или послезавтра я пойду с вами в префектуру, и мы посмотрим, как это они откажут вам в пропуске. Это хороший участок,—добавил он,—и я вложил в него много труда».

Чешка приготовила ужин. Мы ели долго и пили в свое удовольствие. Старик хвалил салат и овощи, он вырастил их сам. Затем он рассказал мне о своем зяте в Тунисе, и я слушал его с лицом, выражающим живой интерес. Потом он показал мне своих кур и кроликов, подробнейшим образом объяснил, сколько труда вложил в свой участок, и наконец, с видимым усилием, заключил, что если уж придется, то он, пожалуй, продаст свой участок с домом за столько-то и столько-то тысяч франков. Это была трогательно скромная сумма. Мне стыдно было, когда я сказал, что о сумме мы еще поговорим.

Душевные переживания утомили старика, он рано ушел отдыхать. Я с левантинцем еще погулял в тиши ночного сада. Левантинец пустился в пространные политические разговоры. Он считал, что совершенно исключено, чтобы правительство неоккупированной части Франции когда-либо согласовывало свою внутреннюю политику с основными законами нацизма. «Никогда,—заявил он, и обычно столь скептический и уравновешенный господин стал патетичным,—никогда во Франции не будет законов против евреев, как у вас». Я вспомнил о своем левантинце, когда позже правительство Виши ввело у себя антиеврейские законы, во всем подобные нюрнбергским.

Мы пошли спать. Поскольку мой Карл не дал мне с собой пижамы, чешка принесла мне пижаму из гардероба полицейского.

На следующее утро в местной газете я прочел, что такой-то судья приговорил немцев X, Y и Z к тюремному заключению, поскольку при задержании они не имели никаких бумаг, и что теперь и впредь иностранцы без надлежащих документов будут задерживаться. Несмотря на это, день я провел тихо и приятно, это был настоящий день отдыха. Я не выходил на улицу, наслаждался моим садом, бродил по нему, сделал кое-какие заметки, написал несколько писем. Чешка по-матерински ухаживала за мной, она спустилась в город, принесла мне белье, почтовые марки, газеты.

Затем старый полицейский опять стал приставать ко мне со своей болтовней. Мое отпускное свидетельство и то, что я был в лагере, пробудили в нем, по-видимому, воспоминания о былых временах его жизни. Он рассказал мне, что осенью 1914 года, в начале первой мировой войны, он со своей частью размещался в городе Тунисе. Тогда сразу же интернировали всех немцев, находящихся в городе. Некоторым, впрочем, удалось бежать на итальянский пароход «Città de Messina», который должен был идти в Палермо,—Италия тогда еще не участвовала в войне. И вот он, полицейский, получил приказ снять с парохода немцев, бежавших из города. Ему были известны номера их кают, но на переполненном пароходе разыскать немцев не удалось, итальянский капитан торопился с отходом, власти ссориться с итальянцами не хотели, поиски долго продолжаться не могли. И вот ему, полицейскому, пришла в голову хорошая мысль. Он приказал вынести на берег багаж разыскиваемых немцев. Некоторые немцы попались на эту удочку, спустились на берег и потребовали назад свой багаж, но их тут же схватили. Другие поступили хитрее, они бросили свой багаж, этим удалось бежать.

Полицейский рассказывал, и на этот раз мне не потребовалось никаких усилий, чтобы показать живой интерес к его рассказу. Я был одним из тех немцев, которые были тогда интернированы в Тунисе и бежали на итальянском пароходе. Я был одним из тех четырех, которые пожертвовали багажом, предпочтя остаться на пароходе в надежном укрытии.

Если этот день прошел хорошо и спокойно, то следующий начался чрезвычайно бурно.

Уже утром, когда я сидел за завтраком, вбежала энергичная, но боязливая особа. В свое время она принесла в дом полицейского для сохранения некоторые, по ее мнению, опасные бумаги; впрочем, на мой взгляд, эти бумаги были совершенно безобидны. Теперь, поскольку в город приехала немецкая комиссия, дама решила, что этого недостаточно, она решила эти бумаги забрать и уничтожить. Увидев меня, она панически испугалась. Как? Я все еще здесь? Ведь немецкая комиссия уже прибыла в город. Разве не давала она мне через мадам Л. строгое указание немедленно и навсегда покинуть дом полицейского, чтобы она, энергичная, но боязливая, не оказалась скомпрометированной? Она испепеляла меня гневными взглядами. Едва лишь полицейский поворачивался к нам спиной, она шипела мне яростные слова. Но, заметив, что ни взгляды, ни слова не производят на меня серьезного впечатления, она стала настойчиво требовать, чтобы я, по крайней мере, немедленно написал рекомендательное письмо американскому консулу для ее мужа, который вот-вот должен приехать в Ним; ему такое письмо, по ее мнению, должно помочь. Я выполнил это, но она продолжала бушевать.

Пришедшая после ее ухода мадам Л. была принята полицейским весьма недружелюбно, хотя на этот раз собаки при ней не было. Она, эта самоотверженная женщина, готовая принять на себя немилость полицейского, совершила, торопясь, долгий, утомительный подъем к дому мосье С. в самый знойный час, чтобы передать мне очень важное известие, записку от одного из моих лагерных друзей, которую привезли ей наши солдаты. В лагере выдавались бланки свидетельств тем, кто рассчитывал получить во Франции право убежища. Эти бланки следовало заполнить и не позже сегодняшнего вечера лично передать лагерному начальству. Было сказано, что тот, кто не сделает этого, на защиту со стороны Франции рассчитывать не сможет. Комендант, естественно, знавший о моем отсутствии, вызвал моего друга, отправителя записки, и дал ему понять, что настоятельно рекомендует

мне вернуться для оформления свидетельства. Если есть какая-либо возможность известить меня, это следует сделать. Если я приду, комендант посмотрит на мою отлучку сквозь пальцы. Об этом сообщил мне в записке мой лагерный друг, записку солдаты привезли мадам Л.

Я обдумал эту новость. Мне очень не хотелось покидать тихий гостеприимный дом дружелюбного полицейского. С другой стороны, предложение коменданта вернуться в лагерь было разумным и показывало его расположение ко мне. Если французы искали предлог уклониться от своих обязательств передо мной, то мое бегство из лагеря было бы им весьма кстати.

Вздыхнув, я решил вернуться в лагерь. Я договорился с мадам Л., что в три часа буду у нее. К этому времени она ждала обоих солдат, с ними я хотел совершить свой обратный путь в лагерь.

После того как мадам Л. ушла, полицейский показал мне рубцы, оставленные кошкой, и, поглаживая ее, вновь рассказал мне историю с собакой и кошкой, а заодно и все, что он думал о мадам Л. Я сказал, что мадам Л. принесла мне сообщение, что я могу возвращаться в Санари и что я, следовательно, после обеда покину их. Полицейский сосредоточенно подумал и сказал: «Вы понравились мне, мосье, и я охотно хотел бы вам помочь, но цена, которую я вам назвал за мой дом, действительно крайняя». Я ответил, что цена очень разумная и я серьезно обдумую его предложение.

Чешка купила курицу. Она хотела завтра приготовить ее по-австрийски, это блюдо — жареная курица — было ее коронным номером. Сегодня курица еще не годилась для готовки, мясо было слишком свежим. Но в связи с моим внезапным отъездом чешка, вопреки всем правилам и своим кулинарным убеждениям, решила приготовить курицу сегодня, к прощальному обеду.

Во время обеда мы все были несколько грустны. Чешка была по-настоящему несчастна как из-за курицы, которая на этот раз не удалась и оказалась жестковатой, так и из-за той неопределенности, которая в ближайшее время меня ожидала. Полицейский, в течение всего обеда крайне молчаливый и задумчивый, заявил, что обычно покупатель дома оплачивает все расходы, связанные с оформлением купли-продажи; но в данном случае, симпатизируя мне, часть этих расходов — в сумме 500 франков — он готов взять на себя.

Потом я уложил свое нехитрое имущество в папку для бумаг, попрощался сердечно и с благодарностью с тремя добросердечными людьми и пошел в последний раз с папкой для бумаг под мышкой в знойный город, в

последний раз поднялся по темной и узкой лестнице в квартиру мадам Л.

Комната была битком набита людьми. Был здесь жизнерадостный господин Б., все еще не получивший возможности добраться до Монпелье и все это время ночевавший у мадам Л. Были здесь два солдата, французская подруга берлинского адвоката, нервная особа с безудержными всхлипываниями, мадам Л. и я в придачу. Мы устроились кто как смог, кровать, стулья, стол, пол — все было занято.

Мадам Л. диктовала солдатам маленький список вещей, которые им следовало купить и отвезти ее мужу в лагерь. Доктор Л., известный врач, во время первой мировой войны организовал и инспектировал санитарную службу в нескольких лагерях для военнопленных. Он попросил жену прислать ему кое-какие предупредительные средства против начинающей распространяться дизентерии. Мадам Л. диктовала свой список, находясь на кухне и готовя еду для мужа, только что переболевшего дизентерией.

Солдаты прочли список. Они предложили мне купить кое-что и для меня, если я решу вернуться в лагерь. Они собирались ехать автобусом, уходящим из города в половине пятого, и хотели взять меня с собой. Я предложил им найти для нас такси. Они охотно согласились.

Они ушли. Ушел также господин Б., а за ним — нервная особа. Мадам Л., умная женщина, еще раз обсудила со мной сложившуюся ситуацию. Не было ли предложение коменданта вернуться в лагерь ловушкой? Немецкая контрольная комиссия в самом деле находилась в Ниме, даже газеты писали об этом; кроме того, по городу ходили достоверные слухи, что немецкие комиссии побывали в лагерях для интернированных. Был ли комендант действительно благожелательно настроен? Или он просто хотел, не привлекая особого внимания, вернуть в лагерь интернированного, возвращение которого силой могло бы вызвать нежелательные слухи?

Молодая француженка из Ниццы еще раз побывала в префектуре. У нее после этого создалось впечатление, что чиновники относятся к нам хорошо и хотели бы защитить нас от немцев. Ей разъяснили там, что для нас же было бы лучше, если бы мы остались в своих лагерях. Если мы разбежимся и будем находиться в стране на нелегальном положении, нас неизбежно переловят бестолковые жандармы и на этот раз отправят во французские тюрьмы, в которых теперь будет очень несладко. А предостеречь нас в случае серьезной опасности и дать нам возможность исчезнуть намного сложнее в тюрьме, чем в лагере.

И получалось так, что разумнее всего возвратиться в Сан-Никола.

Пришли назад солдаты. Они сделали все, как требовалось. Они договорились по сходной цене с шофером такси, машина которого уже ждала нас внизу. Обычно с пассажиров, если они приезжие или из интернированных, шоферы такси дерут солидные суммы. Им, солдатам, шофер назначил цену на двадцать франков ниже, чем обычно брал за такой рейс.

Итак, я поехал с обоими парнями. Мы вели неторопливый разговор о войне и мире, о наших личных делах, о заботах и планах на ближайшее будущее. Так, дружески беседуя, подъехали мы к лагерю и остановились недалеко от него.

Мы остановили машину примерно в двадцати минутах пути от лагеря. Солдаты не дали мне нести корзинку с моими покупками, они взяли ее с собой и сказали, что найдут меня в лагере. Небольшую часть пути мы могли пройти еще вместе, затем разделились. Они пошли по шоссе, ведущему ко входу в лагерь, я же свернул в лес.

Медленно шел я через рощу к лагерю. Вот уже хорошо знакомая вонь. Дойдя до колючей проволоки, я привычным образом прополз под ней.

И вот я снова в лагере, который покинул с такими надеждами, с такой опаской. Многого своим побегом я не выиграл, но все же пять дней провел в тиши, получил возможность сосредоточиться, смог спокойно посоветоваться с самим собой. При любых обстоятельствах это было лучше, чем все эти дни оставаться в лагере.

Меня сердечно приветствовали, усердно расспрашивали. Друг, пославший мне записку, настаивал на том, чтобы я немедленно явился в канцелярию лагеря, получил бланк, заполнил его и подписал.

Меня принял очень молодой лейтенант. «Вы доставили нам много хлопот, мосье,—сказал он.—Собственно, списки уже составлены. Мне не следовало бы принимать от вас документы».—«Но вы примете их, господин лейтенант?»—спросил я. «Разумеется»,—ответил он.

Затем я отправился искать свою палатку. К этому времени вернулись многие беглецы, было создано новое подразделение, и я не сразу разыскал свою прежнюю группу. Когда я искал, ко мне подошли двое пожилых мужчин и пригласили жить в их палатке, теперь почти все палатки были полностью заняты, моя, вероятно, тоже; в их же палатке сейчас всего одиннадцать человек, и они постараются предоставить мне максимальные удобства. Мой помощник Карл подошел ко мне, немного огорчен-

ный неудачей моей попытки, но довольный моим возвращением. Он подтвердил, что моя прежняя палатка сейчас переполнена. Я поблагодарил расположенных ко мне господ и с помощью моего Карла перебрался к ним.

Старшим по палатке в моем новом палаточном коллективе был один из двух господ, пригласивших меня, шумный, жизнерадостный господин Кон. Владелец фабрики в Берлине, он получил в свое время хорошее наследство и жил в достатке. Хорошо воспитанный, несколько избалованный счастьем и деньгами, он и сейчас, почти в шестьдесят, выглядел отлично. Он привык командовать, любил давать распоряжения, «организовывать». Был громок, импульсивен, доброжелателен, немного бестактен, но всегда был готов взять обратно необдуманно сказанное слово и извиниться. Он спорил с каждым, с каждым мирился, сам делал любезности и охотно пользовался чужими услугами. Он очень страдал от отсутствия денег, но продолжал вести и в лагере жизнь человека, располагающего деньгами. И то обстоятельство, что вследствие этого он непрерывно попадал в затруднительное положение, ничему его не научило и более мудрым не сделало. Привыкнув к тому, что его всегда обслуживали, он то и дело давал моему Карлу различные поручения и указания. Но Карлу это не нравилось, он вбил себе в голову, что должен заботиться только обо мне, обслуживать только меня, именно меня, а не какого-нибудь там господина Мюллера, господина Шульца или господина Кона. Поэтому между ними всегда возникали недоразумения, которые мне надлежало улаживать.

Другой, с которым постоянно ссорился господин Кон, был наш товарищ по палатке, берлинский адвокат Л., лохматый, неряшливый, с огромной всклокоченной рыжей бородой. Подобно господину Кону, этот человек был задирист и властолюбив, их постоянные ссоры позволили мне узнать многие самобытные берлинские выражения, которых я никогда до сих пор не слышал. Адвокат Л. был остроумен и подчас отпускал неплохие шутки. Когда его спрашивали, почему он так редко моется, он объяснял, что здоровье у него железное, но железо, входя в соприкосновение с водой, ржавеет. Никогда не забуду, как однажды ночью, выпустив очень энергично газы, он глубоким глухим голосом продекламировал: «Кто много пьет и много с.т., на врачах экономит, на лекарствах сбережет». Он был очень прожорлив. «Своими зубами он копает себе могилу»,—говорил о нем обычно один из нашей группы. Адвокат Л. любил много поесть, но денег у него не было совсем. И тем не менее, когда мимо проходил торговец съестным и кто-то из нас покупал у него что-нибудь, адвокат почти регулярно просил: «Возь-

мите и на меня». Затем большую часть купленного он поглощал, оплатить же всегда забывал. Господин Кон, который подчас вел себя так же, неизменно обращал внимание адвоката на его забывчивость. Господину Кону, старшему по палатке, надлежало определять, кому из нас идти за едой, и он часто назначал адвоката. И тут, едва ли не через раз, начинались споры и перебранка. Адвокат, хотя и притязал на большую часть еды, предназначенной для всей палатки, тащить ведра отказывался, ссылаясь на свой возраст.

Вообще, распределение работ было совсем не простым делом. Работы здесь было больше, чем в свое время в Ле-Миле. Палатку надлежало держать в чистоте, часто натягивать ее, укреплять колышки, углублять прокопанную вокруг нее канавку, предназначенную для того, чтобы дождевая вода не попадала внутрь. Ведра для раздачи пищи следовало постоянно чистить, а вода для этого доставалась с бою. Мусор, накапливавшийся в палатке и возле нее, надо было собирать и относить в определенное место, расположенное довольно далеко. Нужно было также запастись хворостом. По вечерам у палаток раскладывались костры, дым которых отгонял moskitov. Пожилые господа из нашей палатки не очень-то привыкли к работе такого рода. Господин Кон и адвокат вполне могли бы такую работу делать, но адвокат отлично чувствовал себя в грязи и ругался, когда от него требовали заняться уборкой, а господин Кон заявил, что он, как старший по палатке, должен быть освобожден от трудовой повинности.

Было много людей, готовых за деньги выполнить любую работу, но ни адвокат, ни господин Кон не хотели и не могли платить.

Был еще один человек, который уклонялся от работы, тот самый, который говорил, что адвокат копает себе могилу своими зубами. Этот господин тоже не страдал отсутствием аппетита. Некогда он занимал пост члена Берлинского апелляционного суда, это был всем недовольный, избалованный господин с чопорными манерами; он не очень хорошо понимал, что здесь, в этой палатке, он уже не член суда высшей инстанции. Адвокат и господин Кон охотно и зло разыгрывали этого старого человека. Он возмущенно, с раздражением, в манере старой девы отбивался от их нападков. Иногда шутки были очень уж грубоваты. «Кто опять так сильно испортил воздух?» — начинал господин Кон. «Сегодня — не я, — заявлял адвокат. — Это наверняка господин советник Берлинского апелляционного суда, мне пришлось всю ночь это нюхать. Послушайте, — обращался он прямо к бедному судье, — надо прекратить это безобразие. Вы же не один в

палатке». — «Я не порчу воздух и не портил его», — с достоинством и язвительно заявлял старый судья. — Скажите вы, господин В., — обращался он к своему соседу по спальному месту, пожилому берлинскому кантору, — вы чувствовали какие-нибудь запахи?» — «Я спал», — дипломатически уклонялся от ответа кантор.

Лично мне старый судья был глубоко симпатичен. Воспитанный, хорошо образованный, он сохранил в голове все, чему его учили в гимназии, которую он в свое время хорошо окончил, и ему доставляло большое удовольствие иногда это показывать. С трогательным удивлением я установил, что он был воспитан на тех же гуманистических началах, что и я. Однако что касается его, то эти гуманистические начала полностью достигли своей цели. Они законсервировали его, совершенно изолировали от мира. Его дух принял в точности ту форму, которую его воспитатели захотели ему придать. Он выучил то, что ему следовало выучить, и никакие дикие события последующего времени ничему новому научить его не смогли. Он верил в гуманизм классической немецкой эпохи, в такой гуманизм, который преподавали ему педагоги и каким он себе его представил по стихотворениям Шиллера периода классицизма.

Я пытался представить себя на месте тех, кто стоял перед этим судьей. Он безусловно был прекрасным юристом, но как вел он себя с подсудимыми, как объяснялись они с ним? Мостика между ними не было. Не было также мостика между ним и мной, так как для этого очень образованного человека и Зигмунд Фрейд, и Карл Маркс были пустыми именами, никогда ни одной из их книг он не читал.

Он страстно любил цитировать. В свое время ему приходилось учить наизусть большие отрывки из стихотворений и драм немецких и античных классиков; как и я, он знал наизусть и хорошо известные, и мало известные стихотворения, и если кто-нибудь из нас забывал, декламируя, другой подхватывал и заканчивал.

Вообще в лагере много цитировали. Я часто спрашивал себя, на чем основана эта страсть, постепенно превратившаяся в манию. Возможно, лишенные всего люди хотели немножко согреть себя чувством, что они образованны. Возможно, хотели вновь и вновь освежить свои знания, чтобы не забыть их полностью. Возможно, это было просто тщеславием эрудитов. Внешне все мы были одинаковы, все жили в абсолютно одинаковых условиях; и вот этим способом хотели показать себе и другим, что они не чета прочим.

Иногда с этим цитированием получалось нечто весьма забавное; вследствие частого повторения иных смешных

цитат они теряли свою остроту. Я рассказывал уже, что, собираясь иногда по ночам в катакомбах Ле-Миля, мы объясняли офицерам охраны, которые пытались этому воспрепятствовать, что идем по нужде. Текст хора контрабандистов в опере «Кармен» звучит так: «Ложный шаг ведет нас к бездне». Однажды кто-то в подобных обстоятельствах слегка изменил эту фразу: «Ложный шаг ведет к сортиру». Это было очень смешно, но фраза, повторенная два десятка раз, свой комизм потеряла.

Было бы соблазнительно здесь сделать некоторые замечания относительно употребления цитат и страсти к цитированию, что характерно особенно для немцев и евреев, о том, как эта эпидемия особенно свирепствовала среди немецких евреев в концентрационных лагерях. Но я хочу поговорить о моей палатке и ее обитателях.

Были в ней два торговца, спокойные, обеспеченные люди, большую часть дня проводившие в обсуждении вопроса, как им наилучшим образом и подешевле поесть. Они пускались в долгие воспоминания о различных кушаньях разных германских земель и иногда расходились в мнениях относительно того, где лучше готовится то или иное блюдо.

Запомнились мне также два кантора из Берлина. Оба они были хорошими, даже знаменитыми канторами, они были гордостью больших берлинских синагогальных общин. Они очень отличались друг от друга, и хотя едва ли могли бы обходиться один без другого, жили в непрерывных спорах, причем господину Кону и адвокату доставляло огромное удовольствие провоцировать их на эти споры.

Один кантор был угрюмым человеком. Он ходил всегда набычившись, как бы готовясь к нападению, горькая участь терзала его, он чувствовал себя низложенным монархом. Второй был обходительным, деятельным господином, который ни в коей мере не считал, что жизнь его уже кончена. Он даже делал попытки связаться из лагеря с южнофранцузскими синагогальными общинами, в которых он, если представится случай, смог бы исполнять обязанности кантора или даже помощника кантора во время больших праздников, хотя это, учитывая его прежнее положение в берлинской синагоге, было бы ужасно унижительным. Даже тяжелый опыт, приобретенный им сейчас, не мог поколебать его жизненной силы и уверенности в себе. Багаж, содержащий остатки его имущества, он сдал в камеру хранения на вокзале Нима. И вот ему потребовался чемодан из этого багажа; один иностранный легионер взялся доставить ему этот чемодан в лагерь. Кантор дал легионеру квитанцию, тот же, по-видимому, все имущество кантора продал, а деньги прикарманил. Теперь он отделялся разными отговорка-

ми, а легковверный кантор так и остался без своих вещей. Но он все еще не считал их окончательно потерянными. Он был человек неглупый и понимал, что, сообщив лагерному начальству или полиции, он хотя и отомстит легионеру, но свои вещи обратно не получит. Он предпочел поддерживать с легионером хорошие отношения. Он сделал вид, что полностью ему верит, постоянно обсуждал с ним, что следует предпринять, чтобы вызволить вещи, и давал ему небольшие суммы якобы для подкупа чиновников, чтобы они наконец вернули багаж; в действительности же он этими деньгами хотел подмаслить легионера и склонить того к возврату украденного. Он никогда не сомневался в том, что в конце концов получит вещи обратно.

Оба кантора охотно рассказывали о своем берлинском прошлом. Они получали хорошее жалованье, и кроме того имели дополнительные большие побочные доходы за участие в свадьбах, похоронах и других ритуальных обрядах. Хвастливо сообщали они, сколько заработали в том или ином случае, стараясь превзойти друг друга, и каждый ставил под сомнение то, что говорил другой. Господин Кон и неряшливый адвокат принимали в этих спорах горячее участие и коварно подзуживали спорящих канторов.

Я охотно задерживаюсь на описании всяких гротескных случаев в палаточном городке под Нимом. Все то время, что я находился там, я намеренно обращал внимание именно на гротескные детали, а не на общую невыносимо тяжелую обстановку. Если бы я не пытался выявить и подчеркнуть гротескность моего положения и положения моих товарищей, мне очень трудно было бы без внутренних потерь выдержать наше жалкое и унижительное для достоинства человека существование.

Лагерный городок под Нимом, каким бы ярким и оживленным он ни казался, приятным местожительством не был. Поверь мне, читатель, там было ужасно.

Не было порядка. Некому было пожаловаться, некому подать просьбу. Все вязло в грязи, бестолковщине, нечистоты и безразличие подавили нас полностью, мы были перед ними беспомощны. В лагере под Нимом мы не жили, а существовали. Мы мечтали о смерти. Выносили это подобие жизни потому, что непрерывно твердили себе, что сдаваться нельзя, это время надо пережить. Когда-нибудь это кончится, когда-нибудь мы снова будем жить жизнью, достойной людей.

Впрочем, были среди нас — и из всего виденного мной в лагере это было, пожалуй, наиболее жалким, — были

среди нас люди, боявшиеся только одного: а вдруг лагерь завтра расформируют и их отпустят. Да, были среди нас люди, и их было не так уж мало, которые боялись того, что их отпустят. Как ни жалки и убоги были шатры Нима, все же это была крыша над головой. Как ни однообразна и безвкусна была лагерная пища, это все же была пища, ее можно было глотать, ее можно было переваривать. Если же лагерь под Нимом исчезнет, у них ничего не останется, у них нет ни денег, ни каких-либо прав, ничего, ничего. Если их выбросят из лагеря, эти совершенно обедневшие люди окажутся на свободе, в пустоте, ничем не прикрытые, кроме лохмотьев, чужие, более того, враги в стране, которая, проиграв войну, едва ли сможет даже своим сынам дать самое необходимое для поддержания их жизни.

Прости меня за это отступление, читатель. Я перейду сейчас к более отрадному. Я расскажу о Бернгарде Вольфе, самом приятном человеке в нашей палатке.

Если господин Кон был старшим по палатке, то господин Вольф был, собственно, душой нашего маленького сообщества. Это был полный человек лет шестидесяти, с крупным, приветливым, типично еврейским лицом. Большим книжником он не был, но имел хорошую голову, хорошее сердце, здравый рассудок и изрядную долю здорового скепсиса. Ему были присущи рассудительность, лукавство и миролюбие. Почему были присущи? Всем этим он обладает и сегодня.

Господин Вольф рос старшим в многодетной семье, все члены которой, начав с малого, достигли приличного достатка. В нашем лагере находился также один из его братьев. Оба они величественно примирились со своим положением. Им пришлось пережить много дурного, но они рассчитывали выбраться из этой ситуации, возможно, с синяками и шишками, но с целой головой.

Господин Вольф владел несколькими фабриками, помещением под Марселем. У него было много служащих, и привычка общаться с людьми сделала его хорошим психологом. Служащие уважали его, ему не приходилось повышать на них голос. Фабрик, поместий, служащих он лишился, но душевного покоя, терпения, авторитета не утратил.

С самого начала у меня сложились с господином Вольфом хорошие, товарищеские отношения. Господин Вольф был более практичным, чем я, во многих мелочах он помогал мне советом и делом, помог мне также и в одном поистине тяжелом положении, о котором мне вскоре придется рассказать. С другой стороны, кое в чем

и я оказался ему полезным. Думаю, каждый из нас с удовольствием вспоминает другого.

Господин Вольф — творец своей жизни. Он не стремится к недостижимому, но из любого положения умеет извлекать все полезное. Например, он улучшил наше жилье. Интернированному, кое-что смыслившему в столлярном деле, он заказал нечто вроде примитивного стола и скамьи, которые были установлены перед нашей палаткой. Таким образом, мы могли сидеть и есть под защитой дерева в приятной полутени. Господин Вольф заказал также для меня и себя из колышков некоторое подобие лежаков. Они были очень низкими, иначе грубый брезент палатки совсем накрыл бы наши лица и расцарапал их до крови. Но тем не менее наша солома уже не лежала прямо на холодной, сырой земле. Неутомим был господин Вольф и в добывании пищи, наша еда стала вкусней и разнообразней.

За несколько дней, что я провел в Ниме, лагерь сильно изменился. Теперь это была единая сплошная ярмарка. Кафе, киоски теснились во всех проходах между палатками. Торговцы вразнос бродили с пяти утра до часу ночи и выкликали свой товар: «Запрещенная сгущенка! Нигде во Франции не достать, только у меня!», «Всего за десять минут возле палатки пятьдесят четыре вам приготовят жареную курицу со свежим салатом!», «Три авторучки, почти что новые, за неслыханно низкую цену!», «Самые свежие парижские газеты, швейцарские газеты!», «Коричневые кожаные ботинки, последняя модель, высокое качество, специально для походов через всю Францию и через границу!», «Великолепно исполненный польский паспорт для господ от сорока до пятидесяти, всего за каких-нибудь три тысячи франков!» И так весь день и половину ночи.

Открылись здесь и маленькие рестораны. Они были хороши, работали в них высококвалифицированные австрийские повара, усовершенствовавшие свое искусство во французской школе. Естественно, рестораны эти были запрещены, но даже офицеры лагерной охраны брали там обеды. Более того, они и своих приятелей привозили из Нима, потому что кормили у нас лучше, чем в городе.

Наши деловые люди находили скрытые источники и действительно раздобывали почти все, что им заказывали. Был среди них один ортодоксальный еврей. С вечера пятницы до конца субботы он никакими делами не занимался, но тем интенсивнее трудился в остальные дни. Он был честен, брал наценку на продукты в двадцать два процента, не больше и не меньше. Давал работу трем или четырем торговым посредникам, и два такси постоянно ездили туда и назад по его поручениям. За поразительно

низкие цены он раздобывал благороднейшие французские вина и, хотя Париж был закрыт, доставал книги именно тех изданий, какие хотел получить покупатель. Что же касается подтяжек, шнурков для ботинок, рюкзаков и прочего, то об этом и говорить не приходится. Он имел подход к каждому, знал, что кому требуется. Ко мне и господину Вольфу он относился с особой сердечностью.

Дезорганизация в лагере усиливалась, и его состояние становилось все фантастичнее. Если кто-нибудь воспроизвел бы наш лагерь в фильме или на сцене таким, каким он был, люди не поверили бы, сказали бы, что такое невозможно. По вечерам, с заходом солнца, палаточный городок принимал утрированно романтический вид. Белые стройные шатры, вписанные в чудесный, одухотворенный ландшафт, дым костров перед палатками, копошащиеся у костров люди в живописных лохмотьях. Музыка, пение, несущиеся из кафе и закусочных. Были здесь и кабаре, и игорные столы. И вокруг всего этого — ограда из колючей проволоки, и вонь, а внутри — подчас полицейская машина, доставившая в лагерь пойманных беглецов в наручниках.

Невероятными, как весь этот лагерь, были и отдельные судьбы, заботы и надежды каждого. Так, был среди нас человек, служивший некогда в Германии полицейским, ему не повезло, в одной из многочисленных стычек между нацистами и левыми он застрелил нациста. После обстоятельного расследования дела его оправдали. Но нацисты поклялись отомстить ему, и, когда они пришли к власти, он счел наиболее разумным — конечно, не без основания — бежать из Германии. Здесь, в лагере, его более всего мучил страх за судьбу жены, о которой он после своего помещения в лагерь ничего не знал. Теперь наконец, более чем через два месяца, он получил известие. Она бежала от наступающих нацистов, больная, без средств, и в конце концов, как и многие, в изнеможении осталась лежать на дороге. Наступающие немцы подобрали ее, хорошо с ней обращались и разрешили вернуться в Германию. После долгих сомнений, не видя другого выхода, она все же решила вернуться. Об этом она и сообщала мужу. Муж носил с собой письмо три дня, читал его каждому, независимо от того, хотел ли тот слушать или не хотел. На четвертый день бывший полицейский повесился. Вербку ему за три франка раздобыл один из торговых агентов.

Был другой человек, торговец картинами. Перед тем как отправиться в лагерь, он разослал по разным адресам свои наиболее ценные картины, сдал их в вокзальные камеры хранения, спрятав в чемоданах между стенками и подкладкой. Так ценнейшие холсты старых мастеров

отправились путешествовать по всей стране, оказались на разных железнодорожных станциях, но жене он ничего не смог сообщить об этом. Человек извелся, волнуясь за судьбу уникальных картин. Ведь только он один, имея на руках квитанции, мог спасти их.

Был здесь известный химик, профессор одного из германских университетов, оказавший в первую мировую войну своими изобретениями огромные услуги германскому командованию. Это был человек лет шестидесяти, невысокий, худощавый, подтянутый, он ходил обычно в невероятно засаленном теннисном костюме и носил монокль. У него были манеры и речевые обороты офицера времен кайзеровской Германии, он пользовался необычными словечками, говорил отрывистыми, скупыми предложениями в телеграфном стиле. Его постоянно окружало легкое облачко алкоголя, и любому встречному он предлагал что-нибудь выпить; чокался, держа свой локоть под прямым углом, при этом настойчиво глядел человеку в глаза, явно рассчитывая, что и тот при случае его угостит. Иногда вдруг его охватывала хандра; в таких случаях он говорил: «Не подходите сегодня ко мне, у меня хандра». Но обычно он открыто демонстрировал веселое, хорошо темпированное отчаяние и даже известное превосходство над положением, в котором он оказался. Однажды он доверительно сообщил мне, что в кармане теннисного костюма у него лежит цианистый калий, этот цианистый калий лучшего качества раздобыл ему французский коллега.

Многие из брейгелевской преисподней нашего лагеря много дали бы за то, чтобы иметь у себя в кармане яд.

Ибо среди этой пестрой и шумной ярмарочной сутолоки все громче звучало отчаянье. Многих мучила не только реальная опасность быть выданным по девятнадцатому параграфу, но и вынужденное безделье, явная бессмысленность нашего нахождения в этом лагере. Люди слонялись по лагерю и болтали всегда об одном и том же и ждали либо болезни, либо того, что их выдадут нацистам.

Если бы это длилось несколько дней, неделю, месяц, наконец. Но люди находились в таком состоянии месяцы и месяцы, и это не проходило без ущерба для их психики. Постоянно встречался кто-нибудь с мрачным лицом, нервно отмахивающийся от расспросов, или тихо бредущий и всхлипывающий, или громко рыдающий.

Хандра проявлялась и в других, более удивительных формах. Однажды глубокой темной ночью, когда я вышел по нужде за территорию лагеря, я услышал поблизости голос, монотонный, спокойный и в то же время ожесточенный: «И подумать только, что мои предки с тысяча

четыре-хсотого года жили в Ротенбурге-на-Таубе». Больше этот голос никогда не звучал, его владелец наверняка не думал, что кто-нибудь услышит его, а я так никогда и не узнал, кто это говорил.

Стояло лето, в полуденные часы было очень жарко. Но по утрам и ближе к вечеру очень приятно было совершать прогулки по живописным окрестностям. Я много гулял, иногда в обществе писателя Р., иногда с господином Вольфом, любившим неспешный шаг и неспешный разговор, иногда и с господином Коном, который мог ходить очень быстро. Вскоре Кон уже знал всех крестьян, живущих поблизости, он вступал с ними в разговоры, крестьяне приглашали нас выпить вина, и обычно с таких прогулок мы возвращались с маслом, яйцами, а то и с курицей, приобретенными за недорогую плату.

Гулять за пределами лагеря, естественно, запрещалось, и, пересекая дорогу, следовало соблюдать осторожность, чтобы нас не обнаружил патруль жандармов. Было что-то унижительное в том, как мы прятались в придорожной канаве, осторожно высовывали голову и потом, на виду у случайно проезжающего автомобилиста, смотрящего на тебя с опаской, бегом пересекали дорогу, с неподобающей поспешностью перелезали через какую-нибудь изгородь или проползали под ней. Но прогулки такого унижения стоили. Окрестности были привлекательны, пейзажи—где бы ты ни остановился—самые разные. Встречались старые крестьянские дома, обитаемые и необитаемые, кустарники и плоскогорья, плато, голубые, мягко очерченные горы, прекрасные виды на города Юсэ и Ним, быстрая речка, извивающаяся по долине, словно змейка, мосты, старинные монастыри.

Один из нас научился вырезать из крепкого тростника грубые узловатые палки, очень полезные в дальних прогулках. Мы ходили, бегали, лазали вокруг с этими удивительными тростями, полуголые, в рваных рубашках и залатанных штанах, в матерчатых или веревочных сандалиях. Мы охотно ходили бы в шортах или даже купальных трусах, но нам это не разрешалось, это было запрещено французской моралью.

Кроме вина, водки и жратвы, в лагере можно было получить и развлечения, причем сколько угодно и за небольшие деньги. Можно было найти партнера для любого вида карточной игры. Предприимчивые люди предоставляли в распоряжение желающих рулетку.

Азартные игры многими не одобрялись. Снова и снова люди собирались в группы, нападали на игорные столы, ломали рулетки, деньги конфисковывали, а банкомета и игроков избивали.

Было много музыкальных концертов. Два-три раза в неделю афиши на деревьях приглашали любителей послушать музыку на больших вечерах кабаре. Несколько сот людей собирались перед импровизированной сценой. То, что предлагалось, было в общем-то неплохо, но довольно вульгарно. Много лучше были программы, что от случая к случаю давались в небольших кафе или ресторанах.

Один такой ресторан или кафе представлял из себя хижину, сооруженную из нескольких древесных стволов и жердей и прикрытую свободно лежащими ветвями. Под этим навесом стояли два-три грубо сколоченных стола и несколько скамеек. Одновременно в этом импровизированном ресторане могла поместиться добрая дюжина посетителей. Когда в нем играли музыканты или пели, снаружи собиралось пятьдесят—шестьдесят слушателей.

Мне хорошо запомнился один вечер в таком ресторанчике. Я был там с писателем Р. и господином Вольфом. Кто-то из соседней палатки продал нам пойманную им в маленькой речке рыбу. Мы попросили приготовить ее, блюдо удалось. К рыбе нам подали легкого местного вина. После ужина начался вечер кабаре. Сначала играл очень хороший скрипач, вместо оркестра его игру сопровождал аккордеонист. Затем выступил поэт-куплетист, хорошо известный в Берлине. Нацисты сначала заключили его в концентрационный лагерь на севере Германии, затем перевели в Дахау, и там после тяжелой работы днем он должен был еще по вечерам развлекать их своим искусством. Теперь он декламировал и пел нам те остроумные, полные благородного гнева стихи и песни, которые в свое время в Берлине были его гордостью и силой.

У нас был еще один первоклассный артист венского кабаре. Мы часто просили его спеть «Болотных солдат», ту немудреную песню немецких лагерников, которую, однажды услышав, никто никогда не забудет, одну из самых горестных песен на свете. Мы подхватывали ее и пели вместе с ним. Затем он пел еще одну песню, сочиненную им здесь, в лагере Сан-Никола, колыбельную для ребенка, рожденного немецкой женщиной во Франции, в то время как ее муж сидит в концентрационном лагере. И эта песня, злая и горькая песня о французском гостеприимстве, была популярна среди нас, ее рефрен был очень легок, и с третьей строфы мы всегда дружно его подхватывали.

Так сидели мы, и слушали, и пели, и пили, и сквозь негнущуюся нехитрую крышу видели очень красную большую полную луну; а вокруг нас была вонь, и мелкое торгашество, и крики, и смех, и отчаянье, и болезни, и один покончил с собой на прошлой неделе, а другой — на этой.

Каждый день в лагере появлялись новые слухи касательно выдачи нас нацистам. Нацисты передали властям свои списки. Эти списки — на две тысячи человек. Нет, в списках только сорок фамилий. Нет, в списках вообще нет ни одной нашей фамилии, в них только фамилии членов нацистской партии, вышедших или выгнанных из нее. Слухам верили один час, один день.

Часто указывались достоверные источники, из которых эти слухи исходили. Это сообщение — из префектуры Нима, а то — из генерального штаба в Марселе. В некоторых случаях сообщения действительно поступали из этих источников, ведь во французских учреждениях еще сидели противники нацизма и иные из них время от времени сообщали нам то, что узнавали. Но то, что они узнавали, было ненадежно и противоречиво.

Некоторым из наших удалось добраться до Марселя и получить там, вопреки действующим инструкциям, разрешение на жительство. Но полиция не признавала эти документы и бесцеремонно хватала всех граждан из стран Центральной Европы, которых при частых облавах ей удавалось обнаружить. Обращение с захваченными людьми было скверным. Полиция не разрешала им брать с собой вещи, имущество задержанных почти всегда пропадало. Некоторые из находящихся в лагере пожилых иностранных легионеров выражали готовность раздобыть вещи, оставленные при подобных обстоятельствах в отеле или на частной квартире. Но владельцы этих вещей очень редко получали их назад. Если их не украли на месте, их нередко присваивал такой посредник.

Тем не менее очень многие из нас стремились попасть в Марсель. Большая часть тамошнего населения была к нам расположена, там были самоотверженные друзья. С их помощью можно было исчезнуть, раствориться в большом городе. И потом там было море, была гавань, единственно возможный способ покинуть Францию, выбраться за границу или на худой конец в одну из колоний.

И хотя многих беглецов ловили и доставляли обратно в лагерь, иным все же удавалось бежать, иные все же переплывали через океан. Рассказывалась история некоего В., который встретил в Марселе своего знакомого, молодого араба. Араб, служивший на алжирском парохо-

де, тайно провел его и еще одного человека на пароход, и теперь они уже в Касабланке, а может быть, и дальше. Известно это стало от человека, которому В. и араб предлагали ехать с ними. Но человек на это не решился. Теперь он рассказывал о счастье своего мужественного друга, рассказывал с раскаянием и завистью, а мы, тоже исполненные зависти и тоски, слушали его.

Дисциплины в лагере больше не было. В непосредственной близости от лагеря теперь безбоязненно появлялись жены, и мужья выходили к ним. Офицеры и солдаты охраны прогоняли женщин. «Вам нельзя оставаться здесь»,—заявляли они; «И мы бы не прочь переспать с нашими женушками,—говорили они грубо и добродушно и негромко добавляли:—Шли бы вы немного подальше, в лес, чтобы я вас не мог видеть». Один наш товарищ, Вайнберг, который в Ле-Миле расхаживал со своей собачкой, теперь почти каждый день встречался с женой-француженкой. Дружно уходили эти трое на прогулку, он—в своей грязной пижаме и в колпаке с кисточкой, она—опрятно и нарядно одетая, а рядом с ними—весело лающая, довольная собачонка.

На луговой опушке, где обычно мужья встречались с женами, я увидел однажды милую мадам Л. Она была с той француженкой, подругой берлинского адвоката, с которой я однажды пообедал в Нимс. Дамы сидели со своими мужчинами, не обращая внимания на мух и москитов, и завтракали. Мадам Л. за это время кое-что для меня сумела сделать. Она организовала поиск моей жены, написала письма во многие места. Ей удалось узнать, что госпожа Фейхтвангер одно время находилась в Гюре, была отпущена оттуда и вновь оказалась там. Теперь ее как будто вторично отпустили, и она находится на пути в Санари. В те времена поездки по Франции были делом сложным и долгим, может быть, для того, чтобы попасть наконец сюда или в наш Санари, моей жене понадобится еще не одна неделя.

Должен сказать здесь несколько слов в похвалу нашим женам. В эти тяжелые, страшные времена они достойно вынесли все выпавшие на их долю испытания. Правда, иной раз они жаловались, ругались, но ни истерик, ни безудержного плача, ни обмороков не было. Женщины—как немки, так и француженки—мужественно хранили верность своим мужьям, делали для них все, что было в их силах. Они обладали большей свободой передвижения, чем мы, мужчины, с ними обращались мягче, французы сохранили галантность даже в этой отчаянной ситуации. Хитростью, хорошим внешним видом, легким кокетством

они могли порой кое-чего добиться для нас. В подавляющем большинстве они не боялись трудностей и опасностей, связанных с поездкой в Ним. Они приезжали сюда со всех концов Франции, чтобы повидаться с нами; без документов или с документами, раздобытыми хитростью, пробирались они к самому палаточному городку.

Эротика играла в лагере чрезвычайно малую роль. Конечно, всюду рассказывались ужаснейшие непристойности, стены, бывало, пачкали примитивными похабными рисунками; однако того, что я ожидал, не было, люди, жившие в изоляции, не так уж сильно страдали от полового воздержания.

С другой стороны, обнаружилось, как крепки оказались почти во всех случаях связи между мужем и женой. Часто бывало, что муж или жена могли спастись в одиночку. Но очень немногие шли на это.

В нашем лагере увеличивалось количество больных, а здоровье всех остальных непрерывно ухудшалось. Врачи заявили, что госпитали в округе переполнены, опия и других медикаментов там нет. Они просто махнули на нас рукой.

Не желая оставаться в этом зловонном месте, многие солдаты дезертировали. В лагерь время от времени прибывала очередная санитарная комиссия, члены ее качали головой, давали указание обработать отхожие места хлором и отправить в госпиталь несколько десятков из нас. И это все, ничего более радикального. Постоянно от ста до двухсот человек болели дизентерией. Кто ею не страдал, тот с фатальным безразличием ждал своей очереди завтра или послезавтра.

Среди нас было много хороших врачей—некоторые с европейским именем. Доктор Л., муж мадам Л.—я уже писал об этом,—в первую мировую войну возглавлял медицинскую службу нескольких лагерей военнопленных, он считался крупным специалистом по санитарному обслуживанию лагерей. Он дал совет командованию лагеря, как при ничтожном количестве медикаментов можно избежать эпидемии. Комендант и французские врачи вежливо выслушали его и сказали, что, к сожалению, и малого количества медикаментов они достать не могут.

Хорошо хоть, что болезнь в нашем лагере протекала в относительно легкой форме. Смертельных случаев было немного. Обычно больного в первые дни очень сильно лихорадило, а потом лихорадка проходила. Начинался кровавый понос, и человека поражала очень сильная слабость. У больных был жалкий вид, истощение, они едва держались на ногах.

ТРЕТЬЯ НОЧЬ

Ко мне болезнь пришла так.

Пообедал я как будто здоровым человеком. После обеда погулял. День был пасмурный и душный, москиты, обычно появлявшиеся к вечеру, мучили нас сегодня с самого утра. После обеда мне пришлось несколько раз побывать в зоне особой вони, к вечеру я почувствовал слабость и тошноту. Тем не менее мы, господин Вольф и я, взяв у ортодокса-торговца бутылку очень хорошего вина, пригласили к ужину писателя Р., о котором знали, что качество этого вина он оценить сумеет. Я не хотел вести себя некомпанейски. Я еще не понимал, что болен, и сел с друзьями за стол. Но вскоре, однако, не выдержал и ушел в палатку.

Как обычно, зажгли вечерний костер от москитов, и дым, заполнивший всю палатку, стал мучить меня. Но держаться на ногах я более уже не мог, мне нужно было лечь, и я лег в дымной палатке. Пришел Карл, чтобы помочь мне приготовиться к ночи, мое состояние ему не понравилось. Он позвал одного из наших врачей, молодого австрийца, доктора Л. Тот сделал озабоченное лицо, дал мне лекарство, высказал опасение, что мы поздно спохватились.

Несмотря на дым и шум, я впал в тупое полузабытие. Я видел, как приходили мои товарищи, как они раздевались и укладывались спать. Лихорадило меня все сильнее и сильнее. Зеленые и красные марлевые сетки, которыми люди прикрывали лица от москитов, мерцающее освещение, почти полная багровая луна, брейгелевское хаотическое нагромождение вокруг, все смешалось, наплывая на меня. Смешались в моем сознании черты обоих канторов, бородатого и похожего на гнома, рыжего адвоката, старого церемонного судьи и доброжелательного полного господина Вольфа. Я жестоко страдал от лихорадки, от слабости, от шума вокруг.

Несмотря на слабость, мне приходилось подниматься, мой кишечник мучил меня, надо было выходить наружу, в остывающую влажную ночь. Я брел, шатаясь, через палаточный городок, к отхожему месту, присаживался, кал выходил с кровью. Потом я брел назад. Путь был труден, путь был долог. Когда же я попаду в свою палатку? Наконец я добирался, вползал, ложился, изнуренный, на свою солому.

Так лежал я, и мне было худо. Снаружи все еще доносился шум, а вокруг меня храпели, стонали, выпускали газы. Я не верил, что поправлюсь, я был на краю смерти, лихорадка смешала все мои мысли, я мечтал о смерти.

Вокруг меня танцевали различные картины. Танцевали — не то слово, они качались, колебались перед моими глазами, носились в беспорядочном полете, словно летучие мыши. Это и были летучие мыши. Нет, это были не летучие мыши, они вообще были нереальны, они были из Гойи.

Впрочем, мне было наплевать, действительно ли они существовали или, подобно кошмарам Гойи, были порождены больным воображением. Все это была дрянь, все было дерьмо. Все было жалким. Не только мое теперешнее состояние, не только моя беспомощность, не только тупая, никчемная жизнь в концентрационном лагере, не только вынужденная необходимость всегда быть на людях, не иметь возможности остаться одному, нет, вся жизнь, которую я до сих пор вел, все пятьдесят шесть лет, которые, пока я был здоров и в полном рассудке, представлялись мне хорошими и полными смысла, сейчас казались бессмысленными, пустыми, нечистыми.

Мне пришли на ум стихи из ночной молитвы, которые я ребенком многие годы, вечер за вечером, должен был повторять, заклинающие древнееврейские стихи, помогающие выстоять против ужаса ночи: «Смотри, вот лагерь Соломона. Три ряда героев стоят вокруг, три ряда героев Израиля. Каждый держит меч, они искусны в бою. У каждого меч у бедра, чтобы защитить царя от ужасов ночи». Я твердил эти стихи про себя. Они приходили, уходили, становились немецкими стихами: «Где скиталец беспокойный // Мир последний обретет? // В сени пальм долины знойной // Иль... у рейнских вод?»¹ Мне никак было не вспомнить, какие деревья, подвластные трохею, могли бы быть на Рейне: дуб, береза, бук? Ни одно из них не подходило.

Меня мучило, что я никак не могу найти подходящего дерева.

Я сказал себе: если найду дерево, найду нужное слово, тогда поправлюсь. Если не найду, тогда умру.

Я не нашел ни подходящего дерева, ни нужного слова и примирился с мыслью, что вот-вот умру. Мне казалось несправедливым, что я должен умереть именно здесь, в этом грязном лагере и среди такого множества людей, что судьбой мне даже не дано умереть в одиночестве.

Мне страстно хотелось оказаться в белой опрятной больничной палате. Я вспомнил свои прежние болезни, операции, которым подвергался, каким утешением во всех муках было сознание, что меня оберегают, что возле меня находятся опытные врачи, заботливая жена, вниматель-

¹ Перевод И. Елина.

ные медицинские сестры в белых халатах. Да, я тосковал так мучительно прежде всего по белизне, по чистоте.

Затем мне опять стало худо, и я вновь должен был выйти в сырую, жаркую, парную ночь. Много бы я дал за то, чтобы можно было тут же присесть и облегчиться, но этого я сделать не мог, это запрещалось. Застав такого нарушителя у палаток, его непременно избивали, даже больного; и правильно, очень велика была опасность заразиться. Мне надо было тащиться к отхожему месту. Путь туда был бесконечно долог, пять минут надо было идти до него, пять часов, пять лет. Качаясь на дрожащих ногах, все время останавливаясь, чтобы перевести дух, я шел этим путем. «Ложный шаг ведет к сортиру»,— твердил я про себя мрачно, упрямо. Наконец я уже на полпути от цели, вне зоны палаток, но до отхожего места еще далеко. Нет мочи идти дальше, я присел. И немедленно тучи moskitov облепили мои обнаженные ляжки. Сил отгонять их у меня не было. Покрытый потом, сидел я на корточках и наконец жалким образом свалился в нечистоты и кровь.

Я побрел назад. Палатки походили одна на другую. Храп и стоны неслись из каждой палатки, и москиты носились над каждой, и палатка 67 была здесь, и палатка 59, но где же палатка 54? Где же моя палатка?

И вот наконец я снова лежал и радовался близкой смерти. Жизнь прошла без пользы. Когда я был здоров и в полном рассудке, я частенько давал вовлечь себя в спор, имеет ли смысл писать книги. Чего добьешься своими книгами, что может книга изменить, что она делает лучше? Литераторы-нигилисты считали, что писание книг—это времяпрепровождение, как всякое другое пустое субъективное самоудовлетворение—как спорт, вино, разврат и прочее в таком духе. Я не желал соглашаться с этим. Я заявлял, что хорошая фраза, прочитанная и воспринятая в нужный час, может навсегда определить жизнь человека. Я действительно наблюдал такое на себе и на других. Теперь же, в эту горькую ночь, я забыл об этом и угрюмо соглашался с теми, кто считал дерьмом и бессмыслицей все писательство, и всю нашу жизнь, и все великое, что было до сих пор передумано и свершено.

Потом я впал в сентиментальность. Ах, если бы хоть еще раз увидеть эту женщину, или этого друга, или еще раз попасть в Прадо и посмотреть картины Веласкеса или Гойи. И почему я должен умирать именно сейчас, когда варвары вот-вот будут побеждены? И «Кармен» мне хотелось бы еще раз послушать в московском Большом театре. И будет вино, а нас на свете уже не будет, и будут милые девушки, а нас в живых уже не будет. Потом мне опять надо было выйти, и еще много раз в ту ночь я

должен был выходить и проделывать долгий мучительный путь в зону воня.

Эта ночь была в июле. Длилась она не семь часов. Для меня она длилась много лет.

Пришел Карл помочь мне одеться. Господин Вольф спросил, как я себя чувствую и что хотел бы поесть. Я ответил, что чувствую себя хуже некуда. В полумраке палатки друг друга было плохо видно. Они подошли ко мне поближе, наклонились надо мной и ужаснулись.

Пришел молодой врач, австриец, с ним — второй. Они озабоченно переглянулись, посоветовались друг с другом. Они знали, что творится во французских госпиталях. Даже в обычное время они избегали посылать своих больных туда, не говоря уж о нынешнем времени.

Наш лагерный госпиталь они считали учреждением, которое скорее способствует смерти, чем выздоровлению. Больные лежали в убогом, сыром помещении, мешая друг другу, заражая друг друга. Чтобы добраться до уборной, следовало спуститься по высокой крутой лестнице. Врачи считали, что всего лучше, если бы я мог остаться в палатке. Но как мне, такому ослабевшему, двадцать раз на дню совершать путь через палаточный городок к отхожему месту? Надо было бы в палатке поставить парашу. Карл, сменяясь с кем-нибудь, мог бы по необходимости освобождать ее.

Но потерпят ли такое другие обитатели палатки? Можно ли требовать от них этого? Врачи обратились к ним, и товарищи по палатке без колебаний дали свое согласие. Кроме того, они отдали часть своего водяного рациона, чтобы можно было содержать парашу в чистоте.

Мне не забыть жалкой и гротескной ситуации: вот поддерживаемый Карлом, слабый и несчастный, я сижу на корточках над парашей, а тучный господин Вольф, словно архангел, стоит на страже у входа в палатку и никого в нее не впускает. Вообще господин Вольф в эти дни оказался выше всяческих похвал. Он добывал — одному небу известно как — столь нужный мне опий, который французские врачи достать не могли. Он сунул меня в свой спальный мешок, чтобы я не мерз по ночам, сам же, оставшись без мешка, зяб. Моя болезнь дала мне не столь уж частую в моей жизни возможность почувствовать самоотверженную помощь и поддержку других людей. Родная мать не могла так меня выхаживать, как милый господин Вольф. И мой Карл, и молодой врач-австриец день и ночь окружали меня заботой.

Большую часть времени я лежал в тупой полудремоте. Мне снилась всякая бессмыслица, возможно, в этой

полудремоте я и болтал всякую бессмыслицу. Постоянно я выкапывал из глубин памяти всевозможные стихотворные строчки, стихотворения, драматические отрывки, которые должен был в свое время зубрить наизусть. Очень мучило меня то, что я никак не мог вспомнить, как называется то трохеическое дерево из стихотворения Гейне.

К полудню в палатке становилось ужасно жарко. Я едва ли замечал это, день и ночь меня лихорадило, все время был жар. Время от времени с разрешения господина Вольфа или врача кто-нибудь из друзей заглядывал ко мне, несколько минут сидел возле меня, говорил мне пару слов. Все пугал мой вид.

Есть мне почти ничего не давали — чай, опий, вино. Вскоре мне стало противно, что и в чай мне всегда прибавляют вино, голова и так отупела. Но на этом настаивали врачи.

На четвертый день жар спал. Тут я почувствовал крайнюю слабость и ощутил волчий голод. Но есть мне не разрешили, только на пятый день утром и вечером к чаю дали белый сухарик, и это было большой уступкой.

Потом я впервые выполз на солнышко возле палатки. Многие, проходя мимо, останавливались и выказывали мне свое участие. Все ужасались моему виду.

Был небольшой рецидив, потом дело пошло на поправку. Мне разрешили есть побольше, какао с сухариком, немного позже — яйцо и вино.

Выздоровливая, я всегда испытывал блаженство. И сейчас я с огромной радостью чувствовал, как возвращаются ко мне силы, жизнь, как я становлюсь хозяином своего тела. Когда я вновь смог немного ходить, когда оказался в состоянии выйти за пределы лагеря в зону воню, ощущение счастья во мне усилилось. Полной грудью дышал я чистым и вольным воздухом, наслаждался запахами леса и луга, видом гор и неба, чувствовал, что живу.

В один из последующих дней меня неожиданно вызвали в комендатуру. Редко случалось, чтобы к коменданту вызывали человека, не просящего с ним встречи. Взволнованный, я отправился к нему. Ожидая в мощенном камнем дворике, я спросил переводчика, какова причина моего вызова. Он знал лишь, что генеральный штаб запрашивал обо мне. Во мне проснулись надежды. Вероятно, усилия моих друзей увенчались успехом, вероятно, я, получив настоящее отпускное свидетельство, буду отправлен назад, в Санари, а может быть, даже получу визу в Америку.

«Вы вызывали меня, господин капитан?» — спросил я. «Да, — ответил он, — хотел убедиться, что вы еще находитесь в лагере. И я советую вам не покидать лагеря». Я был озадачен. Что имел он в виду? Что должно было это означать? Я попытался сформулировать вопрос, ответ на который позволил бы ему дать понять мне, чего он, собственно, от меня хочет. Но прежде чем я смог его спросить, он сказал: «C'est ça — это все, благодарю вас». Мне пришлось уйти.

Прекрасный день сразу поблек. Что таилось за странным предупреждением? Появились ли уже внушавшие страх списки? Потребовали ли немцы моей выдачи? Не означал ли совет не покидать лагеря совсем обратное? Я повторял и повторял наш короткий разговор, проверял фразу за фразой, каждое слово поворачивал так и эдак. Но понять, в чем был смысл моего вызова к коменданту, так и не мог. Я спрашивал у других их мнение. И они тоже ничего не могли понять. Подавленный ходил я по лагерю.

На следующий день, когда я бродил по лугу неподалеку от лагеря, я услышал, что меня ищут, зовут. Я поспешил на голоса. Увидев меня, мне крикнули: «Идите же, здесь ваша жена».

Я ускорил шаг, побежал. Поравнялся с первыми палатками, подошел к своей. Жена сидела на скамье под деревом, мои друзья окружали ее. Господин Вольф, господин Кон, другие. Увидев меня, она встала. Мы не виделись два месяца, получали друг о друге лишь неопределенные сведения. Теперь же шли друг другу навстречу, живые, здоровые. Она стояла, ее губы немного дрожали. Вот она, Марта, спортивная, красивая. Она была в простой юбке, простой блузке, ее волосы сильно поседели. Мое сердце рвалось ей навстречу.

Весь этот первый день мы были невероятно счастливы. Мы не были более арестантами, не были связаны тысячами запретов, над нами не висела угроза выдачи немцам, этот лагерь не шумел более, не был источником унижения, потому что в нем мы снова были вместе. Она, до крайности возбужденная, много смеялась и много плакала из того, что наши коммерсанты смогли нам предложить, в своем лагере и во время изнурительного пути она страшно изголодалась, похудела. И болтала она много, все перемешку, иной раз такое, что я с трудом ее понимал.

Появление Марты объяснило мне, что означал таинственный вызов коменданта лагеря. Не располагая точными данными о моем местонахождении, она наудачу отправилась в Ним и там обратилась к военным властям, чтобы разузнать обо мне. Один доброжелательный офицер связался с комендантом лагеря. Вызов к коменданту таким

образом был дружеским актом, он просто хотел предупредить меня, чтобы я оставался в лагере, так как могла появиться моя жена.

Марта не очень жаловалась, напротив, она уверяла, что ее жизнь в лагере не была такой уж тяжелой, ведь она физически хорошо тренирована. Но ее вид и нервозность уличали ее во лжи. Кроме того, ее ненасытный голод говорил совершенно другое. Всю свою жизнь она была очень умерена в еде; поэтому мне вдвойне горько и больно было видеть, как во время разговора она вновь и вновь с произвольной жадностью косилась на еду. Она привезла с собой овощи и шоколад, чем она особенно гордилась, и была едва ли не разочарована, когда убедилась, что этим сделала нам не такой уж большой подарок; то, что ей в городе удалось достать с невероятным трудом, мы имели здесь в изобилии.

Марта, как я уже упоминал, не жаловалась на то, что ей пришлось пережить, но как раз мелкие подробности жизни женского лагеря в Гюре, о которых она говорила, надрывали сердце. Так, например, в лагерь доставляли женщин на последних месяцах беременности, и они там рожали. В Гюре, как и в большинстве французских лагерей, не хватало воды, и там, где рождался ребенок, многие женщины отказывались от большей части своего дневного рациона воды в пользу роженицы.

Похоже, что уборные у них были такие же, как и у нас. Почва Гюра глинистая, и, когда шел дождь — а в Пиренеях дожди идут часто, — лагерь превращался в сплошное болото. Иные женщины просто не могли без посторонней помощи выбраться из грязи, подчас они теряли там свою обувь.

Количество женщин, интернированных в Гюре, колебалось, доходя до десяти тысяч. Без особых раздумий посылали в лагерь всех женщин, которые когда-то и где-то были связаны с людьми из стран Центральной Европы (только департамент, в котором находился Ним, являлся в этом отношении приятным исключением). Так, интернировали мою секретаршу, хотя она была подданной Швейцарии, и ее сестру, хотя та была англичанкой. Изолировали даже французенок, матерей французских солдат, если эти женщины родились в Германии или были замужем за немцем, живущим во Франции. Все очевиднее становилось, что в этом мероприятии с самого начала руководствовались не какими-то разумными соображениями, имеющими военный смысл, но единственно ненавистью тайных французских поклонников Гитлера к немецким антифашистам. Как бесстыдно далеко решались зайти французские фашисты, я понял, когда несколько недель спустя в вечерней марсельской газете «*Le soleil*» прочел

персидовицу с безобидным заголовком «Почтовые трудности между оккупированной и неоккупированной зонами»; в ней выдвигалось пожелание, чтобы нацисты оккупировали пока еще свободные, не занятые ими части Франции.

Не думаю, чтобы Марта и я в течение этих четырех дней, когда она могла проводить со мной по несколько часов, хоть раз ругали французские власти за те, мягко выражаясь, преступно легкомысленные мероприятия, из-за которых мы оказались в таком тяжком положении. Мы оба давно поняли, что глупость и душевное безразличие человека следует принимать как неизбежное зло и говорить об этом — пустое дело.

Но, оказавшись в Ниме, Марта делала все, чтобы помочь мне. Она не переставала насаждать на соответствующих гражданских и военных чиновников, добиваясь, чтобы они освободили меня. Встречали ее вежливо и доброжелательно. По мне еще было заметно, что я не до конца оправился от тяжелой болезни. Марта очень тревожилась из-за моего вида, она сумела передать свою озабоченность и тем, к кому обращалась. Один офицер предложил идею. Он считал, что из лагеря меня просто отпустить не смогут, так как мое освобождение явилось бы нежелательным прецедентом. Если же меня перевести в госпиталь, то там, не привлекая особого внимания, я смог бы получить отпускные документы на неопределенное время для дальнейшего самостоятельного излечения.

Несколько дней спустя меня вызвали к лагерному врачу. Врач, это был новый человек в лагере, спросил меня: «Как вы себя чувствуете?» Рассказ Марты о плане офицера я слушал лишь краем уха и давно позабыл, я не придавал уже значения утешительным речам французских инстанций и понятия не имел, чего, собственно, этот врач, так неожиданно меня вызвавший, от меня хочет. Я подумал, что кто-нибудь сказал ему о плохом состоянии моего здоровья и он решил упрятать меня в ужасный больничный барак. Поэтому я ответил: «Я чувствую себя достаточно хорошо». Врач велел мне приспустить штаны, помял живот и спросил: «Больно?» Я старательно ответил: «Нет». Он пробормотал: «Ну, ну, тогда все в порядке. Одевайтесь. Благодарю вас». И я ушел. Ни он, ни я понятия не имели о хитроумном плане генерального штаба, и попытка находчивого офицера выпустить меня из лагеря не удалась.

Лагерные власти разрешили нам купаться в речке. И вот в эти жаркие дни каждый полдень к речке спускались сотни две людей. Идти надо было добрый час. Сержант и несколько солдат должны были идти с нами, но они

никакого внимания на нас не обращали, им было о чем поговорить друг с другом.

Речка, я не помню, как она называлась, Легар или Легардо, вьется здесь по глубокой долине. На том небольшом участке, где мы купались, она была очень разной, текла то быстро, то настолько неторопливо, что казалось—плаваешь в пруду с неподвижной водой; и берег то высокий, обрывистый, то пологий, поросший травой или даже лесистый. Вода была зеленая и прозрачная, а глубина—разная: то пять-шесть метров, то совершенное мелководье.

Тому, кто видел эти две-три сотни человек, людей самого разного возраста, возящихся в воде или загорающих на солнце, смеющихся, болтающих, гоняющихся друг за другом, плавающих, ныряющих, показывающих свое искусство, тому трудно было бы поверить, что это заключенные, лагерники, что многие из них живут в состоянии полной неопределенности, под вечным страхом смерти. Особенно для моего Карла это купание было счастливым часом. Он был страстный, превосходный пловец и ныряльщик, мог достать каждую монетку, брошенную в воду, даже если она попала под корягу или под камень. И мне эти часы купания доставляли огромное наслаждение. Правда, обратный путь частенько бывал для меня утомителен, но, устав, я лучше спал ночью.

В стране господствовала анархия. Никто толком не знал, кому предоставлено право отдавать приказы. Префекты, те, которые не сразу были сменены, полагали, что в ближайшее время их могут погнать с занимаемых должностей, и поэтому старались избегать решительных действий. Указания, поступавшие от так называемого центрального правительства, были недостаточны. Большинство населения, в том числе и многие государственные служащие, ненавидели профашистски настроенное правительство; его обвиняли в том, что оно несет основную вину за поражение и сотрудничает с нацистами. Во всех учреждениях сидели враги нового правительства, саботировавшие его указания, а новые чиновники, посаженные на свои места его властью, чувствовали себя не больно-то уютно. Преемственность в управлении состояла лишь в том, что вновь посаженные на свои должности и плохо оплачиваемые чиновники так же охотно брали взятки, как и прежние.

В газетах публиковались грозные предупреждения солдатам, запрещающие им самовольный уход из армии. Лица, не имеющие надлежащим образом оформленного документа о демобилизации, не смогут поступить на

работу. И тем не менее, несмотря на эти предостережения, многие солдаты уходили домой. Те, кто оставался, вел себя как хотел. Это относилось и к солдатам нашей охраны. Для ее усиления в лагерь прислали подразделение жандармов. Это были самые надежные силы, которыми располагала страна. Но едва жандармы увидели, что в нашем Сан-Никола для них нет даже кроватей и что здесь нетрудно подцепить дизентерию, они просто-напросто ушли.

Офицеры не скрывали, что считают обязанность охранять нас обременительной и едва ли не столь же унижительной для них, как и для нас. Они чувствовали себя штатскими, форма для них была просто одеждой. Один из них, банкир, ходил по палаткам, спрашивал, кто продает доллары, обещал моему Карлу комиссионные, если тот сведет его с людьми, желающими продать доллары.

И хотя колючая проволока все еще окружала лагерь, а солдаты охраны стояли у его ворот и ходили вдоль ограждения, никого из нас это уже не беспокоило. Наши жены и дети посещали нас в самом лагере, в палатках. Прошли времена, когда они держались по ту сторону проволоки, боязливо подыскивая места, где солдаты или жандармы их не увидят. Теперь они безбоязненно проходили в лагерь и проводили там дни, а иногда и ночи.

При сложившихся обстоятельствах было бы очень просто покинуть лагерь и устроиться жить где-нибудь в неоккупированной Франции, в гораздо более приятных условиях. Но мы хотели не этого, мы стремились уехать из Франции. Ибо нынешняя Франция стала единой огромной тюрьмой, а ее тюремщики — нацисты — были нашими злейшими врагами. Для того чтобы попытаться уехать из Франции, надо было иметь надлежащие документы. Если солдатам было неразумно покидать свои подразделения без отпускных удостоверений, то еще менее разумно было бы нам нелегально покинуть лагерь. Ведь тот, кто был не «en règle»¹, мог, правда, на несколько дней или недель обеспечить себе несравненно более комфортабельную жизнь, но лишал себя перспективы когда-либо уехать из враждебной Европы. Без документов было просто невозможно вырваться из враждебной Франции, проехать через враждебную Испанию и относительно лояльную Португалию и оттуда — в бюрократически придирчивую к документам заоксанскую страну.

И вот мы вновь и вновь осаждали инстанции с просьбами, с требованиями — наконец отпустить нас. Мы забрасывали телеграммами всех, кого считали способными помочь нам, и прежде всего крупные американские благо-

¹ В порядке, согласно требованиям закона (фр.).

творительные организации. Едва до нас доносился слух, что в страну прибыла делегация Красного Креста, или унитариев, или квакеров, сердца наши начинали учащенно биться, и мы искали всяческие пути связаться с ними.

Вблизи нашего лагеря располагался концентрационный лагерь для итальянцев. Некоторые из них посещали нас, чаще всего они приходили к нам на наши концерты. Теперь этот лагерь расформировали; тем, кто находился там, дали документы, позволявшие им жить во Франции. Это усилило нашу нервозность. Когда, когда же наконец отпустят нас?

Французские власти успокаивали нас. Роспуск лагеря — вопрос нескольких дней, в крайнем случае — месяца. Правительство, говорили они, решило отпустить в первую очередь тех, у кого есть постоянное место жительства и кто может содержать себя сам. Вновь составлялись списки, мы писали и телеграфировали во все концы, чтобы получить доказательства, подтверждающие, что мы имеем имущество, регулярные доходы, постоянное местожительство.

Тому или другому лагернику, обычно фабриканту или коммерсанту, теперь стали давать отпуск на три-четыре дня, чтобы тот мог следить за своими делами. Один из отпущенных вернулся однажды из такого отпуска радостно возбужденным. Он был на приеме у министра. Тот заверил его, что в течение ближайших двух недель нас всех отпустят. Мы верили и не верили. Человек, беседовавший с министром, заключил пари. Была лунная ночь, и он заключил пари: пять против одного — что в следующее полнолуние и десять против одного — что через одно полнолуние мы в лагере уже находиться не будем. Свои пари он проиграл.

Однажды пополудни возник слух: поступило якобы категорическое распоряжение правительства Виши. Из лагеря в течение четырнадцати дней будут отпущены все, причем уже завтра — иностранные legionеры. Сообщение исходило из канцелярии лагеря, сведения эти представлялись абсолютно надежными.

Легионеры поверили. Они стали собирать свои пожитки и вечером, то есть накануне своего освобождения, организовали большую пьянку. Они напились до чертиков, шумели больше, чем обычно. Горланили французские непристойные и патриотические песни вперемежку. Жители Саара решили, что сразу после иностранных legionеров отпустят их, и они также организовали пьянку. В лагере сочинили нечто вроде гимна, песню, полную сентиментальной любви к родине и похабщины. Legionеры и жители Саара пытались переорать друг друга. Затем они

стали ссориться, и началась драка, ночь была очень беспокойная.

Никого не отпустили, ни иностранных легионеров, ни саарцев.

Кого не пугали длительные прогулки, тот доходил до хорошего сельского ресторанчика, сохранившего лучшие традиции французской кухни. Это было примерно в семи милях от лагеря; рядом с ресторанчиком имелись прекрасные места для купания. Если предупредить хозяина накануне, можно было быть уверенным, что ты получишь со вкусом и тщанием приготовленный для тебя обед.

В конце июня господин Вольф и я решили выбраться туда. С нами пошли брат господина Вольфа с сыном, писатель Р. и еще один наш общий друг. Мы предполагали отправиться в десять часов, не спеша, за пару часов по прекрасной дороге дойти до места, искупаться, пообедать в ресторане, отдохнуть на лужке и затем потихоньку вернуться назад.

Так как день был жаркий, а к месту купания предстояло спускаться по крутому склону, я решил одеться соответствующим образом. Я надел только тонкую поношенную рубашку с короткими рукавами, старые светлые штаны и сандалеты на толстой резиновой подошве. Штаны были ношены-переносены, с дырами. Портной из соседней палатки на скорую руку поставил на них пару заплат.

И вот мы отправились в путь. Сначала мы поднялись на холм, прошли по его гребню высоко над рекой, затем вышли на каменистую тропу, проходящую через рощу чахлых дубов, спустились в красивую долину, вновь поднялись на второй гребень. Затем наконец, полюбовавшись на высокий мост и живописный монастырь, спустились по крутому откосу к речке.

Мы искупались и лежали в траве. Потом пошли в ресторан. Хозяин услужливо показал нам составленное им для нас меню, мы его одобрили. Сначала нам предложили разнообразные закуски, затем замечательное рыбное блюдо, к нему легкое эльзасское вино, потом была цесарка с салатом и картофелем, к ней — приличное бургундское, затем последовало сладкое и к нему крепкое алжирское вино, фрукты и хорошо подобранные сыры. Завершилось все кофе и старым коньяком. За столом говорили о политике, о литературе, о французской кухне. Хозяин высказал кое-какие политические соображения, несравненно более разумные, чем те, которые постоянно высказывали авторитетнейшие французские политики. За коньяк хозяин денег не взял, сказав, что он нас угощает.

После обеда мы отяжелели и устали и, как было задумано, пошли на лужок за домом. Там мы улеглись, правда, лежать было жестковато. Но это был чудесный лужок, покрытый мягкой узорчатой тенью, и там не было никакой вони.

Спал я плохо. Впервые за последние месяцы я съел больше, чем нужно было для утоления голода, и, кроме того, прилично выпил. От вина у меня заболела голова. Я быстро проснулся, смотрел сквозь редкую листву на горячее, подернутое маревом небо, на своих спящих товарищей. Особенно долго я рассматривал крупное, багрово-красное, умное, одухотворенное и несколько отечное от вина, лицо писателя Р. Я не знал, что смотрю на него в последний раз.

Вскоре проснулся и господин Вольф. Он подал мне знак, и мы тихо, чтобы не разбудить остальных, поднялись. Племянник Вольфа присоединился к нам, он не спал. После тяжелой еды нам захотелось поразмяться, мы выпили еще по чашке кофе, попросили хозяина сказать оставшимся, что уходим, и отправились в обратный путь.

Мы пошли более легкой и ровной, хотя и несколько более длинной, дорогой — по шоссе. Движение там было небольшое, пыли мало, на отдельных участках пути нежала тень. Шли мы медленно. Сначала я болтал с господином Вольфом, потом мы замолчали. Моя головная боль усилилась, я устал, дорога тянулась бесконечно, я мечтал лишь о том, чтобы скорее попасть «домой», в лагерь, улечься на свою солому. Сколько еще предстояло нам идти? Там, вдали, от дороги отделялась тропа, она вела к тому месту, куда мы ходили из лагеря купаться. Значит, две трети пути уже пройдено.

И вот примерно в пятидесяти метрах от развилки я увидел идущую мне навстречу мадам Л., очевидно, она поджидала меня. «Я узнала, — сказала она торопливо, — что вы пошли купаться, и ждала вас. Я принесла вам известие от вашей жены», — пояснила она и передала мне письмо. Я был ошеломлен, не мог понять, чем вызвана такая неожиданная встреча. «Благодарю вас», — сказал я и взял письмо. «Читайте, — настаивала она, — прочтите сразу же».

Я вскрыл конверт, прочел. «Делай что тебе скажут, — писала Марта по-французски, — не раздумывай, все очень надежно и серьезно». Я прочел, прочел еще раз, прочел в третий раз, вопросительно посмотрел на мадам Л.

Она показала на большой автомобиль, стоящий неподалеку на обочине дороги. И вот из него уже кто-то вылезает, это хорошо знакомый мне молодой человек. Удивительная встреча на этом шоссе, в этот час. Он

элегантно одет, я помню до сих пор все детали его белого костюма и летних перчаток.

«Прошу вас,—сказал он по-английски,—не спрашивайте меня ни о чем, не медлите, я все объясню вам в пути». Я посмотрел на него, посмотрел на себя, на свою старую рубашку с короткими рукавами, на ношенные-переношенные рваные штаны с заплатами, на грубые сандалеты с резиновыми подошвами. Он настойчиво повторял: «Садитесь же наконец! В машине есть плащ». Господин Вольф ждал в сторонке, я видел его лукавое, доброжелательное лицо, видел, как напряженно работала его мысль и как он пытался объяснить происходящее. Я быстро пожал ему руку. «Прощайте,—сказал я,—еще раз благодарю вас за все, передайте, пожалуйста, Карлу пару сотен франков, а все, что у меня есть в лагере, пошлите в Санари».

Потом я сел в машину вместе с мадам Л. Действительно, в машине было легкое дамское пальто, я накинул его на себя, на нем был ярлык какой-то английской фирмы. Были для меня приготовлены также темные очки и какая-то пестрая шаль. «Наденьте все скорее»,—сказал мне, трогаясь с места, элегантный молодой человек. Я подчинился и стал похож на пожилую англичанку, и так мы ехали, удаляясь от лагеря, ехали очень быстро, в прекрасной комфортабельной машине, ехали прочь из владений черта во Франции.

САДЫ МАРСЕЛЯ

И услышал голос Господа Бога,
ходящего в рай во время прохлады дня.

Я написал эту четвертую часть книги, но опубликовать ее пока не могу. Люди, о которых я сообщил в ней, еще не в безопасности, и, если станет известно, чем они тогда занимались, это может повредить и им, и их делу.

Мне очень жаль, что я не могу опубликовать заключение моей книги. Ибо если в предыдущих трех частях ее я говорил о малодушии, о многих проявлениях трусости, душевной слабости, низости, то в этой четвертой части я смог бы несравненно больше рассказать о мужестве и самопожертвовании.

Есть пять человек, которым я особенно обязан. Не будь их, мне трудно было бы преодолеть те опасности и тяжкие испытания, которые выпали на мою долю в этой преисподней халатности и небрежности, в которую превратилась прекрасная Франция. Двух из этих пяти че-

ловек я назову. Это Б.-В. Хюбш и Уэйтстил Хастингс Шарп.

Я стою на пороге старости. Страсти мои уже не так сильны, как прежде, слабее становятся вспышки гнева, слабее — энтузиазм. Бога я встречал во многих облициях, черта — тоже. Моя радость при встрече с Богом, однако, не уменьшилась, страх перед чертом тоже сохранился. Мне пришлось узнать, что глупость и злоба человеческая опаснее и глубже, чем все семь океанов. Но мне довелось узнать также, что защитная дамба, воздвигаемая меньшинством, состоящим из добрых и мудрых людей, день ото дня становится прочнее и выше.

1

ДОМ ДЕЗДЕМОНЫ, ИЛИ МОЩЬ И ГРАНИЦЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Перевод
Е. МАРКОВИЧ

**DAS HAUS DER DESDEMONA
ODER
GRÖSSE UND GRENZEN
DER HISTORISCHEN DICHTUNG**

1961

1,

ВВЕДЕНИЕ

I

В Новом завете рассказывается, как тетрарх Ирод повелел заключить в темницу пророка Иоанна Крестителя за то, что тот обличал греховность его брака с Иродиадой. Но Ирод не решается подвергнуть его казни, так как народ любит Иоанна и почитает его за пророка. Затем дочь Иродиады угождает правителю пляской, и тот клянется дать ей всё, чего она ни пожелает. Она, по наущению своей матери, требует, чтобы ей принесли на блюде голову Иоанна. Ирод хоть и опечалился этой просьбе, но клятву свою сдержал: он приказал отсечь Иоанну голову.

Так впечатляюще рассказывает о том евангелист Матфей, а еще красочней — Марк, и эта история, записанная около восьмидесятого года нашей эры, на протяжении веков волнует людей. Бесчисленные художники изображали пляшущую Саломею — так, согласно свидетельству Иосифа Флавия, мы называем дочь Иродиады — либо Саломею с головой Иоанна Крестителя на блюде; многочисленные писатели и поэты каждый раз заново воссоздавали эту историю в своих книгах или на сцене, а великие музыканты перекладывали ее на музыку. Саломея и Креститель — это библейские персонажи, которые наиболее глубоко запечатлелись в людской памяти.

Однако того, что рассказывает о них Библия, не могло быть на самом деле — так утверждает историческая наука, — или же всё должно было выглядеть совершенно иначе. Реальный Ирод Антипа был серьезным правителем, он неплохо проявил себя в трудные времена и способствовал экономическому и политическому укреплению своей страны. Трудно поверить, чтобы, потакая любовной прихоти, он отдал приказ, столь опасный для его политики; к тому же Саломея во время ее танца было, согласно Евангелию, всего десять лет от роду, она была «малолеткой», девчушкой; в более поздних исторических документах она упоминается как достойная супруга мелкого князька. Сама же распутная и кровожадная Иродиада из

евангельской легенды, по данным историков, была весьма добропорядочной женой, которая последовала за своим мужем Иродом в ссылку; она отправилась с ним в земли франков, хотя император Калигула разрешил ей остаться на родине и сохранить все ее поместья. Кроме Евангелия, история с Саломеей упоминается только у Иосифа, но это сообщение там настолько фрагментарно и инородно по стилю, что такой добросовестный историк, как Генрих Гретц, без колебаний объявляет его «бессовестной интерполяцией» <позднейшей вставкой>¹. Большинство исследователей Библии сходятся в том, что авторы Евангелий, рассказывая эту неслыханную, ужасающую и в основном выдуманную историю, хотели подчеркнуть противоположность между благочестивым пророком и греховными нравами при дворе Ирода. Одно несомненно: эти люди, Иоанн и Саломея, продолжающие жить в людской памяти по прошествии девятнадцати веков, в исторической действительности никогда не существовали.

Самым известным героем швейцарской истории является Вильгельм Телль. Большинство туристов, посещающих Швейцарию, непременно осматривают городок Альтдорф, где 18 ноября 1307 года он якобы сбил стрелой яблоко с головы своего сына и где ему поставлен памятник; затем они посещают место, где он смело выпрыгнул из лодки во время бури, ускользнув от ландфогта, и то ущелье близ Кюснахта, где он смертельно поразил ландфогта своей отмстительной стрелой. Туристы поднимаются также на Рютли, где Телль и другие противники тирании торжественно принесли клятву и заключили союз. Тысячи стихов и песен прославляют доблестного героя с луком и колчаном, сотни тысяч зрителей видели его на сцене в опере Россини, миллионы — в известнейшей драме Шиллера.

Так вот, на самом деле Вильгельм Телль никогда не сбивал яблока с головы своего сына, никогда вместе с соратниками не давал клятву на Рютли и вообще никакие смелые мужи не собирались на швейцарском горном лугу, чтобы принести клятву и заключить союз. Телль не осуществил свою месть и не поразил стрелой ландфогта. Никакого Телля вообще не существовало. Швейцарский историк Йозеф Копп доказал неопровержимо, что все рассказы о Телле и о клятве на Рютли опровергаются источниками того времени. Великий хронист Эгидий Чуди в середине шестнадцатого столетия впервые объединил

¹ В угловых скобках помещены редакционные дополнения и разъяснения из первого издания оригинала.

легенды о Телле и о клятве на вершине горы в один связный рассказ, который мы теперь знаем, а историк Иоганн Мюллер в конце восемнадцатого века включил его, хотя сам едва ли в него верил, в свою превосходно написанную «Историю швейцарских кантонов» — «со всей требухой и со всем враньем», и это именно он определил Рютли как место, где была принесена клятва. Удивительно читать, как древняя датская легенда о стрелке Токо, которую пересказывает в двенадцатом веке Саксон Грамматик, обратилась в народную песню о Телле, затем была включена в историческую хронику, и, в конце концов, дело дошло до того, что скандинавский полубог в образе национального героя восстал на цоколе собственного памятника в Альтдорфе.

Самый известный, а вероятно, единственно известный, эпизод из истории венецианского правления на Кипре — это рассказ об убийстве, совершенном мавром Отелло, губернатором острова; в припадке слепой ревности он задушил свою невинную супругу Дездемону. Из исторических источников известно только, что в 1508 году некий Кристофоро Моро, правитель Кипра, возвратился после смерти своей жены в Венецию. Этот Кристофоро Моро вовсе не был мавром, он всего лишь принадлежал к семейству Моро¹. Фамилия этого семейства произошла от названия местности Мореа, весьма обычного для Пелопоннеса, откуда они были родом; на гербе семейства изображены три шелковичные ягоды — мори. Все, что рассказывается о «мавре Отелло», почерпнуто из новеллы Джиральди Чинтио «Венецианский мавр». Из этой новеллы заимствовал сюжет своей трагедии и Шекспир. После того как трагедия его стала знаменитой, в Венеции начали показывать дворец семейства Моро, называя его «домом Отелло». В 1844 году немецкий художник Фридрих Нерлих запечатлел этот дом, а рядом с ним небольшой особнячок в два окошка, который он шуточки ради назвал «домом Дездемоны». С той поры особнячок стал считаться «домом Дездемоны», и когда художник захотел разъяснить недоразумение, его попросту поколотили.

2

Зачем я столь обстоятельно рассказываю об этих случаях, или, вернее, «не-случаях», — а таких в ходе нашего разговора я приведу еще много? Дело в том, что

¹ Слово «мавр» по-немецки звучит «мор» (Mohr).

они теснейшим образом связаны с темой моей книги. События, которых вовсе не было, или они происходили совсем не так, как об этом рассказывают, составляют существенную часть того, что принято называть «историей»; в них верят, и они живут в памяти людей упорнее, чем серьезно документированные наукой факты. Почему это так и почему историческая «поэзия» живет, чем историческая «правда», — об этом я и хочу поговорить с вами в своей книге.

Я отчетливо помню, как сильно волновали меня в мальчишеские годы исторические сочинения. Я безоговорочно верил в различные выдуманные события и был глубоко несчастлив, когда мне последовательно доказывали, что ничего такого не было и не могло быть. В глубине сердца я верю в них еще и сегодня, хотя мой разум без обиняков говорит, что все это фантазии и химеры.

С многими людьми, даже с большинством, дело обстоит точно так же. Они неохотно принимают к сведению, что полюбившиеся им истории противоречат подлинным фактам. Так уж повелось, что факты кажутся несостоятельными в сравнении с этими живыми и животворящими художественными вымыслами.

Дело в том, что все происходящее в действительности быстро смешивается в памяти очевидцев и в рассказах современников с порождениями фантазии. Человек не может жить не сочиняя. Потомки добавляют в эти рассказы свои собственные домыслы, пока скудные факты, которые, вероятно, еще фигурировали в первоначальном свидетельстве, не исчезают окончательно в дебрях выдумок и легенд.

Так, к примеру, основательная, доброжелательная и проникательная научная критика Библии извлекла из ранней истории еврейских кочевых племен многочисленные факты, которые плохо согласуются с рассказами библейских авторов или же просто полностью их опровергают. Но все наши знания о кочевых племенах хапиру, которые в голодные времена спасались на территории Египта, никогда не изгонят из нашей памяти легенду об Иосифе и его братьях. И все достоверные сведения об идолах древнего Израиля и об их постепенной трансформации в единого одухотворенного бога Ягве никогда не вытеснят легенду о Моисее, о его восхождении на гору Синай и о принесенных им оттуда скрижалях с десятью заповедями.

Сходным образом обстоит дело и с нашими представлениями о Троянской войне. Дотошные филологические исследования, методически ведущиеся раскопки, остроумные конъектуры позволяют нам во всех подробностях воссоздать картину наступления ахейских варваров на

цивилизированные города-государства Малой Азии; мы можем смело утверждать, что знаем о гибели города Трои больше, чем сочинители киклических поэм и певцы «Илиады». Но наши знания о том, что на месте Трои существовали последовательно семь городов, один — на развалинах другого, пребывают сухими и мертвыми, а поэтические вымыслы о похищении Елены Прекрасной, о гневе Ахилла или о греческих героях, укрывавшихся в чреве Троянского коня, продолжают жить. «Отталкивающая сухость антикварного исследования», «the repulsive dryness of mere antiquity» — так выражался Вальтер Скотт, говоря о точной науке археологии, которая не может тягаться с живой фантазией творцов.

3

Во все времена существовали сомнения в надежности исторического знания. Пфальц-графиня Лизелотта, герцогиня Орлеанская, прочитала как-то исторический труд о Людовике XVI, при дворе которого она жила. В письме приятельнице она говорит: «Ежели такую ложь рассказывают про то, что мы видели сами, то как же можно верить сообщениям о событиях далекого прошлого? Я нахожу, что все исторические книги, за исключением святого Писания, так же лживы, как и любой роман, с той лишь разницей, что романы читать интереснее».

Из множества подобных суждений приведу наудачу еще несколько. «Не так уж удивительно,—говорит Дэвид Юм,—что историки лгут; это свойственно людям во все времена». Вольтер заявляет: «История состоит из обычных выдумок», а утверждение Бёрне таково: «История народов и государств принесла некоторую прибыль историческим сочинителям и торговцам, но какая от нее еще польза, я не знаю». У Шопенгауэра мы находим: «Муза истории Клио вся насквозь поражена ложью, как уличная девка — сифилисом». А Генри Форд подводит итог грубовато, лаконично и гневно: «History is bunk» — «История — это болтовня».

Девятнадцатый век, век развития точных наук, постарался сделать и историю «серьезной наукой». Историки того времени подвергли тщательной проверке все дошедшие до нас свидетельства; они исследовали руины и древние надписи, сопоставляя их с сообщениями хронистов; они уточняли принадлежность самих хронистов к тем или иным партиям или философским школам, чтобы определить, насколько тенденциозными могут быть их сообщения; они развили методы скрупулезного критического анализа источников и полагали, что таким образом

смогут наконец-то представить точную картину прошлого. Подобно тому, как Лессинг, начитавшись Шефтсбери, воскликнул, ликуя, что теперь-то наконец есть надежный способ установить, что прекрасно, а что — нет, так и эти ученые поверили, что могут воссоздать прошлое во всей его неопровержимой достоверности и правде. «Историзм» — таков был девиз этой ученой школы, и наиболее знаменитый ее представитель, Иоганнес Ранке, с гордостью заявлял: «Я хочу вам показать, как это было на самом деле».

Ученые эти с презрением, сверху вниз, взирали на древних рапсодов и древних историков, которые передавали потомкам непроверенные небылицы. Так, в 1878 году профессор Генрих Вельцхофер пишет о своем труде, посвященном Фукидиду: «Если почти каждое событие вышло из рук Гомера совсем в иной форме, чем он его воспринял, то причина лишь в том, что он не был способен закрепить и использовать исторический материал, короче, он не был настоящим историком».

Конечно, самых крупных представителей «исторической школы» нельзя отождествлять с этим ученым педантом. Но даже и они, Нибур, Ранке, Лампрехт, Моммзен, Бэри и Фюстель де Куланж, искренне верили, что ход исторических событий можно исследовать с такой же точностью, как физические и химические процессы.

Конечно, с момента возникновения «историзм» имел противников, которые в нем сомневались и над ним иронизировали. Уже в 1819 году Ричард Уотли в своей блестящей книге высмеивал «higher criticism» <примерно: высшую критичность> этих ученых скептиков. Применяя их собственные методы, но прежде всего критерии из сочинения Лапласа «*Essai philosophique sur la probabilité*» — «Опыт философии теории вероятностей», он с убийственной иронией доказывал, что все события вокруг Наполеона и сама эта фигура весьма сомнительны, неточны и могут быть отнесены к легендам. Во второй половине века Фридрих Ницше в великолепных «несвоевременных размышлениях» «О пользе и вреде истории для жизни» со всем пылом нападает на «историзм». Якоб Буркхардт уже на склоне лет писал: «История для меня все еще поэзия». И даже один из крупнейших авторитетов самой «исторической школы», Теодор Моммзен, признался в момент просветления: «Фантазия — мать не только всей поэзии, но и всей истории».

Почти все историки XX века признали недостаточность методов «исторической школы». Хотя они широко их применяют, но конечной целью своей науки считают уже не просто установление фактов, но и их толкование. В 1913 году Джордж Маколей Тревельян в статье «Муза

Клио», написанной столь же свободно, сколь и убедительно, указывает, что история—это в первую очередь литература и без талантливого слога она ничто, а в 1935 году один из величайших американских историков, Чарльз Бирд, в эссе «Эта благородная мечта» выдвинул одиннадцать тезисов, которые раз и навсегда доказали, как ненадежно так называемое точное историческое исследование.

4

Я вовсе не отрицаю заслуг исследователей, которые основываются на методическом и критичном рассмотрении источников. Я и сам немало занимался подобными изысканиями, часто с удовольствием следуя за остроумными рассуждениями и гипотезами ученых, и эти занятия доставили мне много приятных часов. Но я каждый раз заново убеждался в том, что так называемая «чистая наука» способна представить нам всего лишь скелеты, зачастую очень тщательно препарированные скелеты, созерцание которых доставляет своего рода эстетическое удовольствие; но нарастить на такой скелет живую плоть способна одна лишь поэтическая фантазия.

Иные ученые с этим согласны, а уже упомянутый превосходный историк Тревельян заходит даже столь далеко, что утверждает: «Поэт Вальтер Скотт один сделал для правдивого постижения человечеством истории больше, чем все профессиональные историки, вместе взятые». Но большинство штатных исторических исследователей не столь прозорливы, они высокомерно отделяют свою серьезную науку от «баловства» исторических сочинителей. Дискутируя с этими учеными мужами, поневоле вспомнишь афоризм китайского мудреца: «С колодезной лягушкой бесполезно толковать о море».

Как бы там ни было, эти профессора достигли своей цели. Во все времена к историческим исследованиям относились серьезно, а на многие исторические художественные произведения смотрели как на подозрительные порождения некоего смешанного жанра. Конечно, были времена, когда трагедии на историко-мифологические темы прославлялись как высшее воспарение человеческого духа. Но затем на них вновь обрушивались как на «слепое порождение популярного полужнания и низменного фантазирования». Даже на протяжении одной моей жизни образованные люди сначала относились к историческому роману с пренебрежением и насмешкой, затем он оказался в большом почете, а сейчас на него смотрят с благосклонностью, но не без скепсиса. Эстетические

оценки исторической художественной литературы всегда были подчинены капризам моды и изменчивому умонастроению публики.

В этой книге я хотел бы порассуждать с вами и с самим собой о том, как это получилось, что историческое сочинительство все же смогло преодолеть все недоброжелательство ученых и недоверие литературных критиков. Почему литературные произведения на исторические темы во все времена составляли столь значительную, даже преобладающую часть живой, неувядаемой литературы? Почему, вопреки всем честным стараниям ученых, факты постепенно утрачиваются, а легенды продолжают жить?

Эти вопросы затрагивают самую суть исторического литературного сочинительства, и об этом, в особенности же о мощи и величии исторического романа, а также о его слабостях и о его границах я хотел бы поговорить с вами в этой книге.

Я, как вы легко можете себе представить, люблю исторический роман. Я не знаю более глубокого и счастливого волнения, чем то, что охватывает меня, когда, в процессе работы над большим произведением, я поневоле начинаю участвовать в жизни людей прошлого; их мысли и проблемы становятся моими настолько, что во мне оживают их чувства, их ощущения, и их время и наше время текут как *одна* река, как *один* поток.

Но я обещаю вам и себе оставаться при этом предельно честным. Я не скрою от вас ни единого колебания, ни единого сомнения. И мне будет приятно, если, несмотря на это, моя книга все же окажется величайшим славословием историческому роману.

5

Хороший повар не позволит гостям заглядывать в кухню. Испытанные друзья литературы по праву преисполняются недоверия, когда автор начинает выставлять напоказ свои эстетические теории. Произведение должно говорить само за себя. «Твори, художник, не болтай!» Это всегда ведали истинные творцы, они чувствовали, что должны ограничиться художественным творчеством, но, с другой стороны, не раз ощущали потребность объяснить неразумному миру свое творение.

При этом их комментарии нередко приводили публику в замешательство. К тому же «Ткач не ведает, что он тклет»; творение часто истолковывалось совершенно иначе, чем того желал творец, и как раз из этого толкования происходили его жизнь и его действительность.

Итак, мне следовало бы заранее утрашиться последствий. Со мной может случиться то же, что и с моими великими предшественниками. Но я должен высказаться о сокровенном, я уже не могу противиться этому побуждению. Я должен обнародовать некоторые истины.

Иные из этих истин стары как мир. Моя главная истина—что историческое сочинительство более благотворно для жизни, чем вся «историческая наука»,—была провозглашена еще Аристотелем, и Ницше утверждал это в том великолепном эссе, направленном против «исторической школы», о котором я уже упоминал. Но если взгляды Ницше были «несвоевременны», когда он их опубликовал, то и сегодня положение ничуть не изменилось. Поэтому я пишу эту книгу. Я хочу высказать свои соображения о том, что дает нам историческая художественная литература и чего она не может, да и не стремится дать.

Моя книга не носит полемического характера, я не хочу выдвигать никакой эстетической системы. Я не намерен также строго придерживаться своей темы. Я желаю поступать так, как моя героиня, история, которая хоть и следует своему основному направлению, но постоянно совершает обходы, продвигаясь окольными и кружными путями. Эта книга предназначена для моих друзей, для тех, кому доставляют радость мои романы. С ними мне хотелось бы порассуждать о проблемах, которые столь часто меня занимали и к которым я постоянно возвращался.

Меня угнетает устрашающее обилие материала. История литературы—это огромное литературное кладбище—полна могильных памятников самых разных исторических эпосов и романов. Подсчитали, что только за последние сто пятьдесят лет было опубликовано более ста тысяч исторических романов в стихах и прозе. Как прав был Шопенгауэр, который при созерцании толстого каталога Лейпцигской книжной ярмарки с грустью вспомнил о царе Ксерксе: тот, по свидетельству Геродота, поглядев на свое бесчисленное войско, разразился слезами, так как представил, сколь многие из этих цветущих юношей не доживут до следующего года.

Однако из бесчисленных исторических сочинений поразительно многие продолжают жить. Да, преобладающую часть живого литературного наследия всех времен составляют именно исторические сочинения. Я постоянно обнаруживаю неизвестные мне «знаменитые» исторические романы, а я жадный читатель. Причина, вероятно, в том, что многие исторические сочинения интересны читателям той страны, чья история в них отображена, и не перешагивают через границы.

С другой стороны, есть множество исторических сочинений, которые затрагивают меня лично, не представляя особого интереса для многих других читателей, и время от времени я буду касаться какой-нибудь из этих книг. Мой выбор, следовательно, будет субъективным и случайным. Я буду выхватывать из обилия материала то, что прежде всего придет на ум, и на полноту нисколько не претендую.

И еще одно. Бесчисленные авторы, которые думали и писали на протяжении последних двух с половиной тысячелетий, не раз затрагивали вопрос: как отображается история и как ее следует отображать. Множество истин обрело при этом прекрасную форму. Я не принадлежу к тем, которые полагают: «*Pereant, qui antre nos nostra dixerunt*» («Долой тех, кто говорил наше до нас»). Я радуюсь истине, которая уже сформулирована раз и навсегда, и не буду пытаться переиначить ее на свой лад. Часто, вместо того чтобы говорить своими словами, я буду приводить высказывания мудрых людей прошлого.

Книга должна быть понятна всем, кто любит читать и осмысливать прочитанное. Я буду доволен, если она заставит литературоведов задуматься, а то и вызовет на спор. Но ученым трактатом эта книга быть не должна. Только одно непременимое условие я заранее поставлю читателю: он не должен быть предубежден против литературы на исторические темы. Кто рассматривает этот вид литературы как второсортный, пусть лучше закроет эту книгу.

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Моя тема — историческая художественная литература, историческая «поэзия». Следовательно, я могу пренебречь теми бесчисленными повествованиями исторического содержания, единственная цель которых слегка развлечь читателя и дать писателю заработать свой хлеб. Среди сотни книг, носящих название «исторический роман», таких обычно бывает девяносто восемь.

Авторы подобных романов, осознанно или неосознанно, хотят даровать своему читателю романтику, которой ему так недостает в будничной жизни, а сверх того, чувство удовлетворения, что он изучает историю и расширяет свой кругозор.

Я знаю по собственному опыту юных лет, как может захватывать чтение таких мелодраматических произведений. Я вижу себя тогдашнего на лужайке в летнее каникулярное время—мне лет двенадцать или тринадцать,—я лежу на животе, жадно углубившись в книгу—в переплетенные выпуски романа «Адъютант императрицы». Речь там идет о Екатерине и ее любовниках, в книге нет ни грана истинного чувства, ни одного правдивого слова, ни одной верной мысли. Но какой огромный, пестрый, дикий и прекрасный мир открывается перед мальчиком! Какие там были великолепные люди, как жарко они любили и ненавидели, какие невероятные подвиги совершали, с какой хитростью и отвагой сражались с врагом и единоборствовали друг с другом, а кроваво-красное солнце непостоянной любви императрицы бросало свой свет то на больших, то на малых! Какой сладкий ужас, какую мешанину из сострадания, страха и смутной эротики пробуждал во мне этот длинный, чудовищный, отвратительный роман! И все, что в нем происходило, не было просто выдуманно из головы, все это было в действительности, это была история. Эта Екатерина, этот Орлов, этот Потемкин жили на самом деле, в энциклопедическом словаре можно было отыскать даты их рождения и смерти. «Что такое всемирная история и с какой целью ее изучают?»—вопросал когда-то Шиллер. Теперь я это понял. Теперь, прочитав этот роман, я познал мир, историю, жизнь.

Роман тот, как я догадался уже через несколько лет, был всего лишь низкопробной халтурой, это был китч. В нем не было живых людей, не было идей, ничего, кроме увлекательно пересказанной фабулы, соотнесенной со всемирной историей. Но этого было довольно, чтобы увлечь мальчика, а вместе с ним многие тысячи других читателей. Роман «Адъютант императрицы» имел огромный успех.

2

Для тех авторов, которые стремятся не к правде, а к эффекту, примитивная историческая беллетристика—это унавоженная тучная нива. Этот род литературы не требует изобразительной силы, а всего лишь известного умения строить сюжет; исторический фон обеспечивает автору красочность, достоверность и иллюзию жизни.

Сочинителю подобных произведений не надо мучиться в поисках материала. Перед ним разбросаны обломки мировой истории, ими усеяна вся земля, из них можно

выстроить сотни тысяч типовых домиков, в которых обычному человеку тепло и уютно. Писатель, мало-мальски владеющий пером, может без труда поднабрать трагических и комических эпизодов любых времен и, переплавив, придать им новую, ходкую форму. Нередко историческая традиция несет в себе все необходимые мелодраматические трюки. Уже древние историки связывали события наиболее сенсационным образом и эффекта ради сильно приукрашивали своих героев, так что автору более позднего времени нужно лишь дать людям и обстоятельствам небольшой новый поворот.

Историческая достоверность или хотя бы правдоподобие такого автора беспокоит мало. Все, что он в истории видит, сводится к мелодраматизму, к эффекту.

Анатоль Франс рассказывает отличный анекдот об известном драматурге Викторьене Сарду. Тогда как раз появилась книга, в которой на основании убедительнейших документальных материалов было доказано, что Людовик XVII, сын и наследник казненного Людовика XVI, не был, как утверждает легенда, похищен из тюрьмы Тампль, но что он там умер. Все те, кто впоследствии выдавал себя за дофина, намеренно или ненамеренно лгали. Сарду, как рассказывает Анатоль Франс, стал яростно это оспаривать. Для него не подлежало сомнению, что сторонники монархии сумели тайно пронести в тюрьму труп постороннего мальчика и похитить дофина. «И он описывал нам,—говорится у Анатоля Франса,— всю эту операцию с подкладыванием трупа и похищением ребенка так красочно и живо, с такими многочисленными подробностями, что можно было поклясться: он сам при этом присутствовал. Я указал ему на документы, которые неопровержимо свидетельствовали об обратном. Он вошел в раж и стал употреблять чуть ли не оскорбительные выражения. «Дорогой мой Сарду,—сказал я ему наконец.—Вы защищаете дело дофина с таким пылом, как если бы состояли с ним в родстве. Вы что, самолично претендуете на французский престол? Может, вы родственник или свойственник одного из претендентов?» Сарду расхохотался. «Подмена ребенка и похищение наследника,—объяснил он,—это же великолепный материал для пьесы или для романа. Версия о смерти мальчика несостоятельна. Она лишена всякого драматизма».

Таким образом невзыскательный автор заполняет книгу или сцену мелодраматическими ситуациями. И чем они причудливее и невероятнее, тем лучше. Здесь читатель может и должен дать выплеснуться жестокости, которую он таит в своей груди, дать выход благородным чувствам, о которых обычно в лучшем случае разглагольствует; к тому же он может пережить все фазы эротики, которую в

реальной жизни вынужден в себе подавлять. И автор, в свою очередь, имеет возможность дать себе полную волю, ему не требуется ни в чем себя сдерживать. Чему читатель не поверит, если герой будет одет по современному, тому он легко поверит, стоит лишь обрядить героя в панталоны или тогу. Даже самые рискованные авантюрные и эротические ситуации, которые обычно читателя настораживают, будут смаковаться им без зазрения совести в «костюмированном» романе. «War and lechery, nothing else holds fashion» — «Война и распутство никогда не выйдут из моды», — заметил еще Шекспир; насилие и похоть и поныне излюбленные темы низкопробной исторической пьесы или подобного же исторического романа.

Самым ранним историческим романом принято считать «Эфиопику» Гелиодора, датируемую III веком нашей эры, и уже этот роман изобилует самыми невероятными поворотами сюжета, пышными кровавыми сценами и ошеломляющими эффектами. Так же примерно обстоит дело с драматическими «Главными и государственными действиями» XVI века и с бесконечно длинными историческими романами — стихотворными и прозаическими — эпохи барокко. Следует припомнить здесь романы мадемуазель Мадлен де Скюдери. Писательница опирается на Геродота, Ксенофонта, Юстина, Ливия. Но воссоздаваемая ею история состоит главным образом из пошловатых любовных интриг и элегантно-кровавых поединков. В «Клелии», романе из времен Тарквиниев, Лукреция тайно любит Брута, а сам Брут — типичный «*dameget*»¹, к которому так льнут женщины; при этом разговоры, которые ведутся в обществе, изобилуют галантными ловушками, а дамы наблюдают с зубчатых городских стен Рима дуэли между роялистскими и республиканскими кавалерами. К роману приложена «*Carte de tendre*» — «Карта страны Нежности». А «Кир», роман той же мадемуазель де Скюдери, снабжен «ключом», с помощью которого можно узнать, какие реальные фигуры из окружения Людовика XIV изображены в тех или иных персонажах.

В XVIII веке поток исторического китча возрастает. Французские авторы черпают сюжеты из античности и из эпохи крестовых походов. Немцы не отстают от других. Бенедикта Науберт, «королева» исторического китча, каждый год выпускает по одной, а то и по две книги; некоторые из ее романов по тиражам далеко обогнали «Вертера». Даже Шиллер, конечно в период безденежья, подумывал о выпуске многотомного собрания популярных исторических романов.

¹ Дамский угодник (фр.).

Луиза Мюльбах, жившая в середине XIX века, за тридцать шесть лет умудрилась написать двести сорок семь томов романов и новелл, среди них около двухсот — исторического содержания. Эти исторические произведения, в которых пространно, невозмутимо и с непременным моральным осуждением рисовались картины беспутного насилия и разврата, буквально завоевали мир. Уже в 1900 году или около того некий американский издатель затеял пышно оформленное издание этих захватывающих, жестоких и слезоточивых сочинений. Для сотен тысяч читателей они были единственным источником исторических знаний.

Примерно в тот же период во Франции, наряду со многими другими авторами псевдоисторических романов, процветал весьма своеобразный писатель, Эжен Сю. Он имел аристократические манеры и гордился тем, что его восприимчивыми были Эжен Богарне и императрица Жозефина. Каждое утро, прежде чем он сядет писать, его камердинер должен был подавать ему на серебряном подносе белые перчатки. В этих перчатках он писал затем вульгарные социальные и исторические романы непристойного и ужасающе жестокого содержания. Так как он не был чужд социалистических идей, то нередко вкраплял в свои двусмысленные повествования мысли в духе сенсимонизма или марксизма и жертвовал на дело пролетариата немалую долю тех гигантских барышей, что приносили ему его «фельетонные» романы. Он страстно боролся против Второй империи, и за свои убеждения ему пришлось отправиться в ссылку. В белых перчатках он написал также полную историю Франции в форме много томного романа «Тайны народа, или История пролетарской семьи в течение долгих лет». Все шестнадцать томов заполнены сенсационными, мелодраматическими, насильственно сконструированными сценами, крохотные частицы исторической плоти буквально тонут в море густо наперченного соуса. Эжен Сю, однако, честно верил, что учит истории, и был искренен, когда заявлял в предисловии: «Вы, читатель, по праву можете сказать: знания и убеждения, полученные мною из этих книг, почерпнуты из глубочайших и чистейших источников истории».

Двадцатое столетие буквально затопило читателей всего мира чудовищным потоком низкопробного исторического китча. Этот поток был особенно мощным у англосаксов. Последнее десятилетие Нью-Йорк каждую неделю анонсировал романы из эпохи Войны за независимость, колонизации Дикого Запада или Гражданской войны между Севером и Югом. Большинство этих сочинений не имеют никакого касательства к искусству. Авторы переносят

дешевую романтическую фабулу в эпоху, которая, по их мнению, способна заинтересовать читателя. В одном пункте эти авторы отличаются от прежних сочинителей подобных произведений: они расписывают свои исторические кулисы весьма усердной кистью и стараются возместить недостаток поэтической силы добросовестным изучением материала. Нередко они достигают при этом прямо противоположного эффекта. Именно точность исторической детали подчеркивает всю безжизненность целого. Прошлое здесь добросовестно оштукатурено и выглядит как новенькое, но оно всего лишь мумифицировано; люди в нем — чучела, набитые трухой и опилками. Романы эти читаешь с тем же чувством, с каким ходишь по отреставрированному городку Вильямсберг или созерцаешь тщательно отреставрированный корабль «Мэйфлауэр» <и то и другое должно напоминать нам об эпохе первых поселенцев в Северной Америке>.

При этом детали в подобных романах часто выписаны с настоящей любовью, и патриотическое воодушевление авторов вполне искренне. Но от этого восковые куклы и их окружение не становятся живыми. Романов, проникнутых честным патриотическим энтузиазмом, немало в литературах всех стран и всех эпох; но если автор их не способен вдохнуть жизнь в свой мир и в своих героев, его воодушевление ничего не стоит.

Так же обстоит дело со многими романами, которые проникнуты искренней религиозностью. Она лишь заявляет о себе, но не находит живого воплощения, она мертва, и верующее сердце не может возместить недостаток искусства. «Каллиста», принадлежащая перу кардинала Ньюмена, «Фабиола» кардинала Уайсмана поучительны и внушают благоговение сотням тысяч, но они отказывают им в той радости, которую дарует искусство. Оба самых прославленных религиозных романа последнего столетия, «Бен Гур» Льюиса Уоллеса и «Камо грядеши?» Генриха Сенкевича способны увлечь простого читателя и сообщить ему множество сенсационных подробностей, но поэзию в них искать бесполезно.

Однако существует ряд исторических баллад, эпических поэм, романов, которые, хотя и содержат в себе немало китча, уже граничат с серьезной литературой. Значительная часть исторических сочинений во все времена как раз и пребывала в этой пограничной области между низкопробной беллетристикой и искусством.

Тут прежде всего мне приходят на ум немецкие «профессорские» романы — завоевавшие огромную популярность исторические сочинения Георга Эберса, Феликса Дана, Густава Фрейтага.

Заманчиво порассуждать о том, как возникли эти книги. Их ученые авторы честно стремились исследовать подлинную историю и обогатили специальную литературу работами, которые сохраняют ценность и сегодня. Но их каждый раз пугала скудность и ненадежность фактов, им становилась в тягость наука, в которой оказывалось больше пробелов, чем знаний, и они находили прибежище в фантазии. Они, эти профессора, не были поэтами и не могли творить живых людей, творить жизнь. Но рассказывать они умели, и в этих рассказах было немало развлекательного и поучительного. Воздействие их романов оказалось широким и даже глубоким. Так, роман «Дочь фараона» Георга Эберса повлиял на общество куда сильнее, чем какой-либо научный труд по египтологии; эта книга пробудила интерес сотен тысяч людей к древним культурам, в результате чего были выделены большие средства на раскопки и во многих университетах открылись специальные кафедры египтологии. Роман можно читать еще и сегодня, почти через сто лет после его создания, и опытный читатель с улыбкой замечает, как разрывается на части достойный симпатии автор, в котором берет верх то рассказчик, то археолог. Каждый раз давая волю воображению, он тут же сам строго себя осаживает. В осознании своей вины он пытается загладить беллетристический разгул фантазии обширными подстрочными примечаниями, в которых сообщаются с трудом выписанные, точно документированные факты.

Также и в необыкновенно популярном романе Феликса Дана «Борьба за Рим», наряду с романтическими сценами, которые ухитрился измыслить профессорский ум, имеются вполне основательные ученые пассажи, и наверняка гораздо больше людей почерпнули свои знания о позднем Риме из романа Дана, чем из труда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи». Научная основательность — одно из главных свойств «профессорского» романа, и можно прямо-таки услышать, как авторы, увлеченные прекрасным порывом вдохновения, одергивают себя: назад к науке!

Английские читатели, возможно, припомнят в этой связи многочисленные исторические романы подражателей Вальтера Скотта, например книги Энсуорта, Рида, Булвер-Литтона. Иные из них также причудливо сочетают в себе искусство, элементы китча и ученость. Эти толстенные книги, в свое время безмерно переоцененные, сегодня находятся в полном небрежении, и это несправедливо.

Самые представительные произведения этого смешанного жанра создали, однако, французские романтики. Можно бесконечно долго спорить о том, в какой мере их широко известные романы и драмы являются искусством, а в какой — китчем.

Французские романтики были склонны к чрезмерно насыщенным краскам. Они любили драматизировать простые события и сталкивать противоположности. «Ты — кто, отвергнув ригоризм, // Все краски густо так кла- дешь, — // Новофранцузский романтизм, // Веди меня, куда ведешь!» — с благосклонной насмешкой воскликнул в рифму немецкий современник. Величайший мастер французской романтической школы Виктор Гюго учил: «Под действием следует понимать борьбу двух противоположных сил; чем они враждебнее друг другу, тем сильнее действие».

Такая теория склоняет к китчу. Виктор Гюго и сам не был полностью от него свободен. Пусть поймут меня правильно. Гете, которому в пожилом возрасте претили преувеличенные эффекты, находил «Собор Парижской богородицы» невыносимо безвкусным; и сегодня еще принято с высокомерной улыбкой отвергать риторику Гюго и его любовь к сенсационным антитезам. Мне этот обобщенный приговор представляется несправедливым; в произведениях этого замечательного поэта на каждом шагу попадаются такие великолепные красоты, которые не могут оставить равнодушным непредубежденного читателя. Но верно и то, что иные, менее важные произведения Гюго, прежде всего некоторые его исторические драмы, так перегружены контрастами и борьбой противоположностей, что даже благосклонный зритель порой воспринимает этот искусственно сконструированный сверхдраматизм как китч. Нельзя также отрицать, что поэт, который постоянно балансирует на узкой грани между величественным и смешным, часто произвольно скатывается к комическому.

Грильпарцер рассказывает, как Виктор Гюго дал ему входной билет на одну из своих трагедий, которая до этого шла с величайшим успехом восемнадцать раз; но на этом девятнадцатом представлении, куда попал Грильпарцер, на публику вдруг напал смех, и спектакль лишь с трудом удалось доиграть до конца.

Нечто похожее пережил я сам. Это было на представлении «Лукреции Борджа» в «Комеди Франсез». В образах этой трагедии Гюго воплощает свое непоколебимое убеждение, что даже отвратительное существо может быть облагорожено высоким чувством. Пьеса эта широко изве-

стна. На немецкий ее перевел не кто иной, как Георг Бюхнер, пьеса жива и по сей день, через сто двадцать пять лет после своего появления на свет. Публика, охваченная напряжением, в тот раз благоговейно следила за развитием действия. Так продолжалось два акта. Когда же в третьем акте приотворились тяжелые двери праздничного покоя и в глубине сцены стали видны гробы, послышалось легкое хихиканье, а когда Лукреция Борджа предстала перед гостями и объявила с дикой и величественной усмешкой: «*Messeigneurs, vous êtes tous empoisonnés*»¹, вся публика вдруг начала оглушительно смеяться, и никакая слава, никакое искусство актеров уже не могли спасти пьесу.

Следующий пример — «Торквемада». Блестящее искусство версификации и великолепная театральность этой пьесы вызывают у читателя то восхищение, то громкий смех. Я опасюсь, что на сцене эта пьеса не вызовет ничего, кроме хохота. На это провоцирует уже первая сцена. Аббат прогуливается в запущенном, одичавшем монастырском саду и возносит жалобы на одичание всей испанской земли. Через дыру в ветхой стене в сад проникает человек. Аббат гневно напускается на него: «Кто ты, дерзкий пришелец? Сюда не вправе войти никто, кроме короля». Человек отвечает: «Я — король». Далее Торквемада отправляется в Рим, чтобы получить разрешение папы «выжигать огнем» проказу на теле христианства. Во время странствия он попадает в приветливую горную долину. Здесь обитает кроткий отшельник, преисполненный любви к людям и животным, святой Франциск из Паолы. Пламенные признания фанатика и кроткие речи святого представлены в резком контрасте (*la lutte de deux forces opposées*)². Затем на сцене появляется третье действующее лицо, охотник, которого этот спор забавляет, он вмешивается в него и утверждает, что всего ценнее разнузданное наслаждение. Когда святой спрашивает: «Кто этот погибший?» — Торквемада отвечает звонко и в рифму: «Папа».

Было бы увлекательно разобрать здесь исторические драмы и других французских романтиков, порассуждать о ловкости, достойной фокусника, с которой какой-нибудь Викторьен Сарду или Эжен Скриб строят свои занимательные интриги, изобретая все новые сюрпризы, увлекая публику запутанными ходами, напряженностью, невероятными тайнами и их разоблачением. Не менее заманчиво было бы поговорить об исторической драматургии Эдмона Ростана, который блеском стиха и уверенностью, с

¹ Господа, вы все отравлены (фр.).

² Борьба двух противоположных сил (фр.).

которой он в нужном месте примешивает к трагизму иронию, покоряет зрителя и заставляет забывать на протяжении длинных сцен о сомнительных эффектах. Но я не намерен рисовать здесь подробную карту той обширной пограничной местности, где обитают подобные гибриды, порождения искусства и китча.

5

Позвольте мне только еще бросить взгляд на человека, который, снискав невероятную славу, хулу и насмешки, представлял и представляет эту литературную разновидность ярче всего; я говорю об Александре Дюма.

В более чем четырехстах романах и пьесах, которые Дюма подписал своим именем, многое невольно кажется комичным из-за непомерно раздутого драматизма. Отталкивает также небрежность повествования; не раз в каком-либо позднем томе появляется человек, который был убит в одном из предыдущих томов. К тому же и язык писателя поражает банальностью. И несмотря на все это книги Дюма живы; это могут подтвердить сегодняшние издатели, кино- и телепродюсеры всех стран; за последние тридцать лет не менее трех известных поэтов делали новую обработку его драмы «Кин».

Дюма упрекают в том, что он изготавлял свои романы как на конвейере. Существует более четырехсот, вероятно, даже более пятисот романов и пьес, подписанных его именем. Говорят, ни один человек не прочитал все эти романы, даже он сам. Однажды он без обиняков признался: «Я подписал эту книгу, но я ее не читал»,—и всю жизнь наивно изумлялся, почему его за это порицают. Он обладает неиссякаемой фантазией, в состоянии придумывать все новые сюжеты для пьес и романов. У него нет времени пестовать все плоды своего воображения, поэтому он набрасывает для своих помощников лишь основные контуры,—говорят, что таких помощников было семеро,—обучает их своим методам и сажает писать. Как иначе он сумел бы полностью реализовать свой талант на пользу читателям и зрителям? Бог сотворил его, чтобы он прогонял скуку у читателей всего мира и так красочно описывал основные события французской истории, чтобы никто уже не смог их позабыть.

К своим художественным играм он относился вполне серьезно. Он верил в себя и в свой талант, и был искренен, когда воскликнул за чтением «Истории революции» Мишле: «Это превосходно! Это мог бы написать я!» Он испытывал детскую радость от своего сочинительства, оно захватывало его, и, будучи страстным бонвиваном, он был способен позабыть за работой и об изысканной

трапезе, и о назначенном любовном свидании. Ему доставляло величайшее наслаждение разминать и замешивать известный из истории материал, тянуть и переплетать полуправдивые, полувыведанные интриги, о которых писалось и до него; его бурное театральное ликование — по поводу пестроты и эмоциональной насыщенности прошлого, переливающихся красок и искусного чередования ярких событий — заражает читателя.

При этом Дюма вовсе не утверждает, что события действительно происходили в точности так, как он их описывает. Он испытывал подлинный интерес к истории, без усталости штудировал исторические сочинения всякого рода, рылся в архивах и изучал документальные свидетельства, но совершенно не верил в так называемые факты. Он презрительно заявлял, в точности как молодой Гете и наверняка независимо от него: «История — только гвоздь, на который я вешаю свои картины». Так оно и было. Ему не важен был исходный материал, но важен способ приготовления. Дюма был отличным поваром, он сочинил веселую и сегодня еще полезную поваренную книгу, и с тем же искусством он умел готовить из любого сырья истории весьма вкусное блюдо. Из исторического материала он отбирает лишь самое необходимое. Политика Ришелье была темна и загадочна, а первый министр лорд Букингем был убит не по политическим, а по личным мотивам — вот почти и все исторические факты, которые использованы в цикле романов о д'Артаньяне — в тридцати или сорока выпусках «Трех мушкетеров» и их бесчисленных продолжений. Конечно, государственный деятель масштаба Ришелье не стал бы плести абсурдные интриги, которые приписывает ему Дюма, а столь ребяческие причины не привели бы к убийству Букингема. И реальные люди не смогли бы так часто в самый последний момент ускользать от опасности, как это делают три мушкетера. Но буйный поток фантазии Дюма сметает все сомнения, которые могли бы возникнуть в душе читателя ввиду явных несообразностей действия, и чем дальше он читает, тем стремительнее увлекает его поток. Читатель доволен, когда д'Артаньян в десятый раз уходит от преследователей, он с нетерпением ждет момента, когда славный мушкетер вновь попадет в ловушку и опять спасется, и горько сожалеет, когда после невероятнейших приключений в двадцать восьмом томе погибает Портос, в двадцать девятом — Атос, а в тридцатом — сам д'Артаньян, так что об этих великолепных героях при всем желании рассказать уже больше нечего. Но наиболее удивительно следующее обстоятельство: Дюма убеждал и продолжает убеждать миллионы своих читателей, что из таких приключений, страстей и интриг

как раз и состоит мировая история. Разве Ришелье — раскройте-ка исторические энциклопедии — и вправду не строил какие-то темные козни? Разве лорд Букингем не был предательски убит? И читатели благодарны рассказчику, который сообщает им до мельчайших подробностей, как все это происходило.

И не только рядовые читатели, но и мастера признают высокие достоинства произведений Дюма. Эпоха, в которую расцвел его талант, была великой и плодотворной для французской литературы, и Дюма внес в это свою лепту. Его пьеса «Генрих III и его двор» была первым подлинным триумфом романтизма на сцене, выдающиеся прозаики и драматурги приняли Дюма как равного в свой круг.

Виктор Гюго и Альфред де Виньи любили и ценили Дюма. Позже Р.-Л. Стивенсон нашел для него слова величайшей хвалы и признал себя его учеником. Даже такой великий писатель и большой скептик, как Теккерей, мог, по собственному его признанию, с величайшим наслаждением читать «Трех мушкетеров» с раннего утра и до поздней ночи.

Дюма был по натуре своей щедр и расточителен. Когда он приехал в Париж, у него в кармане было двадцать франков, впоследствии он стал зарабатывать миллионы и богато одаривал каждого, кто попадался на его пути — случайного ли гостя, разделившего с ним трапезу, или любовницу, с которой провел всего полчаса, — и умер он с двадцатью франками в кармане, которые занял у сына. Точно так же растрачивал он свою безграничную работоспособность. Он ничему не позволял созреть, он хотел давать, давать все больше и больше, черпая из полноты своей фантазии, своего вдохновения, своего творческого энтузиазма и республиканского восторга. Он собирал урожай до срока. Он употреблял свою беспримерную изобретательность не для того, чтобы поддерживать ровное согревающее пламя, но расточал ее в бесчисленных грандиозных фейерверках.

Удивительно, как для этого бьющего через край избытка событий он всегда находит верную форму, сосуд, способный все удержать. Свои пышно придуманные истории, свои фантастические сказки он вставляет в четкие хронологические рамки определенного исторического периода; это может быть война или период правления какого-нибудь монарха, так что течение этой эпохи определяет начало, ход и конец его рассказа. Как он умеет туго завязать узел, ослабить его и завязать снова, как умеет создать напряженность, изумить читателя, как добьется все нового переплетения событий, чтобы после бесчисленных бурь и потрясений причалить в гавани реальной истории, — в этом искусстве на протяжении

столетий лишь немногие достигали его уровня, а превзойти его не мог никто. Он подхватывает все, что попадает на пути, случайность становится ниточкой в его ткани, которая плетется вполне осмысленно и целенаправленно. Как-то на празднике в замке одного из его друзей ему предложили использовать убранство замка, гобелены, картины и статуи как необходимый реквизит для повествования, и менее чем за неделю он сотворил из этих предметов, не пропустив ни одного, вполне читабельный, годный для печатанья роман.

Французские прозаики и драматурги того времени, все эти Викторы Гюго, Дюма, Сарду, Эжены Сю, в совершенстве владели техникой своего ремесла, превзойдя в этом авторов предыдущих эпох.

6

Итак, необыкновенный успех Дюма основывался главным образом на мастерски изобретенных фабулах его романов. Вообще, крепкая, солидная, динамичная фабула является предпосылкой успеха всякого исторического произведения — особенно это касается китча, который вообще не может ничего предложить, кроме фабулы.

Как Шахразада заставляет султана с нетерпением ждать наступления следующего вечера, так и автор должен заставлять читателя с нетерпением начинать каждую новую главу. Его герои могут быть не более чем марионетками, события — пустыми, не таящими в себе никакого скрытого смысла, можно не иметь ни особой цели, ни идеи, ни даже языкового мастерства, но автор непременно должен уметь придумать динамичное и связанное действие, увлечь читателя фабулой, захватить его своим порывом, он должен быть бегуном на длинную дистанцию — хотя может не нести при этом никакой вести.

Ни слова против умения строить увлекательную фабулу. Критики и зануды смотрят на него сегодня свысока, потому что это главный инструмент произведений массового искусства, детективных романов, фильмов, радио- и телепес. Как большинство современных художников отказываются рисовать внешний предметный мир и стремятся передать лишь свою внутреннюю индивидуальность, так и эти сверхмудрые читатели требуют, чтобы автор эпического произведения отказался от последовательно развивающегося действия и изображал только образы своего внутреннего мира, окутанные свойственной им туманной атмосферой. Эпическое произведение, основанное на крепко построенной фабуле, на увлекательной интриге, заранее вызывает сомнение у таких читателей.

Ничто не кажется мне глупее. Аристотель в шестой главе «Поэтики» — в анализе трагедий — утверждает, что действие и его развитие (*pragmata et mythos*) — главное требование к трагедии. Действие, считает он, не должно служить созданию характеров, но характеры должны быть подчинены действию. Трагедия невозможна без действия, имеющего начало, развитие и конец, но может существовать без ярко очерченных характеров.

Конечно, фабула сама по себе еще не несет художественных достоинств, и одна фабула, даже если она отлично выстроена, не может вдохнуть жизнь в эпическое произведение: но фабула — это костяк любой пьесы и любого романа.

Да, огромную массу читателей фабула интересует гораздо больше, чем все остальное, нередко она обретает самостоятельность и живет в памяти масс в отрыве от поэзии и смысла связанного с ней произведения. То, что хотели сказать нам авторы Библии, Гомер и Шекспир, та поэзия, то иносказание, те заветы, что донесли до нас творения Сервантеса, Дефо и Джонатана Свифта, волнуют сегодня тысячи и десятки тысяч, но простые, детски наивные рассказы об Иосифе и Давиде, о Макбете и Шейлоке, о приключениях Дон Кихота и Гулливера — все это живо в сознании миллионов.

Я назвал Дон Кихота. Основной мотив этого замечательного произведения — соблазн и опасность, которые исходят от приукрашенного, безвкусного изображения прошлого, соблазн и опасность того, что мы в этих заметках называем вульгарным историческим романом. Сервантес изображает благородного мечтателя, который так горячо принимает к сердцу дикие и бессмысленные приключения из своих любимых рыцарских романов, что не различает более границу между вымыслом и реальностью, его рассудок не может противостоять его фантазии. Сервантес сам глубоко чувствует пестрое и бессмысленное великолепие рыцарской романтики, ему ведомо ее волшебство, и вся его любовь принадлежит Дон Кихоту; он принимает сердцем то, что отрицает его разум, — как раз это противоречие и делает роман таким захватывающим. Писатель лишь огромным усилием воли противостоит искушениям фантазии и становится — как позже Гойя в своих «Капричос» — на сторону разума. Он заставляет и своего безрассудного идадьо Дон Кихота в конце концов излечиться от мании и вновь стать убогим, бесцветным мелким дворянином Алонзо Кихано. Иллюзии Дон Кихота лопнули: но это послужило и причиной его смерти.

Уже в начале романа Сервантес заявляет свою тему великолепно, весело и горестно, в виде своеобразной притчи: эта тема — соблазны и опасности романтического

китча. Священник и ключница Дон Кихота устраивают веселое и торжественное судилище в библиотеке идадьго. Вынести приговор всем фантастическим рыцарским романам священник не в силах, и это очень симпатичное добровольное признание в непоследовательности самого автора. Но большая часть романов осуждена, и присутствующие со смехом и стенаниями сжигают всю эту экзальтированную чепуху, которая лишила рассудка самую мудрую голову во всей Ламанче.

Я тоже на стороне священника, который спасает некоторые из сомнительных произведений. Я бы не хотел лишиться Дюма и Сарду; признаюсь, что и кое-что из сегодняшних подобных творений я читаю подчас не без удовольствия. Но, подобно священнику, я не забываю, что такого рода литература таит в себе яд.

Большинство, представители массы, *hoi polloi*, не дают себе труда серьезно осмыслить ход исторических событий; они удовлетворяются доступной и занимательной исторической картиной, которую рисует им китч. Такое восприятие истории ни к чему не обязывает. Если история такова, как ее изображают развлекательные исторические романы, если она состоит в основном из пустых «Главных и государственных действий», из частных амбиций и сантиментов высокопоставленных персон мужского и женского пола, из удивительных, необычайных и бессмысленных случайностей, то один человек ничего в ней не изменит и не стоит даже задумываться о том, каково его место и роль. Концепция вульгарных исторических романов потакает, следовательно, духовной вялости масс, она утверждает людей в их пассивности, в склонности заботиться лишь о сиюминутных, непосредственно их касающихся делах.

Кроме того, это примитивное историческое чтение губит вкус читателя и его восприятие подлинно художественных исторических произведений. Он читает их, но только ради дешевого развлечения. Он не прикладывает усилий к тому, чтобы их понять, лишает себя радостей познания, которые может дать только подлинное произведение исторической художественной литературы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Основателем подлинного исторического романа нашего времени обычно называют Вальтера Скотта.

С ним история литературы обошлась весьма прихотливо. Наряду с Гете, он считался величайшим поэтом своего поколения, его книги, по свидетельству одного из совре-

менников, читались с таким же почтением, как Библия, только с еще большей любовью. Молодежь оставалась ему верна на протяжении целого столетия. Но у знатоков литературы его авторитет постепенно падал, после первой мировой войны его творчество окончательно отступило в тень, сейчас им занимаются разве что литературоведы. Единственная книга, которую продолжают читать, это самая слабая его вещь: «Айвенго».

Я сам в детстве страстно любил романы Вальтера Скотта. Позднее я сильно досадовал на те омертвелые дебри, сквозь которые приходится продирааться даже в самых знаменитых его книгах, и не понимал своего бывшего восхищения. Но с годами, изредка перечитывая эти книги, я осознал, сколь многое в его наследии еще живо.

Как получилось, что его творчество поистине околдовывало читателей двух поколений и оказало влияние на большинство писателей того времени? Как получилось, что сегодня многие его произведения представляются нам увядшими, а другие сохраняют свои прежние чары?

Вальтер Скотт был одним из основателей романтической школы; как все романтики, он был склонен преувеличивать и заполнять свои книги все новыми, яркими эпизодами. Уже в детстве, вспоминает пятидесятилетний писатель, его влекло к себе «удивительное и ужасное», и в этом он до сих пор остается ребенком, при виде какой-нибудь руины ему и сейчас хочется наполнить ее былой жизнью. Сегодня нам кажется, что на долю его героев выпадает чересчур много испытаний, и если их приключения порой слишком красочны, то их любовные переживания почти всегда слишком бледны. Чопорная респектабельность эдинбургского общества не позволяла ему говорить о любовных делах иначе, как бледными намеками.

Что прежде всего служит нам помехой в его романах, так это их растянутость и скрупулезность описаний. Иной раз он демонстрирует свою начитанность, свое исключительное, почти антикварное знание старины и подробно, с любовью описывает тысячи мелочей, которые сами по себе могут быть интересны, но не продвигают вперед действие и не углубляют наши знания о героях. Его педантичные описания оборачиваются самоцелью и действуют на читателя как собрание музейных экспонатов. Скотт сам это замечает и при случае себя одергивает. Тогда он говорит что-нибудь вроде: «Но мы отклонились от темы», или: «Я не хочу злоупотреблять вашим терпением, напоминая вам об этом...» — и тут же следуют три или четыре страницы подробнейшего описания, отчего наше

терпение действительно лопается. Гете, большой почитатель Скотта, заканчивает его восхваление весьма неожиданно: «Сцены и положения в этом романе напоминают картины Тенирса, высокое искусство сказывается в расположении целого, отдельные персонажи поражают жизненной правдой, и все до мельчайших подробностей разработано художником с такой любовью, что ни малейшего упущения нам не даровано».

Мы, сегодняшние читатели, обладаем куда меньшим терпением, чем современники Гете, и то, что ни малейшего упущения нам не даровано, побуждает многих из нас обрывать чтение книг Скотта.

Это жалко. Ибо его творения полны несравненных поэтических достоинств, которые с лихвой компенсируют его слабости. Он умеет строить действие как никто другой, и напряжение, которого он достигает, вполне оправдано, его основная фабула всегда солидна и добротна. Он отталкивается от баллады и, при всем реализме в описании деталей, редко бывает трезвым и прозаичным. Когда фантазия увлекает его слишком далеко, его здравому смыслу вскоре удастся обуздать ее. Острая наблюдательность быстро подправляет то, что исказило его воображение, и стремление к точному описанию нравов и обычаев неизбежно возвращает его к реальности. Даже позволяя себе нечто рискованное, он оправдывает это с помощью романтической иронии и отменной техники. В действительности, поясняет он, его герой Найджел не произносил такого монолога и не рассуждал столь последовательно; но ведь это самый быстрый и удобный способ познакомить читателя с внутренним миром героя. Или автор заявляет, что читатель, верно, давно заметил, как быстро в последних главах писатель закруглил судьбы почти всех персонажей, чтобы тем дольше задержаться на описании счастливого конца, которого требует мода, и еще побыть со своим любимым героем.

Сильнейшего очарования исполнены его описания природы. Он так явственно изобразил шотландские ландшафты, что читатель их не только видит, он в них живет. Скотт оживляет пейзаж, помещая в нем людей, и оживляет людей с помощью пейзажа; он как никто другой умеет слить в единое целое природу и человека.

Но прежде всего — и это выделяет Скотта среди других романтиков — его герои необыкновенно реальны. Это происходит вот почему: предшественники Скотта и даже большинство сегодняшних авторов исторических романов выбирают своих героев среди высокопоставленных личностей, среди тех, кто сам творит историю, и в связи с этим придают их характерам возвышенные и патетические черты. Скотт же был убежден, что «более

перное выражение элементарных страстей можно найти скорее в низших, чем в высших классах». И это помогает ему делать своих героев такими достоверными. Он верит, что именно простой человек, живущий сегодня, ничем особенным не отличается от простого человека прежних времен. В предисловии к «Айвенго», в шуточном посвящении достопочтенному д-ру Драйездасту (the Reverend doktor Dryasdust), Вальтер Скотт утверждает, что самое существенное в нашем образе жизни мы переняли из образа мыслей и поведения наших предков, и заключает, что мотивы поведения людей прошлого были приблизительно те же самые, что и наши, то есть не какие-нибудь идеалистические, измышленные литературой, но земные, обычные, понятные любому человеку.

Так он создает характеры своих исторических персонажей, изучая людей своего времени, и герои у него не рыцари, не ходячие образцы добродетели, но некое смешение светлых и темных черт, они — просто люди.

Он смотрит на этих людей с участием и смотрит на них с юмором. От его зоркого взгляда не ускользают ни мелкие сумасбродства, ни смешные черточки, и его талант мастерски их воспроизводит. Он создал большое число чудаковатых, комических персонажей, которые невозможно позабыть, но он редко идет на чрезмерный гротеск, почти всегда далек от эксцентричности, которая столь притягательна для его великого последователя Диккенса.

Искусство Вальтера Скотта, странное смешение чувствительности и юмора, наивности и понимания очевидно-го, драматизма, эффектности, не чурается и доброй дозволенной шутки; это поэт привлекательного ребяческого нрава, он и сам не свободен от некоторых странностей и сумасбродств. Так, шутки ради он выпускает свой первый роман «Уэверли» без подписи; роман имел огромный успех, автора очень скоро раскрыли, но Скотт упорно желает сохранить анонимность и все последующие романы выпускает таким же образом. Он оставался «великим неизвестным», «the Great Unknown», хотя весь мир давно уже знал, кто сочинил эти книги. Однажды его разыскал школьный товарищ, некий Чарлз Керр, и сообщил ему, что в компании офицеров объявил себя автором романа об Уэверли, в котором выведен он сам, во искупление чего он предлагает Скотту драться с ним на дуэли и предоставляет ему право выбора оружия. Скотт заявил, что ничего не имеет против, если Керр объявит себя автором и всех остальных романов, выпущенных автором «Уэверли». Керр с возмущением покинул его дом и прекратил с ним всякое знакомство.

Самолюбивый Скотт лелеял мечту превратить свое поместье Абботсфорд в настоящий средневековый замок, подобный тому, в котором обитали его предки, вожди старинного шотландского клана. Он прикупал земли, руководствуясь при этом не столько соображениями выгоды, сколько любовью к старине. Так, он приобрел ущелье, где якобы когда-то слышали Тома, стихотворца Царицы фей, а вместе с ним обширное, очень неплодородное поле битвы.

В отношении Скотта к деньгам было что-то трагикомическое. Он любил простой народ, ощущал себя человеком из народа, но жил при этом как вельможа, был потцовски щедр к слугам и великодушно поддерживал друзей. Огромные суммы гонораров давали ему такую возможность. Но вдруг, из-за того что его издатели повели дело легкомысленно и безответственно, пятидесятилетний писатель оказался отягощенным огромным долгом в сто пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Многочисленные его друзья из всех классов английского и шотландского общества выразили готовность ему помочь. Но гордость повелевала ему расплатиться с долгом собственным трудом. Писатель Вальтер Скотт в буквальном смысле слова уморил себя работой, потому что ему непременно хотелось прослыть честным дельцом.

В связи с этим я позволю себе небольшое отступление об отношении великих писателей XIX века к деньгам.

В ту пору широкие круги достигли благосостояния, и даже простые люди имели досуг и могли читать книги. Люди посвящали чтению все то время, которое сегодня забирает у них кино, радио и телевидение, и доходы популярных авторов были очень велики. Гете имел мировую славу, но был труднодоступен для чтения и его нельзя было назвать, собственно, популярным писателем; несмотря на это его издатель Коттá смог ему выплатить за период около тридцати пяти лет сто пятьдесят тысяч талеров и девять тысяч гульденов, что по покупательной способности примерно соответствует полутора миллионам эйзенхауэровских долларов. Доходы Виктора Гюго, Бальзака, Сю, Дюма, Скотта и Диккенса исчислялись миллионами. Притом все эти авторы были щедры, или, если хотите, легкомысленны, жили и работали с размахом, легко давали втянуть себя в заманчивые и опасные предприятия, в издательские и театральные авантюры, и нередко, несмотря на высокие заработки, оказывались в нужде. «Скорой помощью» были договоры на будущие книги; писатели брали на себя опрометчивые литературные обязательства, хватались за первый попавшийся материал, писали в спешке и поставляли полусырые

сочинения. Они, так сказать, продавали урожай на корню, приступали к жатве, не дав ему созреть.

Вальтер Скотт не был тут исключением. Он нередко оставлял темы, которые были ему внутренне близки, и выбирал такие, что сулили быстрый читательский успех. «Ни один порядочный человек с дарованием,— писал он в предисловии к одной из своих книг,— не сделает любовь к деньгам главной или даже единственной целью своих трудов. Лично мне очень приятно, что моя работа приносит мне деньги и нравится публике. Но я продолжал бы свой труд и без вознаграждения, ради одной только радости трудиться. Радость творчества есть сильнейшее из всех побуждений. Она вкладывает в руку писателя перо, а в руку художника—кисть, часто без всяких видов на славу или деньги. Возможно, я придаю последним непомерно много значения. Могу с тем же правом, что и другие, заявить, что по натуре я не жаден и не корыстолюбив. Но я не лицемер и признаю, что и меня побуждают к работе те же причины, по которым трудятся, надрываются, жертвуют досугом, удовольствиями, здоровьем и даже жизнью мои ближние».

Так оно и было. Больше всего радости он получал от самой работы, но охотно следовал советам друзей и издателей, которые втолковывали ему, что тот или иной из его проектов можно осуществить быстрее и с большим успехом. И он принимался за осуществление этого проекта, стремясь поскорее его закончить, оставляя в работе огромные пробелы. Кроме того, друзья, к сожалению, бывали чаще всего правы, и наиболее слабые в художественном отношении книги принесли ему наибольший успех.

2

За восемнадцать лет Скотт сочинил тридцать два длинных романа, добрая дюжина которых еще жива в восприятии читателей. Из этого множества я выбрал наудачу один, чтобы заново его перечесть,— тот, что очаровывал меня в былые годы, роман «Приключения Найджела».

В книге имеются все главные признаки, которые вообще свойственны творчеству Вальтера Скотта. Уже история ее возникновения весьма характерна. Скотт работал над исторической книгой, в которой должно было быть опубликовано и истолковано некоторое количество писем эпохи Якова Первого. Когда книга была почти наполовину готова, друзья решили, что грешно не воспользоваться таким прекрасным материалом и что он

скорее пригодился бы для романа. Эта мысль писателю понравилась, и в течение пяти месяцев он сочинил два толстых тома «Приключений Найджела».

Таким образом действие происходит в Лондоне во времена правления Якова Первого, в начале XVII века; однако почти все главные действующие лица — шотландцы, которых привлекло в столицу восшествие на престол первого шотландского короля. Юному лорду Найджелу Гленварлоху грозит опасность потерять родовое имение в Шотландии, так как у него нет денег для выкупа закладной. Он отправляется в Лондон, чтобы получить от короля Якова ту денежную сумму, которую много лет назад, когда король находился в величайшей нужде, дал ему в долг отец Найджела. С помощью ювелира-шотландца ему удастся получить от короля приказ о выплате денег. Между тем фаворит короля лорд Дэлгарно, тоже шотландец, давно имеет намерение завладеть поместьем Найджела, и министры всячески оттягивают необходимые формальности для получения денег. Элегантный, хитрый, лицемерный Дэлгарно сближается с простодушным Найджелом, выдает себя за его друга, вводит молодого наивного дворянина в сомнительное столичное общество, где идет игра на большие суммы, и губит его репутацию. Когда Найджел наконец раскрывает грязные махинации Дэлгарно, назвавшегося его другом, он не в состоянии сдержать себя и наносит ему удар шпагой. К несчастью, это происходит в королевском парке, а в этом святом месте любое насильственное действие влечет за собой по закону жесточайшую телесную кару. Молодому дворянину угрожает опасность оплатить свой проступок потерей правой руки. Он спасается бегством в городской квартал Альсатию, где находят убежище все преследуемые. Вскоре он выходит оттуда, чтобы кинуться в ноги королю; тот, однако, думает, что молодой человек, доведенный до крайности, хочет на него напасть. Лорд Найджел вынужден возвратиться в Альсатию. В конце коварный лорд Дэлгарно разоблачен; лорду Найджелу, после многочисленных невероятных приключений, с помощью влюбившейся в него девушки-горожанки, удастся спасти свое владение, а его бесчестный противник погибает.

Это захватывающее и увлекательное повествование, основное действие которого перемежается с бесчисленными красочными эпизодами. Тут и вызовы на дуэль, и поединки, и сцены во французской ресторации, где изысканный стол и в высшей степени сомнительная игра, тут и сложные денежные аферы, и великолепная разгульная жизнь нищих и опустившихся людей в квартале Альсатия, убийство ростовщика, нападения разбойников, приключе-

ния девушки, переодевшейся пажом, и многое другое. Во «Вступительном послании», которое, как все введения Вальтера Скотта, необыкновенно умно и остроумно, писатель извиняется перед читателем, что его история так растеклась. «Я пытался,—заверяет он,—создать роман, который согласно замыслу должен был бы развиваться постепенно, держать всех в напряженном ожидании, разжигать любопытство и, наконец, завершиться неожиданной развязкой. Но мне кажется, что, как только я начинаю писать, сам демон садится на мое гусиное перо и уводит его в сторону от моей цели. Под моим пером возникает все больше действующих лиц, множатся эпизоды, роман все больше затягивается, в то время как материал растет; мой скромный сельский дом превращается в какую-то причудливую готическую постройку, в романтического монстра».

Поэт преувеличивает. Конечно, эпизоды весьма многочисленны и порой слишком красочны. Но рассказчик держит весь свой превосходно задуманный план в голове, никогда не теряет перспективы, и отступления не заводят его слишком далеко. Основа мощного здания столь солидна, что архитектор может позволить себе рискованные завитки и пристройки.

Автор в этой книге весь отдается радости исторического созерцания и описания; он хочет, чтобы не пропали втуне его основательные предварительные штудии источников, и немного хвастает своей изрядной эрудицией. Убогое существование шотландцев, которых король любит недостаточно, нередко от них отрекается и которых в столичном Лондоне презирают как деревенщин, изображено очень выпукло, и в особенности резко показана противоположность между молодым изнеженным поколением и суровыми, необузданными стариками. Пестрый, изменчивый Лондон эпохи первого Стюарта встает перед читателем как живой со страниц книги, особенно живописен квартал отверженных и нищих Альсатия, с ее старинной привилегией быть убежищем для преступивших закон.

Необыкновенно реальны в этой книге люди. Главный герой лорд Найджел—типичный шотландец и, несмотря на свои романтические приключения, совсем не романтичен. Его волнуют очень конкретные вещи, а именно: деньги, сорок тысяч мерков, необходимых для уплаты долга. Реалист Вальтер Скотт стремится обнажить не только души своих героев, но и точное состояние их финансов. Большую роль в его романах играют всякие юридические обстоятельства: соблюдение точных сроков долговых обязательств—речь идет буквально о минутах, вопрос об ограничении привилегий квартала Альсатия. Вообще-то лорд Найджел вовсе не обладает одними лишь

привлекательными свойствами, он не так уж умен, в решающих ситуациях действует безрассудно и слишком импульсивно, руководствуется скорее чувствами, чем разумом. Он горд тем, что он шотландец, но, с другой стороны, страдает комплексом неполноценности. Он стыдится бедности, поддерживает заблуждение, что живет в своей убогой квартире из-за любовной интрижки, потому что не хочет признаться в недостатке средств, и по той же причине он живет не по средствам. Таким образом у него немало человеческих слабостей, он не возвышается над обычными людьми, но он смел, хороший друг, честен в отношениях с женщинами и, особенно в несчастье, делается даже симпатичен. Он становится лучше, порядочнее, умнее благодаря своим переживаниям. Удивительно мастерство, с которым Скотт показывает развитие его личности. Короткий внутренний монолог, когда лорд Найджел ищет причину всех своих бедствий в себе самом и решает стать независимым от других, превосходен; вообще в лучших романах Скотта люди и события связаны между собой таким образом, что люди развиваются под воздействием событий и в конце предстают иными, более зрелыми, чем в начале.

Не меньшую, чем главный герой, роль играет в книге другой персонаж — золотых дел мастер Джорж Гернот. Писатель с легкой иронией извиняется в предисловии, что, создавая образ этого человека, отклонился от правил. После того как перед этим он поставил в центр романа женщину, лишенную всех тех достоинств, которыми должна обладать героиня романа, он вновь избрал героем лицо столь же малообещающее, человека, который не может претендовать ни на знатность рода, ни на романтическую чувствительность, ни на какое-нибудь другое достоинство, каким наделены обычно герои романов, ни на что, кроме честности, сердечной доброты и высокой нравственности. Шотландский бюргер Джордж Гернот — обладатель двух крепких ног, и он неутомимо, уверенной походкой ходит по враждебному Лондону.

К сожалению, женские персонажи не отличаются такой конкретностью, как мужские. Говоря о любовных делах, Скотт обычно становится неловок, не живописует, а лишь намекает, удовлетворяясь констатацией того, что Маргарет любит юного лорда Найджела, и не дает себе труда вдохнуть в эту любовь жизнь. Возможно, то была оглядка на чопорность общества, в котором он жил и для которого писал. Как всегда в его книгах, Маргарет Рэмзи, влюбленная, которая переодевается в пажа и подвергает себя величайшим опасностям, чтобы спасти любимого, — бледная, безжизненная фигура, и так же обстоит дело со вторым центральным женским образом, с леди Гермидой.

оной, супругой коварного и безнравственного лорда Дэлгарно; она представлена в нарочито романтических тонах, все, что она делает, отдает мелодрамой, не веришь ни одному ее слову.

Уже современники замечали, что Скотт не умеет изображать женщин. Теккерей, который высоко почитал Скотта, разглядел эту слабость мастера острым взглядом соперника; он собрал все, что делает книги Скотта, прежде всего «Айвенго», такими мелодраматическими и сверхромантическими, и высмеял в злой сатире «Ребекка и Ровена». Томас Карлейль пошел еще дальше, он считал, что все персонажи Скотта не более чем марионетки. «Шекспир,— писал он,— начинает творить своих героев от сердца, продвигаясь наружу; Скотт же начинает с кожи и двигается внутрь, но никогда даже близко не подходит к их сердцу. Герои Шекспира—живые люди, герои Скотта—почти машины; это размалеванные автоматы». Суждение Карлейля было поспешно, метко и легковесно. Конечно, быстрота, с которой сочинял Скотт, не оставляла ему времени проникнуть во всех героев своего огромного произведения с одинаковой силой, и иногда он удовлетворялся тем, что создавал марионеток, имеющих единственную функцию—продвигать вперед действие. Но в большинстве своем его герои—люди из плоти и крови. Они в самом деле восстали из собственного прошлого и пополняют живую вереницу наших добрых знакомых.

Как раз в романе «Приключения Найджела» автору счастливо удалась многие эпизодические персонажи. Это громкоголосый слуга лорда Найджела Ричард Мониплайз, который не оставляет своими советами никого, в особенности своего господина, и сразу свирепеет, если кто-нибудь обронит недружественное слово о Шотландии; Ричи, который искренне предан своему господину, но постоянно, от бестолковости и стремления к собственным мелким выгодам, накликает на него все новые беды, хотя беды эти в конце концов оборачиваются добром. Далее, это миссис Садлчоп, жена бедного цирюльника, которая пытается рассеять скуку и скудость своей жизни тысячью нелепых дел, обычно весьма сомнительных, производит много суматохи и немного добра, полна любопытства и всегда оказывается обманутой. Это молодая, кренкая и кокетливая миссис Нелли Кристи, заботливая домоправительница своего мужа Джона, который старше ее на двадцать лет, та, что строит глазки каждому прохожему кавалеру и в итоге попадает в ловушку худшему из них, лорду Дэлгарно. Это уродливый, ожесточившийся и задиристый придворный, бывший прежде в буквальном смысле слова мальчиком для битья при своем повелителе и теперь превратившийся в постылого, назой-

ливого, плохо оплачиваемого придворного шута, сэр Манго Мэлегроутер, истинный Терсит. Но вершиной всего произведения является король Яков, представленный автором с любовью и добродушной иронией «самый мудрейший глупец в христианском мире». За три года до создания «Найджела», когда другой автор потерпел фиаско, пытаясь создать образ короля Якова, Скотт писал: «Юмор этого короля, его хитрость, его педантичность, его важничанье и суетность, его скупость и расточительность, его стремление окружать себя фаворитами, его склонность разыгрывать из себя ученого,—все это делает его одним из наиболее богатых комических характеров истории». В изображении Вальтера Скотта король Яков стал, вероятно, самой забавной фигурой правителя, когда-либо созданной писателями. Уже Маколей считал: «Половину этого короля можно найти у Дэвида Юма, вторую половину—у Вальтера Скотта». Почитатели Скотта идут дальше. Гескет Пирсон с воодушевлением заявляет: «Король Яков—куда более подвижная фигура, чем короли из исторических хроник Шекспира, и гораздо более занятная. Замысел вполне самобытен, воздействие глубоко комично, король Яков принадлежит к самым значительным комическим творениям литературы, и это сделано без всяких преувеличений и театральных эффектов, которые так часто вредят характерам Диккенса. Король Джеймс—поистине фигура, равная Фальстафу».

Это высокая оценка. Но современники этим не удовлетворились и стали сравнивать самого Скотта с Шекспиром. Но здравый рассудок Скотта не изменил ему. «Глупцы сравнивают меня с Шекспиром,—писал он весьма откровенно в своем дневнике.—Я не достоин даже завязать шнурки на его башмаках».

3

Что, однако, придает роману еще больше жизни, чем реальность его персонажей,—это умение Скотта создавать доподлинную историческую атмосферу и погружать в нее читателя. Вальтер Скотт не случайно развертывает захватывающие приключения лорда Найджела—этого Парсифаля, этого Кандида—в Лондоне времен короля Якова, подобно тому, как, скажем, Расин изображает любовную историю Тита и Береники в древнем Риме или Шиллер обращается к истории Беатрисы, «мессинской невесты», происходящей в Сицилии. Лондон с его шотландской колонией является у Скотта не просто кулисой; этот Лондон активно вторгается в повествование, он определяет судьбы героев. Таким образом, Скотт поэтически

воплощает не только перипетии отдельных судеб, но и саму эпоху, саму историю.

Он не гордится этим своим даром, скорее извиняется за него перед читателем. Объясняет, что выбрал эпоху Якова Первого, так как именно в то время произошли решающие перемены, обнажилась противоположность между старым и новым, и это давало автору возможность изобразить редкостные, невероятные судьбы людей, в которых переплетались черты старого и нового времени.

Скотт заставляет своих героев самым естественным образом, без лишних слов, ощутить происходящие перемены и нестабильность своей эпохи. «Кто может считать свое положение прочным при этом дворе? — вопрошает один из персонажей. — Чей доход остается неизменным? Любой человек каждый день оказывается то в проигрыше, то в выигрыше». Другой говорит так: «Отец — старый добрый боевой клинок, заржавевший от долгого бездействия; сын — новомодная шпага, спрятанная в ножнах последнего образца. Но только время рассудит, так ли хорош металл, как он выглядит». Сын говорит о своем отце: «Он принадлежит к старому миру, я — к новому. У него свои причуды, у меня — свои, и чем меньше мы будем обращать внимание на наши различия, тем легче нам будет сохранить взаимное уважение».

Впрочем, поэт, как он сам скромно признается, не имеет намерения представить образ меняющегося времени, изобразить постепенную победу новых, утонченных верхов общества над старыми, дикими и необузданными, показать противоположность между отцами и сыновьями, смену и борьбу поколений. Однако он не только оживляет прошлые времена, его цель более высокая: он представляет историю так, что мы ощущаем ее непрерывное течение, проникающее из прошлого в настоящее и устремляющееся в будущее.

Мы уже указывали на то, что Скотта, хоть он и принадлежал к верхам общества, куда больше интересовали образ жизни и мысли простого человека. Его участливое внимание к простому человеку помогло ему постигнуть истину, что творцами истории являются не отдельные высокопоставленные личности, а массы, народ. «Он поэт крестьян, солдат, отверженных, ремесленников», — говорила о Скотте Жорж Санд.

Вальтер Скотт не был таким уж глубоким мыслителем, он остерегался выстраивать историко-философские системы; вероятно, он даже не сознавал, как революционно его понимание истории. Но он воспроизводил историю художественными средствами. Он создавал образы добропорядочных обычных людей, переплетал их жизни с жизнью страны, делал их судьбы зависимыми от судьбы всех.

Таким образом он создавал свои исторические полотна, создавал историческую атмосферу, распространявшуюся на все без исключения.

Он творил живую Историю. История—его героиня. Книги Вальтера Скотта—это и есть исторические романы в подлинном смысле этого слова.

4

Я так долго задерживаюсь на Вальтере Скотте потому, что лишь немногие в истории литературы столь глубоко повлияли на своих современников и потомков.

Он стал основателем совершенно новой разновидности исторической художественной литературы. Прежние авторы выискивали некие интересные события, связанные с некими выдающимися людьми, и переносили их куда-нибудь в прошлое. Вальтер Скотт творил, погружаясь в глубины истории. Благодаря тому, что героями его были не выдающиеся личности, а обыкновенные, он принуждал читателя проникнуться чувствами этих людей из народа, чувствами самого народа, вникнуть в историю своего народа, в историю как таковую. Скотт в корне изменил историческое сознание общества. Он научил его ощущать и понимать, что история состоит не из дат, битв и государственных действий, но из судеб живых людей и живых народов. Несмотря на то, что герои его—шотландцы, они понятны каждому, они трогают душу, их история, история Шотландии, становится прообразом истории всех времен и народов. Благодаря искусству писателя эти герои волнуют читателей сильнее, чем носители самых громких исторических имен.

Изобразительная сила Скотта, говорил историк Маколей, придает историческим фактам ценность, как золотая оправа—драгоценным камням. А историк Тревельян полагает, что Скотт обучает истории успешнее, чем любой историк. Один выдающийся немецкий педагог славил счастливую Англию, чья молодежь узнаёт свою историю не из учебников, а из произведений двух великих поэтов: Шекспира и Вальтера Скотта.

Скотт, не вдаваясь в теоретизированье, сделался зачинателем нового художественного метода. «Вальтер Скотт дает мне обильную пищу для размышлений,—заявлял Гете,—и в нем мне открывается совсем новое искусство, имеющее собственные законы». Слава Скотта была непомерна. Вся первая половина XIX столетия прошла под знаком трех величайших английских поэтов: Шекспира, Скотта и Байрона.

Сам Скотт был скромн, он не имел особых амбиций.

Он хотел лишь, чтобы как можно больше современников читали его книги. Он не мечтал изменить пути развития мирового романа на все времена, не мечтал о вечной славе. Он мечтал всего лишь об основании собственного клана, клана Скоттов из Абботсфорда. «Эта идея,— пишет муж его дочери и биограф,— осеяла и определяла все его помыслы, все устремления, всю его деятельность». Он не достиг своей цели, не стал родоначальником исторического романа.

Бесчисленные авторы во всем мире были его учениками. Среди англоязычных имен это прежде всего Чарлз Рид и Чарлз Кингсли, Вашингтон Ирвинг, Фенимор Купер, Булвер-Литтон и Лонгфелло—все эти писатели были бы немыслимы без Вальтера Скотта, притом, что, по моему мнению, роман Рида «Монастырь и очаг» кажется сегодня более живым, чем его прообраз—«Айвенго»; и «Гипатия» Кингсли, написанная более ста лет тому назад, тоже не потеряла еще действительности и интереса. Непосредственным продолжателем линии Скотта-романиста, своеобразным завершителем его пути мне представляется Р.-Л. Стивенсон.

В Германии под знаком Скотта возникли тысячи баллад и сотни романов; истинно значительных произведений среди них не было. Из настоящих художников слова наиболее сильно его влияние испытал Теодор Фонтане. Непредставимы без Скотта и великие русские писатели—Пушкин и Гоголь, хотя по масштабу своего дарования оба значительно его превосходят. Но ошутимее всего было его воздействие на писателей Франции. Вожди романтической школы—Виктор Гюго, де Виньи, Мериме, Дюма—восторженно признают себя его учениками. Бальзак при случае критикует его любовные сцены как слишком чопорные, говоря, что Скотт был стеснен лицемерием английского общества, но он же хвалит созданную им форму исторического романа, считая ее единственно возможной. Молодой Бальзак подражал ему в романе «Шуаны», некоторые главы оттуда—поистине рабская имитация глав из «Редгаунтлета» Скотта, и Бальзак всегда сознавал, что своеобразие его собственного творчества—это плод его художественного единоборства с творениями Вальтера Скотта. Последний, как считал Бальзак, хотел сделать историю зримой. Даже такой художник, как Флобер, по сути своей вполне чуждый Вальтеру Скотту, говорит о герое своего автобиографического романа «Сентиментальное воспитание», а следовательно и о себе самом: «Чтение Скотта оказало на него столь сильное воздействие, что он ощутил непреодолимую потребность создать нечто подобное. Честолюбие завладело им, он хотел стать в будущем французским Вальтером Скоттом».

Но величайшего своего последователя, создателя произведения, которое далеко превзошло его собственные, Скотт обрел в Италии в лице Алессандро Мандзони, автора «Обрученных».

«Обрученные» — настоящий исторический роман. Конечно, на первом плане здесь история двух влюбленных, Ренцо и Лючии, преследования, которым они подвергаются со стороны могущественного феодала дона Родриго, их спасение благодаря помощи кардинала Борромео и монаха Христофора, но истинная героиня романа — Ломбардия XVII века, ее существование под властью испанских угнетателей, волнения из-за дороговизны, чума. Роман состоит из отдельных крупных эпизодов, объединенных общностью героев, и вместе с героями читатель переживает неумолимость, безжалостность, с которой политика, история обрушиваются на отдельного человека — на того, кто действует, и на того, кто пассивно претерпевает ее удары. Глубокое проникновение Мандзони в историю сказывается прежде всего в том, что он без многоречивости воплощает в прошлом сегодняшнюю судьбу страны, вечную тему итальянской истории — господство чужеземных поработителей. Его глубокое возмущение хозяйничаньем австрийцев на его разорванной родине выражается не в длинных речах, а в образе Ломбардии XVII века. Благочестивая вера художника в будущее и в прогресс также находит здесь свое художественное воплощение. Когда угнетатели в конце романа погибают от чумы, а преследуемые остаются в живых, это воспринимается не как искусственная счастливая развязка, но как осознанная истина.

Фабула — судьба любящих и судьба страны — выстроена великолепно, одно стыкуется с другим, действие развивается плавно, беспрепятственно, ничто не кажется надуманным, насильственно сконструированным. Гнев писателя и его глубокое благочестие налицо, но это частное мнение автора, оно не навязывается читателю, а всегда находит естественное воплощение в образах. В мировой литературе много выразительных описаний чумы, но ни одно не действует на читателя с такой потрясающей силой, как описание чумы в Милане у Мандзони.

Образы людей в «Обреченных», созданные без чрезмерного психологизма, своими отдельными чертами вызывают еще больше симпатий, чем герои Скотта. Мандзони также был аристократом, но он был близок народу не только своими чувствами, но и разумом. Подобно Скотту, он нередко балансирует на грани сентиментальности; но его многострадальная Лючия во всех ситуациях остается реальной, неромантической крестьянской девушкой из плоти и крови. Мандзони умел обуздывать свой гнев против

наглых австрийских захватчиков с помощью разума. Но именно контраст между все сносящим терпеливым народом и жестокими угнетателями придает его книге боевой дух. И хотя благочестие порой ослабляет остроту его зрения, читатель сразу же забывает об этом благодаря мудрому, прозорливому юмору. Ибо идеализированному отцу Христофору противостоит в романе священник Аббондио; каждый раз он мнется и трусит при появлении малейшей опасности и вновь строит из себя героя, как только она миновала. Это человек заурядный, каких много, но он изображен художником с любовью, юмором и некоторым чувством превосходства; это младший брат Санчо Пансы, столь же бессмертный, как и его прообраз. Мы встречаем тысячи ему подобных в наше время. И энергичная служанка отца Аббондио, Перпетуя, также по праву вошла в поговорку. Все многочисленные образы простых людей в романе отличаются округлостью и подавляющей телесностью, — но ни один из них не выведен ради себя самого, каждый является органической частью огромного целого, частью Ломбардии, частью Италии, частью собственной истории, и изобилие подобных образов заслоняет немногие сверхблагородные фигуры.

«Обрученные» имели не меньший успех, чем романы Скотта. Гете писал: «Читая этот роман, все время испытываешь то растроганность, то восхищение, потом опять от восхищения вновь переходишь к растроганности, и так до самого конца тебя волнуют большие чувства, им вызванные. Думается, лучше нельзя было написать роман. Только в нем по-настоящему открылся Мандзони». Пьетро Джордани, великий «литературный папа» Италии, называл это произведение явлением поразительным, божественным, утешением национального духа и требовал, чтобы его повсюду читали, во всех церквах и на постоялых дворах, читали вслух и заучивали наизусть все от мала до велика. И Джузеппе Верди посвятил свой реквием памяти Мандзони, величайшего гения века.

Станным образом, в то время как роман вызвал к жизни многочисленные подражания — даже сам Вальтер Скотт подражал ему в своей «Пертской красавице», — Мандзони не создал второго исторического романа, и «Обрученные» остались в его творчестве одинокой вершиной.

Мы знаем источники романа, это творения ломбардских народных поэтов; нам известен также непосредственный источник, документ от 15 октября 1627 года, принадлежащий перу испанского правителя Ломбардии, из которого взяты основные наброски фабулы. Но образцом, на который ориентировался в своей работе Мандзони, было

творчество Вальтера Скотта. И хотя как драматург Мандзони постоянно бунтовал против строгих правил французского классицизма, свою зависимость от Вальтера Скотта он охотно признавал, а когда Скотт посетил Милан, Мандзони скромно и почтительно объявил себя его благодарным учеником. Вальтер Скотт на это ответил: «Тогда ваш роман—мое лучшее произведение».

Скотт был прав. Роман Мандзони в действительности является самым сильным из того, что создали Скотт и его школа.

15

Романы Скотта были новым, революционным явлением. Но, разумеется, дело обстояло не так, что Скотт неожиданно вторгся в литературу уже сложившимся, зрелым писателем. Ему было сорок два года, когда он опубликовал свой первый исторический роман; вообще исторические романы редко создаются молодыми авторами. Скотт пристально изучал старину, он увлекался историческими «романами ужасов» Уолпола и Анны Радклиф, с восхищением читал немецкие и английские баллады—переводил немецкие баллады на английский язык и сам сочинял баллады и поэмы, снискавшие широкую известность. Но, парадоксальным образом, наиболее решающее и длительное воздействие на него оказало произведение, внутренняя суть которого была и неизбежно оставалась ему чуждой,—драма Гете «Гец фон Берлихинген с железною рукою». Скотт перевел эту драму, часто говорил о глубоком впечатлении, которое произвело на него юношеское творение Гете, воспроизводил отдельные ситуации «Геца» даже в поздних своих романах. Английское литературоведение также признает значение «Геца» для творчества Вальтера Скотта, иногда, правда, в весьма странной форме. «Гетевский «Гец»,—пишет, например, Альфред Трессайдер Шепард,—действительно оказал существенное влияние на исторические романы Скотта, хотя само это произведение довольно незначительно».

Видимо, Скотта очаровала в «Геце» манера Гете, его способ поэтически отображать историю. Драма Гете выходит за рамки театральной пьесы, скорее это роман в драматической форме, вобравший в себя целую эпоху и дыхание истории. Но подход юноши Гете к национальной истории не имеет ничего общего с методами работы зрелого Вальтера Скотта. Гете не занимался длительным изучением источников, о Германии, которую он изобразил, знал мало или почти ничего, Германия Геца была

главным образом порождением его собственной фантазии. В Германии начала XVI столетия нищающая феодальная аристократия вела борьбу с набиравшим силу бюргерством; Гете же создал, по сути, романтическую страну средневековья, по которой он тосковал среди окружающего его политического убожества. Конечно, все внешние признаки эпохи налицо: император, ландскнехты, духовные князья, цыгане, восставшие крестьяне и даже гуманист—своего рода диковина, наподобие Мартина Лютера,—который подает несколько славных реплик. Все это выдуманно от начала и до конца. Очень молодой поэт, еще не обтесанный столкновениями с реальной действительностью, видит вещи отчетливо, но только так, как ему хочется их видеть. Автор *переживает* историю, и это переживание передается другим. Секрет воздействия здесь совершенно иной, чем в романах Вальтера Скотта, он основан на непосредственном воздействии индивидуальных переживаний автора.

«Гец»—творение бунтаря. Гете выплескивает здесь наружу все, что волнует его душу, ничего не переиначивает, не сглаживает, он и собственную жизнь ощущает как последовательность «ударов и жизненных потрясений, внезапных извержений вулкана», и точно такую же жизнь он хочет изобразить в своем произведении. Он бунтует против границ, которые поставлены ему повсюду, бунтует против границ трехсот немецких карликовых государств. Он изображает «времена, // когда Германия разобщена, // а скиптр, и жезл епископский, и меч // враждебны, злобою полна их речь... и на земле прекрасной лишь разбой, // алчба, насилье спорят меж собой». Поэт создает образ немца, который посреди всего этого хаоса и надрыва ощущает мучительную потребность быть справедливым. «Гец»—это «буря и натиск», это бунт против собственной эпохи, ее жизненных условий, ее образа мыслей, ее искусства. В особенности это касается искусства: поэт восстает против французского классицизма, против драмы Вольтера и пресловутых «трех единств», каждое из которых способно стеснить и удушить все правдивое и естественное; театру Вольтера он противопоставляет Шекспира и его великолепную свободу от правил. Гете стремится создать немецкую историческую хронику по образцу исторических хроник Шекспира. Он не заботится о сценичности, о последовательности действия, он творит бурно и свободно, подталкиваемый своими бунтарскими помыслами.

Далее, согласно указанию автора, следует вставка из первоначальной редакции.>

Должно было совпасть очень много обстоятельств, чтобы возник «Гец». Как раз в то пятилетие для немецкой

молодежи стала непереносима литературная диктатура Франции. Гете, как и многие другие, жаждал освободиться от тесных рамок французской формы, от фальши и гладкости классицистической манеры. Он узнал Шекспира и пришел в восхищение от величия и необузданности этого поэта. Он прочел шекспировские исторические хроники, оценил их масштабность и вольность формы, ощутил силу, почерпнутую из живого прошлого страны, в которой жил поэт. Сам Гете жил в те годы в Страсбурге и впервые открыл для себя немецкое искусство Страсбургского собора. Он болезненно ощущал убожество немецкой юриспруденции, раздробленность отечества, его прельщала вольная, пестрая романтика того прошлого, которое столь энергично восставало против подобного же убожества. В таком настроении он случайно заполучил в руки и прочел «Жизнеописание Готфрида фон Берлихингена».

Надо сказать, что эта автобиография вовсе не является значительным произведением, скорее это жалкая попытка самозащиты довольно-таки заурядной и сомнительной личности. Вероятно, прочитай Гете эту книгу пятью или десятью годами позже, он остался бы к ней равнодушен. Но именно в тот год Гете был особенно чувствителен к судьбам из немецкой истории, и здесь он как раз наткнулся на подобную судьбу, тесно вплетенную в ту яркую эпоху немецкого прошлого, которая так манила его.

При возникновении большинства художественных произведений обычно и происходит взаимодействие событий, которые глубоко связаны с внутренним существом поэта и его взглядами, и разных мелких, случайных обстоятельств. Вполне возможно, что в том году, в пору его особой восприимчивости к немецкому прошлому, Гете натолкнулся бы среди прочитанного на другую фигуру, более ему близкую, чем Готфрид фон Берлихинген. Скажем, это мог бы быть Ульрих фон Гуттен или Тильман Рименшнейдер. Но ему повстречался Гец. Он всмотрелся в него, те или иные черты ему понравились, понравился старинный язык; быстрая, необычайно богатая фантазия поэта мгновенно преобразила этого человека, придав ему черты немудреного героизма и чрезвычайной мужественности. При этом он отнюдь еще не был той фигурой, к воплощению которой Гете побуждала бы его внутренняя суть. Гораздо ближе ему были Вейслинген, Франц, Адельгейда — образы противоречивые, как сам поэт, одержимые своим демоном; их молодой Гете, в противоположность цельному и сильному Гецу, изобретал свободно, извлекая из собственного внутреннего мира, из своей фантазии.

Его источником было «Жизнеописание господина Геца фон Берлихингена, написанное им самим по желанию благородных господ и друзей». Притягивало Гете в этой книге то, чего в ней, по сути, не было, и что должен был в нее внести он сам. Он хотел противопоставить своему жалкому мелкому времени образ крупного человека. Так, он пишет другу: «Я воссоздаю в драматической форме историю одного из благороднейших немцев... надеюсь немало Вас развлечь, представив Вам вживе благородного нашего предка (которых мы, к сожалению, знаем только по именам на могильных памятниках)». Однако, Гец, который сходит со страниц «Жизнеописания», весьма мало напоминает благородного мужа, и «свобода», которую он имеет в виду, есть лишь красивое наименование для рыцарского разбоя. Характерно, что поздний Гете смотрит на него по-иному. Он характеризует его так: «Он помогал и вредил, в зависимости от обстоятельств; то жертвовал собой, то губил своих людей, в смятении творил право и бесправие». Но и молодой Гете очень скоро понял, что образ мужа «с железной рукой», при всей идеализации, не мог воплотить то, что таилось в груди поэта. Он заставляет своего Геца сражаться с целой эпохой. Противопоставляет ему людей, которых извлек из глубины своего «я»: Вейслингена, пламенного юношу Франца, а более других — «роскошное чудовище» Адельгейду, существо, подобных которому он более не создавал, но которое ему необыкновенно удалось. Но главное — он воссоздает при этом целую эпоху, и если, пока он работал, он все время стремился написать историю Геца, то в старости он судит о своем произведении совсем иначе. Тогда он сам подчеркивает, что хотел изобразить именно эпоху: «где на земле прекрасной лишь разбой, // алчба, насилие спорят меж собой, // и где мужик опасно возбужден, // а двор попа обманом лишь силен, // где муж бесчестный выгоду сорвет, // а женщины пускают чары в ход, // где шатко равновесье и судьба, // сильны интриги, сила же слаба».

Поэт не думает о том, что таким образом он взрывает изнутри драматическую форму. Он и не стремится создать драму, он пишет роман в драматической форме, который насквозь эпичен, несмотря на диалогическую оболочку. Гетевский «Гец» в действительности стал первым историческим романом за пятьдесят лет до Скотта.

К тому же это творение поэта-штюрмера от первого и до последнего слова. Все здесь почерпнуто непосредственно из души поэта, многочисленные действующие лица — вполне живые люди, они говорят не как герои из какой-нибудь прежней книги, а совершенно естественно. Речь, которую Гете вкладывает в их уста, это речь людей

из народа. Но Гете далек при этом от вульгарности, он пользуется своим собственным языком, сгущает его и поэтизирует. Столь же мало, как о последовательности действия, заботится он о правилах грамматики. Он ставит рядом свой индивидуальный язык, язык народа и язык «Жизнеописания Геца», и все эти языковые слои перемешиваются и взаимодействуют.

Когда он затем перечитывает рукопись, возникшую в результате страстной, безотрывной полуторамесячной работы, у него дух захватывает от собственного бунтарского небрежения всякими правилами, от собственной мощи. Посылая свое произведение другу Гердеру, он называет его «эскизом, который хотя и набросан кистью на полотно, а кое в каких местах даже и выписан, но все же не более чем эскиз». И когда Гердер против многого возражает, он сразу же принимает его возражения, кое-что смягчает, кое-что изменяет, вычеркивает некоторые дерзости и особенно резкие бунтарские речи.

Молодой Гете сначала опубликовал «Геца» в смягченной редакции, а тот, первоначальный, «эскиз» отдал в печать лишь в возрасте восьмидесяти лет. Сегодня мы сильнее всего ощущаем всю гениальность его рывка в первоначальном эскизе, а не в последующих вариантах. Нас и теперь захватывает непосредственность этого первого наброска, беззаботность поэта при построении целого, при создании людских персонажей, при выборе слов.

Сам Гете внутренне очень быстро отошел от этого произведения. Он все отчетливее воспринимал «Геца» как нечто противоречащее его внутреннему существу. Мир «Геца» сделался ему чужд. Он не ощущал уже так непосредственно чисто национальных немецких мотивов, волновавших его во время короткого страсбургского периода, когда он писал «Пра-Геца». Перерабатывая впоследствии своего «Пра-Фауста», Гете писал Шиллеру: «Некоторые сцены из-за своего натурализма и силы совершенно невозможны в сочетании с другими». Несомненно, стареющий Гете точно так же судил и о первоначальной редакции «Геца». И доказательство тому — последующая переработка «Геца» для сцены. Гете никогда более не ощущал желания написать что-либо сходное с «Гецем».

Когда это произведение появилось впервые, еще не слишком искаженное обработкой, молодежь восприняла его как захватывающее новаторство. Поэт Бюргер, автор знаменитой баллады «Ленора», прославлял Гете в экзальтированных выражениях как немецкого Шекспира, который смело и благородно растоптал жалкий свод правил; сам Бюргер немедленно добавил три строфы к своей «Леноре». Многие были столь же воодушевлены, но как

раз два величайших современника, Лессинг и Фридрих Второй, отнеслись к «Гецу» прохладно и даже враждебно. Прусский король в своем полемическом сочинении, направленном против немецкой литературы, приводит «Геца» как доказательство безвкусицы немцев. «Можно простить Шекспиру,— пишет он,— его причудливые экстравагантности. Но тут появляется «Гец фон Берлихинген», уродливое подражание этим скверным английским пьесам, и партер рукоплещет и требует повторения отталкивающих пошлостей». Лессинг же так судит о «прекрасном монстре», как он именует «Геца»: «Поэт, который разбивает жизнеописание человека на диалоги и провозглашает это драмой, не лучше того, кто набивает кишки песком и продает как веревки».

Как сильно ни захватил «Гец» немецкую молодежь, подражателей было немного, и они скоро умолкли. Гете и сам не пошел дальше по пути, намеченном его юношеским произведением, и в течение десятилетий его драма не перешагнула немецких границ. Только через двадцать шесть лет после появления, в 1799 году, «Гец» был переведен на английский язык, и перевод этот принадлежал перу Вальтера Скотта.

6

Наводит на размышление тот факт, что гетевский «Гец», появившийся за сорок лет до первого исторического романа Вальтера Скотта, оказал на литературный процесс столь малое влияние, а романы Скотта—столь огромное. В очень богатой литературе о творчестве Гете и Скотта этот поразительный феномен никак не разъясняется. Единственный автор, который его затронул,—это Георг Лукач в своей книге «Исторический роман».

Несколько слов об этой книге, единственном серьезном труде среди немногих, что занимаются сутью и развитием исторического романа.

По Лукачу, происхождение и развитие, подъем и упадок исторического жанра суть необходимые последствия больших общественных переворотов, а проблемы формы исторических литературных произведений—это художественное отражение тех же общественных переворотов. Эта теория звучит поначалу очень увлекательно, но, будучи примененной ко всем случаям, оказывается неверной. Лукач, художественный критик с весьма здравыми суждениями, конечно, знает, что искусство любого истинного писателя возникает из очень многих предпосылок и что темперамент и своеобразие творческого дарования не могут не влиять на характер творчества. Но в

удоду своей систематике он все время забывает об этом и с помощью произвольных толкований насильственно втискивает тот или иной исторический роман в свою схему.

Не подлежит сомнению, что большие исторические потрясения в своей стране, в свою эпоху нередко побуждали писателей к созданию крупномасштабных исторических полотен. Так, подъем и укрепление древнеизраильского государства побудили Ягвиста и Элогиста к созданию, на основе смутных преданий праотцев, великих исторических поэм. Зарождение империи подтолкнуло и Вергилия к сочинению национального эпоса — «Энеиды». Завоевание Нового Света благодаря Кастилии и Леону способствовало возникновению драм Лопе де Веги и Кальдерона. Победоносное сопротивление елизаветинской Англии притязаниям испанцев породило исторические хроники Шекспира.

Но все эти примеры и аргументы можно убедительно опровергнуть столь же многочисленными обратными примерами. Коренное преобразование всего Востока в результате похода Александра Македонского не породило исторических литературных произведений мирового уровня. Бесследно прошли в этом отношении и основание Священной Римской империи Карлом Великим, и успешное восстание Нидерландов против Испании, и установление французской гегемонии в Европе при Людовике Четырнадцатым, и даже сама Великая французская революция. С другой стороны, исторические произведения мирового значения возникали и без таких стимулов. Мне приходит на ум замечательный эпос скандинавов, к примеру, исторические романы Енса Петера Якобсена, Сельмы Лагерлёф, Сигрид Унсет и Лакснесса, драмы Ибсена и Стриндберга.

Поэтому как ни привлекательна гипотеза Георга Лукача, она не универсальна, ибо весьма коварна. Тем не менее она способствует все новым поразительным открытиям относительно природы исторической художественной литературы. Обычно на Лукача ополчаются, когда он хочет доказать, что так непременно должно было быть, но с ним почти всегда соглашаются, когда он показывает, что так могло быть, и приводит те или иные причины, почему могло быть так, а не иначе.

Еще одно обстоятельство делает сомнительным тезис Лукача. Нередко он смешивает большие исторические движения и национальные движения, историческое сознание и патриотизм. Но подобно тому, как историческое сознание вовсе не всегда может стать источником исторического сочинительства, так и патриотизм не всегда порождает историческое сознание. Во все времена бывали философы и поэты, которые обладали историческим

сознанием, но не были патриотами. Да, как бы еретически это сегодня ни звучало, бывали в истории долгие периоды, когда патриотизм вовсе не считался добродетелью, а воспринимался скорее как недостаток.

Нас интересует прежде всего восемнадцатый век, время, которое непосредственно предшествовало эпохе Вальтера Скотта. Этому столетию патриотизм всякого рода был чужд. Просвещение XVIII века основывалось прежде всего на мировосприятии гуманистов. Большинство же великих гуманистов чувствовали себя привязанными не к стране своего рождения, а к общей своей родине—образованию, базирующемуся на античности. Они чувствовали себя космополитами, ощущали свое духовное родство, их объединяла образованность, позволявшая им противостоять огромной массе невежд, и общий язык, отделявший их от всех остальных,—латынь. То же самое характерно для поэтов и мыслителей XVIII века, которые ощущали себя законными наследниками гуманистов. Высшими добродетелями у них считались «философия», рационализм и гуманистический разум. Их родиной была «республика ученых», а сами они были гражданами мира. Любовь к родине воспринималась как нечто ограничивающее и косное, тоска по родине именовалась «швейцарской национальной болезнью».

Согласно Энциклопедии, патриотизм—это добродетель исключительно античных республиканцев, а со времен Цезаря словом «*patria*»¹ злоупотребляли честолюбцы в своих преступных целях. Руссо, который писал в те годы самую прекрасную и сильную французскую прозу, называл себя «гражданином города Женевы», а родиной своей объявлял природу. Вольтер рассуждает о любви к отечеству в блестящей главке «*Patrie*»² своего «Философского словаря», и это понятие не вызывает у него ничего, кроме насмешки, скепсиса и ненависти.

Это вовсе не означает, что названная эпоха не обладала историческим сознанием. Но это сознание было тогда несколько смещенным. В понимании человека, который считался величайшим поэтом и мыслителем эпохи, то есть в понимании Вольтера, история была всего лишь культурно-историческим развитием. В своем сочинении «Век Людовика XIV» он не восхваляет возросшее могущество своей страны, но находит захватывающие слова для характеристики прогресса Франции в сфере искусства и литературы. И другие выдающиеся исторические труды Вольтера следуют этому же тезису, а исторические драмы переносят великие идеи его времени в прошлое, мерят

¹ Отечество (лат.).

² Отечество (фр.).

историю современными ему идеалами. Именно потому нам, людям сегодняшнего времени, все его драмы кажутся чуждыми, даже те, что вызывали наибольшее восхищение современников,— «Смерть Цезаря» и «Магомет», который был настолько близок историческому сознанию Гете, что он с любовью перерабатывал его для немецкой сцены.

Если современники Вольтера высоко ценили его драмы, то их восхищению двумя его эпическими поэмами просто не было границ. «Генриада» и «Орлеанская девственница» считались бесспорно самыми великими историческими художественными творениями того времени, многие называли их величайшими эпопеями всех времен и народов. Фридрих Великий < обычно Л. Ф. пишет: Фридрих II > объявил, что одна песня «Генриады» стоит больше, чем вся «Илиада».

Мы, потомки, более не разделяем этого энтузиазма. Если другие исторические произведения Вольтера еще сохранили для нас некоторые отзвуки прежней, хоть и чуждой нам жизни, то вышеперечисленные эпические поэмы умерли раз и навсегда. Мы спрашиваем себя, почему это так. Первая поэма изображает злодеяния Варфоломеевской ночи и подвиги Генриха IV. Вольтер, пламенный враг всякой нетерпимости, клеймит в сильнейших выражениях католических фанатиков-убийц и славит великого, исполненного терпимости короля. Но длинная эпопея остается в целом произведением риторическим, аллегорическим и даже нейтральным. Злодеи-фанатики лицемерно заманивают своих миролюбивых противников якобы на праздник примирения, чтобы коварно их там убить; но Вольтер не видит, что здесь французы убивают французов, что естественные узы, соединяющие убийц и убитых, порваны. Король Генрих побеждает своих противников и принуждает их к повиновению, но это остается его личным деянием. То, что Генрих объединяет раздробленную Францию в мощное государство, также ускользает от внимания Вольтера. Для него важна лишь веротерпимость Генриха. А ведь Генриха нельзя представить себе без французского народа. Действие же поэмы Вольтера могло бы разыгрываться в любой другой стране. В деяниях Генриха живет история Франции. Но Вольтер не дает нам ни истории, ни Франции, его Генрих лишен опоры, он парит и размахивает руками в пустоте.

Другая поэма Вольтера, «Орлеанская девственница»,— скабрезная сатира на материале судьбы Жанны д'Арк,— нам уже вовсе непонятна. Вольтер видит в Орлеанской деве всего лишь «служаночку, которая покидает свой кабачок в поисках приключений», а в ее невероятном влиянии— доказательство столь же невероятной глупости

народа. Как мог писатель такого масштаба, человек, наделенный столь острым умом, столь пламенным красноречием, столь блистательным юмором, наделенный всеми великими добродетелями своего народа,—как мог подобный человек так досадно ошибаться? И тут мы снова приблизились к исходному пункту нашего труда. Дело в том, что взгляды Вольтера полностью совпадали со взглядами его современников: они славил «Девственницу» не меньше, чем «Генриаду», они считали, что эта поэма превосходит все творения Аристофана и Ариосто. Они не чувствовали, что усилия Вольтера здесь тщетны. Вольтеру удавалось изображать исторические личности, лишь когда он мог наделить их индивидуальными политическими мотивами; так, ему удался Магомет, удался Цезарь. Но когда он пытался изобразить людей вроде Генриха или Жанны д'Арк, которых можно понять, лишь рассматривая их в неразрывном единстве с народом, у него получались не люди, а неодушевленные куклы. Он не разглядел того единственного, чем можно было объяснить деяния Генриха, деяния Жанны и их глубокое воздействие на окружающих. Мысль, что Генрих и Жанна д'Арк действовали подобным образом из любви к Франции, к своему народу, казалась Вольтеру и его современникам пустой болтовней.

Историческое сознание немецких писателей XVIII века не отличалось от взглядов французов. Национальное чувство было им тогда столь же чуждо. Король Фридрих Прусский, бывший в глазах мира величайшим немцем, говорил и думал по-французски, чувствовал себя французским писателем и насмехался над робкими попытками создать немецкую литературу. Писатели ощущали себя гражданами мира. Отличавшийся терпимостью Лессинг раздраженно писал Глейму: «У меня нет такого понятия, как любовь к отечеству, она кажется мне не более чем героической слабостью, без которой я с удовольствием обхожусь». Гете считал свой короткий штюрмерский прорыв в стихию национального юношеским увлечением и был холодно недоступен для всякой патриотической страстности. «Стать нацией вы, немцы, надеетесь напрасно!» — бросил он своим соотечественникам, и если после «Геца» он писал исторические произведения, то обычно брал материал из истории других народов. Когда Шиллер показывает свою родину в «Валленштейне», то это несчастная, разорванная Германия, а если, как в «Телле», провинция стремится отделиться от Германской империи, поэт славит это как стремление к свободе. В других же случаях действие его больших исторических драм перенесено в чужие страны: в Италию, Испанию, Англию, Францию и Сицилию.

Как же было возможно, что в таком космополитическом мире смогло возникнуть столь высоконациональное произведение, как «Гец», стоявшее одиноко даже в творчестве своего создателя?

Должно было совпасть очень много разных обстоятельств, способствовавших появлению «Геца», большей частью случайных,—мы еще поговорим об этом ниже и по другому поводу. «Гец» мог быть написан только во время короткого страсбургского студенческого периода Гете. И как раз враждебная позиция по отношению к Вольтеру позволила Гете увидеть народ. Даже в Германии «Гец» мог оказывать влияние только в течение короткого пятилетия после своего возникновения, это влияние не могло продолжаться далее, а вне границ немецких государств это произведение Гете неизбежно должно было оставлять читателей равнодушными до конца столетия.

И вот мы снова приблизились к вопросу: как могло случиться, что такое мощное поэтическое творение, как «Гец», осталось без воздействия, в то время как романы Вальтера Скотта поистине произвели революцию в мировой литературе? Это случилось потому—здесь я следую рассуждениям Георга Лукача, которые в данном случае кажутся мне убедительными,—что в течение тех пятидесяти лет, которые разделяют появление «Геца» и «Уэверли», произошло полное изменение исторического сознания общества. Потрясения французской революции, создание национальных армий, наполеоновские войны пробудили в обществе интерес к массовым движениям и к отечественной истории. Нации обрели исторический опыт. Возникла потребность в значительных литературных произведениях национального содержания. И вот тогда-то, как раз в нужное время, появились произведения Вальтера Скотта. Они выразили то, что все чувствовали, но что еще не было сказано: история есть не случайное, беспорядочное переплетение отдельных судеб, а судьба целого, судьба народа, судьба масс. Повсюду в мире читатели проявили огромный интерес к истории Шотландии, которую рассказал им Скотт, и выразили готовность воспринять ее как притчу, как подобие своей собственной судьбы. Его романы попали в нерв эпохи. То, что он рассказывал, было ново и удивительно верно. Все чувствовали: да, такова история, такова наша собственная история.

Гетевская Германия кажется достоверной потому, что великий поэт, создавая ее, сам в нее верил. Шотландский ландшафт Вальтера Скотта не только кажется достоверным, он материален и осязаем, народ Шотландии вырос на этой земле, кормится ею, он здесь живет, и поэт—часть

этой живой массы. Его патриотизм не риторика, его любовь к отечеству не случайный порыв, эта любовь вполне конкретна. Вальтер Скотт заставляет читателей ощутить связь народов с их родной землей, заставляет задуматься, что такое, собственно, история. Благодаря этому Вальтер Скотт и стал первооткрывателем исторического романа в истинном смысле этого слова.

Я должен еще определить, что я понимаю под «историческим романом в истинном смысле этого слова».

Эту разновидность первым выделил тот же Георг Лукач. Он проводит различие между историческими романами, в которых общественно-нравственные проблемы изображаемой эпохи являются органической частью действия, и такими, которые всего лишь «предлагают некую историческую тематику». В этих последних автор пересаживает людей, ситуации и идеи, которые его интересуют, в какое-нибудь прошлое время, но при этом вовсе не стремится показать, как определенная уникальная временная тональность влияет на людей и события. В таких произведениях мы имеем всего лишь историческую тематику, тогда как в исторических романах в истинном смысле слова и герои и действие обусловлены эпохой.

Георг Лукач — человек с художественным чутьем, он нередко признает достоинства романов, основанных всего лишь на исторической тематике, если они созданы настоящим творцом. Но сама идеология и подход Лукача толкают его на то, чтобы переоценивать исторические романы в истинном смысле этого слова. Тем не менее такая классификация полезна.

Большинство существующих исторических романов являются таковыми весьма условно. Это не уменьшает их художественной ценности. Внутренняя суть человека остается неизменной на протяжении тысячелетий. Без признания этого факта всякое историческое сочинительство утратило бы внутреннюю правду, и это дает автору право переносить героев в любую эпоху, причем он может отказаться от ее художественного воплощения. Писатели, создающие исторические произведения в истинном смысле слова, сильно, а иногда и неоправданно затрудняют себе задачу. Они исходят из того, что если не суть человека, то большинство людских жизненных проявлений определяется специфическим характером эпохи. Если им удастся поэтически воплотить эту истину, не перегрузив повествование мелкими внешними приметами и подробностями, тогда их герои обретают новую, высшую степень реальности.

Вальтер Скотт почувствовал это и сумел добиться художественной реализации этой истины, раскрыв на нее глаза миру. Благодаря этому он и стал творцом современного исторического романа.

Я знаю, что ворошу осиное гнездо, пытаюсь дать здесь хотя бы краткий обзор исторического романа американцев. Но убежден, что такой попытки еще не предпринималось, и, хотя все американские книги в Европе широко известны, их оценка в контексте истории американской литературы полностью отсутствует.

Соединенные Штаты Америки имеют короткую, но очень бурную историю. Фридрих Геббель считал, что немцам трудно создать великую национально-историческую эпопею потому, что их важнейшие политические движения, как то: Реформация, Крестьянская война, оказались практически «безрезультатными». С крупными политическими движениями в Америке дело обстоит совершенно иначе. Американскую революцию, освоение Дикого Запада, Гражданскую войну, индустриализацию, развитие всемогущих корпораций — все это никак нельзя назвать «безрезультатным». Следовательно, в этой стране были налицо предпосылки для создания значительных литературных произведений исторического содержания.

Америка с самого начала стремилась осознать себя и свою историю. В результате возникла богатая литература, как чисто историческая, так и художественная на исторические темы. Почти сразу же после завершения Войны за независимость литература взялась за изображение событий национальной истории. Однако писатели страны, столь гордой своей независимостью, ощущали свою сильнейшую зависимость от европейской литературы. Их темы были, по сути, новы, но они не искали и не находили для них оригинальной формы, а использовали старые европейские образцы.

Бурлескная «История Нью-Йорка» Вашингтона Ирвинга возникла уже через поколение после провозглашения независимости и изображает борьбу голландских колонистов, основателей Нью-Йорка, — с янки, которые в конце концов победили голландцев и отобрали у них город. Ирвинг пережил то, о чем пишет, он видел этот Нью-Йорк, где голландцы и янки боролись друг с другом; при этом он отчетливо сознает исторический характер своего повествования и успешно пародирует приемы историков, описывающих прошлое и современность. Но он пропитывает жестокою, дикую, порой истинно гротескную и всегда очень американскую историю юмором Жан-Поля, благостным, спокойным и всеохватным, правда, не столь глубоким, как у последнего; он искажает неумолимо

жестокую реальность, рисуя ее в приятных и добродушных тонах. Уже внешняя форма заимствована писателем у Жан-Поля, а его Дитрих Никербокер, образ, который жив и поныне,—это типичный персонаж немецких романтиков. То же можно сказать и о другой бессмертной фигуре, созданной Ирвингом,—об образе Рипа ван Винкля. Этот тип принадлежит тому миру немецких легенд и сказок, который воспроизводили Музеус и Нахтигаль и на который обратил внимание американцев Вальтер Скотт. Ирвинг чувствует себя всего лучше, когда может покинуть жестокую американскую реальность и перенестись в мир европейской романтики. Он охотно грезит и сочиняет сказки во дворах Альгамбры; здесь он ощущает себя более дома, чем на улицах Нью-Йорка. Его американские ландшафты подлинно прочувствованы им; однако он не выработал еще американского стиля для изображения отечественной истории. Даже когда он описывает полную борьбы и превратностей жизнь прославленного Вашингтона, то делает это с невозмутимостью доброго немецкого дядюшки. Еще более приверженным европейской литературе ощущал себя Лонгфелло. Он открыл весьма плодотворную истину, которая была вдвое ценнее в эпоху историзма и слепой веры в факты. Он открыл и выразил ясными словами, что для постижения прошлого художественные и поэтические творения любой эпохи важнее, чем все политические данные и документы. Поэтому он с величайшим рвением и пылом вчитывался в творения прошлого, то есть обращался к европейской литературе, и то, что особенно его пленяло, подвергал легкой, с отменным вкусом, обработке. На это он потратил всю жизнь, и его произведения доставили современникам не меньше радости, чем ему самому.

Содержание большей части произведений Лонгфелло заимствовано из европейской истории и легенд; все эти произведения для нас мертвы. Жизненность сохранили лишь немногие эпические поэмы, созданные на американском материале.

Мне лично яснее всего открылась поэтическая сущность Лонгфелло, когда я читал его драматическую поэму «Золотая легенда» и середину его мистерии «Христос». «Золотая легенда» является вольным подражанием «Бедному Генриху», стихотворному повествованию великого немецкого эпического поэта Гартмана фон Ауэ, который создал его в пору расцвета средневековой поэзии, где-то на исходе XII века. Вся наивная прелесть этого поэтического творения, его кроткая сила, трогательная, захватывающая искренность и вера открываются лишь тому, кто основательно знаком со средневерхненемецким языком и стихосложением. Я это знаю, потому что полгода изучал эту поэму в семинаре по германистике. Кстати, хотя я

тогда мало что знал о Лонгфелло, меня, как и его, потянуло сделать собственную поэтическую обработку «Бедного Генриха». Я получал от этого ребяческое удовольствие, я был тогда очень молод; Лонгфелло долго оставался очень молодым, ему было сорок пять, когда он писал своего «Бедного Генриха». Без сомнения, он глубоко вчитался в поэму Гартмана фон Ауэ, а это немало значит для того, кто не является немцем. Затем он принялся за дело и попытался изложить ее так, чтобы она стала понятной и ему самому, и его землякам. Лонгфелло гуманизировал ее содержание, он извинял эпоху, которая благочестие воспринимала как добродетель. Он заставляет бедного Генриха и его верную спутницу Элси пережить по пути в Салерно удивительные приключения, чтобы тем убедительнее показать их доверчивость и развращенность эпохи. (Впоследствии выдающийся немецкий писатель Герхарт Гауптман вновь взялся за разработку этой темы и, захваченный прелестью средневековой поэзии, написал самые удачные в своей жизни стихи. В противоположность Лонгфелло Гауптман, однако, опустил не только эпизод путешествия в Салерно, но и само пребывание в этом городе.)

Поэтические произведения Лонгфелло, написанные на американские темы, характеризуются удачным выбором материала и богатством творческой фантазии. Некоторые мелкие эпизоды из истории своей страны он сделал настолько известными, что большинству американцев они сегодня лучше знакомы, чем самые крупные исторические события. Естественно, я говорю о таких его поэтических произведениях, как «Сватовство Майлза Стендиша», «Скачка Поля Ревира» и «Песнь о Гайавате». Их сюжеты и образы также втиснуты Лонгфелло в принятую тогда литературную схему, он как бы привел их к общему знаменателю, лишив особых форм и красок, так сказать, европеизировал; вероятно, именно это обстоятельство и сделало их столь популярными.

В «Сватовстве Майлза Стендиша» весь фон и атмосфера заимствованы из истории Новой Англии, из борьбы колонистов с индейцами. Сам сюжет, однако, является свободным вымыслом, при этом весьма удачным. Герои поэмы — не выдающиеся личности, а обычные, заурядные люди. Небольшая по объему поэма могла бы стать крупнейшей исторической эпопеей, но стала всего лишь очень популярной. Ибо, к сожалению, Лонгфелло кардинально ошибся в выборе формы; он рассказывает свою историю, пользуясь теми же гекзаметрами, которые Гете употребил для «Германа и Доротеи». Однако то, что подходит для Германа, благочестивого немецкого юноши, вряд ли уместно для Майлза Стендиша, который сражает-

ся с индейцами, так как суровая американская история превращается благодаря этому в немецкую идиллию.

Более всего удалась поэту баллада «Скачка Поля Ревира». И здесь сюжет—свободный вымысел Лонгфелло. На самом деле человек, предупредивший в полночь жителей Конкорда о том, что приближается войско англичан, был храбрый доктор Прескотт, ныне всеми забытый, в то время как Поль Ревир, которому поэт приписал это деяние, стал одним из немногих национальных героев Америки. Но Лонгфелло утверждает здесь славу своего героя истинно поэтическими средствами. Галопирующий ритм анапеста удачно гармонирует с содержанием. Конечно, этот ритм не является изобретением Лонгфелло, за три тысячелетия до него он был применен библейской поэтессой Деборой, а в новое время его всего удачнее использовал Бюргер в своей «Леноре».

Самая, вероятно, знаменитая поэма Лонгфелло—это его «Песнь о Гайавате», миф о великом и благородном индейском вожде. Она обнаруживает те же самые свойства, которые делают поэта в наших глазах слегка комичным, а его славу непостижимой. Лонгфелло написал эту поэму очень быстро, исполненный радостного воодушевления. Он хотел представить новым светлокожим обитателям Америки исконного ее жителя, хотел впервые изобразить индейцев, как Тацит когда-то изобразил своих германцев. Гайавата должен был, по его замыслу, явиться истинным героем, открытым всем благородным идеям и чувствам. Но здесь все размыто и ослаблено; сентиментальность, пронизывающая это творение Лонгфелло, толкнула его на путь идеализации индейцев, и жестокое, отталкивающее, примитивное в них не нашло никакого отражения. Поэт смотрит на своих индейцев глазами Жан-Жака Руссо. Я практически уверен, что достопримечательная гравюра, изображающая индейца, возвратившегося к своей дикарской жизни, та, что обычно сопровождает все ранние издания «Рассуждения о науках и искусствах» Руссо, была одним из непосредственных источников «Гайаваты»; другим источником послужило стихотворение Зойме о канадце, который «не был знаком с фальшивой вежливостью европейцев». Основной призыв поэмы Лонгфелло, ее незримый рефрен: назад к природе! То, что содержание финского национального эпоса «Калевала» вызвало у поэта ассоциации с легендами и мифами индейцев, то, что стихотворный размер финской поэмы пробудил в его памяти испанские романсы о Сиде,—нанесло урон самобытности замысла. Четырехстопный трохей, поднимавший испанские и финские стихи высоко над повседневностью, придал американскому повествованию всего лишь монотонность. Первобытная героическая

жизнь великолепного, полубожественного индейца, который смело сражается со всеми злыми духами, оканчивается заурядным семейным счастьем, и первобытный герой призывает свой народ всего лишь следовать заветам христианских миссионеров, причем все это четырехстопным трохеем. Но эта сентиментальная поэма сразу же отыскала кратчайший путь в сердца читателей даже за пределами Америки; Лонгфелло—единственный американец, чей бюст англичане установили в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства. Его переводили превосходные европейские поэты; русский перевод Михайловского признан подлинным шедевром; немецкий перевод Фрейлиграта—возможно, вследствие европейского стихотворного размера,—как говорят, превосходит оригинал. Легкий аромат лаванды исходит от мужественных индейцев Лонгфелло. Содержание и размер прямо-таки провоцируют на создание пародий, и «Гайавату» действительно часто пародировали, даже в Америке.

Первые американские исторические романы написал Джеймс Фенимор Купер. Когда вышли в свет его романы о Кожаном Чулке, за поколение до «Гайаваты», считалось еще очень смелым, даже революционным изображать индейцев не жестокими, коварными и хитрыми, а мужественными и трагическими.

Купер сознательно продолжает традицию Вальтера Скотта, но его тема—недолгая жестокая война белых колонистов против коренных жителей Америки, против краснокожих,—грандиознее и самобытнее, чем темы Скотта. Психология Купера наивна, но она соответствует материалу, и именно простота, с которой он рисует величие и гибель индейцев, подчеркивает трагизм происшедшего. Легко насмеяться над наивностью Купера, что и делает Марк Твен в своей чрезвычайно забавной статье. «Искусство Купера,—пишет он,—имеет ряд недостатков. В одном единственном месте романа «Зверобой», на узком пространстве двух третей страницы, Купер ухитряется сделать 114 погрешностей против правил повествования из 115 возможных. Он побивает рекорд». В самом деле—и это отмечает даже почитатель Купера Бальзак—большинство белых, выведенных Купером в пяти романах о Кожаном Чулке, не более чем дешевые карикатуры. Только сам Кожаный Чулок, Натаниель Бумпо, человек, который смутно ощущает, но не понимает собственного трагизма, впервые увиден и представлен Купером во всей его простоте и народности; это герой значительный, законченный, он запечатлен на все времена, его образ захватывает, он знаменателен и символичен.

Максим Горький нашел точные и прекрасные слова для определения трагизма пионеров, представителем кото-

рых в литературе является Кожаный Чулок: «Исследователь лесов и степей «Нового света», он проложил в них пути для людей, которые потом осудили его как преступника за то, что он нарушил их корыстные законы, непонятные его чувству свободы. Он всю жизнь бессознательно служил великому делу географического распространения материальной культуры в стране диких людей и — оказался неспособным жить в условиях этой культуры, тропинки для которой он впервые открыл».

В сокращенной редакции, в которой сегодня обычно выходят романы о Кожаном Чулке, — это приключенческие книги для юношества, по красочности и динамизму их превзойдет ныне любой «вестерн». В действительности же это превосходные и масштабные исторические романы.

2

Популярность романов Фенимора Купера за границей была не меньше, чем в Америке. Столь же знамениты в Европе Ирвинг и Лонгфелло. Даже Советский Союз недавно, когда отмечалось столетие со времени выхода «Песни о Гайавате», выпустил марки с изображением американского поэта.

Именно произведения этих писателей на темы американской истории нашли наибольший отклик за границей, и национальное содержание так же мало ограничило их воздействие, как шотландское содержание романов Вальтера Скотта. Имеется немало выдающихся литературных произведений на темы национальной истории, чей непреходящий успех за границей был столь же велик, как и в родной стране; в качестве примера могу привести исторические хроники Шекспира или «Войну и мир» Толстого.

Однако, есть также большое число весьма значительных национально-исторических произведений, которые никогда не проникали за рубежи своего языкового ареала, и причиной этого было как раз их национальное содержание.

Перечислю наудачу некоторые из них. Великие исторические драмы испанских драматургов золотого века никогда, или почти никогда, не ставились за границей. То же можно сказать и о «Геце фон Берлихингене» Гете, и о драмах Генриха фон Клейста. Не были по-настоящему оценены в других странах пушкинские «Борис Годунов», «Капитанская дочка», «Арап Петра Великого», а также «Тарас Бульба» Гоголя. Высшие достижения в области драмы за последнее десятилетие, то есть исторические

драмы Стриндберга, нигде, кроме своей родины, даже в Германии, практически неизвестны. Так же мало сделано попыток поставить на сцене за пределами Скандинавии и Германии одну из сильнейших драм Ибсена, его глубокую и мощную трагедию «Борьба за престол», сюжет которой взят из норвежской истории. Великолепная попытка Рикарды Хух представить во всей целостности Тридцатилетнюю войну, ее роман «Великая война», несмотря на покоряющие поэтические красоты, неизвестен за пределами Германии. Мощная прозаическая эпопея Шолохова «Тихий Дон», вершина советской литературы, хотя и была переведена и получила известность, однако, за некоторыми исключениями, вскоре снова была забыта¹. Роман «Тина» Германа Банга, один из пленительнейших любовных романов, созданных когда-либо, практически неведом широкой публике по той причине, что события в нем тесно переплетены с давно позабытой датско-прусской войной. Напрасными оказались усилия американского издателя пробудить интерес к двум превосходным историческим романам греческого писателя Казандзакиса. Великолепный роман Хадльдоура Лакснесса «Исландский колокол», который успешно продолжает традиции «Эдды» и при этом пронизан обоюдоострым и поэтичным юмором, даже не был переведен на английский язык. Хотя его автор и является нобелевским лауреатом, но ведь он черпает свой материал из исландской истории.

Уже в этом приблизительном и беглом перечне упоминаются прежде всего те произведения, языковый ареал которых сравнительно мал. В самом деле, ограниченная область распространения языка является сильнейшей помехой для исторических жанров художественной литературы. Прослеживается прямая связь между политическим и экономическим значением страны и значимостью ее литературы. Авторы политически и экономически мощных стран имеют немало преимуществ перед остальными. Французский роман, пока Франция оставалась мировой державой, читался на Балканах и на всем Ближнем Востоке больше, чем романы всех других наций. Однако, с тех пор как Франция утратила свое первостепенное значение, потеряли свою привлекательность и французские книги. Теперь на всем Востоке французскую книгу потеснила русская, а на всем Западе — американская.

¹ Л. Ф. не учитывает того факта, что этот роман издан за рубежом многомиллионными тиражами и переведен более чем на пятьдесят языков; он не знал также об оживлении интереса к нему широкой публики после его экранизации. Л. Ф. здесь принимает в расчет только американскую публику. *Примеч. издателя.*

Крупнейшими американскими писателями девятнадцатого столетия в Европе считаются Натаниель Готорн, Эдгар Аллан По, Герман Мелвилл, Уолт Уитмен и Марк Твен. Трое из названных авторов сочиняли исторические романы.

Удивительнейший и глубочайший исторический американский роман появился как раз в середине столетия, в 1850 году,— это была «Алая буква» Натаниеля Готорна. Действие его происходит в XVII веке, в Бостоне и его окрестностях, как раз в ту пору, когда пуританство и внешне и внутренне достигло там своего наивысшего могущества. Самая большая удача писателя заключается в том, что ему превосходно удалось изобразить внутренний мир людей, в частности, превалирующее чувство пуританина, чувство вины. Никто, кроме Достоевского, не представил это мучительное, неотвязное чувство вины и необходимости искупления греха так сильно и так угнетающе, как Готорн. Его книга, появившаяся за шестнадцать лет до «Преступления и наказания» и за полстолетия до сочинений Фрейда, предвосхитила все то, что будет высказано и тем и другим. Но он не только рассуждает об этом, он создает образы. Действие и характеры в его книге неразрывно слиты с мрачноватым ландшафтом Новой Англии, черные сосны—это не реквизит, они так же живы, как и люди, они—часть истории этих людей. Все здесь обретает художественную достоверность, и подавленность этих давно умерших людей из Новой Англии стесняет грудь читателя.

Писатель досконально знал нравы и обычаи старого Бостона, которые продолжали жить в его Бостоне, но он отказался от мысли представить их в книге. Несмотря на это его роман—выдающееся историческое произведение, ибо своих героев он выводит из почвы и из истории страны, не рассказывая о них, а воплощая вживе. И он показывает, как прошлое продолжает жить в настоящем, показывает, что истоки упадка коренились уже в суровом расцвете пуританизма. Этот деградирующий протестантизм Готорн ощущал в себе самом. В романе длится долгая мрачная ночь, полная кошмарных сновидений; но свет и невинность, рассеивающие этот мрак, исходят от ребенка, от девочки Перл, прихотливо необузданной, в высшей степени привлекательной и совсем не слащавой: в ней таится надежда на будущее—что характерно для Готорна и всех писателей его времени, надежда на будущее в Европе.

Через пять лет после «Алой буквы» Готорна появился другой, весьма необычный, демонстративно суровый и

подчеркнуто угловатый исторический роман, до сегодняшнего дня еще недооценный читателями,— «Израиль Поттер» Германа Мелвилла. В центре его — печальная судьба одного из безымянных героев американской революции: со времени выхода этой книги такие герои обрели имя нарицательное — Израиль Поттер. Израиль Поттер — матрос, приобретший сноровку и в других ремеслах, прежде всего — опыт и навык земледельца. Он мужественно сражался в битве при Банкер-Хилле. Позднее этого человека, которого с юности преследовали неудачи, благодаря особому невезению на американском корабле, захватывают в плен англичане. Так он попадает в Англию, где во время Войны за независимость пребывает в постоянной опасности и переживает множество волнующих, но всегда бесполезных для него приключений. После того как война окончена, он не может достать деньги для возвращения на родину и еще сорок лет живет в Англии в ужасающей нищете. Наконец, герой, неимуший и больной, возвращается в Америку, подает прошение о пенсии, в которой ему из-за бюрократических придинок отказывают, диктует свои мемуары и в жалком состоянии умирает. Все это представлено скорее в серии эпизодов, чем в связном повествовании, а на периферии повествования Мелвилла выступают в качестве действующих лиц известные личности того времени: король Георг Третий, Франклин, Поль Джонс, Итен Аллен, яркие характерные портреты которых, конечно, основываются более на фантазии автора, чем на исторической реальности. Однако, несмотря на лаконичность, эти портретные зарисовки кажутся реальнее самой реальности.

Автор вводит в роман трех названных деятелей Войны за независимость по двум причинам. Во-первых, их слава делает вдвое выразительнее бесславную судьбу Израиля Поттера, но, главное, для автора они — представители Америки. Это подтверждает сам Мелвилл. Так, он высоко ценит многосторонность Франклина, который знает толк буквально в каждом деле, и называет его «типичным представителем и гением своей страны». Даже варварски необузданный морской герой Поль Джонс является в глазах писателя истинным представителем Америки, хотя автор подтрунивает над ним, описывая его бахвальство, тщеславие, авантюризм и поистине отчаянную смелость. Мелвилл рассказывает о битве, произошедшей между кораблем Поля Джонса «Бедный Ричард» и английским боевым судном «Серапис». Никогда прежде в истории морских войн, полагает писатель, не было ничего равного этой битве по упорству, взаимной ненависти и мужеству. Исход битвы долго оставался неясным, но в конце концов был спущен английский флаг. Мелвилл считает, что в

этой битве можно усмотреть символику, параллель и пророчество. «Одной крови с Англией и ее заклятый враг в двух войнах; неустрашимая, беспринципная, отчаянная, хищная, безгранично честолюбивая, прячущая дикарскую сущность под маской цивилизации Америка — это истинный Полю Джонс среди наций».

Что касается весьма спорного персонажа, Итена Аллена, то Мелвилл подчеркивает в нем противоречивые, комические и даже отталкивающие черты, но при всех противоречиях этот человек кажется ему особенно американским («Этим и объясняется его своеобразный американизм»). Мелвилл любит его со всеми его слабостями. Писателю мило все американское. Он повторяет снова и снова: «Таковы уж мы, и я горд тем, что мы таковы».

Это и есть самое удивительное в этой книге: она одновременно полна острейшей критики Америки и самого пламенного патриотизма. Американское отечество сыграло злую шутку со своим верным защитником Израилем Поттером, оно и не подумало его наградить, не дало ему денег для возвращения на родину, но Израиль Поттер не перестает любить Америку. Однажды, будучи уже старым, отчаявшимся человеком, он слышит в густом лондонском тумане какой-то неясный деревенский шум, топот копыт, крики — и внезапно чей-то голос просит его помочь загнать на дорогу к рынку напуганных и разбежавшихся быков. Ему сразу же припомнилось детство, когда нередко приходилось выгонять стадо на пастбище, а вечером — загонять на скотный двор, и вскоре он уже гнал непокорных быков, крича и суетясь едва ли не больше, чем их хозяева, фермеры. При этом он был весь во власти безумных воспоминаний, ему грезилось, будто он бредет среди туманов родных гор, и он закричал фермерам: «Что вы делаете? Вы же гоните их назад, в луга! Направо, направо! Скотный двор справа!» И голоса фермеров ответили ему из тумана: «Скотный двор? Да ты, старик, сны видишь, что ли?» И тогда он приходит в себя и понимает, как не похожа эта тусклая, вялая лондонская мгла на те живые туманы, которые стремительно взбирались на лиловые вершины его родины. Нечасто в мировой литературе любовь к родине изображена столь убедительно и зримо, как у Мелвилла.

И тут же писатель дает волю национальной гордости. Он говорит о ветеранах, которые, будучи слишком гордыми, чтобы жить, тихо забирались в темные уголки и умирали. «И следует заметить, — продолжает Мелвилл, — ибо это уже наша национальная черта, что Израиль, американец, пусть нужда порой загоняла его даже в клоаку, ни разу не пал так низко, чтобы стать попрошайкой».

Контраст между блеском американской революции и весьма тусклой судьбой героя этой революции и составляет содержание романа. Книга имеет прекрасное, не вполне переводимое посвящение: «Его высочеству Монументу на Банкер-Хилле», и еще в ней имеется замечательная, совсем короткая заключительная глава, в начале которой наш герой, нищий и дряхлый восьмидесятилетний старец, всего полчаса назад высадившийся наконец-то на родную землю, чуть было не попадает под триумфальную колесницу, на которой развевается пышное знамя с золотой надписью: «Банкер-Хилл, 1775. Слава сражавшимся там героям!»

Грустная судьба Израйля Поттера постоянно рассматривается в социальном аспекте. Противоположность между блестящими идеями и блестящими вождями, с одной стороны, и жалким жребием всех тех, кто сражался за эти идеи,—становится символом человеческой жизни. Израиль Поттер—истинный герой Войны за независимость. Неизвестный солдат, народ, и его судьба рассматривается Мелвиллом как обобщенная судьба всех тех, кто обделен счастьем, всех обиженных и обремененных. Нечасто в литературе возникают столь мрачные, пессимистические страницы, как глава «Израиль в Египте». В ней Израиль вынужден трудиться в ужасающих условиях на английском кирпичном заводе, чтобы враги его могли укреплять стены своих городов. «Бедный Израиль! Имя твое оказалось пророческим—ты стал рабом в Египте, который зовется Англией». Но он подавляет свою ярость и шлепает глиняное месиво в формы. Шлёп! «Что за важность, кто мы, где и что мы делаем?» Шлёп! «Короли, клоуны—какая разница? Кто больше, чем ничто?» Шлёп! «Все суета и глина!»

Затем Израиль Поттер бредет через сумрачный, грязный, лишенный солнца Лондон—через адский град Дис. Мелвилл выразительно, с живописными подробностями описывает отвратительную нищету, в которой все больше увязает его герой, и, говоря об этих горестных годах, заявляет, что не хочет долго задерживаться на них. «Ибо кто желает слушать об этих неизбывных и беспросветных несчастьях бедняков? В траурный зал дворца, где покоится в пышном гробу король, потянутся тысячи любопытных, но вряд ли хоть кто-нибудь пожелает заглянуть в убогую лачугу, где, словно обнажившаяся фаланга большого пальца, скалит зубы необмытый труп попрошайки».

Автор стремится прежде всего донести до читателя свою правду. Ему не так важно построение романа, с высокомерным безразличием разрушает он с самого начала то, что могло бы способствовать увлекательности действия, намеренно избегает всего сенсационного, эф-

фектного. Роман носит название: «Израиль Поттер. Пятьдесят лет изгнания». Но рассказывает он преимущественно о жизни Поттера в течение нескольких лет Войны за независимость, а остальные сорок пять лет исчерпывает на пятнадцати страницах. Писателю недостаточно воплотить свою правду в художественных образах, его тянет снова и снова прерывать действие разъясняющими сентенциями и собственными наблюдениями, чтобы читатель понял его до конца. Будь то прекрасные, выразительные сентенции, извлекающие мораль из различных ситуаций в жизни Поттера, или мысль, что каждый человек — тот же кирпич, или наблюдение о том, как разнится содержимое кирманов бедняка и зажиточного человека.

В высшей степени реалистический роман принуждает читателя заглянуть в самые потаенные и грязные уголки безысходной бедности. Но мрачность книги смягчается тем горьким и трезвым юмором, который не чуждается фарса и нередко предвосхищает и Ведыкина и Чаплина. Так, ночью в зеркале Израиль видит руку морского героя Поля Джонса, и на этой руке он замечает татуировку, какую можно увидеть только у настоящих дикарей из Новой Зеландии, удивительно четкую, необыкновенно сложную, каббалистическую, а затем на эту татуировку вновь падает кружевная манжета. В таком виде дикарь Поль Джонс разгуливает по сверхцивилизованному Парижу. Или однажды ночью во время битвы Израиль попадает на борт вражеского английского корабля и бродит по кораблю, ища возможности пристроиться к какой-нибудь группе матросов и выдать себя за члена английской команды. Его отовсюду прогоняют, он снова и снова пытается укрыться, каждый раз в другом месте пристроиться к работающим матросам, а его опять гонят. На вопросы офицеров и капитана корабля он упорно отвечает, что является членом команды. Все эти сцены исполнены горького и всепокоряющего юмора. С не меньшим трагикомизмом показано, как герой вынужден изображать призрак мертвеца, а тут ему встречается другой призрак, которого он невероятно пугается, но этот второй призрак оказывается огородным пугалом; как затем Израиль меняется одеждой с пугалом, а владелец пугала сначала растерян, увидев, что пугало стоит на другом месте, а потом набирается смелости и идет на Израиля с вилами, и Израиль Поттер в одежде пугала вынужден спастись от него бегством.

Вся судьба Израиля Поттера, проникнутая скрытым трагизмом и весьма злым юмором, становится притчей, смысл которой: такова жизнь. Америка воздаст своим героям неблагодарностью и равнодушием, так уж повелось в мире. Горькая покорность, с которой принимает

это Мелвилл, продолжая нежно любить свою родину, передается читателю. Мелвилл рассказывает о судьбе простого человека в Америке и одновременно изображает молодые силы своей страны.

«Израиль Поттер» — подлинный исторический роман. Первые пятьдесят лет Америки увидены здесь с яростным и гневным темпераментом большого писателя-реалиста.

4

Величайший писатель Америки Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, писавший под псевдонимом Марк Твен, едва ли таил в душе меньше горечи, чем Мелвилл. Но значительную часть своей жизни он эту горечь тщательно скрывал. Однажды он сказал: «Кто освобождается от своих иллюзий, тот продолжает существовать, но не жить», — и он честно старался сохранить свои. Марк Твен означает «отметка два» — это возглас, которым лоцман отмечает границу безопасности для пароходов на Миссисипи. Долгое время Марк Твен уважал призыв к безопасности, заключенный в выбранном им псевдониме. Но в последние годы жизни это ему уже не удавалось. <Он сам признавал, что сделался уж слишком смирным; его опровержение фальшивой историографии, отрицательное отношение к переоценке денег. Стенографическая запись автора.> Он перешагнул границу безопасности, опубликовав небольшую новеллу «Человек, который совратил Гедлиберг», чья мрачность едва ли смягчена юмором, а в посмертно опубликованном наследии писателя впервые приоткрывается весь его черный пессимизм.

Часто и охотно проводят различие, особенно в Германии, между «поэтом», то есть автором истинно художественных творений, и «писателем». Отличить это порой нелегко. Можно, конечно, согласиться, когда в Гёльдерлине видят чистого «поэта», а Вольтера рассматривают исключительно как «писателя». Но в творчестве большинства крупных писателей поэтическое и писательское начала неразрывно связаны.

Последнее как раз характерно для натуры и для творчества Марка Твена. Острый глаз наблюдателя, горячее желание высказать все, что он увидел, делают из него репортера. Но в глубине души Марк Твен романтик, зрелище людских страданий настолько задевает его чувства, что он бывает порой сентиментален, а несправедливость пробуждает в нем поэтический и пророческий гнев. С другой стороны, в той среде, где он вырос, умиление по поводу страданий и благоговение перед величием счита-

лись чувствами, не достойными мужчины, и он сразу же начинает стыдиться, когда что-то высокое, торжественное, достойное увлекает его. Кроме того, он прирожденный насмешник, он испытывает детскую радость, вышучивая и высмеивая все вокруг.

Судьба усилила внутреннюю противоречивость его натуры. В мальчишеские годы в маленьком городке Ганнибал на Миссисипи он узнал и полюбил вольную жизнь тех людей, которые затерялись на просторах страны и, предоставленные самим себе, вели свободное, незаконное существование. Подобно этим людям, он тоже доверяет лишь собственному суждению, а не оценкам скованного условностями общества или мудрости, завещанной предками. Но при этом он тщеславен, хочет занять высокое место в респектабельном мире почтенных сограждан и жаждет признания.

По сути дела, этот наиболее американский из всех американских писателей до седых волос оставался бунтарем-мальчишкой, эпатирующим взрослых своими шутками. Однако его ребяческая наивность не может устоять перед его острым критическим разумом. Он любит и искренне почитает своего отца, любезного, легкомысленного, всегда оптимистически настроенного и весьма склонного к аферам; он воздвиг ему достойный памятник в своем романе «Позолоченный век», но он понимает также, что позиция, подобная отцовской, поощряет беззастенчивых разбойников, убийц и мошенников, что наводнили Юг и годы Реконструкции. Детство он считает счастливейшей порой своей жизни, но разумом зрелого человека резко осуждает беззаконие и анархию, которые создали предпосылки для этого счастливого мальчишеского приволья.

От противоречий и проблем Твен спасается юмором и гротеском, от серьезности, которой стыдится, легко переходит к шутовству. Например, описывая, как, волнуемый великими мыслями, стоял перед сфинксом, он тут же подкидывает историю, как один машинист топил свой паровоз мумиями и кричал кочегару: «Эти пролетарские мумии горят отвратительно. Подкинь-ка мне какого-нибудь монарха!»

Он предельно честен и все, что пишет, стремится писать от души, выражая как ребяческую, несколько чрезмерную веру в прогресс, которую он сохранял на протяжении длительного периода своей жизни, так и глубокий пессимизм, овладевший им в старости. Он точно знает, что такое настоящая литература, и стремится к созданию именно такой литературы. Но часто не может подавить желания насмешничать, отпускать остроты, иногда превосходные, а иногда и довольно скверные; нередко он скатывается до чистого шутовства, до примитивного

комикования. Не скрывает он также и свою постоянную оглядку на публику, признающую лишь тех писателей, которые ее развлекают, быстро распродают свои книги и зарабатывают много долларов.

Врожденная честность толкает его на субъективные и зачастую противоречивые оценки современных ему писателей, в зависимости от сиюминутного настроения. Характера собственного дарования он тоже не понимает. Писатели, даже большинство из них, часто ошибаются относительно того, что им удалось, а что нет. Обычно они считают лучшим своим произведением то, которое доставило им наибольшие трудности. Но лишь немногие так чудовищно заблуждались относительно характера своего дарования и величины своего таланта, как Марк Твен.

Лучше всего он чувствует себя, когда может писать и писать, не думая о развитии действия, а давая волю своему «я» и свободно перескакивая от серьезного к самым невероятным шуткам. Конечно, временами он осознает свое неумение выстроить композицию как слабость, однажды, при написании романа «Позолоченный век», он даже прибегнул к помощи другого литератора, Чарлза Дадли Уорнера. Но чаще, как раз в лучших своих книгах, Твен превращает свою слабость в силу: сознательно отказываясь от построения композиции, он нанизывает один на другой множество эпизодов, сцепленных единой поэтической идеей и личностью автора.

Его целью всегда было крупное произведение, большой роман, а золотой мечтой—роман исторический. Он глубоко интересуется историей, читает много исторических книг, хотя и относится к ним с немалым скепсисом; его чувства по отношению к прошлому двояки: это и почтение, и резкое насмешливое неприятие.

Его чрезвычайно занимало меняющееся отношение общества к историческому роману. «Исторический роман,—пишет он,—вдруг распространяется и наводняет страну. Каждый считает своим долгом сочинить такой роман, что очень радует читателей. Исторические романы были и раньше, но никто не читал их, все подчинялось моде, не спрашивая почему. Теперь мы опять подчиняемся моде, на сей раз обратной, потому что так поступает каждый».

Удивительное дело, сколько усилий этот человек—которому так трудно рассматривать прошлое с отдаленной дистанции и который постоянно вмешивает в прошлое свое в высшей степени современное «я»,—сколько невероятных усилий приложил он, чтобы написать значительный исторический роман. Это и «Позолоченный век», и «Гекльберри Финн», и «Янки при дворе короля Артура», и «Личные воспоминания о Жанне д'Арк», и, наконец,

«Таинственный незнакомец». Возможно, читатель удивится, почему я называю «Позолоченный век» и «Гекльберри Финна» историческими романами. «Позолоченный век» написан незадолго до конца Реконструкции и имеет подзаголовок «Повесть наших дней». Но при этом роман содержит целостный обзор эпохи, как будто она уже завершилась. Ни в одной другой книге Марк Твен не рассматривает собственное время с такой дистанции, глазами историка. Конечно, в романе ощущается искренний гнев писателя по поводу того, что сделали с его Югом, ощущается и его тоска по прошлому. Но, несмотря на это, книга очень объективна. Марк Твен ясно видит характерные тенденции короткого переходного периода, образ полковника Селлера становится символом всего хорошего на прежнем Юге, а соблазнение Лоры полковником Селби — символом насилия над Югом. Безудержная жадность, бессовестный эгоизм эпохи фантастических спекуляций, отказ от имевших прежде хождение ценностей — все это воплощено в романе. Конечно, сотрудничество Ч.-Д. Уорнера привнесло в книгу немало мелодраматизма; но я не знаю, за исключением романа Диккенса «Мартин Чезлвит», другого исторического сочинения, которое бы так ярко представляло жизнь Америки в середине XIX века.

Если еще можно усомниться, следует ли относить «Позолоченный век» к романам историческим, то принадлежность к ним «Гекльберри Финна» я считаю несомненной. Конечно, с общепринятой точки зрения, исторические романы — это те, действие которых происходит в эпоху до рождения автора. Но я не понимаю, почему роман не может быть назван историческим, если время его действия и время возникновения разделены какой-то решающей вехой. Например, роман о французской революции, написанный после реставрации Бурбонов, бесспорно роман исторический, даже если автор его родился и жил в эпоху революции. С тем же правом я называю историческим роман «Гекльберри Финн»; ведь хотя Марк Твен вырос в те годы, когда рабство на Юге еще существовало, писал он эту книгу, когда рабство было уже окончательно отменено.

Но прежде я еще хочу поговорить о двух книгах Твена, действие которых он перенес в эпоху средневековья. «Принц и нищий» обычно считают книгой для юношества, и это в самом деле наивная ребяческая история, старинная сказка о том, как принц обменялся одеждой с маленьким оборванцем из народа. Но книга оказалась куда более глубокой, объективной, правдивой и несентиментальной, чем это, вероятно, планировал сам Марк Твен. Писатель скрывается здесь за своим матери-

алом больше, чем во многих других своих книгах. Он не обнажает своей глубокой вражды ко всему феодальному, аристократическому, наоборот, наделяет принца более благородными чертами, чем мальчика из народа. Принц не может утаить свое королевское происхождение даже в ситуациях, когда разум от него этого требует, а маленький бродяга на коронации легко отрекается от собственного отца, потому что так ему подсказывает расчет. Принц не остается равнодушным к ужасающей нищете своего народа, он пытается исследовать ее причины и полон решимости их устранить, прилагая к этому все усилия в пору своего короткого правления. Впрочем, оба героя, и принц и Пролетарий, реагируют на все по-детски, они проказничают, они любопытны и забывают дурное после первого же нового происшествия, и, когда доходит до дела, оба они действуют с наивной порядочностью. Только писателю, который сам сохранил юношескую наивность и непосредственность, могло удаться такое счастливое изображение мальчишек. Дело в том, что наиболее глубокие переживания в жизни самого Марка Твена связаны с детством; из многих живых героев, которых он создал, дети, в особенности мальчишки, являются, бесспорно, самыми живыми. Принц Эдуард и Том Кенти из «Принца и нищего», Том Сойер и Гекльберри Финн, молодые герои из «Таинственного незнакомца» — все это обычные мальчишки, юные существа с естественными порывами.

Марк Твен, порою сам удивленный тем, что он изображает, указывает в примечаниях, что события действительно подтверждены историческими свидетельствами. Но в предисловии к книге он так формулирует свое требование к точности исторического романа: «Может, все это было, а может, этого и не было, но все же могло быть».

Роман «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», возникший на семь лет позже, чем «Принц и нищий», иногда звучит так, будто писатель намеренно насмехается над своей предыдущей книгой. «Янки» — наименее детский и наименее наивный из романов писателя. Твен здесь совсем не отрывается от собственной эпохи и даже пытается извлечь из этого преимущество, сталкивая современность и средневековье и измеряя их друг другом. Но он слишком облегчает себе задачу. Из прошлого он показывает только его невежество, отсталость и бессмысленную жестокость, из своей же собственной эпохи — лишь то, что есть в ней от светлого ума, прогресса и общественной взаимопомощи. Марк Твен отождествляет себя сердцем и умом с янки Хэнком Морганом, который очутился за «круглым столом» короля

Артура и рассматривает эпоху начала шестого столетия исключительно с материалистически-утилитарной точки зрения здравомыслящего механика. Чрезвычайно забавно, как этот Хэнк Морган с его быстрым взглядом и ловкими руками находчиво вмешивается в события прошлого. Гнев писателя по поводу жестоких нравов того времени передается читателю; такие происшествия, как эпизод в темницах королевы, изображены остро, живо и со всеми ужасающими подробностями. Хэнк Морган, человек средней одаренности, с отдельными чертами Дон Кихота, с помощью нехитрых трюков легко справляется с большей частью тех материальных и идейных проблем, которых не могли решить лучшие умы прошлой эпохи. Так Марк Твен воплощает радостную истину: «Налицо прогресс. Да здравствует прогресс!» В то время как во всех других произведениях писатель дружелюбно, но довольно едко посмеивается над безнадежной трезвостью своих американцев, здесь он только хвалит и славит их за быструю техническую сметку. На красочную романтику средневековья, на интенсивность его простой жизни он попросту закрывает глаза. Идея книги чрезвычайно занимательна и не лишена философской подоплеки; если бы она была реализована в короткой новелле, это, безусловно, была бы большая удача. Однако постепенно шутка приедается, делается дешевой и однообразной, явная односторонность автора лишает книгу жизненности и правдивости. То, что Марк Твен не осознает, сколь многое мы унаследовали из эпохи средневековья, этот изъян исторического сознания инстинктивно ощущается читателем. Упорство, с каким автор отрицает романтику, ту, что прежде была ему близка, делает книгу непривычно трезвой. Фанфары, возвещающие прогресс, постепенно начинают дребезжать. Среди книг Марка Твена это единственная, которая не выигрывает при повторном чтении.

Через семь лет после «Янки при дворе короля Артура» Твен написал свой самый длинный и основательный исторический роман — «Личные воспоминания о Жанне д'Арк». Ни над одной из своих книг он не работал так долго и добросовестно, нигде он так честно не старался быть «историчным». Но его авторское «я» все снов и снова выходит на первый план, заслоняя собою объект описания, он не умеет лгать и не способен относиться с пониманием к внутренним закономерностям феодальной эпохи. Его искренняя ненависть ко всяческой отсталости превращает противников Жанны в злые карикатуры, причем он лепит эти карикатуры по моделям своего времени, своего окружения, он выпускает этих ненавистных ему людей, на которых он и в прежних книгах смотрел недобрыми глазами, лишь в легком историческом

облачении. Поскольку, с другой стороны, он некритично приемлет все чудеса, исходящие от Жанны, то в конце концов даже легковверный читатель отказывает ему в доверии. При этом ни одна фигура из феодального прошлого не покоряла его так сильно, как Жанна д'Арк, и он нашел захватывающие слова для изображения ее натуры и ее судьбы. Она — один из тех трогательных детских образов, которые он столь охотно создает в своих книгах, «благородное дитя, самое невинное, милое и достойное восхищения из всех, кого породило прошлое». Но он опять облегчает себе задачу. Этого трогательного, чистого и смелого ребенка, к которому не останется равнодушным сердце ни одного мужчины, в особенности американца, автор противопоставляет злобному и насквозь коррумпированному окружению. Личность, появление которой можно объяснить только условиями эпохи средневековья, он сталкивает со столь хорошо ему знакомыми людьми эпохи Реконструкции. Автор не замечает, или просто не желает принимать к сведению, что не все противники Орлеанской девы руководствуются злобными и скверными мотивами, иные действуют, исходя из воззрений своей эпохи. Такая позиция и делает книгу столь анахроничной, несмотря на предшествовавшее работе тщательное изучение источников.

Однако вполне исторической является самая сильная и замечательная из книг Твена — «Приключения Гекльберри Финна». Время действия книги как раз отделено от времени ее написания одним решающим событием, это история, но она продолжает жить в душе писателя с той же интенсивностью, как и его настоящее. Такой двойной опыт, личное переживание им и прошлого и настоящего повышает историчность этого произведения настолько, что оно сразу же убеждает и покоряет читателя. Мальчику Геку Финну рабство негров представляется таким же привычным, как смена дня и ночи. Негр Джим — раб, тут уж ничего не поделаешь, это так же естественно, как то, что у него есть руки и ноги. Если Гек колеблется и не знает, должен ли он возвратить беглого раба законной владелице, то лишь по той причине, что Джим его близкий друг, а не потому, что он хоть сколько-нибудь сомневается в законности рабства. Но ведь книга написана уже в те годы, когда подобное восприятие отошло в прошлое, когда страна в результате кровопролитной войны пришла к отмене рабства. Именно это живое противоречие придает книге столь ощутимый, столь подлинный аромат истории. Кроме того, как раз здесь Марк Твен сумел превратить свое неумение строить композицию в величайшее преимущество. Все повествование состоит из отдельных обширных эпизодов, связанных, однако, между собой

самым естественным образом — путешествием по Миссисипи, которое должно привести негра и мальчика туда, где они обретут свободу. Искусство Марка Твена живет всего проявляется тогда, когда он описывает путешествия, и все его сердце навеки отдано Миссисипи. Эта могучая река, такая однообразная и такая изменчивая, и есть его подлинная родина. Здесь, в «Гекльберри Финне», река становится зримым символом истории, такого же единообразного и вечно текущего потока; плавание по реке — это символ нашего продвижения с препятствиями, поворотами, окольными путями, которое все равно непостижимым образом ведет к цели. Эпизоды книги высвечивают всю противоречивость недавнего прошлого. Беззаконие и свобода, позитивные и негативные его черты, влияющие на душу мальчика, великолепно переплетаются в бессмысленной рыцарской истории о кровной вражде двух кланов, Грэнджерфордов и Шепердсонов, но особенно — в трагикомической эпосе двух нетодяев, которые в качестве незваных гостей оказываются на плоту вместе с негром и мальчиком, выдавая себя за герцога Бриджуотера и французского дофина, короля Людовика Семнадцатого. В конце мальчику доведется со смешанными чувствами наблюдать, как оба мошенника, которые подстраивали ему и Джиму самые злые каверзы, встретят свой смертный час, извальные в смоле и в перьях, и тот, кого чувства Гека при этом не вернут на миг в собственное детство, пусть впрямь сторонится всякой поэзии. Глубокая наивная человечность автора, его зоркая наблюдательность писателя-реалиста великолепно сочетаются друг с другом. Невозмутимость, с какой мальчуган воспринимает реку и собственную жизнь, покоряют даже скептически настроенного читателя. Не только судьба мальчика, но и судьба всей молодой страны представлена в этой книге. Когда Гек пишет письмо владелице негра о его местопребывании, а затем, после тягостных раздумий, рвет это письмо, поступая вопреки велениям общества, но следуя своему врожденному инстинкту порядочности, — это более чем решающая минута в жизни Гека, это великое историческое решение целой страны. Как всякая большая литература, это произведение может быть одновременно наивной детской книжкой и выражением глубокой философии. Марк Твен совершенно разочаровывается в обществе, но он верит в отдельного человека; глубоко под прелестным юмором, с которым изображены мальчик и негр, уже таится тот пессимизм, которым впоследствии будет проникнуто последнее, посмертно опубликованное произведение Марка Твена — «Таинственный незнакомец».

Этот «Таинственный незнакомец» начинается так: «Шла зима 1590 года. Австрия была оторвана от всего

мира и погружена в сон. В Австрии царило средневековье — казалось, ему не будет конца». Книга, столь точно привязанная к эпохе, даже к одному определенному году, — просто не может не быть исторической, но вместе с тем среди произведений, которые написал Марк Твен, она самая вневременная. Здесь рассказывается фантастическая история, однако отличающаяся точностью всех деталей; она не только основана на скрупулезном изучении источников, но и все имена, которые автор дает героям, все обычаи, которые он описывает, привязаны именно к Австрии. И таинственный незнакомец — это не неведомая мистическая фигура, он реален, материален. Он связан родством с Сатаной, точнее, он племянник Сатаны, но при этом происходит из хорошего ангельского рода, не причастного к грехопадению; по ангельским понятиям он еще очень молод, по человеческим — ему шестнадцать тысяч лет. Его нельзя назвать ни злым, ни добрым, он обладает спокойным, доброжелательным нравом и носит обычное имя Филип Траум, но при этом он совсем не человек. Скуки ради время от времени он плетет человеческие судьбы, которые упоительны и безумны, как и все моральные доктрины людей, и так же нелогичны, как их бог, который мучит их и требует, чтобы они его почитали. Он капризный ребенок, безучастный к судьбам, которые творит играючи, — он безучастен, как сама История. Этот Сатана — дальнейшее развитие того таинственного незнакомца, который совратил Гедлиберг. Но какой невероятно длинный путь прошел писатель за немногие годы с момента написания «Человека, который совратил Гедлиберг». Если Гедлиберг — отражение пуританской Америки, то австрийская деревня из «Таинственного незнакомца» — отражение всего мира. Книга в высшей степени оригинальна, это ощущаешь в каждой фразе, в каждом слове, никто не смог бы ее написать, кроме позднего Марка Твена, однако в ней больше, чем в любом другом произведении великого американца, чувствуется Вольтер. Некоторые части явственно напоминают «Кандиду», хотя у Марка Твена больше художественной плоти, больше поэтической образности, чем в упомянутой повести Вольтера. В «Таинственном незнакомце» меньше горечи; меланхолией и покорностью судьбе последняя книга Твена вызывает в памяти Книгу Екклезиаста, или Проповедника, а порой — «Игру грез» Стриндберга. «Суeta суeta и всяческая суeta», «Что пользы человеку от трудов его» — таковы лейтмотивы этого удивительного исторического романа.

Итак, «Воспоминания о Жанне д'Арк», где Марк Твен всего усерднее старался воссоздать историю, оказался самым слабым из его исторических романов, а «Гекльбер-

ри Финн», задуманный как развлекательная повесть для детей,—самым сильным. «Таинственный незнакомец» же навсегда останется самой глубокой книгой Твена.

Но даже и это произведение не вполне свободно от дешевых шуток. Так, деревню, в которой разыгрывается действие, автор называет Эзельсдорф, то есть Ослиной деревней. Такие шутки нередко мешают многим осознать всю глубину и масштаб творчества Марка Твена. Он больше, чем гениальный юморист. Он выше, чем такие писатели, как Раймунд и Нестрой. Он не только крупнейший американский писатель, но являет собой одну из вершин литературы всемирной. Марка Твена можно по праву поставить в один ряд с такими писателями, как Аристофан и Сервантес.

5

Авторы, творившие на рубеже нашего века и ставившие перед собой более высокие цели, чем просто развлечь читателя, почти все без исключения занимались социологическими и экономическими аспектами своего времени. Среди них мы найдем немало крупных писателей; а иным—к примеру, Джеку Лондону в «Мартине Идене» и «Железной пяте», или Фрэнку Норрису в «Спруте»—удалось взглянуть на собственное время с точки зрения истории и придать ему вполне историческую атмосферу. Но исторический роман в собственном смысле этого слова написал только один из них, Стивен Крейн.

Стивен Крейн, истинный художник слова, по достоинству не оценен в Европе. Родился он в 1871 году и уже в двадцать девять лет умер на чужбине от туберкулеза, прожив несчастливую жизнь, в которой снискал мало похвал, много брани и клеветы. Первая его повесть, «Мэгги, дитя улиц», не нашла издателя; Крейн напечатал ее за свой счет, заняв деньги у брата, но были проданы лишь несколько экземпляров, а критика отвергла книгу из-за ее безрадостного содержания. Затем, в возрасте двадцати четырех лет, Крейн написал «Алый знак доблести», лучшее произведение, порожденное Америкой рубежа веков.

«Алый знак» изображает одно из сражений Гражданской войны. Сам Крейн никогда не воевал; его роман, как и многие выдающиеся произведения, обязан своим возникновением случаю. Однажды Крейн заспорил со своим другом о романе «Разгром» Золя, в котором писатель изображает военный крах Франции в войне против Пруссии. Он нашел книгу скучной, в ответ на что друг предложил ему самому написать нечто лучшее. Крейн

часто бросался словечком «скучный», как сообщает нам превосходный комментатор его творчества Р.-В. Столлмен. Скучным Крейн находил не только Золя, но и Толстого. Роман «Анна Каренина» казался ему чересчур затянутым, а о «Войне и мире» он говорил, что Толстой мог бы исчерпать все его содержание в одной трети, и вышло бы ничуть не хуже. А так, находит Крейн, книга все тянется и тянется, как равнина Техаса. Перед собой Крейн ставит задачу написать нечто более плотное и короткое, и вот ирония судьбы: его собственный роман «Алый знак доблести» критики объявили столь скучным, что дочитать его до конца невозможно.

Роман Крейна не имеет действия в прямом смысле этого слова, в нем изображено всего одно сражение Гражданской войны. Автор очень точно воспроизводит детали прошлого: форму солдат и офицеров, оружие, речевые обороты,—но при этом не стремится представить какое-то определенное сражение, и читателю остается лишь гадать, о каком именно сражении идет речь. Автор не поясняет также, что именно происходит во время этого сражения, чем оно заканчивается, неясно даже, идет ли речь об одном сражении или о нескольких. Главное и единственное, что стремится показать писатель,—это смутные чувства совсем еще молодого, неопытного солдата, который оказался участником этого дикого, бессмысленного побоища. Он хочет воспроизвести постоянно меняющееся внутреннее мироощущение юноши, показать воздействие этого произвольно выбранного сражения, любого из сражений, на одного-единственного из его бесчисленных рядовых участников, о которых, в отличие от вождей, обычно никто не думает и никто не заботится. Крейн дробит битву на отдельные атомы и дает нам чрезвычайно смелое, хотя и вполне реалистическое описание одного из них. Таким образом, действие полностью перенесено во внутренний мир героя. Книга эта является первым и самым ранним образцом подобного жанра <она вышла в 1895 г.>, никем еще не превзойденным, новаторским по содержанию и форме и имеющим непреходящее значение.

Все, что узнает читатель о внешних обстоятельствах жизни героя, сводится к немногому: зовут его Генри Флеминг, он очень молод, добровольно примкнул к армии в синих мундирах, долго и мучительно ждал развития событий и наконец стал участником сражения. Само это сражение состоит в основном из тягостного ожидания, затем маршей, атак и отступлений, причины, суть и смысл которых участвующий в них полк не улавливает. Все, что происходит, увидено глазами юноши, и автор не сообщает нам ничего сверх того, что слышит, видит и чувствует его

молодой герой. Все изображено невероятно наглядно и в то же время совершенно по-новому; известны источники, которыми пользовался Стивен Крейн, это «Война и мир» и «Севастопольские рассказы» Толстого, несколько трудов о Гражданской войне и устные рассказы тех, кто сам принимал в ней участие. Но, как справедливо утверждает-ся, главным источником этого произведения послужили картины импрессионистов. Все переживания юноши представлены автором в виде картин, цветовых импресси-ей, смонтированных так, что чувства героя передаются чита-телю. Есть там одна удивительно впечатляющая фраза: «Алое солнце, как сургучная печать, приклеилось к небу». Я не знаю, видел ли Стивен Крейн когда-нибудь картины Ван Гога, но он поистине рисовал их словами.

В описании Крейн всегда остается реалистичным и конкретным, но при этом стремится уйти от натурализма к обобщению, к иносказанию, к притче. Он избегает имен. Даже герой его лишь очень редко называется по имени, обычно он фигурирует как «юноша». Другие солдаты тоже выступают без имен, они зовутся «долговязый солдат», «горластый солдат», «оборванный солдат». Книга сначала должна была носить название «Рядовой Флеминг, его участие в сражениях». Позднее автор озаглавил свое произведение «Алый знак доблести, эпизод американской Гражданской войны». Под «алым знаком доблести» здесь имеется в виду рана, полученная в сражении, и глубокая ирония этого названия заключается в том, что юный герой, вместе с другими бегущий с поля боя, в конце концов все же получает рану, но не от врага, а от другого беглеца, за которого цепляется и к которому пристаёт с вопросами: «Куда, как, почему?»; тот, не в силах иначе освободиться от повисшего на нем юноши, ударяет его прикладом по голове. Юноше удастся добраться до своего полка с «алым знаком доблести», и там его чествуют как героя.

Место действия, как уже было сказано, предельно ограничено, оно — всего лишь душа одного-единственного человека, но это минимальное пространство постоянно расширяется до целой вселенной. На огромном полотне крупно изображен страх на фоне нагромождения бессмыс-ленных и жестоких событий, в которые добровольно ввязался юноша. Страх представлен во множестве форм, он изображен не абстрактными словами, а средствами живописи. Внутренний мир юного героя и внешний посто-янно сближаются и накладываются друг на друга с такой убедительностью, что у читателя спирает дыхание. Ужас-ные картины агонии и смерти вокруг напоминают образы из «Бедствий войны» Калло или «Бедствий войны» Гойи. Писатель не стилизует, не создает насильственных симво-

лов, он лишь показывает картины, которые видит юноша, показывает их его глазами: переходящие друг в друга цветовые пятна, слагающиеся в теснящие душу образы. Они постоянно меняются под влиянием меняющихся чувств молодого человека. Колебания и перепетии битвы показаны через их воздействие на участников.

Автор не говорит, а живописует. Единственный раз он представляет слово герою, вместо того чтобы изобразить все красками и жестами. Ибо тут и автор и герой открывают нечто совершенно новое: юноша внезапно перестает быть индивидом и становится частью массы. Этого, как мне представляется, до Стивена Крейна никто не описывал. «Он внезапно забыл о себе,—говорится в романе,—перестал смотреть в лицо грозящей судьбы. Был уже не человеком, а винтиком. Что-то, чему он принадлежал—полк, или армия, или дело, или страна,—оказалось в опасности. Накрепко спаянный с неким сложным организмом, вместе с ним подчинялся единственному неукротимому желанию. В эти мгновения он так же не мог бы убежать, как не может мизинец поднять бунт против руки... Он ни на минуту не забывал, что рядом с ним его товарищи. Им владело неизъяснимое чувство военного братства, более притягательного, чем даже цель, во имя которой они сражались. Чувство таинственного родства, сотворенного пороховым дымом и смертельной опасностью»¹.

Внутренний мир этого героя, полугероя, антигероя, находится в постоянном брожении, колебании, в состоянии прилива и отлива, каждую минуту прежний и совершенно иной; в нем отсутствует статика, в нем всё—динамика. Постоянно ощущается становление, поток, но направление потока определить не удастся, его лишь смутно предчувствуешь. Это и заставляет читателя все время ощущать движение, развитие событий, непрерывный ход истории, исторический взгляд на вещи, что и является конечным смыслом произведения.

В конце писатель ясно обнаруживает цель этого движения и развития. Юноша открывает, что полученная им рана и ее последствия нанесли не менее сильную рану его душе. Он впервые осознает всю иронию своего ранения, всю нелепость и напыщенность своих прежних героических устремлений. И он выздоравливает. Ощущает бессмысленность воинской славы, ощущает в себе спокойную мужественность, не крикливую, но кровную и сильную. «Так случилось, что, пока он брел оттуда, где царили кровь и ярость, в его душе произошел перелом. Он оставил позади раскаленные плуги, бороздившие землю, и

¹ Перевод Э. Линецкой.

вышел в тихие просторы клеверных полей, а раскаленных плугов, бороздивших землю, как не бывало. Борозды не долговечнее цветов... Он излечился от алого недуга войны»¹.

Роман краток, но вполне понятно, почему критики того времени находили его длинным и скучным. В нем все — одно и то же: страх, ужас, смерть, паника, обретение нового мужества, которое по сути есть не что иное, как отчаяние, все та же ложь, все та же бессмыслица. Но сегодня мы читаем его с неослабевающим интересом и, когда негероический герой достигает наконец цели, ощущаем сожаление. Автор должен был бы провести его по еще более длинным дорогам сумятицы и хаоса, прежде чем он достигнет цели.

При этом в романе Крейна наличествуют, без сомнения, действительные длинноты, и авторитетное издание Роберта Вустера Столлмена, дающее варианты оригинала и более ранних публикаций, обнаруживает причины этих длиннот. Такие длинноты свойственны многим выдающимся произведениям. Дело в том, что художник, открывавший для себя нечто совершенно новое, непривычное, опасается, что читатель его не поймет, и он выражает это новое, трудно постижимое во все новых образных воплощениях, чтобы вернее донести его до читателя. Так поступал и Стивен Крейн, стремившийся прямо-таки с неистовой энергией выразить свою новую правду.

То, что он увидел и выразил в романе, было в самом деле поразительно ново. Он предвосхитил Кафку и Зигмунда Фрейда. «Алый знак доблести» — исторический роман высочайшей пробы. Действие книги перенесено в прошлое, но она нова по содержанию, нова по форме, нова по краскам и по языку.

6

Американские авторы первой половины нашего столетия создали немало примечательных исторических романов. Конечно, самые выдающиеся писатели, такие, как Драйзер, Синклер Льюис, Стейнбек, Хемингуэй, Фолкнер, разрабатывали исключительно темы своего времени. Но уже Синклер Льюис взглянул на свою эпоху с исторической точки зрения. Он увидел в ней Бэббита, дельца из среднего класса, и показал его так, что тот останется навечно неизменным историческим типом. Теодор Драйзер создал Клайда Гриффитса, представителя американской молодежи, который, под девизом «деньги —

¹ Перевод Э. Линецкой.

мое отечество», стремится ухватить свой кусок от жирного пирога и, желая проникнуть в ряды имущего, а посему почитаемого класса, идет на все, даже на убийство. Джон Стейнбек, свидетель ужасающего экономического кризиса конца 20-х годов, создал обобщенную фигуру жертвы этого кризиса, типическую не только для своего времени, но и для всех времен депрессии. Хемингуэй и Фолкнер, правда, не уделили внимания историческим признакам современности. Это, возможно, объясняется тем, что расцвет их творчества пришелся на эпоху, когда духовный климат страны находился в состоянии брожения. Синклер Льюис, отказавшийся в 1926 году от присужденной ему премии Пулитцера, охарактеризовал это брожение так: «На писателя оказывается любое возможное давление, чтобы он сделался безопасным, послушным, вежливым и стерильным».

Если ни один из выдающихся американских писателей не создал исторических романов, то тем шире поток исторических романов, не имеющих ничего или почти ничего общего с литературой. Некоторые из этих книг тем не менее завоевали всемирную известность. Назову роман «Застывшие навеки» Кэтлин Уинзор, историю из эпохи реставрации в Англии, рассказанную очень умело. Сюжет в основном повторяет содержание романа Даниеля Дефо «Молль Флендерс», использованы также и исторические «опыты» этого писателя, и все это обильно сдобрено эротикой. Назову далее «Облачение» Лойда К. Дугласа, где в сентиментальном и банально назидательном духе пересказывается эпизод из Нового завета. На более высокой ступени стоит «Вредный Энтони» Гарвея Алленса; это произведение в духе Дюма, превосходно построенное, полное захватывающих приключений; некоторые ситуации в нем не просто увидены извне, но и воссозданы так, что поневоле остаются в памяти читателя.

Еще искуснее повествование в романе Маргарет Митчелл из эпохи войны Севера и Юга — «Унесенные ветром». Писательская техника здесь виртуозна, и то, что роман читается с величайшим напряжением, вполне оправдано. Персонажи — не вполне живые люди, но очень на них похожи, а главная героиня, Скарлетт О'Хара, — удачное подражание Бекки Шарп из «Ярмарки тщеславия» Теккерея. Роман предусмотрительно избегает показывать на своих страницах ведущих исторических персонажей, они остаются на периферии действия, а герои — преимущественно люди среднего класса. В этом и сила его, и слабость. Вся эпоха увидена с точки зрения этого среднего класса, которую писательница принимает достаточно некритично. Митчелл, как и ее герои, тяготеет к старому рабовладельческому Югу, она изображает его с

величайшей теплотой, с запоздалым ребяческим патриотизмом. Она знает прошлое, но она его не поняла, она не понимает ни своих героев, ни их конечные движущие мотивы. Она тоскует по прошлому, и эта тоска ее наполовину ослепляет. Марк Твен тоже был в немалой степени *laudator temporis*¹, один из тех, кто воспевал прошлое, и он тосковал по старому Югу, где протекло его счастливое детство. Но Марка Твена тоска никогда не ослепляла, он сознавал, что пережило себя и прогнило на его Юге, он видел не только его прошлое, но и его будущее, землю, по которой текут воды великого потока, вечно струящейся и вечно меняющейся реки Миссисипи. А роман Маргарет Митчелл статичен, ему чужда динамика. Поскольку писательница является превосходной рассказчицей, она внушает читателю, что доброе прошлое разрушено скверным настоящим, и читатель, покуда он читает, слепо ей верит. Но когда он откладывает книгу и начинает обдумывать прочитанное, в нем пробуждается разум и он задает себе вопрос: «Достоверно ли все то, что мне здесь рассказано?» — и сам отвечает себе: «Нет, это не более чем красочная, занимательная сказка».

Многие авторы романов, посвященных американской истории, разделяют с Маргарет Митчелл ее теплые национальные чувства. Америка честно и усердно старается постичь свою историю, я уже говорил, сколько упорного и тщательного изучения фактов лежит в основе каждого такого исторического романа. Автор обычно ездит из архива в архив, он горд тем, что ему точно известно, в котором часу пошел дождь и когда он прекратился в такой-то день и сколько часов спал в ту или иную ночь генерал Икс или генерал Игрек. Но одного изучения фактов, даже столь кропотливого, недостаточно, чтобы вчувствоваться в историю и тем более чтобы ее оживить, ибо это требует фантазии и художественного дара, а романы, основанные лишь на изучении источников, так и остаются китчем.

Главные темы таких произведений — события Войны за независимость, то есть американской революции, освоение Дикого Запада и Гражданская война Севера с Югом.

Над литературными поделками на тему Войны за независимость возвышаются книги Говарда Фаста. Говард Фаст — американец до мозга костей, его исторические романы, действие которых разыгрывается не в Америке, представляются мне неудачными. А произведения из американской истории обычно жизненны и имеют под собой твердую американскую почву. «Хаим Соломон, сын Свободы», «Непобедимые», «Гражданин Том Пейн» — в

¹ Хвалитель былых времен (лат.).

лучших местах этих произведений читателю передается такое непосредственное ощущение эпохи революции, как будто он сам ее пережил. Говард Фаст — отличный рассказчик, однако он довольно легко впадает в мелодраму и тогда напоминает запоздалого Виктора Гюго. Порой Фаст излишне увлекается патриотическими эмоциями и становится столь явно пристрастен, что читатель перестает ему верить. Но большинство его книг все же пронизано дыханием истории. Лучшим из его произведений мне кажется «Американец» — роман, посвященный новейшей американской истории. Герой книги — губернатор Алтгелт, умный и страстный поборник прогресса, теряющий себя в хитросплетениях политики, которой вынужден заниматься. Многие в этой книге — всего лишь напыщенная журналистика, но основа ее — это живая история, воссозданная художественными средствами.

Примерно к тому же разряду относятся романтизированные биографии Ирвинга Стоуна. Особенно удачной мне представляется история жизни Джека Лондона — «Моряк в седле», а также книга о Джоне Чарлзе Фримонте и его жене Джесси — «Неувядаемая жена». Хотя в общем книги Ирвинга Стоуна имеют мало отношения к художественной литературе, они не более чем облагороженные репортажи, отлично скомпонованные и исполненные патриотического воодушевления.

Книга о Фримонте принадлежит к тем многочисленным произведениям, которые разрабатывают вторую большую тему американского исторического романа, а именно открытие и колонизацию Дикого Запада.

Хотел бы здесь упомянуть также об одном из лучших американских романов нового времени, который хотя и не обращается непосредственно к теме колонизации, однако тематически и внутренне с ней связан. Я имею в виду роман Лесли Ривера «Торгуты». Торгуты — племя, преследуемое царским правительством, оно бежит по степям России на восток в поисках новой родины. Это эпопея в лучшем смысле этого слова. Без сомнения, она навеяна историей кочующих индейских племен и американских пионеров, которые вели опасное существование на границе диких степных просторов и законов цивилизации. Таким образом роман рассматривает чисто американские проблемы, но с известной дистанции; он придает им всеобщий характер именно тем, что переносит эти проблемы в бесконечные просторы чужой степи. Персонажи, хотя и наделенные общими родовыми чертами, все же весьма отличаются друг от друга; при этом индивидуализация их не сводится к мелочности, и отдельные люди вырастают до типических обобщений. Книга рассказывает о судьбах

целого племени. Поэтому «Торгуты» — роман исторический.

Из сотен, а то и тысяч романов о пионерах, действие которых происходит в самой Америке, я читал не более двадцати — тридцати. Впечатление произвела на меня книга Мэя Меррилла Миллера «Сперва зелень»¹. Она начинается с показа раздоров, которые вносит Гражданская война в жизнь отдельных семей. Затем описаны ужасающие тяготы, которые выпадают на долю семьи пионеров, обосновавшейся в Калифорнии, в Сан-Хоакин-Вэлли. В результате неопишуемых трудов эта семья превращает окружающую целину в плодородную землю, но в конце ей предстоит новое испытание: железнодорожная компания с обезличенной алчностью пытается вырвать у нее плоды этих трудов. Роман любовно описывает ландшафт, становящийся частью этой истории, и передает неповторимое своеобразие изображаемого периода, его развитие, его исторический характер.

Ближе к чисто развлекательной литературе стоит роман о Диком Западе Вана Тилбурга Кларка «Инцидент в Оксбоу». Это небольшое произведение независимо и очень своеобразно продолжает великие традиции Фенимора Купера и Марка Твена. В романе изображаются сложности, с которыми сталкивает человека жизнь без законов и границ. Ведь среди беззакония каждый живет по своим собственным законам. Каждый поневоле действует согласно обычаям, на которых он воспитан, особенно если желает поступать справедливо. Эта история, рассказанная весьма строго и бескомпромиссно, создает смелый образ великой и примитивной эпохи во всей ее неоднозначности.

Однако едва ли найдется другое время, которое так жадно эксплуатировалось бы американскими авторами исторических романов, как Гражданская война. Снова и снова они перерывают горы документов той эпохи, чтобы откопать подходящий сюжет для своих сочинений. Каждое самое мелкое событие было рассказано, затем пересмотрено под новым углом зрения, мелодраматизировано и пересказано вновь в слегка измененном виде. Генералы и политики обеих партий, вплоть до самых незначительных, становились материалом для исторических произведений. Роль этих достойных мужей то преувеличивалась, то преуменьшалась, а их самих то восхваляли, то осыпали бранью. При этом автор не мог слишком далеко отходить от так называемых исторических фактов, поскольку факты эти были хорошо известны американским рецензентам и читателям. В результате возникло огромное количество

¹ Ср.: Марк, 4, 28: «Ибо земля сама собою производит сперва зелень...» (Примеч. автора.)

всевозможных произведений, которые еще больше замутили и без того смутный образ этой войны. Ибо в конечном счете, подобно многим крупным политическим движениям немецкой истории, и эта война, по выражению Геббеля, оказалась «безрезультатной». Отдельные южные штаты и до сей поры не вошли органично в Союз штатов, а вопрос об освобождении негров еще и сегодня полностью не решен. По этим причинам для американского автора чрезвычайно трудно подняться над эмоциями и перейти в сферу конкретного и исторического.

Хочу попутно коснуться одной небольшой истории, написанной во время Гражданской войны, непосредственно с этой войной не связанной, но тем не менее более верно передающей дух честных борцов за Союз, чем множество длинных романов, которые впоследствии были посвящены этой эпохе. Я имею в виду новеллу Э. Хейла «Человек без отечества». Хейл, милосердный священник из числа унитариев, написал большое количество романов, новелл и эссе, интересно задуманных, гуманных и доступных широкому читателю, но почти все они были написаны небрежно, поверхностно и били на эффект. При этом Хейл обладает верным чувством перспективы и искусно связывает отдельные события в цепь повествования. В названной новелле ему посчастливилось достичь наибольшей удачи, и в то время как остальное его обширное творчество прочно забыто, новелла эта, по праву, продолжает жить в памяти читателей, подобно тому, как из всего богатого наследия аббата Прево живет только «Манон Леско». Сюжет новеллы «Человек без отечества» целиком вымышлен автором, но вымышлен очень удачно. Некий Филип Нолан, который во время американской революции предстает в качестве заговорщика в пользу Англии перед американским судом, проклинает американские штаты и выражает желание никогда более ничего не слышать об этой стране. Суд принимает решение выполнить это его желание, всю остальную жизнь он должен провести на одном из суденышек американского флота и никогда более ничего не слышать об Америке. Ситуация совершенно невероятная, но дальнейшая жизнь этого человека, Филипа Нолана, рассказана с такой степенью реализма, с такими тонкими нюансами, что автору поневоле веришь и его патриотический пыл заражает читателя. Хейл сам обозначает связь между своей новеллой и прекрасной балладой раннего Вальтера Скотта. Его Филип Нолан внутренне окончательно ломается, когда в стихах Скотта читает о человеке, чья душа настолько омертвела, что он уже не в состоянии ощутить: «Это моя страна, мое отечество». В самом деле, в истории Хейла много родственного творчеству Вальтера Скотта, выраженная в ней

любовь к отечеству становится обобщением всякой любви к собственной стране.

Среди более поздних произведений о Гражданской войне одним из сильнейших является повесть «Тело Джона Брауна» Стивена В. Бенé. Джон Браун, фанатично добродетельный, беспощадный борец за отмену рабства, человек, опередивший свое время, был казнен как мученик своего великого дела. Он стал героем бесчисленных поэм, романов и пьес. Но из всех этих творений жизненность сохраняет только упомянутая новелла Бене. Следует упомянуть также небольшую историческую новеллу того же Бене «Дьявол и Дэниел Уэбстер» — сочинение в истинно народном духе. Великий оратор и крупнейший государственный деятель Дэниел Уэбстер защищает перед судом присяжных, отъявленных американских плутов и предателей, человека, который продал душу дьяволу за десять лет богатства; красноречие оратора напоминает этим людям о тех временах, когда они еще сами боролись за идеалы. Суд оправдывает подсудимого, пожертвовавшего душой ради успеха своей пионерской деятельности. Все это рассказано с прекрасной простотой, лишенной и намека на сентиментальность.

Из романов о Гражданской войне, созданных в более близкое нам время, выделяются два. Первый — это «Андерсонвилль» Маккинли Кэнтора. В бесконечно длинном повествовании дается панорама местности вблизи Андерсонвиля в штате Джорджия и подробно описан ужасный концентрационный лагерь, в котором генералы южных штатов содержат своих пленников. Десятки тысяч пленных здесь уже лишились жизни, один из генералов гордо заявил, что он угробит здесь больше врагов, чем его товарищи на полях сражений. Дело обстоит так, что если пленные откажутся от своей принадлежности к партии северян и перейдут на сторону Юга, они смогут получить свободу. Но они предпочитают умереть за дело Союза. Лагерь описан во всех подробностях, со всеми стражниками и заключенными, с жителями штата Джорджия, обитающими подле него. Автор выводит огромное количество людских судеб, но все они органично вплетены в общую картину. Он не рисует их только в черно-белых тонах. Ярость заключенных направлена и против собственных генералов из войска северян, которые упорно отказываются выменять их на пленников-южан, и их негодование передается читателю. Вероятно, эта книга не была бы написана, если бы события Андерсонвиля не повторились столь страшно в гитлеровских концлагерях, параллель тут возникает сама собой. Но в целом в романе много типичного, свойственного всем временам, не декларированного, а воссозданного художественными средства-

ми; и не комментарий автора, а именно манера изображения покоряют читателя и заставляют его ощутить правоту дела Севера, связь Союза с будущим и поступательный ход истории.

Второй роман, который я имел в виду,—это «Медянки» Уильяма Дж. Блейка. Медянки—крайне ядовитая, распространенная на юге Соединенных Штатов порода змей; во время Гражданской войны так называли крупных банкиров, судовладельцев, торговцев хлопком из северных штатов, которые вступали в тайные сговоры с восставшими южанами и действовали против Линкольна и Союза. Роман Уильяма Дж. Блейка, также очень длинный, стремится обнажить политическую, экономическую и социологическую подоплеку Гражданской войны со всеми ее хитросплетениями и конфликтами. Это дерзкое начинание. Местом действия своей истории автор выбирает Нью-Йорк и пытается вместить все содержание в судьбы немногих главных героев и огромного количества второстепенных. Судьбы эти всецело определяются колебаниями военных действий, и, несмотря на многослойность повествования, автору удается поддерживать интерес читателя. Порой Блейк впадает в мелодраматизм, порой он слишком многоречив, и его речь кажется бесцветной, вялой, невыразительной. Но через судьбы героев четко прослеживаются линии, которые кажутся автору определяющими для хода Гражданской войны. И его трактовка событий выглядит убедительно.

Завершить этот весьма неполный и субъективный обзор того, что кажется мне примечательным в исторической художественной литературе американцев, мне хотелось бы рассмотрением спокойного, проникнутого невозмутимым юмором романа Клайда Брайона Дэвиса «Тадбери». Несколько десятилетий назад этот автор снискал огромный успех благодаря своему «Большому американскому роману». Но за прошедшее время политический климат Америки существенно переменялся, и взгляды автора, оставшиеся теми же, что и в прежнем произведении, стали нежеланными для публики. Посему новый роман остался незамеченным, хотя, без сомнения, обладает более серьезными достоинствами, чем первый.

Произведение по праву носит подзаголовок «Американская комедия»; книга эта совершенно американская, в лучшем смысле слова, и даже ассоциация с дантовским пониманием термина «комедия», к чему автор, вероятно, стремился, не кажется слишком самонадеянной. Роман описывает жизнь и воззрения Оттиса Поля Тадбери (1880—1945), одного из капитанов американской экономики. Тадбери принадлежит к людям, которые из-за кулис управляют судьбами страны, он показан в романе с точки

зрения одного из своих служащих, редактора газеты Пита Манденхолла, его друга и страстного почитателя. Пит считает Тадбери одним из величайших людей на земле; он верит, что тот избран судьбой, дабы на веки вечные даровать земному шару свою философию. Фокус заключается в том, что именно благодаря восторженному рассказу честного друга становится явной вся мера опасности таких людей, как Тадбери. Вред, который причиняет этот ненасытный предприниматель, воспринимается его простодушным честным другом как величайшее благо для него самого, для страны и для мира. О.-П. Тадбери — типичный представитель экономических воротил своей эпохи и своей страны, он превосходно дополняет образ бизнесмена средней руки Бэббита, увиденного Синклером Льюисом. Место в литературных справочниках Тадбери заслужил не меньше, чем Бэббит. Мораль Тадбери отличается прочностью и гибкостью. Он никогда не испытывает ни тени сомнения, всегда находит незыблемое этическое обоснование всему, что он делает. При этом он обаятелен, обаяние это действует не только на его друга-биографа, но в преобладающей части книги и на читателя. Книга не обвиняет, она всего лишь изображает героя и его эпоху с великолепным невозмутимым эпическим юмором, с тем юмором, который Марк Твен считает сильнейшим оружием человечества в борьбе против зла. К.-Б. Дэвис применил и другой трюк, весьма удачный. Друг, который описывает жизнь Тадбери, является типичным газетным редактором из среднего городка, он не делает различия между важным и неважным, между событиями мирового масштаба и происшествиями в городке, и как хороший репортер все время переплетает историю Тадбери с историей страны. Таким образом книга становится живо иллюстрированным пособием по истории Америки тех времен, когда из большого острова она становится мировой державой. Промышленная революция, социальные преобразования, первая мировая война, правление Ф.-Д. Рузвельта — все это описывается здесь как с точки зрения крупного предпринимателя, так и с точки зрения маленького человека, слепо верящего в этого предпринимателя. Маленький человек искренне разделяет взгляды большого человека, он считает его святым правом заглотнуть солидную часть мира, он восхищается другом, даже когда тот съедает его самого. Эта вера газетчика как раз и придает повествованию невозмутимый грустный и трогательный комизм. Ничто не подчеркивается, не выпячивается грубо на первый план. Автор описывает реальность Тадбери и его Америки основательно, с тихой покорностью, порою поэтично и всегда мудро.

Иногда юмор Дэвиса, подобно юмору Марка Твена, поднимается до ключевых обобщений. Так, в большом эпизоде автомобильных гонок с потрясающей комичностью обнажается суть великого дельца, его убежденность в своем превосходстве, его примитивная грубоватая хитрость, с помощью которой он добивается успеха, наивная вера в свое дело, позволяющая ему считать честным и дозволенным любое средство, даже обман. Книга по форме и по интонации невероятно американская, конкретная и до предела насыщенная фактами, исполненная спокойного глубокого юмора. Тадбери — такой же американец, как американец — Марк Твен или Сервантес — испанец; это придает его образу непреходящий и наднациональный характер. «Тадбери» — великолепный крупномасштабный исторический роман.

Часть вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Читатели и рецензенты, желающие похвалить исторические произведения, чаще всего говорят: писателю удалось оживить изображаемую эпоху. Они явно считают это главной целью исторической художественной литературы. Но это не более чем заблуждение. Конечно, над профессорами, пишущими исторические романы, витает подобная цель. Однако истинные художники в своих творениях на исторические темы обычно хотят высказать нечто важное для своего времени, свое отношение к современности, свое понимание того, сколь много от прошлого продолжает жить в настоящем.

Великие авторы Библии, Ягвист и Элогист, в своих рассказах о ранних временах Израиля тоже изображали собственное время, его нравы, тенденции политического развития, его бога. Они описывали события через пятьсот, а то и тысячу лет после того, как события эти совершились, и вовсе не задавались вопросом: а что, если тогдашние люди думали и действовали совершенно иначе, чем мы, что, если бог их праотцев был совсем не похож на нашего бога. Они наивно переосмысливали события древних времен в соответствии с собственными взглядами и объясняли действия праотцев побуждениями, характерными для них самих. Точно так же поступали Гомер и современные ему поэты. Они сочиняли «Илиаду» не для

того, чтобы оживить время, когда ахейцы вторглись в Малую Азию. Гораздо больше им хотелось изобразить рыцарскую жизнь и приключения собственного девятого или восьмого века, а вовсе не варварские стычки той войны тринадцатого века до нашей эры; в своих сочинениях они тоже ставили проблемы своего времени—например, что предпочтительнее, диктатура или демократия,—и решали этот вопрос в пользу диктатуры. Так же поступал Вергилий. Кем был для него грек Эней? Он лишь представил в его образе основателя рода, из которого вышел его император и покровитель Август, и рассказал об основании Рима. Так же поступали Шекспир, Гете и Вальтер Скотт. Изображение прошлого никогда не было для них самоцелью, но всегда лишь средством передать то, что волнует их самих и их современников.

И даже те полухудожники, что ставят перед собою единственную задачу—занимательно и эффектно изобразить прошлое, порой, воодушевляясь, говорят не только о событиях и людях прошлого, но и о том, что волнует их в современности. Я уже упоминал «Эфиопику» Гелиодора, произведение, которое называют самым первым историческим романом. Это пестрый авантюрный роман, полный диковинных, захватывающих приключений. Но уже этот автор невольно вносит в описание далекого прошлого проблемы своего времени; так, он восхищается утонченной синкретической религией, с энтузиазмом выступает за равенство рас—видимо, сам он был чернокожим. Даже такой рассказчик, как Дюма, который стремится прежде всего к мелодраматическим эффектам, всегда проглядывает сквозь обличье своих героев. Они у него все смелые, склонные к театральным эффектам, расточительные—то есть точно такие же, каков был он сам; он заставляет их бушевать, если им что-нибудь не по нраву. Он сам был вечным революционером, и его историческая драма внесла свой вклад в развитие событий, предвосхищая свержение Бурбонов. А Чарлз Кингсли—отчасти профессор истории, но в большей мере писатель—в своем историческом романе «Гипатия», действие которого происходит в пятом веке, проповедует взгляды христианского социализма.

Итак, то, что оживляет историческую художественную литературу, никогда не почерпнуто из истории прошлых эпох, а всегда из современности и из личного опыта автора. Читатель исторического сочинения обычно больше узнает о писателе и его времени, чем об эпохе, в которой разворачивается действие. «Кто хочет понять поэта, должен отправиться в страну поэта»,—несколько назидательно провозглашает Гете, а Шоу в свойственной ему парадоксально-экстравагантной манере объявляет: литература, которая ничего общего не имеет с журналисти-

кой, недолговечна. «Для меня,— пишет он,— историческая личность существует лишь в той ее части, которая есть я сам. Здесь сосредоточено все, что я могу узнать о ее душе. Человек, который пишет о себе и о собственном времени, и есть тот единственный человек, который пишет обо всех людях и обо всех временах». Так говорит художник, создавший образы Цезаря и Жанны д'Арк.

Есть немало писателей, которые, решая свои творческие задачи, обращались попеременно то к исторической, то к современной тематике. Содержание их произведений от этого не менялось. Так, Гете выразил сокровенные мысли сначала в «Геце», а затем в «Вертере». Драматург Гете чаще всего чувствовал себя неуютно в костюме своего времени; пьесы, которые он посвятил современной политике, ему не удалось. Он мог передать все это сильнее и вернее, облачившись в исторические одежды, как в «Эгмонте». Поэт Гете вообще обожал переодевания, он охотнее выступал в платье Тассо или Антонио, чем в своем фраке. Самые мудрые мысли он высказывал как бы не от себя, а в измененном обличье — например, в «Фаусте» и в «Западно-восточном диване». А Гете-эпик, хотя и он не прочь замаскироваться, все же чаще выражает свои чувства и мысли в современном костюме — таков он в «Вильгельме Мейстере» и «Избирательном сродстве».

Молодой Шиллер дал выход своим революционным устремлениям в «Разбойниках» и «Коварстве и любви»; но те же мысли он вкладывает и в уста героев исторических драм — «Фиеско» и «Дон Карлос». В произведениях более позднего периода Шиллер совершенно отказался от героев в современных костюмах. Свои переживания, связанные с Наполеоном, он воплотил в «Валленштейне», а на события французской революции откликнулся в «Вильгельме Телле».

Многие большие мастера со смешанным чувством относились к произведениям на исторические темы и, хотя сами порой их создавали, часто высказывались об этом щекотливом жанре весьма резко.

Молодой Хенрик Ибсен написал ряд исторических пьес, но впоследствии с гневным пылом выступал против этого жанра. Как-то после представления исторической пьесы Мартина Грейфа раздосадованный Ибсен, шагая с друзьями по пустынным улицам Мюнхена, воскликнул: «Ну скажите мне, какое дело Мартину Грейфу до мертвых королей!» Сам же он ранее немало потрудился над образом мертвого императора Юлиана Отступника в пьесе «Кесарь и галилеянин», а также над образами норвежских королей Хокона и Скуле в глубокой и сильной исторической драме «Борьба за престол». Выраженную в ней идею он впоследствии еще раз воплотил в своем

«Строителе Сольнесе». Эту пьесу я очень люблю, видел ее неоднократно, один раз—в превосходной немецкой, а другой—в отличной французской постановке. «Борьбу за престол» я видел только однажды и в весьма посредственном исполнении, но, несмотря на это, она затронула меня еще глубже.

Готфрид Келлер писал превосходные исторические новеллы: «Дон Корреа» из цикла «Изречение», «Семь легенд», «Девочка Мерет» из романа «Зеленый Генрих». Но при этом он очень скептически относился к историческим сочинениям своего выдающегося земляка Конрада Фердинанда Мейера, о чем тот рассказывает в своих «Воспоминаниях о Готфриде Келлере»: «К историческим сюжетам он относился крайне высокомерно и однажды совершенно их отверг. «В воздействии того, что случилось когда-то и дошло до меня, я не так уверен, как в воздействии того, чему сам был свидетелем»,—обычно говорил он».

2

Если я прав, утверждая, что авторы произведений на исторические темы вкладывают в них современное содержание, то каждый, разумеется, пожелает узнать: почему же они не используют тогда современные костюмы и реквизит, почему не употребляют современные обороты речи? Зачем автору маскироваться и скрывать свое истинное лицо? Подобный вопрос, пожалуй, не раз доводилось слышать каждому, кто пишет на исторические темы, да и сами писатели постоянно спрашивают себя о том же.

Объясняется это многими причинами, по большей части не очень существенными, но одной—чрезвычайно важной. Сначала я скажу о мотивах менее существенных и в каждом случае различных. Это, в частности, возможность высказать в историческом облачении те истины, которые в современном виде говорить опасно, а то и вовсе невозможно. Речь тут идет о политике или об откровенной эротике. Так, авторы библейских текстов не осмеливались вслух высказывать истину и давать советы своим царям и их приближенным, но они так представляли прошлое своего народа, что читатель и слушатель поневоле становились на сторону пророка и летописца и осуждали царя. Автор трагедии «Октавия», лишь прибегнув к исторической маскировке, осмелился высказать свое недовольство правлением Нерона. В более поздние времена Шекспир убегал в прошлое, чтобы излить свое горькое отчаяние по поводу ничтожества современного правления.

Так же поступали Расин, Вольтер, Дидро. Овидий для своих смелых эротических сюжетов выискивал истории из мифологического прошлого. Пьер Луи для тех же целей замаскировался под некую современницу Сафо и сделал это так достоверно, что его стихи сочли подлинным научным открытием. Прибавим к этому то обстоятельство, что события, перенесенные в прошлое, приобретают некую историческую патину, от чего кажутся достовернее и неопровержимее. «Major e longinquo reverentia», то есть «отдаленность увеличивает обаяние», утверждал Тацит.

Другой побудительный мотив—извечная склонность писателя к игре, к возвышенной шутке, желание спрятать свое лицо под исторической маской. Писатель хочет скрыться за своим творением, раствориться в нем, и лучшее для этого средство—перенос действия в прошлое. Авторы Библии недаром приписывали рассказанное ими легендарному Моисею, свои псалмы—царю Давиду, отошедшему к праотцам за четыре-пять столетий до них, а мудрые изречения и смелую любовную лирику—мудрому, старому и сладострастному царю Соломону. Сочинители киклических и гомеровских поэм предпочли остаться анонимными. Их песнь звучит как бы из незапамятных времен. Так же обстоит дело и с большими эпосами средневековья: с «Песнью о Роланде», «Песнью о Нибелунгах»; мы можем лишь строить догадки о том, кто в действительности написал эти поэмы; они звучат достовернее, когда их автор выступает в обличье старого народного певца. Великие французские писатели XVIII века, прежде всего Вольтер, любили издавать свои произведения анонимно, правда, покрывало при этом часто было достаточно прозрачным.

По той же причине многие писатели склонны выпускать свои книги под видом издателей неких подлинных дневников, писем и т. п. Другие берут себе псевдонимы. Они испытывают вполне понятную боязнь, что их частную жизнь смешают с их творениями, их субъективное начало—с тем, что они объективировали, представив в безличном виде. Мольер полностью заслонил для нас Ж.-Б. Поклена, а Вольтер—Мари Франсуа Аруэ; из мадам Дюдеван возникла Жорж Санд, а из Анри Мари Бейля—Стендаль. Кому известна Мэри Энн Эванс? Но любой слышал имя Джорджа Элиота. Кому известны Анатоль Франсуа Тибо или Алексей Пешков? Но любой знает Анатоля Франса и Максима Горького.

Склонность передавать личные обстоятельства и переживания в замаскированном виде—это неотъемлемое свойство любого писателя. Гете любил переодевания и в жизни и в поэзии. Он чрезвычайно серьезно относился к маскарадным шествиям, которые устраивались при герцог-

ском дворе, сам принимал в них участие, облачаясь в различные костюмы, охотно играл роли в пьесах, и не только в своих.

Мотив этот сливается также с другим. Все истинные поэты нередко жаждут выйти за пределы собственного «я» и собственного времени. Очень хорошо выразил это Конрад Фердинанд Мейер: «Охотнее всего я углубляюсь в прошлое, оно дает мне возможность представить вечные человеческие мотивы в более художественной форме, нежели это позволяет грубая актуальность современного материала». Как раз отвращение к «грубой актуальности» и побудило многих писателей заняться изображением прошлого.

Именно реалистические писатели, придерживающиеся убеждения, что точность наблюдателя есть предпосылка всякой правдивой литературы, нередко чувствуют потребность придать своим переживаниям историческую форму, и тем романтичнее становится тогда такой реалист. Молодой Гете лепил Гретхен с живой модели, но при этом он смешивал черты своей приятельницы с чертами детоубийцы Сузанны Маргареты Брандт и создал в высшей степени убедительный реальный образ. Но вот у позднего Гете из той же детоубийцы возникает образ сверхромантической святой — уна Poenitentium, одна из Кающихся. Острый наблюдатель современности Стендаль переносит действие одного из своих двух больших романов в прошлое, в Пармскую обитель. Теккерей, скованный и чопорный в изображении современных женщин, создает полнокровные женские образы в исторических романах «Ярмарка тщеславия» и «Генри Эсмонд». Мелвилл — мы это уже говорили — полностью превращается в своего героя Израиля Поттера, который жил за полстолетия до него, и это дает ему возможность объективировать собственные переживания; с этой же целью Стивен Крейн выступает в роли солдата времен Гражданской войны.

Мопассан переносит действие романа «Жизнь» в первую половину девятнадцатого столетия...

Искусство есть постоянная борьба между фантазией и контролирующим ее разумом. Сервантес в своем великом эпическом романе создал вечную притчу на эту тему. Гойя выразил это в подписи под одним из рисунков цикла «Капричос»: «Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусств и всех их чудесных творений». Ныне приверженцы натурализма еще строже контролируют свою фантазию, надевают на нее все более суровую узду, но необузданная фантазия встает на дыбы и вырывается на свободу. Исторические произведения натуралистов делаются тогда еще пестрее, приобре-

тая поистине избыточную красочность. Таков Флобер. В современных произведениях он делает острые зарисовки с натуры, граничащие с карикатурой; а в исторических вещах — в «Саламбо», в «Искушении святого Антония», в «Трех повестях» — дает себе волю, создавая дикое мельтешение красок и жестов, сверх всякой меры, сверх всякой достоверности. Другой пример — Герхарт Гауптман, вождь натуралистической драматургии. В драмах на современные темы он использует второстепенные, ненужные детали, чтобы только создать впечатление абсолютной, фотографической точности. Так, трагическое объяснение между юным героем и его возлюбленной все время прерывается жужжанием докучной мухи¹, или, в другой пьесе, он делает одного из персонажей заикой, что ни в малой степени не диктуется его характером. Затем истинный художник Герхарт Гауптман устает от этого дурацкого копирования действительности, он убегает в прошлое, изображает немецкие судьбы эпохи Крестьянской войны, увлеченный, подобно Гете в «Геце», пестротой и красочностью эпохи. Он изобретает для нее особый язык, который звучит весьма архаично, приводя в ужас филологов и вызывая восхищение у всех музыкальных людей. Позже, впережку с современными натуралистическими пьесами, Гауптман воплощает свои самые интимные переживания в «Бедном Генрихе» и «Заложнике императора Карла», которые причудливой формой напоминают средневековые эпические поэмы и вызывают в памяти церковные витражи или буквицы и завитушки старинных рукописей; все это нежное, золотое и звучит удивительными стихами.

Анатоль Франс также охотно бежит от своего скепсиса, от разочарованного пронизательного созерцания современности в самые различные исторические эпохи. Величайший португальский писатель конца века Эса ди Кейрош в романе «Реликвия» дерзко вклинивает в ярко сатирическое изображение богатой современной дамы-ханжи и череды махинаций охотника за наследством страстное романтическое описание последних дней Иисуса. Подобный весьма удачный трюк использовал Фридрих Теодор Фишер в одном из излюбленных немецких романов созерцательно-юмористического плана, в романе «Некто». Эта книга отличается мудростью, спокойной горечью и чудовищной многоречивостью — впрочем, все немецкое искусство весьма пространно, — и она чрезвычайно оригинальна. Герой ее, Некто, на протяжении двух толстых

¹ На чем основывается в своем утверждении Фейхтвангер, непонятно даже авторитетным исследователям творчества Гауптмана; здесь явно допущена какая-то путаница. (Примеч. издателя.)

томов борется с коварством обстоятельств, из которых мучительнее всего его хронический насморк. Как многие немцы, он к тому же еще писатель и мыслитель и сочиняет поистине прекрасную новеллу. Действие ее происходит в поселке на сваях, за 1800 лет до рождения автора, и основой сюжета в этой новелле, естественно, является распространенный там повсеместно насморк.

3

С названными мотивами взаимодействуют иные, связанные с писательской техникой.

Истинный художник подчас не столь уж разборчив в выборе сюжета: «Вторгайтесь в живую жизнь... что ухватите, то и интересно». Сюжет интересует писателя не сам по себе, а лишь постольку, поскольку является подходящим средством для выражения его сокровенных переживаний. Но писатель сбзнает, что повесть или пьеса должны иметь твердый костяк. И большинство исторических сюжетов дают такой костяк. Исторические темы всегда имеют определенное начало, определенный конец и определенные вехи посередине. Писатель может отклониться от пути, когда и где захочет, но он принужден будет вернуться и уважать дорожные указатели. Ему придется показать Эсфирь сначала ребенком, потом фавориткой в гареме, а уж после этого спасительницей своего народа, а Амана, хочет он этого или нет, ему неизбежно придется отправить на виселицу. Автор должен изобразить Валленштейна сначала как офицера, склонного к рискованным авантюрам, затем как всесильного полководца, а в конце он не сможет обойти вопрос о его убийстве. Шиллер, конечно, проявил особенную смелость, не очень-то считаясь с известными историческими фактами; так, по его воле Орлеанская дева, вместо того чтобы быть сожженной на костре, умирает на поле боя. Но такой произвол необычен, и даже пламенный почитатель Наполеона вряд ли решится сделать его победителем при Ватерлоо. Многие писатели боятся свободы, которую дает современный сюжет, и добровольно налагают на себя путы исторического действия.

К этому добавляется еще одно обстоятельство. Свобода, предоставляемая автору современной темой, нередко приводит к тому, что главное заслоняется изображением мелочей, несущественных частных. Так, писатель подробно описывает людей, которые интересуют его лично, но, по сути, не имеют особого отношения к замыслу книги. Или он перечисляет детали одежды, хвалит или бранит те или иные модные кушанья, говорит о своих личных пристрастиях и пускается в рассуждения на

злободневные политические темы, которые, по прошествии недолгого времени, за границей или даже в собственной стране делаются уже никому не понятны. Имеется также опасность, что читатель слишком уж сосредоточится на изображении таких маловажных вещей. Носил ли Вертер зеленые, белые или желтые панталоны, имеет мало касательства к его душевному состоянию, которое хотел изобразить Гете. Однако большинство читателей заинтересовались желтыми панталонами Вертера не меньше, чем его страданиями; вопрос, не следует ли им тоже заказать себе желтые панталоны, немало отвлекал их от Вертеровых страданий, и они принимали решение пошить себе точно такие. От одного испанского писака мы знаем, что чтение «Вертера» даже побудило его обратиться к Гойе и заказать ему свой портрет в желтых панталонах.

Булвер-Литтон в одном из своих современных романов выводит слуг весьма презентабельного ресторана одетыми во фраки. Это вызвало в Англии, а затем и во всем мире длинные споры о том, не следует ли слугам даже и в ресторанах среднего пошиба непременно появляться во фраках. Булвер оставил богатейшее литературное наследие, состоящее из бесчисленных исторических и современных романов. Но все, что сохранилось из этого наследия, за исключением, быть может, «Последних дней Помпеи», это вопрос о фраках для ресторанных слуг.

Исторический роман защищен от таких казусов. Автор, который упомянет, что римляне пили охлажденное красное вино, вряд ли будет попутно рассуждать о том, какие вина следует охлаждать и до какой температуры. Писатель, который выведет в своем произведении даму восемнадцатого века в кринолине, едва ли пустится в рассмотрение преимуществ и недостатков этого вида одежды и тем окажет влияние на современную дамскую моду. Автор исторического романа не подвергается опасности, что его личные пристрастия к каким-либо внешним деталям отвлекут его от темы повествования.

Но самый важный мотив, побуждающий истинного художника в известных случаях обращаться к исторической теме, лежит еще глубже. Художник, сознает он это или нет, берется за историческую тему потому, что хочет уйти от слишком большой близости к описываемому предмету и тем самым «возвысить» изображаемое, то есть как бы поставить на подмости и соблюсти необходимую дистанцию. Писатель чувствует, что лишь дистанция обеспечит ему правильную перспективу, ведь очертания горного хребта яснее тому, кто находится в отдалении, а не тому, кто пребывает в самих горах. Автор, желающий отчетливее запроецировать свое видение современности,

отодвигает ее от себя и рассматривает на расстоянии. Он берется за историю не ради самой истории: исторический костюм является для него средством стилизации, приемом, позволяющим наиболее просто усилить иллюзию реальности. Тем самым автор принуждает себя и читателя отодвинуться от предмета, не разглядывать в нем мелких деталей, но обозреть его целиком и увидеть современность в дальнейшей перспективе.

Шпильгаген в «Теории романа» называет такой прием «отчуждением». Брехт, еще удачнее, именует его «очуждением». Речь здесь идет о том, чтобы помочь читателю или зрителю постичь самое примечательное и существенное именно в собственной эпохе. Этого он сможет достичь, лишь отрешившись от нее, глядя на нее как на чужую из исторической дали. Каждый художник порой ощущает, что «грубая актуальность», бесчисленные мелочи ничтожной повседневности отвлекают как его, так и читателя от главного устремления. Из временной перспективы он может заставить читателя отчетливее разглядеть очертания эпохи и постичь направление ее развития.

Даже авторы, живущие исключительно настоящим и особо гордящиеся тем, что изображают лишь свое время во всем его своеобразии, порою удаляются в историю по причинам, которые в полной мере не ясны им самим. Они хотят, вероятно, достичь большей реальности изображаемого: «Так все и было, это история». Поскольку они художники, то не могут не чувствовать, что их субъективность легче всего преодолевается с помощью переодевания в исторические одежды.

Я уже говорил о Готфриде Келлере, который, несмотря на свое категорическое неприятие всего исторического, «парчового», как он выражался, сам писал исторические новеллы. Страстный жизнелюбец Эрнест Хемингуэй презрительно отворачивался от мертвого прошлого. Но в то же время в романе «Прощай, оружие!» он приурочивает действие к вполне определенному историческому событию, к битве на Плаве. Он хочет рассказать историю двух людей, которые полюбили друг друга в опасное время. Но по причинам, названным выше, он помещает эту любовную историю во временные рамки, позволяющие точно ее датировать. Выдающийся датский писатель Герман Банг, основатель «школы Хемингуэя», один из самых замечательных прозаиков нашего столетия, пишет романы и новеллы исключительно о современности. Однако действие его лучшей книги, «Тина», одной из наиболее пленительных любовных историй в мировой литературе, не случайно отнесено в прошлое, в эпоху всеми забытой войны, что делает книгу необычайно живой и актуальной во все времена.

Никогда произведение искусства не было связано своим возникновением теме, сюжету или тенденции. Даже дидактическая поэма Лукреция «О природе вещей» живет сегодня не благодаря учению, в ней заключенному, а потому, что в некоторых местах, например при изображении чумы, автор поднимается до чисто художественных обобщений. Так же обстоит дело с великими поэтическими творениями религиозного содержания. Славословия богам у Гомера, «Божественная комедия» Данте, религиозно-философские драмы Кальдерона бессмертны вопреки, а не благодаря своему теологическому содержанию. Пример из нашего времени: Бертольт Брехт называл свои пьесы «назидательными»; он создал сложные теоретические построения, добивался того, чтобы зритель никоим образом не отождествлял себя с людьми на сцене, но со стороны, как терпеливый ученик, наблюдал то, что ему преподносят, и уходил из театра лучше информированным. Брехт честно старался осуществить свои теории на деле, но был слишком поэт и постоянно соскальзывал в область поэзии; его драмы живут, опровергая его теории.

Также и художественные произведения на исторические темы пишутся вовсе не для того, чтобы обучать истории, либо толковать историю; они стремятся заставить читателя или слушателя *пережить* историю, как пережил ее сам автор.

Не надо думать, что писателю в какой-то момент приходит в голову идея: «Вот любопытное событие, расскажу-ка я о нем читателям или слушателям». Нет, художественное творение, подобно живому существу, зарождается совершенно произвольно. Затем в творце медленно созревают определенные чувства и мысли, которые требуют выражения. Обретут ли они это выражение, зависит от многих — не побоюсь этого слова — случайных обстоятельств в жизни писателя, они и могут продвинуть его в том направлении, которое он еще не вполне осознал. Давно известно, что какой-нибудь жест, замеченный писателем, внезапно освещает ему всю суть человека, ситуации или даже самого себя. Он мог тысячу раз наблюдать этот жест прежде, но в определенный момент он его «видит» будто впервые и понимает его. С помощью этого жеста он способен постичь внутренний мир другого человека.

Так же обстоит дело и с зарождением исторического художественного произведения. Автор с большим или меньшим интересом читает какую-нибудь хронику, исторический труд или жизнеописание, и вдруг его поражает некий факт, часто совсем мелкий, но писатель уже

провидит в нем основу для притчи. Под воздействием такого мелкого факта, или старинного портрета, или анекдота, или диковинного оборота речи оживает целая цепочка давно пережитых событий, и она требует развития. Ему вдруг становится ясно, что этот факт, или портрет, хоть и носит несмыslaемый отпечаток прошлого, мог бы поместиться и в любой другой эпохе. Человек, встретившийся ему в книге или на портрете, в любую эпоху реагировал бы на соответствующую ситуацию одинаково.

Во всей зафиксированной истории человек стоит перед одной и той же проблемой: как ему поладить со своим окружением? С членами своей семьи, своего рода, своего народа, с их мнениями, темпераментами, законами? Если он понимает, что окружающие глупы или лживы, в какой мере ему следует идти у них на поводу и в какой мере сопротивляться? Итак, с подобной проблемой писатель сталкивается на протяжении всех эпох. Но недостаточно, если он воспринимает эту проблему прошлого как свою личную. Недостаточно, если он осознает некую давно пережитую историческую ситуацию как параллель к его собственной. Недостаточно просто изобразить людей прошлого и сравнить с людьми своего времени, писатель должен в них вжиться, должен пережить прошлое в настоящем, а настоящее в прошлом. Только так он заставит читателя признать: «Это и обо мне. Я был таким же слепым орудием, когда попал на войну. Я проникся той же звериной ненавистью, когда мой противник надо мной измывался».

Возможно, в то время, когда читатель действительно испытывал подобный звериный страх или ярость, это не доходило до его сознания. Ибо даже грандиозные события не способны заставить их непосредственных участников полностью прочувствовать и осознать происходящее. Способность к сопереживанию у разных людей различна. Кто одарен любопытством, фантазией, чуткостью, может находиться даже вдали от событий, но пережить и прочувствовать их до мельчайших подробностей; другой, не наделенный фантазией и радостью познания, может оказаться в самой гуще волнующих событий, но воспримет их лишь на уровне подсознания. Малый сосуд, однажды наполненный, не приемлет более ничего, хоть обруш на него океан. Поразительно, что искусство повышает способность человека к восприятию. Историческая художественная литература в подлинном смысле этого слова помогает тому, кто ее воспринимает, заново пережить свой собственный, неповторимый жизненный опыт, понять самого себя. Запечатленное переживание в той мере, в какой оно пробуждает чувства читателя или

слушателя, позволяет ему увидеть собственную жизнь и собственный опыт с дистанции и осознать их подлинный смысл.

Если писатель хочет достичь такой цели, он, естественно, должен быть наделен более острым зрением и более сильными чувствами, чем его читатель. Следовательно, художник не может выхватить из несметного богатства истории любую произвольную ситуацию только потому, что она ему интересна и позволяет эффектно ее пересказать. Из несметного богатства истории он может извлечь лишь те ситуации, которые пережиты им самим, лишь тех людей, которые в чем-то совпадают с ним самим. Выбор и последовательность изложения определяются не только тем, насколько сюжет интересен и пригоден для художественной обработки, но, прежде всего, внутренней сутью личности творца. Немецкий поэт Теодор Шторм выразил это довольно педантично, но точно: «Художник никогда не должен выбирать себе сюжет, сюжет должен явиться ему сам, должен сам выбрать художника. Если выбор верный, то индивидуальная манера изображения будет сочетаться с общезначимым содержанием».

У многих читателей складывается представление, что писатели, в особенности авторы исторических романов, постоянно пребывают в поиске интересных сюжетов, и поэтому читатели охотно дают им советы. Но писатель окружен несметным множеством заманчивых сюжетов. Эта тема привлекает одну сторону его личности, та — другую. Наконец он принимает решение, при этом легко может и ошибиться, ошибиться не раз, но каждый истинный художник в конце концов отыщет нужный, «свой» сюжет.

Эволюционная теория учит: развитие отдельных видов допускает отклонения, нередко идет обходным путем, что определяется случайностью, но при этом оно не теряет заданного главного направления. Развитие, как учит Джордж Гейлорд Симпсон, идет «random but directed» (направление выдерживается, несмотря на случайные отклонения). Это относится и к художественным произведениям. Случайность определяет выбор писателем того или иного сюжета, но круг таких сюжетов предопределен и достаточно узок.

Герхарт Гауптман сначала разрабатывал в духе натурализма сюжеты из современности, затем, неожиданно, взялся за написание исторической пьесы «Флориан Гейер». Гауптман не является таким уж глубоким мыслителем и аналитиком, тем убедительнее во всей беспомощной непосредственности звучит его рассказ о том, как появился замысел этой пьесы. «Я искал сюжет из какой-нибудь

эпохи социальных потрясений. Как будто сама собой возникла мысль о Крестьянской войне, и я начал кропотливую работу по сбору и накоплению обширного материала. Материал этот естественно сгруппировался, и опять-таки, как бы произвольно, на первый план вышла, сделавшись средоточием всего, фигура Гейера. Мало-помалу Флориан Гейер полностью для меня ожил; я не только видел перед собой этого человека, каким его можно было представить по сохранившимся источникам, не только слышал его, узнавал его манеру говорить, но вполне постиг все чувства и желания этого человека».

Не могу удержаться и не рассказать здесь маленькую историю о возникновении одной современной пьесы. Моего друга Брехта чрезвычайно интересовало взаимодействие между правящими властями и преступными организациями, которое, по его мнению, было неизбежным следствием системы капитализма. Вместе со мной он набросал весьма приблизительный план пьесы на эту тему, действие которой должно было происходить в одном крупном американском городе. Сюжет, однако, оказался нелегким. Тут одна его сотрудница, Э. Г. <Элизабет Гауптман>, рассказала ему, каким успехом пользуется в Лондоне новая постановка «Оперы нищих». Брехт прочитал эту пьесу и нашел, что ее обработка будет великолепной подготовительной ступенью для создания оригинальной пьесы, которую он намеревался написать. Свою обработку он назвал сперва «Опера сутенеров», а потом я убедил его изменить это название на «Трехгрошовую оперу». Из первоначального замысла создать пьесу об американских гангстерах и властях возникла сначала, как некий побочный опус, «Трехгрошовая опера», затем роман «Дела господина Юлия Цезаря» и, наконец, «Трехгрошовый роман». Из всего этого сохраняет значение лишь «Трехгрошовая опера», которую Брехт, кстати, до самого конца считал произведением вспомогательным.

5

Возникновение художественного произведения, таким образом, в основном обусловлено характером автора, биологическими свойствами его натуры, а также его окружением и случайно сложившейся судьбой. Не следует смешивать конечные причины появления произведения с внешними поводами. Движущая сила художника — это всегда его внутренние переживания. Выбор сюжета обычно более или менее случаен. На писателя может повлиять неожиданное замечание собеседника, случайно прочитан-

ная книга, заказ, и не следует преувеличивать важность этих моментов.

Шекспир написал свою комедию «Сон в летнюю ночь» по случаю придворного бракосочетания. Но даже в комедии свадьба Тезея и Ипполиты остается чисто внешним ритуалом, а обе эти фигуры предстают неодушевленными и лишенными человеческого тепла. Что в пьесе полно жизни, в чем Шекспир проявляет себя как истинный поэт, так это в образе леса, в поэтической жизни этого леса, с лунным светом и волшебными грезами, с его обитателями эльфами, противопоставленными увальню-простолюдину. Подобным же образом Шекспир одушевляет лес в «Виндзорских проказницах» и даже в «Макбете».

Поводом к написанию «Венецианского купца» послужил, вероятно, судебный процесс врача Родриго Лопеса, еврея по происхождению, обвиненного в том, что по заданию испанцев он собирался отравить королеву. Шекспир и его окружение трезво и практично рассудили, что не грех использовать интерес лондонцев к этому еврею. Но поэт Шекспир в своем Шейлоке изобразил, несомненно, нечто более значительное, чем просто злобного смешного еврея. Образ, созданный его талантом,— это человек, воплотивший в себе тенденции развивающегося бюргерства и процесса становления раннего капитализма. Шейлок заявляет:

Берите жизнь и все; прощать не надо.
Берите вы мой дом, отняв опору,
Чем он держался; жизнь мою берите,
Отнявши все, чем только я живу¹.

И, как позже Франклин, почти в тех же самых словах, Шейлок провозглашает:

Благословен барыш, коль не украден.

Таким образом с начала и до конца прав Шейлок, выступающий на стороне плебейского здравого смысла против аристократических бездельников, мотов и брачных аферистов. Шекспир слишком прозорлив, чтобы не видеть, что бюргерству, представителем которого является Шейлок, принадлежит будущее, и он дал своему еврею куда больше ума, чем всему венецианскому аристократическому сброду. Еще сегодня иные актеры могут с успехом играть Шейлока как роль трагическую, так что при его поражении в суде в результате сомнительного адвокатского трюка симпатии зрителей на стороне Шейлока. Но все же сердце Шекспира всецело принадлежит легкомысленным аристократам, а торгаши и буржуа,

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

представленные евреем, ему неприятны. Поэтому актеру, который играет Шейлока как отвратительного злодея, будет гораздо легче. Эти чувства по отношению к современному ему обществу Шекспир воплощал неоднократно, в частности и на материале историческом, например, в «Кориолане» и в «Короле Лире». В обоих случаях герой здесь действует вопреки разуму, в обоих случаях верх по праву одерживают его противники. Но эти противники — восставшие плебеи в «Кориолане», а в «Короле Лире» — дочери, которые думают лишь об экономической выгоде и обращаются со своим старым отцом как с дураком, — в обоих случаях поэту, а через него и зрителю, они крайне несимпатичны, тогда как безрассудные царственные герои в высшей степени привлекательны. Как и в «Дон Кихоте», сила воздействия этих произведений обусловлена именно тем, что сердце поэта находится в разладе с его разумом.

В заключение скажу буквально несколько слов о причинах и поводе создания еще одной шекспировской пьесы. Был период, когда Шекспира особенно сильно волновало самокопание интеллигента, который должен действовать, но вновь и вновь отвращается от дела внутренними сомнениями. В этом настроении он прочел рассказ хрониста Саксона Грамматика о датском принце Гамлете. В историческом Гамлете, медлящем, конечно, по совершенно иным причинам, поэт увидел отражение собственного внутреннего состояния. Судьбы Дании, борьба со «вставшими на лыжи» поляками, переговоры с Англией — все это было ему в высшей степени безразлично, и он уж никак не стремился показать, что «подгнило что-то в Датском королевстве». Возмущенные датские матросы, которые сорвали представление «Гамлета» в Гамбурге, были, следовательно, совершенно не правы.

В предыдущих главах уже шла речь о замечательном необузданном творении раннего Гете — о его пьесе «Гец фон Берлихинген». Мы пытались показать, какие события, взаимодействовавшие с мелкими, чисто внешними и случайными обстоятельствами, нашли глубокий отклик в характере и умонастроении молодого поэта и способствовали появлению этой пьесы. Отнюдь не случайным было то, что поэт обратился именно к этой эпохе. Он мог бы, вероятно, с не меньшим пылом представить нам Ульриха фон Гуттена или Тильмана Рименшнейдера. Но случай подбросил ему в руки как раз в это время жизнеописание Геца. Кропотливая работа по превращению этого материала в драму скоро потеряла всякую привлекательность для молодого поэта, он вполне мог бы забросить рукопись подальше, и его занятия немецкой историей на этом бы закончились. Но тут вмешался второй случай. Его сестра

Корнелия, для которой без всякого предварительного плана и черновиков он написал первые сцены, стала подтрунивать над ним, выразив сомнение в его способности довести дело до конца. Именно эти насмешки побудили его доказать ей, что у него достаточно упорства для завершения начатой работы. Конечно, он отшучивался, будто снова сел за работу лишь потому, что сейчас у него нет лучшего занятия: если бы у него была возлюбленная, он бы этого не сделал.

Комедия Клейста «Разбитый кувшин» также обязана своим появлением случайности. Клейст, проживая в Берне, часто проводил время с Цшокке и молодым Виландом. «Мы сговорились как-то,—рассказывает Цшокке,—что устроим литературное состязание. В моей комнате висела французская гравюра «Разбитый кувшин». Людей, изображенных на гравюре, мы определили так: огорченная любовная парочка, бранящаяся женщина с разбитым майоликовым кувшином в руках и длинноносый судья. Виланд получил задание написать сатиру с участием этих персонажей, Клейст—комедию, а я—рассказ. «Разбитый кувшин» Клейста завоевал высшую оценку». Упомянутая французская гравюра на меди в действительности носила название «Судья, или Разбитый кувшин», это была работа художника Ле Во по картине Дебокура.

И еще небольшой эпизод, рассказывающий, как возник замысел одной из книг Вальтера Скотта. У издателя Скотта, Констебля, возникла идея выпускать дешевые книжки, по 2/6 шиллинга за штуку, с тем чтобы привлечь большое количество новых читателей. Скотт с энтузиазмом поддерживал эту идею и назвал своего друга и издателя «великим Наполеоном книгоиздательского дела». Когда он это произносил, ему пришла в голову некая мысль, и он продолжил: «Что бы вы сказали, если бы я начал объявленный поход жизнеописанием другого Наполеона?» Так возникла его «Жизнь Наполеона».

Очень часто выбор сюжета исторических произведений определяют те или иные крупные события мировой истории. Целые поколения порой сознательно ориентировались на определенные исторические периоды, выбирая их в качестве идеала или предостережения, и такие пристрастия оказывали влияние на писателей. Отчаяние еврейского народа после разрушения его царства Навуходоносором побудило поэтов задуматься о вине, которая могла навлечь на их народ гнев бога. Представление о замученном и умертвленном Спасителе всякий раз заново возникало в творениях еврейских поэтов после каждого тяжелого поражения. Так, Исайя и сочинитель двадцать второго псалма, по образцу древнего предания об убиении Моисея, Илии и других пророков, рассказывают о слуге

божием, который был выдан своим народом на гибель. Эту историю из Исайи подхватывают народные поэты через шесть с половиной веков, после разрушения римлянами Второго царства, и создают историю Иисуса.

Французская революция искала примеры для подражания в истории римской республики, в ее длительном сопротивлении диктатуре. Не лишено комизма, что не только вожди французской революции брали себе имена великих древнеримских республиканцев, но и мелкие буржуа, не имевшие понятия, что это за имена. Писатели периода революции оставили нам впечатляющую лирическую поэзию и много великих речей, а также и бесчисленное множество поистине скверных пьес из древнеримской жизни. Антироялистская драма Мари-Жозефа Шенье «Карл Девятый» о Варфоломеевской ночи очень эффектна, но лишена истинных поэтических достоинств. Поэт Флориан, заключенный в тюрьму в годы террора, запечатлел там свою жизнь и свою тоску по истинной — в его понимании — свободе, в форме рассказа о Вильгельме Телле. Переживания Шиллера во время французской революции также воплощены в драме о Вильгельме Телле. В обоих случаях вряд ли можно утверждать, что поэты вели планомерный поиск и задавали себе вопрос: где бы мне найти образ, воплощающий французскую революцию? Но история Телля взволновала обоих как притча о революции; в их представлении это была истинная, законная, идеальная революция. На самом деле она таковой не была, и, конечно, не только потому, что история Телля — вообще чистый вымысел; но оба поэта так представляли себе направление, по которому французская революция должна была развиваться.

История Наполеона, естественно, оживила в памяти современников образ Цезаря; Наполеон сам постоянно к нему возвращался. Он побуждал поэтов писать о Цезаре, смотрел представление вольтеровской драмы «Смерть Цезаря», с Тальма в главной роли, одиннадцать раз и отдал примечательный приказ, чтобы эта пьеса была показана в Эрфурте королям и императорам, также в исполнении Тальма и актеров Французского театра. В период правления Наполеона было написано множество пьес о Цезаре, они сочинялись повсюду и повсюду терпели фиаско. Скорее уж удались те произведения, главным образом итальянские, в которых был представлен сам Наполеон в образе мифологической фигуры. Нет сомнения, что Шиллер, создавая своего Валленштейна, думал о Наполеоне. Позднее Наполеон появляется и в драме Грильпарцера, в образе Оттокара.

Часто выход в свет тех или иных книг побуждает писателя выбрать определенный сюжет. Так, без перево-

дов Плутарха, сделанных Нормом, вряд ли бы возникли «римские» пьесы Шекспира.

Сочинение Буркхардта «Культура Италии в эпоху Ренессанса» несомненно послужило источником не только для многих видений Ницше, но и для книги «Ренессанс» Гобино, для некоторых романов и новелл Конрада Фердинанда Мейера, а также вызвало к жизни целый поток романов и драм о семействе Борджа. Но и весьма мелкое происшествие часто становится источником выдающегося произведения. Без казни детоубийцы Сузанны Маргареты Брандт не было бы трагедии гетевской Гретхен. Источником шиллеровских «Разбойников» стала газетная заметка, и на основе газетной же заметки возник флоберовский роман «Госпожа Бовари». На газетных сообщениях основываются некоторые драмы Ибсена. Разумеется, все это были только поводы, а конечные причины появления каждого из этих произведений неразрывно связаны с особенностями личности их автора и его внутренними переживаниями.

<Далее в рукопись подложен абзац, написанный в 1957 году и озаглавленный «О воздействии художественного произведения»; он является здесь дополнением и необходимым переходом.>

Часто бывает, что эпоха ожидает от художественного произведения вполне определенного стиля, особенно критика склонна придерживаться моды. Если произведение не соответствует господствующему направлению, ему легче погибнуть. Звучит приговор: «Это не шоколадный пудинг». Но писатель-то хотел приготовить вовсе не пудинг, а жаркое из вырезки. Подобные недоразумения растягиваются на целые столетия. Случайность даты появления, большее или меньшее соответствие вкусам времени часто определяют то или иное воздействие литературного произведения на читателей. Плохим утешением служит то, что время в конце концов исправит эти ошибки. Порой оно их уже исправляло. Шекспир сегодня считается более сильным писателем, чем Бен Джонсон, Катулл ценится выше Овидия, а Лукреций выше Сенеки. Но сколько Шекспиров, возможно, погибло, канув в реку забвения! Тацит и Иосиф Флавий сохранились благодаря чистой случайности. Суждение, или осуждение, маленькой группки редакторов решило судьбу бесчисленных произведений древнееврейской поэзии, а вопрос о том, каким аттическим трагедиям суждено сохраниться и каким погибнуть, решался еще меньшим числом александрийских филологов, составителей канона. Произвол собственной эпохи, политика, капризы издателей, просто случай, экономическая ситуация в книготорговом деле — все это влияет на внешнюю судьбу литературного произведения.

Широко распространено заблуждение, что гений при любых обстоятельствах пробьет себе дорогу, совершит великие дела или оставит после себя произведения искусства. Но гораздо вероятнее, что иной Цезарь так и не сможет никогда привести свой легион к Рубикону, не говоря уж о том, чтобы его перейти; а иной Шекспир так и останется прозябать в своем Стрэтфорде, не написав ни строчки. Счастье не даровано человеку от природы; ему дается лишь возможность вовремя распознать и использовать благоприятный момент.

Случай, как мы видели, играет огромную роль в возникновении литературного произведения, но не меньшее влияние он оказывает и на его последующую судьбу. Мнение, что всякое гениальное творение обязательно завоюет славу—если не у современников, то у потомков,—совершенно неосновательно. Несомненно, что многие гениальные творения так никогда и не были признаны и оценены по достоинству. Если вспомнить, сколь часто они получали справедливую оценку и сохранялись лишь по чистой случайности, то станет ясно: на всех таких случайностей хватить не могло и многие великие творения наверняка погибли.

Из богатейшей древнееврейской и арамейской литературы, развивавшейся на протяжении тысячелетия, до нас дошли лишь те считанные произведения, что были включены в окончательный ветхозаветный канон. Сам этот канон складывался постепенно. Первая книга, объявленная священной,—предполагают, что ее открыл заново первосвященник Хилкия в 621 году до н. э.,—это так называемый Закон, ныне Пятая Книга Моисея. Примерно через двести лет к ней были добавлены еще четыре книги Моисея, все вместе они получили название Тора (Закон). Затем последовали книги трех «больших» и двенадцати «малых» пророков. Остальные части Ветхого завета были присоединены лишь в III веке до н. э., и первый канон дошел до нас в так называемом «переводе семидесяти» (Септуагинта), законченном около 130 года до н. э. Собрание древнееврейских и арамейских оригиналов было сформировано лишь синодом Ябне в 90 году до н. э. Этой окончательной канонизации мы и обязаны тем, что сохранились на языке оригинала двадцать четыре произведения древнееврейской литературы. Среди них есть великолепные вещи, начиная с тех, что пришли из незапамятной древности, и кончая книгами, возникшими во II столетии до н. э. Конечно, многое подверглось искажениям в угоду политическим и религиозным тенденциям коллегий, составлявших канон, а также вследствие работы более

древних редакторов и компиляторов, которые порой весьма неудачно сливали разные тексты, результатом чего явились «Книги хроник» Ягвиста и Элогиста IX и VIII веков до н. э. Что должно было быть спасено, решил в конце концов личный вкус отдельных членов коллегий, и хотя весь канон в целом представляет собрание прекрасных произведений, включая исторические книги незапамятной древности, но кто может с уверенностью сказать, что многие столь же удачные произведения, именно в результате канонизации, не были преданы забвению. Поскольку мы имеем довольно точные сведения о синоде Ябне, определившем окончательный состав канона, нам известно, что прекраснейшие любовные песни Библии, то есть Песнь Песней, и удивительная, глубоко пессимистичная книга Кохэлэт (Проповедник), были включены лишь после долгих дебатов с минимальным перевесом голосов, то есть они-то и обязаны своим спасением случаю.

Выбор того, что дошло до нас из великой греческой литературы, также в основном зависел от случая. То, что сохранилось из киклического и гомеровского эпоса, было определено позднейшей редакцией и обработкой. Исключительную роль, как мне представляется, сыграло поручение афинского тирана Писистрата, который обратился к поэтически одаренным мужам и повелел им сделать окончательную редакцию гомеровских поэм. Вероятно, эти люди были тоже по-своему тенденциозны; но это были певцы с большим вкусом, владевшие великолепным арсеналом поэтической техники. Конечная форма, которую они придали обоим гомеровским поэмам, достойна восхищения. Все, что рассказывается в них о Троянской войне, сконцентрировано вокруг одного эпизода — гнева Ахилла, а рассказы о возвращающихся с войны сгруппированы вокруг центральной фигуры Одиссея и истории его скитаний. Нет сомнения, что над окончательной редакцией поэм потрудился коллектив исключительно одаренных людей. Кроме того, тут уже начал играть роль чисто внешний момент — величина отдельных свитков папируса, на которые переписывали тексты. Одна песня, так называемая «книга», должна была уместиться не более чем на одном свитке, и виртуозную технику редакторов подтверждает и то, что они сумели столь естественно свести объем каждой из поэм до двадцати четырех песен. При этом они сохранили многое из того лучшего, что было создано древними рапсодами — авторами киклического и гомеровского эпоса, но многое, конечно, было все же утрачено.

Еще прихотливее действовал случай в определении судьбы греческих трагедий. Здесь все решали пристрастия

александрийских филологов: кому из трагиков считаться великим, какие творения этих увенчанных авторов должны быть признаны классическими, образцовыми, достойными школы. Александрийские критики, «сортировщики» в буквальном смысле этого слова, решили между собой выбрать всего трех поэтов и каждого представить не более чем семью трагедиями. Это был золотой век литературной критики, и, без сомнения, литературные судьи обладали вкусом; но не подлежит сомнению также и то, что в другой «золотой век» другие люди со вкусом отобрали бы совсем иные трагедии.

Можно заполнить целые книги примерами, как случай помог сохранению произведений того или иного автора. «Энеида» Вергилия вновь и вновь переписывалась с величайшей тщательностью потому, что одно из мест было признано пророчеством о приходе Спасителя, а еще позднее и потому, что из-за ложного толкования имени Вергилий всему произведению были приписаны пророческие свойства. Книгу раскрывали наугад, и найденное место истолковывалось в нужном духе.

Сочинения еврейского историка Иосифа Флавия дошли до нас благодаря еще более примечательной случайности. Дело в том, что не существует свидетельств языческих авторов, подтверждающих существование Христа. Один ранний христианский писатель постарался это исправить и внес в текст «Иудейских древностей» Флавия чужеродный фрагмент о деяниях Христа. Это была грубая фальсификация, интерполированное место резко выпадало из контекста. Но вставка эта очень радовала церковь, которая на протяжении веков с особой тщательностью воспроизводила сочинение Иосифа.

Когда на трон сел император, к роду которого принадлежал историк Тацит, он с неудовольствием обнаружил, что в наличии имеется всего тринадцать экземпляров «Анналов» его знаменитого родственника. Правитель немедленно приказал, чтобы писцы сели за работу и изготовили множество копий. Очень жаль, что, несмотря на это, отдельные места из «Анналов» все же утрачены.

Часто бывает, что лишь благодаря усилиям одного-единственного человека — мецената, рецензента, издателя или театрального предпринимателя — произведению удается выжить и занять то место, которого оно по праву заслуживает. И после смерти автора его произведения часто бывают спасены благодаря симпатиям к нему отдельных людей. Если бы Тик не позаботился о наследии Клейста, оно было бы вовсе забыто или завоевало признание гораздо позже. Сходным образом Карл Эмиль

Француз издал сочинения Бюхнера. Без Францоza до нас вообще едва ли дошла бы рукопись бюхнеровского «Войцека». Другой автор, который в наши дни оказал исключительное влияние на западноевропейскую литературу, Франц Кафка, тоже безусловно канул бы в безвестность, не будь Макса Брода. Кафка сам распорядился, чтобы его наследие, включавшее в себя рукописи большинства произведений, было уничтожено. Вопреки воле покойного друга Брод все это опубликовал.

Существовал некий позднелатинский драматург, который написал поэму о языке и версификаторском искусстве Горация, величиной своей значительно превосходившую все написанное Горацием. Из этой поэмы, содержащей три тысячи строк, сохранилась половина одной-единственной строки, которая удачно выражает банальную истину: «*Nabent sua fata libelli*», то есть «Книги имеют свою судьбу». Каждый скажет: это верно. Но какой удивительной игре судьбы нередко обязаны своей славой у потомков произведения, которые иначе остались бы только на страницах истории литературы!

Например, Тирсо де Молина, по моему убеждению, превосходит или, по крайней мере, не уступает Лопе де Веге и Кальдерону; но широкая публика за пределами Испании не знает сегодня его произведений, за исключением «Дон Жуана». И эта драма, вероятнее всего, была бы забыта везде, где не говорят по-испански, если бы ее не обработал Мольер и Да Понте не предложил бы ее в качестве либретто Моцарту. Сходным образом обстоит дело с «Севильским цирюльником» и «Женитьбой Фигаро» Бомарше. Оба эти произведения завоевали невероятный успех у современников в основном благодаря острому политическому содержанию. Сегодня, если честно признаться, они читаются с большим трудом. Но, несмотря на это, их перечитывают постоянно и предпринимаются все новые попытки поставить их на сцене. Однако если они и живы, то исключительно благодаря музыке Россини и Моцарта.

7

Когда мы сравнивали влияние на мировой литературный процесс «Геца фон Берлихингена» Гете и романов Вальтера Скотта, мы видели, сколь часто успех произведения искусства зависит от времени его появления. Греческое слово «*καίρος*» обозначает как «счастье», так и «своевременность». Есть также знаменитое изречение в библейской эллинистической книге Кохэлэт (Екклезиаст, или Проповедник): «Всему свое время, время разбрасывать

камни и время собирать камни». Только тот, кто усвоил двойное значение слова «καίρος», поймет смысл этого изречения.

Для успеха литературного произведения крайне важна своевременность его появления на свет. Речь идет как о больших отрезках времени, так и о малых. Определенные произведения могут иметь успех лишь в те периоды, когда господствует определенное виденье мира. Произведения подхватываются потоком времени; но есть и такие, более масштабные, которые погибают, потому что движутся против этого потока. Кто читает и оценивает сегодня произведения латинских авторов, с трудом понимает, почему величайшими древнеримскими поэтами считаются Вергилий, Овидий и Гораций, а не Катулл или Лукреций; и уж совсем невозможно понять, почему на протяжении тысячи восьмисот лет «Фарсалия» Лукана почти приравнивалась к поэмам Гомера. Безмерная переоценка этих поэтов объясняется прежде всего временем их появления, когда в силу многих причин, прежде всего политических, они были встречены с величайшим восторгом. (Лукреция после появления его книги, напротив, всячески старались замолчать — сначала римская жреческая ортодоксия, а затем римская церковь; и все из-за одного-единственного стиха; только просвещение девятнадцатого столетия вновь вызвало из небытия этого писателя.)

Тот факт, что римская и греческая литература до последнего времени оказывали столь непомерное влияние на наше мировоззрение, объясняется не только внутренними достоинствами этих литератур, но и тем обстоятельством, что турки завоевали Константинополь. Византийские ученые бежали тогда в западные страны, содействовали там изучению латинского и греческого языков, вследствие чего возникло величайшее движение Возрождения и связанная с ним чудовищная переоценка обеих античных литератур. В результате дело дошло до того, что энтузиасты-кардиналы готовы были причислить Платона к лику святых, а университеты объявили античных классиков классиками в абсолюте, на которых основана вся культура. Поэтому даже мелкие греческие и латинские авторы пользовались большим почетом, чем какой-нибудь средневековый поэт, и произведения, к примеру, Кретьена де Труа или Вольфрама фон Эшенбаха, «Песнь о Нибелунгах» или «Песнь о Роланде» представлялись детским лепетом по сравнению, скажем, с творениями Лукана. Еще сегодня в западноевропейских странах обе классические литературы считаются высшим достижением человечества в области поэзии, и никакое новое возрождение не открыло нам пока доступ к сокровищам древнеиндийской или древнекитайской литературы. Зна-

ние трагедий Сенеки все еще считается обязательным для всякого мало-мальски образованного человека; а кто сегодня из образованных людей читал великие драмы Калидасы или Бхасы, классические романы китайцев?

Конечно, положение изменится, когда Китай и Индия станут мировыми державами. Ибо политическое и экономическое значение страны, в которой поэт создал свое произведение и в которой разыгрывается действие,— важнейший фактор для оценки книги и для ее значимости. Если страна пребывает в почете и силе, или хотя бы в силе, то и литература ее, даже независимо от объективных достоинств, становится притягательной для всего мира. Пока, Франция была мировой державой, французский роман играл повсюду на земном шаре большую роль, чем произведения любой другой европейской страны. Сегодня он давно уже уступил эту роль американской и русской литературе. Такое случайное обстоятельство, как мировой статус их стран, работает сегодня на американских и русских писателей, в то время как скромная роль их отечеств уменьшает популярность произведений выдающихся скандинавов; мы уже указывали на недооценку таких значительных писателей, как Герман Банг и Хадльдур Лакснесс. С другой стороны, новое политическое мышление нередко воскрешает забытых писателей, и они начинают публиковаться огромными тиражами.

Неблагоприятная внешнеполитическая ситуация и в прошлом вредила целым литературам и даже способствовала их полной гибели. Из древнейших литератур Средиземноморья до нас дошла только древнееврейская литература. Несомненно, высокий культурный уровень шумеров, хеттов, угаритов породил, в свою очередь, богатые литературы; но были ли они великими литературами, нам попросту не дано узнать. Следы поэзии этих народов мы обнаруживаем в древнееврейских текстах. В общем и целом, сохранились лишь незначительные фрагменты; дело в том, что материалом, на котором записывали эти творения, была глина, и со временем почти все раскрошилось и обратилось в прах. Единственную большую поэму спас, как водится, случай,— это старовавилонская версия эпоса о Гильгамеше. Художественные достоинства указанного эпоса кажутся мне сильно преувеличенными; думаю, некоторые исследователи переоценили его потому, что хотели тем преуменьшить значение древнееврейской литературы.

Высокий уровень развития крито-микенской культуры также позволяет сделать вывод, что там была и выдающаяся литература. Но и ее произведения исчезли и рассеялись по ветру из-за непрочности писчего материала. Кое-что из содержания этой литературы вошло в древне-

греческие мифы и, следовательно, продолжало жить в творениях поэтов Аттики, созданных в пору ее наивысшего расцвета. Все, что мы имеем из древнеегипетской поэзии, скудно и по большей части фрагментарно, но среди дошедшего попадаетея иной раз поэзия высочайшей пробы. Масштаб ее вполне соизмерим с греческим, как соизмеримы масштабы древнеегипетского и древнегреческого изобразительного искусства. Но произведения изобразительного искусства были сделаны из камня и металла, а поэтические творения записывались на глине и на папирусе. Только поэтому они и не оказались «бронзы литой прочней».

Многие великие литературные творения не оставили следа потому, что важные политические события в эпоху их появления затмили их достоинства. Их не знали современники, и не всегда бывает так, что будущие поколения, наши уважаемые потомки, добираются до каждого значительного произведения. Часто книга менее известного автора терялась в тени всеми прославленного произведения, хотя по своим достоинствам незамеченная книга могла бы превзойти ту, что вызвала шумиху. Альфонс Доде очень смешно описывает, как молодой неизвестный автор, вложивший душу в свое первое произведение, в день его выхода обходит парижские книжные лавки и обнаруживает свои книги только где-нибудь в уголке или в заднем ряду, так как на первом плане везде громоздятся пачки нового романа Эмиля Золя. По несчастной случайности обе книги вышли в один и тот же день. Молодой автор следит за покупателями, которые жадно хватают Золя и ни один из них не глядит в уголок, где примостилась его книга.

Еще коварнее может сложиться судьба драматического произведения. Известно, что даже трагедии таких великих античных авторов, как Эсхил, Софокл и Еврипид, не всегда завоевывали в состязании первые места и нередко оказывались побежденными трагедиями других поэтов. Шекспир и его сподвижники горько жалуются на то, что зритель охотнее бежит не к ним, а на представление модного детского театра. Единственный немецкий журналист, который описал Лондон шекспировского времени, не пошел на представление «Юлия Цезаря» по той причине, что в тот день был устроен знаменитый петушиный бой. Из-за этого знакомство Германии с Шекспиром задержалось на целые десятилетия. Великие испанские драматурги с горечью отмечали, как сильно их успех зависел от самочувствия актеров, от настроения публики, от погоды. Из истории театра XVIII—XIX веков, да и нашего времени, известно, как часто благосклонная публика и дружески настроенная критика обеспечивали дол-

гую сценическую жизнь плохой или средней пьесе. В Берлине при Веймарской республике, в десятилетие расцвета театра, лишь немногие рецензенты определяли судьбу пьесы, а в Нью-Йорке и сегодня репутация зависит от семи критиков, имена которых всем известны. Бывает даже, что хорошая пьеса проваливается потому, что публика и критики добирались до театра сквозь дождь и снег и с немалыми трудностями сдали свои мокрые пальто в гардероб. Бывает, что ту же самую пьесу через десять лет встречают всеобщим ликованием и она долго держится на сцене. Я и сам мог бы об этом многое порассказать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Когда один великий испанский ученый был уведен прямо с кафедры, провел три года в застенках инквизиции и затем вышел на волю, он начал свою лекцию словами: «Мы говорили вчера...» Тридцать три года тому назад, в связи с выходом моего первого исторического романа, я заявил, что движущей силой всякого литературно-художественного творчества считаю внутренние переживания автора. За эти годы я пережил много счастья и несчастья, добился больших успехов и потерпел тяжелые поражения, испытал на себе преследования гитлеровской поры, пережил изгнание, сожжение и запрет моих книг в ряде стран, вторую мировую войну, концентрационный лагерь и рискованное бегство из него, многочисленные придирки со стороны бюрократии — и вот я снова занимаюсь анализом исторического романа. Итак, мы говорили вчера, что движущей силой всякого исторического литературного сочинительства являются внутренние переживания автора, а сегодня мы говорим это еще увереннее и громче.

Именно потому, что для писателя важнее всего его собственные переживания и воплощение их в художественной форме, он нередко рассматривает исходный материал равнодушно, всего лишь как сырье для творчества. Сюжет ему всегда достаточно безразличен. Он интересуется им лишь постольку, поскольку является средством для воплощения собственных переживаний, гораздо важнее процессковки, отливки, нахождения искомой формы для людей и идей, которых писатель извлек из своего внутреннего «я», а сюжет — лишь средство, приближающее его к цели. Часто он хватается за сюжет, кажущийся ему мало-мальски подходящим, долго он над этим голову не ломает. Шекспир, как известно, сильно облегчал

себе выбор сюжетов. Гете использовал для своего «Фауста» вполне реальное повседневное происшествие, без особых раздумий, и воздвиг на этом узком фундаменте грандиозное здание, не слишком заботясь, как увязать последующее с предыдущим. Иногда в процессе работы автор замечает, что ошибся в выборе сюжета. Тогда, устав от него, он оставляет вещь незаконченной или даже публикует ее, так и не доведя до логического конца. Поэтому многие произведения остаются фрагментами по внешней форме или по внутренней сути.

Хочу также коснуться здесь существенного различия между германской и романской литературами. Для большинства немецких, английских и скандинавских писателей более важен процесс творчества, тогда как для французских, итальянских и испанских важнее всего результат. Я знаю, конечно, что здесь имеется огромное множество исключений; но при беглом сравнительном рассмотрении литератур как целостных образований все же складывается впечатление: германский автор ценит более работу, а романский — готовое произведение. Эта констатация не несет в себе оценки и вовсе не должна означать, что у больших романских писателей порой не возникает желания снова и снова перерабатывать свое произведение, приближая его к первоначальному образу. Но все равно перед романским писателем обычно маячит в качестве цели законченная работа, а немца едва ли волнует, будет ли ей конец и не останется ли его вещь всего лишь фрагментом. Здесь немецкий основополагающий принцип совпадает с изречением древних иудеев: «Нам дано трудиться, но не дано завершить наши дела». Произведение, которое признано величайшим творением немецкой литературы, по сути своей насквозь фрагментарно. В нем чередуются отдельные, вполне завершенные части, вроде «Пра-Фауста» или эпизода с Еленой, и такие весьма причудливые и хаотичные сцены, как «Вальпургиева ночь», с ее дерзкими личными выпадами и шутками. Каждый раз, когда поэту приходила охота запечатлеть одно из внутренних событий своей огромной жизни, от ранней юности до глубокой старости, Гете обращался к «Фаусту» и вводил в него новый эпизод, нисколько не заботясь о том, как более ранние части будут сочетаться с более поздними. Таким образом, это не была работа, создаваемая по плану, но творение отражало процесс внутреннего развития поэта, то замедленный, то вновь, как в юности, бурный и импульсивный. Реализм «бури и натиска», молодая дерзость, даже мальчишество, классическое и романтическое, суровая ненавязчивая ироничность зрелой мужественности и мудрость высочайших вершин — все это здесь беззаботно соединяется, и именно

такое смешение придает произведению непостижимую правдивость подлинной жизни. Сходным образом творит Шекспир, его произведения постигаешь глубже, когда не ищешь за ними запланированную философскую схему, а обращаешься к опыту его собственных переживаний. Антоний и Троил возникли из одного и того же любовного разочарования. Троил, Тимон и Лир — из горького познания жизни, из безнадежного разочарования в обществе и его законах. Каждый раз писатель хватался за случайно подвернувшийся сюжет, чтобы передать свое внутреннее состояние. Антония и Лира он для этого хорошо приспособил, а другие истории подходили ему не вполне и потому остались внутренне незавершенными.

Романские писатели, напротив, предпочитают работать по заранее намеченному плану, и планы эти порой разрастаются до гигантских размеров, как, например, в случае с «Человеческой комедией». Конечно, «Человеческая комедия» в целом осталась незавершенной. Но основа гигантской фрески ясно видна и разработана до деталей. Бальзак яростно стремился завершить свое огромное произведение, он положил на это всю жизнь. Каждый отдельный роман, в какой бы дикой спешке он ни создавался, имел четкое начало, четкий конец, четкую последовательность событий, действие легко можно было пересказать, а каждого персонажа — описать. Так же обстоит дело и с более ранними творениями романской литературы: «Дон Кихот», к примеру, состоит из бесконечной череды эпизодов, но все они этапы одного пути, ведущего от запланированного начала к запланированному концу. То же самое характерно для запутанного, полного хитросплетений действия в поэмах Ариосто и Тассо и даже для «Божественной комедии» с ее прорывами в вечное и бесконечное.

Но многие прекрасные немецкие писатели, как уже было сказано, высокомерно не желали вливать свое вино в один сосуд. Они предпочитали производить великолепное, каждый раз новое вино, но не давали себе труда создать сосуд и сохранить его в целости. Великому Вольфраму фон Эшенбаху вполне удалось запутать и нарушить свою ясную композицию прекрасными и глубокомысленными рассуждениями. Так творили в особенности немецкие романтики, писавшие как бог на душу положит, а действие при этом расползалось. Это относится и к выдающемуся немецкому романтику, одному из величайших мастеров немецкой литературы Жан-Полю, поэтому сегодня лишь немногие в состоянии одолеть его столь же причудливые, сколь и великолепные творения. Величайший немецкий драматург нового времени, Брехт, так своенравно искривлял действие своих пьес, что лишь немногие

особо одаренные режиссеры отваживались братья за их постановку.

Поскольку иные истинные поэты нередко весьма легко относятся к выбору сюжета, естественно, что они равнодушны и к последовательности развития действия и не стремятся устранить в нем кричащие противоречия. Так, в «Илиаде», в пятой песни, рассказывается, как пал могучий Пилемен, а в тринадцатой песни этот погибший герой, целый и невредимый, хотя и «проливающий слезы», следует за трупом своего сына. В восьмой песни «Илиады» Гектор поражает Тевкра жестоким камнем «в особенно опасное место... где ключ отделяет выю от персей»; однако уже на следующее утро, в двенадцатой песни, этот тяжело раненный вновь сражается в первых рядах и совершает многочисленные подвиги. В первом акте «Ромео и Джульетты» матери Джульетты самое большое двадцать восемь лет; пять дней спустя, в пятом акте, она говорит о своих «почтенных летах». Гете заметил, что леди Макбет утверждает, она-де вскормила своих детей; но другой персонаж пьесы, которому это должно быть доподлинно известно, мрачно восклицает: «Бездетен Макбет!» В «Неистовом Роланде» Ариосто, в восемнадцатой песни, Баластро погибает; в сороковой песни он снова жив. У Клейста в «Пентиселее» убивают одну из амазонок из окружения героини, а в следующем акте она вполне живо произносит несколько изящных стихов. Еще пример из более позднего и менее значительного автора. В романе Бертольда Ауэрбаха «Спиноза» рабби Исаак впервые предстает перед читателем тщедушным и рыжебородым, но вскоре после того оказывается дородным обладателем черной бороды.

Гете вряд ли бы такое одобрил. Но в принципе он страстно защищает право поэта на противоречия. «Мы не должны,—считает он,—придираться и требовать от поэта точности в мелочах... Поэт заставляет своих персонажей каждый раз говорить то, что в этом месте необходимо, действительно и хорошо, без боязливой заботы о том, не вступают ли эти слова в противоречие с другим местом». И он постоянно возвращается к мысли о «допустимости пропусков, несовпадений и потерь во всех истинных поэтических творениях».

2

Хотя поэт порой и не проявляет достаточного интереса к сюжету, к материалу как таковому, его почти всегда интересует в нем какая-либо деталь и он стремится представить ее особенно выпукло и наглядно. Большие

эпические поэмы и прозаические эпосы всех стран полны описаний подобных деталей. Большое эпическое повествование требует передышек; случается, описание предмета так увлекает автора, что созерцание переходит в переживание, а предмет описания — в поэтический образ.

Из десятков тысяч примеров назову Гомерово описание щита Ахилла, или примечательный эпизод из романа Кретьена де Труа «Рыцарь со львом» — описание жизни бедной швеи, которая за скудную плату должна шить наряды для господ и дам из замков. Существует достаточно примеров из более поздних литературных произведений: описание печатной машины у Бальзака, экскурсы Томаса Манна в теорию музыки в «Докторе Фаусте», или его же изложение теории развития в «Феликсе Крулле».

Автор и благожелательный критик всегда могут нам объяснить, почему такие описания, не имеющие прямого отношения к действию, к развитию главной сюжетной линии, тем не менее уместны и даже необходимы. Но истинная причина обычно заключается в том, что в ходе работы они привлекли внимание автора, у него возникла непреодолимая тяга их описать, а уж затем, не долго думая, он включил их в свое произведение.

Такие описания, уводящие в сторону от темы, обычно изобилуют натуралистическими подробностями. Приверженцы натуралистической школы считают, что в корне неверно избегать подобных описаний, даже если они не связаны с действием, более того, необходимо описывать все предметы, попадающие в поле зрения автора. Иные натуралисты идут еще дальше: чтобы сделать произведение жизнеподобным и достоверным, они специально выискивают нечто, не только не имеющее касательства к действию и его героям, но даже нарочито замедляющее ход повествования. Герхарт Гауптман в свой первый, чисто натуралистический период несколько раз прерывает решительное объяснение влюбленных упоминанием о навязчивой мухе. Романы Золя полны скрупулезнейших описаний, что побудило реалистичного, но наделенного тонким художественным вкусом Готфрида Келлера назвать этого писателя «вульгарным субъектом». Большая часть современных романов не может обойтись без таких описаний; по существу эти романы суть развернутые репортажи с вкрапленной в них фабулой. Сейчас трудно провести четкую грань между реализмом и натурализмом, и нередко реалистическое произведение выигрывает благодаря натуралистическим экскурсам.

Авторы исторических произведений также часто подвержены соблазну извлечь из богатого материала и

включить в свои произведения отдельные находки, не вполне ими «пережитые», вовсе не «пережитые» — только по той причине, что эти подробности кажутся им «занимательными». Часто это происходит оттого, что, показывая нечто чуждое и далекое, писатель ощущает соблазн расширить такой показ, чтобы уверить читателя: «Да, так оно и было, до последней мелочи так и было».

Иногда писателя притягивают специфические тона эпохи: буйные краски Возрождения, строгие — пуританства, изысканные и нежные — рококо. Писатели бывают покорены пышностью костюмов, церемоний, необычностью домов и улиц, предметов домашнего обихода, странностью манер. Они хотят передать яркость и своеобразие предметов с помощью слов ради самого этого своеобразия; нередко они даже изобретают исторические детали, кажущиеся им характерными, чтобы еще подбавить красочности. Например, Флобер, скупой на описания в своих современных произведениях, не жалеет красок и жестов в своей исторической прозе. Так же поступают Виктор Гюго, Альфред де Виньи, Оскар Уайльд, Гофман-сталь.

Чем сильнее эти писатели презируют профессиональных историков, тем охотнее они подчеркивают основательность своей работы над источниками, им досадно, что профессионалы небрежно отмахиваются от них как от дилетантов. Их, этих писателей, в процессе работы все больше заинтересовывают исторические факты, и свой интерес они путают с наукой. Флобер, великолепный писатель, но, конечно, никакой не историк, зашел так далеко, что ввязался в ожесточенный и бессмысленный спор со специалистом, который указал ему на некоторые погрешности в его «Саламбо».

Но, несмотря на свои научные претензии, писатели эти остаются художниками слова, остаются ими и в своих описаниях бесчисленных исторических реалий; этих писателей не следует путать с теми высокоучеными авторами, главной целью которых было преподнести читателю исторический материал в наиболее завлекательной форме. Мы уже упоминали о таких сочинениях Георга Эберса, Густава Фрейтага, Феликса Дана. Эти «профессора» оставались учеными, даже балуясь на досуге сочинением исторических романов.

Подобный «профессорский» роман не имеет ничего общего с художественной литературой. Но есть целый ряд авторов, в которых тяга к научному исследованию сочетается с определенным поэтическим порывом. Такой сплав может быть разной консистенции. Иногда перевешивает научный интерес историка, иногда, напротив, творческое

начало подавляет историка и прогоняет его на задний план. Тут имеется множество градаций.

Назову в этой связи одно имя, которое сегодня почти совсем забыто, это Фриц Маутнер. В свое время он слыл философом-популяризатором и в этом качестве был одинаково презираем как писателями, так и учеными. Этот человек написал ряд исторических романов. Он прекрасный рассказчик, а его толкование истории весьма ново, поэтично и обычно вызывает крайнее раздражение. Например, в романе «Ксантиппа» он совершенно по-новому освещает Сократа и его эпоху. Он долго думал над той единственной фразой, которая делает для нас Ксантиппу «Ксантиппой», он обладает богатой фантазией и, представив себе Сократа и Ксантиппу во плоти и крови, понял, что такой, какой мы видим эту женщину, она быть не могла. Сократ тоже не мог быть таким, каким мы его вообразили на основании свидетельств Платона и Ксенофонта. Маутнер создал совершенно новую Ксантиппу, нового Сократа и нового Алкивиада. При этом он остерегся полностью дать волю фантазии, и роман основывается на самом кропотливом изучении исторического материала, даже археолог едва ли смог бы уличить автора в фактической неточности. При этом особенность интонации Маутнера состоит в том, что он тщательно избегает переключки с историческими «общими местами», все звучит у него настолько дерзко, оригинально и остроумно, что многие никак не могут поверить в надежность его исторической концепции. Все его персонажи говорят нашим сегодняшним языком. Сократ не ведет диалогов с учениками на языке Платона, он спорит с ними на языке повседневности, а они называют его «профессор» и обращаются к нему на «вы». Тем не менее Афины этих людей—это Афины конца V века до н. э., реконструированные ученым, тогда как Вольтер поселяет героев своей элегантно дерзкой трагикомедии «Смерть Сократа» в Париже XVIII века. В увлекательном романе «Гипатия» Маутнер модернизирует события столь же смело и поэтично; но и здесь каждая без исключения деталь подтверждается подлинными античными источниками. Он мог бы предъявить свой роман для экспертизы самому Теодору Момзену.

<Карандашная пометка автора: «Конечно, поэтическая субстанция его романа очень тонка...»>

Немцу Маутнеру во многих отношениях родствен великий француз Анатоль Франс. Их объединяет искренняя радость, получаемая от исторического исследования и от иронического воплощения предмета такого исследования. Но если Фриц Маутнер всего лишь прекрасный рассказчик, глубокий знаток и остроумный интерпретатор

прошлого, то Анатолий Франс — автор совсем иного масштаба. Он — поэт, художник, его ирония несоизмеримо глубже и мудрее, его люди и окружающий их предметный мир не просто увидены с большой высоты, но и воссозданы в поэтических образах. С Маутнером Франса роднит точнейшее изучение всех исторических деталей и безупречная точность их воспроизведения. Со вкусом выписанная историческая деталь выдерживает испытание самых придирчивых знатоков. Все, что пишет Анатолий Франс о нравах и воззрениях умирающего эллинистического общества в «Таис», находит подтверждение у древних. При этом, хотя изображение пира, монашеских диспутов или жизни анахоретов вызывает бурный восторг историков, такая безусловная достоверность в описании внешних обстоятельств лишь усиливает скрытую авторскую иронию, делая ее острее, забавнее, глубже. Еще счастливее сочетаются авторская фантазия и ненавязчивая эрудиция в романе о революции «Богги жаждут». Здесь все от начала и до конца — поэтическая выдумка Франса, ни в одном из пространных описаний французской революции не упомянут ни один из персонажей, населяющих этот богатый людьми роман; но кто читал что-либо из бесчисленных мемуаров того времени, легко обнаружит, что у героев Анатолия Франса не мелькает ни одной мысли, не звучит ни одной фразы, которые не были бы в головах и на устах людей в годы террора; причем все частности связаны между собой столь искусно, что за ними становится зрим многоликий образ революции и, несмотря на запутанные человеческие обстоятельства, обретается политическая перспектива. Автор взволнован, он заражает своим волнением читателя, но он постоянно сохраняет и скрытую ироническую дистанцию мудреца.

Анатолий Франс — настоящий поэт, хотя его творческий поток довольно узок; больше чем наполовину Франс все же историк. Кстати, его самое большое историческое полотно, «Жизнь Жанны д'Арк», не удалось, тогда как другие творения, прежде всего упомянутый роман о революции и некоторые из новелл, например чудесный сильный рассказ о Гомере, жадно ожидающем трапезы, сохранили до наших дней свою жизненность и прелесть.

Франс, который при жизни был почти так же популярен, как Гюго, сегодня почти забыт. Из его обширного наследия наиболее известна далеко не лучшая новелла «Прокуратор Иудей». О ней существует забавный анекдот, подтверждающий, как серьезно Анатолий Франс относился к точному воспроизведению исторических деталей. В новелле «Прокуратор Иудей» передается случайный разговор возлежащего на носилках Пилата, бывшего правителя Иудей, с неким другом, происходящий в бухте

Неаполя. В прекрасное описание ландшафта Франс вставил такую фразу: «На дальнем горизонте курился Везувий». Но некий точный историк обратился к специалистам по вулканологии и выяснил, что активность Везувия, лава которого погребла под собой Геркуланум и Помпею, восстановилась только к 54 году I века нашей эры. А действие новеллы Франса происходит в сороковых годах, и потому добросовестный писатель вынужден был внести исправление, и вместо «Везувий курился» («*Le Vesuve fumait*») появилось «Везувий смеялся» («*Le Vesuve riait*»).

Значительное сходство с исторической прозой Анатоля Франса обнаруживают исторические пьесы Бернарда Шоу. При этом художник Анатолий Франс подходит к истории как исследователь, а художник Бернард Шоу — который, кстати, всячески отрицает, что он художник, — как журналист. Конечно, как журналист высокого уровня, который сообщает читателю лишь достойное его внимания. Шоу в истории интересовало только то, что есть у нее общего с нашим временем, и он попросту отрицал возможность понимания всего прочего. Однажды я имел с ним об этом подробную беседу в связи с моим романом «Еврей Зюсс», о котором он отзывался с глубоким пониманием. Он заявил, что существует лишь два способа изобразить Жанну д'Арк: либо как на тех старых картинах, где тянутся длинные людские процессии, проходящие через все полотно; либо так, как поступил он, Бернард Шоу, переселив Деву из прошлого в настоящее. Он никогда подолгу не корпел над источниками. Подобно Шекспиру, использовавшему для своего Цезаря, в сущности, одного лишь Плутарха, Шоу ограничился чтением нескольких страниц из Моммзена, посвященных Цезарю. Он не удалил ни единой черты из образа, данного Моммзеном, но честно перенес в драму все, что было на этих страничках, от себя добавив лишь нечто решающее, чему научил его «experience» (опыт), и, когда Шоу употребил это слово, я в который уже раз пожалел, что английский язык сужает слово «переживание» до слова «опыт». Не следование за историческими фактами, но именно это последнее сделало героев Шоу поэтичными и вполне достоверными. Его Цезарь, как и его Жанна, есть *ens realissimus* (реальнейшая реальность).

Немецкая литературная критика охотно проводит уже упомянутое различие между понятием «*Dichter*» — поэт, творец поэтического текста, не обязательно стихотворного, — и понятием «*Schriftsteller*» — писатель.

Если произведение автора обращено более к разуму, чем к чувству, то он «писатель»; если пересиливает чувство, переживание — то он «поэт». Для немцев «поэтами» являются Шекспир, Гете, Гельдерлин и даже Кафка; Лукиан, Лессинг, Вольтер — это, в их понимании, «писатели». Немцы не отрицают, что имеются «писатели» с достаточно высоким творческим потенциалом; однако красивое слово «поэт» всегда несет в себе хвалу, тогда как к прозаическому обозначению «писатель» — кстати, оно происходит от Лессинга — примешана некоторая доля уничижительности.

Авторы исторических романов и пьес, о которых я говорил несколько выше, — Маутнер, Анатоль Франс, Бернард Шоу, — будут без колебаний зачислены немцами в «писатели», и потому не удивительно, что эти авторы считают важным предварительно изучить материал. Между тем имеется ряд авторов, которых даже самые свирепые судьи непременно отнесут к «поэтам», но которые при этом также выказывают серьезный, почти научный интерес к истории.

Для Вальтера Скотта любовные и обстоятельные исторические изыскания были самоцелью. Мандзони зашел в своих исторических исследованиях далеко за те пределы, которые ему требовались для его произведений; он так же хорошо знал Милан семнадцатого столетия, поработанный испанцами, как свой собственный Милан, находящийся под властью австрийцев.

Укажем еще на одного поэта, которого донкихотская любовь к истории и языкознанию завела так далеко, что он выдал собственные великолепные творения за переводы из некоего автора, жившего якобы за полтора тысячелетия до него. Я имею в виду Джеймса Макферсона, который выдал свои стихи за переводы из гэльской поэзии и удовольствовался славой первооткрывателя древнего барда Оссиана. Гете был так очарован этими английскими переводами песен несуществующего Оссиана, что тут же перевел их на немецкий язык и опубликовал. Песни и баллады Макферсона-Оссиана завоевали мировую славу, пробудили страстную тоску по эпохе, когда лишь смутно вырисовывалось средневековье. Имена, которые Макферсон употребил в своих творениях, — Оскар, Сельма, Мальвина, — получили широкое распространение в повседневной жизни и употребляются еще сегодня. По иронии судьбы у этого высокоученого шутника и поэта, замаскировавшегося под филолога, уже не осталось времени для собственных новых сочинений, ему, как истинному филологу, пришлось изрядно попотеть над обратным переводом своих английских стихов на гэльско-каледонское наречие.

Менее крупный и более счастливый последователь Макферсона позднейшего времени — это Пьер Луи. В его «Песнях Билиты» столь счастливо сочетаются поэтическая и научная одаренность, что знатоки и читатели приняли эти французские песни, сложенные на рубеже XIX века, за образцы греческой поэзии VI века до нашей эры и поставили их в один ряд с песнями Сафо.

Из авторов новейшего времени назову Торнтона Уайлдера. Действие его исторических романов разыгрывается в разные эпохи. Но все детали и мелкие черточки каждой эпохи переданы у него с величайшей тщательностью и любовью, точными словами, нимало не противоречащими изображаемому времени. Появлению на свет этих произведений в равной мере способствовали исследовательский и творческий порыв писателя.

Нечто похожее можно сказать и об исторических романах Георга Германа. Георг Герман был симпатичный, несколько словоохотливый господин, считавшийся одним из лучших знатоков немецкой эпохи «бидермейер» и написавший о ней солидную занимательную книгу; он любил сообщать в разговоре интересные и забавные подробности этой эпохи, извлекая их из неисчерпаемой сокровищницы своих знаний. Однако даже во времена его наивысших успехов в нем всегда ощущалось нечто вроде меланхолии и покорности судьбе; последние его книги, столь богатые осторожными шутками, были полны этой меланхолии, как будто он провидел свою судьбу. Погиб он в газовой камере нацистов. Из исторических романов Германа наибольшим успехом пользовалась в свое время книга «Йеттхен Геберт», в которой рассказана судьба молодой берлинской еврейки из весьма зажиточной семьи. В книге оживает Берлин эпохи «бидермейер», то есть 30—40-х годов XIX века, и автору удалось в истинно поэтической форме воплотить свое знание всех нюансов и черт той эпохи. Берлин и его окрестности, улицы, рынки, неповторимый запах города, квартиры мелких и зажиточных бургеров, все, что еще живо здесь от времен Наполеона и Освободительных войн, прогулки за город, жесты и обороты речи берлинцев переданы с такой верностью, любовью и юмором, что даже неискушенный читатель воспримет это как свое кровное. Конечно, книга несколько болтлива и временами граничит с сентиментальностью, что, вероятно, и определило ее необыкновенный успех; возможно, благодаря этому читатели простили автору пессимизм, пронизывающий его книгу. Но гораздо сильнее другой исторический роман Германа — «Гренадер Вордельман», который совсем не имел успеха. Действие происходит в эпоху Фридриха Второго Прусского, и рассказывается о судьбе нескольких солдат его армии,

которые, желая получить пять—десять талеров, сыграли с безобидным пожилым человеком, собиравшимся жениться, и с его невестой, в сущности, довольно безобидную шутку. Но всех действующих лиц этой истории, обманутых и обманщиков, постигает гибель из-за жестокого каприза старого, до глубины души очерствелого короля. Как судьбы персонажей неудержимо стягиваются в один узел, как из маленького летнего облачка возникает ужасная гроза, уничтожающая все вокруг, почему такой исход неизбежен—все это передано автором мастерски. Люди, местность, эпоха связаны самым искусным образом, а бесчисленные детали солдатской жизни и авторитарного закона переплетаются так, что полностью определяют жизнь людей. «Старый Фриц» в книге Георга Германа—полная противоположность образу, который обычно рисуют нам учебники истории, и очень отличен от того человека, которого изображают Карлейль, Маколей, Томас Манн, Бруно Франк. Он кажется достовернее, чем старый король у других авторов, прежде всего потому, что в романе показано, как неотвратимо он должен был стать таким. Здесь присутствует всё—его Потсдам, его офицеры, его чиновники. Усердие Георга Германа в передаче подробностей, его точность и обстоятельность оправданы, хотя и в этой книге автор порой увлекается и становится болтливим. «Гренадер Вордельман» тем не менее был и остается его самым значительным, подлинно историческим произведением, несколько ослабленным отдельными сверхподробными описаниями. Георг Герман слишком много знал, и знания его порой захлестывали поэтическое умение.

Мне известно по собственному опыту, как нелегко освободиться от материала, который первоначально познавался лишь как средство на пути к образу. Если много занимаешься определенной эпохой, постоянно наталкиваешься на одни и те же идеи, формы жизни, встречаешь одни и те же имена, носители которых в больших событиях могут играть роль статистов, но ведь они тоже были живыми людьми. Постепенно к ним пробуждается интерес, уже не зависящий от функций, которые они могли бы выполнять в задуманном сюжете. Ты начинаешь относиться к этим людям как к добрым знакомым, нередко даже с большим интересом, чем к какому-либо современнику; ибо бытие умершего завершено, его стремления, его достижения можно измерить и взвесить, его суть и судьбу легче понять, чем суть и судьбу живущего, который еще претерпит сотни перемен. Короче, при рассмотрении отдаленных времен и судеб к творческому стимулу писателя примешивается обыкновенное человеческое любопытство. Вне зависимости от цели, от пригодности

сти материала автор из чистого любопытства стремится узнать самые мелкие черточки и привычки по сути совершенно безразличных ему мертвых людей.

А теперь я хотел бы поговорить о выдающихся писателях северных стран, также разрабатывавших исторические темы; о тех, кто одновременно являлся истинным исследователем и истинным поэтом. Но прежде хочу пропеть хвалу всей скандинавской литературе, ибо никакая литература других народов не создала за последнее столетие столько поистине замечательных исторических произведений. Скандинавы искони живут на своей земле, история—важная часть их мироощущения. Со времен «Эдды» они создавали великую историческую литературу; только в нашем столетии можно назвать драмы Стриндберга о шведских королях, «Борьбу за престол» Ибсена, «Сагу о Йесте Берлинге» Сельмы Лагерлёф, «Тину» Германа Банга, «Карлика» Пера Лагерквиста, «Исландский колокол» Лакснеса. А теперь о двух романах, в которых уникальная ученость поистине растворяется в чистейшем искусстве. Во-первых, это роман Енса Петера Якобсена «Фру Мария Груббе». Писатель скромно именуется свое произведение «историческим опытом» и дает ему подзаголовок: «Интерьеры семнадцатого столетия». В романе много чудесных малых бытовых зарисовок, но в целом это нечто большее, чем просто «интерьеры», сцены из домашней жизни. Якобсен пережил все, о чем он пишет, и оживил это как истинный поэт. «Интерьеры» включены в роман не только потому, что они интересны, они нужны Якобсену для воплощения своей идеи, своей главной задачи. Он стремится создать образ женщины, желающей прожить именно свою жизнь, независимо от господствующих взглядов и обычаев. Такая тема может быть перенесена в любую страну и любую эпоху, но время и место должны быть изображены так, чтобы внутренняя—кстати, отнюдь не воинственная—независимость героини была убедительна. «Интерьеры» при этом служат не просто реквизитом, они играют активную роль, они живут; осведомленность автора нигде не кажется навязчивой. Эпоха, против которой восстает героиня, предстает в романе столь же одушевленной, как и она сама.

Попутно коснусь новелл об эпохе «рококо» Оскара Левертина. Они не составляют значительной книги, но их автор, один из лучших знатоков эпохи, поистине зачарован описываемым временем. Он знает о его упадочных тенденциях, но изображает его с нежнейшей любовью и проникновением. А теперь перейдем ко второму выдающемуся, подлинно историческому роману: это трилогия Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса».

В жизни Сигрид Унсет было три ключевых момента: счастливое детство в доме ее отца—историка; скучная жизнь конторской служащей и ее внутренние и внешние соприкосновения с эротикой; наконец, спасение в католицизме и обретение фанатической веры в церковь. Три жизненных этапа, природная склонность к изучению истории, бегство от скуки конторской жизни в мир эротики, бегство от любовных приключений в мир церкви—все это нашло прямое отражение в ее романах. Фанатическая вера порой накладывает отпечаток на ее в целом реалистическое мировосприятие, но она не влияет на непредвзятые суждения об эротических проблемах. Большой роман «Кристина, дочь Лавранса» основывается на серьезном знании четырнадцатого века. Великая борьба героини романа за свободу любить изображена наивно и достоверно, без ханжества и смакования, и когда Кристина находит прибежище в церкви, это тоже кажется вполне правдоподобным именно благодаря точному изображению эпохи. Возможно, и этот роман местами перегружен, но он написан зорким, наблюдательным писателем, с теплотой, с пониманием законов искусства и закономерностей исторического процесса.

4

Произведения Эрики фон Хандель-Мацетти также основаны на глубоком изучении истории; однако, в отличие от католицизма Унсет, отношение этой писательницы к церкви—исступленное, сладостно-пылкое—серьезно вредит ее историческим романам. Писательница происходит из старинного австрийского рода; документы и записи из архива семьи дополняют для нее другие старые свидетельства: одна из ее прародительниц после сенсационного процесса и пыток была сожжена на костре как ведьма. Будущая писательница с филологическим усердием изучала в университете историю языка своей родины, и в ее прозе оживает и расцветает старинный язык, не создавая впечатления искусственности и игры в архаизм. Одно время ее произведения имели бурный успех и вызывали массу подражаний. У меня самого связан с этим один достопримечательный эпизод. Перед первой мировой войной некий австрийский драматург Карл Шёнгерр добился шумного успеха своей пьесой «Вера и отечество», действие которой разыгрывалось в эпоху контрреформации; эту же эпоху обычно описывает в своих романах Хандель-Мацетти, только Шёнгерр взглянул на нее с противоположной стороны—с протестантской, впрочем, с тем же фанатизмом. Шёнгерр был

сочинитель ловкий, но лишенный всякого поэтического таланта. Фабула была заимствована им из весьма эффектной пьесы середины XIX века—тенденциозной протестантской драмы Артура Мюллера «Господь—надежный наш оплот». А выразительный старинный язык автор почерпнул из диалогов Хандель-Мацетти. Я был в ту пору страстным борцом за серьезную драматургию, с юношеским пылом ополчался на театральную халтуру и ввязался в ожесточенный спор с Карлом Шёнгерром. Сегодня я не принимаю подобные вещи близко к сердцу. Как бы то ни было, я разоблачил рецепт, по которому была состряпана «Вера и отечество»: я объявил, что достаточно перевести на старинный язык Хандель-Мацетти пьесу Артура Мюллера—и вот вам «Вера и отечество» Карла Шёнгерра! Чтобы доказать этот свой тезис, я взялся за нелегкий труд филолога и придал языку протестантской пьесы сходство с диалогами Хандель-Мацетти. Все это возымело неожиданный результат. Старую пьесу тоже стали играть на сцене, и она прошла с не меньшим успехом, чем пьеса Карла Шёнгерра.

Тогда я, пожалуй, переоценивал романы Хандель-Мацетти и закрывал глаза на их отжившее сентиментально-блаженное упоение верой. Но, при всем том, романы этой писательницы, несмотря на расплывчатость и излишнюю мечтательность отдельных частей, по-прежнему полны жизни и поэтичны, а их историческая точность не отдает педантизмом. На романе «Иессей и Мария», несмотря на всю его сентиментальности, лежит слабый отблеск Мандзони.

Английская писательница Хелен Уодделл также пришла в литературу от занятий историей. Ее особая область—развитие образованности, странствующие школяры начала нашего тысячелетия. В ее исторических книгах, прежде всего в романе «Абеляр», многое из необъятного материала, добытого чудовищной работой, стало настоящей литературой, но многое осталось лишь информацией.

А теперь простите, если я позволю себе увлечься. Я буду говорить о романе Рикарды Хух «Великая война в Германии», и мне трудно оставаться трезвым и спокойным при упоминании этой замечательной книги.

Рикарда Хух также сначала занималась изучением истории. Она написала ряд популярных исторических книг для необразованного читателя, как это было принято в Германии на исходе XIX века. Писала она с воодушевлением, но вовсе не стремилась к «художественности»; она прослеживала национальное, религиозное, литературное развитие, отмечала особенности этого развития, казавшиеся ей важными, подтверждала их ссылками на исторические источники. Затем внезапно она оставила чистую

историю и занялась литературным сочинительством, ей захотелось оживлять историю в поэтических образах. В течение десятилетия она сочинила немало прекрасных произведений, добилась признания публики и «специалистов». Затем, так же внезапно, вернулась к своим чисто историческим работам.

Ее главное произведение, трехтомный роман «Великая война»,—это художественное воссоздание эпохи Тридцатилетней войны. В романе нет героев, в нем доминирует образ войны в целом, этот образ никогда не расплывается, не исчезает в общих рассуждениях, философствовании и мистике, как например, в драме «Династы» Томаса Гарди или в «Революции» Эдгара Кинэ. В произведении Хух нет стороннего «хора», как в греческой трагедии; писательница не комментирует, а живописует с виртуозностью мастера. Она выводит в романе сотни людей: военачальников, ученых, представителей всех сословий, людей из народа, и люди эти—не просто типические фигуры, но каждый из них индивидуален. Знакомые нам личности из эпохи Тридцатилетней войны выглядят здесь совершенно по-новому из-за того, что они то выглядывают из общего потока, то снова в нем исчезают.

Это огромное произведение возникло за очень короткое время. Возможно, иначе оно и не могло возникнуть, писательница должна была работать с невероятным напряжением, чтобы успешно осуществить свой чрезвычайно смелый замысел. Она его осуществила, и ее труд увенчался полным успехом. Среди многих тысяч произведений о Тридцатилетней войне я не знаю другого, где бы так непосредственно ощущалась историческая атмосфера эпохи. Здесь обнажаются все переплетения, ощущается борьба, победы, поражения отдельных лиц и группировок, крупных и мелких, события внешние и внутренние.

Писательница Рикарда Хух сильна языкотворчеством. Наряду с Брехтом и Дёблином, она принадлежит к самым ярким языкотворцам среди немцев двух последних поколений. Проза Рикарды Хух сдержанна, бесконечно далека от экстаза и в высшей степени эпична. Рикарда Хух почти не переходит границ эпического, очень редко впадает в драматизм, даже диалог она передает обычно не прямой речью, а косвенной. Ее повествование движется равномерно. Но снова и снова, хотя писательница не форсирует голос, не прикладывает внешне никаких усилий, ее проза поднимается до высокой поэзии. Почти все значительные авторы ее времени испытали на себе влияние импрессионизма и экспрессионизма. Рикарда Хух держалась в стороне от обоих течений. Она не стремилась к оригинальности, и все же ее речь не похожа ни на какую другую; несмотря на сдержанность, даже благодаря ей, она эмо-

циональна и сильнейшим образом волнует читателя. Точными словами, которые одновременно и конкретны, и субъективно поэтичны, она достигает вершин эпического стиля. Возьмем страницы, на которых изображена, например, весна в Праге во время боевых действий, когда из окон вылетали стекла; или тюрьма, в которой мать Кеплера ожидает, что ее осудят как ведьму; или Валленштейн, который торгуется с ростовщиками-евреями; или священник, который должен прислуживать во время еды своей дочери и ее любовнику, грубияну-солдату, совершившему над ней насилие,—все это непреходящие достижения немецкой прозы.

Нельзя не заметить, что Рикарда Хух, подобно старцу Гомеру, иногда устает во время своей гигантской работы. Тогда она всего лишь сообщает нам нечто из своих обильных запасов. И тут мы снова подходим к вопросу о пользе и вреде досконального изучения истории для писателя. Точнейшее знание детали, владение методом исторического исследования—все это, конечно, пошло на пользу писательнице; однако я часто задаю себе вопрос: а насколько это ей мешало, сковывало, и не из-за чувства ли скованности писательница бросала в свою еще неостывшую массу необработанные куски истории? Суверенное владение материалом дает широту и четкость перспективы; но если силы на исходе и образ подменяется пересказом, тогда, именно потому, что обычно ее поэтическая проза так полнокровна и жизненна, этот пересказ кажется в высшей степени сухим и чужеродным. А поскольку такие куски непосредственно соседствуют с поэтическими местами необыкновенной силы и безупречной красоты, они особенно отталкивают читателя. Читатель, только что охваченный сильнейшим волнением, внезапно переносится в область рассудочного, в лучшем случае просто любопытного.

Есть еще четыре выдающихся литературных произведения немецких и скандинавских авторов, воссоздающих образ Тридцатилетней войны. Во-первых, это роман «Симплициссимус» Гриммельсгаузена, возникший вскоре после окончания этой войны. Гриммельсгаузен сам участвовал в войне; удивительно, как он не увяз в натурализме. Я спрашиваю себя, вправе ли я причислить «Симплициссимуса» к творениям истинно художественным, и, взвесив все, отвечаю утвердительно. Эту книгу можно сравнить с «Кандидом»; но если «Кандид» полон остроумия, то «Симплициссимус» полон жизни, натура Кандида получает здесь в дополнение изрядную долю Парцифалья. Ужасы войны изображены с наивной и грубоватой объективностью, с истинной невозмутимостью и сочным юмором, что как раз и придает книге художественность. Еще мальчи-

ком, после первого в его жизни, не вполне понятого ужасного события, герой попадает на войну, и война становится для него чем-то привычным, раз и навсегда данным. Рассказчик видит чудовищное одичание протестантских и католических солдат, но приспосабливается к обстоятельствам, ему приходится жить в этом мире, и он наслаждается добротой среди жестокости. Он мало жалуется, не особенно размышляет над увиденным, он лишь живо описывает все эти ужасы и злодеяния и часто громко хохочет над «ходом жизни». «Симплициссимус» обычно называют самым ранним немецким романом. С наивностью, частью подлинной, а частью наигранной, его автор ограничивается красочными описаниями. Он остерегается даже намек на политику, которая, возможно, скывается за этой войной. Здесь нет речи об историческом осмыслении. Но в книге присутствует истинная художественность: это удивительная смесь того, что Гойя выразил в своих «Ужасах войны» и «Капричос».

Самое известное немецкое литературное произведение о Тридцатилетней войне — это, бесспорно, «Валленштейн» Шиллера. Первоначально Шиллер хотел сосредоточить все внимание на главном герое, драматизировать историю о сказочном возвышении полководца, о его частичной измене и окончательном крушении; таким образом он стремился выразить свои собственные переживания, связанные с личностью и карьерой Наполеона. Но Шиллер был слишком поэтом, чтобы упрощать и банализировать свое видение человека, приспособляя его к правилам обычной театральной пьесы. Он понял, что создать полноценный образ героя, оценки которого так колеблются в истории в зависимости от благосклонности и ненависти разных партий, возможно лишь в том случае, если он будет представлен на фоне всей войны, освещен со всех сторон, короче, если будет представлена война в целом. И Шиллер смело разорвал свой план на три части. Он разрушил традиционную форму. Изобразил лагерь Валленштейна. Изобразил генералов и венских политиков. Изобразил войну. Профессор истории Шиллер хорошо знал исторические факты, он ведь написал книгу о Тридцатилетней войне, парадоксальным образом адресовав ее «дамам». Здесь его познания оченьгодились, он включил в свое полотно множество подробностей, представив их необыкновенно выпукло и реалистично. И хотя любовная история на этом фоне стала казаться пошлой и сентиментальной, все произведение в целом необыкновенно выиграло, перед нами мужественная и волнующая историческая поэзия.

Совершенно независимо от Шиллера Стриндберг тоже расширил рамки своего «Густава Адольфа», сделав его

поэтическим отображением Тридцатилетней войны. Это мощное творение по широте и охвату сопоставимо с историческими хрониками Шекспира; оно является эпической драмой самого крупного масштаба. Автор по праву дал ей второе название — «Тридцатилетняя война». Такое огромное событие, как вторжение Густава Адольфа в Германию, показано здесь с великолепной лаконичностью. Судьбы отдельных персонажей тесно увязаны с немецкой историей, пейзаж тоже играет свою важную роль, все полно неповторимой атмосферы, анекдоты становятся притчами, а трагическое мироощущение поэта заражает слушателя и зрителя. Густав Адольф, как бы выпукло он ни был очерчен, все время остается частью целого. Эта драма названа также «немецкой историей». Кстати, и поставлена она была первоначально в Германии — в Берлине в 1903 году; шведская постановка была осуществлена лишь в 1912 году, уже после смерти Стриндберга.

Есть у этой пьесы одно свойство, которое ей нередко вредит; впрочем, она разделяет его почти со всеми историческими хрониками, в том числе и с историческими хрониками Шекспира. Автор торопится перейти от одной большой сцены к другой, от одного притчевого образа к другому, но есть отдельные моменты, которые вдохновляют меньше и на которые жаль творческих сил, а между тем они тоже необходимы зрителю для понимания целого. И автор попросту о них информирует. Но так как он не решает прервать действие и ввести в драму специального рассказчика, или «хор», то вкладывает свою информацию в уста одного из персонажей. Этот персонаж подробно пересказывает другому лицу события, которые тому наверняка давно и досконально известны. Так было уже в самых древних дошедших до нас драмах; но там это превратилось в определенный стилизованный прием. Я никогда не забуду, как был удивлен прекрасными начальными стихами из «Филоктета» Софокла, которые мы должны были заучивать наизусть на уроках древнегреческого. Одиссей вместе с Неоптолемом совершили долгое морское плавание и причалили к пустынному острову, чтобы выманить у больного Филоктета, живущего здесь, его лук. Можно с уверенностью сказать, что во время плаванья Неоптолем не раз имел случай обсудить это дело с Одиссеем. Но вот они сходят на берег, и тут Одиссей начинает рассказывать Неоптолему все по порядку: что это за остров, почему здесь оставили Филоктета и зачем так необходим ахейцам его лук. Это поразительно, но в греческой трагедии, как уже было сказано, это стало стилизованным приемом и звучит естественно. Не так у Шекспира, особенно у Стриндберга. Конечно, чтобы понять действие, зритель должен усвоить генеалогию древ-

нейших шведских дворянских родов и узнать, какие обиды они причинили один другому. Но все равно странно, когда потомки этих родов все снова и снова рассказывают об этом друг другу. Однако достоинства драмы Стриндберга столь велики, что этими мелкими придирками можно совершенно пренебречь.

Четвертое произведение о Тридцатилетней войне — двухтомный роман Дёблина «Валленштейн». Когда эта книга вышла в свет, более чем за поколение до нынешнего, я сочинил о ней статью, полную восторгов и воодушевления. С месяц назад я перечитал эту рецензию в недавно выпущенном сборнике моих ранних публицистических работ и обнаружил, что большинство тогдашних соображений кажутся мне верными и сегодня. Но при перечитывании книги мне пришли в голову некоторые новые мысли.

Альфред Дёблин был большим писателем. Он видел вещи совершенно по-новому, у него бывали подлинные прозрения, он создавал героев и ситуации, черпая их из своего внутреннего опыта. Они сразу получались красочными, и ему не приходилось дополнительно раскрашивать их. Дёблин полон фантазий и фантастичен, у него возникали самые неожиданные ассоциации, и от изображения адских событий он мог с ловкой шуткой перескочить к образам ярко комическим. Он не контролировал порождения фантазии своим мощным рассудком, и с ним сбылось по слову Гойи: неконтролируемая фантазия порождала чудесные творения и порождала чудовищ. Автор «Валленштейна» — толчком для создания этого романа послужила, без сомнения, книга Рикарды Хух — гениально беззаботен по отношению к историческим фактам. Название «Валленштейн» вводит в заблуждение: Дёблин стремится представить не историю Валленштейна, а историю Тридцатилетней войны. «Дёблин, — писал я тогда, — вторгается в историю там, где она становится эпосом. При всей наглядности описания в книге нет и следа историчности. Но в ней есть движение, есть великий вечный эпический поток... В ней представлен весь тогдашний мир: церковь, политика, война, колеблющееся, необозримое нагромождение событий, людей, картин... тут и министры, и шарлатаны, и бюргеры, и генералы, и евреи, императрица, солдаты, иезуиты, и несть этому конца». Все это верно. Но теперь на гигантской фреске Дёблина я обнаруживаю и пустые места. В гигантской толпе отсутствуют крестьяне, отсутствуют мелкие горожане, отсутствуют обычные, заурядные люди. Дёблина интересовало лишь то, что интересно. В этом его сила, но в этом же его слабость. Пусть поймут меня правильно, я говорю не об идеологических категориях, а о художественности, как я ее сегодня понимаю.

Рикарда Хух в своих чисто историко-биографических трудах едва ли упоминает об экономике и о массах. Она следует здесь воззрениям своего времени, говоря о власти имущих, об идеях и взглядах эпохи и оставляя в стороне экономическую сторону. Но в ее книге «Великая война» простые люди — бедняки, крестьяне — занимают не меньше места, чем представители верхов. Художественное чутье побуждает ее представить действительность во всей полноте. В противоположность ей Дёблин насквозь эгоцентрик, он нимало не стремится к изображению целого и следует лишь художественным капризам. Он не позволяет своим фантазиям стать мыслями и питает доходящее до глупости отвращение к законченной форме.

Я писал тогда: «Этот Гомер Тридцатилетней войны презирает эпические приемы своих предшественников. Ни поворотов, ни спокойной широты, одна лишь безостановочная гонка... авантюристическое, бьющее ключом, перенасыщенное изобилие. Каждое новое событие разветвляется, каждая ветвь порождает новый лес, сочный, тропический». Тогда меня покорило это изобилие, эта «барочная» страсть поэта к деталям, окрашенным в дикие цвета, ко все новым диковинным завитушкам. Сегодня я спрашиваю себя, не из-за этой ли избыточности, дочитав книгу до конца, ощущаешь лишь неполное удовлетворение. Дёблиновская «Тридцатилетняя война» — это хаотическое метание вверх-вниз, туда-сюда, между «за» и «против», бессмысленная и трагикомическая давка. Он не сдерживает своих ассоциаций, даже если они заводят в непроходимый тупик; тогда с милой улыбкой он поворачивает обратно и начинает пробиваться где-нибудь в другом месте. Фанатические поклонники этого поэта могут ответить, да я и сам отвечал так прежде: поэт именно этого хотел. У него нет ни начала, ни конца, он ничуть не заботится о связности и последовательности действия. У него нет исторических дат, ни единой, Дёблин намеренно избегает всего, что может напомнить о реальной истории. Разрушение Магдебурга, битва при Лютцене кажутся ему не более важными, чем придуманное сожжение евреев или придуманный гротескный поединок придворного карлика с аистом. Он желает изображать только тех людей и только те события Тридцатилетней войны, которые ему интересны. Пусть читатель восстанавливает по ним целое, если ему угодно. Дёблину это не угодно. Жизнь состоит для него из отдельных переживаний. Целое все равно не охватишь. Такова жизнь. «Моя книга, — заявлял Дёблин, — полна жизни, потому что все ее части и частности жизненны».

Книга его и в самом деле полна жизни, в этом трудно усомниться. Но достаточно ли этого? Я часто спорил с

Дёблином. Он утверждал: исходный материал для автора все равно что червяк, из которого можно вырезать любую частичку; если автор истинный поэт, то любая из этих частичек будет жить сама по себе. Более того, он говорил, что каждая стоящая книга должна быть таким червяком: что из него вырежут, то и живет, а голова и хвост ничего не решают. Я возражал, что все великие творения имеют определенную начальную точку и определенную конечную цель — все равно, идет ли речь о гневном Ахилла или о возвращении Одиссея у Гомера, об эпосе Кретьена де Труа или о романах Бальзака. Дёблин приводил в пример великие индийские эпосы, типичные творения без головы и без хвоста. Я обращал его внимание на то, что отнюдь не самая значительная из его книг, «Берлин, Александерплац», имеющая сквозное действие, получила наибольший отклик, тогда как более значительные произведения, вероятно, из-за отсутствия четко выстроенного содержания, лишь отпугивают читателя и оставляют его равнодушным. Но он непоколебимо придерживался своей теории бесформенности. «Что мне делать, — говорил он, — если мои герои от меня удирают? Должен ли я затаскивать их обратно на свой письменный стол? Я сам бегу вслед за ними».

Споры между немецкими авторами, несмотря на дружеские отношения, были в те времена очень ожесточенными. Я вспоминаю один из таких споров с Бертольтом Брехтом, моим близким другом. Речь шла, казалось бы, о пустяке — о запятой, которую Брехт категорически отказывался поставить. Но эта отсутствующая запятая делала всю фразу непонятной. Я указал ему на множество гротескных недоразумений в Библии и в античной литературе, причиной которых была отсутствующая или неверная пунктуация. Брехт повысил голос, начал кричать, он вообще во время споров легко срывался на крик, они его возбуждали. Я тоже, хотя обычно предпочитаю говорить тихо, повысил голос. Служанка из соседней комнаты спросила, не следует ли господам перестать ссориться, пока они не поколотили друг друга. Ночью, уже после двенадцати, Брехт пришел ко мне под окна, привлек мое внимание свистом и объявил: «Вы совершенно правы. Я поставлю запятую».

Но вернемся к «Валленштейну». Два тома Дёблина, при всем их величии, сохраняют отчетливый характер фрагментарности. Даже самый неприхотливый, доверчивый читатель желает одновременно большего и меньшего. Роман Рикарды Хух, напротив, при всей широте и многообразии сохраняет цельность, и, странным образом, именно историческая основа придает ему эту цельность. Я уже отмечал, что воздействие «Великой войны» ослаб-

ляется тем, что порой из-за обилия исторических знаний писательница невольно начинает пересказывать. Чисто документальные куски вставляются в произведение без всякой предварительной обработки и связи, подобно тому, как у художников одно время было принято наклеивать куски настоящей ткани на нарисованные костюмы. И поскольку эта большая, честная писательница не умеет ничего делать понарошку, то и языковое мастерство ей в таких случаях изменяет, и после глав, относящихся к прекраснейшим образцам немецкой прозы, следуют абзацы, написанные языком самого сухого учебника. Но историческая основа все же не дает книге распасться. Европа медленно соскальзывает в войну и медленно из нее выбирается; даже после заключения мира длятся последние военные судороги. В романе есть начало, есть конец, и огромное повествование, при всей его многослойности и запутанности, имеет определенные границы.

Сложная, широко задуманная эпопея Рикарды Хух требует от читателя большой самоотдачи и терпения. Но труд бывает вознагражден. В этой книге имеется немало глав, сверкающих подобно драгоценным перлам, которые позволяют ощутить, что такое история. Произведение Рикарды Хух все еще не оценено достойным образом. Это не только один из величайших шедевров немецкой литературы, но и шедевр литературы мировой.

5

Среди авторов исторической прозы я уже назвал ряд женских имен. Кто всерьез занимается исследованием исторической художественной литературы, не может не обратить внимания, сколь велик вклад женщин именно в этот жанр, независимо от того, являются ли их творения истинной литературой или просто китчем.

Библия приписывает авторство древнейших эпических творений женщинам — некой Мириам, некой Деборе. Бетлер приводит веские доказательства в пользу гипотезы о том, что обе части «Одиссеи» написаны женщиной. История литературы более позднего времени рассказывает о дамах, во главе с мадемуазель де Скюдери сочинявших в эпоху барокко исторические романы. Правда, «Принцесса Клевская» мадам де Лафайет, лучшее из эпических произведений, вышедших в то столетие из-под пера женщины, едва ли может быть названо подлинным историческим романом. О многочисленных исторических романах конца XVIII и XIX века, принадлежащих перу женщин, мы также говорили. Среди них и Бенедикта Науберт, чьи книги появлялись под разными псевдонимами и

читались больше, чем все творения Гете и Шиллера вместе взятые. Шиллер, в частности, читал ее с удовольствием и носился с мыслью выпустить библиотеку исторического романа, в которой важное место заняли бы ее книги. Романы Науберт иногда провоцировали самого Шиллера, один из них послужил источником для его «Валленштейна». В них черпали материал и вдохновение также Эленшлегер и Эрнст Теодор Амадей Гофман. Вообще большие писатели без колебаний—об их беззаботности и безответственности в выборе сюжетов мы уже говорили—заимствуют материал для собственного творчества из литературного китча, не чураясь и прямого грабежа. Так поступали авторы библейских книг, так же—Гомер, Шекспир, Гете, Шиллер, Стендаль, Брехт. Среди женщин, сочинявших широко популярный исторический китч, следует далее назвать Луизу Мюльбах; ее книги определяли исторические представления миллионов читателей. Но женщины, особенно в нашем столетии, сочиняли и первоклассные произведения на исторические темы; это высокоталантливые писательницы, которых я называл,—Сельма Лагерлёф, Унсет, Рикарда Хух.

Обычно женщины ответственнее мужчин относятся к подготовительной работе, которая нужна для всякого исторического романа—как для китча, так и для подлинного творения искусства. Подготовительная работа требует усердия и терпения, приходится делать многое из того, что позднее окажется излишним. Нередко ради одного-единственного нужного фактика, а часто и вообще без всякого результата, надо перелопачивать толстые исторические и историко-биографические сочинения. Само написание книги также требует немалого упорства; сколько раз в процессе работы выясняется, что тщательно отделанная, сама по себе удавшаяся глава только отвлекает читателя, является ненужной или даже мешает. Неистовый Дёблин такие главы спокойно оставлял. Но женщины обычно более добросовестны: они их вычеркивают. Даже те писательницы, чьи произведения лишь с оговоркой могут быть названы серьезной художественной литературой, проделывают основательную предварительную работу и затрачивают много усилий на само написание книги. Автор романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл отлично изучила историю изображаемого периода и, видимо, тщательно перерабатывала рукопись. Даже исторические книжонки, являющиеся чисто развлекательным чтивом, вроде «Сохраненных навечно» Кэтлин Уинсор, основываются на честно проделанной подготовительной работе. Знатоки могут, конечно, улыбнуться, ознакомясь со списком трудов, которые мисс Уинсор использовала в качестве источников. Но ее знаний хватило, чтобы убе-

доть сотни тысяч читателей, что пуританская революция и правление Карла Второго были именно таковы, как она их описала.

Дело в том, что при изготовлении исторических романов женщины действуют приблизительно так же, как при работе по дому. Писательница и домашняя хозяйка здесь сливаются в единое целое. Та же отупляющая работа, которую надо проделывать снова и снова, чтобы все блестело чистотой и являло собой совершенство косметики и туалета.

<Далее приведены отдельные заметки к разделу 5 — «Женские исторические романы».>

(3) К этой внешней причине присоединяется внутренняя. Женщины по природе хорошие рассказчицы. Не случайно сказки тысячи и одной ночи вложены в уста женщины; и братья Гримм делают именно женщин рассказчицами многих своих сказок. «Эдда». Женщины вообще любят рассказывать. Даже если они создают истинно поэтические творения, они больше, чем мужчины, склонны к повествованию, и потому исторический роман отвечает характеру их дарования. (Биографии, Ами Келли, Боуэн.)

(4) Меня всегда занимало, для каких литературных жанров особенно подходят женщины, а для каких нет. Женщины создали великолепную лирическую поэзию — от сочинительниц и исполнительниц библейских песен и Сафо, от португальской монахини Марианны Алькофорато и мадам Деборд — до наших новейших поэтесс. Гете недаром включил стихотворение женщины в «Западно-восточный диван», одно из глубочайших своих творений, наряду со второй частью «Фауста». В эпическом жанре, как мы уже видели, женщины тоже создали выдающиеся произведения. Но нет фактов, что женщина когда-либо написала значительную драму. Драматические упражнения Росвиты фон Гандерсгейм едва ли можно назвать серьезными драмами.

(5) Занятия, в которых особенно проявили себя женщины. Управление государством. Семирамида, Иезавель, Аталия, Елизавета, Зенобия, Екатерина Великая, миссис Элеонора Рузвельт. Музыка, но только не оратория и не опера. Не архитектура.

СТАТЬИ

•

АВТОР О САМОМ СЕБЕ

Писатель Л. Ф. родился в предпоследнем десятилетии XIX века в одном из городов земли Бавария, под названием Мюнхен, насчитывавшем тогда 437 112 жителей, 413 203 из которых говорили на мало доступном остальному миру диалекте, так называемом баварском. Писателя Л. Ф. учили в общей сложности 98 учителей 211 предметам, среди которых были иврит, прикладная психология, санскрит, начисление простых и сложных процентов, готский язык и гимнастика. Ему понадобилось восемнадцать лет, чтобы окончательно вытравить из своей памяти 172 из этих 211 предметов. Во время сдачи экзамена на степень доктора он провалился по древневерхненемецкой грамматике и литературе, поскольку плохо представлял себе все тонкости сбрасывания противника с коня на рыцарском турнире. Экзамен по антропологии, напротив, прошел очень успешно, поскольку на вопрос экзаменующего католического профессора: «На какие две большие группы подразделяются свойства человека?» — он ответил, как и следовало: «На физические и духовные».

Столица империи Берлин во время его учебы в Берлинском университете насчитывала 2 827 394 жителя, из них 1443 актера, 167 генералов, 1107 писателей и журналистов, 412 рыбаков, одного кайзера, 9213 студентов, 112 327 женщин, сдающих комнаты, и одного гения. Писатель Л. Ф. провел 14 лет в школах и университетах Берлина и Мюнхена, пять с половиной месяцев на военной службе, 17 дней в плену, затем 11 лет в Мюнхене, а остальную часть жизни в условиях относительной свободы. В течение 3013 дней он ощущал недостаток средств к существованию и 294 дня их вовсе не было. Он подписал 52 договора, имел 212 бесед на религиозные, 187 на политические, 2764 на литературные темы, 263 беседы по вопросам, касающимся его заработка, и 19 248 бесед на житейские темы, в первую очередь по поводу стирки, бритья и квартиры.

Писатель Л. Ф. в расцвете сил имел рост 1 метр 65 сантиметров и весил 61 килограмм. У него было 29 собственных зубов, из них несколько торчащих вперед, и три золотых зуба. У него были густые волосы, и он носил очки. Он хорошо плавал и плохо танцевал. Из еды он предпочитал дары моря всех видов, не любил мучного; принимал горячие ванны, ненавидел собак и запах табака. Он охотно пил хорошие вина, чай, сдержанно относился к крепким напиткам и к кофе и ел слишком мало овощей. Он тяготел к теории вегетарианцев и преклонялся перед образом жизни индусов, но на практике был большим любителем мяса. Не подлежит сомнению, что, воздержись он от употребления мяса, он смог бы дожить до более преклонных лет. Но уже к зрелому возрасту он съел 8237 бифштеков, 1712 блюд из дичи и 1432 блюда из домашней птицы. Он отведал 6014 морских рыб и 2738 рыб, водящихся в реках и непроточных водоемах, поглотил огромное количество мелкой живности, устриц, мидий и улиток, и все это с большим удовольствием, лишь иногда омраченным мыслью о том, сколько жизней пришлось загубить, чтобы поддержать свою собственную.

В те времена, когда писатель Л. Ф. процветал в Германии, она насчитывала 63 284 617 так называемых душ, 667 884 из которых были заняты на почте и железной дороге, 40 103 были врачи, 108 012 — напыщенные индюки, 856 — критики, 8287 — писатели, 15 043 — акушерки. Зарегистрированных идиотов и полных кретинов в Германии было 36 461. Писателю Л. Ф. выпало несчастье иметь дело с большинством из них.

Что же касается города Мюнхена, в котором писатель провел многие годы своей жизни, то, по сравнению с другими городами мира, пожарных здесь чаще всего вызывали из чистого баловства. К тому же из всех городов мира в нем производилось и потреблялось наибольшее количество пива. У журнала Фридриха фон Шиллера «Оры» в этом городе было трое читателей, а у романа «Король Людовик II, или Мученик в горностаевой мантии» — 109 853.

В последнем году, проведенном здесь писателем Л. Ф., в городе проживало 137 людей талантливых, 1012 способных, 9002 — средних способностей, 537 284 — вовсе неспособных и 122 963 законченных антисемита. То, что писателю Л. Ф. удалось 407 263 054 раза вдохнуть воздух этого города без существенного ущерба для своего здоровья, свидетельствует о его необычайной живучести.

Писатель Л. Ф. согрешил легко 23 257 раз, большей частью по инерции и из-за своей довольно-таки флегматичной чувственности, а два раза согрешил тяжко. Он совершил 10 069 добрых поступков, в основном из снисхо-

дительного благодушия, и два по-настоящему добрых дела, которые, как он полагает, ему зачтутся. Он был один раз женат. Он спас одну девочку, не дав ей утонуть, одного юношу, не дав ему стать актером, и шестерых не лишенных способностей молодых людей от профессии писателя. В 106 подобных случаях он не смог ничего поделать.

Писатель Л. Ф. написал одиннадцать пьес, из них три хороших, которые не ставились ни разу, одну посредственную, которая шла 2346 раз, и одну очень плохую, за постановку которой на протяжении последних двух лет борются 167 немецких и зарубежных театров. В одной из наиболее популярных его пьес в списке действующих лиц он допустил опечатку, из-за которой 41 строка потеряла всякий смысл. Эти строки 197 актеров произносили со сцены 2346 раз, и ни один режиссер, ни один исполнитель, ни один критик, ни один из полутора миллионов зрителей этого не заметил.

Писатель Л. Ф. за час мог напечатать до семи машинописных страниц, сочинить 30 прозаических и 4 поэтических строки. За час сочинительской работы он худел на 325 граммов.

Его пьесы запрещались 26 раз. 322 рецензента хвалили его за глубокую религиозность, 465 ругали за богохульство и взывали к прокурору. 17 раз его обвиняли в плагиате, и он получил 649 посланий от возмущенных читателей, в которых говорилось, что Икс или Йгрек его бесстыдно обворовали. За свою жизнь он встречался с 312 писателями, среди них было 19 по-настоящему одаренных и полтора гения; один из этих гениев ничего не писал.

Общество предъявляло к нему высокие требования. Он получил на рецензию или для проталкивания в печать 2185 рукописей от молодых писателей, причем писатели эти бывали оскорблены, если для прочтения их произведений ему требовалось больше двух дней. 7169 человек хотели получить его автограф, 826 дам добивались у него места секретарши. У него было 202 родственника, 3124 знакомых и один друг. 2087 человек желали выяснить у него, правда ли, что отец еврея Зюсса был христианином, 334 — как он относится к большевизму, и 124 — считает ли он Библию Откровением Божиим. 385 человек хотели у него выведать, как научиться «сочинять». 589 раз неизвестные по телефону называли его жидом пархатым. За свою жизнь он не ответил на вопросы 1090 анкет.

Из-за такого обилия мелких дел писателю Л. Ф. не удалось осуществить четыре больших проекта, которые были дороги его сердцу: 1) изучение русского языка (для лучшего понимания большевистской литературы), 2) овладение искусством завязывать галстук (для более эффек-

ного появления в обществе), 3) усовершенствование в английском языке (для рационального познания мира), 4) получение водительских прав (для более разумного использования своей маленькой машины).

Писатель Л. Ф. был 19 раз в жизни абсолютно счастлив и 14 раз безмерно несчастлив. 584 раза его ошарашивала и огорчала до потери чувств глупость мира, не поддающаяся измерению. Постепенно он отупел и стал к этому безучастен. Прекрасно сознавая, что достигнутый блестящий результат еще не есть успех и что человек не исчерпывается своими достижениями, на вопрос Бога: «Доволен ли ты жизнью, которую я дал тебе?» — он ответил бы: «Да. Я хотел бы всё повторить».

СОФОКЛ И ГОФМАНСТАЛЬ

1

В чем видим мы смысл древнего фиванского сказания об Эдипе?

За то, что Лай похитил сына Пелопа, ни о чем не ведающий Эдип должен убить своего отца, жениться на своей матери и жесточайшим образом покарать самого себя. На первый взгляд это просто страшная сказка, которая вовсе и не претендует на изображение живых людей или на некий тайный смысл. Правда, филологический нюх исследователя учуял в этой басне не то миф о солнце, не то сказание о зиме; но уже александрийская критика не нашла в первоначальном сюжете ничего, кроме нелепой выдумки черни. Сами мы,—если судить беспристрастно и без ложного пиетета,—видим в Эдипе (герое мифа, а не художественного произведения) только великого неудачника, только гигантского Шлемиля. Да и на вкус эллинов злосчастный фиванский царь нередко был просто смешон. Евбул написал об убийстве сфинкса комедию. Варрон сделал его персонажем одной из своих Менипповых сатир; Эсхил—и тот сочинил сатировскую драму «Сфинкс».

Изобразительное искусство античного мира тоже отдало дань пародийному воплощению злосчастного отпрыска Кадма, высмеиванию его судьбы. Мне сразу вспоминается кувшин из раскопок (коллекция Бургиньона в Неаполе), на котором Эдип, стоящий перед нагим сфинксом, был изображен в маске сатира и с огромным фаллосом.

Однако, невзирая на несколько иронический ответ, который неотделим от этого персонажа, сюжет «Эдипа», как никакой другой, привлекал к себе трагиков. Кроме Эсхила, Софокла и Еврипида, до нас дошли свидетельства еще о восьми известных эллинских писателях и одном анониме, которые пытались обработать миф об Эдипе. Римские драматурги и латинская школьная драма, классическая трагедия французов и итальянцев, Силезская школа—все они обращались к истории Эдипа, и, наконец, даже Шиллер носился с мыслью написать своего Эдипа.

Что же, спрашивается, так влекло к себе в этом произведении драматургов всех времен? Мне думается, здесь играют роль два фактора. Первый связан с формой, а второй — с содержанием. Что касается формы, то «Эдип» являет собой классический образец аналитической драмы. Правда, если говорить об этом жанре, то мы, современные читатели, достаточно избалованы Ибсеном. А о том, как предшествующие поколения оценивали такую драму, свидетельствуют хотя бы письма Шиллера. Перейдем же к тому, что касается содержания. Ни один из героев греческих сказаний не падает столь внезапно с озаренных солнцем вершин в такую глубокую пропасть, никто не страдает так безвинно, как Эдип. Судьба его, говорится в «Поэтике» Аристотеля, наилучшим образом способна пробуждать сострадание и страх. Ибо античности, гармоничной и наивной, вовсе незачем было проникать в глубины души человека, чтобы обнаружить трагическое. Ее вполне удовлетворяло господство великой, гигантской судьбы. Для античности счастье означало добродетель, а несчастье приравнивалось к греху. Для античности изменчивость судьбы и души человека совпадали. Для античности не было противоречия между бытием и деянием, и если с человеком или вокруг него происходило что-то интересное, значит, и сам человек интересен, каким бы заурядным он ни был. Человек страдал, и страдания его представлялись античному писателю трагическими. Поколение людей, которое даже физическую боль Филоктета считало достойной трагедии, — каким ужасом должно было повеять на него при вести о проклятии, тяготеющем над Эдипом! Именно то, что судьба Эдипа несколько не связана с этической стороной, именно это и привлекало эллинических драматургов и нравилось публике. Для истории греческих вкусов чрезвычайно характерно, что более позднее сказание соединило величественно чуждые морали страсти Эдипа из Фив со страстями Иисуса из Назарета, имеющими столь глубокие этические корни, а образы несчастного царя кадмеян и обреченного на вечное проклятие Иуды Искарриота сливаются воедино.

Итак, все, что влекло жителей Аттики к Эдипу, — это наивная радость, которую вызывали в них страдания, «страсти» трагического героя. Детски счастливое поколение, жизнь которого текла так легко и гармонично, которое не ведало нашей разорванности, тосковало по горестям, и, по примеру Поликрата, который принес в жертву богам свой перстень, Афины принесли героев своей трагедии в жертву капризам мрачной Мойры. Ибо примерно так следует понимать «катарсис» Аристотеля: человек обречен страдать и испытывать страх, но он может самым чистым и благородным образом освободить-

ся от этой обреченности, если испытает чувства сострадания и страха, которые пробуждает в нем судьба трагического героя. В этом смысле драма всегда остается жертвоприношением, культовым обрядом, и именно в этом смысле Аристотель и охарактеризовал «Эдипа» как классический образец драмы. Подобно детям, которые испытывают болезненную радость, мучая любимых животных, афиняне чувствовали священную дрожь сладострастия, когда, охваченные страхом, дивились мучениями Эдипа.

Но нам, сегодняшним людям, нам какое дело до этих воззрений, коренящихся в самой природе древних? Ведь у нас начисто отсутствуют их религиозные предпосылки, отсутствует легкая некритическая целостность эллинского восприятия. Аполлон мертв, прорицатели его кажутся нам не то сомнамбулами, не то мошенниками, а Мойра превратилась просто в пугало. Зато *hybris*¹—воля к самосохранению всем силам назло, стремление к господству, к утверждению своей личности, эта гордыня, проклятая всеми высоконравственными драматургами Афин,—в ней-то мы и видим величайшее наше счастье, нашу конечную нравственную цель. Так какое же все-таки значение имеет для нас судьба Эдипа? Ведь, по чести говоря, это просто кровавая сказка, рассчитанная на детей, которая только потому не кажется нам смешной, что некогда заставила содрогаться от страха и сострадания целый благородный народ.

2

Но почему же все-таки мы замираем перед «Эдипом» Софокла, и глядим, и поражаемся, и чувствуем свою ничтожность, и не можем уйти из-под власти этого произведения? Ведь Софокл—тут и вопроса быть не может—не поступился и самой малостью своего эллинства. Он начисто отказывается от всякой психологии. Даже Шиллер, один из пламеннейших его поклонников, и тот признается, что интерес к трагедии Софокла вызывают не столько действующие лица, сколько само действие, «порождающее известного рода холод», и что «характеры, выведенные в трагедии—только более или менее идеальные маски, но отнюдь не настоящие личности, как, например, у Шекспира и Гете». Более того, Софокл беспощадно уничтожает все, что еще оставалось от понятия вины героя. Он отбрасывает мотив, согласно которому Лай похитил сына Пелопа и тем самым навлек

¹ Дерзновение, высокомерие (*греч.*).

на себя гнев Аполлона. Свободен Эдип Софокла и от греховного высокомерия. Все филолого-драматургические потуги обнаружить вину Софоклова Эдипа потерпели неудачу,—нет, не характер Эдипа, а только тяготеющий над ним рок приводит его к крушению. Ни сюжет, ни люди, действующие в этой трагедии, не способны нас взволновать, и, кроме того, в ней отсутствует важнейшая основа драматического воздействия—отсутствует единство этико-эстетической оценки.

Так, значит, нас увлекает одна только форма, изумительная форма «Эдипа». Эта форма—плод последнего цветения великой культуры, выраставшей столь прямо и стройно. В этом удивительно гармоничном произведении, глубочайшим образом связанном с самой сущностью поэта, все проникнуто единым ритмом, все стремится к единственной цели. Софокл не терпит побочных мотивов. С невиданной прямоотой, недоступной ни для каких соблазнов, которые могли бы отвлечь его в сторону, он подчиняет все имеющиеся в его распоряжении изобразительные средства развитию фабулы. Уже сама экспозиция трагедии вводит нас в действие, действие это все нарастает, оно разматывается плавно, подобно тугому канату, и, мастерски расчлененное, стройное, как пальма, оно устремляется ввысь. По совершенству драматургической техники «Эдип» превосходит все аттические трагедии. Нигде больше трагическая ирония не обладает такой счастливой естественностью, и очень редко столь несложное действие поднимается до такой напряженности.

Тем не менее при всем совершенстве драматургической техники «Эдип» оставил бы нас в глубине души холодными, а травля, которой подвергается царь Фив по прихоти судьбы, вызвала бы у нас в лучшем случае интерес, подобный тому, который вызывает партия в шахматы, когда один игрок в сто раз сильнее другого, не будь это произведение насквозь пропитано искренней, глубокой, простодушной верой поэта в Мойру. Ведь в конечном счете самое важное в драме вовсе не Эдип, а судьба, капризная и ужасная Мойра, перед которой склоняется исполненный самого смиренного отречения грек, но против которой восстают все наши чувства. Участие в трагедии оракула казалось бы смешным, если бы нас не увлекла глубокая вера Софокла, если бы он не сделал и нас верующими в Аполлона, подобно тому как «Divina Commedia»¹ заставляет читателя уверовать в рай и в ад. «Эдипа» создало благоговение перед страданием, уверенность в том, что удел человека—страдать и сострадать ему—наслаждение. Не Эдип трогает нас до глубины

¹ «Божественная комедия» (ит.).

души, а Софокл, так страстно поющий о его мучениях. Нас увлекает мощная лирика, звучащая в «Эдипе», потрясающая исповедь Софокла, познавшего, что жизнь — это только страдание. И поэтому для него и для нас Эдип вырастает в венчанную лаврами жертву, которая страдает не только за себя, но и за всех людей, и, страдая, очищает и возвышает нас, и, наконец, через наш страх и сострадание дарует нам искупление. Так возникает Эдип-Христос.

3

Вероятно, именно эта основная лирическая настроенность, которую я попытался анализировать, и привлекла Гофмансталь к Софоклу и его «Эдипу». Да и кто, как не он, испивший из всех источников, мог, наслаждаясь, прочувствовать страх и сострадание? Ведь изумление перед страданием и полное страха стремление к неведомому, к судьбе, и составляет тему всего творчества Гофмансталь. И если тем не менее попытка «модернизировать» для нас «Эдипа» была заранее обречена на неудачу, то это объясняется только греческим характером произведения, его аттической религиозной основой. Лишите трагедию ее подводного лирического течения, и вы обескровите и умертвите ее. Именно это и сделал Гофмансталь. В своем «Эдипе и сфинксе» он отважился на нечто чудовищное, он превратил Эдипа из трагической маски в жалкого человека, подобного нам, который противопоставил свою волю «псам судьбы». Одного этого достаточно, чтобы извратить идею Софокла. Софокл заставляет нас воспринять Эдипа как тип, как обычного человека, слепо подчиняющегося Мойре, и мы, разумеется, сострадаем ему всей душой, но Эдип выступает и как искупительная жертва, зовущая нас не к возмущению, а к покорству судьбе. В трагедии Софокла действуют гармоничные люди, гармоничные даже в предсмертной муке. Гофмансталь, напротив, попытался вложить дар провидения в грудь своих персонажей. Он уничтожил самый действенный мотив Софокла — неведение Эдипа и Иокасты, уверенность в своей невинности и, взамен того, превратил их в людей, терзаемых бесконечными противоречиями, восстающих против Мойры и поднимающих на восстание нас.

Гофмансталь очень тонко и обстоятельно анализирует психологию своего героя, но чем сложнее психология Эдипа, тем сильнее ставит писатель под угрозу самый смысл трагедии. Ибо чем человечнее Эдип, тем бессмысленнее его судьба. Из грандиозного поэтического символа веры всего народа Гофмансталь превратил «Эдипа» в

драму отдельного человека, в драму одиночки,— он изгнал из трагедии божество.

И тем самым особенно резко выпятил именно ту сторону, которая чужда нам в Эдипе. Еще четыре года назад по этому поводу автор настоящей статьи написал: «После того как Гофмансталь в своем «Эдипе и сфинксе» «очеловечил», так сказать, именно те предпосылки к «Царю Эдипу», которые для нас, по-видимому, уже мертвы, после того как он отбросил или отодвинул на задний план все, что могло заставить нас уверовать в богов Греции и в их оракулов, ему волей-неволей придется в своем переводе «Царя Эдипа» заменить психологическое развитие заставившим понятием судьбы и сверхчеловеческим вмешательством различных богов. Так и случилось, и обе трагедии оказались совершенно чуждыми друг другу. «Эдип и сфинкс» не только не создает никаких внутренних предпосылок для действия «Царя Эдипа», но и просто уничтожает их, чем в значительной мере лишает трагедию ее драматической силы.

Впрочем, обратимся сейчас только к гофманстальевскому «Эдипу». Он, во всяком случае на первый взгляд, кажется довольно верным переложением Софокла. Но в том-то и дело, что только довольно верным. У Софокла каждое слово накрепко сцеплено с предыдущим, песни хора сокращены до минимума. Заменить или вычеркнуть из этой трагедии хотя бы одно слово— значит ранить самую душу произведения. Четыре года назад автор настоящей статьи опасался, что «Царь Эдип», в котором нет ни единого лишнего слова, покажется Гофмансталью чересчур скупым на слова. К сожалению, случилось обратное. Может быть, лирику Гофмансталью, которого так часто упрекали в многословии, захотелось показать, на какую краткость он способен, чтобы еще усилить драматизм грека. К сожалению, он повредил при этом драматический нерв произведения.

И, наконец, язык. Стиль Гофмансталя убивает дух Софокла. Искривляет ясную прямогу грека. Подменяет рисунок цветом, религию— вялым психологическим толкованием, эллинизм— назарейством. У меня нет сейчас возможности показать на примерах, как на каждом шагу язык венского писателя превращает спокойное смирение гражданина Аттики в трепетную нервозность. Этому способствует все— ритм, интонации, даже опущенное или вставленное междометие. Человек, который всей душой ищет путь в страну греков, должен больше уважать их священные законы, чем это сделал Гофмансталь.

«ВИШНЕВЫЙ САД»

1

Немецкому поэту Фердинанду Фрейлиграту однажды пришло в голову, что Германия—это Гамлет, он написал об этом стихи. Русский писатель Антон Чехов чувствовал, что Россия была, есть и останется Гамлетом, и выразил свою убежденность в трогательной, проникновенной и грустной драматической поэме, которая называется «Вишневый сад».

Немецкие шовинисты возрадуются, когда пьеса будет поставлена в Германии. Они примутся цитировать полные горечи слова революционно настроенного студента: «У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются, как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезные, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина...» Захлебываясь от восторга, они будут писать: «Вот как русский оценивает Россию. Упадок одной семьи символизирует у него упадок его народа».

Но проблема гораздо сложнее. Конечно, Чехов первоначально хотел изобразить упадок одной семьи, нечто вроде русских Будденброков. Но «Вишневый сад» получался все глубже, шире и значительнее, и в конце концов в нем отразились не только беды одного народа, нет,—он стал грустным зеркалом человеческого духа, пределы которого беспредельны, человеческого духа, способного все понять и с улыбкой со всем смириться.

Во всех четырех действиях пьесы почти ничего не происходит. Продается вишневый сад семьи Гаевых, вишневый сад старого дворянского рода, разорившегося и обремененного долгами, продается энергичному, напористому простолудину, бывшему крепостному этой семьи. Вот и все.

Но эта пьеса, почти лишенная действия — самое насыщенное и зрелое, самое трогательное и горькое, самое мудрое творение Чехова. Эта трагикомедия, освещенная мягкой, грустной и в то же время насмешливой улыбкой автора, стоит особняком. «У этой пьесы улыбка Джоконды», — писал крупнейший критик России после того, как она была поставлена Станиславским.

Как уже говорилось, речь идет всего лишь о вишневом саде, который пошел с молотка. Этот вишневый сад, если посмотреть на него глазами делового человека, представляет собой участок земли, стоимость которого тысяч на девяносто превышает сумму долгов, сделанных под залог сада. Так на него и смотрит деловой человек Лопахин, пошедший в гору плебей. О, этот Ермолай Лопахин умен и энергичен; он обеими ногами прочно стоит на земле и точно знает, чего хочет. Он считает, что землю надо разбить на участки, старый, обветшалый господский дом снести, а вишневый сад вырубить.

Но как ни разумна и практична эта точка зрения, все же Лопахин не прав, и помещица Раневская имеет все основания возмущенно возразить ему: «Милый мой, простите, вы ничего не понимаете». Потому что этот сад — нечто совершенно необычайное — и впрямь слишком хорош, чтобы пойти на строительные участки для дачников-арендаторов. Не потому, что он, осыпанный белой кипенью цветов, так прекрасен, так мил, нежен и светел под голубым куполом неба и не потому, что он упоминается в «Энциклопедическом словаре» как самая значительная достопримечательность всей губернии. Старый-престарый слуга Фирс, глухой и трясущийся, переживший не одно поколение господ, смутно улавливает подлинную суть вишневого сада. Перебивая беседу господ, он постарчески бессвязно бормочет о том, что было лет сорок — пятьдесят назад: «В прежнее время вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили и, бывало...» Его обрывают, но старик продолжает бормотать: «И, бывало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая... Способ тогда знали...» Его спрашивают, где же теперь этот способ. Забыли. Никто не помнит.

Не просто земельный участок, а символ, яркий символ этого «тогда», той патриархальной эпохи, когда еще свято блюли разницу между господами и холопами, а сомнительная роскошь общественной совести была неведома, символ старой России—вот что такое вишневый сад. Владельцы усадьбы это чувствуют. Раневская срослась с вишневым садом. «Ангелы небесные не покинули тебя». Под его деревья бежит она от сумбура и сумятицы своей парижской жизни. Он—ее юность, ее чистота. В его аллеях видится ей покойная матушка в белом платье. С вишневым садом у нее и ее брата отрывают корни не только внешнего, но и внутреннего существования, их внутреннего аристократизма; с потерей усадьбы, поместья, они перестают быть помещиками.

И домашний учитель Петя Трофимов, недоучившийся студент, мечтатель, утопист, тоже чувствует, что именно в этом сущность вишневого сада. Когда Аня, семнадцатилетняя дочь хозяйки имения, жалуется ему: «Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде. Я любила его так нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад»,—он возражает: «Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов...»

Но глубже их всех понимает вишневый сад сам Чехов. У него прав и Лопахин, видящий в саду лишь земельный участок, права и Раневская, для которой сад—символ ее юности и чистоты, блестящего и бездумного прошлого, прав и мечтатель-студент, считающий сад символом кровавой деспотии. Под взглядом писателя рамки сада раздвигаются и вбирают в себя не только образ всего народа, чистого душой, великого и прекрасного, внезапно вырванного из непонятого прошлого и растеряннo бредущего к смутному и столь же непонятному будущему: нет, с тихой и грустной улыбкой он превращает повесть о гибнущем вишневом саду в притчу о мимолетности, относительности и бренности всего земного, одинаково ускользающего от мудрого и от глупца.

3

У всех персонажей «Вишневого сада» есть нечто общее: смутная, затаенная, бессильная мечта, которая их гнетет, но от которой они и не пытаются отказаться. Характерное и типично русское у них то, что они любят, холят и нежат эту свою мечту и ровно ничего

не делают для того, чтобы она осуществилась. Создается впечатление, что они вовсе и не хотят, чтобы она осуществилась. Вечно недовольные, они копаются в собственной душе, вновь и вновь ощущая положенные им пределы, и, жалуясь на это, сотрясают преграды, но больше во имя самого сотрясения, чем для того, чтобы эти преграды сокрушить.

Конторщик Епиходов — великолепная карикатура на это кокетливое самооплакивание. Стоит ему споткнуться о стул, как он начинает изливать мировую скорбь, а если в квас ему попадает таракан, принимается цитировать Канта и намекать на возможный уход из жизни. Даже Лопехин, единственный человек действия в пьесе, заражен этой вялой нерешительностью, этой меланхолической пассивностью; и не случайно с его губ вдруг срывается фраза из «Гамлета».

Общество представлено в «Вишневом саде» двенадцатью персонажами: это удивительно русские люди, увиденные, однако глазами писателя уже не русского, а европейского масштаба, писателя, погружающего их в атмосферу горестно-сладостного пессимизма и легкой иронии, заставляя нас в то же время сострадать им.

Вот, например, купец Лопехин, бывший крепостной Гаева, который в конце концов прибирает к рукам вишневый сад, энергичный человек, жаждущий действия. Но даже его подтачивает сентиментальная склонность к самокопанию, мечтательности, сомнениям и колебаниям, присущая всем героям «Вишневого сада». Великолепна сцена, когда он, наконец-то решившись предложить руку и сердце Варе, облегченно вздыхает, услышав, что его кто-то зовет, и поспешно уходит. Как искренне он огорчен тем, что Раневская теряет вишневый сад, который он сам же и приказывает вырубить. Как чувствует он враждебное начало в идеалисте Трофимове, насмехается и издевается над ним, но в то же время и восхищается им, и дает ему денег. Как врожденный инстинкт раба заставляет его низко склоняться перед непрактичным Гаевым, его бывшим господином, к которому он не испытывает ничего, кроме презрительной жалости. Сцена его возвращения с аукциона, где он приобрел вишневый сад, относится к числу самых сильных во всей русской литературе. Ощувив себя собственником поместья, он в упоении хохочет, говорит без умолку, громко топает сапогами. И тут же неуклюже утешает хозяйку имения и жалуется на нескладницу и несправедливость жизни. А потом громко велит музыкантам играть. Затем вновь следует приступ сентиментальности, пока, наконец, его плебейская натура вдруг не прорывается наружу. Нечаянно толкнув столик, с которого чуть не сваливаются канделябры, он хватается

падающий светильник, швыряет его об пол и орет: «За все могу заплатить!»

А вот Варя, воспитанница Раневской, двадцатичетырехлетняя простая крестьянская девушка. Всегда чем-то озабоченная, считающая каждую копейку, она неумоимо пытается предотвратить разорение имения—но какими малыми и до смешного мелочными средствами! Есть в ней что-то материнское, добропорядочно-мещанское, и мечта ее— созерцательная жизнь в монастыре. А вот их сосед по имени Симеонов-Пищик, здоровяк и оптимист, с бородой патриарха, головой, полной выдумок, и помещьем, полным долгов, вечно всему удивляющийся и гордящийся шуткой своего отца, сказавшего как-то, будто древний род Симеоновых-Пищиков происходит от той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате.

Затем следует квартет молодых слуг: мадемуазель Шарлотта, бонна, не имеющая паспорта и не знающая, стара она или молода, пустая, вздорная стареющая девица, которая старается проказами и карточными фокусами скрыть от себя и других горечь своего существования. Конторщик Епиходов, у которого от непереваренной мудрости множества прочитанных книг началось какое-то завихрение в мозгу, который полагает, что его преследует злой рок, и по ничтожнейшему поводу принимается в ходульных и явно непонятных ему самому выражениях яростно обличать злокозненность своей судьбы. Его антипод, красавчик Яша, вывезший из своего путешествия в Париж глубокое презрение ко всему русскому («азиатчина»), лакающий шампанское и утверждающий свою принадлежность к западноевропейской культуре пристрастием к пестрым жилетам. Горничная Дуняша, жеманная девица, подражающая «хорошим манерам» господ и в своем стремлении кого-нибудь боготворить нашедшая в Яше подходящий объект.

Студент Петя Трофимов— типичный представитель революционной русской молодежи. Один из тех пророков, которых не избудет земля со времен схимников, питавшихся акридами. Худой, некрасивый, оборванный и грязный, вещает он свои напыщенные пророчества; худосочный болтун, кичащийся своей невинностью, несчастный слепец, в думах о человечестве не замечающий отдельного человека,—бестактный и грубый даже с теми, кого любит. Его ученица Аня—инфантильное, простодушное, милое существо, именно из-за своего простодушия восприимчивое к его идеям.

С самой нежной любовью, не вредящей, однако, ни точности, ни легкой иронии в обрисовке образов, изображены представители рушащегося старого мира: помещица Раневская, ее брат Гаев и слуга Фирс. Помещица—

красивая, обаятельная, добрая, легкомысленная, сентиментальная, поддающаяся любому мимолетному впечатлению дама лет тридцати пяти. Она многое пережила, видела много горя, но все это горе не убило ее природного легкомыслия, слегка приправленного сентиментальностью. В то время как ее осаждают кредиторы, а слугам нечего есть, она нанимает музыкантов для танцев и подает нищему золотой. Ни нежная любовь к дочери, ни душевные муки из-за смерти маленького сына не помешали ей сбежать в Париж с элегантным прохвостом, который ее обирает. Беспомощная, непрактичная, она позволяет себя обкрадывать, не пытаясь хоть как-то воспротивиться этому. На малейшему забавному поводу глубочайшее уныние у нее сменяется безудержным весельем. Слабая, беспомощная и при всем своем богатстве вечно ощущающая нужду в деньгах, она отнюдь не теряет врожденной самоуверенности привлекательной женщины. Нежная привязанность к вишневому саду, благоухающему приюту чистой и безмятежной юности, радужным светом освещает всю ее жизнь.

Ее брату Гаеву куда труднее сохранить свой аристократизм, когда гибнет вишневый сад. Уже хотя бы потому, что его натура сложнее. Он вырос в атмосфере либеральных взглядов того поколения шестидесятых годов, которое подготовило общественное мнение к социальным реформам Александра II, к отмене крепостного права. Либеральное воспитание внушило ему склонность к утопическому, оторванному от реальности прожектерству, риторическому оптимизму, а также безудержную страсть по любому поводу произносить длинные вельеречивые монологи самого отвлеченного характера. При этом в свои пятьдесят два года он не только внешне в высшей степени изыскан и по-старомодному элегантен, он и по натуре феодал и аристократ до мозга костей. Жалко смотреть, как под натиском презируемого плебея внутренне передергивается и ежится его утонченный аристократизм. Как он, превыше всего ценящий светскость, чувство собственного достоинства и вельможную небрежность, совершает одну бестактность за другой. Как он, оказавшись в руках Лопехина, не может заставить себя относиться к бывшему своему крепостному иначе, как к неотесанной деревенщине. Как, теряясь перед грубой практичностью этого крестьянина и наглой бесцеремонностью лакея, он ищет спасения в глупом и фатоватом шутовстве, либо пропуская все неприятное мимо ушей с высокомерным судорожным «кого?», либо отвечая невпопад и бессвязно пересыпая свою речь биллиардными терминами.

Но самый трогательный образ пьесы — старый Фирс, дряхлый старик восьмидесяти семи лет, слуга трех поко-

лений семьи Гаевых. Слабый, полуглухой, трясущийся, ковыляет он через все действия. Старый лакей уже заговаривается и несет вздор; но все умолкают, когда он открывает рот, к нему прислушиваются. Ибо его устами глаголет доброе старое время, его устами вещает тот расцвет вишневого сада, когда еще не был забыт «способ», когда еще свято блюли разницу между господами и холопами, когда господину, только чтобы доказать царице преданность своих крепостных, стоило лишь повелеть: «Прыгай с башни!»—и холоп разбивался насмерть. Фирс—это песня песней вишневому саду, старому, патриархальному укладу жизни, данным от бога отношениям между людьми, сладости рабства; он—образец собачьей преданности, меланхолический русский аналог Юсту Тельгейма. На новый мир, где нет ни крепостных, ни порки, он взирает с тоской, недоуменно и презрительно ворча. Ему нет места в изменившемся мире без рабов. Поэтому то, что первые удары топора знаменуют не только гибель вишневого сада, но и смерть Фирса, с грустью воспринимаешь как нечто само собой разумеющееся и восхищаешься автором, сумевшим слить воедино угасание старого слуги и вишневого сада в сцене, овеванной невыразимой нежностью и тоской.

4

Вся пьеса выдержана в нежных, приглушенных полутонах. В ней нет ни ярких красок, ни кричащих контрастов. Непередаваемое—оно здесь передано. Легкими, нежными, лишенными всякого драматизма мазками кисти Германа Банга или Кайзерлинга написана драма, которая с вполне реальной, вещественной сцены сотни раз завораживала самого взыскательного зрителя Европы, зрителя Станиславского. Вновь и вновь поражаешься точному чутью этого писателя, избегающего всякого нажима, всякого громкого слова, у которого полутона и сдержанные жесты несравненно выразительнее громкоголосых воплей и напыщенной жестикуляции чересчур энергичных драматургов. Как и у Ибсена или Стриндберга, взгляд его проникает в самые сокровенные глубины сознания; но его техника прямо противоположна. Там четкие, ясные, резкие контуры, и замысел автора выпячен как можно более выпукло; у Чехова же все окутано мягким, мерцающим светом, человек всегда изображается вместе с окружающей атмосферой. Скупыми словами создается и внушается настроение с такой силой, которая по плечу Бангу или Кайзерлингу. И это на сцене!

Его персонажи—какое ужасное нарушение всех канонов благопристойной драматургической техники!—совершенно не развиваются. Ни на йоту. Они все под конец точно такие же, какими были вначале. Автор ограничивается тем, что как бы поворачивает их, демонстрирует с разных сторон и тем самым делает их проницаемыми для взгляда. Он словно мимоходом показывает, как его тонкокожие и чувствительные герои реагируют на разные обстоятельства или как трогательно и трагикомически по-разному отражаются одни и те же обстоятельства в мозгу у разных людей. При этом он старательно избегает всякой декларативности. Кажется, что его герои просто болтают всякий вздор, и только на расстоянии, только по мере продвижения действия начинаешь понимать, насколько остро необходимо каждое слово, каждый нюанс, и что все в этой пьесе, лишенной назойливой символики, складывается в картину пластично и значимо, как в притче. Техника импрессионистов. Вблизи она представляется бессмысленным хаосом мазков, но стоит взглянуть издали, и все неуловимо и впечатляюще сливается в единый образ. «Все это так,—сказал кто-то Моне,—но зато у Дефреггера можно подойти поближе». То же самое могут сказать и «критики» Чехова: у Шёнгерра можно подойти поближе. Чехов обнажает всю изменчивость, всю безысходную скудость человеческого существования с такой же горечью, как Стриндберг. Но он не кричит и не вопит патетически о своей горечи, а выражает свое отчаяние вполголоса, с мудрой и иронической улыбкой, обаятельно и непринужденно беседуя со зрителем.

О БЕРТОЛЬТЕ БРЕХТЕ

Для англичан

1

На рубеже 1918—1919 годов, вскоре после начала так называемой германской революции, в мою мюнхенскую квартиру явился очень молодой человек, худощавый, плохо выбритый, бедно одетый. Он жался к стенке, разговаривал на швабском диалекте, написал пьесу, звали его Бертольтом Брехтом. Пьеса называлась «Спартак». В противоположность большинству юных авторов, которые вручают свою рукопись, бия себя в грудь, из коей они только что вырвали свое произведение, этот молодой человек подчеркивал, что он сочинил пьесу «Спартак» исключительно из финансовых соображений. В те времена в немецкой драматургии был чрезвычайно моден экспрессионизм, и наши юные драматурги извлекали из своей истерзанной груди длиннейшие патетические монологи, громогласно заверяя, что социальные установления несовершенны, человек же как таковой, по сути дела, добр. В рукописи девятнадцатилетнего Бертольта Брехта ничего подобного не было. Скорее всего это была набросанная резкими мазками драматическая баллада о некоем солдате, возвращающемся после войны домой, находящем свою девушку забеременевшей от другого, изгоняемом ее зажиточными родителями, призывающем рабочих к революции в пивных и в голодных предместьях, возглавляющем их и штурмующем вместе с ними редакции газет. С этого момента рукопись как бы расщеплялась: имелось несколько вариантов. В одном из них, наиболее характерном, все оборачивалось таким образом, что девушка в разгаре борьбы приходит к своему солдату и что он, заполучив девушку, предоставляет революции идти своим ходом, забирает свою невесту, хотя и не лишнюю изъяна, и испаряется. Он сыт теперь, а революция—это штука для голодных, и он возвращается теперь домой, где уже приготовлено широкое белоснежное ложе. Все это было в рукописи «Спартак», изложенное весьма нелитературно. Язык персонажей не подчинялся нынешней моде—дикий, крепкий, красочный, он не

был вычитан из книг, а был подслушан непосредственно из уст народа. Я прочел тогда эту пьесу-балладу и позвонил небрежно одетому юноше: зачем он мне солгал,—конечно же, эта пьеса написана не только из-за денег! В ответ на это юный автор чрезвычайно рассердился,—речь его стала почти невразумительной из-за диалекта,—и объявил: конечно же, он накатал эту пьесу только из-за денег; но у него есть еще одна, вот она действительно хороша, и он мне ее принесет. Он принес мне и вторую пьесу, она называлась «Ваал», но в ней не было ни слова об одноименном божестве,—это оказалась еще более дикая, неотделанная и прелестная вещь.

Что же касается той рукописи «Спартак», то она доставила мне пренеприятнейшее переживание. Весной того года в Мюнхене была провозглашена Советская республика. Она просуществовала очень недолго, затем город был снова занят белыми. У подозрительных интеллигентов начались обыски. Солдаты с револьверами и гранатами вломились в мою квартиру, велели мне отпереть ящики письменного стола, и первое, что попало им на глаза, была рукопись, озаглавленная «Спартак». В ту эпоху в Мюнхене не всегда деликатно обходились с отдельными лицами: пули в стволах не задерживались, число убитых превышало несколько сотен. История с рукописью «Спартак» легко могла закончиться для меня весьма печально, если бы среди солдат не оказалось нескольких дюссельдорфских студентов, знавших мои пьесы и книги, так что я смог растолковать им, что сей «Спартак» не имеет никакого отношения к агитационной литературе.

Кстати, позднее, добившись постановки «Спартак», я убедил Брехта назвать пьесу «Барабанный бой в ночи».

2

Поэт Бертольт Брехт, появившийся на свет в 1898 году в небольшом городе Аугсбурге, совершенно не похож на немца. У него длинный, узкий череп с сильно выдающимися скулами, глубоко посаженные глаза, черные волосы, закрывающие лоб. И манеры у него подчеркнута интернациональные, и по внешности его можно принять за испанца, или за еврея, или за то и другое вместе. Тем не менее этот потомок немецких крестьян лютеранского вероисповедания, отчаянно ненавидимый германскими националистами, настолько немец в своем творчестве, что его невероятно трудно сделать понятным вне пределов Германии. Для него важнее процесс работы, чем завершенное произведение, важнее проблема, чем ее

разрешение, важнее путь, чем цель. Он бесконечно перерабатывает свои создания, двадцать, тридцать раз, для каждой незначительной провинциальной постановки — сызнова. Ему нет никакого дела до того, что вещь готова: вновь и вновь, хотя бы пьеса была уже десять раз напечатана, он объявляет последний вариант — предпоследним и тем повергает в отчаяние издателей и театральных директоров. Стоит только обратить его внимание на какую-либо внутреннюю неточность, как он, не колеблясь, отвергает плоды целого года работы; но он ни минуты не тратит на то, чтобы устранить из корректуры грубую ошибку по части внешнего правдоподобия. Это он предоставляет сделать режиссеру, или своей секретарше, или господину Икс. Ибо внутренняя кривая поведения его персонажей для него важнее, нежели внешняя кривая сценического действия. Таким образом, во внешнем действии его пьес часто обнаруживается грубейшее неправдоподобие. Все внешние элементы скомпонованы настолько небрежно, что недостаток взаимосвязи и логики в них отталкивает многих зрителей. Бертольт Брехт стремится к классичности, то есть к строжайшей объективности. Однако из-за недостатка внешней достоверности он действует как типичный романтик, и во всех его творениях есть нечто фрагментарное.

Он не страшится никакой резкости, ни даже самого того, что ни на есть откровенного реализма. Он — это поразительная смесь нежности и бесшабашности, неуклюжести и элегантности, взбалмошности и логичности, безудержной крикотни и тончайшей музыкальности. Он действует на многих отталкивающе, однако тот, кто однажды уловил его тональность, с трудом ускользает из его пут. Он неприятен и привлекателен, весьма неважный писатель и великий поэт, и среди немцев младшего поколения он, несомненно, тот, в ком более всего признаков гениальности.

3

Бертольт Брехт совершил открытие, он называет его эпической драмой. Он очень сердится, когда это открытие объясняют отсутствием у него конструктивного чутья. Открытие состоит в том, что он избегает всякой напряженности драматического действия и любую антитезу, введенную лишь для того, чтобы это напряжение создать, любое нарочитое, целесообразное построение считает нехудожественным. Более того, брехтовская эпическая драма, в отличие от французского театра, не дает никакой пищи для любопытства, излагая с места в карьер

в наивной и четкой форме ход последующих событий. По Брехту, вся суть заключается в том, чтобы зритель больше не обращал внимания на что, а только на как. Далее, по Брехту, необходимо следить за тем, чтобы зритель, боже упаси, не расчувствовался. Паразитический интерес к судьбе и жизни ближнего должен быть, по Брехту, изгнан из помыслов зрителей. Согласно Брехту все дело в том, чтобы человек в зрительном зале лишь созерцал события на сцене, стремясь как можно больше узнать и услышать. Зритель должен наблюдать за течением жизни, извлечь из наблюдения соответствующие выводы, отклонить их или согласиться,— он должен заинтересоваться, но, боже упаси, только не расчувствоваться. Он должен рассматривать механизм событий точно так же, как механизм автомашины. Совершенно необязательно также, чтобы зритель смотрел всю пьесу до конца. Поскольку он с самого начала поставлен в известность об отдельных фазах спектакля, он может определить, желает ли он увидеть, как ведет себя герой в той или иной трудной или любопытной ситуации, как он борется, как он преобразуется или преобразует других, как он относится к массе, растворяясь в ней или же противопоставляя себя ей, как он плывет по течению или против течения, как он гибнет.

4

По всей вероятности, исходной точкой Брехта является баллада. Он опубликовал собрание баллад, озаглавленное «Домашние проповеди»; это истории малых, а порой и великих жизней, изложенные в первозданной, народной форме,—дикие, грубые, набожные, циничные. Многие люди впервые показаны в этих стихотворениях, многие чувства впервые высказаны. По-видимому, нелегко передать музыку этих стихов на чужом языке, но я полагаю, что сущность этих поэм доступна не одним только немцам, и я не скрываю своей убежденности в том, что, наряду с Кипплингом, Брехт является первым создателем баллад среди наших современников.

Из пьес Брехта наиболее понятной широкому кругу зрителей является, видимо, комедия «Что тот солдат, что этот». Она повествует о превращении грузчика Гэли Гэя в солдата индийской армии. Пулеметный расчет индийского полка потерял четвертого солдата, четвертый номер расчета, при совершении кражи со взломом: солдаты должны, чтобы их участие в краже не было обнаружено, при любых обстоятельствах раздобыть недостающий четвертый номер расчета. Для этой цели три солдата превраща-

ют безобидного Гэли Гэя, человека, который не в силах сказать «нет», в Джерайу Джипа, солдата индийской армии. Они разбирают и уничтожают внутреннюю индивидуальность Гэли Гэя и делают его настолько стандартизованным, что он в конце концов перестает быть грузчиком Гэли Гэем, а всецело превращается в солдата Джерайу Джипа и посылает ко всем чертям неожиданно и запоздало вынырнувшего подлинного Джерайу Джипа. Внешние предпосылки этой басни совершенно фантастичны: город Килькоа, в котором происходит действие, явно вымышлен уроженцем Аугсбурга, солдаты самым ребяческим образом украдены у Кипплинга, а в середине действия вставлен крайне нелепый фарс об искусственном слоне. Нигде нет ни следа внешнего правдоподобия, любая иллюзия разрушается грубейшим образом. Но внутренняя логика преобразования этого человека, Гэли Гэя, действует захватывающе, и когда живой Гэли Гэй держит речь над на гробом мертвого Гэли Гэя, то этой сцене не найдется равных в пьесах современных авторов, во всяком случае, я не знаю ни одной, которая могла бы сравниться с ней по искусству воплощения основной идеи и по тому, как великолепно — настоящее открытие — сочетаются в ней гротеск и трагизм.

5

Поэт Бертольт Брехт до сих пор еще не оценен в Германии по заслугам. Только народные театры и некоторые большие, склонные к экспериментам, провинциальные труппы играют его пьесы, и он — любимая тема для разговоров в литературных кругах. Не так легко вчитаться в него; и перевести его, без сомнения, чрезвычайно трудно. Но, я полагаю, труды окупятся сторицей.

«ГЕРМАНИЯ.ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

1

1 Сатирическая поэма Генриха Гейне, носящая это заглавие, принадлежит сейчас к одной из наиболее читаемых книг в мире. Множество людей на многих языках читает эту книгу, глубоко волнующую своей актуальностью. И действительно, ее актуальность изумляет. Многие пламенные стихи Гейне поражают в самое сердце и сегодняшнюю Германию, а половина предисловия могла бы свободно быть предпослана книге какого-либо из наших германских писателей-эмигрантов.

И все же, когда читаешь сейчас книгу Гейне, невольно возникает досадливая мысль: как все было тогда по-иному. Как идилична была жестокость тех времен по сравнению с нравами современной Германии! Какими просвещенными, галантными угнетателями были ее властители, какие мягкие шлепанцы они носили по сравнению с теми сапожищами, которыми властители Третьей империи топчут неугодных им людей! Социальные условия той эпохи позволяли господствующей реакционной клике соблюдать все же известные формы, проявлять известные приличия, придерживаться каких-то правил в игре. Каким воплощением человечности кажется вдохновитель мрачной реакции во времена Гейне — Меттерниха, если сравнить его с тем человеком, которого помещики, генералы и магнаты промышленности сделали «вождем Германии»!

2

Действительно, эта германская зима 1935/36 года выглядит иначе, нежели зима 1843/44 года, на мрак которой жалуется Гейне в своей великой поэме. Борьба классов настолько обострилась, что правители вынуждены сбросить маску. Они цинично гордятся сейчас своей жестокостью. В нынешней Германии нет больше вежливых слов и романтического притворства. Высшее божество — неприкрытое насилие. Война является уже теперь

не крайним средством, но целью, жестокость превозносится как таковая, жизнь стала лишь подготовкой к гибели на поле брани.

С властью имущими своего времени Гейне мог разговаривать, они понимали его язык. Нам же не остается ничего другого, как с отвращением отвернуться от властителей нашей страны, от этих выродившихся буржуа, которые в оргии разнузданного насилия дают выход своим извращенным наклонностям. Можно лишь пожалеть прежних вождей нашей реакции, генералов, помещиков и промышленных магнатов, которые не нашли другого способа спасти свои привилегии, как призвать к власти подонков. Именно к этим людям, дергающим за кулисами ниточки марионеток, относятся слова Гете: «Эта шваль ничего так не страшится, как разума. Глупости следовало бы им страшиться, если бы они знали, что поистине страшно».

Как же выглядит Германия теперь, в эту третью фашистскую зиму, Германия, обладавшая ранее цветущей промышленностью, упорядоченной системой продовольственного снабжения, наукой и искусством и всем тем, что прежде всего упоминается, когда говорят о цивилизации? В этой стране, где раньше слова «человечность» и «разум» считались высшими понятиями, где многие являли примеры человечности и разума, сейчас тешатся варварским убийством женщин; отвратительные истязания беззащитных людей устраиваются открыто и превращаются в зрелище. Народ, который первым провозгласил равенство всех, кто имеет облик человека, принужден теперь отрицать это равенство и строить свои законы, всю свою жизнь на абсурдном учении о неравенстве людей, представляющем помесь извращенной зоологии и бюрократизма. При этом во главе государства стоят люди, имеющие врачебное свидетельство о том, что они не в состоянии вести свои дела в силу умственной неполноценности. Много немцев, большинство, вынуждено притворяться глупцами, лгать; день за днем правители Германии требуют от своих подданных, чтобы они лгали и лгали. Они насаждают губительные суеверия. Современные машины, изобретенные утонченной техникой для целей прогресса, парадоксально служат исключительно для производства орудий уничтожения. Эта Германия сделала своим божеством человека, чьи умственные способности сильно уступают уровню среднего немца, великому германскому народу, воспринявшему избранные творения своих мыслителей, этому народу навязывают сейчас как Библию его книгу «Моя борьба», в которой утверждает, что большевистские жидаы из России уничтожили тридцать миллионов человек. И на представительном

празднике его партии, которую он приравнял к государству, этот «вождь» провозглашает в качестве главного аргумента против марксистского учения то, что Карла Маркса в действительности-де звали Мордухаем.

Многие немцы жалуются, что генералы, помещики и магнаты промышленности с помощью фашистов отбросили нас в средневековье. Это неверно. Фашисты отбросили Германию к варварским временам, когда люди объединялись в орды, чтобы нападать друг на друга, ибо каждая орда считала себя лучше другой. Третья империя нынешней зимой представляет собой единый огромный военный завод, огромный питомник рабов. Все ее надежды сосредоточены на том, чтобы удался разбойничий поход на Восток, поход, в подготовку которого вложены все силы страны.

Нет, с острым оружием, с одухотворенностью Гейне не выступишь против этого неуклюжего, грубого образа Третьей империи, против этой гигантской попытки заставить великий народ свернуть с пути цивилизации и повернуть обратно к первобытному человечеству. Несмотря на видимую актуальность «Зимней сказки», положение нынешней Германии более точно отражено в том 66-м сонете Шекспира, где говорится:

Зову я смерть. Мне видеть нестерпим
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,

И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместный почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой.

И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока...¹

3

Едва ли можно надеяться, чтобы писатель, даже если бы он и был так велик, как Гейне, мог бы создать образ, который так точно отразил бы современную Германию, как «Зимняя сказка» отразила Германию сто лет назад. Да, это было бы и преждевременно. Можно, конечно, представить себе видение будущей Германии. Чрезвычайно соблазнительно запечатлеть в стихах грозную картину этой разлагающейся Германии, картину

¹ Перевод С. Маршака.

великую и патетическую, как дантовский ад. Что за задача изобразить хотя бы трехголового Цербера, охраняющего эту Германию! Что за триумвират! Объявленный спасителем мещанин—порождение рейхсвера, о чем он сам не ведает, человек без каких бы то ни было следов образованности и духовности, почитаемый как бог, любое слово которого воспринимается как эманация высшего разума. По правую руку от него пустой авантюрист, обрюзгший, расплывшийся, озверевший, наряжающийся в тысячи мишурных форм, чтобы прикрыть свое убожество. По левую руку—физически и духовно убогий писака, мнящий себя героем и оскверняющий все подлинно великое нашей эпохи. И этот триумвират, убогий физически и духовно, корчит из себя представителей «расы господ». А еще десять лет тому назад народ этот был воистину высокоцивилизованным.

И все же я не думаю, что окончательный литературный образ этой Германии должен быть патетичным. Несмотря на огромное бедствие, которое принесла великому народу попытка господствующих сил найти спасение в варварстве, в Третьей империи бесконечно много неуклюжего гротеска и символического комизма. Одиссей и Давид—серьезные образы, Полифем же и Голиаф остаются персонажами фарса, сколько бы вреда они ни натворили. Третья империя причинила мне много зла, много моих друзей убито, заточено в тюрьму, у меня отнято все, что я имел, много ценной для меня работы уничтожено. И все же, когда я вспоминаю об обстоятельствах, сопровождающих все эти насилия, о том, какими невероятно бюрократическими способами они проводились в жизнь и какими неуклюжими софизмами обосновывались, я часто смеюсь. Вся неслыханная ложь фашистской пропаганды и библии «вождя» возбуждает, в конце концов, несмотря на все зло, которое они причинили, больше смеха, нежели возмущения. Я думаю, что последней формой, в которой господство фашистов найдет свое литературное выражение, будет поэтическое произведение не в духе Гейне, но скорее в стиле Аристофана. И в недалеком будущем о «тысячелетней империи» фашистов будут вспоминать не только с отвращением, но и с безудержным смехом.

МЫСЛИ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ГОРЬКОГО

Перед войной, когда я был еще совсем молод и вел жизнь бродяги, пути-дороги привели меня в Южную Италию, я оказался на Капри. От местных жителей я узнал, что там живет великий русский писатель Максим Горький. В Германии я несколько раз видел «На дне» в постановке Рейнгардта. Благодаря Горькому мне впервые открылась душа русского человека, принадлежащего не к тем нескольким тысячам, что живут на виду, а к тем миллионам, что живут «на дне», людям, совершенно мне дотоле неведомым, представляющим новый для меня мир. И вот я стоял перед домом человека, создавшего образы этих людей, сгорая от желания посмотреть на писателя, встретить его взгляд, узревший их, услышать его голос, давший им право голоса. Так я и стоял, задыхаясь от волнения, и слышал чей-то голос, вероятно, его голос, стук пишущей машинки, вероятно, его машинки, но так и не собрался с духом, повернулся и ушел. Позже я поставил в мюнхенском Народном театре «На дне». Это было первой попыткой Народного театра, игравшего обычно лишь водевили, оперетты и фарсы, познакомить своего массового зрителя с настоящим искусством. И требовалось немало мужества, чтобы решиться показать баварской публике этих русских людей,—театральный мир был настроен более чем скептически. Я старался сделать все, что мог. Прочел все произведения Горького, которые в то время были переведены. Спектакль удался; оказалось, что простые баварцы, составлявшие публику того театра, прекрасно понимали этих русских людей, они хорошо слушали и пристально вглядывались в них. Народ, даже такой непохожий на русских, как жители Баварии, без труда понимал писателя народа русского. Пьеса много лет подряд не сходила со сцены.

В этом году мои русские друзья несколько раз передавали мне слова приветов от Горького. Все они говорили, что великий писатель будет рад увидаться со мной. Это известие укрепило мое решение поехать в Россию. Я был так счастлив, что теперь мне удастся осуществить то, на что двадцать три года назад не хватило решимости.

Смерть Горького — тяжелый удар для меня. Она будет ударом для всех, кто питает симпатии к новой России.

Устами этого писателя Россия заявляла нам о себе куда яснее, понятнее и выразительнее, чем устами самого красноречивого оратора. Когда читаешь книги Горького, все, что нас разделяет, рушится, расстояния исчезают, чувствуешь себя в гуще этих русских людей. Забываешь, что все это написал один человек, со своим субъективным взглядом на вещи, кажется, что сам народ вдруг обрел голос и заговорил. Не случайно, что у Горького почти нет героев, созданных ради них самих, что его персонажи обретают подлинную значимость лишь благодаря их отнесенности к какому-то множеству, благодаря их народности. Если называют имя любого другого великого писателя, в памяти сразу возникает целая галерея отдельных созданных им образов. А когда думаешь о Горьком, возникает сразу вся Россия, не отдельные люди, а огромные массы русских людей, и хотя у каждого из них свой облик, всех их объединяет одно общее лицо, лицо народа. Я не знаю второго такого писателя, который бы так, как Горький, умел изображать народ, народные массы, не впадая в абстракцию. Другим приходится прибегать к всевозможным более или менее риторическим средствам, заставлять своих персонажей говорить хором, стилизовать их под типичное, выпячивать типичное. У Горького ничего подобного нет и в помине. Каждый из его героев говорит своим голосом, и все же эти голоса сливаются друг с другом в единую гармоническую симфонию и обретают свое окончательное, подлинное звучание только благодаря голосам других.

Кто привык художественные произведения разбирать на составные части, кто старается раскрыть механизм их воздействия, тому книги Горького зададут нелегкую задачу. Ибо в них нет ни схемы, ни преднамеренности. Автор не использует особых художественных приемов, не гонится за эффектом. Наоборот, не надо быть большим знатоком, чтобы увидеть, что у него не было ни подробного плана, ни тщательно продуманной схемы развития действия. И тем не менее все живет, все движется, и художественное воздействие неоспоримо. Вот Горький начинает говорить, и тотчас перед глазами — необычайно вещественно! — встает русский народ, он сам рассказывает о себе; у рассказа нет ни настоящего начала, ни настоящего конца, но он не становится расплывчатым и не утрачивает главного.

Именно благодаря равнодушию к эффектам, благодаря естественной, не нарочитой художественной полноте и щедрости произведения Горького завоевывают симпатию к новой России успешнее, чем любая самая умелая пропаганда, лишенная средств эмоционального воздействия и взывающая лишь к голосу разума.

ГЕНРИХ МАНН

К семидесятипятилетию

Среди всех немецких писателей, поставивших себе целью не только изображать наше столетие, но с помощью своих книг изменять его, он — самый значительный.

В начале века, когда повсюду господствовал чистый высокомерный эстетизм, он не побоялся превратить свои книги в политическое оружие, нисколько не снижая при этом требовательности к своему искусству. «Флейты и кинжалы» — так называется сборник его новелл; все его произведения — флейты и кинжалы.

В его ранних книгах — в «Богинях», в «Погоне за любовью» — преобладает еще любование прекрасным, в более поздних уже царит равновесие. «Учитель Гнус», «Верноподданный» пропитаны ядовитой насмешкой над своим временем, но, независимо от этого, люди и события в обоих романах обрисованы с такой полнотой, так интересны сами по себе, что совершенно обезвреженный «Учитель Гнус» послужил основой фильма «Голубой ангел». Кроме того, всех, кто не глух к голосу поэзии, увлечет гармоничность композиции «Маленького города», музыка, пронизывающая каждую фразу этого романа. Однако за этой гармонией звучит вызов на бой, брошенный писателем своей эпохе, тупой и мертвой, оживающей только на короткий миг, когда чрезвычайное событие заставляет ее всколыхнуться.

Генрих Манн провидел Германию последнего десятилетия раньше и острее, чем мы все. Он показал ее, начиная с самых истоков, задолго до того, как она стала действительностью. И когда грянул великий ужас и все оказалось совсем иным, чем мы это себе представляли, когда во всем мире начались удивительные и страшные перемены и перевороты, многие из нас растерялись и поддались панике. Но Генриха Манна ничто не могло сбить с его позиций. Непокколебимо отстаивал он свои убеждения — убеждения великого сердца и острого ума.

История движется зигзагами, история идет кружными путями, у истории есть время. У человека времени меньше.

И если он хочет прожить большую жизнь и оставить после себя большие произведения, он не может позволить себе делать много зигзагов. Генрих Манн всегда шел только прямым путем, единственным непрерывным путем воинствующего гуманизма.

Мы все слышали и читали его великолепные, пылающие ненавистью речи, в которых он высмеивал варварство, обвинял его и клеймил в назидание будущим поколениям. Мы часто издеваемся над тем, как ничтожно влияние литературы; с особым удовольствием этим занимаются сами писатели. Я полагаю, что «литература» Генриха Манна оказала влияние, которое будет оценено и ценимо историей. Не случайно в решающие годы именно он подвергался самым ожесточенным нападкам и в фашистской прессе, и в печати Виши. Я и сейчас еще с горькой усмешкой вспоминаю об одной статье в вишійской печати, в которой на нас, эмигрантов, возлагалась главная вина за поражение Франции, и первое место в этой статье отводилось Генриху Манну, этому *vieux coquin*¹. Так что, по крайней мере, нацисты и французские фашисты чрезвычайно высоко оценили деятельность Генриха Манна и ее влияние.

Не надо, однако, думать, что Генрих Манн использовал годы изгнания только затем, чтобы показать все скверное и пагубное, чем было чревато его время. Наоборот, всем звериным мордам «фюреров», обступивших нас со всех сторон, он противопоставил образ подлинного вождя. Генрих Манн проявил себя как писатель, чья душа полна не только великой ненависти, но и великим благоговением и любовью. В своем мощном и широком романе-гобелене он, со всей искренностью большого сердца и со всей силой выдающегося ума, воссоздал жизнь и деяния настоящего вождя, создал для нас и для наших потомков образ мужа, Генриха Четвертого, короля Франции. И еще в том же большом романе он изобразил и историю любви, самую сильную и самую прекрасную из всех, написанных немецкими писателями нашего столетия. Это история романтической и реалистической любви Генриха Четвертого к Габриэли Д'Эстре.

Если бы в годы изгнания Генрих Манн создал только произведения, которые я сейчас перечислил, если бы в своем грандиозном романе, в превосходных речах и статьях, в своей автобиографии он ограничился только тем, что показал бы разум эпохи, то и этого, думается мне, было бы достаточно, ибо необходимо обладать величием и силой духа, чтобы среди изнуряющих нелепых превратностей изгнания создать подобные произведения. Так вот, если бы Генрих Манн в те годы проявил себя только в этих

¹ Старый мошенник (фр.).

произведениях — то и тогда никакая эпоха не могла бы отказать ему в звании великого писателя. Однако он сделал нечто большее, он в личной жизни оставался большим человеком.

Когда положение дел во Франции приняло опасный оборот, когда преследователи окружили нас со всех сторон, когда мы стали досягаемы для злейших наших врагов, наконец, когда мы вынуждены были за несколько минут принять решение, Генрих Манн проявил такое мужество, как никто другой. Все мы жили тогда какой-то фантастической авантюристской жизнью. Генриха Манна удалось переправить в Марсель. Там мы встретились с ним в доме, где я скрывался, при обстоятельствах, которые должны были показаться ему странными, но для объяснений у меня уже не было времени. Наспех, в самых общих чертах, я изложил ему наш авантюрный план бегства, требовавший очень крепких нервов и сил от всех его участников. Я вынужден был спросить Генриха Манна, которому уже минуло шестьдесят девять лет: «Готовы ли вы бросить все, что у вас есть, взвалить на себя рюкзак с самым необходимым, прошагать ночью тридцать километров по запретным дорогам и, наконец, погрузиться на чрезвычайно ненадежную моторную лодку? Как рассчитывает ее капитан, лодка, с риском быть в любой миг захваченной немецкими или итальянскими судами, сможет за семь — девять дней обогнуть побережье Испании и доставить нас в Лиссабон. Готовы ли вы, Генрих Манн, отправиться с нами?» Многие, которым я задавал тот же вопрос, отказывались, терялись, не решались. Шестидесятидевятилетний Генрих Манн, не колеблясь ни секунды, ответил — да. Впрочем, впоследствии ему пришлось принять еще много подобных решений. Пришлось пережить много приключений, выйти из многих нелепых ситуаций, к которым мы нисколько не были подготовлены нашим воспитанием. Никогда не забуду, как естественно и с каким безукоризненным достоинством, в противоположность очень многим, держался во всех этих ситуациях Генрих Манн.

Позднее, в стране, где он сейчас живет, ему пришлось претерпеть много невзгод, справиться со многими неприятностями, иногда трагическими, иногда трагикомическими. Я имею счастье близко знать Генриха Манна, и я видел, как он проходил сквозь все эти неприятности, — сдержанно, с достоинством, не соглашаясь ни на малейший компромисс, — и как все мелкое, что делалось вокруг, нисколько не задевало его.

В годы изгнания Генрих Манн стал еще выше. Большую литературу и большую жизнь творит этот семидесятипятилетний человек.

«ДОКТОР ФАУСТУС» ТОМАСА МАННА

Роман носит подзаголовок «Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом». Он написан в стиле тех немецких «воспитательных» романов, которые подробно повествуют о жизни и становлении отдельного человека и величайшим примером которых является «Вильгельм Мейстер» Гете. Подобно этому произведению, книга Томаса Манна представляет собой скорее пространное эссе, пространную книгу-исповедь, чем роман.

При всей необычности этого романа сюжет его прост. Адриан Леверкюн, родившийся в конце XIX века, теолог и музыкант, по всей видимости, один из величайших композиторов нашего времени, сознательно и добровольно заражается некой болезнью и из странного фатализма упускает возможность излечиться от нее. Род его заболевания свидетельствует о том, что благодаря этому эпизоду Адриан Леверкюн заключает пакт с силами зла и об этом ведет долгий, глубокий, захватывающий диалог с некой темной частью своего «я», с самим дьяволом. Много лет спустя, после того как, постепенно погружаясь во все более полное одиночество, он достигает величайшего совершенства и в конце концов создает лучшие свои произведения — апокалипсическую ораторию и симфоническую кантату «Плач доктора Фаустуса», греховный договор и болезнь приводят его к краху: начинается безумие, распад личности. История композитора рассказана его другом Серенусом Цейтбломом, педантом-филологом и учителем, которого связывали с великим, загадочным композитором преданная дружба, научный интерес и величайшее восхищение.

Сюжет гетевского «Фауста» нередко воспринимался как примитивный, нелепый и плоский. Стендаль насмехался над немецким профессором, которому потребовалась помощь дьявола, чтобы соблазнить белошвейку, а Олдос Хаксли считал, что осушение болот, последнее деяние

Фауста, вряд ли может быть удовлетворительным ответом на вопрос о смысле жизни.

Теперь стало ясно, что невозможно постичь «Фауста» Гете, если исходить только из сюжета, и столь же очевидно, что для автора нового «Фауста» реальный сюжет также служит лишь иносказанием. Не случайно судьба композитора Леверкюна во многом совпадает с судьбой того немецкого мыслителя, который в душе был поэтом и музыкантом и который написал «Рождение трагедии из музыки», — с судьбой Фридриха Ницше. Не случайно Серенус Цейтблом, чьей рукой водит Томас Манн, пишет биографию Леверкюна именно в годы последней мировой войны, закончившейся крахом Германии; да и в союзе самого биографа-учителя с композитором Леверкюном отражается сделка с дьяволом. Повсюду в книге наталкиваешься на разнообразные отношения и связи, имеющие иносказательный смысл, события и люди многозначны, переливаются сотнями красок, всё здесь — сплошная притча. В жизни композитора воплощена судьба Германии, в которой неразрывно переплелись благословение и проклятие, высшее совершенство и страсть к тотальному разрушению. В главной сюжетной линии и в многочисленных второстепенных в символической форме выражено убеждение автора, что дух и искусство неизбежно связаны с силами зла. Глубочайшие мысли о притягательной силе злого, алогичного, больного высказаны главным образом в разговоре художника с дьяволом. Драма этого нового доктора Фаустуса, столь искусно запутанная и упорядоченная Томасом Манном, в конце концов становится символом нашего века, который в своей безоглядной болезненной жажде познания не останавливается ни перед чем и, расщепив атом, рискует уничтожить сам себя.

Слог романа в высшей степени благороден. Точное, органичное сочетание различных стилей придает событиям резкую контрастность и протягивает во все стороны искусные духовные нити. Эта утонченная проза, подобную которой не писал ни один немец, с помощью одной лишь фонетики достигает в изображении людей эффекта сверхреальности. Подлинным триумфом искусства слова является поразительное воссоздание Томасом Манном никогда не существовавшей музыки своего героя. Рассуждения о теории музыки, удачнейшее использование «Апокалипсиса» Дюрера, поэтическое изображение звуков и пластичное описание их воздействия дают читателю возможность прочувствовать и услышать ораторию так, будто он присутствует на концерте.

Перед переводчиком такого произведения встают почти непреодолимые трудности. Миссис Х.-Т. Лау-Портер

в целом справилась с этой задачей. В английском переводе чувствуется уникальная, неповторимая атмосфера немецкого текста.

Книгу уже хвалят и еще долго будут возносить ей хвалы. Большинство читателей найдет, что «Доктор Фаустус» великая книга и в ней высказаны очень важные вещи. При этом сегодняшний читатель вряд ли способен и едва ли имеет право выносить окончательный приговор: ведь это произведение повествует о событиях совсем недавнего прошлого, о вчерашнем дне, а нет ничего более отдаленного, чем вчерашний день. Но одно можно сказать определенно: в книге Томаса Манна «Доктор Фаустус» есть глубина и очарование, каких не найдешь ни в одной другой книге последнего десятилетия.

-

КРАМОЛЬНЫЕ МЫСЛИ О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ

К немногим юношеским переживаниям, которые я помню и поныне в мельчайших подробностях, относятся глубокие чувства, испытанные мною при первом чтении великих произведений Льва Толстого. Реализм этих книг, ничего общего не имеющий с натурализмом, открыл мне тогда новую действительность. Поэтому с большим нетерпением взялся я за философские произведения писателя. И тем глубже разочаровал меня мистицизм этих книг, их туманные пророчества, столь чуждые осязаемой ясности художественных произведений писателя.

Позже я обнаружил, как часто теории великих писателей оказываются запутанными, насколько они отстают от мыслей, заключенных в поэтических творениях этих писателей. Иной большой писатель старается внушить своим читателям, будто в произведении речь идет совсем не о том, что их в нем увлекло. Гете учил: «Твори, художник, не болтай»,—однако сам он очень много говорил великого и значительного, но также и неясного, противоречивого, и не раз провозглашал эстетические принципы, полностью опровергаемые его произведениями. Фридрих Геббель в течение всей своей жизни мучительно старался показать своим почитателям, что они восхищаются не теми сторонами его таланта, которые достойны восхищения, и жаловался Эмилю Ку, своему последнему апостолу, что следует все время ходить вокруг читателей и слушателей с указкой, чтобы показать им, что, собственно, в его произведении является наиболее важным. Однако самыми живыми, самыми лучшими постановками его драм были те, которые осуществлялись режиссерами, вычеркивавшими как раз те места, которым сам автор придавал особое значение.

Классическим примером большого писателя, художественные произведения которого стоят много выше его философии и совершенно ей не соответствуют, является Лев Толстой. Стареющий Толстой, который надеялся

увидеть свет во тьме, отрекся от своих ранних великих творений: «Войны и мира» и «Анны Карениной» — ибо они не соответствовали его более поздним эстетическим представлениям и казались ему плохим искусством. Но даже и после своего «прозрения» он написал вещи, не имеющие ничего общего с его философской теорией, скорее противоречащие ей. Читатель, свободный от предрассудков, очевидно, извлечет из «Хаджи-Мурата» идеи, которые явно выходят за пределы моральных норм Толстого.

Сущностью учения позднего Толстого является самый опасный тезис Евангелия: «Не противься злему». Но почти все плодотворное, живое наследие Толстого — это один горячий, увлеченный призыв: «Противьтесь злу!»

Величие Толстого в том, что его врожденный дар художника беспрестанно исправлял то, что искажало его «сознание». Его неподкупный глаз, его способность схватывать сущность чувствами и выражать ее словами позволили ему воссоздать действительность, законы которой не был в состоянии понять его разум.

МОЙ РОМАН «УСПЕХ»

Я—современный немецкий романист и не стремлюсь создать образ какого-нибудь одного героя или одной героини. Я выбрал для этого романа группы характеров, а не отдельные индивидуальности. Восемь персонажей, образующих первую группу, если хотите, немного существеннее остальных, затем идут тридцать образов, почти не уступающих первым по важности, а за ними следуют еще сто, хоть и незначительных, но придающих всему произведению ту полноту жизни, которую я и хотел передать. За ними—восемью, тридцатью и ста—стоит огромная масса: народ Баварии.

Бавария и есть подлинный герой моего романа. Здесь—центр конфликта: Бавария—аграрная провинция большого индустриального государства, противоречия возникают здесь в основном между городом и деревней. В результате действия непреложных экономических законов, благодаря развитию современных транспортных средств и мирового рынка баварские крестьяне оказываются втянутыми в конкурентную борьбу с поставщиками из Южной Африки или Америки. Теперь они уже больше не нужны государству так, как прежде. В этом причина их недовольства, особенно усиливающегося из-за того, что город как будто не утрачивает прежнего благосостояния. Они сплачиваются в борьбе против города, как австрийские крестьяне—против Вены. Добродушным, неповоротливым крестьянам приходится поворачиваться. Они становятся всё консервативнее, превращаются в сторонников таможенных барьеров, в националистов—как только осознают, что пошлины могут избавить их от конкурентов. За их реакционностью кроются экономические соображения—так же как и за революционностью города.

Исходя из этого нового положения вещей, я строю сюжетную линию моего романа: женщина любит мужчину. Она борется за любимого. По политическим мотивам его приговаривают к тюремному заключению,—дело происходит в Мюнхене в 1922 году,—хотя он и невиновен.

Свобода! Больше всего на свете я дорожу свободой. В тюрьмах, которые я посетил, собирая материал для своей книги, в тунисской тюрьме, где я сидел, будучи интернирован как германский подданный, стены тесных камер буквально давили меня. Я вполне разделяю ужас каждого нормального человека перед тюрьмами и судебными ошибками. Я люблю свободу и боюсь оторванности от мира. Этот страх выражается в моем романе, в истории человека, безвинно приговоренного к длительному заключению. Написав его, я как будто облегчил душу. У нас, в Германии, есть такие же Робины Гуды, какой был в Англии четыреста лет тому назад. Кому известно имя Гёльца? А ведь он своего рода немецкий политический Робин Гуд. Его бросили в Зонненбург¹,—сколько иронии в этом названии тюрьмы! Им и другими политическими заключенными я особенно интересовался, потому что мой герой должен был походить на них.

Но сюжет развивается дальше. Безвинного признают виновным. Женщина борется за него. Главный смысл всей истории—не считая ее значимости как чисто объективной картины Баварии 1922 года—заключается в том, что все усилия, предпринимаемые женщиной в стремлении спасти этого человека, совершенно бесплодны. Делает она что-либо или нет, все это ровно ничего не значит. Посторонние силы, не имеющие никакого отношения к этому человеку, решают за него его судьбу.

Некий американец, вложивший миллионы в русские предприятия, отправляется в путешествие, чтобы ознакомиться с положением дел в Баварии, летит через всю Европу в Мюнхен, присматривается, проводит там целую неделю. Однажды вечером он идет в театр на эстрадное представление. Программа весьма заурядная, но одна песенка приходится миллионеру по душе, а это приводит его к знакомству с композитором, другом жены заключенного. Перед отъездом из Баварии миллионер предоставляет правительству заем, однако с условием, что этого человека освободят из тюрьмы.

Когда день освобождения уже близок, его находят в камере мертвым. Все произошло помимо его воли и совершенно вне связи с тем, что могли сделать люди для или против него.

Я не фаталист и не марксист, полагающий, что миром правят одни лишь экономические и материальные закономерности. Но я и не индивидуалист, убежденный, что каждый человек может быть господином своего будущего. Однако эти три теории объективно охватывают то, что

¹ Зонненбург—солнечный замок (нем.).

называется судьбой. Случай играет такую же большую роль, как и социальные, аграрные и промышленные потребности человечества. И, наконец, физические, моральные и интеллектуальные качества человека помогают ему овладевать событиями и использовать экономические закономерности, вместо того чтобы противоборствовать им. Жизнь? Человек, борющийся со своими потребностями, игрушка случая, который ему помогает или ставит на его пути непреодолимые преграды: вот что такое жизнь.

ЛИТЕРАТУРА — СИЛА, СБЛИЖАЮЩАЯ НАРОДЫ

1

Литературное произведение попадает к зарубежному читателю, лишь преодолев многочисленные препятствия. Даже лучший перевод не передает всей сути подлинника, не передает того, что нередко занимает наибольшее место и в душе автора, и в его произведении. Но если, несмотря на это, произведение живет и дышит, оно неизбежно вовлекает в эту свою жизнь читателя, даже очень от нее далекого, оно заставляет его войти в чуждый для него мир и во всей необычности этого мира дает ему возможность увидеть и почувствовать то, что Гете называл «тождественностью всех».

Пожалуй, каждому писателю приходилось когда-либо с болью убеждаться в том, насколько грубо и чуждо звучит в переводе его собственное, особенно любимое им произведение. Мне вспоминается, как утешал меня однажды Генрих Манн: «Не будем принимать этого так близко к сердцу. Читали же мы произведения великих русских классиков в отвратительных переводах, и все же они глубоко нас трогали».

Большая литература преодолевает границы пространства и времени. Представления, исходя из которых Агамемнон приносит в жертву свою дочь, а Антигона со всей яростью и страстью борется за погребение тела своего брата,—эти представления совершенно нам чужды. Но поэт и через три тысячи лет заставляет нас переживать эту внешнюю и внутреннюю борьбу, как если бы мы сами были ее участниками. Нам непонятен мир Гомера. Кроме того, подлинная обстановка эпохи завоевания Трои известна нам гораздо лучше, чем Гомеру, и мы знаем, что Гомер ошибается в изложении фактов. Но несмотря на причудливое внешнее и внутреннее облачение и несмотря на то, что всякое насилие претит моей душе, я радуюсь от всего сердца, когда Одиссей кровожадно истребляет женов Пенелопы. И когда старый Приам вымаливает у

Ахиллеса тело своего сына Гектора, а Ахиллес отдает его Приаму, говоря при этом: «А теперь, старик, убирайся-ка прочь поскорее, пока мною не овладела ярость и я не убил тебя»,— в эти минуты я переживаю и страх Приама, и великодушие и гнев необузданного Ахиллеса.

В не меньшей степени захватывает и поэзия Библии. Рассказчик прекрасной сказки об Иосифе, автор романа о царе Давиде заставляют меня разделять все суеверия того времени, забыв об их бессмысленности, чувствовать все их значение и ощущать их многогранную жизненность.

2¹

Пространство преодолевается писателем еще легче, чем время. Вспомним о литературе народов Востока. В основе индийской драмы «Глиняная тележка» лежит вера в непостижимый, стихийно капризный рок, а предпосылкой драмы служит совершенно чуждое нам понятие об общественном положении баядерки — знатной проститутки. И все же как при чтении, так и при исполнении на сцене мы сразу же постигаем жизнеощущение индийца, и благодаря его убежденности в слепом произволе рока мы воспринимаем его освященный разумом энтузиазм перед революцией. В такой же мере пьеса «Меловой круг» раскрывает перед нами внешний и внутренний мир Китая в большей степени, чем это могут сделать сто точных этнографических исследований.

Я прочел много теоретических трудов о царской России, но впервые она открылась мне лишь в книгах Толстого и Чехова. Я проштудировал сотни две книг о походе Наполеона в Россию, но сущность этого похода я понял только тогда, когда прочитал «Войну и мир». Мне известно множество объективных изложений хода Октябрьской революции и описаний Советского Союза, но подлинные предпосылки революции я постиг лишь после прочтения рассказов и романов Горького, а Советский Союз я узнал из произведений советских писателей, в особенности Маяковского и Шолохова.

В самых лучших очерках, описывающих ход и цели китайской революции, многое остается абстрактным и безжизненным даже и для благожелательного читателя. Но стоит ему прочесть «Возницу» Тянь Цзяня — и перед ним тотчас же откроется внутренний и внешний мир Китая, читатель увидит его, он заживет жизнью китайского народа.

Удивительно, как сказывается влияние хорошей книги за пределами родины ее автора и как многообразно это влияние. Там художественное произведение обычно воспринимается совсем не так, как в стране, где оно родилось. Если книга удастся писателю, она начинает вести самостоятельную жизнь, как только он ее заканчивает, и нередко влияет на те стороны жизни, о которых автор и не думал. Особенности книги, которые кажутся автору второстепенными, вдруг выступают на первый план, вырастают и становятся значительными.

Драмы Шекспира приобрели ныне в Советском Союзе и Китае совсем не тот смысл, какой был вложен в них драматургом, но приобрели они этот новый смысл только потому, что драмы эти полны жизни. Немецкий читатель, вероятно, лучше улавливает тонкости известных произведений Генриха Манна «Вернопопданный» и «Учитель Гнус». Но общий облик Германии, воссозданный в этих книгах, гораздо легче схватывается не немцем — об этом свидетельствует любая иностранная рецензия. Мелкие подробности в книгах Горького, не привлекающие внимание русского читателя, приобретают особый смысл в глазах иностранца; они остаются в его памяти, в них он находит «Россию». «Геккльберри Финн» Марка Твена стал для американцев детской книгой. Американские читатели уже не замечают той проникнутой глубокой горечью любви к родине, какой полна эта книга. Немецкий или русский читатель гораздо сильнее чувствует всю глубину, горечь и мировое значение юмора Марка Твена.

Иностранная литература показывает читателю, что именно отличает его от людей других стран; но она же позволяет ему полнее, чем что-либо другое, ощутить и то, что объединяет его с людьми в других странах.

Влияние жизнеспособных книг зачастую распространяется хоть и очень медленно, зато крепко и сохраняется надолго. И читатель, когда он встречается с иностранцем, облеченным в плоть и кровь, видит в нем то, что ранее открыла ему книга.

Хорошие книги объединяют народы прочно и на долгие времена. Сервантес был прав, когда сказал: «Ни корабль, ни коляска, ни верховой конь, ни твои собственные ноги не позволяют тебе так глубоко и так далеко проникнуть в чужие страны, как это сделает хорошая книга».

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ

Он был одним из первых, кто объездил Советский Союз после Октябрьской революции. Возвратившись, он рассказывал всем о том, какое воодушевление царит среди советских людей и какая внутренняя уверенность светится на всех лицах, несмотря на материальную нужду и угрозы, идущие извне. Большинство собеседников слушало его скептически и даже недоброжелательно. Но было много и таких, которые выражали ему свои симпатии. Когда в Германии поднялась первая волна белого террора, он чуть не погиб за свое восторженное отношение к Октябрьской революции.

Ему пришлось и в дальнейшем выдержать немало нападков и в собственной стране, и за границей. Меня влекло к нему. Однако многие западные интеллигенты ненавидели Советский Союз почти животной ненавистью, и меня самого некоторые друзья ставили перед выбором: либо ты со мной, либо с ним, с Г. Л. Я стал на его сторону.

Пришло время, когда в Москве предстали перед судом внутренние изменники и саботажники. Даже некоторые верные друзья Советского Союза начали впадать в сомнения, многое казалось им невероятным. Они отказывались принять эти факты. Мой друг Г. Л. тоже их не принимал, но он проглатывал их.

Я присутствовал по желанию Сталина на одном из процессов, и я передал моему другу то, что сказал мне Сталин, рассказал также со всей возможной точностью о моих впечатлениях и об общем фоне, на котором протекали эти процессы. Мой друг заявил: «Еще никогда в истории человечества не было сделано шага вперед без борьбы, без кровопролития. Даже самые высокие мыслители соглашались с этим — от Фукидида до Бенджамена Франклина. Вожди, даже стоящие во главе справедливого дела, остаются людьми, они подвержены людским слабостям и заблуждениям...»

Пришло второе испытание. Советский Союз заключил договор о ненападении с Гитлером. Антифашисты целыми группами отходили от Советского Союза. Мой друг Г. Л. не дал сбить себя с толку. Он был убежден, что Советский Союз имел правильные, разумные основания для заключения договора о ненападении и что цель Советского Союза — построение социалистического общества — осталась неизменной. Его высмеивали. Самые близкие люди покинули его. В своем эмигрантском уединении он ушел в себя еще больше.

Пришла война и с ней — величайшие бедствия для Советского Союза. Многие, даже вернейшие друзья, заранее оплакивали гибель Советской страны. Но мой друг Г. Л. думал по-другому. Настали дни побед под Москвой, под Сталинградом. Пришла сверкающая, окончательная победа Советского Союза. Сиял и мой друг Г. Л.

Потом началась «холодная война» и с нею — новые трудности для моего друга. Так как он был твердо уверен в миролюбии Советского Союза, многие опять стали издеваться над ним, а иногда и брали в штыки; случалось, что он подвергался преследованиям и со стороны официальных кругов.

«Разве вы не знаете, что идет холодная война?» — кричали ему в уши со всех сторон, стоило ему проронить хоть одно слово в пользу Советского Союза. Его вера в Октябрьскую революцию и в достижение ее конечной цели оставалась непоколебимой.

Сороковая годовщина Октябрьской революции — это один из лучших дней в его жизни.

ФАНАТИКИ НЕ ВОСТОРЖЕСТВУЮТ

Не могу себе представить, чтобы жизнь на нашей планете протекала дальше в какой-либо другой форме, кроме мирного сосуществования. Есть, конечно, фанатики, которые скорее захотят превратить земной шар в газообразное состояние, нежели отказаться от войны и от своей точки зрения; их, однако, так немного, что огромное большинство населения нашей планеты, безусловно, сумеет помешать им осуществить свои намерения.

Серьезные усилия, направленные на то, чтобы ликвидировать «холодную войну», могут иметь следствием короткий период замешательства для государств, экономика которых в большей своей части базируется на производстве вооружения. Но результаты мирного обмена материальными и культурными ценностями между группами стран, раньше не доверявшими друг другу и враждебными, будут настолько благотворными, что время беспокойства и тягот очень скоро забудется.

КОММЕНТАРИИ

—

МУДРОСТЬ ЧУДАКА

Роман «Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо» завершает цикл романов, посвященных эпохе Великой французской революции, своеобразную трилогию, в которую входят «Лисы в винограднике» и «Гойя». Впервые именно здесь — в романе о великом просветителе Руссо (1712—1778) — изображены непосредственно события революции, восставший народ, творящий историю.

Публикация романа в 1952 г. сразу же возбудила большой интерес и одновременно вызвала споры. Сомнения и возражения читателей и критиков прежде всего относились к тем главам романа, где изображена жена Руссо, Тереза Левассер, и особенно та роковая роль, которую она якобы сыграла в гибели Руссо. При этом произошло любопытное совпадение: почти одновременно с романом Фейхтвангера в Берлине был издан роман Ганса Вилле «Спутница жизни», посвященный именно Терезе Левассер и изображавший ее как преданную подругу великого писателя.

На страницах известного библиографического журнала ГДР «Биржевой листок немецкой книжной торговли» развернулся оживленный обмен мнениями о романе Фейхтвангера (декабрь 1953 г. — март 1954 г.). В ответ на письмо одного из читателей, опубликованное в журнале, Фейхтвангер дал свои разъяснения. Возникшие споры он связывает прежде всего с общим вопросом о соотношении исторического романа и документальной истории. Романист, по мнению Фейхтвангера, имеет свои задачи, отличные от задач историка, и сталкивается с особыми трудностями, когда воссоздает ту или иную эпоху. В связи с этим Фейхтвангер напоминает о том, что он написал в послесловии к роману «Лисы в винограднике» (см. т. 6 кн. 4 наст. собр. соч.).

Что касается образа Терезы Левассер, то писатель действительно изобразил ее моложе своих лет (на самом деле Тереза родилась в 1721 г.), а молодого Жирардена представил одним из ее любовников, что не находит подтверждения в исторических материалах. Но писатель решительно возражает, когда его упрекают в искажении облика Терезы. Сама по себе характеристика подруги Руссо, по словам Фейхтвангера, полностью соответствует воспоминаниям тех, кто знал ее близко, и свидетель-

ствам таких выдающихся современников, как Дидро, Вольтер, М. Гримм. «Я не знаю книги Г.-Ю. Вилле,—писал Фейхтвангер,—но я не могу себе представить, чтобы ему удалось убедительно обосновать какими-либо историческими документами свою попытку спасти честь Терезы».

Фейхтвангер опирался главным образом на большой фактический материал, приведенный в исследовании французского ученого Густава Ленотра «Конец Терезы Левассер» (Париж, 1926). Насильственную смерть Руссо, как ее изображает писатель, нельзя считать установленным фактом. Однако версия эта не является плодом только художественного вымысла.

В названной работе Г. Ленотра, в частности, отмечено, что общепринятый взгляд на причины смерти Руссо базируется на показаниях единственного свидетеля—Терезы. Другие свидетельства разноречивы (слышали крик, даже выстрел, распространялись слухи о самоубийстве и т. п.). Когда владелец поместья Жирарден появился в домике Руссо, он уже не застал его в живых и опять-таки полностью доверился рассказу Терезы.

Можно согласиться с Фейхтвангером в том, что маркиз Рене-Луи Жирарден, предоставивший великому писателю последнее убежище, меньше всего был склонен к объективному расследованию всех этих слухов.

В связи с этим заслуживает упоминания брошюра, изданная его сыном, Станиславом Жирарденом, уже в конце жизни под таким заглавием—«Послание Станислава Жирардена, адресованное М. Мюссе-Патэ по поводу смерти Ж.-Ж. Руссо» (Эрменонвиль, 8 июня 1824 г.).

Знаменателен уже самый факт, что Жирарден вынужден был вернуться к событиям полувековой давности и вновь доказывать, что Руссо умер естественной смертью при обстоятельствах, которые были сообщены Терезой. Биографы XIX в. продолжали не доверять этому свидетельству.

В «Мемуарах Станислава Жирардена» (Париж, 1828), изданных посмертно, вновь подробно изложена история смерти Ж.-Ж. Руссо в опровержение доводов его биографа М. Мюссе-Патэ и предположений мадам де Сталь, известной французской писательницы начала XIX в., считавшей, что Руссо покончил жизнь самоубийством. Кстати, в этих «Мемуарах» дана весьма нелестная оценка поведения Терезы Левассер после смерти Руссо. Жирарден сообщает здесь кратко о связи ее с одним из слуг отца, англичанином Джоном, которого пришлось удалить из Эрменонвиля (у Фейхтвангера он носит имя Николас).

О том, насколько распространены были разные легенды о смерти Руссо, можно судить и по книге А. И. Герцена «С того берега». В первой главе ее А. И. Герцен передает разговор, услышанный около дома Руссо в Монморанси: «Говорят, что он даже ускорил минуту покоя... на этот раз Сократ сам осудил себя на смерть за грех сознания, за преступление гениальности».

Там же весьма неодобрительно говорится о Терезе, которая «стягивала жизнь Руссо в узкую подозрительность, в мещанские пересуды и кончила тем, что рассорила его с последними друзьями» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 51. М., 1955, с. 87—88).

Разумеется, значение исторического романа не определяется абсолютной точностью отдельных фактов, в нем изображенных. Один из участников дискуссии на страницах «Биржевого листа», Хельмут Рудольф, справедливо отметил, что создание образа Терезы отнюдь не является главной проблемой романа. Правдивость романа — в изображении социального прогресса, в мастерской передаче того, как переплетались идеи Руссо и ход революционных событий.

Описание пребывания Руссо в Эрменонвиле составляет как бы развернутую экспозицию романа, завершающуюся гибелью Руссо. Эти бытовые картины, нарочито подчеркнутая непривлекательность будничной прозы, окружавшей великого мыслителя (вот почему так подробно описан образ Терезы), нужны мастеру исторического романа для того, чтобы тем контрастнее и ярче подчеркнуть величие славы Руссо, «преображение» его идей в потоке революционных событий.

Существенно важен для всей концепции романа образ Фернана Жирардена. Здесь еще менее обоснованы попытки критиковать Фейхтвангера за отступление от исторических фактов, например, высчитывать, сколько лет было младшему Жирардену в год смерти Руссо и в начале революции, и т. д. Перед нами художественный образ, весьма актуальный прежде всего для XX в., — образ человека, порывающего со старым миром и проходящего нелегкий путь приобщения к новому.

Естественно, что писатель обратился к историческому Жирардену, но важнее, чем отдельные детали, были для него приметы эпохи, отразившиеся в истории этого семейства.

Характерно, например, что старший из Жирарденов — маркиз Рене-Луи (1735—1808) — опубликовал во время революции «Рассуждение о необходимости волеизъявления народного для ратификации законов». Его сын, Луи-Станислав (1762—1827), был депутатом и председателем Законодательного собрания (1792), выезжал с дипломатическим поручением в Англию, вернулся в Париж в январе 1793 г., был арестован, освобожден уже после 9 термидора, занимал ряд постов при Консульстве и Империи. Его младший брат, Александр-Луи (1776—1855), находился на военно-морской службе, в том числе в заморских владениях Франции в Сан-Доминго, позднее принимал участие в наполеоновских походах в Германию, Италию, Россию.

Так по-разному члены семейства Жирарденов были вовлечены в ход современных событий, и образы, нарисованные Фейхтвангером, понятны в свете именно этого главного факта. Биографические детали писатель группирует в соответствии со своим основным замыслом — ярче и полнее передать приметы

времени и отражение в жизни героев величия переживаемой ими эпохи. Образ Фернана Жирардена поэтому — собирательный образ, не совпадающий полностью ни с одним из реальных Жирарденов.

Общим замыслом романа определяются и те отступления от хронологии и перегруппировка событий, которые имеют место в финале романа.

В романе Фейхтвангера изображена церемония перенесения праха Руссо, во время которой Робеспьер произносит речь. Эта речь очень важна для понимания замысла Фейхтвангера, в ней выразительно раскрывается главная для него тема: Руссо и революция.

Но дело в том, что торжественное перенесение праха Руссо в Пантеон состоялось спустя два с половиной месяца после термидора — 11 октября 1794 г. На празднике в полном составе присутствовал Конвент, но Робеспьера уже не было в живых — он был казнен 27 июля 1794 г. Более того, в речи председателя Конвента Камбасареса некоторые цитаты из Руссо звучали полемически, были направлены против Робеспьера.

Вымышленная Фейхтвангером речь Робеспьера составлена на основе многочисленных высказываний последнего о Руссо и в этом смысле отражает позицию якобинцев.

Нетрудно объяснить, почему Фейхтвангеру понадобилось такое отступление от фактов. В романе о посмертной славе Руссо невозможно было умолчать о таком событии, как перенесение праха Руссо. Но Фейхтвангер прекрасно понимал, что подлинным революционным руссоистом был Робеспьер и его соратники, а не термидорианцы. Перенесение праха при якобинцах не состоялось не потому, что кто-либо сомневался в великих заслугах Руссо, но в Конвенте сначала возникли разногласия о том, что более достойно памяти Руссо: перенести его в Пантеон или превратить в национальную святыню Остров тополей в Эрменонвиле, где Руссо был похоронен. Решение о перенесении праха было вынесено Конвентом 14 апреля 1794 г. (то есть при Робеспьере), и разработка плана была поручена Комитету по народному образованию. 24 мая 1794 г. этот вопрос снова обсуждался в Конвенте. 8 июня состоялся по инициативе Робеспьера Праздник Верховного Существа, который также был связан с культом Руссо. Подготовка этого праздника на какое-то время замедлила организацию перенесения праха. Таким образом, фактические неточности в романе по-своему очень обоснованы, продиктованы идейным и художественным замыслом.

Роман публикуется по тексту издательства «Ауфбау».

Стр. 7. *Последние дни Жан-Жака.* — Действие романа начинается весной 1778 г. Жан-Жак Руссо прибыл в Эрменонвиль в середине мая и умер здесь 2 июля 1778 г.

«Из слепых слепые...» — Эпиграф взят из стихотворения немецкого поэта Гельдерлина «Рейн» (1808).

Лебег де Прель Ашиль-Гильом (1735—1807)—французский врач, друг Руссо. Вскоре после смерти писателя Лебег опубликовал «Сообщение о последних днях Жан-Жака Руссо» (1778).

...служил в Люневиле при дворе польского короля...—В Люневиле находилась резиденция Станислава Лещинского (1677—1766), занимавшего польский престол с 1704 по 1709 г. После 1735 г. он окончательно отказался от своих претензий на польский престол, но сохранил королевский титул и, будучи тестем Людовика XV, поселился во Франции, где получил в пожизненное владение герцогства Лотарингское и Варское.

Стр. 8. Сам Жан-Жак вот уже много лет снова жил в Париже...—Руссо приехал в Париж в июне 1770 г. и жил на улице Плятриер под негласным надзором полиции, которая запретила ему публичные выступления.

Стр. 9. Кларанский рай.—Кларан—селение в Швейцарии, на берегу Женевского озера—место действия сентиментального романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

Стр. 10. ...небольшой оперы Жан-Жака «Деревенский колдун»...—Руссо был известен и как композитор. Кроме песен, ему принадлежит несколько опер, среди которых «Деревенский колдун» (поставленный в 1752 г.) пользовался наибольшим успехом.

Стр. 13. В английских колониях Америки...—Речь идет об освободительной войне английских колоний в Северной Америке за независимость (1775—1783), приведшей к образованию США.

Стр. 21. «Диалоги. Руссо—судья Жан-Жака»—дополнение к «Исповеди», написанное Руссо в 1775—1776 гг.

Франсуа Дюси (1733—1816)—писатель, пропагандист Шекспира. Умеренный сторонник революции, к концу жизни приветствовал реставрацию.

Стр. 25. Тридцать шесть лет назад...—Руссо впервые приехал в Париж в 1741 г.

Стр. 29. «Лес Монморанси».—В лесу Монморанси в Эрмитаже, на вилле своей почитательницы г-жи д'Эпине, Руссо жил в 1756—1757 гг. Здесь был написан его роман «Новая Элоиза».

Стр. 34. Гесснер Саломон (1730—1788)—швейцарский поэт, писавший по-немецки. Его чувствительные «Идиллии» (1756) пользовались тогда в Европе большой популярностью.

Стр. 38. «Польская конституция».—Руссо принадлежал проект реформы государственного устройства Польши («Соображения по поводу правления в Польше», 1771). Проект был написан по предложению графа М. Вельгорского, представлявшего интересы польской шляхты. Руссо при этом получил неточные, односторонние сведения о положении в Польше, в частности, он не учел, что антимонархические настроения шляхты носили консервативный характер.

Да и создание «Корсиканской конституции»...—По просьбе двух корсиканских политических деятелей Руссо дал согласие

написать проект Конституции для свободного государства Корсика и начал работу над ним в 1765 г. Руссо даже лелеял планы переселиться на Корсику (см. Исповедь, ч. II, кн. 12). В 1768 г. остров Корсика, находившийся до того под властью Генуи, был включен в состав Франции; независимость Корсики отстоять не удалось. В силу этого, а также из-за новых преследований и многочисленных переездов Руссо не осуществил своего проекта. Незавершенный проект Корсиканской конституции был опубликован только в 1861 г.

Стр. 39. *Ликург*—полулегендарный законодатель древней Спарты (IX в. до н. э.).

Стр. 52. ...с тех пор, как король заключил этот союз...— Во время Войны за независимость США удалось использовать противоречия и соперничество между Англией и Францией. 6 февраля 1778 г. в Париже был подписан американо-французский договор, по условиям которого Франция обязалась защищать свободу, суверенитет и независимость США до признания их Англией.

Война за польское наследство (1733—1735)—между Россией, Австрией и Саксонией, с одной стороны, и Францией—с другой. Поводом послужили выборы короля на польский престол после смерти Августа II.

Стр. 53. ...прусский король Фридрих одержал победу под Росбахом и Крефельдом...—Речь идет о победах пруссаков над французами во время Семилетней войны (1756—1763).

...сражался на стороне бостонцев за чай и свободу.— Бостонцы первыми начали борьбу против английского господства (см. коммент. к с. 13). В декабре 1773 г. они выбросили в море большую партию чая, привезенную на английских судах (так называемое «Бостонское чаепитие»).

Стр. 72. ...Среди них были величайшие мужи своего времени...—После приезда в Париж в 1741 г. Руссо сблизился с передовыми литературными и философскими кругами, с создателями знаменитой «Энциклопедии» (1751—1772)—прежде всего с Дидро, Д'Аламбером, Мельхиором Гриммом. Руссо написал ряд статей для первых томов «Энциклопедии» (главным образом о музыке). В 1758 г., после своего известного «Письма к Д'Аламберу о театральных представлениях», Руссо окончательно порвал с энциклопедистами, а также с Вольтером.

Стр. 85. ...подобно епископу из Туля, попали пальцем в небо...—Епископы из Туля в течение 300 лет (XIII—XVI вв.) вели ожесточенную борьбу со своими горожанами, неоднократно терпели позорные поражения и постоянно подвергались их насмешкам.

Стр. 92. *Мартин Катру*—вымышленный герой. Это имя в справочниках по истории французской революции не упоминается.

Стр. 100. ...услышал он о смерти Вольтера...—Вольтер умер 30 мая 1778 г., вскоре после своего триумфального возвра-

щения в Париж и чествования во время представления его трагедии «Ирина».

Стр. 101. *...застарелая вражда вытеснила все остальные чувства.*—В основе конфликта между Вольтером и Руссо лежало много причин. Главная из них—коренные расхождения в их философских, социальных и политических воззрениях. Для Вольтера были неприемлемы радикальные взгляды, выраженные в сочинениях Руссо, в частности, в его трактате «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства среди людей».

Стр. 103. *Я пишу о своих прогулках...*—«Прогулки одинокого мечтателя» (1776—1778)—последнее произведение Руссо. Оно осталось незаконченным.

Стр. 106. *Рейналь* Гильом-Томас-Франсуа (1713—1796)—французский историк, энциклопедист, автор известной «Философской и политической истории учреждений и торговли в обеих Индиях».

«Человек рожден свободным...»—С этих слов начинается «Общественный договор». Далее Робеспьер цитирует слова Руссо из того же произведения.

Стр. 108. *«Жизнь посвятить истине».*—Это изречение древнеримского поэта Ювенала (сатира IV) было взято Руссо в качестве основного девиза «Исповеди».

Стр. 121. *Дамьена тоже четвертовали.*—Робер Дамьен, по профессии лакей, совершил в январе 1757 г. покушение на жизнь Людовика XV, легко ранив его ножом.

Стр. 133. *Среди приезжих, прибывших на погребенье, находился и тот молодой студент-юрист из Арраса...*—Присутствие Робеспьера на похоронах Руссо историческими источниками не подтверждается.

Стр. 135. *...Дидро, подал ему знаменитую идею...*—Летом 1749 г. Руссо навестил Дидро во время его заключения в Венсенской тюрьме. По дороге туда он прочел объявление о конкурсе Дижонской академии на тему: «Способствовало ли развитие наук и искусств порче или очищению нравов?», и Дидро посоветовал ему принять участие в конкурсе. Трактат Руссо «Рассуждение о науках и искусствах» получил премию Дижонской академии и сразу принес автору широкую известность.

Стр. 143. *Пастор Мульту* Поль-Клод—священник, друг Руссо. У него на хранении находилась рукопись «Исповеди», которую Руссо, опасаясь происков своих врагов, передал ему в апреле 1778 г.

Стр. 145. *Милорд маршал.*—Речь идет о Джордже Кейте (1693—1778), губернаторе Невшателя и друге Руссо, шотландском офицере на службе Пруссии, под властью которой находился тогда Невшатель. Руссо пишет о нем в «Исповеди» (ч. II, кн. 12). После возвращения на родину в 1759 г. Кейт назначил Руссо пенсию.

Стр. 160. *Сиреневая лига*—кружок друзей и приближенных королевы Марии-Антуанетты.

Стр. 161. Спустя несколько дней к главным воротам Эрменонвиля действительно подъехала королева...—Поездка королевы в Эрменонвиль действительно имела место.

Стр. 180. Жан-Мишель Моро (1741—1814)—известный французский художник-график и гравер, член Французской академии.

Стр. 181. «Опыт жизнеописания Сенеки».—Свой «Опыт жизнеописания философа Сенеки, о его сочинениях и о царствованиях Клавдия и Нерона» Дидро опубликовал в 1778 г.

Стр. 182. ...римский император Иосиф Второй.—Иосиф II (1741—1790), в 1765—1780 гг.—соправитель своей матери, императрицы Марии-Терезии, в 1780—1790 гг.—император так называемой «Священной Римской империи германской нации». Его реформами, частично направленными против церкви и феодального дворянства, был отмечен краткий период «просвещенного абсолютизма».

Стр. 183. Филемон и Бавкида—герои античной легенды, символ супружеской верности и любви.

Стр. 188. Менений Агриппа—римский патриций. В 494 г. до н. э., когда восставшие римские плебеи удалились на Палатин, он успокоил их, рассказав известную басню о заспоривших между собой членах человеческого организма, сравнив последний с государством.

Стр. 196. Сан-Доминго—колония Франции. Франция владела тогда западной частью острова Сан-Доминго в Карибском море. Восточная его часть принадлежала Испании. Центром французской колонии был главный город северной провинции Кап-Франсэ.

Стр. 209. «Утешения».—Сборник «Утешения в невзгодах моей жизни», состоящий из девятиста пяти романсов, музыку к которым написал Руссо, вышел после смерти писателя, в 1781 г.

Стр. 219. Джефферсон Томас (1743—1826)—американский государственный деятель, автор Декларации независимости (1776), президент США (1801—1809).

Стр. 242. Общество друзей чернокожих—возникло в 1788 г. по образцу английского Общества уничтожения рабства. Наряду с представителями буржуазной интеллигенции в него входил ряд промышленников и финансистов, заинтересованных в свободной торговле и рабочей силе. В отличие от Колониального комитета, куда входили влиятельные аристократы—богачейшие землевладельцы и рабовладельцы колоний, Общество друзей чернокожих пропагандировало идеи освобождения рабов и уравниения цветных в правах с белыми.

Луи-Мишель Лепелетье (1760—1793)—видный деятель революции, депутат Конвента, был близок якобинцам. Убит 20 января 1793 г.

Стр. 245. Венсан Оже—историческая личность. После своего возвращения из Парижа 21 октября 1790 г. встал во главе

восстания нескольких сотен мулатов. Был казнен после разгрома восставших и выдачи его испанским губернатором французам.

Стр. 265. *Шаплен* Венсан (1757—1818)—депутат Конвента, а позднее—Совета Пятисот от Ванден.

Стр. 268. *Буйи* Жан-Николас (1763—1842)—французский лирик и драматург.

Стр. 269. *Евриклея*—персонаж «Одиссея» Гомера, няня, выкормившая Одиссея. *Марфа*—персонаж из Евангелия, сестра воскресшего Лазаря. Имя ее стало нарицательным для женщины, целиком занятой домашними хлопотами.

Законодательное собрание—пришло на смену Учредительному собранию. Начало свои заседания 1 октября 1791 г.

Стр. 282. *Они поехали в Эрменонвиль на могилу учителя...*—Этот факт документами не подтверждается.

Стр. 283. «*Савойский викарий*».—«Исповедь савойского викария» составляет часть романа «Эмиль». В этом отрывке Руссо выступил в защиту свободы совести.

Стр. 290. *Король большинством в один голос был приговорен к смерти.*—На самом деле большинство составляло не один, а пятьдесят три голоса (триста восемьдесят семь против трехсот тридцати четырех). Кроме того, из трехсот тридцати четырех депутатов часть высказалась за смертную казнь короля условно.

Стр. 307. «*Наполеон во время своего посещения Эрменонвиля...*»—Эпиграф взят из «Мемуаров» Станислава Жирардена (ч. 5).

«...победа буржуазии означала тогда...»—Слова К. Маркса из работы «Буржуазия и контрреволюция». Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 6, с. 115.

Стр. 309. *Флориан* Жан-Пьер-Клари (1755—1794)—французский поэт, автор многочисленных комедий, пасторалей, поэтических романов. Вершиной его творчества стали басни, изданные в 1792 г. Во время революции был арестован, умер вскоре после освобождения.

Робер Виже.—По-видимому, имеется в виду французский поэт Виже Луи-Жан-Батист (1768—1820).

«*Монитор*»—«Монитор универсаль», газета, основанная в Париже в 1789 г. и ставшая полуофициальным органом нового революционного правительства.

Стр. 311. «*Митридат*»—трагедия Расина (1673).

Стр. 315. «*Значит, смерть нам—ничто...*»—Лукреций, О природе вещей, III, 830—831.

Стр. 317. «*Ибо, как в мрачных потемках...*»—Лукреций, III, 87—90.

Стр. 321. *Цинциннат*—римский полководец времен Республики, имя его стало символом республиканской доблести.

Стр. 324. «...*распевая хор фурий...*»—Хор из оперы Глюка «Орфей».

Стр. 335. *«Гений и безумие...»*—Строки из поэмы английского поэта Джона Драйдена (1631—1700) «Авессалом и Ахитофель» (ч. 1).

Стр. 353. *«Ты, из потемок таких дерзнувший...»*—Лукреций, III, 1 и далее.

Стр. 355. *Через несколько дней было объявлено...*—На самом деле перенесение праха Руссо в Пантеон состоялось 11 октября 1794 г.

С. Тураев

ЧЕРТ ВО ФРАНЦИИ

Эта книга имеет подзаголовок: «Пережитое». Это действительно воспоминания о том, что пережил писатель за два месяца, проведенных им во французских лагерях для интернированных; своеобразный дневник, только без датировки записей.

В книге три части, четвертая — «Сады Марсея» — обозначена лишь как заявка. Заголовок каждой части носит географическое название. Это не только привязка к месту, но и своеобразный символ. В этих частях имеются разделы: «Первая ночь», «Вторая ночь», «Третья ночь», в которых даны описания особенно сильных душевных и физических переживаний автора. Б. Брехт, прочитав рукопись книги, сделал в своем дневнике запись (дек. 1941): «Вероятно, это его лучшая книга».

Книга была написана в 1941 г. и издана сначала на английском языке («The Devil in France. My Encounter with Him in the Summer of 1940» — «Черт во Франции. Мои встречи с ним летом 1940 года»). В 1942 г. в Мексике книга впервые вышла на немецком языке под названием «Недобрая Франция. Пережитое» (издательство немецких антифашистских писателей «El Libro Libre»). Предисловие к этому изданию написал писатель Людвиг Ренн, который вместе с Фейхтвангером был в лагере под Ле-Милем. В 1964 г. книгу под названием «Черт во Франции. Пережитое» (с небольшими купюрами) выпустило издательство «Грайфенферлаг» (Рудольштадт, ГДР) с послесловием А. Канторовича, также товарища Фейхтвангера по Санари и Ле-Милю. Третье немецкое издание (Ауфбау Ферлаг, Берлин, 1982) воспроизводит полный текст первого немецкого издания и включает, в качестве приложения, воспоминания жены писателя, Марты Фейхтвангер, о бегстве Фейхтвангеров из Европы, то есть то, что должно было быть отражено в последней части.

Как уже отмечалось, в книге почти нет дат, но описываемые события дают возможность расставить временные вехи. В тексте приводится очень немного фамилий. Иные из товарищей по заключению названы лишь начальными буквами, другие описаны узнаваемо точно. Вероятно, писатель не хотел поставить под удар тех, кто ко времени издания книги находился еще в

опасности, возможно также, что обилием фамилий боялся рассеять внимание читателей. Некоторые имена восстанавливаются по свидетельствам А. Канторовича и упоминаниям М. Фейхтвангер.

Стр. 369. Эпиграф—см. Исход, 1, 11—14. Последовательность нарушена.

Стр. 370—371. *...действительно ли я нахожусь здесь и как попал сюда.*—После бегства из вишистской Франции (октябрь 1940 г.) Фейхтвангеры по февр. 1941 г. жили в Нью-Йорке в отеле «Сан-Мориц» у Центрального парка. Здесь была написана серия статей об уроках поражения Франции, опубликованная в нью-йоркской прессе. Здесь же писатель начал работу над данной книгой.

Стр. 371. *Девять лет назад я жил в своем доме в Берлине...*—В 1931 г. Фейхтвангеры переехали в дом (Берлин, Грюневальд, Малерштрассе, 8), построенный писателем. Захват Гитлером власти застал писателя в Америке. 18 марта 1933 г. отряд СС ворвался в дом Фейхтвангеров. Не найдя в нем хозяев (жена писателя была в Тироле), они пять часов громили дом. Погибла библиотека (свыше 10 тыс. томов, дневники и рукописи, среди них рукопись 2-го тома трилогии «Иосиф»). Об этом писатель написал в статье «Открытое письмо господину Х., проживающему в моем доме» (опубликованной на английском, затем на немецком, в «Паризер тагеблатт» от 20 марта 1935 г.).

...я жил в своем... доме в Санари...—Из Америки писатель после захвата власти Гитлером не вернулся. Он встретился с женой в Австрии. Затем убежищем они выбрали Южную Францию. В конце апр. 1933 г. они сняли виллу «Лазар» в Санари-сюр-Мэр (Французская Ривьера), а через год—виллу «Валмёр».

...я был интернированным во французской тюрьме Туниса...—Фейхтвангер описал этот эпизод в заметке «Мое бегство из Туниса» («Ди шаубюне», 1.10.1914 г.).

Стр. 372. *...сказал один очень умный немецкий профессор...*—Теодор Лессинг (1872—1933), философ, писатель, историк, автор книги «История как осмысление бессмысленного». Был убит фашистами.

Стр. 373. *...разыскал жену.*—Марта Фейхтвангер (род. в 1890 г.; урожд. Лёффлер) стала женой писателя в 1912 г. Автор небольшого дополнения к этой книге—«Побег» (см. выше) и воспоминаний—«Я была его женой» (1983, Мюнхен и Вена).

Стр. 374. *Это были наши соседи...*—Немецкий художник Антон Редершайдт с женой.

Стр. 376. *...что меня вот-вот вторично интернируют...*—Интернирование «враждебно настроенных иностранцев» началось во Франции с фев. 1939 г., когда правительство, обеспокоенное тем, что испано-французскую границу перешли бойцы интербригад и остатки республиканской армии, разместило их в

лагерях на юге страны и на побережье Средиземного моря. Была создана огромная сеть лагерей (около ста), в которых с начала войны власти стали сосредотачивать всех бежавших из Германии мужчин. Первый раз Фейхтвангер был интернирован 17 сент. 1939 г. и отправлен в лагерь под Тулоном, 23 сент. был переведен в лагерь под Ле-Милем, 27 сент.—отпущен.

Стр. 377. *Моя секретарша...*—В 30-х гг. секретаршей Фейхтвангера была мадемуазель Сернау.

В феврале 1938 года, сразу же после аннексии Австрии...—Ошибка писателя, аннексия Австрии была осуществлена в марте 1939 г.

С 1933 года я публично заявлял...—Из беседы М. Фейхтвангер с польским журналистом З. Роговским (1975): «В начале 1933 г. Лион выехал в Америку с циклом лекций. В Вашингтоне посол Германии граф фон Притвиц устроил в его честь прием. На приеме присутствовал Франклин Рузвельт. Президент спросил моего мужа, как тот оценивает политическую ситуацию в Германии. Лион сказал: «Если Гитлер придет к власти, будет война...» Утром следующего дня позвонил посол. «Господин Фейхтвангер,—сказал он взволнованно,—не падайте в обморок: Гитлер захватил власть!» В тот же день вашингтонские газеты напечатали на первых полосах высказывание Фейхтвангера.

Стр. 379. *...что мне действительно следует вновь отправиться в лагерь.*—Вторая, тотальная волна интернирования началась после того, как германские войска вторглись в нейтральные страны: Люксембург, Нидерланды, Бельгию. Теперь интернирование распространялось на всех без исключения иностранцев немецкого происхождения, независимо от их подданства, а не только на немцев из Германии и немцев, лишенных гражданства.

Стр. 381. *Писатель К.*—Альфред Канторович, коммунист, автор послесловия ко 2-му изданию книги Фейхтвангера (см. с. 738).

Стр. 382. *...президент Республики принял меня.*—Президент Франции в 1930—1940 гг. Альбер Лебрен принимал писателя неоднократно, в последний раз—как представителя антифашистских немецких писателей—в сент. 1939 г., за несколько дней до первого интернирования.

Стр. 387. *Иностранные легионеры.*—Иностранный легион—наемное военное формирование, комплектующееся из иностранцев. Во Франции был создан в 1831 г. и в основном использовался в колониальных войнах.

Стр. 388. *...на таком трудном саарском диалекте...*—Саар—область, лежащая на границе Германии, Франции и Люксембурга. По Версальскому мирному договору 1919 г. Саар был выделен в особую политико-географическую единицу и передан в управление комиссии Лиги Наций на пятнадцать лет. В 1935 г. в результате плебисцита Саар отошел к Германии и с 1957 г. входит в состав ФРГ.

Стр. 390. *Газенклевер* Вальтер (1890—1940)—немецкий поэт и драматург, один из видных представителей экспрессионизма.

Стр. 392. *Альмемор*—возвышение, с которого в синагоге читается Тора.

Стр. 394. *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716)—немецкий философ и ученый, автор книги «Монадология» (1714). Согласно его учению, монады—неделимые субстанции, излучения божества.

Стр. 396. ...*объявили меня «врагом номер один».*—В первом «Акте» фашистов о лишении ряда лиц германского гражданства от 23 августа 1933 г. среди 33 человек были: Л. Фейхтвангер, Г. Манн, В. Пик, Э. Толлер, К. Тухольский. Узнав об этом, Фейхтвангер сказал: «Гитлер лишил меня права гражданства, лишить меня моего баварского акцента он не в состоянии».

Стр. 403. *Августин* Блаженный (354—430)—христианский теолог и философ.

Стр. 407. *Фох* Фердинанд (1851—1939)—верховный главнокомандующий союзными войсками в первую мировую войну (с апреля 1918).

Господин Х.—Франц Хессель, берлинский писатель и издатель.

Стр. 408. *Эрнст* Макс (род. 1891)—австрийский художник и график, один из организаторов группы «Дада» (дадаисты), с 1941 г. живет в США, с 1954 г.—во Франции.

Стр. 426. Эпиграф—Второзаконие, 28, 19; 25, 67.

Стр. 427. ...*бельгийский король отдал приказ своей армии сложить оружие.*—Это произошло 28 мая 1940 г.

Стр. 431. *Италия объявила войну...*—Италия объявила войну Франции 10 июня 1940 г.

Стр. 433. *Был... молодой немец из семьи известных эмигрантов.*—Это был Голо Манн (род. 1910), средний сын Томаса Манна, ныне крупный историк. 12 июня 1940 г. в лагерь среди многих других были доставлены: Лингнер Макс (1888—1959), художник и рисовальщик, сотрудник «Юманите», после бегства из лагеря—участник движения Сопротивления; известные немецкие писатели: Ганс Мархвица (1890—1965), Макс Шрёдер (1900—1958).

Они вступили во французскую армию добровольцами...—Многие немецкие эмигранты призывного возраста, желая вступить во французскую армию для борьбы с оружием в руках против гитлеровских войск, были зачислены в трудовые отряды и посланы на рытье окопов; некоторых из этих добровольцев послали в Северную Африку на строительство железной дороги в Сахаре.

Стр. 448. ...*написали по девять симфоний...*—Неточность автора: Брамс написал четыре симфонии.

Стр. 451. *Мне не следовало говорить так...*—Здесь и далее писатель, говоря о самоубийстве Газенклевера, в какой-то мере винит себя. А. Канторович в упомянутом послесловии пишет,

что Фейхтвангер думает так напрасно, так как «Газенклевером овладела навязчивая мысль, что уже на следующее утро с нашим пробуждением отряды гестапо окажутся у ворот лагеря. У него не было более ни сил, ни воли бороться за свою жизнь».

Стр. 465. ...к египетским котлам с мясом.—Ср. Исход, 16.

Стр. 473. В Лурде мы узнали... что к власти в стране пришел старый генерал...—16 июня 1940 г. пост премьер-министра занял маршал Петен (1856—1951). Став главой правительства, Петен отказался от сопротивления гитлеровским захватчикам, заключив на тяжелых и унижительных условиях перемирие. Возглавил правительство Виши. После освобождения Франции был предан суду и приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением.

Стр. 474. ...заключено перемирие.—Перемирие с Германией было заключено 22 июня 1940 г.

Стр. 478. Эпиграф—Числа, 24,5.

Стр. 481. Параграф девятнадцатый.—Параграф 19 «Условий перемирия» обязывал французское правительство «по именным спискам оккупационных властей выдавать всех немцев, находящихся на французской территории, а также в ее колониях, областях протектората и подмандатных областях». То, что правительство Петена предполагало выполнить это условие, подтверждает тот факт, что интернированных после капитуляции продолжали держать в лагерях и им запретили выезд из страны. В начале февр. 1941 г. выданы были, в частности, Рудольф Брейтшейд и Рудольф Гильфердинг, а на протяжении всего последующего времени оккупации все эмигранты-евреи.

Стр. 485. При этом я постоянно вспоминаю то высказывание Теодора Лессинга...—См. коммент. к с. 372.

Стр. 498. Левантинец—житель Леванта. Левант—общее название стран восточного побережья Средиземного моря.

Стр. 502. Бидермейер—художественный стиль в немецком искусстве 1815—1848 гг., проявился главным образом в оформлении интерьеров и декоративно-прикладном искусстве. Характерная его особенность—переосмысление пышных и торжественных форм ампира в духе интимности.

Стр. 507. ...антиеврейские законы... подобные нюрнбергским.—Такие законы были введены правительством Виши уже в окт. 1940 г.

Стр. 508. Я был одним из тех немцев, которые были тогда интернированы в Тунисе...—Этот эпизод описан Фейхтвангером в заметке «Бегство из Туниса».

Стр. 519. Был другой человек, торговец картинами.—Эта тема разработана в рассказе Фейхтвангера «Вольшштейн» (см. т. 2 данного издания).

Стр. 527. Мне пришли на ум стихи из ночной молитвы...—Ср. Книга Песни Песней Соломона, 3, 7,8.

Стр. 532—533. ...прочел передовицу с безобидным заголовком...—Французам, живущим в оккупированной и неоккупированной зонах, не разрешалось переходить из зоны в зону. Сначала нельзя было и вести переписку. Потом для почтового обмена гитлеровцы изготовили открытки с отпечатанным текстом, в который разрешалось вставлять одно слово: здоров или болен.

Стр. 537. В конце июня...—Это было 21 июня 1940 г., в день побега писателя.

Стр. 539. Эпиграф—см. Бытие, 3,8.

Я написал эту четвертую часть книги...—По свидетельству Марты Фейхтвангер, эта часть книги написана не была. 20 авг. 1981 г. она сообщала в письме издательству «Ауфбау Ферлаг»: «Лион Фейхтвангер предполагал написать конец книги «Недобрая Франция», когда уже не будет никакой опасности для всех тех, кто остался в Европе. Однако эта опасность просуществовала значительно дольше, чем он ожидал, и Л. Ф. занялся новыми планами и их исполнением».

В своих воспоминаниях «Побег» М. Ф. подробно вспоминает об обстоятельствах бегства Фейхтвангеров. Машина по спасению писателя была запущена в ход, когда фотография писателя за колючей проволокой концентрационного лагеря попала на стол президента США. Вице-консул США в Марселе Майлс Стендиш хотел привлечь для похищения писателя из лагеря местную мафию, но та, не желая связываться с нацистами, отказалась. Вывез Л. Ф. из Ле-Миля сам вице-консул, выдавая его на пропускных пунктах за свою тещу. Два месяца Фейхтвангеры тайно жили на вилле консула.

В США был тогда образован Чрезвычайный комитет для спасения и вывоза за границу писателей, ученых, деятелей искусства из Европы. В результате деятельности этого комитета было спасено около 300 человек, в том числе Г. Манн, Франц Верфель, Марк Шагал, Макс Эрнст.

По поручению этого комитета в середине авг. 1940 г. в Марсель приехал журналист Вариан Фри. Фри и преподобный Уэйтстил Хастингс Шарп были непосредственными организаторами переброски Фейхтвангеров в Лиссабон и затем отправления их в США. Шарп—европейский представитель Благотворительного комитета унитариев Бостона; поскольку он возвращался в то время с женой в Америку, ему было поручено принять участие в операции по спасению Фейхтвангера и сопровождать его при побеге (от Порт-Боу).

В консульстве США писателю были оформлены документы на имя Дж.-Л. Уэтчика (псевдоним писателя, смысловой перевод его фамилии на английский язык; под этим псевдонимом Фейхтвангер опубликовал в 1925 г. цикл стихотворений «ПЕП»). Поездом супруги добрались до Корбьера у подножия Пиренеев. Преодолеть перевал пришлось пешком, так как проезд через туннель требовал специальных пропусков. Затем: Порт-Боу,

Барселона, Лиссабон — поездом через фашистскую Испанию и профашистскую Португалию. На американском пароходе «Эскалибр» 5 окт. 1940 г. писатель прибыл в Нью-Йорк. Через две недели на греческом пароходе в Америку приехала Марта Фейхтвангер.

Хьюш Б.-В. — совладелец издательства «Викинг-пресс» (Нью-Йорк), американский издатель Фейхтвангера.

Л. Миримов

ДОМ ДЕЗДЕМОНЫ

На страницах книги Л. Фейхтвангера «Дом Дездемоны» читатель встретит знаменитое изречение: «Книги имеют свою судьбу»; судьба последнего произведения Фейхтвангера оказалась непростой. В творчестве писателя «Дом Дездемоны» занимает особое место. Еще в 30-е гг. Фейхтвангер задумал написать книгу об историческом романе и в течение двух десятилетий постоянно возвращался к этому замыслу. Работе над книгой были почти полностью посвящены последние два года жизни писателя, но она так и осталась незаконченной. В 1960 г. в альманахе издательства «Грайфенферлаг» (Рудольштадт, ГДР) было опубликовано введение к книге, полностью подготовленное к печати автором. Кроме введения, была закончена лишь первая часть, и во фрагментах сохранились две из четырех запланированных глав второй части. К работе над двумя последними разделами Фейхтвангер не успел приступить, и судить о предполагавшемся продолжении книги можно лишь по тезисам, оставшимся в планах писателя (сохранились четыре плана, относящиеся к разным этапам работы, последний из них приведен в настоящем издании). Над подготовкой книги к публикации работал коллектив издателей во главе с Ф. Шехом. Потребовалось дополнительное кропотливое изучение рукописей и набросков книги, чтобы она смогла увидеть свет в настоящем составе. Впервые «Дом Дездемоны» опубликован в 1961 г. в издательстве «Грайфенферлаг» (Feuchtwanger Lion. Das Haus der Desdemona, oder Grösse und Grenzen der historischen Dichtung. Greifenverlag zu Rudolstadt, 1961).

Книга была задумана как всестороннее историко-теоретическое исследование, которое даст представление и о внутренних законах исторической художественной литературы, и о полуторавековом пути ее развития. О широте замысла свидетельствует простое перечисление имен, их более ста только в законченной части книги. Однако уже авторский коллектив в предисловии к первому изданию отмечает, что отдельные имена и произведения, упоминаемые в книге, кажутся случайными. Они свидетельствуют о широте кругозора автора, но мало говорят сегодняшнему читателю. С другой стороны, в обзор Фейхтвангера не попали значительные произведения исторической тематики немецкой, французской и русской литературы; они фигурируют только в планах к ненаписанной части книги.

История всегда была главной героиней произведений Фейхтвангера, современность он тоже исследует как историк, пытаясь найти сущностное, общее, повторяющееся в потоке событий, в многообразных коллизиях человеческих судеб. Прошлое для Фейхтвангера обретает значимость как аналогия сегодняшнему дню, как проявление исторической закономерности на разных этапах существования человеческого общества. В этом смысле история в его произведениях всегда условна. Правомерность «осовременивания» истории Фейхтвангер обосновывал тезисом об извечной неизменности человеческой природы. Важно учесть, что проблемы современности были не последней причиной создания книги об историческом романе. В его набросках мы найдем знаменательные слова о потере интереса к истории, к знанию в широких массах, об утрате «чувства историзма». Фейхтвангер был убежден, что именно историческое сочинительство — «самый сильный посредник историзма», «законный наследник великого эпоса» — станет учителем истории для его современника.

Впервые концепция жанра исторического романа была сформулирована Фейхтвангером в его докладе «О смысле и бессмыслице исторического романа», сделанном на Парижском конгрессе в 1935 г. В том же году доклад был опубликован в переводе на русский язык в журнале «Интернациональная литература» (№ 9). «Смысл» и «бессмыслица», «Война и мир» и «Граф Монте-Кристо» — вот полюсы, намеченные в докладе, они и определяют позицию автора по отношению к задачам и проблемам исторической художественной литературы. «Бессмысленным» считает Фейхтвангер стремление «уйти от нужд действительности в развлекательность», тогда как мудрость, по его мнению, заключается в умении «облечь в исторические одежды современное содержание». Так, в полемически заостренной форме была сформулирована задача исторического жанра в литературе. В том же докладе прозвучала еще одна, очень важная в концепции Фейхтвангера идея: исторический сюжет для писателя — это и средство «отстранения», способ создать дистанцию по отношению к современности, «чтобы свое ощущение жизни, свое собственное время, свою картину мира передать возможно точно». Это обстоятельство диктует выбор художественных средств в произведении на историческую тему, к такому выбору сам Фейхтвангер относился очень придирчиво, подчас с помощью одной-единственной детали ему удается поднять событие до уровня художественного обобщения.

Книга «Дом Дездемоны» — «хвалебная песнь историческому роману» — развивает тему, намеченную в докладе в форме живого разговора с читателем. Возможно, некоторая фрагментарность осложнит ее читательское восприятие, но художественное завещание Фейхтвангера, без сомнения, заслуживает самого серьезного внимания.

Введение

Часть первая (Обзор накопленного материала)

- | | |
|---|----------|
| 1 глава: Роман-китч: Дюма | написано |
| 2 глава: Серьезный исторический роман:
Вальтер Скотт | написано |
| 3 глава: Американский исторический роман | написано |

Часть вторая (Мотивы и цели исторической художественной литературы)

- | | |
|--|-------------|
| 1 глава: Причины, по которым автор скрывает современное содержание | написано |
| 2 глава: Как рождается исторический роман | не окончено |
| 3 глава: Отношение писателя к историческому материалу | не написано |
| 4 глава: Техника. Правдоподобие | не написано |

Часть третья (Художественные средства в историческом романе)

- | | |
|---|-------------|
| 1 глава: Человек в исторической художественной литературе | не написано |
| 2 глава: Язык | не написано |

Часть четвертая (Трудности в нашей неисторичной современности)

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1 глава: Трудности | не написано |
| 2 глава: Чувство историзма | не написано |

Стр. 543. В Новом завете рассказывается...—См. Марк, 5, 1—29; Матф. 14, 3—12.

Иосиф Флавий—римский историк Иосиф бен Маттафий (37 или 38 гг. н. э.—после 100), позже принявший родовое имя Флавиев. Автор трудов «Иудейская война», «Иудейские древности», «Жизнеописание».

Ирод Антипа (1-я пол. I в.)—сын иудейского царя Ирода Великого, после смерти отца правитель Галилеи и Перее. Библия рассказывает о его любовной связи с племянницей и женой его брата—Иродиадой. Согласно библейской мифологии Иоанн Креститель, решившийся высказать ему упреки от имени народа, был обезглавлен. По настоянию Иродиады стремился к императорской власти, интригами навлек на себя немилость императора Кая Калигулы, был отстранен от престола и отправлен в ссылку (23 г. н.э.). Умер в ссылке в Галлии.

Стр. 545. *Саксон Грамматик* (1140—ок. 1208)—датский

историк-хронист, автор «Деяний данов», содержащих скандинавские сказания и материалы по истории Дании до 1185 г.

Чинтио Джанбаттиста Джиральди (1504—1573)—итальянский новеллист, драматург и теоретик литературы эпохи Возрождения. В его сборник «Экатоммити» («Сто рассказов») входит и новелла, сюжет которой позаимствовал для трагедии «Отелло» Шекспир.

Стр. 547. *Юм Дэвид* (1711—1776)—английский философ, историк, экономист, автор восьмитомной «Истории Англии» (1753—1762).

Форд Генри (1863—1947)—один из основателей американской автомобильной промышленности, автор ряда работ по организации труда и производства.

Стр. 548. *Шефтсбери Энтони Эшли Купер* (1671—1713)—английский философ и эстетик.

...и наиболее знаменитый ее представитель, *Иоганнес Ранке*...—Речь идет о главе исторической школы Леопольде фон Ранке (1795—1886), знаменитом немецком историке, официальном историографе Пруссии. Считал изучение источников, исторических фактов основой исторического исследования, целью которого было показать, «как, собственно, все происходило».

...самые крупные представители «исторической школы»... *Нибур, Ранке, Лампрехт, Моммзен, Бэри и Фюстель де Куланж*...—*Нибур Бартольд Георг* (1776—1832)—немецкий историк античности, в исследованиях опирался на данные этнографии и принцип аналогии; *Лампрехт Карл* (1856—1915)—немецкий историк, бывший противником школы Ранке. Основой исторического процесса считал развитие культуры, включая экономику и общественные отношения; *Моммзен Теодор* (1817—1903)—немецкий историк, специалист по истории Древнего Рима и римского права, придавал исключительное значение роли крупных исторических деятелей; *Бэри Джон Баснелл* (1861—1827)—ирландский историк, философ, исследователь древней и новой истории; *Фюстель де Куланж Нюма Дени* (1830—1889)—французский историк, сторонник позитивизма.

Уотли Ричард (1787—1863)—английский писатель-теолог, философ, автор ряда известных трудов: «Логика» (1826), «Исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта» (1819) и др.

Буркхардт Якоб (1818—1897)—швейцарский философ и историк культуры, ученик Ранке, основатель «культурно-исторической школы», которая, в отличие от школы Ранке, движущей силой истории считала не политические процессы, а развитие духовной культуры.

Тревьельян Джордж Маколей (1876—1962)—английский историк. Объявлял задачей истории воспитание людей на примерах прошлого; отождествлял в своих работах историю и художественную литературу и стремился эмоционально воздействовать на читателя.

Стр. 549. *Бирд* Чарльз (1874—1948)—американский историк, один из основателей экономического направления в историографии США. В 30-е гг. проводил в своих работах мысль о невозможности познания объективных законов развития истории.

Стр. 554. *Сарду* Викторьен (1831—1908)—французский драматург, член Французской академии, автор множества водевилей и «комедий интриги». Исторический жанр в творчестве Сарду представлен псевдоисторической комедией («Мадам Сан-Жен», 1893) и мелодрамой на исторические темы («Родина!», 1869).

Стр. 555. *Гелиодор*—греческий писатель (III в.). Его роман «Эфиопика», повествующий о любви эфиопской царевны Хариклен и фессалийского юноши Феагена, стал образцом для галантно-авантюрных романов XVII—XVIII вв.

Скюдери Мадлен де (1607—1701)—французская писательница, автор многочисленных галантных романов, где под историческими именами изображались представители французской знати. О ее романе «Клелия, или Римская история» (1654—1661) Буало сказал, что в ней «нет ни одного римлянина или римлянки, которые не были бы списаны с обитателей того квартала, где живет автор романа».

Геродот, *Ксенофонт*, *Юстин*, *Тит Ливий*—знаменитые древние историки.

Тарквинии—знатный род в Древнем Риме, давший двух римских царей: Тарквиния Древнего (615—578 до н. э.) и Тарквиния Гордого (534—509 до н. э.). *Лукреция*—жена Тарквиния Коллатина, подверглась бесчестию со стороны Секста, сына Тарквиния Гордого; заставив отца и мужа поклясться, что они отомстят насильнику, закололась на их глазах. Это событие послужило поводом для народного восстания и изгнания Тарквиния Гордого из Рима. *Брут* Луций Юний.—Согласно преданию, патриций Брут возглавил восстание против Тарквиния Гордого, в результате которого был основан республиканский строй в Риме. Вместе с Тарквинием Коллатином Брут стал одним из первых консулов Рима.

Стр. 556. *Эжен Сю* (наст. имя Мари Жозеф; 1804—1857)—французский писатель, автор авантюрных и мелодраматических романов «Парижские тайны», 1842—1843, «Вечный жид», 1844—1845, «Тайны народа», 1849—1857 гг. и др.

Богарне Эжен (1781—1824)—французский генерал, вице-король Италии (1805—1814), пасынок Наполеона Бонапарта. Императрица *Жозефина* (Богарне; 1763—1814)—первая жена Наполеона Бонапарта.

Стр. 557. *Вильямсберг*—город в Вирджинии (основан в 1633 г.), один из центров колонизации Америки. Первоначально назывался Джеймстаун, в конце XVII в. получил свое нынешнее название в честь английского короля Вильгельма III. В XX в. был восстановлен в своем первоначальном виде и стал одним из

туристских центров. *«Мэйфлауэр»* — название корабля, доставившего в 1620 г. колонистов в Америку.

Ньюмен Джон Генри (1801—1890) — английский теолог, педагог-теоретик, писатель; с 1879 г. кардинал. *Уайсмен* Николас Патрик Стефен (1802—1865) — английский кардинал, знаток и исследователь восточных языков, автор романа *«Фабиола»* (1854), переведенного на многие иностранные языки.

Уоллес Льюис (1827—1905) — американский писатель, автор известного романа *«Бен Гур»* (1880), действие которого происходит в Риме и Палестине в первые десятилетия нашей эры.

Стр. 558. *Эберс* Георг (1837—1898) — немецкий египтолог, известен популярными описаниями древнего и современного Египта. Автор исторических романов из жизни Египта и средневековой Германии. *Дан* Феликс (1834—1912) — немецкий историк и писатель, вместе с Г. Эберсом считается создателем жанра «ученого» исторического романа. Наиболее известен четырехтомный роман *«Борьба за Рим»* (1876). *Фрейтаг* Густав (1816—1895) — немецкий германист и писатель, автор *«Картин из немецкого прошлого»* (1859) и серии исторических романов *«Предки»* (1872—1880).

Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк, автор сочинения *«История упадка и разрушения Римской империи»*.

Энсуорт Уильям Гаррисон (1805—1882) — английский писатель, автор популярных исторических романов *«Джон Шеппард»* (1839), *«Тауэр»* (1840) и др. *Рид* Томас Майн (1818—1883) — английский писатель, автор знаменитых приключенческих романов. *Булвер-Литтон* Эдуард Джордж (1803—1873) — английский писатель, часто обращавшийся в своем творчестве к исторической тематике.

Стр. 559. *Грильпарцер* Франц (1791—1872) — известный австрийский драматург.

Луcreция Борджа — см. коммент. к с. 646; считалась тайной убийцей и отравительницей.

Стр. 560. *Торквемада* Томас (ок. 1420—1498) — с 80-х гг. XV в. фанатичный глава испанской инквизиции.

Святой Франциск из Паолы (1416—1507) — член монашеского братства францисканцев в Сан-Марко, вел отшельническое существование близ города Паола и проповедовал пожизненную аскезу. В 1482 г. прибыл во Францию, чтобы исповедовать умирающего короля Людовика XI, после его смерти остался в монастыре миноритов в Плесси; там же похоронен. Канонизирован в 1519 г.

Скриб Эжен (1791—1861) — французский драматург, автор известных водевилей, комедий, исторических драм.

Ростан Эдмон (1868—1918) — французский поэт и драматург; мировую славу ему принесла его пьеса *«Сирано де Бержерак»*.

Стр. 561. *Мишле* Жюль (1798—1874) — французский историк романтического направления. В своих наиболее известных

работах «История Франции» и «История Французской революции» стремился воссоздать историческое прошлое с помощью художественных средств.

Стр. 563. *Виньи* Альфред Виктор де (1797—1863)—французский поэт, прозаик, драматург, автор известного исторического романа «Сен-Мар» (1826).

Стивенсон Роберт Льюис (1850—1894)—английский писатель, автор популярных остросюжетных приключенческих романов.

Стр. 566. «*Главные и государственные действия*» (Haupt- und Staatsaktionen)—название драматического жанра, распространенного в Германии в XVII и 1-й пол. XVIII в. Это были пьесы серьезного, большей частью религиозного содержания с комическими мизансценами.

Стр. 568. *Гете, большой почитатель Скотта, заканчивает его восхваление весьма неожиданно...*—Эккерман И.-П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Пятница, 3 окт. 1828 г.

Тенирс Давид (1610—1690)—знаменитый фламандский художник.

Стр. 571. *Яков Первый* (1566—1625)—первый король династии Стюартов (с 1603 г.), сын Марии Стюарт.

Стр. 574. *...поставил в центр романа женщину, лишенную всех тех достоинств, которыми должна обладать героиня романа...*—Очевидно, речь идет о романе «Эдинбургская темница» (1818).

Стр. 575. *Карлейль* Томас (1795—1881)—английский философ, историк, публицист.

Стр. 576. *Терсит*—персонаж из «Илиады» Гомера, простой воин, враг Ахилла, Одиссея и Агамемнона, «Илиада» изображает его безобразным, хромоногим, косым, лысым и болтливym.

Стр. 578. *Маколей* Томас Бабингтон (1800—1859)—английский историк, автор пятитомной «Истории Англии».

Стр. 578. «*Вальтер Скотт дает мне обильную пищу для размышлений...*»—Эккерман И.-П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Вторник, 8 марта 1831 г.

Стр. 581. *Гете писал: «Читая этот роман...»*—Эккерман И.-П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Среда, 18 июля 1827 г.

Стр. 582. *Уолпол* Хорас (1676—1745)—английский писатель, автор готического романа «Замок Отранто» (1765) и трагедии «Таинственная мать» (1768). Творчество Уолпола—яркий образец английского предромантизма. *Радклиф* Анна (1764—1823)—английская писательница. Созданный ею тип готического романа приобрел широкую известность.

Стр. 583. *...«времена, когда Германия разобщена...»*—И.-В. Гете, из «Костюмированного шествия по случаю высочайшего пребывания Ея величества государыни императрицы Марии Федоровны в Веймаре». Слова принадлежат Гецу фон Берлихину, далее (с. 585)—конец цитаты.

«Буря и натиск» («Штурм унд дранг») — литературное движение в Германии в 70—80 гг. XVIII в. Идеологическая программа «Бури и натиска» продолжает гуманистическую традицию литературы Просвещения, ее эстетика отвергает нормативность искусства классицизма. Писатели «Бури и натиска» («штюрмеры») — молодые И.-В. Гете, Ф. Шиллер, Ф.-М. Клингер, Я.-М.-Р. Ленц и др. — создают свои произведения преимущественно в жанре драмы, для которой характерны обращение к национальному прошлому страны, изображение сильных страстей и характеров.

Стр. 584. *Ульрих фон Гуттен* (1488—1531) — немецкий гуманист, политический деятель, писатель, автор известной сатиры «Письма темных людей» (1515—1517). Сторонник Лютера в движении Реформации. *Тильман Рименшнейдер* (ок. 1460—1531) — немецкий скульптор эпохи Возрождения.

Стр. 585. ...это творение поэта *штюрмера*... — См. коммент. к с. 583, «Штурм унд Дранг».

Стр. 587. *Лукач Георг* (Дьёрдь; 1885—1971) — венгерский философ и литературный критик, автор трудов по марксистской эстетике. С 1930 по 1945 г. жил в Москве.

Стр. 588. *Ягвист, Элогист*. — Собственно, это не авторы, а общепринятое название двух параллельных текстов рассказа о великом потопе в Библии (кн. Бытие). В традиционном богословии первые пять книг Ветхого завета — Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие — считаются цельным произведением, записанным Моисеем непосредственно со слов бога Ягве (или Яхве). Учеными установлено, что текст Пятикнижия складывался на протяжении пятисот лет одновременно с текстом шестой книги — Иисуса Навина (поэтому иногда говорят о Шестикнижии). Этот текст содержит два разных наименования божества: Ягве (в русском переводе Господь) и Элог (Элох, Бог, древнеевр.). Если разделить отрывки, связанные с одним и другим наименованием божества, то получается два отдельных последовательных и цельных повествования. Условно их называют Ягвист и Элогист. Предполагают, что Ягвист возник в X—IX в. до н. э., Элогист — тогда же или несколькими десятилетиями позже. В VII в. до н. э. возник третий документ, позже вошедший в Пятикнижие, — Второзаконие. В период вавилонского плена (VI в. до н. э.) или сразу после него был составлен так называемый «Жреческий кодекс».

Якобсен *Енс* *Петер* (1847—1885) — датский писатель, автор исторического романа «Фру Мария Груббе». *Лагерлёф* *Сельма* (1858—1940) — известная шведская писательница. *Унсет* *Сигрид* (1882—1949) — норвежская писательница. *Лакснесс* *Хадльдоур* *Кильян* (род. 1902) — исландский писатель, автор исторической трилогии «Исландский колокол» (1942—1943).

Стр. 591. *Глейм* *Иоганн Вильгельм Людвиг* (1719—1803) — немецкий поэт эпохи Просвещения.

Стр. 595. *Жан-Поль*—псевдоним немецкого писателя и теоретика искусства Иоганна Пауля Фридриха Рихтера (1763—1825). Творчество Жан-Поля отмечено переплетением просветительских идей с принципами сентиментализма, тогда как элемент фантастики в его произведениях и теория юмора сближают его с писателями-романтиками.

Рип Ван Винкль—герой новеллы Вашингтона Ирвинга (1783—1859), сюжет которой позаимствован из преданий голландских поселенцев Америки. Рип Ван Винкль проспал Войну за независимость Америки, околдованный гномами.

Музеус Иоганн Карл Август (1735—1787)—немецкий писатель, известный своими обработками романских и германских сказок и преданий (сб. «Народные сказки немцев», т. 1—8, 1782—1786). *Нахтигаль* Иоганн Карл Кристоф (1753—1819)—немецкий педагог и писатель.

Альгамбра—построенный в XIII—XVI вв. дворец мавританских властителей на востоке Гранады (Испания).

Гартман фон Ауэ (ок. 1170—после 1210)—немецкий поэт-миннезингер, автор стихотворного романа «Бедный Генрих», в котором, наряду с христианскими добродетелями, провозглашаются идеалы куртуазно-светской морали.

Стр. 597. *Библейская поэтесса Дебора*.—Согласно библейскому преданию пророчица и судья Дебора возглавила борьбу евреев против ханаанского полководца Сисары. В честь победы она сложила торжественную песню (Книга Судей, 5).

Зойме Иоганн Готфрид (1763—1810)—немецкий просветитель, публицист и поэт.

Стр. 598. «*Искусство Купера имеет ряд недостатков...*»—Из статьи Марка Твена «Литературные грехи Фенимора Купера»

Максим Горький нашел точные и прекрасные слова...—Из предисловия М. Горького к книге Ф. Купера «Следопыт».

Стр. 600. *Банг* Герман (1857—1912)—датский писатель. Событиям датско-прусской войны 1864 г. посвящены романы «Тина» (1889) и «Три дороги» (1886).

Казандзакис Никос (1883—1957)—греческий писатель и драматург, автор романов «Христа распинают вновь» (1950), «Последнее искушение» (1955) и др.

Стр. 601. *Готорн* Натаниель (1804—1864)—американский писатель-романтик, автор романов «Алая буква» (1850), «Дом о семи шпильях» (1851), новелл. Творчество Готорна отмечено сильным влиянием пуританской традиции.

Мелвилл Герман (1819—1891)—американский писатель, автор известных морских романов.

Стр. 602. *Битва при Банкер-Хилле*.—Речь идет о Войне за независимость в Северной Америке (1775—1783), когда в битве при Банкер-Хилле 17 июня 1775 г. повстанческие войска нанесли серьезное поражение английским колонизаторам.

Джонс Поль (1747—1792)—знаменитый американский мореплаватель, выходец из Шотландии. Первоначально занимался

работоторговлей. Во время Войны за независимость успешно воевал против англичан во главе небольшой флотилии.

Аллен Итен (1738—1789)—американский просветитель, участник Войны за независимость, командовал отрядами в Вермонте.

Стр. 604. *«Бедный Израиль! Имя твое оказалось пророческим...»*—Имеется в виду библейская легенда, согласно которой израильские племена находились в плену в Египте, где их принуждали к тяжелой работе (Исход, 1, 13, 14).

Град Дис.—Дис (или Дит)—одно из имен Аида (Плутона), бога подземного царства. В «Божественной комедии» Данте город Дис, окруженный Стигийским болотом, входит в нижний Ад: «Вот город Дит, и в нем заключены // Безрадостные люди...» («Ад», песнь 8-я, 68—69).

Стр. 605. *Ведекинд* Франк (1864—1918)—немецкий писатель, предшественник экспрессионизма.

Стр. 614. *Книга Екклесиаста, или Проповедника*—входит в библейский канон. Фейхтвангер точно определяет эмоциональную тональность Екклесиаста.

Стр. 615. *Раймунд Фердинанд* (1790—1836)—австрийский актер и драматург, обновивший в своем творчестве жанр романтической комедии-сказки. *Нестрой* Иоганн Непомук (1801—1862)—австрийский драматург и актер, автор остросоциальных политических комедий, отразивших оппозиционные настроения австрийской буржуазии накануне революции 1848 г.

Стр. 619. *Бэббит*—имя героя романа «Бэббит» (1922) американского писателя Льюиса Синклера (1885—1951).

Стр. 620. *Дуглас Лойд К.* (1877—1952)—американский писатель, автор ряда романов, в которых он проповедует христианскую мораль и догматы веры («Облачение», 1942; «Великая идея», 1929, и др.).

Алленс Гарвей (1889—1949)—американский писатель, поэт и критик, автор романа «Вредный Энтони», действие которого происходит во времена Наполеона, и др.

Митчелл Маргарет (1900—1949)—американская писательница, автор популярного романа «Унесенные ветром» (1936).

Стр. 621. *Фаст* Говард (р. 1914)—американский писатель, автор ряда произведений на исторические темы: «Гражданин Том Пейн» (1943), «Американец» (1946), «Спартак» (1952), «Торквемада» (1966) и др.

Стр. 622. *Фримонт* Джон Чарльз (1813—1890)—американский ученый, военный и политический деятель, первый кандидат республиканской партии на выборах в 1856 г.

Стр. 624. *Хейл* Эдуард Эверет (1822—1909)—американский писатель, автор более 150 книг; широкую известность принесла Хейлу повесть «Человек без отечества».

Стр. 625. *Бенé* Стивен Винсент (1898—1943)—американский писатель, поэт, новеллист.

Джон Браун (1800—1859)—борец за отмену рабства в

США, входил в руководство левого крыла аболиционистского движения. В 1859 г. руководил восстанием, которое потерпело поражение. Тяжело раненный, попал в плен и был казнен.

Уэбстер Дэниел (1782—1852)—американский государственный деятель, знаменитый адвокат и оратор, специалист по финансам.

Кэнтор Маккинли (р. 1904)—американский писатель и журналист, с 1950 г.—военный корреспондент в Корее.

Стр. 629. *Кингсли* Чарлз (1819—1875)—американский писатель, сторонник «христианского социализма».

«Кто хочет понять поэта...»—И.-В. Гете, эпиграф к «Примечаниям и заметкам для лучшего понимания «Западно-восточного дивана».

Стр. 633. «*Капричос*»—серия офортов Гойи из 80 листов с комментариями художника (созданы в 1787—1798 гг.), ставшая своего рода эстетической и философской программой художника.

Стр. 634. *Фишер* Фридрих Теодор (1807—1887)—немецкий эстетик, критик, писатель.

Стр. 635. *Эсфирь*.—Согласно библейской мифологии наложница царя Артаксеркса, смелым заступничеством спасшая свой народ (кн. Эсфирь).

Аман—зловный советник царя Артаксеркса, пытавшийся восстановить царя против иудейского народа и уничтожить его. Когда Эсфирь раскрыла царю коварные замыслы Амана, он был повешен на той виселице, которую подготовил для дяди Эсфири—Мардохея.

Стр. 640. *Симпсон* Джордж Гейлорд (род. 1902)—американский палеонтолог, один из основателей синтетической теории эволюции.

Стр. 642. *Шейлок* заявляет...—Шекспир. Венецианский купец (IV, 1).

Стр. 644. *Цишке* Генрих Даниэль (1771—1848)—швейцарский писатель, драматург и историк.

Молодой Виланд—сын известного писателя Кристофа Мартина Виланда (1733—1813)—Людвиг Виланд (1777—1819), известный своими пьесами «Эвелина», «Амброзиус Шлинге», «Свадьба нищих» и др. Соавтор Г. Клейста в работе над «Семейством Шроффенштейн».

Стр. 645. ...историю из *Исайи*...—Книга Исайи, 52—53.

Поэт Флориан.—См. коммент. к с. 309.

Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826)—выдающийся французский актер эпохи Великой французской революции.

Стр. 646. *Буркхардт* Якоб—см. коммент. к с. 548. *Гобино* Жозеф Артюр де (1816—1882)—французский писатель и социолог.

Семейство Борджа—аристократический род, вышедший из Испании и сыгравший важную роль в политической жизни Италии XV—нач. XVII в. Алонсо Борджа (1378—1458)—в

1455 г. стал папой Каликсом III. Его племянник Родриго известен как папа Александр IV (1492—1503), сын Родриго — Чезаре (ок. 1475—1507) в 1499 г. стал правителем Романьи и послужил прообразом государя в известной книге Макиавелли. С образом дочери Родриго Борджа Лукреции (1480—1519) связаны преступные тайны и сведения о явно рискованных приключениях. Лукреция стала героиней книги Гюго и оперы Доницетти «Лукреция Борджа».

Стр. 651. *Лукан* Марк Анней (39—65)—римский поэт, автор историко-героической поэмы «О гражданской войне» (или «Фарсалия»), посвященной войне Цезаря против Помпея (49—47 до н. э.).

Лукреция после появления его книги... всячески старались замолчать...—Речь идет о поэме Тита Кара Лукреция (между 99 и 95—между 55 и 51 г. до н. э.) «О природе вещей»—величественном и восторженном изложении эпикуреизма. Поэма ознаменовала переход к материалистическому мировосприятию. В ней содержится обвинение религии, рождающей «нечестивые и преступные деяния», а также сомнения в божественном творении вселенной: «Из ничего не творится ничто по божественной воле...», и далее (I, 150 и сл.).

Стр. 651. *Труа* Кретьен де (ок. 1130—ок. 1191)—французский трувер, автор стихотворных рыцарских романов; использовал для своих произведений кельтские предания о короле Артуре и его рыцарях.

Эшенбах Вольфрам фон (ок. 1170—ок. 1220)—немецкий поэт-миннезингер, автор стихотворного рыцарского романа «Парцифаль» (1198—1210), входящего в «артуровский» цикл.

Стр. 652. *Калидаса*—древнеиндийский поэт и драматург, живший предположительно в V в. *Бхаса*—древнеиндийский драматург, творчество которого относят к IV в.

Стр. 653. «...*бронзы литой прочней*».—Цитата из оды Горация «К Мельпомене» (кн. III, ода XXX), которая начинается: «Создал памятник я, бронзы литой прочней...» (пер. С. Шервинского). Эту оду Горация переводили Ломоносов, Жуковский и другие русские поэты, ей подражал Державин, на ее тему создал свое знаменитое стихотворение Пушкин («Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»).

Стр. 657. *Ауэрбах* Бертольд (1812—1882)—немецкий писатель, автор романов («Спиноза», 1837), рассказов, эссе.

Стр. 660. *Маутнер* Фриц (1849—1923)—немецкий писатель и журналист, автор многочисленных драм, романов, стихов.

Стр. 663. *Макферсон* Джеймс (1736—1796)—шотландский поэт, собиратель фольклора. Опубликовал собственные поэмы, приписав их мифическому кельтскому барду III в. Оссиану,—«Сочинения Оссиана» (т. 1—2, 1765).

Стр. 664. *Луи* Пьер (1870—1925)—французский поэт, чьи стихи, часто затрагивавшие тему эротики, были своеобразным протестом против буржуазной морали. Пьер Луи был одним из

тех, кто на рубеже веков вновь возродил моду на эллинизм. В 1894 г. опубликовал поэму «Песни Билиты», которую представил как перевод с греческого стихов некоей современницы Сафо (ок. 600 до н. э.). Многие из стихов Билиты положены на музыку Дебюсси.

Уайлдер Торнтон (1897—1975)—американский прозаик и драматург, автор известных романов на исторические темы «Мост короля Людовика Святого», «Мартовские иды», «Теофил Норт» и др.

Герман Георг (1871—1943)—немецкий писатель, искусствовед, известный коллекционер произведений искусства. Погиб в Освенциме.

Бидермайер—см. коммент. к с. 502.

Стр. 663. **Франк** Бруно (1887—1945)—немецкий писатель; здесь имеется в виду его роман «Тренк» (1926).

Стр. 666. **Левертин** Оскар (1862—1906)—шведский писатель и литературовед.

Стр. 667. **Хандель-Мацетти** Энрика фон (1871—1955)—австрийская писательница, автор многочисленных исторических романов.

Шенггер Карл (1867—1943)—австрийский писатель и врач, автор натуралистических драм из крестьянской жизни.

Стр. 668. **Хух** Рикарда (1864—1947)—немецкая писательница, автор романов и новелл, в том числе на исторические темы.

Стр. 669. **Кинé** Эдгар (1803—1875)—французский писатель и политический деятель, автор известных книг «История моих идей» (1858), «Революция» (1865).

Стр. 670. «**Симплициссимус**»—роман, написанный в 1669 г. немецким писателем Гансом Якобом Кристоффелем Гриммельсгаузенем (ок. 1621—1676); посвящен изображению трагической судьбы народа в эпоху Тридцатилетней войны (1618—1648), опустошавшей страну.

Стр. 676. *Библия приписывает авторство древнейших эпических творений... некой Мириам, некой Деборе.*—Мириам—пророчица, чья торжественная песнь помогла израильским племенам перейти через пустыни Египта (Исход, 15, 20—21). Дебора.—См. коммент. к с. 597.

Бетлер Сэмюэл (1835—1902)—американский писатель и литературовед. В книге «Автор «Одиссеи» (1897) доказывает на основе анализа текста, что эта поэма создана женщиной.

Стр. 678. **Алькофорода** Марианна (1640—1667)—португальская монахиня, чьи письма к возлюбленному, Ноэлю Бутону де Шамильи, стали одним из шедевров португальской литературы. Опубликованы во Франции в 1669 г.

Деборд-Вальмор Марселина-Фелицита-Жозефина (1786—1859)—французская поэтесса, автор нескольких сборников стихов. Ее простыми, исполненными чувства стихами восхищались Сент-Бёв, Бодлер, Дюма-отец.

Гете недаром включил стихотворение женщины в «Западно-восточный диван»...—Песни Зулейки в «Книге Зулейки» из «Западно-восточного дивана» Гете принадлежат Марианне фон Виллемер; Гете лишь отредактировал ее стихи.

Гандерсгейм Росвита фон (ок. 935—980)—первая немецкая писательница, известная в истории литературы, монахиня бенедиктинского монастыря, писала на латинском языке. Автор ряда произведений на исторические темы, в свое время забытых и вновь изданных только в 1502 г.

Аталия—жена израильского царя Иорама, проложила себе путь к престолу, истребив всех царских детей из рода Давида. Правила шесть лет—до 874 г. до н. э., когда была свергнута законным наследником. *Семирамида* (ассирийское имя Шаммурамат)—царица Ниневии (IX в. до н. э.). Предания приписывают ей основание Вавилона, создание всех ассиро-вавилонских памятников (знаменитые Висячие сады Семирамиды), походы до самой Индии и завоевание соседних стран. *Иезавель*—жена израильского царя Ахава, известная своей жестокостью и высокомерием. Подчинив себе мужа, стала фактической правительницей страны, насильственно насаждала культ египетской богини Астарты в Израиле. В борьбу с ней вступил пророк Илья. Эти события отражены в Библии (3 Царств, 18, 19; 21, 1—16). Убита народом во время бунта, вызванного ее беззакониями (4 Царств, 9). *Зенобия*—царица государства Пальмира в Сирии (III в.), была широко образованна, говорила на многих языках, успешно воевала с римлянами и подчинила себе Египет. Во время похода на Рим была захвачена в плен; вскоре после пленения умерла в Тибуре в подаренном ей императором поместье.

Н. Новикова

СТАТЬИ

Фейхтвангер впервые получил признание как литературный и театральный критик. Еще в студенческие годы он пишет работу о прозе Гейне, до сих пор сохранившую научное значение. Окончив университет, Фейхтвангер становится постоянным сотрудником передового еженедельника «Die Schaubühne». Здесь с 1909 по 1916 г. регулярно появляются его статьи; необычайная широта кругозора молодого критика (об античной и древнеиндийской драме Фейхтвангер пишет с таким же знанием дела, как о последней премьере Мюнхенского театра), его борьба против официальной помпезности и модного эстетизма, блеск и точность его стиля сразу привлекли к нему внимание. Фейхтвангер одним из первых оценил новаторство Дёблина и позднее — Брехта. В годы эмиграции на страницах антифашистских журналов «Die Sammlung» (Амстердам), «Das Wort» (Москва), «Die neue Weltbühne» (Прага) Фейхтвангер отстаивает концепцию активного гуманизма, который, в его понимании, все более и более сближается с социалистической мыслью. Наконец, особую ценность имеют автокомментарии писателя к своим произведениям («Мой роман «Успех», 1931/1956, и др.).

В данном разделе представлены лишь немногие из статей и рецензий Л. Фейхтвангера, характерные для него, отражающие широту его интересов, которые отнюдь не исчерпываются немецкоязычной литературой. Показательно, в частности, его соприкосновение с русской литературой. Некоторые материалы дополняют наши знания о писателе и его общественно-политической позиции. Отдельные статьи выходят на русском языке впервые.

Стр. 681. Автор о самом себе.—Напечатано в газете «Франкфуртер цайтунг» 18 марта 1928 г. Выход романа «Еврей Зюсс» (1925) сделал Фейхтвангера всемирно знаменитым. В прессе появляется много сообщений о писателе, нередко лживых и искажающих его облик. Поэтому писатель сочиняет и публикует этот шуточный по форме вариант автобиографии и самоанализа, пародируя знаменитое начало «Путешествия в Гарц» Гейне.

Стр. 685. Софокл и Гофмансталь.—Впервые в еженедельнике «Die Schaubühne», 1910, 17 ноября, № 46.

Гуго фон Гофмансталь (1874—1929)—австрийский поэт и драматург, обладавший большим лирическим дарованием; его воздействие испытали Томас Манн и Рильке. Фейхтвангер не сочувствовал его эстетизму.

Александрйская критика.—Александрйская школа крити-

ков и филологов, сложившаяся в эпоху эллинизма (III—II вв. до н. э.), внимательно изучала Гомера и трагиков.

Шлемиль—имя героя известной повести Адальберта Шамиссо (1781—1838), ставшее нарицательным для обозначения неудачника.

Евбул (IV в. до н. э.)—комедиограф, один из авторов «средней аттической комедии», пародировавший миф и трагедию. Его сочинения до нас не дошли.

Марк Теренций *Варрон* (116—27 гг. до н. э.)—римский писатель и ученый; от его «Менипповых сатир» (жанр шутиливой философской беседы, названный по имени философа III в. до н. э. Мениппа) до нас дошли фрагменты.

Сатировская драма замыкала трилогию трагедий; сам этот жанр называли «шутливой трагедией»: трагический хор здесь заменялся хором сатиров во главе с Силеном. «Сфинкс» Эсхила до нас не дошел.

Кадм (греч. миф.)—герой, считавшийся основателем Фив. *Отпрыски Кадма*—фиванцы.

Латинская школьная драма.—Фейхтвангер имеет в виду так называемые «школьные драмы», писавшиеся учениками или преподавателями школ в XVI—XVII вв. (первоначально на латинском, а позднее на национальных языках).

Силезская школа.—История немецкой литературы знает две поэтические группы, известные под названием «силезских школ» (кружок Мартина Опица, 1597—1639, или так называемая «первая силезская школа»; и кружок Христиана Гофмана фон Гофмансвальдау, 1617—1679, или «вторая силезская школа»). Как к первой, так и ко второй «силезской школе» принадлежали многие драматурги, в том числе Андреас Грифиус, Даниель Каспер фон Лознштейн и другие; но ни один из них к истории Эдипа в своем творчестве не обращался. Возможно, Фейхтвангер имеет в виду кого-либо из второстепенных поэтов «силезской школы». Не исключено также, что это ошибка памяти, так как Мартин Опиц, глава «первой силезской школы», написал трагедию «Антигона» (1636, перевод из Софокла) на сюжет, заимствованный (как и история Эдипа) из фиванского цикла мифов.

Стр. 686. ...*образец аналитической драмы*.—В западной критике так именуется драма, в которой действие подчинено раскрытию какой-либо давней тайны (например, «Привидения» Ибсена).

Мойра—богиня судьбы (греч. миф.).

Стр. 687. *Hybris* (греч.)—«сверхчеловеческая гордость», которая в античных трагедиях обычно была причиной гибели героя.

Стр. 689. «*Эдип и сфинкс*» (1906) и упоминаемый далее «*Царь Эдип*» (1909)—драмы Гофмансталя.

Стр. 691. «*Вишневый сад*».—Впервые в еженедельнике «*Die Schaubühne*», 1916, 23 авг., № 34.

...*Германия—это Гамлет*...—Начальные слова стихотворения «Гамлет» немецкого поэта Ф. Фрейлиграта (1810—1867).

Стр. 697. *Юст*—персонаж драмы Лессинга «Минна фон Барнхельм», верный слуга майора Тельгейма.

Герман Банг—см. коммент. к с. 600.

Кайзерлинг Эдуард фон, граф (1855—1918)—немецкий писатель. Фейхтвангер ценил «пастельные, серебристо-матовые» тона его прозы, его умение «уловить аромат, атмосферу людей и вещей» (статья «Эдуард фон Кайзерлинг», 1911).

Стр. 698. *Дефреггер* Франц фон (1835—1921)—немецкий художник; его холсты (обычно жанровые или исторические) отличаются педантичной верностью изображения.

Шенгерр Карл—см. коммент. к с. 667.

Стр. 699. О Бертольте Брехте.—Впервые—в еженедельнике «*Die Weltbühne*», 1928, 4 сент., № 36. Познакомившись с Брехтом в 1918 г., Фейхтвангер в течение почти сорока лет, до самой смерти Брехта, оставался его другом. Брехт и Фейхтвангер совместно написали три драмы: «Жизнь Эдуарда II» (1924), «Калькутта, 4 мая» (1925) и «Сны Симоны Машар» (1943); в 20-х гг. они работали над стихотворным переложением Коммунистического манифеста Маркса и Энгельса (поэма осталась незаконченной). Брехт, по признанию самого Фейхтвангера, оказал воздействие на его драмы; в свою очередь, искания Фейхтвангера в области новых форм прозы были учтены молодым писателем, уже тогда выдвигавшим идею создания «эпической драмы».

«*Спартак*»—первая пьеса Брехта; сейчас печатается под названием «Барабанный бой в ночи».

Стр. 700. ...была провозглашена Советская республика.—Баварская Советская республика была провозглашена 13 апр., подавлена правительством Шейдемана и Носке 1 мая 1919 г.

Стр. 702. «*Домашние проповеди*»—первый сборник стихов Брехта, напечатан в 1927 г. «Из современников ему в те годы больше всего нравились Киплинг и Ведекинд; он распевал свои ранние баллады пронзительно и дерзко, подражая Ведекинду»,—вспоминал Фейхтвангер позднее («Бертольт Брехт», 1956).

Стр. 704. «Германия. Зимняя сказка».—Впервые в газете «Правда» от 1 янв. 1936 г., откуда и взят этот перевод, сверенный с немецким оригиналом, любезно предоставленным нам издательством «Ауфбау» (Берлин). В переводе восстановлены некоторые пропуски.

Проживая после гитлеровского переворота 1933 г. в эмиграции во Франции, Фейхтвангер занимается активной антифашистской деятельностью, начинает также публиковаться в советской печати. В «Открытом письме господину Х., проживающему в моем доме» (см. коммент. к с. 371) писатель предрекает неизбежное падение фашистского режима. В 1936 г. Фейхтвангер вместе с В. Бределем и Б. Брехтом входит в редколлегию основанного в Москве литературного антифашистского журнала «*Das Wort*».

Публикуя в «Правде» статью о широко выходящей в эти годы в СССР сатирической поэме Гейне, Фейхтвангер, отталки-

ваясь от темы Гейне, бичует неслыханную ложь и жестокость фашистской Третьей империи, утверждая, что в недалеком будущем об этом режиме будут вспоминать «не только с отвращением, но и с безудержным смехом».

Стр. 708. Мысли в связи с кончиной Горького.— Впервые в журнале антифашистской эмиграции «Das Wort», издававшемся в Москве под редакцией Брехта, Фейхтвангера и Бределя (1936, № 3).

Стр. 710. Генрих Манн. К семидесятипятилетию.— Впервые в журнале «Aufbau», 1946, № 4, Берлин.

Стр. 713. «Доктор Фаустус» Томаса Манна.— Впервые в «Daily News», Лос-Анджелес, 20 ноября 1948 г. Отклик на выход в 1947 г. романа Т. Манна, которому Фейхтвангер дает высокую оценку.

Стр. 716. Крамольные мысли о Льве Толстом.— Впервые в журнале «Sinn und Form» (ГДР), 1953, № 5.

Эмиль Ку—друг и биограф Фридриха Геббеля.

Стр. 716. ...Толстой, который надеялся увидеть свет во тьме...—Фейхтвангер имеет в виду позднюю пьесу Толстого «И во тьме свет светит» (1898), проникнутую евангельскими идеями.

Стр. 718. Мой роман «Успех».— Печатается по последней редакции в сборнике «Centum opuscula», 1956. Ранее печаталось под названием «Что означает мировая война для немецкого писателя?» в газете «Neue freie Presse» (Вена), 1931, 10 мая. Последняя редакция существенно изменена.

Стр. 719. Гельц Макс (1889—1933)—выдающийся руководитель немецкого пролетарского движения, коммунист. Гельц провел многие годы в тюрьмах Веймарской республики; после освобождения в 1928 г. эмигрировал в СССР. Пользовался в Германии популярностью как один из руководителей саксонского восстания 1921 г. и рабочих отрядов, подавлявших путч Каппа.

Стр. 721. Литература—сила, сближающая народы.— Впервые в журнале «Иностранная литература», 1955, № 11.

Стр. 722. «Глиняная тележка»—драма древнего индийского поэта Бхасы (между 450 и 650).

«Меловой круг»—старинная китайская драма, обработанная в 1925 г. Клабундом (1890—1928). Сюжет этот использовал Б. Брехт.

Тянь Цзянь (род. в 1917)—китайский поэт.

Стр. 724. Испытание временем.— Впервые в журнале «Огонек», 24.11.57.

Я присутствовал по желанию Сталина на одном из процессов...—Отношение Л. Фейхтвангера к московским политическим процессам 1936—1938 гг. трудно объяснить, если не обратиться к некоторым фактам того времени и не взглянуть на них в его контексте. После прихода Гитлера к власти Фейхтвангер тотчас эмигрировал из нацистской Германии и активно

включился в антифашистскую борьбу. Естественно, при этом он искал силы, на которые можно было бы надежно и уверенно опереться. На протяжении почти всех 30-х гг. такой силой являлся Советский Союз: «...один лишь Советский Союз,— писал Фейхтвангер в книге «Москва. 1937. Отчет о поездке для моих друзей» (М., 1937),—своим планомерным вооружением препятствовал фашизму начать войну против плохо вооруженного мира». В 1937 г. Фейхтвангер был обласканным гостем нашей страны. Обманутый Сталиным и его бюрократией, он и сам желал быть обманутым: в противном случае развеялись бы его самые горячие политические надежды. Его книга, изданная в том же году в Амстердаме и немедленно переведенная в Москве, стала странным продуктом такого самообмана. Фейхтвангеру далеко не все у нас понравилось: он иронизировал над неумеренными славословиями в адрес «вождя», осуждал казенность нашего оптимизма, ратовал за право писателя на художническую самостоятельность. В то же время он утверждал со всей доступной ему категоричностью: «Никогда Советскому Союзу не удалось бы достичь того, чего он достиг, если бы он допустил у себя парламентскую демократию западноевропейского толка. Никогда при неограниченной свободе ругани не было бы возможно построить социализм». Тут Фейхтвангер не столько оправдывает диктатуру Сталина, сколько дает отповедь ее критику Андре Жиду: знаменитый французский писатель посетил нашу страну за год до Фейхтвангера, был точно так же обласкан, но результатом его поездки стала книга совершенно иная. «Возвращение из СССР» А. Жида (Париж, 1937)—это полный разрыв со сталинизмом; книга произвела впечатление разорвавшейся бомбы и вызвала резкий протест со стороны многих представителей левой интеллигенции Запада. Нападки на Советский Союз приравнивались ими к измене общему антифашистскому делу. Фейхтвангер в своей «Москве. 1937» то и дело полемизирует с Жидом. Еще важнее его внутренняя с ним полемика, она окрашивает чуть ли не каждую из фейхтвангеровских оценок, в том числе и те, что относятся к московским политическим процессам. По предложению Сталина Фейхтвангер присутствовал на том процессе, где главными обвиняемыми были Радек и Пятаков: впечатления от процесса оказались кульминацией фейхтвангеровского самообмана. Ибо, размышляя над тем, мыслимо ли сомневаться в добровольности и несомненности показаний, которые давали против себя подсудимые, Фейхтвангер пришел к такому выводу: «Если все было вымышлено и подстроено, то я не знаю, что тогда значит правда»¹.

Стр. 726. Фанатики не восторжествуют.— Впервые в «Литературной газете» от 19.5.1956.

Г. Ратгауз

¹ Это примечание принадлежит Д. В. Затонскому.

СОДЕРЖАНИЕ

МУДРОСТЬ ЧУДАКА, ИЛИ СМЕРТЬ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЖАН-ЖАКА РУССО

Перевод И. Горкиной и И. Горкина

Часть первая. Последние дни Жан-Жака

Глава первая. Желанный гость	7
Глава вторая. Жена Жан-Жака	14
Глава третья. Жан-Жак покидает Париж	20
Глава четвертая. Назад, к природе	26
Глава пятая. Фернан — ученик Жан-Жака	31
Глава шестая. Рассудок и чувство	37
Глава седьмая. Николас и Тереза	40
Глава восьмая. Фернан в смятении	45
Глава девятая. На сцену выступает некий сержант	52
Глава десятая. Вершины и бездны	58
Глава одиннадцатая. Воздыхатели Терезы	64
Глава двенадцатая. «Исповедь»	68
Глава тринадцатая. Продолжение «Исповеди»	74
Глава четырнадцатая. Что есть истина?	79
Глава пятнадцатая. <i>Save salem!</i>	83
Глава шестнадцатая. Друг и враг	91
Глава семнадцатая. <i>Opus ultimum</i>	99

Часть вторая. Смерть Жан-Жака

Глава первая. Роковой вечер	108
Глава вторая. Обманутый обманщик	116
Глава третья. Позднее раскаяние	122
Глава четвертая. Вскрытие	127
Глава пятая. Погребение	131
Глава шестая. Тревоги о судьбах наследства	136
Глава седьмая. Опасная правда	143
Глава восьмая. Изгнание злого духа	148
Глава девятая. Королевская комедия	157
Глава десятая. Фернан видит свет	164
Глава одиннадцатая. Фернан действует	170

Часть третья. Жан-Жак и наследники

<i>Глава первая.</i> Паломничество к могиле	177
<i>Глава вторая.</i> Село Эрменонвиль и «Общественный договор»	182
<i>Глава третья.</i> Мадам Левассер выходит из игры	190
<i>Глава четвертая.</i> Жильберта в Версале	193
<i>Глава пятая.</i> Возвращение суженого	200
<i>Глава шестая.</i> Отец и сын	210
<i>Глава седьмая.</i> Новая Жильберта	216
<i>Глава восьмая.</i> Кому принадлежит Жан-Жак	222
<i>Глава девятая.</i> Нужды города Санлиса	232
<i>Глава десятая.</i> Жаны и Жаки	236
<i>Глава одиннадцатая.</i> Взвейся над миром, трехцветное знамя!	241
<i>Глава двенадцатая.</i> Хранить верность — но кому?	249

Часть четвертая. Жан-Жак и народ

<i>Глава первая.</i> Долой равнодушных!	255
<i>Глава вторая.</i> Вдова Руссо	260
<i>Глава третья.</i> Николас снова на коне	264
<i>Глава четвертая.</i> Заговор королей	269
<i>Глава пятая.</i> Горькое счастье	275
<i>Глава шестая.</i> Зловещие гости	280
<i>Глава седьмая.</i> Дебют	284
<i>Глава восьмая.</i> Прочь ложную гуманность!	287
<i>Глава девятая.</i> Террор! Террор!	294
<i>Глава десятая.</i> Неблагонадежные	301

Часть пятая. Преображение Жан-Жака

<i>Глава первая.</i> Ла-Бурб	307
<i>Глава вторая.</i> Смерть не страшит нас	312
<i>Глава третья.</i> Человек добр	315
<i>Глава четвертая.</i> Звено в цепи	320
<i>Глава пятая.</i> Богиня Разума	327
<i>Глава шестая.</i> Суровые пути избирает милосердие	330
<i>Глава седьмая.</i> Голос из клоаки	334
<i>Глава восьмая.</i> Месть Жан-Жака	340
<i>Глава девятая.</i> Кладбищенский вор	344
<i>Глава десятая.</i> Эрменонвиль пустеет	351
<i>Глава одиннадцатая.</i> Завтра, и послезавтра, и всю жизнь	354
<i>Глава двенадцатая.</i> Преображение Жан-Жака	359

ЧЕРТ ВО ФРАНЦИИ. Пережитое

Перевод Л. Миримова

<i>Кирпичи Ле-Миля</i>	<i>369</i>
<i>Первая ночь</i>	<i>414</i>

Корабли Байонны	426
Вторая ночь	445
Шатры Нима	478
Третья ночь	526
Сады Марсея	539

ДОМ ДЕЗДЕМОНЫ, ИЛИ МОЩЬ И ГРАНИЦЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Перевод Е. Маркович

Введение	543
Часть первая. <Обзор накопленного материала>	552
Часть вторая. <Мотивы и цели исторической художественной литературы>	628

СТАТЬИ

Автор о самом себе. <i>Перевод М. Голубовской</i> ¹	681
Софокл и Гофмансталь. <i>Перевод Е. Закс</i>	685
«Вишневый сад». <i>Перевод Е. Михелевич</i>	691
О Бертольте Брехте. <i>Для англичан. Перевод А. Голембы</i>	699
«Германия. Зимняя сказка» ²	704
Мысли в связи с кончиной Горького. <i>Перевод Е. Михелевич</i>	708
Генрих Манн. <i>К семидесятилетию. Перевод Е. Закс</i>	710
«Доктор Фаустус» Томаса Манна. <i>Перевод М. Голубовской</i> ¹	713
Крамольные мысли о Льве Толстом. <i>Перевод Л. Миримова</i>	716
Мой роман «Успех». <i>Перевод Е. Михелевич</i>	718
Литература — сила, сближающая народы ²	721
Испытание временем ²	724
Фанатики не восторжествуют ²	726

<i>Комментарии С. Тураева, Л. Миримова</i> ³ , <i>Н. Новиковой</i> ⁴ , <i>Г. Ратгауза</i>	729
--	-----

¹ © Перевод. Голубовская М. В., 1990 г.

² Впервые печаталось в советской периодике. Имена переводчиков утрачены.

³ © Комментарии. Миримов Л. М., 1990 г.

⁴ © Комментарии. Новикова Н. Н., 1990 г.

Фейхтвангер Л.

Ф36 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 6. Кн. 1: Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо: Роман; Черт во Франции: Пережитое; Дом Дездемоны, или Мощь и границы исторической художественной литературы; Статьи: Пер. с нем. / Редкол.: А. Дмитриев, Д. Затонский, Н. Литвинец и др.; Сост. Д. Затонского и Н. Павловой; Коммент. Л. Миримова и др.—М.: Худож. лит., 1991.—767 с.

ISBN 5-280-01197-5 (Т. 6. Кн. I)

ISBN 5-280-00307-7

В том 6-й (кн. 1) Собрания сочинений вошел роман Л. Фейхтвангера «Мудрость чудака» (1952), книги-эссе «Черт во Франции» (1941) и «Дом Дездемоны» (1961), печатающиеся на русском языке впервые, а также некоторые статьи и рецензии.

Ф 4703010100-427
028(01)-91

ББК 84.4Г

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 6-ТИ ТОМАХ

ТОМ ШЕСТОЙ (КН. 1)

Оформление переплета **И. Сальникова**

Редактор **Е. Маркович, М. Климова**

Художественный редактор **Л. Калитовская**

Технический редактор **Л. Витушкина**

Корректор **Н. Гришина**

ИБ № 5878

Слано в набор 09.02.90. Подписано к печати 15.11.90. Формат 84×108 1/2. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 40,32. Усл. кр.-отт. 40,74. Уч.-изд. л. 47,41. Тираж 400 000 экз. (2-й з-д 150001—400000). Изд. № VI-3225. Заказ № 1117. Цена 5 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Набрано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валуевская, 28. Отпечатано с диапозитивов в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» им. А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.

